АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ТОМ ДЕВЯНОСТО ЧЕТВЕРТЫЙ

РЕДАКЦИЯ
Г. П. БЕРДНИКОВ, Д. Д. БЛАГОЙ, И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН,
А. С. КУРИЛОВ, С. А. МАКАШИН, К. Д. МУРАТОВА,
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Л. М. РОЗЕНБЛЮМ, Л. А. СПИРИДОНОВА,
Л. И. ТИМОФЕЕВ, Н. А. ТРИФОНОВ,
М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА (ГЛАВ. РЕД.)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
1 · 9 · МОСКВА · 8 · 3

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО - ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ

ЛЕНИН.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ПЕРВАЯ ЗАВЕРШЕННАЯ РЕДАКЦИЯ РОМАНА «ВОЙНА И МИР»

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
1 · 9 · МОСКВА · 8 · 3

Том подготовлен
при участии
Государственного ордена Трудового Красного Знамени
музея Л. Н. Толстого, Москва

Подготовка к печати
и вступительная статья
Э. Е. ЗАЙДЕНШНУР

ГОД ИЗДАНИЯ ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ

Л $\frac{4603010101-300}{042(02)-83}$ 364-IV-1983.

© Издательство «Наука», 1983 г

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Фотография. Москва, 1868 г.

ОТ РЕДАКЦИИ

I

В томах «Литературного наследства» — издания, предназначенного для публикации не известных ранее материалов из истории русской литературы и общественной мысли, творчество Л. Н. Толстого, естественно, стало одной из центральных тем. В 1939 г. вышли два фундаментальных тома, целиком посвященные Толстому (тт. 35-36 и 37-38). Уже в этих первых толстовских томах, в связи с подготовкой к печати неизданных рукописей и писем Толстого, редакцией были разработаны и сформулированы (во вступительной статье) текстологические принципы таких публикаций. На их основе «Литературное наследство» впервые ввело в научный оборот многие тексты художественных и публицистических произведений Толстого, в том числе — варианты нескольких глав «Войны и мира».

Через двадцать с лишним лет был создан том «Лев Толстой» (т. 69, в двух книгах), приуроченный к 50-летию со дня смерти великого писателя, включавший материалы его творческой лаборатории, многочисленные биографические документы, в частности — дневники и воспоминания современников. Обширный раздел тома составили рукописи Толстого, относящиеся к повестям «Казаки», «Холстомер», роману «Анна Каренина» и другим произведениям. Здесь же появилась и публикация, как бы предваряющая отдельное издание первой завершенной редакции романа «Война и мир»,— редакции, которая предлагается читателям настоящего тома. В ту, раннюю, публикацию, подготовленную Э. Е. Зайденшнур, входило пятнадцать набросков (1863—1864 гг.), связанных с работой писателя над началом романа («поиски начала»).

Мировому значению творчества Толстого — мыслителя и художника, всемирному влиянию самой его личности посвящен двухтомник «Толстой и зарубежный мир», включающий множество не известных ранее документальных материалов. Напечатаны статьи и выступления выдающихся писателей Запада — от Ромена Роллана и Бернарда Шоу до Анны Зегерс и Альберто Моравиа. Большой раздел составила иностранная почта Толстого — сто двадцать пять писем из двадцати пяти стран за период с 1878 по 1910 г. Значительное место в томе заняли дневники и воспоминания иностранцев, запечатлевшие встречи и беседы с Толстым, его высказывания о литературе, искусстве, об актуальных общественных проблемах. История восприятия Толстого в национальных культурах Запада и Востока освещена в документальных обзорах по каждой отдельной стране.

Наконец, том 90 «Литературного наследства» (в пяти книгах) был целиком посвящен публикации обширного дневника о Л. Н. Толстом Д. П. Маковицкого, его домашнего врача и друга, словака по национальности. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого (1904—1910), представляющие собой ценнейший источник для изучения жизни и творчества Толстого, подготовлены при участии Государственного музея Л. Н. Толстого (Москва) и ученых Чехословакии.

II

Великий роман «Война и мир», как это убедительно показано исследователями, положил начало не только всемирной известности Толстого, но и всемирной славе русской литературы. В большой монографии, посвященной мировому значению романа («„Война и мир“» за рубежом. Переводы. Критика. Влияние». М., 1978), Т. Л. Мо-

тылева отмечает, что, по неполным данным, этот роман переведен на тридцать семь иностранных языков.

Первым был перевод «Войны и мира» на французский язык, выполненный (весьма несовершенно) Ириной Паскевич и вышедший под псевдонимом «Une Russe» («Одна русская») в издательстве Ашетт в 1879 г.

Огромная роль в ознакомлении деятелей французской культуры с романом «Война и мир» принадлежала И. С. Тургеневу. 9 января 1880 г. он писал Толстому: «Княгиня Паскевич, переведшая Вашу «Войну и мир», доставила, наконец, сюда 500 экземпляров — из которых я получил 10. Я роздал их здешним влиятельным критикам (между прочими Тэну, Абу и др.). Должно надеяться, что они поймут всю силу и красоту Вашей эпопеи. Перевод несколько слабоват — но сделан с усердием и любовью. Я на днях 5-й и 6-й раз с новым наслаждением перечел это Ваше поистине великое произведение». Именно Тургенев горячо рекомендовал Флоберу, Золя, Доде и, вероятно, Мопассану прочесть «Войну и мир».

Их отклики оказались единодушно восторженными. Г. Флобер, например, воскликнул в беседе с И. С. Тургеневым: «Это перворазрядная вещь! Какой художник!» 15 января того же года Тургенев отправил молодому Анатолю Франсу роман Толстого со следующим замечательным письмом: «Милостивый государь, беру на себя смелость отправить Вам „Войну и мир“ — роман графа Льва Толстого, в настоящий момент самого популярного русского писателя, причем вполне этой популярности достойного. Роман близок к шедевру; это самое замечательное произведение, которое дала русская литература. Зная, какую Вы питаете симпатию к моей стране, надеюсь, что Вы соблаговолите сказать о „Войне и мире“ в „Temps“. Все русские, в том числе и автор, пишущий эти строки, будут вам очень за это признательны; смею надеяться, что французские читатели присоединятся к ним.

Примите уверения в моих преданных чувствах.

Иван Тургенев».

Мы не располагаем сведениями, написал ли Франс такую статью, но роман произвел на него огромное впечатление, он считал его лучшим произведением Толстого, а на книге «Остров пингвинов» сделал такую дарственную надпись на латинском языке: «Толстому — высочайшему, величайшему от смертного Анатоля Франса».

Р. Роллан вспоминал, что весной 1886 г., перед самым поступлением в Ecole Normale, «открыл иного Шекспира — наконец-то, наконец! — в мире живых... Я прочел „Войну и мир“ Толстого». Известны слова самого Толстого об этом его произведении, написанном в расцвете сил, в самую счастливую пору жизни и творчества: «...без ложной скромности — это, как „Илиада“». Замечательно, что именно такое сравнение грандиозного эпического полотна Толстого с гомеровским эпосом возникает и у Роллана: «Трагедии Эсхила и драмы Шекспира не могли потрясти души современников глубже, чем всколыхнул нас „Идиот“, „Братья Карамазовы“, „Анна Каренина“ и великая эпопея, которая в моих глазах занимает среди этих шедевров место некоей „Илиады“ — „Война и мир“. Это вещь единственная в мире.— Что я там люблю больше всего? Всё»,— признался Роллан в одном из писем 1907 г. «Война и мир» пленила французского писателя, потому что «вся поэзия и вся реальность... таятся в этой божественной книге... книге, ни с чем не сравнимой, даже и у Толстого».

Прочитав «Войну и мир», Томас Манн так выразил свое впечатление в письме к профессору Виткопу в октябре 1917 г.: «Какое могучее произведение! Таких больше уже не пишут».

По словам Дж. Голсуорси, «Война и мир» — «величайшее из всего написанного».

Т. Драйзер заметил, что эпопея Толстого «адекватна реальному движению самой жизни», а Э. Хемингуэй писал: «Я люблю „Войну и мир“ за превосходное, проникновенное и правдивое изображение жизни и народа».

Необыкновенно сильно высказал Андре Моруа преклонение перед гением Толстого: «Никогда не было написано ничего более прекрасного, более человечного, более необходимого, чем „Война и мир“ и „Анна Каренина“».

III

Над «Войной и миром» Толстой работал семь лет, которые четко делятся на три периода:

1. Поиски начала (февраль 1863 г.— первая половина 1864 г.).

2. Создание первой завершенной редакции (вторая половина 1864 г.— последние месяцы 1867 г.).

3. Переработка ранней редакции — создание окончательного текста, работа над корректурами в процессе печатания (1867 г.— декабрь 1869 г.).

Первый период, как сказано выше, исследован во вступительной статье Э. Е. Зайденшнур к публикации пятнадцати вариантов начала романа в т. 69 «Литературного наследства» (кн. 1).

Предлагаемая в настоящем томе первая завершенная редакция явилась творческим результатом следующего, наиболее продолжительного периода работы Толстого над «Войной и миром». В томах 13 и 14 Юбилейного издания сочинений Толстого опубликовано много отрывков, относящихся к этой редакции, но все они воспроизведены разрозненно, вне контекста, и, несмотря на большой объем, не могут дать представления ни о ходе творческой работы автора, ни тем более — о содержании редакции в целом. Более того, в предисловии к тому 13 отмечается, что «рукописи „Войны и мира“ не имеют в себе полных редакций всего романа в целом и даже отдельных его частей» (т. 13, с. 5).

В настоящее время огромный рукописный фонд «Войны и мира», который насчитывает свыше 5000 листов, тщательно изучен старейшим исследователем творчества Л. Н. Толстого и авторитетным знатоком его рукописного наследия Э. Е. Зайденшнур, проработавшей в Государственном музее Л. Н. Толстого шестьдесят лет. Благодаря этому труду мы имеем, наконец, возможность представить в единой публикации целостный текст первой завершенной редакции романа «Война и мир» (в рукописи ранняя редакция занимает 1800 листов, исписанных с обеих сторон).

Публикуемый текст ранней редакции разрушает укоренившуюся в литературе о Толстом легенду, будто бы роман был задуман писателем как семейная хроника и лишь на четвертом году работы «дворянский роман» превратился в народную эпопею.

Приводимая в настоящем томе первая завершенная редакция «Войны и мира» с большой наглядностью показывает, что уже с самого начала Толстым было задумано *историческое* художественное произведение и что, как справедливо полагает Э. Е. Зайденшнур, в основе замысла лежал глубокий интерес к исторической и общественной проблематике. Этот интерес был органически связан с эпохой 1860-х годов, когда остро был поставлен вопрос о решающей роли народных масс как движущей силы истории.

Интерес Толстого к истории проявился на много лет раньше замысла исторического произведения. Еще в 1852 г. он говорил о том, что начинает «любить историю и понимать ее пользу» и что с некоторых пор «полюбил исторические книги» (т. 46, с. 110; т. 59, с. 174). «Не без удовольствия» Толстой читал тогда «Историю Англии» Юма, «Описание Отечественной войны 1812 года» Михайловского-Данилевского и его же «Описание войны 1813 года». Под впечатлением этих книг Толстой записал в дневнике: «Только лентяй или ни на что не способный человек может говорить, что не нашел занятия.— Составить истинную правдивую Историю Европы нынешнего века. Вот цель на всю жизнь.— Есть мало эпох в истории, столь поучительных, как эта, и столь мало обсуженных — обсуженных беспристрастно и верно, так, как мы обсуживаем теперь историю Египта и Рима. Богатство, свежесть источников и беспристрастие историческое невиданное — совершенство» (т. 46, с. 141—142). Спустя десять лет Толстой начал писать задуманную «историю из 12 года с величественным, глубоким и всесторонним содержанием», в котором должны участвовать «значительные лица 12 года». «Перед тем, как я задумал писать,— говорил Л. Н. Толстой,— мне пришло в голову еще условие красоты, о котором и не думал,— резкость, ясность характеров» (т. 46, с. 141—142).

Так сам Толстой определил замысел своего нового произведения.

Здесь и далее ссылки на полное девяностотомное (юбилейное) издание собрания сочинений Л. Н. Толстого даются в тексте с указанием только тома и страницы.

Том рассчитан не только на исследователей — литературоведов, историков, языковедов, преподавателей филологических факультетов, но и на широкие круги читателей, любящих и изучающих великое произведение Толстого.

В томе 105 иллюстраций; получены они в основном из Государственного музея Л. Н. Толстого (Москва). В подписях к этим иллюстрациям место хранения не указывается.

В подготовке тома к изданию принимали участие
К. П. Богаевская и О. А. Голиненко.

Редактор тома И. С. Зильберштейн.

КАК СОЗДАВАЛАСЬ ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ РОМАНА «ВОЙНА И МИР»

Статья Э. Е. ЗАЙДЕНШНУР

Настоящая публикация представляет собой почти полностью сохранившуюся раннюю редакцию «Войны и мира». Публикуемый текст с достаточной полнотой и ясностью раскрывает процесс творческой работы Толстого над романом на ее первоначальной стадии.

Много отрывков из черновых рукописей, относящихся к ранней редакции, опубликовано в томах 13 и 14 полного собрания сочинений (юбилейного). В предисловии к тому 13 указано, что в рукописях «Войны и мира» нет полных ранних редакций романа в целом и даже отдельных его частей (т. 13, с. 5). Следствием такого неверного вывода был метод издания отдельных разрозненных отрывков, причем отбирались главным образом те из них, которые наиболее отличаются от текста завершенного произведения, и располагались в указанных томах «по ходу романа» (т. 13, с. 6). Однако композиция завершенного произведения далеко не всегда совпадает с композицией ранней редакции. Несмотря на большой объем опубликованного материала, эти разрозненные отрывки не дают представления ни о ходе творческой работы автора, ни о содержании ранней законченной редакции в целом. Для изучения творческой истории произведения в равной мере важно определить как ее отличия от завершенного текста, так и совпадения текстов.

Никакие исследовательские статьи не могут опровергнуть установившееся мнение о первом периоде работы Толстого над «Войной и миром». Только публикация полной завершенной ранней редакции, над которой Толстой работал три года, неопровержимо доказывает, что не «семейная хроника» двух дворянских родов была задумана Толстым, а «история из 12-го года» (так определил сам Толстой свой замысел в 1863 г., то есть в первый год работы); что исторические события и исторические деятели введены в первые же наброски; что произведение в его ранней редакции не было «хроникой дворянской жизни», не отзывалось «диккенсовским настроением». Закончив раннюю редакцию, в которой идейная направленность и позиции автора были уже ясно выражены, Толстой дал ей бессмертное заглавие: «Война и мир». И только сам Толстой (иначе говоря, полный текст первой завершенной редакции романа) может разрушить почти целый век существовавшую легенду о его замысле.

Путь от замысла к воплощению был длинный и нелегкий, но это не был скачок от семейной хроники дворянской жизни к народной эпопее. Начав писать «книгу о прошедшем», Толстой убедился, что это «прошедшее» не только не неизвестно, но что оно известно и описано совершенно «навыворот» тому, что было в действительности. И «невольно» он «почувствовал необходимость доказывать» то, что говорил, и «высказывать те взгляды», на основании которых писал (т. 15, с. 241). Процесс создания задуманной книги о прошедшем Толстой впоследствии определил как семь лет, в продолжение которых он работал «с мучительным и радостным упорством и волнением», «шаг за шагом открывая» то, что он считал истиной (т. 15, с. 242).

В первый же год работы, то есть в процессе поисков начала, замысел только «истории из 12-го года» изменился: начало действия отодвинулось к 1805 г., и в продолжение последующей семилетней работы замысел перерастал в историческую эпопею, охватившую пятнадцать лет жизни России: 1805—1820. С самого начала это произведение было современным

Н. И. ТОЛСТОЙ, ОТЕЦ ТОЛСТОГО
Портрет работы худ. К. В. Барду.
Пастель. Казань.
1815—1820 гг. (?)
Музей-усадьба «Ясная Поляна»

по остроте поставленных в нем проблем. Именно в 60-е годы, когда вопрос о роли народных масс в истории встал с особой остротой, мог возникнуть замысел произведения о *прошлом* России, но политически злободневного, поскольку в нем раскрывалась роль народа как творца национальной истории и роль личности в историческом процессе. Толстой по-своему поставил эти вопросы и, вступив в конфликт с официальными историками, по-своему ответил на них.

Предвидя, что те, для кого главный интерес в его книге — исторический, будут недовольны тем, что он уничтожает «признанные славы» (т. 15, с. 241), Толстой отметил в одном из позднейших конспектов: «Упрек, что не подходит под известное. Если бы оно подходило в 1868 году под то, что писано в 30, я бы не печатал» (т. 15, с. 240).

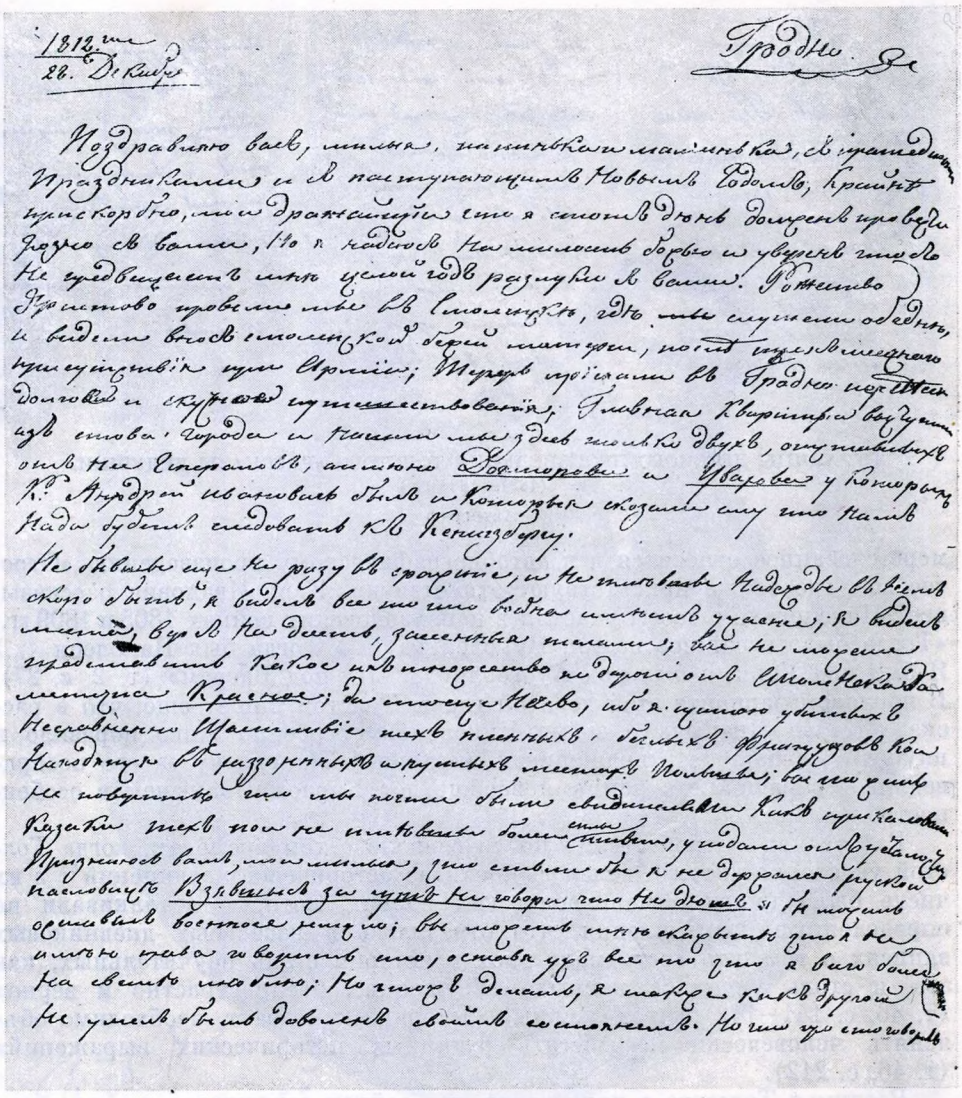
Семь лет работы над «Войной и миром» четко разделяются на три периода: 1) поиски начала (февраль 1863 — первые месяцы 1864 г.); 2) создание первой полной редакции (1864 — начало 1867 г.); 3) путь от ранней редакции к завершенному тексту (1867 — декабрь 1869 г.).

Первому периоду — поискам начала — посвящена публикация всех сохранившихся 15-ти его вариантов [1]. Настоящая публикация — ее непосредственное продолжение [2].

Поиски начала, направленные к тому, чтобы дать историческую экспозицию произведения, мотивированы настойчивой потребностью сразу ввести в круг исторических проблем.

Толстой сказал однажды, что в молодости он чувствовал в себе «инстинкт 1812 года» [3]. В детстве он, несомненно, слышал рассказы о наполеоновских войнах и о войне 1812 года, участником которой был его отец. Быть может, отзвуки этих рассказов проявились в детском сочинении «Рассказы дедушки», написанном, вероятно, не позднее 1837 г. Это был первый незавершенный замысел восьмилетнего Толстого. Сочинение начинается с рассказа о «девятеностолетнем» старике, который «служил под 5 государями он видел более ста сражений он был чином полковник имел десять орденов которые он купил своею кровью ибо у него было десять ран он ходил на костылях ибо у него не было ноги, лице 3 рубцами на лбу середний палец лежал под Браиловым». Затем описано «его семейство», которое «состояло из 82 человек из которых старшему было 60 лет». Следующая глава названа «Его сын». Сообщается, что звали сына Николай Дмитрич, что «он был заслуженный моряк, с котором случилось много происшествий», и «дети любили слушать его рассказы».

Далее маленький автор намеревался описать «жизнь и характер некоторых из лиц, которые тут» и начинал с характеристики этого Николая Дмитрича: «он был везде с отцом но не находил удовольствием он не любил



1812 года
28. Декабря

Гродно.

Поздравляю вас, милыя, тятинькою и маменькою, с праздниками и с наступающимъ Новымъ Годомъ, крайне прискорбно, мои дражайшіе что я сегодня дня дорогаго проведу далеко съ вами, но я надеюсь не минется горю и увидимъ тяжело не предвидящимъ мнѣ целой годъ разлуки съ вами. Рождество Христово провели мы въ Гродно, гдѣ мы слушали обедню, и видели въ соборной церкви мощи, потомъ пошли мы къ Преосвященнѣйшему Архіерею; Шерстнев пріѣхали въ Гродно послѣ долговѣя и скучно путешествовали; Главная Квартира выдержала два стояна: Гродно и Пилвишки мы здесь пробыли двухъ, отпустивъ отъ насъ Ергомановъ, а нынѣ Дохтуровъ и Уваровъ у которыхъ К. Андрей Ивановичь былъ и Конозовъ сказали сему что намъ надо будетъ слѣдовать къ Кенигсбергу.

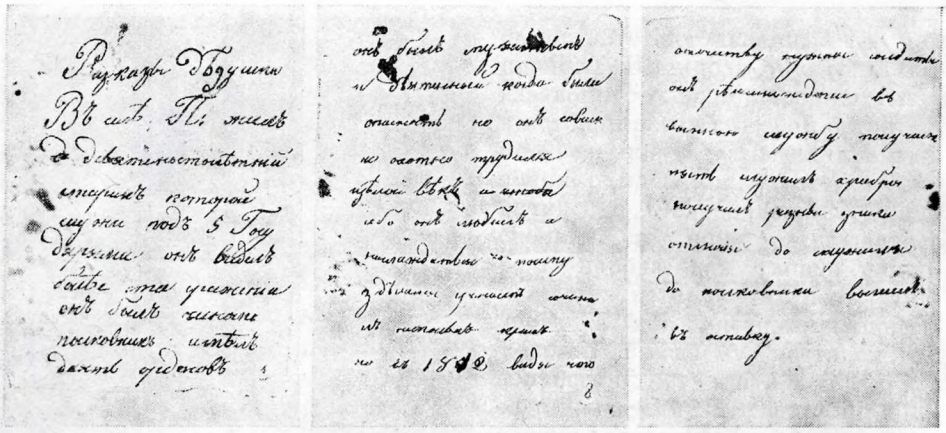
Не бывши еще на разу въ сраженіи, и не видавши надобно въ всемъ скоро быть, я видель все то что война имѣетъ ужасное; я видель мертвыя, вдовъ не делитъ, дисентерія пошла; все не можетъ градомъ вывесть какое изобиліе не дорогой отъ Смоленска мостовая Красное; до стоянца Кайсо, ибо я сущаго убитыхъ несравненно страшнѣе тѣхъ пленныхъ, бедныхъ французовъ которыхъ находишь въ разорванныхъ и грязныхъ мостовъ Польшы; все то и не повторить что мы почти были свидетелями какъ грабили Казаки тѣхъ пор не имѣвшихъ болѣе сливъ, у людей отнимали пасловцы. Взявшись за чтобы не говори что не дышь я бы могъ описывать восторгъ ремесло; вы можетъ мнѣ сказать что я не имѣю права говорить это, основа чтобы все то что я вамъ болтаю на свѣтъ мало; но что въ делѣ, я такъ какъ другой не умелъ быть доволенъ своимъ состояніемъ. Но что это говорить

ПИСЬМО Н. И. ТОЛСТОГО К РОДИТЕЛЯМ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 1812 Г.

этого беспристанного труда он был мужествен и деятилный, когда была опасность но он совсем не охотно трудился целый век ибо он любил и наслаждаться посему зделался ученым сочинил несколько книг но в 1812 видя что отечеству нужны солдаты он решился идти в военную службу получил пять ран служил храбро получил разные знаки отличия дослужился до полковника вышел в отставку. Он-то и будет играть большую роль в происшествии которое его отец начал рассказывать»[4] (т. 90, с. 95—96). На этом сочинение оборвалось. Однако можно заключить, что «происшествие» относилось бы к 1812-му году.

А еще до писания «Рассказов дедушки» семилетний Толстой «с большим увлечением и с интонацией» читал «полюбившиеся» ему и «выученные наизусть» стихи Пушкина: «К морю» и «Наполеон»[5].

Быть может, в какой-то мере отзвуки детских воспоминаний отразились во вступлении к четырнадцатому варианту начала «Войны и мира»: «Пишу о том времени, которое еще цепью воспоминаний связано с нашим, которого неуловимый характер, запах и звук, соединяясь с особенной прелестью прошедшего и детства, так мило знакомы нам»[6]. В какой-то



СТРАНИЦЫ ДЕТСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТОЛСТОГО «РАССКАЗЫ ДЕДУШКИ» (1837—1838 гг.)

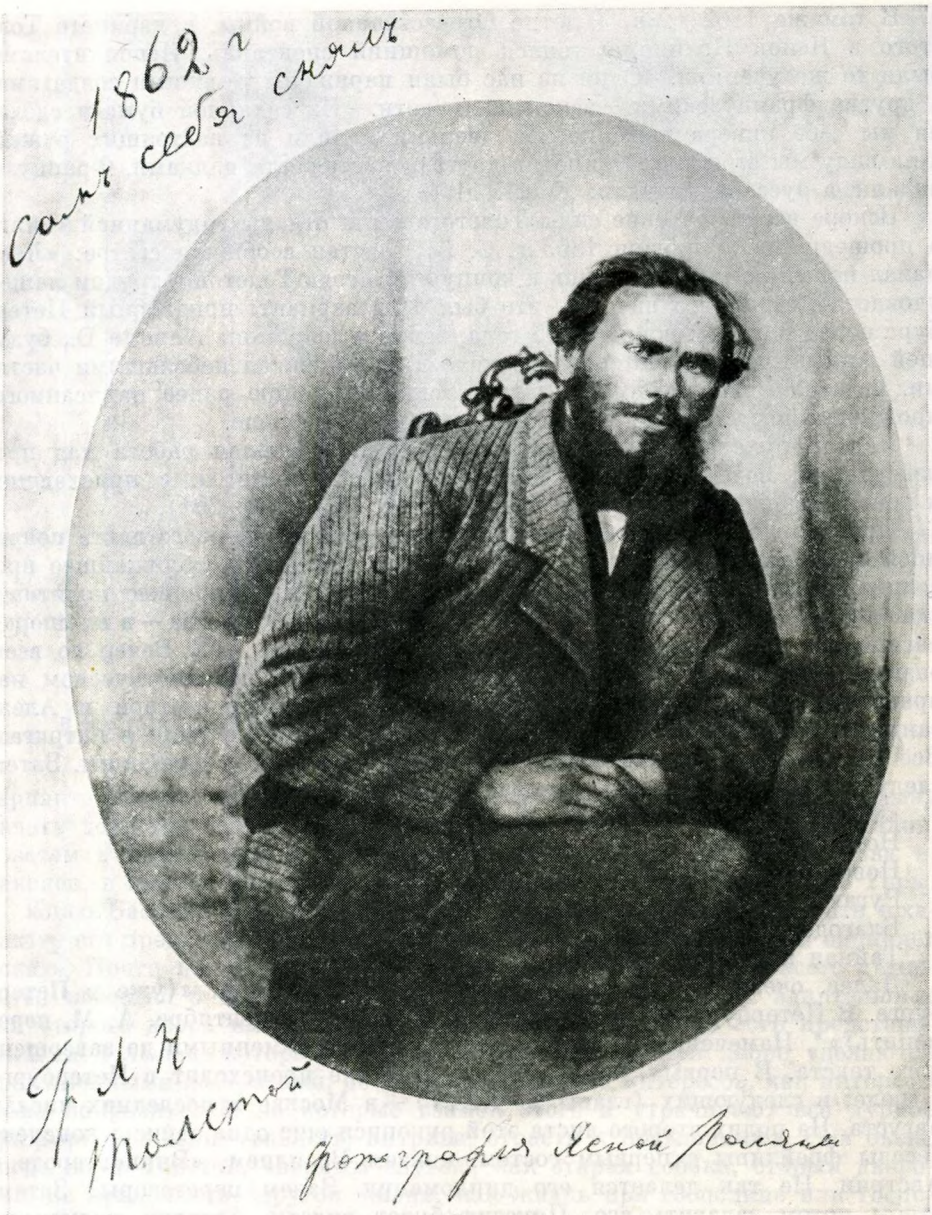
Автограф

мере сказанное относится и к автобиографическому произведению «Отрочество», где также присутствуют эти отзвуки. Карл Иванович рассказывает Николеньке о своем участии в наполеоновских войнах 1805 и 1809 гг.: «Тогда было страшное время, Николенька 〈...〉 Тогда был Наполеон 〈...〉 Я был под Ульм, я был под Аустерлиц, я был под Ваграм» (т. 2, с. 27). В черновом варианте этой девятой главы Толстой пишет еще, что́ в рассказе Карла Иваныча о войне Николеньку особенно живо поразило и внушило «страшное отвращение к жестокому Наполеону за его несправедливое обращение с немцами вообще и с Карлом Иванычем в особенности» (т. 2, с. 267).

Работа над «Отрочеством» почти совпала с тем временем, когда Толстой увлеченно читал и делал выписки из исторических сочинений[7]; в их числе были книги о наполеоновских войнах, которые наталкивали на определенные размышления, что отразилось в известных дневниковых записях о том, что «есть мало эпох в истории столь поучительных, как эта, и столь мало обсуженных — обсуженных беспристрастно и верно» (т. 46, с. 141—142); что «каждый исторический факт необходимо объяснять человечески и избегать рутинных исторических выражений» (т. 46, с. 212).

Раздумья Толстого о наполеоновских войнах содержатся и в рассказе «Набег» (т. 3), и в педагогических статьях (т. 8, с. 92 и сл.). Незадолго до замысла «истории из 12-го года» Толстому довелось рассказывать о ней на уроке в Яснополянской школе. Он «начал с Александра I, рассказал о Французской революции, об успехах Наполеона, о завладении им властью и о войне, окончившейся Тильзитским миром». Затем рассказ перешел к Отечественной войне и был доведен до вступления русских в Париж. Хотя Толстой считал, что рассказ он вел «в почти сказочном тоне, большей частью исторически неверно», что это была только сказка, «возбуждающая народное чувство», но и к этой «сказке» он мог бы взять эпиграф: «Ничего не утаю» (т. 46, с. 212). Толстой не утаивал того, что огорчало его маленьких слушателей, говорил не только о победах, но и о неудачах. Его повествование не было бесстрастным изложением исторических событий,— это был художественный рассказ, и учитель заражал своим чувством учеников.

Когда «не покорился» Александр, то есть объявил войну, все маленькие слушатели выразили одобрение; когда Наполеон с двенадцатью языками пошел на нас, взбунтовал немцев, Польшу, они замерли от волнения. Отступление наших войск воспринималось детьми с большим огорчением. «Как пришел Наполеон в Москву и ждал ключей и покло-



ТОЛСТОЙ

Фотография. 1862 г.

На паспарту надпись С. А. Толстой: «1862. Сам себя снял. Гр. Л. Н. Толстой. Фотография Ясной Поляны»

нов,— все загрохотало от сознания непокоримости». «Когда слушали, как Кутузов „погнал" врага за пределы родины и „пошел бить" его, „вся комната застонала от гордого восторга". Потом все гордились, как „мы погнали француза", потом „немножко пожалели даже мерзлых французов". Закончился рассказ тем, как „проводили Наполеона до Парижа, посадили настоящего короля, торжествовали, пировали"». Упоминание о Крымской войне испортило, по словам Толстого, всё дело, однако оно не ослабило «сознания непокоримости». «Попался бы нам теперь Шевардинский редут или Малахов курган, мы бы его отбили»,— так закончил Толстой (т. 8, с. 101—103).

В том же 1862 г., в 50-летие Отечественной войны, в кабинете Толстого в Ясной Поляне состоялся домашний спектакль. Исполнителями были те же ученики. «Одни из нас были наряжены русскими солдатами, а другие французскими,— вспоминали дети.— Из сахарной бумаги сделали мы себе кивера и кепки. За дверьми палили из настоящих ружей, а на виду мы стояли друг против друга и наставляли палками. Французы падали, а русские кричали: „Ура-а-а!“»

Вскоре все творческие силы Толстого были отданы задуманной «книге о прошедшем». 5 января 1863 г. С. А. Толстая сообщила сестре: «Лева начал новый роман». Но лишь к концу этого года Толстой с трудом нашел удовлетворившее его начало — это был 15-й вариант: придворный Петербург перед началом войны 1805 года, вечер у фрейлины Annette D., будущей Анны Павловны Шерер. Вначале Толстой писал небольшими частями, отдавал их в переписку, затем, исправив копию ранее написанного, продолжал постепенно двигаться всё дальше и дальше.

Первая рукопись, с которой началась планомерная работа над произведением, содержит лишь начало беседы Annette D. с приехавшим к ней на званый вечер князем Василием (т. 13, с. 198—201).

При исправлении копии этого отрывка на полях первого листа появились конспективные записи, из которых мы узнаем, что ближайшее продолжение уже стало ясным для автора. Самые злободневные политические вопросы будут предметом бесед собравшегося общества — в их спорах раскроется время начала действия: лето 1805 года. «NB Вечер во всем разгаре. Разговоры с разных сторон. С одной — о идеалистическом направлении двора нашего и антагонизме императрицы-матери и Александра. С другой — рассказ о Енгиенском. С третьей — о дворе и интригах. Всё размерено». Так намечены темы бесед на вечере у фрейлины. Затем следует схема дальнейшего развития произведения:

«Обзор политических событий и переговоры.
Нота 28 августа.
Новосильцев в Париже.
Ругают Австрию.
Благодеяния государя.
Тайная коалиция, войска».

Далее, очевидно себе для памяти, Толстой записал: «(уже в Петербурге. В Петербурге в [августе] июле. В Москве в сентябре. А. М. переменить)» [8]. Намеченные Толстым даты дошли неизменными до завершенного текста. В первых девяти главах действие происходит в Петербурге в июле; в следующих (главы X—XXIV) — в Москве в последних числах августа. На полях второго листа этой рукописи еще одна запись: конспект беседы фрейлины с первым гостем, князем Василием. «Винценгероде в Австрии. Не так делается его дипломация. Зачем переговоры? Затем, чтобы потом задавить его. Пруссия будет видеть. Австрия подмечает. На Англию надежды нет. „J'ai vu Novosilzoff“ [9]. Они не понимают самоотверженности государя, но добродетель должна быть награждена». Беседой двух представителей петербургской знати, судящих со своей точки зрения о злободневных политических вопросах, открывается действие. (В продолжение всей последующей работы появлявшиеся на полях многочисленные пометы, часто служившие эскизами созданных позднее художественных картин, дают возможность следить за мыслью автора.)

Исправив копию, Толстой стал писать дальше, и законченная на этот раз рукопись (13 листов) содержала почти полный текст первой главы; на этом этапе он уже не только по содержанию, но местами почти дословно близок к тексту, опубликованному в «Русском вестнике».

Во время поисков начала постепенно рождались образы главных персонажей, какими они должны появиться в начале произведения: все важнейшие персонажи с самого начала формировались как исторические фигуры в составе исторического повествования. Найдя (это было в 13-м

КОМНАТА ПОД СВОДАМИ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Рисунок И. Я. Гинцбурга. Тушь. Перо. 1891 г.

В 60-е годы в этой комнате был кабинет Толстого, где он писал «Войну и мир»

варианте начала) благоприятную среду, в которой стало возможно сразу начать действие, автор смело вводил этих людей в придворный салон, а затем в московский дом Ростовых, в дом старого графа Безухова и, наконец, в имение князя Николая Андреевича Болконского Лысые Горы.

Князь Василий уже был представлен в предшествующем варианте, и характер его предстояло лишь развивать. Образ фрейлины Толстой начинает искать. Почти ничего не сказано об ее внешности. Прежде всего становится известно о ней то, что она была «одним из самых влиятельных лиц старого двора императрицы Марии Федоровны», то есть представительницей людей, которые от долгого пребывания при дворе «делаются нравственными кастратами, не имеющими других интересов, как интересы своих покровителей, но которые взамен этого и утрачивают всё дурное придворной жизни — зависть, интриги, страсть к повышению». Она была, продолжает Толстой, «верным слугою, как старая собака, старый дворовый, не признающие другой жизни, как жизнь при господине или госпоже»; эта преданная фрейлина «думала и чувствовала только то, что думала и чувствовала ее высокая покровительница» императрица Мария Федоровна, и высказывала те же мнения.

Познакомив читателя с хозяйкой салона, Толстой намечает план всего вечера: «Как держать дом? Княгиня Болконская брюхатая с работой. Ее муж недовольно смотрит на нее. Княгиня хлопочет о сыне. Mortemart. Как подать на блюде литератора. Рассказ о Енгиенском. Некоторые молчат и exclament» [10]. Пользуясь найденными в первоначальных набросках чертами, Толстой без колебаний и новых поисков вводит в салон фрейлины знакомых ему людей: князя Андрея с женой, Пьера, Элен и Ипполита Курагиных. Князь Андрей «вошел с женой под руку с приемами человека, которому, несмотря на его молодость и неважный чин (он был в мундире гвардейского адъютанта), скорее будет скучно, чем весело, и который надеется встретить в этом обществе скорее низших, чем высших». Образ маленькой княгини сразу создан таким, каким и сохранился в романе. Княгиня производила на всех, кто ее видел самое радостное

впечатление, и только на князя Андрея вид ее оказывал «совершенно противоположное действие». Появляется Пьер. Он изображен в том необычном для светской гостиной виде и в той роли, какие закрепились за ним в ранних набросках начала. «Все слушали с вниманием и уважением» рассказ виконта, и только один «очень молодой человек с большой вытянутой взад головой, застенчивый и рассеянный, видимо, не обращал никакого внимания на рассказ и рассказчика. Он вертелся на своем стуле».

Толстой намеревался было познакомить читателя со всеми гостями и прямо говорил: «Прежде чем передать историю виконта, весьма распространившуюся впоследствии, я должен описать некоторых из слушателей его, тем более, что эти некоторые, кроме того, что замечательны сами по себе, не раз встретятся читателю в продолжении этой истории». Однако изолированное описание действующих лиц противоречило художественным принципам Толстого: незадолго до начала работы над романом он осудил эту принятую в литературе и ставшую «невозможной» манеру описаний, «логично расположенных: сначала описания действующих лиц, даже их биографии, потом описание местности и среды, и потом уже начинается действие. И странное дело,— все эти описания, иногда на десятках страниц, меньше знакомят читателя с лицами, чем небрежно брошенная художественная черта во время уже начатого действия между вовсе неописанными лицами» (т. 8, с. 312).

Толстой избрал иной путь. Зачеркнув обещание «описать некоторых из слушателей», он на полях делает помету для себя: «Кто слушает и как» — и рисует выразительными штрихами образы гостей. Облик дочери князя Василия — в этом варианте она фигурирует под именем княжны Sophie, и впечатление, производимое ею на всех, почти полностью совпадает с тем, что известно по печатному тексту. Образ брата ее, Ипполита, также близок к окончательному, но в этой редакции больше подробностей, подчеркивающих отрицательный характер персонажа (во всем — во внешности, в манерах, в костюме).

Не преминул Толстой и напомнить, что «только такие дамы высшего общества, как Annette D.», умеют в лучшем виде «сервировать замечательных гостей», она сумела подать своим гостям виконта «как что-то сверхъестественно утонченное». Так же беспощадно автор иронизирует и над «изящным» рассказом виконта об убийстве герцога Енгиенского, и над «красивым кружком» слушателей.

«Различные реплики, которыми слушатели перебивали рассказ виконта, свидетельствовали об единодушном мнении всех о Наполеоне», которого, как и полагалось в этот период, «никто из присутствующих не только не признавал 〈...〉 императором, никто не признавал его даже человеком. В глазах vicomt'a и его слушателей это был какой-то изверг рода человеческого, Cartouche, Пугачев, Кромвель, до сих пор ускользавший от заслуженной петли».

На фоне «единодушного мнения всех» звучат, как уже установилось в процессе поисков начала, некиим взрывом суждения Пьера и согласного с ним князя Андрея. Оба они, как всё наиболее прогрессивное дворянство, признавали Наполеона в первые годы его деятельности великим полководцем и носителем идей революции. Вокруг Наполеона начался спор, затеянный Пьером. Он доказывал, что «революция была великое дело» и что Наполеон — «представитель великих идей». Никто из гостей «не одушевился» речами Пьера, а хозяйка салона не могла себе простить, что пригласила этого юношу, не зная, что «он такой mal èlevé [11]» и «бонапартист». Только князь Андрей любовался им и поддерживал этого молодого человека, который «огрызался на всех», доказывая, что Наполеон «желает мира и равенства».

С князем Андреем и Пьером единодушен и автор, который добавил, что этот молодой человек был «хуже» чем бонапартист,— «он был якоби-

нец». И, улучив момент, когда разговор в гостиной «рассыпался на мелкий говор изящных проклятий и ругательств на бедного Наполеона», Толстой вставил ироническую реплику: «Плохо стало бедному Наполеону. И хорошо, что он не слыхал этих разговоров. Он, впрочем, не любил таких разговоров. И часто за такие переданные ему разговоры во Франции так наказывал маркизов и виконтов, дюшес и графинь, что они вперед уже этого не делали, молчали. Тех же маркизов и виконтов, которые вели себя хорошо и не рассказывали таких историй, он награждал званиями камергеров, камер-фрейлин и т. д. при своем дворе. И таких ведущих себя очень хорошо было очень много 〈...〉 все так охотно пошли в придворную службу и прекратили рассказывать истории, что Бонапарт откровенно выразился, вспоминая свой призыв к дворянству Франции во время Египетской кампании и их отказ, что quand je leur ai montré la chemin de la gloire ils n'en ont pas voulu. J'ai ouvert mes antichambres, ils se sont préciptés en foule» [12]. «Так что,— заключил Толстой,— в то время как у Annette D. его так бранили, он жил спокойно в Лувре, считая себя самым лучшим человеком Франции и законнейшим наследником Карла Великого».

Закончилась рукопись эскизным наброском дальнейшего текста: намечены сцена разъезда гостей, поведение Ипполита Курагина, провожавшего к коляске маленькую княгиню, и презрение князя Андрея к нему, затем приезда Пьера к Болконским, беседа его с князем Андреем и далее — вплоть до оргии у Анатоля Курагина с участием Пьера.

«Анатоль гадость для гадости. Он, как красивая кукла, ничего нет в глазах» — такой характеристикой Анатоля закончилась эта рукопись.

Правя копию ее, Толстой главным образом задержался на характерах Пьера и Андрея. То, что они оба выделялись из светского общества, было уже ясно показано, но надо было раскрыть и своеобразие каждого из них. Князь Андрей был «высокомерен в приемах, но вместе с тем утонченно учтив, отчего высокомерие его еще более было заметно», он мог «учтиво» выслушивать мнения, не совпадающие с его взглядами. Пьер так вести себя не мог, он был «вполне неприличен и резко отличался от всех бывших в гостиной». Особенно испугало хозяйку, когда Пьер «быстро и горячо» стал говорить о Наполеоне как о «величайшем человеке мира», причем испуг происходил, как разъяснил автор, «не столько от слов, произнесенных молодым человеком, сколько от того одушевления, негостинного и совершенно неприличного», которое выражалось в чертах юноши. Спор Пьера с виконтом завершен авторской репликой: «В таком роде говорил много и долго Pierre точно так, как думали тогда многие образованные молодые люди. Странно было только то, что говорил он всё это в таком обществе. Никто не слушал его с удовольствием». Только князь Андрей «с ласковой и вместе насмешливой улыбкой посматривал то на него, то на хозяйку вечера».

Дальнейший ход повествования, видимо, был настолько продуман, что Толстой создал на этом этапе большую рукопись, содержащую сцены в доме князя Андрея после вечера у фрейлины, беседу Пьера с Андреем, раскрывающую характеры двух друзей, их сходство и различия; кутеж у Анатоля Курагина, куда, нарушив обещание, данное князю Андрею, приехал Пьер; пари Долохова с англичанином — то есть весь текст, опубликованный в «Русском вестнике» под заглавием: «В Петербурге».

Беседы в придворном салоне дали представление о времени действия, о назревавшей войне; достаточно громко звучит голос автора. Действие переносится в Москву [13].

Три персонажа из Петербурга появились теперь в Москве, связав таким образом два изображаемых круга: Анна Михайловна Друбецкая, добившись в Петербурге через князя Василия перевода сына в гвардию, вернулась в Москву, к Ростовым, у которых воспитывался ее сын; в Москве же она рассчитывала получить часть наследства графа Безухо-

ва, крестного отца ее сына. Князь Василий тоже приехал с надеждой получить наследство старого графа. Третий персонаж — Пьер, который появляется и у Ростовых, и в доме умирающего отца. Для раздела «В Москве» Толстой использовал шестой вариант начала, озаглавленный «День в Москве».

Добрые, не светские Ростовы были ясны и душевно близки Толстому, и изображение их не потребовало больших поисков и переработок. Во многом решены были и сцены в доме умирающего графа Безухова. Характеры князя Василия и княгини Друбецкой остались неизменными, тем не менее сцены в доме графа Безухова потребовали серьезного труда. Всего более автор заботился о психологически правильном поведении Пьера; восприятие им поступков князя Василия и Анны Михайловны дополняло и его характеристику, а также характеристику этих персонажей. Центральный эпизод — борьба за «мозаиковый портфель» с завещанием. Наблюдая за ее участниками, Пьер «ужаснулся», увидев лицо князя Василия. Он «молча смотрел на борьбу за портфель и не узнавал ни князя Василия, ни Анны Михайловны, которая, как наседка, окрысившись, тянула портфель».

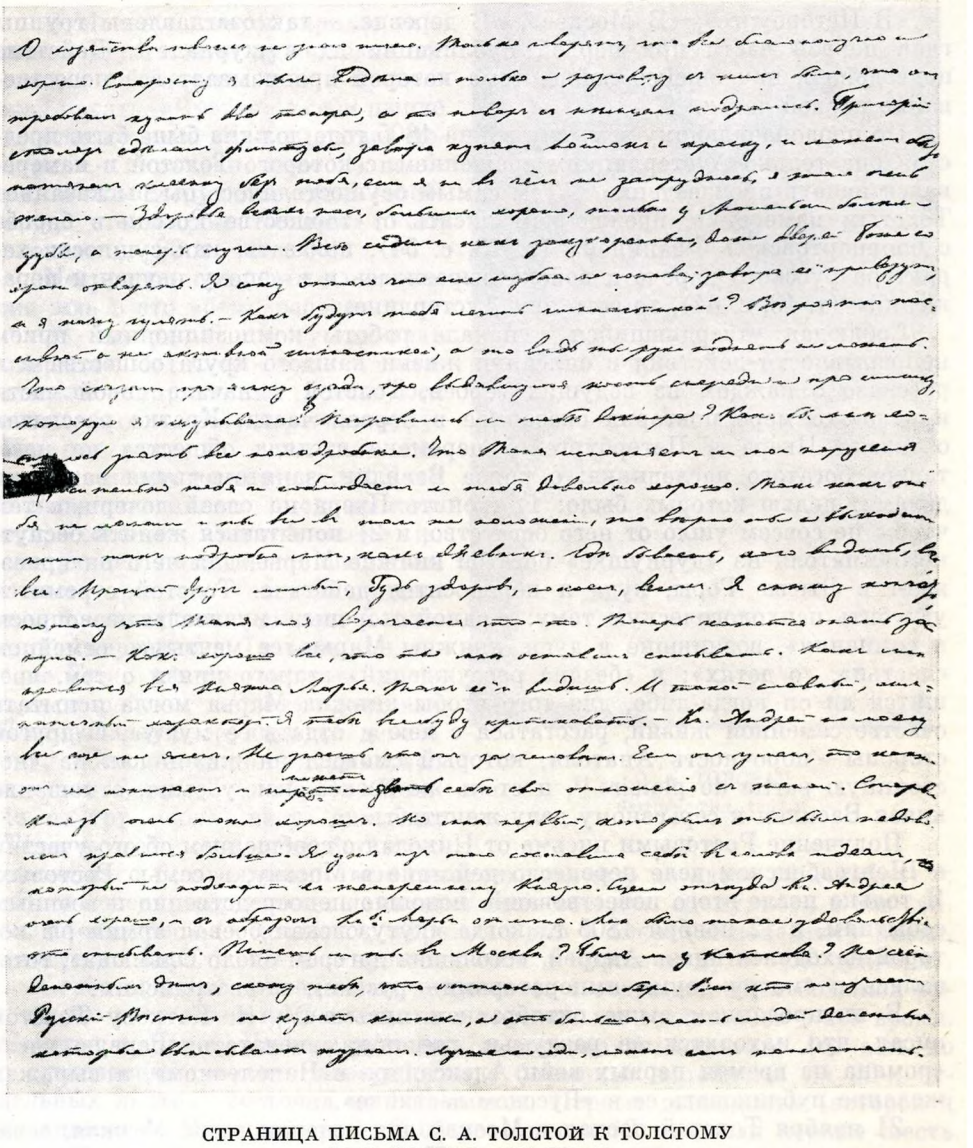
Смертью графа Безухова завершился раздел «В Москве». Пишется следующий — «В деревне».

Это жизнь Болконских в имении Лысые Горы осенью 1805 г. Заготовки для этого раздела имелись во втором варианте начала, озаглавленном «Три поры». Без особых поисков и усилий (об этом позволяет судить даже внешний вид рукописи) создан был рассказ о Болконских. Для характеристики старого князя, княжны Марьи, ее компаньонки и всего уклада жизни Болконских Толстой воспользовался текстом, написанным в самом начале работы, внеся изменения, связанные с переменой времени начала действия,— не август 1811 г., как это было первоначально в варианте «Три поры», а осень 1805 г. Заканчивается этот раздел сценой прощания князя Андрея с родными перед отъездом в армию. В волнующем напутствии отца сыну выказались характеры обоих. «Помни одно: коли тебя убьют, где следует, хоть и с Бонапарте теперь деретесь, а и его пушки бьют,— коли убьют, скучно мне будет старику, скучно. Очень скучно.— Он неожиданно замолчал. И вдруг крикливым голосом продолжал: — А коли узнаю, что князь Андрей Болконский хуже других, мне будет стыдно. А мне до семьдесят второго года стыдно не бывало. Это помни». Сын ответил: «Вам не будет стыдно». Отъездом князя Андрея на войну закончилась первая часть.

Создано композиционно стройное повествование. Действие происходит в Петербурге, Москве и Лысых Горах в июле — сентябре 1805 г.

16 сентября 1864 г. Толстой записал в дневнике: «Скоро год, как я не писал в эту книгу. И год хороший 〈...〉 Я начал с тех пор роман, написал листов 10 печатных, но теперь нахожусь в периоде исправления и переделывания.— Мучительно». В тот же день вторая запись: «К роману: 1) любит мучать того, кого любит, всё теребит. 2) Отец с сыном ненавидят друг друга. В глазах неловко» (т. 48, с. 58). Эти записи позволяют безошибочно определить, что к 16 сентября 1864 г. работа шла над текстом о жизни Болконских в Лысых Горах; к ним и относилась запись: «К роману».

Спустя десять дней, 26 сентября, Толстой, упав с лошади, вывихнул правую руку. Тульские врачи неудачно вправили ее, и хотя боль не утихала, Толстой продолжал работать. «Лева роман свой нынче очень пишет»,— сообщала сестре С. А. Толстая 1 октября (т. 61, с. 58). По свидетельству самого Толстого, он в эту пору не мог подолгу писать больной рукой. Лишь в конце месяца Толстой сообщил М. Н. Каткову: «После 5 недель нынче в первый раз пишу так длинно своей рукой» (т. 61, с. 58). Оба документа дают основание для точной датировки написанного во второй половине сентября и в октябре.



СТРАНИЦА ПИСЬМА С. А. ТОЛСТОЙ К ТОЛСТОМУ
ОТ 25 НОЯБРЯ (1864 ГОДА)

Всё написанное с первых дней начала работы до этого времени — автограф, а с окончанием первой части в рукописи, писавшейся во второй половине сентября, автограф перемежается с текстом, написанным рукой В. В. Толстой, очевидно, под диктовку, причем рукой Толстого написаны небольшие отрывки, иногда на полуфразе сменяющиеся текстом, написанным рукой В. В. Толстой. Стало быть, эта рукопись (в ней 8 листов) создавалась после 26 сентября.

Закончив первую часть отъездом князя Андрея из Лысых Гор в армию, Толстой перешел в конце сентября или в первых числах октября к следующей части (на данном этапе второй) — к теме войны. Создавалась новая рукопись, содержание которой Толстой позднее определил: «От Аустерлица до Тильзита».

Не зная рукописей, невозможно представить себе, как уже на раннем этапе четко складывалась стройная композиция, которая в основных чертах сохранялась неизменной до завершения этого огромного произведения.

«В Петербурге», «В Москве», «В деревне» — так озаглавлены группы глав первой части при первой публикации их в журнале[14]. Действие подведено к начавшейся войне, тема которой пронизывает всё повествование первой части.

По первоначальному замыслу война 1805 года должна была быть представлена только Аустерлицким сражением, с которого Толстой и намеревался начать произведение[15]. Тем самым осуществлялось бы высказанное Толстым намерение, прежде чем писать о «торжестве России в борьбе с бонапартовской Францией» (т. 13, с. 54), показать, как сущность характера русского народа и войска выразилась и в «эпоху неудач и поражений» (т. 13, с. 64), то есть при Аустерлице.

Соблюдая утвердившийся с начала работы композиционный прием непрерывности действия в описании жизни каждого круга общества и в рассказе о каждом из ведущих героев, Толстой в начале новой части в какой-то мере повторил сказанное в первой части. Кратко рассказал о жизни Пьера в Петербурге, о перемене взгляда общества на него, теперь богатого наследника; о князе Василии, занятом двумя важными делами, целью которых было: 1) женить Пьера на своей дочери, с тем чтобы не совсем ушло от него богатство, и 2) попытаться женить беспутного Анатоля на «дурнушке» богатой княжне Марье, для чего он приезжает в Лысые Горы, куда и переносится действие. Толстой стремится углубить психологическую тему: с одной стороны, «мучительные вопросы и сомнения», возникшие в душе княжны Марьи, ее мечты «о семейном счастьи», «о детях»; и «бездна рассуждений» старого князя о том, «решится ли он когда-либо, для того чтобы княжна Марья могла испытать счастье семейной жизни, расстаться с нею и отдать ее мужу». С другой стороны — порочность Анатоля, который смотрел на жизнь как на «постоянную partie de plaisir»[16], и столь же легкое, как у сына, отношение князя Василия к серьезному делу женитьбы.

Получение Ростовыми письма от Николая с сообщением об его участии в Шенграбенском деле перенесло действие в Москву, в семью Ростовых. И только после этого повествование подошло непосредственно к военным событиям, к 12 ноября 1805 г., когда «кутузовская боевая армия», в которой находился князь Андрей, «стоявшая лагерем около Ольмюца», готовилась к смотру двумя императорами — русским и австрийским.

В цитированном выше октябрьском письме М. Н. Каткову Толстой писал, что находится «в раздумьи, где и как печатать» первую часть «романа из времен первых войн Александра с Наполеоном», и выражал желание публиковать ее в «Русском вестнике».

21 ноября Толстой поехал в Москву для лечения руки. Уезжая, оставил жене рукопись для переписки. Через четыре дня С. А. Толстая писала мужу в Москву: «Как хорошо всё, что ты мне оставил списывать. Как мне нравится вся княжна Марья! Так ее и видишь. И такой славный, симпатичный характер. Я тебе всё буду критиковать. Князь Андрей, по-моему, всё еще не ясен. Не знаешь, что он за человек. Если он умен, то как же он не понимает и не может растолковать себе свои отношения с женой? Старый князь очень тоже хорошо. Но мне первый, которым ты был недоволен, нравился больше[17]. Я уж из того составила себе в голове идеал, который не подходит к теперешнему князю. Сцена отъезда князя Андрея — очень хорошо и с образом княжны Марьи — отлично»[18]. Переписанную рукопись (это было окончание первой части) Софья Андреевна послала Толстому в Москву 26 ноября[19].

А к этому времени уже заканчивались переговоры с Катковым о печатании, и 27 ноября Толстой отдал в «Русский вестник» привезенную им из Ясной Поляны рукопись, заканчивающуюся смертью графа Безухова. Окончание же первой части, переписанное С. А. Толстой, было лишь теперь прислано из Ясной Поляны, и Толстому предстояло править копию[20].

С. А. ТОЛСТАЯ
Фотография. 1863 г.

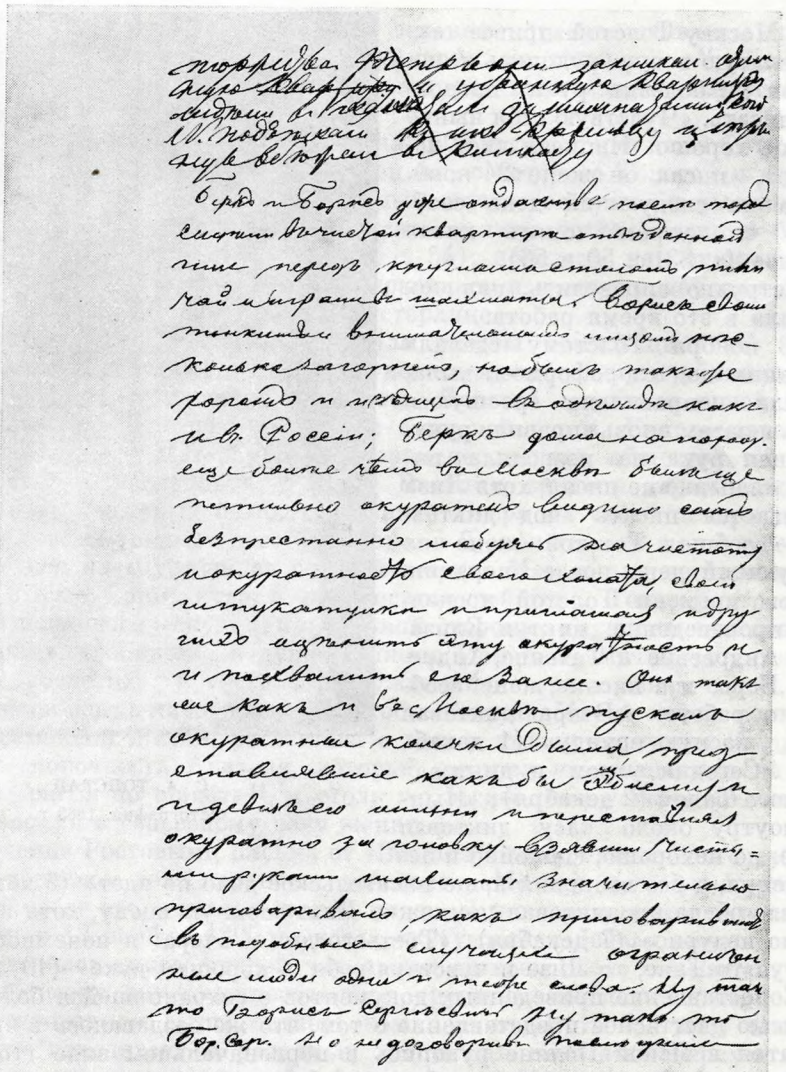
В Москву Толстой привез также начатую новую рукопись и, несмотря на болезнь руки, продолжал писать. «Чувствую себя нынче вообще хорошо. Написал лист недурно»,— писал он жене 24 ноября, а на следующий день сообщил, что утром «опять писал охотно» (т. 83, с. 50 и 56).

Нетрудно определить, над чем же шла в это время работа.

28 ноября Толстому сделали операцию под хлороформом: выламывали неправильно сросшуюся кость и затем вновь вправили руку. Больная рука не позволяла писать. «...нынче не писал, хотя Лиза вызывается писать под диктовку»,— сообщал Толстой жене на следующий день после операции. С этого времени Толстой продолжал произведение, диктуя Елизавете Андреевне и Татьяне Андреевне Берс, и в письме жене сообщал о работе: «Вчера диктовал Лизе ужасную ерунду» (1 декабря); «Сегодня утром я диктовал немного Тане» (2 декабря); «Нынче поутру около часу диктовал Тане, но нехорошо, спокойно и без волнения, а без волнения наше писательское дело не идет» (6 декабря) [21]; «После обеда продиктовал немножко Лизе военную сцену, хотя и без связи, но недурно» (7 декабря); «Третьего дня и вчера я понемногу писал, диктуя то Тане, то Лизе и чувствуя себя в хорошем духе» (10 декабря).

Сопоставление приведенных документов с сохранившейся большой рукописью дает ясное представление о том, что же создавалось в это время. Начатая в Ясной Поляне рукопись в первоначальном виде (то есть до последовавшей позднее переработки с большими вставками на 33-х отдельных листах) состояла из 250 листов. Первые двенадцать (авторская пагинация 1—12) — автограф. С оборота листа 12, включая первые шесть строк на обороте листа 16, текст рукой С. А. Толстой, очевидно, под диктовку в первые дни после вывиха руки; начиная со строки седьмой текст, написанный рукой С. А. Толстой, сменяется автографом и дальше (листы 16—34), включая рассказ о приезде князя Василия с Анатолем в Лысые Горы, создавался в Ясной Поляне до отъезда Толстого в Москву. На листе 35 первые четыре строки — автограф, а с пятой строки этого листа и до листа 166 — текст, писавшийся под диктовку, начиная со сцены приезда Николая Ростова в Измайловский полк, в гвардейский лагерь, где находились Борис Друбецкой и его ротный командир Берг, вплоть до описания озабоченности графа Ростова устройством обеда в Английском клубе для приема Багратиона. Только последние строки листа 166, начиная со сцены торжественного обеда в Английском клубе,— автограф, а дальше опять идет текст под диктовку, лишь в нескольких местах сменяясь автографом, последние же два листа этой большой по объему рукописи — вновь автограф.

Н. Н. Гусев утверждает, что не известно, какие главы писались под диктовку, так как рукопись не сохранилась, и считает ошибочным мое описание этой рукописи (№ 103), которая, по его мнению, «несомненно



СТРАНИЦА РУКОПИСИ 103

Первые пять строк — автограф; далее — рукой Е. А. Берс под диктовку Толстого

является копией с оригинала (несохранившегося) и предназначалась для отсылки в „Русский вестник“»[22]. Изучив эту рукопись последовательно, страницу за страницей, невозможно согласиться с Н. Н. Гусевым. Против его утверждения свидетельствует не только то, что начало и окончание рукописи — автограф, а также то, что время от времени текст, писавшийся под диктовку, иной раз на полуфразе сменяется автографом (то же и в упомянутых выше письмах к жене от 2—6 декабря: в продиктованном тексте постоянно появляются то 4, то 8, то 14 строк автографа). Подтверждается это и теми сходными по характеру ошибками в продиктованных письмах и продиктованном тексте рукописи. В письмах: «после твоего больш*ова* конверта», «разочаровался на счет своего писания», «ссориться из за како*во*-нибудь», «въследствие», «въ близи». В рукописи: «два дня тому назат», «отъ туда», «въ близи», «очевитно», «притчина», «женидьба», «прелесный», «чесных», «нисдоровье», «нисмотря», «тотъ час», «на несения», «обшеронцы» вместо «апшеронцы», «комуто», «чемуто»,

«по Дульмом» вместо «под Ульмом». Во всех автографах имена Nicolas, Lise во французской транскрипции, и при диктовке Толстой, видимо, так и произносил, а в рукописи появились: Николя, Лиз, вместо Берг — Берк, чего ни разу не встречается в автографе. Вряд ли могли бы появиться подобные ошибки даже при самом невнимательном копировании автографа.

Е. А. БЕРС
Фотография 1860-х годов

Итак, можно с уверенностью сказать, что в октябре-декабре 1864 г. создана рукопись предполагавшейся второй части, начавшаяся рассказом о изменившемся в светском обществе положении Пьера, ставшего богатым наследником, и доведенная до описания Тильзитского мира. Военная тема начиналась с кануна Аустерлица. Для описания военной обстановки, предшествовавшей Аустерлицкому сражению, и для картины самого сражения многое уже было найдено автором в процессе создания упомянутого выше седьмого варианта начала. Совпадения этих двух рукописей, в некоторых местах текстуальные, настолько значительны, что невольно возникает мысль: не пользовался ли Толстой при диктовке своей прежней рукописью? Наталкивают на это соображение и авторские пометы на полях вновь создаваемой рукописи: «Толки солдат из старого»; «Строгая нота из старого»; «Разговор с пленными, из старого». Во всяком случае, теперь или же при последующей обработке этой рукописи было использовано первое описание Аустерлицкого сражения. Содержание этого раздела определилось, и композиционное решение было найдено. Известные по завершенному произведению эпизоды входят в раннюю редакцию: Ольмюцкий лагерь, приезд гусара Николая Ростова в лагерь и встреча с гвардейцами Борисом и Бергом, его столкновение с Болконским, затем смотр, стычка при Вишау, военный совет у Кутузова и, наконец, самое сражение. Резче, чем в раннем эскизе, проступает тема обличения иностранного командования: оно заботится лишь о том, чтобы «австрийские начальники не были под командою русских», о том, чтобы «в тяжелые невидные места» посылать русских, а австрийцев «приберегать для тех мест, где должна была решаться участь сражения», и чтобы «слава завтрашней победы не могла быть отнята самонадеянными русскими варварами». Разумеется, ни в одном из исторических сочинений Толстой не мог найти подобных оценок. Сопоставляя все известные фактические данные, глубоко проникая в суть вещей, художник самостоятельно пришел к этим исторически верным выводам.

Неизбежно возникает обличительный тон, когда рассказ переходит к «высшим сферам армии», где большинство людей было занято не завтрашним сражением, а «совсем другими интересами» — личными. «Сотни штабных» хлопотали о том, «как бы им завтрашний день находиться в свите императоров»; некоторые добивались этого с мыслью, что «там, где будет император, менее всего опасности, некоторые из того соображения, что при императоре более всего будет награды». Совершенно иное настроение — в армии: всё было «пронизано чувством единства», в душе каждого

Т. А. БЕРС
Фотография. Москва, 1862 г. В конце 1864 г. в Москве Толстой диктовал сестрам Берс продолжение произведения

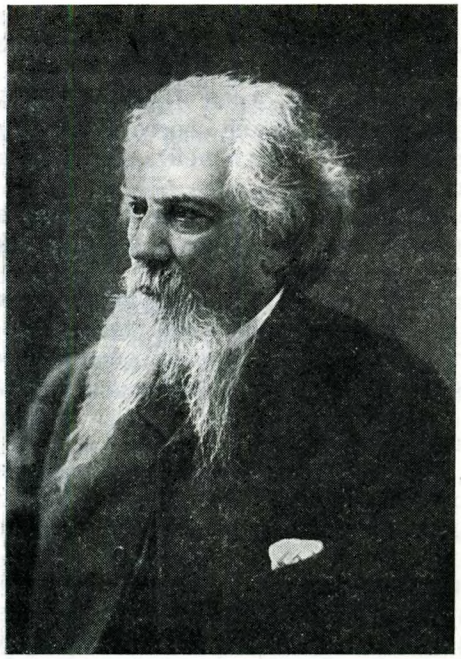
«билось одно и то же чувство воинской предприимчивости и самоуверенной надежды», и, глядя «на эти громадные массы», стройно двигавшиеся в одном направлении, каждому «становилось самоуверенно и весело на душе, и чувствовалось: что-то предпринимается великое и значительное». Авторское рассуждение не дошло до печати, но выраженная в нем мысль сохранилась.

В ранней редакции больше рассказано о тревогах и сомнениях князя Андрея в канун битвы. Ему стало ясно, что «решают сражения» не те приготовления, которые он наблюдал в штабе, а «единство мысли и действия, энергия и воодушевление, единство силы».

Картина самого боя, портреты Наполеона и Кутузова во время боя, поведение князя Андрея и других участников, ранее эскизно намеченные, облекались теперь в высокохудожественную форму. Важно отметить, что по созданному теперь варианту в Аустерлицком сражении участвуют Тимохин (он идет вместе с князем Андреем) и, главное, Тушин и его батарея, стрелявшая картечью. Князь Андрей — это было перед самым ранением — «издалека с радостью узнал на ней жалкую и милую симпатическую фигуру Тушина, со своей трубочкой ковылявшего между орудий». Тушин — это было последнее, что видел князь Андрей в момент ранения. Образ Тушина не разработан, но роль его и роль народа в сражении определена. (Надо помнить, что описания Шенграбенского сражения, в котором батарея Тушина займет большое место, еще не было.)

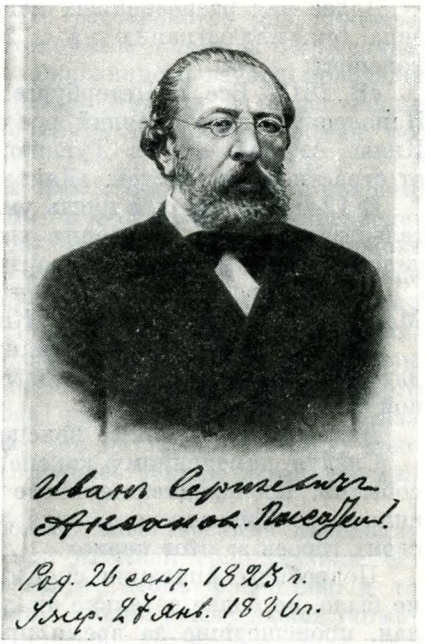
Вслед за сценой ранения князя Андрея следовала не доведенная до завершенного произведения глава с разбором плана Аустерлицкого сражения и анализом диспозиции, которые и были, по утверждению Толстого, одной из главных причин поражения. Затем следовал короткий эпизод трагедии на плотине Аугеста, где «выказался» весь «ужас дня». На этом страшном месте появляется Наполеон. «Всё в том же сюртуке, той же шляпе и с тем же безучастным лицом», и с тем же безучастным выражением, с каким он смотрел на живых, он разглядывал «неподвижные и движущиеся тела» на поле сражения. «Господа его свиты,— пишет Толстой,— содрогались, пожимали плечами, перешептывались при виде некоторых страшных изуродованных трупов, но на его лице не выражалось ничего». Так изображен Наполеон в вычеркнутом позднее отрывке. Но настроение, с которым он написан, сохранилось во всех сценах, участником которых был французский император. Неизменным осталось и отношение автора к Кутузову и русской армии, к штабной знати и иностранному командованию.

Всё созданное в процессе поисков начала использовано. Для продолжения произведения заготовок не осталось. Можно предположить, что в это время был намечен достаточно подробный конспект дальнейшего



А. М. ЖЕМЧУЖНИКОВ

Фотография. Москва, 90-е годы



И. С. АКСАКОВ

Фотография 1850-х годов

11 декабря 1864 г. в Москве Толстой читал А. И. Жемчужникову и И. С. Аксакову первые главы романа: «... им обоим, особенно Жемчужникову, чрезвычайно понравилось. Они говорят прелестно. А я и рад и веселей писать дальше» (из письма Толстого жене от 11 декабря 1864 г.— т. 83, с. 93)

действия, начиная с того момента, когда раненый князь Андрей видит вблизи Наполеона, который представляется ему теперь ничтожным и жалким. С рассказа о душевном состоянии князя Андрея начинается конспект и доводится до окончания произведения, каким оно представлялось Толстому в это время. Вот этот конспект:

«Князь Андрей, раненый, злится, стыдится, не хочет перевязок, везется, слышит разговор Репнина с Бонапартом.

Через 4 недели он был здоров и с одной мыслью не служить, жить с отцом, [зарыться] женой и ребенком, зарыться ехал в деревню. Как всегда после раны, ждал новой жизни».

Первоначально было: «[В Лысые Горы уже приехал] В Лысых Горах ждали акушера, вместо его приехал князь Андрей, за ним акушер. Она умерла. Старик притворился спящим, сын тихо вошел все-таки, сел. Старик дрогнул глазами. Сын — заплакал [и убежал], и они обнялись.

Поедем в Москву и княжна Марья.

Разговор с Pierr'ом. Всё пустяки, всё вздор, кроме дружбы. Любви мне не дал бог. Я был горд. Поедем к Ростовым. Князь Андрей без умиления и улыбки?[23] не может видеть и слышать голоса Наташи. Борис обижен, но успокоивается. Nicolas с Соней только дружны, но Nicolas помогает разорять именье. Долохов влюблен.

Прошло два года. Тильзит. Эрфурт. Анна Павловна любит Буонапарте. Князь Андрей ожил, едет в Турцию почти женихом Наташи. Берг женится. Старик умирает, дела расстроены. Они живут в бедности. Nicolas привозит Анатоля в деревню. Роман с Анатолем. Nicolas женится на княжне Марье. Роман. Князь Андрей убит. Едет в Турцию перед 9[24] годом. Nicolas в связи с Эленой. Pierre пьет».

Далее ряд разрозненных конспективных записей, каждая особо обведена (см. иллюстрацию на с. 28—29), а затем вновь последовательный конспект:

«В 1810. Все в Петербурге. Свадьба Берга. Анна Павловна любит Наполеона. Князь Василий сам себя заглушает, звуки своего голоса. Бал. Князь Андрей едет в Турцию, прощается с Н⟨аташей⟩. Она дрожит от страсти, а он холоден. «Дайте мне мужа».

В 12-м году старый князь умирает от злобы и волненья. Бредит ругательствами. M-lle Bourienne уговаривает княжну Марью принять подданство. Княжна Марья в азарте удивляет всех.

После Бородина съезжаются раненые, Андрей, Nicolas, Pierre, княжна Марья и Наташа. Bourienre. Княжна Марья не хочет жертвовать.

Конец. Князь Андрей командует полком под Красным, обожаем солдатами. Плачет с Pierr'ом. Pierre женат на Наташе. Nicolas лежит больной у княжны Марьи».

Дальше разрозненные конспективные записи[25].

Следуя намеченному конспекту, Толстой воссоздавал и исторические события, происходившие после окончания первой войны с Наполеоном вплоть до Тильзитского мира и свидания двух императоров, и жизнь своих героев за этот период.

Подробного описания сцены приезда Николая Ростова в отпуск еще не было, но более детально анализировались перемены в характере Николая, происшедшие за время пребывания в армии. Действие начиналось непосредственно хлопотами Ильи Андреича Ростова по устройству обеда в Английском клубе в честь Багратиона. Самая картина приема Багратиона и торжественного обеда написана без колебаний, как что-то хорошо известное и обдуманное.

Много внимания Толстой уделил раскрытию душевного состояния Пьера во время обеда в клубе, особо отметил вызванный разговорами о войне интерес Пьера к стратегии, заменивший его прежнее увлечение политикой. Описаны столкновения Пьера с Долоховым, дуэль, сцена между Пьером и Элен, затем разрыв его с женой и отъезд в Петербург. Более всего задерживал Толстого мятущийся Пьер, который ни в чем не мог найти себе душевной опоры и неожиданно обрел ее в масонстве. В отличие от известной по роману случайной встречи на станции с масоном Баздеевым, в ранней редакции некий старик масон приходит в Петербурге в гостиницу к Пьеру с намерением «обратить» его. Он разъясняет Пьеру его ошибки в личной жизни и вызывает его интерес к сути масонского учения, и «через неделю был назначен прием Безухова в Петербургскую ложу Северного Сияния». Масонский ритуал и зародившиеся в связи с ним сомнения Пьера пока еще не описаны.

Ясно представлялась писателю и жизнь Болконских в Лысых Горах, где после Аустерлица князя Андрея считали погибшим. Хорошо известные по роману сцены — неожиданный приезд князя Андрея в Лысые Горы, роды маленькой княгини и ее смерть — созданы еще в ранней редакции и без существенных изменений внесены в завершенный роман. Рассказ о Болконских закончился не дошедшим до печати кратким обзором военно-политических событий за полтора года, когда кончалась вторая война России с Наполеоном, когда «все сословия России уже не шутя стали ощетиниваться». Хотя князь Андрей «оставался верен своему слову не служить более в русской армии», и он, и отец его, «как ни различны и ни спорны были их взгляды», оба следили «с жадностью» за ходом политических и военных событий.

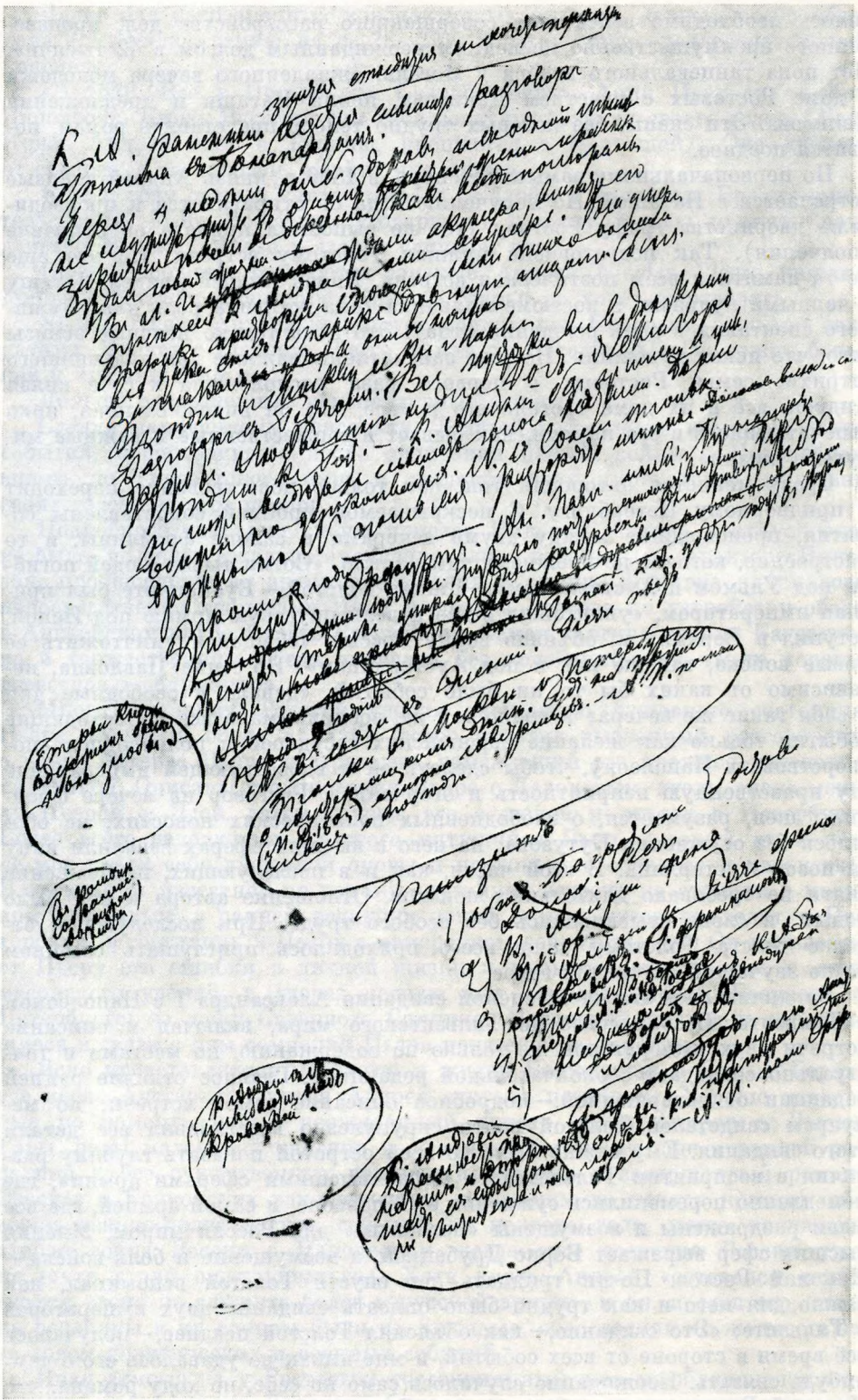
Иная атмосфера у Ростовых: гостеприимный дом, влюбляющаяся молодежь, предложение Долохова Соне и ее отказ, прощальная пирушка у Долохова и проигрыш Николая Ростова. После уплаты долга Николай уехал в свой полк «тихий, задумчивый и печальный», а старый граф с семьей «переехал в деревню, где его присутствие, как он думал, стано-

вилось необходимо вследствие совершенного расстройства дел, произведенного преимущественно последним неожиданным долгом в 42 тысячи». Нет пока танцевального вечера у Иогеля, оживленного вечера молодежи в доме Ростовых с участием Денисова, пения Наташи и предложения Денисова. Эти сцены, без которых трудно теперь представить роман, появятся позднее.

По первоначальному замыслу, теперь, в 1806 г., князь Андрей впервые встречается с Наташей. По поручению отца он отправляется к предводителю дворянства графу Ростову (тот не выполнил приказа об отправке ополчения). Так подготовлена нужная Толстому встреча. Но это еще не та памятная всем поэтическая встреча. Князь Андрей увидел Наташу с черными кудрями, в костюме мальчика (она готовила роль для домашнего спектакля в день рождения отца). Это пока только неясные эскизы того, что искал художник. Но уже запечатлены важные для дальнейшего штрихи: семья Ростовых с первого раза расположила к себе князя Андрея, всё в их доме трогало его и «всё, что он видел, слышал, ярко отпечатывалось в его памяти, как бывает в торжественные и важные минуты в жизни».

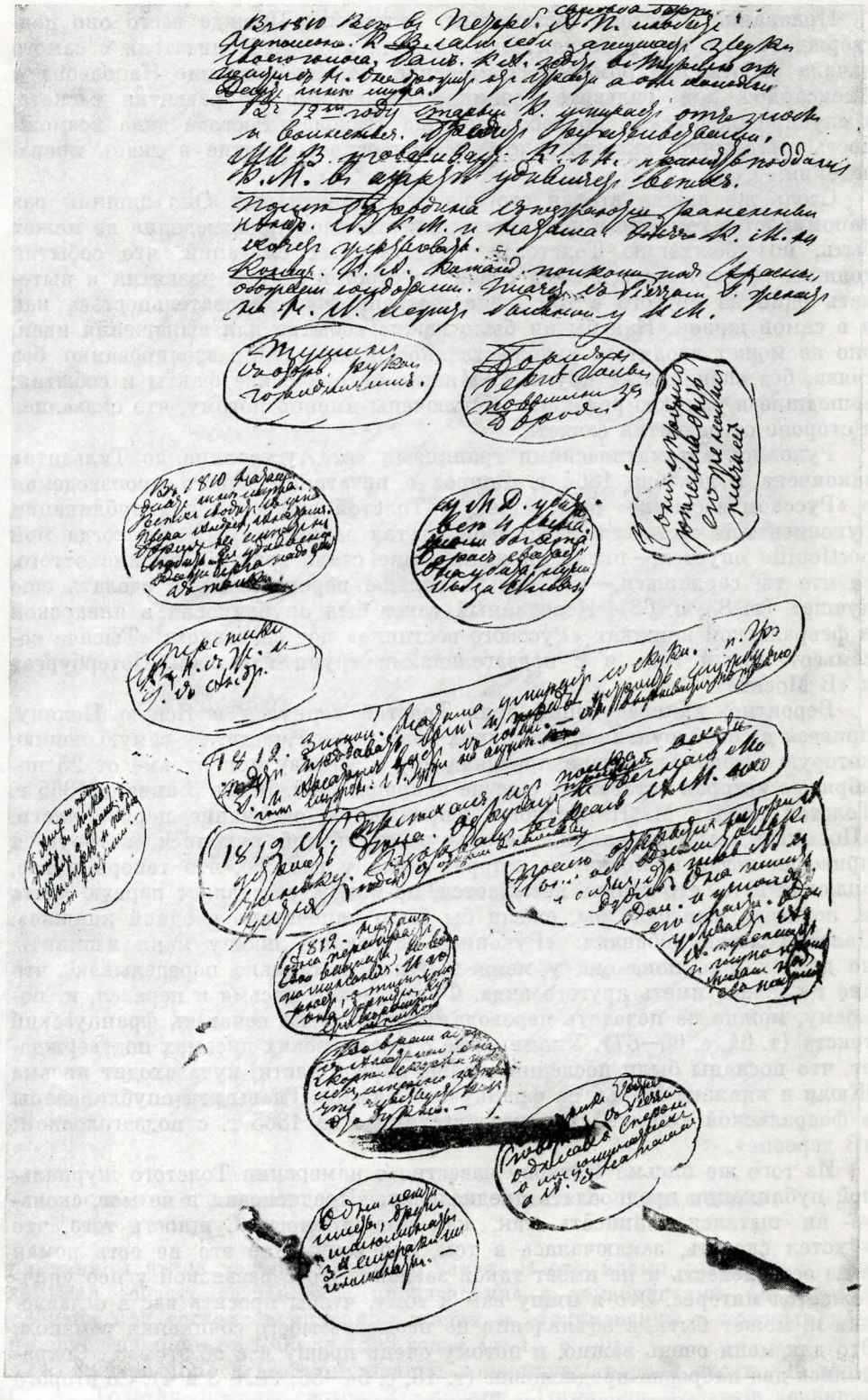
Сразу меняется авторский тон, как только повествование переходит к придворному Петербургу. С нескрываемой иронией сопоставлены события, происшедшие между двумя вечерами в салоне фрейлины, и то настроение, которое по-прежнему там царило. «Сотни тысяч людей погибли под Ульмом и Аустерлицем»,— пишет Толстой,— Буонапарте был признан императором, «уничтожил в две недели прусскую армию под Иеной, вступил в Берлин» и, объявив войну России, «обещался уничтожить ее новые войска, так же как и под Аустерлицем». Но Анна Павловна, независимо от каких бы то ни было событий, «давала в свободные дни у себя такие же вечера» и точно так же воспринимала все происходящие события только как желание европейских государей и полководцев «потворствовать Наполеону, чтобы сделать ей и вдовствующей императрице эту нравственную неприятность и огорчение». Разговор на вечере фрейлины шел, разумеется, о злободневных политических новостях; не обошлось без осуждения Кутузова; на него в высших сферах взвалили вину за позор Аустерлица. В этой части, как и в последующих, изображение знати не требовало длительных поисков. Отношение автора к ней было ясным, и слова отыскивались без особого труда. При последующей отделке текста Толстому чаще всего приходилось приглушать слишком резко звучащий авторский голос.

Заканчивалась эта часть сценой свидания Александра I с Наполеоном в Тильзите. Весь рассказ до Тильзитского мира, включая и описание встречи двух императоров, не только по содержанию, но местами и текстуально совпадает с окончательной редакцией. Главное отличие ранней редакции от завершенной — подробное описание самой встречи; по мемуарам свидетелей Толстой почти скрупулезно восстановил все детали этого свидания. Ему важно было со всей остротой показать глубину различия в восприятии Тильзитского мира «высшими сферами армии», где немедленно переменились суждения о Наполеоне, и самой армией, где все были раздражены и возмущены «позорным» для России миром. Мнения высших сфер выражает Борис Друбецкой, а возмущение и боль войска — Николай Ростов. Почти тридцать лет спустя Толстой вспоминал, как важно для него и как трудно было описать свидание двух императоров в Тильзите; «Это свидание,— как объяснял Толстой позднее,— получалось всё время в стороне от всех событий, и мне никак не удавалось его с чем-нибудь связать. Неожиданно случилось само по себе, по ходу романа, что Николай Ростов должен был по делу Денисова передать прошение государю и с этой целью ехать в Тильзит, а раз уже он поехал в Тильзит, я мог подробно представить это свидание двух императоров» [26].



СТРАНИЦЫ РУКОПИСИ

Конспект продолжения романа после сцены ранения князя Андрея в Аустерлицком сражении до конца и разрозненные конспективные записи



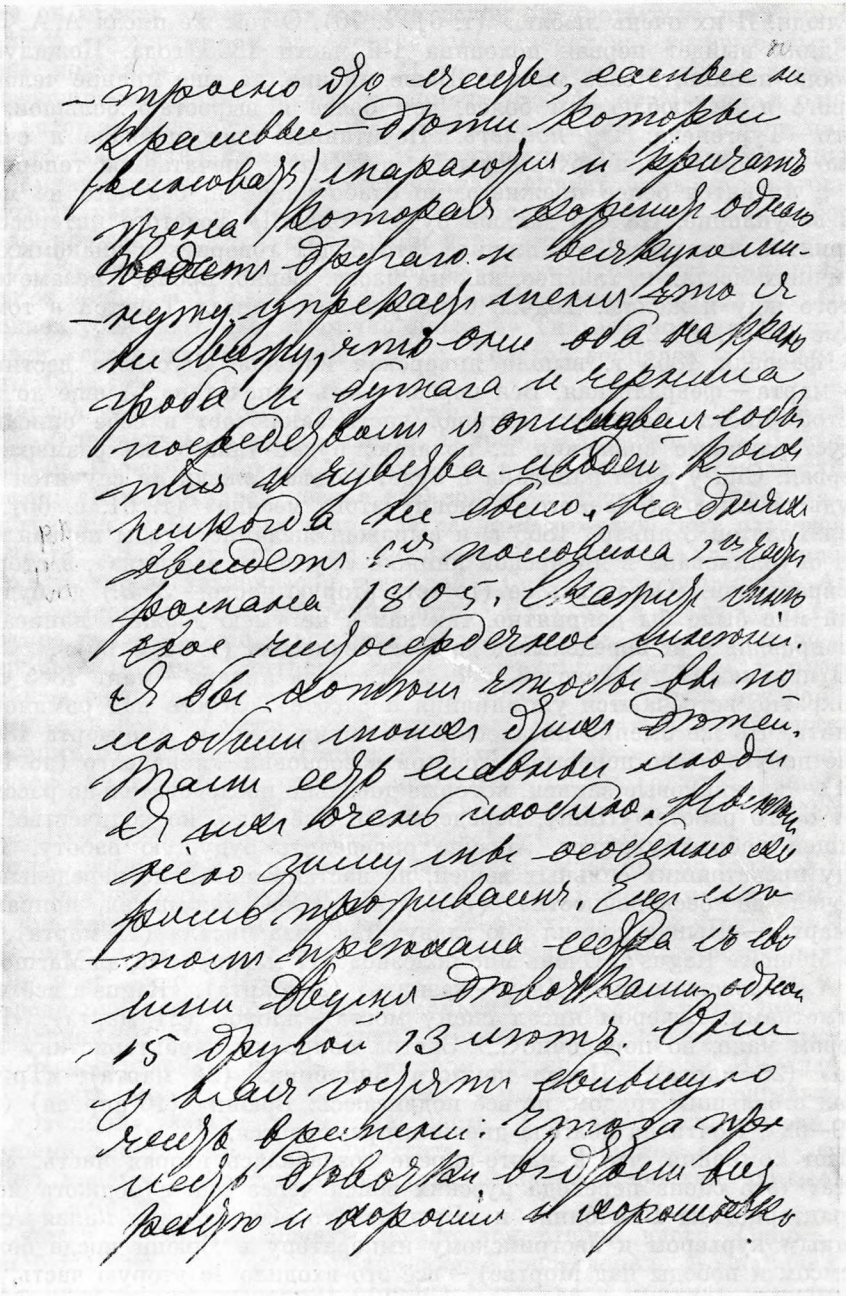
Признание Толстого чрезвычайно интересно. Прежде всего оно подтверждает, что историческая тема входила в замысел писателя с самого начала работы над романом. Намерение описать свидание Наполеона и Александра I в Тильзите возникло независимо от развития сюжета, а случившаяся «сама по себе» поездка Николая Ростова дала возможность органично включить это историческое событие в ткань произведения.

Столь же важна вторая сторона этого признания. Оно лишний раз напоминает о том, что в истинно художественном произведении не может быть, по убеждению Толстого, искусственных ситуаций, что события должны развертываться сами собой по строгой логике развития и вытекать одно из другого с той же естественной последовательностью, как и в самой жизни. Как бы ни было важно событие для выражения идеи, оно не может входить в художественное произведение изолированно, без связи, без сцепления с другими. Многие исторические факты и события, вошедшие в раннюю редакцию, исключены именно потому, что оказались в стороне от развития сюжета.

Рукопись с тематическими границами «от Аустерлица до Тильзита» закончена в декабре 1864 г. Вопрос о печатании нового произведения в «Русском вестнике» был решен, и Толстой уже сдал для публикации рукопись той части, текст которой считал законченным. «Но когда мой portfeuille опустел,— писал он жене,— мне стало грустно, именно оттого, за что ты сердишься,— что нельзя больше переправлять и сделать еще лучше» (т. 83, с. 63). Переданный текст был опубликован в январской и февральской книжках «Русского вестника» под заглавием: «Тысяча восемьсот пятый год» и с подзаголовками групп глав: «В Петербурге» и «В Москве».

Вероятно, на следующий день Толстой вернулся в Ясную Поляну, привезя с собой рукопись последних глав первой части, ту самую копию, которую Софья Андреевна прислала ему в Москву при письме от 25 ноября, но которая оставалась еще не исправленной. Лишь 3 января 1865 г. Толстой послал М. Н. Каткову исправленное окончание первой части. «Посылаю вам,— писал он,— остальную часть той рукописи, которую я привозил тогда в Москву и которая была у вас. То, что теперь у вас, включая и то, что теперь посылается, по-моему, составляет первую часть и, полагаю, выиграло бы, ежели бы было напечатано в одной книжке». Далее Толстой добавлял: «Рукопись исчеркана, прошу меня извинить, но до тех пор, пока она у меня в руках, я столько переделываю, что она не может иметь другого вида. Французские письма я перевел, и, по-моему, можно не печатать перевода, но нельзя не печатать французский текст» (т. 61, с. 66—67). Упоминание о французских письмах подтверждает, что посланы были последние главы первой части, куда входят письма Жюли и княжны Марьи на французском языке. Главы эти опубликованы в февральской книжке «Русского вестника» за 1865 г. с подзаголовком: «В деревне».

Из того же письма Каткову известно о намерении Толстого журнальной публикации предпослать предисловие. «Предисловия я не мог, сколько ни пытался, написать так, как мне хотелось. Сущность того, что я хотел сказать, заключалась в том, что сочинение это не есть роман и не есть повесть и не имеет такой завязки, что с развязкой у нее уничтожается интерес. Это я пишу вам к тому, чтобы просить вас в оглавлении и, может быть, в объявлении не называть моего сочинения романом. Это для меня очень важно, и потому очень прошу вас об этом» [27]. Сохранились два наброска предисловия (т. 13, с. 54—56; №№ 3 и 4). Со второго наброска была снята копия, но Толстой над ней не работал. Два существенных заявления писатель сделал во втором наброске предисловия. «Печатая одну часть сочинения без заглавия...» (т. 13, с. 55),— так начал Толстой. Стало быть, заглавие «Тысяча восемьсот пятый год» относилось



СТРАНИЦА ПИСЬМА ТОЛСТОГО А. А. ТОЛСТОЙ ОТ 18—23 ЯНВАРЯ 1865 Г.

на данном этапе только к первой части. В это время сохранялся еще замысел связать создаваемое произведение с декабристами. Он писал: «Задача моя состоит в описании жизни и столкновений некоторых лиц в период времени от 1805 до 1856 года» (т. 15, с. 56).

В январе 1865 г. Толстой правил корректуры первой части. Об этом С. А. Толстая писала сестре 27 января. Тогда же Толстой сообщал А. А. Толстой и А. А. Фету о выходе в ближайшее время начала произведения. «Скажите мне свое чистосердечное мнение,— просил он А. А. Толстую.— Я бы хотел, чтобы вы полюбили моих этих детей. Там есть слав-

ные люди. Я их очень люблю» (т. 61, с. 70). О том же писал А. А. Фету: «На днях выйдет первая половина 1-й части 1805 года. Пожалуйста, подробно напишите свое мнение. Ваше мнение, да еще мнение человека, которого я не люблю тем более, чем более я выростаю большой, мне дорого — Тургенева. Он *пойметь*. Печатанное мною прежде я считаю только пробой пера и ор⟨ешковых?⟩ черн⟨ил⟩ [28], печатаемое теперь мне хоть и нравится более прежнего, но слабо кажется, без чего не может быть вступление. Но что дальше будет — бяда!!!» Толстого интересовало восприятие читателей: «Напишите, что будут говорить в знакомых вам различных местах и, главное, как на массу. Верно, пройдет незамеченно. Я этого жду и желаю. Только б не ругали»,— писал Толстой в том же письме (т. 61, с. 72).

6 февраля 1865 г. вышла январская книжка «Русского вестника», а 18 марта — февральская. Вся первая часть напечатана. А еще до этого Толстой писал Каткову: «Вторая часть заключает в себе описание [29] и Аустерлицкого сражения и, полагаю, будет такого же размера, как и первая. Она у меня написана и будет готова (ежели не случится чего-нибудь со мною особенного) к концу этого месяца» (т. 61, с. 66). Так писал Толстой 3 января 1865 г. и выражал желание, чтобы первая часть была опубликована в январской книжке «Русского вестника», а вторая — в февральской. «Оставлять ее (то есть вторую часть.— *Э. З.*) до будущей осени мне было бы неприятно, так как я не умею держать написанное, не поправляя и не переделывая до бесконечности» (т. 61, с. 66).

В письмах С. А. Толстой и Т. А. Берс за январь — март 1865 г. неоднократно встречаются упоминания о работе Толстого над романом, но уяснить, что же именно писалось в это время, нельзя. А 7 марта 1865 г., после полугодового перерыва, Толстой возобновил — ненадолго (до 10 апреля) — дневниковые записи, которые довольно последовательно рассказывают о его работе. «Пишу, переделываю. Всё ясно, но количество предстоящей работы ужасает. Хорошо определить будущую работу. Тогда, ввиду предстоящих сильных вещей, не настаиваешь и не переделываешь мелочей до бесконечности» (7 марта). «Оба дня писал, поправлял» (9 марта). «Нынче кончил 8-ю главу. Два раза писал» (11 марта). «Читаю Mémoire Ragus'a. Очень мне полезно» (17 марта). «Читал Marmont'a». «В. А. Перовского плен. Даву — казнить» (20 марта). «Ragus'a всё читаю с отметками. Вечером писал сцену моста — плохо» (21 марта). «Писал вечером мало, но порядочно⟨...⟩ Завтра попробую характеристику Билибина» (23 марта). «Писал немного Билибина» (24 марта). «Три дня писал с большим трудом, но всё подвигаюсь: Брюнн» (10 апреля) (т. 48, с. 59—62). Почти на полгода дневник прерывается.

Нет сомнения, что в марте-апреле создавалась вторая часть: «сцена моста» (это сцена перехода русских войск через Энс и поджога моста), «характеристика Билибина» и «Брюнн» (то есть поездка князя Андрея военным курьером к австрийскому императору в Брюнн после боя под Кремсом и победы над Мортье) — всё это входило во вторую часть, работа над которой продолжалась до 24 сентября. 15 октября «две главы совсем обдумал. Брыков и Долохов не выходят». 1 ноября Толстой «писал довольно много. Окончательно отделал Билибина» и остался «доволен». 8—9 ноября «написал предшествующее сражению и уяснил всё будущее» [30].

Стало быть, лишь к концу 1865 г. была закончена вторая часть, содержащая описание Шенграбенского сражения. Не удается установить, как и когда возникла мысль еще раз отодвинуть хронологическую границу начала военных действий, то есть начать повествование не с кануна Аустерлицкого сражения, а с первых дней войны 1805 года, что, естественно, вызвало необходимость создать новую вторую часть.

Во время пребывания в Москве в конце 1864 г. Толстой усиленно собирал и изучал исторические материалы, работал в библиотеках. 7 де-

кабря он провел «часа три» в чертковской библиотеке за книгами очень для него «нужными» и за «портретами генералов», которые были ему «очень полезны» (т. 83, с. 88). В числе изучаемых тогда документов были сочинения французского дипломата Жозефа де Местра, в одной из книг которого подчеркнута гениальность полководца Кутузова и названы пять его «замечательных сражений», предшествовавших Аустерлицкому[31], что замалчивалось в русских источниках. Может быть, это натолкнуло на мысль рассказать и о начальном периоде войны, о Шенграбенской победе, прежде чем об Аустерлицком поражении.

Но это можно только предполагать,— документов, разъясняющих этот отход от ноября к 11 октября 1805 г., в нашем распоряжении нет. Однако рукописи убеждают, что, закончив описание Тильзитского свидания императоров, состоявшегося в июне 1807 г., Толстой вернулся к первым дням войны 1805 года.

Первая часть, к этому времени уже напечатанная в «Русском вестнике», заканчивалась отъездом князя Андрея Болконского из Лысых Гор на войну. Первый набросок создаваемой вновь второй части начинается словами: «Князь Андрей догнал главнокомандующего Кутузова на польской границе...» В соответствии с заглавиями тематических разделов первой части: «В Петербурге», «В Москве», «В деревне» — первый набросок второй части озаглавлен: «За границей». Содержание его: князь Андрей перед началом военных действий в штабе Кутузова в Браунау. В главной квартире князь Андрей чувствовал себя «в том же, столь надоевшем ему, петербургском мире интриг, женщин, французских фраз и пустоты». Штабные офицеры «возбуждали в нем чувство не только презрения, но отвращения и гадливости своей грубостью, грязностью и пошлостью занимавших их интересов». Напротив, находясь в командировках или при Кутузове во время смотров, он испытывал сильно одушевлявшее, поднимавшее в нем энергию чувство при виде «симметричных двигающихся масс». Впечатления князя Андрея позволяют узнать обстановку главной квартиры, да и сам автор рассказывает о «враждебной, но учтивой дипломации австрийских и русских властей», о невыгодном положении Кутузова при австрийском дворе, о начале военных действий в октябре 1805 г., о предписании Кутузову идти на помощь Макку. На этом рукопись обрывается (т. 13, с. 416—419).

Среди рукописей сохранился маленький набросок в пятнадцать строк, озаглавленный: «Часть 2. Глава I. Поход». Он открывается выступлением Павлоградского полка, в котором служил юнкером Николай Ростов[32]. Быть может, у Толстого был замысел текстом, озаглавленным «За границей», закончить первую часть, а вторую часть начать сразу военными действиями. Если допустить это, то набросок «Поход» следует считать первым вариантом начала второй части. Вероятно, замысел этот отпал, и набросок был отброшен.

Толстой продолжал искать начало для второй части. Одно из них вновь было озаглавлено: «За границей». Удовлетворила его наконец в качестве начала (без названия) стоянка Кутузова в Браунау и подготовка пришедшего полка к смотру. По новому замыслу народ на войне впервые будет изображен не в Аустерлице, а в начальный период войны. Толстой стремится показать национальный дух армии в тот момент, когда она впервые появляется в действии. Два плана и ряд конспективных записей, относящихся к создаваемой новой части (т. 13, с. 27—30), говорят о том, что такой план уже созрел.

Судя по приведенной выше дневниковой записи от 10 апреля 1865 г., повествование было доведено до отступления русских войск к Шенграбену. Несколько раз Толстой перерабатывал характеристику Билибина, а также описание пребывания князя Андрея в Брюнне (т. 13, с. 333—351). Дневник прерывается на несколько месяцев. 16 мая Толстой сообщил А. А. Фету: «Я всё пишу понемножку и доволен своей работой»

ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТЪ ПЯТЫЙ ГОДЪ.

ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ. [1]

I.

— Eh bien, mon prince, Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des помѣстья, de la famille Buonaparte. Non, je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole, j'y crois) —je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus мой вѣрный рабъ, comme vous dites. [2] Ну, здравствуйте, здравствуйте. Je vois que je vous fais peur [3], садитесь и разказывайте.

[1] Чтобы сохранить колоритъ разговора дѣйствующихъ лицъ, авторъ весьма часто употребляетъ французскія фразы. Для незнающихъ французскаго языка присоединяется въ подстрочныхъ выноскахъ переводъ французскихъ выраженій текста. *Ред.*

[2] Ну что, князь, Генуя и Лукка стали не больше какъ помѣстьями фамиліи Бонапарте. Нѣтъ, я вамъ впередъ говорю, если вы мнѣ не скажете, что у насъ война, если вы позволите себѣ защищать всѣ гадости, всѣ ужасы этого Антихриста (право, я вѣрю что онъ Антихристъ),—я васъ больше не знаю, вы ужь не другъ мой, вы ужь не рабъ мой вѣрный, какъ вы говорите.

[3] Я вижу, что я васъ пугаю.

ВЪ МОСКВѢ.

XIV.

Князь Василій исполнилъ обѣщаніе данное имъ, на вечерѣ у Анны Павловны, пожилой дамѣ просившей его о своемъ единственномъ сынѣ Борисѣ. О немъ было доложено государю, и, не въ примѣръ другимъ, онъ былъ переведенъ въ гвардію Семеновскаго полка прапорщикомъ. Но адъютантомъ, или состоящимъ при Кутузовѣ, Борисъ такъ и не былъ назначенъ, несмотря на всѣ хлопоты и происки Анны Михайловны. Вскорѣ послѣ вечера Анны Павловны, Анна Михайловна вернулась въ Москву, прямо къ своимъ богатымъ родственникамъ Ростовымъ, у которыхъ она стояла въ Москвѣ, и у которыхъ съ дѣтства воспитывался и годами живалъ ея обожаемый Боренька, только что произведенный въ армейскіе и тотчасъ же переведенный въ гвардейскіе прапорщики. Гвардія уже вышла изъ Петербурга 10-го августа, и сынъ, оставшійся для обмундированія въ Москвѣ, долженъ былъ догнать ее по дорогѣ въ Радзивиловъ.

У Ростовыхъ были именинницы Натальи, мать и меньшая дочь. Съ утра, не переставая, подъѣзжали и отъѣзжали цуги, подвозившіе поздравителей къ большому, всей Москвѣ извѣстному дому графини Ростовой, на Поварской. Графиня съ старшею дочерью и гостями, не перестававшими смѣнять одинъ другаго, сидѣли въ гостиной. Графиня была женщина съ восточнымъ типомъ худаго лица, лѣтъ сорока пяти, видимо изнуренная дѣтьми, которыхъ у ней было двѣнадцать человѣкъ. Медлительность ея движеній и говора, происходившая отъ слабости силъ, придавала ей значительный видъ, внушавшій уваженіе. Княгиня Анна Михайловна Друбецкая, какъ домашній человѣкъ, сидѣла тутъ же, помогая въ дѣлѣ принимания и заниманія разговоромъ гостей. Молодежь была въ заднихъ комнатахъ, не находя нужнымъ

Boris. Mais il n'a pas eu le temps. J'espère, mon cher ami, que vous remplirez le désir de votre père. [1]

Пьеръ ничего не понималъ, и молча, застѣнчиво краснѣя, что съ нимъ рѣдко бывало, смотрѣлъ на княгиню Анну Михайловну. Переговоривъ съ Пьеромъ, Анна Михайловна уѣхала къ Ростовымъ и легла спать. Проснувшись, утромъ, она разказывала Ростовымъ и всѣмъ знакомымъ подробности смерти графа Безухаго. Она говорила, что графъ умеръ такъ какъ и она желала бы умереть, что конецъ его былъ не только трогателенъ, но и назидателенъ; послѣднее же свиданіе отца съ сыномъ было до того трогательно, что она не могла вспомнить его безъ слезъ, и что она не знаетъ кто лучше велъ себя въ эти страшныя и торжественныя минуты: отецъ ли, который такъ все и всѣхъ вспомнилъ въ послѣднія минуты и такія трогательныя слова сказалъ сыну, или Пьеръ, на котораго жалко было смотрѣть, какъ онъ былъ убитъ и какъ, несмотря на это, старался скрыть свою печаль, чтобы не огорчить умирающаго отца. „C'est pénible, mais cela fait du bien; ça élève l'ame de voir des hommes comme le vieux comte et son digne fils,“ говорила она. О поступкахъ княжны и князя Василья она, не одобряя ихъ, тоже разказывала, но подъ большимъ секретомъ и шепотомъ.

ВЪ ДЕРЕВНѢ.

XXXIII.

Въ Лысыхъ Горахъ, имѣніи князя Николая Андреевича Болконскаго, ожидали съ каждымъ днемъ пріѣзда молодаго князя Андрея съ княгиней, но ожиданіе не нарушало стройнаго порядка, по которому шла жизнь въ домѣ стараго князя. Генералъ-Аншефъ, князь Николай Андреевичъ,

[1] Послѣ я, можетъ-быть, разкажу вамъ, что еслибъ я не была тамъ, то Богъ знаетъ что бы случилось. Вы знаете, что дядюшка третьяго дня обѣщалъ мнѣ не забыть Бориса, но не успѣлъ. Надѣюсь, мой другъ, вы исполните желаніе отца.

[2] Это тяжело, но его здорово; душа возвышается когда видишь такихъ людей какъ старый графъ и его достойный сынъ.

(т. 61, с. 82). И Толстой предполагал, что в сентябре сможет начать печатание второй части (т. 61, с. 91). Предположение оправдалось. 16 июля Толстой читал А. А. Фету «военные сцены в романе» [33]. Через десять дней он уехал к П. Н. Новосильцеву, в его имение «Воин» Орловской губернии, оставив жене рукопись для копирования. Из писем С. А. Толстой выясняется, над чем же в эту пору работал Толстой: «...я всё списывала, но дело идет тихо. Начну списывать, то дети помешают, то мухи кусали ужасно, то станет интересно, и я читаю дальше и начинаю думать и судить сама себе о всех лицах и действиях твоего романа. Мне очень Долохов нравится. Но я чувствую себя все-таки действительно пошлой читающей публикой». Два дня спустя: «Нынче переписывала и прочла вперед немного, что я еще не видала и не читала, а именно, как жалкий повязанный старичок Макк приехал сам признаться, как его разбили, а кругом его любопытные адъютанты, а он почти рыдает, и его свидание с Кутузовым. Мне ужасно это понравилось, оттого и пишу об этом тебе» [34]. Ясно, таким образом, что летом переписывалась первая половина второй части.

С 21 по 25 сентября Толстой с семьей провел у Дьяковых в имении Черемошня; там он читал вслух написанное в последнее время. «Их не занимает,— записал Толстой в дневнике 24 сентября.— Но мне показалось настолько недурно, что не стоит переделывать. Nicolas надо придать любовь к жизни и страх смерти на мосту. А Андрею — воспоминания сраженья в Брюнне» [35] (т. 48, с. 53). Конец сентября и весь октябрь были посвящены работе над окончанием второй части.

29 сентября Толстой писал брату, С. Н. Толстому, что «с осенью начал усерднее писать» и надеется «через несколько недель кончить 2-ю часть» (т. 61, с. 106). 15 октября в дневнике отмечено: «Две главы совсем обдумал. Брыков и Долохов не выходят. Мало работаю» (т. 48, с. 65). Речь идет об эпизоде Шенграбенского сражения: «геройский поступок» роты Брыкова, в которой состоял разжалованный Долохов. (В процессе переработки Брыков был переименован в Тимохина; уже под этой фамилией он вошел в журнальную публикацию.) 17 октября Толстой отметил в дневнике, что «для Долохова видел на охоте местность и ясно». 20 октября: «Перечитывал, переправлял, идет дело. Долохова сцену набросал». 21 октября: «К вечеру обдумывал Долохова» (т. 48, с. 65). Дальнейших сведений ни о работе, ни о дате отсылки второй части в набор, ни о правке корректуры — нет.

Не менее девяти месяцев Толстой был занят второй частью. Относящиеся к ней рукописи составляют 251 лист автографов и правленных копий. Наборная рукопись и корректуры не сохранились.

По сохранившимся же черновым автографам легко уясняется, что́ именно потребовало наибольших творческих усилий. Выразительнее, чем в завершенном тексте, представлено состояние армии в первый период войны, ее национальный дух. Войска проходили польские деревни и города, проходили Богемию и всё «с русскими песнями, русским говором, русскими мыслями и русскими привычками», «пронося везде русский дух», и «чем дальше уходили, тем плотнее сжимался этот, точно кусок России, который оторвался от нее и пошел с штыками и песнями, пешком и верхом ходить по разным землям, и чем дальше, тем беззаботнее и веселее и руссее казался этот оторванный кусок России».

Не дошла до печати небольшая глава с краткими сообщениями о сражениях при Ламбахе, Амштеттене, Мёльне и Кремсе, что лишний раз свидетельствует об авторской позиции на раннем этапе работы, об его отношении к историческим источникам. Цитируя письмо французского маршала Ланна к Наполеону о том, что «русские удирают еще быстрее», чем их преследуют французские войска, что «эти несчастные (русские.— *Э. З.*) не задерживались даже ни разу, чтобы принять сражение», Толстой сделал примечание: «Тьер приводит только это место из письма Ланна

Бонапарту. Оно ему, очевидно, нравится потому, что Ланн лжет нагло, как и лжет вся невежественно-легкомысленная книга Тьера. Каким образом книга Тьера „Le Consulat et l'Empire" может считаться серьезным сочинением? Непостижимо для каждого человека, сколько-нибудь занявшегося изучением той эпохи, которая описывается в этой книге. Книга эта, по моему мнению, принадлежит к разряду путешествий и историй Al. Duma» (т. 13, с. 439).

Много заботился Толстой о том, чтобы в художественных сценах показать невыгодное положение и серьезные трудности, создавшиеся для Кутузова и русского войска с самого начала войны, когда «кутузовскому 40-тысячному войску, необутому, плохо кормленному, предстояло не только отступать перед вдвое сильнейшим победителем, хорошо продовольствованным неприятелем, среди чужой, дурно расположенной страны, готовой к предательству как в своих низших, так и высших представителях, но и удерживать этого неприятеля по дороге в Вену уничтожением мостов и ариергардными сражениями, о чем каждый день писал к Кутузову австрийский император». Не раз Толстой подчеркивал, что, сохраняя вид подчинения главному командованию, Кутузов старался даже в тех сложных условиях действовать по собственному обдуманному плану (пути отступления от Кремса, Кремское сражение и др.).

Важно было также в художественных сценах охарактеризовать и разоблачить австрийские высшие военные сферы и придворный круг, а также русских дипломатов (кружок Билибина). Для этой цели использован приезд князя Андрея в Брюнн. Общее настроение австрийского двора показывало, говорит Толстой, что «войною, собственно, мало занимались в Брюнне. Жизнь с придворной обстановкой, щегольством, праздниками и женщинами шла так же, как будто не было никогда в государстве ни гошпиталей с тяжелым запахом, наполненных стонущими, бледными ранеными, ни выжженных и покинутых деревень, ни Вены, в которой уже командовал Мюрат». Почти сатирически изображены «низшие придворные лица», старавшиеся вступить в разговор с князем Андреем после его аудиенции у императора. Толстой сравнил их с «алчущими животными у колодца», которые «ежели не могут достигнуть до самого источника драгоценной влаги, то жадно рвутся высосать ту влагу, которая выливается на доступное им корыто». И князь Андрей в этот момент «почувствовал себя этой бадьей, выходящей из колодца, перед столпившимся стадом, когда он вышел из двери кабинета императора».

Самый образ князя Андрея, эволюция его взглядов — были также предметом напряженного творческого труда. Толстой как бы подготавливал своего героя к подвигу в Аустерлицком сражении, который уже давно был обдуман и в предшествующей рукописи художественно изображен. Толстой вел князя Андрея к вере в силы народа, постепенно сталкивая его с различными кругами людей, вводя его в ту атмосферу, в которой взгляды Болконского на войну и военное дело, высказываемые им в первой части произведения, изменялись. Среда, в которой оказывался князь Андрей, и события, в которых он участвовал (штаб Кутузова, сражение под Кремсом, встреча с обозом русских раненых по дороге в Брюнн, прием у австрийского императора, лагерные сцены в Грунте, капитан Тушин и, наконец, Шенграбенское сражение), обрисованы в черновых текстах более подробно и порою более резко. В отличие от журнального текста и особенно от завершенной редакции, в черновой большое место занимает повествование от лица автора, слишком явно выступает оценка им событий и лиц.

К преодолению этого, к замене авторских рассуждений художественными сценами были направлены усилия Толстого при работе над первой редакцией романа. Подробнее рассказывалось, как в результате личных впечатлений менялось отношение князя Андрея к солдатам. «Несмотря на свое философское воспитание конца 18-го века и несмотря на свою

любовь к военному делу, князь Андрей никогда не думал, что в военном деле что-нибудь значат люди, как солдаты и мелкие офицеры, никогда не думал, что от них зависит что-нибудь в военном деле». Такова первоначальная позиция князя Андрея. После Брюнна, вернувшись в армию и объезжая позиции перед Шенграбенским сражением, князь Андрей уже иначе относится к войску, и особенно сильное впечатление производит на него разговор с капитаном Тушиным [36], к мыслям которого о войне и военном деле постепенно приближается князь Андрей.

Основная, даже решающая роль в предстоящей перемене взглядов князя Андрея была предназначена Тушину в Шенграбене. Добиться психологической точности удалось лишь после многократной переработки глав, предшествующих Шенграбенскому сражению. В черновом варианте читаем схематический набросок размышлений князя Андрея после битвы: «Я всё могу. Могу найти смысл в этих толпах и мысль». Далее от лица автора: «Князь Андрей в избе записывает, ему мелькает мысль, что Тушин прав, но он стремится разумом обнять всё».

Шенграбенское сражение, атака, в которой участвовал Николай Ростов, так же как и всё окончание второй части, и по содержанию и по художественной форме удались Толстому почти сразу.

Вторая часть дана в переписку, и с первых чисел ноября 1865 г. появляются свидетельства Толстого о работе над продолжением. «Весь день хорошо обдумывал много, писал мало»,— отметил он в дневнике 3 ноября (т. 48, с. 66). В этот же день в письме к А. Е. Берсу: «Я свеж, весел, голова ясна, я работаю — пишу по 5—6 часов в день 〈...〉 Дописываю теперь, т. е. переделываю, и опять и опять переделываю свою 3-ю часть. Эта последняя работа отделки очень трудна и требует большого напряжения; но я по прежнему опыту знаю, что в этой работе есть своего рода вершина, которой достигнув с трудом, уже нельзя остановиться, и, не останавливаясь, катишься до конца дела. Я теперь достиг этой вершины, и знаю, что теперь хорошо ли, дурно ли, но скоро кончу эту 3-ю часть. Не кончив же эту часть, мы не тронемся в Москву» (т. 61, с. 111).

Исходя из авторской даты: 21 декабря 1865 г., которая проставлена в конце последней главы второй части в апрельской книжке «Русского вестника», исследователи сделали ошибочный вывод, что в ноябре 1865 г. Толстой называл вторую часть «третьей», считая «первой» то, что было напечатано в январской книжке «Русского вестника», то есть главы I—XXVIII первой части, «второй» — напечатанное в февральской книжке, то есть главы XXIX—XXXVIII [37].

Бесспорным доказательством того, что всё опубликованное в первых двух книжках «Русского вестника» Толстой считал первой частью, служит намеченное Толстым распределение текста по частям:

«1 ч. что напечатано.

2 ч. до Аустерлица включительно.

3 ч. до Тильзита включительно.

4 ч. Петербург до объяснения Андрея с Наташей включительно.

5 ч. до эпизода Наташи с Анатолем и объяснения Андрея с Pierr'ом включительно.

6 ч. до Смоленска.

7 ч. до Москвы.

8 ч. Москва.

9 ч. Тамбов.

10 [38].

Нет сомнения, что Толстой намечал такое деление, когда была напечатана только первая часть, до начала печатания второй части, то есть до февраля 1866 г. Уясняется также, что он намеревался объединить во второй части описание Шенграбенского и ранее написанного Аустерлицкого сражений, а в третью часть включить всё после Аустерлица до

Тильзита, то есть бо́льшую часть рукописи, созданной год тому назад. Толстой ведь ясно говорит в цитированном выше письме А. Е. Берсу, что он дописывает теперь, то есть вновь и вновь переделывает, свою третью часть. Не пишет, а дописывает и переделывает. Стало быть, в ноябре-декабре 1865 г. Толстой исправлял и перерабатывал рукопись, создававшуюся в большей части под диктовку в октябре-декабре 1864 г., которая и считалась тогда третьей частью — «от Аустерлица до Тильзита».

Намерение включить во вторую часть описание Аустерлицкого сражения отпало, и вторая часть, содержащая описание только Шенграбенского сражения, была опубликована в «Русском вестнике» в феврале — апреле 1866 г. под тем же заголовком «Тысяча восемьсот пятый год» — с подзаголовком «Война». На этом печатание прекратилось. Толстой решил не печатать по частям незаконченное произведение, а выпустить отдельным изданием уже завершенную книгу[39].

Важным свидетельством того, что приведенное распределение материала по частям было намечено в период обработки рукописи «от Аустерлица до Тильзита», которая считалась тогда третьей частью, служит сделанная на том же листке помета: «104 псалом». Именно в этой рукописи при описании родов маленькой княгини содержится текст о княжне Марье, которая в это время сидела в своей комнате и, раскрыв псалтырь, «стала читать 104 псалом». После этой фразы в рукописи строка точек, означающая, что сюда должен был быть вписан текст псалма. На том же листке есть еще одна запись, связанная с этой «третьей частью»: «Вольные хлебопашцы». Толстому нужно было выяснить этот вопрос в связи с попытками Пьера улучшить положение своих крестьян, что входило в обрабатываемую им тогда и считавшуюся третьей часть, а также для описания мероприятий князя Андрея в Богучарове, с чего начиналась следующая часть.

Итак, в первой половине ноября 1865 г. Толстой перерабатывал и дописывал ранее созданную рукопись в соответствии с возникшим замыслом начать военную тему не с Аустерлицкого, а с Шенграбенского сражения, которое и вошло в новую написанную вторую часть.

«Писал много, всё неудачно. Но идет вперед»,— записано в дневнике 6—7 ноября. «Вчера избыток и сила мысли. Написал предшествующее сражению и уяснил всё будущее»,— отмечено 9 ноября (т. 48, с. 66). Очевидно, обработано и дописано было всё, что предшествовало Аустерлицкому сражению[40]. Тогда же, 9 ноября, Толстой «взял важное решение не печатать до окончания всего романа» (т. 48, с. 66). Вот почему, вероятно, вторая часть текста, посланного в «Русский вестник», включала в себя только описание Шенграбенского сражения. 12 ноября в дневнике Толстого записано: «Кончаю 3-ю часть. Многое уясняется хорошо» (т. 48, с. 66). На этой записи дневник прервался почти на тринадцать лет, до 17 апреля 1878 г. Для датирования дальнейшего процесса работы служат разрозненные отрывки в записных книжках, переписка Толстого и, главное, сами рукописи.

14 ноября 1865 г. Толстой сообщал А. А. Толстой: «Романа моего написана только 3-я часть, которую я не буду печатать до тех пор, пока не напишу еще 6 частей, и тогда — лет через пять — издам отдельным сочинением» (т. 61, с. 115). Сопоставление этого письма с приведенным выше авторским распределением материала по частям убеждает, что оно составлялось именно в середине ноября, когда были написаны три части «до Тильзита» и намечены темы следующих шести.

В прежнем описании Аустерлицкого сражения, которое вошло в третью часть, пришлось исключить разговоры о Шенграбенском сражении, поскольку было создано описание самого сражения, исключить эпизод с батареей Тушина, ставший теперь центральным в Шенграбене.

Первая часть напечатана. Вторая часть готовится к сдаче в печать. Переработка третьей части завершается. Дальнейшее обдумано. На полях

одного из листов большой рукописи, заканчивающейся Тильзитом, Толстой отметил объем готового текста в авторских листах.

В Петербурге В Москве	9 л.		В Москве В Петербурге	3	
В Петербурге В Москве В деревне	9 л.		В Москве В Петербурге и деревне	3	
За границей	7 л.		Тильзит	5	
В Петербурге В деревне В Москве	4	28	Письмо В Петербурге	5	
Аустерлиц	5		В деревне В Турции	3	
В Москве В деревне	3				

Эт написанного к ко бытия жизни в Петербурге, Москве и деревне равномерно перемежаются с военными: «За границей» (то есть Шенграбен, Аустерлиц, Тильзит).

Одновременно с переработкой третьей части шла переписка второй. «Уж у меня рука не ходит писать, я целыми днями переписываю Левочке»,— сообщала С. А. Толстая сестре 16 ноября 1865 г. Готовилась, очевидно, наборная рукопись второй части для «Русского вестника». Вероятно, просмотрев переписанный текст, Толстой подписал: «21 декабря 1865 г.» — дата, завершающая публикацию романа в журнале.

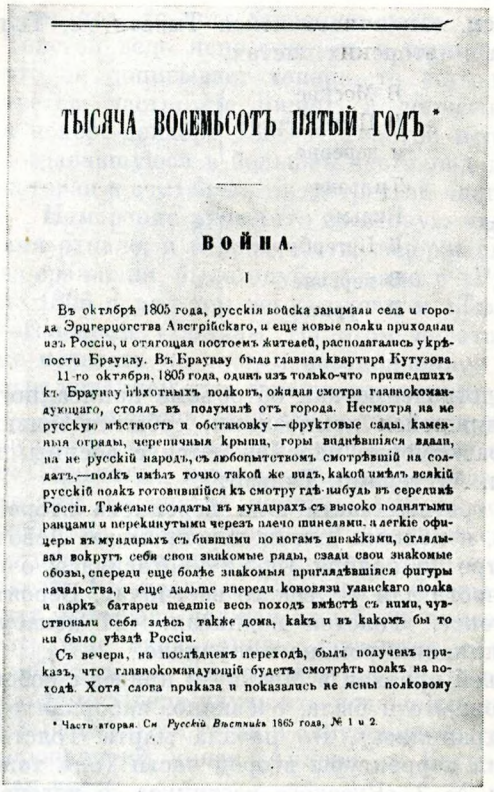
В январе 1866 г. Толстой с семьей приехал в Москву и привез с собою рукопись в восемь печатных листов; это и была, очевидно, наборная рукопись второй части (она не сохранилась). До начала марта Толстой пробыл в Москве, вероятно, правил корректуры второй части (они тоже не сохранились). 11 марта вышел № 2 «Русского вестника», в котором были напечатаны первые девять глав второй части; 14 апреля — № 3 с главами X—XIV и 20 мая — № 4 (апрельская книжка) с последними главами: XV—XXIV.

Перед отъездом в Москву Толстой писал А. А. Фету: «...я довольно много написал нынешнюю осень своего романа. „Ars longa, vita brevis“ [41], думаю я всякий день. Коли бы можно бы было успеть $^1/_{100}$ долю исполнить того, что понимаешь, но выходит только $^1/_{10000}$ часть. Все-таки это сознание, что могу, составляет счастье нашего брата. Вы знаете это чувство. Я нынешний год с особенной силой его испытываю» (т. 61, с. 125).

Действительно, в конце 1865 г. Толстой испытывал состояние большого творческого подъема. Надолго исчезают из его писем сетования на то, что работа не идет. В Москве в этот приезд он много занимался в библиотеках; в кругу близких людей читал отрывки романа, вернее всего главы из привезенной рукописи второй части [42]. В феврале 1866 г. Толстой писал двоюродной тетке, что воспользовался пребыванием в Москве, чтобы оживить в себе воспоминание о свете и о светских людях, которое становилось в нем «слишком отвлеченным». «А мне нужно,— писал Толстой,— уметь более или менее верно судить людей, потому что я их стараюсь описывать» (т. 61, с. 128).

Завершив переработку третьей части «до Тильзита включительно» и приняв решение, не закончив произведения, не печатать его больше по частям, Толстой начал новую рукопись, открыв ее четвертой частью, тема которой была им определена так: «Петербург до объяснения князя Андрея с Наташей». Без перерывов, на одном дыхании, пишет Толстой дальше свой роман до конца.

Сохранилась единая рукопись — автограф, завершающий раннюю редакцию произведения; в рукописи 363 листа, исписанных с двух сторон. Текст начинается с обзора событий после Тильзитского мира и заканчивается кратким конспектом эпилога, каким он представлялся автору по первоначальному замыслу. Внешний вид рукописи говорит о том, что



ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТЪ ПЯТЫЙ ГОДЪ*

ВОЙНА.

I

Въ октябрѣ 1805 года, русскія войска занимали села и города Эрцгерцогства Австрійскаго, и еще новые полки приходили изъ Россіи, и отягощая постоемъ жителей, располагались у крѣпости Браунау. Въ Браунау была главная квартира Кутузова.

11-го октября, 1805 года, одинъ изъ только-что пришедшихъ къ Браунау пѣхотныхъ полковъ, ожидая смотра главнокомандующаго, стоялъ въ полумилѣ отъ города. Несмотря на не русскую мѣстность и обстановку — фруктовые сады, каменныя ограды, черепичныя крыши, горы виднѣвшіяся вдали, на не русскій народъ, съ любопытствомъ смотрѣвшій на солдатъ,—полкъ имѣлъ точно такой же видъ, какой имѣлъ всякій русскій полкъ готовившійся къ смотру гдѣ-нибудь въ серединѣ Россіи. Тяжелые солдаты въ мундирахъ съ высоко поднятыми ранцами и перекинутыми черезъ плечо шинелями, и легкіе офицеры въ мундирахъ съ бившими по ногамъ шпажками, оглядывая вокругъ себя свои знакомые ряды, сзади свои знакомые обозы, спереди еще болѣе знакомыя приглядѣвшіяся фигуры начальства, и еще дальше впереди коновязи уланскаго полка и парки батареи шедшіе весь походъ вмѣстѣ съ ними, чувствовали себя здѣсь также дома, какъ и въ какомъ бы то было уѣздѣ Россіи.

Съ вечера, на послѣднемъ переходѣ, былъ полученъ приказъ, что главнокомандующій будетъ смотрѣть полкъ на походѣ. Хотя слова приказа и показались не ясны полковому

* Часть вторая. См. *Русскій Вѣстникъ* 1865 года, № 1 и 2.

СТРАНИЦА ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ВЕСТНИК», 1866, № 2

она создана в состоянии огромного творческого подъема. Толстой не делает перерывов в работе, не дает по частям в переписку. Он движется вперед, одновременно ставя на полях многочисленные пометы, касающиеся исправлений и дополнений только что написанного и того, о чем он предполагает писать в дальнейшем.

Большая часть этой рукописи разрозненными отрывками опубликована в т. 13, №№ 98—112, 121—128, 131—152; т. 14, №№ 160, 184. При этом публиковались только отрывки, наиболее отличающиеся от окончательного текста, и располагались они не в той последовательности, в какой были написаны, а в соответствии с ходом повествования в окончательном тексте романа. Зачеркнутые большие отрывки приводились не в контексте, а как изолированные варианты. Вследствие такого метода публикация не дает ясного представления ни о полном содержании ранней редакции, ни о ее стройной композиции.

7 марта Толстой с семьей вернулся в Ясную Поляну и 4 апреля писал: «С тех пор, как я из Москвы, я кончил целую новую часть ⟨...⟩ т. е. кончил то, что я намерен был печатать осенью, но дело пошло так хорошо, что я пишу дальше и льщу себя надеждой написать к осени еще такие 3 части, т. е. кончить 12-й год и целый отдел романа» (т. 61, с. 135). Спустя месяц в письме А. А. Фету Толстой подтвердил, что «очень много написал» своего романа, и просил адресата откровенно высказать впечатление от уже напечатанных частей. «Я очень дорожу вашим мнением, но, как вам говорил, я столько положил труда, времени и того безумного авторского усилия ⟨...⟩ так люблю свое писание, особенно будущее — 1812 год, которым теперь занят, что не боюсь осуждения даже тех, кем дорожу, а рад осуждению». В том же письме Толстой выражал надежду кончить роман в 1867 г. и напечатать «весь отдельно с картинками», уже заказанными М. С. Башилову; часть их к этому времени была создана, и Толстой был ими «очень доволен». Советовался Толстой тогда же с Фетом и относительно заглавия: «Все хорошо, что хорошо кончается» (т. 61, с. 138, 139). Мысль о таком названии возникла задолго до окончания ранней редакции; больше оно ни разу не упоминалось.

Приведенные письма подтверждают, что весной 1866 г. писание подошло уже к 1812 г., то есть к шестой части, обозначенной в приведенном выше распределении по частям: «до Смоленска», и напоминают о намерении написать еще «три части, т. е. кончить 12-й год».

Каждая часть открывается небольшим вступлением, посвященным тому историческому периоду, в пределах которого будет происходить действие. В начале четвертой части надо было рассказать о жизни России в 1808—1810 гг. «Никто уже не помнил о Буонапарте — корсиканском выходце и антихристе: не Буонапарте был, а великий человек Наполе-

М. С. БАШИЛОВ. ПЕРВЫЙ ИЛЛЮСТРАТОР «ВОЙНЫ И МИРА»
Автопортрет. Акварель. Начало 1860-х годов

«Ожидаю ваши рисунки и того подстрекающего чувства, которое они вызывают во мне»
(из письма Толстого к М. С. Башилову от 4 июня 1865 г.)

он»,— так начал Толстой вступление к четвертой части, характеризуя обстановку всеобщего преклонения перед Наполеоном. Дружба «двух властелинов мира» дошла до того, что когда «Наполеон объявил войну Австрии, то русский корпус выступил на границу для содействия своему прежнему врагу Буонапарту».

Такова внешнеполитическая обстановка. Главное же внимание русского общества обращено в это время на «внутренние преобразования, которые были производимы в это время императором во всех частях государственного управления». Толстой дал подробный анализ преобразований, проводившихся Александром I, указал на то, что примером для подражания служила «отчасти Англия, отчасти наполеоновская Франция». Отметил разногласия между «нововводителями» во главе со Сперанским и их противниками — такими, как Карамзин с его «запиской о старой и новой России».

В соответствии с приведенными выше конспектами (т. 13, с. 24—26, №№ 8 и 9) Толстой продолжал работать над романом.

Действие открывает князь Андрей, переживающий духовное возрождение после встречи с Пьером и удачных реформ в своем имении Богу-

чарово. По рекомендации Пьера князя Андрея принимают в масоны. Живя безвыездно в деревне, он «много читал, много учился, много переписывался с братьями масонами», но, следя за преобразованиями Сперанского, «начинал всё более и более тяготиться своей тихой, ровной и плодотворной деятельностью, которая казалась ему бездействием в сравнении с борьбой и ломкой всего старого, которая, по его понятиям, должна была проходить теперь в Петербурге, центре правительственной власти».

И здесь, при описании жизни князя Андрея в Богучарове, появляется эпизод с дубом, символизирующий его духовное возрождение. Толстому удалось сразу создать картину ранней весны, рисунок «корявого», «презрительного» дуба, а затем того же дуба, зазеленевшего и «подавлявшего своей красотой и счастием березовые деревья, над весенним счастьем которых он прежде так мрачно смеялся». Мысли князя Андрея о дубе уже в этом варианте связывались с воспоминаниями о Наташе, о той девочке, которую он почти мимолетно видел в Отрадном. Вид зазеленевшего дуба заставил князя Андрея «окончательно и несомненно» решить «тот тайный вопрос, который давно занимал его. Да, он не был прав. И счастье, и любовь, и надежда — всё это есть, всё это должно быть, и мне надо употребить на это остаток моей жизни». Однако символический и глубоко психологический эпизод с дубом еще не занял того композиционно важного места, которое было ему отведено потом, в завершенном романе.

Обострившийся интерес князя Андрея к общественной жизни привел его опять в Петербург, куда, как будто к слову упомянул автор, уехали и Ростовы: «дела старого графа так расстроились, что он поехал искать места на службе». Толстой знал уже, что в Петербурге князь Андрей встретится с Пьером и будет вести с ним задушевные беседы; знал, что князь Андрей увлечется деятельностью Сперанского и вскоре разочаруется в ней; знал, наконец, что произойдет встреча Болконского с Наташей,— но не сразу нашел форму для столь четко продуманного содержания.

«Всё предполагавшееся тогда переустройство России, готовившееся к началу 10-го года», казалось князю Андрею «существенным благом для народа и первым на очереди вопросом». Участие его в осуществлении преобразований позволило Толстому осветить деятельность Сперанского, высказать свое отношение к нему, то самое, к какому приходит и князь Андрей, и дать широкую картину государственной и общественной жизни в 1809—1810 гг. Чтобы работать со Сперанским, князю Андрею «надо было верить, что всё скверно старое, и князь Андрей верил в это».

В ранней редакции «Войны и мира» Толстой уже отразил все главные вопросы, входившие в план реформ государственного управления: политическое переустройство государства, крестьянский вопрос, преобразование просвещения, суда и администрации. Во всех этих областях Болконский работал «с охотой, упорством и успехом». Затем Толстой схематично наметил, как закончится деятельность князя Андрея: «Он дружески разошелся с Сперанским и стал составлять общее законодательство и для того поехал учиться за границу». В этой же записи отмечена поездка Болконского на бал и перемена в его настроении: «Он почувствовал себя счастливым и готовым к счастию». Эта схема потом во многом изменится.

Не сразу Толстой нашел место для новой встречи князя Андрея с Наташей. Сначала встреча происходит на свадьбе Веры Ростовой с Бергом. На семейном вечере присутствует и Анатоль Курагин, который в «то время был львом Петербурга». Так подготавливалась «история Наташи с Анатолем». Этот план не осуществился, и в той же рукописи появилась сцена придворного бала. Сборы Ростовых на бал, самый бал, впечатление, произведенное Наташей на Болконского, визит князя Андрея на следующий день к Ростовым, признание Пьера в своей любви к Наташе, визит Пьера к Ростовым, чтобы «высказать свою радость», ночной

разговор Наташи с матерью, вечер у Бергов и далее до предложения князя Андрея и отъезда его к отцу в Лысые Горы, а затем за границу — в такой последовательности создавалась сюжетная линия четвертой части ранней редакции. Много трудился Толстой, стремясь психологически точно передать чувства Наташи и князя Андрея после их встречи на бале и вплоть до обручения и душевное состояние Пьера, который, испытывая всё растущее чувство любви к Наташе, боролся с ним.

Толстой подошел к пятой части. Центр ее — «эпизод Наташи с Анатолем». Но этому предшествовали картины отрадненской жизни Ростовых, приезд их в Москву и жизнь в Москве старого князя Болконского и княжны Марьи. Появившийся в это время конспект опять рассказывает, как много было уже обдумано Толстым.

Первым вступает в действие Николай Ростов, который «сидел в полку эскадронным командиром. Он испытывал то перемещение интересов и ту военную поэтическую праздность, которую нельзя описать, ежели не испытал ее». Жизнь Николая в полку прерывается письмом матери: «Отец медлит, дом не продан, приезжай, помоги нам». «Вдруг весь взгляд на вещи изменился: награды, эскадрон, песенники далеко, впереди только дом, Наташа, Соня». Таков конспект. Нетрудно вспомнить, что именно так развивалось действие и в законченном романе. Отражены в этом конспекте и гнев Николая Ростова на управляющего Митеньку, и тоска Наташи после отъезда князя Андрея за границу, ее требование: «дайте мужа»; намечена и охота. Заканчивается конспект отъездом старого графа с Наташей в Москву, где произошла ее встреча с Анатолем. «Наташа кокетничает», она «пишет письмо Андрею, что она погибла». Программа ясная. По намеченному эскизу создавалась картина жизни Ростовых в деревне и затем в Москве; приезд Николая Ростова в отпуск, жизнь семьи в Отрадном, охота, святки, возвращение Николая в полк, отъезд графа с Наташей и Соней в Москву,— всё это не только по композиции, но и по содержанию почти совпадает с законченным текстом.

Интересно привести лишь несколько разночтений. В ранней редакции картину отрадненского быта Ростовых дополняют слепой сказочник, который «рассказывал на ночь графине сказки»[43], и «два шута в золотых бахромах», которые «приходили к столу и чаю и получали полоскательные чашки с чаем, с сухарем» и «говорили свои заученные, мнимо смешные речи, которым из снисходительности улыбались господа». На святках ряженая молодежь Ростовых едет не к соседям Мелюковым, а к дядюшке, и о гаданиях им рассказывает Анисья Федоровна. Богатая невеста, на которой ради поправления дел графиня хотела женить Николая, была не Жюли Карагина, как в завершенном тексте, а Жюли Ахросимова, которая в одном из набросков начала романа упоминалась среди гостей Ростовых и пока еще оставалась в числе его персонажей.

От Ростовых автор переходит к тем лицам, с которыми Наташа встретится в Москве,— к Пьеру, к Болконским (старому князю и княжне Марье), тоже находящимся в это время в Москве.

Как всегда, когда действие переходило к Пьеру, на первое место выступала психологическая тема, отнимавшая у автора много творческих сил. Предстояло поведать об углубляющихся сомнениях Пьера в масонстве, о его душевных тревогах, связанных с любовью к Наташе. Как он ни боролся со своим чувством, оно усиливалось и особенно волновало Пьера после обручения Наташи с князем Андреем. В первой редакции эти вопросы в теме Пьера не были решены, но были уже достаточно развиты.

Без больших поисков складывались картины жизни в Москве княжны Марьи с отцом, который «сделался тотчас же предметом особенной почтительности москвичей и центром московской оппозиции правительству». Близки к окончательному тексту описание обстановки их старинного дома, рассказ о «внутренней домашней жизни», которая за последнее

время стала так мучительна для княжны Марьи, что «она уже не скрывала от себя тяжесть своего положения». Откровенная беседа княжны Марьи с Пьером о себе, ее расспросы о Наташе, сцена обеда в день именин старого князя, разговор за обедом на политические темы,— всё было найдено при работе над первой редакцией произведения.

Только один эпизод, важный для образа старого князя Болконского,— его столкновение с «вошедшим в моду» французским доктором Метивье,— по форме отличался, но по существу уже тогда был решен: старый князь, «войдя в бешенство», выгнал доктора с криком: «Вон! Шпион! Вон!»

В пятой части немалое место заняли Друбецкие. Расчетливый брак Бориса Друбецкого и Жюли контрастен высокой любви князя Андрея к Наташе. Все детали женитьбы Друбецкого как в завершенном романе, так и в ранней редакции направлены только на то, чтобы показать, что Жюли было нужно «сделаться женою флигель-адъютанта», а Борису брак нужен был «для того, чтобы с меланхолической невестой получить нужные три тысячи душ в Пензенской губернии».

Осветив жизнь некоторых московских обитателей, показав затем «общество кутил», «холостого мужского света», где первенствовали Долохов и Анатоль Курагин, Толстой вернулся к Ростовым. Самый замысел «истории Наташи с Анатолем» возник у него буквально в первые же дни работы: «Деревня. Анатоль [Михаил], влюбление, падение» (т. 13, с. 19). Но долго не находилась форма для этого важного «узла», как называл его писатель. И, подойдя теперь к этому «узлу», Толстой, видимо, не мог его «развязать» и ограничился пока конспективным наброском: короткая сцена в театре, где Анатолю приглянулась Наташа. Их знакомство происходит при совершенно иных обстоятельствах, чем в законченном романе. По ранней редакции события развернулись в Отрадном, куда старый граф пригласил Анатоля, познакомившись с ним в Москве. Наташа признается Соне в своей любви к Анатолю. Соня требует объяснений у Анатоля, обвиняя его в непорядочности. Анатоль уезжает, а Наташа пишет князю Андрею письмо с отказом. Тут многое не досказано, узловой эпизод личной жизни героев остался недоработанным.

Катастрофа с Наташей, пока еще только намеченная,— последняя тема пятой части ранней редакции. Толстой отметил конспективно и реакцию князя Андрея: узнав об измене Наташи, он был озлоблен «на весь мир».

Оставив почти в конспективном виде окончание пятой части, Толстой перешел к шестой. В начале ее описана жизнь князя Андрея весною 1812 г. в Турции, где он, отказавшись от штабных должностей, которые ему предлагал Кутузов, служил командиром батальона пехотного полка (этот эпизод не дошел до окончательного текста). Князь Андрей не переставал мечтать о Наташе и намеревался оставить военную службу, чтобы скорее начать новую жизнь с нею (об измене Наташи он еще не знал). Тема князя Андрея закончилась письмом Пьера, в котором «рассказывалась неосторожно история падения Сперанского и всех планов конституции и писалось о предстоящей войне 1812 года». Письмо взволновало князя Андрея. Первая мысль его была: «Неужели он не примет участия в этом деле, решающем участь отечества?» В конспекте, которым закончилась предыдущая часть, отражено и настроение Николая Ростова в это же время: «Отечество прежде всего».

Итак, тема Отечественной войны 1812 года уже вошла в роман, но Толстой пока не стал ее развивать. Надо было доработать судьбы «вымышленных» героев, которым предстояло быть участниками войны. На них и сосредоточилось внимание писателя. Толстой, ограничившись пока пространным конспектом второй половины всего романа, включая эпилог, вернулся к неудававшемуся ему «эпизоду Наташи с Анатолем». Пожалуй, ни одна из военных сцен, ни одно из рассуждений о войне и военной истории (кроме второй части эпилога) не требовали такой сложной многократной перестройки, как этот эпизод, о чем красноречиво свидетель-

ствуют листы автографа. Лишь после долгих творческих исканий был найден психологически правдивый поворот темы, хотя в тексте, созданном на этом этапе, есть еще значительные отличия от завершенного.

Вслед за «историей Анатоля с Наташей» идет рассказ о пребывании князя Андрея в Турции. Там он получил письмо Наташи с отказом, и вновь тревожные сомнения: «что же правда?» — захватили его. Всю ночь князь Андрей «ходил по двору, глядя на комету, которая как будто разметалась и уперлась на одном месте, подняв кверху хвост. Князь Андрей с Аустерлицкого поля выучился смотреть на далекое небо, понимать его и находить в нем успокоение. „Да и это было заблуждение,— думал он,— как и прежние. Но что же правда, где же то, чего нужно моей душе, то, про что говорят мне эти звезды и остановившаяся, влепившаяся комета?“».

Князь Андрей возвращается в Россию. Пьер тщетно убеждает его простить Наташу. Через Пьера князь Андрей возвращает Наташе ее письмо и портрет. И после всего пережитого Наташей Пьер больше не скрывает своей любви к ней.

Так закончилась первая половина романа. Личные судьбы «вымышленных» героев к началу 1812-го года прояснились. Предстояло художественное отображение «славной для России эпохи», интерес к которой и породил замысел «Войны и мира».

Узловые моменты военной темы определились в конспекте: «Наполеон подходил к Неману, война неизбежна». «Смоленск взят». «В Москве приезд государя». «Московское собрание». «Бородино». «В. Денисов партизан». «Государь завидует Кутузову». Кроме основных исторических вех, довольно подробно намечена жизнь различных кругов общества и главных персонажей.

Старый князь Болконский «сидит с Bourienne, и забота мучает его больше и больше. Вооружает, укрепляет». После известия о том, что «Смоленск взят и занята деревня французами», у старого князя ночью наступает горячка, и он умирает. Княжна Марья, услыхав от м-ль Бурьенн, что «Бонапарт идет в Лысые Горы и что одно средство — принять», немедленно «сзывает людей и вооружается». Намечалось, что в это время приезжает князь Андрей и «увозит ее дальше». Но тут же возникает другой замысел: княжна Марья сообщает брату о положении в Лысых Горах, но он отвечает, что «не может и едет в Смоленск». Обращают на себя внимание записанные здесь же слова княжны Марьи: «Тихон, скажи, как это стреляют?» Видимо, у Толстого мелькнула мысль заставить княжну Марью активно действовать при появлении французов. О князе Андрее узнаем, что после Наташиного отказа он «написал просьбу о своем определении в действующие войска»; известно также, что он поехал в Смоленск. Нет никаких планов относительно роли князя Андрея при Бородине, есть намек на встречу раненого князя Андрея с Наташей и, наконец, совсем другой финал личной темы: выздоровев после ранения, князь Андрей узнает, что Пьер любит Наташу, «уступает» ее ему, «плачет и уезжает».

Еще скупее, нежели князь Андрей, представлен в конспекте Пьер. В Слободском дворце, на собрании купцов и дворян, он «кричит ура»; в Бородине «ездит под огнем»; приезжает в Тамбов, куда выехали Ростовы, «и вдруг узнает, что может любить». Дополнительная запись, важная для образов князя Андрея и Пьера: «Пьер *говорит* о самопожертвовании, а Андрей делает, не говоря».

О Ростовых узнаем: в московском собрании старый граф «сзади продирается, не слышит о чем, но плачет и кричит»; после Бородина «Ростовы слышат гул, и привозят им раненых»; «Ростовы уехали в Тамбов». Отдельно намечена линия личной жизни Николая Ростова. Родители получают от него письмо из Лысых Гор. «Он любит княжну Марью»; «Nicolas Ростов и княжна Марья обручены, получили согласие брата».

Несмотря на краткость заметок, достаточно выразительно выступает в конспекте высшее петербургское общество: «Шерер. Румянцев. Князь Василий за мир». «Растерянность, ненависть к Кутузову».

По этому конспекту развивалось действие в первой редакции. По мере расширения исторического действия историко-философские отступления стали занимать всё большее и большее место. Вся сюжетная схема от перехода Наполеоном границы до приезда Кутузова в Царево-Займище в качестве главнокомандующего полностью совпадает с главами завершенного романа.

Повествование о 1812 годе начато обзором политических событий в канун войны. В обзор включены полностью письма, которыми обменялись Наполеон и Александр весною 1812 г. Опираясь на эти письма, Толстой развивал свои рассуждения о фатальности истории и заключил обзор выводом: «То, что имело совершиться, должно было совершиться».

Вновь Толстой ищет, как начать действие. В первом наброске оно открывается сценой гулянья в Вильно (где около месяца находился Александр I с военным двором), которое происходило 11 июня, то есть накануне того дня, когда Наполеон перешел русскую границу. Здесь Борис Друбецкой «в с иголочки новом мундире с одним эполетом и аксельбантом, с той гордой и спокойной особенностью придворного молодого человека, для которого мир существующий ограничен весьма малым количеством придворных людей», встречается с Hélène, которая сидела «в шелку, кружевах» в коляске, запряженной «великолепным польским цугом», и была окружена генерал-адъютантом и графом польским и русским. Борис подошел к ней (Толстой особо останавливается на этом), «потому что хорошо было с ней иметь вид близкого». Они поговорили о предстоящем бале, который придворные затеяли дать государю в «прелестном загородном доме» Бенигсена; она обещала ему второй котильон, и они разошлись.

По первому наброску ясна намеченная для Бориса и Элен роль в великом историческом событии: они — с придворными кругами. «Une femme du monde — она, un homme du monde — я»,[44] — так думал об Элен и о себе Борис Друбецкой.

От сцены праздничного гулянья Толстой намеревался сразу перейти к вечернему балу, но, не докончив первой фразы, изменил план — решил резче подчеркнуть контрастный смысл событий: парадному гулянью в Вильно противопоставить событие на Немане. «В то же самое утро, как происходило гулянье в Вильне, в это особенно замечательное прекрасной летней погодой после грозы утро 11 июня польский майор Сухаржевский, в первый приезд Hélène в Бартенштейн очень близко знакомый с нею, теперь, находясь в службе императора Наполеона и отделенный от Hélène и всего русского, несмотря на близость расстояния, больше чем океаном — цепью часовых,— стоял с своим полком недалеко от Ковно на берегу Немана». Затем дается картина того, как Наполеон готовится перейти через Неман. Уже много сказано. Ясна оторванность придворных кругов России от жизни страны. В то время как в аристократических кругах ничто не предвещало тревоги, Наполеон переходит русскую границу.

Блестящее гулянье и предстоящий придворный бал, с одной стороны, и начало войны — с другой, создают нужный автору контраст. Очень важно для основной мысли автора противопоставление: «особенно замечательное прекрасной летней погодой после грозы утро» — и начинающаяся война, то есть событие, которое, как говорит Толстой в своих рассуждениях, «противно самому человечеству и потому не может происходить по его воле».

Это начало было заменено другим: 11 июня 1812 г. Наполеон вместе с Бертье приезжает к стоявшему у Немана полку улан; оно и вошло в окончательный текст романа. Но там лишь кратко изложено решение Наполеона перейти Неман, в ранней же редакции подробно рассказано

о его настроении в это историческое утро: Наполеон находился «в том же состоянии, в каком он был в памятное утро Аустерлицкого сражения». Вслед за этим эпизодом — бал, на котором русский император узнает, что французские войска перешли Неман. Описание первых дней войны (отъезд Балашова к Наполеону, встреча его с Мюратом, характеристика Даву, прием Балашова маршалом Даву и затем Наполеоном) почти дословно совпадает с окончательным текстом. Пока нет только внешнего портрета Наполеона, но раскрыто его внутреннее состояние, показано, с каким волнением готовился он принять Балашова.

Почти дословно совпадают с окончательным текстом сцены приезда в Москву Александра I, встреча его на Красной площади, восторг Пети Ростова, находившегося в толпе народа, прием дворян и купцов в Слободском дворце. Настроение Пьера после этого собрания настолько естественно вытекало из его характера, что Толстой легко нашел форму для его выражения. Так же стройно вылился рассказ о первых впечатлениях князя Андрея, приехавшего в главную квартиру в Дриссе (различные партии в армии, план кампании, теоретик Пфуль, военный совет). Под впечатлением всего увиденного князь Андрей решает не служить в штабе, а перейти в полк. «Роль полководца завидная, солдата — благородная»,— отметил Толстой на полях словно мысль, приведшую князя Андрея к этому решению.

Николай Ростов «храбр в Островно» — отмечено в наброске плана. Картина сражения при Островно создалась в первой редакции и не подвергалась позднее серьезным изменениям.

«Жизнь Наташи в эти дни наполнили два чувства: религия и патриотический подъем — возмущение против Наполеона, осмелившегося презирать Россию и дерзавшего завоевать ее». Она «в первый раз сознала в себе новое чувство ненависти к врагу, оскорбленной гордости к французам за своих, за русских, за дядюшку, за папеньку, чувство, которым,— подчеркивает Толстой,— она давно уже жила, сама не зная этого».

Пьер в эту пору бывает часто у Ростовых, рассказывает Наташе о военных событиях, о предсказаниях апокалипсиса и делает вычисления, связанные с его именем.

События начального периода Отечественной войны, до занятия Смоленска, составили в первой редакции романа шестую часть. Седьмая часть посвящена кульминации войны, событиям, происходящим в августе 1812 г., от взятия Смоленска до Бородинской битвы включительно. Начинается седьмая часть историко-философскими рассуждениями о роли исторических, главным образом военных, деятелей и итоговым обзором первого периода войны, изображенного в предыдущей части.

«Что должно было совершиться, то должно было совершиться»,— так начал Толстой свои рассуждения. Ведущая мысль их, что это «военное дело более всего подлежит муравейным неизбежным законам». Показав, при каких условиях неприятель проник в глубь России, Толстой заключил обзор следующим выводом: «Так надо было... Это надо было для того, чтобы поднялся народ». Вот что писатель стремился показать уже в первой редакции.

За авторским обзором следует рассказ о Лысых Горах, об отъезде Алпатыча в Смоленск, о Ферапонтове, о бомбардировке Смоленска, о встрече Алпатыча с князем Андреем, который отступал позади своего полка. Впечатления Алпатыча ранее были намечены так: он «сидел у ворот и смотрел, ни во что не верил, даже в бомбы,— это не очаковские — всё пустяки, и бомбы не посмели тронуть его. Он верит в победоносность русских». В этом направлении создавался теперь эпизод пребывания Алпатыча в Смоленске.

В отличие от окончательного текста, Алпатыч не только наблюдает, как жители уничтожают свое имущество, но сам активно действует. Правда, в первой редакции не было еще художественной картины бом-

бардировки города и ухода жителей, а только конспективно изложенные впечатления Алпатыча.

Интересны эпизоды, не дошедшие до печати: в Смоленске в качестве городничего появляется капитан Тушин с оторванной рукой. Он случайно в этот день приехал в Смоленск и «ходил под ядрами с своей трубочкой и завидуя раненым; запах пороха возбуждал в нем тревожное военное чувство, и он завидовал тем, которые дрались». Лишь намечена сцена встречи Алпатыча с радостно-возбужденным князем Андреем. На полях помета: «Князь Андрей в свете огня радостен». Всё это те элементы, из которых создалась позднее волнующая картина народного гнева при сдаче Смоленска. Однако Толстой не задерживается на обработке этого раздела, а ведет повествование дальше.

Действие переносится в Лысые Горы. Старый князь, возбужденный после возвращения Алпатыча из Смоленска, приказывает княжне Марье с Николушкой ехать в Москву, а сам решает оставаться в Лысых Горах. Всё это по содержанию близко к окончательной версии. Отличие от нее: старый князь умирает от первого удара в Лысых Горах, княжна Марья с племянником и гробом отца уезжает в Богучарово. На похоронах князя присутствует Тушин, «к которому потом княжне Марье естественно было обращаться за советом и помощью». Когда княжна Марья, разгневанная письмом французского полковника, убеждающего ее остаться, решает «умереть, дожидаясь помощи, но не сдаваться», в событиях опять участвует Тушин. Описан совет между Тушиным, Алпатычем и Дроном, сходка богучаровских крестьян, которые уже «были готовы принять Наполеона, освобождавшего их и платившего по 10 рублей за воз хлеба фальшивыми ассигнациями. Но, когда услыхали слова княжны Марьи и Тушина, один поближе ловко и удобно сумел выразить, что они — куда княжна, туда и они, и все заговорили то же и разошлись с мыслью, что они молодцы».

Толстому, видимо, хотелось найти для Тушина, истинного героя войны 1805 года, роль и в дальнейшем действии; поскольку он не мог из-за увечья участвовать в войне, Толстой нашел ему место в тылу и, видимо, не случайно включил его в круг жизни Болконских, как бы продолжая тем самым роль Тушина в войне 1805 года и в жизни князя Андрея. В окончательном тексте Тушин в 1812 году не появляется. Он остается среди центральных героев первой войны и лишь упоминается после Отечественной войны. Николай Ростов, приехав к Денисову в госпиталь, увидел «маленького, худого человека без руки, в колпаке и больничном халате с закушенной трубочкой»,— это был Тушин (т. 10, с. 138).

Первоначально после богучаровской сходки следовал рассказ о движении французов к Москве, эпизод встречи Наполеона с Лаврушкой, затем был показан Петербург того времени. Остановившись на этом, Толстой вернулся к Болконским, вписав главу о приезде князя Андрея после отступления из Смоленска в опустевшие Лысые Горы. Несколько изменены были и богучаровские события. Теперь в имение Болконских случайно приезжает Николай Ростов. Он-то и выручает княжну Марью.

Французский историк Тьер упоминает о встрече Наполеона с русским пленным казаком. Толстой ввел этот случай в свой роман, поручив роль пленного казака денщику Николая Ростова Лаврушке. Эпизод этот создался легко и как в окончательном тексте, так и в ранней редакции помогал едко высмеивать Наполеона.

Так же без особого труда были созданы картины петербургской придворной жизни, где в гостиных толковали о назначении Кутузова главнокомандующим. Намечая в одном из конспектов салонные разговоры о Кутузове, Толстой записал: «Кутузов делает свое дело и едет». Приездом Кутузова в Царево-Займище начинается следующий раздел, в котором действие вновь перенесено на военные позиции. После свидания с Кутузовым князь Андрей почувствовал успокоение, он понял, что тот сделает всё, что нужно «для общего дела». И «на этом же чувстве,— пишет Тол-

стой,— которое более или менее смутно испытывали все, и основано было то единомыслие и общее одобрение, которое сопутствовало избранию Кутузова в главнокомандующие». При всех своих тревогах о сестре и сыне, которые после смерти отца остались «без покровительства», князь Андрей решил остаться в армии, «исполняя долг и защищая отечество».

Дальнейшее, вплоть до Бородинского сражения, хотя и содержит основные вехи повествования, известные по законченному роману, значительно отступает от него по содержанию и композиции. Сцены приезда Кутузова к армии сменились сценами с участием Наполеона в канун Бородина. Почти карикатурно представлена его внешность. Чрезвычайно интересен не дошедший до печати эпизод атаки на Шевардинском редуте. Нет картины самой атаки, нет ни намека на действия сражающихся. Тон рассказа определяется хорошим настроением Наполеона, который легко дал распоряжение об атаке, «слез с лошади, чтобы спокойнее любоваться зрелищем», и, после того как было «убито и ранено около 10 тысяч человек с обеих сторон», ему подали лошадь, «и он шагом поехал ужинать». За такой якобы спокойной картиной атаки последовали взволнованные раздумья автора о Шевардинском редуте и Бородинском сражении.

Сюжет подведен к центральному событию Отечественной войны — к Бородинской битве. Сложившаяся к тому времени обстановка в стране освещена разносторонне. Показан Петербург с его придворными кругами и светскими салонами, где болтали о войне и о Кутузове; рассказано о патриотическом народном подъеме в Смоленске; обрисована штабная среда, захваченная только личными интересами, и на этом фоне резко выделяются тревоги и размышления князя Андрея, его решение служить в армии, а не в штабе; развенчан Наполеон и возвышен Кутузов, который был именно тем, кто в данный период войны был нужен.

Ничего еще не было сказано о московском обществе в эту пору, о Ростовых, о Пьере. Теперь рассказ перешел к Москве. «24 августа 1812 года вечером узналось в Москве, что французы в 60 верстах по Смоленской дороге и сражаются с русскими. В Москве уже всё волновалось, каждый день выходили растопчинские афишки, иностранцы все были высланы, скоро должен был быть готов шар, который полетит в лагерь французов, и многие уезжали по направлению к Нижнему и Тамбову».

Пьер приходит к Ростовым. Когда он сказал, что едет в армию, Наташа «изменилась и не спускала с него глаз». Пьер, в эти дни испытавший «радостное беспокойное чувство» оттого, что разрушается, наконец, «ложный, но всемогущий быт, который заковал его», решает ехать к армии, чтобы «своими глазами увидать, что такое война». Поймет это Пьер не при объезде позиций вместе с генералом Бенигсеном в канун боя, а при встречах с солдатами и более всего в беседе с князем Андреем. Над этой беседой, которую в одной из записей Толстой назвал «философией Пьера и Андрея», он упорно работал. Мысли писателя о войне, высказанные в его исторических рассуждениях, почти дословно повторял в раздражении князь Андрей накануне боя. Он говорил о войне, о военной истории, о славе, о неизменных законах, по которым всё делается, о ничтожности штабной верхушки, представители которой думают, что они решают судьбы России, и, главное, о том, что нынешняя война не та, что прежние войны. «Теперь, когда дело дошло до Москвы, до детей, до отцов,— мы все, от меня и до Тимохина,— мы готовы». Так сложилось уже в ранней редакции.

Наутро произошло Бородинское сражение. Нет еще ни подробных данных о расположении войск, ни плана сражения, ни развернутой картины боя в разгар его, мало еще действия. Картина Бородина составляется пока только из разрозненных впечатлений Пьера. Уместно привести тут конспективный набросок: «В Бородине — Пьер впереди на редутах, бежит, наступает, бежит, наступает, бежит, наступает, бежит и вдруг сзади: „ура“. Багратион ведет своих и князь Андрей» (т. 13, с. 40). Уже про-

ясняется, как трактует писатель центральное событие Отечественной войны. На строгих лицах людей, занятых «каким-то невидимым, но важным делом», Пьер видел «отпечаток озабоченности»; он вслушивался в звук выстрелов, и ему казалось, что они раздаются близко и торжественно. Князь Андрей (Пьер увидел его скачущим впереди полка) «задыхался от волнения и радости, двигаясь вперед». В минуту наивысшего душевного подъема князя Андрея ранят.

Как был в ранней редакции освещен дальнейший ход сражения, были ли изображены Кутузов и Наполеон во время боя, сказать нельзя, так как двенадцать страниц автографа утрачены.

Окончание Бородинского сражения, как и начало его, показано под углом зрения Пьера, который к концу сражения «устал, устал физически и нравственно» и не мог «ни двигаться, ни думать, ни соображать. На всех лицах, которые он видал, одинаково на тех, которые шли туда и которые возвращались, была видна такая же усталость, упадок сил и, главное, сомнение в том, что они делали».

Далее — авторское отступление, которое как бы развивает переживания Пьера: «Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных и на изнуренных, и на сомневающихся людей, как будто он говорил: „Довольно, довольно, люди, перестаньте, опомнитесь, что вы делаете?“ Но нет, хотя уж к вечеру сражения люди чувствовали весь ужас своего поступка, хотя они рады бы были перестать, уже истощив свою потребность борьбы, но данный толчок еще двигал этим страшным движением, запотелые, в порохе и крови, оставшиеся по одному на три, артиллеристы, хотя и спотыкаясь от усталости, приносили заряды, заряжали, наводили, прикладывали фитили, и злые холодные ядра так же прямо, и быстро, и жестоко перелетали с обеих сторон и расплюскивали человеческое тело». Этот отрывок почти дословно вошел в завершенный текст. Заканчивается авторское отступление выводом: «Русские отступали с половины позиции, но стояли так же твердо и стреляли остающимися зарядами».

Определилось самое для Толстого важное: роль главного героя, дух армии. После того как Наполеон «с покрасневшим от насморка носом» выехал за Шевардинский редут и, глядя на «густые колонны русских», распорядился продолжать бой, «350 орудий продолжали бить, отрывать руки и ноги и головы у столпившихся и неподвижных русских». Мысль о непоколебимости, стойкости и мужестве русского войска с большой силой прозвучала уже в ранней редакции романа.

Всё меньше становится в ранней редакции законченных художественных сцен, чаще и чаще стройное повествование прерывается конспектами, авторскими рассуждениями. Поля рукописи пестреют набросками дальнейшего повествования. Толстой как будто торопится хотя бы в основных чертах довести произведение до конца. Однако все главные эпизоды, знакомые по окончательному тексту, намечены, а некоторые даже в какой-то мере разработаны: жители оставляют Москву; раненые во дворе Ростовых; порыв Наташи; старый граф, взволнованный поступком дочери, громко, весело кричит: «Швыряй, к чёрту, с подвод, накладывай раненых!». Среди раненых князь Андрей, но Наташа «не знала, кто лежит, умирая около нее». Пьер решает остаться в Москве, чтобы убить Наполеона, «виновника всех злодеяний». Встречи Пьера с Наташей у Сухаревой башни еще не было, но она уже была предусмотрена. В день ухода жителей из Москвы Пьер приходит к Ростовым, осмелившись теперь, когда «все на краю гроба», признаться Наташе в своей любви.

Изображение жизни светского Петербурга в эти трагические для России дни, жизни «спокойной, роскошной, тщеславно пустой», которая, независимо от «опасного и трудного положения государства», шла по-старому, дошло до окончательного текста почти без исправлений.

Совсем эскизно намечено дальнейшее действие, но голос автора звучит с прежней силой. Рисуя Наполеона, глядящего на «знаменитый азиатский город», Толстой комментирует: «Этому узкому уму ничего не представилось, кроме 〈...〉 добычи и его великого завоевательства», и он «с хищной и пошлой радостью смотрел на город». Пьер в опустевшей Москве и затем в плену показан пока совсем по-иному, чем в окончательном тексте; нет еще Платона Каратаева, упомянут лишь солдат-сосед, научивший Пьера завязывать веревочкой на щиколотках «серые чужие панталоны».

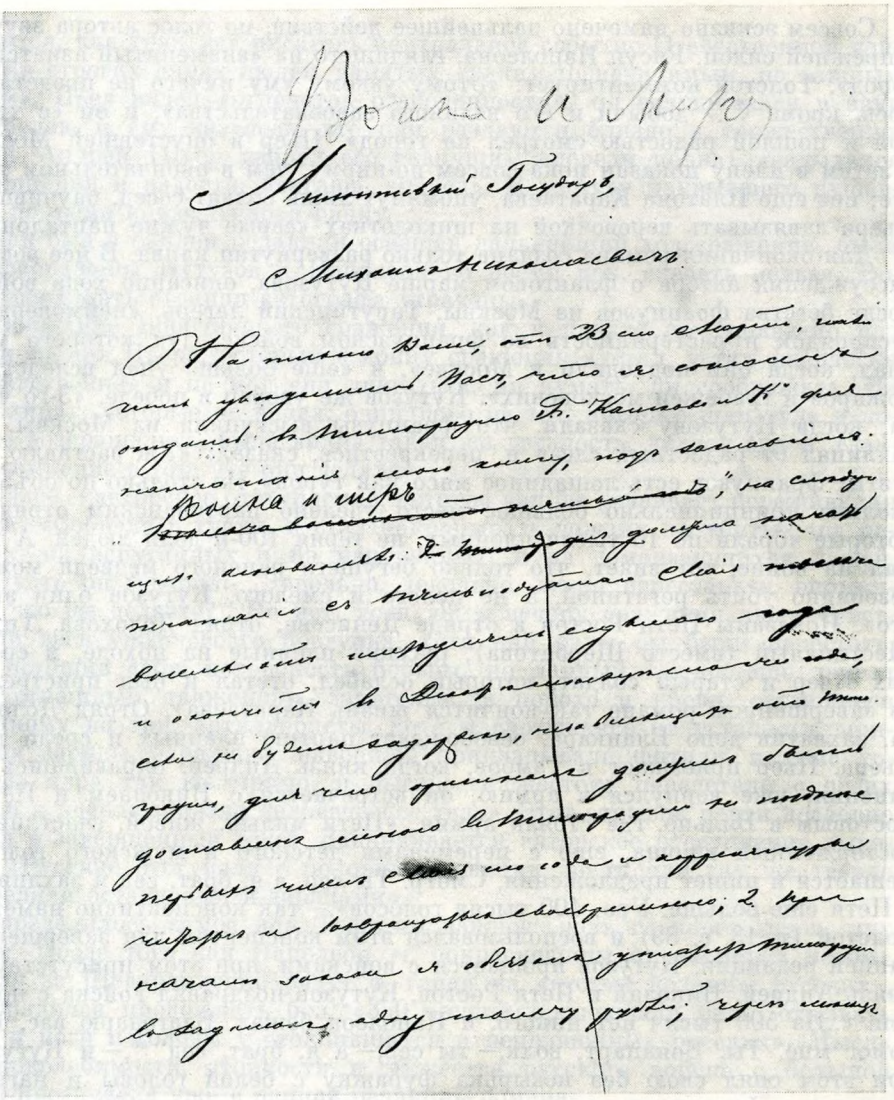
Для окончания романа создана только развернутая канва. В нее вошли рассуждения автора о фланговом марше Кутузова, описание хода войны после бегства французов из Москвы, Тарутинский лагерь, «неимоверный беспорядок и растерянность во французском войске, дух которого уже упал, когда они подходили к Москве», и «еще больше упал вследствие пожаров и грабежей московских». Кутузов же уверен в победе. «3-го числа, когда Кутузову сказали, что французы выступили из Москвы, он захлипал от радостных слез» и, перекрестясь, сказал: «Уж заставлю же я этих французов есть лошадиное мясо, как турок». Не столько по объему, сколько принципиально большое место уделено партизанским отрядам, которые «брали по 10 тысяч пленных, не теряя 100-й доли людей. А кто был на войне, тот знает, что только бегущего раненого медведя можно безобидно убить рогатиной, а не целого и смелого, Кутузов один знал это». Показаны Петя Ростов в отряде Денисова, отряд Долохова, Тихон Шестипалый (вместо Щербатова), русские пленные на походе, и среди них Пьер и старый солдат, который ослабел, отстал и был пристрелен (в завершенном романе так кончится жизнь Каратаева). Отряд Долохова, захватив депо Бланкара, освобождает партию пленных и среди них Пьера. Пьер приезжает в Тамбов, когда князь Андрей, оправившись от ранения, уже вернулся в армию, он встречается с Николаем и Петей Ростовым в Вильно, где стояла армия. «Петя милый, живой, счастливый восторженный юноша, еще с переменами детского и мужского голоса. Решается и пишет предложения. Смотр. Ты сер, а я, брат, сед и захлипал, а Петя еще больше. Ура. 100 тысяч голосов»,— так конспективно наметил Толстой (т. 13, с. 39) и воспользовался этим конспектом для завершения ранней редакции. Кутузов прощается с войсками, при этом присутствуют князь Андрей, Николай и Петя Ростов. Кутузов поздравил войска с победой. «„Из 500 тысяч нет никого, и Наполеон бежал. Благодарю вас. Бог помог мне. Ты, Бонапарт, волк,— ты сер,— а я, брат, сед“ [45],— и Кутузов при этом снял свою без козырька фуражку с белой головы и нагнул волосами к фрунту эту голову... „Ураа, аааа!“ — загремело 100 тысяч голосов, и Кутузов, захлебываясь от слез, стал доставать платок».

В обращение Кутузова к войскам включены слова из басни Крылова «Волк на псарне», которая была опубликована в № 2 «Сына отечества» за 1812 г. По словам одного из современников, Крылов «собственной рукой переписал басню, отдал ее жене Кутузова; она отправила ее в своем письме. После сражения под Красным Кутузов прочитал басню собравшимся вокруг него офицерам и при словах: „А я, приятель, сед“,— снял свою фуражку и потряс головой» [46].

Рукопись завершилась конспектом части эпилога, относящейся исключительно к личной жизни центральных героев. Намечены две свадьбы: Пьера с Наташей и Николая Ростова с княжной Марьей; отъезд Николая Ростова в полк, с которым он вступил в Париж, «где он вновь сошелся с Андреем». Вся семья Ростовых, Пьер с Наташей и графиня Марья с племянником Николенькой Болконским прожили лето и зиму в Отрадном, дожидаясь возвращения Николая Ростова и князя Андрея.

«Конец» — крупными буквами написал Толстой на последнем листе рукописи.

Две части, опубликованные в «Русском вестнике» под заглавием: «Тысяча восемьсот пятый год» [47], и непосредственно продолжившие их



ПИСЬМО ТОЛСТОГО М. Н. ЛАВРОВУ, СЛУЖАЩЕМУ В ТИПОГРАФИИ КАТКОВА, ОТ 24—25 МАРТА 1867 Г.

Проект договора на отдельное издание «Войны и мира» (предполагалось издание в тип. Каткова). Текст написан неизвестной рукой. Название «Война и мир» вписано Толстым над зачеркнутым им же названием «Тысяча восемьсот пятый год»

две большие рукописи, содержание которых кратко изложено выше, и составляют первую полную редакцию, создававшуюся в течение трех лет.

Однажды Толстой сказал, что «когда он в своих писаниях подписывается, то следует всё переписать, чтобы иметь полный экземпляр в оконченном виде, а то он иногда начинает вновь, переправляя, путается, а к прежнему не может вернуться, так как оно уже испачкано и искалечено» [48]. Текст настоящей публикации и есть результат попытки всё переписать и воссоздать «полный экземпляр» ранней редакции «Войны и мира» в «оконченном виде».

Что же представлял собой роман в его первой завершенной редакции? Был ли окончательный текст романа «Война и мир» в корне отличным от этого первоначального варианта или органично развивался из него? Чтобы уяснить это, необходимо установить, каковы отличия ранней ре-

дакции от окончательного текста романа и что общего между ними. Для изучения истории создания любого произведения в равной мере важно определить, что удалось автору сразу и что потребовало напряженного творческого труда.

Сравнивая первую полную редакцию «Войны и мира» с окончательной, убеждаемся в следующем: хронологические границы в ранней редакции те же, что и в окончательной: лето 1805 года — конец 1812 года. Нет только последних семи лет, обзору которых посвящены первые главы законченного эпилога. Географический охват тот же: действие происходит в Петербурге, в Москве, в деревне (Лысые Горы, Богучарово, Отрадное) и во всех пунктах, в которых происходили основные военные действия в 1805—1812 гг. Отобраны те же исторические факты, но только не все они еще разработаны с одинаковой полнотой, а некоторые лишь конспективно намечены. В то же время в ранней редакции полно освещены такие военные события, которые в окончательном тексте только упоминаются. Таковы, например, подробные описания сражений под Кремсом, Амштеттеном, Ламбахом, анализ плана сражения под Аустерлицем и другие. В самом отборе и, главное, в осмыслении исторических фактов с достаточной ясностью выражены идейные позиции автора.

Все исторические лица, действующие в «Войне и мире», участвуют в ранней редакции романа в тех же ролях и с теми же авторскими оценками. Из «полувымышленных» героев все не только главные, но второстепенные и даже эпизодические персонажи участвуют в ранней редакции; нет только Платона Каратаева.

Ранняя редакция «Войны и мира» — это многоплановое произведение. В историко-философских рассуждениях голос автора уже звучит громко и отчетливо. Писатель дает теоретическое обоснование своих взглядов на историю, дополняя ими художественное воплощение исторических событий. Публицистические отступления не ощущаются как нечто инородное в художественной ткани произведения, а составляют с нею единое целое. Завершив роман в его первоначальном виде «благополучным» для героев окончанием войны, Толстой дал ему бессмертное название: «Война и мир».

Как возникло это название? В рукописях романа его нет. Оно впервые упоминается в письме А. Е. Берса С. А. Толстой от 9 марта 1867 г. В рукописях встречаются два названия: «Три поры» — так озаглавил Толстой один из самых ранних вариантов начала, затем: «С 1805 по 1814 год» — название двенадцатого варианта начала; в 1866 г., когда роман в его первой редакции близился к завершению, у Толстого появилась мысль назвать свое произведение: «Всё хорошо, что хорошо кончается». Только год спустя было, наконец, найдено название «Война и мир». Первый раз оно собственноручно написано Толстым в проекте договора с Катковым на печатание романа, составленного тотчас же после окончания его первой полной редакции (т. 61, с. 163—164). В журнальном оттиске первой части, который служил наборной рукописью для первого отдельного издания, поверх напечатанного названия «Тысяча восемьсот пятый год» неизвестной рукой вписано красным карандашом новое: «Война и мир».

По поводу названия романа высказывались различные догадки. Возникало предположение, что оно могло быть подсказано выражением из книги С. Глинки «Записки о 1812 годе»: «мир и война шли рядом». Другое предположение связывает название романа Толстого с исследованием Прудона «La guerre et la paix», русский перевод которого вышел в 1864 г. под названием «Война и мир»[49]. Документально ни одна из догадок не подтверждается. Известно лишь признание Толстого: «Названий вообще я никогда не умею придумывать и приискиваю большей частью, когда всё написано» (т. 61, с. 242). Не всегда так случалось; например, для двух следующих романов название определилось на более ранней стадии работы. Но, действительно, так вышло с «Войной и ми-

ром». Название романа было «придумано» или «приискано» уже по завершении первой редакции.

О его происхождении можно выдвинуть еще одну догадку. В проекте договора с М. Н. Катковым Толстой написал название: «Война и міръ», то есть через і. Одно из понятий слова «міръ» — это все люди, весь свет, весь народ. Можно допустить, что, давая название произведению, главным героем которого является народ, Толстой имел в виду не «мир» — как противопоставление войне, а вкладывал в него понятие общей жизни всех людей, всего народа. Такую догадку позволяет выдвинуть также и то, что в тексте романа слово «міръ» неоднократно употребляется в смысле «народ».

«Наташа любила слышать „міромъ господу помолимся", думая, как она соединяет себя в одно с міромъ кучеров и прачек». Так было в ранней редакции. Этот текст потом уточнялся: «Она старалась понимать и счастлива была, когда она понимала некоторые слова, как „міромъ господу помолимся..." Она понимала их по-своему. Міромъ значит наравне со всеми, со всем міромъ». Позднее, уже в окончательном тексте, еще более углублен смысл, который вкладывала Наташа в слова «Міромъ господу помолимся»: «Міромъ — все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братской любовью».

Особенного внимания заслуживает следующий пример: в ранней редакции, в главе о деятельности князя Андрея в Петербурге, Толстой рассказывает, как преобразования Сперанского увлекли даже князя Андрея, жившего «долго в деревне», видевшего «и войну и міръ в самой действительности». Не говоря уже о самом написании этого слова, здесь бесспорно в него вложено понятие «народ», жизнь народа, которую князь Андрей, «живший долго в деревне», видел «в самой действительности». В приведенном последнем примере особенно важно, что даже в сочетании слов: «война и міръ» «мир» никак не означает противопоставления войне, это не имело бы смысла в данном контексте, поскольку имелась в виду мирная жизнь, о чем свидетельствует упоминание о жизни князя Андрея именно в деревне, тем более, что в деревне он жил и во время второй войны с Францией.

Наконец, еще один существенный пример — в главе о богучаровском бунте. «Взглянув на Дрона, он (Алпатыч.— *Э. З.*) тотчас понял, что ответы Дрона не были выражением мысли Дрона, но выражением того общего настроения богучаровского міра, которым староста уже был захвачен». Текст этот вписан в корректуру. Следует отметить также пословицу, выписанную из сборника пословиц В. И. Даля,— «Мір жнет, а рать кормится» (т. 13, с. 45).

Вряд ли можно всё это объяснить особенностью написания Толстым этого слова или случайностью. В автографах «Войны и мира» множество раз встречающееся слово «мир» — в смысле противопоставления войне — и написано через «и», а в тех случаях, когда в это слово вкладывалось понятие: весь свет, весь народ, оно вписано, как требовалось по орфографии того времени, через і.

Денис Давыдов в «Дневнике партизанских действий», который Толстой особо выделял из других изучаемых им исторических книг, словом «мір» назвал однажды свой партизанский отряд: «...я созвал мір и объявил ему о мнимом прибытии большого числа наших войск». Отряд Денисова состоял не только из крестьян, в него входили разные сословия. Денисов пишет: «С нами пошли: отставной мичман Николай Храповицкий, титулярный советник Татаринов, шестидесятилетний старец и землемер Макаревич; прочие помещики остались дома, довольствуясь ношением охотничьих кафтанов, препоясанные саблями и с пистолетами за поясом» [50]. Таков был «мір» Денисова в романе.

В «Походных записках» И. Радожицкого, которыми Толстой чрезвычайно широко пользовался, изображая войну 1812 года, также употребле-

Счетъ
Его Сятельству
Графу Льву Николаевичу
Толстому.

1863 года	число		рубли	коп.
Августа	15.	1. экз. Московскія вѣдомости 1803 г.	3.	—
		1. — Записки Сергея Глинки. —	3.	—
		1. — Записки Шишкова —	1.	50.
		1. — Записки Артиллериста 4 т.	4.	—
		1. — Сочиненія Карамзина 3 т. —	3	
			14.	50.
		Получено 10 рублей		
		За нимъ остается — 4 р. 50 к.		
		Вновь взято:		
		1. Словарь Достопамят. людей Смутнаго Времени Колмовскаго 3 части. —	5.	
		1. Донесеніе Слѣдственной Комиссіи 2 ч.	3.	—
		1. — то же Варшавской	1.	—
		1. Верховно-уголовный судъ —	2	
		1. Исторія Консульства и Имперіи 7 ч.	3	
		1. Исторія 1812 г. Михайловскаго 3 г.	4.	
		1. — 1813 г. Сборник. —	2	50.
		1. — 1814. — сборник. —	2	50.
		1. — 1805 г. сборник в переплетѣ	2	50.
1863 г. Ноября	27.	1. Дельфинов-романъ. —	2.	
1864 г. Марта	19.	1. Вѣстникъ Европы 1803 г. —	2	50
		1. — то же 1804 г. —	2	50.
		1. Кавалеристъ Девица часть 1 ч.	2	50.
		1. Записки Студента —	1.	25.
		Итого...	40.	75.
1864 г. Мая	9.	Получено хрен человѣка сереб. 20 р.		
		За нимъ Остается.	20	75.
		на обратной		

СЧЕТ КНИЖНОГО МАГАЗИНА В МОСКВЕ НА КНИГИ, КУПЛЕННЫЕ ТОЛСТЫМ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ РАБОТЫ НАД «ВОЙНОЙ И МИРОМ»

«Везде, где в моем романе говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалами, из которых у меня во время моей работы образовалась целая библиотека книг» (т. 16, с. 13)

«...Художество требует еще гораздо больше точности, precision ‹точности›, чем наука» (т. 78, с. 156—157)

ОПИСАНІЕ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ

ВЪ 1812 ГОДУ,

ПО

ВЫСОЧАЙШЕМУ

ПОВЕЛѢНІЮ

СОЧИНЕННОЕ ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТОМЪ

Михайловскимъ-Данилевскимъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Печатано въ Военной Типографіи.

1839.

А. И. МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ.
ОПИСАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В 1812 ГОДУ...
Тт. 1—4. СПб., 1839
Титульный лист первого тома

ПОХОДНЫЯ

ЗАПИСКИ

РУССКАГО ОФИЦЕРА,

ИЗДАННЫЯ

И. Лажечниковымъ.

.... и нашъ вѣкъ произвелъ также добродѣтели и дарованія, достойныя подражанія потомства!

К. Тацитъ, Лѣт. Кн. III.

МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФІИ Н. СТЕПАНОВА.

1836.

И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ.
ПОХОДНЫЕ ЗАПИСКИ
РУССКОГО ОФИЦЕРА.
М., 1836
Титульный лист

ПОХОДНЫЯ ЗАПИСКИ

АРТИЛЛЕРИСТА,

СЪ 1812 ПО 1816 ГОДЪ.

АРТИЛЛЕРІИ ПОДПОЛКОВНИКА

И..... Р.....

МОСКВА,

ВЪ ТИПОГРАФІИ ЛАЗАРЕВЫХЪ
ИНСТИТУТА ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ.

1835.

И. Р⟨АДОЖИЦКИЙ⟩.
ПОХОДНЫЕ ЗАПИСКИ АРТИЛЛЕРИСТА,
С 1812 ПО 1816 ГОД...
Тт. 1—4. М., 1835
Титульный лист первого тома

РОСЛАВЛЕВЪ,

ИЛИ

РУССКІЕ ВЪ 1812 ГОДУ.

ГЛАВА I.

—

2-го числа Сентября, часу въ восьмомъ утра, Сборской, садясь въ тележку, запряженную двумя плохими извощичьими лошадьми, пожалъ въ послѣдній разъ руку своего товарища. «Прощай, мой другъ!» сказалъ онъ. «Боюсь, что мнѣ не удастся полечиться въ Калугѣ. Пожалуй, эти Французы и оттуда меня выживутъ.»

— «Но точно ли правда, что они такъ близко отъ Москвы?» спросилъ Зарѣцкой.

М. Н. ЗАГОСКИН.
РОСЛАВЛЕВ, ИЛИ РУССКИЕ
В 1812 ГОДУ. ИЗД. 3-Е. М., 1851
Титульный лист

КНИГИ, ПОСЛУЖИВШИЕ ТОЛСТОМУ ОСНОВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ДЛЯ «ВОЙНЫ И МИРА»

ЗАПИСКИ

АЛЕКСѢЯ ПЕТРОВИЧА ЕРМОЛОВА.

СЪ ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

ИЗДАНІЕ

Н. П. Ермолова.

ЧАСТЬ I.

1801 – 1812 г.

МОСКВА.

Въ Университетской типографіи (Катковъ и К°),

на Страстномъ бульварѣ.

1865.

ЗАПИСКИ
АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА ЕРМОЛОВА.
М., 1865
Титульный лист

СОЧИНЕНІЯ

ДЕНИСА ВАСИЛЬЕВИЧА

ДАВЫДОВА.

Изданіе четвертое, исправленное и дополненное по рукописямъ автора.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

МОСКВА.

Въ типографіи Бахметева.

1860.

СОЧИНЕНИЯ
ДЕНИСА ВАСИЛЬЕВИЧА ДАВЫДОВА.
ИЗД. 4-Е. М., 1860
Титульный лист

ЗАПИСКИ

СОВРЕМЕННИКА

съ 1805 по 1819 годъ

Часть I

ДНЕВНИКЪ СТУДЕНТА

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

1859

С. П. ЖИХАРЕВ.
ЗАПИСКИ СОВРЕМЕННИКА
С 1805 ПО 1819 ГОД. ЧАСТЬ 1.
ДНЕВНИК СТУДЕНТА. СПб., 1859
Титульный лист

СОЧИНЕНІЯ

РАСТОПЧИНА

(ГРАФА ѲЕОДОРА ВАСИЛЬЕВИЧА).

Изданіе Александра Смирдина.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ А. ДМИТРІЕВА.

1855.

Ф. В. РАСТОПЧИН.
СОЧИНЕНИЯ. СПб., 1853
Титульный лист

КНИГИ, ПОСЛУЖИВШИЕ ТОЛСТОМУ ОСНОВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ДЛЯ «ВОЙНЫ И МИРА»

М. П. ПОГОДИН
Литография с фотографии Г. Бергнера, 1860 г.

но слово «міръ» в отношении партизанских отрядов [51]. Эти исторические сочинения, хорошо изученные Толстым, могли подсказать ему название романа, в котором он стремился показать роль народа, разных пластов его в Отечественной войне 1812 года.

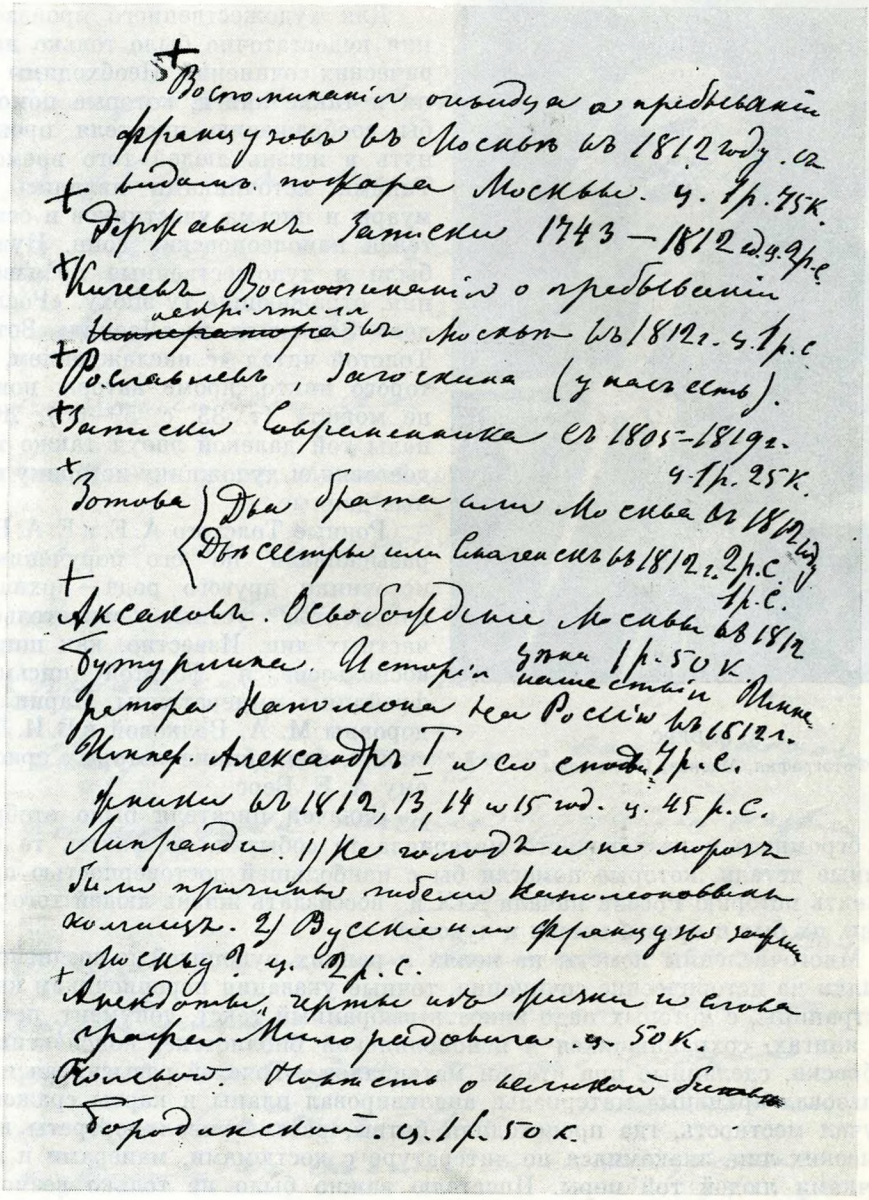
Название «Война и міръ», то есть «война и народ», больше соответствует основной идее романа, так как задачей Толстого было показать великую роль народа в освободительной войне, а вовсе не сопоставить военную и мирную жизнь. Из 17 частей романа только в трех (т. II, ч. 3—5) события происходят в период между двумя войнами: между войной 1806—1807 гг. и Отечественной войной.

Любопытна заметка, появившаяся тотчас после выхода последнего — шестого — тома первого издания: «Наконец, знаменитый роман „Война и мир" окончен ⟨...⟩ Но, вероятно, некоторые любознательные читатели остались в недоумении и желали бы спросить: «почему же этот роман называется „Война и мир"?.. В продолжение всех шести томов автор описывает нам беспрерывную войну, ну, а мир-то когда же будет?.. И точно, о мире почти ничего не говорится» [52]. При жизни Толстого роман печатался под заглавием «Война и мир». Как произошла замена слова, получившего совершенно иное значение, по сохранившимся документам установить невозможно. В посмертных изданиях лишь однажды, в 1913 г., П. И. Бирюков, друг и биограф Толстого, издал роман под заглавием «Война и міръ» [53].

Не в идейном содержании заключается отличие ранней редакции от опубликованного романа. С самого начала работы Толстой ставил своей задачей писать «историю народа». «Художественное произведение требует строгой художественной обработки»,— писал Толстой позднее. «Надо заострить художественное произведение, чтобы оно проникло», только тогда оно «пройдет через равнодушие и повторением возьмет свое» (т. 63, с. 424 и т. 51, с. 13). Таковы принципы Толстого. И как всегда у Толстого, каждая, даже, казалось бы, небольшая, стилистическая правка заостряла мысль. На художественное заострение вчерне законченного произведения и были направлены творческие усилия автора в третий — последний — период работы, когда «Война и мир» готовилась к печати отдельным изданием. Путь от рукописи к окончательному тексту продолжался три года.

С первых же дней работы, еще в период поисков начала, Толстой стал собирать и изучать исторические материалы. Книги, которые служили основными источниками в течение всех семи лет создания «Войны и мира», писатель приобрел в книжном магазине в Москве 15 августа 1863 г.

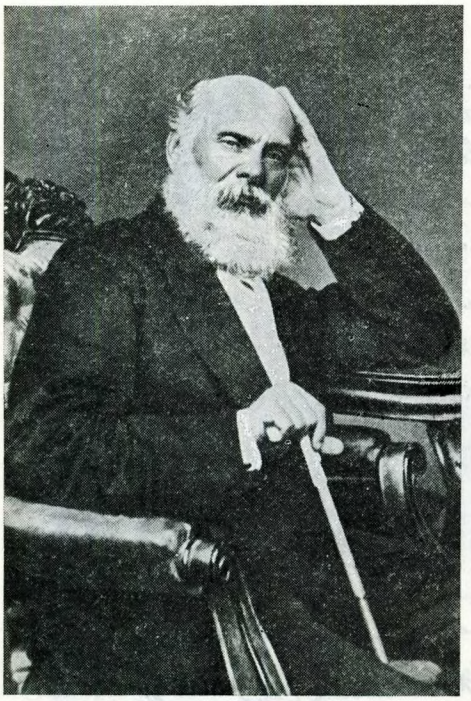
Это шесть томов сочинений А. И. Михайловского-Данилевского о войнах 1805, 1812, 1813 и 1814 гг., «Записки о 1812 годе» Сергея Глинки (СПб., 1836), «Краткие записки адмирала А. Шишкова...» (СПб., 1832), четыре тома «Походных записок артиллерии подполковника И. Радожиц-



Воспоминанія очевидца о пребываніи французовъ въ Москвѣ въ 1812 году. Съ видомъ пожара Москвы. ц. 1 р. 75 к.
Державинъ Записки 1743—1812 гг. ц. 2 р.
Кисеевъ Воспоминанія о пребываніи ~~Наполеона~~ непріятеля въ Москвѣ въ 1812 г. ц. 1 р.
Ростопчинъ, Загоскина (у насъ есть).
Записки Современника въ 1805—1819 г. ц. 1 р. 25 к.
Зотова { Два брата или Москва въ 1812 году
Двѣ сестры или Смоленскъ въ 1812 г. 2 р. 1 р.
Аксаковъ. О свободномъ Москвы въ 1812
Бутурлинъ. Исторія нашествія Императора Наполеона на Россію въ 1812 г. 1 р. 50 к.
Шнеръ. Александръ I и его епоха. ц. 1 р.
Фрейтаг въ 1812, 13, 14 и 15 год. ц. 45 р.
Липранди. 1) Не голодъ и не морозъ были причины гибели Наполеоновыхъ полчищъ. 2) Русскіе или французы зажгли Москву? ц. 2 р.
Анекдоты, черты изъ жизни и слова графа Милорадовича. ц. 50 к.
Колосовъ. Повѣсть о великой битвѣ Бородинской. ц. 1 р. 50 к.

СПИСОК КНИГ О 1812 ГОДЕ, ПРИСЛАННЫЙ ТОЛСТОМУ Е. А. БЕРС ПРИ ПИСЬМЕ ОТ 14—15 СЕНТЯБРЯ 1863 Г.

кого» (М., 1835), семь томов «Истории консульства и империи» Тьера, три тома «Словаря достопамятных людей русской земли» Д. Бантыш-Каменского (СПб., 1847). Почти все эти книги сохранились в Яснополянской библиотеке. Кроме того, в переписке Толстого первых лет работы над романом упомянуты «Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете». В «Чтениях» за 1863 и 1864 г. было опубликовано много материалов об Отечественной войне. Читал Толстой тогда и «Походные записки русского офицера», изданные И. Лажечниковым (М., 1836), и книгу П. И. Шаликова «Историческое известие о пребывании в Москве французов 1812 года» (М., 1813). Из дневника М. П. Погодина известно, что 15 декабря 1863 г. Толстой приходил к нему «за материалами о 1812 годе».



А. Е. БЕРС
Фотография. Москва, 1860-е годы

Для художественного произведения недостаточно было только исторических сочинений. Необходимы были и такие книги, которые помогли бы воображению писателя проникнуть в жизнь людей того времени. Такими источниками являлись мемуары и письма участников и свидетелей наполеоновских войн. Нужны были и художественные произведения, отражающие ту эпоху. «Рославлев» Загоскина и «Леонид» Зотова Толстой читал «с наслаждением, которого никто, кроме автора, понять не может» (т. 83, с. 59—60). Журналы той далекой эпохи также предоставляли художнику-историку ценные данные.

Родные Толстого А. Е. и Е. А. Берс разыскивали по его поручению и источники другого рода — архивные документы, устные свидетельства частных лиц. Известно, как широко воспользовался Толстой письмами фрейлины императрицы Марии Федоровны М. А. Волковой к В. И. Ланской [54], подлинники которых прислал ему А. Е. Берс.

Задачей писателя было отобрать из огромного и разнородного материала те события, те факты, те красочные детали, которые помогли бы с наибольшей достоверностью представить историю России начала XIX в., воссоздать жизнь людей того времени, их быт и нравы, мысли и чувства.

Многочисленны пометы на полях и ранних рукописей и позднейших, ссылки на исторические сочинения, точные указания переписчикам книги и страницы, с которых надо вписать выбранный текст, документ, пометы на книгах, сохранившихся в яснополянской библиотеке, конспективные наброски, сделанные при чтении материалов... Толстой разыскивал и использовал архивные материалы, анализировал планы и карты сражений, изучал местность, где происходили битвы, рассматривал портреты исторических лиц, знакомился по литературе с костюмами, манерами и привычками людей той поры. Писателю важно было не только возможно подробнее узнать о событиях, но осмыслить их, овладеть ключом к характеру каждого из их участников. Так и видишь, как при работе над «Войной и миром» (как и позднее над незавершенным романом из времен Петра) Толстой сидел «обложенный кучей книг, портретов, картин и нахмуренный», «читал, делал отметки, записывал, был погружен в жизнь прошлого» [55].

Из этих богатейших россыпей материала писатель не только выбирал запас фактов; при чтении возникали замыслы: где, как и для чего может понадобиться в его произведении данный факт, через кого из «полувымышленных» персонажей можно включить отобранный факт, характерную деталь так, чтобы каждый эпизод сливался с сюжетом произведения и служил его основной идее. В конспектах отражены картины, возникшие в воображении художника, и «теории философии», рождавшиеся в уме писателя-историка при чтении первоисточников. «Много у нас писателей есть тяжелых сторон труда, но зато есть эта, верно вам неизвестная volupté [56] мысли — читать что-нибудь, понимать одной стороной ума.

Петровской. Прошлое мне тесно
и увлекает, что вспрыгиваешь
за вашим чтением. Скоро ли
~~приедете~~ наступит эпоха
счастливой дали, когда я вас
обниму, а главное разговорю
свою милую больную и полную
этих же почти лишь душевными
тревогами. — И-таки до скорого
свидания, я отвожу вас тихая
не подозрева начала будущей недели

Я прочел первый волнами писем Волковой, которые она писала Ланской в 1812 и 1813 годах; теперь читаю 1814 года. Для меня они интересны в высшей степени, — она говорит в своих письмах о лицах, которых она знала в молодости, а в ней их пор сторона. — Такие вещи интересны не описаниями ~~обстоятельств~~ времени, — и ~~так~~ и все это очень интересно

СТРАНИЦА ПИСЬМА А. Е. БЕРСА К ТОЛСТОМУ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 1863 Г.
О письмах М. А. Волковой к В. И. Ланской 1812—1813 гг.

а другой — думать и в самых общих чертах представлять себе целые поэмы, романы, теории философии»,— так писал Толстой в первые годы работы еще над ранней редакцией «Войны и мира» (т. 61, с. 116). Требования достоверности выдержаны начиная с первых набросков во всем — не только в отношении исторических событий, но во всех мелких деталях, воссоздающих характер времени, «звук и запах» эпохи[57].

Глубокое знание изображаемой эпохи позволило Толстому показать ее правдиво. Период наполеоновских войн писатель видел глазами своего времени. Всё то, что было скрыто для людей 12-го года, стало видимым через 50 лет. Полемика Толстого с историками[58], возникшая с первых дней работы, достаточно полно отраженная в ранней редакции,— это принципиальное отстаивание того, что Толстой считал «истиной», которую он «шаг за шагом открывал» в продолжение всех семи лет работы над «Войной и миром».

Публикуемый текст первой завершенной редакции «Войны и мира» основан на систематическом изучении всего рукописного фонда произведения.

Первые две части (в наст. изд. с. 69—263) публикуются по печатному тексту «Русского вестника» (1865, №№ 1—2; 1866, № 2—4) с проверкой по всем предшествующим черновым вариантам (автографам и правленным копиям) и с исправлением ошибок переписчиков.

Дальнейший текст печатается по подлинным рукописям:

1. Рукопись 103 написана в основном под диктовку с последующей авторской переработкой; содержание ее — «от Аустерлица до Тильзита включительно» — соответствует в окончательном тексте т. I, ч. 3 и т. II, ч. 1—2. Печатается второй слой, то есть текст, переработанный после того, как была создана вторая часть — с описанием Шенграбенского сражения (см. наст. изд., с. 182—263).

2. Рукопись 107 — автограф; содержание ее охватывает события 1809—1812 гг. и до окончания произведения (соответствует в окончательном тексте т. II, ч. 3 — до конца). (Номера рукописей даются по «Описанию рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого», выпущенному Издательством АН СССР в 1955 г.)

При переработке Рукописи 103, а также при создании Рукописи 107 Толстой в процессе писания правил текст: 1) отдельных фраз, 2) отдельных больших отрывков, сцен, глав. Во втором случае эти тексты печатаются в специальном разделе — «Варианты»; каждый из них обозначен номером; ссылки на варианты даются под строкой в соответствующем месте основного текста публикации.

При воспроизведении текста толстовских автографов соблюдаются следующие правила:

1. Текст автографов — Рукопись 103 и Рукопись 107 — условно делится на главы в соответствии с приведенным во вступительной статье планом работы Толстого над ранней редакцией романа (см. с. 37 наст. изд.). Толстой в автографе писал просто «следующая глава». Номера глав даются в угловых скобках.

2. Вычеркнутое Толстым, если оно не отменено последующими исправлениями и не разрушает связности текста, вводится в текст в прямых скобках.

3. Пометы Толстого на полях приводятся под строкой и набираются курсивом. В тех случаях, когда в тексте автографа есть смысловая неясность или нарушена связность повествования, под строкой дается, если это можно сделать, основываясь на других документах толстовского архива (письмах писателя, отзывах людей, которым он читал отрывки из ранней редакции, и т. д.), разъяснение с пометой: «прим. составителя». В большинстве же случаев такие места отмечаются сноской: «Так в авто-

графе» — без указания «прим. составителя». Без такого указания даются и ссылки на пометы Толстого на полях, а также на варианты.

4. Переводы текстов на иностранных языках даются в подстрочных сносках. Так как большинство этих текстов — на французском языке, указанием языка (*нем.*, *англ.*, *лат.*) сопровождаются переводы со всех языков, кроме французского.

5. Слова, не дописанные или написанные сокращенно, дополняются: а) без особых знаков и оговорок, если дополнения не вызывают сомнений; б) при отсутствии полной уверенности — в угловых скобках, а в особо сомнительных случаях — с вопросительным знаком внутри скобок. Допускается восстановление в угловых скобках слов, ошибочно пропущенных Толстым, если очевидно, какое слово пропущено; в случае не полной уверенности — внутри скобок после слова ставится вопросительный знак. На месте слов, не поддающихся прочтению, также в угловых скобках, дается помета курсивом: *нрзб* и перед ней курсивом же — число непрочитанных слов: ⟨*1 нрзб*⟩, ⟨*2 нрзб*⟩ и т. д.

6. Имена персонажей, а иногда и названия мест Толстой обозначал в автографе первой буквой: А.— Андрей, Р.— Pierre, Н.— Наташа, Р.— Ростовы, Б.— Болконский, Б.— Борис, М.— Марья, И. А.— Илья Андреич, N.— Nicolas, N.— Наполеон, Н.— Hélène, М.— Москва, П. или Пб.— Петербург и т. д. Они дополняются так же, как недописанные слова, в прочтении которых нет ни малейшего сомнения.

7. Слова, подчеркнутые Толстым, воспроизводятся курсивом. В тех случаях, когда он применял для выделения слова, фразы или куска текста разрядку или прописные буквы, сохраняется написание автографа.

8. Текст автографа воспроизводится по современной орфографии, но с сохранением особенностей языка Толстого, передающих неповторимый аромат и времени действия романа, и времени его создания. Например: «два раненые солдата», «три дни», «перилы», «ариергард», «фамилиарный», «противуестественный», «противуположный», «четвероугольный», «танцовать», «здоровываться», «дотрогиваться», «устроивать», «успокоивать», «сериозно» и т. д. Сохраняется в отдельных случаях и разнописание слов, например: «снурки» и «шнурки», «баталионы», но «батальонный».

9. Пунктуация дается по современным требованиям. Недостающие запятые и интонационные знаки вводятся без оговорок; но сохраняются часто встречающиеся в автографах точка с запятой и тире. Прямая речь и внутренний монолог даются в соответствии с современными правилами (в автографе это, естественно, не соблюдается); так же даются и многоточия Толстого, хотя он в каждом отдельном случае ставил разное число точек.

10. Имена исторических лиц — героев «Войны и мира» — даются, как правило, в современном написании, но с рядом исключений. Так, Наполеон называется у Толстого то Бонапарт, то Бонапарте, то Буонапарте (в зависимости от политической ситуации и соответствующего отношения к нему), то даже Бунапарте (в речи солдат). Это разнописание в публикации сохраняется. То же относится и к таким именам, как Чарторыжский (Чарторижский, Чарторыйский), Пшебышевский (Пршебышевский, Пржебышевский), Долгорукий (Долгоруков) и т. д. В указателе дается современное написание всех этих имен.

Приношу благодарность сотрудникам рукописного отдела Государственного музея Л. Н. Толстого Л. В. Гладковой, Н. А. Калининой, Т. Г. Никифоровой и В. В. Лозбяковой, помогавшим мне при подготовке рукописи к изданию.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Литературное наследство», т. 69, кн. 1, 1961, с. 291—396.

[2] Настоящую публикацию полной первой редакции романа в каком-то смысле предваряют мои статья «История писания и печатания „Войны и мира“» (т. 16, с. 19—145) и монография: «„Война и мир“ Л. Н. Толстого. Создание великой книги» (М., 1966); мною также написана вступительная статья к публикации вариантов начала в указанном томе «Литературного наследства», вследствие чего в настоящей вступительной статье неизбежны некоторые совпадения с названными работами.

[3] Мне говорил об этом Н. Н. Гусев.

[4] Публикуется с сохранением правописания Толстого-ребенка.

[5] С. А. Толстая. Материалы к биографии Толстого и «Воспоминания Толстого» (т. 34, с. 357).

[6] «Литературное наследство», т. 69, кн. 1, с. 382.

[7] См.: Э. Е. Зайденшнур. «„Война и мир“ Л. Н. Толстого. Создание великой книги», с. 7—9.

[8] Последняя запись, возможно, относится к Анне Михайловне Друбецкой, образ которой вырисовывался в процессе создания вариантов начала. Здесь и далее черновые рукописи цитируются по автографу. Многие отрывки из них опубликованы в т. 13, с. 198—258, но с некоторыми неточностями, а главное — в этой публикации объединены отрывки из разных рукописей.

[9] Я видел Новосильцева.

[10] восклицают

[11] дурно воспитанный

[12] когда я показал им путь славы, они не хотели. Я открыл им мои передние — они бросились толпой

[13] В Москве действие начинается в день именин Натальи, то есть 26 августа (см.: «Литературное наследство», т. 69, кн. 1, с. 336—345).

[14] В сохранившихся рукописях заглавий нет. Видимо, они появились либо в наборной рукописи, либо в корректурах «Русского вестника». Ни наборная рукопись, ни корректуры не сохранились.

[15] Седьмой вариант начала — см.: «Литературное наследство», т. 69, кн. 1, с. 346—355.

[16] увеселительную прогулку

[17] С. А. Толстая имеет в виду старого князя Болконского, каким он изображен в варианте начала, озаглавленном «Три поры» (см.: «Литературное наследство», т. 69, кн. 1, с. 325—331).

[18] Письмо С. А. Толстой от 25 ноября 1864 г.— В кн.: С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому 1862—1910 гг. М.— Л., 1936, с. 31.

[19] Там же, с. 32.

[20] В комментарии к письму Толстого жене от 29 ноября 1864 г. ошибочно указано, что 27 ноября «передано было Толстым в „Русский вестник“ тридцать восемь глав, составлявших десять печатных листов», то есть вся первая часть (т. 83, с. 65, прим. 7). Фактически могли быть сданы только тридцать две главы, заканчивающиеся описанием смерти графа Безухова и напечатанные в январской и февральской книжке «Русского вестника» за 1865 г. с подзаголовками «В Петербурге» и «В Москве». Присланную же С. А. Толстой копию окончания первой части Толстой правил лишь 1 декабря (см. т. 83, с. 69).

[21] Письма Толстого жене от 29 ноября, 1, 2, 4 и 6 декабря (т. 83) написаны рукой Т. А. Берс под диктовку, только в письмах от 2, 4 и 6 декабря по нескольку строк написано нетвердой рукой Толстого.

[22] Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., Изд-во АН СССР, 1957, с. 717.

[23] Верхний правый угол листа оторван и окончание слова утрачено.

[24] *9* написано по цифре *12*.

[25] Конспект, а также все отдельные конспективные записи опубликованы в т. 13, с. 25—26.

[26] Л. Пастернак. Четыре отрывка из моей автобиографии.— В кн.: М. Осборн. Леонид Пастернак. Варшава, 1932, с. 72—78.

[27] Несмотря на просьбу Толстого, в объявлениях о публикации «Тысяча восемьсот пятый год» назывался романом. Нередко сам Толстой в письмах и дневниковых записях 60-х годов называл свое произведение романом.

[28] Что имел в виду Толстой в сокращении: «ор. черн» определить с уверенностью трудно. Имеются предположения, что «черн» значит черн⟨овым⟩, а «ор.» раскрывается как латинское opus. Однако это слово в рукописях Толстого никогда не встречается.

[29] Подлинник письма не сохранился. В копии, по которой оно опубликовано, вероятно, перед «и Аустерлицкого сражения» одно слово было не разобрано и для него оставлено место. При публикации редактором на оставленном месте вписано: «Шенграбенское» (т. 61, с. 66). Но описания Шенграбенского сражения еще не было, и на этом этапе работы Толстой считал второй частью текст «от Аустерлица до Тильзита», то есть то, что составило потом третью часть. В цитируемом письме Толстой отметил, что вторая часть будет такого же размера, как и первая. Это подтверждают рукопи-

си: первая часть — $8^1/_2$ печатных листов, а считавшаяся тогда второй — $7^1/_2$. Можно предположить, что пропущено было: «Вишауское».

[30] Черновые варианты указанных сцен опубликованы в т. 13, с. 397—405, №№ 40—44.

[31] Об этом см. также статью Е. В. Тарле в журнале «Вопросы истории» (1952, № 11).

[32] Набросок, заканчивающийся словами: «...из ворот деревни вышли и приближались к ним чиновник немец и гусарский юнкер», написан рукой В. В. Нагорновой, очевидно, под диктовку. Весь он зачеркнут, а оставшаяся незаполненная часть листа была позднее использована для продолжения текста другой рукописи. В т. 15, с. 293, опубликован этот набросок (первые два абзаца) и ошибочно — как непосредственное продолжение — дальнейший текст — автограф, относящийся к другой рукописи.

[33] С. А. Толстая. Дневники, т. 1. М., «Художественная литература», 1978, с. 75.

[34] Письма С. А. Толстой от 29 и 31 июля 1865 г.— В кн.: С. А. Толстая. Дневники, т. 1, с. 59 и 63.

[35] Такие записи, может быть, тогда же были повторены на полях черновой редакции новой второй части.

[36] В черновых отрывках второй части, опубликованных в т. 13, встречаются имена: Ананьев, Брыков; затем Ананьев был переименован в Тушина, а Брыков в Тимохина.

[37] См.: М. А. Цявловский. Как писался и печатался роман «Война и мир».— В кн.: «Толстой и о Толстом». Сб. 3. М., 1927, с. 145; Б. М. Эйхенбаум. Лев Толстой. Книга вторая. Шестидесятые годы. Л.— М., 1931, с. 271; Юбилейное издание, т. 48, с. 480—481; т. 61, с. 112; Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год, с. 723.

[38] На этом запись обрывается. Опубликована в т. 13, с. 37, № 20.

[39] В первом и втором отдельных изданиях, вышедших в 1868 и 1869 г. в шести томах, описания Шенграбенского и Аустерлицкого сражений объединены во втором томе, разделенном на часть I и часть II.

[40] Текст, соответствующий в завершенном романе первым тринадцати главам третьей части первого тома.

[41] Искусство вечно, жизнь коротка (*лат*).

[42] См.: Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1958, с. 395; Д. Д. Оболенский. Отрывки из личных впечатлений.— В кн.: «О Толстом. Международный Толстовский альманах». М., «Книга», 1909, с. 243.

[43] Ср. «Воспоминания Толстого».— Юбилейное издание, т. 54, с. 360—361.

[44] Светская дама, светский человек.

[45] См. заметку В. Прокопенко и А. Шнейдер «История басни» («Вечерняя Москва», 1962, № 170 от 21 июля).

[46] Там же.

[47] В 1866 г. обе части под тем же названием вышли отдельным изданием. Цензурное разрешение первой — 11 июня 1866 г., второй — 12 марта 1866 г.

[48] Т. Л. Сухотина-Толстая. Дневник. М., «Современник», 1979, с. 282 (запись от 3 февраля 1894 г.).

[49] См.: Н. Н. Апостолов. Материалы по истории литературной деятельности Л. Н. Толстого.— «Печать и революция», 1924, кн. 4, с. 95; Б. М. Эйхенбаум. Лев Толстой. Шестидесятые годы. Л., 1931, ч. 4; Я. Билинкис. О творчестве Толстого. Л., 1959, с. 225, 226; В. В. Ермилов. Толстой-художник и роман «Война и мир». М., 1961, с. 15 и сл.; Н. Н. Арденс. Творческий путь Л. Н. Толстого. М., 1962, с. 152, 246—253. Письмо к Н. Н. Страхову от 25 ноября 1870 г.— Юбилейное издание, т. 61, с. 242.

[50] Сочинения Дениса Васильевича Давыдова, т. 1. Изд. 4. М., 1860, с. 81.

[51] См.: И. Радожицкий. Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год, т. 1. М., 1835.

[52] «Шестой том романа „Война и мир", сочинение Л. Н. Толстого».— «Петербургская газета», 1870, № 2.

[53] Л. Н. Толстой. Война и міръ. М., 1913.

[54] Письма М. А. Волковой и В. И. Ланской частично напечатаны в декабрьской книжке «Русского архива» за 1879 г., полностью — в «Вестнике Европы» (1874, №№ 8—12) под названием: «Грибоедовская Москва в письмах М. А. Волковой к В. И. Ланской».

[55] См. письмо С. А. Толстой брату С. А. Берсу от 19 ноября 1872 г.— В кн.: С. А. Берс. Воспоминания о Л. Н. Толстом. Смоленск, 1894, с. 45.

[56] наслаждение

[57] О принципах использования Толстым исторических источников в «Войне и мире» см. главу «История глазами художника» в моей монографии «„Война и мир" Л. Н. Толстого. Создание великой книги», с. 328—372.

[58] Так, например, Тьер писал: «Я полагаю, что мне удалось открыть и выразить истину, не условную, какую часто создают сами себе современные поколения и передают следующим поколениям как истину подлинную, но истину самих событий, которая отыскивается только в государственных документах и особенно в переписке могущественных особ» (цитируется по русскому переводу, опубликованному в «Живописной библиотеке»). Толстой же считал, что историки не видят следов, «не выра-

зившихся в мишурном величии, в книге, в важном звании, в памятнике», и намеревался писать историю не государственных деятелей, а «людей, не имевших тех недостатков, которые нужны для того, чтобы оставить следы на страницах летописей» (т. 61, с. 116), то есть его задачей было писать «историю человеков», а потому он не мог руководствоваться только официальными документами.

Толстой писал: «...разногласие мое в описании исторических событий с рассказом историков ⟨...⟩ не случайное, а неизбежное. Историк и художник, описывая историческую эпоху, имеют два совершенно различные предмета. Как историк будет неправ, ежели он будет пытаться представить историческое лицо во всей его цельности, во всей сложности отношений ко всем сторонам жизни и тем невольно упуская и заслоняя главную свою задачу — указать на участие лица в историческом событии, так художник не исполнит своего дела, понимая лицо так, как историк, представляя его всегда в его значении историческом» (т. 13, с. 57).

ПЕРВАЯ ЗАВЕРШЕННАЯ РЕДАКЦИЯ РОМАНА «ВОЙНА И МИР»

ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ ПЯТЫЙ ГОД

В ПЕТЕРБУРГЕ

I

— Eh, bien, mon prince, Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des[1] — поместья de la famille Buonaparte. Non, je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole, j'y crois) — je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus[2] мой верный раб, comme vous dites[3]. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Je vois que je vous fais peur[4], садитесь и рассказывайте.

Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Федоровны, встречая важного и чиновного князя Василья, первого приехавшего на ее вечер. Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был *грипп*, как она говорила (*грипп* был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими), а потому она не дежурила и не выходила из дому. В записочках, разосланных утром с красным лакеем, было написано без различия во всех:

«Si vous n'avez rien de mieux à faire, M. le Comte[5] (или mon prince), et si la perspective de passer la soirée chez une pauvre malade ne vous effraye pas trop, je serai bien charmée de vous voir chez moi entre 7 et 10 heures.

Annette Scherer»[6]

— Dieu, quelle virulente sortie![7] — отвечал, нисколько не смутясь такой встречей и слабо улыбаясь, вошедший князь с светлым выражением хитрого лица, в придворном шитом мундире, чулках, башмаках и звездах.

Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды, и с теми тихими покровительственными интонациями, которые свойственны состаревшемуся в свете и при дворе значительному человеку. Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, подставив ей свою надушенную и сияющую белизной даже между седыми волосами лысину, и покойно уселся на диване.

— Avant tout dites-moi, comment vous allez, chère amie?[8] Успокойте друга,— сказал он, не изменяя голоса, и тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка.

— Как вы хотите, чтоб я была здорова, когда нравственно страдаешь? Разве можно оставаться покойной в наше время, когда есть у человека чувство,— сказала Анна Павловна.— Вы весь вечер у меня, надеюсь?

---

[1] Ну что, князь, Генуя и Лукка стали не больше как поместья

[2] фамилии Бонапарте. Нет, я вам вперед говорю, если вы мне не скажете, что у нас война, если вы позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого антихриста (право, я верю, что он антихрист),— я вас больше не знаю, вы уже не друг мой, вы уже не

[3] как вы говорите.

[4] Я вижу, что я вас пугаю.

[5] «Если у вас, граф

[6] князь, нет в виду ничего лучшего и если перспектива вечера у бедной больной не слишком вас пугает, то я буду очень рада видеть вас нынче у себя между 7 и 10 часами.

Анна Шерер».

[7] О, какое жестокое нападение!

[8] Прежде всего скажите, как ваше здоровье, милый друг?

ВЕЧЕР У АННЫ ПАВЛОВНЫ ШЕРЕР
Иллюстрация В. В. Гельмерсена

— А праздник английского посланника? Ныне середа. Мне надо показаться там,— сказал князь.— Дочь заедет за мной и повезет меня.

Я думала, что нынешний праздник отменен. Je vous avoue, que toutes ces fêtes et tous ces feux d'artifice commencent à devenir insipides[9].

— Ежели бы знали, что вы этого хотите, праздник бы отменили,— сказал князь, по привычке, как заведенные часы, говоря вещи, которым он и не хотел, чтобы верили.

— Ne me tourmentez pas. Eh bien, qu'a-t-on décidé par rapport à la dépêche de Novosilzoff? Vous savez tout[10].

— Как вам сказать? — сказал князь холодным скучающим тоном.— Qu'a-t-on décidé? On a décidé que Buonaparte a brûlé ses vaisseaux, et, je crois que nous sommes en train de brûler les notres[11].

Князь Василий, говорил ли он умные или глупые, одушевленные или равнодушные слова, говорил их таким тоном, как будто он повторял их в тысячный раз, как актер роль старой пьесы, как будто слова выходили не из его соображения и как будто говорил он их не умом, не сердцем, а по памяти, одними губами.

Анна Павловна Шерер, напротив, несмотря на свои сорок лет, была преисполнена оживления и порывов, которые она долгим опытом едва приучила себя сдерживать в рамке придворной обдуманности, приличия и discrétion[12]. Каждую минуту она, видимо, готова была сказать что-нибудь лишнее, но, хотя она и на волосок была от того, это лишнее не прорывалось. Она была не хороша, но, видимо, сознаваемая ею самою восторженность ее взгляда и оживление улыбки, выражавших увлечение идеальными интересами, придавали ей то, что называлось интересностью. По словам и выражению князя Василия видно было, что в том кругу, где они оба обращались, давно установилось всеми признанное мнение об Анне Павловне как о милой и доброй энтузиастке и патриотке, которая берется немножко не за свое дело и часто вдается в крайность, но мила искренностью и пылкостью своих чувств. Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда, когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой. Сдержанная улыбка, игравшая постоянно на лице Анны

[9] Признаюсь, все эти праздники и фейерверки становятся несносны.

[10] Не мучьте меня. Ну, что же решили по случаю депеши Новосильцева? Вы всё знаете.

[11] Что решили? Решили, что Бонапарте сжег свои корабли, и мы тоже, кажется, готовы сжечь наши.

[12] сдержанности

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ

Рисунок М. С. Башилова, 1866 г.

«Портрет князя Василья — прелесть» (из письма Толстого М. С. Башилову от 4 апреля 1866 г.)

Павловны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным исправляться.

Содержание депеши от Новосильцева, поехавшего в Париж для переговоров о мире, было следующее.

Приехав в Берлин, Новосильцев узнал, что Бонапарте издал декрет о присоединении Генуэской республики к французской империи в то самое время, как он изъявлял желание мириться с Англией при посредничестве России. Новосильцев, остановившись в Берлине и предполагая, что такое насилие Бонапарте может изменить намерение императора, спрашивал разрешения его величества, ехать ли в Париж или возвратиться. Ответ Новосильцеву был уже составлен и должен быть отослан завтра. Завладение Генуей был желанный предлог для объявления войны, к ко-

торой мнение придворного общества было еще более готово, чем войско. В ответе было сказано: «Nous ne voulons plus traiter avec un homme, qui tout en protestant de son désir pour la paix, continue ses envahissements» [13].

Это все было самою свежею новостью дня. Князь, видимо, знал все эти подробности из верных источников и шутливо передал их фрейлине.

— Ну, к чему повели нас эти переговоры? — сказала Анна Павловна по-французски, как происходил и весь разговор.— Ну, к чему все эти переговоры? Не переговоры, а смерть за смерть мученика нужна злодею,— сказала она, раздувая ноздри, поворачиваясь на диване и вслед затем улыбаясь.

— Как вы кровожадны, ma chère! [14] В политике не делается всё, как в гостиной. Il y a des ménagements [15],— сказал князь Василий с своею грустной улыбкой, которая была неестественна, но, повторяясь уж тридцать лет, так обжилась на старом лице князя, что казалась вместе и неестественною и привычною.— Есть письма от ваших? — прибавил он, видимо считая фрейлину недостойною сериозного политического разговора и стараясь перевести его на другой предмет.

— Но к чему повели нас эти ménagements [16],— продолжала спрашивать Анна Павловна, не поддаваясь ему.

— А хоть бы к тому, чтоб узнать мнение Австрии, которую вы так любите,— сказал князь Василий, видимо поддразнивая Анну Павловну и не желая выпускать разговор из шуточного тона.

Но Анна Павловна разгорячилась.

— Ах, не говорите мне про Австрию! Я ничего не понимаю, может быть, но Австрия никогда не хотела и не хочет войны. Она предает нас. Россия одна должна быть спасительницею Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире, и ⟨он⟩ так добродетелен и хорош, что бог не оставит его и он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника. На кого нам надеяться, я вас спрашиваю? Англия с своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора Александра. Она отказалась очистить Мальту. Она хочет видеть, ищет заднюю мысль наших действий. Что они сказали Новосильцову? Ничего. Они не поняли, они не могут понять самоотвержения нашего императора, который ничего не хочет для себя и все хочет для блага мира. И что они обещали? Ничего. И что обещали, и того не будет. Пруссия уже объявила, что Буонапарте непобедим и что вся Европа ничего не может против него... И я не верю ни в одном слове ни Гарденбергу, ни Гаугвицу. Cette fameuse neutralité prussienne, ce n'est qu'un piège [17]. Я верю в одного бога и в высокую судьбу нашего милого императора. Он спасет Европу!.. Она вдруг остановилась с улыбкой насмешки над своею горячностью.

— Я думаю,— сказал князь улыбаясь,— что ежели бы вас послали вместо нашего милого Винценгероде, вы бы взяли приступом согласие прусского короля. Вы так красноречивы. Вы дадите мне чаю?

— Сейчас. A propos [18],— прибавила она, опять успокоиваясь,— нынче у меня будет очень интересный человек, le vicomte de Mortemart (il est allié aux Montmorency par les Rohans [19]), одна из лучших фамилий Фран-

---

[13] Мы не хотим вести переговоров с человеком, который, изъявляя желание мириться, продолжает свои вторжения.

[14] дорогая

[15] Существуют предосторожности.

[16] предосторожности

[17] Этот пресловутый нейтралитет Пруссии — только западня.

[18] кстати.

[19] (Он в родстве с Монморанси через Роганов.)

ции. Это один из хороших эмигрантов, из настоящих. Он очень хорошо вел себя и все потерял. Он был при monseigneur le duc d'Enghien[20], при несчастном, святом мученике во время его пребывания в Этенгейме. On dit qu'il est très bien ce jeune homme. Votre charmant fils, Hippolite, m'a promis de me l'emmener ce soir. Toutes nos dames en rafollent[21],— прибавила она с улыбкой презрения, как будто жалела о бедных дамах, не умевших выдумать ничего лучше, как влюбляться в виконта де Мортемара.

— Кроме вас, разумеется,— сказал князь всё своим тоном посмеивания.

— Я его видал, этого виконта, в свете,— прибавил он, видимо, мало заинтересованный надеждой видеть Мортемара.— Скажите,— сказал он, как будто только что вспомнив что-то, и особенно небрежно, тогда как то, о чем он спрашивал, было главною целью его посещения,— правда, что l'impératrice-mère[22] желает назначения барона Функе первым секретарем в Вену? C'est un pauvre sire, ce baron, à ce qu'il parait[23].

Князь Василий желал определить сына на это место, которое через императрицу Марию Федоровну старались доставить барону.

Анна Павловна почти закрыла глаза в знак того, что ни она, ни кто другой не могут судить про то, что угодно или нравится императрице.

— Monsieur le baron de Funke a été recommandé à l'impératrice-mère par sa soeur[24],— только сказала она совсем особенным грустным сухим тоном. В то время как Анна Павловна назвала императрицу, лицо ее вдруг представило глубокое и искреннее выражение преданности и уважения, соединенное с грустью, что с ней бывало каждый раз, как она в разговоре упоминала о своей высокой покровительнице. Она сказала, что ее величество изволила оказать барону Функе beaucoup d'estime[25], и опять взгляд ее подернулся грустью.

Князь равнодушно замолк. Анна Павловна, с свойственною ей придворною и женскою ловкостью и быстротою такта, захотела и щелконуть князя за то, что он дерзнул так отозваться о лице, рекомендованном императрице, и в то же время утешить его.

— Mais à propos de votre famille[26],— сказала она,— знаете ли вы, что ваша дочь fait les délices de tout le monde. On la trouve belle comme le jour[27]. Государыня очень часто спрашивает про нее: «Que fait la belle Hélène?»[28].

Князь наклонился в знак уважения и признательности.— Я часто думаю,— продолжала Анна Павловна после минутного молчания, придвигаясь к князю и ласково улыбаясь ему, как будто выказывая этим, что политические и светские разговоры кончены и теперь начинается задушевный,— я часто думаю, как иногда несправедливо распределяется счастие жизни. За что вам дала судьба таких двух славных детей (исключая Анатоля, вашего меньшого, я его не люблю,— вставила она безапелляционно, приподняв брови), таких прелестных детей? А вы, право, менее всех цените их и потому их не стоите.

И она улыбнулась своей восторженною улыбкой.

— Que voulez vous? Lafater aurait dit que je n'ai pas la bosse de la paternité[29],— сказал князь вяло.

---

[20] господине герцоге Энгиенском.

[21] Говорят, он очень мил. Ваш обворожительный сын Ипполит обещал мне привезти его. Все наши дамы без ума от него.

[22] императрица-мать.

[23] Этот барон, кажется, ничтожная личность.

[24] Барон Функе был рекомендован императрице-матери ее сестрою.

[25] много уважения

[26] Кстати, о вашей семье

[27] составляет наслаждение всего общества. Ее находят прекрасною как день.

[28] «Что делает прекрасная Елена?»

[29] Чего вы хотите? Лафатер сказал бы, что у меня нет шишки родительской любви.

— Перестаньте шутить. Я хотела серьезно поговорить с вами. Знаете, я недовольна вашим меньшим сыном. Я его совсем не знаю, но, кажется il a pris à tâche de se faire une réputation scandaleuse[30]. Между нами будь сказано (лицо ее приняло грустное выражение), о нем говорили у ее величества, и жалеют вас...

Князь не отвечал, но она, молча, значительно глядя на него, ждала ответа. Князь Василий поморщился.

— Что вы хотите, чтоб я делал? — сказал он, наконец.— Вы знаете, я сделал для их воспитания все, что может отец, и оба вышли imbéciles[31]. Ипполит по крайней мере покойный дурак, а Анатоль — беспокойный. Вот одно различие,— сказал он, улыбаясь более неестественно и одушевленно, чем обыкновенно, и при этом особенно резко выказывая в сложившихся около его рта морщинах что-то такое грубое и неприятное, что Анне Павловне пришло на мысль: не очень, должно быть, приятно быть сыном или дочерью такого отца.

— И зачем родятся дети у таких людей как вы? Ежели бы вы не были отец, я бы ни в чем не могла упрекнуть вас,— сказала Анна Павловна, задумчиво поднимая глаза.

— Je suis votre[32] верный раб, et à vous seule je puis l'avouer[33].

Мои дети ce sont les entraves de mon existence[34]. Это мой крест. Я так себе объясняю. Que voulez vous?[35] — Он помолчал, выражая жестом свою покорность жестокой судьбе.— Да, ежели бы можно было по произволу иметь и не иметь их... Я уверен, что в наш век будет сделано это изобретение.

Анне Павловне не понравилась мысль о таком изобретении.

— Вы никогда не думали о том, чтобы женить вашего блудного сына Анатоля. Говорят, что старые девицы ont la manie des mariages[36]. Я еще не чувствую за собой этой слабости, но у меня есть одна petite personne[37], которая очень несчастлива с отцом, une parente à nous, une princesse[38] Болконская.

Князь Василий не отвечал, хотя со свойственной светским людям быстротой соображенья и памятью движением головы показал, что он принял к соображенью это сведение.

— Нет, вы знаете ли, что этот Анатоль мне стоит 40 000 в год,— сказал он, видимо не в силах удерживать печальный ход своих мыслей. Он помолчал.

— Что будет через пять лет, ежели это пойдет так? Voilà l'avantage d'être père[39]. Она богата, ваша княжна?

— Отец очень богат и скуп. Он живет в деревне. Знаете, этот известный князь Болконский, отставленный еще при покойном императоре и прозванный прусским королем. Он очень умный человек, но со странностями и тяжелой. La pauvre petite est malheureuse comme les pierres[40]. У нее брат, вот что недавно женился на Lise Мейнен, адъютант Кутузова, живет здесь и будет нынче у меня. Она единственная дочь.

— Ecoutez, chère Annette[41],— сказал князь, взяв вдруг свою собеседницу за руку и пригибая ее почему-то книзу.— Arrangez-moi cette affaire,

---

[30] он поставил задачей сделать себе скандальную репутацию.
[31] дураки
[32] Я ваш
[33] и вам одной могу признаться.
[34] обуза моего существования
[35] Чего вы хотите?
[36] имеют манию женить
[37] маленькая особа
[38] наша родственница, княжна
[39] Вот выгода быть отцом.
[40] Бедняжка несчастлива, как камни.
[41] Послушайте, милая Аннет

ВЕЧЕР У АННЫ ПАВЛОВНЫ ШЕРЕР

Рисунок М. С. Башилова, 1866 г.

«Вечер у Шерер. Группа хороша, но князь Андрей велик ростом и недостаточно презрительно-ленив и грациозно-развалившийся» (из письма Толстого М. С. Башилову от 4 апреля 1866 г.)

et je suis votre[42] вернейший раб à tout jamais[43] (pan, comme mon[44] староста m'écrit des[45] донесенья: покой-ер-п). Она хорошей фамилии и богата. Всё, что мне нужно.

И он с теми свободными и фамилиарными, грациозными движениями, которые его отличали, взял за руку фрейлину, поцеловал ее и, поцеловав, помахал фрейлинскою рукой, развалившись на креслах и глядя в сторону.

— Attendez[46],— сказала Анна Павловна, соображая.— Я нынче же поговорю Lise (la femme de jeune[47] Болконский). И, может быть, это уладится. Ce sera dans votre famille que je ferai mon apprentissage de vieille fille[48].

II

Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться. Приехала высшая знать Петербурга, люди самые разнородные по возрастам и характерам, но одинаковые по обществу, в каком все жили; приехал дипломат граф З*** в звездах и орденах всех иностранных дворов, княгиня Л***, отцветающая красавица, жена посланника; вошел дряхлый генерал, стуча саблей и кряхтя; вошла дочь князя Василия, красавица Hélène, заехавшая за отцом, чтобы с ним вместе ехать на праздник посланника.

---

[42] Устройте мне это дело, и я ваш
[43] навсегда
[44] как мой
[45] пишет мне
[46] Подождите
[47] с Лизой, женой молодого
[48] Я в вашем семействе начну мое обучение ремеслу старой девы.

Она была в шифре и бальном платье. Приехала и известная как la femme la plus séduisante de Petersbourg[1] молодая, маленькая княгиня Болконская, прошлую зиму вышедшая замуж и теперь не выезжавшая в большой свет по причине своей беременности, но ездившая еще на небольшие вечера.

— Вы не видали еще, или — вы не знакомы с ma tante[2],— говорила Анна Павловна приезжавшим гостям и весьма сериозно подводила их к маленькой старушке в высоких бантах, выплывшей из другой комнаты, как скоро стали приезжать гости; называла их по имени, медленно переводя глаза с гостя на ma tante, и потом отходила. Все гости совершали обряд приветствия никому не известной, никому не интересной и не нужной тетушки. Анна Павловна с грустным торжественным участием следила за их приветствиями, молчаливо одобряя их. Ma tante каждому говорила в одних и тех же выражениях о его здоровье, о своем здоровье и о здоровье ее величества, которое нынче было, слава богу, лучше. Все подходившие, из приличия не высказывая поспешности, с чувством облегчения исполненной тяжелой обязанности, отходили от старушки, чтоб уж весь вечер ни разу не подойти к ней. Человек десять присутствующих мужчин и дам разместились кто у чайного стола, кто в уголку за трельяжем, кто у окна; все разговаривали и свободно переходили от одной группы к другой.

Молодая княгиня Болконская приехала с работой в шитом золотом бархатном мешке. Ее хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю. Как это всегда бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток ее — короткость губы и полуоткрытый рот — казались ее особенною, собственно ее красотой. Всем было весело смотреть на эту полную здоровья и живости хорошенькую будущую мать, так легко переносившую свое положение. Старикам и скучающим, мрачным молодым людям, смотревшим на нее, казалось, что они сами делаются похожи на нее, побыв и поговорив несколько времени с нею. Кто говорил с ней и видел при каждом ее слове светлую улыбочку и блестящие белые зубы, которые виднелись беспрестанно, думал, что он особенно нынче любезен. И это думал каждый. Маленькая княгиня, переваливаясь, маленькими быстрыми шажками обошла стол с рабочею сумочкой на руке и весело, оправляя платье, села на диван, около серебряного самовара, как будто всё, что она ни делала, было partie de plaisir[3] для нее и для всех ее окружавших.

— J'ai apporté mon ouvrage[4],— сказала она, развертывая свой ридикюль и обращаясь ко всем вместе.

— Смотрите, Annette, ne me jouez pas un mauvais tour[5],— обратилась она к хозяйке.— Vous m'avez écrit, que c'était une toute petite soirée; voyez, comme je suis attifée[6].

И она развела руками, чтобы показать свое, в кружевах, серенькое изящное платье, немного ниже грудей опоясанное широкою лентой.

— Soyez tranquille, Lise, vous serez toujours la plus jolie[7],— отвечала Анна Павловна.

— Vous savez, mon mari m'abandonne[8],— продолжала она тем же тоном, обращаясь к генералу,— il va se faire tuer. Dites-moi, pourquoi cette vilaine guerre?[9] — обратилась она к князю Василию и, не дожидаясь

---

[1] самая обворожительная женщина Петербурга
[2] моей тетушкой
[3] развлечением
[4] Я захватила работу
[5] не сыграйте со мной дурной шутки
[6] Вы мне писали, что у вас совсем маленький вечер, видите, как я одета дурно.
[7] Будьте спокойны, Лиз, вы всё будете лучше всех.
[8] Вы знаете, мой муж покидает меня — он идет на смерть.
[9] Скажите, зачем эта гадкая война?

МАЛЕНЬКАЯ КНЯГИНЯ

Рисунки М. С. Башилова, 1866 г.

«Этот портрет необычайно хорош. Вы не можете себе представить наслаждение, которое он мне доставил. Не знаю, нужно ли сделать его меньше размером, но миниатюрнее надо сделать ее члены, т. е. ее bras ⟨руки⟩ длинен, но, впрочем, он так хорош, что страшно трогать» (из письма Толстого М. С. Башилову от 4 апреля 1866 г.)

ответа, обратилась к дочери князя Василия, к красивой Hélène.— Savez-vous, Hélène, vous devenez trop belle, trop belle [10].

— Quelle délicieuse personne que cette petite princesse! [11] — сказал князь Василий тихо Анне Павловне.

— Votre charmant fils Hippolite en est fou amoureux.

— Il a du goût cet imbécile [12].

Вскоре после маленькой княгини вошел толстый молодой человек с стриженою головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке. Этот-то толстый молодой человек, несмотря на модный покрой платья, был неповоротлив, неуклюж, как бывают неловки и неуклюжи здоровые мужицкие парни. Но он был незастенчив и решителен в движениях. На минуту остановился он посередине гостиной, не находя хозяйки и кланяясь всем, кроме ее, несмотря на знаки, которые она ему делала. Приняв старую тетушку за самую Анну Павловну, он сел подле нее и стал говорить с ней, но узнав, наконец, по удивленному лицу тетушки, что этого не следует делать, встал и сказал: Pardon, mademoiselle, j'ai cru que ce n'était vous [13]. Даже бесстрастная тетушка покраснела при этих бессмысленных словах и с отчаянным видом замахала своей племяннице, приглашая ее себе на помощь. Занятая до сих пор другим гостем, Анна Павловна подошла к ней.

— C'est bien aimable à vous, M. Pierre, d'être venu voir une pauvre malade [14],— сказала она ему, улыбаясь и переглядываясь с тетушкой.

Пьер сделал еще хуже. Он сел подле Анны Павловны с видом человека, который не скоро встанет, и тотчас же начал с нею разговор о Руссо,

---

[10] Знаете, Элен, вы становитесь слишком хороши, слишком хороши.

[11] Что за прелестная особа, эта маленькая княгиня!

[12] Ваш обворожительный сын Ипполит до безумия влюблен в нее.
— У этого дурака есть вкус.

[13] Извините, мадемуазель, я думал, что это не вы.

[14] Очень любезно с вашей стороны, мсье Пьер, что вы пришли навестить бедную больную.

Л. И. ВОЛКОНСКАЯ

Переснимок с дагерротипа, находящегося в кабинете Толстого в Ясной Поляне

На обороте надпись С. А. Толстой: «Маленькая княгиня в «Войне и мире»

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

о котором они говорили в предпоследнее свидание. Анне Павловне было некогда. Она прислушивалась, приглядывалась, помещала и перемещала гостей.

Я не могу понять,— говорил молодой человек, значительно глядя через очки на свою собеседницу,— почему не любят «Confession»[15], тогда как «Nouvelle Héloïse» гораздо ничтожнее.

Толстый молодой человек неловко выражал свою мысль и вызывал на спор Анну Павловну, совершенно не замечая, что фрейлине и вообще никакого дела не было до того, какое сочинение хорошо или дурно, а особенно теперь, когда ей столько надо было сообразить и вспомнить.

— «Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, j'apparaitrai mon livre à la main»[16],— говорил он, с улыбкой цитируя первую страницу «Confessions».— Non, madame,— продолжал он,— après avoir lu l'ouvrage, on aime l'homme[17].

— Да, конечно,— отвечала Анна Павловна, несмотря на то, что она была совершенно противуположного мнения, и оглядывала гостей, желая встать. Но Пьер продолжал:

— Ce n'est pas seulement un livre, c'est une oeuvre. «*Les confessions*» sont une confession cemplète. N'est ce pas, madame?

— Mais je ne désire pas être son confesseur, M. Pierre, il a de trop vilains pêchés[18],— сказала она, вставая и улыбаясь.— Пойдемте, я вас представлю кузине.

И, отделавшись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась к своим занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться и приглядываться, готовая подать помощь на тот пункт, где ослабевал разговор, как хозяин прядильной мастерской, посадив работников по местам, прохаживается по заведению и примечает все ли вертятся веретена. Как хозяин прядильной, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком громкий звук веретена, торопливо идет, сдерживает или пускает его в надлежащий ход, так и Анна Павловна подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину.

III

Вечер Анны Павловны был пущен. Веретена с разных сторон равномерно и не умолкая шумели. Кроме ma tante, около которой сидела

---

[15] «Исповедь»

[16] «Пусть прозвучит труба последнего суда, я предстану с своею книгой в руках».

[17] Нет, мадам, прочтя книгу, любишь человека.

[18] — Это не только книга, это поступок. Тут полная исповедь. Не правда ли?

— Но я не хочу быть его духовником, мсье Пьер; у него слишком гадки грехи

ПЬЕР БЕЗУХОВ

Рисунки М. С. Башилова, 1866 г.

«Пьер — лицо его хорошо (только бы во лбу ему придать побольше склонности к философствованию — морщинку или шишки над бровями), но тело его мелко — пошире и потучнее и покрупнее его бы надо. ⟨...⟩ Портрет Пьера, я думаю, не сделать ли лежащим на диване и читающим книгу, или рассеянно задумчиво глядящим вперед через очки, оторвавшись от книги — облокотившись на одну руку, а другую засунув между ног» (из письма Толстого М. С. Башилову от 4 апреля 1866 г.)

только одна пожилая дама с исплаканным худым лицом, несколько чужая в этом блестящем обществе, и еще кроме толстого мсье Пьера, который после своих бестактных разговоров с тетушкой и Анной Павловной молчал весь вечер, видимо, незнакомый почти ни с кем, и только оживленно оглядывался на тех, кто ходил и говорил громче других,— общество разбилось на три кружка. В одном центром была красавица княжна Helène, дочь князя Василия, в другом — сама Анна Павловна, в третьем — хорошенькая, румяная и слишком полная по своей молодости маленькая княгиня Болконская.

Вошел сын князя Василия Ипполит, «votre charmant fils Hippolyte»[1], как неизменно называла его Анна Павловна, и ожидаемый виконт, dont raffolaient[2], по словам Анны Павловны, toutes nos dames[3]. Ипполит вошел, глядя в лорнет, и, не опуская лорнета, громко, но неясно пробурлил: «vicomte de Mortemart» и тотчас же, не обращая внимания на отца, подсел к маленькой княгине и, наклоняя к ней голову так близко, что между ее и его лицом оставалось расстояние меньше четверти, что-то часто и неясно стал говорить ей и смеяться.

Виконт был миловидный, с мягкими чертами и приемами молодой человек, очевидно, считавший себя знаменитостью, но, по благовоспитанности, скромно предоставлявший пользоваться собой тому обществу, в ко-

---

[1] «ваш обворожительный сын Ипполит»
[2] от которого сходили с ума
[3] все наши дамы.

тором он находился. Анна Павловна очевидно угощала им своих гостей. Как хороший метр-д'отель подает, как нечто сверхъестественно прекрасное, тот кусок говядины, который есть не захочется, если увидать его в грязной кухне, так в нынешний вечер Анна Павловна сервировала своим гостям виконта, как что-то сверхъестественно утонченное, тогда как господа, стоявшие с ним в одной гостинице и игравшие с ним каждый день на биллиярде, видели в нем только большого мастера карамболировать и вовсе не находили себя счастливыми от того, что виделись и говорили с виконтом.

Заговорили тотчас об убийстве герцога Энгиенского. Виконт сказал, что герцог Энгиенский погиб от своего великодушия и что были особенные причины озлобления Бонапарте.

— Ah! voyons, contez nous cela, vicomte[4],— сказала Анна Павловна, с радостью чувствуя, как чем-то à la Louis XV отзывалась эта фраза: contez nous cela, vicomte.

Виконт наклонился в знак покорности и учтиво улыбнулся. Анна Павловна сделала круг около виконта и пригласила всех слушать его рассказ.

— Le vicomte a été personellement connu de monseigneur[5],— шепнула Анна Павловна одному.

— Le vicomte est un parfait conteur[6],— проговорила она другому.

— Comme on voit l'homme de la bonne compagnie[7],— сказала она третьему, и виконт был подан обществу в самом изящном и выгодном для него свете, как ростбиф на горячем блюде и посыпанный зеленью.

Виконт хотел уже начать свой рассказ и тонко улыбнулся.

— Переходите сюда, chère Hélène,— сказала Анна Павловна красавице княжне, которая сидела поодаль, составляя центр другого кружка.

Княжна Hélène улыбалась; она поднялась с тою же неизменяющеюся улыбкой вполне красивой женщины, с которой она вошла в гостиную. Слегка шумя своею белою бальною робой, убранной плющем и мохом, и блестя белизной плеч, глянцем волос и бриллиантов, она прошла между расступившимися мужчинами и прямо, не глядя ни на кого, но всем улыбаясь и как бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотою своего стана, полных плеч, очень открытой по тогдашней моде груди и спины и как будто внося с собою блеск бала, подошла к Анне Павловне. Hélène была так хороша, что не только не было в ней заметно тени кокетства, но, напротив, ей как будто совестно было за свою несомненную и слишком сильно и победительно действующую красоту. Она как будто желала и не могла умалить своей красоты. Quelle belle personne![8] — говорил каждый, кто ее видел.

Как будто пораженный чем-то необычайным, виконт пожал плечами и опустил глаза, в то время как она усаживалась перед ним и освещала и его всё тою же неизменною улыбкой.

— Madame, je crains pour mes moyens devant un pareil auditoire[9],— сказал он, наклоняя с улыбкой голову.

Княжна облокотила свою открытую полную руку на столик и не нашла нужным что-либо сказать. Она улыбаясь ждала. Во всё время рассказа она сидела прямо, посматривая изредка то на свою полную красивую руку, которая от давления на стол изменила свою форму, то на еще более красивую грудь, на которой она поправляла бриллиантовое ожерелье; поправляла несколько раз складки своего платья и, когда рассказ производил впечатление, оглядывалась на Анну Павловну и тотчас же

---

[4] Ах! расскажите нам это, виконт
[5] Виконт был лично знаком с герцогом
[6] Виконт удивительный мастер рассказывать
[7] Как сейчас виден человек хорошего общества
[8] Какая красавица!
[9] Мадам, я, право, опасаюсь за свои способности перед такою публикою.

ИППОЛИТ КУРАГИН

Рисунок М. С. Башилова, 1866 г.

«Портрет Ипполита, которого вы ошибочно назвали Анатолем,— прекрасен, но нельзя ли, подняв его верхнюю губу и больше задрав его ногу, сделать его более идиотом и карикатурнее?» (из письма Толстого М. С. Башилову от 4 апреля 1866 г.)

принимала то самое выражение, которое было на лице фрейлины и потом опять успокоивалась в сияющей улыбке. Вслед за Hélène перешла и маленькая княгиня от чайного стола.

— Attendez moi, je vais prendre mon ouvrage [10],— проговорила она.

— Voyons, à quoi pensez-vous [11],— обратилась она к князю Ипполиту,— apportez-moi mon ridicule [12].

Княгиня, улыбаясь и говоря со всеми, вдруг произвела перестановку, и, усевшись, весело оправилась.

---

[10] Подождите, я возьму мою работу

[11] О чем вы думаете?

[12] принесите мне мой ридикюль.

— Теперь мне хорошо,— приговаривала она и, попросив начинать, принялась за работу. Князь Ипполит перенес ей ридикюль, перешел за нею и, близко придвинув к ней кресло, сел подле нее.

Le charmant Hippolyte[13] поражал своим необыкновенным сходством с сестрою-красавицей и еще более тем, что, несмотря на сходство, он был поразительно дурен собой. Черты его лица были те же, как и у сестры, но у той всё освещалось жизнерадостной, самодовольной, молодой, неизменной улыбкой жизни и необычайной античной красотой тела; у брата, напротив, то же лицо было отуманено идиотизмом и неизменно выражало самоуверенную брюзгливость, а тело было худощаво и слабо. Глаза, нос, рот — всё сжималось как будто в одну неопределенную и скучную гримасу, а руки и ноги всегда принимали неестественные положения.

— Ce n'est pas une histoire de reve nants?[14] — сказал он, усевшись подле княгини и торопливо пристроив к глазам свой лорнет, как будто без этого инструмента он не мог начать говорить.

— Mais non, mon cher,[15] — пожимая плечами, сказал удивленный рассказчик.

— C'est que je déteste les histoires de revenants,[16] — сказал он таким тоном, что видно было,— он сказал эти слова, а потом уже понял, что они значили.

Из-за самоуверенности, с которою он говорил, никто не мог понять, очень ли умно или очень глупо то, что он сказал. Он был в темно-зеленом фраке, в панталонах цвета cuisse de nymphe effrayée[17], как он сам говорил, в чулках и башмаках. Он сел в самую глубину кресла против рассказчика, положил одну руку с кольцом и гербовою печатью перед собой на стол в таком вытянутом положении, что ему стоило, видимо, большого труда удерживать ее в этом положении, однако во всё время рассказа он держал так руку. Другою рукой он держал лорнет в ладони и этою же рукой оправлял свою прическу à la Titus кверху, придававшую еще более странное выражение его вытянутому лицу, и, как будто вспомнив что-то, начинал смотреть на свою выставленную руку с перстнями, потом на ноги виконта, потом весь оборачивался быстро и развинченно, как он и всё делал, и долго пристально смотрел на княгиню[17a].

— Когда я имел счастие видеть в последний раз блаженной и печальной памяти герцога Энгиенского,— начал виконт с изящной грустью в голосе, оглядывая слушателей,— monseigneur в самых лестных выражениях говорил о красоте и гениальности великой Georges. Кто не знает этой гениальной и прелестной женщины? Я выразил свое удивление, каким образом герцог мог узнать ее, не быв в Париже эти последние годы. Герцог улыбнулся и сказал мне, что Париж не так далек от Мангейма, как это кажется. Я ужаснулся и высказал его высочеству свой страх при мысли о посещении им Парижа. «Monseigneur,— сказал я,— бог знает, не окружены ли мы здесь изменниками и предателями и не будет ли ваше присутствие в Париже, как бы тайно оно ни было, известно Буонапарте?» Но герцог только улыбнулся на мои слова с этим рыцарством и отважностью, составляющими отличительную черту его фамилии.

— La maison Condé, branche de laurier greffé sur l'arbre de Bourbons, comme disait dernièrement Pitt[18],— сказал монотонно князь Василий, как будто он диктовал какому-то невидимому писцу.

---

[13] Очаровательный Ипполит

[14] Это не история о привидениях?

[15] Вовсе нет, мой милый

[16] Дело в том, что я терпеть не могу историй о привидениях.

[17] бедра испуганной нимфы

[17a] После этого абзаца в «Русском вестнике» ошибочно проставлен номер главы — IV (прим. составителя).

[18] Дом Конде — ветка лавра, привитая к дереву Бурбонов, как говорил недавно Питт.

— M. Pitt a très bien dit[19],— лаконически прибавил его сын Ипполит, решительно поворачиваясь на кресле туловищем в одну, а ногами в противоположную сторону, торопливо поймав лорнетку и устремив сквозь нее свой взгляд на родителя.

— Bref[20],— продолжал виконт, обращаясь преимущественно к красавице княжне, которая не спускала с него глаз,— я должен был оставить Этенгейм и узнал уже потом, что герцог, увлеченный своею отвагой, ездил в Париж, делал честь m-lle Жорж не только восхищаться ею, но и посещать ее.

— Но у него была сердечная привязанность к princesse Charlotte de Rohan Rochefort,[21] — горячо перебила Анна Павловна.— Говорили, что он тайно был женат на ней,— сказала она, видимо, испуганная будущим содержанием рассказа, который ей казался слишком вольным в присутствии молодой девушки.

— Одна привязанность не мешает другой,— продолжал виконт, тонко улыбаясь и не замечая опасений Анны Павловны,— Но дело в том, что m-lle Жорж прежде своего сближения с герцогом пользовалась сближением с другим человеком.

Он помолчал.

— Человека этого звали Буонапарте,— произнес он, с улыбкой оглянув слушателей. Анна Павловна, в свою очередь, оглянулась беспокойно, видя, что рассказ делается опаснее и опаснее.

— En bien,— продолжал виконт,— le nouveau sultan des mille et une nuit ne dédaignait pas de venir souvent passer ses soirées chez la plus belle et la plus agréable femme de la France. Et m-lle Georges...[22] — Он помолчал, пожав выразительно плечами,— a dû faire de nécessité — vertu[23]. Счастливец Буонапарте приезжал обыкновенно по вечерам, не назначая своих дней.— Ah! je prévois, j'ai la chaire de poule[24],— пожимая полными и гибкими плечиками, сказала маленькая хорошенькая княгиня.

Пожилая дама, сидевшая весь вечер подле ma tante, перешла к кружку рассказчика, покачав головою и улыбнувшись значительно и грустно.

— Это ужасно, не правда ли? — сказала она, хотя, очевидно, и не слыхала начала истории. На неуместность ее замечания и на нее самою никто не обратил внимания.

Князь Ипполит объявил быстро и громко:

— Georges dans la rôle de Clitemnestre admirable![25]

Анна Павловна молчала и находилась в беспокойстве, не решив еще окончательно в своем уме, прилично или неприлично было то, что рассказывал виконт. С одной стороны — вечерние посещения к актрисе, с другой стороны — ежели уж vicomte de Mortemart, allié aux Montmorency par les Rohans, tout ce qu'il y a de plus faubourg St. Germain[26], в гостиной будет говорить неприличности, то кто же, наконец, знает, что прилично и неприлично?

— В один вечер,— продолжал виконт, оглядывая слушателей и оживляясь,— Клитемнестра эта, прельстив весь театр своею удивительною передачей Расина, возвратилась домой и думала отдохнуть от усталости и волнения. Она не ждала султана.

Анна Павловна вздрогнула при слове «султан». Княжна опустила глаза и перестала улыбаться.

---

[19] Г. Питт очень хорошо выразился.

[20] Одним словом

[21] принцессе Шарлотте де Роган Рошфор.

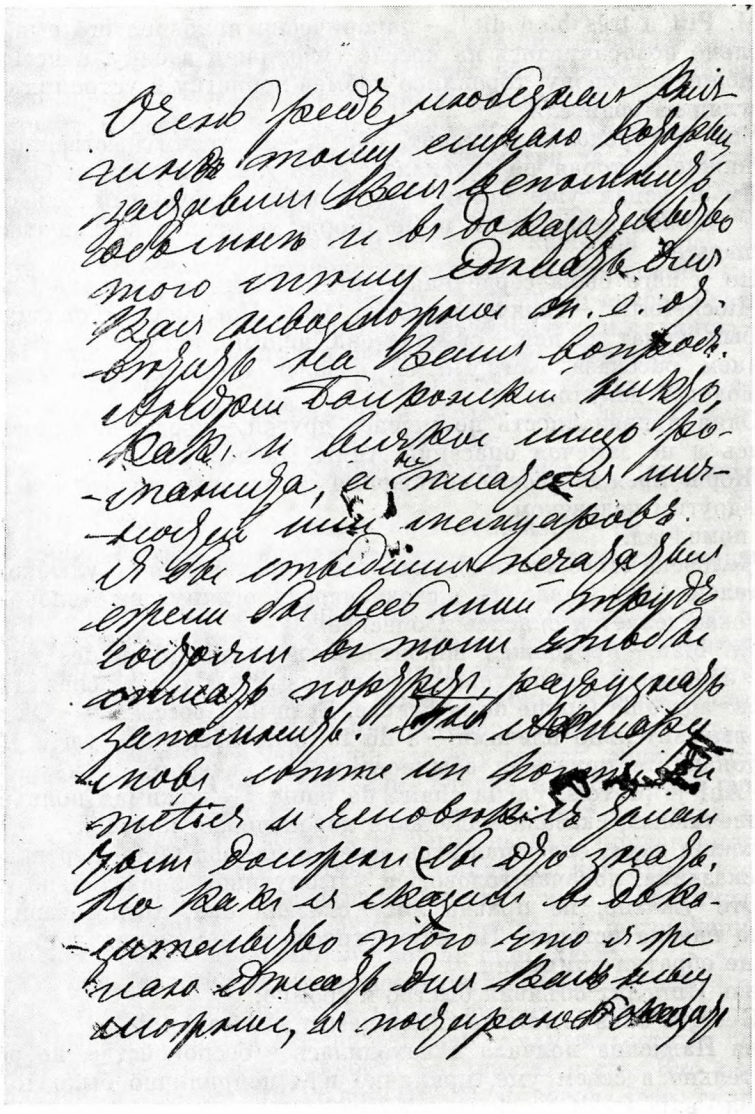
[22] Новый султан из «Тысячи и одной ночи» не пренебрегал частенько проводить свои вечера у самой красивой, самой приятной женщины во Франции. И м-ль Жорж...

[23] должна была превратить необходимость в добродетель.

[24] А! Я предвижу, и мне становится жутко.

[25] Жорж в роли Клитемнестры удивительна!

[26] виконт де Мортемар, родственник Монморанси через Роганов, лучший представитель Сен-Жерменского предместья



СТРАНИЦА ИЗ ПИСЬМА ТОЛСТОГО К Л. И. ВОЛКОНСКОЙ ОТ 3 МАЯ 1865 Г.
«... В доказательство того, что я желаю сделать для вас невозможное, я постараюсь сказать, кто такой мой Андрей»

— Как вдруг служанка доложила, что l'ex-vicomte de Rocroi желает видеть великую актрису. Rocroi — так называл себя герцог. Он был принят,— прибавил виконт и, помолчав несколько секунд, чтобы дать понять, что он не всё рассказывает, что знает, продолжал: — Стол блестел хрусталем, эмалью, серебром и фарфором. Стояли два прибора, время летело незаметно, и наслаждение...

Неожиданно в этом месте рассказа князь Ипполит произвел странный громкий звук, который одни приняли за кашель, другие за сморканье, мычанье или смех, и стал торопливо ловить упущенный лорнет. Рассказчик удивленно остановился. Анна Павловна испуганно перебила описание наслаждений, которые с таким вкусом описывал виконт.

— Не томите нас, vicomte,— сказала она.

Виконт улыбнулся.

— ...Наслаждение превращало часы в минуты, как вдруг послышался звонок, и испуганная горничная, дрожа, прибежала объявить, что звонит le terrible mameluk de Buonaparte[27] и что ужасный господин его уже стоит у подъезда...

Charmant[28],— прошептала маленькая княгиня, втыкая иголку в работу, как будто в знак того, что интерес и прелесть истории мешают ей продолжать работу.

Виконт оценил эту молчаливую похвалу и, благодарно улыбнувшись, хотел продолжать, когда в гостиную вошло новое лицо и произвело необходимую остановку.

IV

Новое лицо это был молодой князь Андрей Болконский, муж маленькой княгини. Не столько по тому, что молодой князь приехал так поздно, а он все-таки был принят хозяйкой самым любезным образом, сколько по тому, как он вошел в комнату, было видно, что он был один из тех светских молодых людей, которые так избалованы светом, что даже презирают его. Молодой князь был небольшого роста, весьма красивый, сухощавый брюнет, с несколько истощенным видом, коричневым цветом лица, в чрезвычайно изящной одежде и с крошечными руками и ногами. Всё в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до ленивой и слабой походки, представляло самую резкую противоположность с его маленькою, оживленною женой. Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уж надоели ему так, что и смотреть на них и слушать их ему было очень скучно, потому что он вперед знал всё, что будет. Из всех же прискучивших ему лиц лицо его хорошенькой жены, казалось, больше всех ему надоело. С кислою, слабою гримасой, портившей его красивое лицо, он отвернулся от нее, как будто по-французски подумал: «il ne manquait que vous pour rendre tout ce monde tout-à-fait insipide»[1]. Он поцеловал руку Анны Павловны с таким видом, как будто готов был бог знает что дать, чтоб избавиться от этой тяжелой обязанности, и щурясь, почти закрывая глаза, и морщась, оглядывал всё общество.

— Vous avez beaucoup de monde[2],— сказал он тоненьким голоском и кивнул головой кое-кому, кое-кому подставил свою руку, предоставляя ее пожатию.

— Vous vous enrôlez pour la guerre, mon prince?[3] — сказала Анна Павловна.

— Le général Koutouzoff,— сказал он, ударяя на последнем слоге zoff, как француз, снимая перчатку с белейшей, крошечной руки и потирая ею глаза,— le général en chef Koutouzoff a bien voulu de moi pour aide-de-camp...[4].

— Et Lise, votre femme?[5]

— Она поедет в деревню.

— Как вам не грех лишать нас вашей прелестной жены?

Молодой адъютант сделал выпяченными губами презрительный звук, какой делают только французы, и ничего не отвечал.

— André,— сказала его жена, обращаясь к мужу тем же кокетливым тоном, каким она обращалась и к посторонним,— подите сюда, садитесь, послушайте какую историю рассказывает виконт о m-lle Жорж и Буонапарте.

---

[27] страшный бонапартовский мамелюк
[28] Прелестно.

[1] «тебя только недоставало, чтобы вся эта компания совсем мне опротивела».
[2] У вас съезд
[3] Вы собираетесь на войну, князь?
[4] Генерал-аншеф Кутузов зовет меня к себе в адъютанты.
[5] А Лиза, ваша жена?

André зажмурился и сел совсем в другую сторону, как будто не слышал жены.

Продолжайте, vicomte,— сказала Анна Павловна.— Vicomte рассказывал, как герцог Энгиенский бывал у m-lle Жорж,— прибавила она, обращаясь к вошедшему, чтобы он мог следить за продолжением рассказа.

— La prétendue rivalité de Buonaparte et du duc pour la Georges,[6] — сказал князь Андрей таким тоном, как будто смешно было кому-нибудь не знать про это, и повалился на ручку кресла. В это время молодой человек в очках, называемый M. Pierre, со времени входа князя Андрея в гостиную не спускавший с него радостных, дружелюбных глаз, подошел к нему и взял его за руку. Князь Андрей так мало был любопытен, что, не оглядываясь, сморщил наперед лицо в гримасу, выражавшую досаду на того, кто трогает его за эполет; но, увидав улыбающееся лицо Пьера, князь Андрей улыбнулся тоже, и вдруг всё лицо его преобразилось. Доброе и умное выражение вдруг явилось на нем.

— Как? Ты здесь, кавалергард мой милый? — спросил князь радостно, но с покровительственным и надменным оттенком.

— Я знал, что *вы* будете,— отвечал Пьер.— Я приеду к вам ужинать,— прибавил он тихо, чтобы не мешать виконту, который продолжал свой рассказ.— Можно?

— Нет, нельзя,— сказал князь Андрей, смеясь и отворачиваясь, но пожатием руки давая знать Пьеру, что этого не нужно было спрашивать.

Виконт рассказал, как m-lle Жорж умоляла герцога спрятаться, как герцог сказал, что он никогда ни перед кем не прятался, как m-lle Жорж сказала ему: «Monseigneur, vous devez votre epée au roi et à la France»[7] — и как герцог все-таки спрятался под белье в другой комнате, и как Наполеону сделалось дурно, и герцог вышел из-под белья и увидел перед собой Буонапарте.

— Charmant, déliceux![8] — послышалось между слушателями.

Даже Анна Павловна, заметив, что самое затруднительное место истории пройдено благополучно, и успокоившись, вполне могла наслаждаться рассказом. Виконт разгорелся и, грассируя, говорил с одушевлением актера...

— L'ennemi de sa maison, l'usurpateur du trône, qui appartenait au chef de sa race, était là, devant lui, étendu, gisant à terre, immobile, expirant peut-être. Comme dit le sublime Corneille:

Une maligne joie en son coeur s'élevait
Dont sa gloire indignée à peine le sauvait[9].

Виконт остановился и, сбираясь повести еще сильнее свой рассказ, улыбнулся, как будто успокоивая дам, которые уже слишком были взволнованы. Совершенно неожиданно во время этой паузы красавица княжна Hélène посмотрела на часы, переглянулась с отцом и вместе с ним встала, и этим движением расстроила кружок и прервала рассказ.

— Мы опоздаем, папà,— сказала она просто, продолжая сиять на всех своею улыбкой.

— Вы меня извините, мой милый vicomte,— обратился князь Василий к французу, ласково притягивая его за рукав вниз к стулу, чтобы он не вставал.— Этот несчастный праздник у посланника лишает меня удовольствия и прерывает вас.

---

[6] Мнимое соперничество Бонапарте и герцога из-за Жорж.

[7] Ваше высочество, ваша шпага принадлежит королю и Франции.

[8] Прелестно, восхитительно!

[9] Враг его дома, похититель трона, тот, кто возглавлял его нацию, был здесь, перед ним, неподвижно распростертый на земле и, может быть, при последнем издыхании. Как говорил великий Корнель:

Злобная радость поднималась в его сердце
И только оскорбленное величие помогло ему не поддаться ей.

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ И АННА МИХАЙЛОВНА

Рисунок М. С. Башилова, 1866 г.

«Анна Михайловна, просящая за сына князя Василья — превосходно — она — он — прелестны. Hélène — нельзя ли сделать погрудастее (пластичная красота форм — ее характерная черта)» (из письма Толстого М. С. Башилову от 4 апреля 1866 г.)

— Очень мне грустно покидать ваш восхитительный вечер,— сказал он Анне Павловне.

Дочь его, княжна Hélène, слегка придерживая складки платья, пошла между стульев, и улыбка просияла еще светлее на ее прекрасном лице.

V

Анна Павловна попросила виконта подождать ее и пошла проводить князя Василия с дочерью до другой комнаты. Пожилая дама, сидевшая прежде с ma tante и потом изъявившая такой бестолковый интерес к истории виконта, торопливо встала и догнала князя Василия в передней.

С лица ее исчезла вся прежняя притворность интереса. Доброе, исплаканное лицо ее выражало только беспокойство и страх.

— Что же вы мне скажете, князь, о моем Борисе? — сказала она, догоняя его в передней (она выговаривала имя Борис с особенным ударением на *о*) — я не могу оставаться дольше в Петербурге. Скажите, какие известия я могу привезти моему бедному мальчику?

Несмотря на то, что князь Василий неохотно и почти неучтиво слушал пожилую даму и даже выказывал нетерпение, она ласково и трогательно улыбалась ему, и чтоб он не ушел, взяла его за руку.

— Что вам стоит сказать слово государю, и он прямо будет переведен в гвардию,— просила она.

— Поверьте, что я сделаю все, что могу, княгиня,— отвечал князь Василий,— но мне трудно просить государя; я бы советовал вам обратиться к Разумовскому, через князя Голицына, это было бы умнее.

Пожилая дама носила имя княгини Друбецкой, одной из лучших фамилий России, но она была бедна, давно вышла из света и утратила прежние связи. Она приехала теперь, чтобы выхлопотать определение в гвардию своему единственному сыну. Только затем, чтоб увидеть князя Василия, она назвалась и приехала на вечер к Анне Павловне, только затем она слушала историю виконта. Она испугалась слов князя Василия; когда-то красивое лицо ее выразило почти презрение, но это продолжалось только минуту. Она опять улыбнулась и крепче схватилась за руку князя Василия.

— Послушайте, князь,— сказала она,— я никогда не просила вас, никогда не буду просить, никогда не напоминала вам о дружбе моего отца к вам. Но теперь я богом заклинаю вас, сделайте это для моего сына, и я буду считать вас благодетелем,— торопливо прибавила она.

— Нет, вы не сердитесь, а вы обещайте мне. Я просила Голицына, он отказал. Soyez le bon enfant que vous avez été [1],— говорила она, стараясь улыбаться, тогда как в ее глазах были слезы.

— Папà, мы опоздаем,— сказала, поворачивая свою красивую голову на античных плечах, княжна Hélène, ожидавшая у двери.

Но влияние в свете есть капитал, который надо беречь, чтоб он не исчез. Князь Василий знал это, и раз рассудив, что ежели бы он стал просить за всех, кто его просит, то вскоре ему нельзя было бы просить ни за кого, он редко употреблял свое влияние. В деле княгини Друбецкой он почувствовал, однако, после ее нового призыва, что-то вроде укора совести. Она напомнила ему правду: первыми шагами своими в службе он был обязан ее отцу. Кроме того, он видел по ее приемам, что она одна из тех женщин, особенно матерей, которые, однажды взяв себе что-нибудь в голову, не отстанут до тех пор, пока не исполнят их желания, а в противном случае готовы на ежедневные, ежеминутные приставания и даже на сцены. Это последнее соображение поколебало его.

— Chère Анна Михайловна,— сказал он с своею всегдашней фамилиарностью и скукой в голосе,— для меня почти невозможно сделать то, что вы хотите, но, чтобы доказать вам, как я люблю вас и чту память покойного графа, отца вашего, я сделаю невозможное. Сын ваш будет переведен в гвардию, вот вам моя рука. Довольны вы?

И он пожал ее руку, дергая ее вниз.

— Милый мой, вы благодетель! Я иного и не ждала от вас,— так лгала и унижалась мать,— я знала как вы добры.

Он хотел уйти.

— Постойте, два слова. Une fois passé aux gardes... [2] — Она замялась.— Вы хороши с Михаилом Илларионовичем Кутузовым, рекомендуйте ему Бориса в адъютанты. Тогда бы я была покойна, и тогда бы уж...

---

[1] Будьте добрым малым, каким вы были.
[2] Раз он перейдет в гвардию...

Анна Михайловна, будто цыганка, выпрашивала для сына тем больше, чем больше ей давали. Князь Василий улыбнулся.

— Этого не обещаю. Вы не знаете, как осаждают Кутузова с тех пор, как он назначен главнокомандующим. Он мне сам говорил, что все московские барыни сговорились отдать ему всех своих детей в адъютанты.

— Нет, обещайте, я не пущу вас, милый, благодетель мой...

— Папá,— опять тем же тоном повторила красавица,— мы опоздаем.

— Ну, au revoir, прощайте. Видите?

— Так завтра вы доложите государю?

— Непременно, а Кутузову не обещаю.

— Нет, обещайте, обещайте, Basile,— сказала вслед ему Анна Михайловна, с улыбкой молодой кокетки, которая когда-то, должно быть, была ей свойственна, а теперь так не шла к ее истощенному, доброму лицу. Она, видимо, забыла свои годы и пускала в ход, по привычке, все старинные женские средства. Но как только он вышел, лицо ее опять приняло то же холодное, притворное выражение, которое было на нем прежде. Она вернулась к кружку, в котором виконт продолжал рассказывать, и опять сделала вид, что слушает, дожидаясь времени уехать, так как дело ее было сделано.

VI

Конец истории виконта был следующий:

«Герцог Энгиенский достал из кармана флакон горного хрусталя, обделанный в золото, в котором были жизненные капли, подаренные его отцу графом Сен-Жерменом. Капли эти, как известно, имели свойство оживлять мертвого или почти мертвого, но их не надо было давать никому, кроме членов дома Конде. Посторонние лица, отведавшие капель, исцелялись также, как и Конде, но делались непримиримыми врагами герцогского дома. Доказательством тому служит то, что отец герцога, желая исцелить умирающего коня, дал ему этих капель. Конь ожил, но покушался потом несколько раз погубить седока и раз понес было его во время битвы в лагерь республиканцев. Отец герцога убил любимую лошадь. Несмотря на то, молодой и рыцарский герцог Энгиенский влил несколько капель в рот своего врага Буонапарте, и изверг ожил.

— Кто вы? — спросил Буонапарте.

— Родственник служанки,— отвечал герцог.

— Ложь! — закричал Буонапарте.

— Генерал, я без оружия,— отвечал герцог.

— Ваше имя?

— Я спас вам жизнь,— отвечал герцог.

Герцог уехал, а капли подействовали, и Буонапарте почувствовал ненависть к герцогу и с того дня поклялся уничтожить несчастного и великодушного юношу. Через своих клевретов, узнав по забытому герцогом платку, на котором был вышит герб дома Конде un bâton de gueules sur le champ de France [1], узнав по платку, кто был его соперник, Буонапарте велел изобресть предлог заговора Пишегрю и Жоржа, схватил в Баденском герцогстве мученика-героя и убил его.

— L'ange et le démon. Et voilà comment a été commis le crime le plus abominable de l'histoire» [2].

— Этим заключил виконт свою историю и от избытка волнения перевернулся на стуле. Все молчали.

— L'assassinat du duc a été plus qu'un crime, vicomte,— сказал князь Андрей, слегка улыбаясь, как будто он подсмеивался над виконтом,— ça a été une faute [3].

---

[1] См., далее, сн. 12.

[2] Ангел и демон. И вот каким образом было совершено самое ужасное преступление в истории.

[3] Убийство герцога было более чем преступление, виконт, это была ошибка.

Виконт приподнял брови и развел руками. Жест его мог означать многое.

— Но как вы находите всю эту последнюю комедию du sacre de Milan?[4] — сказала Анна Павловна.— Et la nouvelle comédie des peuples de Gênes et de Lucques, qui viennent présenter leurs voeux à M. Buonaparte M. Buonaparte assis sur un trône, et axauçant les voeux des nations! Adorable! Non, mais c'est à en devenir folle! On dirait que le monde entier a perdu la tête[5].

Князь Андрей отвернулся от Анны Павловны, как будто в той мысли, что эти разговоры ни к чему не ведут.

— «Dieu me la donne, gare à qui la touche»[6],— произнес князь Андрей с гордостью, как будто то были его слова (слова Бонапарте, сказанные при возложении короны).— On dit qu'il à été très beau en prononçant ces paroles[7],— прибавил он и еще раз повторил эти слова по-итальянски: «Dio mi la dona, gai a qui la tocca».

Анна Павловна строго взглянула на князя Андрея.

— J'espère enfin,— продолжала она,— que ça a été la goutte d'eau qui fera déborder le verre. Les souverains ne peuvent plus supporter cet homme qui menace tout[8].

— Les souverains? Je ne parle pas de la Russie[9],— сказал виконт учтиво и безнадежно: — les souverains, madame! Qu'ont-ils fait pour Louis XVI, pour la reine, pour madame Elisabeth? Rien,[10] — продолжал он, одушевляясь.— Et croyez-moi, ils subissent la punition pour leur trahison de la cause des Bourbons. Les souverains? Ils envoyent des ambassadeurs complimenter l'usurpateur[11].

И он, презрительно вздохнув, опять переменил положение. Князь Ипполит, долго смотревший в лорнет на виконта, вдруг при этих словах повернулся всем телом к маленькой княгине и, попросив у нее иголку, стал показывать ей, рисуя иголкой на столе, герб Конде. Он растолковывал ей этот герб с таким значительным видом, как будто княгиня просила его об этом.

— Bâton de gueules, engrêlé de gueules d'azur — maison Condé[12],— говорил он. Княгиня, улыбаясь, слушала.

— Ежели еще год Буонапарте останется на престоле Франции,— продолжал виконт начатый разговор с видом человека, не слушающего других, но в деле, лучше всех ему известном, следящего только за ходом своих мыслей,— то дела пойдут слишком далеко интригой, насилием, изгнаниями, казнями. Общество, я разумею хорошее общество, французское, навсегда будет уничтожено, и тогда?..

Он пожал плечами и развел руками.

Император Александр,— сказала Анна Павловна с грустью, сопутствовавшей всегда ее речам об императорской фамилии,— объявил, что он

---

[4] Миланского помазания?

[5] И вот новая комедия: народы Генуи и Лукки изъявляют свои желания господину Буонапарте. И господин Буонапарте сидит на троне и исполняет желания народов. О, это восхитительно! Нет, от этого можно с ума сойти. Подумаешь, весь свет потерял голову.

[6] «Бог мне дал корону. Беда тому, кто ее тронет».

[7] Говорят, он был очень хорош, произнося эти слова.

[8] Надеюсь, что это была, наконец, та капля, которая переполнит стакан. Государи не могут долее терпеть этого человека, который угрожает всему.

[9] Государи? Я не говорю о России

[10] государи! Но что они сделали для Людовика XVI, для королевы, для Елизаветы? Ничего.

[11] И поверьте мне, они несут наказание за свою измену делу Бурбонов. Государи? Они шлют послов приветствовать похитителя престола.

[12] Фраза — не переводимая буквально, так как состоит из условных геральдических терминов, не вполне точно употребленных. Общий смысл: герб Конде представляет щит с красными и синими узкими зазубренными полосками (прим. составителя).

предоставит самим французам выбрать образ правления. И я думаю, нет сомнения, что вся нация, освободившись от узурпатора, бросится в руки законного короля,— сказала Анна Павловна, стараясь быть любезнее с эмигрантом и роялистом.

— Oh! madame, si ce moment heureux pouvait arriver[13],— сказал виконт, с благодарностью за внимание наклоняя голову.

— А вы как думаете, M. Pierre? — ласково спросила Анна Павловна у толстого молодого человека, которого неловкое молчание тяготило ее как любезную хозяйку.— Как вы думаете? Вы недавно из Парижа.

Анна Павловна, ожидая ответа, улыбнулась виконту и другим, как будто говоря: я и с ним должна быть любезна; видите, я обращаюсь и к нему, хотя и знаю, что он ничего не может сказать.

VII

— Вся нация умрет за своего императора, за величайшего человека в мире! — вдруг безо всяких приготовлений, громко и запальчиво заговорил молодой человек, похожий на мужицкого парня, с таким видом, как будто он боялся, что его перебьют и что он не найдет после случая высказаться вполне. Он оглянулся на князя Андрея. Князь Андрей улыбнулся.

— Le plus grand génie de notre siècle[1],— продолжал Пьер.

— Как? C'est votre opinion?[2] Вы шутите! — вскрикнула Анна Павловна с испугом, происходившим не столько от слов, произнесенных молодым человеком, сколько от того одушевления, не гостинного и совершенно неприличного, которое выражалось в крупных и мясистых чертах молодого человека и преимущественно в звуке его голоса, который был слишком громок и, главное, естествен. Он не делал жестов, говорил прерывисто, изредка поправляя очки и оглядываясь, но по всей фигуре видно было, что теперь его никто не остановит и что он выскажет всю свою мысль, не думая о приличиях. Молодой человек был похож на дикую невыезженную лошадь, которая до тех пор, пока она не в седле и не в хомуте, смирна, даже робка и ничем не отличается от других лошадей, но которая, как только на нее надета сбруя, вдруг начинает без всякой понятной причины подгибать голову, взвиваться и самым смешным образом козелкать, чему и сама не рада. Молодой человек, видимо, почуял сбрую и начал свои смешные козлы.

— О Бурбонах никто и не думает теперь во Франции,— продолжал он, торопясь, чтоб его не перебили, и постоянно оглядываясь на князя Андрея, как будто в нем одном он ждал поддержки.— Не забудьте, что только три месяца, как приехал из Парижа.

Он говорил на отличном французском языке.

— Monsieur le vicomte совершенно справедливо полагает, что будет поздно для Бурбонов через год. И теперь уже поздно. Роялистов нет больше. Одни бросили свое отечество, другие сделались бонапартистами. Весь faubourg St. Germain[3] преклоняется перед императором.

— Il faut faire des restrictions[4],— сказал виконт снисходительно.

Светская, привычная Анна Павловна беспокойно смотрела то на виконта, то на неприличного молодого человека и не могла себе простить того, что неосторожно пригласила этого юношу, не узнавши его прежде.

Неприличный юноша был незаконный сын знаменитого богача и вель-

---

[13] О, если бы эта счастливая минута могла прийти!

[1] Величайший гений нашего века.
[2] Это ваше мнение?
[3] Сен-Жерменское предместье
[4] Есть исключения.

можи. Анна Павловна пригласила его из уважения к отцу и, принимая в соображение то, что этот M. Pierre только что приехал из-за границы, где он воспитывался.

«Если б я знала, что он такой mal-élevé[5] и бонапартист»,— думала она, глядя на его большую стриженую голову и мясистые крупные черты. «Voilà l'éducation qu'on donne aux jeunes gens d'à present[6],— думала она.— Comme on voit l'homme de la bonne compagnie»[7],— говорила она про себя, любуясь спокойствием виконта.

— Почти всё дворянство,— продолжал Пьер,— перешло к Бонапарту.

— Это говорят бонапартисты,— сказал виконт.— Теперь трудно узнать общественное мнение Франции.

— Bonaparte l'a dit[8],— сказал князь Андрей, и невольно все обратились на его тихий, ленивый, но слышный всегда по своей самоуверенности голос, ожидая услышать, что же сказал Бонапарт.

— «Je leur ai montré le chemin de la gloire,— продолжал князь Андрей после недолгого молчания, опять повторяя слова Наполеона: — ils n'en ont pas voulu, je leur ai ouvert mes antichambres, ils se sont precipités en foule...».— Je ne sais pas à quel point il a eu le droit de le dire, mais c'est méchant, c'est très méchant[9],— заключил он с кислою улыбкой и отвернулся.

— Он имел право это сказать против роялистской аристократии; ее теперь нет во Франции,— подхватил monsieur Pierre,— а если есть, то она не имеет веса. А народ? Народ обожает великого человека, и народ избрал его. Народ не имеет предубеждения; он видел гения и героя величайшего в мире.

— Si même ça a été un héros pour certaines gens,— сказал виконт, не отвечая молодому человеку и даже не глядя на него, но обращаясь к Анне Павловне и князю Андрею,— depuis l'assassinat du duc il y a un martyr de plus dans le ciel, un héros de moins sur la terre[10].

Не успели еще Анна Павловна и другие оценить этих слов виконта, как невыезженная лошадь уже продолжала свои забавные и непривычные козелки.

— Казнь герцога Энгиенского,— продолжал Пьер,— была государственная необходимость, и я именно вижу величие души в том, что Наполеон не побоялся принять на себя одного ответственность в этом поступке.

— Vous approuvez le meurtre[11],— страшным шёпотом проговорила Анна Павловна.

— Comment, M. Pierre, vous trouvez que l'assaissinat est grandeur d'âme?[12],— сказала маленькая княгиня, улыбаясь и придвигая к себе работу.

— Ah! Oh! — сказали разные голоса.

— Capital[13],— вдруг по-английски сказал князь Ипполит и принялся бить себя ладонью по коленке. Виконт только пожал плечами.

— Хороший или дурной поступок убийство герцога? — сказал он, удивляя всех своим высокого тона хладнокровием,— одно из двух...

Пьер чувствовал, что дилемма эта была предложена ему так, что ответь он отрицательно, его заставят отречься от его восхищения к герою,

---

[5] дурно воспитанный

[6] Вот воспитание, какое дают теперь молодым людям.

[7] Сразу виден человек хорошего общества.

[8] Это сказал Бонапарт.

[9] «Я показал им путь славы, они не хотели; я открыл им мои передние, они бросились толпой...» Не знаю, до какой степени имел он право так говорить; но это зло, очень зло.

[10] Если для некоторых и был героем, то после убийства герцога, одним мучеником стало больше на небе, одним героем меньше на земле.

[11] Вы одобряете убийство.

[12] Как, мсье Пьер, вы видите в убийстве величие души?

[13] Превосходно!

ответь он положительно, что поступок хорош, бог знает что с ним случится. Он отвечал положительно, не боясь, что случится.

— Поступок этот велик, как и всё, что делает этот великий человек,— сказал он отчаянно, и не обращал внимания на ужас, выразившийся на всех лицах, кроме лица князя Андрея, и на презрительные пожатия плеч, он продолжал говорить один против очевидного нежелания хозяйки. Все, кроме князя Андрея, слушали его, удивленно переглядываясь. Князь же Андрей слушал с участием и тихою улыбкой.

— Разве он не знал,— продолжал Пьер,— всей бури, которая поднимется против него за смерть герцога? Он знал, что ему придется за эту одну голову опять воевать со всею Европой, и он будет воевать, и опять будет победителем, потому что...

— Вы русский? — спросила Анна Павловна.

— Русский. Но победит, потому что он великий человек. Смерть герцога была необходима. Он гений, а гений тем и отличается от простых людей, что действует не для себя, но для человечества. Роялисты хотели опять зажечь внутреннюю войну и революцию, которую он подавил. Ему нужно было внутреннее спокойствие, и он казнию герцога показал такой пример, что Бурбоны перестали интриговать.

— Mais, mon cher M. Pierre [14],— сказала Анна Павловна, пытаясь взять кротостью,— как вы называете интригами средства к возвращению законного престола?

— Законна только народная воля,— отвечал он,— а она изгнала Бурбонов и передала власть великому Наполеону.

И он торжественно посмотрел сверх очков на слушателей.

— Ah! «Contrat social» [15],— тихо сказал виконт, видимо, успокоиваясь и узнав источник, из которого черпались доводы противника.

— А после этого?!..— воскликнула Анна Павловна.

Но и после этого Пьер также неучтиво продолжал свою речь.

— Нет,— говорил он, все более и более одушевляясь,— Бурбоны и роялисты бежали от революции, они не могли понять ее. А этот человек стал выше ее, подавил ее злоупотребления, удержав всё хорошее — и равенство граждан, и свободу слова и печати, и только потому приобрел власть.

— Да, ежели бы он, взяв власть, отдал ее законному королю,— сказал виконт иронически,— тогда бы я назвал его великим человеком.

— Он бы не мог этого сделать. Народ отдал ему власть только затем, чтоб он избавил его от Бурбонов, и потому что народ видел в нем великого человека. Революция сама была великое дело,— продолжал мсье Пьер, выказывая этим отчаянным и вызывающим вводным предложением свою великую молодость и желание всё поскорее высказать.

— Революция и цареубийство великое дело?!.. После этого...

— Я не говорю про цареубийство. Когда явился Наполеон, революция уже сделала свое время, и нация сама отдалась ему в руки. Но он понял идеи революции и сделался ее представителем.

— Да, идеи грабежа, убийства и цареубийства,— опять перебил иронический голос.

— Это были крайности, разумеется, но не в них всё значение, а значение в правах человека, в эманципации от предрассудков, в равенстве граждан; и все эти идеи Наполеон удержал во всей их силе.

— Свобода и равенство,— презрительно сказал виконт, как будто решившийся, наконец, серьезно доказать этому юноше всю глупость его речей,— всё громкие слова, которые уже давно компрометировались. Кто же не любит свободы и равенства? Еще Спаситель наш проповедывал

---

[14] Но, милый мсье Пьер

[15] А! «Общественный договор».

свободу и равенство. Разве после революции люди стали счастливее? Напротив. Мы хотели свободы, а Буонапарте уничтожает ее.

Князь Андрей с веселою улыбкой посматривал то на мсье Пьера, то на виконта, то на хозяйку и, видимо, утешался этим неожиданным и неприличным эпизодом. В первую минуту выходки Пьера Анна Павловна ужаснулась, несмотря на свою привычку к свету, но, когда она увидала, что, несмотря на произнесенные Пьером святотатственные речи, виконт не выходил из себя, и когда она убедилась, что замять этих речей уже нельзя, она собралась с силами и, присоединившись к виконту, напала на оратора.

— Mais, mon cher Pierre[16],— сказала Анна Павловна,— как же вы объясняете великого человека, который мог казнить герцога, наконец, просто человека, без суда и без вины?

— Я бы спросил,— сказал виконт,— как monsieur Pierre объясняет 18 брюмера. Разве это не обман? C'est un escamotage qui ne ressemble nullement à la manière d'agir d'un grand homme[17].

— А пленные в Африке, которых он убил? — туда же сказала маленькая княгиня,— это ужасно.— И она пожала плечиками.

— C'est un rôturier, vous aurez beau dire[18],— сказал князь Ипполит.

Мсье Пьер не знал кому отвечать, оглянув всех, улыбнулся и улыбкой открыл неправильные черные зубы. Улыбка у него была не такая, какая у других людей, сливающаяся с неулыбкой. У него, напротив, когда приходила улыбка, то вдруг мгновенно исчезало сериозное и даже несколько угрюмое лицо, а являлось другое, детское, доброе, даже глуповатое и как бы просящее прощения.

Виконту, который видел его в первый раз, стало ясно, что этот якобинец совсем не так страшен, как его слова. Все замолчали.

— Как вы хотите, чтоб он всем отвечал вдруг? — отозвался голос князя Андрея.— Притом надо в поступках государственного человека различать поступки частного лица и полководца или императора. Мне так кажется.

— Да, да, разумеется,— подхватил Пьер, обрадованный выступившею ему подмогой.— Как человек, он велик на Аркольском мосту, в госпитале в Яффе, где он чумным подает руку, но...

Князь Андрей, видимо, желавший смягчить неловкость речи Пьера, приподнялся, сбираясь ехать и подавая знак жене.

— Трудно судить,— сказал он,— современных людей, потомки наши оценят.

Вдруг князь Ипполит поднялся и, знаками рук останавливая всех и прося присесть, заговорил:

— Ah! aujourd'hui on m'a raconté une anecdote moscovite, charmante; il faut que je vous en régale. Vous m'excusez, vicomte, il faut que je raconte en russe. Autrement on ne sentira pas le sel de l'histoire[19].

И князь Ипполит начал говорить по-русски таким выговором, каким говорят французы, пробывшие год в России. Все приостановились: так оживленно, настоятельно требовал князь Ипполит внимания к своей истории.

— В Moscou есть одна барыня, une dame. И она очень скупо. Ей нужно было иметь два valets de pied[20] за карета. И очень большой ростом. Это было ее вкусу. И она имела une femme de chambre[21] еще большой росту. Она сказала...

---

[16] Но, милый мсье Пьер

[17] Это шулерство, вовсе не похожее на образ действий великого человека.

[18] Это проходимец, что бы вы ни говорили.

[19] Сегодня мне рассказали прелестный московский анекдот: надо вас им попотчевать. Извините, виконт, я буду рассказывать по-русски, иначе пропадет вся соль анекдота.

[20] лакея

[21] горничную

Тут князь Ипполит задумался, видимо, с трудом соображая.

— Она сказала... да, она сказала: «девушка (à la femme de chambre), надень livrée[22] и поедем за мной, за карета, faire des visites»[23].

Тут князь Ипполит фыркнул и захохотал гораздо прежде своих слушателей, что произвело невыгодное для рассказчика впечатление. Однако многие, и в том числе пожилая дама и Анна Павловна, улыбнулись.

— Она поехала. Незапно сделалась сильный ветер. Девушка потеряла шляпа, и длинны волоса расчесались...

Тут он не мог уже более держаться, и стал отрывисто смеяться и сквозь этот смех проговорил:

— И весь свет узнал...

Тем анекдот и кончился. Хотя и непонятно было, для чего он его рассказывает и для чего его надо было рассказать непременно по-русски, однако Анна Павловна и другие оценили светскую любезность князя Ипполита, так приятно закончившего неприятную и нелюбезную выходку мсье Пьера. Разговор после анекдота рассыпался на мелкие незначительные толки о будущем и прошедшем бале, спектакле, о том, когда и где кто увидится.

VIII

Поблагодарив Анну Павловну за ее charmante soirée[1], гости стали расходиться.

Пьер был неуклюж. Толстый, широкий, с огромными руками, которые, казалось, были сотворены для того, чтобы ворочать пудовиками, он, как говорится, не умел войти в салон и еще менее умел из него выйти, то есть перед выходом поклониться, сказать что-нибудь особенно приятное. Кроме того, он был рассеян. Вставая, он вместо своей шляпы захватил трехугольную шляпу с генеральским плюмажем и держал ее, дергая султан, до тех пор, пока генерал, как показалось Пьеру, озлобленно не попросил возвратить ее. Но вся его рассеянность и неуменье войти в салон и говорить в нем выкупались таким выражением благодушия и простоты, что, несмотря на все его недостатки, он невольно был симпатичен даже тем, кого приводил в неловкое положение. Анна Павловна повернулась к нему и, с христианской кротостью выражая прощение за его выходку, кивнула ему и сказала:

— Надеюсь увидеть вас еще, но надеюсь тоже, что вы перемените свои мнения, мой милый M. Pierre.

Когда она сказала ему это, он ничего не ответил, только наклонился и показал всем еще раз свою улыбку, которая ничего не говорила, разве только вот что: «Мнения мнениями, а вы видите, какой я добрый и славный малый». И все, и Анна Павловна невольно почувствовали это.

— Savez-vous, mon cher, vous avez des raisonnements, qui cassent les vitres[2],— сказал князь Андрей, пристегивая саблю.

Не могу,— сказал Пьер, опустив голову и глядя через очки и останавливаясь.— Как же не видеть ни в революции, ни в Наполеоне, ничего, кроме личных интересов Бурбонов. Мы сами не чувствуем, как много мы обязаны именно революции...

Князь Андрей не стал слушать продолжения этой речи. Он вышел в переднюю и, подставив плечи лакею, накидывавшему ему плащ, равнодушно прислушивался к болтовне своей жены с князем Ипполитом, вышедшим тоже в переднюю. Князь Ипполит стоял возле хорошенькой беременной княгини и упорно смотрел прямо на нее в лорнет.

---

[22] ливрею
[23] делать визиты

[1] прелестный вечер
[2] Знаешь, мой милый, от твоих рассуждений могут полопаться стекла.

— Идите, Annette, вы простудитесь,— говорила маленькая княгиня, прощаясь с Анной Павловной.— C'est arrêté[3],— прибавила она тихо.

Анна Павловна уже успела переговорить с Лизой о предполагаемом браке Анатоля с ее belle-soeur[4] и просила княгиню действовать на мужа.

— Я надеюсь на вас, милый друг,— сказала Анна Павловна тоже тихо,— вы напишете к ней и скажете мне, comment le père envisagera la chose. Au revoir[5],— и она ушла из передней.

Князь Ипполит подошел вплоть к маленькой княгине и, близко наклоняя к ней свое лицо, стал полушёпотом что-то говорить ей.

Два лакея, один княгинин, другой его, дожидаясь, когда они кончат говорить, стояли с шалью и рединготом и слушали их, непонятный им, французский говор с такими лицами, как будто они понимали, что говорится, но не хотели показывать этого. Княгиня как всегда говорила, улыбаясь, и слушала, смеясь.

— Я очень рад, что не поехал к посланнику,— говорил князь Ипполит: — скука... Прекрасный вечер. Не правда ли, прекрасный?

— Говорят, что бал будет очень хорош,— отвечала княгиня, вздергивая с усиками губку.— Все красивые женщины общества будут там.

— Не все, потому что вас там не будет, не все,— сказал князь Ипполит, радостно смеясь и схватив шаль у лакея, даже толкнул его и стал надевать ее на княгиню. От неловкости или умышленно, никто бы не мог разобрать этого, он долго не опускал рук, когда шаль уже была надета, и как будто обнимал молодую женщину.

Она грациозно, но всё улыбаясь, отстранилась, повернулась и взглянула на мужа. У князя Андрея глаза были закрыты, так он казался усталым и сонным.

— Вы готовы? — спросил он жену, обводя ее взглядом.

Князь Ипполит торопливо надел свой редингот, который у него по-новому был длиннее пяток, и, путаясь в нем, побежал на крыльцо за княгиней, которую лакей подсаживал в карету.

— Princesse, au revoir[6],— кричал он, путаясь языком, так же как и ногами.

Княгиня, подбирая платье, садилась в темноте кареты, муж ее оправлял саблю; князь Ипполит, под предлогом подслуживания, мешал всем.

— Па-азвольте, сударь,— обратился князь Андрей по-русски к князю Ипполиту, мешавшему ему пройти.

Эта «па-азвольте, сударь» прозвучало таким холодным презрением, что князь Ипполит чрезвычайно торопливо посторонился, стал извиняться и нервически перекачиваться с ноги на ногу, как будто от свежей, не остывшей, жгучей боли.

— Я тебя жду, Pierre,— послышался голос князя Андрея.

Форейтор тронул, и карета загремела колесами. Князь Ипполит смеялся отрывисто, стоя на крыльце и дожидаясь виконта, которого он обещал довезти до дому...

— En bien, mon cher, votre petite princesse est très bien, très bien[7],— сказал виконт, усевшись в карету с Ипполитом[7].— Mais très bien. Он поцеловал кончики своих пальцев.— Et tout-à-fait française[8]. Ипполит, фыркнув, засмеялся.

— Et savez-vous que vous êtes terrible avec votre petit air innocent,— продолжал виконт.— Je plains le pauvre mari, le pauvre petit officier, qui

---

[3] Это решено.
[4] невесткой
[5] как отец посмотрит на дело. До свидания.
[6] Княгиня, до свиданья.
[7] Ну, мой дорогой, ваша маленькая княгиня очень мила, очень мила.
[8] И совершенная француженка.

ПЬЕР БЕЗУХОВ

Рисунок М. С. Башилова, 1866 г.

«В одно время получил я ваше и Рихау письмо со включением Pierr'а лежачего, который меня привел в восхищение. Эта картинка так хороша в своем роде, как только может быть хорошо полное художественное произведение, т. е., что лучше быть не может» (из письма Толстого М. С. Башилову от 7 августа 1866 г.)

se donne des airs de prince régnant[9]. Ипполит фыркнул еще и сквозь смех проговорил:

— Et vous disiez que les dames russes ne valaint pas les dames françaises. Il faut savoir s'y prendre[10].

IX

Пьер, приехав вперед, как домашний человек, прошел в кабинет князя Андрея и тотчас же, по привычке, лег на диван, взял первую попавшуюся с полки книгу (это были Записки Цезаря) и принялся, облокотившись, читать их из середины с таким интересом, как будто он уже часа два вчитывался в них. Князь Андрей, приехав, прошел прямо в уборную и через пять минут вышел в кабинет.

— Что ты сделал с m-lle Шерер? Она теперь совсем заболеет,— сказал он по-русски, входя к Пьеру в бархатной комнатной шубке, и покровительственно, весело и дружески улыбаясь и потирая маленькие белые ручки, которые он, видимо, сейчас еще раз вымыл.

Пьер поворотился всем телом так, что диван заскрипел, обернул оживленное лицо к князю Андрею, улыбнулся и махнул рукой.

— Опять кутил? — спросил Андрей, покачивая головой.

Пьер виновато кивнул головой.

— И только в три проснулся. Можете себе представить, что мы выпили впятером одиннадцать бутылок. (Пьер говорил *вы* князю Андрею, а тот говорил ему *ты*. Это так установилось между ними в детстве и не переменялось).— Отличные люди! Какой там англичанин — чудо!

[9] А знаете ли, вы ужасны с вашим невинным видом. Я жалею бедного мужа, бедного этого офицерика, который корчит из себя владетельную особу.

[10] А вы говорили, что русские дамы хуже французских. Надо уметь взяться.

— Вот я никогда не понимал этого удовольствия,— сказал князь Андрей.

— Да что вы! Вы совсем другой и удивительный человек во всем,— искренно сказал Пьер.

— Опять у милого Анатоля Курагина?

— Да.

— Охота тебе с этой дрянью водиться.

— Нет, право, он славный малый.

— Дрянь! — коротко сказал князь Андрей и нахмурился.— Ипполит очень умный мальчик, не правда ли? — прибавил он.

Пьер рассмеялся, затрясшись всем своим тяжелым телом так, что опять диван заскрипел.— «В Moscou была одна барыня»,— повторил он сквозь смех.

— А знаешь, он, право, добрый малый,— заступнически сказал князь.

— Ну, что ж, ты решился, наконец, на что-нибудь? Кавалергард ты будешь или дипломат?

Пьер сел на диван, поджав под себя ноги.

— Можете себе представить, я всё еще не знаю. Ни то, ни другое мне не нравится.

— Но ведь надо на что-нибудь решиться? Отец твой ждет.

Пьер с десятилетнего возраста был послан с гувернером-аббатом за границу, где он пробыл до двадцатилетнего возраста. Когда он вернулся в Москву, отец отпустил аббата и сказал молодому человеку: «Теперь ты поезжай в Петербург, осмотрись, faites des liaisons et songez à vous choisir une carrière[1]. Я на всё согласен. Вот тебе письмо к князю Василью, и вот тебе деньги. Пиши обо всем, я тебе во всем помогу». Пьер уже три месяца выбирал карьеру и ничего не делал. Про этот выбор и говорил ему князь Андрей. Пьер потер себе лоб.

— Я понимаю военную службу; но вот что объясните мне,— сказал он.— Зачем вы — вы понимаете всё — зачем вы идете на эту войну, против кого же? Против Наполеона и Франции. Ежели б это была война за свободу, я бы понял, я бы первый поступил в военную службу, но помогать Англии и Австрии против величайшего человека в мире... Я не понимаю, как вы идете?

— Voyez-vous, mon cher,— начал князь Андрей, может быть невольно желая скрыть для самого себя неясность мысли и вдруг начиная по-французски и переменяя прежний искренний тон на гостинный и холодный,— la question peut être envisagée sous un tout autre point de vue[2].

И он, с таким видом, как будто всё то, про что они говорили, было делом его собственным или близких ему людей, изложил Пьеру ходившее тогда в высших кружках петербургского общества воззрение на политическое назначение России в Европе в то время.

Европа со времени революции страдает от войн. Причина войн, кроме честолюбия Наполеона, заключалась в неправильности европейского равновесия. Нужно было, чтоб одна великая держава искренно и беспристрастно взялась за дело и, составив союз, обозначила бы новые границы государствам и установила бы новое европейское равновесие и новое народное право, в силу которого война оказывалась бы невозможною и все недоразумения между государствами решались бы посредничеством. Эту бескорыстную роль брала на себя Россия в предстоявшей войне. Россия будет стремиться только к тому, чтобы возвратить Францию в границы 1796 года, предоставляя самим французам выбор образа правления, также к возобновлению независимости Италии, Цизальпийского королевства, нового государства двух Бельгий, нового Германского Союза и даже к восстановлению Польши.

---

[1] заведи знакомства и подумай о выборе дороги

[2] Видишь, мой милый, на дело можно посмотреть совсем с другой точки зрения.

Пьер внимательно слушал, несколько раз порываясь вступить в спор, но удерживаясь из уважения к своему другу.

— Видишь ли ты, что мы на этот раз не так глупы, как это кажется? — заключил князь Андрей.

— Да, да, но почему ж этот план не предложат самому Наполеону? — прервал Пьер.— Он первый принял бы его, ежели этот план чистосердечен; он поймет и полюбит всякую великую мысль.

Князь Андрей помолчал и потер своею маленькою ручкой лоб.

— Кроме того, я иду...— Он остановился.— Я иду потому, что та жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь — не по мне!

— Отчего? — удивленно спросил Пьер.

— Оттого, моя душа,— вставая и улыбаясь, сказал князь Андрей,— что виконту и Ипполиту таскаться по гостиным и перебирать вздор и рассказывать сказочки про m-lle Жорж и про «девушка» — это прилично, а мне роль эта не годится. J'en ai assez[3],— прибавил он.

Пьер взглядом выразил свое согласие.

— Но вот еще что. Что такое Кутузов? И что такое быть адъютантом? — спросил Пьер с тою редкою наивностью, которая бывает у молодых людей, не боящихся обличить вопросом свое незнание.

— Это ты только можешь не знать,— улыбаясь и качая головою, отвечал князь Андрей.— Кутузов — правая рука Суворова, лучший русский генерал.

— Но ведь как же быть адъютантом? Вас, стало-быть, и посылать могут?

— Разумеется, влияние адъютанта — самое незначительное,— отвечал князь Андрей,— но надобно начинать. Притом отец мой хотел этого. Я буду просить Кутузова дать мне отряд. А там увидим...

— Странно будет, должно быть, вам сражаться с Наполеоном,— сказал Пьер, как будто предполагая, что князю Андрею, как только он приедет на войну, придется вступить, если не в единоборство, то в самое близкое состязание с Наполеоном.

Князь Андрей задумчиво улыбался своим мыслям, повертывая грациозным, женственным жестом обручальное кольцо на безымянном пальце.

X

В соседней комнате зашумело женское платье. Как будто очнувшись, князь Андрей встряхнулся, и лицо его приняло то же выражение, какое оно имело в гостиной Анны Павловны. Пьер спустил ноги с дивана. Вошла княгиня. Она была уже в другом, домашнем, но столь же элегантном и свежем платье. Князь Андрей встал, учтиво подвигая ей кресло, но в лице его, в то время как он это делал, выражалась такая скука, что княгиня должна была бы оскорбиться, если бы в состоянии была наблюдать.

— Отчего, я часто думаю,— заговорила она как всегда по-французски, поспешно и хлопотливо усаживаясь в кресло,— отчего Анетт не вышла замуж? Как вы все глупы, messieurs, что на ней не женились. Вы меня извините, но вы ничего не понимаете в женщинах толку.

Пьер с князем Андреем невольно переглянулись и молчали. Но ни взгляд, ни молчание их нисколько не стеснили княгиню. Она продолжала всё так же болтать.

— Какой вы спорщик, мсье Пьер,— обратилась она к молодому человеку.— Какой вы спорщик, мсье Пьер,— повторила она, усаживаясь поспешно и хлопотливо как всегда на большом кресле у камина.

Сложив над возвышением талии свои маленькие ручки, она замолкла,

[3] Довольно с меня ее.

видимо, собираясь слушать. Ее лицо приняло то особенное сериозное выражение, при котором глаза как будто смотрят внутрь себя — выражение, бывающее только у беременных женщин.

— Я и с мужем вашим все спорю; не понимаю, зачем он хочет идти на войну,— сказал Пьер, без всякого стеснения, столь обыкновенного в отношениях молодого мужчины к молодой женщине, обращаясь к княгине.

Княгиня встрепенулась. Видимо, слова Пьера затронули ее за живое.

— Ах, вот я то же говорю! — сказала она с своею светскою улыбкой.— Я не понимаю, решительно не понимаю, отчего мужчины не могут жить без войны? Отчего мы, женщины, ничего не хотим, ничего нам не нужно? Ну, вот вы, будьте судьей. Я ему всё говорю: здесь он адъютант у дяди, самое блестящее положение. Все его так знают, так ценят. На днях у Апраксиных я слышала, как одна дама спрашивает: «Ça le fameux prince André?» Ma parole d'honneur! [1]

Она засмеялась.

— Он так везде принят. Он очень легко может быть и флигель-адъютантом. Вы знаете, государь третьего дня очень милостиво говорил с ним. Мы с Анетт говорили: это очень легко было бы устроить. Как вы думаете?

Пьер посмотрел на князя Андрея и, заметив, что разговор этот не нравился его приятелю, ничего не отвечал.

— Когда вы едете? — спросил он.

— Ah! ne me parlez pas de ce départ, ne m'en parlez pas. Je ne veux pas en entendre parler [2],— заговорила княгиня таким капризно-игривым тоном, каким она говорила с Ипполитом в гостиной, и который так очевидно не шел к семейному кружку, где Пьер был как бы членом.

— Сегодня, когда я подумала, что надо прервать все эти дорогие отношения... И потом, ты знаешь, André.

Она значительно мигнула мужу.

— J'ai peur, j'ai peur! [3] — прошептала она, содрагаясь спиною.

Муж посмотрел на нее с таким видом, как будто он был удивлен, заметив, что кто-то еще, кроме его и Пьера, находился в комнате; однако с холодною учтивостью вопросительно обратился к княгине:

— Чего ты боишься, Лиза? Я не могу понять,— сказал он.

— Вот как все мужчины эгоисты, все, все эгоисты! Сам из-за своих прихотей, бог знает зачем, бросает меня, запирает в деревню одну.

— С отцом и сестрой, не забудь,— тихо сказал князь Андрей.

— Всё равно одна, без *моих* друзей... И хочет, чтоб я не боялась.

Тон ее уже был ворчливый, губка поднималась, придавая лицу не радостное, а зверское, беличье выражение. Она замолчала, как будто находя неприличным говорить при Пьере про свои будущие роды, тогда как в этом и состояла сущность дела.

— Все-таки я не понял, de quoi vous aurez peur [4],— медлительно проговорил князь Андрей, не спуская глаз с жены.

Княгиня покраснела и отчаянно взмахнула руками.

— Non, André, je dis que vous avez tellement, tellement changé... [5].

— Твой доктор велит тебе раньше ложиться,— сказал князь Андрей.— Ты бы шла спать.

Княгиня ничего не сказала, и вдруг короткая с усиками губка задрожала; князь Андрей встал и, пожав плечами, прошелся по комнате.

Пьер удивленно и наивно смотрел через очки то на того, то на другого и зашевелился, как будто он то хотел встать, то опять раздумывал.

---

[1] «Это знаменитый князь Андрей?» Честное слово.
[2] Ах, не говорите мне про этот отъезд! Я не хочу про это слышать.
[3] Я боюсь, я боюсь!
[4] чего ты боишься
[5] Нет, Андрей, я говорю: ты так, так переменился..

— Что мне за дело, что тут мсье Пьер,— вдруг сказала маленькая княгиня, и хорошенькое лицо ее вдруг распустилось в слезливую некрасивую гримасу.— Я тебе давно хотела сказать, André: за что ты ко мне так переменился? Что я тебе сделала? Ты едешь в армию, ты меня не жалеешь. За что?

— Lise! — только сказал князь Андрей, но в этом слове были и просьба и угроза и, главное, уверение в том, что она сама раскается в своих словах; но она торопливо продолжала:

— Ты обращаешься со мной, как с больною или с ребенком. Я всё вижу. Разве ты такой был полгода назад?

— Lise, я прошу вас перестать,— сказал князь Андрей еще выразительнее.

Пьер, все более и более приходивший в волнение во время этого разговора, встал и подошел к княгине. Он, казалось, не мог переносить вида слез, и сам готов был заплакать.

— Успокойтесь, княгиня. Вам это так кажется, потому что, я вас уверяю, я сам испытал... отчего... потому что... Нет, извините, чужой тут лишний... Нет, успокойтесь... Прощайте... извините меня...

И он, раскланиваясь, собирался уходить. Князь Андрей остановил его за руку.

— Нет, постой, Пьер. Княгиня так добра, что не захочет лишить меня удовольствия провести с тобою вечер.

— Нет, он только о себе думает,— проговорила княгиня, не удерживая сердитых слез.

— Lise,— сказал сухо князь Андрей, поднимая тон на ту степень, которая показывает, что терпение истощено.

Вдруг сердитое беличье выражение красивого личика княгини заменилось привлекательным и возбуждающим сострадание выражением страха; она исподлобья взглянула своими прекрасными глазками на мужа, и на лице ее показалось то робкое и признающееся выражение, какое бывает у собаки, быстро, но слабо помахивающей опущенным хвостом.

— Mon Dieu, mon Dieu![6] — проговорила княгиня и, подобрав одною рукой складку платья, подошла к мужу и поцеловала его в коричневый лоб.

— Bon soir, Lise[7],— сказал князь Андрей, вставая и учтиво, как у посторонней, целуя руку.

XI[1]

Друзья молчали. Ни тот, ни другой не начинал говорить. Пьер поглядывал на князя Андрея, князь Андрей потирал себе лоб своею маленькою ручкой.

— Пойдем ужинать,— сказал он со вздохом, вставая и направляясь к двери.

Они вышли в изящно, заново, богато отделанную столовую. Всё, от салфеток до серебра, фаянса и хрусталя, носило на себе тот особенный отпечаток новизны и изящества, которые бывают в хозяйстве молодых супругов. В середине ужина князь Андрей облокотился и, как человек давно имеющий что-нибудь в сердце и вдруг решающийся высказаться, с выражением нервного раздражения, в каком Пьер никогда еще не видал своего приятеля, начал говорить:

— Никогда, никогда не женись, мой друг, вот тебе мой совет, не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал всё, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, какую ты

[6] Боже мой, боже мой!
[7] Доброй ночи, Лиза.

[1] В «Русском вестнике» ошибка в нумерации глав: после главы X было — XII. Мы восстанавливаем правильную нумерацию (прим. составителя).

выбрал, пока ты не увидишь ее ясно, а то ты ошибешься жестоко и непоправимо. Женись стариком никуда негодным... А то пропадет всё, что в тебе есть хорошего и высокого. Всё истратится по мелочам. Да, да, да! Не смотри на меня с таким удивлением. Ежели ты ждешь от себя чего-нибудь впереди, то на каждом шагу ты будешь чувствовать, что для тебя всё кончено, всё закрыто, кроме гостиной, где ты будешь стоять на одной доске с придворным лакеем и идиотом... Да что!..

Он энергически махнул рукой.

Пьер снял очки, отчего лицо его изменилось, еще более выказывая доброты, и удивленно глядел на друга.

— Моя жена,— продолжал князь Андрей,— прекрасная женщина. Это одна из тех редких женщин, с которою можно быть покойным за свою честь; но, боже мой, чего бы я не дал теперь, чтобы не быть женатым! Это я тебе одному и первому говорю, потому что я люблю тебя.

Князь Андрей, говоря это, был еще менее похож, чем прежде, на того господина, который лежал, развалившись в креслах Анны Павловны, и сквозь зубы, щурясь, говорил французские фразы. Его сухое коричневатое лицо всё дрожало нервическим оживлением каждого мускула; глаза, в которых прежде казался потушенным огонь жизни, теперь блестели лучистым, ярким блеском. Видно было, что, чем безжизненнее казался он в обыкновенное время, тем энергичнее был он в эти минуты почти болезненного раздражения.

— Ты не понимаешь, отчего я это говорю,— продолжал он.— Ведь это целая история жизни. Ты говоришь Бонапарте и его карьера,— сказал он, хотя Пьер и не говорил про Бонапарте.— Ты говоришь Бонапарте, но Бонапарте кончил курс в артиллерийском училище и вышел в свет, когда была война и дорога к славе была открыта каждому.

Пьер смотрел на друга, видимо, вперед готовый согласиться со всем, что бы тот ни сказал.

— Бонапарте вышел и сейчас же нашел то место, которое он должен был занять. И кто были у него друзья? Кто была Жозефина Богарне? Мои пять лет жизни по выходе из пажеского корпуса — гостиные, балы, любовные связи, праздность. Я теперь отправляюсь на войну, на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не гожусь. Je suis très aimable et très caustique[2], и у Анны Павловны меня слушают, а я забыл, что знал. Я теперь только начал читать, но всё это без связи. А без знания военной истории, математики, фортификации не может быть военного человека. И это глупое общество, без которого не может жить моя жена, и эти женщины... J'avais des succès dans le monde. Les femmes les plus distinguées[3], мне бросались на шею. И ежели бы ты мог знать, что такое toutes les femmes distinguées[4], и вообще женщины! Отец мой прав. Он говорит, что природа не премудра, потому что она не могла выдумать средства к распространению рода человеческого помимо женщины. Эгоизм, тщеславие, тупоумие, ничтожество во всем — вот женщины, когда они показываются все так, как они есть. Посмотришь на них в свете, кажется, что-то есть, а ничего, ничего, ничего! Да, не женись, душа моя, не женись,— кончил князь Андрей, и так значительно покачал головой, как будто все то, что он сказал, была такая истина, в которой никто не мог сомневаться.

— Мне смешно,— сказал Пьер,— что *вы себя, вы себя* считаете неспособным, свою жизнь испорченною жизнью. У вас всё, всё впереди. И вы...

Он не сказал что́ вы, но уже тон его показывал, как высоко ценит он друга и как многого ждет от него в будущем.

В самых лучших, дружеских и простых, отношениях лесть или похвала необходимы, как подмазка необходима для колес, чтоб они ехали.

---

[2] Я любезен и язвителен

[3] Я имел успех в свете. Самые изысканные женщины бросались мне на шею

[4] все эти изысканные женщины

— Je suis un homme fini[5],— сказал князь Андрей, но по высоко и гордо поднятой красивой голове и яркому блеску взгляда видно было, как мало он верил в то, что говорил.— Что обо мне говорить? Давай говорить о тебе,— сказал он, помолчав и улыбнувшись своим утешительным мыслям. Улыбка эта в то же мгновение отразилась на лице Пьера.

— А обо мне что говорить? — сказал Пьер, распуская свой рот в беззаботную, веселую улыбку.— Что я такое? Je suis un batard![6]

И он вдруг, впервые во весь вечер, багрово покраснел. Видно было, что он сделал большое усилие, чтобы сказать это.

— Sans nom, sans fortune...[7]. И что ж, право...

Но он не сказал, что право.

— Я свободен пока, и мне хорошо. Я только никак не знаю, что мне начать. Я хотел сериозно посоветоваться с вами.

Князь Андрей добрыми глазами смотрел на него. Но во взгляде его, дружеском, ласковом, все-таки выражалось сознание своего превосходства.

— Ты мне дорог, особенно потому, что ты один живой человек среди всего нашего света. Тебе хорошо. Выбери, что хочешь, это всё равно. Ты везде будешь хорош, но одно: перестань ты ездить к этим Курагиным, вести эту жизнь. Так это не идет тебе: все эти кутежи и гусарство, и всё...

— Знаете что,— сказал Пьер, как будто ему пришла неожиданно счастливая мысль,— сериозно, я давно это думал. С этою жизнью я ничего не могу решить, ни обдумать. Голова болит, денег нет. Нынче он меня звал, я не поеду.

— Дай мне слово, честное слово, что ты не будешь ездить?

— Честное слово.

— Смотри.

— Конечно.

XII

Уже был второй час ночи, когда Пьер вышел от своего друга. Ночь была июньская, петербургская, бессумрачная ночь. Пьер сел в извощичью коляску с намерением ехать домой. Но чем ближе он подъезжал, тем более он чувствовал невозможность заснуть в эту ночь, походившую более на вечер или на утро. Далеко было видно по пустым улицам. Ему представлялось оживленное прекрасное лицо князя Андрея, ему слышались его слова — не об отношениях его к жене (это не занимало Пьера) — но его слова о войне и о той будущности, которая могла ожидать его друга. Пьер так безусловно любил и преклонялся перед своим другом, что не мог допустить, чтобы князя Андрея, как скоро он сам того захочет, все не признали замечательным и великим человеком, которому свойственно повелевать, а не подчиняться. Пьер никак не мог представить себе, чтоб у кого бы то ни было, у Кутузова например, достало духа отдавать приказания такому человеку, очевидно рожденному для первой роли во всем, каким представлялся ему князь Андрей. Он воображал себе своего друга перед войсками, на белом коне, с краткою и сильною речью в устах, воображал себе его храбрость, его успехи, геройство и все, что воображает большинство молодых людей для самих себя. Пьер вспомнил, что он обещался нынче отдать небольшой карточный долг Анатолю, у которого нынче вечером должно было собраться обычное игорное общество.

— Пошел к Курагину,— сказал он кучеру, только думая о том, где бы провести остаток ночи и совершенно забыв данное князю Андрею слово не бывать у Курагина.

---

[5] Я человек конченый.

[6] Я незаконный сын!

[7] Без имени, без состояния...

Подъехав к крыльцу большого дома у конногвардейских казарм, в котором жил князь Анатоль Курагин, он вспоминал свое обещание, но тут же, как это бывает с людьми, называемыми бесхарактерными, ему так страстно захотелось войти взглянуть еще раз на эту столь знакомую и надоевшую ему беспутную жизнь, и невольно пришла в голову мысль, что данное слово ничего не значит, к тому же, еще прежде, чем князю Андрею, он дал также Анатолю слово привезть долг; наконец, он подумал, что все эти честные слова такие условные вещи, не имеющие никакого определенного смысла, особенно ежели сообразить, что, может быть, завтра же или он умрет, или случится с ним что-нибудь такое необыкновенное, что не будет уже ни честного, ни бесчестного.

Он поднялся на освещенное крыльцо, на лестницу, и вошел в отворенную дверь. В роскошной передней никого не было; валялись пустые бутылки, в углу гора изогнутых карт, плащи, калоши; пахло вином; слышался дальний говор и крик.

Видимо, игра и ужин уже кончились, но гости еще не разъезжались. Пьер скинул плащ и вошел в первую комнату, где посередине стояла статуя скаковой лошади во весь рост. Из третьей комнаты слышались яснее возня и знакомые хохот и крики человек шести или восьми. Он вошел в третью комнату, в которой стояли еще остатки ужина. Человек восемь молодых людей, все без сюртуков и большею частью в военных рейтузах, толпились около открытого окна и все вместе по-русски и по-французски кричали непонятные слова.

— Держу за Чаплина сто! — кричал один.

— Смотри не поддерживать! — кричал другой.

— Я за Долохова! — кричал третий.— Разними, Курагин.

— Одним духом, иначе проиграно! — кричал четвертый.

— Яков, давай бутылку, Яков! — кричал сам хозяин, высокий, статный красавец, стоявший посреди толпы.— Стойте, господа. Вот он, Pierre!

— А! Петр! Петруша! Pierre le grand! [1]

— Pierre le gros! [2] — закричали со всех сторон, обступая его.

На всех, красных и с красными пятнами, молодых лицах выразилась радость при виде Пьера, который, сняв очки и протирая их, смотрел на всю эту толпу.

— Ничего не понимаю. В чем дело? — сказал он, благодушно улыбаясь.

— Стойте, он не пьян. Дай бутылку,— сказал Анатоль и, взяв со стола стакан, подошел к Пьеру.

— Прежде всего пей.

Пьер молча стал пить стакан за стаканом, исподлобья оглядывая пьяных гостей, которые опять столпились у окна, толкуя о чем-то, ему непонятном. Он выпил один стакан залпом; Анатоль с значительным видом налил ему другой. Пьер покорно выпил, хотя и медленнее первого. Анатоль налил третий. Пьер выпил и этот, хотя остановился два раза, чтобы перевести дух. Анатоль стоял подле, серьезно глядя своими прекрасными большими глазами попеременно на стакан, на бутылку и на Пьера. Анатоль был красавец: высокий, полный, белый, румяный; грудь у него была так высока, что голова откидывалась назад, что придавало ему гордый вид. У него был прекрасный свежий рот, густые русые волосы, навыкате черные глаза и общее выражение силы, здоровья и добродушия свежей молодости. Но прекрасные глаза его с чудесными, правильными, черными бровями как будто были сделаны не столько для того, чтобы смотреть, сколько для того, чтобы на них смотрели. Они казались неспособными изменять выражение. Что он был пьян, это видно было только по его красному лицу, но еще более по неестественно выпученной груди и по разинутости глаз. Несмотря на то, что он был

---

[1] Большой Пьер!

[2] Толстый Пьер!

ПАРИ ДОЛОХОВА С АНГЛИЧАНИНОМ СТИВЕНСОНОМ

Рисунок М. С. Башилова, 1866 г.

«Пари. Пьер нехорош, но Анатоль прекрасен... Анатоль в сцене пари очень хорош, но нельзя ли покрупнее и тоже погрудастее. Он будет в будущем играть важную роль красивого, чувственного и грубого жеребца» (из письма Толстого М. С. Башилову от 4 апреля 1866 г.)

пьян и что верхняя часть его могущественного тела покрывалась только рубашкой, раскрытой на груди,— по легкому запаху духов и мыла, который сливался вокруг него с запахом выпитого вина, по тщательно напомаженной утром прическе его волос, по изящной чистоте пухлых рук и тончайшего белья, по этой белизне и гладкой нежности кожи,— и в теперешнем состоянии его был виден аристократ, в смысле вошедшего с детства в привычку тщательного и роскошного ухода за своею особой.

— Ну, пей же всю! А? — сказал он сериозно, подавая последний стакан Пьеру.

— Нет, не хочу,— сказал Пьер, запинаясь на половине стакана.— Ну, в чем дело? — прибавил он с видом человека, исполнившего приготовительную обязанность и теперь считающего себя вправе принять участие в общем деле.

— Пей же всю. А? — повторил Анатоль, шире разевая глаза, и поднял своею белою, голою до локтя рукой недопитый стакан. Он имел вид человека, делающего важное дело, потому что всю энергию свою в эту минуту он употреблял на то, чтобы держать стакан прямо, и сказать именно то, что он хотел сказать.

— Говорю — не хочу,— отвечал Пьер, надевая очки и отходя прочь.

— О чем вы кричите? — спросил он у толпы, собравшейся у окна.

Анатоль постоял, подумал, отдал стакан слуге и, слегка улыбнувшись своим красивым ртом, подошел тоже к окну.

По пятницам Анатоль Курагин принимал всех у себя; у него играли, ужинали и потом проводили ночь большею частью вне дома. В этот день игра в фараон завязалась продолжительная и большая. Анатоль проиграл немного, и так как он не имел страсти к игре, а играл по привычке, то скоро отстал. Один богач, лейб-гусар, проиграл много, а один семеновский офицер, Долохов, выиграл у всех. После игры, сели очень поздно

ужинать. Весьма сериозный англичанин, выдававший себя за путешественника, сказал, что он полагал, по дошедшим до него сведениям, что русские гораздо сильнее пьют, чем он это нашел на деле. Он говорил, что в России пьют только шампанское, а что ежели пить ром, то он предлагает пари, что выпьет больше всех присутствовавших. Долохов, тот офицер, который больше всех выиграл в тот вечер, сказал, что просто о бутылке рома не стоит держать пари, а что он вызывается выпить ее, не отводя ее ото рта и сидя на окне третьего этажа со спущенными наружу ногами. Англичанин предложил пари. Анатоль принял пари за Долохова, то есть, что Долохов выпьет бутылку рома на окне. В ту минуту, когда вошел Пьер, лакеи выставляли раму, чтобы можно было сесть на наружный подоконник. Окно в третьем этаже было достаточно высоко для того, чтоб упавший с него мог убиться до смерти. С разных сторон пьяные и дружелюбные лица рассказывали Пьеру, в чем дело, как будто полагая в том, что Пьер будет знать это дело, какую-то особенную важность. Долохов был гвардейского пехотного полка офицер, среднего роста, мускулистый, как бы сбитый весь, с широкою и полною грудью, чрезвычайно курчавый и с светлыми голубыми глазами. Ему было лет двадцать пять. Он не носил усов, как и все пехотные офицеры, и рот его, самая поразительная черта его лица, был весь виден. Рот этот был чрезвычайно приятен, несмотря на то, что почти никогда не улыбался. Линии этого рта были замечательно тонко изогнуты. В середине верхняя губа энергически опускалась на крепкую нижнюю; острым клином в углах образовывалось постоянно что-то в роде двух улыбок, по одной с каждой стороны, и всё вместе в соединении с прямым, несколько наглым, но огненным и умным взглядом, составляло впечатление такое, что, проходя мимо этого лица, нельзя было не заметить его и не спросить, кто этот обладатель такого красивого и странного лица. Женщинам Долохов нравился, и он искренно был убежден, что безупречных женщин не бывает. Долохов был молодой человек хорошей фамилии, но не богатый; однако он жил роскошно и постоянно играл. Он почти всегда выигрывал; но никто, даже и в отсутствии его, не смел приписывать его постоянный успех чему-нибудь другому, кроме счастия, светлой головы и непоколебимой силы воли. В душе каждый, игравший с ним, предполагал в нем шулера, хотя и не смел сказать этого. Теперь, когда он затеял свое странное пари, пьяное общество приняло особенно живое участие в его намерении. И именно потому, что знавшие его знали, что сказанное им будет сделано. Пьер знал это также и потому только поздоровался с Долоховым и не пытался возражать против его намерения.

Остальное общество состояло из трех офицеров, англичанина, которого видали в Петербурге в самых разнообразных обществах, одного москвича-игрока, женатого толстяка, который был гораздо старше всех, но был однако на *ты* со всею этою молодежью.

Бутылка рому была принесена; раму, не пускавшую сесть на наружный откос окна, выламывали два лакея в штиблетах и кафтанах, видимо, торопившиеся и робевшие от советов и криков окружавших господ.

Анатоль с выпученной грудью, не переменяя выражения, не обходя и не прося посторониться, продавил своим сильным телом толпу у окна, подошел к раме и, обернув обе белые руки сюртуком, валявшимся на диване, ударил в стекла и пробил их.

— Ну вот, ваше сиятельство,— сказал лакей,— только мешаете и ручки порежете.

— Пошел, дурак, а?..— проговорил Анатоль, взялся за перекладины рамы и стал тянуть. Несколько рук взялись также за дело; потянули, и рама с треском выскочила из окна, так что тянувшие чуть не упали.

— Всю вон, а то подумают, что я держусь,— сказал Долохов.

— Послушай,— сказал Анатоль Пьеру.— Понимаешь? Англичанин хвастает... а?.. национальность... а?.. хорошо?..

— Хорошо,— сказал Пьер, с замиранием сердца глядя на Долохова, который взяв в руки бутылку рома, подходил к окну, из которого виднелся свет неба и сливавшихся на нем утренней и вечерней зари. Долохов, засучив для чего-то рукава рубашки, с бутылкою рома в руке, ловко вскочил на окно.

— Слушать! — крикнул он, стоя на подоконнике и обращаясь в комнату.

Все замолчали.

— Я держу пари (он говорил по-французски, чтобы его понял англичанин, и говорил не слишком хорошо на этом языке) — держу пари на пятьдесят империалов... Хотите на сто? — прибавил он, обращаясь к англичанину.

— Нет, пятьдесят,— сказал англичанин.

— Хорошо, на пятьдесят империалов,— что я выпью бутылку рома всю, не отнимая ото рта, выпью, сидя за окном, вот на этом месте (он нагнулся и показал покатый выступ стены за окном),— и не держась ни за что... Так?..

— Очень хорошо,— сказал англичанин.

Анатоль повернулся к англичанину и, взяв его за пуговицу фрака и сверху глядя на него (англичанин был мал ростом), начал по-английски толковать ему то, что уже было всем понятно.

— Постой! — закричал Долохов, стуча бутылкой по окну, чтоб обратить на себя внимание.— Постой, Курагин, слушайте. Если кто сделает то же, то я плачу сто империалов. Понимаете?

Англичанин кивнул головой, не давая никак разуметь, намерен ли он или нет принять это новое пари. Анатоль не отпускал англичанина, и, несмотря на то, что тот, кивая, давал знать, что он все понял, Анатоль переводил ему слова Долохова по-английски. Молодой худощавый мальчик, лейб-гусар, проигравшийся в этот вечер, взлез на окно, высунулся и посмотрел вниз.

— Ууу...— проговорил он, глядя за окно на камень тротуара.

— Смирно! — закричал Долохов и сдернул с окна офицера, который, запутавшись шпорами, неловко спрыгнул в комнату.

Поставив бутылку на подоконник, чтобы было удобно достать ее, Долохов, осторожно и тихо, полез в окно. Спустив ноги и расперевшись обеими руками в края окна, он примерился, уселся, отпустил руки, подвинулся направо, налево и достал бутылку. Анатоль принес две свечки и поставил их на подоконник, хотя было уже совсем светло. Спина Долохова в белой рубашке и курчавая голова его были освещены с обеих сторон. Все столпились у окна. Англичанин стоял впереди. Пьер улыбался и ничего не говорил. Старый москвич с испуганным и сердитым лицом вдруг продвинулся вперед и хотел схватить Долохова за рубашку.

— Господа, это глупости, он убьется до смерти,— сказал он.

Анатоль остановил его.

— Не трогай, ты его испугаешь, он убьется. А?.. Что тогда?.. А?..

Долохов обернулся, поправляясь и опять расперевшись руками. Лицо его было ни бледно, ни красно, но холодно и зло.

— Ежели кто ко мне еще будет соваться,— сказал он, редко пропуская слова сквозь стиснутые и тонкие губы,— я того сейчас спущу вот сюда. И так скользко, катишь вниз, а тут со вздорами суется... Ну!..

Сказав «Ну», он повернулся опять, отпустил руки, взял бутылку и поднес ко рту, закинул назад голову и вскинул кверху свободную руку для перевеса. Один из лакеев, начавший подбирать стекла, остановился в согнутом положении, не спуская глаз с окна и спины Долохова. Анатоль стоял прямо, разинув глаза. Англичанин, выпятив вперед губы, смотрел сбоку. Старый москвич убежал в угол комнаты и лег на диван лицом к стене. Кто стоял с разинутым ртом, кто с поднятыми руками. Пьер закрыл лицо, и слабая улыбка, забывшись, осталась на его лице, хоть

оно теперь выражало ужас и страх. Все молчали. Пьер отнял от глаз руки; Долохов сидел все в том же положении, только голова загнулась назад так, что курчавые волосы затылка прикасались к воротнику рубахи и рука с бутылкой поднималась всё выше и выше, содрогаясь и делая усилие. Бутылка, видимо, опорожнялась и с тем вместе поднималась, загибая голову. «Что же это так долго?» — подумал Пьер. Ему казалось, что прошло больше получаса. Вдруг Долохов сделал движенье назад спиной, и рука его нервически задрожала; этого содрогания было достаточно, чтобы сдвинуть все тело, сидевшее на покатом откосе. Он сдвинулся весь, и еще сильнее задрожали, делая усилие, руки и голова его. Одна рука поднялась, чтобы схватиться за подоконник, но опять опустилась. Пьер опять закрыл глаза и сказал себе, что никогда уже не откроет их. Вдруг он почувствовал, что все вокруг зашевелилось. Он взглянул: Долохов стоял на подоконнике, лицо его было бледно и весело.

— Пуста!

Он кинул бутылку англичанину, который ловко поймал ее. Затем Долохов спрыгнул с окна. От него сильно пахло ромом.

— А? Каково? А?..— спрашивал у всех Анатоль.— Штука славная!

— Чёрт вас возьми совсем! — говорил старый москвич.

Англичанин, достав кошелек, отсчитывал деньги. Долохов хмурился и молчал. Пьер, в растерянном виде, ходил по комнате, улыбаясь и тяжело дыша.

— Господа, кто хочет со мною пари? Я то же сделаю,— вдруг заговорил он.— И пари не нужно, вот что. Вели дать бутылку. Я сделаю... вели дать.

— Что ты? С ума сошел? Кто тебя пустит? У тебя и на лестнице голова кружится,— заговорили с разных сторон.

— Это подло, что мы оставили одного Долохова жертвовать жизнью. Я выпью, давай бутылку рому! — закричал Пьер, решительным и пьяным жестом ударяя по столу, и полез в окно. Его схватили за руки и отвели в другую комнату. Но Долохов не мог идти; его отнесли на диван и облили ему голову холодною водой.

Кто-то хотел ехать домой, кто-то предложил ехать не домой, а всем вместе куда-то еще: Пьер более всех настаивал на том, чтоб ехать. Надели плащи и поехали. Англичанин уехал домой, а Долохов полумертвым, бесчувственным сном заснул на диване у Анатоля.

В МОСКВЕ

XIII

Князь Василий исполнил обещание, данное им на вечере у Анны Павловны пожилой даме, просившей его о своем единственном сыне Борисе. О нем было доложено государю, и, не в пример другим, он был переведен в гвардии Семеновский полк прапорщиком. Но адъютантом или состоящим при Кутузове Борис так и не был назначен, несмотря на все хлопоты и происки Анны Михайловны. Вскоре после вечера Анны Павловны Анна Михайловна вернулась в Москву, прямо к своим богатым родственникам Ростовым, у которых она стояла в Москве и у которых с детства воспитывался и годами живал ее обожаемый Боренька, только что произведенный в армейские и тотчас переведенный в гвардейские прапорщики. Гвардия уже вышла из Петербурга 10 августа, и сын, оставшийся для обмундирования в Москве, должен был догнать ее по дороге в Радзивилов.

У Ростовых были именинницы Натальи — мать и меньшая дочь. С утра, не переставая, подъезжали и отъезжали цуги, подвозившие поздравителей к большому, всей Москве известному дому графини Ростовой на Поварской. Графиня с старшею дочерью и гостями, не перестававшими сменять один другого, сидели в гостиной. Графиня была женщина с восточным типом худого лица, лет сорока пяти, видимо, изнуренная детьми, которых у ней было двенадцать человек. Медлительность ее движений и говора, происходившая от слабости сил, придавала ей значительный вид, внушавший уважение. Княгиня Анна Михайловна Друбецкая, как домашний человек, сидела тут же, помогая в деле принимания и занимания разговором гостей. Молодежь была в задних комнатах, не находя нужным участвовать в приеме визитов. Граф — встречал и провожал гостей, приглашая всех к обеду.

— Очень, очень вам благодарен, ma chère[1] или mon cher[2] (ma chère или mon cher он говорил всем без исключенья, без малейших оттенков, как выше, так и ниже его стоявшим людям) за себя и за дорогих именинниц. Смотрите же, приезжайте обедать. Вы меня обидите, mon cher. Душевно прошу вас от всего семейства, ma chère.

Эти слова, с одинаковым выражением на полном, веселом и чисто выбритом лице и с одинаково крепким пожатием руки и повторяемыми короткими поклонами, говорил он всем без исключения и изменения. Проводив одного гостя, граф возвращался в гостиную к тому или той, которые еще были в гостиной; придвинув кресла и с видом человека, любящего и умеющего пожить, молодецки расставив ноги и положив на колени руки, значительно покачивался, предлагал догадки о погоде, советовался о здоровье, иногда на русском, иногда на очень дурном, но самоуверенном французском языке, и снова с видом усталого, но твердого в исполнении обязанности человека шел проводить, оправляя редкие седые волосы на лысине, и опять звал обедать. Иногда, возвращаясь из передней, он заходил через цветочную и официантскую в большую мраморную залу, где накрывали стол на восемьдесят кувертов, и, глядя на официантов, носивших серебро и фарфор, раздвигавших столы и раз-

---

[1] моя милая
[2] мой милый

МОСКВА. ДОМ ПАШКОВА

Литография издания Дациаро, 30—40-е годы XIX в.

вертывавших камчатные скатерти, подзывал к себе Дмитрия Васильевича, дворянина, занимавшегося всеми его делами, и говорил:

— Ну, ну, Митенька, смотри, что‹б› всё было хорошо. Так, так,— говорил он, с удовольствием оглядывая огромный раздвинутый стол.— Да порядок в винах не забудь; главное — сервировка. То-то...— И он уходил, самодовольно вздыхая, опять в гостиную.

— Марья Львовна Карагина с дочерью! — басом доложил огромный графинин выездной лакей, входя в двери гостиной.

Графиня подумала и понюхала из золотой табакерки с портретом мужа.

— Замучили меня эти визиты,— сказала она.— Ну, уж ее последнюю приму. Чопорна очень. Проси,— сказала она лакею грустным голосом, как будто говорила: «Ну уж, добивайте».

Высокая, полная с гордым видом дама с миловидною дочкой, шумя платьями, вошли в гостиную.

— Chère comtesse, il y a si longtemps... elle a été alitée, la pauvre enfant... au bal des Razumowsky... et la comtesse Apraksine... j'ai été si heureuse...[3]. Послышались оживленные женские голоса, перебивая один другого и сливаясь с шумом платьев и придвиганием стульев. Начался тот разговор, который затевают ровно настолько, насколько, чтобы при первой паузе встать, зашуметь платьями, проговорить: «Je suis bien charmée! la santé de maman... et la comtesse Apraksine...»[4] — и, опять зашумев платьями, пройти в переднюю, надеть шубу или плащ и уехать.

Разговор зашел о главной городской новости того времени, о болезни известного богача и красавца Екатерининского времени, старого графа Безухого, и о его незаконном сыне Пьере, который так неприлично вел себя на вечере у Анны Павловны Шерер.

Я очень жалею бедного графа,— проговорила гостья,— здоровье его и так было плохо, а теперь это огорченье от сына. Это его убьет!

---

[3] Дорогая графиня, как давно... она должна была пролежать в постели, бедное дитя... на балу у Разумовских... и графиня Апраксина... я была так счастлива.

[4] Я в восхищении; здоровье мамà... и графиня Апраксина

— Что такое? — спросила графиня, как будто не зная, о чем говорит гостья, хотя она раз пятнадцать уже слышала причину огорчения графа Безухого.

— Вот нынешнее воспитанье! Еще за границей,— продолжала гостья, этот молодой человек предоставлен был самому себе, и теперь в Петербурге, говорят, он такие ужасы наделал, что его с полицией выслали оттуда.

— Скажите! — сказала графиня.

— Он дурно выбирал свои знакомства,— вмешалась княгиня Анна Михайловна.— Сын князя Василия, он и один Долохов, они, говорят, бог знает, что делали. И оба пострадали. Долохов разжалован в солдаты, а сын Безухого выслан в Москву. Анатоля Курагина — того отец как-то замял. Он всё остался в кавалергардском полку.

— Да что бишь они сделали? — спросила графиня.

— Это совершенные разбойники, особенно Долохов,— говорила гостья.— Он сын Марьи Ивановны Долоховой, такой почтенной дамы, и что же? Можете себе представить, они втроем достали где-то медведя, посадили с собой в карету и повезли к актрисам. Прибежала полиция их унимать. Они поймали квартального и привязали его спина с спиной к медведю, и пустили медведя в Мойку; медведь плавает, а квартальный на нем.

— Хороша, ma chère, фигура квартального,— закричал граф, помирая со смеху, с таким одобрительным видом, что он, несмотря на свои лета, не отказался бы принять участие в таком увеселении.

— Ах, ужас какой! Чему тут смеяться, граф?

Но дамы невольно смеялись и сами.

— Насилу спасли этого несчастного,— продолжала гостья.— И это сын князя Кирилла Владимировича Безухова так умно забавляется! — прибавила она.— А говорили, что так хорошо воспитан и умен. Вот все воспитание заграничное куда довело. Надеюсь, что здесь его никто не примет, несмотря на его богатство. Мне хотели его представить. Я решительно отказалась: у меня дочери.

— Однако это штука отличная, ma chère. Молодцы! — говорил граф, не удерживаясь от смеха.

Гостья чопорно и сердито посмотрела на него.

— Eh! ma chère Марья Львовна,— сказал он своим дурным французским выговором и языком,— il faut que la jeunesse elle se passe![5] Право! — прибавил он. И мы с вашим мужем не святые были. Тоже бывали грешки.

И он подмигнул ей; гостья не отвечала.

— Отчего вы говорите, что этот молодой человек так богат? — спросила графиня, нагибаясь от девиц, которые тотчас же сделали вид, что не слушают.

— Ведь у него только незаконные дети. Кажется... и Пьер незаконный.

Гостья махнула рукой:

— У него их двадцать незаконных, я думаю.

Княгиня Анна Михайловна вмешалась в разговор, видимо, желая выказать свои связи и свое знание всех светских обстоятельств.

— Вот в чем дело,— сказала она значительно и тоже полушепотом.— Репутация графа Кирилла Владимировича известна... Детям своим он счет потерял, но этот Пьер любимый был.

— Как он был хорош,— сказала графиня,— еще прошлого года! Красивее мужчины я не видывала.

— Теперь очень переменился,— сказала княгиня Анна Михайловна.— Так я хотела сказать,— продолжала она,— по жене прямой наследник всего именья князь Василий, но Пьера отец очень любил, занимался его воспитанием и писал государю... Так что никто не знает, ежели он умрет (он так плох, что этого ждут каждую минуту, и Lorrain при-

[5] юность должна перебеситься.

П. Н. ТОЛСТАЯ, БАБКА ТОЛСТОГО

Миниатюра неизвестного художника. Начала XIX в. (с дорожной шкатулки)

В образе графини Ростовой отражены некоторые черты П. Н. Толстой

ехал из Петербурга), кому достанется это огромное состояние, Пьеру или князю Василию. Сорок тысяч душ и миллионы. Я это очень хорошо знаю, потому что мне сам князь Василий это говорил. Да и Кирилл Владимирович мне приходится троюродным дядей по матери, и он крестил Борю,— прибавила она, как будто не приписывая этому обстоятельству никакого значения.

— Князь Василий приехал в Москву вчера. Он едет на ревизию, мне говорили,— сказала гостья.

— Да, но entre nous[6],— сказала княгиня,— это предлог; он приехал собственно к князю Кирилле Владимировичу, узнав, что он так плох.

— Однако, ma chère,— это славная штука,— сказал граф, заметив, что старшая гостья его не слушала, обратился уже к барышням.— Хороша фигура была у квартального, я воображаю.

И он, представив, как махал руками квартальный, опять захохотал тем звонким и басистым смехом, колебавшим все его полное тело, как смеются люди, всегда хорошо евшие и особенно пившие.

XIV

Наступило молчанье. Графиня глядела на гостью, приятно улыбаясь, впрочем, не скрывая того, что не огорчится теперь нисколько, если гостья поднимется и уедет. Дочь гостьи уже оправляла платье, вопросительно глядя на мать, как вдруг из соседней комнаты послышался бег к двери нескольких мужских и женских ног, грохот зацепленного и поваленного стула, и в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка, запахнув что-то короткою кисейною юбкой, и остановилась посредине комнаты. Казалось, она нечаянно, с нерассчитанного разбегу, заскочила так далеко. В дверях в ту же минуту показались четыре существа: два молодые человека, один студент с малиновым воротником, другой гвардейский офицер, пятнадцатилетняя девочка и толстый румяный мальчик в детской блузе.

Граф вскочил и, раскачиваясь, широко расставил руки вокруг вбежавшей девочки.

— А, вот она! — смеясь закричал он.— Именинница! Ma chère именинница!

— Ma chère, il y a un temps pour tout[1],— сказала графиня дочери, очевидно, только для того, чтобы сказать что-нибудь, потому что сразу было видно, что дочь нисколько не боялась ее.— Ты ее всё балуешь, Elie,— прибавила она мужу.

Bonjour, ma chère, jo vous félicite[2],— сказала гостья Quelle délicieuse enfant![3] — прибавила она, льстиво обращаясь к матери.

---

[6] между нами

[1] Милая, на всё есть время.

[2] Здравствуйте, моя милая, поздравляю вас.

[3] Какое прелестное дитя!

Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими, открытыми плечиками, которые, сжимаясь, двигались в своем корсаже от быстрого бега; с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими быстрыми ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Вывернувшись от отца, она, быстрая, грациозная и, видимо, не привыкшая к гостиной, подбежала к матери и, не обращая никакого внимания на ее строгое замечание, спрятала свое раскрасневшееся личико в кружевах материной мантильи и засмеялась.

— Мамà! Мы Бориса... ха ха!.. женили на кукле... ха ха! на... ах... Мими...— проговорила она сквозь смех: — и... ах... он убежал.

И она вынула из-под юбки и показала большую куклу с черным, стертым носом, треснутою картонною головой и лайковым задом, ногами и руками, мотавшимися в коленках и локтях, но еще с свежею карминовою, изысканною улыбкой и дугообразными чернейшими бровями.

И. А. ТОЛСТОЙ, ДЕД ТОЛСТОГО

Портрет работы К. В. Барду. Пастель. Казань. 1815—1820 гг. ⟨?⟩

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Некоторые черты характера И. А. Толстого отражены в образе графа И. А. Ростова

Графиня уже пятый год знала эту Мими, неизменного друга Наташи, подаренную крестным отцом.

— Видите?..— И Наташа не могла больше говорить (ей всё смешно казалось). Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорная гостья, против воли засмеялись. И в лакейской был слышен этот смех. Улыбаясь, переглянулись лакеи графини с приезжим ливрейным лакеем, до сего мрачно сидевшим на стуле.

— Ну, поди, поди с своим уродом! — сказала мать, притворно-сердито отталкивая дочь.— Это моя меньшая, избалованная девочка, как видите,— обратилась она к гостье.

Наташа, оторвав на минуту лицо от кружевной косынки матери и взглянув на нее снизу, тихо, сквозь слезы смеха, проговорила:

— Мне стыдно, мамà! —И опять быстро-быстро, как будто боясь, чтоб ее не поймали, спрятала лицо.

Гостья, принужденная любоваться семейной сценой, сочла нужным принять в ней какое-нибудь участие.

— Скажите, моя милая,— сказала она, обращаясь к Наташе,— как же вам приходится эта Мими? Дочь, верно?

Наташе не понравилась гостья и тон, с которым она снисходила до детского разговора.

— Non, madame, ce n'est pas ma fille, c'est une poupée[4],— сказала она, смело улыбаясь, встала от матери и присела подле старшей сестры, показывая тем, что и она может вести себя, как большая.

---

[4] Нет, мадам, это не моя дочь, это кукла.

ПЕТЯ РОСТОВ ⟨?⟩
Рисунок М. С. Башилова, 1866 г.

Между тем, все это молодое поколение: Борис — офицер, сын княгини Анны Михайловны, Николай — студент, старший сын графа, Соня,— пятнадцатилетняя племянница графа и маленький Петруша — меньшой сын, все, как вдруг опущенные в холодную воду, разместились в гостиной и, видимо, старались удержать в границах приличия оживление и веселость, которыми еще дышала каждая их черта. Видно было, что там, в задних комнатах, откуда они все так стремительно прибежали, у них были разговоры веселее, чем здесь о городских сплетнях, погоде и comtesse Apraksine[5].

Два молодые человека, студент и офицер, друзья с детства, были одних лет и оба красивы, но не похожи друг на друга. Борис (как звала мать не по-русски Барис, а Boris, по-французски, налегая на *о*), Борис был высокий белокурый юноша, с правильными тонкими чертами длинноватого лица. Спокойный и внимательный ум выражался в приятных серых глазах его; в углах же еще не обросших губ заметна была всегда насмешливая и немного хитрая улыбка, не только не вредившая, но придававшая как бы соль выражению его свежего, очевидно еще не тронутого ни пороком, ни горем красивого лица. Николай был не велик ростом, широкогруд и очень тонко и хорошо сложен. Открытое лицо, с русыми, мягкими вьющимися волосами вокруг выпуклого, широкого лба, с восторженным взглядом полузакрытых карих выпуклых глаз, выражало всегда впечатление минуты. На верхней губе его уже показались черные волосики, и во всем лице выражались стремительность и восторженность. Оба молодые человека, поклонившись, сели в гостиной; Борис сделал это легко и свободно; Николай, напротив, почти детски-озлобленно. Николай поглядывал то на гостей, то на дверь, видимо, не желая скрывать, что ему тут скучно, и почти не отвечая на вопросы, которые ему делали гостьи. Борис, напротив, тотчас же нашелся и рассказал степенно, шутливо, как эту Мими — куклу он знал еще молодой девицей, с неиспорченным еще носом, как она в пять лет на его памяти состарилась, и как у ней по всему черепу треснула голова. Потом он спросил даму о ее здоровье. Всё, что он говорил, было просто и прилично,— ни умно, ни глупо,— но улыбка, игравшая на его губах, показывала, что он, говоря, не приписывает никакой цены своим словам, а говорит только из приличия.

— Мамà, зачем он говорит, как большой,— я не хочу,— проговорила Наташа, подходя к матери и, как капризный ребенок, указывая на Бориса.

Борис улыбнулся на нее.

— Тебе бы все с ним в куклы играть,— отвечала ей княгиня Анна Михайловна, трепля ее по голому плечу, которое нервно ежилось и пряталось в корсаж при прикосновении руки Анны Михайловны.

— Мне скучно,— прошептала Наташа.— Мама, няня просится в гости, можно ей? Можно ей? — повторила она, возвышая голос, с свойственною женщинам способностью быстрого соображения для невинного обмана.—

[5] графине Апраксиной

Можно? Мама! — прокричала она, чуть удерживаясь от смеха и взглядывая на Бориса, присела гостям и вышла до двери, а за дверью побежала так скоро, как только могли нести ее быстрые ножки.

Борис задумался.

— Вы, кажется, тоже хотели ехать, maman? Карета нужна? — сказал он, краснея и обращаясь к матери.

— Да, поди, поди, вели приготовить,— сказала она, улыбаясь.

Борис вышел тихо в двери и пошел за Наташей; толстый мальчик в блузе сердито побежал за ними, как будто досадуя на какое-нибудь расстройство, происшедшее в его занятиях.

XV

Из молодежи, не считая старшей дочери графини, которая была четырьмя годами старше сестры и держала себя уже, как большая, и гостьи-барышни, в гостиной остались Николай и Соня-племянница, которая сидела с тою несколько притворною праздничной улыбкой, с какою и многие взрослые люди считают нужным присутствовать при чужих разговорах, и беспрестанно нежно взглядывала на своего cousin[1]. Соня была тоненькая, миниатюрненькая брюнетка, с мягким, отененным длинными ресницами взглядом, густою черною косой, два раза обвивавшею ее голову, и желтоватым оттенком кожи на лице и в особенности на обнаженных, худощавых, но грациозных, мускулистых руках и шее. Плавностью движений, мягкостью и гибкостью маленьких членов и несколько хитрою и сдержанною манерой она невольно напоминала красивого, но еще не сформировавшегося котенка, который будет прелестною кошечкой. Она, видимо, считала приличным своею праздничною улыбкой выказывать участие к общему разговору; но, против воли, ее глаза из-под длинных густых ресниц смотрели на уезжающего в армию cousin с таким девическим страстным обожанием, что улыбка ее не могла ни на мгновение обмануть никого, и видно было, что кошечка присела только для того, чтоб еще энергичнее прыгнуть и заиграть с своим cousin, как скоро только они выберутся из этой гостиной.

— Да, ma chère,— сказал старый граф, обращаясь к гостье и указывая на своего Николая.— Вот его друг Борис произведен в офицеры, и он из дружбы не хочет отставать от него, бросает и университет и меня старика, идет в военную службу, ma chère. А уж ему место в архиве было готово и всё. Вот дружба-то? — сказал граф вопросительно.

— Да, ведь война, говорят, объявлена,— сказала гостья.

— Давно говорят,— сказал граф всё еще неопределенно.— Опять поговорят, поговорят, да так и оставят. Ma chère, вот дружба-то! — повторил он.— Он идет в гусары.

Гостья, не зная, что сказать, покачала головой.

— Совсем не из дружбы,— отвечал Николай, весь вспыхнув и отговариваясь, как будто от постыдного на него поклепа.— Совсем не дружба, а просто чувствую призвание к военной службе.

Он оглянулся на гостью-барышню: барышня смотрела на него с улыбкой, одобряя поступок молодого человека.

— Нынче обедает у нас Шуберт, полковник Павлоградского гусарского полка. Он был в отпуску здесь и берет его с собой. Что делать? — сказал граф, пожимая плечами и говоря шуточно о деле, которое, видимо, стоило ему много горя.

Николай вдруг почему-то разгорячился.

— Я уж вам говорил, папенька, что ежели вам не хочется меня отпустить, я останусь. Я знаю, что я никуда не гожусь, кроме как в военную службу, я не дипломат, не умею скрывать того, что чувствую,—

---

[1] Кузена

СОНЯ

Рисунок М. С. Башилова, 1866 г.
Литературный музей, Москва

говорил он, слишком восторженно жестикулируя для своих слов и всё поглядывая с кокетством красивой молодости на Соню и гостью-барышню.

Кошечка, впиваясь в него глазами, казалась каждую секунду готовою заиграть и выказать всю свою кошачью натуру. Барышня улыбкой продолжала одобрять.

— А может быть, из меня что-нибудь и выйдет,— прибавил он,— а здесь я не гожусь...

— Ну, ну, хорошо! — сказал старый граф: — всё горячится. Всё Бонапарте всем голову вскружил; все думают, как это он из поручиков попал в императоры. Что ж, дай бог,— прибавил он, не замечая насмешливой улыбки гостьи.

— Ну ступай, ступай, Nicolas, уж я вижу, ты в лес глядишь,— сказала графиня.

— Совсем нет,— отвечал сын; однако, через минуту встал, поклонился и вышел из комнаты.

Соня посидела еще немного, всё улыбаясь притворнее и притворнее, и с той же улыбкой встала и вышла.

— Как секреты-то этой всей молодежи шиты белыми нитками! — сказала княгиня Анна Михайловна, указывая на Соню и смеясь. Гостья засмеялась.

— Да,— сказала графиня, после того как луч солнца, проникнувший в гостиную вместе с этим молодым поколением, исчез, и как будто отвечая на вопрос, которого никто ей не делал, но который постоянно занимал ее.— Сколько страданий, сколько беспокойств,— продолжала она,— перенесено за то, чтобы теперь на них радоваться. А и теперь, право,

больше страха, чем радости. Всё боишься, всё боишься! Именно тот возраст, в котором так много опасностей и для девочек, и для мальчиков.

— Всё от воспитания зависит,— сказала гостья.

— Да, ваша правда,— продолжала графиня.— До сих пор я была, слава богу, другом своих детей и пользуюсь полным их доверием,— говорила графиня, повторяя заблуждение многих родителей, полагающих, что у детей их нет тайн от них.— Я знаю, что я всегда буду первою confidente[2] моих дочерей и что Николенька, по своему пылкому характеру, ежели будет шалить (мальчику нельзя без этого), то всё не так, как эти петербургские господа.

— Да, славные, славные ребята,— подтвердил граф, всегда разрешавший запутанные для него вопросы тем, что всё находил славным.— Вот подите! Захотел в гусары! Что вы хотите, ma chère!

— Какое милое существо ваша меньшая,— сказала гостья, оглядываясь с укором на дочь, как будто внушая этим взглядом своей дочери, что вот-де какою надо быть, чтобы нравиться, а не такою куклой, как ты.— Порох!

— Да, порох,— сказал граф.— В меня пошла! И какой голос, талант! Хоть и моя дочь, а я правду скажу, певица будет, Саломони другая. Мы взяли итальянца ее учить.

— Не рано ли? Говорят, вредно для голоса учиться в эту пору.

— О нет, какой рано! — сказал граф.

— А как же наши матери выходили в двенадцать, тринадцать лет замуж? — добавила княгиня Анна Михайловна.

— Уж она и теперь влюблена в Бориса, какова? — сказала графиня, тихо улыбаясь, глядя на мать Бориса и, видимо, отвечая на мысль, всегда ее занимавшую, продолжала:

— Ну, вот видите, держи я ее строго, запрещай я ей... бог знает, что бы они делали потихоньку (графиня разумела, они целовались бы), а теперь я знаю каждое ее слово. Она сама вечером прибежит и всё мне расскажет. Может быть, я балую ее, но право, это, кажется, лучше. Я старшую держала строго.

— Да, меня совсем иначе воспитывали,— сказала старшая красивая графиня Вера, улыбаясь. Но улыбка не украсила лица Веры, как это обыкновенно бывает, напротив, лицо ее стало неестественно и оттого неприятно. Старшая Вера была хороша, была умна, была хорошо воспитана. Голос у нее был приятный. То, что она сказала, было справедливо и уместно, но, странное дело, все, и гостья и графиня, оглянулись на нее, как будто удивились, зачем она это сказала, и почувствовали неловкость.

— Всегда с старшими детьми мудрят, хотят сделать что-нибудь необыкновенное,— сказала гостья.

— Что греха таить, ma chère! Графинюшка мудрила с Верой,— сказал граф.— Ну да что ж! Все-таки славная вышла.

И он с тем чутьем, которое проницательнее ума, подошел к Вере, заметив, что ей неловко, и рукой приласкал ее.

— Виноват, мне надо распорядиться кое-чем. Вы посидите еще,— добавил он, кланяясь и сбиравшись выйти.

Гостьи встали и уехали, обещавшись приехать к обеду.

— Что за манера! Ух, сидели, сидели! — сказала графиня, проводя гостей.

XVI

Когда Наташа вышла из гостиной и побежала, она добежала только до цветочной. В этой комнате она остановилась, прислушалась к говору в гостиной и ожидая выхода Бориса. Она уже начинала приходить в нетерпение и, топнув ножкой, сбиралась было заплакать оттого, что он не сейчас шел. Когда заслышались не тихие, но быстрые, приличные

[2] поверенной

шаги молодого человека, тринадцатилетняя девочка быстро бросилась между кадок цветов и спряталась.

— Борис Николаич! — проговорила она басом, пугая его, и тотчас же засмеялась. Борис увидал ее, покачал головой и улыбнулся.

— Борис, подите сюда,— сказала она с значительным и хитрым видом.

Он подошел к ней, пробираясь между кадками.

— Борис! Поцелуйте Мими,— сказала она, плутовски улыбаясь и выставляя куклу.

— Отчего же не поцеловать? — сказал он, подвигаясь ближе и не спуская глаз с Наташи.

— Нет, скажите: не хочу.

Она отстранилась от него.

— Ну, можно сказать и не хочу. Что веселого целовать куклу?

— Не хотите? Ну, так подите сюда,— сказала она и потом глубже ушла в цветы и бросила куклу на кадку цветов.— Ближе, ближе! — шептала она. Она поймала руками офицера за обшлага, и в покрасневшем лице ее видны были торжественность и страх.

— А меня хотите поцеловать? — прошептала она чуть слышно, исподлобья глядя на него, улыбаясь и чуть не плача от волненья.

Борис покраснел.

— Какая вы смешная! — проговорил он, нагибаясь к ней, еще более краснея, но ничего не предпринимая и выжидая. Чуть заметная насмешливость порхала еще на его губах, готовая исчезнуть.

Она вдруг вскочила на кадку, так что стала выше его, обняла его обеими руками, так что тонкие голые ручки согнулись выше его шеи и, откинув движением головы волосы назад, поцеловала его в самые губы.

— Ах, что я наделала! — закричала она, смеясь проскользнула между горшками на другую сторону цветов, резвые ножки быстро заскрипели по направлению к детской. Борис побежал за ней и остановил ее.

— Наташа,— сказал он,— я тебя... можно говорить *ты*?

Она кивнула головой.

— Я тебя люблю,— сказал он медленно.— Ты не ребенок. Наташа, сделай то, о чем я тебя попрошу.

— О чем *ты* меня попросишь?

— Пожалуйста, не будем делать того, что сейчас... еще четыре года.

Наташа остановилась, подумала.

— Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать...— сказала она, считая по тоненьким пальчикам.— Хорошо! Так кончено? — И серьезная улыбка радости осветила ее оживленное хотя и некрасивое лицо.

— Кончено! — сказал Борис.

— Навсегда? — говорила девочка.— До самой смерти?

И она, взяв его под руку, тихо пошла с ним рядом в детскую.

Красивое, тонкое лицо Бориса покраснело, и в губах совершенно исчезло выражение насмешки. Он выпрямил грудь и счастливо, самодовольно вздохнул. Глаза его смотрели, казалось, далеко в будущность, за четыре года, в счастливый 1809 год. Молодежь собралась опять в детскую, где больше всего она любила сидеть.

— Нет, не уйдешь! — закричал Николай, все делавший и говоривший страстно и порывисто, одною рукой хватая Бориса за рукав мундира, другою отнимая руку у сестры.— Ты обязан обвенчаться.

— Обязан, обязан! — закричали обе девочки.

— Я буду дьячок, Николаенька,— кричал Петруша.— Пожалуйста, я буду дьячок. «Господи, помилуй!»

Казалось бы непонятным, что могли находить веселого молодые люди и девушки в венчании куклы с Борисом, но стоило только посмотреть на торжество и радость, изображенные на всех лицах, в то время, как кукла, убранная померанцевыми цветами и в белом платье, была поставлена на колышек лайковым задом, и Борис, на все соглашавшийся, подведен

НАТАША РОСТОВА И БОРИС ДРУБЕЦКОЙ

Рисунок М. С. Башилова, 1866 г.

«В поцелуе — нельзя ли Наташе придать тип Танички Берс. Ее есть 13-летний портрет, а Бориса сделать не так raide ⟨упрямый, непреклонный⟩» (из письма Толстого М. С. Башилову от 8 декабря 1866 г.)

к ней, и как маленький Петруша, надев на себя юбку, воображал себя дьячком,— стоило только посмотреть на все это, чтоб, и не понимая этой радости, разделить ее.

Во время одевания невесты, Николай и Борис были выгнаны для приличия из комнаты. Николай в волнении ходил по комнате и про себя ахал и пожимал плечами.

— Что с тобой? — спросил Борис.

Тот поглядел на своего друга и отчаянно махнул рукой.

— Ах, ты не знаешь, что со мной сейчас случилось! — сказал он, хватая себя за голову.

— Что? — спросил Борис насмешливо и спокойно.

— Ну, я уезжаю, а она... Нет, я не могу сказать!

— Да что же? — повторил Борис.— С Соней?

— Да. Знаешь что?

— Что?

— Ах, удивительно! Как ты думаешь? Обязан я после этого всё сказать отцу?

— Да что?

— Знаешь, я сам не знаю, как это случилось, я поцеловал нынче Соню; я скверно поступил. Но что же мне делать? Я до безумия влюблен. А дурно это с моей стороны? Я знаю, что дурно... Как ты скажешь?

Борис улыбнулся.

— Что ты говоришь? Неужели? — спросил он с хитрым и насмешливым удивлением.— Так и поцеловал в губы? Когда?

— Да сейчас. Ты бы не сделал этого? А? Не сделал бы? Я дурно поступил?

— Ну, не знаю. Всё зависит от того, какие ты имеешь намерения.

— Ну! Еще бы. Это верно. Я ей сказал. Как меня произведут в офицеры, так я женюсь на ней.

— Это удивительно,— повторил Борис.— Как ты, однако, решителен!

Николай, успокоившись, засмеялся.

— Я удивляюсь, отчего ты никогда не был влюблен и в тебя не влюблялись.

— Такой мой характер,— сказал Борис, краснея.

— Ну, да ты хитрый! Правду Вера говорит.

Николай вдруг принялся щекотать своего друга.

— А ты отчаянный. Правду же Вера говорит.— И Борис, боявшийся щекотки, отталкивал руки своего друга.— Ты уж что-нибудь сделаешь необыкновенное.

Оба, смеясь, вернулись к девочкам для совершения обряда венчания.

XVII

Графиня так устала от визитов, что не велела принимать больше никого, и швейцару приказано было только звать непременно кушать всех, кто будет еще приезжать с поздравлениями. Кроме того, ей хотелось с глазу на глаз поговорить с другом своего детства, княгиней Анной Михайловной, которую она не видала хорошенько с ее приезда из Петербурга. Анна Михайловна, с своим исплаканным и приятным лицом, подвинулась ближе к креслу графини.

— С тобой я буду совершенно откровенна,— сказала Анна Михайловна.— Уж мало нас осталось старых друзей. От этого я так и дорожу твоею дружбой.

Княгиня посмотрела на Веру и остановилась. Графиня пожала руку своему другу.

— Вера,— сказала графиня, обращаясь к старшей дочери, очевидно нелюбимой.— Как у вас ни на что такта нет. Разве ты не чувствуешь, что ты здесь лишняя? Поди к сестрам или...

Красивая Вера улыбнулась, видимо, не чувствуя ни малейшего оскорбления, и прошла в свою комнату. Но, проходя мимо детской, она заметила, что в ней у двух окошек симметрично сидели две пары. Соня сидела близко подле Николая, который с разгоряченным лицом читал ей стихи, в первый раз сочиненные им. Борис с Наташей сидели у другого окна и молчали. Борис держал ее руку и выпустил при появлении Веры. Наташа взяла стоявший подле нее ящичек с перчатками и стала перебирать их. Вера улыбнулась. Николай с Соней посмотрели на нее, встали и вышли из комнаты.

— Наташа,— сказала Вера меньшей сестре, внимательно перебиравшей душистые перчатки.— Что это Nicolas с Соней от меня бегают? Что у них за секреты?

— Ну, что тебе за дело, Вера?— тоненьким голоском, заступнически проговорила Наташа, продолжая свою работу. Она, видимо, была ко всем еще более, чем всегда, добра и ласкова от счастия.

— Очень глупо с их стороны,— сказала Вера тоном, который показался обиден Наташе.

— У каждого свои секреты. Мы тебя с Бергом не трогаем,— сказала она, разгорячаясь.

— Как глупо! А вот я маменьке скажу, как ты с Борисом обходишься. Это нехорошо.

Борис поднялся и вежливо поклонился Вере.

— Наталья Ильинишна очень хорошо со мной обходится. Я не могу жаловаться,— сказал он насмешливо.

Наташа не засмеялась и подняла голову.

— Оставьте, Борис, вы такой дипломат (слово *дипломат* было в большом ходу у детей в том особом значении, какое они придавали этому слову), даже скучно,— сказала она.— За что она ко мне пристает?

И она обратилась к Вере.

— Ты это никогда не поймешь,— сказала она,— потому что ты никогда никого не любила, у тебя сердца нет, ты только madame de Genlis (это прозвище, считавшееся очень обидным, было дано Вере Николаем), и твое первое удовольствие делать неприятности другим. Ты кокетничай с Бергом сколько хочешь.

Это она проговорила скоро и вышла из детской.

Красивая Вера, производившая на всех такое раздражающее, неприятное действие, опять улыбнулась тою же улыбкой, ничего не значащею, и, видимо, не затронутая тем, что ей было сказано, подошла к зеркалу и оправила шарф и прическу. Глядя на свое красивое лицо, она стала, по-видимому, еще холоднее и спокойнее.

XVIII

В гостиной продолжался разговор.

— Ah! chère,— говорила графиня,— и в моей жизни tout n'est pas rose[1]. Разве я не вижу, что de train que nous allons[2] нашего состояния нам не надолго? И всё это клуб, и его доброта. В деревне мы живем, разве мы отдыхаем? Театры, охоты и бог знает что. Да что обо мне говорить! Ну как же ты это всё устроила? Я часто на тебя удивляюсь, Annette, как это ты, в твои годы, скачешь в повозке одна, в Москву, в Петербург, ко всем министрам, ко всей знати, со всеми умеешь обойтись, удивляюсь! Ну, как же это устроилось? Вот я ничего этого не умею.

— Ах, душа моя! — отвечала княгиня Анна Михайловна.— Не дай бог тебе узнать, как тяжело остаться вдовой без подпоры и с сыном, которого любишь до обожания. Всему научишься,— продолжала она с некоторою гордостью.— Процесс мой меня научил. Ежели мне нужно видеть кого-нибудь из этих тузов, я пишу записку: «princesse une telle[3] желает видеть такого-то», и еду сама на извозчике хоть два, хоть три раза, хоть четыре, до тех пор, пока не добьюсь того, что мне надо. Мне всё равно, что бы обо мне ни думали.

— Ну, как же ты просила о Бореньке? — спросила графиня.— Ведь твой уж офицер гвардии, а Nicolas идет юнкером. Некому похлопотать. Ты кого просила?

---

[1] не всё розы
[2] при нашем образе жизни
[3] княгиня такая-то

— Князя Василия. Он был очень мил. Сейчас на всё согласился, доложил государю,— говорила княгиня Анна Михайловна с восторгом, совершенно забыв всё унижение, через которое она прошла для достижения своей цели.

— Что он постарел, князь Василий? — спросила графиня.— Я его не видала с наших театров у Румянцевых. Я думаю, забыл про меня. Il me faisait la cour[4],— вспоминала графиня с улыбкой.

— *Всё такой же*,—отвечала Анна Михайловна.— Князь любезен, рассыпается. Les grandeurs ne lui ont pas tourné la tête du tout[5]. «Я жалею, что слишком мало могу вам сделать, милая княгиня»,— он мне говорит: «приказывайте». Нет, он славный человек и родной прекрасный. Но ты знаешь, Natalie[6], мою любовь к сыну. Я не знаю, чего я не сделала бы для его счастия. А обстоятельства мои до того дурны,— продолжала Анна Михайловна, с грустью и понижая голос,— до того дурны, что я теперь в самом ужасном положении. Мой несчастный процесс съедает все, что я имею, и не подвигается. У меня нет, можешь себе представить, à la lettre[7] нет гривенника денег, и я не знаю на что обмундировать Бориса.— Она вынула платок и заплакала.— Мне нужно пятьсот рублей, а у меня одна двадцатипятирублевая бумажка. Я в таком положении... Одна моя надежда теперь на князя Кирилла Владимировича Безухого. Ежели он не захочет поддержать своего крестника,— ведь он крестил Борю,— и назначить ему что-нибудь на содержание, то все мои хлопоты пропадут; мне неначто будет обмундировать его.

Графиня прослезилась и молча соображала что-то.

— Часто думаю, может это и грех,— сказала княгиня,— а часто думаю: вот князь Кирилл Владимирович Безухий живет один... это огромное состояние... и для чего живет? Ему жизнь в тягость, а Боре только начинать жить.

— Он, верно, оставит что-нибудь Борису,— сказала графиня.

— Бог знает, chère amie![8] Эти богачи и вельможи такие эгоисты. Но я все-таки поеду сейчас к нему, и с Борисом, и прямо скажу, в чем дело. Пускай обо мне думают, что хотят, мне, право, всё равно, когда судьба сына зависит от этого.

Княгиня поднялась.

— Теперь два часа. А в четыре часа вы обедаете. Я успею съездить.

И с приемами петербургской деловой барыни, умеющей пользоваться временем, Анна Михайловна послала за сыном и вместе с ним вышла в переднюю.

— Прощай, душа моя,— сказала она графине, которая провожала ее до двери.— Пожелай мне успеха,— прибавила она шёпотом от сына.

— Вы к князю Кириллу Владимировичу, ma chère,— сказал граф из столовой, выходя тоже в переднюю.— Коли ему лучше, зовите Пьера ко мне обедать. Ведь он у меня бывал, с детьми танцовал. Зовите непременно, ma chère. Ну, посмотрим, как-то отличится нынче Тарас. Говорят, что у графа Орлова такого обеда не бывало, какой у нас будет.

XIX

Mon cher Boris[1],— сказала княгиня Анна Михайловна сыну, когда карета графини Ростовой, в которой они сидели, проехала по устланной соломой улице и въехала на широкий, усыпанный красным песком двор известного, с колоннами, дома графа Кирилла Владимировича Безухого.—

[4] Он за мною волочился.
[5] Высокое положение нисколько не вскружило ему голову.
[6] В подлиннике ошибочно: *Annette* (прим. составителя).
[7] буквально
[8] милый друг

[1] Мой милый Борис

АННА МИХАЙЛОВНА ДРУБЕЦКАЯ С СЫНОМ БОРИСОМ
Рисунок М. С. Башилова, 1866 г.

Mon cher Boris,— сказала мать, выпрастывая руку из-под старого салопа и робким и ласковым движением кладя ее на руку сына,— оставь, пожалуйста, свою гордость. Граф Кирилл Владимирович всё-таки тебе крестный отец, и от него зависит твоя будущая судьба. Помни это, mon cher, будь мил, как ты умеешь быть...

— Ежели бы я знал, что из этого выйдет что-нибудь, кроме унижения...— отвечал сын холодно.— Но я обещал вам, и делаю это для вас. Только это в последний раз, маменька. Помните.

Несмотря на то, что чья-то карета стояла у подъезда, швейцар, оглядев мать с сыном, которые, не приказывая докладывать о себе, прямо вошли в стеклянные сени между двумя рядами статуй в нишах, значительно посмотрев на старенький салоп, спросил, кого им угодно, княжен

или графа, и узнав, что графа, сказал, что их сиятельству нынче хуже и их сиятельство никого не принимают.

— Мы можем уехать,— сказал сын по-французски, видимо, обрадованный этим известием.

— Mon ami![2] — сказала мать умоляющим голосом, опять дотрагиваясь до руки сына, как будто это прикосновение могло успокоивать или возбуждать его.

Борис, опасаясь сцены при швейцаре, замолчал с видом человека, решившегося испить чашу до дна. Он, не снимая шинели, вопросительно смотрел на мать.

— Голубчик,— нежным голоском сказала Анна Михайловна, обращаясь к швейцару,— я знаю, что граф Кирилл Владимирович очень болен... я затем и приехала... я родственница... Я не буду беспокоить, голубчик... А мне бы только надо увидать князя Василия Сергеевича, ведь он здесь стоит. Доложи, пожалуйста.

Швейцар угрюмо дернул снурок наверх и отвернулся.

— Княгиня Друбецкая к князю Василию Сергеевичу,— крикнул он сбежавшему сверху и из-под выступа лестницы выглядывавшему официанту в чулках, башмаках и фраке.

Мать расправила складки своего крашеного, шелкового платья, посмотрелась в цельное венецианское зеркало в стене и бодро, в своих стоптанных башмаках, пошла вверх, по ковру лестницы.— Mon cher, vous m'avez promis[3],— обратилась она опять к сыну, прикосновением руки возбуждая его. Сын, опустив глаза, шел не весело.

Они вошли в залу, из которой одна дверь вела в покои, отведенные князю Василью.

В то время как мать с сыном, выйдя на середину комнаты, намеревались спросить дорогу у вскочившего при их входе старого официанта, у одной из дверей повернулась бронзовая ручка, и князь Василий в бархатной шубке, с одною звездой, по-домашнему, вышел, провожая красивого, черноволосого мужчину. Мужчина этот был знаменитый петербургский доктор Lorrain.

— C'est donc positif[4],— говорил князь.

— Mon prince, «errare humanum est», mais...[5],— отвечал доктор, грассируя и произнося латинские слова французским выговором.

— C'est bien, c'est bien...[6].

Заметив Анну Михайловну с сыном, князь Василий поклоном отпустил доктора и, молча, но с вопросительным видом подошел к ним. Сын с удивлением заметил, как вдруг глубокая горесть выразилась в глазах княгини Анны Михайловны.

— Да, в каких грустных обстоятельствах пришлось нам свидеться, князь... Ну, что наш дорогой больной? — сказала она, не замечая холодного, оскорбительного, устремленного на нее взгляда и обращаясь к князю, как к лучшему другу, с которым можно разделить горе. Князь Василий вопросительно, до недоумения, посмотрел на нее, потом на Бориса. Борис учтиво поклонился. Князь Василий, не отвечая на поклон, отвернулся к Анне Михайловне и на ее вопрос отвечал движением головы и губ, которое означало самую плохую надежду для больного.

— Неужели? — воскликнула Анна Михайловна.— Ах, это ужасно! Страшно подумать... Это мой сын,— прибавила она, указывая на Бориса. Он сам хотел благодарить вас.

Борис еще раз учтиво поклонился.

---

[2] Друг мой!
[3] Милый, ты мне обещал.
[4] Итак, это верно?
[5] Князь, человеку свойственно ошибаться, но... (*лат.*).
[6] Хорошо, хорошо...

— Верьте, князь, что сердце матери никогда не забудет того, что вы сделали для нас.

— Я рад, что мог сделать вам приятное, любезная моя Анна Михайловна,— сказал князь Василий, оправляя жабо и в жесте и голосе проявляя здесь, в Москве, перед покровительствуемой Анною Михайловной, еще гораздо большую важность, чем в Петербурге, на вечере Annette Шерер.

— Старайтесь служить хорошо и быть достойным,— прибавил он, строго обращаясь к Борису.— Я рад... Вы здесь в отпуску? — продиктовал он своим бесстрастным тоном.

— Жду приказа, ваше сиятельство, чтоб отправиться по новому назначению,— отвечал Борис, не выказывая ни досады за резкий тон князя, ни желания вступить в разговор, но так спокойно и холодно, что князь пристально поглядел на него.

— Вы живете с матушкой?

— Я живу у графини Ростовой,— сказал Борис, опять холодно прибавив — ваше сиятельство.

Он говорил «ваше сиятельство», видимо, не столько для того, чтобы польстить своему собеседнику, сколько для того, чтобы воздержать его от фамилиарности.

— Это тот Илья Ростов, который женился на Natalie З.,— сказала Анна Михайловна.

— Знаю, знаю,— сказал князь Василий своим монотонным голосом и с свойственным петербуржцу презрением ко всему московскому.

— Je n'ai jamais pu concevoir, comment Natalie s'est décidée à épouser cet ours mal-laiché! Un personnage complétement stupide et ridicule. Et joueur, à ce qu'on dit[7],— сказал он, выказывая тем, что при всем своем презрении к графу Ростову и ему подобным и при своих важных государственных делах, он не чуждался городских сплетен.

Mais très brave homme, mon prince[8],— заметила Анна Михайловна, трогательно улыбаясь, как будто и она знала, что граф Ростов заслуживал такого мнения, но просила пожалеть бедного старика.

— Что говорят доктора? — спросила княгиня, помолчав немного и опять выражая большую печаль на своем заплаканном лице.

— Мало надежды,— сказал князь.

— А мне так хотелось еще раз поблагодарить дядю за все его благодеяния мне и Боре. C'est son filleul[9],— прибавила она таким тоном, как будто это известие должно было крайне обрадовать князя Василия.

Князь Василий задумался и поморщился. Анна Михайловна поняла, что он боялся найти в ней соперницу по завещанию графа Безухого. Она поспешила успокоить его.

— Ежели бы не моя истинная любовь и преданность дяде,— сказала она, с особенною уверенностью и небрежностию выговаривая это слово,— я знаю его характер, благородный, прямой, но, ведь одни княжны при нем... Они еще молоды...— Она наклонила голову и прибавила шёпотом: — Исполнил ли он последний долг, князь? Как драгоценны эти последние минуты! Ведь хуже быть не может, его необходимо приготовить, ежели он так плох. Мы, женщины, князь,— она мило улыбнулась,— всегда знаем, как говорить эти вещи. Необходимо видеть его. Как бы тяжело это ни было для меня, но я привыкла уже страдать.

Князь, видимо, понял, и понял, как и на вечере Annette Шерер, что от Анны Михайловны трудно отделаться.

— Не было бы тяжело ему это свидание, chère Анна Михайловна,— сказал он.— Подождем до вечера, доктора обещали кризис.

---

[7] Я никогда не мог понять, как Натали решилась выйти замуж за этого грязного медведя. Совершенно глупая и смешная особа. К тому же, игрок, говорят.

[8] Но очень добрый человек, князь.

[9] Это его крестник.

— Но нельзя ждать, князь, в эти минуты. Pensez, il y va du salut de son âme... Ah! c'est terrible, les devoirs d'un chrétien...[10]. Из внутренних комнат отворилась дверь, и вышла одна из княжен, племянниц графа, с красивым, угрюмым и холодным лицом и поразительно несоразмерною по ногам длинною талией.

Князь Василий обернулся к ней.— Ну что он?

— Всё то же. И как вы хотите, этот шум...— сказала княжна, оглядывая Анну Михайловну, как незнакомую.

— Ah, chère, je ne vous reconnaissais pas[11],— с счастливою улыбкой сказала Анна Михайловна, легкою иноходью подходя к племяннице графа.— Je viens d'arriver et je suis à vous pour vous aider à soigner *mon oncle*. J'imagine combien vous avez souffert[12],— прибавила она с участием, закатывая глаза.

Княжна даже не улыбнулась, попросила извинения и тотчас же вышла. Анна Михайловна сняла перчатки и в завоеванной позиции расположилась на кресле, пригласив князя Василия сесть подле себя.

— Борис! — сказала она сыну и улыбнулась,— я пройду к графу... к дяде, а ты поди к Пьеру, mon ami, покамест, да не забудь передать ему приглашенье от Ростовых. Они зовут его обедать. Я думаю он не поедет? — обратилась она к князю.

— Напротив,— сказал князь, видимо, сделавшийся не в духе.— Je serai très content si vous me débarrassez de ce jeune homme[13]. Сидит тут. Граф ни разу не спросил про него.

Он пожал плечами. Официант повел молодого человека вниз и вверх по другой лестнице к Петру Владимировичу.

XX

Борис, благодаря спокойствию и сдержанности своего характера, всегда умел находиться в трудных обстоятельствах. Теперь же это спокойствие и сдержанность усиливались еще тем облаком счастия, которое окружало его в нынешнее утро, в котором представлялись ему разные лица, и сквозь которое легче действовали на него невольные наблюдения его над приемами и характером его матери. Ему было тяжело положение просителя, в которое ставила его мать, но он чувствовал, что не виноват в том.

Пьер так и не успел выбрать себе карьеры в Петербурге, и действительно был выслан в Москву за буйство. История, которую рассказывали у графа Ростова, была справедлива. Пьер присутствием своим участвовал в связывании квартального с медведем. Он приехал несколько дней тому назад и остановился как всегда в доме своего отца. Хотя он и предполагал, что история его уже известна в Москве и что дамы, окружающие его отца, всегда недоброжелательные к нему, воспользуются этим случаем, чтобы раздражить графа, он все-таки в день приезда пошел на половину отца. Войдя в гостиную, обычное место пребывания княжен, он поздоровался с дамами, сидевшими за пяльцами, с книгой, которую вслух читала одна из них. Их было три. Старшая, чистоплотная, с длинною талией, строгая девица, та самая, которая выходила к Анне Михайловне, читала; младшие, обе румяные и хорошенькие, отличавшиеся друг от друга только тем, что у одной была родинка над губой, очень красившая ее, шили в пяльцах. Пьер был встречен, как мертвец или зачумленный. Старшая княжна прервала чтение и молча смотрела на него испуганными глаза-

---

[10] Подумайте, дело идет о спасении его души. Ах! Это ужасно, долг христианина...

[11] Ах, милая, я не узнала вас.

[12] Я приехала помогать вам ходить за дядюшкой. Воображаю, как вы настрадались.

[13] Я был бы очень рад, если бы вы меня избавили от этого молодого человека.

ми; младшая, без родинки, веселого и смешливого характера, нагнулась к пяльцам, чтобы скрыть улыбку, вызванную, вероятно, предстоявшею сценой, забавность которой она предвидела. Она притянула вниз шерстинку и нагнулась, будто разбирая узоры и едва удерживаясь от смеха.

— Bonjour, ma cousine,— сказал Пьер,— Vous ne me reconnaissez pas?[1]

— Я слишком хорошо вас узнаю, слишком хорошо.

— Как здоровье графа? Могу я видеть его? — спросил Пьер неловко как всегда, но не смущаясь.

— Граф страдает и физически и нравственно, и, кажется, вы позаботились о том, чтобы причинить ему побольше нравственных страданий.

— Могу я видеть графа? — повторил Пьер.

— Гм!.. Ежели вы хотите убить его, совсем убить, то можете видеть. Ольга, поди, посмотри, готов ли бульон для дяденьки, скоро время,— прибавила она, показывая этим Пьеру, что они заняты и заняты успокоиваньем его отца, тогда как он, очевидно, занят только его расстроиванием.

Ольга вышла. Пьер постоял, посмотрел на сестер и, поклонившись, сказал:

— Так я пойду к себе. Когда можно будет, вы мне скажете. Он вышел, и звонкий, но не громкий смех сестры с родинкой послышался за ним. На другой день приехал князь Василий и поместился в доме графа. Он призвал к себе Пьера и сказал ему:

— Mon cher, si vous vous conduisez ici comme à Petersbourg, vous finirez très mal, c'est tout ce que je vous dis[2]. Граф очень, очень болен, тебе совсем не надо его видеть.

С тех пор Пьера не тревожили, и он целый день провел один наверху, в своей комнате.

В то время как Борис вошел к нему, Пьер, которому везде было хорошо с своими мыслями, ходил по своей комнате, изредка останавливаясь в углах, делая угрожающие жесты к стене, как будто пронзая невидимого врага шпагой, и строго взглядывая сверх очков, и затем вновь начиная свою прогулку, приговаривая неясные слова, пожимая плечами и разводя руками.

— L'Anglettere a vécu![3] — проговорил он, нахмуриваясь и указывая на кого-то пальцем. M. Pitt comme trâitre à la nation et au droit des gens est condamné à...[4]. Он не успел договорить приговора Питту, воображая себя в эту минуту самим Наполеоном и вместе с своим любимым героем уже совершив опасный переезд через Па-де-Кале и завоевав Лондон,— как увидал входившего к нему молодого, стройного и красивого офицера. Он остановился. Пьер, редко видав Бориса, оставил его четырнадцатилетним мальчиком и решительно не помнил его; но, несмотря на то, с свойственною ему быстрою и радушною манерой взял его за руку и дружелюбно улыбнулся, выставив свои испорченные зубы.

— Вы меня помните? — сказал Борис.— Я с maman приехал к графу, но он, кажется, не совсем здоров.

— Да, кажется, нездоров. Его все тревожат,— отвечал Пьер, совсем не замечая того, что он этим как будто упрекал Бориса и его мать.

Он старался вспомнить, кто этот молодой человек; Борису же показался намек в словах Пьера.

Он вспыхнул и смело и насмешливо посмотрел на Пьера, как будто говоря: «мне стыдиться нечего». Пьер не находился, что бы сказать.

— Граф Ростов просил вас нынче приехать к нему обедать,— продолжал Борис после довольно долгого и неловкого для Пьера молчания.

— А! Граф Ростов! — радостно заговорил Пьер.— Так вы его сын, Elie.

---

[1] Здравствуйте, кузина, вы меня не узнаете?

[2] Мой милый, если вы будете вести себя здесь, как в Петербурге, вы кончите очень дурно; больше мне нечего вам сказать.

[3] Англии конец!

[4] Питт, как изменник нации и народному праву, приговаривается к...

Я, можете себе представить, в первую минуту не узнал вас. Помните, как мы на Воробьевы горы ездили с m-me Jacquot.

— Вы ошибаетесь,— неторопливо, с смелою и несколько насмешливою улыбкой, проговорил Борис.— Я Борис, сын княгини Анны Михайловны Друбецкой. Ростова отца зовут Ильей, а сына Николаем. И я m-me Jacquot никакой не знал.

Пьер замахал руками и головой, как будто комар или пчелы напали на него.

— Ах, ну что это! я всё спутал. В Москве столько родных! Вы Борис... да. Ну вот, мы с вами и договорились. Ну, что вы думаете о булонской экспедиции? Ведь англичанам плохо придется, ежели только Наполеон переправится через канал. Я думаю, что экспедиция очень возможна. Только Вилльнёв бы не оплошал.

Борис ничего не знал о булонской экспедиции, он не читал газет и о Вилльнёве в первый раз слышал.

Мы здесь в Москве больше заняты обедами и сплетнями, чем политикой,— сказал он своим спокойным насмешливым тоном.— Я ничего про это не знаю и не думаю. Москва занята сплетнями больше всего,— продолжал он.— Теперь говорят про вас и про графа.

Пьер улыбнулся своею доброю улыбкой, как будто боясь за своего собеседника, как бы он не сказал чего-нибудь такого, в чем стал бы раскаиваться. Но Борис говорил отчетливо, ясно и сухо, прямо глядя в глаза Пьера.

— Москве больше делать нечего, как сплетничать,— продолжал он.— Все заняты тем, кому оставит граф свое состояние, хотя, может быть, он переживет всех нас, чего я от души желаю.

— Да, это очень тяжело,— подхватил Пьер,— очень тяжело.

Пьер все боялся, что этот мальчик, офицер, нечаянно вдастся в неловкий для самого себя разговор.

— А вам должно казаться,— говорил Борис, краснея, но не изменяя голоса и позы,— как должно казаться, что все заняты только тем, чтобы получить что-нибудь от богача.

«Так и есть»,— подумал Пьер.

— А я именно хочу сказать вам, чтоб избежать недоразумений, что вы очень ошибетесь, ежели причтете меня и мою мать к числу этих людей. Мы очень бедны, но я, по крайней мере, за себя говорю, именно потому, что отец ваш богат, я не считаю себя его родственником и никогда ничего не буду просить и не приму от него,— кончил он, разгораясь всё более и более.

Пьер долго не мог понять, но когда понял, вскочил с дивана, ухватил Бориса за руку снизу с свойственною ему быстротой и неловкостью и, раскрасневшись гораздо более, чем Борис, начал говорить с смешанным чувством стыда и досады.

— Послушайте... Вот это странно! Я разве... да и кто ж мог думать... Я очень знаю...

Но Борис опять перебил его.

— Я рад, что высказал всё. Может быть, вам неприятно, вы меня извините,— сказал он, успокоивая Пьера вместо того, чтобы успокоиваться им,— но я надеюсь, что не оскорбил вас. Я имею правило говорить всё прямо. Как же мне передать? Вы приедете обедать к Ростовым?

И Борис, видимо, свалив с себя тяжелую обязанность, сам выйдя из неловкого положения и поставив в него другого, сделался весел и свободен.

— Нет, послушайте,— сказал Пьер, успокоиваясь.— Вы удивительный человек. То, что вы сейчас сказали, очень хорошо, очень хорошо. Разумеется, вы меня не знаете, мы так давно не видались... детьми еще... Вы можете предполагать во мне... Я вас понимаю, очень понимаю. Я бы этого не сделал, у меня не достало бы духу, но это прекрасно.— Я очень

рад, что познакомился с вами. Странно,— прибавил он, помолчав и улыбаясь,— что вы во мне предполагали!

Он засмеялся.

— Ну да что ж! Мы познакомимся с вами лучше. Пожалуйста.

Он пожал руку Борису.

— Вы знаете ли, я ни разу не был у графа. Он меня не звал. Мне его жалко, как человека... Но что же делать?

Борис улыбался весело и добродушно.

— И вы думаете, что Наполеон успеет переправить армию? — спросил он.

Пьер понял, что Борис хотел переменить разговор и, соглашаясь с ним, начал излагать выгоды и невыгоды булонского предприятия.

Лакей пришел вызвать Бориса к княгине. Княгиня уезжала. Пьер обещался приехать обедать, затем чтобы ближе сойтись с Борисом, крепко жал его руку, ласково глядя ему в глаза через очки... По уходе его Пьер долго еще ходил по комнате, уже не пронзая невидимого врага шпагой, а улыбаясь при воспоминании об этом милом, умном и твердом молодом человеке.

Как это бывает в первой молодости и особенно в одиноком положении, он почувствовал беспричинную нежность к этому молодому человеку и обещал себе непременно подружиться с ним.

Князь Василий провожал княгиню. Княгиня держала платок, и лицо ее было в слезах.

— Это ужасно! ужасно! — говорила она.— Но чего бы мне ни стоило, я исполню свой долг. Я приеду ночевать. Его нельзя так оставить. Каждая минута дорога. Я не понимаю, чего мешкают княжны. Может, бог поможет мне найти средство его приготовить!..

Adieu, mon Prince que le bon Dieu vous soutienne...[5].

— Adieu, ma bonne[6],— отвечал князь Василий, повертываясь от нее.— Venez![7]

— Ах, он в ужасном положении,— сказала мать сыну, когда они опять садились в карету.— Он почти никого не узнает. Может быть, будет лучше.

— Я не понимаю, маменька, какие его отношения к Пьеру,— спросил сын.

— Всё скажет завещание, мой друг, от него и наша судьба зависит...

— Но почему вы думаете, что он оставит чего-нибудь нам?

— Ах, мой друг! Он так богат, а мы так бедны!

— Ну еще это недостаточная причина, маменька.

— Ах, боже мой! Боже мой! Как он жалок! — восклицала мать.

XXI

Когда Анна Михайловна уехала с сыном к князю Кириллу Владимировичу Безухову, графиня долго сидела одна, прикладывая платок к глазам. Наконец она позвонила.

— Что вы, милая,— сказала она сердито девушке, которая заставила себя ждать несколько минут.— Не хотите служить, что ли? Так я вам найду место.

Графиня была расстроена горем и унизительною бедностью своей подруги и поэтому была не в духе, что выражалось у нее всегда наименованием служанки: «милая» и «вы».

— Виновата-с,— сказала горничная.

---

[5] Прощайте, князь, да поддержит вас бог...
[6] Прощайте, моя милая.
[7] Пошел!

— Попросите ко мне графа.

Граф, переваливаясь, подошел к жене, с несколько виноватым видом, как и всегда.

Ну, графинюшка! какое sauté au madère[1] из рябчиков будет, ma chère. Я попробовал; недаром я за Тараску тысячу рублей дал. Сто́ит!

Он сел подле жены, облокотив молодецки руки на колена... и взъерошивая седые волосы.— Что прикажете, графинюшка?

— Вот что, мой друг,— что это у тебя запачкано здесь? — сказала она, указывая на жилет.— Это сотэ, верно,— прибавила она, улыбаясь.— Вот что, граф, мне денег нужно.

Лицо ее стало печально.

— Ах, графинюшка!.. И граф засуетился, доставая бумажник.

— Мне много надо, граф, мне пятьсот рублей надо.— И она, достав батистовый платок, терла им жилет мужа.

— Сейчас, сейчас.— Эй, кто там? — крикнул он таким голосом, каким кричат только люди, уверенные, что те, кого они кличут, стремглав бросятся на их зов.— Послать ко мне Митеньку!

Митенька, тот дворянский сын, воспитанный у графа, который теперь заведывал всеми его делами, тихими шагами вошел в комнату.

— Вот что, мой милый,— сказал граф вошедшему почтительному молодому человеку.— Принеси ты мне...— Он задумался.— Да, 700 рублей, да. Да смотри таких рваных и грязных как тот раз не приноси, а хороших, для графини.

— Да, Митенька, пожалуйста, чтоб чистенькие,— сказала графиня, грустно вздыхая.

— Ваше сиятельство, когда прикажете доставить? — сказал Митенька.— Изволите знать, что... Впрочем, не извольте беспокоиться,— прибавил он, заметив, как граф уже начал тяжело и часто дышать, что всегда было признаком начинавшегося гнева.— Я было и запамятовал... Сию минуту прикажете доставить?

— Да, да, то-то, принеси. Вот графине отдай.

— Экое золото у меня этот Митенька,— прибавил граф, улыбаясь, когда молодой человек вышел.— Нет того, чтобы нельзя. Я же этого терпеть не могу. Всё можно.

— Ах, деньги, граф, деньги, сколько от них горя на свете! — сказала графиня.— А эти деньги мне очень нужны.

— Вы, графинюшка, мотовка известная,— проговорил граф и, поцеловав у жены руку, ушел опять в кабинет.

Когда Анна Михайловна вернулась опять от Безухова, у графини лежали уже деньги, все новенькими бумажками под платком на столике, и Анна Михайловна заметила, что графиня чем-то растревожена и имела печальный вид.

— Ну, что мой друг? — спросила графиня.

— Ах, в каком он ужасном положении! Его узнать нельзя, он так плох, так плох; я минутку побыла и двух слов не сказала...

— Annette, ради бога, не откажи мне,— сказала вдруг графиня, краснея, что так странно было при ее немолодом, худом и важном лице, доставая из-под платка деньги.

Анна Михайловна мгновенно поняла, в чем дело, и уж нагнулась, чтобы в должную минуту ловко обнять графиню.

— Вот Борису от меня на шитье мундира...

Анна Михайловна уж обнимала ее и плакала. Графиня плакала тоже. Плакали они о том, что они дружны, и о том, что они добры, и о том, что они, подруги молодости, заняты таким низким предметом, деньгами, и о том, что молодость их прошла... Но слезы обеих были приятны...

---

[1] сотэ на мадере

XXII

Графиня Ростова с дочерью и уже с большим числом гостей сидела в гостиной. Граф провел гостей мужчин в кабинет, предлагая им свою охотницкую коллекцию турецких трубок. Изредка он выходил и спрашивал, не приехала ли? Ждали Марью Дмитриевну Ахросимову, прозванную в обществе le terrible dragon[1], даму знаменитую не богатством, не почестями, но прямотой ума и откровенною простотой обращения. Марью Дмитриевну знала царская фамилия, знала вся Москва и весь Петербург, и оба города, удивляясь ей, втихомолку посмеивались над ее грубостью, рассказывали про нее анекдоты; тем не менее все без исключения уважали и боялись ее.

В кабинете, полном дыма, шел разговор о войне, которая была объявлена манифестом, и о наборе. Манифеста еще никто не читал, но все знали о его появлении. Граф сидел на отоманке, между двумя курившими и разговаривавшими соседями. Граф сам не курил и не говорил, а, наклоняя голову то на один бок, то на другой, с видимым удовольствием смотрел на куривших и слушал разговор двух соседей своих, которых он стравил между собой.

Один из говоривших был штатский, с морщинистым, желчным и бритым худым лицом, человек, уже приближавшийся к старости, хотя и одетый, как самый модный молодой человек; он сидел с ногами на отоманке, с видом домашнего человека, и с боку запустив себе далеко в рот янтарь, порывисто втягивал дым и жмурился. Это был известный московский остряк, старый холостяк Шиншин, двоюродный брат графини, изболтавшийся франт, как про него говорили в московских гостиных. Он, казалось, снисходил до своего собеседника. Другой, свежий, розовый, гвардейский офицер, безупречно вымытый, застегнутый и причесанный, держал янтарь у середины рта и розовыми губками слегка вытягивал дымок, выпуская его колечками из красивого рта, казалось преимущественно для выпускания колец предназначенного. Этот был тот поручик Берг, офицер Семеновского полка, с которым Борис ехал вместе в полк и которым Наташа дразнила Веру, старшую графиню, называя Берга ее женихом. Берг от разговора про войну перешел к своим делам, развивая свои будущие служебные планы и, видимо, был очень горд тем, что разговаривал с таким знаменитым человеком, как Шиншин. Граф сидел между ними и внимательно слушал. Самое приятное для графа занятие, за исключением игры в бостон, которую он очень любил, было положение слушающего, особенно когда ему удавалось стравить двух бойких и говорливых собеседников. Хотя Берг и не был говорливый собеседник, граф подметил на губах Шиншина насмешливую улыбку, как будто говорившую: «Посмотрите, как я обработаю этого офицерика». И граф, без всякого дурного чувства к Бергу, утешался отыскиваньем остроумия в каждом слове Шиншина.

— Ну, как же, батюшка, mon très honorable[2] Альфонс Карлович,— говорил Шиншин, посмеиваясь и соединяя, в чем и состояла особенность его речи, самые тривиальные русские выражения с изысканными французскими фразами.

— Vous comptez vous faire des rentes sur l'état[3], с роты доходец получать хотите?

— Нет-с, Петр Николаич, а только желаю доказать, что в кавалерии выгод гораздо меньше против пехоты. Вот теперь сообразите, Петр Николаич, мое положение.

Берг говорил всегда очень точно, спокойно и учтиво. Разговор его всегда касался только его одного, он всегда спокойно молчал, пока гово-

---

[1] драгуном
[2] почтеннейший
[3] Вы рассчитываете иметь доход с казны

рили о чем-нибудь, не имеющем прямого к нему отношения. И молчать таким образом он мог несколько часов, не испытывая и не производя в других ни малейшего замешательства. Но как скоро разговор касался его лично, он начинал говорить пространно и с видимым удовольствием.

— Сообразите мое положение, Петр Николаич, будь я в кавалерии, я бы получал не более двухсот рублей в треть, даже и в чине поручика, а теперь я получаю двести тридцать,— говорил он с радостною, приятною, эгоистичною улыбкой, оглядывая Шиншина и графа, как будто для него было очевидно, что его успех всегда будет составлять главную цель желаний всех остальных людей. Граф оглянулся на Шиншина, ожидая, скоро ли начнется остроумие, но Шиншин молчал, только посмеиваясь. Граф тоже посмеивался.

— Кроме того, Петр Николаич, перейдя в гвардию, я на виду,— продолжал Берг,— и вакансия в гвардейской пехоте гораздо чаще. Потом сами сообразите, как я мог устроиться из двухсот тридцати рублей.

Он помолчал и, торжествуя, продолжал:

— А я откладываю и еще отцу посылаю.— И он пустил колечко.

— La balance y est...[4]. Немец на обухе молотит хлебец, comme dit le proverbe[5],— перекладывая янтарь в другую сторону рта, сказал Шиншин и подмигнул графу.

Граф расхохотался. Другие гости, видя, что Шиншин ведет разговор, подошли послушать. Берг, не замечая ни насмешки, ни равнодушия, рассказал длинно, подробно и отчетливо, как переводом в гвардию он уже выиграл чин перед своими товарищами по корпусу, как в военное время ротного командира могут убить, и он, оставшись старшим в роте, может очень легко быть ротным, и как в полку все любят его, и как его папенька им доволен. Слушатели все ждали вместе с графом, скоро ли будет смешное, но смешное не приходило. Берг видимо наслаждался, рассказывая всё это, и, казалось, не подозревал того, что у других людей могли быть тоже свои интересы. Но всё, что он рассказывал, было так мило-степенно, наивность молодого эгоизма его была так очевидна, что он обезоруживал своих слушателей и что даже Шиншин перестал смеяться над ним. Он показался ему не стоящим разговора.

— Ну, батюшка, вы и в пехоте, и в кавалерии, везде пойдете в ход, это я вам предрекаю. Je vous promets une brillante carrière[6],— сказал он, трепля его по плечу и спуская ноги с отоманки. Берг радостно улыбнулся. Граф, а за ним и гости вышли в гостиную.

XXIII

Было то время перед званым обедом, когда собравшиеся парадные гости не начинают длинного разговора в ожидании призыва к закуске, а вместе с тем считают необходимым шевелиться и не молчать, чтобы показать, что они нисколько не нетерпеливы сесть за стол. Хозяева поглядывают на дверь и изредка переглядываются между собой. Гости по этим взглядам стараются догадаться, кого или чего еще ждут: важного опоздавшего родственника или кушанья, которое, по дошедшим из кухни сведениям, еще не поспело. В лакейской в это время лакеи еще не успели завести разговор о господах, потому что им приходится беспрестанно вставать для приезжающих.

В кухне повара в это время ожесточаются и с мрачными лицами, в белых колпаках и фартуках переходят от плиты к вертелу и шкафу и покрикивают на поварят, которые в эти минуты становятся особенно

---

[4] Баланс установлен...
[5] как говорит пословица
[6] Обещаю вам блестящую карьеру.

робки. Кучера у подъезда устанавливают цуги и, усевшись покойно на козлах, переговариваются или забегают покурить трубочки в кучерскую.

Пьер приехал и неловко сидел посредине гостиной, на первом попавшемся кресле, загородив всем дорогу. Графиня хотела заставить его говорить, но он наивно смотрел в очки вокруг себя, как бы отыскивая кого-то и односложно отвечая на все вопросы графини. Он был стеснителен, и один не замечал этого. Большая часть гостей, знавшая его историю с медведем, любопытно смотрели на этого большого, толстого и смирного человека, недоумевая, как мог такой увалень и скромник сделать такую штуку с квартальным.

— Вы недавно приехали? — спрашивала у него графиня.

— Oui, madame [1],— отвечал он, оглядываясь.

— Вы не видели моего мужа?

— Non, madame [2],— он улыбнулся совсем некстати.

— Вы, кажется, недавно были в Париже? Я думаю, очень интересно.

— Очень интересно,— отвечал он, рассуждая сам с собою, где до сих пор может быть этот Борис, который ему так понравился.

Графиня переглянулась с княгиней Анной Михайловной. Анна Михайловна поняла, что ее просят занять этого молодого человека, и, подсев к нему, начала говорить об отце; но, так же как и графине, он отвечал ей только односложными словами. Гости были все заняты между собой. Со всех сторон слышался шум платьев. Les Razoumovsky... Ça a été charmant... Vous êtes bien bonne... la comtesse Apraksine... Apraksine... [3]

Графиня встала, чтоб выйти в залу.

— Марья Дмитриевна? — послышался ее голос из залы.

— Она самая,— послышался в ответ грубый женский голос, и вслед затем вошла в комнату Марья Дмитриевна, приехавшая с дочерью.

Все барышни и даже дамы, исключая самых старых, встали. Марья Дмитриевна остановилась в дверях и с высоты своего тучного тела, высоко держа свою красивую с седыми буклями пятидесятилетнюю голову, оглядела гостей. Марья Дмитриевна всегда говорила по-русски.

— Именинице дорогой с детками,— сказала она своим громким, густым, подавляющим все другие звуки голосом.— Сама бы приехала утром с визитом, да не люблю по утрам шляться. Ты что, старый греховодник,— обратилась она к графу, целовавшему ее руку,— чай скучаешь в Москве? Собак гонять негде? Да что, батюшка, делать, вот как эти пташки подрастут...— Она указывала на дочь, совсем не похожую на мать, недурную барышню, которая казалась на вид столь же нежною и сладкою, сколько мать казалась грубою.— Хочешь, не хочешь, надо им женихов искать. Вон они, твои-то, уж и все на возрасте,— она указала на вошедших в гостиную Наташу и Соню.

Когда приехала Марья Дмитриевна, все собрались в гостиную, ожидая выхода к столу. Вошел Борис, и Пьер тотчас же присоединился к нему.

— Ну, что, казак мой? (Марья Дмитриевна казаком называла Наташу.) Какой козырь девка стала! — говорила она, лаская рукой Наташу, подходившую к ее руке без страха и весело.— Знаю, что повеса девка, сечь бы ее надо, а люблю.

Она достала из огромного ридикюля (ридикюль Марьи Дмитриевны был всем известен обилием и разнообразием содержания) яхонтовые сережки грушками и, отдав их именинно сиявшей и разрумянившейся Наташе, тотчас отвернулась от нее и, заметив Пьера, обратилась к нему:

— Э, э! любезный! поди-ка сюда,— сказала она притворно тихим и тонким голосом, как говорят собаке, которую хотят пробрать.— Поди-ка, любезный...

---

[1] Да, мадам.

[2] Нет, мадам.

[3] Разумовские... Это было восхитительно... Вы очень добры... Графиня Апраксина... Апраксина...

Пьер подошел испуганно, но школьнически наивно и весело глядя на нее через очки, как будто он сам собирался не менее других позабавиться в предстоящей потехе.

— Подойди, подойди, любезный! Я и отцу-то твоему правду одна говорила, когда он в случае был, а тебе-то и бог велит.

Она помолчала. Все молчали, ожидая того, что будет, и чувствуя, что было только предисловие.

— Хорош, нечего сказать! Хорош мальчик!.. Отец на одре лежит, а он забавляется, квартального на медведя верхом сажает. Стыдно, батюшка, стыдно! Лучше бы на войну шел.

Она отвернулась и подала руку графу, который едва удерживался от смеха. Пьер только подмигнул Борису.

— Ну что ж, к столу, я чай, пора,— сказала Марья Дмитриевна.

Впереди пошел граф с Марьей Дмитриевной, потом графиня, которую повел гусарский полковник, нужный человек, с которым Николай должен был догонять полк; Анна Михайловна с Шиншиным. Берг подал руку Вере. Жюли, вечно улыбающаяся и закатывающая глаза, дочь Марьи Дмитриевны, с самого приезда своего не отпускавшая от себя Николая, пошла с ним к столу. За ними шли еще другие пары, протянувшиеся по всей зале, и сзади всех по одиночке дети, гувернеры и гувернантки. Официанты зашевелились, стулья загремели, на хорах заиграла музыка, и гости разместились. Звуки домашней музыки графа заменились звуками ножей и вилок, говора гостей, тихих шагов всё седых, почтенных официантов. На одном конце стола во главе сидела графиня. Справа Марья Дмитриевна, слева княгиня Анна Михайловна и другие гостьи. На другом конце сидел граф, слева гусарский полковник, справа Шиншин и другие гости мужского пола. С одной стороны длинного стола молодежь постарше: Вера рядом с Бергом, Пьер рядом с Борисом; с другой стороны — дети, гувернеры и гувернантки. Граф из-за хрусталя, бутылок и ваз с фруктами поглядывал на жену, хотя, собственно, ему виднелся только высокий чепец ее с голубыми лентами, и усердно подливая вина своим соседям, не забывая и себя. Графиня также, из-за ананасов, не забывая обязанности хозяйки, кидала значительные взгляды на мужа, которого лысина и лицо, казалось ей, своей краснотой резче отличались от седых волос. На дамском конце шло равномерное лепетанье; на мужском всё громче и громче слышались голоса, особенно гусарского полковника, который так много ел и пил, всё далее и далее краснея, что граф уже ставил его в пример другим гостям. Берг тихо рассказывал неприятно улыбавшейся Вере о преимуществах военного времени в финансовом отношении; Борис называл новому своему приятелю Пьеру бывших за столом гостей и переглядывался с Наташей, сидевшей против него. Пьер, невольно усвоивший себе петербургское презрение к москвичам, поверял собственными наблюдениями всё слышанное им о нравах московского общества. Всё было так: чопорность (блюда подавались по чинам и возрасту), ограниченность интересов (политикой никто не был занят) и хлебосольство, которому он, однако, отдавал должную справедливость. Начиная от двух супов, из которых он выбрал à la tortue[4], и кулебяки, и до сотэ из рябчиков, столь понравившегося графу, он не пропускал ни одного блюда, ни одного вина, которое дворецкий в завернутой салфеткою бутылке таинственно высовывал из-за плеча соседа и тихо приговаривал: «дреймадера, венгерское, рейнвейн» и т. д. Он подставлял первую попавшуюся из четырех хрустальных, с вензелем графа, рюмок, стоявших перед каждым прибором, и пил с удовольствием, всё с более и более приятным видом поглядывая на гостей. Наташа, сидевшая против него, глядела на Бориса, как глядят девочки тринадцати лет на мальчика, с которым они утром в первый раз поцеловались и в которого они влюблены, и изредка

[4] черепаховый

улыбалась. Пьер беспрестанно взглядывал на нее и подпадал под взгляд и улыбку, назначенные Борису.

— Странно,— говорил он шёпотом Борису,— она не хороша, меньшая Ростова, вот эта маленькая, черненькая, а какое милое лицо! Не правда ли?

— Старшая лучше,— отвечал Борис, чуть заметно улыбаясь.

— Нет, можете себе вообразить? Все черты неправильные, а чудо как мила.

И Пьер всё смотрел на нее. Борис выражал удивление такому странному вкусу Пьера. Николай сидел далеко от Сони подле Жюли Ахросимовой, отвечая на ее ласковые восторженные речи, а между тем взглядом постоянно успокоивал кузину, давая ей чувствовать, что, где бы ни был, на другом конце стола или на другом конце света, мысли его будут всегда принадлежать ей одной. Соня улыбалась парадно, но, видимо, уже мучилась ревностью, то бледнела, то краснела и всеми силами прислушивалась к тому, что говорили между собою Николай и Жюли. Наташа сидела, к своему огорчению, с детьми, между маленьким братом и толстою гувернанткой. Гувернантка беспокойно оглядывалась и что-то беспрестанно шептала своей питомице и тотчас взглядывала на гостей, ожидая одобрения. Гувернер немец старался запомнить все роды кушаний, десертов и вин, с тем, чтобы описать всё подробно в письме к домашним в Германию, и весьма обижался тем, что дворецкий с завернутою в салфетку бутылкой обносил его. Немец хмурился, старался показать вид, что он и не желал получить этого вина, но обижался потому, что никто не хотел понять, что вино нужно было ему не для того, чтоб утолить жажду, не из жадности, а из добросовестной любознательности...

XXIV

Наташе, видимо, не сиделось на месте, она ущипнула брата, подмигнула на гувернантку, отчего толстый Петруша лопнул было со смеха, и вдруг перегнулась всем телом через стол к Борису и разлила, к ужасу гувернантки, на чистейшую скатерть квас из стакана, и, не обращая внимания на замечания, требовала внимания к себе. Борис нагнулся, Пьер тоже прислушивался, ожидая, что скажет эта маленькая, черненькая, которая, несмотря на свои неправильные черты, как ему казалось, по странной, ему одному свойственной фантазии, нравилась ему больше всех, кого он видел за этим столом.

— Борис, что пирожное будет? — спросила Наташа, с значительным видом поднимая брови.

— Не знаю, право.

— Нет, очень мила! — улыбаясь прошептал Пьер, как будто кто с ним об этом упорно спорил.

Наташа заметила тотчас впечатление, произведенное ею на Пьера, и весело улыбнулась ему, и даже кивнула ему слегка головой, и тряхнула кудрями, глядя на него. Он мог принять это, как хотел. Пьер слова еще не сказал с Наташей, но одною этою взаимною улыбкой они уже сказали себе, что нравятся друг другу.

На мужском конце стола, между тем, разговор всё более и более оживлялся. Полковник рассказал, что манифест об объявлении войны уже вышел в Петербурге и что экземпляр, который он сам видел, доставлен ныне курьером главнокомандующему.

— И зачем нас нелегкая несет воевать с Бонапартом,— сказал Шиншин.— Il a déja rabattu le cuquet à l'Autriche. Je crains que cette fois ce ne soit notre tour[1].

---

[1] Он уже сбил спесь с Австрии. Боюсь, не пришел бы теперь наш черед.

Полковник был плотный, высокий и сангвинический немец, очевидно, служака и патриот. Он обиделся словами Шиншина.

— А затэм, мылостывый государ,— сказал он, хотя и правильно говоря по-русски, но выговаривая э вместо е и ъ вместо ь — затэм, что импэратор это знаэт. Он в манифэстэ сказал, что не можэт смотрэйть равнодушно на опасности, угрожающие России, и что бэзопасность импэрии, достоинство ее и святость союзов,— сказал он, почему-то особенно налегая на слово «союзов», как будто в этом была вся сущность дела. И с свойственною ему непогрешимою официальною памятью, он повторил вступительные слова манифеста: «...и желание, единственную и непременную цель государя составляющие: водворить в Европе на прочных основаниях мир — решение его двинуть ныне часть войска за границу и сделать к достижению намерения сего новые усилия». Вот зачэм, мылостывый государ,— заключил он, назидательно выпивая стакан лафита и оглядываясь на графа за поощрением.

— Conaissez-vous le proverbe[2]: «Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил бы свои веретена»,— сказал Шиншин, разваливаясь и гримасничая.— Cela nous convient à merveille[3]. Уж на что Суворов, и того расколотили, à plate couture[4], а где у нас Суворовы теперь? Je vous demande un peu[5],— беспрестанно перескакивая с русского на французский язык и ломаясь, говорил остряк.

— Мы должны и драться до послэднэ капли кровъ,— сказал полковник, с жестом не совсем хорошего тона ударяя по столу,— и умэррэт за своэго импэратора, и тогда всэй будэт хорошо. А рассуждать как мо-о-ожно,— особенно вытянул голос на слове «можно»,— как мо-о-о-ожно менше,— докончил он, опять обращаясь к графу.— Так мы, старые гусары, судим, вот и всё. А вы как судитэ, молодой чэловэк и молодой гусар,— прибавил он, обращаясь к Николаю, который, услыхав, что дело шло о войне, оставил свою собеседницу и во все глаза смотрел и всеми ушами слушал полковника.

— Совершенно с вами согласен,— отвечал Николай, весь вспыхнув, вертя тарелку и переставляя стаканы с таким решительным и отчаянным видом, как будто в настоящую минуту он подвергался великой опасности,— я убежден, что русские должны умирать или побеждать,— сказал он, сам чувствуя, так же как и другие, после того, как слово уж было сказано, что оно было слишком восторженно и напыщенно для настоящего случая и потому неловко, но красивая и впечатлительная молодость его открытого лица делала выходку его и для других скорее милою, чем смешною.

— C'est bien beau ce que vous venez de dire[6],— сказала Жюли, вздыхая и пряча глаза под веки от глубины чувства. Соня задрожала вся и покраснела до ушей, за ушами и до шеи и плеч, в то время как Николай говорил. Пьер прислушался к речам полковника и одобрительно закивал головой, хотя он и считал, по своим рассуждениям, патриотизм глупостью. Он невольно сочувствовал всякому искреннему слову.

— Вот это славно. Très bien, très bien[7],— сказал он.

— Настоящий гусар, молодой человек,— крикнул полковник, ударив опять по столу.

— О чем вы там шумите? — вдруг послышался через стол басистый голос Марьи Дмитриевны.— Что ты по столу стучишь? — обратилась она к гусару, всегда высказывая то, что другие только думали,— на кого ты горячишься? Верно думаешь, что тут французы перед тобой?

---

[2] Знаете пословицу
[3] Это к нам, кстати, удивительно идет.
[4] вдребезги
[5] Я вас спрашиваю.
[6] Прекрасно, прекрасно, то что вы сказали.
[7] Очень хорошо, очень хорошо.

— Я правду говару,— улыбаясь, сказал гусар.

— Всё о войне,— через стол прокричал граф.— Ведь у меня сын идет, Марья Дмитриевна, сын идет.

— А у меня четыре сына в армии, а я не тужу. На всё воля божья, и на печи лежа умрешь, и в сражении бог помилует,— прозвучал без всякого усилия, с того конца стола, густой голос Марьи Дмитриевны.

— Это так.

И разговор опять сосредоточился, дамский на своем конце стола, мужской на своем.

— А вот не спросишь,— говорил маленький брат Наташи,— а вот не спросишь!

— Спрошу,— отвечала Наташа.

Лицо ее вдруг разгорелось, выражая отчаянную и веселую решимость, ту решимость, которая бывает у прапорщика, бросающегося на приступ. Она привстала и с блестящими глазками и сдержанною улыбкой обратилась к матери:

— Мамà! — прозвучал по всему столу ее полный грудной голос.

— Что тебе? — спросила графиня испуганно, но, по лицу дочери увидев, что это была шалость, строго замахала ей рукою, делая угрожающий и отрицательный жест головой.

Разговор притих.

— Мамà! какое пирожное будет? — еще решительнее, не срываясь, прозвучал голосок наивно, но с сознанием своей наивности.

Графиня хотела хмуриться, но невольно улыбка любви к своему любимому детищу уже ожила на ее губах. Марья Дмитриевна погрозила толстым пальцем.

— Казак! — проговорила она с угрозой.

Большинство гостей смотрели на старших, не зная, как следует принять эту выходку.

— Вот я тебя! — сказала графиня.

— Мамà! что пирожное будет? — закричала Наташа уже смело и капризно-весело, вперед уверенная, что выходка ее будет принята хорошо.

Соня и толстый Петя прятались от смеха.

— Вот и спросила,— прошептала Наташа маленькому брату, не сводя глаз с матери и не изменяя наивного выражения лица.

— Мороженое! только тебе не дадут,— сказала Марья Дмитриевна.

Наташа видела, что бояться нечего, и потому не побоялась и Марьи Дмитриевны.

— Марья Дмитриевна, какое мороженое? Я сливочное не люблю.

— Морковное.

— Нет, какое? Марья Дмитриевна, какое? — почти кричала она.— Я хочу знать.

Марья Дмитриевна и графиня засмеялись, за ними все гости.

Все смеялись не ответу Марьи Дмитриевны, но непостижимой смелости и ловкости этой девочки, умевшей и смевшей так обращаться с Марьей Дмитриевной.

— Votre soeur est délicieuse[8],— сказала Жюли.

Наташа отстала только тогда, когда ей сказали, что будет ананасное. Перед мороженым подали шампанское. Опять заиграла музыка, граф поцеловался с графинюшкою, и гости, вставая, поздравляли графиню, через стол чокались с графом, детьми и друг с другом. Жюли чокалась с Николаем, давая ему взглядами понять, что это чоканье имело какое-то еще другое важное значение. Опять забегали официанты, загремели стулья, и в том же порядке, но с более красными лицами гости вернулись в гостиную и кабинет графа.

---

[8] Ваша сестра прелестна.

XXV

Раздвинули бостонные столы, разбрелись партиями, и гости графа разместились в двух гостиных, диванной и библиотеке. Марья Дмитриевна бранила Шиншина, с которым играла.

— Вот ругать всех умеешь, а догадаться не мог, что тебе с дамы кёровой идти надо.

Граф, распустив карты веером, с трудом удерживался от привычки послеобеденного сна и всему смеялся. Молодежь, подстрекаемая графиней, собралась около клавикорд и арфы. Жюли первая, по просьбе всех, сыграла на арфе пиеску с вариациями и вместе с другими девицами стала просить Наташу и Николая, известных своею музыкальностью, спеть что-нибудь. Наташа, к которой обратились прежде других, не соглашалась и не отказывалась.

— Постойте, я попробую,— сказала она, отойдя к другой стороне клавикорд и пробуя свой голос, взяла вполголоса несколько чистых грудных нот, которые неожиданно подействовали на всех. Все замолкли, пока звуки замирали вверху высокой просторной комнаты.

— Можно, можно,— сказала она, весело встряхивая кудрями, которые валились ей на глаза.

Пьер, очень раскрасневшийся после обеда, подошел к ней. Ему хотелось видеть ее поближе и посмотреть, как она будет говорить с ним.

— Отчего же нельзя,— спросил он так просто, как будто они были сто лет знакомы.

— Иногда бывают дни, что голос не хорош,— сказала она и отошла к клавикордам.

— А нынче?

— Отличный,— сказала она, обращаясь к нему с таким восторгом, как будто хвалила чей-нибудь чужой голос. Пьер, довольный тем, что видел, как она говорит, подошел к Борису, который почти так же нравился ему в этот день, как и Наташа.

— Что за милый ребенок маленькая, черненькая,— сказал он.— Даром, что не хороша.

Пьер находился, после скуки уединения в большом доме отца, в том счастливом состоянии молодого человека, когда всех любишь и видишь во всех людях одно хорошее. Еще за обедом он невольно с петербургской высоты презирал московскую публику. А теперь уже казалось, что здесь только, в Москве, и умеют жить люди, и ему уж думалось, как бы хорошо было, ежели бы он мог каждый день бывать в этом доме, слушать, как поет и как говорит эта маленькая, черненькая, и смотреть на нее.

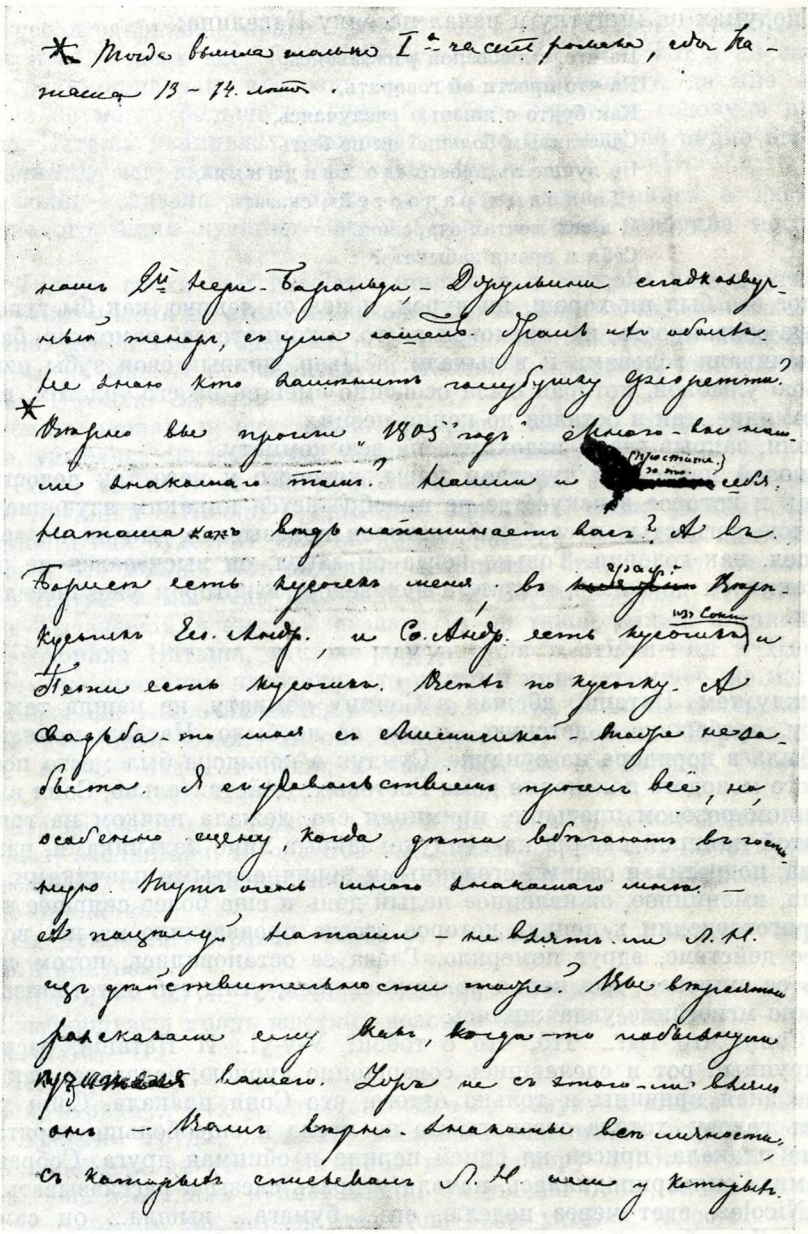
— Nicolas,— сказала Наташа, подходя к клавикордам,— что будем петь?

— Хоть «Ключ»,— отвечал Николай. Ему, видимо, становилось несносно от пристававшей к нему Жюли, которая думала, что он должен быть слишком счастлив ее вниманием.

— Ну, давайте, давайте. Борис, идите сюда,— закричала Наташа.— А где же Соня? — Она оглянулась и, увидав, что ее друга нет в комнате, побежала за ней.

«Ключ», как называли его у Ростовых, был старинный квартуор, которому научил их музыкальный учитель Димлер. Этот «Ключ» пели обыкновенно Наташа, Соня, Николай и Борис, который, хотя и не имел собственного таланта и голоса, но обладал верным слухом и с свойственною ему во всем точностью и спокойствием мог выучить партию и твердо держал ее. Пока Наташа ушла, стали просить Николая, чтоб он спел что-нибудь один. Он отказывался почти неучтиво и мрачно. Жюли Ахросимова, улыбаясь, подошла к нему:

— Pourquoi faites vous le beau ténébreux,— спросила она,— cependant



ПИСЬМО М. А. ПОЛИВАНОВА Т. А. БЕРС ОТ 2 МАРТА 1865 Г.

je comprends que pour la musique, et surtout pour le chant, il faut être disposé. C'est comme moi. Il y a des moments...[1].

Николай поморщился и пошел к клавикордам. Прежде чем сесть, он заметил, что Сони нет в комнате, и хотел уйти.

— Nicolas, ne vous faites pasprier, c'est ridicule,[2] — сказала графиня.

— Je ne me fais pas prier, maman[3], — отвечал Николай и порывистым движением стукнул крышкой, открывая клавикорды, и сел.

---

[1] Зачем вы напускаете на себя мрачность? Хотя, я понимаю, для музыки и особенно для пения нужно расположение. У меня то же самое. Бывают минуты...

[2] Николай, не заставляй себя просить, это смешно.

[3] Я не заставляю себя просить, мамà.

Он подумал на минутку и начал песенку Кавелина:

На что, с любезной расставаясь,
На что прости ей говорить,
Как будто с жизнью разлучаясь,
Счастливым больше уж не быть?
Не лучше ль просто «до свиданья»,
«До новых радостей», сказать,
И в сих мечтах очарованья
Себя и время забывать?

Голос его был ни хорош, ни дурен, и пел он лениво, как бы исполняя скучную обязанность, но, несмотря на то, в комнате всё замолкло, барышни покачивали головами и вздыхали, а Пьер, покрыв свои зубы нежною и слабою улыбкой, которая была особенно смешна на его толстом, полнокровном лице, так и остался до конца песни.

Жюли, закрыв глаза, вздохнула на всю комнату.

Николай пел с тем чувством меры, которого у него так недоставало в жизни и которое в искусстве не приобретается никаким изучением. Он пел с тою легкостью и свободой, которая показывала, что он не трудился, а пел, как говорил. Только когда он запел, он высказался не ребенком, каким он казался в жизни, а человеком, в котором уже шевелились страсти.

XXVI

Между тем, Наташа, вбежав в Сонину комнату, не нашла там свою подругу, пробежала в детскую,— и там ее не было. Наташа поняла, что Соня была в коридоре на сундуке. Сундук в коридоре был место печалей женского молодого поколения дома Ростовых. Действительно, Соня в своем воздушном розовом платьице, приминая его, лежала ничком на грязной, полосатой няниной перине на сундуке, закрыв лицо пальчиками, навзрыд плакала, подрагивая своими оголенными коричневатыми плечиками. Лицо Наташи, именинное, оживленное целый день и еще более сиявшее теперь при приготовлении к пению, которое всегда производило на нее возбуждающее действие, вдруг померкло. Глаза ее остановились, потом содрогнулась ее широкая, для пенья рожденная шея, углы губ опустились, глаза в одно мгновение увлажнились.

— Соня! что ты?.. Чтó, чтó с тобой? У-у-у!.. И Наташа, распустив свой крупный рот и сделавшись совершенно дурною, заревела, как ребенок, не зная причины и только оттого, что Соня плакала. Соня хотела поднять голову, хотела отвечать, но не могла и еще больше спряталась. Наташа плакала, присев на синей перине и обнимая друга. Собравшись с силами, Соня приподнялась, начала утирать слезы и рассказывать.

— Nicolas, едет через неделю, его... бумага... вышла... он сам мне сказал... Да я бы всё не плакала... (она показала бумажку, которую держала в руке: то были стихи, написанные Николаем), я бы всё не плакала, но ты не можешь... никто не может понять... какая у него душа...

И она опять принялась плакать о том, что душа его была так хороша. Соня чувствовала, что никто, кроме ее, не мог понять всей прелести и высоты, благородства и нежности,— всех лучших добродетелей этой души. И она действительно видела все эти несравненные добродетели, во-первых, потому, что Николай, сам того не зная, показывался ей только одною, самою лучшею, стороной, во-вторых, потому, что она всеми силами души желала видеть в нем одно прекрасное.

— Тебе хорошо... я не завидую... я тебя люблю, и Бориса тоже,— говорила она, собравшись немного с силами:— он милый... для вас нет препятствий. А Николай мне cousin... надобно... сам митрополит... и то нельзя. И потом, ежели маменька (Соня графиню и считала и называла матерью)... она скажет, что я порчу карьеру Nicolas, у меня нет сердца,

что я неблагодарная, а право... вот ей-богу... (она перекрестилась) я так люблю и ее, и всех вас, только Вера одна... За что? Что я ей сделала? Я так благодарна вам, что рада бы всем пожертвовать, да мне нечем...

Соня не могла больше говорить и опять спрятала голову в руках и перине. Наташа начинала успокоиваться, но по лицу ее видно было, что она понимала всю важность горя своего друга.

— Соня! — сказала она вдруг, как будто догадавшись о настоящей причине огорчения кузины: — верно, Вера с тобой говорила после обеда? Да?

— Да, эти стихи сам Nicolas написал, а я списала еще другие; она и нашла их у меня на столе и сказала, что покажет и их маменьке, и еще говорила, что я неблагодарная, что маменька никогда не позволит ему жениться на мне. А он женится на Жюли. Ты видишь, как она на него смотрит. Наташа? За что?

И опять заплакала она горьче прежнего. Наташа приподняла ее, обняла и, улыбаясь сквозь слезы, стала ее успокоивать.

— Соня, ты не верь ей, душенька, не верь. Помнишь, как мы все втроем говорили с Nicolas в диванной, помнишь, после ужина? Ведь мы всё решили как будет. Я уже не помню как, но помнишь, как было всё хорошо и всё можно. Вот дяденьки Шиншина брат женат же на двоюродной сестре, а мы ведь троюродные. И Борис говорил, что это очень можно. Ты знаешь, я ему всё сказала. А он такой умный и такой хороший,— говорила Наташа, так же как и Соня в отношении к Николаю, и по тем же причинам чувствуя, что никто в мире, кроме ее, не мог знать всех сокровищ, заключающихся в Борисе... — Ты, Соня, не плачь, голубчик милый, душенька Соня.— И она целовала ее, смеясь.— Вера злая, бог с ней. А всё будет хорошо, и маменьке она не скажет, Nicolas сам скажет.

И она целовала ее в голову. Соня приподнялась, и котеночек оживился, глазки заблистали, и он готов был, казалось, вот-вот взмахнуть хвостом, вспрыгнуть на мягкие лапки и опять заиграть с клубком, как ему и было прилично.

— Ты думаешь? Право? Ей-богу? — сказала она, быстро оправляя платье и прическу.

— Право, ей-богу! — отвечала Наташа, оправляя своему другу под косой выбившуюся прядь жестких волос, и они обе засмеялись.— Ну, пойдем петь «Ключ».

— Пойдем.

Соня, отряхнув пух и спрятав стихи за пазуху к шейке с выступавшими костями груди, легкими, веселыми шагами, с раскрасневшимся лицом побежала вместе с Наташей по коридору в гостиную. Николай допевал еще последний куплет песни. Он увидел Соню, глаза его оживились, на открытом для звуков рте готова была улыбка, голос стал сильнее и выразительнее, и он спел последний куплет еще лучше прежних.

В приятну ночь, при лунном свете,

— пел он, глядя на Соню, и они понимали, как много всё это значило — и слова, и улыбка, и песня, хотя собственно всё это ничего не значило.

В приятну ночь, при лунном свете,
Представить счастливо себе,
Что некто есть еще на свете,
Кто думает и о тебе!
Что и она, рукой прекрасной
По арфе золотой бродя,
Своей гармониею страстной
Зовет к себе, зовет тебя!
Еще день-два, и рай настанет...
Но, ах! твой друг не доживет!

Он пел для одной Сони, но всем стало весело и добро на сердце, когда он кончил и с увлажненными глазами встал от клавикорд.

— Charmant! Délicieux![1] — послышалось со всех сторон.

M. Nicolas,— сказала Julie со вздохом, подходя к нему,— adorable cette romance. J'ai tout compris[2].

Во время пения Марья Дмитриевна встала из-за стола и остановилась в дверях, чтобы слушать.

— Ай да Nicolas! — сказала она.— В душу лезет. Поди, поцелуй меня.

XXVII

Наташа шепнула Николаю, что Вера уже расстроила Соню, украв у нее стихи и наговорив ей неприятностей. Николай покраснел и тотчас решительным шагом подошел к Вере и шёпотом стал говорить ей, что ежели она посмеет сделать что-нибудь неприятное Соне, то он будет ее врагом на всю жизнь. Вера отговаривалась, извинялась и замечала так же шёпотом, что неприлично говорить об этом, указывая на гостей, которые, заметив, что между братом и сестрой была какая-то неприятность, удалились от них.

— Мне всё равно, я при всех скажу,— говорил почти громко Николай,— что у тебя дурное сердце, и что ты находишь удовольствие вредить людям.

Окончив это дело, Николай, еще дрожа от волнения, отошел в дальний угол комнаты, где стояли Борис с Пьером. Он сел подле них с решительным и мрачным видом человека, который теперь на всё готов и к которому лучше не обращаться ни с каким вопросом. Пьер, однако, со всегдашнею рассеянностью не замечая его состояния души и находясь в самом благодушном состоянии, которое было усилено еще приятным впечатлением музыки, которая всегда сильно действовала на него, несмотря на то, что он никогда не мог взять не фальшивя ни одной нотки, Пьер обратился к нему:

— Как вы славно спели! — сказал он.

Николай не отвечал.

— Вы каким чином поступаете в полк? — спросил он, чтобы спросить еще что-нибудь.

Николай, не соображая, что Пьер был нисколько не виноват в неприятности, сделанной ему Верой, и в надоевшем ему приставании Жюли, зло посмотрел на него.

— Мне предлагали хлопотать о зачислении меня камер-юнкером, и я отказался, потому что хочу быть обязанным только своему достоинству положением своим в войске... а не сесть на голову людям, достойнее меня. Я иду юнкером,— прибавил он, очень довольный тем, что сразу умел показать новому знакомому свое благородство и употребить военное выражение: сесть на голову,— которое он только что подслушал у полковника.

— Да, мы всегда спорим с ним,— сказал Борис,— я не нахожу ничего несправедливого поступить прямо майором. Ежели ты не достоин этого чина,— тебя выключат, а достоин, то ты скорее можешь быть полезен.

— Ну, да ты дипломат,— сказал Николай,— Я считаю это злоупотреблением для себя и не хочу начинать злоупотреблением.

— Вы совершенно, совершенно правы,— сказал Пьер.— Что это, музыканты? Танцовать будут? — робко спросил он, услышав звуки настроиванья.— Я ни одному танцу никогда не мог выучиться.

— Да, кажется, маменька велела,— отвечал Николай, весело оглядывая комнату и мысленно выбирая свою между дамами. Но в это время он увидал кружок, собравшийся около Берга, и вернувшееся к нему хорошее расположение духа опять заменилось мрачным ожесточением.

---

[1] Прелестно! Обворожительно!
[2] Этот романс — восторг. Я всё поняла.

— Ah, lisez M. Berg, vous lisez si bien, ça doit être très poétique[3],— говорила Жюли Бергу, который держал в руке бумажку. Николай увидал, что это были его стихи, которые Вера, из мщенья, показала всему обществу. Стихи были следующие:

Прощание гусара

Не растравляй меня разлукой,
Не мучь гусара своего;
Гусару сабля будь порукой
Желанья счастья твоего.
Мне нужно мужество для боя,
Еще нужней для слез твоих,
Хочу стяжать венец героя,
Чтобы сложить у ног твоих.

Написав стихи и передав их предмету своей страсти, Николай думал, что они прекрасны, теперь же он вдруг находил, что они чрезвычайно дурны и, главное, смешны. Увидав Берга с своими стихами в руках, Николай остановился, ноздри его раздулись, лицо побагровело, и он, сжав губы, быстрыми шагами и с решимостью размахивая руками, направился к кружку. Борис, вовремя увидав намерение, перерезал ему дорогу и взял за руку.

— Послушай, это будет глупо.

— Оставь меня, я его проучу,— порываясь вперед, говорил Николай.

— Он не виноват, пусти меня.

Борис подошел к Бергу.

— Эти стихи написаны не для всех,— сказал он, протягивая руку.— Позвольте!

— Ах, это не для всех! Мне Вера Ильинишна дала.

— C'est charmant, il y a quelque chose de si mélodieux[4],— сказала Жюли Ахросимова.

— «Прощанье гусара»,— сказал Берг и имел несчастие улыбнуться.

Николай уже стоял перед ним, держа близко к нему свое лицо и глядя на него разгоряченными глазами, которые, казалось, насквозь пронзали несчастного Берга.

— Вам смешно? Что вам смешно?

— Нет, я ничего не знал, что это вы...

— Какое вам дело, я или не я? Читать чужие письма не благородно.

— Извините,— сказал Берг, краснея и испуганно.

— Nicolas,— сказал Борис,— мсье Берг не читал чужих писем... Ты теперь наделаешь глупостей. Послушай,— сказал он, кладя в карман стихи,— поди сюда, мне нужно с тобой поговорить.

Берг тотчас же отошел к дамам, а Борис с Николаем вышли в диванную. Соня выбежала за ними.

Через полчаса вся молодежь уже танцовала экосез, и Николай, переговорив в диванной с Соней, был такой же веселый и ловкий танцор, как и всегда, сам удивлялся своей вспыльчивости и досадовал на свою неприличную выходку.

Всем было очень весело. И Пьеру, путавшему фигуры и танцевавшему под руководством Бориса экосез, и Наташе, почему-то помиравшей со смеху каждый раз, как она взглядывала на него, чем он был очень доволен.

— Какой он смешной и какой славный,— сказала она сначала Борису, а потом прямо в глаза заговорила самому Пьеру, наивно снизу глядя на него.

---

[3] Ах, прочтите, господин Берг, вы так хорошо читаете, это, должно быть, очень поэтично.

[4] Это так прекрасно, тут есть что-то очень мелодичное.

В середине третьего экосеза зашевелились стулья в гостиной, где играли граф и Марья Дмитриевна, и большая часть почетных гостей и старички, потягиваясь после долгого сиденья и укладывая в карманы бумажники и кошельки, выходя[5] в двери залы. Впереди шла Марья Дмитриевна с графом, оба с веселыми лицами. Граф с шутливою вежливостью, как-то по-балетному, подал округленную руку Марье Дмитриевне. Он выпрямился, и лицо его озарилось особенною молодецко-хитрою улыбкой, и как только дотанцовали последнюю фигуру экосеза, он ударил в ладони музыкантам и закричал на хоры, обращаясь к первой скрипке:

— Семен! Данилу Купора знаешь?

Это был любимый танец графа, танцованный им еще в молодости (Данила Купор была собственно одна фигура *англеза*).

— Смотрите на папà,— закричала на всю залу Наташа, пригибая к коленам свою кудрявую головку и заливаясь своим звонким смехом по всей зале. Действительно, всё, что только было в зале, с улыбкою радости смотрело на веселого старичка, который рядом с своею сановитою дамой, Марьей Дмитриевной, бывшей выше его ростом, округлял руки, в такт потряхивал ими, расправлял плечи, вывертывал ноги, слегка притопывая, и всё более и более распускавшеюся улыбкой на своем круглом лице приготовлял зрителей к тому, что будет. Как только заслышались веселые, вызывающие звуки Данилы Купора, похожие на развеселого трещачка, все двери залы вдруг заставились с одной стороны мужскими, с другой — женскими улыбающимися лицами дворовых, вышедших посмотреть на веселящегося барина.

— Батюшка-то наш! Орел! — проговорила няня из одной двери.

Граф танцовал хорошо и знал это, но его дама вовсе не умела и не хотела хорошо танцевать. Ее огромное тело стояло прямо с опущенными вниз мощными руками (она передала ридикюль графине); только одно строгое, но красивое лицо ее танцовало. Что выражалось во всей круглой фигуре графа, у Марьи Дмитриевны выражалось лишь в более и более улыбающемся лице и вздрагивающем носе. Но зато, ежели граф, всё более и более расходясь, пленял зрителей неожиданностью ловких вывертов и легких прыжков своих мягких ног, Марья Дмитриевна, малейшим усердием при движении плеч или округлении рук, в поворотах и притоптываньях, производила не меньшее впечатление по заслуге, которую ценил всякий при ее тучности и всегдашней суровости. Пляска оживлялась всё более и более. Визави не могли ни на минуту обратить на себя внимания и даже не старались о том. Всё было занято графом и Марьей Дмитриевной. Наташа дергала за рукава и платье всех присутствовавших, которые и без того не спускали глаз с танцующих, и требовала, чтобы смотрели на папеньку. Граф в промежутках танца тяжело переводил дух, махал и кричал музыкантам, чтоб они играли скорей. Скорее, скорее и скорее, лише, лише и лише развертывался граф, то на цыпочках, то на каблуках носясь вокруг Марьи Дмитриевны, и, наконец, повернув свою даму к ее месту, сделал последнее па, подняв сзади кверху свою мягкую ногу, склонив вспотевшую голову с улыбающимся лицом и округлю размахнув правою рукой среди грохота рукоплесканий и хохота, особенно Наташи. Оба танцующие остановились, тяжело переводя дыхание и утираясь батистовыми платками.

— Вот как в наше время танцовывали, ma chère,— сказал граф.

— Ай да Данила Купор! — тяжело и продолжительно выпуская дух, сказала Марья Дмитриевна.

XXVIII

В то время как у Ростовых танцовали в зале шестой *англез* под звуки от усталости фальшививших музыкантов, и усталые официанты и повара готовили ужин, рассуждая между собой, как могут господа так беспре-

[5] Так в подлиннике (прим. составителя).

ТАНЕЦ ДАНИЛА КУПОР

Рисунок М. С. Башилова, 1866 г.

«Графа Ростова и Марью Дмитриевну в Даниле Купоре нельзя ли смягчить, убавив карикатурности и подбавив нежности и доброты» (из письма Толстого М. С. Башилову от 8 декабря 1866 г.)

станно кушать,— только что откушали чай, опять ужинать,— в это время с графом Безухим сделался шестой уже удар; доктора объявили, что надежды к выздоровлению нет, больному дана была глухая исповедь и *причастие*, делали приготовления для соборования, и в доме была суетня и тревога ожидания, обыкновенные в такие минуты. Вне дома, за воротами, толпились, скрываясь от подъезжавших экипажей, гробовщики, ожидая богатого заказа на похороны графа. Главнокомандующий Москвы, который беспрестанно присылал адъютантов узнавать о положении графа, в этот вечер сам приезжал проститься с одним из представителей

века Екатерины. Говорили, что больной кого-то искал глазами и требовал. И за Пьером, и за Анной Михайловной был послан лакей верхом.

Великолепная приемная комната была полна. Все почтительно встали, когда главнокомандующий, пробыв около получаса наедине с больным, вышел оттуда, слегка отвечая на поклоны и стараясь как можно скорее пройти мимо устремленных на него взглядов докторов, духовных лиц и родственников. Князь Василий, похудевший и побледневший за эти дни, шел с ним рядом, и все видели, как главнокомандующий пожал ему руку и что-то несколько раз тихо повторил ему.

Проводив главнокомандующего, князь Василий сел в зале один на стул, закинул высоко ногу на ногу, на коленку упирая локоть и рукою закрыв глаза. Все видели, что ему тяжело, и никто не подходил к нему. Посидев так несколько времени, он встал и непривычно поспешными шагами, оглядываясь кругом не то сердитыми, не то испуганными глазами, пошел через длинный коридор на заднюю половину дома к старшей княжне.

Находившиеся в слабо освещенной комнате неровным шёпотом говорили между собой, и замолкали каждый раз, и полными вопроса и ожидания глазами оглядывались на дверь, которая вела в покои умирающего и издавала слабый звук, когда кто-нибудь выходил из нее или входил в нее.

— Предел человеческий,— говорил старичок, духовное лицо, даме, подсевшей к нему и наивно слушавшей его.— И — предел положен, его же не прейдеши.

— Я думаю, не поздно ли соборовать,— прибавляя духовный титул, спрашивала дама, как будто не имея на этот счет никакого своего мнения.

— Таинство, матушка, великое,— отвечало духовное лицо, проводя руками по лысине, по которой пролегало несколько прядей зачесанных полуседых волос.

— Это кто же? сам главнокомандующий был? — спрашивали в другом конце комнаты.— Какой моложавый...

— А седьмой десяток! Что, говорят, граф-то не узнает уж? Хотели соборовать.

— Я одного знал, семь раз соборовался.

Вторая княжна только вышла из комнаты больного с заплаканными глазами и села подле Лоррена, молодого, знаменитого доктора, француза, который в грациозной позе сидел подле портрета Екатерины, облокотившись на стол.

— Très bien,— говорил доктор, отвечая на вопрос о погоде,— Très bien, princesse, et puis, à Moscou, on se croit à la campagne [1].

— N'est-ce-pas [2],— сказала княжна, вздыхая.— Так можно ему пить?

Лоррен задумался.

— Он принял лекарство?

— Да.

Доктор посмотрел на брегет.

— Возьмите стакан отварной воды и положите une pincée (он своими тонкими пальцами показал, что значит une pincée) de cremortartari [3].

— Не пило слушай,— говорил немец-доктор адъютанту,— чтопи с третий ударом живь остался.

— А какой свежий был мужчина! — говорил адъютант.— И кому пойдет это богатство? — прибавил он шёпотом.

— Охотники найдутся,— улыбаясь отвечал немец.

---

[1] Прекрасная, прекрасная погода, княжна, и потом Москва так похожа на деревню.

[2] Не правда ли?

[3] щепотку кремортартари

Все опять оглянулись на дверь: она скрипнула, и вторая княжна, сделав питье, показанное Лорреном, несла больному. Немец-доктор подошел к Лоррену.

— Еще может дотянется до завтрашнего утра? — спросил немец, дурно выговаривая по-французски.

Лоррен, поджав губы, строго и отрицательно помахал пальцем перед своим носом.

— Сегодня ночью, не позже,— сказал он тихо с приличною улыбкой самодовольства в том, что он ясно умеет понимать и выражать положение больного, и отошел.

Между тем, князь Василий отворил дверь в комнату княжны.

В комнате было полутемно, только две лампадки горели перед образами и хорошо пахло куреньем и цветами. Вся комната была уставлена мелкою мебелью шифоньерок, шкапчиков, столиков. Из-за ширм виднелись белые покрывала высокой пуховой кровати. Собачка залаяла.

— Ах, это вы, mon cousin.

Она встала и оправила волосы, которые у нее всегда, даже теперь, были так необыкновенно гладки, как будто они были сделаны из одного куска с головой и покрыты лаком.

— Что, случилось что-нибудь? — спросила она.— Я уже так напугалась.

— Ничего, всё то же, я только пришел поговорить с тобой, Катишь, о деле,— проговорил князь, устало садясь на кресло, с которого она встала.— Как ты нагрела, однако,— сказал он: — ну, садись сюда, causons[4].

— Я думала, не случилось ли что? — сказала княжна и с своим неизменным, спокойным и строгим каменным приличием села против князя, готовясь слушать.

— Хотела уснуть, mon cousin, и не могу.

— Ну, что, моя милая? — сказал князь Василий, взяв руку княжны и пригибая ее по своей привычке книзу.

Видно было, что это «ну, что» относилось ко многому такому, что, не называя, они понимали оба.

Княжна, с своею несообразно длинною по ногам, сухою и прямою талией, прямо и бесстрастно смотрела на князя выпуклыми серыми глазами.

Она покачала головой и, вздохнув, посмотрела на образа. Жест ее можно было объяснить и как выражение печали и преданности, и как выражение усталости и надежды на скорый отдых. Князь Василий объяснил этот жест как выражение усталости.

— А мне-то,— сказал он,— ты думаешь легче? Je suis ereinté comme un cheval de poste[5], а все-таки мне надо с тобой поговорить, Катишь, и очень сериозно.

Князь Василий замолчал, и щеки его начали нервически подергиваться то на одну, то на другую сторону, придавая его лицу неприятное выражение, какое никогда не показывалось на лице князя Василия, когда он бывал в гостиных. Глаза его тоже были не такие как всегда: то они смотрели нагло-шутливо, то испуганно оглядывались.

Княжна, своими сухими, худыми руками придерживая на коленях собачку, внимательно смотрела в глаза князю Василию; но видно было, что она не прервет молчание вопросом, хотя бы ей пришлось молчать до утра. У княжны было одно из тех лиц, которых выражение остается не изменяемо и не зависимо от движений, выражающихся на лице собеседника.

— Вот видите ли, моя милая княжна и кузина, Екатерина Семеновна,— продолжал князь Василий, видимо, не без внутренней борьбы при-

---

[4] поговорим.

[5] Я заморен, как почтовая лошадь

ступая к продолжению своей речи: — в такие минуты, как теперь, обо всем надо подумать. Надо подумать о будущем, о вас... я вас всех люблю, как своих детей, ты это знаешь.

Княжна так же тускло и неподвижно смотрела на него.

— Наконец, надо подумать и о моем семействе,— сердито отталкивая от себя столик и не глядя на нее, продолжал князь Василий: ты знаешь, Катишь, что вы три сестры, Мамонтовы, да еще моя жена, мы одни прямые наследники графа. Знаю, знаю, как тебе тяжело говорить и думать о таких вещах. И мне не легче, но, друг мой, мне шестой десяток, надо быть ко всему готовым. Ты знаешь ли, что я послал за Пьером, и что граф, прямо указывая на его портрет, требовал его к себе?

Князь Василий вопросительно посмотрел на княжну, но не мог понять, соображала ли она то, что он ей сказал, или просто смотрела на него.

— Я об одном не перестаю молить бога, mon cousin,— отвечала она,— чтоб он помиловал его и дал бы его прекрасной душе спокойно покинуть эту...

— Да, это так,— нетерпеливо продолжал князь Василий, потирая лысину и опять с злобой придвигая к себе отодвинутый столик,—но, наконец... наконец, дело в том, ты сама знаешь, что прошлою зимой граф написал завещание, по которому он все имение, помимо прямых наследников и нас, отдавал Пьеру.

— Мало ли он писал завещаний! — спокойно сказала княжна.— Но Пьеру он не мог завещать. Пьер незаконный.

— Ma chère,— сказал вдруг князь Василий, прижав к себе столик, оживившись и начав говорить скорее: — но что ежели письмо написано государю, и граф просит усыновить Пьера? Понимаешь, по заслугам графа, его просьба будет уважена...

Княжна улыбнулась, как улыбаются люди, которые думают, что знают дело больше чем те, с кем разговаривают.

— Я тебе скажу больше,— продолжал князь Василий, хватая ее за руку,— письмо было написано, хотя и не отослано, и государь знал о нем. Вопрос только в том, уничтожено ли оно или нет. Ежели нет, то как скоро все кончится,— князь Василий вздохнул, давая этим понять, что он разумел под словами «всё кончится»,— и вскроют бумаги графа, завещание с письмом будет передано государю, и просьба его наверно будет уважена. Пьер, как законный сын, получит всё.

— А наша часть? — спросила княжна, иронически улыбаясь так, как будто всё, но только не это могло случиться.

— Mais, ma pauvre Catiche, c'est clair comme le jour[6]. Он один тогда законный наследник всего, а вы не получите ни вот этого. Ты должна знать, моя милая, были ли написаны завещание и письмо, и уничтожены ли они. И ежели почему-нибудь они забыты, то ты должна знать, где они, и найти их, потому что...

— Этого только не доставало! — перебила его княжна, сардонически улыбаясь и не изменяя выражения глаз.— Я женщина, по-вашему мы все глупы, но я настолько знаю, что незаконный сын не может наследовать... Un batard[7],— прибавила она, полагая этим переводом окончательно показать князю его неосновательность.

— Как ты не понимаешь, наконец, Катишь! Ты так умна: как ты не понимаешь, ежели граф написал письмо государю, в котором просит его признать сына законным, стало быть, Пьер уже будет не Пьер, а граф Безухой, и тогда он по завещанию получит всё? И ежели завещание с письмом не уничтожены, то тебе, кроме утешения, что ты была добродетельна, et tout ce qui s'en suit[8],— ничего не останется. Это верно.

---

[6] Но, моя дорогая Катишь, это ясно, как день.
[7] незаконный
[8] и всего, что отсюда вытекает.

— Я знаю, что завещание написано, но знаю тоже, что оно недействительно, и вы меня, кажется, считаете за совершенную дуру,— сказала княжна с тем выражением, с которым говорят женщины, полагающие, что они сказали нечто остроумное и оскорбительное.

— Милая ты моя княжна, Екатерина Семеновна,— нетерпеливо заговорил князь Василий.— Я пришел к тебе не за тем, чтобы пикироваться с тобой, а за тем, чтобы как с родной, хорошею, доброю, истинною родной, поговорить о твоих же интересах. Я тебе говорю десятый раз, что ежели письмо к государю и завещание в пользу Пьера есть в бумагах графа, то ты, моя голубушка, и с сестрами, не наследница. Ежели ты мне не веришь, то поверь людям знающим: я сейчас говорил с Дмитрием Онуфриевичем (это был адвокат дома), он то же сказал.

Видимо, что-то вдруг изменилось в мыслях княжны: тонкие губы побледнели (глаза остались те же), и голос, в то время как она заговорила, прорывался такими раскатами, каких она, видимо, сама не ожидала.

— Это было бы хорошо,— сказала она.— Я ничего не хотела и не хочу.

Она сбросила свою собачку с колен и оправила складки платья.

— Вот благодарность, вот признательность людям, которые всем пожертвовали для него,— сказала она.— Прекрасно! Очень хорошо! Мне ничего не нужно, князь.

— Да, но ты не одна, у тебя сестры,— ответил князь Василий. Но княжна не слушала его.

— Да, я это давно знала, но забыла, что, кроме низости, обмана, зависти, интриг, кроме неблагодарности, самой черной неблагодарности, я ничего не могла ожидать в этом доме...

— Знаешь ли ты или не знаешь, где это завещание? — спрашивал князь Василий, еще с большим, чем прежде, передергиванием щек.

— Да, я была глупа, я еще верила в людей, и любила их, и жертвовала собой. А успевают только те, которые подлы и гадки. Я знаю, чьи это интриги.

Княжна хотела встать, но князь удержал ее за руку. Княжна имела вид человека, вдруг разочаровавшегося во всем человеческом роде; она злобно смотрела на своего собеседника.

— Еще есть время, мой друг. Ты помни, Катишь, что всё это сделалось нечаянно, в минуту гнева, болезни, и потом забыто. Наша обязанность, моя милая, исправить его ошибку, облегчить его последние минуты тем, чтобы не допустить его сделать этой несправедливости, не дать ему умереть в мыслях, что он сделал несчастными тех людей...

— Тех людей, которые всем пожертвовали для него,— подхватила княжна, порываясь опять встать, но князь не пустил ее,— чего он никогда не умел ценить. Нет, mon cousin,— прибавила она со вздохом,— я буду помнить, что на этом свете нельзя ждать награды, что на этом свете нет ни чести, ни справедливости. На этом свете надо быть хитрою и злою.

— Ну, voyons[9], успокойся; я знаю твое прекрасное сердце.

— Нет, у меня злое сердце.

— Я знаю твое сердце,— повторил князь,— ценю твою дружбу, и желал бы, чтобы ты была обо мне того же мнения. Успокойся и parlon raison[10], пока есть время — может сутки, может час; расскажи мне все, что ты знаешь о завещании, и, главное, где оно, ты должна знать. Мы теперь же возьмем его и покажем графу. Он, верно, забыл уже про него и захочет его уничтожить. Ты понимаешь, что мое одно желание свято исполнить его волю; я за тем только и приехал сюда. Я здесь только за тем, чтобы помогать ему и вам.

— Теперь я всё поняла. Я знаю, чьи это интриги. Я знаю,— говорила княжна.

---

[9] послушай

[10] поговорим толком.

СМЕРТЬ ГРАФА БЕЗУХОВА

Рисунок М. С. Башилова, 1866 г.

«Я пошел ⟨...⟩ к Башилову ⟨...⟩ Картинок он сделал 13. Некоторые, как смерть Безухова и поцелуй, необыкновенно хороши» (из письма Толстого С. А. Толстой от 12 ноября 1866 г.)

— Не в том дело, моя душа.

— Это ваша protégée, ваша милая княгиня Друбецкая, Анна Михайловна, которую я не желала бы иметь горничной, эту мерзкую, гадкую женщину.

— Ne perdons point de temps[11].

— Ах, не говорите! Прошлую зиму она втерлась сюда и такие гадости, такие скверности наговорила графу на всех нас, особенно на Sophie,— я повторять не могу,— что граф сделался болен и две недели не хотел нас видеть. В это время, я знаю, что он написал эту гадкую, мерзкую бумагу, но я думала, что эта бумага ничего не значит.

— Nous y voilà[12],— отчего же ты прежде ничего не сказала мне?

— В мозаиковом портфеле, который он держит под подушкой! Теперь я знаю,— сказала княжна, не отвечая.— Да, ежели есть за мной грех, большой грех, то это ненависть к этой мерзавке,— почти прокричала княжна, совершенно изменившись.— И зачем она втирается сюда? Но я ей выскажу всё, всё. Придет время.

— Au nom du ciel, ma bonne, n'oubliez pas dans votre juste courroux,— сказал князь Василий, улыбаясь слегка,— que l'envie à mille yeux est là qui nous regarde. Nous devons agir, mais...[13].

XXIX

В то время как такие разговоры происходили в приемной и княжниной комнатах, карета с Пьером (за которым было послано) и с Анной Михайловной (которая нашла нужным ехать с ним) въезжала во двор

---

[11] Не будем терять время

[12] В этом-то и дело

[13] Ради бога, не забудьте в вашем оправданном гневе, что тысячеглазая зависть следит за нами. Мы должны действовать, но...

графа Безухого. Когда колеса кареты мягко зазвучали по соломе, настланной под окнами, Анна Михайловна, обратившись к своему спутнику с утешительными словами, убедилась в том, что он спит в углу кареты, и разбудила его. Очнувшись, Пьер за Анною Михайловной вышел из кареты и тут только подумал о том свидании с умирающим отцом, которое его ожидало. Он заметил, что они подъехали не к парадному а к заднему подъезду. В то время как он сходил с подножки, два человека в мещанской одежде торопливо отбежали от подъезда в тень стены. Приостановившись, Пьер разглядел в тени дома с обеих сторон еще несколько таких же людей. Но ни Анна Михайловна, ни лакей, ни кучер, которые не могли не видеть этих людей, не обратили на них внимания. «Стало быть, это так нужно»,— решил сам с собой Пьер и прошел за Анной Михайловной. Анна Михайловна поспешными шагами шла вверх по слабо освещенной, узкой, каменной лестнице, подзывая отстававшего за ней Пьера, который, хотя и не понимал, для чего ему надо было вообще идти к графу, и еще меньше, зачем ему надо было идти по задней лестнице, судя по уверенности и поспешности Анны Михайловны решил про себя, что это было необходимо нужно. На половине лестницы чуть не сбили их с ног какие-то люди с ведрами, которые, стуча сапогами, сбегали им навстречу. Люди эти прижались к стене, чтобы пропустить Пьера с Анной Михайловной, и не показали ни малейшего удивления при виде их.

— Здесь на половину княжен? — спросила Анна Михайловна одного из них.

— Здесь,— отвечал лакей смелым, громким голосом, как будто теперь всё уже было можно: — дверь налево, матушка.

— Может быть, граф не звал меня,— сказал Пьер, в то время как он вышел на площадку,— я пошел бы к себе.

Анна Михайловна остановилась, чтобы поровняться с Пьером.

— Ah, mon ami,— сказала она с тем же жестом, как утром с сыном, дотрагиваясь до его руки:

— Croyez que je souffre autant que vous, mais soyez homme[1].

— Право, я пойду,— спросил Пьер, ласково через очки глядя на Анну Михайловну.

— Ah, mon ami, oubliez les torts qu'on a pu avoir envers vous, pensez que c'est votre père... peut-etre à l'agonie[2].— Она вздохнула.— Je vous ai tout de suite aimé comme mon fils. Fiez-vous à moi, Pierre. Je n'oublierai pas vos intérêts[3].

Пьер ничего не понимал; опять ему еще сильнее показалось, что все это так должно быть, и он покорно последовал за Анной Михайловной, уже отворявшей дверь.

Дверь выходила в переднюю заднего хода. В углу сидел старик-слуга княжен и вязал чулок. Пьер никогда не был на этой половине, даже не предполагал существования таких покоев. Анна Михайловна спросила у обгонявшей их, с графином на подносе, девушки, назвав ее милой и голубушкой, о здоровье княжен и повлекла Пьера дальше по каменному коридору. Из коридора первая дверь налево вела в жилые комнаты княжен. Горничная с графином второпях (как и всё делалось второпях в эту минуту в этом доме) не затворила двери, и Пьер с Анною Михайловной, проходя мимо, невольно заглянули в ту комнату, где, разговаривая, сидели близко друг от друга старшая княжна с князем Василием. Увидав проходящих, князь Василий сделал нетерпеливое движение и откинулся назад, княжна вскочила и отчаянным жестом изо всей силы хлопнула дверью, затворяя ее.

---

[1] Ах, мой друг, поверьте, я страдаю не меньше вас, но будьте мужчиной.

[2] Забудьте, друг мой, в чем были против вас не правы. Вспомните, что это ваш отец... может быть, в агонии. Я тотчас полюбила вас, как сына. Доверьтесь мне, Пьер. Я не забуду ваших интересов.

Жест этот был так непохож на всегдашнее спокойствие княжны, страх, выразившийся на лице князя Василия, был так несвойствен его важности, что Пьер, остановившись, вопросительно через очки посмотрел на свою руководительницу. Анна Михайловна не выразила удивления, она только слегка улыбнулась и вздохнула, как будто показывая, что всего этого она ожидала.

— Soyez homme, mon ami, c'est moi qui veillerais à vos intérêts[3],— сказала она в ответ на его взгляд и еще скорее пошла по коридору.

Пьер не понимал в чем дело, и еще меньше, что значило veiller à vos intérêts[4], но он понимал, что всё это так должно было быть. Коридором они вышли в полуосвещенную залу, примыкавшую к приемной графа. Это была одна из тех холодных и роскошных комнат, которые знал Пьер с парадного крыльца. Но и в этой комнате, по середине, стояла пустая ванна и была пролита вода по ковру. Навстречу им вышел на цыпочках, не обращая на них внимания, слуга и причетник с кадилом. Они вошли в знакомую Пьеру приемную с двумя итальянскими окнами, выходом в зимний сад, с большим бюстом и во весь рост портретом Екатерины. Всё те же люди, почти в тех же положениях, сидели, перешептываясь, в приемной. Все, смолкнув, оглянулись на вошедшую Анну Михайловну, с ее исплаканным, бледным лицом, и на толстого, большого Пьера, который, опустив голову, покорно следовал за нею.

На лице Анны Михайловны выразилось сознание того, что решительная минута наступила, она, с приемами деловой петербургской дамы, вошла в комнату, не отпуская от себя Пьера, еще смелее, чем утром. Она, видимо, чувствовала, что, ведя за собою того, кого желал видеть умирающий, прием ее был обеспечен. Быстрым взглядом оглядев всех бывших в комнате и заметив графова духовника, она, не то что согнувшись, но сделавшись вдруг меньше ростом, мелкою иноходью подплыла к духовнику и почтительно приняла благословение одного, потом другого духовного лица.

— Славу богу, что успела,— сказала она духовному лицу,— мы все, родные, так боялись. Вот этот молодой человек — сын графа,— прибавила она тише.— Ужасная минута!

Проговорив эти слова, она подошла к доктору.— Cher docteur,— сказала она ему,— ce jeune homme est le fils du comte... y a-t-il de l'espoir?[5].

Доктор молча, быстрым движением, возвел кверху глаза и плечи. Анна Михайловна точно таким же движением возвела плечи и глаза, почти закрыв их, вздохнула и отошла от доктора к Пьеру. Она особенно почтительно и нежно-грустно обратилась к Пьеру:

— Ayez confianse en Sa miséricorde[6],— сказала она ему и, указав ему диванчик, чтобы сесть подождать ее, сама неслышно направилась к двери, на которую все смотрели, и вслед за чуть слышным звуком этой двери скрылась за нею.

Пьер, решившись во всем повиноваться своей руководительнице, направился к диванчику, который она ему указала. Как только Анна Михайловна скрылась, он заметил, что взгляды всех, бывших в комнате, больше чем с любопытством и с участием устремились на него. Он заметил, что все перешептывались, указывая на него глазами как будто с страхом и даже с подобострастием. Ему оказывали уважение, какого прежде никогда не оказывали: неизвестная ему дама, которая говорила с духовными лицами, встала с своего места и предложила ему сесть; адъютант поднял уроненную Пьером перчатку и подал ему. Доктора почтительно замолкли, когда он проходил мимо их, и посторонились, чтобы дать ему место. Пьер хотел сначала сесть на другое место, чтобы

---

[3] Будьте мужчиной, друг мой, я же стану блюсти ваши интересы.
[4] блюсти ваши интересы
[5] Милый доктор, этот молодой человек — сын графа... Есть ли надежда?
[6] Доверьтесь Его милосердию.

не стеснять даму, хотел сам поднять перчатку и обойти докторов, которые вовсе и не стояли на его дороге; но он вдруг почувствовал, что это было бы неприлично, он почувствовал, что он в нынешнюю ночь есть лицо, которое обязано совершить какой-то страшный и ожидаемый всеми обряд, и что поэтому он должен был принимать от всех услуги. Он принял молча перчатку адъютанта, сел на место дамы, положив свои большие руки на симметрично выставленные колени, в наивной позе египетской статуи, и, решив про себя, что всё это так именно должно быть, и что ему в нынешний вечер, для того, чтобы не потеряться и не наделать глупостей, не следует действовать по своим соображениям, а надобно предоставить себя вполне на волю тех, которые руководили им.

Не прошло и двух минут, как князь Василий, в своем кафтане с тремя звездами, величественно, высоко неся голову, вошел в комнату. Он казался похудевшим с утра; глаза его были больше обыкновенного, когда он оглянул комнату и увидал Пьера. Он подошел к нему, взял руку (чего он прежде никогда не делал) и потянул ее книзу, как будто он хотел испытать, крепко ли она держится.

— Courage, courage, mon ami. Il a demandé á vous voir. C'est bien...[7],— и он хотел идти. Но Пьер почел нужным спросить:

— Как здоровье...— Он замялся, не зная прилично ли назвать умирающего графом, назвать же отцом ему было совестно.

— Il a eu encore un coup? il y a une dem-heure. Courage, mon ami...[8].

Пьер был в таком состоянии неясности мысли, что при слове удар ему представился удар какого-нибудь тела. Он, недоумевая, посмотрел на князя Василия. И уже потом сообразил, что ударом называется болезнь. Князь Василий на ходу сказал несколько слов Лоррену и прошел в дверь на цыпочках. Он не умел ходить на цыпочках и неловко подпрыгивал всем телом. Вслед за ним прошла старшая княжна, потом прошли духовные лица и причетники, люди (прислуга) тоже прошла в дверь. За этою дверью послышалось передвиженье, и, наконец, всё с тем же бледным, но твердым в исполнении долга лицом выбежала Анна Михайловна и, дотронувшись до руки Пьера, сказала:

— La bonté divine est inépuisable. C'est la cérémonie de l'extrême onction qui va commencer. Venez[9].

Пьер прошел в дверь, ступая по мягкому ковру, и заметил, что и адъютант, и незнакомая дама, и еще кто-то из прислуги, все прошли за ним, как будто теперь уж не надо было спрашивать разрешения входить в эту комнату.

XXX

Пьер хорошо знал эту большую, разделенную колоннами и аркой комнату, всю обитую персидскими коврами. Часть комнаты за колоннами, где с одной стороны стояла высокая красного дерева кровать, под шелковыми занавесами, а с другой — огромный киот с образами, была красно и ярко освещена, как бывают освещены церкви во время вечерней службы. Под освещенными ризами киота стояло длинное вольтеровское кресло, и на кресле, обложенном вверху снежно-белыми, не смятыми, видимо, только что перемененными подушками, укрытая до пояса ярко зеленым одеялом лежала знакомая Пьеру величественная фигура его отца графа Безухого, с тою же седою гривой волос, напоминавших льва, над широким лбом, и с теми же характерно-благородными, крупными морщинами на красивом красно-желтом лице. Он лежал прямо под образами; обе толстые большие руки его были выпростаны из-под одеяла и лежали на нем. В правую руку, лежавшую ладонью книзу, между большим и указатель-

---

[7] Не унывать, не унывать, мой друг. Он пожелал вас видеть. Это хорошо...
[8] У него был еще удар, полчаса назад. Не унывать, мой друг...
[9] Милосердие божие неисчерпаемо. Соборование сейчас начнется. Пойдемте.

ным пальцами вставлена была восковая свеча, которую, нагибаясь из-за кресла, придерживал в ней старый слуга. Над креслом стояли духовные лица в своих величественных, блестящих одеждах, с выпростанными на них длинными волосами, с зажженными свечами в руках и медленно-торжественно служили. Немного позади их стояли две младшие княжны, с платком в руках и у глаз, и впереди их старшая, Катишь, с злобным и решительным видом, ни на мгновение не спуская глаз с икон, как будто говорила всем, что не отвечает за себя, если оглянется. Анна Михайловна с кроткою печалью и всепрощением на лице и неизвестная дама стояли у двери. Князь Василий стоял с другой стороны двери, близко к креслу, за резным, бархатным стулом, который он поворотил к себе спинкой, и, облокотив на нее левую руку со свечой, крестился правой, каждый раз поднимая глаза кверху, когда приставлял персты ко лбу. Лицо его выражало спокойную набожность и преданность воле божией. «Ежели вы не понимаете этих чувств, то тем хуже для вас»,— казалось говорило его лицо.

Сзади его стоял адъютант, доктора и мужская прислуга; как бы в церкви, мужчины и женщины разделились. Всё молчало, крестилось, только слышны были церковное чтение, сдержанное, густое, басовое пение и в минуты молчания перестановка ног и вздохи. Анна Михайловна, с тем значительным видом, который показывал, что она знает, что делает, перешла через всю комнату к Пьеру и подала ему свечу. Он зажег ее и, развлеченный наблюдением над окружающими, стал креститься тою же рукой, в которой была свеча.

Младшая, румяная и смешливая княжна Софи, с родинкою, смотрела на него. Она улыбнулась, спрятала свое лицо в платок и долго не открывала его, но, посмотрев на Пьера, опять засмеялась. Она, видимо, чувствовала себя не в силах глядеть на него без смеха, но не могла удержаться, чтобы не смотреть на него, и во избежание искушений тихо перешла за колонну. В середине службы голоса духовенства вдруг замолкли, духовные лица шёпотом сказали что-то друг другу; старый слуга, державший руку графа, поднялся и обратился к дамам. Анна Михайловна выступила вперед и, нагнувшись над больным из-за спины, пальцем поманила к себе Лоррена. Француз-доктор, стоявший без зажженной свечи, прислонившись к колонне, в той почтительной позе иностранца, которая показывает, что, несмотря на различие веры, он понимает всю важность совершающегося обряда и даже одобряет его,— неслышными шагами человека во всей силе возраста подошел к больному, взял своими белыми, тонкими пальцами его свободную руку с зеленого одеяла и, отвернувшись, стал щупать пульс и задумался. Больному дали чего-то выпить, зашевелились около него, потом опять расступились по местам, и богослужение возобновилось. Во время этого перерыва Пьер заметил, что князь Василий вышел из-за своей спинки стула и с тем же видом, который показывал, что он знает, что делает, и что тем хуже для других, ежели они не понимают его, не подошел к больному, а, пройдя мимо его, присоединился к старшей княжне и с ней вместе направился в глубь спальни, к высокой кровати под шелковыми занавесами. От кровати и князь и княжна оба скрылись в заднюю дверь; но перед концом службы один за другим возвратились на свои места. Пьер обратил на это обстоятельство не более внимания, как и на все другие, раз навсегда решив в своем уме, что всё, что совершалось перед ним нынешний вечер, было так необходимо нужно.

Звуки церковного пения прекратились, и послышался голос духовного лица, которое почтительно поздравляло больного с принятием таинства. Больной лежал всё так же безжизненно и неподвижно. Вокруг него всё зашевелилось, послышались шаги и шёпоты, из которых шёпот Анны Михайловны выдавался резче всех.

Пьер слышал, как она сказала:

— Непременно надо перенести на кровать, здесь никак нельзя будет...

Больного так обступили доктора, княжны и слуги, что Пьер уже не видал той красно-желтой головы, с седою гривой, которая, несмотря на то, что он видел и другие лица, ни на мгновение не выходила у него из вида во всё время службы. Пьер догадался по осторожному движению людей, обступивших кресло, что умирающего поднимали и переносили.

— За мою руку держись, уронишь так,— послышался ему испуганный шёпот одного из слуг,— снизу... еще один,— говорили голоса, и тяжелые дыхания и переступанья ногами людей стали торопливее, как будто тяжесть, которую они несли, была сверх сил их.

Несущие, в числе которых была и Анна Михайловна, поровнялись с молодым человеком, и ему на мгновение, из-за спин и затылков людей, показалась высокая, жирная, открытая грудь, тучные плечи больного, приподнятые кверху людьми, державшими его под мышки, и седая, курчавая, львиная голова. Голова эта с необычайно широким лбом и скулами, красивым чувственным ртом и величественным холодным взглядом, была не обезображена близостью смерти. Она была такая же, какою знал ее Пьер назад тому три месяца, когда граф отпускал его в Петербург. Но голова эта беспомощно покачивалась от неровных шагов несущих, и холодный, безучастный взгляд не знал на чем остановиться.

Прошло несколько минут суетни около высокой кровати; люди, несшие больного, разошлись; Анна Михайловна дотронулась до руки Пьера и сказала ему: Venez[1]. Пьер вместе с нею подошел к кровати, на которой в праздничной позе, видимо, имевшей отношение к только что совершенному таинству, был положен больной. Он лежал, высоко опираясь головой на подушки. Руки его были симметрично выложены на зеленом шелковом одеяле ладонями вниз. Когда Пьер подошел, граф глядел прямо на него, но глядел тем взглядом, которого смысл и значение нельзя понять человеку. Или этот взгляд ровно ничего не говорил, как только то, что покуда есть глаза, надо же глядеть куда-нибудь, или он говорил слишком многое. Пьер остановился, не зная, что ему делать, и вопросительно оглянулся на свою руководительницу, Анну Михайловну. Анна Михайловна сделала ему торопливый жест глазами, указывая на руку больного и губами посылая ей воздушный поцелуй. Пьер, старательно вытягивая шею, чтоб не зацепить за одеяло, исполнил ее совет и приложился к ширококостной и мясистой руке. Ни рука, ни один мускул лица графа не дрогнули. Пьер опять вопросительно посмотрел на Анну Михайловну, спрашивая, теперь что ему делать. Анна Михайловна глазами указала ему на кресло, стоявшее подле кровати. Пьер покорно стал садиться на кресло, глазами продолжая спрашивать, то ли он сделал, что нужно. Анна Михайловна одобрительно кивнула головой. Пьер принял опять симметрично-наивное положение египетской статуи, видимо, соболезнуя о том, что неуклюжее и толстое тело его занимало такое большое пространство и употребляя все душевные силы, чтобы казаться как можно меньше. Он смотрел на графа. Граф смотрел на то место, где находилось лицо Пьера в то время, как он стоял. Анна Михайловна являла в своем выражении сознание трогательной важности этой последней минуты свидания отца с сыном. Это продолжалось две минуты, которые показались Пьеру часом. Вдруг в крупных мускулах и морщинах лица графа появилось содрогание. Содрогание усиливалось, красивый рот покривился (тут только Пьер понял, до какой степени отец его был близок к смерти), из перекривленного рта послышался неясный хриплый звук. Анна Михайловна старательно смотрела в глаза больному и, стараясь угадать, чего было нужно ему, указывала то на Пьера, то на питье, то шёпотом вопросительно называла князя Василия, то указывала на одеяло. Глаза и лицо больного выказывали нетерпение. Он сделал усилие, чтобы взглянуть на слугу, который безотходно стоял у изголовья постели.

---

[1] Пойдемте.

— На другой бочок перевернуться хотят,— прошептал слуга и поднялся, чтобы переворотить лицом к стене тяжелое тело графа.

Пьер встал, чтобы помочь слуге.

В то время как графа переворачивали, одна рука его беспомощно завалилась назад, и он сделал напрасное усилие, чтобы перетащить ее. Заметил ли граф тот взгляд ужаса, с которым Пьер смотрел на эту безжизненную руку, или какая другая мысль промелькнула в его умирающей голове в эту минуту, но он посмотрел на непослушную руку, на выражение ужаса в лице Пьера, опять на руку, и на лице его явилась так не шедшая к его чертам слабая, страдальческая улыбка, выражавшая как бы насмешку над своим собственным бессилием. Неожиданно, при виде этой улыбки, Пьер почувствовал содрогание в груди, щипанье в носу, и слезы затуманили его зрение. Больного перевернули на бок к стене. Он вздохнул.

— Il est assoupi[2],— сказала Анна Михайловна, заметив приходившую на смену княжну.— Allons[3].

Пьер вышел.

XXXI

В приемной никого уже не было, кроме князя Василия и старшей княжны, которые, сидя под портретом Екатерины, о чем-то оживленно говорили. Как только они увидали Пьера с его руководительницей, они замолчали. Княжна что-то спрятала, как показалось Пьеру, и прошептала:

— Не могу видеть эту женщину.

— Catiche a fait donner du thé dans le petit salon[1],— сказал князь Василий Анне Михайловне.— Allez, ma pauvre[2] Анна Михайловна, prenez quelque chose, autrement vous ne suffirez pas[3].

Пьеру он ничего не сказал, только пожал с чувством его руку пониже плеча. Пьер с Анной Михайловной прошли в petit salon[4].

— Il n'y rien qui restaure comme une tasse de cet excellent thé russe après une nuit blanche[5],— говорил Лоррен с выражением сдержанной оживленности, отхлебывая из тонкой без ручки китайской чашки, стоя в маленькой круглой гостиной перед столом, на котором стоял чайный прибор и холодный ужин. Около стола собрались, чтобы подкрепить свои силы, все бывшие в эту ночь в доме графа Безухого. Пьер хорошо помнил эту маленькую круглую гостиную, с зеркалами и маленькими столиками. Во время балов в доме графа Пьер, не умевший танцовать, любил сидеть в этой маленькой зеркальной и наблюдать, как дамы в бальных туалетах, бриллиантах и жемчугах на голых плечах, проходя через эту комнату, оглядывали себя в ярко освещенные зеркала, несколько раз повторявшие их отражения. Теперь та же комната была едва освещена двумя свечами, и среди ночи на одном маленьком столике беспорядочно стояли чайный прибор и блюда, и разнообразные, непраздничные люди, шёпотом переговариваясь, сидели в ней, каждым движением, каждым словом показывая, что никто не забывает того, что делается теперь и имеет еще совершиться в спальне. Пьер не стал есть, хотя ему и очень хотелось. Он оглянулся вопросительно на свою руководительницу и увидел, что она на цыпочках выходила опять в приемную, где остался князь Василий с старшею княж-

---

[2] Он задремал.
[3] Пойдем.

[1] Катишь велела подать чаю в маленькой гостиной.
[2] Вы бы пошли, моя бедная
[3] подкрепиться, а то вас не хватит
[4] Маленькую гостиную.
[5] Ничто так не восстанавливает после бессонной ночи, как чашка этого превосходного русского чая.

ной. Пьер полагал, что и это было так нужно, и, помедлив немного, пошел за ней. Анна Михайловна стояла подле княжны, и обе они в одно время говорили взволнованным шопотом:

— Позвольте мне, княгиня, знать, что нужно и что не нужно,— говорила княжна, видимо, находясь в том же взволнованном состоянии, в каком она была в то время, как захлопывала дверь своей комнаты.

— Но, милая княжна,— кротко и убедительно говорила Анна Михайловна, заступая дорогу от спальни и не пуская княжну,— не будет ли это слишком тяжело для бедного дядюшки в такие минуты, когда ему нужен отдых? В такие минуты разговор о мирском, когда его душа уже приготовлена...

Князь Василий сидел на кресле в своей фамилиарной позе, высоко заложив ногу на ногу. Щеки его сильно перепрыгивали и, опустившись, казались толще внизу, но он имел вид человека, мало занятого разговором двух дам.

— Voyons, ma bonne[6] Анна Михайловна, laissez faire Catiche[7]. Вы знаете, как граф ее любит.

— Я и не знаю, что в этой бумаге,— говорила княжна, обращаясь к князю Василию и указывая на мозаиковый портфель, который она держала в руках.— Я знаю только, что настоящее завещание у него в бюро, а это забытая бумага...— Она хотела обойти Анну Михайловну, но Анна Михайловна, подпрыгнув, опять загородила ей дорогу.

— Я знаю, милая, добрая княжна,— сказала Анна Михайловна, хватаясь рукой за портфель и так крепко, что видно было — она не скоро его пустит.— Милая княжна, я вас прошу, я вас умоляю, пожалейте его. Je vous en conjure...[8].

Княжна молчала. Слышны были только звуки усилий борьбы за портфель. Видно было, что ежели она заговорит, то заговорит не лестно для Анны Михайловны. Анна Михайловна держала крепко, но, несмотря на то, голос ее удерживал всю свою сладкую тягучесть и мягкость.

— Пьер, подойдите сюда, мой друг. Я думаю, что он не лишний в родственном совете, не правда ли, князь?

— Что же вы молчите, mon cousin,— вдруг вскрикнула княжна так громко, что в гостиной услыхали и испугались ее голоса.— Что вы молчите, когда здесь бог знает кто позволяет себе вмешиваться и делать сцены на пороге комнаты умирающего. Интриганка! — прошептала она злобно и дернула портфель изо всей силы, но Анна Михайловна сделала несколько шагов, чтобы не отстать от портфеля, и перехватила руку.

— Oh! — сказал князь Василий, укоризненно и удивленно. Он встал.— C'est ridicule. Voyons[9],— пустите. Я вам говорю.

Княжна пустила.

— И вы.

Анна Михайловна не послушалась его.

— Пустите, я вам говорю. Я беру всё на себя. Я пойду и спрошу его. Я... довольно вам этого.

— Mais, mon prince...[10],— говорила Анна Михайловна,— после такого великого таинства, дайте ему минуту покоя. Вот, Пьер, скажите ваше мнение,— обратилась она к молодому человеку, который, вплоть подойдя к ним, удивленно смотрел на озлобленное, потерявшее все приличие лицо княжны и на перепрыгивающие щеки князя Василия.

— Помните, что вы будете отвечать за все последствия,— строго сказал князь Василий,— вы не знаете, что вы делаете.

---

[6] Послушайте, моя милая

[7] оставьте Катишь делать, что она знает.

[8] Я вас умоляю.

[9] Это смешно. Ну же.

[10] Но князь...

— Мерзкая женщина,— вскрикнула княжна, неожиданно бросаясь на Анну Михайловну и вырывая портфель. Князь Василий опустил голову и развел руками.

В эту минуту дверь, та страшная дверь, на которую так долго смотрел Пьер и которая так тихо отворялась, быстро, с шумом откинулась, стукнув об стену, и средняя княжна выбежала оттуда и всплеснула руками.

— Что вы делаете! — отчаянно проговорила она: — Il s'en va et vous me laissez seule[11].

Старшая княжна выронила портфель. Анна Михайловна быстро нагнулась и, подхватив спорную вещь, побежала в спальню. Старшая княжна и князь Василий, опомнившись, пошли за ней. Через несколько минут первая вышла оттуда старшая княжна, с бледным и сухим лицом и прикушенною нижнею губой. При виде Пьера лицо ее выразило неудержимую злобу.— Да, радуйтесь теперь,— сказала она,— вы этого ждали.— И, зарыдав, закрыла лицо платком и выбежала из комнаты.

За княжной вышел князь Василий. Он, шатаясь, дошел до дивана, на котором сидел Пьер, и упал на него, закрыв глаза рукой. Пьер заметил, что он был бледен, и что нижняя челюсть его прыгала и тряслась, как в лихорадочной дрожи.

— Ах, мой друг! — сказал он, взяв Пьера за локоть, и в голосе его была искренность и слабость, которые Пьер никогда прежде не замечал в нем.— Сколько мы грешим, сколько мы обманываем, и всё для чего? Мне шестой десяток, мой друг... ведь мне... Всё кончится смертью, всё. Смерть ужасна.— Он заплакал.

Анна Михайловна вышла последняя. Она подошла к Пьеру тихими медленными шагами.

— Пьер?..— сказала она.

Пьер вопросительно смотрел на нее. Она поцеловала в лоб молодого человека, увлажая его слезами. Она помолчала.

— Il n'est plus...[12].

Пьер смотрел на нее через очки.

— Allons, je vous reconduirai. Tâchez de pleurer. Rien ne soulage comme les larmes[13].

Она провела его в темную гостиную, и Пьер рад был, что никто там не видел его лица. Анна Михайловна ушла от него, и когда она вернулась, он, подложив под голову руку, спал крепким сном.

На другое утро Анна Михайловна говорила Пьеру:

— Oui, mon cher, c'est une grande perte pour nous tous, je ne parle pas de vous. Mais Dieu vous soutiendra, vous êtes jeune et vous voilà à la tête d'une immense fortune, je l'espère. Le testament n'a pas été encore ouvert. Je vous connais assez pour savoir que cela ne vous tournera pas la tête, mais cela vous impose des devoirs, et il faut être homme[14].

Пьер молчал.

— Peut-être plus tard je vous dirai, mon cher, que si je n'avais pas été là, Dieu sait ce qui serait arrivé. Vous savez mon oncle avant-hier encore me promettait de ne pas oublier Boris. Mais il n'a pas eu le temps. J'espère, mon cher ami, que vous remplirez le désir de votre père[15].

Пьер ничего не понимал и, молча, застенчиво краснея, что с ним

---

[11] Он умирает, а вы меня оставляете одну.

[12] Его не стало...

[13] Пойдемте, я вас провожу. Старайтесь плакать; ничто так не облегчает, как слезы.

[14] Да, мой друг, это великая потеря для всех нас, не говоря о вас. Но бог вас поддержит, вы молоды, и теперь, надеюсь, обладатель огромного богатства. Завещание еще не вскрыто. Я довольно вас знаю и уверена, что это не вскружит вам голову; но это налагает на вас обязанности, и надо быть мужчиной.

[15] После я, может быть, расскажу вам, что если бы я не была там, то бог знает что бы случилось. Вы знаете, что дядюшка третьего дня обещал мне не забыть Бориса, но не успел. Надеюсь, мой друг, вы исполните желание отца.

БОРЬБА ЗА МОЗАИКОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ С ЗАВЕЩАНИЕМ
Рисунок М. С. Башилова, 1866 г.

редко бывало, смотрел на княгиню Анну Михайловну. Переговорив с Пьером, Анна Михайловна уехала к Ростовым и легла спать. Проснувшись утром, она рассказывала Ростовым и всем знакомым подробности смерти графа Безухого. Она говорила, что граф умер так, как и она желала бы умереть, что конец его был не только трогателен, но и назидателен; последнее же свидание отца с сыном было до того трогательно, что она не могла вспомнить его без слез, и что она не знает, кто лучше вел себя в эти страшные и торжественные минуты: отец ли, который так всё и всех вспомнил в последние минуты и такие трогательные слова сказал сыну, или Пьер, на которого жалко было смотреть, как он был убит и как, несмотря на это, старался скрыть свою печаль, чтобы не огорчить умирающего отца.

— C'est pénible, mais cela fait du bien; ça élève l'ame de voir des hommes comme le vieux comte et son digne fils,— говорила она. О поступках княжны и князя Василья она, не одобряя их, тоже рассказывала, но под большим секретом и шёпотом [16].

---

[16] Это тяжело, но это спасительно; душа возвышается, когда видишь таких людей, как старый граф и его достойный сын.

В ДЕРЕВНЕ

XXXII

В Лысых Горах, имении князя Николая Андреевича Болконского, ожидали с каждым днем приезда молодого князя Андрея с княгиней, но ожидание не нарушало стройного порядка, по которому шла жизнь в доме старого князя. Генерал-аншеф, князь Николай Андреевич, по прозванию в обществе le roi de Prusse[1], с того времени, как при Павле был сослан в деревню, жил безвыездно в своих Лысых Горах с дочерью, княжной Марьей, и при ней компаньонкой m-lle Bourienne. И в нынешнее царствование, хотя ему и был разрешен въезд в столицы, он также продолжал безвыездно жить в деревне, говоря, что ежели кому его нужно, то тот и от Москвы полтораста верст доедет до Лысых Гор, а что ему никого и ничего не нужно. Он говорил, что есть только два источника людских пороков: праздность и суеверие, и что есть только две добродетели: деятельность и ум. Он сам занимался воспитанием своей дочери и, чтобы развивать в ней обе главные добродетели, до двадцати лет давал ей уроки алгебры и геометрии и распределял всю ее жизнь в беспрерывных занятиях. Сам он постоянно был занят то писанием своих мемуаров, то выкладками же из высшей математики, то точением табакерок на станке, то работой в саду и наблюдением над постройками, которые не прекращались в его имении, то чтением любимых авторов. Так как главное условие для деятельности есть порядок, то и порядок в его образе жизни был доведен до последней степени точности. Его выходы к столу совершались при одних и тех же неизменных условиях, и не только в один и тот же час, но и минуту. С людьми, окружавшими его, от дочери до слуг, князь был резок и неизменно требователен и потому, не быв жестоким, он возбуждал к себе страх и почтительность, каких не легко мог бы добиться самый жестокий человек. Несмотря на то, что он был в отставке и не имел теперь никакого значения в государственных делах, каждый начальник той губернии, где было имение князя, считал своим долгом являться к нему и, точно так же как архитектор, садовник или княжна Марья, дожидался назначенного часа выхода князя в высокой официантской. И каждый в этой официантской испытывал то же чувство почтительности и даже страха, в то время как отворялась громадная, высокая дверь кабинета и показывалась в напудренном парике невысокая фигурка старика, с маленькими, сухими ручками и серыми висячими бровями, иногда, когда он насупливался, застилавшими блеск умных и, точно молодых, блестящих глаз.

В день приезда молодых утром, по обыкновению, княжна Марья в урочный час входила для утреннего приветствия в официантскую и со страхом крестилась и читала внутренно молитву. Каждый день она входила и каждый день молилась о том, чтоб это ежедневное свидание сошло благополучно.

Сидевший в официантской пудреный старик-слуга тихим движением встал и шёпотом доложил: «Пожалуйте».

Из-за двери слышались равномерные звуки станка. Княжна робко потянула за легко и плавно отворяющуюся дверь и остановилась у входа. Князь работал за станком и, оглянувшись, продолжал свое дело.

---

[1] Прусский король

ВИД НА УСАДЬБУ ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Фотография, 1908 г.

Имение князя Болконского «Лысые горы» напоминает усадьбу Ясная Поляна

Огромный кабинет был наполнен вещами, очевидно, беспрестанно употребляемыми. Большой стол, на котором лежали книги и планы, высокие, стеклянные шкафы библиотеки с ключами в дверцах, мраморный стол для писания в стоячем положении, на котором лежала открытая тетрадь, токарный станок с разложенными инструментами и с рассыпанными кругом стружками,— всё выказывало постоянную, разнообразную и порядочную деятельность. По движениям небольшой ноги, обутой в татарский, шитый серебром, сапожок, по твердому налеганию жилистой сухощавой руки видна была в князе еще упорная и много выдерживающая сила свежей старости. Сделав несколько кругов, он снял ногу с педали станка, обтер стамеску, кинул ее в кожаный карман, приделанный к станку, и, подойдя к столу, подозвал дочь. Он никогда не благословлял своих детей и только, подставив ей щетинистую, еще не бритую нынче щеку, сказал, строго и вместе с тем внимательно-нежно оглядев ее: «Здорова?.. ну так садись!» (Говорил он как всегда коротко и отрывисто, раскрывая тетрадь геометрии, писаную его рукой, и подвигая ногой свое кресло.)

— На завтра! — сказал он, быстро отыскивая страницу и от параграфа до другого отмечая жестким ногтем. Княжна пригнулась к столу над тетрадью.— Постой, письмо тебе,— вдруг сказал старик, доставая из приделанного над столом кармана конверт, надписанный женскою рукой, и кидая его на стол.

Лицо княжны покрылось красными пятнами при виде письма. Она торопливо взяла его и пригнулась к нему.

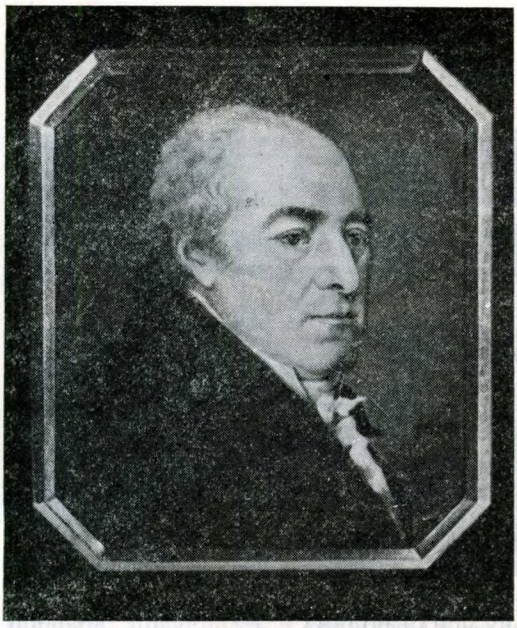
— От Элоизы? — спросил князь, холодною улыбкой выказывая еще крепкие, но редкие и желтоватые зубы.

— Да, от Жюли Ахросимовой,— сказала княжна, робко взглядывая и робко улыбаясь.

— Еще два письма пропущу, а третье прочту,— строго сказал князь: боюсь, много вздору пишете. Третье прочту.

— Прочтите хоть это, mon pere[2],— отвечала княжна, краснея еще более и подавая ему письмо.

[2] отец



Н. С. ВОЛКОНСКИЙ, ДЕД ТОЛСТОГО

Миниатюра неизвестного художника, 1806 г.

Некоторые черты характера Н. С. Волконского отражены в образе князя Н. А. Болконского

М. Н. ТОЛСТАЯ, МАТЬ ТОЛСТОГО

Силуэт работы неизвестного художника

Отдельные черты матери Толстого отражены в образе княжны Марьи

— Третье, я сказал, третье,— коротко крикнул князь, отталкивая письмо, и, облокотившись на стол, пододвинул тетрадь с чертежами геометрии.

— Ну, сударыня,— начал старик, пригнувшись близко к дочери и над тетрадью и положив одну руку на спинку кресла, на котором сидела княжна, так что княжна чувствовала себя со всех сторон окруженною тем табачным и старчески-едким запахом отца, который она так давно знала.

— Ну, сударыня, треугольники эти подобны; изволишь видеть, угол abc...

Княжна испуганно взглядывала на близко от нее блестящие глаза отца; красные пятна переливались по ее лицу, и видно было, что она ничего не понимает и так боится, что страх помешает ей понять все дальнейшие толкования отца, как бы ясны они ни были. Виноват ли был учитель, или виновата была ученица, но каждый день повторялось одно и то же: у княжны мутилось в глазах, она ничего не видела, не слышала, только чувствовала подле себя сухое лицо строгого отца, чувствовала его дыханье и запах и только думала о том, как бы ей уйти поскорее из кабинета и у себя на просторе понять задачу. Старик выходил из себя: с грохотом отодвигал и придвигал кресло, на котором сам сидел, делая усилия над собой, чтобы не разгорячиться, и почти всякий раз горячился, бранился, а иногда швырял тетрадью.

Княжна ошиблась ответом.— Ну, как же не дура! — крикнул князь, оттолкнув тетрадь и быстро отвернувшись; но тотчас же встал, прошелся, дотронулся руками до волос княжны и снова сел. Он придвинулся и усиленно успокоенным голосом продолжал толкование.

— Нельзя, княжна, нельзя,— сказал он, когда княжна, взяв и закрыв тетрадь с заданными уроками, уже готовилась уходить.— Математика ве-

УРОК МАТЕМАТИКИ

Гравюра на дереве К. И. Рихау по рисунку М. С. Башилова, 1866 г.
«Гравирование картинки урока математики превосходно» (из письма Толстого М. С. Башилову от 28 февраля 1867 г.)

ликое дело, моя сударыня. А чтобы ты была похожа на наших глупых барынь, я не хочу. Стерпится — слюбится.— Он потрепал ее рукой по щеке.— Дурь из головы выскочит.— Она хотела выйти, он остановил ее жестом и достал с высокого стола новую неразрезанную книгу.

— Вот еще какой-то *Ключ таинства*, который тебе твоя Элоиза посылает. Религиозная. А я ни в чью веру не вмешиваюсь. Просмотрел. Возьми. Ну, ступай, ступай!

Он потрепал ее по плечу и сам запер за нею дверь.

XXXIII

Княжна Марья возвратилась в свою комнату с грустным, испуганным выражением, которое редко покидало ее и делало ее некрасивое, болезненное лицо еще более некрасивым, села за свой письменный стол, уставленный миниатюрными портретами и заваленный тетрадями и книгами.

Княжна была столь же беспорядочна, как отец ее порядочен. Она положила тетрадь геометрии и нетерпеливо распечатала письмо. Когда, не читая еще, но только как будто взвешивая предстоящее удовольствие, она перевернула листики письма, лицо ее переменилось; она, видимо, успокоилась, села в свое любимое кресло в углу комнаты, подле огромного трюмо, и начала читать. Письмо было от ближайшего с детства друга княжны; друг этот была та самая Жюли Ахросимова, которая была на именинах у Ростовых. Марья Дмитриевна Ахросимова была соседка по именью с князем и два летние месяцы проводила в деревне. Князь уважал Марью Дмитриевну, хотя и подтрунивал над нею. Марья Дмитриевна одному только князю Николаю говорила «вы» и ставила его в пример всем нынешним людям.

Жюли писала:

«Chère et excellente amie, quelle chose terrible et effrayante que l'absence! J'ai beau me dire que la moitié de mon existence et de mon bonheur est en vous, que malgré la distance qui nous sépare, nos coeurs sont unis par des liens indissolubles; le mien se révolte contre la destinée, et je ne puis, malgré les plaisirs et les distractions qui m'entourent, vaincre une certaine tristesse cachée que je ressens au fond du coeur depuis notre séparation. Pourquoi ne sommes-nous pas réunies, comme cet été dans votre grand cabinet sur le canapé bleu, le canapé à confidences? Pourquoi ne puis-je, comme il y a trois mois, puiser de nouvelles forces morales dans votre regard si doux, si calme et si pénétrant, regard que j'aimais tant et que je crois voir devant moi, quand je vous écris?» [1]

Прочтя до этого места, княжна Марья вздохнула и оглянулась в трюмо, которое стояло направо от нее. Зеркало отразило некрасивое, слабое тело и худое лицо. Глаза, всегда грустные, теперь особенно безнадежно смотрели на себя в зеркало. «Она мне льстит»,— подумала княжна, отвернулась и продолжала читать. Жюли, однако, не льстила своему другу: действительно, глаза княжны, большие, глубокие и лучистые (как будто лучи теплого света иногда снопами выходили из них), были так хороши, что очень часто, несмотря на некрасивость всего лица, глаза эти делались привлекательнее красоты. Но княжна никогда не видала хорошего выражения своих глаз, того выражения, которое они принимали в те минуты, когда она не думала о себе. Как и у всех людей, лицо ее принимало натянуто-неестественное, дурное выражение, как скоро она смотрелась в зеркало. Она продолжала читать:

«Tout Moscou ne parle que guerre. L'un de mes deux frères est déjà à l'étranger, l'autre est avec la garde, qui se met en marche vers la frontière. Notre cher empereur a quitté Pétersbourg et, à ce qu'on prétend, compte lui-même exposer sa précieuse existence aux chances de la guerre. Dieu veuille que le monstre corsicain, qui détruit le repos de l'Europe, soit terrassé par l'ange que le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, nous a donné pour souverain. Sans parler de mes frères, cette guerre m'a privée d'une relation des plus chères à mon coeur. Je parle du jeune Nicolas Rostoff qui avec son enthousiasme n'a pu supporter l'inaction et a quitté l'université pour aller s'enrôler dans l'armée. Eh bien, chère Marie, je vous avouerai, que, malgré son extrême jeunesse, son départ pour l'armée a été, un grand chagrin pour moi. Le jeune homme, dont je vous parlais cet été, a tant de

[1] «Милый и бесценный друг, какая страшная и ужасная вещь разлука! Сколько ни твержу себе, что половина моего существования и моего счастья в вас, что, несмотря на расстояние, которое нас разлучает, сердца наши соединены неразрывными узами, мое сердце возмущается против судьбы, и, несмотря на удовольствия и рассеяния, которые меня окружают, я не могу подавить некоторую скрытую грусть, которую испытываю в глубине сердца со времени нашей разлуки. Отчего мы не вместе, как в прошлое лето, в нашем большом кабинете, на голубом диване, на диване «признаний»? Отчего я не могу, как три месяца тому назад, почерпать новые нравственные силы в вашем взгляде, кротком, спокойном и проницательном, который я так любила и который вижу перед собой в ту минуту, как пишу вам?»

noblesse, de véritable jeunesse qu'on rencontre si rarement dans le siècle où nous vivons parmi nos vieillards de vingt ans. Il a surtout tant de franchise et de coeur. Il est tellement pur et poétique, que mes relations avec lui, quelque passagères qu'elles fussent, ont été l'une des plus douces jouissances de mon pauvre coeur, qui a déjà tant souffert. Je vous raconterai un jour nos adieux et tout ce qui s'est dit en partant. Tout cela est encore trop frais. Ah! chère amie, vous êtes heureuse de ne pas connaître ces jouissances et ces peines si poignantes. Vous êtes heureuse, puisque les dernières — sont ordinairement les plus fortes! Je sais fort bien, que le comte Nicolas est trop jeune pour pouvoir jamais devenir pour moi quelque chose de plus qu'un ami, mais cette douce amitié, ces relations si poétiques et si pures ont été un besoin pour mon coeur. Mais n'en parlons plus. La grande nouvelle du jour qui occupe tout Moscou est la mort du vieux comte Безухов et son héritage. Figurez-vous que les trois princesses n'ont reçu que très peu de chose, le prince Basile rien, est que c'est M. Pierre qui a tout hérité, et qui par-dessus le marché a été reconnu pour fils légitime, par conséquent comte Безухов et possesseur de la plus belle fortune de la Russie. On prétend que le prince Basile a joué un très vilain rôle dans toute cette histoire et qu'il est reparti tout penaud pour Pétersbourg.

Je vous avoue, que je comprends très peu toutes ces affaires de legs et de testament; ce que je sais, c'est que depuis que le jeune homme que nous connaissions tous sous le nom de M. Pierre tout court, est devenu comte Безухов et possesseur de l'une des plus grandes fortunes de la Russie. Je m'amuse fort à observer le changement de ton et des manières des mamans accablées de filles à marier et des demoiselles, elles-mêmes à l'ègard de cet individu, qui, par parenthèse, m'a paru toujours être un pauvre sire. Il n'y a que maman qui continue à le traiter avec sa rudesse habituelle. Comme on s'amuse depuis deux ans à me donner des promis que je ne connais pas le plus souvent, la chronique matrimoniale de Moscou me fait comtesse Безухов. Mais vous sentez bien que je ne me soucie nullement de le devenir. A propos de mariage, savez-vous que tout dernièrement *la tante en général* Анна Михайловна m'a confié sous le sceau du plus grand secret un projet de mariage pour vous. Ce n'est ni plus ni moins, que le fils du prince Basile, Anatole, qu'on voudrait ranger en le mariant à une personne riche et distinguée, et c'est sur vous qu'est tombé le choix des parents. Je ne sais comment vous envisagerez la chose, mais j'ai cru de mon devoir de vous en avertir. On le dit très beau et très mauvais sujet; c'est tout ce que j'ai pu savoir sur son compte.

Mais assez de bavardage comme cela. Je finis mon second feuillet, et maman me fait chercher pour aller dîner chez les Apraksines.

Lisez le livre mystique que je vous envoie et que fait fureur chez nous. Quoiqu'il y ait des choses dans ce livre difficiles à atteindre avec la faible conception humaine, c'est un livre admirable dont la lecture calme et élève l'âme. Adieu. Mes respects à monsieur votre père et mes compliments à m-lle Bourienne. Je vous embrasse comme je vous aime.

Julie.

P. S. Donnez-moi des nouvelles de votre frère et de sa charmante petite femme» [2].

---

[2] «Вся Москва только и говорит о войне. Один из моих двух братьев уже за границей, другой с гвардией, которая выступает в поход к границе. Наш милый государь оставляет Петербург и, как предполагают, намерен сам подвергнуть свое драгоценное существование случайностям войны. Дай бог, чтобы корсиканское чудовище, которое возмущает спокойствие Европы, было низвергнуто ангелом, которого Всемогущий в своей благости поставил над нами повелителем. Не говоря уже о моих братьях, эта война лишила меня одного из отношений, самых близких моему сердцу. Я говорю о молодом Николае Ростове, который при своем энтузиазме не мог переносить бездействия и оставил университет, чтобы поступить в армию. Признаюсь вам, милая Мария, что, несмотря на его чрезвычайную молодость, отъезд его в армию

Княжна подумала, задумчиво улыбаясь, причем лицо ее, освещенное лучистыми глазами, совершенно преобразилось, и вдруг поднявшись, тяжело ступая, перешла к столу. Она достала бумагу, и рука ее быстро начала ходить по ней. Так писала она в ответ:

«Chère et excellente amie. Votre lettre du 13 m'a causé une grande joie. Vous m'aimez donc toujours, ma poétique Julie. L'absence, dont vous dites tant de mal, n'a donc pas eu son influence habituelle sur vous. Vous vous plaignez de l'absence — que devrai-je dire moi si *j'osais* me plaindre, privée de tous ceux qui me sont chers? Ah! si nous n'avions pas la réligion pour nous consoler, la vie serait bien triste. Pourquoi me supposez-vous un regard sévère, quand vous me parlez de votre affection pour le jeune homme? Sous ce rapport je ne suis rigide que pour moi. Je me connais assez bien, pour être convaincu, que sans être ridicule jamais je ne pourrais éprouver ces sentiments d'amour qui vous semblent être si doux. Je comprends ces sentiments chez les autres et si je ne puis approuver ne les ayant jamais ressentis, je ne les condamne pas. Il me paraît seulement que l'amour chrétien, l'amour du prochain, l'amour pour ses ennemis est plus méritoire, plus doux et plus beau, que ne le sont les sentiments que peuvent inspirer les beaux yeux d'un jeune homme à une jeune fille poétique et aimante comme vous.

La nouvelle de la mort du comte Безухой nous est parvenue avant votre lettre, et mon père en a été très affecté. Il dit que c'était l'avant-der-

---

был для меня большим горем. В молодом человеке, о котором я вам говорила прошлым летом, столько благородства, истинной молодости, которую встречаешь так редко в наш век между двадцатилетними стариками. У него особенно так много откровенности и сердца. Он так чист и полон поэзии, что мои отношения к нему, при всей мимолетности своей, были одною из самых сладостных отрад моего бедного сердца, которое уже так много страдало. Я вам расскажу когда-нибудь наше прощанье и всё, что говорилось при прощании. Всё это еще слишком свежо... Ах! милый друг, вы счастливы, что не знаете этих жгучих наслаждений, этих жгучих горестей. Вы счастливы, потому что последние обыкновенно сильнее первых. Я очень хорошо знаю, что граф Николай слишком молод для того, чтобы сделаться для меня чем-нибудь, кроме как другом. Но эта сладкая дружба, эти столь поэтические и столь чистые отношения были потребностью моего сердца. Но довольно об этом.

Главная новость, занимающая всю Москву,— смерть старого графа Безухого и его наследство. Представьте себе, три княжны получили какую-то малость, князь Василий ничего, а Пьер — наследник всего и сверх того признан законным сыном и потому графом Безухим и владельцем самого огромного состояния в России. Говорят, что князь Василий играл очень гадкую роль во всей этой истории и что он уехал в Петербург очень сконфуженный. Признаюсь вам, что я очень плохо понимаю все эти дела по духовным завещаниям; знаю только, что с тех пор, как молодой человек, которого мы все знали под именем просто Пьера, сделался графом Безухим и владельцем одного из лучших состояний России,— я забавляюсь наблюдениями над переменой тона маменек, у которых есть дочери-невесты, и самих барышень в отношении к этому господину, который, в скобках будь сказано, всегда казался мне очень ничтожным. Только одна маменька продолжает трактовать его с своею обычною резкостью. Так как уже два года все забавляются тем, чтобы приискивать мне женихов, которых я большею частью не знаю, то брачная хроника Москвы делает меня графинею Безуховой. Но вы понимаете, что я нисколько этого не желаю. Кстати о браках. Знаете ли вы, что недавно всеобщая тетушка Анна Михайловна доверила мне под величайшим секретом замысел устроить ваше супружество. Это ни более ни менее, как сын князя Василия, Анатоль, которого хотят пристроить, женив его на богатой и знатной девице, и на вас пал выбор родителей. Я не знаю, как вы посмотрите на это дело, но я сочла своим долгом предуведомить вас. Он, говорят, очень хорош и большой повеса. Вот всё, что я могла узнать о нем.

Но будет болтать. Кончаю мой второй листок, а маменька прислала за мной, чтобы ехать обедать к Апраксиным.

Прочитайте мистическую книгу, которую я вам посылаю; она имеет у нас огромный успех. Хотя в ней есть вещи, которые трудно понять слабому уму человеческому, но это превосходная книга; чтение ее успокаивает и возвышает душу. Прощайте. Мое почтение вашему батюшке и мои приветствия мадемуазель Бурьен. Обнимаю вас от всего сердца.

Юлия.

P. S. Известите меня о вашем брате и о его прелестной жене».

nier représentant du grand siècle, et qu'à présent c'est son tour; mais qu'il fera son possible pour que son tour vienne le plus tard possible. Que dieu nous garde de ce terrible malheur! Je ne puis partager votre opinion sur Pierre que j'ai connu enfant. Il me paraissait toujours avoir un coeur excellent, et c'est la qualité que j'estime le plus dans les gens. Quant à son héritage et au rôle qu'y a joué le prince Basile, c'est bien triste pour tous les deux. Ah! chère amie, la parole de notre divin Sauveur qu'il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'il ne l'est a un riche d'entrer dans le royaume de dieu, cette parole est terriblement vraie; je plains le prince Basile et je regrette encore davantage Pierre. Si jeune et accablé de cette richesse, que de tentations n'aura-t-il pas à subir! Si on me demandait ce que je désirerais le plus au monde, ce serait d'être plus pauvre que le plus pauvre des mendiants. Mille grâces, chère amie, pour l'ouvrage que vous m'envoyez, et qui fait si grande fureur chez vous. Cependant, puisque vous me dites qu'au milieu de plusieurs bonnes choses il y en a d'autres que la faible conception humaine ne peut atteindre, il me paraît assez inutile de s'occuper d'une lecture inintelligible; qui par là même, ne pourrait être d'aucun fruit. Je n'ai jamais pu comprendre la passion qu'ont certaines personnes de s'embrouiller l'entendement, en s'attachant à des livres mystiques, qui n'élèvent que des doutes dans leurs esprits, exaltent leur imagination et leur donnent un caractère d'exagération tout-à-fait contraire à la simplicité chrétienne. Lisons les Apôtres et l'Evangile. Ne cherchons pas à pénétrer ce que ceux-là renferment de mystérieux, car, comment oserions-nous, misérables pécheurs que nous sommes, prétendre à nous initier dans les secrets terribles et sacrés de la providence, tant que nous portons cette dépouille charnelle, qui élève entre nous et l'eternel un voile impénétrable? Bornons-nous donc à étudier les principes sublimes que notre divin sauveur nous a laissé pour notre conduite icibas; cherchons à nous y conformer et à les suivre, persuadons-nous que moins nous donnons d'essor à notre faible esprit humain et plus il est agréable à Dieu, Qui rejette toute science ne venant pas de Lui; que moins nous cherchons à approfondir ce qu'il Lui a plu de dérober à notre connaissance, et plutôt. Il nous en accordera la découverte par Son divin esprit.

Mon père ne m'a pas parlé du prétendant, mais il m'a dit seulement qu'il a reçu une lettre et attendait une visite du prince Basile. Pour ce qui est du projet de mariage qui me regarde, je vous dirai, chère et excellente amie, que le mariage, selon moi, est une institution divine à laquelle il faut se conformer. Quelque pénible que cela soit pour moi, si le Tout-Puissant m'impose jamais les devoirs d'épouse et de mère, je tâcherai de les remplir aussi fidèlement que je le pourrai, sans m'inquiéter de l'examen de mes sentiments à l'égard de celui qu'il me donnera pour époux.

J'ai reçu une lettre de mon frère, qui m'annonce son arrivée à Лысые Горы avec sa femme. Ce sera une joie de courte durée, puisqu'il nous quitte pour prendre part à cette malheureuse guerre, à laquelle nous sommes entraînés dieu sait comment et pourquoi. Non seulement chez vous au centre des affaires et du monde on ne parle que de guerre, mais ici, au milieu de ces travaux champêtres et de ce calme de la nature que les citadins se représentent ordinairement à la campagne, les bruits de la guerre se font entendre et sentir péniblement. Mon père ne parle que marche et contremarche, choses auxquelles je ne comprends rien; et avant-hier en faisant ma promenade habituelle dans la rue du village, je fus témoin d'une scène déchirante... C'était un convoi des recrues enrôlés chez nous et expédiées pour l'armée... Il fallait voir l'état dans lequel se trouvaient les mères, les femmes, les enfants des hommes qui partaient et entendre les sanglots des uns et des autres! On dirait que l'humanité a oublié les lois de son divin Sauveur, qui prêchait l'amour et le pardon des offenses, et qu'elle fait consister son plus grand mérite dans l'art de s'entretue.

Adieu, chère et bonne amie, que notre divin Sauveur et sa très sainte mère vous aient en Leur sainte et puissante garde. Marie» [3].

[3] «Милый и бесценный друг. Ваше письмо от 13-го доставило мне большую радость. Вы все еще меня любите, моя поэтическая Юлия. Разлука, о которой вы говорите так много дурного, видно, не имела на вас своего обычного влияния. Вы жалуетесь на разлуку, что же я должна была бы сказать, если бы смела,— я, лишенная всех тех, кто мне дорог. Ах, ежели бы не было у нас религии для утешения, жизнь была бы очень печальна. Почему приписываете вы мне строгий взгляд, когда говорите о вашей склонности к молодому человеку? В этом отношении я строга только к себе. Я знаю себя достаточно и очень хорошо понимаю, что, не сделавшись смешною, я не могу испытывать тех чувств любви, которые вам кажутся так сладки. Я понимаю эти чувства у других и, если не могу одобрять их, никогда не испытавши, но и не осуждаю их. Мне кажется только, что христианская любовь, любовь к ближнему, любовь к врагам, достойнее, слаще и лучше, чем те чувства, которые могут внушить прекрасные глаза молодого человека молодой девушке, поэтической и любящей, как вы.

Известие о смерти графа Безухова дошло до нас прежде вашего письма, и мой отец был очень тронут им. Он говорит, что это был предпоследний представитель великого века, что теперь черед за ним, но что он сделает все, зависящее от него, чтобы черед этот пришел как можно позже. Избави нас боже от этого несчастия.

Я не могу разделять вашего мнения о Пьере, которого знала еще ребенком. Мне казалось, что у него было всегда прекрасное сердце, а это то качество, которое я более всего ценю в людях. Что касается до его наследства и до роли, которую играл в этом князь Василий, то это очень печально для обоих. Ах, милый друг, слова нашего божественного спасителя, что легче верблюду пройти в игольное ухо, чем богатому войти в царствие божие,— эти слова страшно справедливы. Я жалею князя Василия и еще более Пьера. Такому молодому быть отягощенным таким огромным состоянием,— через сколько искушений надо будет пройти ему! Если бы у меня спросили, чего я желаю более всего на свете,— я желаю быть беднее самого бедного из нищих. Благодарю вас тысячу раз, милый друг, за книгу, которую вы мне посылаете и которая делает столько шуму у вас. Впрочем, так как вы мне говорите, что в ней между многими хорошими вещами есть такие, которых не может постигнуть слабый ум человеческий, то мне кажется излишним заниматься непонятным чтением, которое по этому самому не могло бы принести никакой пользы. Я никогда не могла понять страсть, которую имеют некоторые особы, путать себе мысли, пристращаясь к мистическим книгам, которые возбуждают только сомнения в их умах, раздражают их воображение и дают им характер преувеличения, совершенно противный простоте христианской. Будем читать лучше Апостолов и Евангелие. Не будем пытаться проникнуть то, что в этих книгах есть таинственного, ибо, как можем мы, жалкие грешники, познать страшные и священные тайны Провидения, до тех пор, пока носим на себе ту плотскую оболочку, которая воздвигает между нами и Вечным непроницаемую завесу? Ограничимся лучше изучением великих правил, которые наш Божественный Спаситель оставил нам для нашего руководства здесь на земле, будем стараться следовать им и постараемся убедиться в том, что, чем меньше мы будем давать разгула нашему уму, тем мы будем приятнее богу, который отвергает всякое знание, исходящее не от него, и что, чем меньше мы углубляемся в то, что Ему угодно было скрыть от нас, тем скорее Он даст нам это открытие своим божественным разумом.

Отец мне ничего не говорил о женихе, но сказал только, что получил письмо и ждет посещения князя Василия; что касается до плана супружества относительно меня, я вам скажу, милый и бесценный друг, что брак, по-моему, есть божественное установление, которому нужно подчиняться. Как бы то ни было тяжело для меня, но если Всемогущему угодно будет наложить на меня обязанности супруги и матери, я буду стараться исполнять их так верно, как могу, не заботясь об изучении своих чувств в отношении того, кого Он мне даст супругом.

Я получила письмо от брата, который мне объявляет о своем приезде с женой в Лысые Горы. Радость эта будет непродолжительна, так как он оставляет нас для того, чтобы принять участие в этой войне, в которую мы втянуты, бог знает как и зачем. Не только у вас, в центре дел и света, но и здесь, среди этих полевых работ и этой тишины, какую горожане обыкновенно представляют себе в деревне, отголоски войны слышны и дают себя тяжело чувствовать. Отец мой только и говорит что о походах и переходах, в чем я ничего не понимаю, и третьего дня, делая мою обычную прогулку по улице деревни, я видела раздирающую душу сцену. Это была партия рекрут, набранных у нас и посылаемых в армию. Надо было видеть состояние, в котором находились матери, жены и дети тех, которые уходили, и слышать рыдания тех и других. Подумаешь, что человечество забыло законы своего Божественного Спасителя, учившего нас любви и прощению, и что оно полагает главное достоинство свое в искусстве убивать друг друга.

Прощайте, милый и добрый друг. Да сохранит вас наш Божественный Спаситель и Его Пресвятая Матерь под своим святым и могущественным покровом.

Мария».

— Ah, vous expédiez le courier, princesse, moi j'ai déjà expédié le mien. J'ai écris à ma pauvre mère[4],— заговорила быстро-приятным голоском вечно улыбающаяся m-lle Bourienne, картавя на *р* и внося с собой в сосредоточенную, грустную и пасмурную атмосферу княжны Марьи совсем другой, легкомысленно-веселый и самодовольный, мир.

— Princesse, il faut que je vous prévienne,— прибавила она, понижая голос,— le prince à eu une altercation,— altercation,— сказала она, особенно грассируя и с удовольствием слушая себя,— une altercation avec Michel Ivanoff. Il est de très mauvais humeur, très morose. Soyez prévenue, vous savez...[5].

— Ah! chère amie! — отвечала княжна Марья,— je vous ai prié de ne jamais me prévenir de l'humeur dans laquelle se trouve mon père. Je ne me permets pas de le juger, et je ne voudrais pas que les autres le fassent[6].

Княжна взглянула на часы и, заметив, что она уже пять минут пропустила то время, которое должна была употреблять для игры на клавикордах, с испуганным видом пошла в диванную. Между 12 и 2 часами сообразно с заведенным порядком дня, князь отдыхал, а княжна играла на клавикордах.

XXXIV

Седой камердинер сидел, дремля, и прислушивался к храпению князя в огромном кабинете. Из дальней стороны дома, из-за затворенных дверей, слышались по двадцати раз повторяемые трудные пассажи Дюссековой сонаты.

В это время подъехала к крыльцу карета и бричка, и из кареты вышел князь Андрей, который учтиво, но холодно, как и всегда, высадил свою маленькую жену и пропустил ее вперед. Седой Тихон, в парике, высунувшись из двери официантской, шёпотом доложил, что князь почивают, и торопливо затворил дверь. Тихон знал, что ни приезд сына и никакие необыкновенные события не должны были нарушать порядка дня. Князь Андрей, видимо, знал это так же хорошо, как и Тихон; он посмотрел на часы, как будто для того чтобы поверить, не изменились ли привычки отца за то время, в которое он не видал его, и, убедившись, что они не изменились, обратился к жене:

— Через двадцать минут он встанет. Пройдем к княжне Марье,— сказал он.

Маленькая княгиня изменилась за это время. Возвышение ее талии сделалось значительно больше, она больше перегибалась назад и чрезвычайно потолстела, но глаза и короткая губка с усиками и улыбкой поднималась так же весело и мило, когда она заговорила:

— Mais c'est un palais[1]! — сказала она мужу, оглядываясь кругом с тем выражением, с каким говорят похвалы хозяину бала.

— Allons, vite, vite[2].

Она, оглядываясь, улыбалась и Тихону, и мужу, и официанту, провожавшему их.

— C'est Marie qui s'exerce? Allons doucement, il faut la surprendre[3].

Князь Андрей шел за ней с учтивым и грустным выражением.

— Ты постарел, Тихон,— сказал он, проходя, старику, целовавшему его руку, и обтер ее батистовым платком.

---

[4] А, вы отправляете письмо, я уж отправила свое. Я писала моей бедной матери.

[5] Надо предупредить вас, княжна, что князь разбранился с Михаилом Ивановичем. Он очень не в духе, такой угрюмый. Предупреждаю вас, знаете...

[6] Ах, милый друг мой! Я просила вас никогда не говорить мне, в каком расположении духа батюшка. Я не позволяю себе судить его и не желала бы, чтобы и другие судили.

[1] Да это дворец!

[2] Пойдем скорее, скорее.

[3] Это Мари разыгрывает? Тише, застанем ее врасплох.

Перед комнатой, в которой слышны были клавикорды, из боковой двери выскочила хорошенькая белокурая француженка. M-lle Bourienne казалась обезумевшею от восторга.

— Ah! quel bonheur pour la princesse[4],— заговорила она.— Enfin! Il faut que je la prévienne[5].

— Non, non, de grâce... Vous êtes m-lle Bourienne, je vous connais déjà par l'amitié que vous porte ma belle-soeur[6],— говорила княгиня, целуясь с француженкой.— Elle ne nous attend pas[7].

Они подошли к двери диванной, из которой слышался опять и опять повторяемый пассаж. Князь Андрей остановился и поморщился, как будто ожидая чего-то неприятного.

Княгиня вошла. Пассаж оборвался на середине; послышался крик, тяжелые ступни княжны Марьи и звуки поцелуев и мычания. Когда князь Андрей вошел, княжна и княгиня, только раз на короткое время видевшиеся во время свадьбы князя Андрея, обхватившись крепко руками, крепко прижимались губами к тем местам, на которые попали в первую минуту. M-lle Bourienne стояла около них, прижав руки к сердцу и набожно улыбаясь, очевидно, столько же готовая заплакать, сколько и засмеяться. Князь Андрей пожал плечами и поморщился, как морщатся любители музыки, услышав фальшивую ноту. Обе женщины отпустили друг друга; потом опять, как будто боясь опоздать, схватили друг друга за руки, стали целовать и отрывать руки и потом опять стали целовать друг друга в лицо, и совершенно неожиданно для князя Андрея обе заплакали и опять стали целоваться. M-lle Bourienne тоже заплакала. Князю Андрею было очевидно неловко и совестно, но для двух женщин казалось так естественно, что они плакали, казалось они и не предполагали, чтобы могло иначе совершиться это свидание.

— Ah! chère!.. Ah! Marie[8],— вдруг заговорили обе женщины и засмеялись.— J'ai rêvé cette nuit...— Vous ne nous attendiez donc pas?.. Ah!.. Marie, vous avez maigri...— Et vous avez repris...[9].

— J'ai tout de suite reconnu madame la princesse[10],— вставила m-lle Бурьен.

— Et moi, qui ne me doutais pas![11] — восклицала княжна Марья.— Ah! André, je ne vous voyais pas[12].

Князь Андрей поцеловался с сестрою рука в руку и сказал ей, что она такая же pleurnicheuse[13], как всегда была. Княжна Марья повернулась к брату, и сквозь слезы любовный, теплый и кроткий взгляд ее прекрасных в ту минуту, больших, лучистых глаз остановился на лице князя Андрея, так что, всегда дурная, сестра его показалась ему хороша в эту минуту. Но она в ту же минуту обратилась опять к belle soeur и молча стала пожимать ее руку. Княгиня говорила без умолку. Короткая верхняя губка с усиками то и дело на мгновение слетала вниз, притрогивалась, где нужно было, к румяной нижней губке и вновь открывалась блестевшая зубами и глазами улыбка. Княгиня рассказывала случай, который был с ними на Мценской горе, грозивший опасностию в ее положении, и сейчас же после этого сообщила, что она все платья свои оставила в Петербурге, и здесь будет ходить бог знает в чем, и что Андрей совсем переменился, и что Китти Одынцова вышла замуж за

---

[4] Ах, какая радость для княжны.

[5] Наконец! Надо ее предупредить.

[6] Нет, нет, пожалуйста... Вы м-ль Бурьен; я уже знакома с вами по той дружбе, какую имеет к вам моя невестка.

[7] Она не ожидает нас.

[8] Ах, милая!.. Ах, Мари!..

[9] А я видела во сне...— Так вы нас не ожидали?.. Ах, Мари, вы так похудели...— А вы так пополнели...

[10] Я тотчас узнала княгиню.

[11] А я и не подозревала!

[12] Ах, Андрей, я и не видала тебя.

[13] плакса

старика, и что есть жених для княжны Марьи pour tout de bon[14], но что об этом поговорим после. Княжна Марья все еще молча смотрела на свою невестку, и в прекрасных глазах ее была и любовь и грусть, как будто она жалела эту молодую женщину и не могла ей высказать причину своего сожаления. Видно было, что в ней установился теперь свой ход мысли, независимый от речей невестки. Она, в середине ее рассказа о последнем празднике в Петербурге, обратилась к брату:

— И ты решительно едешь на войну, André? — сказала она, вздохнув. Lise вздохнула тоже.

— Даже завтра,— отвечал брат.

— Il m'abandonne ici, et Dieu sait pourquoi, quand il aurait pu avoir de l'avancement...[15]. Княжна Марья не дослушала и, продолжая нить своих мыслей, обратилась к невестке, ласковыми глазами указывая на ее живот:

— И скоро? — сказала она.

Лицо княгини изменилось. Она вздохнула.— Два месяца,— сказала она.

— И ты не боишься? — сказала княжна Марья, опять целуя ее. Князь Андрей поморщился при этом вопросе. Губка Лизы опустилась. Она приблизила свое лицо к лицу золовки и опять неожиданно заплакала.

— Ей надо отдохнуть,— сказал князь Андрей.— Не правда ли, Лиза? Сведи ее к себе, а я пойду к батюшке. Что он, всё то же?

— То же, то же самое, не знаю, как на твои глаза,— отвечала радостно княжна.

— И те же часы, и по аллеям прогулки? Станок? — спрашивал князь Андрей с чуть заметною улыбкой, показывавшею, что, несмотря на всю свою любовь и уважение к отцу, он понимал его слабости.

— Те же часы, и станок, еще математика и мои уроки геометрии,— радостно отвечала княжна Марья, как будто ее уроки из геометрии были одним из самых радостных воспоминаний ее жизни.

XXXV

Когда прошли те двадцать минут, которые нужны были для срока вставанья старого князя, Тихон пришел звать молодого князя к отцу. Старик сделал исключение в своем образе жизни в честь приезда сына; он велел впустить его в свою половину во время одеванья перед обедом. Князь ходил по-старинному, в кафтане и пудре. И в то время как князь Андрей,— не с тем брюзгливым выражением лица и манерами, которые он напускал на себя в гостиных, а с тем оживленным лицом, которое у него было, когда он разговаривал с Пьером, входил к отцу,— старик сидел в уборной, на широком сафьяном обитом кресле, в пудроманте, предоставляя свою голову рукам Тихона.

— А! воин! Бонапарте завоевать хочешь?

Так встретил старик сына. Он тряхнул напудренной головой, сколько позволяла это заплетаемая коса, находившаяся в руках Тихона.

— Примись хоть ты за него хорошенько, а то он эдак скоро и нас своими подданными запишет.

— Здорово,— и он выставил свою щеку.

Старик находился в хорошем расположении духа после дообеденного сна. (Он говорил, что после обеда серебряный сон, а до обеда золотой.) Он радостно, из-под своих густых нависших бровей, косился на сына. Князь Андрей подошел и поцеловал отца в указанное им место. Он не отвечал на любимую тему разговора отца — подтруниванье над теперешними военными людьми, а особенно над Бонапартом.

---

[14] вполне серьезный

[15] Он покидает меня здесь, и бог знает зачем, тогда как он мог бы получить повышение...

— Да, приехал к вам, батюшка, и с беременною женой,— сказал князь Андрей, следя оживленными и почтительными глазами за движением каждой черты отцовского лица.— Как здоровье ваше?

— Нездоровы, брат, бывают только дураки да развратники, а ты меня знаешь, с утра до вечера занят, воздержан, ну и здоров.

— Слава богу,— сказал сын, улыбаясь.

— Бог тут не при чем. Ну, рассказывай,— продолжал он, возвращаясь к своему любимому коньку,— как вас немцы с Бонапартом сражаться по вашей новой науке, стратегией называемой, научили.

Князь Андрей улыбнулся.

— Дайте опомниться, батюшка,— сказал он с улыбкою, показывавшею, что слабости отца не мешают ему уважать и любить его.— Ведь я еще и не разместился.

— Врешь, врешь,— закричал старик, встряхивая косичкою, чтобы попробовать, крепко ли она была заплетена, и хватая сына за руку.— Дом для твоей жены готов. Княжна Марья сведет ее и покажет, и с три короба наболтает. Это их бабье дело. Я ей рад. Сиди, рассказывай. Михельсона армию я понимаю, Толстого тоже... высадка единовременная... Южная армия что будет делать? Пруссия, нейтралитет... это я знаю. Австрия что? — Так он говорил, встав с кресла и ходя по комнате с бегавшим и подававшим части одежды Тихоном.— Швеция что? Как Померанию перейдут?

Князь Андрей, видя настоятельность требования отца, сначала неохотно, но потом все более и более оживляясь и невольно посреди рассказа по привычке перейдя с русского на французский язык, начал излагать операционный план предполагаемой кампании. Он рассказал, как девяностотысячная армия должна была угрожать Пруссии, чтобы вывести ее из нейтралитета и втянуть в войну, как часть этих войск должна была в Штральзунде соединиться с шведскими войсками, как двести двадцать тысяч австрийцев в соединении со ста тысячами русских должны были действовать в Италии и на Рейне, и как пятьдесят тысяч русских и пятьдесят тысяч англичан высадятся в Неаполе, и как в итоге пятисоттысячная армия должна была с разных сторон сделать нападение на французов. Старый князь не выказал ни малейшего интереса при рассказе, как будто не слушал, и, продолжая на ходу одеваться, три раза неожиданно прервал его. Один раз он остановил его и закричал:

— Белый, белый!

Это значило, что Тихон подавал ему не тот жилет, который он хотел. Другой раз он остановился, спросив: И скоро она родит? — и получив ответ, что скоро, с упреком покачал головой и сказал: — Не хорошо! Продолжай, продолжай.

В третий раз, когда князь Андрей оканчивал описание, старик запел фальшивым и старческим голосом: «Malbroug s'en va-t-en guerre. Dieu sait quand reviendra» [1]. Сын только улыбнулся.

— Я не говорю, чтоб это был план, который я одобряю,— сказал сын:— я вам только рассказал, что есть. Наполеон уже составил свой план не хуже этого.

— Ну, новенького ты мне ничего не сказал.— И он задумчиво проговорил про себя скороговоркой: — «Dieu sait quand reviendra».

— Иди в столовую.

Князь Андрей вышел. О своих делах отец с сыном ничего не говорили.

В назначенный час, напудренный, свежий, выбритый, князь вышел в столовую, где ожидала его невестка, княжна Марья, Бурьен и архитектор князя, по странной прихоти его допускавшийся к столу, хотя по своему положению незначительный человек этот никак не мог рас-

[1] «Мальбрук в поход собрался. Бог знает, вернется когда».

считывать на такую честь. Князь, твердо державшийся в жизни различия состояний и редко допускавший к столу даже важных губернских чиновников, вдруг на архитекторе Михайле Ивановиче, сморкавшемся в углу в клетчатый платок, доказывал, что все люди равны, и не раз внушал своей дочери, что Михайла Иванович ничем не хуже нас с тобой. За столом, когда он излагал свои, иногда странные идеи, он чаще всего обращался к бессловесному Михайле Ивановичу.

В столовой громадно-высокой, как и все комнаты в доме, ожидали выхода князя домашние и официанты, стоявшие за каждым стулом; дворецкий, с салфеткой на руке, оглядывал сервировку, мигая лакеям, и постоянно перебегал беспокойным взглядом от стенных часов к двери, из которой должен был появиться князь. Князь Андрей глядел на огромную, новую для него, золотую раму с изображением генеалогического дерева князей Болконских, висевшую напротив такой же громадной рамы с дурно сделанным (видимо, рукою домашнего живописца) изображением владетельного князя в короне, который должен был происходить от Рюрика и быть родоначальником рода Болконских. Князь Андрей смотрел на это генеалогическое дерево, покачивая головой, и посмеивался с тем видом, с каким смотрят на похожий до смешного портрет.

— Как я узнаю его всего тут,— сказал он княжне Марье, подошедшей к нему.

Княжна Марья с удивлением посмотрела на брата. Она не понимала, чему он улыбался. Всё, сделанное ее отцом, возбуждало в ней благоговение, которое не подлежало обсуждению.

— У каждого своя Ахиллесова пятка,— продолжал князь Андрей,— с *его* огромным умом donner dans ce ridicule[2].

Княжна Марья не могла понять смелости суждения своего брата и готовилась возражать ему, как послышались из кабинета ожидаемые шаги: князь входил быстро, беспорядочно, весело, как он и всегда ходил, как будто умышленно своими торопливыми манерами представляя противоположность строгому порядку дома. В то же мгновение большие часы пробили два, и тонким голоском отозвались в гостиной другие; князь остановился; из-под висячих, густых бровей оживленные, блестящие, строгие глаза оглядели всех и остановились на молодой княгине. Молодая княгиня испытывала в то время то чувство, какое испытывают придворные на царском выходе, то чувство страха и почтения, которое возбуждал этот старик во всех своих приближенных. Он погладил княгиню по голове и потом потрепал ее по затылку неловким движением, но таким, которому она чувствовала себя обязана подчиниться.

— Я рад, я рад,— проговорил он и, пристально еще взглянув ей в глаза, быстро отошел и сел на свое место.

— Садитесь, садитесь! Михаил Иваныч, садитесь.

Он указал невестке место подле себя, официант отодвинул для нее стул. Ей было тесно от беременности.

— Го, го! — сказал старик, оглядывая ее округленную талию.— Поторопилась, нехорошо.

Он засмеялся сухо, холодно, неприятно, как он всегда смеялся, одним ртом, а не глазами.

— Ходить надо, ходить как можно больше, как можно больше,— сказал он.

Маленькая княгиня не слыхала или не хотела слышать его слов. Она молчала и казалась смущенною. Князь спросил ее об отце, и княгиня заговорила и улыбнулась. Он спросил ее об общих знакомых, княгиня еще более оживилась и стала рассказывать, передавая князю поклоны и городские сплетни. Как только разговор касался того, что было, княгине, видимо, становилось легко и ловко.

---

[2] поддаваться этой мелочности.

— La comtesse Apraksine, la pauvre, a perdu son mari, et elle a pleuré les larmes de ses yeux[3],— говорила она, всё более и более оживляясь.

По мере того, как она оживлялась, князь всё строже и строже смотрел на нее и вдруг, как будто достаточно изучив ее и составив себе ясное о ней понятие, отвернулся от нее и обратился к Михайлу Ивановичу.

XXXVI

Ну, что, Михайла Иваныч, Буонапарте-то нашему плохо приходится. Как мне князь Андрей (он всегда так называл сына в третьем лице) порассказал, какие на него силы собираются! А мы с вами всё его пустым человеком считали.

Михаил Иванович, решительно не знавший, когда это *мы с вами* говорили такие слова о Бонапарте, но понимавший, что он был нужен для вступления в любимый разговор, удивленно взглянул на молодого князя, сам не зная, что из этого выйдет.

— Он у меня тактик великий! — сказал князь сыну, указывая на архитектора, и разговор зашел опять о войне, о Бонапарте и нынешних генералах и государственных людях. Старый князь, казалось, был убежден не только в том, что все теперешние деятели были мальчишки, не смыслившие и азбуки военного и государственного дела, и что Бонапарте был ничтожный французишка, имевший успех только потому, что уже не было Потемкиных и Суворовых противопоставить ему; но он был убежден даже, что никаких политических затруднений не было в Европе, не было и войны, а была какая-то кукольная комедия, в которую играли нынешние люди, притворяясь, что делают дело. Князь Андрей весело выдерживал насмешки отца над новыми людьми и с видимою радостью вызывал отца на разговор и слушал его.

— Всё кажется хорошим, что было прежде,— сказал он,— а разве тот же Суворов не попался в ловушку, которую ему поставил Моро, и не умел из нее выпутаться?

— Это кто тебе сказал? Кто сказал? — крикнул князь.— Суворов! — И он отбросил тарелку, которую живо подхватил Тихон.— Суворов!.. Подумавши, князь Андрей.— Два, Фридрих и Суворов... Моро! Моро был бы в плену, коли бы у Суворова руки свободны были, а у него на руках сидели хофс-кригс-вурст-шнапс-рат. Ему чёрт не рад. Вот пойдите, эти хофс-кригс-вурст-раты узнаете. Суворов с ними не сладил, так уж где ж Михайле Кутузову сладить? Нет, дружок,— продолжал он,— вам с своими генералами против Бонапарте не обойтись, надо французов взять, чтобы своя своих не познаша, и своя своих побиваша. Немца Палена в Новый Йорк, в Америку, за французом Моро послали,— сказал он, намекая на приглашение, которое в этом году было сделано Моро вступить в русскую службу — Чудеса!!.. Что Потемкины, Суворовы, Орловы, разве немцы были? Нет, брат, либо вы все там с ума сошли, либо я из ума выжил. Дай вам бог, а мы посмотрим, Бонапарте у них стал полководец великий! Гм!..

— Я ничего не говорю, чтобы все распоряжения были хороши,— сказал князь Андрей,— только я не могу понять, как вы можете так судить о Бонапарте. Смейтесь, как хотите, а Бонапарте величайший полководец!

— Михайла Иваныч! — закричал старый князь архитектору, который занявшись жарким, надеялся, что про него забыли.— Я вам говорил, что Бонапарте великий тактик? Вот и он говорит.

— Как же, ваше сиятельство,— отвечал архитектор.

Князь опять засмеялся своим холодным смехом.

— Бонапарте в рубашке родился. Солдаты у него прекрасные. Это так.

---

[3] Княгиня Апраксина, бедняжка, потеряла своего мужа и выплакала все глаза.

И князь начал разбирать все ошибки, которые, по его понятиям, делал Бонапарте во всех своих войнах и даже в государственных делах. Сын не возражал, но видно было, что какие бы доводы ему не представляли, он так же мало способен был изменить свое мнение, как и старый князь. Князь Андрей слушал, удерживаясь от возражений и невольно удивляясь, как мог этот старый человек, сидя столько лет один безвыездно в деревне, в таких подробностях и с такою тонкостью знать и обсудить все военные и политические обстоятельства Европы последних годов.

— Ты думаешь, я, старик, не понимаю настоящего положения дел? — заключил он.— А мне оно вот где. Я ночей не сплю. Ну, где же этот великий полководец твой-то, где он показал себя?

— Это длинно было бы,— отвечал сын.

— Ступай же ты к Буонапарте своему, m-lle Bourienne, voilà encore un admirateur de votre goujat d'empereur [1],— закричал он отличным французским языком.

— Vous savez que je ne suis pas bonapartiste, mon prince [2].

— «Dieu sais quand reviendra...» [3] — пропел князь фальшиво, еще фальшивее засмеялся и вышел из-за стола.

Маленькая княгиня во всё время спора и остального обеда молчала и испуганно поглядывала то на княжну Марью, то на свекра. Когда они вышли из-за стола, она взяла за руку золовку и отозвала ее в другую комнату.

— Comme c'est un homme d'esprit votre père,— сказала она,— c'est à cause de cela peut-être qu'il me fait peur [4].

— Ах, он так добр! — сказала княжна.

XXXVII

Князь Андрей уезжал на другой день вечером. Старый князь, не отступая от своего порядка, после обеда ушел к себе. Маленькая княгиня была у золовки. Князь Андрей, одевшись в дорожный сюртук без эполет, в отведенных ему покоях укладывался с своим камердинером. Сам осмотрев коляску и укладку чемоданов, он велел закладывать. В комнате оставались только те вещи, которые князь Андрей всегда брал с собой: шкатулка, большой серебряный погребец, два турецких пистолета и шашка, подарок отца, привезенная из-под Очакова. Все эти дорожные принадлежности были в большом порядке у князя Андрея; всё было ново, чисто, в суконных чехлах, старательно завязано тесемочками.

В минуты отъезда и перемены жизни на людей, способных обдумывать свои поступки, обыкновенно находит сериозное настроение мыслей. В эти минуты обыкновенно поверяется прошедшее и делаются планы будущего. Лицо князя Андрея было очень задумчиво и нежно. Он, заложив руки назад и поворачиваясь с несвойственным ему искренним жестом, быстро ходил по комнате из угла в угол; глядя вперед себя, он задумчиво покачивал головой. Страшно ли ему было идти на войну, грустно ли бросить жену,— может быть, и то, и другое. Только, видимо, не желая, чтоб его видели в таком положении, он остановился, когда услыхал шаги в сенях, торопливо высвободил руки, остановился у стола, как будто увязывая чехол шкатулки, и принял свое всегдашнее спокойное и непроницаемое выражение. Это были тяжелые шаги княжны Марьи.

— Мне сказали, что ты велел закладывать,— сказала она, запыхавшись (она видно бежала),— а мне так хотелось еще поговорить с тобой наедине. Бог знает, на сколько времени опять расстаемся. Ты не сердишься,

---

[1] вот еще поклонник вашего холопского императора

[2] Вы знаете, князь, что я не бонапартистка.

[3] «Бог знает, вернется когда...»

[4] Какой умный человек ваш батюшка, может быть, от этого-то я и боюсь его.

что я пришла? Ты очень переменился, Андрюша,— прибавила она, как бы в объяснение такого вопроса.

Она улыбнулась, произнося слово «Андрюша». Видно ей самой было странно подумать, что этот строгий, красивый мужчина был тот самый Андрюша, курчавый, шаловливый мальчик, товарищ детства.

— А где Lise? — спросил он.

— Она так устала, что заснула у меня в комнате на софе. Ах, ах, André! quel trésor de femme vous avez[1],— сказала она, усаживаясь на диване против брата.— Она совершенный ребенок, такой милый, веселый ребенок. Я так ее полюбила.

Князь Андрей молчал, но княжна заметила ироническое и презрительное выражение, появившееся на его лице.

— Но надо быть снисходительным к маленьким слабостям; у кого их нет, André!! Ты не забудь, что она воспитана и выросла в большом свете. А потом ее положение теперь не розовое. Надобно входить в положение каждого. Tout comprendre c'est toit pardonner[2]. Ты подумай, каково ей бедняжке после жизни, к которой она привыкла, расстаться с мужем и остаться одной в деревне и в ее положении? Это очень тяжело.

Князь Андрей улыбался, глядя на сестру, как мы улыбаемся, слушая людей, которых, нам кажется, что мы насквозь видим.

— Ты живешь в деревне и не находишь эту жизнь ужасною,— сказал он.

— Я другое дело. Что обо мне говорить? Я не желаю другой жизни, да и не могу желать, потому что не знаю никакой другой жизни. А ты подумай, André, для молодой и светской женщины похорониться в лучшие годы жизни в деревне, одной, потому что папенька всегда занят, а я... ты меня знаешь... как я бедна en ressourses[3] для женщины, привыкшей к лучшему обществу. M-lle Bourienne одна...

— Она мне очень не нравится ваша Bourienne,— сказал князь Андрей.

— О нет, она очень милая и добрая и, главное, жалкая девушка. У нее никого, никого нет. По правде сказать, мне она не только не нужна, но стеснительна. Я, ты знаешь, и всегда была дикарка, а теперь еще больше. Я люблю быть одна... Mon père[4] ее очень любит. Она и Михаил Иваныч, два лица, к которым он всегда ласков и добр, потому что они оба облагодетельствованы им; как говорит Стерн: «Мы не столько любим людей за то добро, которое они нам сделали, сколько за то добро, которое мы им сделали». Mon père взял ее сиротой sur le pavé[5], и она очень добрая. И mon père любит ее манеру чтения. Она по вечерам читает ему вслух. Она прекрасно читает.

— Ну, а по правде, Marie, тебе, я думаю, тяжело иногда бывает от характера отца? — вдруг спросил князь Андрей.

Княжна Марья сначала удивилась, потом испугалась этого вопроса.

— Мне?.. Мне?.. Чего мне желать? — сказала она, видимо, от всей души.

— Он и всегда был крут, а теперь тяжел становится, я думаю,— сказал князь Андрей, видимо, нарочно, чтобы озадачить или испытать сестру, так легко отзываясь об отце.

— Ты всем хорош, André, но у тебя есть какая-то гордость мысли,— сказала княжна, как всегда больше следуя за своим ходом мыслей, чем за ходом разговора,— и это большой грех. Разве можно судить об отце? Да ежели бы и возможно было, какое другое чувство, кроме vénération[6]

---

[1] Андрей! Какое сокровище твоя жена.
[2] Всё понять — всё простить.
[3] интересами
[4] Отец
[5] на мостовой
[6] глубокого уважения

может возбудить такой человек, как mon père? И я так довольна и счастлива с ним. Я только желала бы, чтобы вы все были счастливы, как я.

Брат недоверчиво покачал головой.

— Одно, что тяжело для меня,— я тебе по правде скажу, André,— это образ мыслей отца в религиозном отношении. Я не понимаю, как человек с таким огромным умом не может видеть того, что ясно как день, и может так заблуждаться? Вот это составляет одно мое несчастие. Но и тут в последнее время я вижу тень улучшения. В последнее время его насмешки не так язвительны, и есть один монах, которого он принимал и долго говорил с ним.

— Ну, мой друг, я боюсь, что вы с монахом даром растрачиваете свой порох, Marie,— насмешливо, но ласково сказал князь Андрей.

— Ah, mon ami![7] Я только молюсь богу и надеюсь, что он услышит меня. André,— сказала она робко после минуты молчания.— У меня к тебе есть большая просьба.

— Что, мой друг?

— Нет, обещай мне, что ты не откажешь. Это тебе не будет стоить никакого труда, и ничего недостойного тебя в этом не будет. Только ты меня утешишь. Обещай, Андрюша,— сказала она, всунув руку в ридикюль и в нем держа что-то, но еще не показывая, как будто то, что она держала, и составляло предмет просьбы, и что прежде получения обещания в исполнении просьбы она не могла вынуть из ридикюля это *что-то*. Она робко, умоляющим взглядом, смотрела на брата.

— Ежели бы это и стоило мне большого труда...— как будто догадываясь, в чем было дело, отвечал князь Андрей.

— Ты что хочешь думай. Я знаю, ты такой же, как и mon père. Что хочешь думай, но для меня это сделай. Сделай, пожалуйста! Его еще отец моего отца, наш дедушка, носил во всех войнах...— Она все еще не доставала того, что держала, из ридикюля.— Так ты обещаешь мне?

— Конечно, в чем дело?

— André, я тебя благословлю образом, и ты обещай мне, что никогда его не будешь снимать. Обещаешь?

— Ежели он не в два пуда и шеи не оттянет... Чтобы тебе сделать удовольствие...— сказал князь Андрей, но в ту же секунду, заметив огорченное выражение, которое приняло лицо сестры при этой шутке, он раскаялся.— Очень рад, право, очень рад, мой друг,— прибавил он.

— Против твоей воли Он спасет и помилует тебя и обратит тебя к себе, потому что в Нем одном и истина и успокоение,— сказала она дрожащим от волнения голосом, с торжественным жестом держа в обеих руках перед братом овальный, старинный образок Спасителя с черным ликом, в серебряной ризе на серебряной цепочке мелкой работы. Она перекрестилась, поцеловала образок и подала его Андрею.

— Пожалуйста, для меня...

Из больших глаз ее светились лучи доброго и робкого света. Глаза эти освещали всё болезненное, худое лицо и делали его прекрасным. Брат хотел взять образок, но она остановила его. Андрей понял, перекрестился и поцеловал образок. Лицо его в одно и то же время было нежно (он был тронут), любовно, ласково и насмешливо.

— Merci, mon ami,— она поцеловала его в чистый коричневатый лоб и опять села на диван. Они помолчали.

— Так я тебе говорила, André, будь добр и великодушен, каким ты всегда был. Не суди строго Lise,— начала она.— Она так мила, так добра, и положение ее очень тяжело теперь.

— Кажется, я ничего не говорил тебе, Маша, чтоб я упрекал в чем-нибудь свою жену, или был недоволен ею. К чему ты всё это говоришь мне?

---

[7] Ах, мой друг!

Княжна Марья покраснела пятнами и замолчала, как будто она чувствовала себя виноватою.

— Я ничего не говорил тебе, а тебе уж *говорили*. И мне это грустно.

Красные пятна еще сильнее выступили на лбу, шее и щеках княжны Марьи. Она хотела сказать что-то и не могла выговорить. Брат угадал. Маленькая княгиня после обеда плакала, говорила, что предчувствует несчастные роды, боится их, и жаловалась на свою судьбу, на свекра и на мужа. После слез она заснула. Князю Андрею жалко стало сестру.

— Знай одно, Маша, я ни в чем не могу упрекнуть, не упрекал и никогда не упрекну *мою жену*, и сам ни в чем себя не могу упрекнуть в отношении к ней, и это всегда так будет в каких бы я ни был обстоятельствах. Но ежели ты хочешь знать правду... хочешь знать счастлив ли я? Нет. Счастлива ли она? Нет. Отчего это? Не знаю...

Говоря это он встал, подошел к сестре, и нагнувшись, поцеловал ее в лоб. Прекрасные глаза его светились умным и добрым непривычным блеском, но он смотрел не на сестру, а в темноту отворенной двери, через ее голову.

— Пойдем к ней, надо проститься. Или иди одна, разбуди ее, а я сейчас приду. Петрушка! — крикнул он камердинеру,— поди сюда, убирай. Это в сиденье, это на правую сторону.

Княжна Марья встала и направилась к двери. Она остановилась.

— André, si vous avez la foi, vous vous seriez adressé à Dieu, pour qu'il vous donne l'amour, que vous ne sentez pas et votre prière aurait été exaucée [8].

— Да, разве это? — сказал князь Андрей.— Иди, Маша, я сейчас приду.

По дороге к комнате сестры, в галерее, соединявшей один дом с другим, князь Андрей встретил мило улыбавшуюся m-lle Bourienne, уже в третий раз в этот день с восторженною и наивною улыбкой попадавшуюся ему в уединенных переходах.

— Ah! je vous croyai chez vous [9], — сказала она, почему-то краснея и опуская глазки. Князь Андрей строго посмотрел на нее.

— Moi j'aime cette galerie, c'est si mysterieux [10].

На лице князя Андрея вдруг выразилось озлобление, как будто она и ей подобные были виною какого-нибудь несчастия в его жизни. Он ничего не сказал ей, но посмотрел на ее лоб и волосы, не глядя в глаза, так презрительно, что француженка покраснела и ушла, ничего не сказав. Когда он подошел к комнате сестры, княгиня уже проснулась, и ее веселый голосок, торопивший одно слово за другим, послышался из отворенной двери. Она говорила, как будто после долгого воздержания ей хотелось вознаградить потерянное время.

— Non, mais figurez-vous, la vielle comtesse Zouboff avec de fausses boucles et la bouche pleine de fausses dents comme si elle voulait défier les années... [11]. Ха, ха, ха.

Точно ту же фразу о графине Зубовой и тот же смех уже раз пять слышал при посторонних князь Андрей от своей жены. Он тихо вошел в комнату. Княгиня, толстенькая, румяная, с работой в руках, сидела на кресле и без умолку говорила, перебирая петербургские воспоминания и даже фразы. Князь Андрей подошел, погладил ее по голове и спросил, отдохнула ли она от дороги. Она ответила и продолжала тот же разговор.

Коляска шестериком стояла у подъезда. На дворе была теплая осенняя ночь. Кучер не видал дышла коляски. На крыльце суетились люди с фонарями. Красивый огромный дом горел огнями сквозь свои большие

---

[8] Если бы ты имел веру, то обратился бы к богу с молитвою, чтоб он даровал тебе любовь, которую ты не чувствуешь, и молитва твоя была бы услышана.

[9] Ах, я думала, вы у себя.

[10] А я люблю эту галерею, здесь так таинственно.

[11] Нет, представьте себе, старая графиня Зубова с фальшивыми локонами, с фальшивыми зубами, как будто издеваясь над годами...

АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ У ОТЦА

Рисунок М. С. Башилова, 1866 г.

«Старый князь очень хорош, особенно там, где он с сыном. Это именно то, что я желал, но князь Андрей очень не нравится мне. Он велик ростом, черты крупны и грубы, неприятное кислое выражение рта, и потом вся поза и костюм не представительны. Он должен с снисходительной и размягченной улыбкой слушать отца» (из письма Толстого М. С. Башилову от 8 декабря 1866 г.)

окна. В передней толпились дворовые, желавшие проститься с молодым князем; в зале стояли все домашние: Михаил Иванович, m-lle Bourienne, княжна Марья и княгиня. Князь Андрей был позван в кабинет к отцу, который с глазу на глаз хотел проститься с ним. Все ждали их выхода.

Когда князь Андрей вошел в кабинет, старый князь в стариковских очках и в своем белом халате, в котором он никого не принимал, кроме сына, сидел за столом и писал. Он оглянулся.

— Едешь? — и опять стал писать.

— Пришел проститься.

— Целуй сюда,— показал щеку: — спасибо, спасибо.

— За что вы меня благодарите?

— За то, что не просрочиваешь, за бабью юбку не держишься. Служба прежде всего. Спасибо, спасибо! — И он продолжал писать, так что брызги летели с трещавшего пера.— Ежели нужно сказать что, говори. Эти два дела могу делать вместе,— прибавил он.

— О жене... Мне и так совестно, что я вам на руки оставляю беременную...

— Что врешь? Говори, что нужно.

— Когда жене будет время родить, в последних числах ноября, пошлите в Москву за акушером... Чтоб он тут был.

Старый князь остановился и, как бы не понимая, уставился строгими глазами на сына.

— Я знаю, что никто помочь не может, коли натура не поможет,— говорил князь Андрей, видимо смущенный.— Я согласен, что и из миллиона случаев один бывает несчастный, но это ее и моя фантазия. Ей наговорили, она во сне видала, и она боится.

— Гм... гм...— проговорил про себя старый князь, продолжая дописывать.— Сделаю.— Он расчеркнул подпись, вдруг быстро повернулся к сыну и засмеялся.— Плохо дело, а?

— Что плохо, батюшка?

— Жена! — коротко и значительно сказал старый князь.

— Я не понимаю,— сказал князь Андрей.

— Да нечего делать, дружок,— сказал князь,— они все такие, не разженишься. Ты не бойся, никому не скажу, а ты сам знаешь.

Он схватил его за руку своею костлявою маленькою кистью, потрес ее, взглянул прямо в лицо сына своими быстрыми глазами, которые, как казалось, насквозь видели человека, и опять засмеялся своим холодным смехом.

Сын вздохнул, признаваясь этим вздохом в том, что отец понял его. Старик, продолжая складывать и печатать письма, с своею привычною быстротой схватывал и бросал сургуч, печать и бумагу.

— Что делать? Красива! Я всё сделаю. Ты будь покоен,— говорил он отрывисто во время печатания.

Андрей молчал; ему приятно было, что отец понял его. Старик встал и подал письмо сыну.

— Слушай,— сказал он,— о жене не заботься: что возможно сделать, будет сделано. Теперь слушай: письмо Михайлу Илларионовичу отдай. Я пишу, чтобы он тебя в хорошие места употреблял, и долго адъютантом не держал. Скверная должность. Скажи ты ему, что я его помню и люблю. Да напиши, как он тебя примет. Коли хорош будет, служи. Николая Андреича Болконского сын из милости служить ни у кого не будет. Ну, теперь поди сюда.

Он говорил такою скороговоркою, что не доканчивал половины слов, но сын привык понимать его. Он подвел сына к бюро, откинул крышку, выдвинул ящик и вынул исписанную его крупным, длинным и сжатым почерком тетрадь.

— Должно быть, мне прежде тебя умереть. Знай, тут мои записки, их государю передать после моей смерти. Теперь здесь вот ломбардный билет и письмо. Это премия тому, кто напишет историю суворовских войн. Переслать в академию. Здесь мои ремарки, после меня читай для себя, найдешь пользу.

Андрей не сказал отцу, что верно он проживет еще долго. Он понимал, что этого говорить не нужно.

— Всё исполню, батюшка,— сказал он.

— Ну, теперь прощай.— Он дал поцеловать сыну свою руку и обнял его.— Помни одно, князь Андрей,— коли тебя убьют, мне старику больно будет...— Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продол-

жал: — а коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет стыдно.

— Этого вы могли бы не говорить мне, батюшка,— улыбаясь сказал сын.

Старик замолчал.

— Еще я хотел просить вас,— продолжал князь Андрей,— ежели меня убьют и ежели у меня будет сын, не отпускайте его от себя, как я вам вчера говорил, чтоб он вырос у вас, пожалуйста.

— Жене не отдавать? — сказал старик и радостно засмеялся.

Они молча стояли друг против друга. Быстрые глаза старика прямо были устремлены в глаза сына.— Что-то дрогнуло в нижней части лица старого князя.

— Простись ступай,— вдруг заговорил он.— Ступай! — закричал он сердитым и громким голосом, отворяя дверь кабинета.

— Что такое, что? — спрашивали княгиня и княжна, увидев князя Андрея и на минуту высунувшуюся фигуру кричавшего сердитым голосом старика в белом халате, без парика и в стариковских очках.

Князь Андрей вздохнул во всю грудь и ничего не отвечал.

— Ну,— сказал он, обратившись к жене, и это «ну» звучало холодною насмешкою, как будто он говорил: теперь проделывайте ваши штуки.

— André, déjà? [12] — сказала маленькая княгиня, оледенев и со страхом глядя на мужа. Он обнял ее. Она вскрикнула и без чувств упала на его плечо.

Он осторожно отвел плечо, на котором она лежала, заглянул в ее лицо и бережно посадил ее на кресло.

Adieu, Marie,— сказал он тихо сестре, поцеловался с нею рука в руку и скорыми шагами вышел из комнаты.

Княгиня лежала в кресле, m-lle Бурьен терла ей виски. Княжна Марья, поддерживая невестку, с заплаканными прекрасными глазами, всё еще смотрела в дверь, в которую вышел князь Андрей, и крестила его.

Из кабинета слышны были, как выстрелы, часто повторяемые, сердитые звуки стариковского сморкания. Только что князь Андрей вышел, дверь кабинета быстро отворилась, и выглянула строгая фигура старика в белом халате.

— Уехал? ну и хорошо,— сказал он, сердито посмотрев на бесчувственную маленькую княгиню, укоризненно покачал головою и захлопнул дверь.

---

[12] Андрей, уже?

ВОЙНА

I

В октябре 1805 года русские войска занимали села и города эрцгерцогства Австрийского, и еще новые полки приходили из России и, отягощая постоем жителей, располагались у крепости Браунау. В Браунау была главная квартира Кутузова.

8 октября 1805 года один из только что пришедших в Браунау пехотных полков, ожидая смотра главнокомандующего, стоял в полумиле от города. Несмотря на не русскую местность и обстановку — фруктовые сады, каменные ограды, черепичные крыши, горы, видневшиеся вдали,— на не русский народ, с любопытством смотревший на солдат, полк имел точно такой же вид, какой имел всякий русский полк, готовившийся к смотру где-нибудь в середине России. Тяжелые солдаты в мундирах с высоко поднятыми ранцами и перекинутыми через плечо шинелями, а легкие офицеры в мундирах с бившими по ногам шпажками, оглядывая вокруг себя свои знакомые ряды, сзади свои знакомые обозы, спереди еще более знакомые, приглядевшиеся фигуры начальства и еще дальше впереди — коновязи уланского полка и парк батареи, шедшие весь поход вместе с ними, чувствовали себя здесь так же дома, как и в каком бы то ни было уезде России.

С вечера, на последнем переходе, был получен приказ, что главнокомандующий будет смотреть полк на походе. Хотя слова приказа и показались не ясны полковому командиру, и возник вопрос, как разуметь слова приказа: в походной форме или нет,— в совете батальонных командиров было решение представить полк в парадной форме на том основании, что всегда лучше перекланяться, чем недокланяться, и солдаты, после тридцативерстного перехода, не смыкали глаз, всю ночь чинились, чистились, адъютанты и ротные рассчитывали, отчисляли, и к утру полк, вместо растянутой грязной толпы, какою он был накануне на последнем переходе, представлял стройную массу 3000 людей, из которых каждый знал свое место, свое дело и из которых на каждом каждая пуговка и ремешок были на своем месте и блестели чистотой. Не только наружное было исправно, но ежели бы угодно было главнокомандующему заглянуть под мундиры, то на каждом он увидал бы одинаково чистую рубаху и в каждом ранце нашел бы узаконенное число вещей, «шильце и мыльце», как говорят солдаты. Было только одно обстоятельство, насчет которого никто не мог быть спокоен. Это была обувь. Больше чем у половины людей сапоги были разбиты, и, как ни подшивались эти недостатки, они кололи привычные к порядку военные глаза. Но недостаток этот происходил не от вины полкового командира, так как, несмотря на неоднократные требования, ему не был отпущен товар от австрийского ведомства, а полк прошел 3000 верст.

Полковой командир был пожилой, сангвинический, с седеющими бровями и бакенбардами, генерал, плотный и широкий больше от груди к спине, чем от одного плеча к другому. На нем был новый, с иголочки, со слежавшимися складками мундир и густые золотые эполеты, которые как будто не книзу направлялись, а поднимали кверху его тучные плечи. Полковой командир имел вид человека, счастливо совершающего одно из самых торжественных дел жизни. Он похаживал перед фронтом и, похаживая, подрагивал на каждом шагу, слегка изгибаясь спиною. Видно

было, что полковой командир любуется своим полком, счастлив им, и что все его силы душевные заняты только полком; но, несмотря на то, его подрагивающая походка как будто говорила, что, кроме военных интересов, в душе его немалое место занимают и интересы общественного быта и женский пол.

— Ну, батюшка, Миколай Митрич,— обратился он с притворною небрежностью к одному батальонному командиру (батальонный командир, улыбаясь, подался вперед. Видно было, что они были счастливы).— Ну, батюшка, Миколай Митрич, досталось на орехи нынче ночью (он подмигнул). Однако, кажется, ничего (он оглянул полк); кажется, полк не из дурных. А? — Он, видимо, иронически говорил это.

Батальонный командир понял веселую иронию и засмеялся.

— И на Царицыном лугу с поля бы не прогнали. Что? — смеясь сказал полковой командир.

В это время по дороге из города, по которой были расставлены махальные, показались два верховые. Это были адъютант и казак, ехавший сзади. Полковой командир вгляделся в адъютанта и отвернулся, под видом равнодушия скрывая тревогу, которую вызвало в нем это появление. Он оглянулся только тогда, как адъютант был уже в трех шагах от него, и с тем особенным оттенком учтивости и вместе фамилиарности, с каким обращаются полковые командиры с молодыми по годам и чину офицерами, состоящими при главнокомандующих, приготовился выслушать адъютанта.

Адъютант был прислан из главного штаба подтвердить полковому командиру то, что было сказано неясно во вчерашнем приказе, а именно то, что главнокомандующий желал видеть полк совершенно в том положении, в котором он шел, в шинелях, в чехлах и безо всяких приготовлений.

К Кутузову накануне прибыл член гофкригсрата из Вены с предложениями и требованиями идти как можно скорее на соединение с армией эрцгерцога Фердинанда и Макка, и Кутузов, не считавший выгодным это соединение, в числе прочих доказательств в пользу своего мнения, намеревался показать австрийскому генералу то печальное положение, в котором приходили войска из России. С этой целью он и хотел выехать навстречу полку, так что, чем хуже было бы положение полка, тем приятнее было бы это главнокомандующему. Хотя адъютант и не знал этих подробностей, однако он передал полковому командиру непременное требование главнокомандующего, чтобы люди были в шинелях и чехлах, и что в противном случае главнокомандующий будет недоволен. Выслушав эти слова, полковой командир опустил голову, молча вздернул плечами и сангвиническим жестом развел руки.

— Наделали дела,— проговорил он, не поднимая головы.— Вот я вам говорил же, Миколай Митрич, я говорил, что на походе так в шинелях,— обратился он с упреком к батальонному командиру.— Ах, мой бог! — прибавил он, но в словах и жесте его не выражалось ни тени досады, а одно усердие к начальству и страх не угодить ему. Он решительно выступил вперед.— Господа, ротные командиры! — крикнул он голосом, привычным к команде.— Фельдфебелей!.. Скоро ли пожалуют? — обратился он к приехавшему адъютанту с выражением почтительной учтивости, видимо, относившейся к лицу, про которое он говорил.

— Через час, я думаю.

— Успеем переодеть?

— Не знаю, генерал...

Полковой командир, сам подойдя к рядам, распорядился переодеваньем опять в шинели. Ротные командиры разбежались по ротам, фельдфебели засуетились (шинели были не совсем исправны), и в то же мгновение заколыхались, растянулись и говором загудели прежде правильные молчаливые четвероугольники. Со всех сторон отбегали и подбегали солдаты, подкидывали сзади плечом, через голову перетаскивали ранцы,

НАПОЛЕОН, 1807 Г.
Гравюра Дебюкуре

снимали шинели и, высоко поднимая руки, натягивали их в рукава.

Через полчаса все опять пришло в прежний порядок, только четвероугольники сделались серыми из черных. Полковой командир, опять подрагивающею походкой, вышел вперед полка и издалека оглядел его.

— Это что еще? Это что! — прокричал он, останавливаясь и загнутою внутрь рукой хватаясь за темляк.— Командира 3-й роты к генералу! командира к генералу! 3-й роты к командиру!.. послышались голоса по рядам, и адъютант побежал отыскивать замешкавшегося офицера. Когда звуки усердных голосов, перевирая, крича уже: «генерал в 3-ю роту», дошли по назначению, требуемый офицер показался из-за роты, и хотя человек уже пожилой и не имевший привычки бегать, неловко цепляясь носками, рысью направился к генералу. Лицо капитана выражало беспокойство школьника, которому велят сказать не выученный им урок. На красном, очевидно, от невоздержания носу выступили пятна, и рот не находил положения. Полковой командир с ног до головы осматривал капитана, в то время как он, запыхавшись, подходил, по мере приближения сдерживая шаг.

— Вы скоро людей в сарафаны нарядите? Это что? — крикнул полковой командир, выдвигая нижнюю челюсть и указывая в рядах 3-й роты на солдата в шинели цвета фабричного сукна, отличавшегося от других шинелей.— Сами вы где находились? Когда ожидается главнокомандующий, вы отходите от своего места? А?.. Я вас научу, как на смотр людей в казакины одевать!.. А?..

Ротный командир, не спуская глаз с начальника, все больше и больше прижимал свои два пальца к козырьку, как будто в одном этом прижимании он видел теперь свое спасенье. Батальонные командиры и адъютанты стояли несколько сзади и не знали, куда смотреть.

— Ну, что ж вы молчите? Кто у вас там в венгерца наряжен,— строго шутил полковой командир.

— Ваше превосходительство...

— Ну, что «ваше превосходительство?» Ваше превосходительство, ваше превосходительство! А что ваше превосходительство,— никому неизвестно.

— Ваше превосходительство, это Долохов, разжалованный...— сказал тихо капитан и с таким выражением, как будто для разжалованного могло быть допущено исключение.

— Что он в фельдмаршалы разжалован что ли или в солдаты? А солдат, так должен быть одет, как все, по форме.

— Ваше превосходительство, вы сами разрешили ему походом.

— Разрешил? Разрешил? Вот вы всегда так, молодые люди,— сказал полковой командир, остывая несколько.— Разрешил? Вам что-нибудь скажешь, а вы и... Что? — сказал он, снова раздражаясь.— Извольте одеть людей прилично.

М. И. КУТУЗОВ
Гравюра Кардели

И полковой командир, оглянувшись на адъютанта, своею подрагивающею походкой, выражавшею все-таки не безучастие к прекрасному полу, направился к полку. Видно было, что его раздражение ему самому понравилось и что он, пройдясь по полку, хотел найти еще предлог своему гневу. Оборвав одного офицера за невычищенный знак, другого за неправильность ряда, он подошел к 3-й роте.

— К-а-а-ак стоишь? Где нога? Нога где? — закричал полковой командир с выражением страдания в голосе, еще человек за пять не доходя до солдата, одетого в синеватую шинель.

Солдат этот, отличавшийся от других свежестью лица и в особенности шеи, медленно выпрямил согнутую ногу и прямо своим светлым и наглым взглядом посмотрел в лицо генерала.

— Зачем синяя шинель? Долой!.. Фельдфебель! Переодеть его... дря... он не успел договорить.

— Генерал, я обязан исполнять приказания, но не обязан переносить...— горячо и поспешно сказал солдат.

— Во фронте не разговаривать!.. Не разговаривать, не разговаривать!..

— Не обязан переносить оскорбления,— громко, звучно сказал Долохов с выражением неестественной торжественности, которая неприятно поразила всех слышавших. Глаза генерала и солдата встретились. Генерал замолчал, сердито оттягивая книзу тугой шарф.

— Извольте переодеться, прошу вас,— сказал он отходя.

II

— Едет! — закричал в это время махальный.

Полковой командир, покраснев, подбежал к лошади, дрожащими руками взялся за стремя, перекинул тело, оправился, вынул шпагу и с счастливым решительным лицом, набок раскрыв рот, приготовился крикнуть. Полк встрепенулся, как оправляющаяся птица, и замер.

— Смир-р-р-на! —закричал полковой командир потрясающим душу голосом, радостным для себя, строгим в отношении к полку и приветливым в отношении к подъезжающему начальнику.

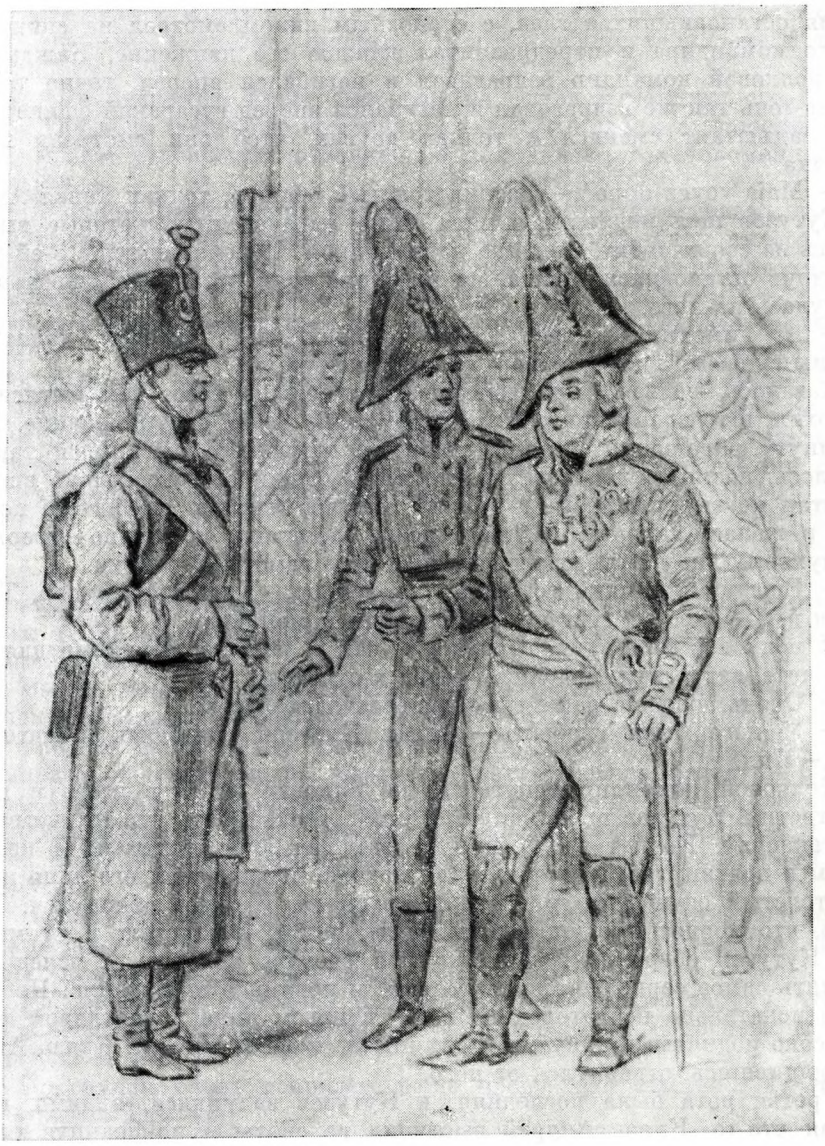
По широкой, обсаженной деревьями, большой бесшоссейной дороге, слегка погромыхивая рессорами, шибкою рысью ехала высокая голубая венская коляска цугом, за коляской скакали свита и конвой кроатов. Подле Кутузова сидел австрийский генерал в странном, среди черных русских, белом мундире. Коляска остановилась у полка. Кутузов и австрийский генерал о чем-то тихо говорили, и Кутузов слегка улыбнулся, в то время как, тяжело ступая, опускал ногу с подножки. Точно как будто и не было этих 3000 людей, которые, не дыша, смотрели на него и на полкового командира.

Раздался крик команды, опять полк, звеня, дрогнул, сделав на караул. В мертвой тишине раздался слабый голос главнокомандующего. Полк рявкнул: «Здравья желаем, ваше го-го-го-го-ство!» И опять все замерло. Сначала Кутузов стоял на одном месте, пока полк двигался, потом Кутузов рядом с белым генералом пешком, сопутствуемый свитою, стал ходить по рядам.

По тому, как полковой командир салютовал главнокомандующему, впиваясь в него глазами, вытягиваясь и подбираясь, как наклоненный вперед ходил за генералами по рядам, едва удерживая подрагивающее движение, как подскакивал при каждом слове и движении главнокомандующего,— видно было, что он исполнял свои обязанности подчиненного еще с большим наслаждением, чем обязанности начальника. Полк, благодаря строгости и старательности полкового командира, был в прекрасном состоянии сравнительно с другими приходившими в то же время в Браунау. Отсталых и больных было только 217 человек. На вопрос начальника штаба о нуждах полка полковой командир, нагибаясь, осмелился шёпотом и с глубоким вздохом доложить, что обувь очень, очень пострадала.

— Ну, это одна песня везде,— небрежно сказал начальник штаба, улыбаясь наивности генерала, и показывая тем, что то, что казалось особенным несчастием полковому командиру, было общею и предвиденною долей всех приходивших войск.— Здесь оправитесь, коли простоите.

Кутузов прошел по рядам, изредка останавливаясь и говоря по нескольку ласковых слов офицерам, которых он знал по турецкой войне, а иногда и солдатам. Поглядывая на обувь, он несколько раз грустно покачивал головой и указывал на нее австрийскому генералу с таким выражением, что как бы не упрекал в этом никого, но не мог не видеть, как это плохо. Полковой командир каждый раз при этом забегал вперед, боясь упустить слово главнокомандующего касательно полка. Сзади Ку-



СМОТР ВОЙСК. КУТУЗОВ И ДОЛОХОВ

Рисунок М. С. Башилова, 1867 г.

«Кутузов, Долохов — прекрасно, но Долохову нельзя ли придать более молодцоватости — солдатской выправки — выше плечи, грудь вперед» (из письма Толстого М. С. Башилову от 28 февраля 1867 г.)

тузова в таком расстоянии, что всякое слабо произнесенное слово могло быть услышано, шло человек 20 свиты. Господа в свите, видимо, вовсе не испытывали к Кутузову того нечеловеческого страха и уважения, которое выказывал полковой командир. Они разговаривали между собой и иногда смеялись. Ближе всех за главнокомандующим шел красивый адъютант. Это был князь Болконский. Рядом с ним шел кавалерийский высокий штаб-офицер, чрезвычайно толстый, с добрым улыбающимся красивым лицом и влажными глазами. Громадный офицер этот едва удерживался от смеха, возбуждаемого черноватым гусарским офицером, шедшим подле него. Гусарский офицер, не улыбаясь, не изменяя выра-

жения остановившихся глаз, с сериозным лицом смотрел на спину полкового командира и передразнивал каждое его движение. Каждый раз как полковой командир вздрагивал и нагибался вперед, точно так же, точь-в-точь так же вздрагивал и нагибался вперед гусарский офицер. Толстый адъютант смеялся и толкал других, чтоб они смотрели на забавника.

— Mais voyez donc[1],— говорил толстый офицер, толкая князя Андрея.

Кутузов шел медленно и вяло мимо тысячей глаз, которые выкатывались из своих орбит, следя за начальником. Поровнявшись с 3-ей ротой, он вдруг остановился. Свита, не предвидя этой остановки, невольно надвинулась на него.

— А, Тимохин! — сказал главнокомандующий, узнавая капитана с красным носом, пострадавшего за синюю шинель.

Казалось, нельзя было вытягиваться больше того, как вытягивался Тимохин, в то время как полковой командир делал ему замечание. Но он в минуту обращения к нему главнокомандующего вытянулся так, что казалось, посмотри на него главнокомандующий еще несколько времени, капитан не выдержал бы, и потому Кутузов, видимо, поняв его положение, и желая, напротив, всякого добра капитану, поспешно отвернулся. По пухлому лицу Кутузова пробежала чуть заметная улыбка.

— Еще измаильский товарищ,— сказал он.— Храбрый офицер. Ты доволен им? — спросил Кутузов у полкового командира.

И полковой командир, отражаясь, как в зеркале, невидимо для себя, в корнете, вздрогнул, подошел вперед и отвечал:

— Очень доволен, ваше высокопревосходительство.

— У него была слабость,— сказал Кутузов, улыбаясь и отходя от него.— Пил.

Полковой командир испугался, не виноват ли он в этом, и ничего не ответил. Кутузов по-французски стал рассказывать что-то австрийскому генералу. Корнет в эту минуту заметил лицо капитана с красным носом и подтянутым животом и так похоже передразнил его лицо и позу, что толстый офицер не мог удержать смеха. Кутузов обернулся. Видно было, что корнет мог управлять своим лицом, как хотел; в ту минуту, как Кутузов обернулся, корнет успел сделать гримасу, а вслед затем принять самое сериозное, почтительное и невинное выражение. Но что-то было искательно неблагородное в его птичьем лице и вертлявой фигуре с высоко поднятыми плечами и длинными худыми ногами. Князь Андрей, поморщившись, отвернулся от него.

Третья рота была последняя, и Кутузов задумался, видимо, припоминая что-то. Князь Андрей выступил из свиты и по-французски тихо сказал:

— Вы приказали мне напомнить о разжалованном Долохове в этом полку.

— Где тут Долохов? — сказал Кутузов.

Долохов, уже переодетый в солдатскую серую шинель, не дожидался, чтоб его вызвали. Красивая, стройная фигура белокурого с ясными, голубыми глазами солдата выступила из фронта. Он отбивал шаг в таком совершенстве, что искусство его бросалось в глаза и поражало неприятно именно своею чрезмерною отчетливостью. Он подошел к главнокомандующему и сделал на караул.

— Претензия? — нахмурившись слегка, спросил Кутузов.

Долохов не отвечал. Он играл своим положением, не испытывал ни малейшего стеснения и с видимою радостью заметил, как при вопросе «претензия» вздрогнул и побледнел полковой командир.

— Это Долохов,— сказал князь Андрей.

---

[1] Ну, смотрите же.

— А! — сказал Кутузов,— надеюсь, что этот урок тебя исправит, служи хорошенько. Государь милостив. И я не забуду тебя, ежели ты заслужишь.

Голубые открытые глаза смотрели на главнокомандующего так же дерзко, как и на полкового командира, как будто своим выражением разрывая завесу условности, отделявшую так далеко главнокомандующего от солдата.

— Об одном прошу, ваше высокопревосходительство,— сказал он своим звучным, твердым, не спешащим голосом и с выражением сухого напыщенного восторга.— Прошу дать мне случай загладить свою вину и доказать мою преданность государю императору и России.

Долохов оживленно сказал эту театральную речь (он весь вспыхнул, говоря это). Но Кутузов отвернулся. На лице его промелькнула та же улыбка глаз, как и в то время, когда он отвернулся от капитана Тимохина. Он и тут отвернулся и поморщился, как будто хотел выразить этим, что всё, что ему сказал Долохов, и всё, что он мог сказать ему, он давно, давно знает, что всё это прискучило ему, и что всё это совсем не то, что нужно. Он отвернулся и направился к коляске.

III

Полк разобрался ротами и тронулся по назначенным квартирам невдалеке от Браунау, где надеялся обуться, обшиться и отдохнуть после трудных переходов.

— Вы на меня не претендуйте, Прохор Игнатьич,— сказал полковой командир, объезжая двигавшуюся к месту 3-ю роту и подъезжая к шедшему впереди ее капитану Тимохину. Лицо полкового командира после счастливого отбытия смотра выражало неудержимую радость.— Служба царская... нельзя... другой раз во фронте оборвешь... (он с радостным волнением хватал за руку Тимохина). Сам извинюсь первый, вы меня знаете... ну... надеюсь... Очень благодарен.— И он опять протянул руку ротному.

— Помилуйте, генерал, да смею ли я,— отвечал капитан, краснея носом, улыбаясь и раскрывая улыбкой недостаток двух передних зубов, выбитых прикладом под Измаилом.

— Да, господину Долохову передайте, что я его не забуду, чтоб он был спокоен. Да скажите, пожалуйста, я всё хотел спросить, что, как себя ведет? И всё...

— По службе очень исправен, ваше превосходительство... ну, характер...— сказал Тимохин.

— А что, что характер? — спросил полковой командир.

— Находит, ваше превосходительство, днями,— говорил капитан,— то и умен, и учен, и добр. Как солдаты все любят, ваше превосходительство. А то зверь. В Польше убил было жида, изволите знать...

— Ну да, ну да,— сказал полковой командир,— все надо пожалеть молодого человека в несчастии. Ведь большие связи... связи... Так вы того...

— Слушаю, ваше превосходительство,— сказал Тимохин, улыбкой давая чувствовать, что он понимает желания начальника.

— Ну да, ну да.

Полковой командир отыскал в рядах Долохова и придержал лошадь.

— До первого дела, эполеты,— обратился он к Долохову.

Долохов оглянулся, ничего не сказал и не изменил выражения своего насмешливо улыбающегося рта.

— Ну, вот и хорошо,— продолжал полковой командир.— Людям по чарке водки от меня,— прибавил он громко, чтоб солдаты слышали.— Благодарю всех! Слава богу! — И он, обогнав роту, подъехал к другой.

— Что ж, он, право, хороший человек, с ним служить можно,— сказал Тимохин субалтерн-офицеру, шедшему подле него.

— Одно слово, червонный... (полкового командира прозвали червонным королем). Что, про добавочное жалованье не говорили? — спросил субалтерн-офицер.

— Нет.

— Плохо.

Счастливое расположение духа полкового командира перешло и к Тимохину. Поговорив с субалтерн-офицером, он подошел к Долохову.

— Что, батюшка,— сказал он Долохову,— как с главнокомандующим поговорили, так и *наш* генерал теперь с нами ласков стал.

— Свинья наш генерал,— сказал Долохов.

— А вот и не годится так говорить.

— Что же, коли так.

— А не годится, вы нас этим обижаете.

— Вас я не хочу обижать, потому что вы хороший человек, а он...

— Ну, ну, не годится,— опять перебил серьезно Тимохин.

— Ну, не буду.

Счастливое расположение духа начальства после смотра перешло и к солдатам. Рота шла весело. Со всех сторон переговаривались солдатские голоса.

— Как же сказывали, Кутузов кривой, об одном глазу?

— А то нет! Вовсе кривой.

— Не... брат, глазастей тебя, и сапоги и подвертки, всё оглядел.

— Как он, братец ты мой, глянет на ноги мне... ну! думаю...

— А другой-то австрияк с ним был, словно мелом вымазан. Как мука белый. Я чай, как амуницию чистит.

— А что Федешоу, сказывал он что ли, когда стражение начнется, ты ближе стоял? Говорили всё в Брунове сам Бунапарат стоит.

— Бунапарте стоит! Ишь врет дура! Чего не знает! Теперь прусак бунтует. Австрияк его, значит, усмиряет. Как он замирится, тогда и с Бунапартом война откроется. А то, говорит, в Брунове Бунапарте стоит! То-то и видно, что дурак. Ты слушай больше.

— Вишь, черти, квартирьеры! Пятая рота, гляди, уже в деревню заворачивает, они кашу сварят, а мы еще до места не дойдем.

— Дай сухарика-то, чёрт.

— А табаку-то вчера дал? То-то, брат. Ну, на, бог с тобой.

— Хоть бы привал сделали, а то еще верст пять пропрем не емши.

— То-то любо было, как под Ольмюцем немцы нам коляски подавали. Едешь, знай; важно!

— А здесь, дружок, народ вовсе оголтелый пошел. Там все как будто поляк был, все русской короны, а нынче, брат, сплошной немец пошел.

— Песенники вперед! — послышался крик капитана.

И перед роту[1] с разных рядов выбежало человек двадцать. Барабанщик-запевало[1] обернулся лицом к песенникам и, махнув рукой, затянул протяжную солдатскую песню, начинавшуюся: «Не зоря ли солнышко занималося...» и кончавшуюся словами: «То-то, братцы, будет слава нам с Каменскиим отцом...» Песня эта была сложена в Турции и пелась теперь в Австрии. Только с тем изменением, что на место «Каменскиим отцом» вставляли слова «Кутузовым отцом».

Оторвав по-солдатски эти последние слова и махнув руками, как будто он бросал что-то на землю, барабанщик, сухой и красивый солдат лет сорока, строго оглянул солдат-песенников и зажмурился. Потом, убедившись, что все глаза устремлены на него, он, как будто осторожно приподнял обеими руками какую-то невидимую драгоценную вещь над головой, подержал ее так несколько секунд и вдруг отчаянно бросил ее:

— Ах, вы сени, мои сени...

«Сени новые мои»...— подхватило двадцать голосов, и ложечник, несмотря

---

[1] Так в подлиннике.

на тяжесть амуниции, резво выскочил вперед и пошел задом перед ротой, пошевеливая плечами и угрожая кому-то ложками. Солдаты, в такт песни размахивая руками, шли просторным шагом, невольно попадая в ногу. Сзади роты послышались звуки колес, похрускиванье рессор и топот лошадей. Кутузов со свитой возвращался в город. Главнокомандующий дал знак, чтобы люди продолжали идти вольно, и на его лице и на всех лицах его свиты выразилось удовольствие при звуках песни, при виде пляшущего солдата и весело и бойко идущих солдат роты. Во втором ряду, с правого фланга, с которого коляска обгоняла роты, невольно бросался в глаза красавец, голубоглазый, сбитый, широкий солдат, который особенно бойко и грациозно шел в такт песни и весело взглянул на лица проезжающих с таким выражением, как будто он жалел всех, кто не шел в это время с ротой. Гусарский корнет с высоко поднятыми плечами отстал от коляски и подъехал к Долохову.

Гусарский корнет Жерков одно время в Петербурге принадлежал к тому буйному обществу, которым руководил Долохов. За границей Жерков встретил Долохова солдатом, но не счел нужным узнать его. Теперь он с радостью старого друга обратился к нему.

— Друг сердечный, ты как? — сказал он при звуках песни, ровняя шаг своей лошади с шагом роты.

— Здорово, брат,— отвечал холодно Долохов,— как видишь.

Бойкая песня придавала особенное значение тону развязной веселости, с которой говорил Жерков, и умышленной холодности ответов Долохова.

— Ну, как ты ладишь с своими, с начальством? — спросил Жерков.

— Ничего, хорошие люди. Ты как в штаб затесался?

— Прикомандирован, дежурю.

Они помолчали. «Выпускала сокола̀, да из правого рукава»,— говорила песня, невольно возбуждая бодрое, веселое чувство. Разговор их, вероятно, был бы другой, ежели бы они говорили не при звуках песни.

— Что, правда, австрийцев побили? — спросил Долохов.

— А чёрт их знает, говорят.

— Я рад,— отвечал Долохов коротко и ясно, как того требовала песня.

— Что ж, приходи к нам когда вечерком, фараон заложишь,— сказал Жерков.

— Или у вас денег много завелось?

— Приходи.

— Нельзя. Зарок дал. Не пью и не играю, пока не произведут.

— Да что ж, до первого дела...

— Там видно будет.

Опять они помолчали.

— Ты заходи, коли что нужно, всё в штабе помогут,— сказал Жерков.

Долохов усмехнулся.

— Ты лучше не беспокойся. Мне что нужно, я просить не стану, сам возьму.

И Долохов злобно посмотрел в лицо Жеркову.

— Да что ж, я так...

— Ну и я так.

— Прощай.

— Будь здоров.

...И высоко, и далеко,
На родиму сторону...

Жерков тронул шпорами лошадь, которая раза три, горячась, перебила ногами, не зная, с какой начать, справилась и поскакала, обгоняя роту и догоняя коляску, тоже в такт песни.

IV

Возвратившись со смотра, Кутузов с австрийским генералом прошел в свой кабинет и, кликнув адъютанта, приказал подать себе некоторые бумаги, относившиеся до состояния приходивших войск, и письма, полученные до сих пор от эрцгерцога Фердинанда. Князь Андрей Болконский с требуемыми бумагами вошел в кабинет главнокомандующего. Перед разложенным на столе планом сидели Кутузов и австрийский член гофкригсрата.

— А...— сказал Кутузов, оглядываясь на Болконского, как будто этим словом приглашая адъютанта подождать, и продолжал по-французски начатый разговор.

— Я только говорю одно, генерал,— говорил Кутузов с приятным изяществом выражений и интонаций, заставлявшим вслушиваться в каждое неторопливо сказанное слово. Видно было, что Кутузов и сам с удовольствием слушал себя.— Я только одно говорю, генерал, что ежели бы дело зависело от моего личного желания, то воля его величества, императора Франца, давно была бы исполнена. Я давно уже присоединился бы к эрцгерцогу. И верьте моей чести, что для меня лично передать высшее начальство армией более меня сведущему и искусному генералу, какими так обильна Австрия, и сложить с себя всю эту тяжкую ответственность, для меня лично было бы отрадой. Но обстоятельства бывают сильнее нас, генерал.— И Кутузов улыбнулся с таким выражением, как будто он говорил: «Вы имеете полное право не верить мне и даже мне совершенно всё равно, верите ли вы мне или нет, но вы не имеете повода сказать мне это. И в этом-то всё дело».

Австрийский генерал имел недовольный вид, но не мог не в том же тоне отвечать Кутузову.

— Напротив,— сказал он ворчливым и сердитым тоном, так противоречившим лестному значению произносимых слов,— напротив, участие вашего превосходительства в общем деле высоко ценится его величеством, но мы полагаем, что настоящее замедление лишает славные русские войска и их главнокомандующих тех лавров, которые они привыкли пожинать в битвах,— закончил он, видимо, приготовленную фразу.

Кутузов поклонился, не изменяя улыбки.

— А я так убежден и, основываясь на последнем письме, которым почтил меня его высочество эрцгерцог Фердинанд, предполагаю, что австрийские войска, под начальством столь искусного помощника, каков генерал Макк, теперь уже одержали решительную победу и не нуждаются более в нашей помощи,— сказал Кутузов.

Генерал вздрогнул и нахмурился. Хотя и не было положительных известий о поражении австрийцев, но было слишком много обстоятельств, подтверждавших общие невыгодные слухи, и потому предположение Кутузова о победе австрийцев было весьма похоже на насмешку. Но Кутузов кротко улыбался, все с тем же выражением, которое говорило, что он имеет право предполагать это. Действительно, последнее письмо, полученное им из армии Макка, извещало его о победе и о самом выгодном стратегическом положении армии.

— Дай-ка сюда это письмо,— сказал Кутузов, обращаясь к князю Андрею.— Вот, изволите видеть,— и Кутузов с насмешливою улыбкой на концах губ прочел по-немецки австрийскому генералу следующее место из письма эрцгерцога Фердинанда:

«Мы имеем вполне сосредоточенные силы, около 70 000 человек, так что мы можем атаковать и разбить неприятеля в случае переправы его через Лех. Так как мы уже владеем Ульмом, то мы можем удерживать за собою выгоду командования обоими берегами Дуная, стало быть, ежеминутно, в случае если неприятель не перейдет через Лех, переправиться через Дунай, броситься на его коммуникационную линию, ниже перейти

обратно Дунай, и неприятелю, если он вздумает обратить всю свою силу на наших верных союзников, не дать исполнить его намерение. Таким образом, мы будем бодро ожидать времени, когда императорская российская армия совсем изготовится, и затем вместе легко найдем возможность уготовить неприятелю участь, коей он заслуживает».

Кутузов тяжело вздохнул, окончив этот период, и внимательно и ласково посмотрел на члена гофкригсрата.

— Но вы знаете, ваше превосходительство, мудрое правило, предписывающее предполагать худшее,— сказал австрийский генерал, видимо, желая покончить с шутками и приступить к делу. Он недовольно оглянулся на адъютанта.

— Извините, генерал,— перебил его Кутузов и тоже поворотился к князю Андрею.— Вот что, мой любезный, возьми ты все донесения от наших лазутчиков у Козловского. Вот два письма от графа Ностица, вот письмо от его высочества эрцгерцога Фердинанда, вот еще,— сказал он, подавая ему несколько бумаг.— И из всего этого чистенько на французском языке составь memorandum, записочку, для видимости всех тех известий, которые мы о действиях австрийской армии имели. Ну, так-то, и представь его превосходительству.

Князь Андрей почтительно наклонил голову в знак того, что понял с первых слов не только то, что было сказано, но и то, что желал бы сказать ему Кутузов. Он собрал бумаги и, отдав общий поклон, тихо шагая по ковру, вышел в приемную.

Несмотря на то, что еще не было трех месяцев, как князь Андрей оставил Россию, он много изменился за это время. В выражении его лица, в движениях, в походке почти не было заметно прежнего притворства, усталости и лени; он имел вид человека, не имеющего времени думать о впечатлении, какое он производил на других, и занятого делом приятным и интересным. Лицо его выражало больше довольства собой и окружающими; улыбка и взгляд его были веселее и привлекательнее.

Кутузов, которого он догнал еще в Польше, принял его очень ласково, обещал ему не забывать его, отличал от других адъютантов, брал с собою в Вену и давал более серьозные поручения. В штабе Кутузова, между товарищами-сослуживцами, и вообще в армии князь Андрей, так же как и в петербургском обществе, имел две совершенно противоположные репутации. Одни, меньшая часть, признавали князя Андрея чем-то особенным от себя и от всех других людей, ожидали от него больших успехов, слушали его, восхищались им и подражали ему. И с этими людьми князь Андрей бывал прост и приятен. Другие, большинство, не любили князя Андрея, считали его надутым, холодным и неприятным человеком. Но с этими людьми князь Андрей умел поставить себя так, что его уважали и даже боялись. Он ближе всех был с двумя людьми: один из них был петербургский товарищ, добродушный, толстый князь Несвицкий. Князь Несвицкий, огромно богатый, беспечный и веселый, кормил и поил весь штаб, постоянно смеялся всему, что похоже было на смешное, и не понимал и не верил в возможность подлости или ненависти к человеку. Другой был человек без имени, из пехотного полка капитан Козловский, не имевший никакого светского образования, даже дурно говоривший по-французски, но который трудом, усердием и умом прокладывал себе дорогу, и в эту кампанию был рекомендован и взят по особым поручениям к главнокомандующему. С ним охотно, хотя и покровительственно, сближался Болконский.

Выйдя в приемную из кабинета Кутузова, князь Андрей с бумагами подошел к Козловскому, который был дежурный и с книгой фортификации сидел у окна. Несколько человек военных в полной форме и с робкими лицами терпеливо ожидали в другой стороне.

— Ну, что, князь? — спросил Козловский.

— Приказано составить записку, почему нейдем вперед.

— А почему?

Князь Андрей пожал плечами.

— Пожалуй, ваша правда,— сказал он.

— Нет известия от Макка? — спросил Козловский.

— Нет.

— Ежели бы правда, что он разбит, так пришло бы известие.

— Непонятно,— сказал князь Андрей.

— Я вам говорил, князь, завладели нами австрийцы, добра не будет.

Князь Андрей улыбнулся и направился к выходной двери, но в то же время навстречу ему, хлопнув дверью, быстро вошел в приемную высокий, очевидно, приезжий, австрийский генерал с повязанною черным платком головой и с орденом Марии-Терезии на шее. Князь Андрей остановился. Высокая фигура австрийского генерала, морщинистое, решительное лицо его и быстрые движения были так поразительны своею важностью и тревожностью, что все бывшие в комнате невольно встали.

— Генерал-аншеф Кутузов? — быстро проговорил приезжий генерал с резким немецким выговором, оглядываясь на обе стороны и без остановки подходя к двери кабинета.

— Генерал-аншеф занят,— сказал Козловский торопливо и мрачно, как он всегда исполнял свои обязанности, подходя к неизвестному генералу и загораживая ему дорогу от двери.— Как прикажите доложить?

Неизвестный генерал презрительно оглянулся сверху вниз на невысокого ростом Козловского, как будто удивляясь, что его могут не знать.

— Генерал-аншеф занят,— спокойно повторил Козловский.

Лицо генерала нахмурилось, губы его дернулись и задрожали. Он вынул записную книжку, быстро начертил что-то карандашом, вырвал листок, отдал, быстрыми шагами подошел к окну, бросил свое тело на стул и оглянул всех бывших в комнате, как будто спрашивая, зачем они на него смотрят? Генерал поднял голову, вытянул шею и обратился было к ближе всех от него стоявшему князю Андрею, как будто намереваясь что-то сказать, но тотчас же отвернулся и, как будто небрежно начиная напевать про себя, произвел странный звук, который, однако, тотчас же пресекся. Дверь кабинета отворилась, и на пороге ее показался Кутузов. В то же мгновение генерал с повязанною головой, как будто убегая от опасности и нагнувшись, большими, быстрыми шагами худых ног подвинулся к самому лицу Кутузова. Немолодое морщинистое лицо его побледнело, и он не мог удержать от нервного дрожания нижнюю губу, в то время как он сорвавшимся, слишком громким голосом произнес дурным выговором по-французски следующие слова:

— Vous voyez le malheureux Mack [1].

Широкое, изуродованное ранами лицо Кутузова, стоявшего в дверях кабинета, несколько мгновений оставалось совершенно неподвижно. Потом, как волна, пробежала по его лицу морщина, лоб разгладился; он почтительно наклонил голову, закрыл глаза, молча пропустил мимо себя Макка и сам за собой затворил дверь.

Слух, уже распространенный прежде о разбитии австрийцев и о сдаче всей армии под Ульмом, оказывался справедливым. Штабные сообщали друг другу подробности разговора Макка с главнокомандующим, которого никто не мог слышать. Через полчаса уже по разным направлениям были разосланы адъютанты с приказаниями, доказывавшими, что скоро и русские войска, до сих пор бывшие в бездействии, должны будут встретиться с неприятелем.

«Полусумасшедший старый фанатик Макк хотел бороться с величайшим военным гением после Кесаря! —думал князь Андрей, возвращаясь в свою комнату. «Что я говорил Козловскому? Что я писал отцу? — думал он.— Так и случилось». И невольно он испытывал волнующее радостное

[1] Вы видите несчастного Макка.

чувство при мысли о посрамлении самонадеянной Австрии и о том, что через неделю, может быть, придется ему увидеть и принять участие в столкновении русских с французами, впервые после Суворова.

Вернувшись сверху в свою комнату, занимаемую им вместе с Несвицким, князь Андрей положил ненужные уже теперь бумаги на стол и, заложив руки назад, заходил взад и вперед по комнате, улыбаясь своим мыслям. Он боялся гения Бонапарта, который мог оказаться сильнее всей храбрости русских войск, и вместе с тем не мог допустить позора для своего героя. Единственно возможное разрешение этого противоречия состояло в том, чтоб он сам командовал русскою армией против Бонапарта. Но когда это могло быть? Через десять лет,— десять лет, которые кажутся вечностью, когда они составляют больше одной трети прожитой жизни. «Ah! Fais ce que doit, advienne ce qui pourra» [2],— проговорил он себе выбранный им девиз. Он крикнул слугу, снял мундир, надел шубку и сел за стол. Несмотря на походную жизнь и общую тесную комнату, занимаемую им вместе с Несвицким, князь Андрей был, так же как и в России, щепетилен, точно женщина, занят собой и аккуратен. Несвицкий знал, что ничем нельзя было больше рассердить своего товарища по комнате, как расстройством его вещей, и два стола Болконского, один письменный, уставленный, как в Петербурге, бронзовыми письменными принадлежностями, другой — щеточками, мыльницами, зеркалом, всегда были симметрично убраны и без малейшей пылинки. Со времени своего выезда из Петербурга и, главное, со времени разлуки с женой, князь Андрей вступил в новую эпоху деятельности и как будто вновь переживал молодость. Он много читал и учился. Походная жизнь давала ему немало досуга, и книги, приобретенные им за границей, раскрыли для него новые интересы. В числе этих книг были большею частью философские сочинения. Философия, кроме своего внутреннего интереса, была для него одним из тех пьедесталов гордости, на которые он любил становиться пред другими людьми. Хотя у него и было много различных пьедесталов, с которых он мог сверху вниз смотреть на людей: рождение, связи, богатство,— философия представляла для него такой пьедестал, с которого он мог чувствовать себя выше и таких людей, как сам Кутузов, а чувствовать это было необходимо для душевного спокойствия князя Андрея. Он взял последнее, лежавшее у него на столе до половины разрезанное, сочинение Канта и принялся читать. Но мысль его была далеко, беспрестанно представлялась ему его любимая мечта — знамя Аркольского моста.

— Ну, брат, за мной бутылка,— сказал, входя в комнату огромный, толстый Несвицкий, как и всегда сопровождаемый Жерковым.— Какова штука с Макком?

— Да, неприятные четверть часа провел он теперь на верху,— сказал князь Андрей.

(Между ними было пари. Князь Андрей утверждал, что Макк будет разбит. Он выиграл.)

— За мной бутылка,— сказал Несвицкий, расстегивая мундир, сжимавший его пухлую шею.— А какой, брат, будет обед нынче! дикая коза, достал свежую, и индейка с каштанами.

— Я говорил: Макк в зубах завязнет,— сказал Жерков, но шутка его не понравилась. Князь Андрей холодно оглянулся на него и обратился к Несвицкому.

— Что слышал, когда выступают? — сказал он.

— Вторую дивизию послали передвинуть,— сказал Жерков с своею заискивающею манерой.

— А! — сказал князь Андрей, отвернулся и стал читать.

— Ну, будет тебе философствовать,— крикнул Несвицкий, бросаясь на кровать и отдуваясь,— потолкуем-ка. Как я хохотал сейчас! Можешь себе

---

[2] Ах! Делай, что должно, пусть будет, что будет (*франц. пословица*).

представить, только мы вышли, Штраух идет. Надо было видеть, что Жерков перед ним выделывал.

— Ничего, я отдавал честь союзнику,— проговорил Жерков, и Несвицкий захохотал так, что кровать под ним затрещала.

Штраух, австрийский генерал, присланный из Вены для наблюдения за продовольствиями русской армии, почему-то полюбился Жеркову. Он и передразнивал его весьма похоже, и каждый раз, как встречался с ним, вытягивался, представляя, что он его боится, и каждый раз, как мог найти случай, заговаривал с ним на ломаном немецком языке, представляя из себя наивного дурачка, к большому удовольствию Несвицкого.

— Ах, да! — сказал Несвицкий, обращаясь к князю Андрею,— à propos de[3] Штраух. Тут тебя давно ждет офицер пехотный.

— Какой офицер?

— Помнишь тебя посылали следствие производить, корову что ли он утащил у немцев.

— Что ж ему нужно? — морщась, сказал князь Андрей, поворачивая кольцо на своей маленькой, белой руке.

— Жалкий такой, просить тебя пришел. Жерков, как он? ну, как он говорил?

Жерков сделал гримасу и начал представлять офицера.

— Я... совсем не то... солдаты... купили скотину... потому что хозяева... Скотина... хозяева... скотина...

Князь Андрей встал и надел мундир.

— Нет, ты замни как-нибудь,— сказал Несвицкий.— Ей-богу, такой жалкий.

— Я ни заминать, ни подводить никого и ничего не хочу. Меня послали, я сказал, что было. И мерзавцев я никогда не жалею и не смеюсь над ними,— прибавил он, глядя на Жеркова.

Поговорив с офицером, он высокомерно объяснил ему, что он никакого с ним личного дела не имеет и не желает иметь.

— Ведь вы сами знаете, ваш... князь,— говорил офицер, который, видимо, находился в недоумении, как ему обращаться с этим адъютантом: он боялся одинаково и унижаться, и не быть достаточно вежливым,— ведь вы сами знаете, князь, что походом бывали дни, что солдаты не емши, ну, как запретить... вы сами посудите...

— Ежели вы требуете моего личного убеждения,— сказал князь Андрей,— то я вам скажу, что, по моему мнению, мародерство всегда есть важный проступок, а в земле союзников нет за него достаточно строгого наказания. Но, главное, вы поймите, что я ничего не могу сделать; мое дело доложить главнокомандующему, что я нашел. Не могу же я для вас лгать.— И, улыбнувшись этой странной мысли, он поклонился офицеру и пошел назад. Возвращаясь к себе, он увидел идущих по коридору генерала Штрауха и члена гофкригсрата. Навстречу им шли Несвицкий и Жерков.

По широкому коридору было достаточно места, чтобы генералы могли и обойти двух офицеров, но Жерков, отталкивая рукою Несвицкого, запыхавшимся голосом проговорил:

— Идут!.. идут!.. посторонитесь, дорогу! пожалуйста, дорогу!

Генералы проходили с видом желания избавиться от утруждающих почестей. На лице Жеркова выразилась вдруг глупая улыбка радости, которой он как будто не мог удержать.

— Ваше превосходительство,— сказал он по-немецки, выдвигаясь вперед и обращаясь к австрийскому генералу.— Имею честь поздравить.— Он наклонил голову и неловко, как дети, которые учатся танцовать, стал расшаркиваться то одной, то другой ногой.

---

[3] кстати о

Генерал, член гофкригсрата, строго оглянулся на него, но, заметив сериозность глупой улыбки, не мог отказать в минутном внимании. Он прищурился, показывая, что слушает.

— Имею честь поздравить, генерал Макк приехал совсем здоров, только немного тут зашибся,— прибавил он, сияя улыбкой и указывая на свою голову.

Генерал нахмурился, отвернулся и пошел дальше.

— Gott, wie naiv[4],— сказал он сердито, отойдя несколько шагов.

Несвицкий с хохотом обнял князя Андрея и повлек его в свою комнату. Вслед за Несвицким в комнату вошел князь Андрей и, не обращая внимания на его хохот, подошел к своему столу и сбросил с него на пол лежавшую фуражку Жеркова.

— Нет, что за рожа! — сквозь смех говорил Несвицкий.— Это чудесно! Только немного тут зашибся... ха, ха, ха!..

— Ничего смешного нет,— сказал князь Андрей.

— Как не смешно? Одна рожа чего стоит...

— Ничего смешного. Я не большой друг австрийцев, но есть приличия, которых может не знать этот *chenapan*[5], но которые мне и тебе дóлжно соблюдать.

— Полно, он сейчас войдет,— испуганно перебил Несвицкий.

— Мне всё равно. Как это хорошо нас выказывает перед союзниками, как тут много такта!.. Офицер этот, который украл корову для роты, право, не хуже твоего Жеркова. Тот, по крайней мере, нуждался в этой корове.

— Да как ты хочешь, братец, это всё очень жалко, а все-таки смешно. Ежели бы ты...

— Ничего смешного.— Quarante mille hommes massacrés et l'armée de nos alliés détruite, et vous trouvez là le mot pour rire[6],— сказал он, как будто этою французскою фразой закрепляя свое мнение.— C'est bien pour un garçon de rien comme cet individu dont vous vous êtes fait un ami, mais pas pour vous, pas pour vous. *Мальчишкам* только можно так забавляться,— сказал князь Андрей по-русски, выговаривал это слово с французским акцентом, заметив, что Жерков вошел в комнату. Он подождал, не ответит ли что-нибудь корнет. Но корнет ничего не отвечал, взял свою фуражку и, подмигнув Несвицкому, вышел.

— Приходи же обедать! — крикнул Несвицкий. Князь Андрей пристально посмотрел на корнета, и когда он скрылся, сел за стол.

— Я тебе давно хотел сказать,— обратился он к Несвицкому, который с улыбкой в глазах смотрел теперь на князя Андрея. Казалось, для него всякое развлечение было приятно, и он теперь не без удовольствия слушал звук голоса и речь князя Андрея.

— Я тебе давно хотел сказать: твоя страсть со всеми быть фамилиярным, и кормить, и поить без разбора всех на свете. Всё это прекрасно, и хоть я с тобой живу, для меня это не стеснительно, потому что я этим господам умею дать почувствовать их место. И я говорю не для себя, а для тебя. Со мною ты можешь шутить. Мы понимаем друг друга и знаем границы шуток, а с этим Жерковым нельзя быть фамилиярным. Его цель только в том, чтобы как-нибудь выскочить, получить крестик, да чтобы ты его даром кормил и поил; дальше он ничего не видит и готов тебя забавлять чем угодно, не соображая значения своих шуток, а тебе этого нельзя.

— Ну, что ж, он добрый малый,— заступаясь, сказал Несвицкий,— добрый малый.

---

[4] Боже мой, как наивен (*нем.*).

[5] негодяй

[6] Сорок тысяч человек погибло, и союзная нам армия уничтожена, а вы можете при этом шутить. Это простительно ничтожному мальчишке, как вот этот господин, которого вы сделали себе другом, но не вам, не вам.

— Этих Жерковых можно после обеда подпоить и заставить представлять комедии, это я понимаю, но не дальше.

— Ну, полно, брат, ну, неловко... Да что же, ну, не буду, да только замолчи! — закричал, смеясь, Несвицкий и, вскочив с дивана, обнял и поцеловал князя Андрея. Князь Андрей улыбнулся, как учитель ласкающемуся школьнику.

— У меня внутренность переворачивается, когда эти Жерковы лезут к тебе в интимность. Ему хочется подняться и очиститься в сближении с тобой, и он не очистится, а только тебя запачкает.

V

Гусарский Павлоградский полк стоял в двух милях от Браунау. Эскадрон, в котором юнкером служил Nicolas Ростов, расположен был в немецкой деревне Зальценек. Эскадронному командиру, ротмистру Денисову, известному всей кавалерийской дивизии под именем Васьки Денисова, была отведена лучшая квартира в деревне. Юнкер Ростов, с тех самых пор, как он догнал полк в Польше, жил вместе с эскадронным командиром.

8-го октября, в тот самый день, когда в главной квартире все было поднято на ноги известием о поражении Макка, в штабе эскадрона походная жизнь спокойно шла по-старому. Денисов, проигравший всю ночь в карты, еще спал, когда Ростов, рано утром, верхом вернулся домой в рейтузах и гусарской куртке. Ростов подъехал к крыльцу, толконув лошадь, гибким молодым жестом скинул ногу, постоял на стремени, как будто не желая расстаться с лошадью, наконец, спрыгнул и, обернув свое разрумяненное, загорелое, с пробивавшимися усиками лицо, крикнул вестового.

— А, Бондаренко, друг сердечный,— проговорил он бросившемуся стремглав к его лошади гусару.— Выводи, дружок,— сказал он с тою братскою веселою нежностию, с которой обращаются со всеми хорошие молодые люди, когда они счастливы.

— Слушаю, ваше сиятельство,— отвечал хохол, встряхивая весело головой.

— Смотри же, выводи хорошенько!

Другой гусар бросился тоже к лошади, но Бондаренко уже перекинул поводья трензеля. Видно было, что юнкер давал хорошо на водку и что услужить ему было выгодно. Ростов погладил лошадь по шее, потом по крупу и остановился на крыльце.

«Славно» — сказал он сам себе, улыбаясь и придерживая саблю, вбежал на крыльцо и пристукнул каблуками и шпорами, как делают в мазурке. Хозяин-немец, в фуфайке и колпаке, с вилами, которыми он вычищал навоз, выглянул из коровника. Лицо немца вдруг просветлело, как только он увидал Ростова. Он весело улыбнулся и подмигнул: «Schön gut Morgen! Schön gut Morgen! [1] — повторил он, видимо, находя удовольствие в приветствии молодого человека.

— Schon fleißig! [2],— сказал Nicolas всё с тою же радостною братскою улыбкой, какая не сходила с его оживленного лица.— Hoch Oestreicher! Hoch Russen! Kaiser Alexander hoch [3]! — обратился он к немцу, повторяя слова, говоренные часто немцем-хозяином. Немец засмеялся, вышел совсем из двери коровника, сдернул колпак и, взмахнув им над головой, закричал:

— Und die ganze Welt hoch! [4]

---

[1] Прекрасно, доброго утра! (*нем.*).
[2] Уже за работой! (*нем.*).
[3] Ура австрийцы! Ура русские! Император Александр ура! (*нем.*).
[4] И весь свет ура! (*нем.*).

Ростов сам, так же как немец, взмахнул фуражкой над головой и, смеясь, закричал: «Und vivat die ganze Welt!». Хотя не было никакой причины к особенной радости ни для немца, вычищавшего свой коровник, ни для Nicolas, ездившего со взводом за сеном; оба человека эти с счастливым восторгом и братскою любовью посмотрели друг на друга, потрясли головами в знак взаимной любви и, улыбаясь, разошлись, немец — в коровник, а Nicolas — в избу, которую занимал с Денисовым.

Накануне офицеры этого эскадрона собирались у ротмистра 4-го эскадрона в другой деревне и провели у него ночь за картами. Ростов там был, но уехал рано. Несмотря на всё его желание быть вполне гусаром и товарищем, он не мог пить больше стакана вина, не делаясь больным, и засыпал за картами. Денег у него было слишком достаточно, так что он не знал, куда девать их, и не понимал удовольствия выигрывать. Каждый же раз как он, по совету офицеров, ставил карту, он выигрывал деньги, которые ему были не нужны, и замечал, как это было неприятно тому, чьи были деньги, но помочь этому не мог. Ростов, несмотря на то, что эскадронный командир никогда не делал ему замечаний по службе, решил сам про себя, что в военной службе важнее всего добросовестность в исполнении обязанности, и объявил всем офицерам, что он счел бы себя дрянью, ежели бы он позволил себе когда-нибудь пропустить очередь дежурства или командировки. Впоследствии дежурства и унтер-офицерская служба, к которой никто не принуждал его, становились тяжелы для него, но он помнил сказанное неосторожно слово и не изменил ему. По унтер-офицерской службе получив с вечера повестку от вахмистра, он велел себя разбудить до зари и вместе со взводом ходил за сеном. Денисов еще спал, а он уже успел наговориться с гусарами, насмотреться на немку, дочь школьного учителя в Зальценеке, проголодаться и прийти в то счастливое состояние духа, в котором все люди добры, милы и приятны. Он, слегка побрякивая солдатскими шпорами, ходил взад и вперед по скрипучему полу, поглядывая на спящего, с головой укутанного Денисова. Ему хотелось поговорить. Денисов кашлянул и повернулся. Он подошел к нему и дернул за одеяло.

— Пора, Денисов! пора! — крикнул он.

Из-под одеяла быстро выскочила черная, обросшая волосами мохнатая голова с красными щеками и блестящими, чернейшими глазами.

«Пог'а! — закричал Денисов, не выговаривая *р*.— Что пог'а? пог'а уйти к чёг'ту из этого... колбасного цаг'ства! Такого несчастия! такого несчастия! Как ты уехал, так и пошло. Пг'одулся я, бг'ат, вчег'а, как сукин сын!.. Ей, чаю!

Денисов вскочил своими карими голыми ногами, обросшими как у обезьяны черными волосами, и, сморщившись, как бы улыбаясь и выказывая свои короткие, крепкие зубы, начал обеими руками лохматить, как лес взбитые, черные, густые волосы и усы. С первых слов Денисова видно было, что ему невесело на душе, и что он телом слаб от вина и бессонных ночей, и что приемы веселости были не потребностию его, а привычкой.

— Чёг'т меня дег'нул пойти к этой кг'ысе (прозвище офицера),— растирая себе обеими руками лоб и лицо, говорил Денисов.— Можешь себе пг'едставить, вчег'а, как ты ушел, ни одной каг'ты, ни одной, ни одной каг'ты не дал,— говорил Денисов, возвышая голос до крика, и весь багровея от волнения.

Денисов был один из тех людей, которые постоянно два раза в год пускали себе кровь и назывались горячими.

— Ну, полно, дело прошлое,— сказал Ростов, замечая, что Денисов начинает горячиться при одном воспоминании о своем несчастии.— Давай лучше чай пить.

Видно было, что Ростов еще не свыкся с своим положением, и ему приятно было говорить *ты* такому старому человеку. Но Денисов уже расходился, глаза его налились кровью, он взял подаваемую ему заку-

ренную трубку, сжал в кулак, рассыпая огонь, бил ею по полу, продолжая кричать.

— Нет, это надо мной чег'товское несчастие — семпель даст, паг'оль бьет, семпель даст, паг'оль бьет.

Он рассыпал огонь, разбил трубку, бросил ее и замахнулся на деньщика. Но через минуту, когда Ростов обратился к нему, горячка уже прошла.

— А я как проехался славно. Мы мимо того парка прошли, где учителева дочка, помнишь?..— сказал Ростов, краснея и улыбаясь.

— Это кг'овь молодая-то,— уже тихо сказал Денисов, хватая юнкера за руку и потрясая ее.— Кг'аснеет юноша, даже пг'отивно...

— Опять видел...

— Ну, бг'ат, и я, видно, теперь за пг'екг'асный пол пг'имусь — денег нет, игг'ать баста. Никита, дай-ка, дг'ужок, мне кошелек,— сказал он деньщику, которого чуть не прибил.— Вот так. Эка дубина, чег'т! Где г'оешься? Под подушкой. Ну, спасибо, голубчик,— сказала он, принимая кошелек и высыпая на стол несколько золотых.— Эскадг'онные, фуг'ажные, всё тут,— сказал он.— Должно быть, фуг'ажных одних 45. Да нет, что считать! Не поднимешься.

Он отодвинул золотые.

— Что ж, возьми у меня,— сказал Ростов.

— Коли в воскг'есенье не пг'ивезут жалованье, сквег'но! — проговорил Денисов, не отвечая Ростову.

— Да возьми у меня,— проговорил Ростов, краснея, это всегда бывает с очень молодыми людьми, когда дело касается денег. У него неясно мелькнула мысль о том, что Денисов уже должен ему, и мысль, что Денисов оскорбляет его, не принимая его предложения.

Лицо Денисова опустилось и стало грустно.

— Вот что! Возьми у меня Бедуина,— сказал он серьезно, подумав несколько.— Я сам за него в Г'оссии полтог'ы тысячи дал, за ту же цену тебе отдам. Заветного ничего, кг'оме сабли. Бег'и! По г'укам...

— Ни за что не возьму. Лучшая лошадь в полку,— сказал Ростов, опять вспыхивая.

Бедуин была действительно прекрасная лошадь, и Ростов очень бы хотел иметь ее, но и совестно было перед Денисовым. Он чувствовал себя как будто виноватым за то, что у него есть деньги. Денисов замолчал и стал опять задумчиво лохматить волосы.

— Эй, кто там? — обратился он к двери, заслышав остановившиеся шаги толстых сапог с бряцанием шпор, и почтительное покашливанье.

— Вахмистр! — сказал Никита.

Денисов сморщился еще больше.

— Сквег'но,— проговорил он.—Г'остов, сочти, голубчик, сколько там осталось, да бг'ось кошелек под подушку,— сказал он, выходя к вахмистру.

Ростов, уже воображая себя корнетом на купленном Бедуине в замке эскадрона, начал считать деньги, машинально откладывая и ровняя кучками старые и новые золотые (старых было семь, а новых шестнадцать).

— А! Телянин! Здог'ово! Вздули меня вчег'а,— послышался грустный голос Денисова в другой комнате.

— У кого? У Быкова, у крысы?.. Я знал,— сказал другой тоненький голос, и вслед за тем в комнату вошел поручик Телянин, щеголеватый, маленький офицер того же эскадрона.

Ростов кинул под подушку кошелек и пожал протянутую ему влажную, маленькую руку. Телянин был перед походом за что-то переведен из гвардии. Его не любили в эскадроне за его чопорность. Ростов купил у него свою лошадь.

— Ну что, молодой кавалерист, как вам мой Грачик служит? — спросил он. Поручик никогда не смотрел в глаза человеку, с кем говорил;

глаза его постоянно перебегали с одного предмета на другой.— Я видел, вы нынче проехали...

— Да, ничего, конь добрый,— отвечал Ростов сериозным тоном опытного кавалериста, несмотря на то, что лошадь, купленная им за семьсот рублей, была испорчена ногами и не стоила половины этой цены.— Припадать стала на левую переднюю...— прибавил он.

— Треснуло копыто? Это ничего. Я вас научу, покажу, заклепку какую положить.

Глаза Телянина не успокоивались, несмотря на то, что вся его небольшая фигурка принимала лениво небрежную позу и тон его речи был слегка насмешливо-покровительственный.

— Не хотите ли чаю? И покажите, пожалуйста, как это заклепку-то...— сказал Ростов.

— Покажу, покажу, это не секрет. А за лошадь благодарить будете.

— Так я велю привести лошадь.

И Ростов вышел, чтобы привести.

В сенях Денисов в архалуке, с трубкой, скорчившись на пороге, сидел перед вахмистром, который что-то докладывал.

Увидав Ростова, Денисов сморщился и, указывая через плечо большим пальцем в комнату, в которую прошел Телянин, поморщился и с отвращением тряхнулся.

— Ох, не люблю молодца,— сказал он, не стесняясь присутствием вахмистра.

Ростов пожал плечами как будто говоря: «И я тоже, да что ж делать?» — и, распорядившись, вернулся к Телянину.

Телянин сидел всё в той же ленивой позе, в которой его оставил Ростов, потирая маленькие белые руки.

— Вот стояночка-то — ни одного дома, ни одной женщины не видал, с тех пор как из Польши,— сказал Телянин, вставая и небрежно оглядываясь вокруг себя.— Что же, велели привести лошадь? — прибавил он.

— Велел.

— Да пойдемте сами.

— А что ж чаю?

— Нет, не хочу. Я ведь зашел только спросить Денисова о вчерашнем приказе. Получили, Денисов?

— Нет еще. А вы куда?

— Вот хочу молодого человека научить, как ковать лошадь,— сказал Телянин.

Они вышли на крыльцо и в конюшню. Поручик показал, как делать заклепку, и ушел к себе.

Когда Ростов вернулся, на столе стояла водка и ветчина, и Денисов, одетый, быстрыми шагами ходил взад и вперед по комнате. Он мрачно посмотрел в лицо Ростову.

— Г'едко кого не люблю,— сказал Денисов,— а этот мне Телянин пг'отивен как молоко с сахаром. Надул он тебя с Гг'ачиком своим, это вег'но. Пойдем в конюшню. Возьми Бедуина, все г'авно, сейчас из полы в полу, и две бутылки шампанского.

Ростов опять разгорелся, как девушка.

— Нет, пожалуйста, Денисов... Я ни за что не возьму лошадь. А ежели ты у меня не возьмешь деньги по-товарищески, ты меня обидишь. Право, у меня есть.

Денисов поморщился, отвернулся и стал лохматить волосы. Ему, видно, неприятно было.

— Ну, быть по-твоему!

Ростов хотел достать деньги.

— После, после, еще есть. Чучела, пошли вахмистра,— крикнул Денисов Никите,— надо ему деньги отдать.

И он пошел к постели, чтобы достать из-под подушки кошелек.

— Ты куда положил?

— Под нижнюю подушку.

— Я под нижней и смотрю.

Денисов скинул обе подушки на пол. Кошелька не было.— Вот чудо-то!

— Постой, ты не уронил ли,— сказал Ростов, по одной поднимая подушки и вытрясая их. Он скинул и отряхнул одеяло. Кошелька не было.

— Уж не забыл ли я? Нет, я еще подумал, что ты точно клад под голову кладешь,— сказал Ростов.— Я тут положил кошелек. Где он? — обратился он к слуге.

— Я не входил. Где положили, там и должен быть.

— Да нет...

— Вы всё так, бросите куда, да и забудете. В карманах посмотрите.

— Нет, коли бы я не подумал про клад,— сказал Ростов,— а то я помню, что положил.

Никита перерыл всю постель, заглянул под нее, под стол, перерыл всю комнату, кошелька не было. Денисов, перерыв карманы, молча следил за движениями Никиты, и, когда Никита удивленно развел руками, говоря, что в кармане нет, он оглянулся на Ростова.

— Г'остов, ты школьнич...

Он не договорил. Ростов, с обеими руками в карманах, стоял, опустив голову. Почувствовав на себе взгляд Денисова, он поднял глаза и в то же мгновение опустил их. В то же мгновение вся кровь его, бывшая запертою где-то ниже горла, хлынула ему в лицо и глаза. Молодой человек, видимо, не мог перевести дыхание. Денисов поспешно отвернулся, сморщился и стал лохматить себе волосы.

— И в комнате-то никого не было, окромя поручика, да вас самих. Тут где-нибудь.

— Ну, ты, чёг'това кукла, повог'ачивайся, ищи,— вдруг закричал Денисов, побагровев и с угрожающим жестом бросаясь на денщика.— Чтоб был кошелек, а то запог'ю!

Ростов, задыхаясь и обходя взглядом Денисова, стал застегивать куртку, подстегнул саблю и надел фуражку.

— Ну, чёг'тов сын. Я тебе говог'ю, чтоб был кошелек,— кричал Денисов, бессмысленно тряся за плечи деньщика и толкая его об стену.

— Денисов, оставь его. Я сейчас приду,— сказал Ростов, подходя к двери и не поднимая глаз.

— Г'остов! Г'остов! — закричал Денисов, так что жилы, как веревки, вздулись у него на шее и лбу.— Я тебе говог'ю, ты с ума сошел, я этого не позволю.— И Денисов схватил за руку Ростова.— Кошелек здесь; спущу шкуг'у со всех деньщиков, и будет здесь.

— А я знаю, где кошелек,— отвечал Ростов дрожащим голосом.

Они взглянули друг другу в глаза.

— А я тебе говог'ю, не делай этого,— закричал, надрываясь Денисов и бросаясь к юнкеру, чтобы удержать его,— я тебе говог'ю, чёг'т их подег'и эти деньги! Это не может быть, я не допущу этого! Ну, пг'опали, чёг'т с ними...— Но, несмотря на решительный смысл слов, мохнатое лицо ротмистра выражало теперь уже нерешительность и страх. Ростов вырвал свою руку и с такою злобой, как будто Денисов был величайший враг его, прямо и твердо устремил на него глаза.

— Ты понимаешь ли, что говоришь? — сказал он дрожащим голосом,— кроме меня никого не было в комнате. Стало быть, ежеле не то, так...

Он не мог договорить и выбежал из комнаты.

— Ах, чёг'т с тобой и со всеми,— были последние слова, которые слышал Ростов.

Он пришел на квартиру Телянина.

— Барина дома нет, в штаб уехали,— сказал ему деньщик Телянина. Или что случилось? — прибавил деньщик, удивляясь на расстроенное лицо юнкера.

НИКОЛАЙ РОСТОВ УЛИЧАЕТ ОФИЦЕРА ТЕЛЯНИНА В КРАЖЕ КОШЕЛЬКА

Рисунок М. С. Башилова, 1867 г.

«Ростов с Теляниным — прекрасно, но чем приятнее и красивее, миловиднее будет Ростов, тем лучше» (из письма Толстого М. С. Башилову от 28 февраля 1867 г.)

— Нет, ничего.

— Немного не застали,— сказал деньщик.

Штаб находился в трех верстах от Зальценека. Ростов, не заходя домой, взял лошадь и поехал в штаб.

В деревне, занимаемой штабом, был трактир, посещаемый офицерами. Ростов приехал в трактир, у крыльца он увидал лошадь Телянина.

Во второй комнате трактира сидел поручик за блюдом сосисок и бутылкой.

— А, и вы заехали, юноша,— сказал он, улыбаясь и высоко поднимая брови.

— Да,— сказал Ростов, как будто выговорить это слово стоило ему большого труда, и сел за соседний стол.

Оба молчали, в комнате никого не было, и слышались только звуки ножа о тарелку и чавканье поручика. Когда Телянин кончил завтрак, он вынул из кармана двойной кошелек, изогнутыми кверху маленькими, белыми пальцами раздвинул кольца, достал золотой и, приподняв брови, отдал деньги слуге.

— Пожалуйста, поскорее,— сказал он.

Золотой был новый. Ростов встал и подошел к Телянину.

— Позвольте посмотреть мне кошелек,— сказал он тихим, чуть слышным голосом.

С бегающими глазами, но все с поднятыми бровями, Телянин подал кошелек.

— Это сувенир паночки одной... да...— сказал он и вдруг побледнел.— Посмотрите, юноша,— прибавил он.

Ростов взял в руки кошелек и посмотрел на него и на деньги, которые были в нем, и на Телянина. Поручик оглядывался кругом по своей привычке и, казалось, вдруг стал очень весел.

— Коли будем в Вене, всё там оставлю, а теперь и девать некуда в этих дрянных городишках,— сказал он.— Ну, давайте, юноша, я пойду.

Ростов молчал.

— Что, вы покупаете лошадь у Денисова? Хорош конь,— продолжал Телянин.— Давайте же.— Он протянул руку и взялся за кошелек. Ростов выпустил его. Телянин взял кошелек и стал опускать его в карман рейтуз, и брови его небрежно поднялись, а рот слегка раскрылся, как будто он говорил: «да, кладу в карман свой кошелек, и это очень просто, и никому до этого дела нет».

— Ну что, юноша? — сказал он, вздохнув и из-под приподнятых бровей взглянув в глаза Ростова. Какой-то свет глаз с быстротою электрической искры перебежал из глаз Телянина в глаза Ростова и обратно, обратно и обратно, всё в одно мгновение.

— Подите сюда,— проговорил Ростов, хватая Телянина за руку. Он почти притащил его к окну.— Вы вор! — прошептал он ему над ухом.

— Что?.. Что?.. Как вы смеете? Что?..— Но эти слова звучали жалобным, отчаянным криком и мольбой о прощении. Как только Ростов услыхал этот звук голоса, с души его свалился огромный камень сомнения. Он почувствовал радость и в то же мгновение ему стало так жалко несчастного стоявшего перед ним человека, что слезы выступили ему на глаза.

— Здесь люди, бог знает что могут подумать,— бормотал Телянин, схватывая фуражку и направляясь в небольшую пустую комнату.— Объяснитесь, что с вами?

Когда они вошли в эту комнату, Телянин был бледен, сер, мал ростом и как будто после тяжелой болезни похудел.

— Вы нынче украли кошелек из-под подушки Денисова,— сказал Ростов с расстановкой. Телянин хотел что-то сказать.— Я это знаю, и я это докажу.

— Я...

Серое лицо, потерявшее всю миловидность, начало дрожать всеми мускулами, глаза бегали не по-старому, а уже где-то внизу, не поднимаясь до лица Ростова, и послышались всхлипыванья.

— Граф!.. не губите... молодого человека... вот эти несчастные... деньги, возьмите их...— Он бросил их на стол.— У меня отец старик, мать!..

Ростов взял деньги, избегая взгляда Телянина, и, не говоря ни слова, пошел из комнаты. Но у двери он остановился и вернулся назад.

— Боже мой,— сказал он со слезами на глазах,— как вы могли это сделать?

— Граф,— умилительно сказал Телянин, приближаясь к юнкеру.

— Не трогайте меня,— проговорил Ростов, отстраняясь.— Ежели вам нужда, возьмите эти деньги.— Он швырнул ему кошелек.— Не дотрогивайтесь до меня, не дотрогивайтесь! — И Ростов выбежал из трактира, едва скрывая слезы.

Вечером того же дня на квартире Денисова шел оживленный разговор офицеров эскадрона.

— А я говорю вам, Ростов, что вам надо извиниться перед полковым

командиром,— говорил, обращаясь к пунцово-красному, взволнованному Ростову, высокий штаб-ротмистр с седеющими волосами, огромными усами и крупными чертами морщинистого лица. Штаб-ротмистр Кирстен был два раза разжалован в солдаты за дела чести и два раза выслуживался. Человек, не верящий в бога, был бы менее странен в полку, чем человек, не уважающий штаб-ротмистра Кирстена.

— Я никому не позволю себе говорить, что я лгу! — вскрикнул Ростов.— Он сказал мне, что я лгу, а я сказал ему, что он лжет. Так с тем и останется. На дежурство может меня назначать хоть каждый день, и под арест сажать, а извиняться меня никто не заставит, потому что ежели он, как полковой командир, считает недостойным себя дать мне удовлетворение, так...

— Да вы постойте, батюшка, вы послушайте меня,— перебил штаб-ротмистр своим басистым голосом, спокойно разглаживая свои длинные усы.— Вы при других офицерах говорите полковому командиру, что офицер украл...

— Не могу и не умею быть дипломатом, я не виноват, что разговор зашел при других офицерах. Я затем в гусары и пошел, думал, что здесь не нужно тонкостей, а он мне говорит, что я лгу... так пусть даст мне удовлетворение...

— Это всё хорошо, никто не думает, что вы трус, да не в том дело. Спросите у Денисова, похоже это на что-нибудь, чтобы юнкер требовал удовлетворения у полкового командира?

Денисов, закусив ус, с мрачным видом слушал разговор, видимо не желая вступать в него. На вопрос штаб-ротмистра он отрицательно покачал головой.

— Я тебе сказал,— обратился он к штаб-ротмистру,— суди ты как знаешь. Я знаю только, что, кабы я вас не слушал и г'азмочалил бы давно голову этому вог'ишке (с самого начала мне его дух пг'отивен был), так ничего бы не было, и не было бы всей этой истог'ии, сг'аму.

— Ну, да дело сделано,— продолжал штаб-ротмистр.— Вы при офицерах говорите полковому командиру про эту пакость. Богданыч (Богданычем называли полкового командира) вас осадил, вы наговорили ему глупостей, и надо вам извиниться.

— Ни за что! — крикнул Ростов.

— Не думал я этого от вас,— серьезно и строго сказал штаб-ротмистр.

— Вы не хотите извиниться, а вы, батюшка, не только перед ним, а перед всем полком, перед всеми нами, вы кругом виноваты. А вот как: кабы вы подумали, да посоветовались, как обойтись с этим делом, а то вы прямо, да при офицерах и бухнули. Что теперь делать полковому командиру? Надо отдать под суд офицера и замарать весь полк? Из-за одного негодяя весь полк осрамить? Так что ли по-вашему? А по-нашему не так. И Богданыч молодец, он вам сказал, что вы неправду говорите. Неприятно, да что делать, батюшка, сами наскочили. А теперь, как дело хотят замять, так вы из-за фанаберии какой-то не хотите извиниться, а хотите всё рассказать. Вам обидно, что вы подежурите, да что вам извиниться перед старым и честным офицером? Какой бы там ни был Богданыч, а всё честный и храбрый старый полковник, так вам обидно, а замарать полк вам ничего? — Голос штаб-ротмистра начинал дрожать. Вы, батюшка, в полку без году неделя, нынче здесь, завтра перешли куда в адъютантики, вам наплевать, что говорить будут: «между павлоградскими офицерами воры!» А нам не всё равно. Так что ли, Денисов? Не всё равно?

— Да, бг'ат, руку бы дал свою отг'убить, чтобы не было этого дела,— сказал Денисов, стукнув кулаком по столу.

— Вам своя фанаберия дорога, извиниться не хочется,— продолжал штаб-ротмистр,— а нам старикам, как мы выросли, да и умереть бог даст

приведется в полку, так нам честь полка дорога, и Богданыч это знает. Ох, как дорога, батюшка! А это нехорошо, нехорошо. Там обижайтесь или нет, а я всегда правду-матку скажу. Нехорошо.

— И штаб-ротмистр встал и отвернулся от Ростова.

— Пг'авда, чёг'т возьми! — закричал Денисов, начиная горячиться и поглядывая на Ростова.— Ну, Г'остов! ну, Г'остов! ну к чёг'ту fausse honte[5] всякую, ну!

Ростов, краснея и бледнея, смотрел то на одного, то на другого офицера.

Нет, господа, нет... вы не думайте... я очень понимаю, вы напрасно обо мне думаете так... я... для меня... я за честь полка... да что? это на деле я покажу, и для меня честь знамени... ну, всё равно, правда, я виноват!.. Слезы стояли у него в глазах.— Я виноват, кругом виноват!.. Ну, что вам еще?..

— Вот это так, граф,— поворачиваясь, крикнул штаб-ротмистр, ударяя его большою рукой по плечу.

— Я тебе говог'ю,— закричал Денисов,— он, чёг'т возьми, малый славный.

— Так-то лучше, граф,— повторил штаб-ротмистр, как будто за его признание начиная величать его титулом.— Подите и извинитесь, ваше сиятельство, да-с.

— Господа, все сделаю, никто от меня слова не услышит,— умоляющим голосом проговорил Ростов,— но извиниться не могу, ей-богу не могу, как хотите! Как я буду извиняться, точно маленький прощения просить?

Денисов засмеялся.

— Вам же хуже. Богданыч злопамятен, поплатитесь за упрямство.

— Ей-богу, не упрямство! Я не могу вам описать, какое чувство, не могу...

— Ну, ваша воля.— сказал штаб-ротмистр.— Что ж, мерзавец-то этот куда делся? — спросил он у Денисова.

— Сказался больным, завтг'а велено пг'иказом исключить. Ох, попадись он мне,— проговорил Денисов,— как муху г'аздавлю.

— Это болезнь, иначе нельзя объяснить,— сказал штаб-ротмистр.

— Уж там болезнь, не болезнь, а пг'истг'елил бы с г'адостью — кровожадно прокричал Денисов.

В комнату вошел Жерков.— Ты как? — обратились вдруг офицеры к вошедшему.

— Поход, господа, Макк в плен сдался и с армией, совсем.

— Врешь!

— Сам видел.

— Как? Макка живого видел? с руками, с ногами?

— Поход! Поход! Дать ему бутылку за такую новость. Ты как же сюда попал?

— Опять в полк выслали, за чёрта, за Макка. Австрийский генерал пожаловался. Я его поздравил с приездом Макка.

— Ты что, Ростов, точно из бани?

— Тут, брат, у нас такая каша второй день.

Вошел полковой адъютант и подтвердил известие, привезенное Жерковым. На завтра велено было выступать.

— Поход, господа.

— Ну, и славу богу, засиделись.

VI

Кутузов отступил к Вене, уничтожая за собой мосты на реках Инне (в Браунау) и Трауне (в Линце). 23-го октября русские войска переходили реку Энс. Русские обозы, артиллерия и колонны войск в середине

[5] ложный стыд

дня тянулись через город Энс, по сю и по ту сторону моста. День был теплый, осенний и дождливый. Пространная перспектива, раскрывавшаяся с возвышения, где стояли русские батареи, защищавшие мост, то вдруг затягивались[1] кисейным занавесом косого дождя, то вдруг расширялись[1], и при свете солнца далеко и ясно становились видны предметы, точно покрытые лаком. Виднелся городок под ногами с своими белыми домами и красными крышами, собором и мостом, по обеим сторонам которого, толпясь, лилися массы русских войск. Виднелись на повороте Дуная суда и остров, и замок с парком, окруженный водами впадения Энса в Дунай, виднелся левый скалистый и покрытый сосновым лесом берег Дуная с таинственною далью зеленых вершин и голубеющими ущельями. Виднелись башни монастыря, выдававшегося из-за соснового, казавшегося нетронутым, дикого леса и далеко впереди, на горе, по ту сторону Энса, виднелись разъезды неприятеля.

Между орудиями, на высоте, стояли впереди начальник ариергарда, генерал с свитским офицером, рассматривая в трубу местность. Несколько позади сидел на хоботе орудия князь Несвицкий, посланный от главнокомандующего к ариергарду. Казак, сопутствовавший Несвицкому, подал сумочку и фляжку, и Несвицкий угощал офицеров пирожками и настоящим доппелькюмелем. Офицеры радостно окружали его, кто на коленях, кто сидя по-турецки на мокрой траве.

— Да, не дурак был этот австрийский князь, что тут замок выстроил. Славное место. Что же вы не едите, господа,— говорил Несвицкий.

— Покорно благодарю, князь,— отвечал один из офицеров, с удовольствием разговаривая с таким важным штабным чиновником.— Прекрасное место. Мы мимо самого парка проходили, двух оленей видели, и дом какой чудесный!

— Посмотрите, князь,— сказал другой, которому очень хотелось взять еще пирожка, но совестно было, и который поэтому притворялся, что он оглядывает местность,— посмотрите-ка, уж забрались туда наши пехотные. Вон там, на лужку, за деревней, трое тянут что-то. Они проберут этот дворец,— сказал он с видимым одобрением.

— И то, и то,— сказал Несвицкий.— Нет, а чего бы я желал,— прибавил он, прожевывая пирожок в своем красивом влажном рте,— так это вон туда забраться.— Он указывал на монастырь с башнями, видневшийся на горе. Он улыбнулся, глаза его сузились и засветились. А ведь хорошо бы, господа!

Офицеры засмеялись.

— Хоть бы попугать этих монашенок. Италиянки, говорят, есть молоденькие. Право, пять лет жизни отдал бы.

— Им ведь и скучно, князь,— смеясь сказал офицер, который был посмелее.

Между тем свитский офицер, стоявший впереди, указывал что-то генералу; генерал смотрел в зрительную трубку.

— Ну, так и есть, так и есть,— сердито сказал генерал, опуская трубку от глаз и пожимая плечами,— так и есть, станут бить по переправе. И что они там мешкают?

На той стороне простым глазом виден был неприятель и его батарея, на которой показался молочно-белый дымок. Вслед за дымком раздался дальний выстрел, и видно было, как наши войска заспешили на переправе.

Несвицкий, отдуваясь, поднялся и, улыбаясь, подошел к генералу.

— Не угодно ли закусить вашему превосходительству,— сказал он.

— Нехорошо дело,— сказал генерал, не отвечая ему,— замешкались наши.

— Не съездить ли, ваше превосходительство? — сказал Несвицкий.

---

[1] Так в подлиннике.

— Да, съездите, пожалуйста,— сказал генерал, повторяя то, что уже раз подробно было приказано,— и скажите гусарам, чтоб они последние перешли и зажгли мост, как я приказывал, да чтобы горючие материалы на мосту еще осмотреть.

— Очень хорошо,— отвечал Несвицкий.

Он кликнул казака с лошадью, велел убрать сумочку и фляжку и легко перекинул свое тяжелое тело на седло.

— Право, заеду к монашенкам,— сказал он офицерам, с хитрою улыбкой глядевшим на него, и поехал по вьющейся тропинке под гору.

— Нут-ка, куда донесет, капитан, хватите-ка,— сказал генерал, обращаясь к артиллеристу.— Позабавьтесь от скуки.

— Прислуга к орудиям! — скомандовал офицер, и через минуту весело выбежали от костров артиллеристы и зарядили.

— Первое! — послышалась команда.

Бойко отскочил 1-й номер. Металлически оглушая, зазвенело орудие, и через головы всех наших под горой, свистя, перелетела граната и, далеко не долетев до неприятеля, дымком показала место своего падения и лопнула.

Лица солдат и офицеров повеселели при этом звуке; все поднялись и занялись наблюдениями над видными, как на ладони, движениями внизу наших войск и впереди движениями приближавшегося неприятеля. Солнце в ту же минуту совсем вышло из-за туч, и этот красивый звук одинокого выстрела и блеск яркого солнца слились в одно бодрое и веселое впечатление.

VII

Над мостом уже пролетели два неприятельских ядра, и на мосту была давка. В середине моста, слезши с лошади, прижатый своим толстым телом к перилам, стоял князь Несвицкий. Он, смеючись, оглядывался назад на своего казака, который с двумя лошадьми в поводу стоял несколько шагов позади его. Только что князь Несвицкий хотел двинуться вперед, как опять солдаты и повозки напирали на него и опять прижимали его к перилам, и ему ничего не оставалось, как улыбаться.

— Экой ты, братец мой! — говорил казак фурштатскому солдату с повозкой, напиравшему на толпившуюся у самых колес и лошадей пехоту,— экой ты! Нет, чтобы подождать, видишь, генералу проехать.— Но фурштат, не обращая внимания на наименование генерала, кричал на солдат, запружавших ему дорогу.— Эй! землячки! держись влево, постой! — Но землячки, теснясь плечо с плечом, цепляясь штыками и не прерываясь, двигались по мосту одною сплошною массой. Поглядев за перила вниз, князь Несвицкий видел быстрые, мутные, невысокие волны Энса, которые сливаясь, рябея и загибаясь около свай моста, перегоняли одна другую. Поглядев на мост, он видел столь же однообразные, живые волны солдат, кутасы, кивера с чехлами, ранцы, штыки, длинные ружья и из-под киверов лица, с широкими скулами, ввалившимися щеками и беззаботно усталыми выражениями, и движущиеся ноги по натасканной на доски моста липкой грязи. Иногда между однообразными волнами солдат, как взбрызг белой пены в волнах Энса, протискивался между солдатами офицер в плаще с своею отличною от солдат физиономией, иногда как щепка, вьющаяся по реке, уносился по мосту волнами пехоты пеший гусар, деньщик или житель, иногда, как бревно, плывущее по реке, окруженная со всех сторон проплывала по мосту ротная или офицерская, наложенная доверху и прикрытая кожами, повозка.

— Вишь их, как плотину прорвало,— безнадежно останавливаясь, говорил казак.— Много ль вас еще там?

— Мелион без одного! — подмигивая, говорил близко проходивший в прорванной шинели веселый солдат, и скрывался; за ним проходил другой, старый солдат.

ПЕРЕХОД РУССКИХ ВОЙСК ЧЕРЕЗ РЕКУ ЭНС

Рисунок М. С. Башилова, 1867 г.

«На мосту — всё очень хорошо, кроме Денисова (вперед прошу извинить, ежели я вру), но он саблю держит очень нехорошо, и уж это наверное, что сидит дурно» (из письма Толстого М. С. Башилову от 28 февраля 1867 г.)

— Как *он* (*он* — неприятель) таперича по мосту примется чесать,— говорил мрачно старый солдат, обращаясь к товарищу,— забудешь чесаться;— и солдат проходил. За ним другой солдат ехал на повозке.

— Куда, чёрт, подвертки запихал? — говорил деньщик, бегом следуя за повозкой и шаря в задке. И этот проходил с повозкой.

За этим шли веселые и, видимо, выпившие солдаты.

— Как он его, милый человек, полыхнет прикладом-то в самые зубы...— радостно говорил один солдат в высоко подоткнутой шинели, широко размахивая рукой.

— То-то оно, сладкая ветчина-то,— отвечал другой с хохотом. И они прошли, так что Несвицкий не узнал, кого ударили в зубы и к чему относилась ветчина.

— Эк торопятся, что *он* холодную пустил. Так и думаешь всех перебьют,— говорил унтер-офицер сердито и укоризненно.

— Как оно пролетит мимо меня, дяденька, ядро-то,— говорил едва удерживаясь от смеха с огромным ртом молодой солдат,— я так и обмер. Право, ей-богу, так испужался, беда! — говорил этот солдат, как будто хвастаясь тем, что он испугался.

И этот проходил; за ним следовала повозка, не похожая на все проезжавшие до сих пор. Это был немецкий форшпан на паре, нагруженный, казалось, целым домом; за форшпаном, который вез немец, привязана была красивая, пестрая с огромным вымем, корова. На перинах сидела женщина с грудным ребенком, старуха и молодая, багрово-румяная, здоровая девушка, немка. Видно, по особому разрешению, были пропущены эти выселявшиеся жители. Глаза всех солдат обратились на женщин, и пока проезжала повозка, двигаясь шаг за шагом, все замечания солдат относились только к двум женщинам. На всех лицах была почти одна и та же улыбка непристойных мыслей об этой женщине.

— Ишь колбаса-то, тоже убирается.

— Продай матушку,— ударяя на последнем слове, говорил другой солдат, обращаясь к немцу, который, опустив глаза, сердито и испуганно шел широким шагом.

— Эк убралась как! То-то черти!

— Вот бы тебе к ним стоять, Федотов!

— Видали, брат!

— Куда вы? — спрашивал пехотный офицер, евший яблоко, тоже полуулыбаясь и глядя на красивую девушку. Немец, закрывая глаза, показывал, что не понимает.

— Хочешь, возьми себе,— говорил офицер, подавая девушке яблоко.

Девушка улыбнулась и взяла. Несвицкий, как и все бывшие на мосту, не спускал глаз с женщин, пока они не проехали. Когда они проехали, опять шли такие же солдаты, с такими же разговорами, и, наконец, все остановились. Как это часто бывает, на выезде моста замялись лошади в ротной повозке, и вся толпа должна была ждать.

— И что становятся? Порядку-то нет! — говорили солдаты.— Куда прешь? Чёрт! Нет того, чтобы подождать. Хуже того будет, как *он* мост подожжет. Вишь и офицера-то приперли,— говорили с разных сторон остановившиеся толпы, оглядывая друг друга, и все жались вперед к выходу. Оглянувшись под мост на воды Энса, Несвицкий вдруг услышал еще новый для него звук быстро приближающегося... чего-то большого и чего-то шлепнувшегося в воду.

— Ишь ты, куда фатает! — строго сказал близко стоявший солдат, оглядываясь на звук.

— Подбадривает, чтобы скорей проходили,— сказал другой неспокойно.

Толпа опять тронулась. Несвицкий понял, что это было ядро.

— Эй, казак, подавай лошадь! — сказал он.— Ну, вы! сторонись! посторонись! дорогу!

Он с большим усилием добрался до лошади. Не переставая кричать, он тронулся вперед. Солдаты пожались, чтобы дать ему дорогу, но снова опять нажали на него так, что отдавили ему ногу, и ближайшие не были виноваты, потому что их давили еще сильнее.

— Несвицкий! Несвицкий! Ты г'ожа! — послышался в это время сзади хриплый голос.

Несвицкий оглянулся и увидал в пятнадцати шагах отделенного от него живою массой выдвигающейся пехоты красного, черного, лохматого, в фуражке на затылке и в молодецки накинутом на плече ментике Ваську Денисова.

— Вели ты им, чег'тям, дьяволам, дать дог'огу,— кричал Васька, видимо, находясь в припадке горячности, блестя и поводя своими черными, как уголь, глазами в воспаленных белках и махая невынутою из ножен саблей, которую он держал такою же красной, как и лицо, голою маленькою рукой.

— Э! Вася,— отвечал радостно Несвицкий.— Да ты что?

— Эскадг'ону пг'ойти нельзя,— кричал Васька Денисов, злобно открывая белые зубы, шпоря своего красивого вороного кровного Бедуина, который, мигая ушами от штыков, на которые он натыкался, фыркал, брызгая вокруг себя пеной с мундштука, звеня бил копытами по доскам моста и, казалось, готов был перепрыгнуть через перила моста, ежели бы ему позволил седок.— Что это? как баг'аны! точь-в-точь баг'аны! точь... дай дог'огу!.. Стой там! ты, повозка, чёг'т! саблей изг'ублю...— кричал он, действительно вынимая наголо саблю и начиная махать ею.

Солдаты с испуганными лицами нажались друг на друга, и Денисов присоединился к Несвицкому.

— Что же ты не пьян нынче? — сказал Несвицкий Денисову, когда он подъехал к нему.

— И напиться-то вг'емени не дадут! — отвечал Васька Денисов.— Це-

лый день то туда, то сюда таскают полк. Дг'аться так дг'аться. А то чёг'т знает, что такое!

— Каким ты щеголем нынче! — оглядывая его новый ментик и вальтрап, сказал Несвицкий.

Денисов улыбнулся, достал из ташки платок, распространявший запах духов, и сунул в нос Несвицкому.

— Нельзя, в дело иду! выбг'ился, зубы вычистил и надушился.

Осанистая фигура Несвицкого, сопровождаемая казаком, и решительность Денисова, махавшего саблей и отчаянно кричавшего, подействовали так, что они протискались на ту сторону моста и остановили пехоту. Несвицкий нашел у выезда полковника, которому ему надо было передать приказание и, исполнив свое поручение, поехал назад.

Расчистив дорогу, Денисов остановился у входа на мост. Небрежно сдерживая рвавшегося к своим и бившего ногой жеребца, он смотрел на двигавшийся ему навстречу эскадрон. По доскам моста раздались прозрачные звуки копыт, как будто скакало несколько лошадей, и эскадрон с офицерами впереди, по четыре человека в ряд, растянулся по мосту и стал выходить на ту сторону.

Молодой красавец Перонский, лучший ездок полка и богач, на трехтысячном жеребце, каракулируя, ехал в замке́. Остановленные пехотные солдаты, толпясь в растоптанной у моста грязи, с тем особенным недоброжелательным чувством отчужденности и насмешки, с каким встречаются обыкновенно различные роды войск, смотрели на чистых щеголеватых гусар, стройно проходивших мимо них.

— Нарядные ребята! только бы на Подговинское!

— Что от них проку! Только на показ и водят! — говорил другой.

— Пехота, не пыли! — шутил гусар, под которым лошадь, заиграв, брызнула грязью в пехотинца.

— Прогонял бы тебя с ранцем перехода два, шнурки-то бы повытерлись,— обтирая рукавом грязь с лица, говорил пехотинец: — а то не человек, а птица сидит!

— То-то бы тебя, Зикин, на коня посадить, ловок бы ты был,— шутил ефрейтор над худым, скрюченным от тяжести ранца солдатиком.

— Дубинку промеж ног возьми, вот тебе и конь буде,— отозвался гусар.

VIII

Остальная пехота поспешно проходила по мосту, спираясь воронкой у входа. Наконец, повозки все прошли, давка стала меньше, и последний батальон вступил на мост. Одни гусары эскадрона Денисова оставались по ту сторону моста против неприятеля. Неприятель, вдалеке видный с противоположной горы, снизу от моста не был еще виден, так как из лощины, по которой текла река, горизонт оканчивался противоположным возвышением не дальше полуверсты. Впереди была пустыня, по которой кое-где шевелились кучки наших разъездных казаков. Вдруг на противоположном возвышении дороги показались войска в синих капотах и артиллерия. Это были французы. Разъезд казаков рысью отошел под гору. Все офицеры и люди эскадрона Денисова, хотя и старались говорить о постороннем и смотреть по сторонам, не переставали думать только о том, что было там, на горе, и беспрестанно все вглядывались в выходившие на горизонт пятна, которые они признавали за неприятельские войска. Погода после полудня опять прояснилась, солнце ярко спускалось над Дунаем и окружающими его темными горами. Было тихо, и с той горы изредка долетали звуки рожков и криков неприятеля. Между эскадроном и неприятелями уже никого не было, кроме мелких разъездов. Пустое пространство, саженей в триста, отделяло их от него. Неприятель перестал стрелять, и тем яснее чувствовалась та строгая, грозная, не-

приступная и неуловимая черта, которая разделяет два неприятельских войска.

Один шаг за эту черту, напоминающую черту, отделяющую живых от мертвых, и неизвестность страдания и смерть. И что там? кто там? там, за этим полем, и деревом, и крышей, освещенной солнцем? Никто не знает, и хочется знать, и страшно перейти эту черту, и хочется перейти ее, и знаешь, что рано или поздно придется перейти ее и узнать, что там, по той стороне[1] черты, как и неизбежно узнать, что там, по ту сторону смерти. А сам силен, здоров, весел и раздражен и окружен такими здоровыми и раздраженно-оживленными людьми. Хотя и не думает, но чувствует все это всякий человек, находящийся в виду неприятеля, и чувство это придает особенный блеск и радостную резкость впечатлений всего происходящего в эти минуты.

На бугре у неприятеля показался дымок выстрела, и ядро, свистя, пролетело над головами гусарского эскадрона. Офицеры, стоявшие вместе, разъехались по местам, гусары старательно стали выравнивать лошадей. В эскадроне всё замолкло. Все поглядывали вперед на неприятеля и на эскадронного командира, ожидая команды. Пролетело другое, третье ядро. Очевидно, что стреляли по гусарам; но ядро, равномерно быстро свистя, пролетало над головами гусар и ударялось где-то сзади. Гусары не оглядывались, но при каждом звуке пролетающего ядра, будто по команде, весь эскадрон с своими однообразно-разнообразными лицами и подстриженными усами сдерживал дыхание, пока летело ядро, и, напрягая мышцы ног в натянутых синих рейтузах, приподнимался на стременах и снова опускался. Солдаты, не поворачивая головы, косились друг на друга, с любопытством высматривая впечатление товарища. На каждом лице, от Денисова до горниста, показалась около губ и подбородка одна общая черта борьбы раздраженности и волнения. Вахмистр хмурился, оглядывая солдат, как будто угрожая наказанием. Юнкер Миронов нагибался при каждом пролете ядра. Ростов, стоя на левом фланге на своем тронутом ногами, но видном Грачике, имел счастливый вид ученика, вызванного перед большою публикой к экзамену, в котором он уверен, что отличится. Он ясно и светло оглядывался на всех, как бы прося обратить внимание на то, как он спокойно стоит под ядрами. Но и в его лице та же черта чего-то нового и строгого, против его воли, показывалась около рта.

— Кто там кланяется? Юнкег' Миг'онов! Не хог'ошо, на меня смотг'ите! — закричал Денисов, которому не стоялось на месте и который вертелся на лошади перед эскадроном.

Курносое и черно-волосатое лицо Васьки Денисова, и вся его маленькая сбитая фигурка с его жилистою, с короткими пальцами, покрытыми волосами, кистью руки, в которой он держал эфес вынутой наголо сабли, было точно такое же, как и всегда, особенно к вечеру, после выпитых двух бутылок. Он был только более обыкновенного красен и, задрав свою мохнатую голову кверху, как птицы, когда они поют; безжалостно вдавив своими маленькими ногами шпоры в бока доброго Бедуина, он, будто падая назад, поскакал к другому флангу эскадрона и хриплым голосом закричал, чтоб осмотрели пистолеты. Проездом взглянул он на замкóвого красавца-офицера Перонского и поспешно отвернулся.

Перонский в своей гусарской полуформе, на своем тысячном коне, был очень красив. Но красивое лицо его было бледно, как снег. Кровный его жеребец, чуя страшные над головой звуки, приходил в то рьяное бешенство породистой и выезженной лошади, которое так любят дети и гусары. То он фыркал, звеня цепочкой и кольцами мундштука, и бил мускулистою тонкою ногой землю, иногда не доставая ее, махал по воздуху, то, направо и налево поворачивая, насколько пускал мундштук.

---

[1] Так в подлиннике.

свою сухую голову, косился выпуклым и налитым кровью черным глазом на седока. Денисов, сердито отвернувшись от него, направился к Кирстену. Штаб-ротмистр на широкой и степенной кобыле шагом ехал навстречу Денисову. Штаб-ротмистр с своими длинными усами был сериозен, как и всегда, только глаза его блестели больше обыкновенного.

— Да что? — сказал он Денисову,— не дойдет дело до атаки. Вот увидишь, назад уйдем.

— Чёг'т их знает, что делают! — прокричал Денисов.— А! Г'остов! — крикнул он юнкеру, заметив его.— Ну, дождался.— И он улыбнулся одобрительно, видимо, радуясь на юнкера.

Ростов почувствовал себя совершенно счастливым. В это время начальник показался на мосту. Денисов поскакал к нему.

— Ваше пг'евосходительство! позвольте атаковать! я их опг'окину!

— Какие тут атаки,— сказал начальник скучливым голосом, морщась, как от докучливой мухи.— И зачем вы тут стоите? Видите, фланкеры отступают? Ведите назад эскадрон.

Эскадрон перешел мост и вышел из-под выстрелов, не потеряв ни одного человека. Вслед за ним перешел и второй эскадрон, бывший в цепи, и последние казаки очистили ту сторону.

IX

Два эскадрона павлоградцев, перейдя мост, один за другим пошли назад в гору. Полковой командир, Карл Богданович Шуберт, подъехал к эскадрону Денисова и ехал шагом недалеко от Ростова, не обращая на него никакого внимания, несмотря на то, что после бывшего столкновения за Телянина, они виделись теперь в первый раз. Ростов, чувствуя себя во фронте во власти человека, перед которым он теперь считал себя виноватым, не спускал глаз с атлетической спины, белокурого затылка и красной шеи полкового командира. Ростову то казалось, что Богданыч только притворяется невнимательным, и что вся цель его теперь состоит в том, чтобы испытать храбрость юнкера, и он выпрямлялся и весело оглядывался; то ему казалось, что Богданыч нарочно едет близко, чтобы показать Ростову свою храбрость. То ему думалось, что враг его теперь нарочно пошлет эскадрон в отчаянную атаку, чтобы наказать его, Nicolas. То думалось, что после атаки от подойдет к нему и великодушно протянет ему, раненому, руку примирения.

Знакомая павлоградцам, с высоко поднятыми плечами, фигура Жеркова подъехала к полковому командиру. Жерков, после своего изгнания из главного штаба, не остался в полку, говоря, что он не дурак во фронте лямку тянуть, когда он при штабе, ничего не делая, получит наград больше, и умел пристроиться ординарцем к князю Багратиону. Он приехал к своему бывшему начальнику с приказанием от начальника арьергарда.

— Полковник,— сказал он с своею мрачною сериозностью, обращаясь ко врагу Nicolas Ростова и оглядывая товарищей,— велено остановиться, мост зажечь.

— Кто велено? — угрюмо спросил полковник.

— Уж я и не знаю, полковник, *кто велено*,— наивно и сериозно отвечал корнет,— но только мне князь приказал: «поезжай и скажи полковнику, чтобы гусары вернулись скорей и зажгли бы мост».

Вслед за Жерковым к гусарскому полковнику подъехал свитский офицер с тем же приказанием. Вслед за свитским офицером на казачьей лошади, которая насилу несла его галопом, подъехал толстый Несвицкий.

— Как же, полковник,— кричал он еще на езде,— я вам говорил мост зажечь; а теперь кто-то переврал, там все с ума сходят, ничего не разберешь.

Полковник неторопливо остановил полк и обратился к Несвицкому:

— Вы мне говорили про горючие вещества,— сказал он,— а про то, чтобы зажигать, вы мне ничего не говорили.

— Да как же, батюшка,— заговорил, остановившись, Несвицкий, снимая фуражку и расправляя пухлою рукой мокрые от пота волосы,— как же не говорил, что мост зажечь, когда горючие вещества положили.

— Я вам не «батюшка», господин штаб-офицер, а вы мне не говорили, чтобы мост зажигайт! Я служба зная, и мне в привычка приказания строго исполняйт. Вы сказали, мост зажгут, я святым духом не могу знайт...

— Ну вот, всегда так,— махнув рукой, сказал Несвицкий.

— Ты как здесь? — обратился он к Жеркову.

— Да затем же. Однако ты отсырел, дай я тебя выжму.

— Вы сказали, господин штаб-офицер,— продолжал полковник обиженным тоном...

— Полковник,— перебил свитский офицер,— надо торопиться, а то неприятель пододвинет орудия на картечный выстрел.

Полковник молча посмотрел на свитского офицера, на толстого штаб-офицера, на Жеркова и нахмурился.

— Я буду мост зажигайт,— сказал он торжественным тоном, как будто, несмотря на все делаемые ему неприятности, он выражал этим свое великодушие.

Ударив своими длинными, мускулистыми ногами лошадь, как будто она была во всем виновата, полковник выдвинулся вперед и 2-му эскадрону, тому самому, в котором служил Ростов под командою Денисова, скомандовал вернуться назад к мосту.

«Ну, так и есть,— подумал Ростов,— он хочет испытать меня! — Сердце его сжалось, и кровь бросилась к лицу.— Пускай посмотрит, трус ли я?»,— подумал он.

Опять на всех веселых лицах людей эскадрона появилась та сериозная черта, которая была на них, в то время как они стояли под ядрами.

Nicolas, не спуская глаз, смотрел на своего врага, полкового командира, желая найти на его лице подтверждение своих догадок; но полковник ни разу не взглянул на Nicolas, а смотрел, как всегда во фронте, строго и торжественно. Послышалась команда.

— Живо! Живо! — проговорило около него несколько голосов. Цепляясь саблями за поводья, гремя шпорами и торопясь, слезали гусары, сами не зная, что они будут делать. Гусары крестились. Ростов уже не смотрел на полкового командира, ему некогда было. Он боялся, с замиранием сердца боялся, как бы ему не отстать от гусар. Рука его дрожала, когда он передавал лошадь коноводу, и он чувствовал, как со стуком приливает кровь к его сердцу. Денисов, заваливаясь назад и крича что-то, проехал мимо него. Nicolas ничего не видел, кроме бежавших вокруг него гусар, цеплявшихся шпорами и бренчавших саблями.

— Носилки! — крикнул чей-то голос сзади. Ростов не подумал о том, что значит требование носилок, он бежал, стараясь только быть впереди всех; но у самого моста он, не смотря под ноги, попал в вязкую, растоптанную грязь и, споткнувшись, упал на руки. Его обежали другие.

— По *обоий* сторона, ротмистр,— послышался ему голос полкового командира, который заехав вперед, стал верхом недалеко от моста с торжествующим и веселым лицом.

Ростов, обтирая испачканные руки о рейтузы, оглянулся на своего врага и хотел бежать дальше, полагая, что, чем он дальше уйдет вперед, тем будет лучше. Но Богданыч, хотя и не глядел, и не узнал Ростова, крикнул на него:

— Кто по средине моста бежит? На права сторона! Юнкер, назад! — сердито закричал он.

Но и тут Карл Богданович не обратил на него внимания; зато он обратился к Денисову, который, щеголяя храбростью, въехал верхом на доски моста.

— Зачем рисковайт, ротмистр! Вы бы слезли,— сказал полковник.

— Э! виноватого найдет,— отвечал Васька Денисов, поворачиваясь на седле.

Между тем Несвицкий, Жерков и свитский офицер стояли вместе, вне выстрелов, и смотрели то на ту, то на эту небольшую кучку людей в желтых киверах, темнозеленых куртках, расшитых снурками, и синих рейтузах копошившихся у моста, то на ту сторону, на приближавшиеся вдалеке синие капоты и группы с лошадьми, которые легко можно было принять за орудие.

«Зажгут или не зажгут мост? Кто прежде? Они добегут и зажгут мост или французы подъедут на картечный выстрел и перебьют их?» Эти вопросы с замиранием сердца невольно задавал себе каждый из того большого количества войск, которые стояли над мостом, и при ярком вечернем свете смотрели на мост и гусаров, и на ту сторону, на подвигавшиеся синие капоты со штыками и орудиями.

— Ох! достанется гусарам! — говорил Несвицкий,— не дальше картечного выстрела теперь.

— Напрасно он так много людей повел,— сказал свитский офицер.

— И на самом деле,— сказал Несвицкий.— Тут бы двух молодцов послать, все равно бы.

— Ах, ваше сиятельство,— вмешался Жерков, не спуская глаз с гусар, но всё с своею наивной манерой, из-за которой нельзя было догадаться, серьезно ли то, что он говорит, или нет.— Ах, ваше сиятельство! Как вы судите! Двух человек послать, а нам-то кто же Владимира с бантом даст? А так-то, хоть и поколотят, да можно эскадрон представить, и самому бантик получить. Наш Богданыч порядки знает.

— Ну,— сказал свитский офицер,— это картечь.

Он показал на французские орудия, которые снимались с передков и поспешно отъезжали.

— Да врет он,— продолжал Жерков,— и меня представят, и мы под огнем были.

В это время на французской стороне, в тех группах, где были орудия, опять показался дымок, другой, третий, почти в одно время, и в ту минуту, как долетел звук первого выстрела, показался четвертый. Два звука один за другим, и третий.

— О-ох! — охнул Несвицкий, как будто от жгучей боли, хватая за руку свитского офицера.— Посмотрите, упал один, упал, упал.

— Два, кажется.

— Был бы я царь, никогда бы не воевал. И что они так долго!

Французские орудия поспешно заряжали. Пехота бегом двинулась к мосту. Опять, но в равных промежутках, показались дымки, и защелкала, и затрещала картечь по мосту. Но в этот раз Несвицкий не мог видеть, что делалось на мосту. С мосту поднялся густой дым. Гусары успели зажечь мост, и французские батареи стреляли по ним уже не для того, чтобы помешать, а для того, что орудия были наведены и было по ком стрелять. Французы успели сделать три картечные выстрела, прежде чем гусары вернулись к коноводам. Два залпа были сделаны неверно, и картечь всю перенесло, но зато последний выстрел попал в середину кучки гусар и повалил троих.

Nicolas Ростов, озабоченный своими отношениями к Богданычу, остановился на мосту, не зная, что ему делать. Рубить (как он всегда воображал себе сражение) было некого, помогать в зажжении моста он тоже не мог, потому что не взял с собою, как другие солдаты, жгута соломы. Он стоял и оглядывался, как вдруг затрещало по мосту будто рассыпанные орехи, и один из гусар, ближе всех бывший от него, со стоном упал на перилы. Nicolas подбежал к нему вместе с другими. Опять закричал кто-то: «Носилки!» Гусара подхватили четыре человека и стали поднимать.

— Оооо!.. Бросьте, ради Христа,— закричал раненый, но его все-таки подняли и положили. Фуражка упала с него. Ее подняли и бросили в носилки. Nicolas Ростов отвернулся и, как будто отыскивая чего-то, стал смотреть в даль, на воду Дуная, на небо, на солнце. Как хорошо показалось небо, как голубо, спокойно и глубоко! как ярко и торжественно опускающееся солнце! как ласково-глянцевито блестела вода в далеком Дунае! И еще лучше были далекие голубеющие за Дунаем горы, монастырь, таинственные ущелия, залитые до макуш туманом сосновые леса... там тихо, счастливо... «Ничего, ничего бы я не желал, ничего бы не желал, ежели бы я только был там,— думал Nicolas.— Во мне одном и в этом солнце так много счастия, а тут... стоны страдания, страх и эта неясность, эта поспешность... Вот опять кричат что-то и опять все побежали куда-то назад, и я бегу с ними, и вот она, вот она смерть надо мной, вокруг меня... мгновенье, и я никогда уже не увижу этого солнца, этой воды, этого ущелья...» В эту минуту солнце стало скрываться за тучами; впереди Nicolas показались другие носилки. И страх смерти и носилок, и любовь к солнцу и жизни, всё слилось в одно болезненно-тревожное впечатление.

— Господи, боже! Тот, кто там в этом небе, спаси, прости и защити меня! — прошептал про себя Nicolas.

Гусары подбежали к коноводам, голоса стали громче и спокойнее, носилки скрылись из глаз.

— Что, бг'ат, понюхал пог'оху?..— прокричал ему над ухом голос Васьки Денисова.

— Всё кончилось, но я трус, да, я трус,— подумал Nicolas, и тяжело вздыхая, взял из рук коновода своего отставившего ногу Грачика и стал садиться.

— Что это была — картечь? — спросил он у Денисова.

— Да еще какая! — прокричал Денисов: — молодцами г'аботали! А г'абота сквег'ная! Атака любезное дело, там весь гог'ишь, себя не помнишь, а тут чёг'т знает что, бьют, как в мишень.

И Денисов отъехал к остановившейся недалеко от Ростова группе полкового командира, Несвицкого, Жеркова и свитского офицера.

«Однако, кажется, никто не заметил»,— думал про себя Ростов. И действительно, никто ничего не заметил, потому что каждому было знакомо то чувство, которое испытал в первый раз необстрелянный юнкер.

— Вот вам реляция и будет,— сказал Жерков,— глядишь и меня в подпоручики произведут.

— Доложите кнезу, что я мост зажигал,— сказал полковник торжественно и весело.

— А коли про потерю спросят?

— Пустячок! — пробасил полковник.— Два гусара ранено, и один *наповал*,— сказал он с видимою радостью, не в силах удержаться от счастливой улыбки, звучно отрубая красивое слово *наповал*.

X

Преследуемая стотысячною французской армией под начальством Бонапарта, встречаемая враждебно-расположенными жителями, не доверяя более своим союзникам, испытывая недостаток продовольствия и принужденная действовать вне всех предвиденных условий войны, русская тридцатипятитысячная армия, под начальством Кутузова, поспешно отступала вниз по Дунаю, останавливаясь там, где она бывала настигнута неприятелем, и отбиваясь ариергардными делами, лишь насколько это было нужно для того, чтобы отступать, не теряя тяжестей. Были дела при Ламбахе, Амштеттене и Мельке, но, несмотря на храбрость и стойкость, признаваемую самими французами, с которою дрались русские, последствием этих дел было только еще быстрейшее отступление. Австрийские

войска, избежавшие плена под Ульмом и присоединившиеся к Кутузову у Браунау, отделились теперь от русской армии, и Кутузов был предоставлен только своим слабым, истощенным силам. Защищать более Вену нельзя было и думать. Вместо наступательной, глубоко обдуманной по законам новой науки стратегии войны, план которой был передан Кутузову в его бытность в Вене австрийским гофкригсратом, единственная, почти недостижимая цель, представлявшаяся теперь Кутузову, состояла в том, чтобы, не погубив армии, подобно Макку под Ульмом, соединиться с войсками, шедшими из России.

28-го октября Кутузов с армией перешел на левый берег Дуная и в первый раз остановился, положив Дунай между собой и главными силами французов. 30-го он атаковал находившуюся на левом берегу Дуная дивизию Мортье и разбил ее. В этом деле в первый раз взяты трофеи: знамя, орудия и два неприятельские генерала. В первый раз после двухнедельного отступления русские войска остановились и после борьбы не только удержали поле сражения, но прогнали французов. Несмотря на то, что войска были раздеты, изнурены, на одну треть ослаблены отсталыми, ранеными, убитыми и больными; несмотря на то, что на той стороне Дуная были оставлены больные и раненые с письмом Кутузова, поручавшим их человеколюбию неприятеля; несмотря на то, что большие госпитали и дома в Кремсе, обращенные в лазареты, не могли уже вмещать в себе всех больных и раненых, несмотря на все это, остановка при Кремсе и победа над Мортье значительно подняли дух войска. Во всей армии и в главной квартире ходили самые радостные, хотя и несправедливые слухи о мнимом приближении колонн из России, о какой-то победе, одержанной австрийцами, и об отступлении испуганного Бонапарта.

Князь Андрей находился во время сражения при убитом в этом деле австрийском генерале Шмидте. Под ним была ранена лошадь, и сам он был слегка оцарапан в руку пулей. В знак особой милости главнокомандующего он был послан с известием об этой победе к австрийскому двору, находившемуся уже не в Вене, которой угрожали французские войска, а в Брюнне. В ночь сражения взволнованный, но не усталый (несмотря на свою слабую наружность, князь Андрей мог переносить физическую усталость гораздо лучше самых сильных людей), верхом приехав с донесением от Дохтурова в Кремс к Кутузову, князь Андрей был в ту же ночь отправлен курьером в Брюнн. Отправление курьером, кроме наград, означало важный шаг к повышению. Получив депешу, письма и поручения товарищей, князь Андрей ночью, при свете фонаря, вышел на крыльцо и сел в бричку.

— Ну, брат,— говорил Несвицкий, провожая его и обнимая,— впер поздравляю с Марией-Терезией.

— Как честный человек говорю тебе,— отвечал князь Андрей,— ежели бы мне ничего не дали, мне все равно. Я так счастлив, так счастлив... что везу такие известия... что я сам видел... ты понимаешь меня.

То возбуждающее чувство опасности и сознания храбрости, которое испытал князь Андрей во время сражения, было только усилено бессонною ночью и поручением к австрийскому двору. Он был другим человеком, оживленным и ласковым.

— Ну, Христос с тобой...

— Прощай, душа моя. Прощайте, Козловский.

— Поцелуй же от меня хорошенькую ручку баронессы Зайфер. И Cordial бутылочку хоть привези, коли место будет,— говорил Несвицкий.

— Привезу и поцелую.

— Прощай.

Бич хлопнул, и почтовая бричка поскакала по темногрязной дороге мимо огней войск. Ночь была темная, звездная, дорога чернелась между белевшим снегом, выпавшим накануне в день сражения. То перебирая

впечатления прошедшего сражения, то радостно воображая впечатление, которое он произведет известием о победе, вспоминая проводы главнокомандующего и товарищей, князь Андрей испытывал чувство человека, долго ждавшего и, наконец, достигшего начала желаемого счастия. Как скоро он закрывал глаза, в ушах его раздавалась пальба ружей и орудий, которая сливалась со стуком колес и впечатлением победы. То ему начинало представляться, что русские бегут, что он сам убит; но он поспешно просыпался, со счастием, как будто вновь, узнавал, что ничего этого не было, и что, напротив, французы бежали. Он снова вспоминал все подробности победы, своего спокойного мужества во время сражения и, успокоившись, задремывал... После темной звездной ночи наступило яркое веселое утро. Снег таял на солнце, лошади быстро скакали, и безразлично вправе и влеве проходили новые разнообразные леса, поля, деревни.

На одной из станций он обогнал обоз русских раненых. Русский офицер, ведший транспорт, развалясь на передней телеге, что-то кричал, ругая грубыми словами солдата. В длинных немецких форшпанах тряслось по каменистой дороге по шести и более бледных, перевязанных и грязных раненых. Некоторые из них говорили (он слышал русский говор), другие ели хлеб, самые тяжелые, молча, с кротким и болезненным детским участием, смотрели на скачущего мимо их курьера.

— Несчастные! — подумал князь Андрей,— а и они нужны...

Он велел остановиться и спросил у солдата, в каком деле ранены. «Позавчера на Дунаю»,— отвечал солдат. Князь Андрей достал кошелек и дал солдату три золотых.

— На всех,— прибавил он, обращаясь к подошедшему офицеру.— Поправляйтесь, ребята,— обратился он к солдатам,— еще дела много.

— Что, господин адъютант, какие новости,— спросил офицер, видимо, желая разговориться.

— Хорошие. Vorwärts! [1] — крикнул он ямщику и поскакал далее.

Уже было совсем темно, когда князь Андрей въехал в Брюнн и увидал себя окруженным высокими домами, огнями лавок, окон, домов и фонарей, шумящими по мостовой красивыми экипажами и всею тою атмосферой большого оживленного города, которая всегда так привлекательна для военного человека после лагеря. Князь Андрей, несмотря на быструю езду и бессонную ночь, подъезжая ко дворцу, чувствовал себя еще более оживленным, чем накануне. Только глаза блестели лихорадочным блеском, и мысли изменялись с чрезвычайною быстротой и ясностью. Живо представились ему опять все подробности сражения, уже не смутно, но определенно, в сжатом изложении, которое он в воображении делал императору Францу. Живо представлялось ему лицо императора и все случайные вопросы, которые могли быть ему сделаны, и те ответы, которые он сделает на них. Он полагал, что его сейчас же представят императору. Но у большого подъезда дворца к нему выбежал чиновник и, узнав в нем курьера, проводил его на другой подъезд.

— Из коридора направо; там Euer Hochgeboren [2], найдете дежурного флигель-адъютанта. Он проводит к военному министру.

Дежурный флигель-адъютант, встретивший князя Андрея, попросил его подождать и пошел к военному министру. Через пять минут флигель-адъютант вернулся и, особенно учтиво наклоняясь и пропуская князя Андрея вперед себя, провел его через коридор в кабинет, где занимался военный министр. Флигель-адъютант своею изысканною учтивостью, казалось, хотел оградить себя от попыток фамилиарности русского адъютанта. Радостное чувство князя Андрея значительно ослабело, когда он подходил к двери кабинета военного министра. Он почувствовал себя оскорбленным, и, как это всегда бывало в его гордой душе, чувство

---

[1] Вперед! (*нем.*).
[2] Ваше высокородие (*нем.*).

оскорбления перешло в то же мгновенье незаметно для него самого в чувство презрения, ни на чем не основанного. Находчивый же ум в то же мгновение подсказал ему ту точку зрения, с которой он имел право презирать и адъютанта, и военного министра. «Им, должно быть, очень легко покажется одерживать победы, не нюхая пороха»,— подумал он. Глаза его презрительно прищурились, члены безжизненно опустились, и он, как бы с трудом волоча ноги, вошел в кабинет военного министра. Чувство это еще более усилилось, когда он увидал военного министра, сидящего над большим столом и первые две минуты не обращавшего внимания на вошедшего. Военный министр опустил свою лысую, с седыми висками голову между двух восковых свечей и читал, отмечая карандашом, бумаги. Он дочитывал, не поднимая головы, в то время как отворилась дверь и послышались шаги.

— Возьмите это и передайте,— сказал военный министр своему адъютанту, подавая бумаги и не обращая еще внимания на курьера.

Князь Андрей почувствовал, что либо из всех дел, занимавших военного министра, действия кутузовской армии менее всего могли его интересовать, либо нужно было это дать почувствовать русскому курьеру. «Но мне это все равно»,— подумал он. Военный министр сдвинул остальные бумаги, сравнял их, края с краями, и поднял голову. У него была умная и характерная голова. Но в то же мгновение, как он обратился к князю Андрею, умное и твердое выражение лица военного министра, видимо, привычно и сознательно изменилось, на лице его остановилась глупая, притворная, не скрывающая своего притворства улыбка человека, принимающего одного за другим много просителей.

— От генерала-фельдмаршала Кутузова? — спросил он.— Надеюсь, хорошие вести? Было столкновение с Мортье? Победа? Пора!

Он взял депешу, которая была на его имя, и стал читать ее с грустным выражением.

— Ах, боже мой! боже мой! Шмидт! — сказал он по-немецки.— Какое несчастие, какое несчастие! — Пробежав депешу, он положил ее на стол и взглянул на князя Андрея, видимо, что-то соображая.

— Ах, какое несчастие! Дело, вы говорите, решительное? Мортье не взят, однако.— Он подумал.— Очень рад, что вы привезли хорошие вести, хотя смерть Шмидта есть дорогая плата за победу. Его величество, верно, пожелает вас видеть, но не нынче. Благодарю вас, отдохните. Завтра будьте на выходе после парада. Впрочем, я вам дам знать.

Исчезнувшая во время разговора глупая улыбка опять явилась на лице военного министра.

— До свидания, очень благодарю вас. Государь император, вероятно пожелает вас видеть,— повторил он и наклонил голову.

Князь Андрей вышел в приемную. Там были два адъютанта, которые говорили между собою, видимо, о чем-то совершенно не относящемся до приезда князя Андрея. Один из них с неохотой встал, и все с тою же оскорбительною учтивостью попросил князя Андрея записать свой чин, звание и адрес в поданную ему адъютантом книгу. Князь Андрей молча исполнил его желание и, не взглянув на него, вышел из приемной.

Когда он вышел из дворца, он почувствовал, что весь интерес и счастие, доставленные ему победой, оставлены им теперь и переданы в равнодушные руки военного министра и учтивого адъютанта. Весь склад мыслей его мгновенно изменился, сражение представилось ему давнишним, далеким воспоминанием; ближайшими и интереснейшими предметами стали для него прием военного министра, учтивость адъютанта и предстоящее представление императору.

XI

Князь Андрей поехал к русскому дипломату Билибину. Немец, слуга дипломата, узнал князя Андрея, который останавливался у Билибина во время своего приезда в Вену, и, встречая его, словоохотливо говорил.

— Герр фон-Билибин должны были оставить свою квартиру в Вене. Проклятый Бонапарт! — говорил дипломатический слуга: — сколько несчастий, сколько убытку, беспорядков произвел!

— Здоров господин Билибин? — спросил князь Андрей.

— Не совсем здоровы, не выезжают еще, а очень рады будут вас видеть. Сюда пожалуйте. Вещи ваши выберут. Казак здесь останется? Вот и они услыхали.

— А, милый князь, нет приятнее гостя,— сказал Билибин, выходя навстречу.— Франц, в мою спальню вещи князя. Что, вестником победы? Прекрасно. А я сижу больной, как видите.

— Да, вестником победы,— отвечал князь Андрей,— но, как кажется, не очень желанный.

— Ну, коли вы не устали, расскажите же мне за ужином ваши высокие подвиги,— сказал Билибин, усаживаясь с ногами на кушетке в углу камина, когда князь Андрей, умывшись и одевшись, вышел в роскошный кабинет дипломата и сел за приготовленный обед.— Франц, поправь экран, а то князю будет жарко.

Князь Андрей не только после своего путешествия, но и после всего похода, во время которого он был лишен всех удобств чистоты и изящества жизни, испытывал приятное чувство отдыха среди тех роскошных условий жизни, к которым он привык с детства. Кроме того, ему было приятно после австрийского приема поговорить хоть не по-русски (они говорили по-французски), но с русским человеком, который, он знал, разделял его отвращение (теперь особенно живо испытываемое) к австрийцам. Неприятно действовало на него только то, что Билибин слушал его рассказ почти с таким же недоверием и равнодушием, с каким слушал его и австрийский министр военный.

Билибин был человек лет тридцати пяти, холостой, одного общества с князем Андреем. Они были знакомы еще в Петербурге, но сблизились особенно в последний приезд князя Андрея в Вену вместе с Кутузовым. Билибин просил его, в случае приезда в Вену, непременно остановиться у него. Как князь Андрей был молодой человек, обещающий пойти далеко на военном поприще, так и еще более обещал Билибин на дипломатическом. Он был еще молодой человек, но уже не молодой дипломат, так как он начал служить с шестнадцати лет, был в Париже, в Копенгагене и теперь в Вене и занимал довольно значительное место. И канцлер, и наш посланник в Вене знали его и дорожили им. Он был не из того большого количества дипломатов, которые обязаны иметь только отрицательные достоинства, не делать известных вещей и говорить по-французски, для того чтобы быть очень хорошими дипломатами. Он был один из тех дипломатов, которые любят и умеют работать, и, несмотря на свою лень, он иногда проводил ночи за письменным столом. Он работал одинаково хорошо, в чем бы ни состояла сущность работы. Его интересовал не вопрос «зачем?», а вопрос «как?» В чем состояло дипломатическое дело, ему было всё равно, но составить искусно, метко и изящно циркуляр, меморандум или донесение — в этом он находил большое удовольствие. Заслуги Билибина ценились, кроме письменных работ, еще и по его искусству обращаться и говорить в высших сферах.

Билибин любил разговор так же, как он любил работу, только тогда, когда разговор мог быть изящно остроумен. В обществе он постоянно выжидал случая сказать что-нибудь замечательное и вступал в разговор не иначе как при этих условиях. Разговор Билибина постоянно пересыпался оригинально-остроумными, законченными фразами, имеющими об-

БИЛИБИН

Рисунок М. С. Башилова, 1866 г.

«Билибин — chef d'oeuvre» (из письма Толстого М. С. Башилову от 28 февраля 1867 г.)

щий интерес. Эти фразы изготовлялись во внутренней лаборатории Билибина как будто нарочно портативного свойства для того, чтобы ничтожные светские люди удобно могли запоминать их и переносить из гостиных в гостиные. И действительно, les mots de Bilibine se colportaient des salons de Vienne[1], часто повторялись и часто имели влияние на так называемые важные дела.

Худое, истощенное, необыкновенной белизны лицо его было все покрыто крупными, молодыми морщинами, которые всегда казались так чистоплотно и старательно промыты, как кончики пальцев после бани.

[1] отзывы Билибина расходились по всем гостиным Вены

Движения этих морщин составляли главную игру его физиономии. То у него морщился лоб широкими складками, брови поднимались кверху, то брови опускались книзу, и у щек образовывались крупные морщины. Глубоко поставленные небольшие глаза всегда смотрели прямо и весело.

Во всем лице, фигуре его и звуке голоса, несмотря на утонченность одежды, утонченность приемов и французского, изящного языка, которым он говорил, резко выражались черты русского человека.

Болконский самым скромным образом, ни разу не упоминая о себе, рассказал дело и прием военного министра.— Ils m'ont reçu avec ma nouvelle comme un chien dans un jeu de quilles[2],— заключил он.

Билибин усмехнулся и распустил складки кожи.

— Cependant, mon cher,— сказал он, рассматривая издалека свой ноготь и опять подбирая кожу над левым глазом,— malgré la haute estime que je professe pour le[3] православное воинство,— j'avoue que votre victoire n'est pas des plus victorieuses![4–5]

Он продолжал всё так же на французском языке, произнося по-русски только те слова, которые он презрительно хотел подчеркнуть.

— Как же? Вы со всею массой своею обрушились на несчастного Мортье при одной дивизии, и этот Мортье уходит у вас между рук? Где же победа?

— Однако, серьезно говоря,— отвечал князь Андрей, отодвигая тарелку,— все-таки мы можем сказать без хвастовства, что это немного получше Ульма.

— Отчего вы не взяли нам одного, хоть одного маршала?

— Оттого, что не все делается как предполагается, и не так регулярно, как на параде. Мы полагали, как я вам говорил, зайти в тыл к семи часам утра, а не пришли и к пяти вечера.

— Отчего же вы не пришли к семи часам утра? Вам надо было прийти в семь часов утра,— улыбаясь сказал Билибин,— надо было прийти в семь часов утра.

— Отчего вы не внушили Бонапарту дипломатическим путем, что ему лучше оставить Геную? — тем же тоном спросил князь Андрей.

— Я знаю,— перебил Билибин,— вы думаете, что очень легко брать маршалов, сидя на диване перед камином. Это правда, а все-таки зачем вы его не взяли? И не удивляйтесь, что не только военный министр, но и августейший император и король Франц не будут очень осчастливлены вашею победой, да и я, несчастный секретарь русского посольства, не чувствую никакой потребности в знак радости дать моему Францу талер и отпустить его с своей Liebchen[6] на Пратер... Правда, здесь нет Пратера.

Он посмотрел прямо на князя Андрея и вдруг спустил собранную кожу со лба.

— Теперь мой черед спросить вас «отчего», мой милый,— сказал Болконский.— Я вам признаюсь, что не понимаю, может быть, тут есть дипломатические тонкости выше моего слабого ума, но я не понимаю. Макк теряет целую армию, эрцгерцог Фердинанд и эрцгерцог Карл не дают никаких признаков жизни и делают ошибки за ошибками, наконец, один Кутузов одерживает действительную победу, уничтожает charme[7] французов, и военный министр не интересуется даже знать подробности.

— Именно от этого, мой милый. Возьмите же еще кусок жаркого, больше ничего не будет.

— Merci.

---

[2] Они приняли меня с этой вестью, как принимают собаку при игре в кегли.
[3] Однако, мой милый, при всем моем уважении
[4–5] я полагаю, что победа ваша не из самых блестящих
[6] милой (*нем.*).
[7] очарование

— Voyez-vous, mon cher[8], ура! за царя, за Русь, за веру! Tout ça est bel et bon[9], но что нам, я говорю, австрийскому двору, за дело до ваших побед? Привезите вы нам сюда хорошенькое известие о победе эрцгерцога Карла или Фердинанда, un archiduc vaut l'autre[10], как вам известно,— хоть над ротой пожарной команды Бонапарте, это другое дело, мы прогремим в пушки. А то это, как нарочно, может только дразнить нас. Эрцгерцог Карл ничего не делает, эрцгерцог Фердинанд покрывается позором, Вену вы бросаете, не защищаете больше, comme si vous nous disiez[11]: с нами бог, а бог с вами, с вашей столицей; один генерал, которого мы все любили, Шмидт, вы его подводите под пулю и поздравляете нас с победой!.. Вы взяли в плен каких-то двух дебардеров, наряженных в бонапартовских генералов. Согласитесь, что раздражительнее того известия, которое вы привозите, нельзя придумать. C'est comme un fait exprès, un fait exprès[12]. Кроме того, ну, одержи вы точно блестящую победу, одержи победу даже эрцгерцог Карл, что же бы это переменило в общем ходе дел? Теперь уж поздно, когда Вена занята французскими войсками.

— Как занята? Вена занята?

— Не только занята, но Бонапарте в Шенбрунне, а граф, ваш милый граф Врбна, отправляется к нему за приказаниями.

Болконский, после усталости и впечатлений путешествия, приема и в особенности после обеда, чувствовал, что он не понимает всего значения слов, которые он слышал.

— Ceci est une autre paire de manches[13],— сказал он и, достав зубочистку, придвинулся к камину.

— Нынче утром был здесь граф Лихтенфельс,— продолжал Билибин,— и показывал мне письмо, в котором подробно описан парад французов в Вене. Le prince Murat et tout le tremblement...[14]. Вы видите, что ваша победа не очень-то радостна, и что вы не можете быть приняты, как спаситель...

— Право, для меня всё равно, совершенно всё равно,— сказал князь Андрей, начиная понимать, что известие его о сражении под Кремсом действительно имело мало важности ввиду таких событий, как занятие столицы Австрии.— Как же Вена взята? А мост и знаменитый tête de pont[15], и князь Ауэрсперг? У нас были слухи, что князь Ауэрсперг защищает Вену,— сказал он.

— Князь Ауэрсперг стоит на этой, на нашей, стороне и защищает нас, я думаю, очень плохо защищает, но все-таки защищает. А Вена на той стороне. Нет, мост еще не взят, и надеюсь не будет взят, потому что он минирован и его велено взорвать. В противном случае мы были бы давно в горах Богемии, и вы с вашею армией провели бы дурную четверть часа между двух огней.

— Ежели так, то кампания кончена,— сказал князь Андрей.

— Вот это и я тоже думаю. И так думают большие колпаки здесь, но не смеют сказать этого. Будет то, что я говорил в начале кампании, что не ваша echauffourée de Durenstein[16], вообще не порох решит дело, а те, кто его выдумали,— сказал Билибин, повторяя одно из своих mots[17], распуская кожу на лбу и приостанавливаясь.— Вопрос только в том, что

---

[8] Видите ли, мой милый
[9] Все это прекрасно и хорошо
[10] один эрцгерцог стоит другого
[11] как если бы вы нам сказали
[12] Это как нарочно, как нарочно.
[13] Это совсем другое дело.
[14] Принц Мюрат, и всё такое...
[15] мостовое укрепление
[16] дюренштейнская стачка
[17] словечек

скажет берлинское свидание императора Александра с прусским королем. Ежели Пруссия вступит в союз, on forcera la main à l'Autriche[18], и будет война. Ежели же нет, то дело только в том (возьмите же эту грушу, она очень хороша), чтоб условиться, где составлять первоначальные статьи нового Campo Formio.

— Но что за необычайная гениальность! — вдруг вскрикнул князь Андрей, сжимая свою маленькую руку и ударяя ею по столу.— И что за счастие этому человеку!

— Buonaparte? — вопросительно сказал Билибин, морща лоб и этим давая чувствовать, что сейчас будет un mot.— Buonaparte? — сказал он, ударяя особенно на *u*.— Я думаю, однако, что теперь, когда он предписывает законы Австрии из Шенбрунна, il faut lui faire grâce de l'*u*[19]. Я решительно делаю нововведение, и называю его Bonaparte tout court[20]. Хотите еще или нет кофею? Франц!

— Нет, без шуток,— сказал князь Андрей,— вы в состоянии знать. Как вы думаете, чем кончится все это?

— А я вот что думаю. Австрия осталась в дурах, а она к этому не привыкла, и она отплатит. А в дурах она осталась оттого, что, во-первых, провинции разорены (On dit le[21] православное est terrible pour le pillage[22]), армия разбита, столица взята, и всё это pour les beaux yeux de[23] сардинское величество.

— Ждут государя? — спросил князь Андрей.

— Каждый день. Нас обманут; уже теперь я чутьем слышу сношения с Францией и проекты мира, тайного мира, отдельно заключенного.

— Это будет мило! — сказал князь Андрей.

— Qui vivra, verra[24].

Они помолчали.

Билибин распустил опять кожу в знак окончания разговора.

— А знаете, вы в последний приезд одержали здесь совершенную победу над баронессой Зайфер?

— Что она все такая же восторженная? — спросил князь Андрей, вспоминая одну из приятных женщин, между которыми он имел большой успех в свой приезд в Вену с Кутузовым.

— Одна она женщина, а не дама,— сказал свое mot Билибин.— Завтра поедем к ней. Для вас и для нее я не повинуюсь моему доктору. Надо, чтобы хорошо провести эти дни здесь. Каков бы ни был австрийский кабинет, люди, особенно женщины, необыкновенно милы, и я ничего не желал бы, как провести всю свою жизнь в Вене. Ах, знаете, кто постоянный посетитель ее гостиной? Наш Ипполит Курагин. Это самый откровенный дурак, какого я видел. Завтра вы его увидите у меня. Наши собираются у меня по четвергам, и вы всех их увидите. Ну, однако, идите спать; я вижу, что вы падаете.

Когда князь Андрей пришел в приготовленную для него комнату и в чистом белье лег на пуховики и душистые, гретые подушки, он почувствовал, что то сражение, о котором он привез известие, было далеко, далеко от него. Прусский союз, Ипполит Курагин, баронесса З⟨айфер⟩, измена Австрии, новое торжество Бонапарте, выход, и парад, и прием императора Франца на завтра занимали его. Он закрыл глаза, но в то же мгновение в ушах его затрещала канонада, пальба, стук колес экипажа, и вот опять спускаются с горы растянутые ниткой мушкетеры, и французы стреляют, и он чувствует, как содрогается его сердце, и он

---

[18] принудят Австрию
[19] надо его избавить от *u*
[20] просто Бонапарт
[21] говорят, что
[22] ужасно по части грабежей
[23] ради прекрасных глаз
[24] Поживем — увидим.

выезжает вперед рядом с Шмидтом, и пули весело свистят вокруг него, и он испытывает то чувство удесятеренной радости жизни, какого он не испытывал с самого детства. Он пробудился...

— Да, всё это было!..— сказал он, счастливо, по-детски улыбаясь сам себе, и заснул крепким молодым сном.

XII

На другой день он проснулся поздно. Возобновляя впечатление прошедшего, он вспомнил прежде всего то, что нынче надо представляться императору Францу, вспомнил военного министра, учтивого австрийского флигель-адъютанта, Билибина и разговор вчерашнего вечера. Воспоминание о сражении представлялось ему чем-то давно, давно прошедшим и незначащим. Одевшись в полную парадную форму, которой он уже давно не надевал, для поездки во дворец, он, свежий, оживленный и красивый, с подвязанною рукой, более в великосветском и придворном, чем в военном настроении духа, вошел в кабинет Билибина. В кабинете уже сидели, лежали и стояли несколько господ дипломатического корпуса, посещавших Билибина, которых он называл — *наши.* Большинство были русские, но был один англичанин и один швед. Со многими из них, как с князем Ипполитом, Болконский был знаком; с другими его познакомил Билибин, называя Болконского вестником победы, о которой уже было известно всему городу.

— Les plumes...[1] — сказал Билибин, указывая на своих,— et l'épée[2],— сказал он, указывая на Болконского.— Господа, рекомендую вам одного из тех людей, которые имеют искусство быть всегда счастливы. Он всегда был любим самыми милыми женщинами, владеет самою милою женой, прекрасною наружностью и никогда не был и не будет ранен в нос, в живот или еще хуже, как мой знакомый le capitaine Gnilopouploff[3]. Славная фамилия! К несчастью, вы, господа иностранцы,— обратился он к англичанину и шведу,— не можете оценить всей прелести и благозвучности этого имени. Нет, господа, объясните мне, пожалуйста, отчего капитана Гнилопупова ранят непременно в нос или просто убьют, а такого человека, как Болконский, в руку, чтобы придать ему еще более привлекательности в глазах женщин.

Гости, бывавшие у Билибина, светские, молодые, богатые и веселые люди, составляли и в Вене, и здесь отдельный кружок, который Билибин, бывший главой этого кружка, называл *наши,— les notres.* В кружке этом, состоявшем почти исключительно из дипломатов, видимо, были свои, не имеющие ничего общего с войной и политикой, интересы высшего света, отношений к некоторым женщинам и канцелярской стороны службы. Эти господа, по-видимому охотно, как *своего* (честь, которую они делали немногим), приняли в свой кружок князя Андрея. Из учтивости и как предмет для вступления в разговор ему сделали несколько вопросов об армии и сражении, и разговор опять рассыпался на непоследовательные, веселые шутки и пересуды. Все они поговорили по-французски. И, несмотря на привычку их к этому языку и их оживление, разговор имел характер притворства или подражания какому-то чужому веселью.

— Но особенно хорошо,— говорил один, рассказывая неудачу товарища-дипломата,— особенно хорошо то, что канцлер прямо сказал ему, что назначение его в Лондон есть повышение, и чтоб он так и смотрел на это. Видите вы его фигуру при этом?..

Но что всего хуже, господа, я вам выдаю Курагина: человек в несчастии, и этим-то пользуется этот дон-Жуан, этот ужасный человек.

---

[1] перья
[2] шпага
[3] капитан Гнилопупов

Князь Ипполит лежал в вольтеровском кресле, положив ноги через ручку; он дико засмеялся.

— Parlez-moi de ça[4],— сказал он.

— О дон-Жуан! О змея,— послышались голоса.

— Вы не знаете, Болконский,— обратился Билибин к князю Андрею,— что все ужасы французской армии (я чуть было не сказал русской армии) ничто в сравнении с тем, что наделал между женщинами этот человек.

— La femme est la compagne de l'homme[5],— сентенциозно произнес князь Ипполит и стал смотреть в лорнет на свои поднятые ноги.

Билибин и *наши* бесцеремонно расхохотались, глядя в глаза Ипполиту. Князь Андрей видел, что этот Ипполит, которого он (дóлжно было признаться) почти ревновал к своей жене, был просто шутом этой веселой компании.

— Нет, я должен вас угостить Курагиным,— сказал Билибин тихо Болконскому.— Он прелестен, когда рассуждает о политике; надо видеть эту важность.

Он подсел к Ипполиту и, собрав на лбу свои складки, завел с ним разговор о политике. Князь Андрей и другие обступили обоих.

— Le cabinet de Berlin ne peut pas exprimer un sentiment d'alliance[6],— начал Ипполит, значительно оглядывая всех,— sans exprimer... comme dans sa dernière note... vous comprenez... vous comprenez... et puis si sa Majesté l'empereur ne déroge pas au principe de notre alliance...[7].

Князь Андрей, несмотря на то, что *наши* с радостными лицами слушали Ипполита, с отвращением отошел; но Ипполит схватил его за руку.

— Attendez, je n'ai pas fini...[8] — продолжал он, желая, очевидно, внушить новому лицу уважение к своим политическим соображениям.— Je suppose que l'intervention sera plus forte que la non-intervention. Et...[9] Он помолчал.— On ne pourra pas imputer à la fin de non-recevoir notre dépêche du 28 novembre.

Voilà comment tout cela finira[10].

И он отпустил руку Болконского, показывая тем, что теперь он совсем кончил.

— Demonsthénes! je te reconnais au caillou que tu as caché dans ta bouche d'or[11],— сказал Билибин, у которого шапка волос подвинулась на голове от удовольствия.

И все засмеялись дружным и оживленным хохотом, особенно возбуждаемым от хохота самого Ипполита, который, видимо, страдал, задыхался, но не мог удержаться от дикого смеха, причем растягивалось его всегда неподвижное лицо.

— Ну, вот что, господа,— сказал Билибин,— Болконский мой гость в доме и здесь. И я хочу его угостить, сколько могу, всеми радостями здешней жизни. Если бы мы были в Вене, это было бы легко; но здесь, dans ce vilain trou morave[12], это трудно, и я прошу у всех вас помощи. Il faut lui faire les honneurs de Brünn[13]. Вы возьмите на себя театр, я общество; вы, Ипполит, разумеется, женщин.

---

[4] Ну-ка, ну-ка.

[5] Женщина — подруга мужчины.

[6] Берлинский кабинет не может выразить свое мнение о союзе

[7] не выражая... как в своей последней ноте... вы понимаете... вы понимаете... впрочем, если его величество император не изменит сущности нашего союза...

[8] Подождите, я не кончил.

[9] Я думаю, что вмешательство будет прочнее, чем невмешательство. И...

[10] Невозможно считать дело оконченным непринятием нашей депеши от 28 ноября. Вот чем всё это кончится.

[11] Демосфен! я узнаю тебя по камешку, который ты скрываешь в своих золотых устах.

[12] в этой скверной моравской дыре

[13] Надо показать ему Брюнн.

— Надо ему показать Амели, прелесть! — сказал один из *наших*, целуя кончики пальцев.— Поедемте со мной.

— А оттуда едем к баронессе Зайфер. Я для вас выезжаю нынче первый раз, а ночь ваша, коли вы желаете ею воспользоваться. Кто-нибудь из господ может вас руководить.

— Вообще этого кровожадного солдата Болконского,— сказал кто-то,— надо обратить к более человеколюбивым взглядам.

— И чтоб он полюбил наш Брюнн и нашу Вену милую!

— Однако мне пора ехать,— взглядывая на часы, сказал Болконский, который, несмотря на суету разговора, ни на минуту не забывал предстоящего представления императору.

— Куда вы?

— К императору.

— О! о! о!

— Ну, до свидания, Болконский! До свидания, князь, приезжайте же обедать раньше,— послышались голоса.— Мы беремся за вас.

— Старайтесь как можно более расхваливать порядок в доставлении провианта и маршрутов, когда будете говорить с императором,— сказал Билибин, провожая до передней Болконского.

— И желал бы хвалить, но не могу, сколько знаю,— улыбаясь отвечал Болконский.

— Ну, вообще как можно больше говорите. Его страсть — аудиенции, а говорить сам он не любит и не умеет, как увидите.

XIII

Император Франц подошел к князю Андрею, стоявшему в назначенном месте между австрийскими офицерами на выходе, и сказал ему скоро несколько невнятных, но, очевидно, ласковых слов и прошел дальше. После выхода вчерашний флигель-адъютант, сделавшийся нынче совсем другим, учтивым и деликатным человеком, передал Болконскому желание императора видеть его еще раз. Прежде чем вступить в кабинет, князь Андрей, при виде шептавшихся придворных, при виде того уважения, которое ему оказывали теперь, когда узнали, что он будет принят императором, почувствовал, что и его волновало предстоящее свидание. Но опять это чувство волнения в одно мгновение превратилось в его душе в чувство презрения к условному величию и к этой толпе шепчущих придворных, готовых изменить себе и правде в угоду императору. «Нет,— сказал себе князь Андрей,— в какое бы трудное положение ни был я поставлен предстоящим свиданием, я откину все соображения и скажу одну полную и прямую правду». Но разговор, который произошел между им и императором, не подал ему случая говорить ни правды, ни неправды. Император Франц принял его, стоя посредине комнаты. Перед тем как начинать разговор князя Андрея поразило то, что император как будто смешался, не зная, что сказать, и покраснел.

— Скажите, когда началось сражение? — спросил он поспешно.

Князь Андрей ответил. После этого вопроса следовали другие, столь же простые вопросы: «здоров ли Кутузов», «как давно выехал он из Кремса?» и т. п. Император говорил с таким выражением, как будто вся цель его состояла только в том, чтобы сделать известное количество вопросов. Ответы же на эти вопросы, как было слишком очевидно, не могли интересовать его.

— В котором часу началось сражение? — спросил император.

— Не могу донести вашему величеству, в котором часу началось сражение с фронта, но в Дюренштейне, где я находился, войско начало атаку в 6 часу вечера,— сказал Болконский, оживляясь и при этом случае предполагая, что ему удастся представить уже готовое в его голове,

правдивое описание всего того, что он знал и видел. Но император улыбнулся и перебил его.

— Сколько миль?

— Откуда и докуда, ваше величество?

— От Дюренштейна до Кремса?

— Три с половиною мили, ваше величество.

— Французы оставили левый берег?

— Как доносили, лазутчики в ночь на плотах переправились последние.

— Достаточно ли фуража в Кремсе?

— Фураж не был доставлен в том количестве...

Император перебил его.

— В котором часу убит генерал Шмидт?..

Сделав этот последний вопрос, требовавший краткого ответа, император сказал, что он благодарит, и наклонился. Князь Андрей вышел, и, сам не зная отчего, в первую минуту, несмотря на поразительную простоту фигуры и приемов императора, несмотря на свою философию, князь Андрей почувствовал себя не совсем трезвым. Его окружили, когда он вышел из двери кабинета, со всех сторон глядели на него ласковые глаза, улыбки и слышались ласковые слова. Вчерашний учтивый флигель-адъютант делал ему ласковые упреки, зачем он не остановился во дворце в отделении для иностранных курьеров. Военный министр подошел, поздравляя его с орденом Марии-Терезии 3-й степени, которым жаловал его император. Он не знал, кому отвечать, и несколько секунд собирался с мыслями. Русский посланник взял его за плечо, отвел к окну и стал говорить с ним. Противно ожиданиям его и Билибина представление имело полный успех. Назначено было благодарственное молебствие. Кутузов был награжден Марией-Терезией большого креста, и вся армия получила награды. Императрица желала видеть князя Болконского, и приглашения на обеды и вечера сыпались на него со всех сторон.

По возвращении из дворца князь Андрей, сидя в коляске, мысленно сочинял письмо к отцу обо всех обстоятельствах сражения, поездки в Брюнн и разговора с императором. О чем он ни думал, разговор с императором, этот пустой, этот просто глупый разговор, возникал снова в его воображении со всеми малейшими подробностями выражения лица и интонации императора Франца. «В котором часу убили генерала Шмидта?— повторял он сам себе. Очень нужно было ему знать, в котором именно часу убит генерал Шмидт. Отчего он не спросил во сколько минут и секунд? Какие важные для государства соображения он выведет из этого знания? Но хуже и глупее вопроса — то волнение, с которым я приступал к этому разговору. И волнение всех этих стариков при мысли о том, что он говорил со мной. Два дня тому назад, стоя под пулями, из которых каждая могла принести смерть, я не испытывал и сотой доли того волнения, которое я почему-то ощущал, разговаривая с этим простым, добрым и вполне ничтожным человеком. Да, надо быть философом»,— заключил он и, вместо того чтобы ехать прямо к Билибину, поехал в книжную лавку запастись на поход книгами. Он засиделся, перебирая неизвестные ему философские сочинения, более часа. Когда он подъехал к крыльцу Билибина, его удивил вид стоявшей тут до половины уложенной брички, и Франц, слуга Билибина, который с расстроенным видом выбежал ему навстречу.

— Ach! Erlaucht! — говорил Франц.— Das ist Malheur[1].

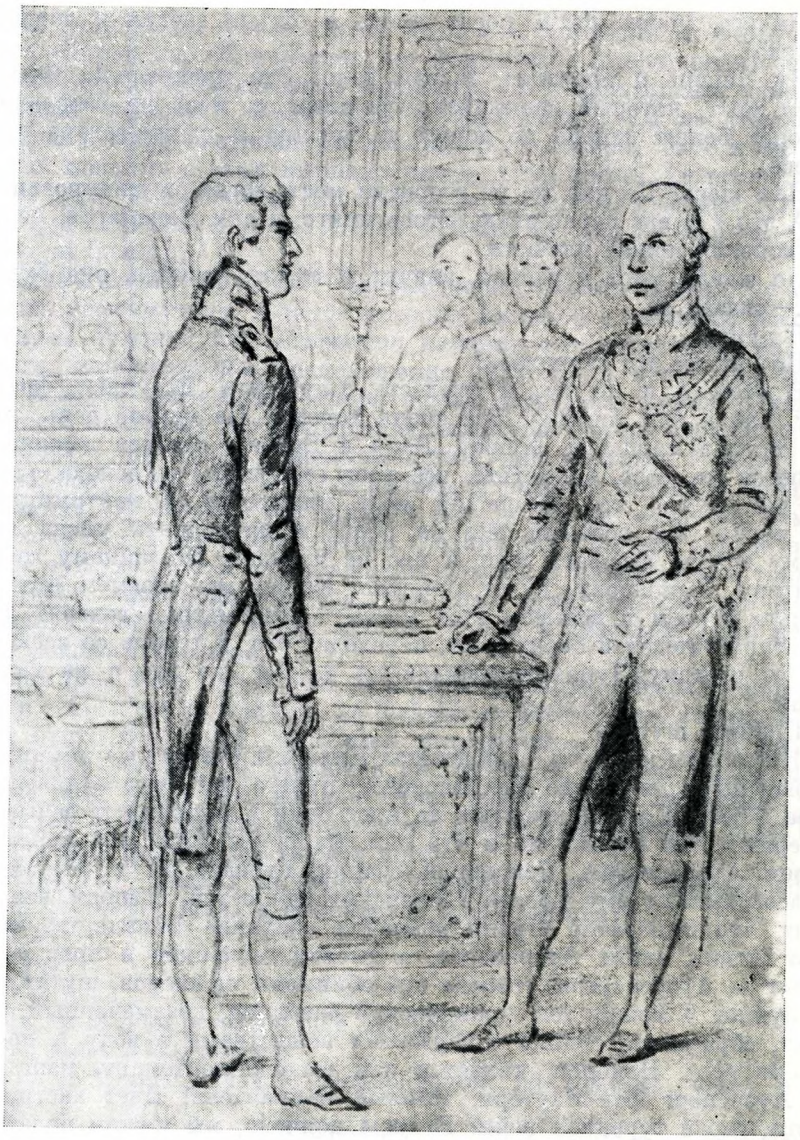
— Что такое? — спросил Болконский.

— Wir ziehen noch weiter, Gott weiss wohin. Der Bösewicht ist schon wieder hinter uns her[2].

---

[1] Ах! Ваше сиятельство! Несчастье! (*нем.*).

[2] Мы отправляемся еще далее, бог знает, куда. Злодей уже опять за нами по пятам (*нем.*).



КНЯЗЬ АНДРЕЙ И ИМПЕРАТОР ФРАНЦ

Рисунок М. С. Башилова, 1867 г.

«Император Франц — прелесть, но князь Андрей немного слишком affecté. Впрочем, он и так хорош» (из письма Толстого М. С. Башилову от 28 февраля 1867 г.)

Билибин вышел навстречу Болконскому. На всегда спокойном лице Билибина было волнение.

— Non, non, avouez que c'est charmant,— говорил он,— cette histoire du pont de Thabor[3] (мост в Вене). Ils l'ont passé sans coup férir[4].

Князь Андрей ничего не понимал.

— Да откуда же вы, что вы не знаете того, что уже знают все кучера в городе? Разве вы не из дворца?

— Из дворца. Я видел и императора. Кутузов получил большой крест Марии-Терезии.

— Теперь не до крестов дело. Неужели там ничего не знают?

[3] Нет, нет, признайтесь, что это прелесть, эта история с Таборским мостом.

[4] Они перешли его без сопротивления.

— Ничего, может быть, после меня; я оттуда заехал в лавки... Да в чем дело?

— Ну, теперь я понимаю. В чем дело? Это прекрасно!.. Французы перешли мост, который защищает Ауэрсперг, и мост не взорвали, так что Мюрат бежит теперь по дороге к Брюнну и нынче-завтра они будут здесь.

— Как здесь? Да как же не взорвали мост, когда он минирован?

— А это я у вас спрашиваю. Этого никто, и сам Бонапарте, не знает.

Болконский пожал плечами.

— Но ежели мост перейден, значит и армия погибла, она будет отрезана,— сказал он.

— Я думаю.

— Но как же это случилось?

— В этом-то и штука, и прелесть. Слушайте. Вступают французы в Вену, как я вам говорил. Все очень хорошо. На другой день, то есть вчера, господа маршалы, Мюрат, Ланн и Бельяр, садятся верхом и отправляются на мост. (Заметьте, все трое гасконцы.) «Господа,— говорит один,— вы знаете, что Таборский мост минирован и контрминирован, и что перед ним грозный tête de pont[5] и пятнадцать тысяч войска, которому велено взорвать мост и нас не пускать. Но нашему государю императору Наполеону будет приятно, ежели мы возьмем этот мост. Поедемьте втроем и возьмем этот мост». «Поедемьте»,— говорят другие, и они отправляются и берут мост, переходят его, и теперь со всею армией по сю сторону Дуная направляются на нас, на вас и на ваши сообщения.

— Полноте шутить.

— Нисколько не шучу,— продолжал Билибин, отвечая на нетерпеливое и недоверчивое движение Болконского,— ничего нет справедливее и печальнее. Господа эти приезжают на мост одни и поднимают белые платки, уверяют, что перемирие и что они, маршалы, едут для переговоров с князем Ауэрспергом. Дежурный офицер пускает их в tête de pont. Они рассказывают ему тысячу гасконских глупостей, говорят, что война кончена, что император Франц назначил свидание Бонапарту, что они желают видеть князя Ауэрсперга, и тысячу гасконцев и проч. Офицер посылает за Ауэрспергом, господа эти обнимают офицеров, шутят, садятся на пушки, а между тем французский баталион, незамеченный, входит на мост, сбрасывает мешки с горючими веществами в воду и подходит к tête de pont. Наконец, является сам генерал-лейтенант, наш милый князь Ауэрсперг фон-Маутерн. «Милый неприятель! Цвет австрийского воинства, герой турецких войн! Вражда кончена, мы можем подать друг другу руку... император Наполеон сгорает желанием узнать князя Ауэрсперга». Одним словом, эти господа не даром гасконцы, так забрасывают этого индейского петуха Ауэрсперга прекрасными словами, он так прельщен своею столь быстро установившеюся интимностью с французскими маршалами, так ослеплен видом мантии и страусовых перьев Мюрата, qu'il n'y voit que du feu, et oublie celui qu'il devait faire, faire sur l'ennemi[6].

(Несмотря на живость своей речи, Билибин не забыл приостановиться после этого, чтобы дать время оценить его.)

Французский баталион вбегает в tête de pont, заколачивают пушки, и мост взят. Нет, но, что лучше всего,— продолжал он, успокоиваясь в своем волнении прелестью собственного рассказа,— это то, что сержант, приставленный к той пушке, по сигналу которой должно было зажигать мины и взрывать мост, сержант этот, увидав, что французские войска

---

[5] мостовое укрепление.

[6] что он видит только их огонь и забывает о своем, о том, который он обязан был открыть против неприятеля.

бегут на мост, хотел уже стрелять, но Ланн отвел его руку. Сержант, который, видно, был умнее своего генерала, подходит к Ауэрспергу и говорит: «Князь, вас обманывают, вот французы!» Мюрат видит, что дело проиграно, ежели дать говорить сержанту. Он с притворным удивлением (настоящий гасконец) обращается к Ауэрспергу: «Я не узнаю столь хваленную в мире австрийскую дисциплину,— говорит он,— и вы позволяете так говорить с вами низшему чину». C'est génial. Le prince d'Auersperg se pique d'honneur et fait mettre le sergent aux arrêts. Non, mais avouez, que c'est charmant toute cette histoire du pont de Thabor. Ce n'est ni bêtise, ni lâcheté...[7].

— C'est trahison peut-être[8],— сказал князь Андрей, видимо, не могший разделить удовольствия, которое находил Билибин в глупости рассказанного факта. Рассказ этот мгновенно изменил его вынесенное из дворца городское, великосветское расположение духа. Он думал о том положении, в которое поставлена теперь армия Кутузова, думал о том, как ему, вместо покойных дней в Брюнне, предстоит тотчас скакать к армии и участвовать там или в отчаянной борьбе, или в позоре. И серые шинели, раны, пороховой дым и звуки пальбы мгновенно возникли живо в его воображении. И опять в эту минуту, как и всегда когда он думал об общем ходе дел, в его душе странно соединилось сильное, гордое патриотическое чувство страха за поражение русских с торжеством о торжестве своего героя. Кампания кончена. Все силы всей Европы, все расчеты, все усилия уничтожены в два месяца гением и счастием этого непостижимого рокового человека...

— Non plus. Cela met la cour dans de trop mauvais draps[9],— продолжал Билибин — Ce n'est ni trahison, ni lâcheté, ni bêtise; c'est comme à Ulm... Он как будто задумался, отыскивая выражение,— c'est... C'est du Mack. Nous sommes *mackés*[10],— заключил он, чувствуя, что он сказал un mot и свежее mot, такое mot, которое будет повторяться. Собранные до тех пор складки на лбу быстро распустились в знак удовольствия, и он, слегка улыбаясь, стал рассматривать свои ногти.

— Куда вы? — сказал он вдруг, обращаясь к князю Андрею, который ни слова не сказал, встал и направился в свою комнату.

— Я еду.

— Куда?

— В армию.

— Да вы хотели остаться еще два дня.

— А теперь я еду сейчас.

И князь Андрей, сделав распоряжение об отъезде, ушел в свою комнату.

— Знаете что, мой милый,— сказал Билибин, входя к нему в комнату. Я подумал об вас. Зачем вы поедете? — И в доказательство неопровержимости этого довода складки все сбежали с лица.

Князь Андрей вопросительно посмотрел на своего собеседника и ничего не ответил.

— Зачем вы поедете? Я знаю, вы думаете, что ваш долг скакать в армию теперь, когда армия в опасности. Я это понимаю, mon cher, c'est de l'héroisme[11].

— Нисколько,— сказал князь Андрей.

— Но вы un philosophe[12]; будьте же им вполне, посмотрите на вещи

---

[7] Это гениально. Князь Ауэрсперг оскорбляется и приказывает арестовать сержанта. Нет, признайтесь, что это прелесть — вся эта история с мостом. Это не то что глупость, не то что подлость.

[8] Быть может, измена

[9] Также нет. Это ставит двор в самое нелепое положение.

[10] Это ни измена, ни подлость, ни глупость, это как при Ульме... это маковщина. Мы *обмакнулись*.

[11] мой милый; это героизм

[12] философ

с другой стороны, и вы увидите, что ваш долг, напротив, беречь себя. Предоставьте это другим, которые ни на что более не годны... Вам не велено приезжать назад, и отсюда вас не отпустили, стало быть, вы можете остаться и ехать с нами куда нас повлечет наша несчастная судьба. Говорят, едут в Ольмюц. А Ольмюц очень милый город. И мы с вами вместе спокойно поедем в моей коляске.

— Вы шутите, Билибин,— сказал Болконский.

— Я говорю вам искренно и дружески. Рассудите. Куда и для чего вы поедете теперь, когда вы можете оставаться здесь? Вас ожидает одно из двух (он собрал кожу над левым виском): или не доедете до армии, и мир будет заключен, или поражение и срам со всею Кутузовскою армией.

И Билибин распустил кожу, чувствуя, что дилемма его неопровержима.

— Этого я не могу рассудить,— холодно отвечал князь Андрей.— Больше, чем философ, я человек, и потому я еду.

— Mon cher, vous êtes un héros [13],— сказал Билибин.

— Pas le moins du monde, je suis un officier subalterne, qui tient à faire son devoir, voilà tout [14],— не без гордости сказал князь Андрей.

XIV

В ту же ночь, откланявшись военному министру, Болконский ехал к армии, сам не зная, где он найдет ее, и опасаясь по дороге к Кремсу быть перехваченным французами.

В Брюнне всё придворное население укладывалось, и уже отправлялись тяжести в Ольмюц. Для чего Болконский поехал в армию, а не остался в Брюнне, какими рассуждениями он дошел до этого, он не мог бы сказать. Как только он услыхал страшное известие от Билибина, мгновенно медаль жизни, на которую он смотрел с веселой стороны, перевернулась. Он увидел одно дурное во всем и инстинктивно почувствовал необходимость принять участие во всем этом дурном. «Ничего не может выйти, кроме сраму и погибели для наших войск, при условиях, в которых мы боремся с этим роковым гением»,— думал он с мрачными мыслями, усталый, голодный и сердитый, миновав французов и подъезжая на другой день к тому месту, где, по слухам, должен был находиться Кутузов. Около Эцельсдорфа князь Андрей выехал на дорогу, по которой с величайшею поспешностью и в величайшем беспорядке двигалась русская армия. Дорога была так запружена повозками, что невозможно было ехать в экипаже. Взяв у казачьего начальника лошадь и казака, князь Андрей, обгоняя обозы, ехал отыскивать главнокомандующего и свою повозку. Самые зловещие слухи о положении армии доходили до него дорогой; вид же беспорядочно бегущей армии еще более утвердил его в убеждении, что дело кампании окончательно проиграно. Он смотрел на всё совершавшееся вокруг него презрительно и грустно, как человек, уже не принадлежащий к этому миру.

«Cette armée russe que l'or de l'Angleterre a transporté des extrémités de l'univers, nous allons lui faire éprouver le même sort (le sort de l'armée d'Ulm)» [1],— вспомнил он слова приказа Бонапарта своей армии перед началом кампании, и слова эти одинаково возбуждали в нем удивление к гениальному герою и чувство оскорбленной гордости. «Ничего не остается, кроме как умереть,— думал он.— Что же, коли нужно! Я сделаю это не хуже других».

---

[13] Милый мой, вы герой.

[14] Вовсе нет, я простой офицер, исполняющий свой долг, вот и всё.

[1] «Эта русская армия, которую английское золото принесло сюда с конца света, отведает ту же участь (участь ульмской армии)».

Беспорядок и поспешность движения армии, увеличиваемые беспрестанно повторяемыми приказаниями главного штаба, идти сколь возможно скорее, достигли высшей степени. Шутники-казаки, хотевшие посмеяться над спавшими в повозках деньщиками, крикнули: «Французы»,— и проскакали мимо. Крик: «Французы!», как нарастающий ком снегу прокатился по всей колонне: всё бросилось, давя и обгоняя друг друга, и послышались даже выстрелы и батальный огонь пехоты, стрелявшей сама не зная в кого. Едва через четверть часа могли начальники движения остановить эту суматоху, стоившую жизни нескольким человекам, которые были задавлены, и одному, который был застрелен.

Князь Андрей с равнодушным презрением смотрел на эти бесконечные, мешавшие команды, повозки, парки, артиллерию, и опять повозки, повозки и повозки всех возможных видов, обгонявшие одна другую и в три, в четыре ряда запружавшие грязную дорогу. Со всех сторон, назади и впереди, покуда хватал слух, слышались звуки колес, громыхание кузовов телег и лафетов, лошадиный топот, удары кнутом, крики понуканий, ругательства солдат, деньщиков и офицеров. По краям дороги видны были беспрестанно то павшие ободранные и неободранные лошади, то сломанные повозки, у которых дожидаясь чего-то, сидели одинокие солдаты, то отделившиеся от команд солдаты, которые толпами направлялись в соседние деревни или тащили из деревень кур, баранов, сено или мешки, чем-то наполненные. На спусках и подъемах толпы делались гуще, и стоял непрерывный стон криков. Солдаты, утопая по колено в грязи, на руках подхватывали орудия и фуры: бились кнуты, скользили копыта, лопались постромки и надрывались криками груди. Офицеры, заведывавшие движением, то вперед, то назад проезжали между обозами. Голоса их были слабо слышны среди общего гула, и по лицам их видно было, что они отчаивались в возможности остановить этот беспорядок.

«Voilà le cher православное воинство»,— подумал Болконский, вспоминая слова Билибина.

Желая спросить у кого-нибудь из этих людей, где главнокомандующий, он подъехал к обозу. Прямо против него ехал странный в одну лошадь экипаж, видимо, устроенный домашними солдатскими средствами, представлявший середину между телегой, кабриолетом и коляской. В экипаже правил солдат и сидела под кожаным верхом за фартуком женщина, вся обвязанная платками. Князь Андрей подъехал и уже обратился с вопросом к солдату, когда его внимание обратили отчаянные крики женщины, сидевшей в кибиточке. Офицер, заведывавший обозом, бил солдата, сидевшего кучером в этой колясочке за то, что он хотел объехать других, и плеть попадала по фартуку экипажа. Женщина пронзительно кричала. Увидав князя Андрея, она высунулась из-за фартука и, махая худыми руками, выскочившими из-под коврового платка, кричала:

— Адъютант! Господин адъютант!.. Ради бога... защитите... Что ж это будет?.. Я лекарская жена 7-го егерского... не пускают, мы отстали, своих потеряли...

— В лепешку расшибу, заворачивай! — кричал озлобленный офицер на солдата,— заворачивай назад со шлюхой своею.

— Господин адъютант, защитите. Что ж это? — кричала лекарша.

— Извольте пропустить эту повозку. Разве вы не видите, что это женщина? — сказал князь Андрей, подъезжая к офицеру.

Офицер взглянул на него и, не отвечая, поворотился опять к солдату.

— Я-те объеду... Назад!..

— Пропустите, я вам говорю,— опять повторил, поджимая губы, князь Андрей.

— А ты кто такой? — вдруг с пьяным бешенством обратился к нему офицер.— Ты кто такой? Ты (он особенно упирал на *ты*) начальник, что ль? Здесь я начальник, а не ты. Ты, назад,— повторил он,— в лепешку расшибу.

Это выражение, видимо, понравилось офицеру.

— Важно отбрил адъютантика,— послышался голос сзади.

Князь Андрей видел, что офицер находился в том пьяном припадке беспричинного бешенства, в котором люди не помнят, что говорят. Он видел, что его заступничество за лекарскую жену в кибиточке исполнено того, чего он боялся больше всего в мире, того, что называется ridicule[2], но инстинкт его говорил другое. Не успел офицер договорить последних слов, как князь Андрей, со страшно изуродованным бешенством лицом, подъехал к нему и поднял нагайку.

— Из-воль-те про-пус-тить!

Офицер махнул рукой и торопливо отъехал прочь.

— Всё от этих штабных беспорядок весь,— проворчал он.— Делайте ж как знаете.

Князь Андрей торопливо, не поднимая глаз, отъехал от лекарской жены, называвшей его спасителем, и, с отвращением вспоминая мельчайшие подробности этой унизительной сцены, поскакал дальше к той деревне, где, как ему сказали, находился главнокомандующий.

Въехав в деревню, он слез с лошади и пошел к первому дому с намерением отдохнуть хоть на минуту, съесть что-нибудь и привесть в ясность все эти оскорбительные, мучившие его мысли.

«Это толпа мерзавцев, а не войско», думал он, подходя к окну первого дома, когда знакомый ему голос назвал его по имени.

Он оглянулся. Из маленького окна высовывалось красивое лицо Несвицкого. Несвицкий, махая руками, звал его к себе.

— Болконский! Болконский! Не слышишь, что ли? Иди скорее,— кричал он.

Войдя в дом, князь Андрей увидал Несвицкого и еще другого адъютанта. Они поспешно обратились к Болконскому с вопросом, не знает ли он чего нового? На их столь знакомых ему лицах князь Андрей прочел выражение тревоги и беспокойства. Выражение это особенно заметно было на всегда смеющемся лице Несвицкого.

— Где главнокомандующий? — спросил Болконский.

— Здесь, в этом доме,— отвечал адъютант.

— Ну, что ж? правда, что мир и капитуляция? — спрашивал Несвицкий.

— Я у вас спрашиваю. Я ничего не знаю, кроме того, что я насилу добрался до вас.

— А у нас, брат, что! Ужас! Винюсь, брат, над Макком смеялись, а самим еще хуже приходится,— сказал Несвицкий,— Да садись же, поешь чего-нибудь.

— Теперь, князь, ни повозок, ничего не найдете, и ваш Петр, бог его знает где,— сказал другой адъютант.

— Где ж главная квартира? В Цнайме ночуем?

— А я так перевьючил себе всё, что мне нужно, на двух лошадей,— сказал Несвицкий,— и вьюки отличные мне сделали. Хоть через Богемские горы удирать. Плохо, брат. Да, что ты, верно нездоров, что так вздрагиваешь? — спросил Несвицкий, заметив как князя Андрея дернуло, будто от прикосновения к лейденской банке.

— Ничего,— ответил князь Андрей.

Он вспомнил в эту минуту о недавнем столкновении с лекарскою женой и фурштатским офицером.

— Что главнокомандующий здесь делает? — спросил он.

---

[2] смешным

— Ничего не понимаю,— сказал Несвицкий.

— Я одно понимаю, что всё мерзко, мерзко и мерзко,— сказал князь Андрей и пошел в дом, где стоял главнокомандующий.

Пройдя мимо экипажа Кутузова, верховых замученных лошадей свиты и казаков, громко говоривших между собою, князь Андрей вошел в сени. Сам Кутузов, как сказали князю Андрею, находился в избе с князем Багратионом и Вейротером. Это был австрийский генерал, заменивший убитого Шмидта. В сенях же маленький Козловский сидел на корточках перед писарем. Писарь на перевернутой кадушке, заворотив обшлага мундира, поспешно писал. Лицо Козловского было измученное,— он, видно, тоже не спал ночь — и мрачное, озабоченное, больше чем когда-нибудь. Он взглянул на князя Андрея и даже не кивнул ему головой.

БАГРАТИОН

Рисунок М. С. Башилова, 1867 г.

— Вторая линия... Написал? — продолжал он, диктуя писарю,— Киевский гренадерский, Подольский...

— Не поспеешь, ваше высокоблагородие,— отвечал писарь, непочтительно и сердито оглядываясь на Козловского.

Из-за двери слышен был в это время оживленно недовольный голос Кутузова, перебиваемый другим, незнакомым голосом. В звуке этих голосов, в невнимании, с которым взглянул на него Козловский, в непочтительности измученного писаря, в самом том факте, что писарь и Козловский сидели так близко от главнокомандующего на полу около кадушки, что казаки, державшие лошадей, смеялись громко под окном дома, князь Андрей чувствовал, что должно было случиться что-нибудь важное и несчастливое. Князь Андрей, однако, настоятельно обратился к Козловскому с вопросами.

— Сейчас, князь,— сказал Козловский.— Диспозиция Багратиону.

— А капитуляция?

— Никакой нет; сделаны все распоряжения к сражению.

Князь Андрей направился к двери, из-за которой слышны были голоса.

Но в то время как он хотел отворить дверь, голоса в комнате замолкли, дверь сама отворилась, и Кутузов показался на пороге. Князь Андрей стоял прямо против Кутузова, но по выражению единственного зрячего глаза главнокомандующего видно было, что мысль и забота так сильно занимали его, что как будто застилали ему зрение. Он прямо смотрел на лицо своего адъютанта и не узнавал его.

— Ну что, кончили? — обратился он к Козловскому.

— Сию секунду, ваше высокопревосходительство.

Багратион, невысокий, с восточным типом твердого и неподвижного лица, сухой, еще не старый человек, вышел за главнокомандующим.

— Честь имею явиться,— повторил довольно громко князь Андрей, подавая конверт.

— А, из Вены? Хорошо. После, после.

Кутузов вышел с Багратионом на крыльцо.

— Ну, князь, прощай. Христос с тобой. Благословляю тебя на великий подвиг.

Лицо Кутузова неожиданно смягчилось, и слезы показались в его глазах. Он притянул к себе левою рукою Багратиона, а правой, на которой было кольцо, видимо, привычным жестом перекрестил его и подставил ему пухлую щеку, вместо которой Багратион поцеловал его в шею.

— Христос с тобой! — повторил Кутузов и подошел к коляске.

— Садись со мной,— сказал он Болконскому.

— Ваше высокопревосходительство, я желал бы быть полезен здесь. Позвольте мне остаться в отряде князя Багратиона.

— Садись,— сказал Кутузов и, заметив, что Болконский медлит,— мне хорошие офицеры самому нужны, самому нужны.

Они сели в коляску и молча проехали несколько минут.

— Еще впереди много, много будет всего,— сказал он со старческим выражением проницательности, как будто поняв, что делалось в душе Болконского.— Ежели из отряда его придет завтра одна десятая часть, я буду благодарить бога,— прибавил Кутузов, как бы говоря сам с собой.

Князь Андрей взглянул на Кутузова, и ему невольно бросились в глаза, в полуаршине от него, чисто промытые сборки шрама на виске Кутузова, где измаильская пуля пронизала ему голову. «Да, он имеет право так спокойно говорить о погибели этих людей»,— подумал Болконский.

— От этого я и прошу отправить меня в этот отряд,— сказал он.

Кутузов не ответил. Он, казалось, уж забыл о том, что было сказано им, и сидел задумавшись. Через пять минут, плавно раскачиваясь на мягких рессорах коляски, Кутузов обратился к князю Андрею. На лице его не было и следа волнения. Он с тонкою насмешливостью расспрашивал князя Андрея о подробностях его свидания с императором и отзывах, слышанных при дворе о Кремском деле. Видно было, что он предвидел все, что рассказывал его адъютант.

XV

Кутузов через своего лазутчика получил 1-го ноября известие, ставившее командуемую им армию почти в безвыходное положение. Лазутчик доносил, что французы в огромных силах, перейдя Венский мост, направились на путь сообщения Кутузова с войсками, шедшими из России. Ежели бы Кутузов решился оставаться в Кремсе, то полуторастотысячная армия Наполеона отрезала бы его от всех сообщений, окружила бы его сорокатысячную изнуренную армию, и он находился бы в положении Макка под Ульмом. Ежели бы Кутузов решился оставить дорогу, ведшую на сообщения с войсками из России, то он должен был вступить без дороги в неизвестные края Богемских гор, защищаясь от превосходного силами неприятеля, и оставить всякую надежду на сообщения с Буксгевденом. Ежели бы Кутузов решился отступать по дороге из Кремса в Ольмюц на соединение с войсками из России, то он рисковал быть предупрежденным на этой дороге французами, перешедшими мост в Вене, и таким образом быть принужденным принять сражение на походе, со всеми тяжестями и обозами, и имея дело с неприятелем, втрое превосходившим его и окружавшим его с двух сторон. Кутузов избрал этот последний выход.

Французы, как доносил лазутчик, перейдя мост в Вене, усиленными маршами шли на Цнайм, лежавший на пути отступления Кутузова, впереди его более чем на сто верст. Достигнуть Цнайма прежде французов значило получить большую надежду на спасение армии; дать французам предупредить себя в Цнайме значило наверное подвергнуть всю армию позору, подобному Ульмскому, или общей гибели. Но предупредить французов со всею армией было невозможно. Дорога французов от Вены

до Цнайма была короче и лучше, чем дорога русских от Кремса до Цнайма.

В ночь получения известия Кутузов послал шеститысячный авангард Багратиона направо горами с кремско-цнаймской дороги на венско-цнаймскую. Багратион должен был пройти без отдыха этот переход, остановиться лицом к Вене и задом к Цнайму, и ежели бы ему удалось предупредить французов, то он должен был задерживать их, сколько мог. Сам же Кутузов со всеми тяжестями тронулся к Цнайму. Пройдя с голодными, разутыми солдатами, без дороги, по горам, в бурную ночь, сорок пять верст, растеряв третью часть отсталыми, Багратион вышел в Голлабрун, на венско-цнаймскую дорогу несколькими часами прежде французов, подходивших к Голлабруну из Вены. Кутузову надо было идти еще целые сутки с своими обозами, чтобы достигнуть Цнайма, и потому, чтобы спасти армию, Багратион должен был, с четырьмя тысячами голодных, измученных солдат, удерживать в продолжение суток всю неприятельскую армию, встретившуюся с ним в Голлабруне, что было очевидно невозможно. Но странная судьба сделала невозможное возможным. Успех этого обмана, который без боя отдал Венский мост в руки французов, побудил Мюрата попытаться обмануть так же и Кутузова. Мюрат, встретив слабый отряд Багратиона на цнаймской дороге, подумал, что это была вся армия Кутузова. Чтобы несомненно раздавить эту армию, он поджидал отставшие по дороге из Вены войска и с этой целью предложил перемирие на три дня, с условием, чтобы те и другие войска не изменяли своих положений и не трогались с места. Мюрат уверял, что уже идут переговоры о мире, и что потому, избегая бесполезного пролития крови, он предлагает перемирие. Австрийский генерал граф Ностиц, стоявший на аванпостах, поверил словам парламентера Мюрата и отступил, открыв отряд Багратиона. Другой парламентер поехал в русскую цепь объявить то же известие о мирных переговорах и предложить перемирие русским войскам на три дня. Багратион отвечал, что он не может принимать или не принимать перемирия и с донесением о сделанном ему предложении послал к Кутузову своего адъютанта.

Перемирие для Кутузова было единственным средством выиграть время, дать отдохнуть измученному отряду Багратиона и пройти обозам и тяжестям, движение которых было скрыто от французов, хотя один лишний переход до Цнайма. Предложение перемирия давало единственную и неожиданную возможность спасти армию. Получив это известие, Кутузов немедленно послал состоявшего при нем генерал-адъютанта Винценгероде в неприятельский лагерь. Винценгероде должен был не только принять перемирие, но и предложить условия капитуляции, а между тем Кутузов послал своих адъютантов назад торопить сколь возможно движение обозов всей армии по кремско-цнаймской дороге. Измученный, голодный отряд Багратиона один должен был, прикрывая собой движение обозов и всей армии, неподвижно оставаться перед неприятелем, в восемь раз сильнейшим.

Ожидания Кутузова сбылись как относительно того, что предложения капитуляции, ни к чему не обязывающие, могли дать время пройти некоторой части обозов, так и относительно того, что ошибка Мюрата должна была открыться очень скоро. Как только Бонапарте, находившийся в Шенбрунне, в 25 верстах от Голлабруна, получил донесение Мюрата и проект перемирия и капитуляции, он увидел обман и написал следующее письмо Мюрату.

«Au prince Murat. Schoenbrunn, 25 brumaire au 1805
à huit heures du matin.

Il m'est impossible de trouver des termes pour vous exprimer mon mécontentement. Vous ne commandez que mon avant-garde et vous n'avez pas le droit de faire d'armistice sans mon ordre. Vous me faites perdre le fruit d'une campagne. Rompez l'armestice sur-le-champ et marchez à l'ennemi. Vous lui ferez déclarer que le général qui a signé cette capitulation, n'avait pas le droit de le faire, qu'il n'y a que l'Empereur de Russie qui ait ce droit.

Toutes les fois cependant que l'Empereur de Russie ratifierait la dite convention, je la ratifierai; mais ce n'est qu'une ruse. Marchez, détruisez l'armée russe... vous êtes en position de prendre son bagage et son artillerie.

L'aide-de-camp de l'Empereur de Russie est un... Les officiers ne sont rien quand ils n'ont pas de pouvoirs; celuici n'en avait point. Les Autrichiens se sont laissé jouer pour le passage du pont de Vienne, vous vous laissez jouer par un aide-de-camp de l'Empereur.

Napoléon».

Адъютант Бонапарте во всю прыть лошади скакал с этим грозным письмом к Мюрату. Сам Бонапарте, не доверяя своим генералам, со всею гвардией двигался к полю сражения, боясь упустить готовую жертву, а 4000-ный отряд Багратиона, весело раскладывая костры, сушился, обогревался, варил, в первый раз после трех дней, кашу, и никто из людей отряда не знал и не думал о том, что предстояло ему.

XVI

В четвертом часу вечера князь Андрей, настояв на своей просьбе у Кутузова, приехал в Грунт и явился к Багратиону. Адъютант Бонапарте еще не приехал в отряд Мюрата, и сражение еще не начиналось. В отряде Багратиона ничего не знали об общем ходе дел, говорили о мире, но не верили в его возможность. Говорили о сражении и тоже не верили и в близость сражения. Багратион, зная Болконского за любимого и доверенного адъютанта, принял его с особенным начальническим отличием и снисхождением, объяснил ему, что, вероятно, нынче или завтра будет сражение, и предоставил ему полную свободу находиться при нем во время сражения или в ариергарде наблюдать за порядком отступления, «что тоже было очень важно».

— Впрочем, нынче, вероятно, дела не будет,— сказал Багратион, как бы успокоивая князя Андрея.

«Ежели это один из обыкновенных штабных франтиков, посылаемых для получения крестика, то он и в ариергарде получит награду, а ежели хочет со мной быть, пускай... пригодится, коли храбрый офицер»,— подумал Багратион. Князь Андрей, ничего не ответив, попросил позволения князя объехать позицию и узнать расположение войск, с тем чтобы

---

[1] «Принцу Мюрату. Шенбрюнн, 25 брюмера 1805 г. в восемь часов утра.

Я не могу найти слов, чтобы выразить вам мое неудовольствие. Вы командуете только моим авангардом и не имеете права делать перемирие без моего приказания. Вы заставляете меня потерять плоды целой кампании. Немедленно разорвите перемирие и идите против неприятеля. Вы объявите ему, что генерал, подписавший эту капитуляцию, не имел на это права, и никто не имеет, исключая лишь российского императора.

Впрочем, если российский император согласится на упомянутое условие, я тоже соглашусь; но это не что иное, как хитрость. Идите, уничтожьте русскую армию. Вы можете взять ее обозы и ее артиллерию.

Генерал — адъютант российского императора... Офицеры ничего не значат, когда не имеют официальных полномочий; он также их не имеет. Австрийцы дали себя обмануть при переходе Венского моста, а вы, вы даете себя обмануть этому генералу — адъютанту императора.

Наполеон»

в случае поручения знать, куда ехать. Дежурный офицер отряда, мужчина красивый, щеголевато одетый и с алмазным перстнем на указательном пальце, дурно, но охотно говоривший по-французски, вызвался проводить князя Андрея.

Дежурный штаб-офицер занимал один из разоренных домов деревни Грунт, и князь Андрей зашел к нему, в то время как им седлали лошадей. За разломанною перегородкой топилась печь, и перед печью морщились и светлели сушившиеся мокрые сапоги и дымилась насквозь промокшая шинель. В горнице на полу спали три офицера, атмосфера была тяжелая.

— Присядьте, князь, хоть тут,— сказал штаб-офицер по-французски.— Сейчас мне лошадь подадут. Это наши господа, князь. Ведь две ночи под дождем, негде и посушиться было.

Жалкий и грустный вид представляли эти офицеры. Такой же печальный и беспорядочный вид представляла вся деревня, когда они, сев на лошадей, проезжали ее. Со всех сторон виднелись мокрые, с грустными лицами офицеры, чего-то как будто искавшие, и солдаты, тащившие из деревни двери, лавки и заборы.

— Вот не можем, князь, избавиться от этого народа,— сказал штаб-офицер, указывая на этих людей.— Распускают командиры. А вот здесь,— он указал на раскинутую палатку маркитанта,— собьются и сидят. Нынче утром всех выгнал, посмотрите, опять полна. Надо подъехать, князь, пугнуть их. Одна минута.

— Заедемте, и я возьму у него сыру и булку,— сказал князь Андрей, который не успел еще поесть.

— Что ж вы не сказали, князь?

Они сошли с лошадей и вошли в палатку маркитанта. Несколько человек офицеров с раскрасневшимися и истомленными лицами сидели за столами, пили и ели.

— Ну что ж это, господа,— сказал штаб-офицер тоном упрека, как человек, уже несколько раз повторявший одно и то же.— Ведь нельзя же отлучаться так. Князь приказал, чтобы никого не было. Ну, вот вы, г. штабс-капитан,— обратился он к маленькому, грязному, худому артиллерийскому офицеру, который без сапог (он отдал их сушить маркитанту) в одних чулках встал перед вошедшими, улыбаясь не совсем естественно.

— Ну, как вам, капитан Тушин, не стыдно? — продолжал штаб-офицер,— вам бы, кажется, как артиллеристу, надо пример показывать, а вы без сапог. Забьют тревогу, а вы без сапог очень хороши будете. (Штаб-офицер улыбнулся.) Извольте отправляться к своим местам, господа, все, все,— прибавил он начальнически.

Князь Андрей невольно улыбнулся, взглянув тоже на штабс-капитана Тушина. Молча и улыбаясь, Тушин переступал с босой ноги на ногу, вопросительно глядел большими умными и добрыми глазами то на князя Андрея, то на штаб-офицера.

— Солдаты говорят: разумши ловчее,— сказал капитан Тушин, улыбаясь и робея, видимо, желая из своего неловкого положения перейти в шутливый тон; но еще он не договорил, как почувствовал, что шутка его не принята и не вышла. Он смутился.

— Извольте отправляться,— сказал штаб-офицер, стараясь удержать серьезность.

Князь Андрей еще раз взглянул на фигурку артиллериста. В ней было что-то особенное, совершенно не военное, несколько комическое, но чрезвычайно привлекательное.

Штаб-офицер и князь Андрей сели на лошадей и поехали дальше.

Выехав за деревню, беспрестанно обгоняя и встречая идущих солдат, офицеров разных команд, они увидали налево краснеющие свежею глиной вновь вскопанные, строящиеся укрепления. Несколько баталионов

солдат в одних рубахах, несмотря на холодный ветер, как белые муравьи, копошились на этих укреплениях; из-за вала не видимо кем беспрестанно выкидывались лопаты красной глины. Они подъехали к укреплению, осмотрели его и поехали дальше. За самым укреплением наткнулись они на несколько десятков солдат, беспрестанно переменяющихся, сбегающих с укрепления. Они должны были зажать нос и тронуть лошадей рысью, чтобы выехать из этой отравленной атмосферы.

— Voilà l'agrément des camps, monsieur le prince[1],— сказал дежурный штаб-офицер.

Они выехали на противоположную гору. С этой горы уже видны были французы. Князь Андрей остановился и начал рассматривать.

— Нет, после посмотрим, князь,— сказал штаб-офицер, для которого зрелище это уж было обыкновенно. Он указал на самый высокий пункт горы.— Вот тут наша батарея стоит,— сказал он,— того самого чудака, что без сапог сидел; оттуда все видно; после заедем.

— Впрочем, я теперь один проеду,— сказал князь Андрей, желая избавиться от ломанного французского языка штаб-офицера,— не беспокойтесь, пожалуйста.

Но штаб-офицер сказал, что ему нужно проехать к драгунам, и они вместе поехали направо.

Чем далее подвигались они вперед, ближе к неприятелю, тем порядочнее и веселее становился вид войск. Самый сильный беспорядок и уныние были в том обозе перед Цнаймом, который объезжал утром князь Андрей и который был в десяти верстах от французов. В Грунте тоже чувствовалась некоторая тревога и страх чего-то. Но чем ближе подъезжал князь Андрей к цепи французов, тем самоувереннее становился вид наших войск. Выстроенные в ряд, стояли в шинелях солдаты, и фельдфебель и ротный рассчитывали людей, тыкая пальцем в грудь крайнему по отделению солдату и приказывая ему поднимать руку; рассыпанные по всему пространству солдаты тащили дрова и хворост и строили балаганчики, весело смеясь и переговариваясь; у костров сидели одетые и голые, суша рубахи, подвертки или починивая сапоги и шинели; толпились около котлов и кашеваров. В одной роте обед был готов, и солдаты с жадными лицами смотрели на дымившиеся котлы и ждали пробы, которую в деревянной чашке подносил каптенармус офицеру, сидевшему на бревне против своего балагана.

В другой, более счастливой роте, так как не у всех была водка, солдаты, толпясь, стояли около рябого широкоплечего фельдфебеля, который, нагибая боченок, лил в подставляемые поочередно крышки манерок. Солдаты с набожными лицами подносили ко рту манерки, опрокидывали их и, полоща рот и утираясь рукавами шинели, с повеселевшими лицами отходили от фельдфебеля. Все лица были такие спокойные, как будто всё происходило не в виду неприятеля, перед делом, где должна была остаться на месте по крайней мере половина отряда, а как будто где-нибудь на родине в ожидании спокойной стоянки. Проехав егерский полк, в рядах киевских гренадеров, молодцоватых людей, занятых теми же мирными делами, князь Андрей и штаб-офицер недалеко от высокого, отличавшегося от других балагана полкового командира, наехали на фронт взвода гренадер, перед которыми лежал обнаженный человек. Двое солдат держали его, а двое взмахивали гибкие прутья и мерно ударяли по обнаженной спине. Наказываемый неестественно кричал, толстый майор ходил перед фронтом и, не переставая и не обращая внимания на крик, говорил:

— Солдату позорно красть, солдат должен быть честен, благороден и храбр, а коли у своего брата украл, так в нем чести нет, это мерзавец. Еще, еще!

---

[1] Вот удовольствие лагеря, князь.

И всё слышались гибкие удары и отчаянный, но притворный крик.

— Еще, еще,— приговаривал майор.

Молодой офицер с выражением недоумения и страдания в лице отошел от наказываемого, оглядываясь вопросительно на проезжавших адъютантов. Но адъютанты ничего не сказали, отвернулись и поехали дальше.

Неестественно отчаянный, притворный крик наказываемого нескладно сливался с звуками плясовой песни, которую пели в соседней роте. Солдаты стояли кружком, и в середине их плясал молодой рекрут, выделывая ногами и ртом уродливо быстрые и усиленные движения.

—Пройдись, ну, Макатюк! Ну же! — говорили старому солдату с медалью и крестом, пихая его в круг.

— Да я так не могу как он.

— Да ну!

Солдат вошел в круг в шинели внакидку с мотавшимися на ней орденами, держа руки в карманах, и прошелся по кругу шагом, чуть встряхивая плечами и щуря глаз. Он оглянулся и попал глазами на проезжавших адъютантов. Ему видно было все равно, на кого бы он ни смотрел, хотя выражение взгляда его, казалось, имело в виду какого-то одного приятеля, с кем он этим взглядом вспоминал штуку. Он остановился посередине и вдруг повернулся, вспрыгнул на корточки, сделал два раза ногами, поднялся, перевернулся и, не останавливаясь и отталкивая останавливающих, вышел вон из круга.

— Ну вас совсем! Пущай молодые ребята пляшут. Пойти ружье почистить,— сказал он.

Всё, что он видел, врезывалось в память князя Андрея.

У драгун штаб-офицер зашел к полковому командиру, и князь Андрей один поехал по фронту. Цепь наша и неприятельская стояли на левом и правом фланге далеко друг от друга, но в середине, в том месте, где утром проезжали парламентеры, цепи сошлись так близко, что могли видеть лица друг друга и переговариваться между собою. Кроме солдат, занимавших цепь в этом месте, с той и с другой стороны стояло много любопытных, которые, посмеиваясь, разглядывали странных и чуждых для них неприятелей.

С раннего утра, несмотря на запрещение подходить к цепи, начальники не могли отбиться от любопытных. Солдаты, стоявшие в цепи, как люди, показывающие что-нибудь редкое, уж не смотрели на французов, а делали свои наблюдения над приходящими и, скучая, дожидались смены. Князь Андрей остановился рассматривать французов.

— Глянь-ка, глянь,— говорил один солдат товарищу, указывая на русского мушкетера-солдата, который с офицером подошел к цепи и что-то часто и горячо говорил с французским гренадером.— Вишь, лопочет как ловко! Аж хранцуз-то за ним не поспевает. Ну-ка, ты, Сидоров!..

— Погоди, послухай. Ишь, ловко! — отвечал Сидоров, считавшийся мастером говорить по-французски.

Солдат, на кого указывали смеявшиеся, был Долохов. Князь Андрей узнал его и прислушался к его разговору. Долохов вместе с своим ротным пришел в цепь с левого фланга, на котором стоял их полк.

— Ну, еще, еще! — с наивно радостным и степенным лицом подстрекал Брыков, нагибаясь вперед и стараясь не проронить ни одного непонятного для него слова.— Пожалуйста, почаще. Что он?

Долохов не отвечал ротному, он был вовлечен в горячий спор с французским гренадером. Они говорили, как и должно было быть, о кампании. Француз доказывал, смешивая австрийцев с русскими, что русские сдались и бежали от самого Ульма; Долохов как и всегда говорил с излишним и несколько напыщенным жаром. Он доказывал, что русские не сдались, а отступали. А где захотели стоять, там разбили французов, как под Кремсом.— Здесь велят прогнать вас, и прогоним,— говорил Долохов.

— Только старайтесь, чтобы вас не забрали со всеми вашими казаками,— сказал гренадер-француз.

Зрители и слушатели французы засмеялись.

— Вас заставят плясать, как при Суворове вы плясали (on vous fera danser[2]).

— Qu'est-ce qu'il chante[3],— сказал один француз.

— De l'histoire ancienne[4],— сказал другой, догадавшись, что дело шло о прежних войнах.— L'Empereur va lui faire voir à votre Souvara, comme aux autres[5].

— Бонапарте...— начал было Долохов, но француз перебил его.

— Нет Бонапарте, есть император! sacré nom...[6],— сердито крикнул он.

— Чёрт его дери!

И Долохов по-русски, грубо, по-солдатски, обругался и, вскинув ружье, отошел прочь.— Пойдемте, Иван Лукич,— сказал он ротному.

— Вот так по-хранцузски,— заговорили солдаты в цепи.— Ну-ка ты, Сидоров!

Сидоров подмигнул и, обращаясь к французам, начал часто, часто лопотать непонятные слова:— Кари, мала, мусю, поскавили, мутер, каска, мущить,— лопотал он, стараясь придавать выразительные интонации своему говору.

— Го, го, го! ха, ха, ха, ха! Ух! Ух! — раздался между солдатами грохот такого здорового и веселого хохота, невольно через цепь сообщившегося и французам, что после этого, казалось, нужно было поскорее разрядить ружья, взорвать заряды и разойтись поскорее всем по домам. Но ружья остались заряжены, бойницы в домах и укреплениях так же грозно смотрели вперед, и так же, как прежде, остались друг против друга обращенные, снятые с передков пушки.

XVII

«Eh bien[1],— сказал сам себе князь Андрей,— le православное воинство n'est pas déjà tellement mauvais. Il n'a pas trop mauvaise mine... Mais du out, du tout[2].

Объехав всю линию войск от правого до левого фланга, он поднялся на ту батарею, с которой, по словам штаб-офицера, сопровождавшего его, все поле было видно. Здесь он слез с лошади и остановился у крайнего из четырех снятых с передков орудий. Впереди орудий ходил часовой артиллерист, вытянувшийся было перед офицером, но по сделанному ему знаку возобновивший свое равномерное, скучливое хождение. Сзади орудий стояли передки, еще сзади коновязь и костры артиллеристов. Налево, недалеко от крайнего орудия, был новый плетеный шалашик, из которого слышались оживленные офицерские голоса.

Действительно, с батареи открывался вид почти всего расположения русских войск и большей части неприятеля. Прямо против батареи, на горизонте противоположного бугра, виднелась деревня Шенграбен; левее и правее можно было различить в трех местах, среди дыма их костров, массы французских войск, которых, очевидно, большая часть находилась в самой деревне и за горою. Левее деревни, в дыму, казалось что-то похожее на батарею, но простым глазом нельзя было рассмотреть хорошенько. Правый фланг наш располагался на довольно крутом возвыше-

---

[2] вас заставят плясать
[3] Что он там поет?
[4] Древняя история.
[5] Император покажет этому вашему Сувара да и другим.
[6] чёрт возьми...

[1] Ну что же
[2] не так уж плохо. Оно выглядит совсем недурно... Вовсе нет, вовсе нет.

нии, которое господствовало над позицией французов. По нем расположена была наша пехота, и на самом краю видны были драгуны. В центре, где и находилась та батарея Тушина, с которой рассматривал позицию князь Андрей, был самый отлогий и прямой спуск и подъем к ручью, отделявшему нас от Шенграбена. Налево войска наши примыкали к лесу, где дымились костры нашей рубившей дрова пехоты. Линия французов была шире нашей, и ясно было, что французы могли обойти нас с обеих сторон и атаковать; в центре, сзади нашей позиции, был крутой и глубокий овраг, по которому трудно было отступать артиллерии и коннице. Князь Андрей, облокотясь на пушку и достав бумажник, начертил для себя план расположения войск. В двух местах он карандашом поставил заметки, намереваясь при случае сообщить самому князю Багратиону или хоть свитскому офицеру, находившемуся при нем, свои сомнения в правильности расположения войск. Он предполагал, во-первых, сосредоточить всю артиллерию в центре и, во-вторых, кавалерию перевести назад на ту сторону оврага. Князь Андрей, постоянно находясь при главнокомандующем, следя за движениями масс и общими распоряжениями и постоянно занимаясь историческими описаниями сражений, и в этом предстоящем деле невольно соображал будущий ход военных действий только в общих чертах. Ему представлялись лишь следующего рода крупные случайности: «Ежели неприятель поведет атаку на правый фланг,— говорил он сам себе,— Киевский гренадерский и Подольский егерский должны будут удерживать свою позицию до тех пор, пока резервы центра не подойдут к ним. В этом случае драгуны могут ударить во фланг и опрокинуть. В случае же атаки на центр мы выставляем на этом возвышении центральную батарею и под ее прикрытием стягиваем левый фланг и отступаем до оврага эшелонами...» Всё время, что он был на батарее у орудия, он, как это часто бывает, не переставая слышал звуки голосов офицеров, говоривших в балагане; но не понимал ни одного слова из того, чтó они говорили. Вспоминая маршала Лаудона, Суворова, Фридриха, Бонапарта и их сражения и рассматривая известные ему и перед ним расположенные части войск как мертвые орудия, он предполагал в своем воображении различные сочетания и случайности, французскими словами закрепляя свои мысли. Вдруг звук голосов из балагана поразил его таким задушевным и простым тоном, что он невольно стал понимать смысл их разговора и стал прислушиваться. Офицеры, видимо, находились в самой задушевной беседе и философствовали.

— Нет, голубчик,— говорил приятный и как будто знакомый князю Андрею голос,— я говорю, что коли бы возможно было знать, что будет после смерти, тогда бы и смерти из нас никто не боялся. Так-то, голубчик.

Другой более молодой голос перебил его:

— Да бойся, не бойся, всё равно не минуешь.

— А всё боишься! Эх вы, ученые люди,— сказал третий, мужественный, голос, перебивая обоих.— То-то вы артиллеристы и учены очень, оттого что всё с собой свезти можно, и водочки, и закусочки.

И владелец мужественного голоса, видимо, пехотный офицер, засмеялся. Артиллеристы продолжали спорить.

— А все боишься,— продолжал первый.— Боишься неизвестности, вот чего. Как там ни говори, что душа на небо пойдет... ведь это мы знаем, что неба нет, а есть атмосфера одна.

Опять мужественный голос перебил артиллериста.

— Ну, угостите же травником вашим, Тушин,— сказал он.

«А, это тот самый капитан, который без сапог стоял у маркитанта»,— подумал князь Андрей, с удовольствием признавая приятный философствовавший голос.

— Ей, ты! — крикнул пехотный офицер.— Алешка! Тащи, брат, сюда из зарядного ящика закуски.

— Давай, давай,— подтвердил голос артиллериста,— да трубочку мне за это.

Либо совестно было одному, что попросил водки и закуски, либо другому стало страшно, чтобы не подумали, что он жалеет,— они помолчали.

— Вишь ты, и книжечки с собой возят,— сказал смеющийся мужественный голос.

— О черкешенках пишет какой-то.

Он стал читать, едва удерживаясь от смеха, которого он, видимо, сам стыдился, но не мог удержать.

«Черкешенки славятся красотой и заслуживают свою славу от удивительной белизны...»

В это время в воздухе послышался свист; ближе, ближе, быстрее и слышнее, слышнее и быстрее, и ядро, как будто не договорив всего, что нужно было, с нечеловеческой силой взрывая брызги, шлепнулось в землю недалеко от балагана. Земля как будто ахнула от страшного удара. В то же мгновение из балагана выскочил прежде всех маленький Тушин с закушенною на бок трубочкой; доброе, умное лицо его было несколько бледно. За ним вышел владетель мужественного голоса, пехотный офицер, и побежал к своей роте, на бегу застегиваясь.

XVIII

Князь Андрей верхом остановился на батарее, глядя на французские войска. Глаза его разбегались по обширному пространству. Он видел только, что прежде неподвижные массы французов заколыхались и что налево действительно была батарея. На ней еще не разошелся дымок. Французские два конные, вероятно, адъютанта проскакали по горе. Под гору, вероятно, для усиления цепи, двигалась явственно видневшаяся небольшая колонна неприятеля. Еще дым первого выстрела не рассеялся, как показался другой дымок и выстрел. Сраженье началось. Князь Андрей повернул лошадь и поскакал назад в Грунт отыскивать князя Багратиона. Сзади себя он слышал, как канонада становилась чаще и громче. Видно наши начинали отвечать. Внизу, в том месте, где проезжали парламентеры, послышались ружейные выстрелы.

Лемарруа (Lémarrois) с грозным письмом Бонапарта только что прискакал к Мюрату, и пристыженный Мюрат, желая загладить свою ошибку, тотчас же двинул свои войска на центр и в обход обоих флангов, надеясь еще до вечера и до прибытия императора раздавить ничтожный стоявший перед ним отряд.

«Началось! Вот оно!» — думал князь Андрей, чувствуя, как кровь чаще начинала приливать к его сердцу. Проезжая между тех же рот, которые ели кашу и пили водку четверть часа тому назад, он везде видел одни и те же быстрые движения строившихся и разбиравших ружья солдат, и на всех лицах узнавал он то чувство оживления, которое было в его сердце. «Началось. Вот оно! Страшно и весело!» — говорило лицо каждого солдата и офицера, которые встречались ему.

Не доехав еще до строившегося укрепления, он увидел в вечернем свете пасмурного осеннего дня подвигавшихся ему навстречу верховых. Передовой, в генеральском сюртуке, бурке и картузе со смушками, ехал на белой лошади. Это был князь Багратион со свитой. Князь Андрей остановился, ожидая его. Князь Багратион приостановил свою лошадь и, узнав князя Андрея, кивнул ему головой. Он продолжал смотреть вперед, в то время как князь Андрей говорил ему то, что он видел.

Выражение: «началось! вот оно!» было даже и на крепком, карем лице князя Багратиона, с полузакрытыми, мутными, как будто не выспавшимися глазами. Князь Андрей с беспокойным любопытством вгляды-

вался в это неподвижное лицо, и ему хотелось знать: думает ли и чувствует, и что думает, что чувствует этот человек в эту минуту. «Есть ли вообще что-нибудь там за этим неподвижным лицом?» — спрашивал себя князь Андрей, глядя на него. Князь Багратион наклонил голову в знак согласия на слова князя Андрея, и сказал: «Хорошо» с таким выражением, как будто всё то, что происходило и что ему сообщали, было именно то, что он уже предвидел. Князь Андрей, запыхавшись от быстрой езды, говорил быстро. Князь Багратион произносил слова с своим восточным акцентом особенно медленно, как бы внушая, что торопиться некуда. Он тронул, однако, рысью свою лошадь по направлению к батарее Тушина. Князь Андрей вместе с свитой поехал за ним. За князем Багратионом ехал свитский офицер, личный адъютант князя, Жерков, ординарец, дежурный штаб-офицер на англизированной красивой лошади, статский чиновник, аудитор, который из любопытства попросился ехать в сражение, и еще нижние чины, казаки и гусары. Аудитор, полный мужчина, с полным лицом, с наивною улыбкой радости, оглядывался вокруг, трясясь на своей лошади, представляя странный вид в своей камлотовой шинели на фурштатском седле среди гусар, казаков и адъютантов.

— Вот, князь, хочет сраженье посмотреть,— сказал Жерков Болконскому, указывая на аудитора,— да под ложечкой уж заболело.

— Ну, полно вам,— проговорил аудитор с сияющею наивною и вместе хитрою улыбкой, как будто ему лестно было, что он составлял предмет шуток Жеркова, и как будто нарочно старался казаться глупее, чем он был на самом деле.

— Très drôle, mon monsieur prince[1],— сказал дежурный штаб-офицер. (Он помнил, что по-французски как-то особенно говорится титул *князь* и никак не мог наладить).

В это время они все уже подъезжали к батарее Тушина и впереди их ударилось ядро.

— Что ж это упало? — наивно улыбаясь, спросил аудитор.

— Лепешки французские,— сказал Жерков.

— Этим-то бьют, значит? — спросил аудитор.— Страсть-то какая!

И он, казалось, распускался весь от удовольствия.

Едва он договорил, как опять раздался неожиданно страшный свист, вдруг прекратившийся ударом во что-то жидкое, и ш-ш-ш-шлеп — казак, ехавший несколько правее и сзади аудитора, с лошадью рухнулся на землю. Жерков и дежурный штаб-офицер пригнулись к седлам и прочь поворотили лошадей. Аудитор остановился против казака, со внимательным любопытством рассматривая его. Казак был мертв, лошадь еще билась.

— Что ж? поднять бы надо,— сказал он с улыбкой.

Князь Багратион, прищурившись, оглянулся и, увидав причину происшедшего замешательства, равнодушно отвернулся, как будто говоря: стоит ли глупостями заниматься. Он остановил лошадь с приемом хорошего ездока, несколько перегнулся и выправил зацепившуюся за бурку шпагу. Шпага была старинная, не такая, какие носились теперь. Князь Андрей вспомнил рассказ о том, как Суворов в Италии подарил свою шпагу Багратиону, и ему в эту минуту особенно приятно было это воспоминание. Они подъехали к той самой батарее, у которой стоял Болконский, рассматривая поле сражения.

— Чья рота? — спросил князь Багратион у фейерверкера, стоявшего у ящиков.

Он спрашивал: чья рота? а в сущности он спрашивал: уж не робеете вы тут? И фейерверкер понял это.

— Капитана Тушина, ваше превосходительство,— вытягиваясь, закричал страшным и веселым голосом рыжий с покрытым веснушками лицом фейерверкер.

---

[1] Очень забавно, мой господин князь.

— Так, так,— проговорил Багратион, что-то соображая, и мимо передков подъехал к крайнему орудию. В то время как он подъезжал, из орудия этого, оглушая его и свиту, зазвенел выстрел, и в дыму, вдруг окружившем орудие, видны были артиллеристы, подхватившие пушку, и, торопливо напрягаясь, накатывавшие ее на прежнее место. Широкоплечий, огромный солдат № 1-й с банником, широко расставив ноги, отскочил к колесу. № 2-й трясущеюся рукой клал заряд в дуло. Небольшой, сутуловатый человечек, офицер Тушин, спотыкнувшись на хобот, выбежал вперед, не замечая генерала и выглядывая из-под маленькой ручки.

— Еще две линии прибавь, как раз так будет,— закричал он тоненьким голоском, которому он старался придать молодцеватость, не шедшую к его фигуре.— Второе! — пропищал он.— Круши, Медведев!

Багратион окликнул офицера, и Тушин робким и неловким движением, совсем не так, как салютуют военные, а так, как благословляют священники, приложив два пальца к козырьку, подошел к генералу. Хотя орудия Тушина были назначены для того, чтобы обстреливать лощину, он стрелял брандскугелями по видневшейся впереди деревне Шенграбен, перед которой выдвигались большие массы французов.

Никто не приказывал Тушину, куда и чем стрелять, и он, посоветовавшись с своим фельдфебелем Захарченком, к которому имел большое уважение, решил, что хорошо было бы зажечь деревню. «Хорошо!»,— сказал Багратион на доклад офицера и стал оглядывать всё открывавшееся перед ним поле сражения, как бы что-то соображая. С правой стороны ближе всего подошли французы. Пониже высоты, на которой стоял Киевский полк, в лощине речки, слышалась хватающая за душу перекатная трескотня ружей, и гораздо правее за драгунами свитский офицер указывал князю на обходившую наш фланг колонну французов. Налево горизонт ограничивался близким лесом. Князь Багратион приказал двум баталионам из центра идти на подкрепление направо. Свитский офицер осмелился заметить князю, что по уходе этих баталионов орудия останутся без прикрытия. Князь Багратион обернулся к свитскому офицеру и тусклыми глазами смотрел на него молча. Князю Андрею казалось, что замечание свитского офицера было справедливо и что действительно сказать было нечего. Но в это время прискакал адъютант от полкового командира, бывшего в лощине, с известием, что огромные массы французов шли низом, что полк расстроен и отступает к киевским гренадерам. Князь Багратион наклонил голову в знак согласия и одобрения. Шагом поехал он направо и послал адъютанта к драгунам с приказанием атаковать французов. Но посланный туда адъютант приехал через полчаса с известием, что драгунский полковой командир отступил за овраг, ибо против него был направлен сильный огонь, и он понапрасну терял людей и потому спешил стрелков в лес.

— Хорошо,— сказал Багратион. В то время как он отъезжал от батареи, налево тоже послышались выстрелы в лесу, и так как было слишком далеко до левого фланга, чтоб успеть самому приехать вовремя, князь Багратион послал туда Жеркова сказать старшему генералу, тому самому, который представлял полк Кутузову в Браунау, чтоб он отступил сколь можно поспешнее за овраг, потому что правый фланг, вероятно, не в силах будет долго удерживать неприятеля. Про Тушина же и баталион, прикрывавший его, было забыто. Князь Андрей тщательно прислушивался к разговорам князя Багратиона с начальниками и к отдаваемым им приказаниям, и к удивлению замечал, что приказаний никаких отдаваемо не было, а что князь Багратион только старался делать вид, что всё, что по необходимости, случайности и воле частных начальников, что всё это делалось, хоть не по его приказанию, но согласно с его намерениями. Благодаря такту, который выказывал князь Багратион, князь Андрей замечал, что, несмотря на эту случайность событий и независимость их от воли начальника, присутствие его сделало чрезвычайно много. Началь-

ники, с расстроенными лицами подъезжавшие к князю Багратиону, становились спокойны, солдаты и офицеры весело приветствовали его и становились оживленнее в его присутствии и видимо щеголяли перед ним своею храбростию.

XIX

Князь Багратион, выехав на самый высокий пункт нашего правого фланга, стал спускаться книзу, где слышалась перекатная стрельба и ничего не видно было от порохового дыма. Чем ближе они спускались к лощине, тем менее им становилось видно, но тем чувствительнее становилась близость самого настоящего поля сражения. Им стали встречаться раненые. Одного, с окровавленною головой, без шапки, тащили двое солдат под руки. Он хрипел и плевал. Пуля попала, видно, в рот или в горло. Другой, встретившийся им, бодро шел один, без ружья, громко охая и махая от свежей боли рукою, из которой кровь лилась, как из стклянки, на его шинель. Лицо его казалось больше испуганным, чем страдающим. Он минуту тому назад был ранен. Переехав дорогу, они стали круто спускаться и на спуске увидали несколько человек, которые лежали; им встретилась толпа раненых, в числе которых были и нераненые. Солдаты шли в гору, тяжело дыша и, несмотря на вид генерала, громко разговаривали и махали руками. Впереди, в дыму, уже были видны ряды серых шинелей, и офицер, увидав Багратиона, с криком побежал за солдатами, шедшими толпой, требуя, чтоб они воротились. Багратион подъехал к рядам, по которым то там, то здесь быстро щелкали выстрелы, заглушая говор и командные крики. Весь воздух пропитан был пороховым дымом. Лица солдат все были закопчены порохом и оживлены. Иные забивали шомполами, другие подсыпали на полки, доставали заряды из сумок, третьи стреляли под самым ухом. Но в кого они стреляли, этого не было видно от порохового дыма, не уносимого ветром. И слышались довольно часто приятные звуки журжания и свистения. «Что это такое? — думал князь Андрей, подъезжая к этой толпе солдат. «Это не может быть цепь, потому что они в кучке! Не может быть атака, потому что они не двигаются, не может быть каре, они не так стоят».

Худощавый, слабый на вид старичок, полковой командир, с приятною улыбкой, с веками, которые больше чем наполовину закрывали его старческие глаза, придавая ему кроткий вид, подъехал к князю Багратиону и принял его, как хозяин дорогого гостя. Он доложил князю Багратиону, что против его полка была конная атака французов. Но что, хотя атака эта отбита, полк потерял больше половины людей. Полковой командир сказал, что атака была отбита, придумав это военное название тому, что происходило в его полку, но он действительно сам не знал, что происходило в эти полчаса во вверенных ему войсках, и не мог с достоверностью сказать, была ли отбита атака или полк его был разбит атакой. В начале действий он знал только то, что по всему его полку стали летать ядра и гранаты и бить людей, что потом кто-то закричал: «конница», и наши стали стрелять. И стреляли до сих пор уже не в конницу, которая скрылась, а в пеших французов, которые показались в лощине и стреляли по нашим. Князь Багратион наклонил голову в знак того, что все это было совершенно так, как он желал и предполагал. Обратившись к адъютанту, он приказал ему привести с горы два баталиона 6-го егерского, мимо которых они сейчас проехали. Князя Андрея поразила в эту минуту перемена, происшедшая в лице князя Багратиона. А лицо его выражало ту сосредоточенную и счастливую решимость, которая бывает у человека, готового в жаркий день броситься в воду и берущего последний разбег. Не было ни невыспавшихся тусклых глаз, ни притворно глубокомысленного вида: круглые, твердые, ястребиные глаза восторженно и несколько презрительно смотрели вперед, очевидно, ни на чем не оста-

навливаясь, хотя в его движениях оставалась прежняя медленность и размеренность.

Полковой командир обратился к князю Багратиону, упрашивая его отъехать назад, так как здесь было слишком опасно.— Помилуйте, ваше сиятельство, ради бога,— говорил он, за подтверждением взглядывая на свитского офицера, который отвертывался от него. Вот изволите видеть.

Он давал заметить пули, которые беспрестанно визжали, пели и свистели около них. Он говорил таким тоном просьбы и упрека, с каким плотник говорит взявшемуся за топор барину: «наше дело привычное, а вы ручки намозолите». Он говорил так, как будто его самого не могли убить эти пули. И его полузакрытые глаза придавали его словам еще более убедительное выражение. Штаб-офицер присоединился к увещаниям полкового командира, но князь Багратион не отвечал им и только приказал перестать стрелять и построиться так, чтобы дать место подходившим двум баталионам. В то время как он говорил, будто невидимою рукой потянулся справа налево от поднявшегося ветра полог дыма, скрывавший лощину, и противоположная гора с двигающимися по ней французами открылась перед ними. Все глаза были невольно устремлены на эту французскую колонну, подвигавшуюся к нам и извивавшуюся по уступам местности. Уже видны были мохнатые шапки солдат, уже можно было отличить офицеров от рядовых, видно было, как трепалось знамя.

— Славно идут,— сказал кто-то в свите Багратиона.

Голова колонны спустилась уже в лощину. Столкновение должно было произойти на этой стороне спуска...

Остатки нашего полка, бывшего в деле, поспешно строясь, отходили вправо; из-за них, разгоняя отставших, подходили стройно два баталиона 6-го егерского. Они еще не поровнялись с Багратионом, а уже слышен был тяжелый, грузный шаг, отбиваемый в ногу всею этою массой людей. С левого фланга шел ближе всех к Багратиону ротный командир, круглолицый статный мужчина, с глупым, счастливым выражением лица. Он, видимо, ни о чем не думал в эту минуту, кроме того, что он молодцом пройдет мимо начальства. С фрунтовым самодовольством он шел легко на мускулистых ногах, точно плыл, без малейшего усилия вытягиваясь и отличаясь этою легкостью от тяжелого шага солдат, шедших по его шагу. Он нес у ноги вынутую тоненькую узенькую шпагу (гнутую шпажку, не похожую на оружие) и, оглядываясь то на начальство, то назад, не теряя шагу, гибко поворачивался всем своим сильным станом. Казалось, все силы души его были направлены на то, чтобы наилучшим образом пройти мимо начальства, и, чувствуя, что он исполняет это дело хорошо, он был счастлив. «Левой... левой... левой», казалось, внутренно приговаривал он через каждый шаг, и по этому такту с разнообразно строгими лицами двигалась стена солдатских фигур, отягченных ранцами и ружьями, как будто каждый из этих сотен солдат мысленно через шаг приговаривал: «левой... левой... левой...» Толстый майор, пыхтя и разразнивая шаг, обходил куст по дороге; отставший солдат, запыхавшись, с испуганным лицом за свою неисправность рысью догонял роту; ядро, нажимая воздух, пролетело над головой князя Багратиона и свиты и ударилось в колонну.— Сомкнись! — послышался щеголяющий голос ротного командира. Солдаты дугой обходили что-то в том месте, куда упало ядро, и старый кавалер, фланговый унтер-офицер, отстав около убитых, догнал свой ряд, подпрыгнув, переменил ногу, попал в шаг и сердито оглянулся. «Левой... левой... левой...» — казалось, слышалось из-за угрожающего молчания и однообразного звука единовременно ударяющих о землю ног.

— Молодцами, ребята! — сказал Багратион.

— Ради... ого-го-го-го-го-го!..— раздалось по рядам. Угрюмый солдат, шедший слева, крича, оглянулся глазами на Багратиона с таким выражением, как будто говорил: «сами знаем»; другой, не оглядываясь и как

будто боясь развлечься, разинув рот, кричал и проходил. Велено было остановиться и снять ранцы.

Багратион объехал прошедшие мимо его ряды и слез с лошади. Он отдал казаку поводья, затем снял и отдал бурку, расправил ноги и поправил на голове картуз. Голова французской колонны с офицерами впереди показалась из-под горы. Но никто не видал их, все смотрели только на этого невысокого человека, в прямо надетом бараньем картузе, с просто опущенными руками и блестящими теперь глазами.

— С богом! — проговорил он твердым слышным голосом, на мгновение обернулся к фронту и, слегка размахивая руками, неловким шагом кавалериста, как бы трудясь, пошел вперед по неровному полю. Князь Андрей чувствовал, что какая-то непреодолимая сила влечет его вперед, и испытывал счастие, заставившее его забыть все в эту минуту...

Тут произошла та атака, про которую г. Тьер говорит: «Les Russes se conduisirent vaillament, et chose rare à la guerre, on vit deux masses d'infanterie marcher résolument l'une contre l'autre sans qu'aucune des deux céda avant d'être abordée» [1]; а Наполеон на острове Св. Елены сказал: «Quelques bataillons Russes montrérent de l'intrépedité» [2].

Уже близко становились французы, уже князь Андрей, шедший рядом с Багратионом, ясно различал перевязи, красные эполеты, даже лица французов. (Он ясно видел одного старого французского офицера, который вывернутыми ногами, в штиблетах, с трудом шел в гору.) Князь Багратион не давал нового приказания, и все так же молча шел перед рядами. Вдруг между французами треснул один выстрел, другой, третий... и по всем расстроившимся неприятельским рядам разнесся дым и затрещала пальба. Несколько человек наших упало, в том числе и круглолицый офицер, шедший так весело и старательно. Но в то же мгновение как раздался первый выстрел, Багратион оглянулся и закричал — Ура!

Ура-а-а-а! — протяжным криком разнеслось по нашей линии, и, обгоняя князя Багратиона и друг друга, нестройною, но веселою и оживленною толпой побежали наши под гору за расстроенными французами.

XX

Атака 6-го егерского обеспечила отступление правого фланга. В центре действие забытой батареи Тушина, успевшего зажечь Шенграбен, останавливало движение французов. Французы тушили пожар, разносимый ветром, и давали время отступать. Хотя отступление через овраг совершилось и поспешно, и шумно, однако войска отступали, не путаясь командами. Но левый фланг, который единовременно был атакован и обходим превосходными силами французов под начальством Ланна и который состоял из Азовского и Подольского пехотных и Павлоградского гусарского полков, был расстроен. Багратион послал Жеркова к генералу левого фланга с приказанием немедленно отступать.

Жерков бойко, не отнимая руки от фуражки, тронул лошадь и поскакал. При Багратионе он вел себя прекрасно, то есть совершенно храбро, но едва отъехав, как силы изменили ему. Он боялся, непреодолимо боялся быть убитым, и не мог ехать опять туда, где было опасно.

Подъехав к войскам левого фланга, он поехал вперед, где была стрельба и стал отыскивать генерала и начальников там, где их не могло и быть, и потому не передал приказания.

Командование левым флангом принадлежало по старшинству полковому командиру того самого полка, который представлялся под Браунау Кутузову и в котором служил солдатом Долохов. Командование же край-

---

[1] «Русские вели себя доблестно, и вещь — редкая на войне — две массы пехоты шли решительно одна против другой, и ни одна из двух не уступила до самого столкновения».

[2] «Несколько русских баталионов проявили бесстрашие».

него левого фланга было предназначено командиру Павлоградского полка, где служил Ростов, вследствие чего произошло недоразумение. Оба начальника были сильно раздражены друг против друга, и в то самое время, как на правом фланге давно уже шло дело и французы уже начали наступление, оба начальника были погружены в переговоры через адъютантов между собой, переговоры, которые имели целью оскорбить один другого. Полки же, как кавалерийский, так и пехотный, были весьма мало приготовлены к предстоящему делу. По странной случайности люди полков, от солдата до генерала, не ждали сраженья и спокойно занимались мирными делами: кормлением лошадей в коннице, собиранием дров в пехоте.

— Есть он, однако, старше моего в чином,— говорит немец, гусарский полковник, краснея и обращаясь к подъехавшему адъютанту,— то оставляяй его делать, как он хочет. Я своих гусар не могу жертвовать. Трубач! Играй отступление!

Но дело становилось кспеху. Кононада и стрельба, сливаясь, гремели справа и в центре, и французские капоты стрелков Ланна проходили уже плотину мельницы и выстраивались на этой стороне в двух ружейных выстрелах. Пехотный полковник вздрагивающею походкой подошел к лошади и, влезши на нее и сделавшись очень прямым и высоким, поехал к павлоградскому командиру. Полковые командиры съехались с учтивыми поклонами и со скрываемою злобой в сердце.

— Опять-таки, полковник,— говорил генерал,— не могу я, однако, оставить половину людей в лесу. Я вас *прошу*, я вас *прошу*,— повторил он,— занять *позицию* и приготовиться к атаке.

— А вас прошу не мешивайться не свое дело,— отвечал, горячась, полковник.— Коли бы вы был кавалерист...

— Я не кавалерист, полковник, но я русский генерал, и ежели вам это неизвестно...

—Очень известно, ваше превосходительство,— вдруг вскрикнул, трогая лошадь, полковник и делаясь красно-багровым.— Не угодно ли пожаловать в цепи, и вы будете посмотрейть, что этот позиция никуда негодный. Я не хочу истребляйть своя полка для ваше удовольствие.

— Вы забываетесь, полковник. Я не удовольствие свое соблюдаю и говорить себе этого не позволю.

Генерал, принимая приглашение полковника на турнир храбрости, выпрямив грудь и нахмурившись, поехал с ним вместе по направлению к цепи, как будто всё их разногласие должно было решиться там, в цепи, под пулями. Они поехали в цепь, несколько пуль пролетело над ними и они, молча, остановились. Смотреть в цепи нечего было, так как и с того места, на котором они прежде стояли, ясно было, что по кустам и оврагам кавалерии действовать невозможно и что французы обходят левое крыло. Генерал и полковник строго и значительно смотрели, как два петуха, готовящиеся к бою, друг на друга, напрасно выжидая признаков трусости. Оба выдержали экзамен. Так как говорить было нечего и ни тому, ни другому не хотелось подать повод другому сказать, что он первый выехал из-под пуль, они долго простояли бы там, взаимно испытывая храбрость, ежели бы в это время в лесу, почти сзади их, не послышались трескотня ружей и глухой сливающийся крик. Французы напали на солдат, находившихся в лесу с дровами. Гусарам уже нельзя было отступать вместе с пехотой. Они были отрезаны от пути отступления налево французской цепью. Теперь, как ни неудобна была местность, необходимо было атаковать, чтобы проложить себе дорогу.

Эскадрон, где служил Ростов, только что успевший сесть на лошадей, был остановлен лицом к неприятелю. Опять, как и на Энском мосту, между эскадроном и неприятелем никого не было, и между ними, разделяя их, лежала та же странная черта неизвестности и страха, как бы черта, отделяющая живых от мертвых. Все люди чувствовали эту черту,

и вопрос о том, перейдут ли или нет и как перейдут они эту черту, волновал их.

Ко фронту подъехал полковник, сердито ответил что-то на вопросы офицеров и, как человек, отчаянно настаивающий на своем, отдал какое-то приказание. Никто ничего определенного не говорил, но по эскадрону пронеслась молва об атаке. Раздалась команда построения, потом визгнули сабли, вынутые из ножен. Но все еще никто не двигался. Войска левого фланга, и пехота, и гусары чувствовали, что начальство само не знает, что делать. И нерешимость начальников сообщалась войскам. Все нетерпеливо взглядывали друг на друга и на начальство впереди.

— Что поводья-то распустил? — крикнул унтер-офицер на солдата недалеко от Ростова.

— Вон ротмистр скачет,— сказал другой солдат,— должнó дело будет.

«Поскорее, поскорее бы»,— думал Nicolas, поглядывая на висевший на шнурке его куртки Георгиевский крест, полученный третьего дня за зажжение Энского моста. Nicolas находился в этот день еще больше, чем когда-либо, в своем обычном счастливом расположении духа. Третьего дня был получен крест; с Богданычем он уже совершенно примирился и — верх счастия! — наконец-то наступило время изведать наслаждение атаки, про которое он так много слышал от товарищей гусар и с таким нетерпением ожидал изведать его. Про атаку Nicolas слышал как про что-то сверхъестественно увлекательное. Ему говорили, как в это каре врубаешься, так забываешь совсем себя, на гусарской сабле остаются благородные следы вражеской крови, и т. д.

— Добра не будет,— сказал старый солдат.

Nicolas с упреком посмотрел на него.

— Ну, с богом, г'ебята,— прозвучал голос Денисова,— г'ысью, маг'ш!

В переднем ряду заколыхались крупы лошадей. Грачик потянул поводья и сам тронулся.

«Врубиться в каре»,— подумал Nicolas, сжимая эфес сабли. Впереди он видел первый ряд своих гусар, а еще дальше впереди виднелась ему темная полоса, которую он не мог рассмотреть, но считал неприятелем. Ни одного выстрела не было, как перед ударом грома.

— Прибавь рыси! — послышалась команда, и Nicolas чувствовал, как поддает задом, перебивая в галоп, его Грачик. Он вперед угадывал его движения, и ему становилось все веселее и веселее. Он заметил одинокое дерево, мимо которого должен был проехать эскадрон. Это дерево сначала было впереди, на середине той черты, которая казалась столь страшною. А вот и перешли эту черту, и не только ничего страшного не было, но все веселее и оживленнее становилось. «Скорее бы, скорее! дать сабле поесть вражьего мяса»,— думал Nicolas. Он не видел ничего ни под ногами, ни впереди себя, кроме крупов лошадей и спин гусаров переднего ряда. Лошади начали скакать, невольно перегоняя одна другую. «Коли бы они там в Москве могли видеть меня в эту минуту!» — думал он.

—Ур-р-а-а-а!! — загудели голоса. «Ну, попадись теперь кто бы ни был»,— думал Nicolas, вдавливая шпоры Грачику, и, перегоняя других, выпустил его во весь карьер. Вдруг, как широким веником, стегнуло что-то по эскадрону. Nicolas поднял саблю, готовясь рубить, но в это время впереди скакавший солдат Никитенко отделился от него, и Nicolas почувствовал, как во сне, что продолжает нестись с неестественною быстротой вперед и вместе с тем остается на месте. Сзади знакомый гусар Бондарчук наскакал на него и сердито посмотрел. Лошадь Бондарчука шарахнулась, и он обскакал мимо. Еще проскакал один, другой и третий.

«Что же это? я не подвигаюсь? Я упал, я убит...» — в одно мгновение спросил и ответил Nicolas. Он был уже один посреди поля. Вместо двигавшихся лошадей и гусарских спин, он видел вокруг себя неподвижную землю и жнивье. Теплая кровь была под ним. «Нет, я ранен, и лошадь убита». Грачик поднялся было на передние ноги, но упал, придавил

седоку ногу. Из головы лошади текла кровь. Лошадь билась, не могла встать. Nicolas хотел подняться и упал тоже. Шашка зацепилась за седло. Где были наши, где были французы, он не знал. Никого не было кругом.

Высвободив ногу, он поднялся. «Где, с какой стороны была теперь та черта, которая так резко отделяла два войска?» Он спрашивал себя и не мог ответить. «Уже не дурное ли что-нибудь случилось со мной? Бывают ли такие случаи, и что надо делать в таких случаях?» — спросил он сам себя, вставая. И в это время почувствовал, что что-то лишнее висит на его левой онемевшей руке. Кисть ее была, как чужая. Он оглядывал руку, тщетно отыскивая на ней кровь. «Ну, вот и люди,— подумал он радостно, увидав несколько человек, бежавших к нему.— Они мне помогут». Впереди этих людей бежал один в странном кивере и в синей шинели, черный, загорелый, с горбатым носом. Еще два и еще много бежало сзади. Один из них проговорил что-то странное, не русское. Между задними такими же людьми и в таких же киверах, стоял один русский гусар. Его держали за руки; позади его держали его лошадь.

«Верно наш пленный... Да. Неужели и меня возьмут? Что это за люди? — всё думал Nicolas, не веря себе.— Неужели французы?» Он смотрел на приближавшихся французов и, несмотря на то, что за секунду скакал только за тем, чтобы настигнуть этих французов и изрубить их, близость их казалась ему теперь так ужасна, что он не верил своим глазам. «Кто они? Зачем они бегут? Неужели ко мне? Неужели ко мне они бегут? И зачем? Убить меня? *Меня*, кого так любят все?» Ему вспомнилась любовь к нему его матери, семьи, друзей, и намерение неприятелей убить его показалось невозможно: «А может и убить». Он более 10 секунд стоял, не двигаясь с места и не понимая своего положения. Передний француз с горбатым носом подбежал так близко, что уже видно было выражение его лица. И разгоряченная, чужая физиономия этого человека, который со штыком наперевес, сдерживая дыханье, легко подбегал к нему, испугала Ростова. Он схватил пистолет и, вместо того чтобы стрелять из него, бросил им в француза и побежал к кустам что было силы. Не с тем чувством сомнения и борьбы, с каким он ходил на Энский мост, бежал он, а с чувством зайца, убегающего от собак. Одно нераздельное чувство страха за свою молодую, счастливую жизнь владело всем его существом. Быстро перепрыгивая через межи, с тою стремительностью, с которою он бегал, играя в горелки, он летел по полю, изредка оборачивая свое бледное, доброе, молодое лицо, и холод ужаса пробегал по его спине. «Нет, лучше не смотреть»,— подумал он, но, подбежав к кустам, оглянулся еще раз. Французы отстали, и даже, в ту минуту как он оглянулся, передний только что переменил рысь на шаг и, обернувшись, что-то сильно кричал заднему товарищу. Nicolas остановился. «Что-нибудь не так,— подумал он,— не может быть, чтоб они хотели убить меня». А между тем левая рука его была так тяжела, как будто двухпудовая гиря была привешена к ней. Он не мог бежать дальше. Француз остановился тоже и прицелился. Nicolas зажмурился и нагнулся. Одна, другая пуля пролетела, жужжа, мимо него. Он собрал последние силы, взял левую руку в правую и побежал до кустов. В кустах были русские стрелки.

XXI

Пехотные полки, застигнутые врасплох в лесу, выбегали из леса, и роты, смешиваясь с другими ротами, неслись беспорядочными толпами. Один солдат в испуге проговорил страшное на войне и бессмысленное слово «отрезали!» — и слово, вместе с чувством страха, сообщилось всей массе.

— Обошли! Отрезали! Пропали! — кричали запыхавшиеся голоса бегущих.

Французы, не атакуя с фронта, обошли наш левый фланг справа, и ударили (как пишут в реляциях) на Подольский полк, стоявший перед лесом и бо́льшая часть которого находилась в лесу за дровами. «Ударили» значило то, что французы, подойдя к лесу, выстрелили в опушку, на которой виднелись дроворубы, три русские солдата. Подольские два баталиона смешались и побежали в лес. Дроворубы присоединились к бежавшим, увеличивая беспорядок. Пробежав неглубокий лес, выбежав в поле с другой стороны, они продолжали бежать в совершенном беспорядке. Лес, находившийся в середине расположения нашего левого фланга, был занят французами, так что павлоградцы были разделены ими и, чтобы соединиться с отрядом, должны были взять совсем влево и прогнать неприятельскую цепь, которая отрезывала их. Но две роты, стоявшие в нашей передовой цепи, часть солдат, находившихся в лесу, и сам полковой командир были отрезаны французами. Им нужно было либо выходить на противоположную высоту и на виду, под огнем французов, обходить лес, либо пробиваться через них. Полковой командир, в ту самую минуту как он услыхал стрельбу и крик сзади, понял, что случилось что-нибудь ужасное с его полком, и мысль, что он, примерный, двадцатидвухлетний [1], ни в чем не виноватый офицер, мог быть виновен перед начальством в оплошности или нераспорядительности, так поразила его, что в ту же минуту, забыв и непокорного кавалериста-полковника, и свою генеральскую важность, а главное — совершенно забыв про опасность и чувство самосохранения, он, ухватившись за луку седла и шпоря лошадь, поскакал к полку под градом обсыпавших, но счастливо миновавших его пуль. Он желал одного: узнать, в чем дело и помочь и исправить во что бы то ни стало ошибку, ежели она была с его стороны, и не быть виновным ему, двадцатидвухлетнему, ни в чем не замеченному, заслуженному, примерному офицеру.

Счастливо проскакав между французами, он подскакал к полю за лесом, через который бежали наши и, не слушаясь команды, спускались под гору. Наступила та минута нравственного колебания, которая решает участь сражений: послушают эти расстроенные толпы солдат голоса своего командира или, оглянувшись на него, побегут дальше.

Несмотря на отчаянный крик прежде столь грозного для солдата голоса полкового командира, несмотря на разъяренное, багровое, на себя не похожее лицо полкового командира и маханье шпагой, солдаты всё бежали, разговаривали, стреляли в воздух и не слушали команды.

Нравственное колебание, решающее участь сражений, очевидно, разрешалось в пользу страха.

— Капитан Маслов! Поручик Плетнев! Ребята, вперед! Умрем за царя! — кричал полковой командир.— Ура!

Небольшая кучка солдат тронулась вперед за генералом, но вдруг опять остановилась и стала стрелять. Генерал закашлялся от крика и порохового дыма и остановился посереди солдат. Всё казалось потеряно; но в эту минуту французы, наступавшие на наших, вдруг побежали, скрылись из опушки леса, и в лесу показались русские стрелки. Это была рота Тимохина, которая одна в лесу удержалась в порядке и, засев в канаву у леса, неожиданно атаковала французов. Тимохин с таким отчаянным криком бросился на французов и с такою безумною и пьяною решительностью, с одною шпажкой, набежал на неприятеля, что французы, не успев опомниться, побросали оружие и побежали. Долохов, бежавший почти рядом с Тимохиным, в упор убил одного француза, и первый взял за воротник сдававшегося офицера. Бегущие возвратились, баталионы собрались, и французы, разделившие было на две части войска

---

[1] Так было напечатано в «Русском вестнике». В первом отдельном издании 1868 г. и в окончательном тексте романа — *двадцать два года служивший* (прим. составителя).

левого фланга, на мгновение были оттеснены. Резервные части успели соединиться, и беглецы направлялись назад.

Полковой командир стоял с майором Экономовым у моста, пропуская мимо себя отступающие роты, когда к нему подошел солдат и бесцеремонно, чтоб обратить на себя внимание, взял его за стремя и почти прислонился к нему. На солдате была синеватая, фабричного сукна шинель, ранца и кивера не было, голова была повязана, и через плечо была надета французская зарядная сумка. Он в руках держал офицерскую шпагу. Солдат был красен, голубые глаза его нагло смотрели в лицо полковому командиру, а рот улыбался. Несмотря на то, что полковой командир был занят отданием приказания майору Экономову, он не мог не обратить внимания на этого солдата.

— Ваше превосходительство, вот два трофея,— сказал Долохов, указывая на французскую шпагу и сумку.— Мною взят в плен офицер. Я остановил роту.— Долохов тяжело дышал от усталости; он говорил с остановками.— Офицера закололи после наши. Вся рота может свидетельствовать. Прошу запомнить, ваше превосходительство.

— Хорошо, хорошо,— сказал полковой командир и обратился к майору Экономову. Но Долохов не отошел; он развязал платок, дернул его, и кровь полилась по его открытому, красивому лбу на волосы, которые слеплены были кровью в одном месте.

— Рана штыком; я остался во фронте.

Генерал отъехал, не слушая Долохова. Новые колонны французов подвигались к мельнице.

— Не забудьте же, ваше превосходительство,— прокричал Долохов, и, перевязав себе голову платком, пошел за отступавшими солдатами.

XXII

Про батарею Тушина было забыто, и только в самом конце дела, продолжая слышать канонаду в центре, князь Багратион послал туда дежурного штаб-офицера и потом князя Андрея, чтобы велеть батарее отступать как можно скорее. Прикрытие, стоявшее подле пушек Тушина, ушло, по чьему-то приказанию, в середине дела; но батарея продолжала стрелять и не была взята французами только потому, что неприятель в дыму не мог разобрать, есть или нет чем прикрыться, и не мог предполагать дерзости стрельбы четырех никем не защищенных пушек. Напротив, по энергичному действию этой батареи он предполагал, что здесь в центре сосредоточены главные силы русских, и два раза пытался атаковать этот пункт, и оба раза был прогоняем картечными выстрелами.

Скоро после отъезда князя Багратиона Тушину удалось зажечь Шенграбен.

— Вишь, засумятились! Горит! Вишь дым-то! Ловко! Важно! Дым-то, дым-то! — заговорила прислуга, оживляясь.

Все орудия без приказания били в направлении к пожару. Как будто подгоняя, подкрикивали солдаты к каждому выстрелу: — «Ловко! Вот так, так! Ишь ты... Важно!» Пожар, разносимый ветром, быстро распространялся. Французские колонны, выступившие за деревню, ушли назад, но, как бы в наказание за эту неудачу, неприятель выставил правее деревни, на том самом бугре, у мельницы, где вчера утром стояла палатка Тушина, десять орудий и стал бить из них по Тушину.

Из-за детской радости, возбужденной пожаром, и азарта удачной стрельбы по французам наши артиллеристы заметили эту батарею только тогда, когда два ядра и вслед за ними еще четыре ударили между орудиями и одно повалило двух лошадей, а другое оторвало ногу ящичному вожатому. Оживление, раз установившееся, однако, не ослабело, а только переменило настроение. Лошади были заменены другими из запасного лафета, раненые убраны, и четыре орудия повернуты против

десятипушечной батареи. Офицер, товарищ Тушина, был убит в начале дела, и в продолжение часа из сорока человек прислуги выбыли 17, и одно орудие уже не могло стрелять; но артиллеристы все так же были веселы и оживлены. Два раза они замечали, что внизу, близко от них, показывались французы, и тогда они били по них картечью.

Маленький человечек, с слабыми, неловкими движениями, требовал себе беспрестанно у деньщика еще трубочку за это, как он говорил, и, рассыпая из нее огонь, выбегал вперед и из-под маленькой ручки смотрел на французов.

— Круши, ребята! — приговаривал он, и сам подхватывал орудия за колеса и вывинчивал винты. В дыму, оглушаемый беспрерывными выстрелами, заставлявшими каждый раз вздрагивать его слабые нервы, Тушин, не выпуская своей носогрелки, ковылял от одного орудия к другому и к ящикам, то прицеливаясь, то считая заряды, то распоряжаясь переменой и перепряжкой убитых и раненых лошадей, покрикивал своим слабым, тоненьким, нерешительным голоском. Лицо его все более и более оживлялось. Только когда убивали или ранили людей, он хмурился и хрипел, как будто от боли, и, отворачиваясь от убитого, сердито кричал на людей, как всегда мешкавших поднять раненого или тело. Солдаты, большею частью красивые молодцы (как и всегда в батарейной роте на две головы выше своего офицера и вдвое шире его), все, как дети в затруднительном положении, смотрели на своего командира, и то выражение, которое было на его лице, неизменно отражалось на их лицах.

Вследствие этого страшного гула, шума, потребности внимания и деятельности Тушин не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха; и мысль, что его могут убить или больно ранить, не приходила ему в голову. Напротив, ему становилось все веселее и веселее, и он больше и больше уверялся, что его не могут убить. Ему казалось, что уже очень давно, едва ли не вчера, была та минута, когда он увидел неприятеля и сделал первый выстрел, и что клочок поля, на котором он стоял, был ему давно знакомым, родственным местом. Несмотря на то, что он все помнил, все соображал, все делал, что мог делать самый лучший офицер в его положении, он находился в состоянии, похожем на лихорадочный бред или на состояние пьяного человека.

Из-за оглушающих со всех сторон звуков своих орудий, из-за свиста и ударов снарядов неприятелей, из-за вида вспотевшей, раскрасневшейся, торопящейся около орудий прислуги, из-за вида крови, людей и лошадей, из-за вида дымков неприятеля на той стороне, откуда после каждого выстрела прилетало ядро и било в землю, в человека, в орудие или в лошадь, из-за вида этих предметов у него в голове установился свой фантастический мир, который составлял его наслаждение в эту минуту. Неприятельские пушки в его воображении были не пушки, а трубки, из которых редкими клубами выпускал дым невидимый курильщик.

— Вишь пыхнул опять,— проговорил Тушин шёпотом про себя, в то время как с горы выскакивал клуб дыма и влево полосой относился ветром,— теперь мячик жди, отсылать назад.

— Что прикажите, ваше благородие? — спросил фейерверкер, близко стоящий около него и слышавший, что он бормотал что-то.

— Ничего, гранату...— отвечал он.

— «Ну-ка, наша Матвевна»,— говорил он про себя. Матвевной представлялась в его воображении большая, крайняя, старинного литья пушка. Муравьями представлялись ему французы около своих орудий. Красавец и пьяница, первый № 2-го орудия, в его мире был *дядя*; Тушин чаще других смотрел на него и радовался на каждое его движение. Звук то замиравшей, то опять усиливавшейся ружейной перестрелки под горою представлялся ему чьим-то дыханием. Он прислушивался к затиханью и разгоранью этих звуков.

«Ишь задышала опять, задышала»,— говорил он про себя.

Сам он представлялся себе огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками швыряет французам ядра.

— Ну, Матвевна, матушка, не выдавай! — говорил он, отходя от орудия, как над его головой раздался чуждый, незнакомый голос.

— Капитан Тушин! Капитан!

Тушин испуганно оглянулся. Это был тот штаб-офицер, который выгнал его из Грунта. Он запыхавшимся голосом кричал ему:

— Что вы с ума сошли, милостивый государь. Вам два раза приказано отступать, а вы...

«Ну за что они меня?...» — думал про себя Тушин, со страхом глядя на начальника.

— Я... ничего...— проговорил он, приставляя два пальца к козырьку.— Я...

Но полковник не договорил всего что хотел. Близко пролетевшее ядро заставило его, нырнув, согнуться на лошади. Он замолк и только что хотел сказать еще что-то, как еще ядро остановило его. Он поворотил лошадь и поскакал прочь.

— Отступать! все отступать! — прокричал он издалека.

Солдат засмеялся.

— Не любишь! — проговорил Тушин.

Через минуту приехал адъютант с тем же приказанием.

Это был князь Андрей. Первое, что он увидел, выезжая на то пространство, которое занимали пушки Тушина, была отпряженная лошадь с перебитою ногой, которая ржала около запряженных лошадей. Из ноги ее, как из ключа, лилась кровь. Между передками лежало несколько странных предметов. Это были убитые. На одного из них наехала лошадь князя Андрея, и он невольно увидел, что головы совсем не было, а кисть руки с полусогнутыми пальцами казалась живою. Одно ядро за другим пролетало над ним, в то время как он подъезжал. И он почувствовал, как нервическая дрожь пробежала по его спине. Он был нравственно и физически измучен. Но одна мысль о том, что он боится, снова подняла его. «Я не могу бояться». Он передал приказание и не уезжал с батареи. Он решил, что при себе снимет орудия с позиции и отведет их. Князь Андрей слез с лошади и вместе с Тушиным, шагая через тела, и под страшным огнем французов, занялся уборкой орудий.

— А то приезжало сейчас начальство, так скоро драло,— сказал фейерверкер князю Андрею,— не так, как ваше благородие. Князь Андрей ничего не говорил с Тушиным. Они оба были так заняты, что, казалось, и не видали друг друга. Когда, надев уцелевшие из четырех два орудия на передки, они двинулись под гору (одна разбитая пушка и единорог были оставлены), князь Андрей подъехал к Тушину.

— Ну, до свидания,— сказал князь Андрей, протягивая руку Тушину.

— До свидания, голубчик,— сказал Тушин,— милая душа. Прощайте, голубчик,— сказал Тушин со слезами на глазах.

Князь Андрей пожал плечами и поехал прочь.

— Ну-ка, трубочку за это,— сказал Тушин.

XXIII

Ветер стих, черные тучи низко нависли над местом сражения, сливаясь на горизонте с пороховым дымом. Становилось темно, и тем яснее обозначалось в двух местах зарево пожаров. Канонада стала слабее, но трескотня ружей сзади и справа слышалась еще чаще и ближе. Как только Тушин с своими орудиями, объезжая и наезжая на раненых, вышел из-под огня и спустился в овраг, его встретило начальство и адъютанты, в числе которых были и штаб-офицер, и Жерков, два раза посланный и ни разу не доехавший до батареи Тушина. Все они, перебивая один другого, отдавали и передавали приказания, как и куда идти, и делали

ему упреки и замечания, зачем он так необдуманно действовал, долго не отступая. Тушин ничем не распоряжался и, молча, боясь говорить, потому что при каждом слове он готов был, сам не зная отчего, заплакать, ехал сзади на своей артиллерийской кляче. Хотя раненых велено было бросать, много из них тащилось за войсками и просилось на орудия. Тот самый пехотный офицер, который перед сражением читал о черкешенках, был с пулей в животе положен на лафет. Под горой бледный гусарский юнкер, одною рукой поддерживая другую, подошел к Тушину и попросился сесть.

— Капитан, ради бога, я контужен в руку,— сказал он робко.— Ради бога, я не могу идти. Ради бога.— Видно было, что юнкер этот уже не раз просился где-нибудь сесть и везде получал отказы. Он просил нерешительным и жалким голосом.— Прикажите посадить, ради бога...

— Посадите, посадите,— сказал Тушин.— Подложи шинель, ты, дядя. А где офицер раненый?

— Сложили, кончился,— ответил кто-то.

— Посадите. Садитесь, милый, садитесь. Подстели шинель, Антонов.

Юнкер был Ростов. Он держал одною рукой другую, был бледен, и нижняя челюсть тряслась от лихорадочной дрожи. Его посадили на то самое орудие, с которого сложили мертвого офицера. На подложенной шинели были кровь, в которой запачкались рейтузы и руки Ростова.

— Что, вы ранены, голубчик? — сказал Тушин, подходя к орудию, на котором сидел Ростов.

— Нет, контужен.

— Отчего же кровь-то на станине? — спросил Тушин.

— Это офицер, ваше благородие, окровянили,— отвечал солдат-артиллерист, обтирая кровь рукавом шинели и как будто извиняясь за нечистоту, в которой находилось орудие.

Насилу с помощью пехоты вывезли орудия в гору и достигли деревни Гунтерсдорф, остановились. Стало уже так темно, что в десяти шагах нельзя было различить мундир солдата, и перестрелка стала стихать. Вдруг близко с правой стороны послышались опять крики и пальба. От выстрелов уже блестело в темноте. Это была последняя атака французов, на которую отвечали солдаты, засевшие в дома деревни. Опять всё бросилось из деревни, но орудия Тушина не могли двинуться, и артиллеристы, Тушин и юнкер молча переглядывались, ожидая своей участи. Перестрелка стала стихать, и из боковой улицы высыпали оживленные говором солдаты.

— Цел, Петров? — спрашивал один.

— Задали, брат, жару. Теперь не сунутся,— говорил другой.

— Ничего не видать. Как они в своих-то зажарили! Не видать, темь, братцы. Нет ли напиться?

Французы последний раз были отбиты. И опять в совершенном мраке орудия Тушина, как рамой окруженные гудевшей пехотой, двинулись куда-то вперед.

В темноте как будто текла невидимая, мрачная река всё в одном направлении, гудя шепотом, говором и звуками копыт и колес. В общем гуле из-за всех других звуков яснее всех были стоны и голоса раненых во мраке ночи. Их стоны, казалось, наполняли собой весь этот мрак, окружавший войска. Их стоны и мрак этой ночи, это было одно и то же. Через несколько времени в движущейся толпе произошло волнение. Кто-то проехал со свитой на белой лошади и что-то сказал, проезжая.

— Что сказал? Куда теперь? Стоять что ль? Благодарил что ли? — послышались жадные расспросы со всех сторон, и вся движущаяся масса стала напирать сама на себя (видно, передние остановились), и пронесся слух, что велено остановиться. Все остановились, как шли, на середине грязной дороги.

Засветились огни, и слышнее стал говор. Капитан Тушин, распорядившись по роте, послал одного из солдат отыскивать перевязочный пункт или лекаря для юнкера, и сел у огня, разложенного на дороге солдатами. Ростов перетащился тоже к огню. Лихорадочная дрожь от боли, холода и сырости трясла все его тело. Сон непреодолимо клонил его, но он не мог заснуть от мучительной боли в нывшей и не находившей положения руке. Он то закрывал глаза, то взглядывал на огонь, казавшийся ему горячо-красным, то на сутуловатую, слабую фигурку Тушина, по-турецки сидевшего подле него. Большие, добрые и умные глаза Тушина устремлялись на него с таким сочувствием и состраданием, что ему жалко становилось Тушина. Он видел, что Тушин всею душой хотел и ничем не мог помочь ему.

Со всех сторон слышны были шаги и говор проходивших, проезжавших и кругом размещавшейся пехоты, звуки голосов, шагов и переставляемых в грязи лошадиных копыт, ближний и дальний треск дров сливались в один колеблющийся гул.

Теперь уже не текла, как прежде, во мраке невидимая река, а будто после бури укладывалось и трепетало мрачное море. Ростов бессмысленно смотрел и слушал, что происходило перед ним и вокруг него. Пехотный солдат подошел к костру, присел на корточки, всунул руки в огонь и отвернул лицо.

— Ничего, ваше благородие? — сказал он, вопросительно обращаясь к Тушину.— Вот отбился от роты, ваше благородие; сам не знаю где — беда!

Вместе с солдатом подошел к костру пехотный офицер с подвязанною щекой и, обращаясь к Тушину, просил приказать продвинуть крошечку орудия, чтобы провести повозку. За ротным командиром набежали на костер два солдата. Они отчаянно ругались и дрались, выдергивая друг у друга какой-то сапог.

— Как же, ты поднял! Ишь ловок! — кричал один хриплым голосом.

Потом подошел худой, бледный солдат с шеей, обвязанной окровавленною подверткой, и сердитым голосом требовал воды у артиллеристов.

— Что ж, умирать что ли, как собаке? — говорил он.

Тушин велел дать ему воды. Потом подбежал веселый солдат, прося огоньку в пехоту.

— Огоньку горяченького в пехоту! Счастливо оставаться, землячки, благодарим за огонек, мы назад с процентой отдадим,— говорил он, унося куда-то в темноту краснеющуюся головешку.

За этим солдатом четыре солдата, неся что-то тяжелое на шинели, прошли мимо костра. Один из них споткнулся.

— Ишь, черти, на дороге дрова положили,— проворчал один.

— Кончился, что ж его носить? — сказал один из них.

— Ну, вас!

И они скрылись во мраке с своею ношей.

С другой стороны в это же время подошли два пехотные офицера и солдат без шапки, с повязанною головой.

— Огонек, господа... Своих не найдем, хоть здесь присядем.

Артиллеристы дали им место.

— Не видали ли, господа, где третий баталион, Подольский? — спросил один.

Никто не знал. Солдат с повязанною головой сел к костру и, нахмурившись, оглядел сидевших вокруг.

— Ребята,— сказал он,— обращаясь к артиллеристам,— нет ли водки? Золотой за две крышки водки.

Он достал кошелек. По мундиру он был солдат, но шинель на нем была синяя с разорванным рукавом. Через плечо висели сумка и шпага французские. Лоб и бровь были в крови. Неестественная складка на пере-

БАГРАТИОН НА БАТАРЕЕ ТУШИНА

Рисунок М. С. Башилова, 1867 г.

«Тушин и артиллеристы очень хороши, хотя я Тушина и воображал молодым, но у вас прекрасно выражена в нем почтенная комичность. Багратион совсем не хорош. Черты должны быть грубее гораздо, потом не шапка, а картуз со смушками — это исторический костюм. Бурка всегда носится на боку — так что прореха над правым плечом. Посадка его, как грузина, должна быть непринужденная — немножко на боку с не упертыми в стремена ногами. Лошадь попроще и поспокойнее (из письма Толстого к М. С. Башилову от 28 февраля 1867 г.)

носице между бровями давала ему усталое и жестокое выражение, но лицо его было поразительно красиво; в углах губ его была улыбка. Офицеры продолжали, видимо, начатый разговор.

— Как я ударил на них! Как крикнул! — говорил один офицер.— Нет, брат, плохи твои французы.

— Ну, будет хвастать,— сказал другой.

Солдат между тем выпил обе крышки водки, которые нашлись у артиллеристов, и отдал золотой.

— Да, теперь рассказов много будет,— сказал он, обращаясь презрительно к офицеру,— а там что-то не видать было.

— Ну, да ведь такого Долохова другого нет,— сказал офицер, робко смеясь и обращаясь к товарищу.— Ему мало французов колоть, он своего из пятой роты застрелил.

Долохов быстро оглянулся на Тушина и Ростова, не спускавших с него глаз.

— А не беги, за то и застрелил,— проговорил он.— И офицера бы заколол, коли трус.

Долохов стал шевелить костер и подкладывать дрова.

— Что ж орудия-то оставили французам? — обратился он к Тушину.

Тушин поморщился, отвернулся и сделал вид, что не слыхал.

— Что? Болит? — спросил он шёпотом у Ростова.

— Болит.

— И из чего бьются? — сказал Тушин, вздохнув.

В это время около самого костра прозвучали шаги двух лошадей,

показались тени верховых, и послышался голос начальника, который что-то строго выговаривал.

— Вам приказано в хвосте колонны идти, в хвосте и стать,— говорил гневный голосо,— а не рассуждать.

— Там не слыхать голосу было, а здесь опять важничают,— сказал Долохов так, чтобы проезжавшие могли слышать, встал, оправил шинель, повязку головы и отошел от костра.

— Ваше благородие, к генералу. Здесь в избе стоят,— сказал фейерверкер, подходя к Тушину.

— Сейчас, голубчик.

Тушин встал и, застегивая шинель и оправляясь, отошел от костра. Недалеко от костра артиллеристов, в приготовленной для него избе, сидел князь Багратион за обедом, разговаривая с некоторыми начальниками частей, собравшимися у него. Тут был старичок с полузакрытыми глазами, жадно обгладывавший баранью кость, и двадцатидвухлетний[1] безупречный генерал, раскрасневшийся от рюмки водки и обеда, и штабофицер с именным перстнем, и Жерков, беспокойно оглядывавший всех, и князь Андрей, лениво и презрительно щурившийся.

В избе стояло прислоненное к углу взятое французское знамя, и аудитор с наивным лицом щупал ткань знамени и, недоумевая, покачивал головой, может быть, оттого, что его и в самом деле интересовал вид знамени, а может быть, и оттого, что ему тяжело было голодному смотреть на обед, за которым ему не доставало прибора. В соседней избе находился взятый в плен драгунами французский полковник. Около толпились, рассматривая его, наши офицеры. Князь Багратион благодарил отдельных начальников и расспрашивал о подробностях дела и о потерях. Полковой командир, представлявшийся под Браунау, докладывал князю, что, как только началось дело, он отступил из леса, собрал дроворубов и, пропустив их мимо себя, с двумя баталионами ударил в штыки и опрокинул французов.

— Как я увидал, ваше сиятельство, что первый баталион расстроен, я стал на дороге и думаю: «пропущу этих и встречу батальным огнем», так и сделал.

Полковому командиру так хотелось сделать это, так он жалел, что не успел этого сделать, что ему казалось, что всё это точно было. Да, может быть, и в самом деле было? Разве можно было разобрать в этой путанице, что было и чего не было?

— Причем должен заметить, ваше сиятельство,— продолжал он, вспоминая о разговоре Долохова с Кутузовым и о последнем свидании своем с разжалованным,— что рядовой, разжалованный Долохов на моих глазах взял в плен французского офицера и особенно отличился.

— Здесь-то я видел, ваше сиятельство, атаку павлоградцев,— вмешался почтительно и смело Жерков, который вовсе не видал в этот день своих гусар, а только слышал о них от пехотного офицера.— Смяли два каре, ваше сиятельство.

На слова Жеркова некоторые улыбнулись, как и всегда ожидая от него шутки; но, заметив, что то, что он говорил, клонилось тоже к славе нашего оружия и нынешнего дня, приняли сериозное выражение, хотя многие очень хорошо знали, что то, что говорил Жерков, была ложь, ни на чем не основанная. Князь Багратион поморщился и обратился к старичку полковнику.

— Благодарю всех, господа, все части действовали геройски: пехота, кавалерия и артиллерия. Каким образом в центре оставлены два орудия? — спросил он, ища кого-то глазами. (Князь Багратион не спрашивал про орудия левого фланга, он знал уже, что там в самом начале дела

---

[1] См. сноску 1 к главе XXI (прим. составителя).

РАНЕНЫЙ РОСТОВ У КОСТРА
Рисунок М. С. Башилова, 1867 г.
«Костер — прелесть все три фигуры» (из письма Толстого М. С. Башилову от 28 февраля 1867 г.)

были брошены все пушки.) — Я вас, кажется, просил,— обратился он к дежурному штаб-офицеру.

— Одно было подбито,— с твердостью и определенностью отвечал дежурный штаб-офицер,— а другое, я не могу понять, я сам там все время был и распоряжался, и только что отъехал... Жарко было, правда,— прибавил он скромно.

Кто-то сказал, что капитан Тушин стоит здесь у самой деревни и что за ним уже послано.

— Да вот вы были, князь Болконский,— сказал князь Багратион, обращаясь к князю Андрею.

— Как же мы вместе немного не съехались,— сказал дежурный штаб-офицер, приятно улыбаясь Болконскому.

— Я не имел удовольствия вас видеть,— холодно сказал князь Андрей, вставая.

В это время на пороге показался Тушин, робко пробиравшийся из-за спин генералов. Обходя генералов в тесной избе, сконфуженный как и всегда при виде начальства, Тушин не рассмотрел древка знамени и спотыкнулся на него. Несколько голосов засмеялось.

— Каким образом орудие оставлено? — спросил Багратион, нахмурившись не столько против капитана, сколько против смеявшихся голосов, в числе которых громче всех был голос Жеркова. Тушину теперь только, при виде грозного начальства, во всем ужасе представилась его вина и позор в том, что он, оставшись жив, потерял два орудия. Он так был взволнован, что до сей минуты не успел подумать об этом. Смех офицеров еще больше сбил его с толку. Он стоял перед Багратионом с дрожащею нижнею челюстью, как у лихорадочного или у ребенка, собирающегося плакать, и едва проговорил:

— Не знаю... ваше сиятельство... людей не было, ваше сиятельство.

— Вы бы могли из прикрытия взять?

Что прикрытия не было, этого не сказал Тушин, хотя это была сущая правда. Он боялся *подвести* этим другого начальника и молча остановившимися глазами смотрел прямо в лицо Багратиону с таким видом, как сбившийся ученик стоит перед экзаменатором.

Молчание было довольно продолжительно. Князь Багратион, видимо, не желая быть строгим, не находился, что сказать; остальные не смели вмешаться в разговор. Князь Андрей, щурясь, смотрел на Тушина.

— Ваше сиятельство,— прервал князь Андрей молчание своим резким голосом,— вы меня изволили послать к батарее капитана Тушина. Я был там и нашел две трети людей и лошадей перебитыми, два орудия исковерканными. И прикрытия никакого.

Князь Багратион и Тушин одинаково упорно смотрели теперь на медленно цедившего свои слова Болконского.

— И ежели, ваше сиятельство, позволите мне высказать свое мнение,— продолжал он,— то успехом дня мы обязаны более всего действию этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина с его ротой,— сказал князь Андрей, небрежным и презрительным жестом указывая на удивленного капитана.

Князь Багратион посмотрел на Тушина и, видимо, не желая выказать недоверия к странному суждению Болконского и вместе с тем чувствуя себя не в состоянии вполне верить ему, наклонил голову и сказал Тушину, что он может идти.

XXIV

«Кто они? Зачем они? Что им нужно? И когда всё это кончится?» — думал Ростов, глядя на переменявшиеся перед ним тени, когда Тушин отошел от него. Боль в руке становилась все мучительнее. Сон клонил непреодолимо, в глазах прыгали красные круги, и впечатление этих голосов, и этих лиц, и чувство одиночества сливалось с чувством боли. Это они, эти солдаты, раненые и нераненые; это они, эти офицеры, и особенно этот странный беспокойный солдат с повязанною головой,— это они-то и давили, и тяготили, и выворачивали жилы, и жгли мясо в его разломанной руке и плече. Чтобы избавиться от них, особенно от него, от тревожного солдата с этою остановившеюся улыбкой, он закрыл глаза.

Он забылся на одну минуту, но в этот короткий промежуток забвения он видел во сне бесчисленное количество предметов: он видел свою мать и ее большую белую руку, видел худенькие плечи Сони, глаза и смех Наташи, и Денисова с его голосом и усами, и Телянина, и всю свою историю с Теляниным и Богданычем. Вся эта история была одно и то же, что этот солдат с резким голосом, и эта-то вся история, и этот-то солдат так мучительно, неотступно держали, давили и всё в одну сторону тянули его руку. Он пытался устраняться от них, но они не отпускали ни на волос, ни на секунду его плечо. Оно бы не болело, оно было бы здорово, ежели б они не тянули его; но нельзя было избавиться от них.

Он приподнялся. Сырость, проникавшая из земли, и боль заставляли его дрожать, как в лихорадке. Он открыл глаза, поглядел вверх. Черный полог ночи на аршин висел над светом углей. В этом свете летали порошинки падавшего снега. Тушин не возвращался, лекарь не приходил. Он был один, только какой-то солдатик сидел теперь голый по другую сторону огня и грел свое худое, желтое тело.

«Никому не нужен я! — думал Ростов.— Некому ни помочь, ни пожалеть. А был же и я когда-то дома, сильный, веселый, любимый». Он вздохнул и со вздохом невольно застонал.

— Ай болит что? — спросил солдатик, встряхивая свою рубаху над огнем, и, не дожидаясь ответа, крякнув прибавил: — Мало ли за день народу попортили — страсть!

Nicolas не слушал солдата. Он смотрел на порхавшие над огнем снежинки и вспоминал русскую зиму с теплым светлым домом, пушистою

шубой, быстрыми санями, здоровым телом и со всею любовью и заботою семьи. «И зачем я пошел сюда? Теперь всё кончено! Один и умираю»,— думал он.

На другой день французы не возобновляли нападения, остаток Багратионова отряда присоединился к армии Кутузова. На третий день князь Анатолий Курагин, адъютант Буксгевдена, прискакал к Кутузову с известием, что армия, шедшая из России, находится в одном переходе. Армии соединились.

Отступление Кутузова, несмотря на потерю Венского моста, в особенности это последнее сражение под Шенграбеном, составляло удивление не только русских, французов, но и самих австрийцев. Отряд Багратиона называли «die Heldenschaar[1]», и Багратион и его отряд получили большие награды от австрийцев и вскоре прибывшего в Ольмюц русского императора.

Граф Лев Толстой

21-го декабря 1865 г.[2]

---

[1] Войско героев (*нем.*).

[2] На этом закончилось печатание романа в «Русском вестнике» (прим. составителя).

РУКОПИСЬ 103
⟨«ОТ АУСТЕРЛИЦА ДО ТИЛЬЗИТА»⟩

⟨I⟩

Князь Василий не обдумывал своих планов, еще менее думал сделать людям зло для того, чтобы приобрести выгоду. Он был только светский человек, успевший в свете и сделавший привычку из этого успеха [из этой ловкости и успеха]. У него постоянно, смотря по обстоятельствам, по сближениям с людьми, составлялись различные планы и соображения, в которых он сам не отдавал себе хорошенько отчета, но которые составляли весь интерес его жизни. Не один и не два таких плана и соображения бывало у него в ходу, а десятки, из которых одни только начинали представляться ему, другие достигались, третьи уничтожались. Он не говорил, например: вот этот человек теперь в силе, я должен получить его доверие и дружбу и просить через него о выдаче мне единовременного пособия, или он не говорил себе: вот Pierre богат, [Князь Безухов родственник и богач. Надо воспользоваться хоть частью этого богатства.] я должен заманить его, женить на дочери и воспользоваться хоть косвенным путем его состоянием. Но человек в силе встречался ему, и в ту же минуту инстинкт подсказывал ему, что этот человек может быть полезен, и князь Василий сближался и при первой возможности без предготовления, естественно по инстинкту льстил, делался фамильярен и говорил о том, о чем нужно было просить. [В этой игре интриги он находил не счастье, а весь смысл жизни. Без этого жизнь была бы для него не [выносима] жизнью.] Пьер был у него под рукой в Москве, он настоял на том, чтобы молодой человек приехал в Петербург, занял у него 30 тысяч и устроил для молодого человека назначение камер-юнкером, равнявшееся тогда чину и статского советника, как будто рассеянно и вместе с тем с несомненной уверенностью, что это должно быть, делал все то, что нужно было для того, чтобы женить Pieer'a на своей дочери. Ежели бы князь Василий приготавливал свои планы, он никогда бы не мог быть так естественен в обращении и так просто со всеми фамильярен. У него был инстинкт, влекущий его всегда к людям сильнее и богаче его, и инстинкт тоже, который указывал ему минуту, когда надо было пользоваться этими людьми.

После смерти своего отца Pierre тотчас вслед за своим одиночеством и праздностью почувствовал себя до такой степени окруженным и занятым, что ему только в постели удавалось оставаться одному с самим собою. Ему нужно было подписывать бумаги, ведаться с присутственными местами, о значении которых он не имел ясного понятия, спрашивать о чем-то главного управляющего, ехать в имения и принимать то огромное число лиц, которые прежде не хотели знать о его существовании и которые теперь были бы обижены и огорчены, ежели бы он не захотел их видеть. Все эти разнообразные люди — деловые, родственники, знакомые,— все были одинаково хорошо, ласково расположены к молодому наследнику[1] — все они, очевидно, несомненно были убеждены в высоких достоинствах Pierre. Беспрестанно он слышал слова: «с вашей необыкновенной

---

[1] На полях: *Богатство: боится обмануть ожидания, стеснен, в тумане (так нужно и будет хорошо. Но, что будет, не видать было). Деньги князю Василью.*

МОСКВА

Литография, 40-е годы XIX в.

добротой», или «при вашем прекрасном сердце» или «вы так сами чисты, граф», или «при вашем уме», или «ежели бы он был так умен, как вы» и т. п., что он под конец верил своей доброте и своему уму, тем более, что и всегда в глубине души ему казалось, что он добрее и умнее [большинства людей] почти всех людей, которых он встречал. Даже люди, прежде бывшие злыми и очевидно враждебными, делались нежными и любящими. Столь сердитая старшая из княжен после похорон пришла в комнату Pierr'a и, опуская глаза и беспрестанно вспыхивая, сказала Pierr'у, что она очень жалеет о бывших между ними недоразумениях и что теперь она не чувствует себя в праве ничего просить больше, как только того, чтобы ей позволено было, после постигшего ее удара, остаться на несколько недель в доме, который она так любила, в котором стольким пожертвовала. Она не могла удержаться и заплакала при этих словах. Pierre взял ее за руку, просил успокоиться и не покидать никогда этого дома. И с этой поры княжна стала вязать ему шарф, заботиться о его здоровьи и говорить ему, что она только боялась его и рада теперь, что он позволил ей любить себя.

— Сделай это для нее, mon cher, все-таки она много пострадала от покойника,— сказал ему князь Василий, давая подписать какую-то бумагу в пользу княжны, и с тех пор старшая княжна стала еще добрее. Младшие сестры стали также добрее; в особенности самая младшая, хорошенькая, с родинкой часто смущала Pierr'a своим смущением при виде Pierr'a. Вскоре после смерти отца он писал князю Андрею. В коротком ответе своем из Брюнна князь Андрей писал ему между прочим: «Трудно тебе будет теперь, мой милый, ясно смотреть, даже и поверх очков, на свет божий. Помни, что теперь всё, что есть низкого и грязного, будет окружать тебя, а всё благородное будет отстраняться». «Он бы этого не сказал, ежели бы он видел их доброту и искренность»,— подумал Pierre. Pierr'у так естественно казалось, что все его любят, так казалось бы неестественно, ежели бы кто-нибудь не полюбил его, что он не мог не верить в искренность людей, окружавших его [2]. Редко, редко он находил время почитать и подумать о любимых своих предметах: о идеях революции, и о Буонапарте, и о стратегии, которая теперь, следя за военными событиями, начинала страстно занимать его. В окружающих себя людях он не находил сочувствия к этим интересам. [Да и кроме того, несмотря на то, что ему иногда приходил вопрос, зачем нет около него более симпатичных людей, общее впечатление, производимое на него выражением этой общей любви, было состояние].

Ему постоянно было некогда. Он постоянно чувствовал себя в состоянии кроткого и веселого опьянения. Он чувствовал себя центром какого-то важного общего движения. Чувствовал, что от него что-то постоянно ожидается, чувствовал, что, не сделай он того-то, он огорчит многих и лишит их ожидаемого, а что, сделай он это, всё будет хорошо и очень хорошо. Он делал то, что требовали от него, но это что-то очень хорошее всё оставалось впереди.

Более всех других в это первое время как делами Pierr'a, так и им самим овладел князь Василий. Со времени смерти князя Безухова он не выпускал из рук Pierre. Он имел вид человека, отягченного делами, усталого, измученного, но из сострадания не могущ⟨его⟩ наконец, бросить на произвол судьбы и плутов этого беспомощного юношу, сына его друга (après tous [3]), и с таким огромным состоянием. В те несколько дней, которые он пробыл в Москве после смерти графа Безухова, он призывал к себе Pierr'a или сам приходил к нему и предписывал ему, что нужно было делать, таким тоном усталости и уверенности, как будто он всякий

---

[2] На полях: *Pierre начал заниматься наукой, библиотекой, меценатством и учесть свое имение, но некогда было.*

[3] впрочем

раз приговаривал: «Vous savez que je suis accablé d'affaires et que ce n'est que par pure charité, que je m'occupe de vous mais il faut que cela finisse et vous savez bien que ce que je vous propose est la seule chose faisable»[4].

— Ну, мой друг, завтра мы едем, наконец,— сказал он ему раз, закрывая глаза и перебирая пальцами его локоть и таким тоном, как будто то, что он говорил, было давным давно решено между ними и не могло быть решено иначе, несмотря на то, что Pierre в первый раз слышал это.— Завтра мы едем, я тебе дам место в своей коляске. Я очень рад. Здесь у нас всё важное покончено. А мне уж давно бы надо. Вот я получил от князя. Я его просил об тебе, и ты зачислен в дипломатический корпус и сделан камер-юнкером.

Несмотря на всю силу тону усталой уверенности, что это не могло быть иначе, Pierre, так долго думавший о своей карьере, хотел было возражать, но князь Василий перебил его.

А. А. ФЕТ
Фотография, 1861 г.

— Mais, mon cher, я это сделал для себя, для своей совести, и меня благодарить нечего. Никогда никто не жаловался, что его слишком любили, а потом ты свободен, хоть завтра брось, вот ты всё сам в Петербурге увидишь. И тебе давно пора от этих ужасных воспоминаний.— Князь Василий вздохнул.— Так, так, моя душа. А мой камердинер пускай в твоей коляске едет. Ах, да, я было и забыл,— прибавил еще князь Василий.— Ты знаешь, mon cher, что у нас были счеты с покойным, так с рязанских [передай мне] я получил и оставлю. Тебе не нужно. Мы с тобой сочтемся.

То, что князь Василий называл «с рязанских», было несколько тысяч оброка, к〈оторые〉 к〈нязь〉 В〈асилий〉 оставил у себя...

[В Петербурге Pierre остановился жить у князя Василья и там, в особенности в семействе князя, почувствовал себя окруженным такой любовью, к которой он начал уже привыкать и которую считал своею принадлежностью.]

В Петербурге, так же как и в Москве, атмосфера нежных, любящих людей окружала Пьера. Он не мог отказаться от места, скорее звания (потому что он ничего не делал), которое доставил ему князь Василий, и знакомств, зовов и общественных занятий было столько, что Pierre еще больше, чем в Москве, испытывал это чувство отуманенности, торопливости и всё наступающего, но не совершающегося блага. Из прежнего холостого общества Pierr'а многих не было в Петербурге. Гвардия была в походе. Долохов разжалован, и Анатоль в армии, в провинции, и потому Pierr'у не удавалось проводить ночи, как он любил проводить их прежде. Всё время его проходило на обедах, балах и преимущественно у князя

[4] Ты знаешь, я завален делами; но было бы безжалостно покинуть тебя так, но это должно кончиться; и ты знаешь, что то, что я тебе предлагаю, есть единственно возможное.

Василья в обществе старой, толстой княгини и красавицы Hélène [в отношении которой он невольно был поставлен в свете в обязанность исполнять столь непривычную ему роль cousin или брата, так как они виделись каждый день и жили вместе. Не хотелось ли Hélène танцовать с кем-нибудь, она прямо говорила Pierr'у, чтоб он был ее кавалером. Она посылала его сказать матери, что пора ехать, и узнать, приехала ли карета, и поутру, гуляя, взять ее перчатки].

Анна Павловна Шерер более всех выказала Pierr'у перемену, происшедшую в общественном взгляде на него. Прежде, как и в неуместном разговоре, к<оторый> завел у нее в гостиной Pierre о французской революции, он постоянно чувствовал, что говорит неловкости, что он неприлично, бестактно ведет себя, что Ипполит скажет глупое слово, и оно кстати, а его речи, кажущиеся ему умными, пока он готовит их в своем воображении, делаются глупыми, как скоро он громко говорит, и эта роковая неловкость, испытываемая им в обществе Анны Павловны, вызывала его на отпор, особенно резкий разговор. «Всё равно,— думал он,— коли уж всё выходит неловко, так буду говорить всё». И так он доходил до таких разговоров, как про Vicomte. Это было прежде. Но теперь напротив. Всё, что ни говорил он, всё выходило charmant[5]. Ежели даже Анна Павловна не говорила этого, то он видел, что ей хотелось это сказать, и она, менажируя скромность, воздерживалась от этого[6].

В начале зимы 1805 на 1806 год Pierre получил от Анны Павловны обычную розовую записку с приглашением, в которой было прибавлено: «Vous trouverez chez moi la belle Hélène, qu'on ne se lasse jamais de voir»[7]. Читая это место, Pierre в первый раз почувствовал, что между ним и Hélène есть какая-то связь, признаваемая другими людьми, и мысль эта в одно и то же время и испугала его, как будто на него накладывались обязательства, которые он не мог сдержать, и вместе понравилась ему, как забавное предположение.

Вечер Анны Павловны был такой же, как и первый, только новинкой, к<оторою> угащивала А<нна> П<авловна> своих гостей, был теперь не Мортемар, а дипломат, приехавший из Берлина и привезший свежейшие подробности о пребывании государя Александра в Потсдаме и о военных действиях. Pierre был принят Анной Павловной с оттенком грусти, относившейся, очевидно, к свежей потере молодого человека, и грусти точно такой же, как и та высочайшая грусть, которая выражалась при упоминаниях о августейшей императрице Марии Федоровне. Pierre, сам не зная почему, почувствовал себя польщенным. Анна Павловна с своим обычным искусством составила кружки своей гостиной. Большой кружок, где был князь Василий и генералы, пользовался дипломатом. Другой кружок был у чайного столика. Pierre хотел присоединиться к первому, но Анна Павловна, находившаяся в раздраженном состоянии полководца на поле битвы, когда приходят тысячи новых блестящих мыслей, которые едва успеваешь приводить в исполнение, Анна Павловна, увидав Pierr'а, тронула его пальцем: — Attendez, j'ai des vues sur vous pour ce soir[8].— Она взглянула на Hélène, улыбнулась ей.— Ma bonne Hélène, il faut que vous soyez charitable pour ma pauvre tante, qui a une adoration pour vous. Allez lui tenir compagnie pour 10 minutes[9]. А чтоб вам не очень скучно было, вот вам рыцарь, к<оторый> не откажется за вами следовать.

Красавица направилась к тетушке, но Pierr'а Анна Павловна уже удержала подле себя с видом необходимости сделать еще последнее необходимое распоряжение.

---

[5] очаровательно

[6] По тексту запись: *Глупость не мешает кокетству.*

[7] Вы застанете у меня прекрасную Элен, на которую никогда не устанешь любоваться.

[8] Погодите, у меня есть на вас виды на этот вечер.

[9] Моя милая Элен, надо, чтобы вы были сострадательны к моей бедной тетке, которая питает к вам обожание. Побудьте с ней минут 10.

— Не правда ли, она восхитительна,— сказала она Pierr'у, указывая на отплывающую величавую красавицу. [И как] Et quelle tenue![10] Для такой молодой девушки и такой такт, такое мастерское умение держать себя! Это происходит от сердца! Счастлив будет тот, чьей она будет. С нею самый несветский муж будет невольно и без труда занимать блестящее место в свете. Не правда ли? Я только хотела знать ваше мнение.— И Анна Павловна отпустила Pierr'a. Pierre искренно отвечал утвердительно на вопрос Анны Павловны о искусстве Hélène держать себя. Ежели он когда-нибудь думал об Hélène, то он думал именно о том необыкновенном ее спокойном умении быть приятной в свете.

Тетушка приняла в свой уголок двух молодых людей, но, казалось, желала скрыть свое обожание к Hélène и желала более выразить свой страх перед Анной Павловной. Она взглядывала на племянницу, как бы спрашивая, что ей делать с этими людьми. Отходя от них, Анна Павловна опять тронула пальчиком рукав Pierr'a и проговорила: — J'espère que vous ne direz plus qu'on s'ennuie chez m-lle Scherer[11],— и взглянула на Hélène. Hélène улыбнулась с таким видом, который говорил, что она не допускала возможности при виде себя испытывать что-нибудь кроме восхищения. Тетушка прокашлялась, проглотила слюну и по-французски сказала, что она очень рада видеть Hélène. Потом обратилась к Pierr'у с тем же приветствием и с тою же миной.

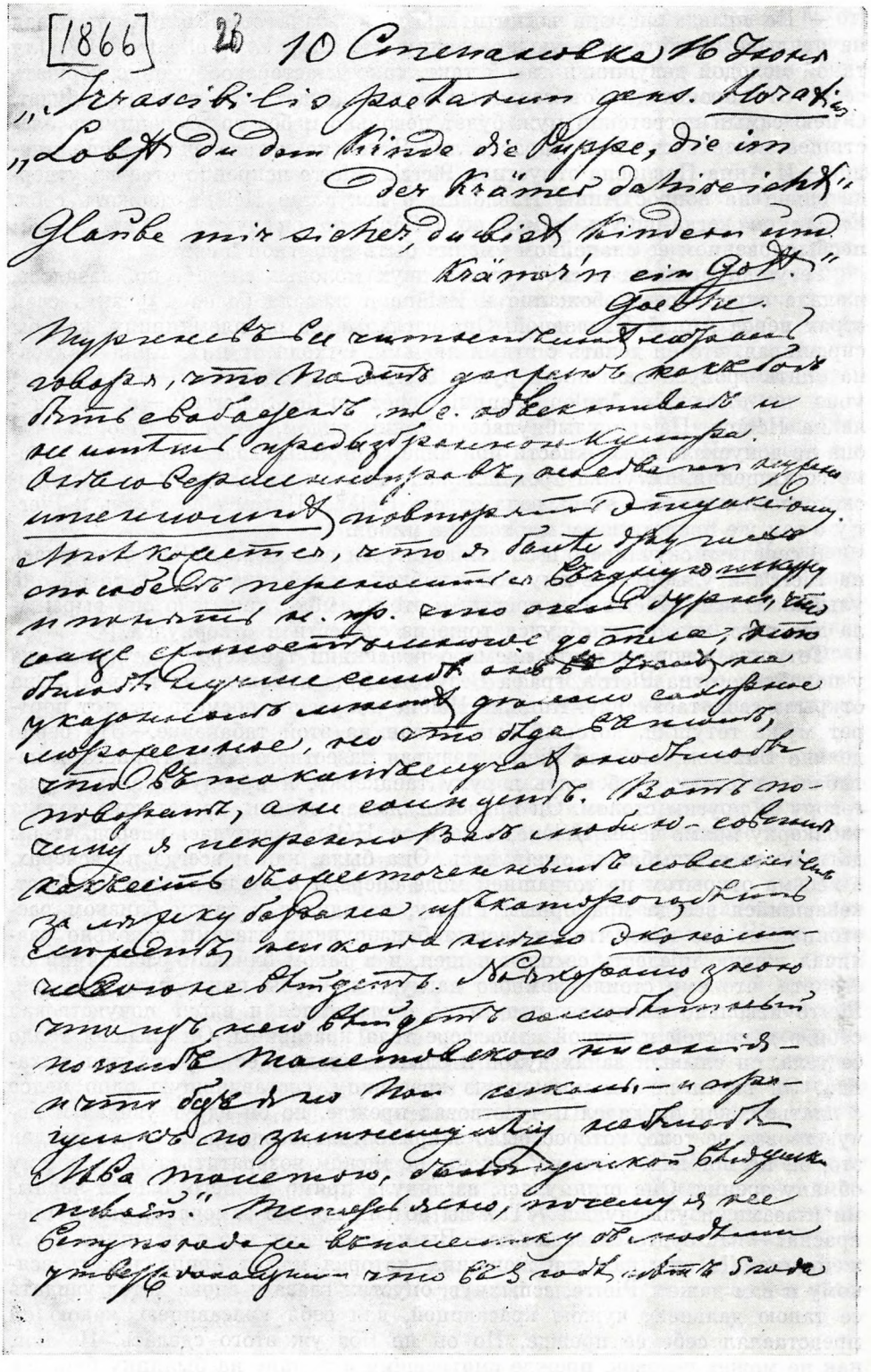
В середине скучливого и спотыкающегося разговора Hélène оглянулась на Pierr'a и улыбнулась ему той улыбкой, ясной, красивой, которой она улыбалась всем. Pierre так привык к этой улыбке, так мало она выражала для него, что он улыбнулся тоже из слабости и отвернулся.

Тетушка говорила в это время о коллекции табакерок, которая была у покойного отца Pierr'a, графа Безухова [она намекала на то, что]. Она открыла свою табакерку. Княжна Hélène попросила посмотреть этот портрет мужа тетушки, который был сделан на этой табакерке.— Это верно делано Винесом,— сказал Pierre, называя известного миниатюриста и нагибаясь к столу, чтоб взять в руку табакерку, и прислушиваясь к разговору за другим столом. Он привстал, желая обойти, но тетушка подала табакерку прямо через Hélène, позади ее. Hélène нагнулась вперед, чтобы дать место и, улыбаясь, оглянулась. Она была, как и всегда на вечерах, в весьма открытом по тогдашней моде спереди и сзади платье. Ее бюст, казавшийся всегда мраморным Pierr'у, находился в таком близком расстоянии от его глаз, что он своими близорукими глазами невольно различал живую прелесть ее плеч и шеи, и в таком близком расстоянии от его рта, что ему стоило немного нагнуться, чтобы прикоснуться к ней. Pierre невольно нагнулся, испуганно отстранился и вдруг почувствовал себя в душистой и теплой атмосфере тела красавицы. Он слышал тепло ее тела, он слышал запах духов и слышал шелест ее корсета при дыхании. Он видел не ее, мраморную красавицу, составлявшую одно целое с платьем, как он видел и чувствовал прежде, но он вдруг увидал и почувствовал ее тело, которое было закрыто только одеждой. И раз увидав это, он не мог видеть иначе, как мы не можем возвратиться к прежнему обману зрения. Она оглянулась, взглянула прямо на него, блестя черными глазами, и улыбнулась. «Так вы до сих пор не замечали, как я прекрасна? — как будто сказала она.— Вы не замечали, что я женщина. Да я женщина. Да еще какая и женщина, которая может принадлежать всякому и вам даже». Pierre, вспыхнув, опустил глаза и снова хотел увидать ее такою дальнею, чужою красавицей, для себя красавицею, какою он представлял себе ее прежде. Но он не мог уж этого сделать. Не мог, как не может человек, прежде смотревший в тумане на былинку бурьяна и видевший в ней дерево, увидав былинку, вновь увидать в ней дерево.

---

[10] И как держит себя!

[11] Я надеюсь, вы не скажете другой раз, что у м-ль Шерер скучают.



[1866] 26 10 Сентября 16 Июля

„Irrasibilis praetarum gens. Horatius

„Lobst du dem Kinde die Puppe, die im Kramer dahineicht,

Glaube mir sicher, du bist Kindern und Krämern ein Gott."

Goethe.

Тургеневъ не читавшій еще романа, говоря, что надо дать ему какъ бы выбродить, т. е. забыть и не читать предварительно Кутузова, отдаю вершенно справедливо, основываясь на прежнемъ повторяетъ упрекъ. Мнѣ кажется, что я бы тотчасъ отъ себя перенесся въ другую эпоху и читать н. пр. что одни нравы, тѣ самые существенные детали, что были прежде сильно украшены мною, сдѣлались сухими, но что бы я читать, что въ такой-то эпоху, поверилъ, или сомнѣвался. Вотъ почему я искренно благодарю любезнаго совѣтника за мѣру брать на такой-то [illegible] не выдерживаетъ. Выдержано зрѣло, что не выдержитъ самостоятельной критики Толстого. Но сомнѣнія — и отрицаніе по зимнему пути надо [illegible] Ѳа Толстого, [illegible] будущихъ [illegible]. Теперь ясно, почему я все [illegible] Толстому объ [illegible] утверждающимъ что въ [illegible] [illegible]

СТРАНИЦЫ ПИСЬМА А. А. ФЕТА К ТОЛСТОМУ ОТ 16 ИЮЛЯ 1866 Г. ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ «1805 ГОДА» (В ПОДЛИННИКЕ ОШИБОЧНО: 16 ИЮНЯ)

«...Главная задача решена: выворотить историческое событие наизнанку и рассматривать его не с официальной шитой золотом стороны парадного кафтана, а с сорочки, то есть рубахи, которая к телу ближе»

Он смотрел и видел женщину, дрожавшую в платье, прикрывавшем ее. Мало того, он в ту же минуту почувствовал, что Hélène не только могла быть, но должна быть или была его женой, что это не может быть иначе. Он знал это так же верно, как бы он знал это, стоя под венцом с нею.

Как это будет и когда, он не знал, не знал даже, хорошо ли это будет. Ему даже чувствовалось, что это нехорошо почему-то, но он знал, что это будет. [Он чувствовал, что не только он сам, но и все знают, что это будет, и это знание еще более убеждало его в неминуемости этого события.]

Bon, je vous laisse dans votre petit coin, je vois que vous y êtes très bien[12],— сказал голос Анны Павловны. И Pierre, в страхе вспоминая, не сделал ли он чего-нибудь предосудительного, краснея, оглядывался вокруг себя, чувствуя, что все знают, так же как и он, про то, что с ним случилось.

Через несколько времени, когда он перешел к большому кружку, Анна Павловна сказала ему: — On dit que vous embelissez votre maison de Petersbourg[13].— (Это была правда. Архитектор показал, что этого нужно ему, и Pierre, сам не зная зачем, отделывал дом в Петербурге).— C'est bien, mais ne déménagez pas chez le Prince Basile. Il est bon d'avoir un ami comme le Prince[14],— сказала она, улыбаясь князю В⟨асилию⟩.— J'en sais quelque chose, n'est-ce pas? Et vous êtes[15]? Вам нужен совет.— Она помолчала.— Ежели вы женитесь, ну, другое дело.— И она соединила их в один взгляд. Pierre не смотрел на Hélène, и она уже не отдалялась от него, она была всё так же странно близка, близкой ему вся, с своим прекрасным телом, запахом, ⟨*1 нрзб*⟩ кожей и румянцем женской страсти. Он промычал что-то и покраснел.

Вернувшись домой, Pierre долго не мог заснуть, думая о том, что с ним случилось. Что же случилось с ним? Ничего. Он только понял, что женщина, которую он знал ребенком, которую он презирал, про которую он рассеянно говорил: «Да, хороша», когда ему говорили, что Hélène красавица, он понял, что эта женщина может и ему дать целый мир наслаждений, о котором он не думал. «Но она глупа, я сам говорил, что она глупа»,— думал он[16]. Ведь это не любовь, напротив. Но что-то гадкое есть в том чувстве, которое она возбудила во мне, что-то запрещенное. «Отчего же мне достанется она? Мне говорили, что ее брат Анатоль был влюблен в нее, и она влюблена в него, и что для этого и удален Анатоль. Брат ее Иполит, отец ее князь Василий. Я не должен любить ее»,— рассуждал он, и в то же время как он рассуждал так,— еще рассуждения эти оставались неоконченными — как он заставал себя улыбающимся и сознавал, что другой ряд рассуждений всплывал из-за первых, что он в то же время, как думал о ее ничтожестве, в то же время мечтал о том, как она будет его женою, как она может полюбить его, как она может быть совсем другою, и как всё то, что он об ней думал и слышал, может быть [вздором] неправдою, и он опять видел не ее прежнюю, а ее шею, плечи, грудь. Но нет, отчего ж прежде мне не приходила эта мысль. И опять он говорил себе, что это невозможно, что что-то гадкое, противуестественное ⟨неблагородное?⟩ было бы в этом браке. Он вспоминал ее прежние слова, взгляды, и слова и взгляды тех, кто их видал вместе. Он с ужасом вспомнил слова и взгляд Анны Павловны, когда она говорила ему о доме, вспомнил сотни таких же намеков со стороны князя Василия и других, и на него нашел ужас: не связал ли он себя уже

---

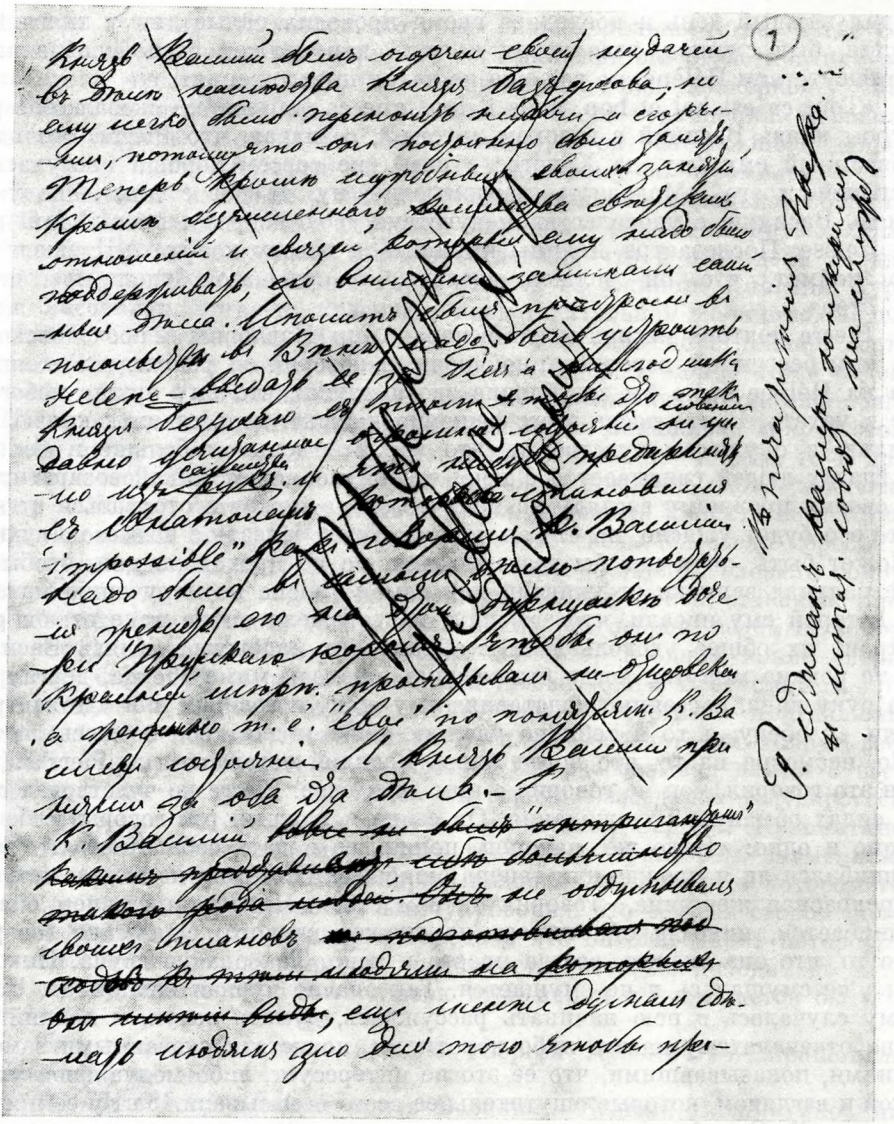
[12] Хорошо, я вас оставлю в вашем уголке, я вижу, вам там хорошо.

[13] Говорят, вы отделываете свой петербургский дом.

[14] Это хорошо, но не переезжайте от князя.

[15] Хорошо иметь такого друга, как князь. Я кое-что знаю, не правда ли? А вы?

[16] На полях: *Он не мог возвратиться к прежнему обману зрения. Она под платьем. «Отчего мне прежде не приходило в голову»? — спрашивал он.*



НАЧАЛО ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ

Автограф

чем-нибудь в исполнении такого дела, которое погубило бы всю его жизнь, и он твердо решился отдаляться от нее, наблюдать за собой и уехать. Но в то время, как он сам себе выражал это решение, с другой стороны души всплывал ее образ, и он говорил: «Отдаться ей, всё забыть, всё бросить — вот это счастье, и как я слеп, что не видел прежде возможности этого великого счастья».

В ноябре месяце 1805 года князь Василий должен был ехать на ревизию в Москву и другие четыре губернии. Он устроил для себя это назначение с тем, чтобы побывать заодно в своих расстроенных имениях, в имениях будущего зятя, молодого графа Безухова, и, захватив с собой в месте расположения его полка сына Анатоля, с ним вместе заехать к князю Николаю Андреевичу Болконскому с тем, чтобы женить сына на дочери этого богатого старика. Но прежде отъезда и этих новых дел, князю Василью нужно было решить дело с Pierr'ом, который, правда,

ездил каждый день и последнее время проводил целые дни у князя Василия, был смешон, взволнован и глуп, как должен быть влюбленный, в присутствии Hélène, но всё еще не делал предложения.

«Tout ça est bel et bon, mais il faut que ça finisse»[17],— сказал себе раз утром князь Василий с вздохом грусти[18], сознавал, что Pierre, стольким обязанный ему (ну, да Христос с ним), не совсем хорошо поступает в отношении его. «Молодость, легкомыслие, ну, да бог с ним»,— подумал князь Василий, с удовольствием чувствуя свою доброту, mais il faut que ça finisse. Послезавтра Лелины именины, я позову кое-кого. И ежели он не поймет, что он должен сделать, то уж это будет мое дело. Я отец».

Pierre полтора месяца после вечера Анны Павловны и последовавшей за ним бессонной, взволнованной ночи, в которой он решил, что женитьба на Hélène было бы загубление своей жизни, что ему нужно избегать ее и уехать, Pierre после этого решения каждый день ездил к князю Василию и с ужасом чувствовал, что каждый день он больше и больше в глазах людей связывается с нею, что он не может никак возвратиться к своему прежнему взгляду на нее, что он не может и оторваться от нее, что это будет ужасно, но что он должен будет связать с нею свою судьбу. Может быть, он и мог бы воздержаться, но не проходило дня, чтобы он не получал записки от княгини или самой Hélène по поручению матери, в которой ему писали, что его ждут и что ежели он не приедет, он расстроит их общее удовольствие и обманет их надежды... Князь Василий в те редкие минуты, когда бывал дома, проходя мимо Pierr'a, дергал его за руку вниз, рассеянно подставлял ему щеку и говорил или «до завтра», или «к обеду, а то я тебя не увижу», или «я для тебя остаюсь» и т. п. Но, несмотря на то, что когда князь Василий оставался для Pierr'a (как он это говорил), он не говорил с ним двух слов. Pierre не чувствовал себя в силах обмануть их ожидания. Он ездил и каждый раз говорил себе все одно и одно: «Надо же, наконец, понять ее и дать себе отчет, кто она? Ошибался ли я прежде или теперь ошибаюсь. Нет, она не глупа, нет, она прекрасная женщина,— говорил он сам себе.— Никогда ни в чем она не ошибается, никогда она ничего не скажет глупого. Она мало говорит, но то, что она скажет, всегда просто и ясно. Так она не глупа. Никогда она не смущалась и не смущается. Так она не дурная женщина». Часто ему случалось с нею начинать рассуждать, думать вслух, и всякий раз она отвечала ему на это либо короткими, но кстати сказанными замечаниями, показывавшими, что ее это не интересует, либо молчаливой улыбкой и взглядом, которые ощутительнее всего показывали Pierr'y ее превосходство[19]. Она была права, признавая все рассуждения вздором в сравнении с этой улыбкой. Она встречала его всегда радостной, доверчивой, к нему одному относившейся улыбкой, в которой было что-то значительнее того, что было в общей улыбке, украшавшей всегда ее лицо. Всё было хорошо. Pierre знал, что все ждут только того, чтобы он, наконец, сказал одно слово, переступил через известную черту, и он знал, что он рано или поздно переступит через нее, но какой-то непонятный ужас обхватывал его при одной мысли об этом неизбежном шаге.

Тысячи раз в продолжении этого полутора месяца, во время которого он чувствовал себя все дальше и дальше втягиваемым в ту пропасть, которая страшила его, Pierre говорил себе: «Да что же это? Нужно энергии. Разве нет у меня ее?» И он нравственно хотел приподниматься, но он с ужасом чувствовал, что не было у него в этом случае той энергии, которую он знал в себе и которая действительно была в нем. Pierre при-

---

[17] Всё это прекрасно, но всему должен быть конец.

[18] На полях: *Скоро граф Безухов привычным, нежным тогда, как никогда не был неправ, что нежный. Он выучил* ⟨*1 нрзб*⟩ *у других.*

[19] В автографе: *превосходству.*

надлежал к числу тех людей, которые сильны только тогда, когда они чувствуют себя вполне чистыми. А с того дня, как его страстной натурой овладело то чувство желания, которое он испытал над табакеркой у Анны Павловны, несознанное чувство виновности этого стремления, парализовало его энергию. Помочь ему было некому, и он всё дальше и дальше шел к тому шагу, [который он не] 〈к〉 которому он стремился.

В день именин Hélène у князя Василия ужинало маленькое общество людей самых близких, как говорила княгиня,— родные и друзья. Всем этим родным, друзьям дано было чувствовать, что в этот день должна решиться участь именинницы. Гости сидели за ужином. Княгиня Курагина, массивная, когда-то красивая, представительная женщина, сидела на хозяйском месте. По обеим сторонам ее сидели почетнейшие гости, старый генерал, его жена, Анна Павловна Шерер. В конце стола сидели менее пожилые и почетные гости, и там же сидели, как домашние, Pierre и Hélène — рядом. Князь Василий не ужинал: он похаживал вокруг стола в самом веселом расположении духа, подсаживаясь то к тому, то к другому из гостей, каждому он говорил небрежно приятное слово, исключая Pierr'у и Hélène, которых он и не замечал, казалось, присутствия. Князь Василий оживил всех. Ярко горели восковые свечи, блестели серебро и хрусталь посуды, наряды дам и золото и серебро эполет, сновали вокруг стола слуги в красных кафтанах; слышались звуки ножей, стаканов, тарелок и звуки оживленного говора нескольких разговоров, ведомых вокруг этого стола. Слышно было, как старый камергер в одном конце уверял старушку баронессу в своей пламенной любви к ней и ее смех; с другой — рассказ о неуспехе Марьи Викторовны, с третьей — приглашение на завтра. У середины стола князь Василий сосредоточил вокруг себя слушателей, и его один голос слышался. Он рассказывал дамам с шутливой улыбкой на губах последнее — в середу — заседание государственного совета, на котором был получен и читался Сергеем Кузьмитиновым [20], новым петербургским военным генерал-губернатором, знаменитый тогда рескрипт государя Александра Павловича из армии, в котором государь, обращаясь к Сергею Кузьмичу, говорил, что со всех сторон получает он заявления о преданности народа и что он благодарит петербургских жителей за выражения их преданности, которые доходят до него, и что он гордится честью быть главою этой нации и постарается быть ее достойным.

— Так, так и не пошло дальше «Сергей Кузьмич?» — спрашивала, смеясь, одна дама.

— Ни на волос,— отвечал князь Василий.— Бедный Вязьмитинов никак не мог пойти далее. Несколько раз он принимался сначала за письмо, но только что скажет Сергей... и слезы, и уж Ку...зьми...ч заглушались рыданиями, и дальше он не мог, и опять платок, и опять Кузьмич и слезы... так что уже мы попросили прочесть другого.

— Кузьмич... и слезы...— повторил другой.

— Не будьте злы,— погрозив пальцем, с другого конца стола проговорила Анна Павловна,— c'est un si brave et excellent homme notre bon Viazmitinoff... [21].

Все вступили в разговор, завязавшийся на верхнем, почетном, конце стола, все были, казалось, веселы и под влиянием самых различных оживленных настроений; только Pierre и Hélène молча сидели рядом почти на нижнем конце стола; на лицах обоих сдерживалась сияющая улыбка стыдливости перед своим счастьем, и что бы ни говорили, как бы ни смеялись и шутили другие, как бы аппетитно ни кушали рейнвейн и сотэ, и мороженое, как бы ни избегали взглядом эту чету, как ни казались равнодушны, невнимательны к ней, чувствовалось почему-то, по изредка

[20] Очевидно, по ошибке Толстой вместо: Сергеем Кузьмичом Вязьмитиновым написал: *Кузьмитиновым.*

[21] он такой славный человек, наш добрый Вязьмитинов...

бросаемым на них взглядам, что и анекдот о Сергее Кузьмиче, и смех, и кушанье — всё было притворно, все силы внимания всего этого общества были обращены только на Pierr'a и Hélène. Князь Василий представлял всхлипыванья Сергея Кузьмича и в это время обегал взглядом дочь; и в то время как он смеялся, выражение его лица говорило: «Так, всё идет хорошо, нынче всё решится». Анна Павловна грозила ему за notre bon Vaizmitinoff, а в глазах ее, которые мельком блеснули в этот момент на Pierr'a, он читал поздравление с будущим зятем и счастьем дочери. Старая княгиня, предлагая с грустным вздохом вина своей соседке и сердито взглянув на дочь, этим вздохом как будто говорила: «Да, теперь нам с вами ничего больше не осталось, как пить сладкое вино, моя милая; теперь время этой молодежи быть так дерзко и вызывающе счастливой». Старый генерал мрачно и презрительно повторил слова своей жены, указывая тем на их глупость. «Нет того, чтобы быть такой же красавицей и милой, как эта красавица,— подумал он,— а только врать». «И что за глупость всё то, что я рассказываю о Венском кабинете, как будто это меня интересует,— думал дипломат, взглядывая на счастливые лица любовников,— вот это счастье!»

Среди тех ничтожно мелких, искусственных интересов, которые связывали это общество, попало простое чувство стремления красивых и здоровых молодых мужчины и женщины друг к другу. И это серьезное человеческое чувство подавило всё и парило над всем их искусственным лепетом. Шутки были не веселы, новости не интересны, оживление — очевидно поддельно. Не только они, но лакеи, служившие за столом, казалось, чувствовали то же и забывали порядок службы, заглядываясь на стройную, мраморную, прямую фигуру Hélène с ее сияющим лицом, получившим вдруг для всех новое значение, и на это красное, толстое лицо Pierr'a, изнывавшего от сдержанной страсти. Казалось, и огни свечей сосредоточены были только на эти два счастливые лица.

Pierre чувствовал, что он был центром всего, и это положение и радовало и стесняло его. Он ничего не видит, не помнит, не слышит. Он находится в состоянии человека, углубленного в какое-нибудь занятие. Только изредка, неожиданно, мелькают в его душе отрывочные мысли и впечатления из действительности.

«Так уж всё кончено! — думает он.— И как это всё сделалось? Так быстро? Теперь я знаю, что не для нее одной, не для себя одного, но и для всех это должно неизбежно свершиться. Они все так ждут этого, так уверены, что это будет, что я не могу, не могу обмануть их. Но как это будет? Не знаю»,— и он опять погружается в свое сосредоточивающее все его душевные способности занятие. Опять он видит подле самых глаз своих это лицо, эти глаза, этот нос и начало бровей, и шею и начало волос и груди. То вдруг ему становится стыдно чего-то. Ему неловко, что он один занимает внимание всех, что он счастливец в глазах других, что он сибарит Парис, обладающий Эленой. Но, верно, это всегда так бывает, и так надо. И опять он слышит, видит, чувствует только ее, ее близость, ее дыхание, ее движения, ее красоту. И ему кажется, что это не она, а он сам так необыкновенно красив, что оттого-то и смотрят так на него, и он, счастливый общим удивлением, выпрямляет грудь, поднимает голову и радуется своему счастью. Вдруг какой-то голос, чей-то знакомый голос, слышится ему из той жалкой мелочной жизни, в которой и он жил прежде, в которой нет красоты и самозабвения, он слышит голос, который говорит ему что-то другой раз.

— Я спрашиваю у тебя, когда ты получил письмо от Болконского,— говорит голос князя Василия.— Как ты рассеян, мой милый.

Князь Василий улыбается, и Pierre видит, что все, все улыбаются на него и на Hélène. «Ну, что ж, коли вы все знаете,— говорит сам себе Pierre.— Ну, что ж? это правда». И он сам улыбается, открывая свои дурные зубы, и Hélène улыбается.

Когда же ты получил? Из Ольмюца? — повторяет князь Василий, которому будто нужно это знать для решения спора.

«И можно ли говорить и думать о таких пустяках?» — думает Pierre.

— Да, из Ольмюца,— отвечает он с вздохом соболезнования ко всем тем, кто не он в эту минуту.

От ужина Pierre повел свою даму за другими в гостиную. Гости стали разъезжаться и некоторые уезжали, не простившись с Hélène, как будто не желая отрывать ее от ее серьезного занятия; некоторые подходили на минуту и скорее отходили, запрещая ей провожать. Дипломат грустно молчал, выходя из гостиной. Ему представлялась вся тщета его дипломатической карьеры в сравнении с счастием Pierre. Старый генерал сердито проворчал на свою жену, когда она его спросила о его ноге. «Эка, старая карга,— подумал он.— Вот Элена Васильевна, так та и в 50 лет красавица будет».

— Кажется, что я могу вас поздравить,— прошептала Анна Павловна княгине и крепко пожала ее руку.— Ежели бы не мигрень, я бы осталась.

Княгиня ничего не отвечала; ее мучала зависть к счастью своей дочери.

Pierre во время проводов гостей долго оставался с Hélène в маленькой гостиной, где они сели. Он часто и прежде в последние 11/2 месяца, оставался один с Hélène и никогда не говорил ей о любви, но теперь он чувствовал, что это было необходимо, и не мог решиться на этот последний шаг. Ему, больше чем прежде, всё казалось стыдно, что он тут один с этой красавицей, которая так привлекает его. Как будто тут, подле Hélène он занимал чье-нибудь чужое место. «Не для тебя это счастье,— говорил ему какой-то внутренний голос.— Это счастье для тех, у кого нет того, что есть у тебя». Но надо было сказать что-нибудь, и он заговорил. Он спросил у нее, довольна ли она нынешним вечером? Она как и всегда с простотой своей отвечала, что нынешние именины были для нее одними из самых приятных. И она заговорила о тех, кто были у них, и она про всех говорила хорошо.

Кое-кто из ближайших родных еще оставались. Они сидели в большой гостиной. Князь Василий ленивыми шагами подошел к Pierr'у. Pierre встал и сказал, что уже поздно. Князь Василий строго-вопросительно посмотрел на него, как будто то, что он сказал, было так странно, что нельзя было и расслышать. Но вслед за тем выражение строгости изменилось, и князь Василий дернул за руку вниз Pierr'а, посадил его и ласково улыбнулся.

Ну, что, Леля? — обратился он тотчас же к дочери с тем небрежным тоном привычной нежности, который усваивается родителями, с детства ласкающими своих детей, но который князь Василием был усвоен посредством подражания.

И он опять обратился к Pierr'у:

— Et Сергей Кузьмич! N'est pas c'est charmant? [22]

Pierre улыбнулся, но по его улыбке видно было, что он понимал,— не анекдот ⟨о⟩ Сергее Кузьмиче интересовал в это время князя Василья; и князь Василий понял, что Pierre понимал это. Он вдруг смутился, пробурлил что-то и вышел. Вид смущения этого старого светского человека тронул Pierr'а, он оглянулся на Hélène,— и она, казалось, была смущена и взглядом говорила: «Что ж, вы сами виноваты».

«Надо неизбежно перешагнуть, но не могу, я не могу»,— думал Pierre и заговорил опять о постороннем, о Сергее Кузьмиче, спрашивал, в чем состоял этот анекдот, так как он его не расслышал. Hélène с улыбкой отвечала, что она тоже не знает.

Когда князь Василий вошел в гостиную, княгиня тихо говорила с пожилой дамой о Pierr'е.

---

[22] Не правда ли, это прелестно?

— Конечно, c'est un parti brillant, mais le bonheur, ma chère...[23].

— Les mariages se font dans les cieux[24],— отвечала пожилая дама.

Князь Василий, как бы не слушая дам, прошел в дальний угол и сел на диван. Он закрыл глаза и как будто дремал. Голова его было упала, и он очнулся.

— Aline,— сказал он жене,— allez voir ce qu'ils font[25].

Княгиня подошла к двери, прошлась мимо нее с значительным равнодушным видом и заглянула в гостиную. Pierre и Hélène так же чинно сидели и разговаривали.

— Всё то же,— отвечала она мужу.

— Князь Василий нахмурился, сморщил рот на сторону, что придало ему злое выражение, и вдруг, встряхнувшись, встал,— закинул назад голову и, приняв еще в большой гостиной торжественное счастливое выражение, решительными шагами, мимо дам, прошел в маленькую гостиную. Он скорыми шагами радостно подходил к Pierr'у. Лицо князя было так необыкновенно торжественно, что Pierre испуганно встал, увидав его.

— А я то? Я то? — заговорил князь Василий.— Жена мне только сказала. Поди сюда и ты, Леля.— Он обнял одной рукой Pierr'a, другой — дочь.— Я очень, очень рад.— Голос его задрожал.— Я любил твоего отца... и она будет тебе хорошая жена... Бог да благословит вас...

Он обнял дочь, потом опять Pierr'a и поцеловал его дурно пахучим ртом. Слезы лились по его щекам.

— Княгиня, иди же сюда,— прокричал он.

Трудный шаг был перешагнут, и Pierre чувствовал себя и облегченным и счастливым. Княгиня плакала, и пожилая дама тоже, Pieer'a целовали. И он целовал руки прекрасной Hélène. После благословений их опять оставили одних. Pierre молча держал ее руку и смотрел на ее поднимающуюся и опускающуюся грудь.

— Hélène! я страстно люблю тебя,— сказал он, и ему стыдно стало. Он взглянул в ее лицо. Она придвинулась к нему ближе. Лицо ее было красно.

— Ах, снимите эти... как эти...— она указывала на очки.

Pierre снял очки, и глаза его сверх той общей странности глаз людей, снявших очки, глаза его смотрели испуганно-вопросительно. Он хотел нагнуться над ее рукой и поцеловать ее, но она вдруг быстрым движением головы перехватила его губы и свела их с своими. Лицо ее в эту минуту поразило Pierr'a своим вдруг изменившимся неприятно-растерянным выражением. «Теперь уже поздно, всё кончено; да и я люблю ее»,— подумал Пьер.

Через 11/2 месяца он был обвенчан и поселился с женой в большом петербургском доме графов Безуховых.

⟨II⟩

После обручения Pierr'a с Hélène старый князь Николай Андреич Болконский получил письмо от князя Василья, извещавшего его о своем приезде вместе с сыном[1] («я еду на ревизию, и, разумеется, мне 100 верст не крюк, чтобы посетить вас, многоуважаемый благодетель,— писал он,— и Анатоль мой провожает меня, и едет в армию, и я надеюсь, что позволите ему лично выразить вам то глубокое уважение, которое он, подражая отцу, питает к вам»).

— Вот Marie и вывозить не нужно, женихи сами к нам едут,— неосто-

---

[23] это партия блестящая, но счастье, моя милая...

[24] Браки совершаются на небесах.

[25] Алина, пойди, посмотри, что они делают.

[1] На полях: *Для Анатоля было бы вкусно вино и только красивые женщины. Постройки — страсть старика.*

рожно сказала маленькая княгиня, услыхав про это. Князь Николай Андреич поморщился и ничего не сказал на это. [По утрам]

Через 2 недели после получения письма вечером приехали вперед люди князь Василья, а на другой день приехал и он сам с сыном. Старый Болконский всегда был невысокого мнения о характере князя Василья, но в последнее время, когда князь Василий далеко пошел в чинах и почестях, и особенно, судя по намекам письма и маленькой княгини, поняв намерение сватовства князя Василья, невысокое мнение перешло в чувство недоброжелательного презрения. Он постоянно фыркал, говоря про него. В тот день, как приехать князю Василью, князь Николай Андреич был особенно недоволен и не в духе. Оттого ли он был не в духе, что приезжал князь Василий, или оттого он был недоволен [что 〈должен?〉] приездом князя Василия, что был не в духе, но люди [знавшие], имеющие с ним дело, уже по одному лицу его и походке знали, что в этом состоянии он сердит, лучше избегать его. Как обыкновенно он вышел гулять в своей бархатной шубке с собольим воротником и такой же шапке. Накануне выпал глубокий снег. Князь пошел в сад, как предполагал управляющий, с тем чтобы придраться к чему-нибудь, но дорожка, по которой хаживал князь Николай Андреич в оранжереи, была уже расчищена, следы метлы виднелись на разметанном снегу и лопата была воткнута в рыхлую насыпь снега, шедшую с обеих сторон дорожки. Князь прошел по оранжереям. Всё было хорошо. Но на постройках он рассердился на архитектора за то, что крыша нового флигеля не была кончена и, несмотря на то, что это было известно ему вчера, разбранил Михаила Ивановича. Он уже подходил к дому, сопутствуемый управляющим.

— А проехать в санях можно? — спросил он.— Княгине прокатиться.

— Глубок снег, ваше сиятельство, я уж по прешпекту разметать велел.

Князь одобрительно наклонил голову и входил на крыльцо.

— Проехать трудно было.— прибавил управляющий.— Как слышно было, ваше сиятельство, что министр пожалуют к вашему сиятельству [я и расчистил].

Князь вдруг повернулся всем телом к управляющему.

— Что? Какой министр? Кто велел? — крикнул князь своим пронзительно-жестким голосом.— Для княгини, моей дочери, не расчистил, а для министра. У меня нет министров.

— Помилуйте, ваше сиятельство, я полагал...

— Ты полагал,— закричал князь всё более и более разгораясь, но и тут он еще не ударил бы Алпатыча, ежели бы он не успел своими словами раздразнить себя до последней степени.— И кто тебя выучил тому, чтобы за меня делать почести людям, которых я знать не хочу? Для дочери моей нельзя, а для кого-нибудь можно.— Этой мысли уж не мог вынести князь.

За обедом маленькая княгиня, княжна и m-lle Bourienne, знавшие, что князь не в духе, стояли, ожидая его. M-lle Bourienne с сияющим лицом, которое говорило: «Я ничего не знаю, я такая же как всегда», и княжна Марья — бледная, испуганная, с опущенными глазами. Тяжелее всего для княжны Марьи было то, что она знала, что в этих случаях надо поступать, как m-lle Bourienne, но не могла. Ей казалось: «Сделаю я так, как будто не замечаю (кроме того, что я не могу лгать), он подумает, что у меня нет сочувствия; сделаю я так, что я сама скучна и не в духе (что и правда), он скажет, как это и бывает, что я пос повесила, дуюсь и т. п.»

Князь взглянул на испуганное лицо дочери, фыркнул.

— Др! или дура! — проговорил он и обратился к m-lle Bourienne.

«И той нет, уж насплетничали»,— подумал он про маленькую княгиню, которой не было в столовой.

— А княгиня где? — спросил он.— Прячется?

— Она не совсем здорова,— весело улыбаясь, отвечала Bourienne.— Она не выйдет. Это так понятно в ее положении.

— Воображаю,— проговорил князь и сел за стол.

Тарелка ему показалась не чиста; он указал на пятно и бросил ее. Тихон подхватил ее. Маленькая княгиня была не нездорова; но она до такой степени непреодолимо боялась князя, что, услыхав о том, как он не в духе, она решила не выходить.

— Я боюсь за ребенка,— говорила она m-lle Bourienne.— Бог знает, что может сделаться от испуга.

— Sans doute, sans doute[2].

Вообще маленькая княгиня жила в Лысых Горах постоянно под чувством страха и антипатии; антипатии она не сознавала в себе к старому князю, потому что страх так преобладал, что она не могла чувствовать ее. Со стороны князя была та же антипатия, но заглушалась презрением. Княгиня полюбила особенно m-lle Bourienne, проводила с нею дни, просила ее ночевать с собой и с нею часто говорила о свекоре, судила его.

— Il nous arrive du monde, mon prince[3],— сказала m-lle Bourienne, своими розовенькими руками развертывая белую салфетку.— Son excellence le prince avec son fils, à ce que j'ai entendu dire?[4] — вопросительно сказала она.

— Гм! эта excellence — мальчишка, которого я тогда отвез и определил в Коллегию,— оскорбленно сказал князь так, как будто m-lle Bourienne хотела унизить его.— А сына для чего он везет, я не могу понять. Княгиня Лизавета Карловна и княжна Марья, а уж я не знаю, к чему он везет сюда этого франта. Мне это ненужно.— И он посмотрел на покрасневшую дочь.— Что с тобой? Ты нездорова что ли? От страха министра, как нынче мне этот болван Алпатыч сказал.

— Нет, mon père[5].

— Послать ко мне Алпатыча.

Как ни неудачно попала m-lle Bourienne на предмет разговора, она не остановилась и болтала о оранжерее, о красоте новой постройки и князь после супа смягчился, как она думала, от ее речей, в сущности же от того, что он поел супу и желудок начал варить.

После обеда он прошел к невестке. Маленькая княгиня сидела за маленьким столиком и болтала с Машей горничной. Она побледнела, увидав свекора.

— Да тяжесть какая-то.

Она была дурна, щеки опустились, губа поднялась кверху, глаза обтянуты книзу.

— Не нужно ли чего?

— Нет, merci.

— Ну, хорошо, хорошо.

Он вышел и дошел до официантской.

Алпатыч, в положении приговоренного к смерти, стоял в официантской.

— Закидана дорога?

— Закидана, ваше сиятельство, простите ради бога, по одной глупости...

Князь перебил его и засмеялся своим неестественным смехом.

— Ну, хорошо, хорошо.— Он протянул руку, которую поцеловал Алпатыч, и прошел в кабинет.

Вечером приехал князь Василий. Его встретили на прешпекте кучера и официанты, с криком провезли его возки и сани к флигелю по насыпанной снегом дороге.

---

[2] Несомненно, несомненно.
[3] К нам приезжают гости, князь.
[4] Его сиятельство князь с сыном, сколько я слышала?
[5] отец

Князю Василию и Анатолю были отведены отдельные комнаты[6]. Анатоль был совершенно спокоен и весел, каким он и бывал всегда. Как на всю жизнь свою он смотрел, как на веселую partie de plaisir[7], которую кто-то такой почему-то взялся и обязан доставлять ему, так он и смотрел на свою поездку к [старому] злому старику и к богатой уродливой наследнице. Всё это могло [быть] выдти, по его предположениям, очень хорошо и забавно, ежели обеды будут хороши и вино будет, да и женщины могут подвернуться красивые. «А отчего ж не жениться, коли она очень богата? Это никогда не мешает». Так думал Анатоль. Он ущипнул забежавшую хорошенькую горничную княгини и, громко смеясь, принялся за свой туалет.

Он выбрился, надушился с тщательностью и щегольством, сделавшимися его привычкою, и с прирожденным ему торжествующе-победительным выражением, выпячивая вперед грудь и высоко неся красивую голову, вошел в комнату к отцу. Около князя Василья хлопотали его два камердинера, одевая его; он сам оживленно оглядывался вокруг себя и весело кивнул входившему сыну, как будто он говорил: «Так, таким мне тебя и надо!»

— Нет, без шуток, батюшка, она очень уродлива? А? — спросил он, как бы продолжая разговор, не раз веденный во время путешествия.

— Полно, глупости! Главное дело — старайся быть почтителен и благоразумен с старым князем.

— Ежели он будет браниться, я уйду,— сказал он.— Я этих стариков терпеть не могу. А?

— Mon cher, je n'aime pas à vous entendre plaisanter sur ce chapitre[8]. Помни, что для тебя от этого зависит всё.

В это время в девичьей не только был известен приезд министра с сыном, но внешний вид их обоих был уже подробно описан. Княжна Марья сидела одна в своей комнате и тщетно пыталась преодолеть свое внутреннее волнение.

«Зачем они писали, зачем Lise говорила мне про это, ведь этого не может быть,— говорила она себе, взглядывая в зеркало.— Как я выйду в гостиную? Ежели бы он даже мне понравился, я бы не могла быть теперь с ним сама собою». И одна мысль о взгляде насмешки ее отца приводила ее в ужас.

Маленькая княгиня и m-lle Bourienne, получив все нужные сведения от горничной Маши, подвернувшейся Анатолю, о том, какой чернобровый красавец был министерский сын, и о том, как папенька их насилу ноги проволок на лестницу, а он, как орел, по три ступеньки за ним пробежал. Получив и т. п. сведения, маленькая княгиня с m-lle Bourienne, еще из коридора слышные своими приятными, оживленно переговаривавшимися голосами, вошли в комнату.

— Ils sont arrivés, Marie[9], вы знаете? — сказала маленькая княгиня, переваливаясь своим животом, подходя и падая в кресло. Она уже не была в той блузе, в которой сидела за обедом, а на ней было одно из лучших ее зеленое шелковое платье; голова ее была тщательно убрана, и на лице ее было оживленье, не скрывавшее, однако, опустившихся и помертвевших очертаний лица. В том наряде, в котором она бывала обыкновенно в обществах в Петербурге, еще заметнее было, как много она подурнела. На m-lle Bourienne тоже появилось уже незаметно какое-то усовершенствование наряда, которое придавало ее хорошенькому, свеженькому лицу еще более привлекательности.

— Eh bien, et vous restez comme vous êtes, chère princesse....[10],— заго-

---

[6] На полях: *Отношение князя Василия к сыну.*

[7] увеселительную прогулку

[8] Милый мой, я не хочу выслушивать твои шутки по этому поводу.

[9] Они приехали, Мари.

[10] Ну, а вы останетесь в чем были, княжна...

ворила она.— On va venir annoncer, que ces messieurs sont au salon; il faudra descendre, et vous ne faites pas un petit brin de toilette[11].

Маленькая княгиня подняла свою короткую верхнюю губку над белыми зубами, сама поднялась с кресла, позвонила горничную и поспешно и весело принялась придумывать наряд для княжны Марьи и приводить его в исполнение. Княжна Марья чувствовала себя оскорбленной в чувстве собственного достоинства тем, что приезд обещанного ей жениха волновал ее в тайне ее души, она стыдилась этого и старалась перед собою даже скрыть это чувство. Они же (ее belle soeur уже нарядилась) прямо говорили ей, что она должна сделать то же, предполагая это в порядке вещей. Сказать им, как ей совестно было за себя и за них, это значило выдать свое волнение; кроме того, отказаться от этого наряжания повело бы к продолжительным шуткам и настаиваниям. Она вспыхнула, прекрасные глаза ее потухли, некрасивое лицо ее покрылось пятнами, и с тем некрасивым выражением жертвы, чаще всего останавливающимся на ее лице, она отдалась во власть m-lle Bourienne и Лизы. Обе женщины заботились совершенно искренно о том, чтобы сделать ее красивою. Она была так дурна, что ни одной из них не могла прийти мысль о соперничестве с нею; поэтому они совершенно искренно, с тем наивным и твердым убеждением женщин, что наряд может сделать лицо красивым, принялись за ее одеванье.

— Нет, право, ma bonne amie[12],— это платье нехорошо,— говорила Lise,— вели подать, у тебя там есть масака. Право. А это нехорошо, слишком светло, нехорошо, нет нехорошо.

Нехорошо было не платье, но лицо и вся фигура княжны. Этого не чувствовали m-lle Bourienne и маленькая княгиня; им всё казалось, что, ежели приложить голубую ленту к волосам, зачесанным кверху, и спустить голубой шарф с коричневого платья и т. п., то всё будет хорошо. Но они забывали, что испуганное лицо и фигуру нельзя было изменить, и потому, как они ни видоизменяли раму и украшение этого лица, само лицо портило всё. После двух или трех перемен, которым покорно подчинялась княжна Марья, в ту минуту, как она была зачесана кверху (прическа совершенно изменившая и портившая ее лицо), в голубом шарфе и масака нарядном платье, маленькая княгиня раза два обошла кругом ее, маленькою ручкой оправила тут складку платья, там подернула шарф и посмотрела, склонив голову, то с той, то с другой стороны.

— Нет, это нельзя,— сказала она решительно, всплеснув руками.— Non, Marie, décidément ça ne vous va pas. Je vous aime mieux dans votre petite robe grise de tous les jours. Non, de grâce, faites cela pour moi[13]. Катя,— сказала она горничной,— принеси княжне серенькое платье, и посмотрите, m-lle Bourienne, как я это устрою,— сказала она с улыбкой предвкушения артистической радости.

Но, когда Катя принесла требуемое платье, княжна Марья неподвижно все сидела перед зеркалом, глядя на свое лицо, и в зеркале увидала, что в глазах ее стоят слезы и что рот ее дрожит, приготовляясь к рыданиям.

— Voyons, chère princesse,— сказала m-lle Bourienne,— encore un petit effort[14].

Маленькая княгиня, взяв платье из рук горничной, подходила к княжне Марье.

— Нет, теперь мы это сделаем просто, мило,— говорила она.

---

[11] Сейчас придут сказать, что они вышли. Надо будет идти вниз, а вы хоть бы чуть-чуть принарядились.

[12] мой дружок

[13] Нет, Мари, решительно это нейдет к вам. Я вас лучше люблю в вашем сереньком ежедневном платьице, пожалуйста, сделайте это для меня.

[14] Ну, княжна, еще маленькое усилие.

Голоса ее, m-lle Bourienne и Кати, которая о чем-то засмеялась, сливались в веселое лепетанье, похожее на пенье птиц.

— Non, laissez moi [15],— сказала княжна.

И голос ее звучал такой серьезностью и страданием, что лепетанье птиц тотчас же замолкло. Они посмотрели на большие прекрасные глаза, полные слез и мысли, ясно и умоляюще смотревшие на них, и они поняли, что настаивать бесполезно и даже жестоко.

— Au moins changez de coiffure [16],— сказала маленькая княгиня. Je vous disais,— с упреком сказала она, обращаясь к m-lle Bourienne,— Marie a une de ces figures, auxquelles ce genre de coiffure ne vas pas du tout. Mais du tout, du tout. Chagez de grâce [17].

— Laissez moi, laissez moi, tout ça m'est parfaitement égal [18],— отвечал голос едва удерживающей слезы княжны Марьи.

Они пожали плечами, сделали жест удивления, признаваясь теперь, что княжна Марья в этом виде была очень дурна, хуже, чем всегда; но было уже поздно. Она смотрела на них с тем выражением, которое они знали, выражением мысли и грусти. Выражение это не внушало им страха к княжне Марье. (Этого чувства она никому не внушала.) Но они знали, что, когда на ее лице появлялось это выражение, она была молчалива, и скучна, и упорна в своих решениях.

— Vous changerez, n'est ce pas? [19] — сказала Lise и, когда княжна Марья обещала это сделать, вышла из комнаты.

Когда княжна Марья осталась одна в комнате, она не исполнила обещания Лизе и не взглянула даже на себя в зеркало, а бессильно опустив глаза и руки, молча сидела и думала [20]. Ей представлялся муж — сильное, ясное и непонятно-привлекательное существо, принадлежавшее ей одной. Ребенок, свой маленький ребенок, такой, какого она видела вчера у дочери кормилицы, представлялся ей у груди, и опять тот же муж представлялся ей обнимающим ее. А она стыдливо и радостно взглядывала на него.

— Пожалуйте к чаю. Князь сейчас выйдут,— сказал из-за двери голос горничной. И этот голос разбудил ее.

Она очнулась и ужаснулась тому, о чем она думала. «Это слишком невозможно,— подумала она.— Это счастье, которое ей не дается на земле». И прежде чем идти вниз, она [подошла к образам] встала, вошла в образную и, устремив на освещенный лампадкой черный лик большого образа Спасителя, простояла перед ним [сложив] с сложенными руками несколько минут и, вздохнув и перекрестившись, вышла. В душе княжны Марьи было мучительное сомненье. Возможна ли для нее радость любви, земной любви к мужчине? В мысли о браке княжна Марья мечтала и о семейном счастии, о детях, но главною, сильнейшею и затаенною ее мечтой была любовь земная. Чувство было тем сильнее, чем более она старалась скрывать его и выказывать другим и даже самой себе как совершенно победившей это чувство. «Боже мой,— говорила она,— как мне подавить в сердце своем эти мысли дьявола? Как мне отказаться так, навсегда, от злых помыслов, чтобы спокойно исполнять твою волю?» И едва она сделала этот вопрос, как бог уже отвечал ей в ее собственном сердце: «Не желай ничего для себя, не ищи, не волнуйся, не завидуй. Будущее людей и твоя судьба должна быть неизвестна тебе; но живи так, чтобы быть готовой ко всему. Ежели богу угодно будет испытать тебя в обязанностях брака, будь готова исполнить его волю». С этою успо-

---

[15] Нет, оставьте меня.

[16] По крайней мере перемените прическу.

[17] Я вам говорила, что у Мари одно из тех лиц, которым этот род прически совсем нейдет. Перемените, пожалуйста.

[18] Нет, оставьте меня, оставьте меня, всё это мне совершенно безразлично.

[19] Вы перемените, не правда ли?

[20] На полях: *Молитва после, а теперь мечты о земной любви.*

коительной и радостной мыслью (и с надеждой на исполнение своей запрещенной земной мечты) княжна Марья, вздохнув, перекрестилась и сошла вниз, не думая ни о своем платье, ни о прическе, ни о том, как она войдет и что скажет. Что могло всё это значить в сравнении с намерениями бога, без воли которого не падет ни один волос с головы человека.

Когда она вошла в комнату, князь Василий с сыном уже были в гостиной с маленькой княгиней и m-lle Bourienne. Когда она вошла своей тяжелою походкой, ступая на пятки, мужчины и m-lle Bourienne приподнялись; и маленькая княгиня, указывая на нее мужчинам, сказала:— Voilà Marie[21]! Княжна Марья видела всех, и подробно видела. Она видела лицо князя Василья, на мгновенье сериозно остановившееся при виде княжны и тотчас же улыбнувшееся, и лицо маленькой княгини, читавшей с любопытством и страхом на лице старого князя впечатление, которое произведет на него Мари. Она видела и m-lle Bourienne с ее лентой и красивым лицом и оживленный как никогда взгляд m-lle Bourienne, устремленный на *него*; но она не могла видеть *его*,— не могла решиться взглянуть, и ежели и взглянула, то ничего не разобрала, кроме чего-то очень большого, яркого и прекрасного. Сначала она поцеловала плешивую голову князя Василья, наклонившуюся над ее рукой, и отвечала на его слова, что она, напротив, очень хорошо помнит его. «Это я знаю,— подумала она, чувствуя запах [духов у] табаку и старости, это вроде отца». Потом к ней подошел и Анатоль. Она почувствовала нежную руку, твердо взявшую ее, почувствовала запах духов [еще чего-то мужского, молодого] и чуть дотронулась до белого лба, над которым были припомажены прекрасные русые волосы [ее вдруг окружила [такая] и наполнила ее воображение доселе непонятная, совершенно новая и казавшаяся для нее прелестная атмосфера молодого, здорового, красивого лица и]. Она взглянула на него и была поражена его красотой. Анатоль, заложив большой палец правой руки за застегнутую пуговицу мундира, с выгнутой вперед грудью, а назад — спиною, отставив и покачивая одной ногой и слегка склонив голову, молча весело поглядел на княжну, видимо совершенно о ней не думая. Анатоль был один из самых несветских людей в мире. Он не умел никогда ни начать, ни поддержать разговора, ни сказать даже тех нескольких слов, которые необходимо сказать при каждом начале знакомства; но, несмотря на то, он в свете был приличен, благодаря своей ничем не изменяемой уверенности и спокойствию, которая дороже всего ценится в свете. Замолчи при первом знакомстве несамоуверенный человек и выкажи сознание неприличности этого молчания и желание найти что-нибудь, и он упадет во мнении светских людей. Но Анатоль молчал, покачивая ногой, весело наблюдая прическу княжны, и видно, что он так спокойно мог молчать, сколько хотите. «Ежели кому неловко от молчания, так разговаривайте, а мне не хочется»,— как будто говорил его вид. Кроме того, в обращении с женщинами у Анатоля была та манера, которая более всего внушает в женщинах любопытство, страх и любовь, манера презрительного сознания своего превосходства. Как будто он говорил им своим видом: «Знаю вас, знаю, да что с вами возиться, только обабиться. А уж вы бы рады!» Может быть, и даже вероятно, что он этого не думал, встречаясь с женщинами (и даже вероятно, что нет, потому что он вообще мало думал), но такой у него был вид и такая манера. Княжна почувствовала это и, как будто желая ему показать, что она и не смеет думать о том, чтобы занять его, обратилась к старому князю. Разговор шел общий и оживленный благодаря голоску и губке маленькой княгини. Она оживилась совершенно. Она встретила князя Василья с тем приемом шуточки, который часто употребляется болтливо-веселыми людьми и который состоит в том, что между человеком, с которым так обращаются, и собой предполагают какие-то давно

[21] Вот Мари!

установившиеся шуточки и веселые и отчасти не всем известные забавные воспоминания, тогда как никаких таких воспоминаний нет, как их и не было между маленькой княгиней и князем Васильем. Князь Василий охотно поддался этому тону. Маленькая княгиня вовлекла в это воспоминание никогда не бывших смешных происшествий и Анатоля, которого она почти не знала. M-lle Bourienne тоже разделила эти общие воспоминания, и даже княжна Марья с удовольствием почувствовала и себя втянутою в это веселое воспоминание.

— Вот по крайней мере мы вами теперь вполне воспользуемся, милый князь,— говорила маленькая княгиня, разумеется, по-французски, князю Василью,— это не так, как на наших вечерах у Annette, где вы всегда убежите. Помните cette chère Annette![22]

— А, да вы мне не *подите говорить* про политику, как Annette!

— А наш чайный столик?

— О да!

— Отчего вы никогда не бывали у Annette? — спросила маленькая княгиня у Анатоля.— О! я знаю, знаю,— сказала она, подмигнув,— ваш брат Ипполит мне рассказывал про ваши дела.— О! — Она погрозила ему пальцем.— Еще в Champs Elisées[23] ваши проказы знаю!

— А он, Ипполит, тебе не говорил? — сказал князь Василий, обращаясь к сыну и хватая за руку княгиню, как будто она хотела убежать, а он едва поспел удержать ее,— а он тебе не говорил, как он иссыхал по милой княгине и как она le mettait à la porte[24]?

— Oh! C'est la perle des femmes, princesse![25] — обратился он к княжне.

И они стали вспоминать князя Андрея, и когда еще он был ребенком у Курагиных.

С своей стороны m-lle Bourienne не упустила случая при слове: Champs Elysées вступить в общий разговор воспоминаний.

— Oh! les champs Elisées,— сказала она. — Et la grille des Tuileries, mon prince...[26] — обратилась она с грустью воспоминаний к Анатолю.

Увидав хорошенькую Bourienne, он успокоился насчет того, что будет весело. «А, и тебе хочется?,— подумал он, оглядывая ее.— Что же, недурна. Пускай она ее с собой возьмет, когда выйдет замуж,— подумал он про княжну.— La petite est gentille[27].

Старый князь неторопливо одевался в кабинете, хмурясь обдумывал то, что ему делать. Приезд этих гостей сердил его. «Что мне князь Василий и его сынишка? Князь Василий болтунишка пустой, ну, а сынок теперешний франтик должен быть». Это всё ничего; но сердило его то, что приезд поднимал в его душе нерешенный, постоянно заглушаемый вопрос, и вопрос, насчет которого старый князь всегда сам себя обманывал. Вопрос в том, решится ли он когда-либо для того, чтобы княжна Марья могла испытать о счастии семейной жизни, расстаться с нею и отдать ее мужу. Этот вопрос лежал в самой глубине сознания старого князя, и он никогда его себе прямо не решался ставить, зная вперед, что он ответил бы как всегда по справедливости, а справедливость противоречила не чувству, а всей возможности жизни. Жизнь без княжны Марьи князю Николаю Андреичу, несмотря на то, что, живя с ней, он ее мучал всеми зависящими от него средствами, жизнь без нее была немыслима для старого князя. Он не ставил себе главного вопроса, но бездна рассуждений, относившихся к нему, не выходили у него из головы. «И к чему ей выходить замуж? Наверно, быть несчастной. Вон Лиза за Андреем, лучше теперь, кажется, трудно найти, а разве она довольна

---

[22] эту милую Аннет!
[23] Елисейских полях
[24] выгоняла его из дома?
[25] Ах! это перл женщин, княжна!
[26] Ах, Елисейские поля... А ограда в Тюильри, князь...
[27] Девочка недурна.

своей судьбой? И кто ее возьмет за нее? Дурна, неловка. Возьмут за связи, за богатство, так не на радость, и разве не живут так... Но князь Василий привез прямо сына, прямо высказал свое желание. Имя, положение в свете было приличное, и вопрос должен был быть поставлен. «Что ж, я непрочь,— говорил сам себе князь (но сердце падало у него в груди при одной мысли о разлуке с дочерью), но пусть он будет стоить ее. Вот это-то мы и посмотрим».

— Это-то мы и посмотрим,— проговорил он вслух, и с этими словами, повертывая крышку табакерки, вышел в гостиную.— Это-то мы и посмотрим.

И он как всегда бодрыми шагами вошел в гостиную[28], быстро окинул глазами всех, заметил и перемену платья маленькой княгини, и ленточку Bourienne, и уродливую прическу княжны Марьи, и улыбки Bourienne и Анатоля, и одиночество своей княжны с своей прической. «Убралась, как дура! — подумал он, злобно взглянув на дочь.— Стыда нет! А он ее и знать не хочет!»

Он подошел к князю Василью.

— Ну, здравствуй, мой друг, очень рад тебя видеть.

— Для мила дружка семь верст не околица,— говорил князь Василий, как всегда, фамилиарный и с князем Николаем Андреичем.

— Вот мой второй, прошу любить и жаловать.

Князь Николай Андреич оглядел Анатоля.— Толст, толст! — сказал он,— а то молодец бы был, ну, поди поцелуй меня, и он подставил ему щеку.

Анатоль поцеловал старика и любопытно и совершенно спокойно смотрел на него, ожидая, скоро ли произойдет от него обещанное отцом смешное. Когда он сказал: «толст, толст»,— Анатоль засмеялся.

Князь Николай Андреич сел на свое обычное место в угол дивана, подвинул к себе кресло для князя Василья и стал расспрашивать о политических делах, новостях. Он слушал с вниманием, с удовольствием рассказ князя Василья, но беспрестанно взглядывал на княжну Марью.

— Так уж из Потсдама пишут? — повторил он последние слова князя Василья и вдруг, встав, подошел к дочери.

— Это ты для гостей так причесалась? А? — сказал он.— Хороша, очень хороша. Ты при гостях причесана по-новому, а я при гостях тебе говорю, что вперед не смей ты переодеваться без моего спроса[29].

— Это я, mon père виновата,— сказала маленькая княгиня.

— Вам полная воля-с,— сказал князь Николай Андреевич, расшаркиваясь перед невесткой,— а ей уродовать себя нечего,— и так дурна. И опять сел на место, как будто не обращая более внимания на до слез доведенную дочь.

— Напротив, эта прическа очень идет княжне,— [сказал Анатоль, у которого были правило и привычка пользоваться всяким случаем, чтоб говорить приятное женщинам. Княжна радостно покраснела. Она была благодарна отцу за вызванное им слово от Анатоля.] сказал князь Василий.

— Ну, батюшка, молодой князь, как его зовут? — Он обратился к Анатолю: — Поди сюда, поговорим, познакомимся.— В голосе Николая Андреича была ласковость, но княжна Марья и m-lle Bourienne знали, что ласковость эта заключала что-нибудь нехорошее. Действительно, князю нужно было проэкзаменовать Анатоля и постараться выказать его перед дочерью в самом невыгодном свете.

«Вот когда начинается потеха»,— подумал Анатоль и с насмешливо веселой улыбкой подсел к старому князю.

— Ну, вот что, вы много путешествовали, мой милый, за границей воспитывались (не так, как нас с твоим отцом дьячок грамоте учил), скажите мне, вы теперь служите?

---

[28] На полях: *Князь Багратион — герой. Союзники изменили.*

[29] По тексту запись: *Архитектор.*

— В конной гвардии.— Анатоль едва удерживался от смеху.

— Что ж вы во фронте?

— Да, я до сих пор во фронте.

— Что же вы за границу с полком не пошли?

— Так, не пришлось, князь.

— А моему сыну пришлось. Всё небось о Париже сожалеешь? Ведь ты их там воспитывал? Князь Василий? А?

— Как не сожалеть, князь.— Анатоль фыркнул от смеха.

— Ну, в мое время я из Парижа в Лысые Горы просился. Да нынче всё другое. Ну, пойдем ко мне.— Он взял князя Василия под руку и повел в кабинет [30].

В кабинете князь Василий с своей небрежностью сумел завести разговор о деле.

— Что ж ты думаешь,— сердито сказал старый князь,— что я ее держу, не могу расстаться? Вообразят себе! — проговорил он сердито, хотя никто не воображал ничего [но у него самого уже много сомнений наросло на эту тему].— Мне хоть завтра! Только скажу тебе, что я своего зятя знать хочу лучше. Я завтра при тебе спрошу у нее, хочет она, тогда пусть он поживет. Пускай поживет, я посмотрю.— Князь фыркнул.— Пускай выходит, мне всё равно,— закричал он тем пронзительным голосом, которым он кричал при прощанье с сыном.

— Я вам прямо скажу,— сказал князь Василий тоном хитрого человека, убедившегося в ненужности хитрости перед проницательностью собеседника.— Вы ведь насквозь людей видите. Анатоль не гений, но честный, добрый малый, прекрасный сын и родной. Это так.

— Ну, ну, хорошо, увидим.

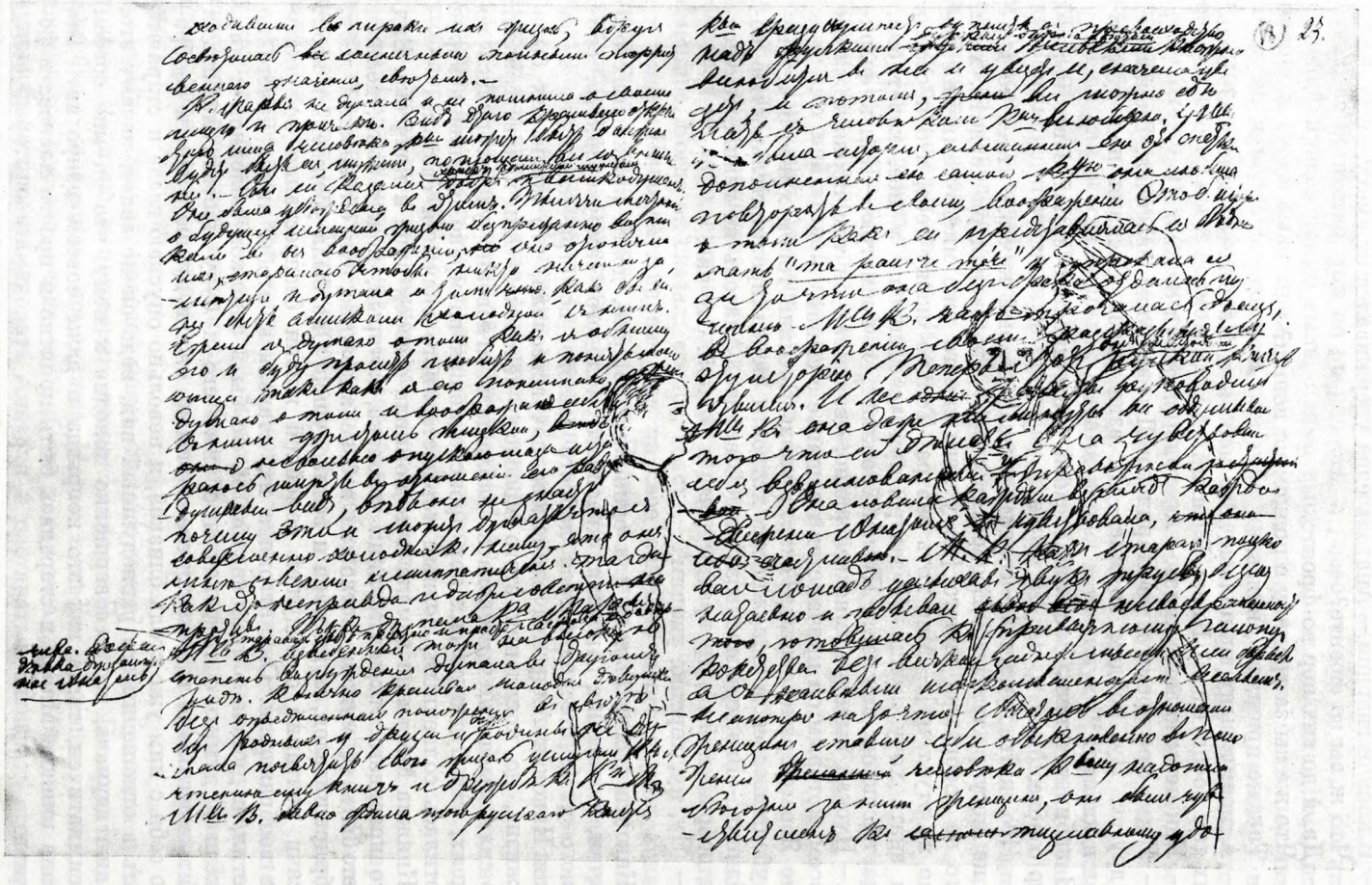
Как это всегда бывает для одиноких женщин, долго проживших без мужчин, появление Анатоля, красивого молодого, самоуверенного, спокойного и не стесняющегося доброго малого, все три женщины дома князя Николая Андреича одинаково почувствовали, что жизнь их была не жизнь, до появления этого молодого человека. Они почувствовали, как сила мыслить, чувствовать, наблюдать мгновенно удесятерилась во всех их, как будто до сих пор происходившая во мраке их жизнь вдруг осветилась солнечным, полным торжественного значения светом.

Княжна Марья не думала и не помнила о своем лице и прическе. Вид этого красивого открытого лица человека, который, может быть, должен будет быть ее мужем, поглощал всё ее внимание. Он ей казался добр, храбр, решителен, мужествен и великодушен. Она была убеждена в этом. Тысячи мечтаний о будущей семейной жизни беспрестанно возникали в ее воображении. Она отгоняла их, старалась, чтобы никто ничего не заметил, и думала о том, как бы ей не быть слишком холодной с ним. «Ежели я думаю о том, как я обниму его и буду просить любить и понять моего отца так, как я его понимаю, ежели думаю о том и воображаю себя с ним уже столь близкой, я невольно опускаю глаза и стараюсь иметь в отношении его равнодушный вид, ведь он не знает, почему это, и может думать, что я совершенно холодна к нему, что он мне совсем не симпатичен, тогда как это неправда и даже совсем напротив». Так думала княжна Марья и старалась быть приятно и просто ласкова и доверчива.

---

[30] На полях: *Осрамил Анатоля. Княжна Марья влюблена. Вечером застает Анатоля с Bourienne. Утром разговор с отцом. Анатоль взволнован желанием к m-lle Bourienne. Вечером музыка, которая волнует княжну Марью, а Анатолю только дает свободу трогать ножку m-lle Bourienne. Княжна Марья видит из-за игры их влажные глаза. Утро княжна Марья у отца и, выходя от него, оскорбленная, застает Bourienne с Анатолем.*

M-lle Bourienne тоже женщина и, кроме того, что любит, еще и беззащитная женщина. Маленькая княгиня кокетничает сама по себе. Как это бывает у одиноких женщин после уединения. Анатоль coci du village и все три сами по себе.



СТРАНИЦА РУКОПИСИ 103

Автограф. По тексту — рисунки пером Толстого

«Добрая девка»,— думал про нее Анатоль.

M-lle Bourienne, взведенная тоже на высокую степень возбуждения, думала в другом роде. Конечно, красивая, молодая девушка без определенного положения в свете, без родных и друзей и даже родины не думала посвятить свою жизнь услугам князю Николаю Андреичу, чтению ему книг и дружбе к княжне Марье. M-lle Bourienne давно ждала того русского князя, который сразу сумеет оценить ее превосходство над русскими дурными, дурно одетыми, неловкими княжнами, влюбится в нее и увезет ее; сначала увезет, и потом всё можно сделать с человеком, который влюблен. У m-lle Bourienne была история, слышанная ею от тетки, дополненная ею самою, которую она любила повторять в своем воображении. Это была история о том, как ей представлялась ее бедная мать, «ma pauvre mère», и упрекала ее за то, что она без брака отдалась мужчине. M-lle Bourienne часто трогалась до слез, в воображении своем рассказывая ему эту историю. Теперь этот *он*, настоящий русский князь, явился. И не расчеты руководили m-lle Bourienne, она даже ни минуты не обдумывала того, что ей делать. Она чувствовала себя взволнованной и тревожной. Она ловила каждый взгляд, каждое движение Анатоля и чувствовала себя счастливою.

Маленькая княгиня, как старая полковая лошадь, услыхав звук трубы, бессознательно и забывая несвоевременность, готовилась к привычному галопу кокетства, без всякой задней мысли или борьбы, а с наивным легкомысленным весельем [31].

Несмотря на то, что Анатоль в отношении женщин ставил себя обыкновенно в положение человека, которому надоела беготня за ним женщин, он был чувствителен к тщеславному удовольствию чувствовать, что женщины влюблены в него. Кроме того, он начинал испытывать к хорошенькой и вызывающей m-lle Bourienne то страстное, зверское чувство, которое на него находило с чрезвычайною быстротой и побуждало его к самым грубым и смелым поступкам.

Общество после чая перешло в диванную, и княжну попросили поиграть на клавикордах. Анатоль облокотился перед ней на клавикорды подле m-lle Bourienne, и глаза его, смеясь и радуясь, смотрели на княжну Марью. Княжна Марья не могла выдерживать этого взгляда, который волновал и мучал ее. Она опустила глаза и всё чувствовала этот взгляд. Любимая соната переносила ее в самый задушевно-поэтический мир, а чувствуемый на себе взгляд придавал этому миру еще большую поэтичность. Взгляд же Анатоля, хотя и был устремлен на нее, относился не к ней, а ко всем изменениям очертаний ножки m-lle Bourienne, которую он топтал и трогал своею ногой под фортепьяно. M-lle Bourienne смотрела тоже на княжну, и в ее прекрасных глазах было тоже новое для княжны Марьи выражение испуганной радости и надежды.

«Как она меня любит! — думала княжна Марья.— Как я счастлива теперь и как могу быть счастлива с таким другом и мужем! Неужели?» И она оглядывала его грудь, руки, стан, но не смела взглянуть на лицо, чувствуя всё тот же взгляд, устремленный на нее.

Ввечеру, когда после ужина стали расходиться, Анатоль поцеловал руку княжны. Она сама не знала, как у ней достало смелости, но она прямо взглянула на приблизившееся к ее близоруким глазам большое прекрасное лицо. После княжны он подошел к руке m-lle Bourienne (это было неприлично, но он делал всё так уверенно и просто), и m-lle Bourienne вспыхнула и взглянула испуганно на княжну. [Анатоль прижал ее руку к губам и ничего не сказал, но она поняла]

«О милая! — подумала княжна.— Она боится, чтобы я не подумала, что она хочет нравиться ему».— Она подошла к m-lle Baurienne и крепко ее поцеловала.

---

[31] На полях: *Хорош ~~язык!~~*

Когда Анатоль подошел к руке маленькой княгини, [она тоже свое думала] она встала и отбежала от него.

— Non, non, non! Quand votre père m'écrira, que vous vous conduisez bien, je vous donnerai ma main à baiser. Pas avant[32]. И подняв пальчики и улыбаясь, она вышла из комнаты.

Все разошлись, и, кроме Анатоля[33] ⟨виновника все происшедшего⟩, который заснул тотчас же, как лег на постель, никто долго не спал эту ночь.

«Неужели он мой муж, именно этот чужой, красивый мужчина?» — думала княжна Марья, и страх, который никогда почти не приходил к ней, нашел на нее: она боялась оглянуться, ей чудилось, что кто-то стоит тут за ширмами и в темном углу. И этот кто-то был он — дьявол, и он — этот мужчина с белым лбом и черными бровями и румяным ртом. Она позвонила горничную и попросила ее лечь в ее комнате.

M-lle Bourienne в этот вечер долго, улыбаясь своим мыслям, ходила по зимнему саду, тщетно ожидая кого-то.

Маленькая княгиня ворчала на горничную за то, что постель была нехороша. Нельзя было ей лечь ни на бок, ни на грудь. Всё было тяжело, неловко. И живот ее ей мешал, ей заметно было, что он мешал больше, чем когда-нибудь, именно нынче, потому что присутствие Анатоля перенесло ее живее в другое время, когда этого не было и ей было весело. Теперь она досадовала и потому сердилась на горничную. Она сидела в кофточке и чепце на кресле. Катя, сонная, стояла перед ней молча, переступая с ноги на ногу.

— Как вам не совестно, ведь вы бы хоть пожалели? — говорила маленькая княгиня.

Старый князь тоже не спал. Тихон, клюя носом, слышал, как он сердито шагал и фыркал носом. Старый князь был оскорблен за свою дочь. Оскорбление самое больное, самое неисправимое, потому что оно относится не к себе, а к другому, и к другому, которого он любит больше себя. Он ходил с тем, чтобы успокоиться. Он сказал себе с своей привычной страстью обладать собой, что он не передумает всё это дело и найдет то, что справедливо и дóлжно сделать, но вместо того он только больше раздражал себя.

«Первый встречный показался — и всё, и отец, и всё забыто, и бежит, кверху чешется и хвостом винтит, и сама на себя не похожа. Для нее радость бросить отца. И она ведь знала, что я это замечу... Фр... фр... Фр...,— сморкает он злобно.— И разве я не вижу, что этот дурень смотрит только на Бурьенку (надо ее прогнать). И как гордости настолько нет, чтоб понять это. Хоть не для себя, коли нет гордости, так для меня по крайней мере. Надо ей показать, что этот болван об ней и не подумает, а только смотрит на Bourienne. Коли нет у ней гордости, мое дело показать ей это...— сказал он сам себе.

Сказав дочери, что она заблуждается, что Анатоль намерен ухаживать за Bourienne, старый князь знал, что он раздражит самолюбие княжны Марьи, и его дело (желание не разлучаться с дочерью) будет выиграно, и потому успокоился на этом. Он кликнул Тихона и стал раздеваться.

«И чёрт их принес!» — думал он, в то время как Тихон накрывал его сухое старческое тело ночной рубашкой.— Я их не звал. Приехали расстраивать мою жизнь. И не много ее осталось. Погнать их в шею. К чёрту,— проговорил он из-под рубашки.

Тихон знал привычку князя иногда вслух выражать свои мысли и потому с неизменным лицом стоял перед ним.

---

[32] Нет, нет, нет! Когда отец ваш напишет мне, что вы себя ведете хорошо, тогда я дам вам поцеловать руку. Не прежде.

[33] На полях: *Княжна не могла молиться. Bourienne ходила по зимнему саду. На другое утро.*

— Легли там? — спросил князь.

Тихон, как и все лакеи, чутьем знал направление мыслей барина. Он угадал, что спрашивали о князе Василье с сыном.

— Давно потушили огонь.

— Не за чем, не за чем...— быстро проговорил князь и, всунув ноги в туфли и руки в халат, пошел в спальную.

Несмотря на то, что между Анатолем и m-lle Bourienne ничего не было сказано, они совершенно поняли друг друга, поняли, что им [необходимо] [мешали] нужно много сказать друг другу тайно, и потому с утра оба искали случая увидаться наедине. В то время как княжна прошла в обычный час к отцу, m-lle Bourienne сошлась с Анатолем в зимнем саду. Княжна Марья подходила в этот день с необычным трепетом к двери кабинета. Ей казалось, что все знают, что нынче совершается решение ее судьбы, но что и знают то, что она об этом думает. Она читала это выражение и в лице Тихона и в лице камердинера князя Василья, который с горячей водой встретился и низко поклонился ей. «Все знают, как я счастлива»,— думала она.

Старый князь был чрезвычайно ласков и *старателен*. Это выражение старательности хорошо знала у отца княжна Марья. Это было то выражение, которое бывало на его лице в те минуты, когда руки его сжимались в кулак от досады, что княжна Марья не понимала задачи, когда он, вставая, отходил от нее и тихим голосом повторял слова. Он начал с дочерью разговор по-французски, что он редко делывал.

— On n'a fait une ouverture à votre sujet[34],— сказал он, неестественно улыбаясь.— Я перевожу. Вы, я думаю, догадались.— продолжал он,— что князь Василий приехал сюда и привез с собой своего воспитанника (почему-то князь Николай Андреич называл Анатоля воспитанником) не для моих прекрасных глаз. Мне вчера сделали предложение насчет вас. А как вы знаете мои правила, я отнесся к вам.

— Как мне вас понимать, mon père? — проговорила княжна, бледнея и краснея и чувствуя, что наступила та торжественная минута, в которую с нею совершается то, что должно решить участь ее жизни.

— Чего понимать! — сердито крикнул отец по-русски.— Князь Василий находит тебя по своему вкусу для невестки и делает тебе предложение за своего воспитанника. Ну? Ну?

— Я не знаю, как вы, mon père,— проговорила шёпотом княжна.

— Я? я? Что ж я-то? Меня-то оставьте в стороне. Кажется, не я выхожу замуж. Что вы? вот это желательно знать.

Княжна видела, что отец недоброжелательно смотрел на это дело, но ей в ту же минуту пришла мысль, что теперь или никогда решается вся судьба ее жизни. Она опустила глаза, чтобы не видеть взгляда, под влиянием которого она чувствовала, что не могла думать, а могла по привычке только повиноваться, и сказала:

— Я желаю только одного — исполнить вашу волю,— сказала она,— но ежели бы мое желание нужно было выразить...

Она не успела договорить. Князь перебил ее.

— И прекрасно! — закричал он.— Он тебя возьмет с приданым, да кстати захватит m-lle Bourienne. M-lle Bourienne будет женой, а ты будешь компаньонкой.

Но князь опомнился и остановил свое раздражение, невольно выразившееся, заметив впечатление, произведенное этими грубыми словами на дочь.

Она пошатнулась, взялась за ручку кресла и заплакала.

— Ну, ну. Я шучу, шучу,— сказал он.— Помни одно, княжна: я держусь тех правил, что дочь имеет полное право выбирать. И даю тебе

---

[34] Это к вам не относится.

полную свободу. Помни одно. От твоего решения зависит счастье жизни твоей. Обо мне нечего говорить.

— Да я не знаю...

— Нечего говорить! Ему велят, он не только на тебе, на ком хочешь женится; а ты свободна выбирать... Поди к себе, обдумай и через час приди ко мне и при нем, князе Василье, скажи: да или нет. Я знаю, ты станешь молиться. Ну, пожалуй, молись. Только лучше подумай. Ступай.

— Да или нет, да или нет, да или нет! — кричал он.

Княжна, как в тумане, шатаясь, вышла из комнаты.

Судьба ее решалась, и решилась счастливо. Но что он сказал о m-lle Bourienne,— этот намек был ужасен. Неправда, положим, но все-таки это было ужасно, она не могла не думать об этом. Она шла прямо перед собой через зимний сад [и вдруг услыхала впереди], ничего не видя и не слыша, как вдруг знакомый шёпот m-lle Bourienne разбудил ее. Она подняла глаза и в двух шагах от себя увидала Анатоля, который обнимал француженку и что-то шептал ей. Анатоль с зверским выражением волнения на красивом лице оглянулся на княжну Марью и не выпустил в первую минуту m-lle Bourienne, испуганно сжавшуюся и закрывшую лицо руками.

«Кто тут? Зачем? Подождите!» — как будто говорило лицо Анатоля. Княжна Марья молча глядела на них. Она не могла понять этого. M-lle Bourienne вскрикнула, вырвалась и убежала. Анатоль спокойно, как всегда, поглядел на княжну Марью, и наконец узнав ее, поклонился и улыбнулся, как будто приглашая ее посмеяться над этим странным случаем. Княжна Марья не понимала. Она всё стояла на месте, и ни одна черта лица ее не двигнулась. Анатоль ушел прежде ее.

Через час Тихон пришел звать княжну Марью. Он звал ее к князю и прибавил, что и князь Василий Сергеич там.— Так папинька приказали доложить.

Княжна, в то время как пришел Тихон, сидела в своей комнате с m-lle Bourienne. M-lle Bourienne рыдала у нее в объятиях. Княжна Марья тихо гладила ее по голове. Прекрасные глаза, со всем своим прежним спокойствием и лучистостью, смотрели с чувством беспредельной любви, сожаления на хорошенькое личико m-lle Bourienne.

— Non, princesse, je suis perdue pour toujours dans votre coeur[35],— говорила m-lle Bourienne.

— Le vous aime plus, que jamais,— говорила княжна Марья,— et je tâcherai de faire tout ce qui est en mon pouvoir, pour votre bonheur.

— Mais vous me méprisez, vous si pure, vous ne comprendrez jamais cet égarement de la passion.

— Ah, je comprend tout[36],— сказала княжна Марья, грустно улыбаясь.— Я пойду к отцу,— сказала она и вышла.

Князь Василий сидел, загнув высоко ногу, с табакеркой в руках и как бы расчувствованный донельзя, как бы сам сожалея и смеясь на свою чувствительность, сидел с выражением умильной улыбки на лице. Когда вошла княжна Марья, он поспешно поднес щепоть табаку к носу.

— Ah, ma bonne, ma bonne,— сказал он, встав и взяв ее за обе руки. Он вздохнул и прибавил: — Le sort de mon fils est en vos mains. Décidez, ma bonne, ma chère, ma douce Marie, qui j'ai toujours aimé, comme ma fille[37].

---

[35] — Нет, княжна, я навсегда утратила ваше расположение.

[36] Я вас люблю больше, чем когда-либо, и постараюсь сделать для вашего счастья всё, что в моей власти.

— Но вы презираете меня, вы, столь чистая, должны презирать меня, вы никогда не поймете этого увлечения страсти.

— Я всё понимаю.

[37] Ах, милая, милая... Судьба моего сына в ваших руках. Решите, моя милая, моя дорогая, моя нежная Мари, которую я всегда любил, как дочь.

Он отошел[38]. Действительная слеза показалась на его глазу.

— Фр..., фр... — фыркал князь.— Говори, да или нет, хочешь ты или нет быть женою князя Анатоля Курагина. Ты говори: да или нет,— закричал он,— а потом я удерживаю за собой право сказать и свое мнение. Да, мое мнение и мою волю,— прибавил князь Николай Андреич, обращаясь к князю Василию и отвечая на его умоляющее выражение. Старый князь хотел оставить за собой возможность спасенья.— Да или нет? Ну?

— Mon père, ваша воля прежде всего.

— Да или нет.

— Моя воля, mon père, никогда не покидать вас, никогда не разделять своей жизни с вашей. Я не хочу выходить замуж,— сказала она, решительно взглянув своими прекрасными глазами на князя Василия и на отца[39].

— Вздор! Глупости! Вздор, вздор, вздор,— нахмурившись, закричал князь Николай Андреич, взял дочь за руку, притянул к себе и не поцеловал, но сделал ей больно руке. Она заплакала.

Князь Василий встал.

— Ma chère, je vous dirai, que c'est un moment que je n'oublieraj jamais, jamais, mais ma bonne, est ce que vous ne vous donnerez pas un peu d'espérance de toucher ce coeur si bon, si généreux. Dites que peut être. L'avenir est si grand. Dites: peut être[40].

— Mon Prince, что я сказала — есть всё, что есть в моем сердце. Я благодарю за честь, но никогда не буду женой вашего сына. [Княжна Марья вышла, пришла к себе и стала молиться. Она решилась, что m-lle Bourienne любит страстно Анатоля, что она одинока, несчастна и что надо устроить ее брак, дать ей состояние и отдать замуж. Она молилась.]

— Ну, и кончено, мой милый. Очень рад тебя видеть, очень рад тебя видеть. Поди к себе, княжна, поди,— говорил старый князь.

«Мое призвание другое,— думала про себя княжна Марья,— мое призвание быть одиноко несчастной, мое призвание быть счастливой другим счастьем, счастьем жертвовать собой для других. И что бы мне это не стоило, я сделаю счастье бедной Caroline. Она так страстно его любит. Она так страстно раскаивается. Я всё сделаю, чтобы устроить ее брак с ним. Ежели он не богат, я дам ей средства, я попрошу отца, я попрошу Андрея. Я так буду счастлива, когда она будет его женою. Она так несчастлива, чужая, одна, без помощи, и так страстно любит». Через день князь Василий с сыном уехали, и жизнь в Лысых Горах пошла по-старому.

‹III›

Долго Ростовы не имели известий о Nicolas. Только в середине зимы [граф получил] графу было передано письмо, на котором он узнал руку сына. Получив письмо, граф испуганно и поспешно, стараясь не быть замеченным, на цыпочках пробежал в свой кабинет, заперся и стал читать. Когда Анна Михайловна, узнав (как она всё знала, что делалось в доме) о получении письма, тихими шагами вошла к графу, она застала его с письмом в руках рыдающим и вместе смеющимся.

— Mon bon ami[1],— вопросительно-грустно и с готовностью всякого участия произнесла Анна Михайловна.

Граф зарыдал еще больше.

---

[38] На полях: *Ее письмо Жюли. Монах, за которого она думает.*

[39] На полях: *Спрашивает на другой день совета архитектора о браке.*

[40] Моя милая, я вам скажу, что этой минуты я никогда, никогда не забуду, но, моя добрейшая, дайте нам хоть малую надежду тронуть это сердце, столь доброе и великодушное. Скажите: может быть. Будущее так велико. Скажите: может быть.

[1] Мой добрый друг

— Nico-co-co-las... mon cher письмо... ma chère ранен... бы... был... ma chère ранен... голубчик мой, графинюшка... слава богу... Графинюшке как сказать?..

Анна Михайловна подсела к нему, отерла своим платком слезы с его глаз, с письма, закапанного ими, и свои слезы, и прочла письмо, успокоила графа и решила, что за обедом, до чая, она приготовит графиню, а после чая объявит всё, коли бог ей поможет. Всё время обеда Анна Михайловна говорила о слухах войны, о Nicolas, спросила два раза, когда получено было последнее письмо Nicolas, хотя она знала это и прежде, и заметила, что очень легко, может быть, и нынче получится письмо. Всякий раз как графиня начинала беспокоиться и тревожно взглядывать то на графа, то на Анну Михайловну, Анна Михайловна самым незаметным образом сводила разговор на незначительные предметы. Наташа, из всего семейства более всех одаренная способностью чувствовать оттенки интонаций, взглядов и выражений лица, с начала обеда насторожила уши и знала, что что-нибудь есть между ее отцом и Анной Михайловной и что-нибудь касающееся Nicolas. Но, несмотря на всю свою смелость (она знала, как чувствительна была ее мать ко всему, что касалось известий о Nicolas), она все-таки не решалась за обедом сделать вопрос, но от беспокойства за обедом ничего не ела и вертелась на стуле, не слушая замечаний своей гувернантки. После обеда она стремглав бросилась догонять Анну Михайловну в диванной и с разбега бросилась ей на шею.

— Тетенька, голубушка, ангел, скажите, что́ вы знаете?

— Ничего, мой друг.

— Нет, душенька, голубчик, милая, персик, я Борю не буду любить, коли не скажете, я не отстану, я знаю, что вы знаете.

Анна Михайловна покачала головой.

— Vous êtes fine mouche, mon enfant[2],— сказала она.— Но, ради бога, будь осторожна: ты знаешь, как это может поразить твою maman,— и она в коротких словах рассказала Наташе содержание письма, с обещанием не говорить никому.

— Честное, благородное слово,— крестясь, говорила Наташа,— никому не скажу,— и тотчас побежала в детскую, призвала Соню и Петю и всё рассказала им. Наташа не последовала примеру Анны Михайловны, а с испуганным лицом вбежала к Соне, схватила ее за руку и, прошептав «важный секрет», потащила ее в детскую.

— Nicolas! ранен, письмо,— проговорила она, торжествуя и радуясь силе впечатления, которое она произведет. Соня вдруг побледнела, как платок, задрожала и упала бы, коли бы ее не схватила Наташа. [После сухих рыданий пришли слезы] Впечатление, произведенное известием, было сильнее, чем того ожидала Наташа. Она сама расплакалась, унимая и успокоивая своего друга [и когда они обе заплакали].

— Вот видно, что все вы женщины плаксы,— сказал пузан Петя, однако сам испугавшийся больше всех при виде падающей Сони,— я так очень рад и право очень рад, что Nicolas так отличился. Все вы нюни.

Девочки засмеялись.

— А ведь у тебя была истерика настоящая,— сказала Наташа, видимо, весьма этим гордая,— я думала, что только у старых могут быть истерики.

— Ты не читала письма? — спрашивала Соня.

— Не читала, но она сказала, что всё прошло и что он уже офицер...

Петя, тоже молча, стал ходить по комнате.

— Кабы я был на месте Nicolas, я бы еще больше этих французов убил,— сказал он вдруг,— такие они мерзкие! — Соне, видимо, не хотелось говорить, она даже не улыбнулась на слова Пети и молча продолжала задумчиво смотреть в темное окно.

— Я бы их побил столько, что кучу из них? — продолжал Петя.

---

[2] Ах, плутовка, дитя мое.

— Молчи, Петя, какой ты дурак.

Петя обиделся, и все помолчали.

— Ты его помнишь? — вдруг спросила Наташа. Соня улыбнулась.

— Nicolas?

— Нет, Соня, ты помнишь ли его так, чтоб хорошо помнить, чтобы всё помнить? — с старательными жестами сказала Наташа, видимо, желая придать своим словам самое серьезное значение.

— И я помню, Nicolas я помню, сказала она.— А Бориса не помню. Совсем не помню.

— Как? Не помнишь Бориса? — спросила Соня с удивлением.

— Не то, что не помню,— я знаю какой он, но не так помню, как Nicolas, Nicolas я закрою глаза и помню, а Бориса — нет (она закрыла глаза) — так нет ничего.

— Нет, я очень помню,— сказала Соня.

— А ты напишешь ему? — спросила Наташа.

Соня задумалась. Вопрос о том, как писать Nicolas, и нужно ли писать, и как писать был вопрос, мучивший ее. Теперь, когда он был уже офицер и раненный герой, хорошо ли было с ее стороны напоминать ему о себе и как будто о том обязательстве, которое он взял на себя в отношении ее? «Пускай он делает, как хочет,— думала она.— Мне довольно только любить его. А он может подумать, получив мое письмо, что я напоминаю ему что-нибудь».

— Не знаю, я думаю, коли он пишет, и я напишу,— радостно улыбаясь, сказала Соня.

— И тебе не стыдно будет писать ему?

— Нет, отчего? — сказала Соня, смеясь, сама не зная чему.

— А мне стыдно будет писать Борису. Я не буду писать.

— Да отчего же стыдно?

— Да так, я не знаю. Неловко, стыдно.

— А я знаю, отчего ей стыдно будет,— сказал Петя, обиженный первым замечанием Наташи,— оттого, что она была влюблена в этого толстого с очками (так называл Петя Pierr'a), а теперь влюблена в певца этого (Петя говорил об итальянце, Наташином учителе пения),— вот ей и стыдно.

— Ах, Петя, полно, как тебе не стыдно, мы все так рады, а ты ссоришься. Поговорим лучше про Nicolas.

— Петя, ты глуп,— сказала Наташа.— А нынче, как он был мил, прелесть,— обратилась она к Соне (говоря про учителя пения).— Он мне сказал, что лучше моего голоса он не слыхал, и когда он поёт, так у него на горле шишка делается — такая прелесть.

— Ах, Наташа, как ты можешь про кого-нибудь думать теперь? — сказала Соня.

— А я не знаю. Я сейчас думала, я, верно, не люблю Бориса. Так он милый, я его люблю, но не так, как ты. Я бы не сделалась истерика[3], как ты. Как же я его не помню? — Наташа закрыла глаза,— Не могу, не помню.

— Так неужели ты в Fezzoni влюблена? Ах, Наташа, какая ты смешная,— с упреком сказала Соня.

— Теперь в Фецони, а прежде в Pierr'a, а еще прежде в Бориса,— сердито сказала Наташа.— А теперь Фецони, и люблю его, и люблю, и выйду за него замуж, и сама буду певицей.

Графиня действительно была приготовлена намеками Анны Михайловны во время обеда. Уйдя к себе, она, сидя на кресле, не спускала глаз с миниатюрного портрета сына, вделанного в табакерке, и поплакала. Анна Михайловна с письмом на цыпочках подошла к комнате графини и остановилась.

---

[3] Так в автографе.

— Не входите,— сказала она старому графу, шедшему за ней,— после,— и затворила за собой дверь.

Граф приложил ухо к замку и стал слушать.

Сначала он слышал звуки равнодушных речей, потом один звук голоса Анны Михайловны, говорившей длинную речь, потом вскрик, потом молчание, потом опять оба голоса вместе говорили с радостными интонациями, и потом шаги, и Анна Михайловна отворила ему дверь. На лице Анны Михайловны было гордое, счастливое и успокоенное выражение оператора, окончившего трудную ампутацию и вводящего публику для того, чтоб она могла оценить его искусство.

— C'est fait[4],— сказала она графу, торжественным жестом указывая на графиню, которая держала в одной руке табакерку с портретом, в другой — письмо и прижимала губы то к тому, то к другому.

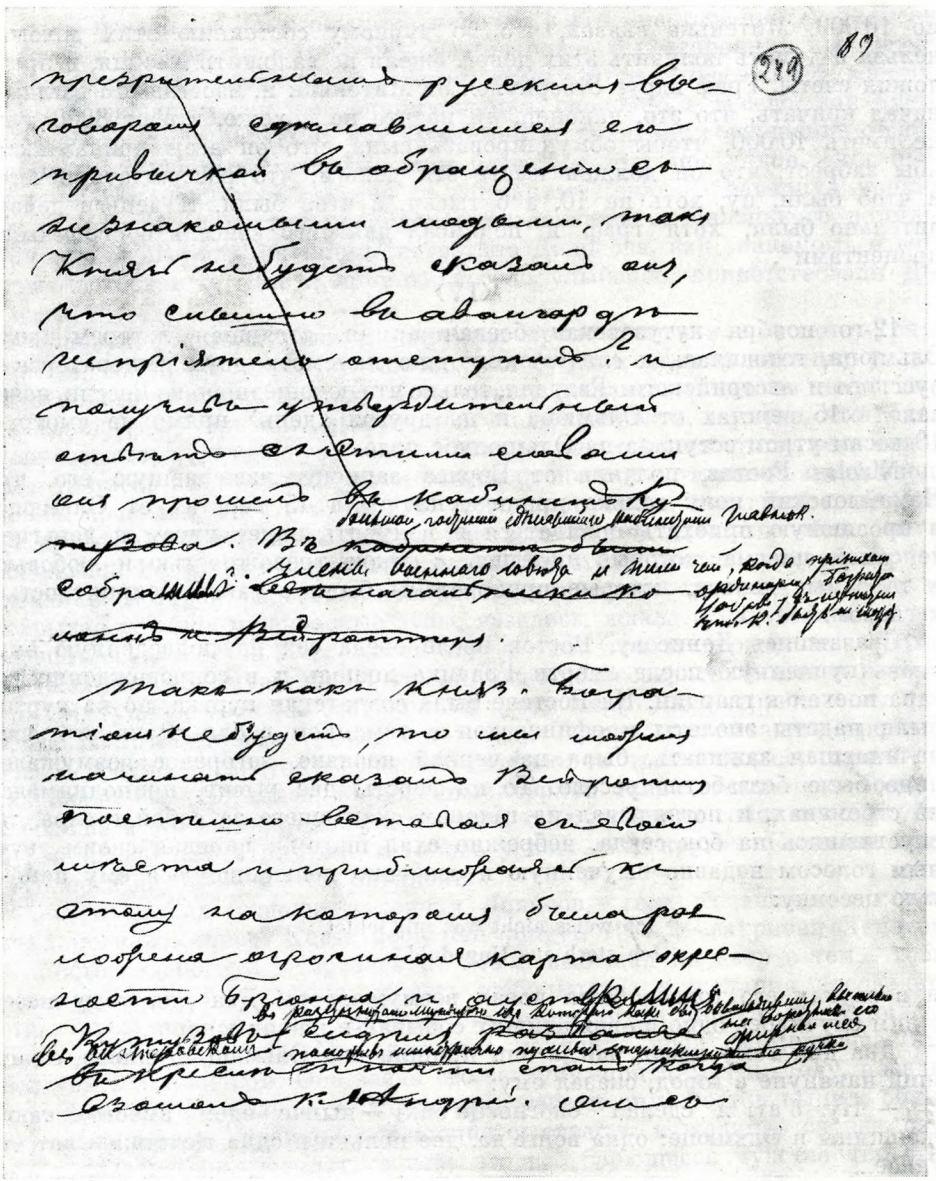
Увидав графа, она протянула к нему руки, обняла его лысую голову и через лысую голову опять посмотрела на письмо и портрет и опять для того, чтобы прижать их к губам, слегка оттолкнула лысую голову. В письме был кратко описан поход и два сражения, и сказано, что целует руки mama и papa, прося их благословения и целует Веру, Наташу, Петю и еще просит поцеловать дорогую Соню, о которой он часто вспоминает, как он вспоминает и о всех. Кроме того, он кланяется m-r Шелингу и m-me Hubert, и няне, и всем людям. В постскриптуме было сказано о деньгах.

Письмо это было прочитано сотни раз, но те, кто считались достойными его слышать, должны были приходить к графине. Так приходили гувернеры, няни, шут, Митенька, некоторые знакомые, и графиня перечитывала его с новым наслаждением 100-й раз и всякий раз открывала по этому письму новые добродетели в своем Nicolas. Как странно, необычайно радостно ей было, что сын ее — тот сын, что трепетал в ней в самой 20 лет тому назад, тот сын, за которого она ссорилась с баловником-графом, тот сын, который выучился говорить chère maman так недавно, что этот сын теперь там, в чужой земле, в чужой среде, мужественный мужчина, bravant la mort[5] и пишущий письма. Весь всемирный вековой опыт, указывающий на то, что дети незаметным путем от колыбели делаются мужами, не существовал, возмужание ее сына было для нее так же необычайно радостно, как бы и не было никогда миллионов-миллионов людей, точно так же возмужавших. Как она не ждала никогда, чтобы возможно было, чтобы то существо, которое трепетало в ее чреве, закричало бы, и стало сосать грудь, и стало бы говорить, понимать, учиться и теперь быть мужем, слугою отечества и образцом сыновей и граждан, так и теперь не верилось ей, что это же существо могло быть тем сильным, храбрым мужчиной, образцом сыновей и людей, которым он был теперь, судя по этому письму.

— Что за стиль! как он описывает мило! — говорила она, читая описательную часть письма.— И что за душа! Об себе ничего, ничего! О каком-то Денисове, а сам, верно, храбрее их всех. Ничего не пишет о своих страданиях. Что за сердце! Как его узнаю! И как вспомнил всех! Никого не забыл!

Более недели готовились, писались брульоны, представлялись на рассмотрение графини, переписывались набело письма к Nicolas от всего дома. Анна Михайловна, практическая женщина, сумела устроить себе и своему сыну протекцию в армии даже и для переписки. Она имела случай посылать свои письма с курьером к великому князю Константину Павловичу, который командовал гвардией. По слухам гвардия должна была уже присоединиться к армии Кутузова в то время, как дойдет письмо, и потому решено было отослать письма и деньги через курьера великого князя к Борису, и Борис уже должен был доставить их к Ni-

[4] Готово.
[5] не боящийся смерти



СТРАНИЦА РУКОПИСИ 103

Текст под диктовку рукой Е. А. Берс с поправкой Толстого

colas. Письма были от старого графа, от графини, от Пети, от Веры, от Наташи, от Сони и, наконец, деньги, которые граф, заняв 〈*1 нрзб*〉 доходов, послал 6000, что было огромно по тогдашнему времени.

Дела графа уже доходили до той степени запутанности, что он сильно морщился, когда Митенька предлагал ему поверить счеты, и Митенька уже дошел до той степени уверенности в трусости к счетам своего доверителя, что он предлагал уже ему смотреть счета, которых не было, и выдавал графу его же деньги, называя их занятыми, и высчитывал за них в свою пользу по 15%. Граф знал вперед, что когда он потребует для обмундирования Николеньки 6000, то Митенька прямо скажет ему, что их нет, и потому граф, употребив хитрость, сказал, что ему необходи-

мо 10 000. Митенька сказал, что по дурному состоянию этих доходов нельзя и думать получить этих денег, ежели не заложить имения, и предложил счеты. Граф вдруг отвернулся от Митеньки и, избегая его взгляда, начал кричать, что это, наконец, ни на что не похоже, что от 8000 душ не иметь 10 000, чтобы обмундировать сына, что он всем приказчикам лбы забреет, что он должен иметь эти деньги, что рассуждать нечего, и чтоб были, ну, хоть не 10, а 6 тысяч, а чтоб были. И деньги действительно были, хотя граф и подписал для того вексель с огромными процентами[6].

‹IV›

12-го ноября кутузовская боевая армия, стоявшая лагерем около Ольмюца, готовилась к следующему дню на смотр двух императоров — русского и австрийского. Гвардия, только что подошедшая из России, ночевала в 15 верстах от Ольмюца и на другой ‹день› прямо на смотр к 10 часам утром вступала на Ольмюцкое поле.

Nicolas Ростов, получив от Бориса записку, извещавшую его, что Измайловский полк только пришел, ночует в 15 верстах от Ольмюца, и просившую приехать повидаться и получить пакет писем и деньги — те самые письма, которые писались, с такою тревожностью и любовью, и те самые деньги, которые приобретены были с такой неприятностью и гневом.

Сказавшись Денисову, Ростов после обеда сел на подведенную ему, вновь купленную после смерти Грачика лошадь и в сопровождении гусара поехал к гвардии. На Ростове была солдатская куртка, но на куртке были надеты эполеты и офицерская с темляком сабля. Рука его, уже начинавшая заживать, была на черной повязке, загорелое возмужалое лицо было беззаботно весело. То он версты две рысил, приподнимаясь на стременах, и поглядывал на галопом скакавшего за собой гусара, то, спустившись на бок седла, небрежно ехал шагом[1], напевая своим звучным голосом недавно выученную и особенно полюбившуюся ему немецкую песенку:

Ich weiss nicht was mir fehlet,
Ich sterb aus Ungeduld[2]

и в звуках его голоса была новая возмужалость. Два дня тому назад с ним случилось одно из важнейших событий в жизни юноши.

Два дня тому назад, когда они пришли под Ольмюц, Денисов, ездивший накануне в город, сказал ему:

— Ну, б'ат, я сделал 'екогносци'овку — нынче едем вместе — какие женщины в Ольмюце: одна венге'ка, две польки и одна г'ечанка — вот что такое...

Ростов не отказался и не согласился прямо ехать, а сделал вид, что это ему очень обыкновенно и что на это смотрит совершенно так же, как и Денисов; а между ‹тем› он почувствовал, что наступает та решительная минута, о которой он думал, колебаясь тысячу тысяч раз, он едва мог выговорить что-нибудь в ответ Денисову. Он не знал еще женщин, что-то возмутительное и оскорбительное представлялось ему в сближении с чужой, продажной, общей с Денисовым и со всеми женщиной, но и непреодолимое любопытство тянуло его к познанию этого чувства. Ведь не было человека, не знавшего этого и не смотревшего на это, как на необходимое и приятное условие чувствования. У всех, говоривших про это, было выражение невинного удовольствия, усиливаемого только тем, что удовольствие это было кем-то запрещено.

---

[6] На полях: *Граф поссорился с Митенькой за деньги. Как же не послать на обмундировку. Ну, 15%.*

[1] На полях: *Ростов только что имел первую женщину*

[2] Не знаю, чего мне недостает.
Я умираю от нетерпенья (*нем.*).

Они поехали с Денисовым на парочке в его 〈настычанке?〉. Денисов, дорогой и подъезжая к Ольмюцу, разговаривал о посторонних предметах, делал свои наблюдения над войсками, мимо которых проезжал, и вспоминал о прошедшем так же непринужденно, спокойно и весело, как будто они просто ехали кататься, как будто они не ехали на совершение одного из самых страшных, преступных и безвозвратных поступков. Они приехали в Ольмюц, солдат кучер по указанию Денисова завернул в одну улицу, в один, в другой переулок и остановился у маленького домика. Они вошли, пожилая женщина встретила Денисова, как знакомого, и ввела их в гостиную. Две женщины, весело улыбаясь, приветствовали Денисова.

Сначала Ростов думал, что они так приветствовали его, потому что они его знали, но они точно так же, как будто к старому знакомому, ласково обратились и к Ростову. Они пересмеивались, глядя на него. Ему показалось, что они над ним смеются, он покраснел и, заметив, что делал Денисов, старался сделать то же. Но он не мог сделать этого, не в силах был. Денисов взял одну из них — это была полная с открытой шеей блондинка, красивая, но что-то старое, усталое, грустное, преступное, несмотря на ее молодость и веселость, казалось в ней. Денисов обнял ее и поцеловал. Ростов не мог этого сделать. Он стоял против толстой черной гречанки, которая радостно, прекрасными глазами смотрела на него и, открывая улыбкой прекрасные зубы, казалось, ждала и радовалась на его нерешимость. Ростов смотрел на нее во все глаза, дрожал от страха, сердился на себя, чувствовал, что он делает безвозвратный шаг в жизни, что преступное, ужасное совершается в эту минуту и — странно — именно прелесть преступности тянула его к ней. То она ему казалась прелестною, особенно прелестною своею чуждостью, то что-то подлое, гадкое отталкивало его. Но глаза, окруженные черной тенью, впивались больше и больше в его взгляд, сливались с ним, он чувствовал себя, как в глубину, непреодолимо втянутым, и голова у него шла кругом. Сознание преступности потонуло в этом опьянении.

— Ты выб'ал славно,— закричал Денисов,— твоя г'ечанка, мы с ней вче'а познакомились, Kusse doch den jungen He'n[3],— закричал Денисов.

Ростов вздрогнул, оторвался от нее и выбежал на двор с тем, чтобы уйти, но через пять минут страсть любопытства и желания преодолеть страх преступности и отвращения опять притянула его. Он вошел опять. Вино стояло на столе. Гречанка уже получила урок от Денисова, как поступать с новичком. Она взяла его за руку, притянула к столу, посадила и села на его колени, наливая вино себе и ему. Ростов выпил, обнял ее слегка, крепче, крепче, отвращение, и страсть, и желание скорее, скорее доказать себя, доконать в себе это всё борющееся чувство чистоты, слились в одно, и он с радостью чувствовал, что забывал себя.

. . . . . .

На другой день утром, провожаемый гречанкой, он вышел на крыльцо (Денисов, не дождавшись, уехал с вечера), и пешком дошел до извозчика, и приехал в лагерь, и провел день как и всегда, с товарищами, не показывая ничего и [отвечая на шутки] давая всем чувствовать, что то, что с ним было вчера, было очень обыкновенно. Вечером, когда он лег, ему только представлялась гречанка и хотелось поскорее увидеться с нею. Он крепко заснул. Во сне он видел сражение, толпу народа, которая бежала за ним, потому что он был победителем. Он остановился на возвышении и стал говорить этой толпе. Он стоял на белом, колеблющемся, воздымающемся всё выше и выше, возвышении. Его окружали жадные к нему[4].

---

[3] Поцелуй же молодого человека (*нем.*).
[4] Так в автографе.

СОН

Он во сне стоял на колеблющемся возвышении и говорил людям всё то, что было в его душе и чего он не знал прежде. Мысли его были новы, ясны и невольно облекались вдохновенным, размеренным словом. Он удивился тому, что говорил, и радовался, слушая звуки своего голоса. Он ничего не видал, но чувствовал, что вокруг него толпились незнакомые ему братья. Вблизи он различал их тяжелые вздохи, вдали, как море, бурлила бесконечная толпа. Когда он говорил, по толпе, как ветер по листьям, пробегал трепет восторга; когда он замолкал, толпа, как один человек, переводила дыханье. Глаза его не видели, но он чувствовал на себе взгляды всех людей, и взгляды эти давили его и радовали. Они двигали им, так же как и он двигал ими. Болезненный восторг, горевший в нем, давал ему власть, и власть его не имела пределов. Чуть слышный внутренний голос говорил ему: «страшно», но быстрота движенья опьяняла его и влекла дальше. Подавленный страх усиливал очарованье, и возвышенье, на котором он стоял, колеблясь, поднимало его выше и выше.

Вдруг сзади его он почуял чей-то один свободный взгляд, мгновенно разрушавший всё прежнее очарованье. Взгляд неотступно притягивал к себе и он должен был оглянуться. Он увидал женщину и почувствовал чужую жизнь. Ему стало стыдно, он остановился. Толпа не исчезала и не расступалась, но каким-то чудом простая женщина спокойно двигалась посередине толпы, не соединяясь с нею. Не знаю, кто была эта женщина, но это была ⟨Соня?⟩, но в ней было всё, что любят, и к ней сладко и больно тянула непреодолимая сила. Встретив его глаза, она равнодушно отвернулась, и он только смутно видел очертания ее полуоборотившегося лица. Только спокойный взгляд ее остался в его воображении. В нем были кроткая насмешка и любовное сожаленье. Она не понимала того, что он говорил, и не жалела о том, а жалела об нем. Она не презирала ни его, ни толпу, ни восторги наши, она только была полна счастия. Ей никого не нужно было, и поэтому-то он чувствовал, что не может жить без нее. Дрожащий мрак безжалостно закрыл от него ее образ, и он заплакал во сне о невозможности быть ею. Он плакал о прошедшем невозвратимом счастии и о невозможности будущего счастья, но в слезах этих уже было счастье настоящего.

Он проснулся и всё плакал и плакал слезами стыда и раскаяния о своем падении, навеки отделившим его от Сони. Но суета дня рассеяла это впечатление, и он даже, ежели вспоминал об этом сне, старался отгонять его, но оно возникало само. И теперь возникало еще чаще и сильнее, когда он, узнав о письмах из дому, ехал к Борису.

Совсем уже смерклось, было морозно, месячно и дымно в деревне, где стоял Измайловский полк, когда Nicolas подъехал к нему. Ему сказали, где стоит 3-й батальон, но в темноте его не хотели пропускать часовые, так что он должен был назваться адъютантом, присланным к великому князю. Но когда и пропустили его, он ошибся и вместо 3-го батальона попал в деревню, где стоял сам великий князь, и со страхом выбрался назад. Уже поздно, усталый и нетерпеливый, он добился у кашеваров солдат, где стоял Борис.

— Где стоит князь Друбецкой, прапорщик? — спросил он.

Солдат с любопытством осмотрел гусара и подошел к нему.

— Такого нет в нашем баталионе. В 4-м баталионе спросите, там князей много, а у нас нет.

— Князь Друбецкой! Верно, есть.

— Да нет, ваше благородие, уж как мне не знать...

— А в 4-й роте с капитаном стоят, не князь ли? — отозвался другой солдат.

— Где князь, с капитаном Бергом-то?

— Берг, Берг, так и есть, веди! — закричал Ростов,— целковый на чай.

Гвардия весь поход прошла, как на гулянье, щеголяя своей красотой и дисциплиной. Переходы были малые, ранцы, людей везли на подводах, офицерам австрийское начальство готовило на всех переходах прекрасные обеды. Полки вступали и выступали из городов с музыкой, и весь поход (чем гордились гвардейцы) люди шли в ногу и офицеры пешком на своих местах. Борис всё время похода шел и стоял с Бергом, своим ротным командиром. Весь поход был для него веселое торжество[5]. Берг и Борис, уже отдохнув после похода, сидели в чистой квартире, отведенной им, перед круглым столом, пили чай и играли в шахматы. Борис своим тонким и внимательным лицом несколько загорел, но был так же хорош и изящен в одежде, как и в России. Берг, дома на походе еще более, чем в Москве, был щепетильно аккуратен, видимо, сам беспрестанно любуясь на чистоту и аккуратность своего халата, своей шкатулки и приглашая и других оценить его аккуратность и похвалить его за нее. Он, так же как и в Москве, пускал аккуратные колечки дыма, представлявшие как бы эмблему и девиз его жизни, и, переставляя аккуратно, за головку, взявши чистыми руками, шахматы, значительно приговаривал, как приговаривают в подобных случаях ограниченные люди, одни и те же слова.

— Ну, так-то, Борис Сергеевич, ну, так-то, Борис Сергеевич.

Но, не договорив последних слов, он услыхал гром и звон на крыльце и увидал вбегающего в дверь гусарского офицера, которого он было не узнал сначала.

— Ах ты, чёрт вас возьми,— закричал гусарский офицер, непостижимо производя в комнате такой шум и гам, как будто целый эскадрон ворвался в комнату.— И Берг тут! Черти, гвардия. Ах ты, петизанфан!

— Але куше дормир[6],— подхватил Борис, гремя, вскакивая со стула и выбегая навстречу Ростову. С тем особенным, гордым чувством молодости, которое боится битых дорог, хочет, не подражая другим, по-своему, по-новому выражать свои чувства, только бы не так, как выражают это, часто притворно, старшие, оба друга, нежно любившие друг друга, сбежались, потряслись за плечи, толконулись, щипнулись, сказали — «ах, чёрт тебя возьми, ах ты вендер петизанфан»,— они обнялись, не поцеловались, не сказали друг другу нежного слова. Но, несмотря на это отсутствие внешней нежности, в их лицах, особенно в лице Ростова, выражалось такое счастие, оживленность и любовь, что даже Берг, казалось, на минуту забыл любоваться своим благоустройством. Он умиленно улыбался, хотя и чувствовал себя чужим между этими двумя друзьями.

— Ах вы, полотеры проклятые, чистенькие, свеженькие, точно с гулянья, не то что мы грешные, армейщина,— кричал Ростов, с гордостью указывая на свою, забрызганную грязью, шинель, так громко, что хозяйка немка высунулась из двери посмотреть на этого страшного крикуна. Вопросы без ответов сыпались с обеих сторон.— Ну, рассказывай же, когда видел моих, здоровы ли все? — спрашивал Ростов.

— Что ты офицер? что ты ранен? — говорил Борис, указывая на его шинель и подвязанную руку.

— Ах, и вы тут,— не отвечая и обращаясь к Бергу, говорил Ростов.— Здравствуйте, мой милый. Ростов, который прежде, бывало, совсем изменялся при новом, тем более несимпатическом лице, каким, очень хорошо знал Борис, был для него Берг, Ростов теперь при этом несимпатическом лице не только не сжимался, но, напротив, как бы нарочно,

---

[5] Отсюда начинается текст, написанный Т. А. Берс под диктовку (прим. составителя).

[6] Очевидно, продиктованный Толстым французский текст: *Petits enfants, allez coucher dormir* (Дети, идите ложиться спать), Т. А. Берс записала в русской транскрипции (прим. составителя).

казался еще беспечнее и развязнее. Ростов подвинул себе стул, сел верхом на него и рукавом сшвырнул все шахматы на диван.

— Ну, садись, рассказывай,— сказал он, притягивая за руку Бориса,— знают они про наши дела? Знают про то, что я произведен? Да ведь мы два месяца из России.

— Ну, а ты был в деле? — спросил Борис. Ростов, не отвечая, небрежным движением тряхнул по солдатскому георгиевскому кресту, висевшему на снурках мундира и, указав на свою подвязанную руку, улыбаясь, взглянул на Берга.

— Нет, не был,— сказал он.— [Это так.]

— Ого,— сказал Борис, всё удивляясь и тихо улыбаясь, глядя на происшедшую перемену его друга. В сущности же теперь только в первый раз сам Ростов, примеряя себя к старым отношениям в жизни, чувствовал всю ту перемену, которая произошла в нем. Всё, что прежде показалось бы ему трудным, было легко ему. Он, заставляя Бориса удивляться своей развязности, сам еще больше его удивлялся ей. Попав, желая пощеголять перед гвардейцами, в тон ухарского гусарства, он почувствовал неожиданную свободу и прелесть в этом тоне. Он с удовольствием чувствовал, что в противность тому, что прежде бывало между им и Борисом, не Борис уже, а он давал характер и направление разговору. Он видимо забавлялся тем, что по произволу переменял разговор; только что Борис стал его расспрашивать о войне и его производстве, как Ростов, вспомнив о старом слуге Бориса, опять переменил разговор.

— Ну, а твой старый пес, Гаврило, с тобой? — спросил он.

— Как же,— отвечал Борис,— он тут у хозяев по-немецки учится.

— Эй, ты, старый чёрт,— крикнул Ростов,— иди сюда.— И на его зов явился почтенный и представительный старый слуга Анны Михайловны.

Иди сюда, целуй меня, старый кобель,— радостно улыбаясь, сказал Ростов и обнял его.

— Имею честь поздравить, ваше сиятельство,— сказал добродушно и почтительно старый Гаврило, любуясь на крест и на эполеты Ростова.

— Ну, давай полтинник на извозчика,— смеясь, закричал Ростов, напоминая тем старому слуге, как он во времена студенчества занимывал у него по гривенничку. Приятный и добродушный старик слуга тотчас же нашелся:

— Офицеру и кавалеру как не поверить, ваше сиятельство,— сказал он шутя, как будто доставая деньги из кармана.

— Подите-ка, гвардейская штука,— проговорил Ростов, трепля по спине старика,— как я ему рад, как я ему рад, а вот что,— вдруг сказал он,— пошли-ка его за вином.

Борис, хотя не пил, но охотно достал из-под чистых подушек тощий кошелек и велел принести вина.

— Кстати и тебе отдать твои деньги и письмо.

— Давай, свинья этакая,— закричал Н. Ростов, хлопая его по заднице, в то время как Борис, нагнувшись над шкатулкой, щелкал в ней звенящим, английским замком, доставая письма и деньги.

— Ты потолстел, право,— сказал Ростов и, вырвав у него письма и бросив на диван деньги, облокотился обеими руками на стол и стал читать. Он прочел несколько строк, глаза его потускнели и всё лицо, изменившись, приняло более благородные, не детские, очертания. Он прочел еще, и еще страннее стал его взгляд, и выражение нежности и раскаяния показалось на его содрогнувшихся губах. Он злобно взглянул на Бориса и, встретив его взгляд, закрыл лицо письмами.

— Однако денег вам порядочно прислали,— сказал Берг, глядя на тяжелый, вдавившийся в диван кошелек.

— Вот что, Берг, милый мой,— сказал Ростов.— Когда вы получите из дома письмо и встретитесь с своим человеком, у которого вам захочется расспросить про всё, и я буду тут,— я сейчас уйду, чтобы не мешать вам.

Послушайте, уйдите, пожалуйста, куда-нибудь, куда-нибудь... к чёрту! — крикнул он и тотчас же, схватив его за плечо и ласково глядя в его лицо, видимо, стараясь смягчить грубость своих слов, прибавил: — Вы знаете, я от души говорю, как нашему старому хорошему знакомому.

— Ах, помилуйте, граф, я очень понимаю,— сказал Берг, вставая и говоря в себя, горловым голосом.

— Вы к хозяевам пойдите: они вас звали,— прибавил Борис.

Берг надел чистейший, без пятнышка и соринки, сюртучок, взбил перед зеркалом височки кверху, как носил Александр Павлович, и, убедившись по взгляду Ростова, что его сюртучок был замечен, с приятною улыбкой вышел из комнаты.

— Я свинья,— сказал Ростов, глядя в письмо (он читал в это время французскую приписочку Сони. Он видел как бы перед глазами ее черную косу, худые плечики, а главное, он видел и знал, что происходило в ее душе, когда она писала это письмо, как бы всё это происходило в его собственной. Он чувствовал, как она колебалась написать слишком мало или слишком много, и чувствовал, как сильно и прочно она его любила).

— Ах, какая я свинья! Посмотри, что они пишут,— повторил он, покраснев при воспоминании о вчерашнем сновидении и не показав нагнувшемуся Борису тех строк, которые так сильно волновали его.

Он прочел ему следующее место из письма матери: «Думать, что ты, мой бесценный, обожаемый, несравненный Коко, находишься среди всех ужасов войны, и быть спокойной и думать о чем-нибудь другом, свыше моих сил. Да простит меня бог за мой грех, но ты один, неоцененный мой Коко, дороже мне всех моих детей». Расположенный к чувствительности вообще всем происшедшим с ним в последние дни и теперь приписочкой Сони, он и не мог без слез дочесть это письмо матери. Он заплакал, рассердился на себя и притворно засмеялся.

В письмах родных было вложено еще рекомендательное письмо к князю Багратиону, которое, по совету Анны Михайловны, через знакомых достала старая графиня и посылала сыну, прося его снести по назначению и им воспользоваться.

— Нет, бог с ним,— сказал Ростов, бросая письмо,— мне и в полку хорошо.

— Что ж ты, неужели бросишь письмо,— спросил с удивлением Борис.

— Разумеется.

— Напрасно,— сказал Борис,— это тебя ни к чему не обязывает, а может улучшить твое положение.

— Да я не желаю лучшего.

— Нет, ты всё такой же,— покачивая головой и улыбаясь, сказал Борис.— Как же ты можешь судить, лучше или хуже то положение, когда ты еще не испытал его. Вот я, например, тоже вполне доволен своим положением в полку и в роте, но мне матушка дала письмо к одному адъютанту Кутузова, Болконскому. Он, говорят, очень влиятельный человек. Что ж, я был у него, и он обещал устроить мне положение при главной квартире. Я не вижу, что же тут дурного: уж раз пойдя по карьере военной службы, стараться сделать, коль возможно, блестящую карьеру. Что, ты не знаешь, не встречал этого Болконского,— спросил Борис.

— Нет, я этой дряни штабных не знаю,— мрачно отвечал Ростов.

— А он нынче вечером хотел зайти ко мне,— сказал Борис.— Он тут теперь у цесаревича, прислан от вашего главнокомандующего.

— А,— сказал Ростов [впадая в раздумье]. Помолчав несколько секунд, он весело и нежно взглянул в глаза Бориса.

— Ну, что про глупости говорить,— сказал он,— расскажи же мне хорошенько про наших. Что папенька, что Жанлис? Что Наташа моя милая? Петька? Он расспрашивал про всех, но не мог взять на себя спросить

про Соню. Он не говорил тоже с Борисом о его отношениях с Наташей, как будто теперь он признавал, что это были детские глупости, которые теперь забыть надо.

Старик Гаврило принес вино, и так как всё задушевное было переговорено или скорее ничего задушевного не было сказано, и очевидно было, что и не будет сказано, Борис предложил послать за изгнанным Бергом для того, чтоб и он мог принять участие в принесенной бутылке.

— Ну, что эта немчура,— сказал Ростов с презрительной миной, пока Берг еще не возвращался,— всё такая же дрянь, весь на расчетцах.

— Нет,— заступнически сказал Борис,— он славный человек, честный и смирный.

Опять Ростова поразило не случайное, а существенное различие во взглядах с своим другом. Он пристально посмотрел в глаза Борису и вздохнул, как бы навсегда прощаясь с своей прежней дружбой и простотой отношений с своим товарищем детства[7].

— Нет, для меня лучше пускай будет не такой уж честный и аккуратный, но чтоб был живой человек, а не такая тряпка, как этот немчик.

— Это очень, очень хороший, честный и приятный человек,— сказал Борис.

Ростов, пристально посмотрел в глаза Борису и вздохнул, как бы навсегда прощаясь с своей прежней дружбой и простотой отношений с своим товарищем детства[7]. «Мы совсем, совсем чужие»,— подумал Ростов.

Берг вернулся, и за бутылкой вина разговор между тремя офицерами оживился. Гвардейцы рассказывали Ростову о своем походе, о том, как их чествовали в России, Польше и за границей, рассказывали о словах и поступках великого князя, анекдоты о его доброте и вспыльчивости. Берг, как и обыкновенно, молчал, когда дело касалось не лично его, но по случаю анекдотов о вспыльчивости великого князя он с наслаждением рассказал, как в Галиции ему удалось говорить с великим князем, объезжавшим полки и прогневавшимся за неправильность движения. Захлебываясь от удовольствия и едва удерживая круглую улыбку, он рассказал, как великий князь в бешенстве подъехал к нему, закричал: «Арнауты!» — («арнауты» — была любимая поговорка цесаревича, когда он был в гневе), и Берг, повторяя эту поговорку, видимо, захлебывался от счастия.

— Арнауты, арнауты,— крикнул великий князь и потребовал к себе ротного командира.— «Где эта бестия, ротный командир»,— с удовольствием повторял Берг эти слова великого князя.— Я и вышел ни жив ни мертв,— говорил Берг,— только он меня уж пушил, пушил, пушил, пушил и «арнауты» и «чёрт» и «в Сибирь»,— говорил Берг, тонко, проницательно улыбаясь.— Я все молчу. «Да, что ты, немой что ли?» — Как крикнет вдруг: «Арнауты». Я всё молчу, что мне, ⟨ничего?⟩. На другой день и в приказе не было; вот что значит не потеряться! Так-то, граф,— говорил Берг, пуская свои добродетельные колечки.

Борис заметил, что Ростову не вполне нравились эти рассказы. Он обратил разговор об военных действиях и о том, как он и где получил рану. Ростов, понемногу, в присутствии несимпатичного ему Берга, входя опять в прежний тон гусарского ухарства и одушевляясь, рассказал им свое Шенграбенское дело совершенно так, как рассказывают про сражения обыкновенно участвовавшие в них, то есть так, как им хотелось бы, чтоб оно было, так, как они слыхали от других рассказчиков, так, как красивее было рассказывать, но совершенно не так, как оно было. Ростов был правдивый молодой человек, он ни за что умышленно не сказал неправды, он с намерением рассказать всё, как оно точно было, начал рассказывать, но незаметно, невольно и неизбежно для себя перешел в фантазию, в ложь и даже в хвастовство. Как же в самом деле ему было

---

[7] Почти буквальное повторение в автографе (прим. составителя).

рассказывать? Неужели ему надобно было сказать этим слушателям, которые, как и он сам (он очень хорошо знал), слышали уже множество раз рассказы об атаках и составившие себе определенное понятие о том, что была атака, и ждавшие точно такого же рассказа, как же ему было, разрушая их готовое понятие, рассказывать им совсем другое вправду. Или бы они не поверили ему, или, что еще хуже, они подумали бы, что Ростов был сам виноват в том, что с ним не случилось того, что случается обыкновенно с рассказчиками кавалерийских атак. Не мог он им рассказать так просто, что поехали все рысью, он упал с лошадью, свихнул руку и изо всех сил побежал в лес от француза.

Они ждали его рассказа о том, как горел он весь в огне, сам себя не помня, как буря, налетал на каре; врубался в него, рубил направо и налево; и падал в изнеможении, и тому подобное. В таком роде он и рассказал им, и они остались довольны, и он не заметил, что всё, что он говорил, было далеко от правды.

В середине его рассказа в комнату вошел ожидаемый Борисом князь Андрей. Накануне, когда Борис передавал ему письмо от Пьера, которое уговорила Анна Михайловна Пьера написать своему другу и в котором молодой граф Безухов говорил Болконскому, что податель этого письма есть замечательно милый молодой человек, Болконский, польщенный уже тем, что к нему обращались за протекцией, обратил внимание на молодого Бориса, и этот юноша чрезвычайно понравился ему. Кроме того, для князя Андрея самый приятный род отношений с людьми были отношения покровительственные к молодому и симпатическому человеку, который бы преклонялся перед ним. Таковы были его отношения к самому Пьеру и такие же устанавливались теперь с Борисом. Борис же с своим прирожденным тактом в первое свидание с князем Андреем успел дать почувствовать ему, что он вполне был готов преклоняться перед ним. Он зашел теперь к Борису отдохнуть перед отъездом в штаб и переговорить, как он обещал, о том, что предпринять для исполнения желания Бориса, перевода в главную квартиру. Войдя в комнату и увидав армейского гусара, который, сидя верхом на стуле, с жаром рассказывал свои военные похождения новичкам гвардейцам («наверное вранье»,— подумал князь Андрей, слышавший уже сотни таких рассказов), князь Андрей поморщился, прищурился и, слегка поклонившись, устало и лениво сел на диван. Ему неприятно было, что он попал в дурное общество. Несмотря на то, что Борис назвал ему графа Ростова, он не изменил ни своего 〈мнения?〉, ни презрительной мины.

— Что ж, продолжайте,— сказал он таким тоном, после которого невозможно было продолжать. Несмотря на неприятный, насмешливый тон князя Андрея, несмотря на общее презрение, которое с своей армейской боевой точки зрения имел Ростов ко всем этим штабным адъютантикам, к которым, очевидно, причислялся и вошедший, Ростов почувствовал себя сконфуженным и не мог продолжать. Он покраснел, отвернулся и замолчал, но не мог не следить со вниманием за всеми движениями и выражениями лица этого маленького человека, усталого, слабого и ленивого, который сквозь зубы пропускал слова, как будто бы делал милость тому, с кем он говорил. Этот человек интересовал, волновал его и внушал ему невольное уважение. Ростов краснел и молча думал, глядя на вошедшего. Берг униженно до неприличности прислуживал ему. Борис, как умная хозяйка дома, старался втянуть обоих в общий разговор. Он спрашивал какие новости и что, без нескромности, слышно о наших предположениях?

— Вероятно, пойдут вперед,— видимо, не желая при посторонних говорить более, отвечал Болконский.

Берг воспользовался случаем спросить с особенною учтивостью, будут ли выдавать теперь, как слышно было, удвоенное фуражное армейским ротным командирам? На это князь Андрей с улыбкой отвечал, что он

не может судить о столь важных государственных распоряжениях, и Берг радостно рассмеялся.

— Об вашем деле,— обратился князь Андрей к Борису,— мы поговорим как-нибудь после,— и он оглянулся на Ростова, как бы этим показывая ему, что он был лишний. Ростов вспыхнул, ничего не сказав. Болконский продолжал: — Вы приходите ко мне после смотра, мы всё сделаем, что можно будет.

И чтобы сказать, наконец, что-нибудь прежде, чем уйти, он обратился к Ростову, которого положение детского непреодолимого конфуза, переходящего в озлобление, он и не удостоивал заметить, он сказал:

— Вы, кажется, про Шенграбенское дело рассказывали? Вы были там?

— *Я* был там,— с озлоблением сказал Ростов, как будто бы этим желая оскорбить адъютанта.

Болконский заметил состояние гусара, и оно ему показалось забавно. Он слегка презрительно улыбнулся.

— Да! много теперь рассказов про это дело.

— Да, рассказов! — громко заговорил Ростов, в упор вдруг сделавшимися бешенными глазами глядя на Болконского.— Да, рассказов много, но наши рассказы — рассказы тех, которые были в самом огне неприятеля, наши рассказы имеют вес, а не рассказы тех штабных молодчиков, которые получают награды, ничего не делая.

— К которым, вы предполагаете, что я принадлежу? — спокойно и весело улыбаясь, проговорил князь Андрей.

Странное чувство озлобления и вместе с тем уважения к спокойствию этой фигуры соединилось в это время в душе Ростова.

— Я говорю не про вас,— сказал он,— я вас не знаю и, признаюсь, не желаю знать. Я говорю вообще про штабных.

— А я вам вот что скажу,— с спокойною властию в голосе перебил его князь Андрей.— Вы, может быть, хотите оскорбить меня, то я готов согласиться с вами, что это очень легко сделать, ежели вы не будете иметь достаточного уважения к самому себе; но согласитесь, что и время и место весьма дурно для этого выбраны. На днях всем нам придется быть на большой, более серьезной дуэли, а кроме того, Друбецкой, который говорит, что он ваш старый приятель, нисколько не виноват в том, что моя физиогномия имела несчастие вам не понравиться. Впрочем,— сказал он вставая,— вы знаете мою фамилию и знаете, где найти меня; но не забудьте,— прибавил он,— что я не считаю нисколько ни себя, ни вас оскорбленным, и мой совет, как человека старше вас, оставить это дело без последствий. Так в пятницу после смотра, я жду вас, Борис, до свидания;— и он вышел.

Ростов вспомнил, что ему надо было ответить, только тогда, когда он уже вышел. Борис знал, что, чем больше бы он просил Ростова оставить это дело, тем бы он был упорнее, и потому он ни слова не сказал про прошедшее. [Поговорим о постороннем] Ростов тоже молчал и через полчаса велел подать лошадь и уехал. Он уехал с сомнением о том, оставался ли Борис его другом или он должен был признаться, что уже навсегда они стали далеки друг от друга. Другое его сомнение состояло в том, ехать ли ему завтра в главную квартиру и вызвать этого ломающегося адъютанта или в самом деле оставить это дело так. То он с злобой думал о том, с каким бы удовольствием вызвал бы на барьер этого маленького, слабого и гордого человечка, то он с удивлением чувствовал, что из всех людей, которых он знал, никого бы с такой радостью он не сделал бы своим другом[8].

---

[8] Утрачен один лист автографа, поэтому текст: *состояло* ∾ *своим другом.*— печатается по копии. Далее вновь начинается автограф — правленная Толстым Рукопись 103 (прим. составителя).

‹V›

На другой день свидания Бориса с Ростовым был смотр австрийских и русских войск, как свежих, пришедших из России, так и тех, которые вернулись из похода с Кутузовым. Оба императора, русский с наследником цесаревичем и австрийский с эрцгерцогом, делали этот смотр союзной 80-ти тысячной армии.

С раннего утра начали двигаться щегольски вычищенные и убранные войска, выстраиваясь на укрепленном месте. То двигались тысячи ног и штыков [и по команде офицеров] с развевавшимися знаменами и по команде офицеров останавливались, заворачивались и строились в интервалах, обходя другие такие же [громады] массы пехоты в других мундирах. То мерным топотом и бряцаньем сабель звучала нарядная кавалерия в синих, красных, зеленых шитых мундирах с расшитыми музыкантами впереди, на вороных, рыжих, серых лошадях. То, растягиваясь с своим медным звуком подрагивающих на лафетах, вычищенных, блестящих пушек и с своим запахом пальников, ползла между пехотой и кавалерией артиллерия, расставляясь на назначенных местах. Не только генералы в полной парадной форме, с перетянутыми донельзя [талиями] толстыми и тонкими талиями и покрасневшими, подпертыми воротниками, шеями в шарфах и всех орденах, не только припомаженные, расфранченные офицеры, но каждый солдат — с свеже выбритым и вымытым лицом и до последней возможности блеска вычищенною амуницией, каждая лошадь, выхоленная так, что, как атлас, светилась на ней шерсть и волосок к волоску лежала примоченная гривка,— все чувствовали, что совершается что-то нешуточное, торжественное и значительное. Каждый [человек] [солдат] генерал и солдат чувствовал себя песчинкой в этом море людей, чувствовал свое ничтожество, как личность, и вместе испытывал гордое сознание своей силы и величия, относящихся ко всей массе, с которой он [чувствует] сознавал себя нераздельно связанным.

С раннего утра и до 10 часов продолжались напряженные хлопоты и усилия, и наконец всё пришло в требуемый порядок.

На огромном поле ряды стали, и видны только стройно выровненные, вычищенные, блестящие белыми перевязями линии пехоты, артиллерии, конницы, гвардейской, армейской кутузовской, отличающейся своей воинственной неформенностью, и австрийская с своими белыми генералами.

Как ветер по листьям, пронесся взволнованный шёпот, и с разных сторон раздались звуки генерал-марша. Как будто сама армия, веселясь и встречая государя, издавала эти торжественные звуки, как будто не ветер слегка колебал распущенные знамена, ‹виднеющиеся› в середине батальонов, а сама армия этим легким движением выражала свою радость при приближении государей. Послышался один голос, потом, как петухи на заре, повторились голоса в разных концах. Армия сделала на караул, и всё затихло. В мертвой тишине послышался топот сотни лошадей [свиты императоров, и вся армия, как один человек, глядит только на государей, ничего не видя, кроме них. В мертвой тишине слышится слабый ласковый] [Топот затих] свиты императоров. Потом один ласковый [совершенный] [желаемый] молодой голос государя Александра. И армия [как бы желая показать свою силу] издала такой страшный, оглушающий и продолжительный радостный крик, что сами люди армии ужаснулись той силе и громаде, которой они составляли части.

Ростов в кутузовской армии стоял на своем месте и испытывал то же чувство, какое испытывал каждый человек этой армии, чувство самозабвения, сильного, нечеловеческого, гордого сознания могущества и страстного влечения к тому, кто был причиной этого торжества.

Он чувствовал, что от одного слова этого человека зависело то, чтобы вся громада эта (и он, связанный с ней,— [один человек] ничтожная песчинка) пошла бы в огонь или в воду, на преступление или на смерть, и потому он трепетал и замирал при виде этого приближающегося слова.

— Урра! Урра! Урра! — гремело со всех сторон, и при стройном оглушительном звуке этих голосов посреди неподвижных [масс войска], как бы окаменевших в своих четвероугольных масс войска, небрежно, несимметрично [двигались] и, главное, свободно двигались сотни всадников свиты и впереди их два человека — императоры. На них-то безраздельно было сосредоточено внимание всей этой массы людей.

Красивый, молодой император Александр, в конногвардейском мундире, в треугольной шляпе, надетой с поля, ⟨с⟩ своим приятным лицом и звучным негромким голосом привлекал всё внимание.

Ростов в первый раз видел государя [но он никого] [Государь Александр сосредоточил все его внимание.]. Он был обворожен простою прелестью его наружности в соединении с величием обстановки.

Остановившись против Павлоградского полка, государь сказал что-то по-французски австрийскому императору и улыбнулся.

Увидав эту улыбку, Ростов почувствовал, что он любит государя в эту минуту больше всего на свете. За что, не знал, но это так было. Государь вызвал полкового командира немца Усача и сказал ему несколько слов. Ростов завидовал ему всей душой.

Государь обратился и к офицерам:

— Всех, господа (каждое слово слышалось Ростову, как звук с неба), благодарю от всей души. (Как бы счастлив был Ростов, ежели бы мог теперь умереть за своего царя!) — Вы заслужили георгиевские знамена и будете их достойны.

Государь еще сказал что-то, чего не расслышал Ростов, и солдаты, надсаживая свои гусарские груди, закричали «урра!»

Ростов закричал тоже, [в эту минуту] пригнувшись к седлу, что было его сил, желая повредить себе этим криком, но только чтобы выразить вполне свой восторг государю.

Государь постоял несколько секунд как будто в нерешимости.

«Как мог быть в нерешимости государь?» — подумал Ростов, и эта нерешимость показалась Ростову еще более величественною. Но нерешительность продолжалась мгновение. Нога государя с узким острым носком дотронулась до паха энглизированной гнедой красавицы лошади, на которой он ехал; рука государя в белой перчатке перебрала поводья, и всё тронулось прочь и скрылось за беспорядочно, но грациозно заколыхавшимся морем адъютантов.

Когда смотр кончился, заиграли песенники, офицеры съехались группами и начались разговоры о наградах, о австрийцах, их мундирах, посыпались насмешки, встречи приятелей гвардейцев с Кутузовскими войсками, разговоры о Бонапарте и о том, как ему плохо придется теперь, особенно подойдет еще корпус Эссена, и Пруссия примет нашу сторону.

Но, главное, говорили о государе Александре, передавали каждое его слово, движение и восторгались им. Все только желали под предводительством государя поскорее идти против французов. Все после смотра были уверены в победе больше, чем бы могли быть после двух выигранных сражений.

⟨VI⟩

На другой день после смотра Борис, одевшись в лучший мундир и напутствуемый пожеланиями успеха от своего товарища Берга, поехал в Ольмюц к Болконскому, желая воспользоваться его лаской и устроить себе наилучшее положение при важном лице, казавшееся ему особенно заманчивым в армии. Внутренний голос говорил ему против его намерений, и ему иногда казалось стыдно идти кланяться кому бы то ни было.

«А впрочем, нет,— говорил он сам себе,— это всё детские и рыцарские фантазии Ростова, которые отзываются во мне. Это пора оставить. Это хорошо ему, которому отец присылает по 10 тысяч. (Я не завидую

ему и люблю его.) Но мне, ничего не имеющему, кроме своей головы, надо делать свою карьеру».

Он подавил в себе это чувство ложного стыда, как ему казалось и с решимостью отправился в Ольмюц. Он не застал в этот день князя Андрея в штабе, но тот блеск, те признаки власти и праздничного, торжественного обихода жизни, которые он видел теперь в Ольмюце, где стояла главная квартира, дипломатический корпус и оба императора с своими свитами придворных, приближенных, только больше усилили его желание принадлежать к этому верховному миру.

Он никого не знал, несмотря на его щегольской гвардейский мундир, все эти сновавшие по улицам в щегольских экипажах, плюмажах, лентах и орденах придворные и военные, казалось, стояли так высоко от него, что не хотели и не могли даже признавать его существование. В главной квартире Кутузова, где он спросил Болконского, все эти адъютанты и даже денщики смотрели на него так, как будто желали внушить, что таких, как он, офицеров много и много сюда шляются и что они все уже очень надоели. Несмотря на это, или скорее вследствие этого, на другой день, 15 числа, он после обеда опять входил в большой Ольмюцкий дом, занимаемый Кутузовым, и спросил Болконского. Они были дома, и Бориса провели в большую залу, в которой, вероятно, прежде танцовали, а теперь стояли 5 кроватей, разнородная мебель: столы, стулья и клавикорды. Один адъютант, ближе к двери, в персидском халате, сидел за столом и писал. Другой, красный, толстый, лежал на постели, подложив руки под голову, и смеялся с присевшим к нему офицером. Третий играл на клавикордах веселый вальс, четвертый лежал на этих клавикордах и подпевал ему. Болконского не было. Никто из этих господ, заметив Бориса, не изменил своего положения. Тот, который писал и к которому обратился Борис, досадливо обернулся, сказав ему, что Болконский дежурный и чтобы он шел налево в дверь, в приемную, коли ему нужно видеть его. В приемной, кроме дежурного адъютанта, из входящих, проходящих и выходящих постоянно было человек 5 〈*1 нрзб*〉, то генерал-квартирмейстер, то начальник артиллерии, то старший адъютант, то начальник отряда, то оберпровиантмейстер, то начальник собственной канцелярии, то адъютант ординарец, флигель-адъютант и т. п., и т. п. Все эти почти без исключения говорили по-французски.

В то время как взошел Борис, князь Андрей, презрительно прищурившись, с тем особенным видом крайне учтивой усталости, которая ясно говорит, что, коли бы не моя обязанность, я бы минуты с вами не стал разговаривать, князь Андрей выслушивал старого русского генерала в орденах, который почти на цыпочках, навытяжке, с солдатским подобострастным выражением затянутого воротником багрового лица что-то докладывал князю Андрею.

— Очень хорошо, извольте подождать,— сказал он генералу и, заметив Бориса, не обращаясь более к генералу, который с мольбою бегал за ним, прося еще что-то выслушать, князь Андрей с веселой улыбкой, кивая, обратился к Борису. Лицо его приняло то детски нежное выражение, которое бывало так обворожительно для тех, к кому оно обращалось.

Борис в эту минуту окончательно, больше чем когда-нибудь, понял, что, кроме той субординации и дисциплины, которая была написана в уставе и которую знали в полку и он знал, была другая, более существенная субординация, та, которая заставляла этого затянутого, с багровым лицом генерала почтительно дожидаться, в то время как капитан князь Андрей для своего удовольствия находил более удобным разговаривать теперь с прапорщиком Друбецким, и, больше чем когда-нибудь, Борис решился служить впредь не по той писаной в уставе, а по этой неписаной субординации. Он теперь чувствовал, что только вследствие того, что он был рекомендован князю Андрею, он уже стал сразу выше генерала, который в других случаях, во фронте, мог уничтожить его, гвар-

дейского прапорщика. Князь Андрей подошел к нему и взял за руку.

— Очень жаль, что вчера вы не застали меня. Я целый день провозился с немцами. Ездили с Вейротером поверять диспозицию. Как немцы возьмутся за аккуратность — конца нет!

Борис улыбнулся, как будто он понимал то, о чем, как обо всем известном, намекал князь Андрей. Но он в первый раз слышал и фамилию Вейротера и даже слово «диспозиция».

— Ну, что, мой милый, всё в адъютанты хотите? Я об вас подумал за это время.

— Да, я думал,— невольно отчего-то краснея, сказал Борис,— просить главнокомандующего. Ему было письмо обо мне от князя Курагина; я хотел просить только потому,— прибавил он, как бы извиняясь и всё чувствуя невольный стыд,— оттого что, боюсь, гвардия не будет в деле.

— Хорошо! Хорошо! Мы обо всем переговорим,— сказал князь Андрей,— только дайте доложить про этого господина,— и я принадлежу вам.

В то время как князь Андрей ходил докладывать про багрового генерала, генерал этот, видимо, не разделявший понятий Бориса о выгодах неписаной субординации, до такой степени страшно и кровожадно уперся глазами в дерзкого прапорщика, помешавшего ему договорить с адъютантом, что Борису стало неловко. Он отвернулся и с нетерпением ожидал, когда возвратится князь Андрей из кабинета главнокомандующего.

— Вот что, мой милый, я думал о вас,— сказал князь Андрей, когда они прошли в большую залу с клавикордами (Адъютант, прежде так холодно принявший Бориса, теперь был с ним предупредительным и ласковым).— К Кутузову вам ходить нечего,— говорил князь Андрей,— он наговорит вам кучу любезностей, скажет, чтобы приходили к нему обедать («это было бы еще не так плохо для службы по той субординации»,— подумал Борис), но из этого дальше ничего не выйдет; нас, адъютантов и ординарцев, скоро будет батальон. Но вот что мы сделаем: у меня есть хороший приятель, генерал-адъютант императора Александра и прекрасный человек, князь Долгоруков; и хотя вы этого можете не знать, но дело в том, что теперь Кутузов с его штабом и мы всё равно ничего не значим: всё теперь сосредоточивается у государя; так вот мы пойдемте-ка к Долгорукову, мне и надо сходить к нему, я уж ему говорил про вас; так мы и посмотрим, не найдет ли он возможным пристроить вас при себе или где-нибудь там, поближе к солнцу.

Это было уже поздно вечером, когда они взошли в Ольмюцкий дворец, занимаемый императорами и их приближенными.

‹VII›

В этот самый день был военный совет, на котором участвовали все члены гофкригсрата и оба императора и на котором, в противность мнению стариков, Кутузова и князя Шварценберга, было решено немедленно наступать и дать генеральное сражение Бонапарту. Военный совет только что кончился, когда князь Андрей, сопутствуемый Борисом, пришел во дворец отыскивать князя Долгорукова. Еще все лица главной квартиры находились под обаянием Ольмюцкого смотра и в нынешний вечер еще усиленное впечатлением военного совета. Голоса медлителей, советовавших ожидать еще чего-то не наступая, так единодушно были заглушены и доводы их опровергнуты несомненными доказательствами выгод наступления, что то, о чем толковалось в совете, будущее сражение и, без сомнения, победа казалось уже не будущим, а прошедшим. Все выгоды были на нашей стороне. Огромные силы, без сомнения, превосходившие силы Наполеона, были стянуты в одно место. Буонапарте, видимо, ослабленный, ничего не предпринимал. Войска были одушевлены присутствием императоров и рвались в дело; стратегический пункт, на котором приходилось действовать, был до мельчайших подробностей известен

австрийскому генералу Вейротеру, руководившему войска (как бы счастливая случайность сделала то, что австрийские войска в прошлом году были на маневрах именно на тех полях, на которых теперь предстояло сразиться с французом); до малейших подробностей была известна и передана на картах предлежащая местность.

Долгорукий, один из самых горячих сторонников наступления, только что вернулся с смотра усталый, измученный, но оживленный и гордый одержанною в совете победой. Когда князь Андрей с Борисом взошли к нему, князь Андрей представил покровительствуемого им офицера, но князь Долгорукий, учтиво и крепко пожав ему руку, ничего не сказал ему и, очевидно, не в силах удержаться от высказывания тех мыслей, которые сильнее всего занимали его в эту минуту, по-французски обратился к князю Андрею.

— Ну, мой милый, какое мы выдержали сражение! Дай бог только, чтобы то, которое будет следствием его, было бы столь же победоносно. Ну, мой милый,— говорил он отрывочно и оживленно,— я должен признать свою вину перед австрийцами и в особенности Вейротером. Что за точность, что за подробность, что за знание местности и предвидение всех предстоявших условий. Нет, мой милый, выгоднее тех условий, в которых мы находимся, нельзя ничего нарочно выдумать. Соединение австрийской отчетливости с русской храбростию — чего же вы хотите еще?

— Так наступление окончательно решено? — сказал Болконский.

— И знаете ли, мой милый, мне кажется, что решительно Буонапарте потерял свою латынь. Вы знаете, что нынче получено от него письмо к императору.

— Вот как! Что ж он пишет? — спросил Болконский.

— Что он может писать? Традиридира и тому подобное, всё только с целью выиграть время. Я вам говорю, что он у нас в руках: это верно! Но что забавнее всего,— сказал, вдруг добродушно смеясь,— это то, что никак не могли придумать, как адресовать ответ ему? Ежели не консулу, само собой разумеется, не императору, то генералу Буонапарту, как мне казалось[1].

— Ну, как же решили, наконец,— улыбаясь сказал Болконский.

— Вы знаете Билибина, он очень умный малый, он предлагал адресовать: «узурпатору и врагу человеческого рода».

Долгорукий весело захохотал.

— Но все-таки этот Билибин умная голова, он нашел титул адреса.

— Как же? — спросил Болконский.

— Главе французского правительства,— сериозно и с удовольствием сказал князь Долгорукий. Это ему не понравится [я его],— сказал Долгорукой.— Брат его знает, он обедал у него — в Париже, и говорит, что ловчее этого человека на дипломатической тонкости нельзя придумать.

— Да, граф Марков только умел с ним делать. Вы знаете историю платка.— Это прелесть.

И словоохотливый Долгорукой, обращаясь то к Борису, то к князю Андрею, рассказал одобрительно, как Буонапарт, желая испытать Маркова, нашего посланника, нарочно уронил перед ним платок и остановился, глядя на него, ожидая, вероятно, услуги от Маркова, и как Марков тотчас же уронил рядом свой платок и поднял его, не поднимая платка Буонапарта.

— Да, это прекрасно,— всё так же улыбаясь, сказал Болконский.— Но вот что, князь, я пришел к вам просителем вот с этим молодым человеком. Видите ли что...

Но князь Андрей не успел докончить, как в комнату вошел адъютант, который звал князя Долгорукова к императору.

— Ах, какая досада! — сказал Долгорукий, поспешно вставая и пожи-

---

[1] На полях: *Марков, платок. Брат М. П. у него обедывал.*

мая руку князю Андрею и Борису. Вы знаете, я очень рад сделать всё, что от меня зависит, и для вас и для этого милого молодого человека.— И он еще раз пожал руку Бориса с выражением добродушного, искреннего и оживленного легкомыслия.

Бориса невольно волновала мысль о той близости к высшей власти, в которой он чувствовал себя. Он сознавал себя здесь в соприкосновении с теми пружинами, которые руководили всеми теми громадными движениями масс, которых он в своем полку чувствовал себя маленькою, покорною и ничтожною частью. Они вышли в коридор за князем Долгоруким и встретили выходящего из той двери комнаты государя, в которую вошел Долгоруков, молодого человека в штатском платье с замечательно красивым и гордым лицом и резкою чертой выставленной вперед челюсти, которая, не портя его, придавала ему особенную живость и изворотливость выражения. Этот невысокий человек кивнул, как своему, Долгорукову и пристально-холодным взглядом стал вглядываться в князя Андрея, идя прямо на него и, видимо, ожидая, чтобы князь Андрей поклонился ему или [видимо] дал дорогу. Князь Андрей не сделал ни того, ни другого; в лице его выразилась отчаянная злоба, и молодой человек, отвернувшись, прошел стороной в коридор.

— Кто это? — спросил Борис.

— Это один из самых замечательных, но неприятнейших мне людей.— Это поляк, князь Чарторижский.

— Вот эти люди,— сказал Болконский со вздохом, который он не мог подавить, в то время как они выходили из дворца,— вот эти-то люди решают судьбы народа.

Борис с недоумением посмотрел на него, недоумевая, презрительно, уважительно или завистливо было сказано это. Но на черноватом желтом лице маленького человечка, шедшего после него, он не прочел ничего. Это просто сказано, потому что это так было.

На другой день войска выступили и Борис не успел до Аустерлицкого сражения побывать ни у Болконского, ни у Долгорукого и остался во фронте.

‹VIII›

15 ноября союзная армия в пяти колоннах выступила из Ольмюца под командой генералов, из которых ни один не носил русского имени. Имена эти были: 1-е Вимпфен, 2-е граф Ланжерон, 3-е Пржебышевский, 4-е князь Лихтенштейн и 5-е князь Гогенлоу. Погода стояла морозная и ясная, и люди шли весело. Хотя никто, кроме высших начальников, не знал, куда и зачем направлялась армия, все были рады выступлению после бездействия Ольмюцкого лагеря. Колонны двинулись по команде с музыкой и с развевавшимися знаменами. Весь переход они должны были идти стройно, как на смотру, и непременно в ногу[1]. В девятом часу утра государь верхом, со свитою, обогнал гвардию и присоединился к колонне Пржебышевского. Солдаты весело прокричали «ура», и на протяжении 10 верст, которые занимали 80 тысяч движущегося войска, раздались, фальшиво сливаясь в ближайших частях, звуки воинственных маршей и солдатских песен. [Потом опять распустились солдаты и шли лениво и не совсем порядочно, с думами скорее о ночлеге, о еде, о сапогах, которые жали ногу.] Адъютанты и колонновожатые, сновавшие между полками, имели веселое самодовольное выражение лиц[2]. Генерал Вейротер, исключительно заведывавший движением войск, к вечеру, пропуская мимо себя войска, стоял в стороне от дороги с некоторыми свитскими офицерами и с подъехавшим к нему князем Долгоруковым, имел довольный вид человека, благополучно исполнившего свое упражнение. Он спрашивал у проходивших начальников частей, где назначен был их

[1] На полях: *Толки солдат из старого.*
[2] На полях: *Строгая нота из старого.*

ночлег, и показания начальников частей совпадали с предсказаниями, которые он делал стоявшему подле него Долгорукову.

— Вот видите, князь,— говорил он,— новгородцы становятся в Раузнице, так я и говорил, за ними идут мушкатеры,— эти в Клаузевиц,— он справился по записной книжке,— потом павлоградцы, потом гвардия идет по большой дороге. Отлично. Прекрасно. Я не вижу,— сказал он, вспоминая делаемое ему старыми русскими генералами возражение,— я не вижу, почему предполагают, что русские войска не могут так же хорошо маневрировать, как и австрийские. Вы видите, князь, как всё строго и отчетливо исполняется по диспозиции, ежели диспозиция основательна...

Князь Долгоруков невнимательно слушал австрийского генерала; он занят был вопросом, возможно ли или невозможно, и как, атаковать французский отряд, на который наткнулись русские войска нынешний вечер перед небольшим городком Вишау.

Он предложил этот вопрос генералу Вейротеру. Вейротер сказал:

— Это дело только может быть решено волею их величества. Впрочем, дело очень возможное.

— Не можем же мы оставить пред своим носом этот французский отряд,— сказал Долгоруков и с этими словами поехал в квартиру императоров. В штабе императоров уже находился лазутчик из авангарда, присланный князем Багратионом, доносивший, что французский отряд в Вишау не силен и не имеет подкрепления.

Через полчаса после приезда князя Долгорукого было решено на рассвете другого дня атаковать французов и тем игнорировать прибытие императора Александра к армии и его первый поход.

Князь Долгоруков должен был командовать кавалерией, участвуя в этом деле.

Император Александр со вздохом покорился представлениям своих приближенных и решил оставаться при 3-й колонне.

(IX)

На другой день до зари эскадрон Денисова, в котором служил Николай Ростов и который был в отряде князя Багратиона [против Вишау] двинулся с ночлега и [подошли к Вишау], пройдя около версты позади колонн, был остановлен на большой дороге.

Ростов видел, как мимо него прошли вперед казаки, 1-й и 2-й эскадрон гусар, пехотные батальоны с артиллерией, и проехали генералы со свитой. Весь страх, который он как и прежде испытывал перед делом, вся внутренняя борьба, посредством которой он преодолевал этот страх, все его мечтания о том, как он по-гусарски отличится в этом деле,— пропали даром. Эскадрон их был остановлен в резерве и Nicolas Ростов скучно и тоскливо провел этот день. В 9-м часу утра он услыхал пальбу впереди себя, крики: «ура», видел проводимых назад раненых (их было немного) и, наконец, видел, как в середине сотни казаков провели целый отряд французских кавалеристов. Очевидно, дело было кончено, и дело было, очевидно, счастливое. Проходившие назад рассказывали о блестящей победе, о занятии города и взятии в плен целого эскадрона.

День был ясный, солнечный после сильного ночного заморозка, и веселый блеск осеннего дня совпадал с [радостным] известием о победе, которое передавали не только рассказы, но и радостное выражение лиц солдат, офицеров, генералов и адъютантов, ехавших туда и оттуда мимо эскадрона Ростова. Тем больнее щемило сердце Николаю Ростову, напрасно перестрадавшему весь страх, предшествующий сражению, пробывшему этот веселый день в одиноком бездействии.

Денисов по тем же причинам был мрачен и молчалив. Он видел в оставлении своего эскадрона в резерве умышленность и интригу мерзавца адъютанта, и сбирался его «п'оучить».

— Г'остов, иди сюда, выпьем с го'я— [сказал] крикнул ⟨Денисов⟩, усевшись [у погребца] на краю дороги перед фляжкой и закуской. Ростов выпил молча[1], стараясь не глядеть на Денисова и опасаясь повторения ругательств на адъютанта, которые уже надоели ему.

— Вот еще одного ведут,— сказал один из офицеров, указывая на французского пленного драгуна, которого вели пешком два казака.

Один из них вел в поводу взятую у пленного рослую и красивую французскую лошадь.

— П'одай лошадь! — крикнул Денисов казаку.

— Извольте, ваше благородие.

Офицеры встали и окружили казаков и пленного француза. Французский драгун был молодой малый, эльзасец, говоривший по-французски с немецким акцентом. Он задыхался [был красен] [взволнован] от волнения, лицо его было красно, и, услыхав французский язык, он быстро заговорил с офицерами, обращаясь то к тому, то к другому. Он говорил, что его бы не взяли; что он не виноват в том, что его взяли, а виноват le caporal, который послал его захватить попоны, что он ему говорил, что уже русские там. И ко всякому слову он прибавлял: — Mais qu'on ne fasse pas mal à mon petit cheval[2],— и ласкал свою лошадь. Видно было, что он не понимал хорошенько, где он находится. Он то извинялся, что его взяли, то [просил, чтобы] [выказывал], предполагая перед собой свое начальство, выказывал свою солдатскую исправность и заботливость о службе. Он с собой донес в наш ариергард во всей свежести атмосферу французского войска, которое так чуждо было для нас.

Казаки отдали лошадь за два червонца, и Ростов, самый богатый из офицеров, купил ее.

— Mais qu'on ne fasse pas de mal à mon petit cheval,— добродушно сказал альзасец Ростову, когда лошадь передана была гусару.

Ростов, улыбаясь, [дал денег] успокоил драгуна и дал ему денег.

— Алё, алё! — сказал казак, трогаясь. И в то же время кто-то прокричал: «Государь!»

Всё побежало, заторопилось, послышалось с трепетом повторяемое одно и то же слово: «Государь! Государь!», и Ростов увидал сзади по дороге подъезжающих несколько всадников с белыми панашеями на шляпах. В одну минуту все были на местах и ждали.

Николай Ростов не помнил и не чувствовал, как он добежал и сел на лошадь. Мгновенно прошло его сожаление о неучастии в деле, его привычно скучливое состояние в кругу приглядевшихся лиц, мгновенно исчезла всякая мысль о себе, он весь поглощен был чувством счастия и близости императора. Он чувствовал себя одною этою близостию вознагражденным за потерю нынешнего дня. Он был счастлив, как любовник, дождавшийся ожидаемого свидания. Не смея оглядываться во фронте и не оглядываясь, он чувствовал восторженным чутьем его приближение. И он чувствовал это не по одному звуку копыт лошадей приближавшейся кавалькады, но он чувствовал это, потому что по мере приближения всё светлее, радостнее и значительнее делалось вокруг него.

Всё ближе и ближе подвигалось это солнце для Ростова, распространяя вокруг себя лучи кроткого и величественного света, и вот он уже чувствует себя захваченным этими лучами, он слышит его голос — этот ласковый, спокойный, величественный и вместе с тем столь простой голос.

Как и должно было быть по чувству Ростова, наступила мертвая тишина, и в этой тишине раздались звуки его голоса:

— Les husards de Pavlograd?[3] — сказал вопросительно голос.

---

[1] На полях: *Разговоры с пленным из старого.* (*Испуганный. Красный.*) *Qu'on ne fasse pas de mal à mon petit cheval.* ⟨Не делай дурного моей маленькой лошадке⟩

[2] Но не делай дурного моей маленькой лошадке.

[3] Павлоградские гусары?

— La réserve, sire[4],— отвечал чей-то другой, грубый, плотский, столь человеческий, после того нечеловеческого голоса, который сказал: «Les husards de Pavlograd».

Государь поровнялся с Ростовым и остановился. Лицо его было еще прекраснее, чем на смотру три дня тому назад. Оно сияло такою веселостью и молодостью, такою невинною молодостью, что напоминало ребяческую четырнадцатилетнюю резвость, и вместе с тем это было все-таки лицо величественного императора. Случайно, оглядывая эскадрон, глаза государя встретились с глазами Ростова и не более как на две секунды остановились на них. Понял ли государь всё, что делалось в душе Ростова (Ростову казалось, что он всё понял), но он посмотрел секунды две своими голубыми глазами в лицо Ростова (мягко, и кротко, и светло лился из них свет), потом вдруг он приподнял брови, резким движением ударил левою ногою лошадь и галопом поехал вперед. Ростов едва переводил дыхание от радости.

Услыхав пальбу в авангарде, молодой император не мог воздержаться от желания присутствовать при сражении и, несмотря на все представления придворных, в 12 часов, отделившись от третьей колонны, поскакал к авангарду. Еще не доезжая до гусар, несколько адъютантов встретили его с известиями о счастливом исходе дела. Сражение было представлено как блестящая победа над французами, и потому государь и вся армия, особенно после того, как не разошелся еще пороховой дым на поле сражения, верили, что французы побеждены и отступили против своей воли. Несколько минут после того, как проехал государь, дивизион павлоградцев потребовали вперед. В самом Вишау Ростов еще раз увидал государя. На площади города, на которой была довольно сильная перестрелка, лежало несколько человек убитых и раненых, которых не успели подобрать. Государь, окруженный своею свитою военных и не военных, из которых особенно бросалась в глаза изящная фигура Адама Чарторижского, государь стоял на англезированной кобыле и, склонившись на бок, грациозным жестом держа золотой лорнет у глаз, смотрел в него на лежащего ничком без кивера с окровавленною головою солдата. Солдат раненый был так груб, гадок, нечист, что Ростова оскорбляла близость его к государю. Ростов видел, как содрогнулись, как бы от пробежавшего мороза, сутулые плечи государя, как левая нога его судорожно стала бить шпорой бок лошади, которая равнодушно оглядывалась и не трогалась с места. Слезшие с лошадей адъютанты взяли под руки солдата и стали класть на явившиеся носилки. Солдат застонал.

— Тише, тише, разве нельзя тише,— видимо, более страдая, чем умирающий солдат, проговорил государь и отъехал прочь. Ростов видел слезы, наполнившие глаза государя и слышал, как он, отъезжая, по-французски сказал Чарторыжскому: — Какая ужасная вещь война, какая ужасная вещь.

Ростов, забывшись, тронул лошадь и поехал за государем и опомнился только тогда, когда Денисов окликнул его.

Войска авангарда расположились впереди Вишау в виду цепи неприятельской, почтительно уступавшей нам место при малейшей перестрелке в продолжение всего дня. Авангарду объявлена благодарность государем, обещаны награды, и людям роздана двойная порция водки. Еще веселее, чем в прошлую ночь, трещали бивачные костры и раздавались солдатские песни. Денисов в эту ночь праздновал производство свое в майоры, и Н. Ростов предлагал тост за здоровье государя, но не государя императора, как говорят на официальных обедах, а за здоровье государя, доброго, и обворожительного, и великого человека.

— Пьем за его здоровье и за верную победу над французом. Я не знаю,— говорил он,— коли мы прежде дрались,— говорил он,— и не давали

---

[4] Резерв, государь.

спуску французам, как под Шенграбеном, что ж теперь будет, когда сам он впереди, мы все умрем, с наслаждением умрем за него. Так, господа? Может быть, я не так говорю, я много выпил, да, я так чувствую и вы тоже. За здоровье Александра Первого. Ура!

— Ура! — загудели воодушевленные голоса офицеров. Старик Кирстен кричал воодушевленно и не менее искренно, чем влюбленный мальчик Ростов. Когда Ростов провозгласил тост, Кирстен в одной рубашке и рейтузах с стаканом в руке подошел к солдатским кострам и в величественной позе, взмахнув кверху рукой, с своими длинными седыми усами и седеющей бородой на груди, видневшейся из-за распахнувшейся рубашки, остановился в свете костра.

— Ребята, за здоровье государя императора! За победу над врагами! Ура! — крикнул он своим молодецким старо-гусарским баритоном.

Гусары столпились и дружно ответили громким криком.

[Вечером, когда все стали расходиться] Поздно ночью, когда уже все разошлись, Денисов потрепал своей короткой рукой по плечу своего любимца Ростова:

— Вот на походе не в кого влюбиться, так он в царя влюбился,— сказал он.

— Денисов, ты этим не шути,— сердито крикнул Ростов.— Это такое высокое, такое прекрасное чувство.

— Ве'ю, ве'ю, дружок, и 'азделяю и понимаю.

— Нет, не понимаешь,— и Ростов встал и пошел бродить между костров, мечтая о том, какое было бы счастье уже не умереть, спасая жизнь (об этом он и не смел мечтать), а просто умереть в глазах государя. Он действительно был влюблен в царя, и в славу русского оружия, и в надежду будущего торжества, и не он один испытывал это чувство в те памятные дни, предшествовавшие Аустерлицкому сражению. Девять десятых русской армии людей в то время были влюблены, хотя и менее восторженно, в своего царя и в славу русского оружия.

⟨X⟩

[На другой день, 17 числа, князь Андрей] [В тот же день вечером князь Андрей был прислан Кутузовым в Вишау для передачи государю и получения бумаг. Князь Андрей остался ночевать.]

На следующий день государь остановился в Вишау. Лейб-медик Вилие несколько раз был призываем к нему. В главной квартире и в ближайших войсках распространилось известие, что государь был нездоров. Он ничего не ел и дурно спал эту ночь. Как говорили приближенные, причина этого нездоровья заключалась в сильном впечатлении, произведенном на чувствительную душу государя видом раненых и убитых.

На заре 17 числа в Вишау был препровожден с аванпостов французский офицер, приехавший под парламентерским флагом, требуя свидания с русским императором. Офицер этот был Савари. Государь только что заснул, и потому Савари должен был дожидаться.

В полдень он был допущен к государю и через час поехал вместе с князем Долгоруковым на аванпосты французской армии.

Как слышно было, цель присылки Савари состояла в предложении мира и в предложении свидания императора Александра с Наполеоном. В последнем было отказано и вместо государя князь Долгоруков, победитель при Вишау, был отправлен вместе с Савари для переговоров с Наполеоном, ежели переговоры эти, против чаяния, имели целью действительное желание мира[1].

Ввечеру вернулся Долгоруков и лицам, знавшим его, заметна была происшедшая с ним значительная перемена. После своей беседы с Буо-

[1] См. Варианты, № 1.

напарте он держал себя, как принц крови, и ни с кем не говорил из приближенных к государю лиц о том, что происходило на этом свидании. Вернувшись, он прошел прямо к государю и долго пробыл у него [один] наедине.

Несмотря на то, однако, в штабе распространились слухи о том, как Долгоруков достойно держал себя с Буонапарте, как он [не называл], чтобы не называть его Величеством, умышленно не называл его ничем, и как он вообще, отклонив предложение мира со стороны Буонапарте, отделал его. Австрийскому же генералу Вейротеру в присутствии посторонних Долгоруков сказал следующее:

— Или я ничего не понимаю,— говорил [про Буонапарте] князь Долгоруков [вернувшись с свидания],— или он боится более всего в настоящую минуту генерального сражения. В противном случае для чего бы ему было требовать этого свидания, вести переговоры и, главное, отступать без малейшего замедления, тогда как отступление так противно всей его методе ведения войны. Верьте мне, его час настанет и очень скоро. А хороши бы мы были, слушая так называемых опытных стариков, князя Шварценберга и т. д. Несмотря на мое полное уважение к их заслугам, хороши бы мы были, всё ожидая чего-то и тем давая ему случай уйти от нас или тем или другим способом обмануть нас, тогда как теперь он верно в наших руках. Нет, ненадобно забывать Суворова и его правила: не ставить себя в положение атакованного, а атаковать самому. Поверьте, на войне энергия молодых людей часто вернее указывает путь, чем вся опытность старых пунктаторов.

17, 18 и 19 числа войска подвигались, и неприятельские авангарды после коротких перестрелок быстро отступали.

В высших сферах армии с полдня 19 числа началось сильное, хлопотливое, возбужденное движение, продолжавшееся до утра следующего дня, 20 числа ноября, в который дано было столь памятное Аустерлицкое сражение. Сначала движение (оживленные разговоры, беготня, посылка адъютантов) сосредоточивалось в главной квартире императоров, потом к вечеру движение это передалось в главную квартиру Кутузова и оттуда разнеслось по всем концам и частям армии, и во мраке ноябрьской ночи поднялись с ночлегов, загудели говором, заслышались командные слова и в темноте заколыхалась, сообщая и передавая движение, громадным десятиверстным холстом 80-титысячная масса войска. И двигались и действовали эти массы войска в продолжение всего памятного 20 числа под влиянием толчка, данного в 4 часу ввечеру накануне сосредоточенным движением главной квартиры императоров. Сосредоточенное движение это, давшее толчок всему дальнейшему, было похоже на первое движение серединного колеса больших башенных часов. Медленно двинулось одно колесо, повернулось другое, третье и всё быстрее и быстрее задвигались большие и большие колеса, блоки, шестерни, барабаны, колокола и колокольчики, начали играть куранты, выскакивать фигуры, часы идут, бьют, и медленно, мерно подвигаются стрелки, показывая результат движения. Так же как и в часах, так же и неудержимо роковое движение, и так же независимо от первой причины движения середнего колеса, когда дан первый толчок. Так же безучастно молчаливы и неподвижны ближайшие колеса к движущимся за момент до передачи движения и так же в тот самый момент покорно следуют движению, как скоро оно доходит до них, свистят на осях колеса, цепляя зубьями, шипят от быстроты вертящиеся блоки, а соседнее колесо так же спокойно и неподвижно, как будто оно сотни лет готово простоять этою неподвижностью; но пришел момент, зацепило рычаг, и, покоряясь движению, трещит, поворачиваясь, колесо и сливается в одно действие.

Так же как и в часах результатом сложного бесчисленного движения орудий есть медленное, но уравномеренное движение стрелки, указывающей время, так и результатом всех сложных человеческих движений этих

160 000 русских и французов, всех страстей, желаний, раскаяний, унижений, гордости, страданий, страхов и восторгов этих людей есть проигрыш Аустерлицкого сражения, так называемого трех императоров, т. е. есть медленное передвижение всемирно-исторической стрелки на циферблате истории человечества[2].

Императоры и [некоторые] приближенные волновались надеждою и опасениями за исход завтрашнего дня и боялись преимущественно того, чтобы Буонапарте не обманул их, не отступил быстрым маршем в Богемию и лишил их верного успеха, который, казалось, всё обещало. Люди, думавшие собственно о завтрашнем сражении (их было немного) были: сам государь, князь Долгоруков, Адам А. Чарторижский [Исполнители, как начальники частей, как]. Главной пружиной всего движения был Вейротер, его помощник был отягчен подробностями дела.

Он ездил на аванпост осмотреть неприятеля, диктовал по-немецки диспозицию, ездил к Кутузову и к государю и указывал ему на плане предполагаемое расположение и движение войск. Вейротер, как человек слишком занятой, даже забывал быть почтительным с коронованными особами. Он говорил быстро, неясно, не глядя на лицо собеседника, не отвечал вдруг на делаемые ему вопросы, был испачкан грязью и имел вид самонадеянно гордый и вместе с тем растерянный. Он чувствовал себя во главе начатого движения, которое стало уже неудержимо. Он был, как запряженная лошадь, разбежавшаяся под крутую гору. Он ли вез, или его гнало, он не знал, но он несся во всю возможную быстроту, не имея времени думать о том, к чему поведет это движение. Большинство же людей в квартире императоров были заняты совсем другими интересами. В одном месте говорилось о том, что хотя и желательно было назначить генерала NN командиром кавалерии, это неудобно было потому, что австрийский генерал NN мог оскорбиться этим, а его надо было менажировать, так как он был в милости у императора Франца, и потому предполагалось дать NN звание начальника кавалерии крайнего левого фланга. В другом месте конфиденциально рассказывалось и шутилось о том, как граф Аракчеев отказался от назначения командующего одной из колонн армии.

— Что ж, по крайней мере, это откровенно,— говорили про него,— он прямо сказал, что его нервы не могут этого выдержать.

— Откровенно и наивно,— говорил другой.

Еще в другом месте старый, обиженный генерал доказывал свои права на командование отдельною частию.

— Я ничего не желаю, но, прослужив двадцать лет, мне обидно остаться без назначения и поступить под команду генерала моложе меня.— Старый генерал со слезами в голосе уверял, что он желает одного — иметь возможность показать свое усердие государю императору, и действительно, старика нельзя было обидеть, и, попросив через того и того, для старика устраивали совершенно новое, совсем ненужное назначение.

Между австрийскими генералами шли соображения и переговоры о том, каким бы образом устроить так, чтобы австрийские начальники не были под командою русских и чтобы слава завтрашней победы не могла быть отнята самонадеянными русскими варварами. Старались устроить так, чтобы в тяжелые, невидные места, в которых не предполагалось блестящих действий, посылать русских, а австрийцев приберегать для тех мест, где должна была решаться участь сражения. Еще в другом месте говорилось о том, как необходимо удержать императора Александра[3] от высказанного им намерения и, сообразного его рыцарскому харак-

---

[2] На полях: *У государя голова кругом идет от личных просьб и интриг всех просящихся, как на праздник, в сраженье,— мешают подумать о деле.*

[3] На полях: *Кутузов приезжал к графу Толстому.— Vous avez l'oreille de l'Empereur, ditez-lui que la bataille sera perdue.— Eh mon cher général. Je me mêle du riz*

теру, желания лично участвовать в деле и подвергать себя опасности. Сотни штабных хлопотали о том, как бы им завтрашний день находиться в свите императоров; некоторые только потому, что там, где будет император, менее всего опасности, некоторые из того соображения, что при императоре более всего будет награды. Делались предположения уже о том, куда отправятся войска после победы[4].

В 8-м часу ввечеру приезжал сам старик Кутузов в главную квартиру императоров, и в известном кружку одобрительно повторяли его разговор с графом Толстым обер-гофмаршалом.— Vous avez l'oreille de l'Empereur, dites-lui que la bataille sera perdue»[5],— сказал будто бы Кутузов с целью вперед обеспечить себя от упреков и взвалить в случае неудачи всю вину на чужие плечи. Но неудачи нельзя было и не нужно было предвидеть, и потому весьма одобряли ответ графа Толстого: «Eh, mon cher Général, je me mêle du riz et des poulards, mêlez-vous des affaires de la guerre»[6].

〈XI〉

В 10-м часу вечера Вейротер с своими планами переехал на квартиру Кутузова, где был назначен не столько военный совет, сколько окончательная отдача приказаний для завтрашнего дня[1]. 〈Все〉 начальники колонн были 〈вытре〉бованы к главнокоманд〈ующему〉, и все явились за исключением князя Багратиона, который б〈ыл〉 не в духе и отказался приехать под предлогом отдаленности расположения своего отряда. Он ворчал, что колбасники всё перепутали, и говорил, что сраженье будет проиграно.

Кутузов занимал небольшой дворянский замок около Остралиц. В большой гостиной, сделавшейся кабинетом главнок〈омандующего〉, собрались члены военного совета и пили чай, когда приехал ординарец Багратиона Ростов с известием, что князь быть не может.

— Так как князь Багратион не будет, то мы можем начинать,— сказал Вейротер, поспешно вставая с своего места и приближаясь к столу, на котором была разложена огромная карта окрестности Брюнна и Аустерлица.

Кутузов, в расстегнутом мундире, из которого, как бы освободившись, выплыла из воротника его жирная шея, сидел в вольтеровском кресле, положив симметрично пухлые старческие руки на ручки, и почти спал, когда взошел князь Андрей. Он с усилием открыл единственный глаз и сквозь слюни проговорил:

— Да, да, пожалуйста, а то поздно.— Он кивнул головою, опустил ее и опять закрыл глаза.

Ежели первое время члены совета думали, что Кутузов притворялся спящим, то звуки, которые он издавал носом во время последующего чтения, доказывали, что в эту минуту для главнокомандующего дело шло о гораздо важнейшем [вопросе], чем о желании выказать свое презрение к диспозиции или к чему бы то ни было: дело шло для него о неудержимом удовлетворении человеческой потребности — сна. Он действительно спал. Вейротер с движением человека, слишком занятого для того, чтобы терять хоть одну минуту времени, начал резко, громким и однообразным

---

et de poulards. Mêlez-vous des affaires de la guerre. 〈 — Император вас выслушает, скажите ему, что сражение будет проиграно.

— Ах, любезный генерал. Я занят рисом и пулярками. Вы занимайтесь военными делами.〉

[4] На полях: *Толки солдат.*

[5] Император вас выслушает, скажите ему, что сражение будет проиграно.

[6] Ах, любезный генерал, я занят рисом и пулярками, а вы занимайтесь военными делами.

[1] В конце листа вырван небольшой кусок, и слова, а также части слов, приводимые в угловых скобках, восстановлены по копии (прим. составителя).

тоном читать диспозицию будущего сражения под заглавием, которое он тоже прочел: «Диспозиция к атаке неприятельской позиции позади Кобельница и Сокольница, 20 ноября 1805 года».

Диспозиция была очень сложная и трудная [переполненная собственных имен и неясных длинных периодов]. В оригинальной диспозиции значилось: «Da der Feind mit seinem linken Flügel an die mit Wald bedeckten Berge lehnt und sich mit seinem rechten Flügel längs Kobelnitz und Sokolnitz hinter die dort befindlichen Teiche zieht, wir im Gegenteil mit unserem linken Flügel seinen rechten sehr debordieren, so ist es vorteilhaft letzteren Flügel des Feindes zu attackieren, besonders wenn wir die Dörfer Sokolnitz und Kobelnitz im Beitze haben, wodurch wir dem Feind zugleich in die Flanke fallen und ihn auf der Fläche zwischen Schlapanitz und dem Thürassa-Walde verfolgen können, indem wir dem Defileen von Schlapanitz und Bellowitz ausweichen, welche die feindliche Front decken. Zu diesem Endzwecke ist es nötig»[2] [говорил дальше, читая] и т. д. «Die erste Kolonne marschiert... die zweite Kolonne marschiert... die dritte Kolonne marschiert...»[3] и т. д., пересыпаемое бесчисленным количеством собственных имен, которые, иногда останавливаясь, генерал Вейротер [только тогда, когда он считал нужным указывать] только тогда, когда он считал нужным указывать места на карте, находившейся тут. Генералы, казалось, весьма неохотно и любознательно слушали трудную диспозицию. Белокурый высокий генерал Буксгевден стоял, прислонившись спиною к стене, и, бессмысленно остановивши свои глаза на горевшей свече, казалось, не слушал и даже не хотел, чтобы думали, что он слушает. Прямо против Вейротера, устремив на него свои блестящие открытые глаза, в воинственной позе, оперев руки с выгнутыми локтями на колени, сидел румяный Милорадович, с приподнятыми усами [зачесанными височками] и плечами. Он упорно молчал, глядя в лицо Вейротера, и спускал с него глаза только в то время, когда австрийский начальник штаба замолкал. В это время Милорадович значительно оглядывался на других генералов. Но значения этого значительного взгляда нельзя было понять. Был ли он согласен или не согласен, доволен или недоволен диспозицией, нельзя было понять. Ближе всех рядом с Вейротером сидел граф Ланжерон и с тонкою улыбкой южного французского лица, не покидавшей его во всё время чтения, глядел на свои нежные пальцы, быстро перевертывавшие за углы золотую табакерку с портретом. В середине одного из длиннейших периодов он остановил вращательное движение табакерки, поднял голову и с неприятной учтивостью на самых концах тонких губ перебил Вейротера и хотел возражать, но австрийский генерал, не прерывая чтения, сердито замахал руками, как бы говоря: потом, потом вы мне скажете свои мысли, теперь извольте смотреть на карту и слушать. Ланжерон [пожал плечами] поднял глаза кверху с выражением недоумения, оглянулся на Милорадовича, как бы ища объяснения, но встретив [взгляд Милорадовича] значительный, ничего не значащий взгляд Милорадовича, грустно опустил глаза и опять принялся вертеть табакерку.

— Une leçon de géographie[4],— проговорил он как бы про себя, но довольно громко, чтобы его слышали.

Пржебышевский с почтительной, но достойной учтивостью пригнув к[5]

[2] Так как неприятель опирается левым крылом своим на покрытые лесом горы, а правым крылом тянется вдоль Кобельница и Сокольница, позади находящихся там прудов, а мы, напротив, превосходим нашим левым крылом его правое, то выгодно нам атаковать сие последнее неприятельское крыло, особливо, если мы займем деревни Сокольниц и Кобельниц, будучи поставлены в возможность нападения на фланг неприятеля и преследовать его в равнине между Шлапаницем и лесом Тюрасским, и избегая дефилен между Шлапаницем и Беловицем, которою прикрыт неприятельский фронт. Для этой цели необходимо... (*нем.*).

[3] Первая колонна марширует... вторая колонна марширует... третья колонна марширует... (*нем.*).

[4] Урок из географии.

[5] Так в автографе.

Вейротеру, имел вид человека, поглощенного вниманием. Маленький ростом Дохтуров сидел прямо против Вейротера с своим старательным и добросовестным скромным видом, очевидно пренебрегая неловкостью положения, добросовестно изучал диспозицию и неизвестную ему местность по разложенной карте. Он несколько раз просил Вейротера повторять нехорошо расслышанные им слова, и Вейротер исполнял его желание.

Когда чтение, продолжавшееся более часу, было кончено, Ланжерон, опять остановив табакерку и не глядя на Вейротера, сделал ему несколько возражений, но видно было, что цель этих возражений состояла единственно в желании дать почувствовать генералу Вейротеру столь самоуверенно, как школьникам-ученикам, читавшему свою диспозицию, что он имел дело не с одними дураками, а с людьми, которые могли и его поучить в военном деле. Когда замолк однообразный звук голоса Вейротера, Кутузов открыл глаза, как мельник, который просыпается при перерыве усыпительного звука мельничных колес, прислушался к тому, что говорил Ланжерон, и снова поспешно еще ниже опустил голову, как будто говоря: «А, вы всё еще про эти глупости...»

Стараясь как можно язвительнее оскорбить Вейротера в его авторском военном самолюбии, Ланжерон доказывал, что Бонапарте легко может атаковать, вместо того чтобы быть атакованным, и вследствие того сделает всю эту диспозицию совершенно бесполезною.

— Ежели он мог атаковать нас, то он сделал бы это нынче.

— Вы, стало быть, думаете, что он бессилен? — сказал Ланжерон.

— Много, если у него сорок тысяч войска,— отвечал Вейротер с улыбкой [человека] доктора, которому лекарка хочет указать средства лечения.

— В таком случае он идет на свою погибель, ожидая нашей атаки,— с тонкою ироническою улыбкой сказал Ланжерон, за подтверждением оглядываясь опять на ближайшего Милорадовича.

Но Милорадович, очевидно, в эту минуту думал менее всего о том, о чем спорили генералы.

— Ma foi[6],— сказал он,— завтра всё увидим на поле сражения[7].

Вейротер усмехнулся опять тою улыбкой, которая говорила, что *ему* смешно и странно встречать возражения и доказывать то, в чем не только он сам слишком хорошо был уверен, но в чем уверены были им государи императоры.

— Неприятель потушил огни, и слышен непрерывный шум в его лагере,— сказал он.— Что это значит? Или он удаляется, чего одного мы должны бояться, или он переменяет позицию. Он усмехнулся.— Но даже ежели бы он и занял позицию в Тюрасе, он только избавляет нас от больших хлопот, и распоряжения все, до малейших подробностей, остаются те же.

Кутузов проснулся, хрипло прокашлялся и оглянул генералов.

— Господа! Диспозиция на завтра, даже на нынче, потому что уже 1-й час, не может быть изменена,— сказал он.— Вы ее слышали, и все мы исполним наш долг. А перед сражением нет ничего важнее,— он помолчал,— как выспаться хорошенько.

Он сделал вид, что привстает. Генералы откланялись и удалились.

‹XII›

Был 2-й час ночи, когда Ростов, присланный к главнокомандующему от Багратиона, получил, наконец, переведенную и ‹переписанную?› диспозицию для доставления князю Багратиону и на рысях, сопутствуемый гусарами, отправился к Позоржицу, нашему правому флангу[1].

---

[6] Ей-богу

[7] На полях: *Государи!*

[1] На полях: *Страсть к государю, страх и ерунда.*

Накануне Ростов не спал, находясь в фланкерской цепи авангарда, нынче он с вечера был назначен ординарцем Багратиона, и опять ему не удалось заснуть. Он дремал всё время, пока писалась диспозиция, и огорчился, когда его разбудили, сказав, что готова и он может ехать. В первое время, сидя на лошади, он очнулся [2].

Ночь была темная и облачная, почти полный месяц то скрывался, то опять показывался, открывая ему со всех сторон кавалерию и пехоту [заколебавшиеся и уже двигавшиеся массы кавалерии и пехоты], в которых, очевидно, происходили [волнения] приготовления. Несколько раз встречались ему скачущие адъютанты и верховые начальники, принимавшие его за другого и спрашивавшие его о том, какие он везет известия или приказания. Он отвечал, что знал, и спрашивал о том, что другие знали, и в особенности о государе, которого он всякую минуту думал встретить.

Проехав несколько верст и желая выгадать крюк, он сбился с дороги и заехал в середину костров пехоты. Он подъехал к одному, чтобы спросить дорогу.

Солдаты не спали, и большая толпа сидела и стояла около ярко пылавшего костра.

— Вали, брат, всё равно, что ж, австрияку моей имуществу доставаться,— говорил один солдат, с размаху кидая крашеный стул на пламя костра.

— Нет, брат, постой, дай я на нем покуражусь,— сказал другой солдат, выхватывая стул из огня и в значительной позе, подпираясь под бока, садяся на него.— Нут-ка, брат, как ты теперь обо мне судишь?

— Ребята, как на третюю дивизию проехать? — спросил Ростов. (Он руководствовался не названием мест, а названием войск, так как войска покрывали всю его дорогу.)

Солдаты рассказали ему, что знали. Один молодой солдат, видимо, после борьбы нерешительности обратился к нему:

— Правда, ваше благородие, на завтра стражению быть?

— Правда, правда. А что, хочется? [Чего хотеться.— Затем солдат] [Никто ничего не ответил] Сам государь командовать будет;— радостно сказал Ростов, но известие его не произвело большой радости. Солдаты помолчали. Ростов, отъехав несколько шагов, остановился послушать, что они будут говорить [без него].

— Что ж, али у него генералов не хватило? — сказал солдат.

— В охотку, известно.

[— И сколько, братец ты мой, этого начальства ихнего,— сказал один солдат.

— Поглядим, какой такой француз есть,— сказал один солдат.

— Вишь ты! говорит: хочется? Чудны!]

— Так-то, братец ты мой, как мы при Суворове по горам ходили,— начал говорить старый хриплый голос,— так мы, веришь ли, братец ты мой, подошли к пропасти, а внизу кишмя кишит этот самый француз, так мы ружья похватали, на жопу сядешь, так и съедешь по снегу прямо до него, и ну лущить. То-то побили его тогда. Всё тот же Бонапарт был.

— Тот еще злей был, говорят,— сказал другой голос.— Куды его денут, как поймают.

— Али в России места мало,— заметил другой.

— Ишь ты, и повозки запрягают, должно скоро выступать.

Солдат, сидевший на стуле, встал и швырнул его в пылавший костер.

— И то, пускай никому не достается. Дай поручик выйдет, и его балаган весь разберу.

Ростов тронул лошадь и поехал дальше. Проехав версты две между

---

[2] На полях: *Диспозиция трудная. Nicolas едет, месяц, страсти, поднимаются солдаты. Князь Долгоруков, ружейная стрельба.*

сплошной массой где собирающихся, где уже двигающихся войск, в середине пехотного полка, в которую он заехал, немецкий офицер, колонновожатый, подъехав к нему, учтиво спросил, не знает ли он по-немецки и, получив утвердительный ответ, попросил его быть переводчиком перед батальонным командиром, к которому он имел дело. Батальонный командир засмеялся, когда Ростов с австрийцем подъехали к нему, и тотчас же, не слушая Ростова, обращаясь к австрийцу, стал, что есть силы кричать ему слова, которые, очевидно, ему очень нравились и которые он повторял уже много раз. «Нихт ферштейн [3], немец, нихт ферштейн колбасного языка, немец». Ростов перевел ему слова австрийского офицера, но батальонный командир, смеясь, повторил еще несколько раз немцу свою любимую фразу и под конец сказал Ростову, что приказание, передаваемое австрийским колонновожатым, ему давно известно и уже исполнено. Батальонный командир тоже спросил о новостях, и Ростов рассказал слышанное им известие о личном командовании государя.

— Вот как,— сказал батальонный командир.— А неправда ли, свиньи,— сказал он Ростову.— Право, свиньи. Так что ли, господин гусарский офицер, настоящие свиньи.

«И как они все не перепутаны, столько их» — думал Ростов. Ростов поехал далее. Вместо того, чтобы ехать по рядам войск, уже подъезжая к авангарду, он выехал вперед и поехал по цепи. Это было ближе. Проскакав с версту, он дал отдохнуть лошади и думал [задрожал] опять о своем любимом предмете мысли — о государе и о возможности ближе узнать его. «Вдруг еду в темноте, и он тут и скажет: — Поезжай узнай, что там! — Повсюду поеду, поеду узнаю, привезу сведения. Он скажет...»

— Кто идет, говори, не то убью,— послышался ему вдруг крик часового. Ростов вздрогнул и испугался.

— Георгий, Ольмюц, дышла,— отвечал он машинально лозунг нынешнего дня. «Экие скучны〈е〉, подумать, как они не перепутаются». [К удивлению своему, он застал себя пробудившимся от дремоты, которая непреодолимо клонила его. Мороз пробежал по его спине, и ему стало страшно.] Он [осмотрелся] оглянулся вокруг себя и особенно вперил глаза в ту левую сторону, где был неприятель и куда он хотел идти, но ничего нельзя было видеть 〈и тем страшнее было〉.

Месяц зашел за тучи. [Всё было темно. Но выходивший больше и больше]

«Где я? Уж не заехал ли я за цепь? — [подумал Ростов. Ему стало страшно, хотелось спросить у гусара и совестно было.] Убьют ни за грош. А не нынче убьют, завтра убьют. Ох, скверно. Однако [спать-то не надо], спать хочется, ужасно хочется».— Он с усилием открыл глаза [4].

Месяц вышел из-за туч. В левой стороне виднелся пологой освещенный скат и противуположный черный бугор, казавшийся крутым, как стена. На бугре этом было белое пятно, которого никак не мог понять Ростов: поляна ли это в лесу, освещенная месяцем, или оставшийся снег, или [засеянные] белые дома? Ему показалось даже, что по этому белому пятну зашевелилось что-то. Но [это было] месяц опять зашел. [«Тоже живут там такие же люди, как мы»,— думал Ростов.] «Выстрелит оттуда кто-нибудь и убьет. Напрасно я поехал,— думал Ростов.— Убьют, чёрт возьми, [или ранят] не нынче, так завтра, всё равно. Только бы заснуть, да государя увидать. [Нет] Должно быть, снег — это пятно — une tache, tache,— думал Ростов.— Вот тебе и не таш. Наташа, сестра, черные глаза. На... ташка... Вот удивится, когда ей скажу, как увидал я государя! На-

---

[3] Nicht verstehen (*нем.*) — не понимаю.

[4] На полях: *Едет, покачивается над лукой; во мраке пятна снега. Думает: «Наташа, на — Ташку [та] наступить, чтоб 〈наступить〉 гусаров. Гусары крикнут. Нет ли вчера, и если усы такие у меня будут, и я пойду по Тверской, на Тверской дом Гурьева, развратный старик. Есть в старческой завлекающее... И засыпает, вдруг: «Vive l'Empereur» 〈«Да здравствует император».〉*

ташка... ташку возьми. Нихт ферштейн, немец, да». И он, опустившись головой до гривы лошади, поднялся. «Да, бишь, что я думал? — не забыть. Убьют завтра, нет, не то, это после. Да. На — ташку наступить, наступить. Тупить нас — кого? Гусаров. А убьют всё равно. А гусары и усы. [Он запел?] По Тверской ехал этот гусар с усами, еще я подумал об нем, против самого Гурьева дома... Старик Гурьев. Неужели я буду старик,— гадко, гадко, старик, старик, старичок... [думал он и опять было клюнулся на луку, как вдруг голос его гусара разбудил его]. А тут и молодого убьют всё равно. Только бы государь за это не разлюбил. Да всё это пустяки. Главное теперь — государь тут. Как он на меня смотрел, и хотелось ему что-то сказать, да он не смел... Нет, это я не смел. [Ах да, опять забыл] Жалко, что убьют [же]. Я бы ему всё рассказал. [Ах, да] Солдаты-то ничего не сказали, только стул сожгли. И правда, все равно убьют. [Ах, да] Да это пустяки, и главное — не забывать, что я нужное-то думал. Да, Наташку наступить. Да, да, да. Это хорошо». И он совсем было упал головой на шею лошади. [— Это он, ваше благородие, он и есть,— проговорил вдруг сзади голос гусара.] Вдруг ему показалось, что [его ловят] стреляют в него и режут.— «Что? Что? Что, напали? Руби! Что?» — заговорил, очнувшись, Ростов, в то же мгновение, как он открыл глаза, увидав перед собой яркий красный свет, и услыхал протяжные крики тысячи голосов, как ему показалось в первую минуту [около] в 10 шагах от него со стороны неприятеля.

[— Ваше благородие. Ваше сиятельство,— услышал он вдруг сзади себя испуганный голос и сам и с п у г а л с я.

— Что это, гляньте-ка налево! Но Ростову не нужно было этого замечания, он в ту же минуту был поражен странными звуками д а л ь н и х г р о м к и х к р и к о в т ы с я ч г о л о с о в, к о т о р ы е н е с л и с ь с а м о г о т о г о м е с т а, к о т о р о е е м у к а з а л о с ь б е л ы м п я т н о м и о д н о в р е м е н н о с к р и к о м д а л ь н и м светом, появившимся на том же месте.]

— Должно, он куражится,— проговорили солдаты, указывая влево. Далеко, гораздо дальше, чем показалось Ростову в первую минуту, он увидал на том самом месте, где ему казалось прежде что-то белое, он увидал распространяющиеся огни всё по одной линии и услыхал протяжные далекие крики, вероятно, несколько тысяч голосов французов.

— Ты думаешь, что это такое? — проговорил Ростов, стараясь успокоиться и оборачиваясь к гусару.

— Да так, радуются, ваше благородие.

Огни и крики продолжались $^1/_4$ часа.

— Что такое это может быть,— подумал Ростов,— нападают они, пугают, или уверены, что победили уже кого-нибудь. Странно! Ну, да бог с ними. Да что, бишь, государь мне говорил? Да, да, На-ташку нас тупить.

— Ваше благородие, вот генерал,— сказал гусар.

Ростов очнулся и увидал перед собой Багратиона. Багратион с князем Долгоруким, адъютантами, которые тоже выехали посмотреть на странное явление огней и криков неприятельской армии, и Ростов [тут же] встретил их на аванпостах и [передал бумагу и остановился позади начальника] передал бумагу начальнику.

— Поверьте, князь,— говорил Долгоруков, что это больше ничего, как хитрость, он отступил и в ариергарде велел зажечь огни и шуметь, чтобы обмануть нас.

«И что им за дело,— думал Ростов, падая от сна,— всё равно».

— Что ж, это может быть,— сказал князь Багратион,— да вот мы сейчас узнаем.— И князь Багратион распорядился послать казачью сотню в объезд гораздо правее горевших огней.— Ежели шум и огни только в оставленном ариергарде, то это место направо, куда я посылаю казаков, должно быть уже не занято.

Через десять минут ожидания, во время которых всё продолжались

крики и огни на неприятельской стороне, в тишине ночи из того места направо, куда спустились казаки, послышалось несколько ружейных выстрелов, и казачья сотня, которой велено сейчас же отступить, если она встретит неприятеля, на рысях вышла из-под горы.

— Ого, вот как,— сказал князь Багратион, услыша выстрел,— нет, видно, еще не все ушли, князь. До завтрашнего утра. Завтра всё узнаем,— сказал князь Багратион и поехал назад к дому, который он занимал.

«До завтра, завтра,— думал Ростов, следуя за генералами.— Завтра увидим, убьют нас или нет, а нынче спать,— и едва [дойдя] слезши с лошади, он тут же на крыльце князя Багратиона заснул, не сняв даже фуражки, облокотившись головой на перила.

Ежели бы взгляду Николая Ростова возможно было сквозь мрак осенней ночи проникнуть на ту сторону, где светились огни неприятеля, в то время, как он ехал по передовой линии, то в одном месте французских аванпостов, не более как на 1000 шагов отделенного от него, он бы увидал следующее: без бивуачных огней в темноте стояли козлы ружей пехоты, около них ходили часовые и позади козел на голой земле и на соломе закутанные в плащи лежали французские солдаты, за кучкою солдат стояла палатка. У палатки стояла верховая лошадь и кавалерист. Молодой французский офицер вышел из палатки и кликнул сержанта. За ним вышел другой француз в адъютантской форме. Капралы крикнули сбор, и спавшие солдаты, потягиваясь, встали и через пять минут столпились около двух офицеров.

— Солдаты! Приказ императора! — провозгласил офицер, входя в круг толпящейся роты.

Пехотный солдат держал [сальную], прикрывая рукою, сальную свечку, чтобы осветить бумагу. Огонь заметался, задрожал и потух. Офицер прокашлялся, ожидая свечи. Солдат связал пук [и зажег его] соломы, укрепив его на палке, зажег у костра, поднял над головою офицера, освещая его. Едва только догорал один пук, как зажигался другой, и офицер мог читать, не прерываясь, весь знаменитый приказ императора. В то время, как солдат увязывал пук соломы [— Похоже, что дело будет горячее,— сказал он], адъютант сказал офицеру, державшему приказ:

— Les voilà pourtant, et pas moyen de savoir ce qu'il s'y fait[5],— сказал он, указывая на русских.

— L'Empereur le trouvera tout de même[6],— ответил пехотный офицер.— Attention![7] И он стал читать приказ с некоторой напыщенностью, как на театре.

Во время чтения три верховые подъехали и остановились позади рядов солдат, слушавших приказ. По окончании чтения офицер взмахнул бумагой над головой и крикнул: «Да здравствует император!», и солдаты дружно подхватили торжественный крик. В это время всадник в треугольной шляпе и серой шинели выдвинулся вперед в круг освещения горевшего пука соломы. Это был император. Большинство солдат [знало его] видали его лицо. И, несмотря на черную тень, падавшую на верхнюю часть его лица от треугольной шляпы, [солдаты узнали] тотчас узнали и, расстраивая ряды, окружили его.

Крики усилились, так что непонятно было, как так мало солдат могли кричать так громко. Один из солдат вздумал зажечь еще два пука соломы, чтобы более осветить лицо императора, другие последовали примеру первого солдата, по всей линии загорелись пуки соломы. Солдаты соседних рот и полков бежали к тому месту, где стоял император, и всё более, более распространялся по линии свет зажженных пуков соломы, дружнее сливались и распространялись крики. [Кто-то подсказал солдатам, что

---

[5] Ведь вот они, а нет возможности узнать, что там происходит.
[6] Император всё узнает.
[7] Внимание!

нынче был день его коронования, и они, поздравляя его, кричали, что отпразднуют этот день победой] [8].

И это-то были те крики, огни, которые поразили в эту ночь не одного Ростова, Багратиона и Долгорукова, но все передовые полки русской армии, стоявшие уже на Аустерлицком поле.

Мы искали Наполеона и полагали застать его в полном отступлении, мы боялись даже, что не успеем догнать его. Армия наша двигалась поспешно и беспорядочно (то, что было так подробно обдумано по планам и карте, далеко не могло быть так исполнено в действительности); и потому, в начале дня встретив французов и не успев занять ту позицию, которую предполагалось, мы не имели никакой позиции, исключая той, в которой застал нас рассвет. Наполеон же, получив ли изменническое сведение о нашем намерении или угадав его, выбрал перед Брюнном лучшую позицию и вместо того, чтобы отступить, как мы предполагали, выдвинулся вперед всеми массами своих войск к самой линии своих аванпостов.

[Те огни, которые виднелись] Те огни и крики, которые поразили наших накануне, были крики приветствия императору и пуки зажженной соломы, с которыми бежали за ним солдаты, когда он объезжал аванпосты, приготавливая свои полки к сражению.

Накануне сражения, которым мы думали врасплох застать его, по французским войскам был прочтен следующий приказ Наполеона [9]:

«Солдаты! Русская армия выходит против вас, чтобы отмстить за австрийскую, ульмскую, армию. Это те же батальоны, которые вы разбили при Голлабрунне и которые вы с тех пор преследовали постоянно до этого места. Позиции, которые мы занимаем,— могущественны, и, пока они будут идти, чтоб обойти меня справа, они выставят мне фланг! Солдаты! Я сам буду руководить вашими батальонами. Я буду держаться далеко от огня, если вы, с вашею обычною храбростью, внесете в ряды неприятельские беспорядки и смятение; но ежели победа будет хоть одну минуту сомнительна, вы увидите вашего императора, подвергающегося первым ударам неприятеля, потому что не может быть колебания в победе, особенно в тот день, в который идет речь о чести французской пехоты, которая так необходима для чести своей нации.

Под предлогом увода раненых не расстраивать ряды. Каждый да будет вполне проникнут мыслию, что надо победить этих наемников Англии, которые воодушевлены такою ненавистью против нашей нации. Эта победа окончит наш поход, и мы можем возвратиться на зимние квартиры, где застанут нас новые французские войска, которые формируются во Франции; и тогда мир, который я заключу, будет достоин моего народа, вас и меня.

Наполеон»

Итак, выгода в неожиданности вдвойне была на его стороне. Мы ждали выгоды своей позиции и своего неожиданного нападения и встретили его неожиданное нападение без всякой позиции. Всё это не мешало тому, чтобы план атаки, составленный австрийцами, не был очень хорош, и чтобы мы не могли, в точности исполнив его, разбить правое крыло Наполеона, удержав центр, отбросить его в Богемские горы, отрезав от Венской дороги. Всё это могло быть, ежели бы на нашей стороне было не количество войска, не новейшее смертельнейшее боевое орудие, не больший порядок в продовольствии войска, даже не искусство военоначальников, но ежели бы на нашей стороне ⟨было⟩ то, что [всегда, везде и при всех возможных условиях] нельзя свесить, счесть и определить, но то,

---

[8] На полях: *Здесь он смотрел туда, на линию?*

[9] Первоначально приказ был дан на л. 38. Правя текст, Толстой пометил: *Приказ на 102 и 103*, то есть указал перенести текст приказа именно сюда (прим. составителя.)

что всегда и везде при всех возможных условиях неравенства решало, решает и будет решать участь сражения,— ежели бы на нашей стороне 〈была〉 высшая степень настроенности духа войска.

Сущность диспозиции была следующая[10]:

Первой колонне Дохтурова идти от Гостиерадека через Аугест на Тельниц, овладеть сим селением и обратиться вправо, равняясь с головою второй колонны графа Ланжерона, имевшей назначение пробиться между Тельницем и Сокольницом; третьей колонне Пржебышевского спуститься с Праценских высот, идти к Сокольницу и овладеть им, выравняться с первыми двумя колоннами. Все войска сии поручены графу Буксгевдену. Четвертой колонне Колловрата пробираться у Кобельница, потом примкнуть левым флангом к третьей колонне и с нею вместе опрокидывать правое крыло неприятеля к Латейну. Князю Багратиону в начале сражения оставаться впереди Позоржица и во что бы то ни стало удерживать свою позицию, а когда увидит он успех четырех колонн, действовать наступательно, во всяком случае, не допуская обойти себя слева.— Для усиления левого крыла его, посланы ему ввечеру из колонны князя Лихтенштейна порученные генерал-адъютанту Уварову полки Елисаветградский гусарский, Черниговский и Харьковский драгунские. Пятой колонне, князя Лихтенштейна, состоявшей из уланского цесаревича полка и 32-х австрийских эскадронов, содержать сообщение между князем Багратионом и четырьмя первыми колоннами, пользуясь каждым удобным случаем для атаки.

Гвардия должна была служить подкреплением ему и левому крылу князя Багратиона. В неудачном случае назначено отступать к селению Годыжицу, находившемуся на дороге в Венгрию.

Ночь была темная, облачная, изредка проглядывал месяц, костры пылали всю ночь в обоих лагерях на расстоянии пяти верст друг от друга. [4 дня все ждали сражения, и не было. «Может быть, и нынче тоже не будет» — думал каждый.] В 5 часов утра еще было совсем темно, войска центра, резервов и левого фланга стояли еще неподвижно, как на правом фланге зашевелились колонны пехоты, кавалерии и артиллерии, которые должны были первые опуститься с высот, атаковать французский левый фланг и отбросить его в Богемские горы. Дым от костров, в который бросали всё лишнее, ел глаза. Было холодно и темно. Офицеры торопливо пили чай и завтракали. Солдаты пережевывали сухари, отбивали ногами дробь, согреваясь, и стекались против огней, в которые бросалось всё деревянное, греться и закуривать.

Австрийцы колонновожатые, вызывая почему-то насмешки, сновали между русскими войсками и служили предшественниками выступления; как только показывался австриец около полкового командира, всё начинало шевелиться. Солдаты сбегались от костров в ряды, прятали в голенищи трубочки и строились, офицеры обходили ряды, обозные и деньщики запрягали, укладывали и увязывали повозки, по команде трогались и крестились, звучал топот тысяч ног, и колонны двигались, не зная куда и не видя от окружающих людей и от усиливающегося тумана новой местности, в которую они вступали. Солдат двигается в полку, как моряк на корабле. Как бы далеко он не прошел, в какие бы странные и опасные широты не вступил он, вокруг него, как для моряка всё те же свои знакомые палубы, мачты, канаты, и так для солдата те же товарищи, ряды, штыки, начальство. Солдат редко интересуется знать те широты, в которых находится весь корабль его. Но в день сражения, бог знает как и откуда, в нравственном мире войска слышится одна [строгая] для всех строгая нота, которая звучит приближением чего-то решительного и значительного. Солдаты возбужденно стараются выйти из интересов своего

[10] Помета Толстого: *Стр. 100 и 101*, то есть указание перенести сюда изложение диспозиции, которое первоначально было дано раньше — на л. 100 и 101 продиктованного текста Рукописи 103 (прим. составителя).

полка, прислушиваются, приглядываются и жадно расспрашивают о том, что делается вокруг их. Туман стал так силен, что, несмотря на то, что рассветало, не видно было в 10 шагах перед собою. Кусты казались громадными деревьями, ровные места обрывами и скатами. Везде со всех сторон можно было столкнуться с невидимым в 10 шагах неприятелем. Но долго шли колонны всё в том же тумане, спускаясь и поднимаясь на горы, минуя сады и ограды, по новой непонятной местности, нигде не сталкиваясь с неприятелем. Напротив, то впереди, то сзади, со всех сторон, узнавали, что идут по тому же направлению наши русские колонны. Каждому солдату приятно становилось на душе знать, что туда же, куда он идет, то есть неизвестно куда, идет еще много, много наших.

— Ишь ты, и курские прошли,— говорили в рядах.

— Страсть, братец ты мой, что войска нашего собралось! Вечор посмотрел, как огни разложили, конца краю не видать. Москва — одно слово!

Хотя никто из колонных начальников не подъезжал к рядам и не поговорил с солдатами (колонные начальники, как мы видели на военном совете, были не в духе и недовольны предпринимаемым делом и потому только исполняли приказания и не заботились повеселить солдата), несмотря на то, солдаты шли весело, как и всегда идя в дело, в особенности в наступательное. Но, пройдя около часу всё в густом тумане, большая часть войска должна была остановиться, и по рядам пронеслось неприятное чувство сознания совершающегося беспорядка и бестолковщины. Каким образом передается это сознание, весьма трудно определить; но несомненно то, что оно передается необыкновенно верно и быстро разливается, незаметно и неудержимо, как вода по лощине. [Теперь же, когда] [Причину] Ежели бы русское войско было одно, без союзников, то, может быть, еще прошло бы много времени, пока это сознание беспорядка [проникло бы в общее] сделалось бы общею уверенностью; но теперь, с особенным удовольствием и естественностью все, относя причину беспорядков к бестолковым немцам, все убедились в том, что идет величайшая путаница, которую наделали колбасники.

— Что стали-то? Али загородили? Или уж наткнулись на француза?

— Нет, не слыхать. А то палить бы стал.

— То-то торопили выступать, а выступили — стали бестолку посереди поля,— всё немцы проклятые путают. Эки черти бестолковые.

— То-то я бы их и пустил наперед. А то небось позади жмутся. Вот и стой теперь не емши.

— Да что, скоро ли там. Кавалерия, говорят, дорогу загородила,— говорил офицер.

— Эх, немцы проклятые, своей земли не знают! — говорил другой.

— Вы какой дивизии? — кричал, подъезжая, адъютант.

— 18-й.

— Так зачем же вы здесь? Вам давно бы впереди дóлжно быть, теперь до вечера не пройдет.

— Вот распоряжения-то дурацкие; сами не знают, что делают.

Потом проезжал генерал и сердито не по-русски кричал что-то.

— Тафа-лафа,— а что бормочет, ничего не разберешь,— говорил солдат, когда проехал генерал.— Расстрелял бы я их, подлецов!

— В 9 часу велено на месте быть, а мы и половины не прошли. Вот так распоряжения!

Причина путаницы заключалась в том, что во время движения австрийской кавалерии, шедшей на левом фланге, велено было перейти на правую сторону. Несколько тысяч кавалерии продвигалось в голове пехоты, и пехота должна была ждать.

Впереди произошло столкновение между австрийским колонновожатым и русским генералом. Русский генерал раскричался до бешенства, требуя чтобы остановлена была конница. Австриец доказывал, что виноват был не он, а высшее начальство. Войска между тем стояли, скучая и падая

духом. Наконец, после часовой задержки, войска двинулись вперед и стали спускаться под гору. Туман, расходившийся на горе, только гуще расстилался в низах, куда спустились войска. Впереди, в тумане, раздался один, другой выстрел, и в лощине над речкою Гольдбахом началось дело.

Не рассчитывая встретить внизу над речкою неприятеля и нечаянно в тумане наткнувшись на него, не слыша слова одушевления от высших начальников, с распространившимся по войскам сознанием, что было опоздано, и, главное, в густом тумане не видя ничего впереди и кругом себя, русские, лениво и медленно перестреливаясь [перестраивались с неприятелем и подвигались] с неприятелем, подвигались вперед и опять останавливались, не получая вовремя приказаний от начальников и адъютантов, которые блудили по туману и незнакомой местности, не находя своих частей войск.

Так началось дело для первой, 2-й и 3-й колонны, которые спустились вниз. [В лощинах еще] 4-я колонна, при которой находился сам Кутузов, стояла на Праценских высотах. В низах, где началось дело, был все еще густой туман, наверху прояснило, но все не видно было ничего из того, что происходило впереди. [Был ли неприятель] Были ли все силы неприятеля, как мы предполагали, за 10 верст от нас, или он был тут, в этой черте тумана, никто не знал до 9-го часа.

‹XIII›

Было 9 часов утра[1]. Туман сплошным морем расстилался понизу, но на высоте при деревне Шлапанице, на котором стоял верхом Наполеон, окруженный своими маршалами, было совершенно светло. Над ним было ясное голубое небо, и огромный шар солнца, как багровый пустотелый шар, плавал на поверхности молочного моря тумана. Не только все французские войска, но и сам Наполеон с штабом находился уже не по ту сторону деревень Сокольниц и [того Гольдбаха, который значился в диспозиции] Шлапаниц, за которыми мы намеревались занять позицию и начать дело, но по сю сторону, так близко от наших войск, что Наполеон простым глазом мог в нашем войске отличать конного от пешего. Наполеон стоял несколько впереди своих маршалов на той же серой лошади, в той же шинели и шляпе, в которых он был вчера на аванпостах. То же неподвижное, безучастное и величественное лицо озарялось теперь ярким светом утра. Он долго вглядывался в холмы, которые как бы выступали из моря тумана и по которым вдалеке двигались русские войска, [всё спускаясь книзу направо] и прислушивался к звукам стрельбы в лощине. Его предположения оказывались верными.

Русские войска частью уже спустились в лощину к прудам и озерам, частью очищали те Праценские высоты, которые он намерен был атаковать и считал ключом позиции. Он видел на том острове среди тумана, который составлял две горы, в углублении между которыми лежала деревня Працен, он видел, как в этом ущелье впереди и по обеим сторонам деревни, блестя, двигались русские штыки и [скакали] все по одному направлению к лощинам и скрывались в море тумана. По сведениям, полученным ночью, по звукам колес и шагов, слышанным ночью на аванпостах, по беспорядочности движения русских колонн, по всем предположениям он ясно видел, что союзники считали его далеко впереди себя, что колонны, двигавшиеся близ Працена, составляли центр русской армии, что центр уже достаточно ослаблен, чтобы успешно атаковать его. Но он всё еще не начинал дела.

Нынче был для него торжественный день его коронования [праздничный, торжественный день]. Перед утром он задремал на несколько часов и, здоровый, веселый, свежий [встал и сел], в том счастливом располо-

---

[1] На полях: *Наполеон знал уже и ждал.*

жении духа, в котором всё кажется возможным и всё удается, сел на лошадь и выехал в поле. Он стоял неподвижно, глядя на виднеющиеся из-за тумана высоты, и на прекрасном 28-летнем лице его был тот особый оттенок самоуверенного, заслуженного счастья, который бывает на лице [художника, кладущего последние черты на свое произведение. И лицо это счастливо.] [Это выражение как бы [окаменело] остановилось на его мраморном лице.] 16-тилетнего влюбленного и счастливого мальчика. Маршалы стояли позади его и не смели развлекать его внимание. Он смотрел то на Праценские высоты и то на выплывавшее из тумана солнце.

Когда солнце совершенно вышло из тумана и ослепляющим блеском брызнуло по полям и туману [он, как будто ожидая] (как будто он только ждал этого для начала дела), он, сняв перчатку, красивой белой рукой сделал знак маршалам. Они подвинулись к нему, и он отдал приказание начинать дело. Маршалы, сопутствуемые адъютантами, поскакали в разные стороны, и через несколько минут быстро двинулись главные силы французской армии к тем Праценским высотам, которые всё более и более очищались русскими войсками, спускавшимися налево в лощину, где сильнее и сильнее разгоралась бесполезная перестрелка[2].

Кутузов выехал верхом к Працену впереди четвертой колонны, той самой, которая должна была занять место колонны Пржебышевского и Ланжерона, спустившихся уже вниз. Он поздоровался с людьми переднего полка и отдал приказание к движению, показывая тем, что он сам намерен был вести эту колонну. Выехав к деревне Працен, он остановился, рассматривая будущее поле сражения.

Князь Андрей в числе огромного количества лиц, составлявших свиту главнокомандующего, стоял позади его. Князь Андрей так много передумал и пережил в эту ночь, что, несмотря на то, что он не сомкнул в эту ночь глаза, он сам удивлялся своему спокойствию. В это утро он чувствовал, что его душевные способности не могли выходить за пределы наблюдения и физической деятельности (он всё мог видеть, заметить, запомнить, не делая никаких соображений, и всё мог сделать, но не более), и потому он чувствовал себя особенно готовым на всё, что только может сделать человек. Он стоял позади Кутузова и наблюдал вперед и вокруг себя. [От деревни Працен]

Был 9-й час утра, [туман стал было] воздух был холодный, но сухой и резкий, хотя ветра не было. Туман, стоявший ночью, оставил на высотах только иней, переходивший в росу, в лощинах же он расстилался еще молочно-белым морем. Ничего не было видно в той лощине налево, куда спустились наши войска и откуда доносились звуки стрельбы. Над высотами было темное ясное небо и направо назади огромный шар солнца всплывал над туманом. Солнце казалось багровым пустотелым шаровидным поплавком, который колыхался, плавая на море тумана. Впереди, далеко на том берегу туманного моря, виднелись выступающие лесистые холмы, на которых должна была быть неприятельская армия. Вправо [⟨слышалось⟩] виднелась вступающая в область тумана гвардия, гремевшая топотом и колесами и блестевшая штыками; налево такие же массы кавалерии, пехоты и артиллерии подходили и скрывались в море тумана. Вблизи около себя князь Андрей видел всё те же знакомые и неинтересные фигуры Козловского, Несвитского и других. Впереди на невысокой лошади виднелась согнутая, сутуловатая спина Кутузова.

Кутузов в этот день казался князю Андрею совсем не тем человеком, каким он знал его в его хорошие минуты. Не было в нем этой скрытой беспечностью и старческим спокойствием тихой силы презрения к людям и веры в себя, которые любил в нем князь Андрей. Главнокомандующий казался ныне изнурен, скучен и раздражителен.

— Да скажите же, наконец, чтобы строились в батальонные колонны

---

[2] К тексту: *Нынче* (с. 329) ∾ *перестрелка.*— см. Варианты, № 2.

СРАЖЕНИЕ ПРИ АУСТЕРЛИЦЕ 2 ДЕКАБРЯ 1805 ГОДА
Гравюра Боска по рисунку Карла Верне

и шли в обход деревни,— сердито сказал он подначальственному генералу.— Как же вы не поймете, ваше превосходительство, милостивый государь, что растянуться по этому дефилею улицы деревни нельзя, когда мы идем против неприятеля.

— Я предполагал развернуть фронт за деревней, ваше высокопревосходительство,— отвечал генерал.

Кутузов желчно засмеялся.

— Хороши вы будете, развертывая фронт в виду неприятеля, очень хороши!

— Ваше сиятельство, по диспозиции мы должны еще пройти три версты до неприятельской линии.

— Диспозиция...— желчно вскрикнул Кутузов — А это вам кто сказал?.. Извольте делать, что вам приказывают.

— Слушаю-с!

— Mon cher,— сказал шёпотом князю Андрею Несвицкий,— [тут же стоявший с своим всегда беспечным и плотским симпатичным видом] le vieux est d'une humeur de chien[3].

К Кутузову подскакал австрийский офицер с зеленым плюмажем в белом мундире и спросил от имени императора: выступила ли в дело четвертая колонна.

Кутузов, не отвечая ему, сморщившись отвернулся, и взгляд его нечаянно попал на князя Андрея, стоявшего подле него. Кутузов, заметив Болконского, смягчил злое и едкое выражение взгляда, как бы сознавая, что этот адъютант не был виноват в том, что делалось. И, не отвечая австрийскому адъютанту, он обратился к Болконскому:

— Allez voir, mon cher, si les tirailleurs sont postés[4],— сказал он.— Ce qu'ils font, ce qu'ils font![5] — проговорил он про себя, всё не отвечая австрийцу. [В то время как Болконский, поворачивая лошадь, чтобы ехать исполнить приказание, он видел, как Кутузов что-то желчно говорил австрийцу.]

Стрелков действительно забыли рассыпать впереди колонны, и князь Андрей приказал ближайшему начальнику от имени главнокомандующего исполнить упущенное.

Туман уже совсем разошелся. Был девятый час утра, уже прошло более четверти часа после того, как Наполеон, которого мы считали за 10 верст от себя, а который был со всей своей армией тут, в этом море тумана, расстилавшегося вокруг нас, дал приказание маршалам к атаке. Уже стрельба в лощинах на левом фланге становилась сильнее, чаще и слышнее, и лошади под Кутузовым и его свиты настораживали уши, прислушиваясь. А главнокомандующий, старчески и бессильно опустившись на седле своим тучным телом и распустив свои одутловатые щеки, сидел молча, опустив голову, и всё не отдавал приказания двигаться 4-й колонне, при которой он находился.

В это-то время, в 10-м часу, позади Кутузова послышались вдали звуки здоровывающихся полков и стали быстро приближаться по всему протяжению растянувшейся линии наступавших русских колонн. Видно было, что тот, с кем здоровывались, ехал скоро. Когда закричали солдаты того полка, перед которым стоял Кутузов, он отъехал и оглянулся[6]. По дороге из Працена скакал как бы эскадрон разноцветных всадников. Два из них скакали рядом впереди остальных. Один в черном мундире с белым султаном, на рыжей лошади, другой в белом мундире, на вороной лошади. Это были два императора со свитой. Кутузов с аффектацией служаки, находящегося во фронте, скомандовал парад и салютовал импе-

---

[3] Ну, любезный, старик сильно не в духе.

[4] Ступайте, мой милый, узнайте, поставлены ли стрелки.

[5] Что делают, что делают!

[6] На полях: *Государи — молодежь свежая, энергичная. Кутузов с аффектацией дисциплины встречает.*

ратору. Вся его фигура и манера вдруг изменились. Он принял вид подначальственного, нерассуждающего человека. Он с аффектацией привычного изящества и почтительности, которая, очевидно, неприятно поразила императора Александра, подъехал, и салютовал, и рапортовал.

Неприятное впечатление, только как остатки тумана на ясном небе, пробежало по молодому и счастливому лицу императора. Он был, после нездоровья несколько худее в этот день, чем на Ольмюцком поле, где его в первый раз за границей видел Болконский; но то же обворожительное соединение величавости и кротости было в его прекрасных серых глазах, и на тонких губах та же возможность разнообразных выражений и преобладающее выражение благодушной, невинной молодости.

На Ольмюцком смотру он был величавее, здесь он был веселее и энергичнее. Он несколько разрумянился, прогалопировав эти три версты, и, остановив лошадь, отдохновенно вздохнул и оглянулся на такие же молодые, такие же оживленные лица своей свиты. Тут был и красивая обезьяна А. Чарторижский, и оригинальная фигура Новосильцева, и князь Волконский, и Строганов,— все красивые, изящные, богато одетые молодые люди на прекрасных, выхоленных, свежих, только что слегка вспотевших лошадях. Император Франц, румяный круглолицый молодой человек, прямо державший голову, тело и ноги, на необычайно красивом вороном жеребце, имел спокойный и красивый вид. Он молча, высоко держа голову, оглядывался вокруг себя. Он спросил что-то с значительным видом у одного из своих белых адъютантов. «Верно, в котором часу они выехали»,— подумал с улыбкой, которой он не мог удержать, князь Андрей, с любопытством наблюдая своего старого знакомого. В свите императоров были отобранные молодцы-ординарцы, русские, австрийские, гвардейских и армейских полков. Между ними велись берейторами в расшитых попонах необычайной красоты запасные царские лошади.

Как будто через растворенное окно вдруг пахнуло свежим полевым воздухом в душную комнату, так пахнуло молодостью и энергией и уверенностью в успехе от этой прискакавшей блестящей молодежи. Так показалось князю Андрею, глядя на них. Такая сила порыва, казалось, была в этой блестящей плеяде, что 〈*1 нрзб*〉 казалось бы не могло устоять против нее. Отвернувшись от Кутузова, император Александр оглянул поле сражения, остановившись особенно на том месте, с которого слышались ружейные выстрелы, и по-французски с улыбкой и сожалением сказал что-то одному из своих приближенных. Князь Андрей был уверен, хотя он и не расслышал слов, что император выразил сожаление, что по своему положению он лишен возможности быть там, в пылу огня, где решалась участь сражения, куда тянуло его внутреннее чувство.

— Что ж вы не начинаете, Михаил Ларионович? — с ласковой улыбкой обратился император Александр к Кутузову, в то же время учтиво взглянув на императора Франца.

— Я поджидаю, ваше величество,— отвечал Кутузов, почтительно наклоняясь вперед.

— Ведь мы не на Царицыном Лугу, Михаил Ларионович, где не начинают парада, пока не придут все полки,— сказал с мягким упреком государь, снова учтиво взглянув в глаза императору Францу, как бы приглашая его ежели не принять участие, то прислушаться к тому, что он говорит; но император Франц, продолжая оглядываться, кивнул головой.

— Потому и не начинаю, государь,— сказал Кутузов, по лицу которого волною пробежала морщина досады,— потому и не начинаю, государь,— сказал он резким и звучным голосом,— что мы не на параде и не на Царицыном Лугу.

В свите государя на всех лицах, мгновенно переглянувшихся друг с другом, выразился ропот и упрек. «Как он ни стар, он не должен был бы, никак не должен бы говорить этак»,— говорили эти лица.

Государь пристально, ласково и внимательно смотрел в глаза Кутузову, ожидая, не скажет ли он еще чего.

— Впрочем, если прикажете, ваше величество,— сказал Кутузов, снова изменяя тон на прежний тон тупого, нерассуждающего, но повинующегося генерала.

Он тронул лошадь и отдал приказание к наступлению.

Войско начало строиться, и два баталиона Новгородского полка и баталион апшеронский тронулись вперед мимо государя.

В то время как проходил апшеронский баталион, странная, невольно поражающая своею подвижностью и напыщенностью фигура маленького генерала без шинели в мундире и орденах и с шляпой с огромным султаном, надетой набекрень и с поля, марш-марш выскакала вперед и, молодецки салютуя, осадила лошадь перед государем. Болконский не мог сразу в этом воинственном генерале с блестящими глазами и поднятым кверху лицом узнать того Милорадовича, который так добросовестно старался не заснуть накануне вечером в военном совете.

— С богом, генерал,— сказал ему государь.

— Ma foi, Sire, nous ferons ce que qui sera dans notre possibilité, Sire [7],— отвечал он весело, смело и торжественно, тем не менее вызывая весьма насмешливую улыбку у господ свиты государя своим дурным французским языком. Милорадович круто повернул свою лошадь и стал несколько позади государя.

Апшеронцы, возбуждаемые звуками стрельбы и присутствием государя, молодецким бойким шагом проходили мимо начальника.

— Ребята! — крикнул громким, самоуверенным и веселым голосом Милорадович, видимо, до такой степени возбужденный звуками стрельбы, ожиданием сражения и видом молодцов-апшеронцев, еще своих суворовских товарищей по итальянскому походу, что забыл о присутствии государя.

— Ребята! Вам не первую деревню брать,— крикнул он и, толконув лошадь, стремглав, опять салютуя императору, поскакал вперед.

Лошадь государя шарахнулась от неожиданности (лошадь эта, носившая государя еще на смотрах в России, здесь на Аустерлицком поле несла своего седока, выдерживала его рассеянные удары левой ногой, настораживала уши от звуков выстрелов точно так же, как она делала это на Марсовом поле, не понимая значения ни этих слышавшихся выстрелов, ни соседства вороного жеребца императора Франца, ни всего того, что говорил, думал, чувствовал в этот день тот, кто ехал на ней).

Государь улыбнулся одобрительно и тому воинственному неприличному поступку Милорадовича, и тому, что сделал один из апшеронских солдат, шедших на фланге. Солдат этот, услыхав крик генерала, вздрогнув, хотел сам крикнуть: «Ради стараться», но потом, видимо, раздумал, махнул рукой и молодецки подмигнул на скачущего Милорадовича. С этой улыбкой на лице в последний раз видел Болконский императора.

Кутузов, сопутствуемый своими адъютантами, поехал шагом за карабинерами.

Кутузов, с полверсты проехав в хвосте колонны, остановился впереди Працена, у одинокого заброшенного дома (вероятно, бывшего трактира), у разветвления двух дорог. Обе дороги спускались под гору. Хотя туман уже [начинал] только клоками носился над лощиной и солнце ярким косым светом обливало поля, леса и горы, неприятеля еще не было видно, и войска и начальство двигались нескоро, еще ожидая столкновения. Кутузов направил часть Новгородского полка по дороге налево, меньшую же часть апшеронского баталиона направо [и, разговаривая с австрийским генералом, остановился]. Он разговаривал с австрийским генералом.

Князь Андрей, стоя несколько позади, наблюдал окружающих его ге-

---

[7] Ваше величество. мы сделаем всё. что будет возможно сделать.

нералов, русских и австрийских, и адъютантов. Ни один из них не имел естественного вида, и он всех их знал, все одинаково старались принимать кто проницательный, кто воинственный, кто небрежный вид, но ненатуральный. Один из адъютантов имел зрительную трубу и смотрел в нее.

— Посмотрите, посмотрите,— сказал он.— Это французы.

Два или три генерала и адъютанта стали хвататься за трубу, вырывая ее один у другого, и все лица вдруг изменились и все стали естественны. На всех выразился испуг и недоумение. Князь Андрей, как по отражению в зеркале, видел на их лицах то, что происходило впереди.

— Это неприятель... нет. Да, смотрите. Они. Наверно. Что ж это? — послышались голоса.

Кутузов глядел в трубу и подошел к австрийскому генералу.

Князь Андрей поглядел вперед и простым глазом увидал внизу направо поднимавшуюся навстречу апшеронцам колонну французов не дальше 800 шагов от себя. Впереди шедшая батарея снялась с передков, открыла огонь, частая ружейная стрельба послышалась впереди, и на мгновенье всё закрылось дымом.

Воспоминание Шенграбенской блестящей атаки живо возникло в воображении князя Андрея. Так же тогда шли французские войска в синих капотах и щиблетах, и так же навстречу им двинулись тогда киевские гренадеры, как теперь сходились с французами только что прошедшие мимо государя новгородцы и молодцоватые апшеронцы. Князю Андрею не могло прийти в голову, чтобы исход этой атаки мог быть другой, чем тот, при котором присутствовал и при Шенграбене, и он с [замиранием] уверенностью ждал сначала залпа французов, потом «ура» и бегства французов и нашего преследования. Но все было застлано дымом и стрельба сливалась в один звук, и ничего нельзя было разобрать. Мимо корчмы бежали вперед пехотные русские солдаты. Это продолжалось не больше двух минут. Но вот впереди стрельба стала приближаться вместо того, чтобы удаляться, и к крайнему удивлению своему, князь Андрей почувствовал, что Кутузов сделал жест отчаяния. Один раненый солдат пробежал с криком боли мимо корчмы, другой, третий, и толпы солдат с офицером пробежали за ним, сбивая с дороги Кутузова и его свиту. Смешанные русские и австрийские всё увеличивающиеся толпы бежали назад к тому месту, где пять минут тому назад войска проходили мимо императора. Болконский оглядывался, недоумевая и не в силах понять того, что делалось перед ним.

Он искал глазами лицо Кутузова, чтобы получить объяснение того, что делалось перед ним. Но Кутузов что-то быстро, с жестами, задом стоя к Болконскому, говорил близ стоявшему генералу. Несвицкий, который был послан вперед, с озлобленным лицом, красный и на себя непохожий, кричал, что войска бегут, и умолял Кутузова ехать назад, утверждая, что ежели он его не послушает, то через пять минут будет взят в плен французами, которые находятся уже в 200-х шагах под горой. Кутузов не ответил ему, и Несвицкий с таким видом озлобленности, которой не только никогда не видал, но и не мог в нем предполагать князь Андрей, обратился к нему.

— Я не понимаю,— кричал он,— всё бежит, надо уезжать или нас всех перебьют или передерут, как баранов.

Князь Андрей, [чувствуя, как сердит, стал было с ‹дрожанием?›] едва удерживая дрожание нижней челюсти, подъехал ближе к Кутузову.

— Остановите их,— кричал главнокомандующий, указывая на офицера апшеронского полка, который, подобрав плащ, рысью бежал мимо него с всё более и более увеличивающейся толпой.— Что это? что это?

Князь Андрей поскакал за офицером и, нагнав его, закричал:

— Разве вы не слышите, милостивый государь, что главнокомандующий приказывает вам вернуться.

— Да, вишь ловок больно, поди-ка сам сунься,— грубо проговорил офицер, видимо, под влиянием панического страха потерявший всякое сознание о высшем и низшем и о всякой субординации. В это же время на князя Андрея побежал, в числе других, солдат и, прикладом ударив его лошадь в брюхо, проложил себе дорогу, и толпа, увеличиваясь, продолжала бежать прямо на Працен, на то место, где стояли императоры и их свита.

Войска бежали такой густой толпой, что раз попавши в середину толпы, трудно было из нее выбраться. Кто кричал: «Пошел! Что замешался», кто, тут же оборачиваясь, стрелял в воздух, кто бил лошадь, на которой ехал князь Андрей. Болконский скоро понял, что нечего и думать остановить этих бегущих, и что одно, что он мог сделать, это ему самому выбраться из этой давки, где всякую минуту он рисковал быть [задавленным] сбитым с лошади, задавленным, застреленным, и присоединиться к главнокомандующему, с которым он мог надеяться погибнуть достойно. С величайшими усилиями выбравшись из потока толпы влево, он обскакал по кустам, примыкавшим к дороге, увидал впереди в середине баталиона пехоты плюмажи свиты Кутузова и присоединился к ним.

В свите Кутузова за эти 5 минут отсутствия всё переменилось. Кутузов, слезши с лошади, стоял, опустив голову, подле еще не расстроенного Новгородского баталиона, несколько правее дороги, и отдавал приказанье генералу, стоявшему перед ним верхом, с рукой у козырька.

— Всё, что застанете, всё сюда. Ступайте! [Генерал поскакал] Генералу Милорадовичу скажите! — крикнул Кутузов. Адъютант поскакал догонять генерала, не слыхавшего этих последних слов.

[— Да оставь ты меня в покое,— обратился Кутузов сердито к генералу, убеждавшему его отъехать отсюда.] Вокруг Кутузова стояли господа его свиты, которых число уменьшилось более чем вдвое. Некоторые были пешими, некоторые верхом. Все были бледны, перешептывались, глядели вперед и обращались беспрестанно к главнокомандующему, умоляя его отъехать. [В то время, как князь Андрей] Глаза всех были преимущественно устремлены на русскую батарею, которая стояла впереди влево и одна без прикрытия стреляла по французам, подходившим к ней уже не далее 150 шагов. В то время как князь Андрей подъехал, Кутузов с трудом, подсаживаемый казаком, садился на лошадь. Севши на лошадь, наружность Кутузова изменилась, он, казалось, проснулся, тонкие губы сложились в выражении, единственный [глаз его встретился с вопросительным взглядом князя Андрея] глаз его блестел сосредоточенным ясным блеском.

— [Ведите баталион] Ведите в штыки. Ребята!!![8] — крикнул Кутузов полковнику, стоявшему возле него, и сам вперед тронул лошадь. [Ядра пролетали через него.] Ядра беспрестанно с странным свистом перелетали через головы Кутузова и его свиты, и, в то время как он тронулся вперед, как рои птичек, со свистом пролетели пули по баталиону и свите, задев несколько человек. Кутузов [опять] взглянул на князя Андрея. И этот взгляд польстил Болконскому. В коротком взгляде, который Кутузов бросил на своего любимого и предпочитаемого адъютанта, Болконский прочел и радость его видеть в эту решительную минуту, и совет мужаться и быть готовым на всё, как будто сожаление о его молодости. «Мне, старику, это легко и весело, но тебя мне жалко»,— будто говорил взгляд Кутузова. Всё это, без сомнения, представлялось только воображению князя Андрея, ему думалось с чрезвычайною ясностью тысячи тонких оттенков мыслей и чувств, он только наблюдал, но не думал в эту минуту о том, о чем он так долго и мучительно думал, и [главное] о том, что теперь-то и наступает минута сделать великое или умереть молодым и неизвестным.

---

[8] На полях: *Ребята, стыдно.*

Баталион тронулся, и Кутузов, выждав несколько минут, галопом поехал за ним. Но, не доехав еще до баталиона, князь Андрей видал, как Кутузов рукою схватился за щеку и из-под пальцев его потекла кровь.

— Ваше сиятельство! Вы ранены,— сказал Козловский, с своим мрачным и непредставительным видом, все время ехавший подле Кутузова.

— Рана не здесь,— сказал Кутузов, останавливая лошадь и доставая платок,— а вот где,— он указал вперед на всё подвигавшиеся колонны французов и на баталион, который остановился.

Тем же залпом, которым ранен был Кутузов, ранен был батальонный командир, стоявший впереди, убито несколько солдат и подпрапорщик, несший знамя. Батальонный командир упал с лошади. Знамя зашаталось и, падая, задержалось на ружьях соседних солдат. Передние ряды стали, и несколько выстрелов без команды послышались в рядах его. Кутузов прижал красневший от крови платок к раненой щеке.

— Ааа! — промычал как бы от боли Кутузов, ударил шпорами лошадь и вскакал в середину батальона.

За ним оставались в это время только князь Андрей и Козловский.

— Стыдно, ребята, стыдно,— закричал [с невольным выражением страдания в голосе] он, бросая платок на землю. Но солдаты с недоумением оглядывались.

— Вперед! ребята [Оох! — крикнул]

Солдаты, не двигаясь, стреляли и не шли на батарею, которая уже переставала стрелять и от которой в равном расстоянии не более 100 шагов были спереди французы и сзади наши. Но французы шли, а наши стояли, стреляя. Очевидно было, что участь сражения зависела оттого, кто решительнее бросится к этим пушкам.

— Оох,— с выражением отчаяния промычал еще раз Кутузов, и, взглянув машинально на окровавленный платок, он, как бы вспомнив свое молодое время, свой Измайловский штурм, вдруг выпрямился, блеснул единственным глазом и поскакал вперед.— Ура! — закричал он голосом, который очевидно, по слабости и старческой хриплости своей, не отвечал всей энергии его настроения. Услыхав свой голос и почувствовав свое физическое бессилие, он, как бы отыскивая помощи, с сверкающим опущенным зрачком целого глаза и с зверским совершенно изменившимся выражением лица оглянулся на адъютантов.

Козловский первый попался ему. Он обежал его взглядом и остановился на князе Андрее.

Болконский,— прошептал он дрожащим от сознания своего старческого бессилия голосом.— Болконский,— прошептал он, указывая на расстроенный батальон и на неприятеля.— Что же это? Но, прежде, чем он договорил это слово, князь Андрей, чувствуя также слезы стыда, злобы и восторга, подступавшие ему к горлу, уже двинулся вперед, чтобы исполнить то, чего от него желал Кутузов и к чему он так давно готовился. Он толконул лошадь, обскакал Кутузова, и, подъехав к упавшему знамени, спрыгнув, сам не помня как, с лошади, он поднял знамя.

— Ребята, вперед! — крикнул он детски-пронзительно. Лошадь, почувствовав себя на свободе, фыркая и задрав хвост, маленькой и гордой рысцой побежала из рядов баталиона. Только что князь Андрей схватил древко знамени, как в то же мгновение 10 пуль прожужжали мимо его, но он был цел, хотя несколько солдат упало около него.

— Ура! — закричал князь Андрей и побежал вперед [сначала с уверенностью, что весь баталион побежит за ним. Он пробежал один только несколько шагов, и действительно, тронулся] с несомненной уверенностью, что весь баталион побежит за ним. И действительно, он пробежал один только несколько шагов. Тронулся один, другой солдат и весь баталион с криком «ура» побежал вперед.

Никто из знавших князя Андрея не поверил бы теперь, глядя на его бодрый решительный бег и счастливое лицо, что это был тот самый князь

Болконский, который с такою усталостью волочил свои ноги и речи по петербургским гостинным, а это был именно он, настоящий он, испытавший в эту минуту высшее наслаждение, испытанное им в жизни. Унтер-офицер баталиона, подбежав, взял колебавшееся в руках князя знамя, но тотчас же был убит. Князь Андрей опять подхватил знамя и, положив его через плечо, бежал вперед, не давая перегонять себя солдатам. Князь Андрей уже был в 20-ти шагах от орудия, он бежал вперед с своим баталионом под сильнейшим огнем французов, обегая падавших вокруг него, но и тут, в эту минуту, он не думал о том, что ему предстояло, а невольно яркими красками отпечатывались только в его воображении все окружающие впечатления. Он до мельчайшей подробности видел и помнил фигуру и лицо рыжего артиллериста, тянущего с одной стороны банник, тогда как французский солдат тянул его к себе за другую сторону. Немного подальше солдата, посередине четырех орудий, он видел стоявшего с виноватым и сконфуженным видом того самого Тушина, который так поразил его под Шенграбеном. Тушин, видимо, не понимал значения минуты и, как бы забавляясь комизмом своего положения, улыбался глупою, жалкою улыбкой, точно такою же, какою он улыбался, стоя без сапог в деревне Грунте у маркитанта перед дежурным штаб-офицером, и глядел на подходивших к нему французов с угрожающе перевешенными ружьями. «Неужели убьют его,— подумал князь Андрей,— прежде, чем мы успеем подбежать?» Но это было последнее, что видел и думал князь Андрей. Вдруг, как бы со всего размаха крепкой палкой, кто-то из ближайших солдат ударил его в левый бок. Немного это больно было, а главное, неприятно, потому что боль эта развлекала его от столь интересных в это время наблюдений. Но вот странное дело: ноги его попадают в какую-то яму, подкашиваются, и он падает. И вдруг ничего нет, кроме неба — высокого неба с ползущими по нем серыми облаками — ничего, кроме высокого неба. «Как же я не видал прежде этого высокого неба? — подумал князь Андрей. Я бы иначе думал тогда. Ничего нет, кроме высокого неба, но того даже нету, ничего нет, кроме тишины, молчания и успокоения.

Когда упал князь Андрей, баталион опять смешался и побежал назад, увеличивая смятение задних. Толпа набежала на императоров и их свиту, увлекая их за собой на ту сторону высот Працена. Никто не мог не только остановить этого бегства, но даже и узнать от бегущих причину его. В свите императоров этот панический страх, усиленный еще более передачею и неизвестностью, дошел до такой степени, что в 5 минут от всей этой блестящей свиты императоров при Александре I не осталось никого, кроме его лейб-медика Вилье и берейтера Эне.

⟨XIV⟩

План сражения под Аустерлицом был следующий: русские войска, центр которых составляла 4-я колонна, та, при которой находились императоры, левое крыло, войска Буксгевдена, и правое, отряд Багратиона. Русские войска должны были, зайдя левым плечом вперед, стать воборот направо, составив прямой угол, одну сторону которого составляли бы первая, вторая, третья и четвертая колонны, а другую сторону — отряд Багратиона. В этом прямом угле, по предположению союзников, должны были ⟨быть⟩ заключены и атакованы неприятельские войска. Но вместо того, чтобы ожидать наступления союзников в одной массе, Бонапарте, предупредив их, выступил вперед, атаковав самый тот угол, который составлял две линии союзников в пункте Праценских высот, и, пробив этот угол, разорвал армию на две части, из которых одна, и большая часть, наше левое крыло, находилось в низах между прудами и ручьями. Атака нашего левого фланга была слаба, не единовременна и недостаточно энергична, потому что, по непредвиденным обстоятельствам, колонны были

задержаны на марше и приходили по нескольку часов позже своего назначения. (Непредвиденных обстоятельств случается обыковенно тем более, чем постыднее бывает проиграно сражение.) Авангард Кинмейера первый атаковал неприятеля, но не мог удержаться, не поддержанный вовремя колонною Дохтурова, опоздавшей на час времени. Дохтуров после Кинмейера занял деревню Тельниц, но не мог удержаться в ней, так как и он, в свою очередь, не был поддержан колонною Ланжерона, опоздавшей более часу по причине передвижения перед фронтом войск огромных масс кавалерии, спутанных еще с вечера, не попавших на свое место; наконец, овладев Тельницом и потеряв много людей и времени, Дохтуров и Ланжерон не продолжали наступление, а остановились, ожидая долженствовавшую поровняться с ними колонну Пржебышевского, которая всё еще не приходила. Колонна Пржебышевского, как и другие, опоздала, в свою очередь. Все эти правильно повторившиеся непредвиденные обстоятельства сделали то, что эти 25 тысяч русских в продолжение двух часов были удерживаемы одною шеститысячною дивизией Фриана, и Наполеон имел возможность обратить все свои силы на тот пункт, который ему казался важнее других, именно на Праценские высоты. Когда же подошла наконец и третья колонна Пржебышевского, начальники войск левого фланга, к несчастию, слишком хорошо помнившие диспозицию, не смели начинать решительную атаку, поджидая еще четвертую колонну Милорадовича, которая должна была, сойдя с Праценских высот, выровняться с ними. Эта колонна, как мы видели, спускаясь с Праценских высот, не ожидая французов и не успев развернуться, в виду их смешалась и побежала, увлекая в своем бегстве императоров с их свитой и позади стоявшие резервы.

В центре, где находилась вся гвардия, правее [Працена стояла кавалерия] должна была стоять австрийская кавалерия и резерв гвардии, но по непредвиденным обстоятельствам австрийская кавалерия не стояла на своем месте и гвардия очутилась в 1-й линии. Гвардия выступила в назначенное ей время с распущенными знаменами, музыкой и необыкновенной исправностью одежды и 〈в〉 идеальном, мечтательном порядке. Громадные тамбурмажоры, махая и подбрасывая свои палки, шли перед музыкой, кавалерийские офицеры гарцевали на тысячных лошадях, пехотные скромно, так же как и все солдаты, шли на своих местах и отбивали шаг на всем протяжении полка в ногу и по одному темпу. Великий князь Константин Павлович в белом кавалергардском колете и блестящей золотой каске ехал впереди конной гвардии.

Гвардия переправилась через ручей у Вальк-Мюлле и остановилась, пройдя с версту по направлению к Блазовицу, где уже должен был находиться князь Лихтенштейн. Впереди гвардии виднелись войска, принятые у нас сначала за колонну князя Лихтенштейна. Цесаревич построил гвардейскую пехоту в две линии развернутым фронтом: в первой стали полки Преображенский и Семеновский, имея перед срединою артиллерийскую роту имени великого князя Михаила Павловича, во второй — Измайловский полк и гвардейский егерский баталион. На правом фланге баталионов было по два орудия. Позади пехоты расположились лейб-гусары и конная гвардия. Впереди гвардии по диспозиции должна была находиться австрийская кавалерия. Как вдруг из войск, видневшихся впереди и принимаемых за австрийцев, пролетело ядро и смутило не только их, но и весь гвардейский отряд и его начальника великого князя. Войска, видневшиеся впереди, были не наши, а неприятель, который не только стрелял, но и наступал прямо на нравственно не приготовленную к делу гвардию. Здесь, в центре, точно те же неизбежные, но не предвиденные обстоятельства сделали то, что австрийская кавалерия, долженствовавшая стоять перед гвардией, должна была отойти, так как место, на котором она была поставлена, перерытое ямами и оврагами, было невозможно для кавалерийских действий; вследствие этого-то гвардия неожиданно

и непредвиденно попала в дело и, несмотря на блестящие атаки преображенцев и кавалергардов, как говорят военные историки, должна была весьма скоро отступить по тому же направлению, по которому из Працена отступали другие колонны.

Багратион по диспозиции должен был последний, со своим правым флангом, ударить на неприятеля и довершать его поражение, но весьма скоро было замечено, что не только неприятель не был разбит во всех других пунктах, но наступал, и потому князь Долгорукий ограничился защитою и отступлением. Как при Шенграбене, князь Багратион медленно ездил на своей белой кавказской лошади перед рядами войск, точно так же как и там, очень мало командовал и распоряжался, и, так же как и там, действия его правого крыла спасли всю армию, и он отступил в совершенном порядке.

⟨XV⟩

В начале сражения, не желая согласиться на требование Долгорукова начинать дело, князь Багратион предложил послать с вопросом этим своего дежурного ординарца Ростова к главнокомандующему. Багратион знал, что по расстоянию почти 10 верст, отделявших один фланг от другого, ежели Ростова не убьют, что было очень вероятно, и ежели он даже найдет главнокомандующего, что было весьма трудно, он не успеет вернуться ранее вечера.

— А ежели я встречу императора прежде, чем главнокомандующего, ваше сиятельство? — сказал Ростов, держа руку у козырька.

— Можете передать его величеству,— поспешно перебивая Багратиона, сказал Долгоруков.

Ростов скакал, не думая об опасности и не помня себя от счастия. Успев соснуть несколько часов перед утром, Ростов чувствовал себя веселым, смелым, решительным, с тою упругостью движения, уверенностью в свое счастье[1], в том расположении духа, в котором [бывают здоровые] всё кажется возможно и легко. Он не вспоминал о своих вчерашних мечтаниях близости к императору, но эти мечтания были так живы, что они оставили в его воображении следы действительного прошедшего. Он не думал теперь ни об опасности своей, ни о неудаче в сближении с императором, ни еще менее о возможности общей неудачи нашего оружия. Государь был с своими войсками, день был ясный, веселый, на душе было радостно и счастливо. [Вишь ты] «Однако разобрались же, не перепутались»,— думал он, обскакивая стройно выравнивавшиеся эскадроны кавалерии Уварова, которая еще не вступала в дело. Впереди себя он слышал дальнюю стрельбу, которая в свежем утреннем воздухе, раздаваясь с [по два] неравными промежутками по два, по три выстрела, была похожа на неладившуюся молотьбу цепами и не вызывала никакого неприятного или страшного чувства. Это были веселые звуки. Впереди ему виднелись двигавшиеся массы пехоты. И как вчера ему ночью всё казалось путаницей, так нынче он твердо верил в то, что всё это обдумано-передумано, что каждый знает свое место и дело и что, как бы там это ни было, а всё будет очень хорошо. Чем дальше он ехал, тем слышнее становилась стрельба и менее видно было ему впереди. Подъезжая к гвардии, он заметил нескольких отделившихся всадников, которые скакали как будто к нему. «Тут недалеко должен быть и государь и Кутузов»,— подумал он и тронул лошадь по направлению к всадникам. Это были наши лейб-уланы, которые расстроенными рядами возвращались из атаки, что-то везли на лошади, что-то мертвое и ⟨кровяное?⟩

Ростов поворотил лошадь влево и поскакал что было мочи.

— Мне до этого дела нет,— подумал он.— Надо скорей, скорей найти главнокомандующего. Не успел он проехать несколько сот шагов, как

[1] Так в автографе.

влево от него, наперерез ему, показалась на всем протяжении поля огромная масса кавалеристов на серых и вороных лошадях в белых мундирах, латах, кирасах и касках, которые на больших рысях шли прямо на него. Это была атака двух эскадронов кавалергардов против французской конницы. Ростов пустил лошадь во весь скок для того, чтобы уехать с дороги этих эскадронов, которые всё прибавляли рыси, и на всем скаку[2] могли задавить его. Уже слышен был гул с брянчанием, этот страшный гул с брянчанием, этот звук, похожий на ураган, приближающейся конницы, уже кавалергарды более половины скакали, едва удерживая рьяных лошадей. Ростов видел их красные разгоревшиеся лица, уже послышалась команда: «Марш, марш», когда Ростов едва-едва успел миновать их. Крайний фланговый кавалергард, огромный ростом мужчина, с широкоскулым лицом, мрачный, с остервенением приподнял палаш, как будто бы он хотел рубить и его. Этот кавалергард непременно сбил бы с ног Ростова с его Грачиком (Ростов сам себе казался таким маленьким и слабеньким в сравнении с этими громадными людьми и лошадьми), ежели бы он не догадался взмахнуть нагайкой в глаза его лошади. Серая яблоками тяжелая пятивершковая лошадь, казавшаяся столько же растерянною и взволнованною, как ее седок, шарахнулась, приложив уши, но рябой кавалергард всадил ей с размаху в бока огромные шпоры, и лошадь, взмахнув хвостом и вытянув шею, понеслась еще быстрее. Едва кавалергарды миновали Ростова, он услыхал их крик: «Ура!» и, оглянувшись, увидал, что передние ряды их уже смешивались с чужими, вероятно, французскими кавалеристами в красных эполетах.

Это была та блестящая атака кавалергардов, [в которой был взят *〈1 нрзб〉* К. Р.] которой удивлялись сами французы, и Ростову страшно было слышать потом, что из всей этой массы огромных красавцев людей, из всех этих блестящих, на тысячных лошадях, богачей юношей, офицеров и юнкеров, столь полных красоты, силы и жизни, из всего эскадрона после атаки осталось только осьмнадцать человек.

Но в ту минуту, как Ростов, счастливо миновав опасность быть задавленным, он позавидовал кавалергардам. Позавидовал, но в ту же минуту мысль о том, сколько еще опасностей предстоит ему, какое счастье может быть и даже наверное будет (он был уверен в этом) говорить с самим государем, он, не оглядываясь, поскакал по направлению к левому флангу, где по слухам надеялся найти высшее начальство[3]. Проезжая мимо гвардейской пехоты, он и не думал о своем друге Борисе, когда услыхал голос, называвший его по имени и спрашивавший, что делалось в их отряде.

— Я уже давно оттуда, кажется, хорошо,— крикнул Ростов, приостанавливая лошадь.

— А мы, брат, в первую линию попали,— с неопределенной улыбкой сказал раскрасневшийся Борис.

— Что же, хорошо? — спросил Ростов.

— Отбили,— крикнул кто-то *〈1 нрзб〉*. 〈Ростов〉 [поскакал дальше] веселый поскакал дальше.

Проехав гвардию, он впереди себя по дороге услыхал стрельбу в том месте, где был наш арьергард и где не мог быть неприятель. «Что это может быть?» подумал Ростов.— Не неприятель же это. Не может быть. Они,— подумал он вообще о начальстве,— знают, что делать». Однако он

---

[2] На полях: *История всей гвардии тут. Борис бледен — говорит: я не военный. Берг просит порадоваться, что его великий князь поблагодарил. Великий князь говорит с N.*

[3] На полях: *Ростов, Ростов — послышался сзади голос, так настоятельно требовавший себе внимания, что Nicolas остановился. Это был Берг: он подбежал к Ростову, лицо его улыбалось своей приятной эгоистической улыбкой.— Посмотрите,— сказал он,— я ранен в правую руку, но всё же держу шпагу в левой.— «Только-то,— подумал Ростов.— И к чему ему шпага?» И Nicolas.*

должен был преодолеть себя, чтобы въехать в те войска, в которых была слышна и видна стрельба и крики, еще теперь продолжавшиеся.

— Что такое? Что такое? — спрашивал Ростов, ровняясь с толпами русских и австрийских солдат, бежавшими [наперерез его] перемешанными толпами наперерез его дороги.

Что такое? Что такое? — отвечали ему по-русски, по-немецки и по-болгарски толпы бегущих, не понимавших, точно так же как и он, того, что тут делалось.

По австрийцам стреляли,— кричал один.— А чёрт их дери, изменников.

— Сам сунься. Сбиты? Zum Henker[4].

Ругательства, крики заглушали друг друга. Ростову [надо было] велено было отыскивать Кутузова у деревни Працен, и еще с правого фланга ему показывали Праценскую гору и ⟨немецкие?⟩ церкви. Теперь он стоял против нее и, не веря своим глазам, смотрел на французские орудия и войска, стоявшие вокруг этой деревни.

~~Узнав~~ от одного офицера, что Праценские высоты взяты французами, батарею которых он видел простым глазом, Ростов постарался обскакать бегущих и выехать на путь отступления. Выехав на главный путь отступления или бегства центра русской армии, он увидал картину еще большего смятения и беспорядка. Коляски, экипажи всех сортов, солдаты, русские и австрийские, всех родов войск, раненые и убитые,— всё это смешанно копошилось под мрачный звук летавших среди ясного солнечного полдня ядер с французских батарей, поставленных на Праценских высотах.

— Где государь? Где Кутузов? — спрашивал Ростов у всех, и ни от кого не мог получить ответа.

— Э! брат! Уж давно все там впереди, удрали,— сказал Ростову один солдат, смеясь чему-то[5]. Другой, очевидно, денщик или берейтор важного лица, объявил Ростову, что государя с час тому назад провезли во весь дух в карете по этой дороге, и что государь опасно ранен.

— Не может быть,— сказал Ростов,— верно, другой кто.

— Я сам, я видел, ваше благородие,— сказал денщик с самоуверенной усмешкой. Уж мне-то пора знать государя, кажется, сколько раз в Петербурге вот так-то видал. Бледный-пребледный, в карете сидит, а Илья Иваныч на козлах сидит. Четверню вороных как припустит, батюшки мои, мимо нас прогремел. Пора, кажется, и царских лошадей и Илью Иваныча знать, кажется, с другим, как с царем, Илья кучер не ездит.

В отчаянии, убитый утверждением значительного денщика, Ростов поехал дальше, надеясь отыскать кого-нибудь из начальников и через него Кутузова. Известие, переданное денщиком, имело некоторое основание. Действительно видели, как царский кучер Илья на четверке промчал кого-то бледного в карете, но это был не государь, а гоф-маршал, граф Толстой, выехавший, тоже как и другие, полюбоваться победою над Бонапартом.

— Главнокомандующий убит,— сказал один солдат на вопрос Ростова.— Нет, это тот, как бишь его, а Кутузов вон туда в деревню. Солдат указывал на деревню Гостиерадек, и Ростов поскакал по тому направлению, по которому виднелись вдалеке башня и церковь. Куда ему было торопиться. Что ему было теперь говорить государю или Кутузову.

— Этой деревней, ваше благородие, не ездите, тут прямо,— закричал ему солдат.— Тут убьют.

— О! что говоришь? — сказал другой.— Куда он поедет? Тут ближе.

Ростов задумался и поскакал именно по тому направлению, где было ближе и опаснее. «Э, теперь всё равно»,— думал он. Он въехал в то пространство, на котором более всего погибло людей, бегущих с Працена.

---

[4] Ну, к чёрту (*нем.*).

[5] На полях: *обоз одних штабных, курящих и веселящихся денщиков. Тит, а Тит, ступай молотить.*

Французы еще не занимали этого места, а русские, те, которые были живы или ранены, давно оставили его. На поле, как копны на хорошей пашне, лежало человек десять-пятнадцать убитых, раненых на каждой десятине места. Раненые сползались по два, по три вместе, и неприятные, иногда притворные, как казалось Ростову, крики и стоны увеличивались, когда он подъезжал к ним, как будто они хотели его разжалобить. Иные умоляли его помочь им, просили воды, иные кричали и ругались, иные стонали и хрипели. Несколько солдатиков, не раненных, заметил Ростов, которые сымали сапоги с убитых (сапоги драгоценность солдат), и рысью бежали прочь от страшного поля. Ростов не останавливался, не только не помогал, но и не глядел на всех страдающих людей, которые, косясь, обходила его лошадь. Он слишком боялся за себя, не за свою жизнь, а за то мужество, которое ему нужно было и которое, он знал, не выдержит вида этих несчастных. Он не боялся, но внутренний инстинкт, как и у всех людей на войне, заставлял его быть не только невнимательным и равнодушным к этим страданиям, но инстинкт этот застилал от него всё окружающее так, что к смерти и страданиям всей этой тысячи людей он испытывал меньше участия, чем к зубной боли товарища в спокойную минуту.

Французы, переставшие стрелять по этому усеянному мертвыми и ранеными полю, потому что уже никого на нем живого не было, увидав едущего по нем адъютанта, вероятно, для шутки или для препровождения времени навели на него орудие и бросили несколько ядер. Чувство этих свистящих страшных звуков и окружающие мертвецы слились для Ростова в одно впечатление ужаса и сожаления к себе. Ему вспомнилось последнее письмо матери. «Что бы она почувствовала,— подумал он,— коли бы она видела меня теперь здесь, на этом поле, и с направленными на меня орудиями». Ни одно ядро не попало в него. Он благополучно доскакал до Гостиерадека. Там были, хотя и спутанные, но в большом порядке русские войска, [всё было] уже [Ростов отдохнул и опомнился. Никто] не долетали французские ядра и звуки стрельбы казались вдали. Здесь всё уже ясно видели и говорили, что сражение проиграно. «Сражение проиграно, но, по крайней мере, я цел и жив»,— подумал Ростов. Славу богу. Однако надо исполнить поручение». К кому он ни обращался, никто не мог сказать ему ни где был государь, ни где был Кутузов, но посоветовали ехать влево за деревню, там видали кого-то из высшего начальства. Проехав еще версты три и миновав последние русские войска, налево около огорода, окопанного канавой, Ростов увидал двух стоящих против канавы всадников. Один с белым султаном на шляпе казался генералом и показался почему-то знакомым Ростову, другой, незнакомый всадник, на прекрасной рыжей лошади подъехал к канаве, толконул лошадь шпорами и, выпустив поводья, легко перепрыгнул через канаву огорода. Только земля осыпалась с насыпи от задних копыт лошади. Круто повернув лошадь, он опять назад перепрыгнул и почтительно обратился к всаднику с белым султаном, очевидно, предлагая ему сделать то же. Всадник, которого фигура, показавшись знакомою Ростову, почему-то невольно приковала его к себе внимание, сделал отрицательный жест головой и рукой, и по этому жесту Ростов мгновенно узнал своего идола — обожаемого государя. [Нет, он был не ранен. Он был цел и невредим. И вот.] Но это не мог быть он, один, среди этого пустого поля. Но в это время Александр повернул голову, и Ростов узнал так живо 〈врезавшиеся〉 в его памяти любимые черты. Государь был бледен, щеки его впали, и глаза ввалились, но тем больше прелести, кротости, казалось Ростову, было в его чертах. Ростов был счастлив, убедившись в том, что слух о ране государя был несправедлив. Он был счастлив, что видел его и что мог, даже должен был прямо обратиться к нему и говорить с ним, что составляло высшую цель его желаний. Но, как влюбленный юноша дрожит и млеет, не смея сказать того, о чем он мечтает ночи, и испуганно

оглядывается, ища помощи или возможности отсрочки и бегства, когда наступила желанная минута и он стоит наедине перед нею, так и Ростов теперь, достигнув того, чего он желал больше всего на свете, не знал и не смел, как подступить к государю, и ему представлялись тысячи соображений, почему это было неудобно, неприлично и невозможно.

«Как! Я как будто рад случаю воспользоваться тем, что он один и в унынии. Ему неприятно и тяжело может быть показаться неизвестному лицу в эту минуту печали, и потом, что я могу сказать ему теперь, когда при одном виде его у меня замирает сердце и пересыхает во рту». Ростов забывал все те бесчисленные речи, которые он, с тех пор как получил страсть к государю, мысленно говорил ему в уединении ночей своей лагерной жизни. Но те речи большею частью держались совсем при других условиях, те говорились большею частью в минуты побед и торжеств и преимущественно на смертном одре от полученных ран, в то время как государь благодарил его за геройские поступки, и он, умирая, подтвержденную на деле, высказывал ему любовь свою. «Потом, что же я буду спрашивать государя об его приказаниях на правый фланг, тогда, как я так далеко заехал, что до ночи не успею вернуться. Нет, решительно, я не должен подъезжать к нему. Это может показаться предлогом назойливости. Лучше умереть тысячу раз, чем получить от него дурной взгляд, дурное мнение». И с грустью и с отчаянием почти в сердце Ростов поехал шагом и беспрестанно оглядываясь. Ростов не расчел того, что важнее всех его соображений было одно, которого он не сделал. Государь был измучен, болен, опечален и один. Ему просто нужна была помощь, хоть для того, чтобы перейти канаву, которую он не решался заставить перепрыгнуть свою лошадь, для того, чтобы просто послать отыскать свою коляску и своих адъютантов.

В то время как Ростов делал эти соображения и печально отъезжал от государя, лифляндский немец граф Толь, тот самый, который переводил диспозицию накануне сражения, случайно наехал на то же место, не делая никаких соображений, прямо подъехал к государю, предложил ему свои услуги, помог перейти пешком через канаву, перевел его лошадь, и когда государь устал и сел под яблочное дерево, остановился подле него. Ростов издалека с завистью и раскаянием видел, как Толь что-то долго и с жаром говорил государю, как государь, видимо, заплакав, закрыл глаза рукою, и пожал руку Толю. «И это я мог бы быть на его месте»,— подумал про себя Ростов и поскакал дальше в совершенном отчаянии, сам не зная куда и зачем он ехал. [Но тут он увидал истинное страдание, устыдился себя, и весь строй мыслей его переменился. Как ⟨*1 нрзб*⟩ тени на стене, двигались перед ним фигуры. Он ехал туда, где слышалась стрельба, и к вечеру доехал к ⟨*1 нрзб*⟩ прудам, в которых погибла большая часть русского войска под Аустерлицом.] Его отчаяние было тем больше, что он чувствовал, его собственная слабость была причиной его горя. Он мог бы, не только мог бы, но он должен был подъехать к государю. И это был единственный случай показать государю свою преданность. И он этим не воспользовался... «Что я наделал!» — подумал он. И, повернув лошадь, поскакал назад к тому месту, где видал императора. Но никого уже тут не было. Только [шли] ехали повозки и экипажи. От одного форейтора он узнал, что Кутузовский штаб находится неподалеку в деревне, куда шли обозы. Ростов поехал за ними. Впереди его шел берейтор, ведя лошадей. За берейтором ехала повозка, и за повозкой шел старик, вероятно, повар, с кривыми ногами.

— Тит, а Тит,— говорил берейтор.

— Что,— рассеянно отвечал повар.

— Ступай молотить.

— Э, дурак. Тьфу!

Проходило еще несколько времени молчаливого движения и повторялась опять та же шутка.

‹XVI›

В пятом часу вечера сражение было проиграно на всех пунктах. Пржебышевский со своим корпусом уже положил оружие. Пермский полк, окруженный со всех сторон неприятелем, потеряв убитыми, ранеными и пленными 5 штаб- и 39 обер-офицеров, 1684 нижних чинов и лишась 6 орудий, был совершенно уничтожен. Остатки войска Ланжерона и Дохтурова, смешавшись, теснились около прудов на плотинах и берегах у Аугеста. В 6-м часу, однако, на этом пункте только еще слышалась жаркая канонада, почти одних французов, выстроивших многочисленные батареи на спуске Праценских высот и с одной целью нанесения большего вреда бивших без промахов по сплошной массе столпившихся у прудов русских — больше чем на пространстве четырех квадратных верст. Русские отвечали мало: большая часть их орудий спешила вперед, увязая на плотинах и проваливаясь на слабом льду. В ариергарде Дохтуров, собирая баталион, отстреливался и выдерживал атаки французской кавалерии настолько твердо и успешно, что атаки эти скоро прекратились, тем более, что день клонился к вечеру, начинало смеркаться и что больше и полнее нельзя было выиграть сражения. Весь ужас дня был ни на Праценских высотах, усеянных недобранными ранеными и убитыми, ни в колонне Пшжебышевского, где со слезами злобы на глазах, окруженные своими мертвыми и ранеными, складывали оружие по приказанию француза, ни в сердцах людей, которые не насчитывались более половины своих товарищей, даже ни в душе государя, который униженный, мучимый раскаянием и состраданием, физически больной, один с своим берейтором, остановившись без помощи, с внутренним жаром в теле и с непокидающим его впечатлением смерти и страдания не в силах ехать далее останавливался в селении Уржиц и ложился в крестьянской избе на соломе, тщетно ожидая физической помощи своим страданиям, хоть капли вина, которой не могли достать для него и в которой было отказано ему от придворных императора Франца, находившегося в таком же положении. Не тут был весь ужас дня. Весь ужас дня выказался на узкой плотине Аугеста, на которой столько лет мирно сиживал в колпаке старичок немец, удя рыбу с своим внуком, который, засучив рукава рубашки, перебирал в лейке серебряную трепещущую рыбку,— на той плотине, по которой столько лет мирно подъезжали на своих парных возах, нагруженных пшеницей, в мохнатых шапках и синих куртках моравы и запыленные мукой, с белыми возами уезжали по той же плотине, до такой степени загороженной теперь пушками и солдатами, что не было места у колеса, под стянутой под брюхом лошади, где бы ни пролезал солдат и не было ни одного лица, на котором не отпечатовалось бы унизительное забвение всех человеческих чувств и законов и сознание одного чувства эгоистического самосохранения. На этой плотине [Ростов видел] [Только что он выехал на нее] происходило ужасное. Позади у въезда на плотину послышался голос офицера, так решительно и повелительно кричавшего, что все ближайшие невольно обратили на него внимание. Офицер стоял на льду озера и кричал, чтобы орудия и солдаты шли на лед, что лед держит.

— И сами завязните и других и себя погубите,— кричал он, ступая по льду. Лед действительно держал его.

В эту же минуту [он заметил того самого генерала, который представил под Браунау] [он заметил того самого генерала, который спорил с его командиром под Шенграбеном] тот самый генерал, который представил под Браунау, стоявший верхом у въезда, поднял руку и раскрыл рот, как вдруг одно из ядер так низко засвистело над толпой, что все нагнулись [и багро], что-то шлепнулось, и генерал охнул и упал в лужу крови. [Толпа несла Ростова по плотине мимо самого убитого генерала] Никто не взглянул на генерала, не только не подумал поднять его.

— Пошел на лед! Пошел по льду! Пошел! Вороти! Аль не слышишь! Пошел!

Вдруг, после ядра, попавшего в генерала, послышались бесчисленные голоса, как это всегда бывает в толпе, сами не зная что и зачем кричавшие. Одно из задних орудий, вступавшее на плотину, своротило на лед, толпы солдат мгновенно с плотины рассыпались по льду. Под одним из передних солдат треснул лед и одна нога ушла в воду, он хотел оправиться и провалился по пояс, ближайшие солдаты замялись, орудийный ездовой остановил свою лошадь, но сзади все еще слышались крики: «Пошел на лед, что стал, пошел!» Солдаты, окружавшие орудие, махали на лошадей и били их, чтобы они подвигались. Лошади тронулись. Лед рухнулся огромным куском, и все бросились вперед и назад, потопляя один другого с отчаянными криками, которых никто не мог слышать.

— Братцы! Голубчики! Отцы родные! — кричал, отплевываясь, пехотный старичок офицер [с багровым] [с прыщами покрытым] с повязанной щекой, провалившийся с головой и вынырнувший на поверхность, он ухватился за край льда, опираясь на него локтями и подбородком, вот-вот надеясь выбраться, но тут на офицера набежал солдат, наступил ему на плечи, потом его волочил и сам провалился. И потом набежали другие солдаты, проваливались и, стараясь выбраться, безжалостно топили один другого. А сзади всё слышались выстрелы, слышанные целый день, и по озеру и над озером пролетали ядра, увеличивая смятение и ужас.

⟨XVII⟩

На Праценской Горе, на том самом месте, где он упал с знаменем в руках, лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью, и, сам не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном[1]. Мимо самого его прозвучало что-то. Он открыл глаза, сам не ожидая в себе этой силы, услыхал свой стон и прекратил его. Перед его глазами были [серые] ноги серой лошади. Он с усилием взглянул выше и увидал над собою человека в треугольной шляпе и сером сюртуке с счастливым, но вместе с тем безучастным лицом. Человек этот внимательно смотрел вперед. Князь Андрей стал смотреть туда же и увидал Аугестские пруды и ⟨дальше?⟩ картину движения русских по плотинам и льду, которая представлялась с горы красивой движущейся панорамой. Человек этот был Бонапарт. Он отдал приказание артиллеристам и поглядел вниз направо. Князь Андрей следил за направлением его взгляда. Бонапарт смотрел на убитого русского солдата, он смотрел внимательно просто на это тело с тем же безучастным выражением, с которым он смотрел на живых, ему как будто бы нужно было что-то спросить у этого мертвеца, но он ничего не сказал, но внимательно осмотрел его и даже подвинулся к нему. У русского солдата не было головы, только красные волокна мяса тянулись из шеи, и засохшая трава была вся улита кровью, рука этого солдата с странным спокойным жестом согнутыми пальцами спокойно держалась за пуговицу шинели. Наполеон спокойно отвернулся опять к полю сражения.

— Прекрасная смерть, красивый мужчина, — сказал он, глядя на плотину Аугеста и опять поворотившись к трупу[2]. — Скажите, чтобы 20 батарейная стреляла одними ядрами. — Один из адъютантов поскакал исполнять приказание. Наполеон обернулся налево и, заметив лежавший с сброшенным подле него древком знамени князя Андрея[3]. Знамя уже поднял и снес как трофей какой-то французский солдат.

— Вот молодой человек, который хорошо умер, — сказал Наполеон, и, всё не забывая вместе с тем, он тут же отдал приказание передать Лану, чтобы он подвинул к ручью дивизию Фриана.

---

[1] На полях: *Болконский лежит и слышит, что этого* (1 нрзб).
[2] На полях: *Князь Андрей не слышит и оживает на перевязочном пункте.*
[3] Так в автографе.

Болконский слышал всё, что говорил Наполеон, стоя над ним, он слышал похвалу, отданную ему Наполеоном, но он был так же мало взволнован ею, как ежели бы муха прожужжала над ним; ему жгло грудь, он чувствовал, что исходит кровью, и он видел над собою далекое, высокое и вечное небо. (Он думал в эту минуту с такою ясностью и правдой о всей своей жизни, с которой он не думал со времени своей женитьбы.) Он знал, что это был Наполеон — его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь ничтожным человеком, в сравнении с тем, что происходило теперь между им, его душой, и этим высоким бесконечным небом с быстро бегущими по нем облаками. Ему было совершенно все равно в эту минуту, кто бы ни стоял над ним, что бы ни говорили об нем,— он рад был тому, что остановились над ним и желал только одного, чтобы эти люди помогли ему и возвратили бы его к жизни, которую он так иначе понимал теперь, которую он так сильно любил теперь и так иначе намерен был употребить, ежели ему будет дана судьбой эта возможность; он собрал последние силы, чтобы пошевелиться, и сделал слабое движение ногой, которое невольно вырвало у него стон от боли.

— Поднять этого молодого человека и свести на перевязочный пункт,— и Наполеон отъехал дальше навстречу к маршалу Лану, который, поздравляя с победой, подъезжал к Буонапарте.

Князь Андрей не помнил ничего дальше, он потерял сознание от страшной боли, которую причинило ему укладывание на носилки, толчки во время движения и сондирование раны на перевязочном пункте. Он очнулся уже потом, в конце дня, когда его, соединив с другими русскими ранеными и пленными офицерами, понесли в госпиталь. Первые слова, которые он услыхал, когда очнулся,— были слова французского конвойного офицера, который поспешно говорил:

— Надо здесь остановиться, он сейчас проедет, ему доставит удовольствие видеть этих пленных господ.

— Нынче так много пленных, чуть не вся русская армия, что ему, вероятно, это наскучило,— сказал другой офицер[4].

— Ну, однако! Этот, говорят, командир всей гвардии императора Александра,— сказал первый, указывая на русского офицера в белом кавалергардском мундире, которого Болконский тотчас же узнал за князя Репнина. Он его встречал в петербургском свете. Рядом с ним стоял другой юноша, кавалергардский офицер. Оба были ранены и оба, видимо, старались иметь достойный и печальный вид. «Точно не всё равно»,— подумал князь Андрей, взглянув на них. В это время подъехал верхом Буонапарте. Он, улыбаясь, говорил что-то ехавшему подле него генералу.

— А,— сказал он, увидав пленных.— Кто старший?

Назвали полковника — князя Репнина.

— Вы командир кавалергардского полка императора Александра? — спросил у него Наполеон.

— Я командовал эскадроном,— отвечал князь Репнин.

— Ваш полк честно исполнил долг свой,— сказал Наполеон.

— Похвала великого полководца есть лучшая награда солдату,— было ему отвечено.

— С удовольствием отдаю ее вам,— возразил Наполеон и спросил: — Кто этот молодой человек подле вас?

Князь Репнин назвал поручика Сухтелена, едва выходившего из юношеских лет.

Посмотрев на него, Наполеон сказал, улыбаясь: — Он слишком молодым вздумал помериться с нами.

— Молодость не мешает быть храбрым,— смело и выразительно отвечал Сухтелен.

---

[4] На полях: *Князь Андрей слышит, что сражение проиграно везде. Он думает: «Я всё сделал, что от меня зависело, и всё-таки ничего. Но в плену, 〈а судили?〉 лучше, чем в России.*

— Прекрасный ответ,— сказал Наполеон.— Молодой человек, вы далеко пойдете.

Князь Андрей, для полноты трофея пленников выставленный также вперед на глаза императору, не мог не обратить его внимания. Наполеон, видимо, узнал его, и, обращаясь к нему, он, употребив то наименование молодого человека, под которым он в первый раз отразился в его памяти.

— Ну, а вы, молодой человек,— обратился он к нему,— как вы себя чувствуете, мой храбрый?[5]

Несмотря на то, что за пять минут перед этим, князь Андрей, хотя и через силу, мог сказать несколько слов, он теперь, прямо устремив свои глаза на Наполеона, молчал. Он думал опять о том высоком небе, которое он видел, когда упал. Ему так ничтожно казалось всё настоящее в эту минуту. Так глупы казались все эти напыщенные, неестественные разговоры Репнина и Сухтелена, так мелок и ничтожен казался ему сам герой его, теперь видимый вблизи и потерявший эту ореолу таинственности, неизвестности, так ничтожен казался он ему с этим мелким тщеславием в сравнении с тем высоким небом. Да и всё казалось бесполезно и ничтожно в сравнении с тем строгим и величественным строем мысли, который вызывали в нем ослабление сил от истекшей крови, пережитое страдание и близкое ожидание смерти. Он думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих. Об этом думал князь Андрей, молча глядя в глаза Наполеона. Император, не дождавшись ответа, отвернулся и, отъезжая, обратился к одному из начальников.

— Пусть позаботятся об этих господах и сведут их в мой бивак, пускай мой доктор Ларей осмотрит их раны. До свидания, князь Репнин,— и он, тронув лошадь, галопом поехал дальше. На лице его было счастье и радость влюбленного 13-летнего мальчика.

Солдаты, принесшие князя Андрея и снявшие с него попавшийся им золотой образок, навешанный на брата княжною Марьею, увидав ласковость, с которой обращался император с пленными, поспешили возвратить образок. Князь Андрей не видал, кто и как надел на него, но на груди его вдруг очутился образок на той же мелкой золотой цепочке.

— Хорошо бы это было,— подумал князь Андрей, взглянув на этот образ, который с таким чувством и благоговением навесила на него сестра,— хорошо бы это было, ежели бы всё было так ясно и просто,— как оно кажется милой, бедной и доброй княжне Марье. Как хорошо было бы знать, где искать помощи в этой жизни, и знать, что нам верно объяснено ее значение, и находить помощь даже в смерти, твердо зная, что будет там, за гробом. Но для меня и теперь, когда я умираю, нет в этом ничего верного, кроме ничтожества всего мне понятного и величия чего-то, чего-то непонятного, но важнейшего.

Носилки тронулись. При каждом толчке он опять чувствовал невыносимую боль, лихорадочное состояние усиливалось, и он начинал бредить[6]. Те мечтания о тихой семейной жизни, об отце, жене, сестре и будущем сыне, то раскаяние в отношении жены и нежность, которую он испытывал в ночь накануне сражения, составляли главное основание его горячечных представлений. Тихая жизнь и спокойное семейное счастие в Лысых Горах манили его к себе, он уже достигал этого успокоения, когда вдруг являлся маленький Наполеон с своим холодным, покровительственным и счастливым несчастием других взглядом, жег в груди, мучая,

---

[5] На полях: *Князь Андрей очнулся. Он умирает в поражении. Он не так счастлив, как Бонапарт. Бонапарт — герой, но он ненавидит его. Искаженный злобой взгляд.*

[6] На полях: *Он умирает, а жена, сын, отец. Они дороги и милы ему. Личное только правда.*

тянул и лишал его, Болконского, всего того, что было успокоение и счастие.

Скоро все мечтания смешались и слились в массе, мраке беспамятства и забвения, которые гораздо вероятнее, по мнению самого Ларея, должно было[7] разрешиться смертью, чем выздоровлением.

— C'est un sujet nerveux et bilieux,— сказал Ларей,— il n'en réchappera pas[8].

〈XVIII〉

В начале 1806 года Nicolas Ростов вернулся в отпуск. Ночью он [подъехал] подъезжал на перекладных санях к освещенному еще дому на Поварской. В.[1] Денисов ехал тоже в отпуск и Nicolas уговорил его ехать с собой и остановиться в доме отца. В. Денисов спал в санях после перепою в последней ночи.

«Скоро ли? Скоро ли? О эти несносные улицы, лавки, калачи, фонари, извозчики»,— думал Nicolas, на санях подаваясь вперед, [и помогая] как бы помогая этим лошадям.— Денисов, приехали! — «Спит. Вот он угол, перекресток, где Захар извозчик стоит, вот он и Захар, и всё та же лошадь. Вот и лавочка, где пряники покупали. Скоро ли? Ну!»

— К какому дому? — спросил ямщик.

— Ну, да [наш дом] это наш дом. Да, к этому дому, к большому. Как ты не видишь? Это наш дом.

— Денисов! — Что? — Приехали.— Ну, хорошо.

— Дмитрий,— обратился он к лакею на козлах.— Это у нас огонь?

— У папеньки в кабинете. Еще не ложились.

— Смотри же не забудь, достань мне новую венгерку. Может, кто есть.— И Ростов пощупал усы. Они были целы.— Ну, всё хорошо. Ну, же пошел. И не думают, что мы приехали.

— То-то, ваше сиятельство, заплачут,— сказал Дмитрий.

— Да, ну три целковых на чай. Пошел.— Ну же, пошел! — кричал он ямщику.— Да проснись же, Вася,— обращался он к Денисову, который опять завалился.

— Да ну же, пошел, три целковых на чай, пошел!

Nicolas выскочил из саней, уже входил в грязные барские сени, а дом так же стоял неподвижно, нерадушно. Никто не знал, не встретил. Старик Михайла вот, в очках, сидит и вяжет из покромок лапти.

«Боже мой! Всё ли благополучно! Батюшки, не могу, задохнулся»,— подумал Nicolas, останавливаясь, чтобы перевести дух.— Михайла! Что ж ты!

— Батюшки, светы! — вскрикнул Михайла, узнав молодого барина.— Господи Иесусе Христе, что ж это? И Михайла задрожал от волнения, бросился в дверь, опять назад и припал к плечу Nicolas.

— Здоровы?

— Слава богу. Сейчас только поужинали.

— Поди проводи, там [товарищ].

На цыпочках побежал Nicolas в темную большую залу. Всё то же, те же ломберные столы, те же трещины на стенах, та же люстра [загаженная] грязная. Девка одна уже видела Nicolas и не успел добежать Nicolas до гостиной, как что-то стремительно, как буря вылетело из боковой двери и обняло его. Еще другое, третье. Еще поцелуи, еще слезы, еще крики.

— А я-то не знал... Коко! Друг мой Коля! Вот он... Наш-то... Как переменился! Свечи, чаю!

---

[7] Так в автографе.

[8] Это человек нервный и желчный, он не выздоровеет.

[1] Здесь и далее в автографе (Рукопись 103) Софья Андреевна, переписывая текст, раскрыла *В. Денисов* как Васька (прим. составителя).

— Со мной Денисов.
— Прекрасно.
— Да меня-то поцелуй.
— Душенька. Maman. Графинюшку приготовить.

Соня, Наташа, Петя, Анна Михайловна, Вера, старый граф обнимали его, и люди, и горничные, кричали и ахали. Петя повис на его ногах.— А меня-то.

Наташа, отскочив от него, после того как она, пригнув его к себе, расцеловав всё его лицо, держась за полу его венгерки, прыгала, как коза, на одном месте и визжала. Со всех сторон были блестящие слезами радости любящие глаза, со всех сторон были губы, искавшие поцелуя. Соня, красная, как кумач, тоже держалась за его руку и вся [казалось] сияла в блаженном взгляде, устремленном в его глаза. Но он через них всё еще ждал и искал кого-то. И вот послышались шаги в дверях. Шаги такие быстрые, что это не могли быть шаги его матери. Но это была она, в своем новом [платье], незнакомом, сшитом, верно, без него платье. Она побежала, падая, и упала [на него], рыдая, на грудь сына. Она не могла поднять лица и только прижимала его к холодным снуркам его венгерки.

[В это время заспанный Денисов был введен в залу.— Вот он! — закричали, обступая его.— Милости прошу любить и жаловать.— И те же счастливые восторженные лица обращались к нему и опять к Ростову. Денисов проснулся и смотрел на мать и сына.]

Денисов, который незамеченный стоял тут же, стал потирать себе глаза, которые должно быть отпотели от холода.

— Папенька, друг мой Денисов.
— Милости прошу. Знаю, знаю.

Те же счастливые, восторженные лица обратились на мохнатую, черноусую фигурку Денисова и окружили его. [Денисова отвели в приготовленную для сына комнату, а семейные пошли в графинин кабинет.]

— Голубчик Денисов! — взвизгнула Наташа, не переставшая ‹бесноваться?› — Славу богу! И как только обратили на него внимание, подскочила к Денисову, обняла и поцеловала его. Все [ужаснулись], даже сам Денисов, сконфузился поступку Наташи. Но Наташа была в таком восторге, что она только гораздо позже поняла неприличность своего поступка.

Денисова отвели в приготовленную для него комнату, а Ростовы долго не спали. Они сидели, столпившись вокруг него, не спуская с него восторженно-влюбленных глаз, ловили каждое его слово, движение, взгляд. Старая графиня не выпускала его руку и всякую минуту целовала ее. Остальные спорили и перехватывали места друг у друга поближе к нему и дрались за то, кому принести ему чай, платок, трубку и...

На другое утро приезжие [спали] с дороги, спали до 10-го часа. В комнате их было душно, нечисто, в предшествующей комнате валялись сабли, сумки, ташки, раскрытые чемоданы, грязные сапоги. Вычищенные две пары с шпорами только что поставлены у стенки. Слуги приносили умывальники, горячую воду и вычищенные платья. Пахло табаком и мужчинами.

— Эй, Гришка, т'убку! — крикнул хриплый голос В. Денисова. Ростов, вставай!

Nicolas, протирая слипавшиеся глаза, поднял спутанную голову с жаркой подушки.

— А что, поздно? — И в то же время он услыхал в соседней комнате [шёпот] шуршанье свежих платьев, шёпот девичьих, свежих голосов, и в чуть растворенную дверь ему мелькнуло что-то розовое, ленты, черные волоса, белые лица и плечи. Это были Наташа с Соней, которые пришли наведаться, не встал ли Ростов.

— Вставай, Коко! — послышался голос Наташи.

— Полно, что ты,— шептала Соня.

— Это твоя сабля? — кричал Петя.— Я взойду, и он отворил дверь.

Девочки отскочили. Денисов с испуганными глазами спрятал свои мохнатые ноги в одеяло, за помощью оглядываясь на товарища. Дверь опять затворилась, и опять у нее послышались шаги и лепетанье.

— Коко, иди, выходи в халате сюда,— кричала Наташа.

Ростов вышел.— А вы свеженькие, умытые, нарядные какие,— сказал он.

— Моя, моя,— отвечал он Пете, пристававшему с вопросом о сабле.

Когда Nicolas вышел, Соня убежала, а Наташа, схватив его за руку, повела в соседнюю комнату. [Слушай, что я тебе скажу, как, пожалуйста]

— Это Соня убежала? — спросил Nicolas.

— Да, она такая смешная. Ты ей рад?

— Да, разумеется.

— Нет, очень рад?

— Очень рад.

— Нет, ты мне скажи. Ну поди сюда, садись.

Она усадила его и села подле него, [как будто ей что-то очень нужно было с ним говорить, но она ничего не сказала ему, а только делала самые странные вопросы] разглядывая его со всех сторон и смеялась [всему] при всяком слове, видимо, не в силах спокойно удерживать своей радости.

— Ах как хорошо,— говорила она.— Отлично. Послушай.

— Отчего ты меня спрашиваешь, рад ли я Соне,— спросил Nicolas, [улыбаясь] чувствуя, как под влиянием этих жарких лучей любви в первый раз через $1^1/_2$ года в душе его [распускалось] и на лице распускалась та детская и чистая улыбка, которой он ни разу не улыбался, с тех пор как выехал из дома. Наташа не отвечала на его вопрос.

— Нет, послушай,— сказала она,— ты теперь ведь совсем мужчина? — сказала она.— Я ужасно рада, что ты мой брат. И все вы такие.— Она тронула его усы.— Мне хочется знать, какие вы. Такие ли, как мы?

— Отчего ты спрашивала...

— Да. Это целая история! Как ты будешь говорить с Соней? — ты или вы?

— Как случится,— сказал Nicolas.

— Говори ей «вы», пожалуйста, я тебе после скажу.

— Да что же?

— Ну, я теперь скажу. Ты знаешь, что Соня мой друг. Такой друг, что я руку сожгу за нее. Вот посмотри.— Она засучила свой кисейный рукав и показала на своей длинной, костлявой и нежной ручке под плечом, гораздо выше локтя (в том месте, которое закрыто бывает и бальным платьем), она показала красную метину.— Это я сожгла, чтоб показать ей любовь. Просто линейку разожгла на огне да и прижала.

Сидя в своей прежней бывшей классной комнате, на диване с подушечками на ручках, и глядя в эти отчаянно-оживленные глаза Наташи, Nicolas опять вошел [в эти интересы] в тот свой семейный, детский мирок и [понял ясно] сожжение руки линейкой для показания любви показалось ему не бессмыслицей, он понимал и не удивился этому.

— Так что же? — только спросил он.

— Мы, так дружны, так дружны! Это что, глупости — линейкой; но мы навсегда друзья, и я знаю, ежели она будет несчастлива, и я тоже, и я несчастлива. Она кого полюбит, так навсегда; а я этого не понимаю. Я забуду сейчас.

— Ну, так что же?

— Да, так она любит меня и тебя.— Наташа улыбнулась своей нежной, ласковой, освещающей улыбкой. [Но она не хочет, чтобы ты что-нибудь думал] Ну, ты помнишь, перед отъездом... Так она говорит, что

ты это всё забудь[2]. Она сказала: «я буду любить его всегда, а он пускай будет свободен». [Соня боится, что тебе с нею неловко будет, помнишь, оттого, что чтó у вас было, как ты уезжал. Но это ничего.] Ведь, правда, что это, это отлично, отлично, благородно,— закричала Наташа.

— Я не беру назад своего слова,— сказал Николя.

— Нет, нет,— закричала Наташа.— Мы про это уже с ней говорили. Мы знали, что ты это скажешь. Но это нельзя, потому что, понимаешь, ежели ты отказываешься, то выходит, что она как будто нарочно это сказала. Выходит, что ты все-таки насильно на ней женишься, и выходит совсем не то.

Nicolas находился в нерешительности, что всё это было хорошо придумано ими, что отвечать своей маленькой сестре.— Я все-таки не могу отказаться от своего слова,— сказал он, но тон, которым он сказал эти слова, показывал, что он давно уже отказался от него.— Ах, как я тебе рад,— сказал он.— Ну, а что же ты Борису не изменила? — спросил Nicolas.

Разногласие двух друзей детства, так очевидно выразившееся в свидании во время похода, покровительственный, поучающий тон, который принимал Борис с своим приятелем, и немного, может быть, то, что Борис, только один раз бывши в деле, получил наград больше, чем Ростов, и обогнал его по службе, делали то, что Ростов, не признаваясь в том, не любил Бориса тем с большей силой, чем больше прежде он с ним был дружен. Кроме того, ежели Наташа разойдется с Борисом, это будет для него как бы оправданием в изменении его в отношениях с Соней, которые тяготили его тем, что это было обещание и стеснение свободы. Он, улыбаясь, как бы шутя, но внимательно следил за выражением лица сестры в то время, как сделал ей этот вопрос. Но Наташе в жизни ничего не казалось запутанным и трудным, особенно из того, что касалось ее лично. Она, не замешавшись, весело отвечала:

— Борис другое дело,— сказала она,— он твердый, но все-таки про него я скажу, что это было детское. И он может еще влюбиться, и я — она помолчала,— и я могу еще по-настоящему влюбиться. Да и влюблена.

— Да ты в Fezzoni была влюблена?

— Нет, вот глупости. Мне пятнадцатый год, уж бабушка в мою пору замуж вышла. А что Денисов хороший? — сказала она вдруг.

— Хороший.

— Ну, и прощай, одевайся. А какой страшный твой друг!

— Васька? — спросил Nicolas, желая показать свою интимность с Денисовым.

— Да. Что он хорош?

— Очень хорош.

— Ну приходи поскорее чай пить. Все вместе.

Встретившись в гостиной [опять] с Соней, Nicolas покраснел. Он не знал, как обойтись с ней. Вчера они поцеловались, но нынче [он поцеловал ее] они чувствовали, что нельзя было этого сделать, и он чувствовал, что все, и мать, и сестры, смотрели на него вопросительно и от него ожидали, как он поведет себя с нею. Он поцеловал ее руку и сказал ей «вы». Но глаза их любовно [<спокойно?>] и без тревоги и с счастьем и благодарностью высказались друг другу. Она просила своим взглядом у него прощенья за то, что в посольстве Наташи она смела напомнить ему о его обещании, и благодарила его за его любовь. Он своим взглядом благодарил ее за предложение свободы и говорил, что так ли иначе он не перестанет любить ее, потому что нельзя не любить ее. Денисов, к удивлению Ростова, в дамском обществе был оживлен, весел и любезен, каким он никак не ожидал его. Старый гусар обворожил всех в доме и особенно Наташу, [которую он звал волшебницей] которой он восхи-

---

[2] На полях: *Nicolas в увлечениях света. Покорный сын. Раскрыты возможности всего и оттого неловко с Соней.*

щался при всех, звал ее волшебницей и говорил, что его гусарское сердце ранено ею сильнее, чем под Аустерлицом. Наташа прыгала, [пела] задирала его и пела ему удивительные романсы, до которых он был большой охотник. Он писал ей стихи и забавлял весь дом и особенно Наташу своими шуточно-влюбленными отношениями, которые в душе его, может быть, не были совсем шуточными, к веселой 14-летней девочке. [Наташа была] [всё то же; но мать ее замечала, ужасалась] Наташа сияла счастьем, и видно было, как осязательно похвала и лесть возбуждали ее и делали ее более и более [обворожительной] привлекательной.

Вернувшись в Москву из армии, Nicolas Ростов[3] был принят домашними — как лучший сын, герой и ненаглядный Коко; родными — как милый, и приятный, и почтительный молодой человек; знакомыми — как красивый гусарский поручик, милый певец, прекрасный танцор и один из лучших женихов Москвы. Знакомство у Ростовых была вся Москва, денег в нынешний год у старого графа было достаточно, потому что продан лес и перезаложено имение, и потому Nicolas, заведя своего собственного рысака и самые модные рейтузы, сапоги и серебром обшитый новый ментик, который более всего занимал его, вернувшись домой, испытал приятное чувство, после некоторого промежутка времени примеривания себя к старым условиям жизни. Ему казалось, что он очень возмужал и вырос. Он с презрением вспоминал о венчании куклы с Борисом, о тайных поцелуях с Соней. Теперь он готовил рысака на бег. Носки у его сапог острые, такие, какие только у 3-х военных были в Москве. У него была знакомая дама на бульваре, куда он ездил поздно вечером. Он дирижировал мазурку на бале Архаровых, разговаривал о войне с фельдмаршалом Каменским, был на «ты» с старыми московскими кутилами. Он занят был бóльшую часть времени своим рысаком и модной попоной, сапогами и перчатками по новой моде и новыми, всё новыми знакомствами с людьми, которые все были рады с ним знакомиться. Страсть его к государю теперь ослабела, так как он не видал и не имел случая видеть государя. Но воспоминание об этой страсти и о впечатлении Вишау и Аустерлица было одно из самых сильных, и он часто рассказывал о государе, о своей любви к нему, давая чувствовать, что он еще не всё рассказывает, что что-то еще есть в его чувстве к государю, которое не может быть всем понятно. Впрочем, в то время столь многие разделяли чувство Ростова, что он не мог забыть его и наименование данное в Москве Александру I — «Ангел во плоти» — часто повторялось им.

Обыкновенное впечатление его за это время пребывания в Москве было ощущение узкости лаковых новеньких гусарских сапог на ногах, новых замшевых перчаток на вымытых руках, запаха от фиксатуара на выроставших усах или впечатление поспешности и впечатление ожидания [какой] чего-то очень веселого, и неосуществленного этого ожидания, и новые ожидания. Часто, когда он оставался дома, ему думалось, что грешно ему со всеми его прелестями так терять время, не давая никому ими пользоваться, и он всё торопился куда-нибудь ехать. Когда же он пропускал обед, вечер или холостую пирушку, ему казалось, что там-то, где он должен был быть, и случится то особенно счастливое событие, которого он как будто бы ожидал. Он много танцовал, много пил, много писал стишков в альбомах дамам и каждый вечер спрашивал себя, не влюблен ли он в ту или в эту, но нет, он не был влюблен ни в кого, еще меньше в Соню, которую он просто любил. И оттого не был влюблен, что был влюблен в самого себя.

---

[3] На полях: *Он занят упряжью, одеждой по моде. Соня преданная приживалка.*

‹XIX›

[3-го марта] [Через 3 дня] На другой день, 3-го марта, во 2-м часу пополудни 250 человек членов Аглицкого клуба и 50 человек гостей ожидали к обеду дорогого гостя и героя австрийского похода, князя Багратиона. В первое время получения известия об Аустерлице Москва приуныла, но в то время русские так привыкли к победам, что не могли верить тем страшным известиям, которые приходили из армии, и искали объяснений в каких-нибудь необыкновенных условиях, произведших это странное событие[1]. В Аглицком клубе, где собиралось всё, что было знатного, имеющего верные сведения и вес, в декабре месяце, [невидны] в первое время получения известий, ничего не слышно было. Люди, дававшие мнения, как то: граф Ростопчин, князь Юрий Владимирович Долгоруков, Валуев, Марков, Вяземский, не показывались в клубе, а собирались по домам, в своих кружках, очевидно, обсуживая полученные известия, и москвичи, говорившие с чужих голосов, к которым принадлежал и граф Илья Андреич Ростов, оставались на короткое время без определенного суждения о деле войны. Они друг перед другом отмалчивались, отшучивались или робко высказывали слухи. Но через несколько времени, как присяжные выходят из совещательной комнаты, появились опять тузы, дававшие мнение в клубе, и опять всё заговорило ясно и определенно. Были найдены причины тому неимоверному, неслыханному и невозможному событию, что русские были побиты, и причины эти разбирались, придумывались и дополнялись во всех углах Москвы. Причины эти были: измена австрийцев, дурное продовольствие, измена поляка Пржебышевского и француза Ланжерона, неспособность Кутузова и, потихоньку говорили, молодость и неопытность государя, вверившегося дурным и ничтожным людям; но войска были необыкновенны и делали чудеса храбрости[2]. Солдаты, офицеры и генералы — были герои. Но героем из героев был князь Багратион, прославившийся своим Шенграбенским делом и отступлением от Аустерлица, где он один не был разбит. Тому, что Багратион был выбран героем в Москве, содействовало и то, что он не имел связей в Москве, был чужой. В лице его отдавалась должная честь боевому, простому, без связей и интриг, русскому солдату, еще связанному воспоминаниями итальянского похода с именем Суворова, и в воздаянии ему таких почестей лучше всего показывалось [Кутузову желание] нерасположение и неодобрение Кутузову.

— Ежели бы не было Багратиона, il faudrait l'inventer[3]. Про Кутузова никто не говорил, и некоторые шёпотом бранили старым, придворным вертушкой и сатиром. По всей Москве повторялись слова Долгорукова «лепя, лепя, и облепишься», утешавшегося в нашем поражении воспоминанием прежних побед, и слова Растопчина, что французских солдат надо возбуждать к сражению высокопарными фразами, что с немцами надо логически рассуждать, убеждая их, что опаснее бежать, но что русских солдат надо только удерживать и просить: потише. Со всех сторон слышны были новые и новые рассказы об отдельных примерах мужества наших солдат и офицеров,— тот спас знамя, тот убил 5 французов, тот один заряжал 5 пушек. Говорили и про Берга те, которые не знали его, что он, раненный в правую руку, взял шпагу в левую и пошел вперед. Про Болконского ничего не говорили, и только близко знавшие его жалели, что он рано умер, оставив беременную жену и чудака-отца.

~~3-го~~ марта во 2-м часу во всех комнатах клуба стоял стон разговаривавших голосов и, как пчелы на весеннем пролете, сновали взад-вперед,

[1] На полях: *Несвицкий сидел в клубе и был дома. Лучше бы ему и не ходить. Он старшина. Никто не спрашивал его о геройстве. Все знали, что это не по его части.*

[2] На полях: *Граф Растопчин с патриотическими сочинениями. Карамзин.*

[3] надо было бы выдумать его

сидели, стояли, сходились и расходились в мундирах, фраках и еще кое-кто в пудре и кафтанах члены и гости клуба. Пудренные, в чулках и башмаках, ливрейные лакеи стояли у каждой двери и напряженно старались уловить каждое движение особенно важнейших членов. Большинство были старые почтенные люди с широкими самоуверенными лицами и твердыми движениями. По уголкам особо виднелась и молодежь, офицеры — красивый тонкий гусар Ростов с Денисовым. Они разговаривали с новым знакомцем Долоховым, которым были возвращены семеновские эполеты. На лицах молодежи, особенно военной, было выражение того чувства презрительной почтительности к старикам, которое говорило, что все-таки за ними будущность. Несвицкий был тут же, как старый член клуба, и Pierre был тут же, потолстевший в теле и осунувшийся в лице, и с усталым, почти несчастным, равнодушным взглядом стоял прямо посереди комнаты и, видимо, забыв отойти куда-нибудь к стороне. Около него, как и везде, окружала его атмосфера людей, преклонявшихся перед ним и его богатством, и он с привычкой царствования презрительно обращался с ними. По годам он должен бы был быть молодым, но по богатству, вероятно, он более обращался в кругу старых. Старики из самых значительных составляли центр кружков, к которым почтительно приближались даже незнакомые, чтобы послушать. Большие кружки составились около графа Растопчина и Нарышкина. Растопчин рассказывал про то, как русские были смяты бежавшими австрийцами и должны были штыками прокладывать себе дорогу сквозь беглецов.

— Да вот он,— он обратился к Долохову и подманил его к себе. Долохов подтвердил слова Растопчина.

В другом месте конфиденциально рассказывалось, что Уваров был прислан из Петербурга для того, чтобы узнать мнение москвичей об Аустерлице. В третьем Нарышкин рассказывал про заседание австрийского совета военного, в котором Суворов закричал петухом в ответ на глупости австрийских генералов. Шиншин, стоявший тут же, хотел пошутить, сказав, что Кутузов, видно, и этому нетрудному искусству — кричать по-петушиному — не мог выучиться у Суворова, но старички строго поглядели на шутника, давая ему тем чувствовать, что здесь — и в нынешний день, и так — неприлично было говорить про Кутузова.

Граф Илья Андреич Ростов иноходью озабоченно, торопливо похаживал в своих мягких сапожках из столовой в гостиную, поспешно и совершенно одинаково здоровываясь с важными и неважными, которых он всех знал, но всё не забывал радостно взглянуть на своего стройного молодца сына. Он подошел к Долохову, пожал ему руку и, вспомнив о медведе, расхохотался.

— К себе милости прошу, вот ты с моим молодцом знаком... вместе, там вместе геройствовали... А! Василий Игнатьич...

В это время лакей с испуганным лицом бросился к графу.

— Пожаловали!

Раздались звонки; старшины бросились вперед; разбросанные в разных комнатах гости, как встряхнутая рожь на лопате, столпились в одну кучу в большой гостиной к дверям залы[4].

Впереди всех шел Багратион без шляпы и шпаги, по клубному обычаю, и не в смушковом картузе, с нагайкой через плечо, как привык его видеть Nicolas Ростов, а в новом узком мундире с георгиевской звездой, подстриженный на висках (видимо, недавно, что изменяло невыгодно его физиогномию), припомаженный и неловкий, как будто ему привычнее было ходить по вспаханному полю (как он шел перед Курским

---

[4] На полях: *Ростов с Долоховым. Пьер морщится, рассеян, думает о стратегии. Долохов, друг Nicolas, обыгрывает его.*

— 329 —

Ровно въ два часа пополудни, обыкновенное время обѣдовъ въ клубѣ, пріѣхали: князь Багратіонъ, градоначальникъ и генерал-адъютантъ Уваровъ, и вмѣстѣ вошли въ большую гостиную. Члены клуба, жадничая видѣть ближе героя, такъ столпились вокругъ его и въ дверяхъ, что старшины, предшествовавшіе ему и градоначальнику по обязанности, въ качествѣ хозяевъ, насилу могли проложить имъ дорогу. Князь Багратіонъ имѣетъ физіономію чисто-грузинскую: большой съ горбиною носъ, брови дугою, глаза очень-умные и быстрые, но въ тѣлодвиженіяхъ онъ показался мнѣ неоченьловкимъ.

Лишь только отворили двери въ столовую, оркестръ заигралъ тотъ же вѣчный польскій, которымъ всегда начинаются танцы въ благородномъ собраніи: *Громъ побѣды раздавайся!* а старшины поднесли князю на серебряномъ подносѣ привѣтные стихи и тотчасъ же потомъ начали раздавать, или, вѣрнѣе, совать ихъ въ руки прочимъ присутствующимъ. Мнѣ досталось три экземпляра этого высокопарнаго произведенія Николева, въ которомъ разумѣется, не обошлось безъ Тита, Цезаря, Алкида и прочихъ нехристей. Вотъ послѣдніе стихи:

Славь тако Александра вѣкъ
И охраняй намъ Тита на престолѣ,

— 330 —

Будь купно страшный вождь и добрый человѣкъ,
Рифей въ отечествѣ, а Цесарь въ бранномъ полѣ;
Да счастливый Наполеонъ,
Познавъ чрезъ опыты каковъ Багратіонъ,
Не смѣетъ утруждать Алкидовъ россиихъ болѣ.

За обѣдомъ князь сидѣлъ между двумя Александрами: А. А. Беклешовымъ и А. Л. Нарышкинымъ, а противъ нихъ двое старшинъ, для угощенія. За Нарышкинымъ особенно ухаживали князья Циціановъ и Грузинскій и В. А. Всеволожскій, подчивая его то тѣмъ, то другимъ, и надобно отдать ему справедливость, что онъ не обижалъ ихъ отказомъ. Съ Уваровымъ не разставался красавецъ генералъ князь Андрей Ивановичъ Горчаковъ, племянникъ Суворова, командующій здѣсь какимъ-то полкомъ (чуть-ли не нашенбургскимъ).

Съ третьяго блюда начались тосты, и когда дежурный старшина, бригадиръ графъ Толстой, вставъ, провозгласилъ: «Здоровье государя императора!» всѣ, начиная съ градоначальника, встали съ мѣстъ своихъ и собраніе разразилось такимъ громогласнымъ «ура», что, кажется, встрепенулся бы и мертвый, еслибъ въ толпѣ этихъ людей, одушевленныхъ такою живою любовью къ государю и отечеству, могъ находиться мертвецъ. За симъ послѣдовалъ тостъ въ честь князя Багратіона, и такое же громкое «ура» трижды опять огласило залу. Но, вмѣстѣ съ этимъ

С. П. ЖИХАРЕВ. ЗАПИСКИ СОВРЕМЕННИКА, ЧАСТЬ I. ДНЕВНИК СТУДЕНТА. СПб., 1859

Тексты из книги использовались Толстым в романе

полком в Шенграбене), чем по паркету. На лице его было что-то наивно-праздничное, дававшее в соединении с его твердой мужественной физиогномией даже несколько комическое выражение его лицу. Беклешов и граф Алексей Уваров шли сзади его и, как гостя, учтиво пропускали его вперед. Багратион смешался, не желая воспользоваться их учтивостью, и наконец прошел. Старшины встретили его, сказав несколько слов о радушии московском, о дорогом госте и т. п. и как бы завладев им, успокоившись, повернулись и повели в гостиную. Но в дверях не было возможности пройти от столпившихся, давивших друг друга и через плечи рассматривавших героя, как редкого зверя. Граф Илья Андреич, энергичнее всех смеясь и приговаривая: «mon cher», протолкал толпу и провел гостей. Их посадили, обступили тузы. Граф Илья Андреич протолкался, обегая опять через толпу, и с другим старшиной через минуту явился, неся большое серебряное блюдо, которое он поднес князю Багратиону. На блюде лежали стихи. Багратион, увидав блюдо, как бы прося спасенья и помощи, испуганно оглянулся, но, увидав, что его нет, взял блюдо решительно обеими руками и сердито, зло посмотрел на графа, как бы говоря: «Еще чего от меня хотите? Мучитель!» Кто-то услужливо вынул из рук Багратиона блюдо (а то он, казалось, намерен был держать его до вечера и так идти к столу) и обратил его внимание на стихи. «Ну и прочту»,— как будто сказал Багратион и стал читать с тем сосредоточенным и серьезным видом, с которым он читал полковые рапорты. Сам сочинитель Николев взял стихи и стал читать. Князь Багратион склонил голову и слушал, как слушают «Господи, помилуй» в церкви.

Славь тако Александра век
И охраняй нам Тита на престоле,
Будь купно страшный вождь и добрый человек,
Рифей в отечестве, а Цесарь в бранном поле.
Да, счастливый Наполеон,
Познав чрез опыты, каков Багратион,
Не смеет утруждать Алкидов русских боле...

Но Николев не докончил стихи, как громогласный дворецкий провозгласил: «Кушанье готово!» Дверь отворилась, загремел из столовой польский: «Гром победы раздавайся, веселися грозный Росс», и граф Илья Андреич сердито посмотрел на Николева, продолжавшего 〈читать〉. Все встали, доказывая, что обед важнее стихов, и опять Багратион впереди всех пошел к столу. На первом месте, между двух Александров — Беклешева и Нарышкина, что тоже имело значение по отношению к имени государя, посадили Багратиона: 300 человек разместились в столовой так же естественно, как вода разливается там больше, где глубже. Кто поважнее, поближе к чествуемому гостю.

Перед обедом граф Илья Андреич представил князю своего сына, который, он твердо был уверен, был более герой, чем князь Багратион, и Багратион, узнав его, сказал несколько неловких слов, как и все, которые он говорил в этот день. Граф Илья Андреич, сияя, оглядывался, уверенный, что все так же рады, как и он, этому важнейшему, по его мнению, событию дня.

Nicolas Ростов познакомился в этот день с Долоховым. И этот странный человек поразил и привлек его, как и всех. Nicolas не отходил от него, и с ним вместе, благодаря представлению Багратиону, они сели ближе к центру. Напротив них сидел Pierre с своей свитой и князь Несвицкий. Граф Илья Андреич сидел напротив Багратиона с другими старшинами и угащивал князя Багратиона, олицетворяя в себе московское радушие. Труды его не пропали даром. Обеды, постный и скоромный, были великолепны, но совершенно спокоен он всё не мог быть до конца обеда. На втором блюде уже стали лакеи хлопать пробками и наливать шампанское. Граф Илья Андреич переглянулся с другими старшинами. «Много тостов будет, пора начинать!» — шепнул он и, взяв бокал в руки, встал.

— Здоровье государя императора! — провозгласил он, и в ту же минуту добрые глаза его увлажились слезами, значение которых он не знал. Все встали, опять заиграли «Гром победы», и «ура» — закричало все, и Багратион закричал «ура» тем же голосом, каким он кричал на Шенграбенском поле. Восторженный голос Nicolas был слышен из-за всех 300 голосов. Он чуть не плакал. Выпив залпом свой бокал, он бросил его на землю. Многие последовали его примеру. Только что замолкли голоса гостей, и лакеи подобрали разбитую посуду, и все стали усаживаться и, улыбаясь своему крику, переговариваться на дальних концах стола, как опять поднялся граф Илья Андреич и провозгласил тост за здоровье героя князя Багратиона, и еще больше увлажились его глаза. Опять закричали «ура» и вместо музыки послышались певчие, певшие кантату Павла Ивановича Кутузова:

Тщетны россам все преграды
Храбрость есть побед залог,
Есть у нас Багратионы,
Будут все враги у ног.

Только что кончили певчие, как последовали новые и новые тосты, при которых всё больше и больше проливал слезы граф Илья Андреич, и больше билось посуды, кричалось. Пили за здоровье Беклешева, На-

рышкина, Уварова, Долгорукого, Апраксина, Валуева, за здоровье старшин, за здоровье распорядителя, за здоровье всех членов клуба.

Pierre сидел против Долохова и Nicolas Ростова, и Nicolas не мог в душе не смеяться на ту странную фигуру, которую представлял этот молодой богач. Pierre, когда не ел, сидел, щурясь и морщась, глядя на первое попавшееся ему лицо, и с видом совершенной рассеянности ковырял себе в носу[5]. Он и прежде не имел вид ловкого молодого человека, но тогда, по крайней мере, он был добродушно весел, теперь же лицо его выражало апатию и усталость. Он был похож, на глаза Ростова, на идиота.

[Последнее время он слушал беспрестанно рассказы про войну, предмет, занимавший его теперь так же, как прежде политика, была стратегия. Он целые дни проводил в комнате над картами, делал военные соображения. Но прежде ежели он любил как умственное упражнение, разнообразившее его жизнь, свои чтения и мечтания, теперь он отдавался, как приятно отдаться вину запоем. Он чувствовал, что что-то нехорошо, нечестно, не то в его жизни и, боясь исследовать эту жизнь, отворачивался от нее и спасался в этом стратегическом запое. Теперь, видя перед своими глазами Долохова, того человека, который напоминал ему больше чем кто-нибудь другой то, что в его жизни было что-то не то, он по привычке обращался к своему умственному запою.]

В ту минуту, как Nicolas, удивляясь на тупую фигуру, смотрел на него, Pierre рассуждал о том, что Аустерлицкое сражение было ведено неправильно, а что надо было атаковать правый фланг. Ростов, говоря с соседом, сказал в это время: «Уж никто лучше меня не видал во всех концах Аустерлицкое сражение».

— Скажите,— вдруг обратился к нему Pierre,— отчего же, когда центр наш был прорван, мы не могли поставить его меж двух огней[6].

— Оттого, что некому было приказывать,— отвечал за Ростова Долохов.— Ты бы хорош был на войне,— прибавил он.

Ростов и Долохов засмеялись. Pierre поспешно отвернулся от них, думал [ковыряя в носу].

Когда пили здоровье государя, он так задумался, что не встал, и его сосед толкнул его. Он выпил бокал и встал, оглядываясь. Дождавшись, когда все сели, он сел, [взглядывая] взглянул на Долохова и покраснел. После официальных тостов, Долохов предложил Ростову тост за красивых женщин и с сериозным лицом, но с улыбающимся в углах ртом обратился к Pierr'у. Pierre рассеянно выпил, не глядя на Долохова. Лакей, раздававший кантату Кутузова, положил листок Pierr'у, как более почетному гостю. Он хотел взять его, но Долохов выхватил из его руки и стал читать. [Дайте] Pierre нагнулся всем тучным телом через стол: — Дайте мне. Это неучтиво,— [сказал] крикнул он.— Полноте, граф,— шепнул сосед Безухову, знавший Долохова за бретера. Долохов удивленно посмотрел на Pierr'а совсем другими, светлыми, веселыми, жестокими, глазами с той же улыбкой, как будто он говорил: «а вот это я люблю».

— Не — дам,— проговорил он отчетливо.

Pierre вдруг засопел [носом], как будто рыдания подступили ему к горлу.

— Вы... вы... негодяй!.. я вас вызываю,— проговорил он, и ни сосед его, ни Несвицкой не могли удержать его. Он встал и вышел из-за стола. [Благодаря шуму конца обеда, немногие заметили эту сцену.] Тут же в клубе Ростов, который согласился быть секундантом, переговорил с

---

[5] На полях: *Объяснение Пьера с женой. Разве весело с дураком мужем. Pierre всё пристрастник Бонапарта.*

Князь Андрей знакомит его с Шиллером и Гердером.

[6] На полях: *Долохов знает грубость жизни, от этого побеждает в жизни.*

Долохов должен на слово 10 000 Безухову.

Несвицким, секундантом Безухова, о условиях дуэли. Pierre уехал домой, а Nicolas с Долоховым до позднего вечера просидели в клубе, слушая песенников-цыган.

— Ему невыгодно,— сказал Долохов Ростову [когда они разъезжались]. У него 300 тысяч дохода и скандал во всяком случае, а мне славная вдовушка. Прощай, до завтра в Сокольниках. А мне чутье говорит что я его убью.

〈XX〉

На другой день в Сокольниках Pierre, такой же рассеянный, недовольный, морщась, смотрел вокруг себя на таящий снег и круги около голых деревьев и на секундантов, которые озабоченно размеряли шаги. Он имел вид человека, занятого какими-то соображениями, вовсе не касающимися до предстоящего дела. И действительно, с утра еще он раскрыл свои карты и сделал распоряжения нового Аустерлицкого сражения, по которому Наполеон был разбит. Он не только не прощался с женою или с кем-нибудь, он по привычке увлекался умственной работой, стараясь забыть про настоящее, только редко вспоминал, что он нынче стреляется с известным стрелком из пистолета и бретером, а сам не умеет стрелять. Приехавший Несвицкий 〈живо〉 напомнил ему предстоящее и стал, повторяя вчерашнее, доказывать ему, что он был неправ и, главное, нерасчетлив, вызывая такого стрелка, как Долохов, и давая ему 1-й выстрел.

— Я не хочу вмешиваться, но вообще это глупо,— сказал Несвицкий.

— Да, ужасно, ужасно глупо,— морщась и почесываясь, сказал Pierre.

— Только позволь мне, я так это устрою,— радостно вскакивая, сказал некровожадный Несвицкой.

— Что устрою? — спросил Pierre.— Ах, да, дуэль. Нет что ж, всё равно,— прибавил он,— они уже приготовились.

Когда на месте секунданты делали последнюю классическую попытку примирения, Pierre молчал, думал о другом.

— Вы мне скажите только, как, куда ходить, стрелять куда.

Когда сказали, он, добродушно и рассеянно улыбаясь: — Я ведь этого никогда не делал.— И он стал расспрашивать об способе спуска и любовался остроумной выдумкой Шнеллера. Он никогда до сих пор не держал в руках пистолета. Долохов, весело улыбаясь ртом, и светло, и строго смотрел наглыми, прекрасными голубыми глазами.

— Не хочу первого выстрела,— сказал он,— что его, как цыпленка, застрелить. И так всё на моей стороне.— Ростов, как неопытный секундант, согласился, радуясь на великодушие своего нового друга.

Им подали пистолеты и велели сходиться на 15 шагов до 20-ти, стреляя кто когда хочет.

— Так и сейчас можно выстрелить? — спросил Pierre.

— Да, как дойдешь до барьера.

Pierre взял своей большой пухлой рукой пистолет осторожно и робко, видимо, боясь не убить себя и, поправив очки, пошел к дереву. Только что он подошел, он, не целясь, [поднял пистолет и весь вздрогнул и шатнулся от звука выстрела] поднял пистолет, выстрелил и весь вздрогнул. Он даже пошатнулся от звука своего выстрела, потом улыбнулся сам своему впечатлению. Долохов упал, уронив пистолет.— Вот дурацкая,— крякнул он сквозь зубы и, схватившись одной рукой за бок, из которого шла кровь. Pierre подбежал к нему.— Ах, боже мой,— проговорил он, становясь перед ним на колени. Долохов оглянулся на него, [страшно] нахмурясь и указывая на пистолет: «Подай». Ростов подал ему. Долохов сел на задницу. Левая рука была вся в крови, он обтер ее об сюртук и оперся ею.— [Пожалуйте,— сказал он] [Нет, еще не умру,— проговорил он.] Пожалуйте, проговорил он Pierr'у.— Пожалуйте к [барьеру] к бар...

Pierre поспешно, с учтивым желанием не заставить его ждать, подошел и стал прямо против Долохова в 10 шагах от него.

— Боком, закрой пистолетом грудь, грудь,— кричал Несвицкой, зажмуриваясь и открывая глаза. Pierre стоял, с неопределенной улыбкой сожаления глядя через очки на Долохова. Долохов поднял пистолет, углы губ его всё улыбались, глаза блестели усилием и злобой последних собранных сил. Несвицкий и Pierre зажмурились. В одно и то же время они услыхали выстрел и отчаянный злой крик Долохова.

— Чёрт ее возьми, дрогнула! Несите! Несите!

Pierre повернулся [назад и, сморщившись], хотел подойти, но потом раздумал и сморщенный пошел к своей карете. Всю дорогу он что-то бурчал, но ничего не отвечал на вопросы: «что» Несвицкого.

⟨XXI⟩

Pierre виделся последнее время с женой лишь по ночам, либо при гостях, которые у них бывали полон дом и в Петербурге и в Москве. В ночь с 4-го на 5 марта он не пошел спать к жене и остался в своем огромном, отцовском, том самом, в котором умирал старый граф, кабинете[1]. Он лег, но не спал целую ночь и взад и вперед ходил по кабинету. [Так же как прежде он отгонял от себя впечатления и мысли настоящего, так он теперь, по привычке вспоминая о своих стратегических занятиях, он отгонял их и думал об одном страшном настоящем, стараясь вполне теперь понять его.] Лицо Долохова страдающее, умирающее, злое и всё с притворностью какого-то молодечества, не выходило у него из воображения и требовало, неумолимо требовало, чтобы он остановился и обдумал значение этого лица, значение и участие этого лица в жизни, и всю эту прошедшую жизнь. Памятное прошедшее его начиналось в его воспоминании со времени [смерти своего] женитьбы, а женитьба следовала так скоро после смерти отца (так мало он успел опомниться в своем новом положении тогда), что ему казалось, что и то и другое случилось вместе[2].

«Чтож было? — спрашивал он сам себя.— В чем же я виноват? Да, всё это ужасное воспоминание, когда я после ужина у князя Василья и сказал эти глупые слова: «Je vous aime[3]», я и тогда чувствовал. Я чувствовал тогда, что не то ⟨так и вышло⟩». Он вспоминал медовый месяц, и ему стыдно стало, как было стыдно тогда и всё первое время. Особенно живо, и оскорбительно, и постыдно было для него воспоминание, как однажды, вскоре после своей женитьбы, он в 12-м часу дня, в шелковом халате, пришел из спальни в кабинет и в кабинете застал главного управляющего, который почтительно встал и поглядел на лицо Pierr'a, на его халат и слегка улыбнулся, как бы выражая этой улыбкой почтительное сочувствие к счастию своего принципала. Pierre краснел всякий раз, как живо вспоминал этот взгляд. Теперь он вспомнил это и охнул. Он вспоминал, как он [искал той точки зрения, чтобы] видел ее еще прекрасною, как она поражала его своей гордостью, спокойствием, умением безыскусственно и изящно обращаться в высших сферах. Как его поражало ее искусство управлять домом и самой быть grande dame[4] и поставить дом на ногу grand seigneur'a[5]. Потом он вспоминал, как он, привыкши уже к тем формам изящества, в которые она так умела облекать себя и свой дом, как он стал искать содержания и [к удивлению] не находил его. За блестящими формами не было ничего. Они

---

[1] На полях: *Стыдно было в халате, втянут в эту жизнь. Элен ночью приходила за ним. Она такт, под которым ничего нет.*

[2] На полях: *И не стоит того, всё так коротко, так глупо,— говорил себе.*

[3] Я вас люблю.

[4] важной дамой

[5] аристократическую

были ее целью. И холодность ее всё увеличивалась. Он вспоминал, как он нравственно суживал глаза, чтобы [увидать] найти ту точку зрения, с которой бы он увидал что-нибудь хорошее, какое-нибудь содержание, но ничего и никакого не было. И не было в ней недовольства этим отсутствием. Она была довольна и спокойна в своей штофной гостиной, с жемчугами на прелестных плечах. Анатоль ездил к ней занимать у ней деньги и целовал ее голые плечи. Она отгоняла его от себя, как любовника. Отец, шутя, возбуждал ее ревность; она с спокойной улыбкой сказала, что она не так глупа, чтоб быть ревнива, пусть делает, что хочет.

Pierre спросил раз [ее, что], не чувствует ли она признаков беременности. Она засмеялась презрительно и сказала, что не дура, чтобы желать иметь детей, и что от него детей у нее не будет. [Он еще ни в чем не мог упрекнуть ее, но это отсутствие всего человеческого в соединении с красотой, самодовольной, еще более возвышенной от условий роскоши, в которой она теперь жила, и, главное, в соединении с сознанием необходимости близости с нею, делали для Pierr'а часто ее ненавистной. Странно сказать, что более всего она делала его несчастным вульгарностью, ясностью и грубостью мыслей.]

Потом он вспомнил ясность и грубость мыслей и вульгарность ее выражений: «я не дура, поди сам, allez-vous promener»[6], свойственных ей, несмотря на ее воспитание в высшем, аристократическом кругу. Часто, глядя на ее успех [и обожание между] в глазах старых, молодых мужчин и женщин, Pierre недоумевал и не мог понять, отчего он не любит ее. Вспоминая себя за всё это время, Pierre помнил в себе только чувство ошалелости, зажмуренности, с которыми он шел и не позволял руководить себя, чувство удивления, равнодушия и нелюбви к ней, и постоянно чувство стыдливости за не свое место, за глупое положение счастливца, обладателя красавицы, когда он встречался даже с своим камердинером, выходя из спальни жены в шелковом шитом ярком халате, который она подарила ему. Потом он вспоминал, как незаметно [видо], независимо от его воли, видоизменялись условия его жизни, как он втягивался в ту жизнь барича, праздного аристократа, которую он, напитанный идеями французской революции, так строго судил прежде. Деньги у него брали все, со всех сторон, и у него требовали денег, и обвиняли в чем-то его. Время его всё было занято. От него требовали самых пустых вещей, визита, выезда, обеда, но эти требования без перерыва следовали одно за другим. И требования эти делались так просто, с таким сознанием, что это так должно быть, что ему не могло прийти в голову отказать. Но вот в Петербурге перед отъездом он получил анонимное письмо, что Долохов любовник его жены, что очки плохо видели. Он бросил письмо, сжег его, но, не переставая, думал о нем. Долохов действительно был ближе всех с его женой. Когда он приехал в Москву, на другой же день он увидал за обедом в клубе Долохова, и теперь Долохов — вот он сидел на снегу перед ним и насильно улыбался и умирал с проклятиями.

Pierre был один из тех людей, которые, несмотря на свою внешнюю, так называемую, слабость характера, не ищут confident[7] для своего горя. Он перерабатывал один в себе свое горе. «Она, во всем, во всем она, без темперамента, без сердца, без ума, она была во всем виновата»,— говорил он сам себе. «Но что ж из этого? Зачем я себя связал с нею [зачем я ей навязал себя,— сказал он сам себе.— Я виноват. И я должен нести... но что? пускай она делает, что хочет. Я стоял выше этого и буду стоять выше»], зачем я ей сказал этот «je vous aime», который был ложь и еще хуже что-то»,— сказал он сам себе. «Я виноват

---

[6] убирайтесь
[7] доверенного

и должен нести... но что? Позор имени, несчастие жизни? Э, всё вздор»,— подумал он. «Людовика XVI казнили за то, что он был бесчестен и преступник. Потом Робеспьера казнили. Кто прав, кто виноват? Никто. А жив, и живи. Завтра умрешь, как мог я умереть час тому назад, как умрет этот Долохов. И стоит ли того мучаться, когда жить остается одну секунду в сравнении с вечностью? [Зачем я связал себя с нею] Мне ничего не нужно. Мне довольно себя. Что делать? — опять предстал ему вопрос: Зачем я связался с нею? „Mais que diable allait-il faire dans cette galère?“» [8],— вспомнил он и улыбнулся. [Pierre сказал себе это изречение, обвинявшее его одного нести всю тяжесть положения и потому успокоившее его.]

Утром, когда камердинер, с удивлением заметив, что граф не ложился, вошел в кабинет, Pierre, уже успокоенный, лежал на оттоманке и читал.

— Графиня приказали спросить, дома ли вы? — спросил камердинер.

Но не успел он этого сказать, как сама графиня в белом атласном халате, шитом серебром, и в простых волосах (две огромные косы en diadème [9] огибали два раза ее прелестную голову) вошла в комнату спокойно, величественно, но на прелестном, мраморном лбе ее была морщинка гнева. Она, с своим всё выдерживающим тактом, не стала говорить при камердинере. Она знала о дуэли и пришла говорить о ней. Она дождалась, пока камердинер уставил кофе и величественным жестом указала ему дверь. Pierre, как пойманный школьник, робко через очки смотрел на нее. Для того, чтобы дать себе известное положение, он начал есть, хотя ему этого не хотелось. Она не села.

— Как вы смели это сделать? — сказала она.

— Я?.. Что я...— сказал [чавкая] Pierre.

— Что сделать? Компрометировать жену. Кто тебе сказал, что он мой любовник,— заговорила она по-французски с своей грубостью речи, выговаривая выворачивающее всю внутренность Pierre слово «любовник», как и всякое другое слово.

— Он — не любовник, а ты дурак. Теперь я посмешище всей Москвы из-за того, что ты, пьяный, не помня себя, вызвал на дуэль человека, который тебе ничего не сделал.

— Я знаю... но...

— Ничего ты не знаешь. Ежели бы ты был умнее и приятнее, то я бы с тобой сидела, а не с ним, а, разумеется, мне приятнее быть с умным человеком, чем с тобой. Лучше ничего не выдумал, как взял и убил человека, который лучше тебя в 1000 раз.

[— Hélène, нам лучше расстаться,— сказал Pierre. Вы сами называете...]

— Не говорите,— сказал Pierre, краснея и отходя от нее.— Довольно. Что вам надо?

— Да, лучше вас. И редкая та жена, которая с таким мужем не взяла бы себе любовников (des amants).

— Au nom du ciel, taisez-vous, madame, il vaut mieux nous séparer [10],— умоляющим голосом проговорил Pierre.

— Да, расстаться, чтобы мне остаться без ничего и с срамом, что меня бросил муж. Никто не знает, какой это муж. [Дурак и рыба] [Дурак, развратник]

Hélène была [красна и зла, какою никогда не видал ее Pierre] красна и с таким выражением злобы в глазах, какого никогда не видал в ней Pierre.

— [Но всё прекрасно] Расстаться. Извольте, только ежели вы отдадите мне всё состояние. [Я беременна. И не от вас.]

---

[8] «Но какого чёрта понесло его на эту галеру?»

[9] диадемою

[10] Ради бога, замолчите, сударыня, нам лучше расстаться.

— А-ах! [Уйди или] я тебя убью! — закричал Pierre [и, схватив доску с мраморного стола, швырнул в нее]. И всё лицо отца отразилось в нем, и, схватив со стола мраморную доску, с неизвестной еще ему силой, он сделал шаг к ней [тотчас повернулся и выбежал из комнаты] и замахнулся на нее. Hélène вдруг зарыдала. Лицо ее исказилось, и она бросилась бежать. Pierre бросил доску, разбил [В тот же вечер] [Pierre через неделю] [Pierre, выдав жене полную доверенность на управление всеми имениями, уехал за границу] и, схватив себя за волосы, стал ходить по комнате. Через неделю Pierre выдал жене доверенность на управление всеми великорусскими имениями, что составляло больше половины всего состояния, и один уехал в Петербург.

‹XXII›

Прошло два месяца после получения известий в Лысых Горах о Аустерлицком сражении и о погибели князя Андрея[1], и, несмотря на все розыски, тело его не было найдено [что хуже всего], и, несмотря на все письма через посольства, его не было в числе пленных. Что хуже всего, оставалась [надежда, которую] всё-таки надежда, что он был поднят жителями на поле сражения и, может, лежал [умирающий] выздоравливающий или умирающий один среди чужих и не в силах дать о себе вести. В газетах [было очень мало], из которых впервые узнал старый князь об Аустерлицком поражении [сражении], было написано весьма кратко и неопределенно, что русские должны были отступить [после], но отступили в порядке. Но старый князь понял и из этого официального известия, в чем было дело. И хотя ничего еще не знал о сыне, он был убит этим известием. Он три дня не выходил из кабинета и целые дни, как видел Тихон, писал письма и отправлял кучи конвертов на почту ко всем значительным лицам. Спать он ложился в обыкновенный час, но усердный Тихон ночью вставал с своего войлока в официантской и, подкрадываясь к двери кабинета, слышал, как в темноте старый князь [ходил взад и вперед по своей комнате] шарил и ходил в своей комнате, покрякивая и бурля что-то про себя.

Через неделю после газеты, принесшей известие об Аустерлицкой битве, пришло письмо Кутузова, который, не дожидаясь вопроса, сам извещал князя о участи, постигшей его сына.

«Ваш сын в моих глазах,— писал Кутузов,— с знаменем в руках, впереди полка, пал героем, достойным своего отца и своего отечества. Жив ли он или нет, я [не мог узнать] до сих пор, несмотря на все меры, предпринятые мною, не мог узнать. [Я льщу себя] Себя и вас надеждой я льщу, что он жив, ибо в противном случае в числе найденных на поле сражения офицеров, о коих список мне подан через парламентеров, и он бы находился.

Получив это известие [старый князь закричал так громко, что Тихон вбежал к нему: «Мерзавцы! Подлецы!» — кричал] поздно вечером, когда он был один в своем кабинете, старый князь никому ничего не сказал. Как и обыкновенно, на другой день он пошел на свою прогулку, был молчалив с приказчиком, садовником и архитектором и, хотя и был гневен на вид, ничего никому не сказал. Когда в обычное время княжна Марья вошла к нему, он стоял за станком и точил, но, как обыкновенно, не оглянулся на нее. Он сделал движение головой к ней, но потом как будто не решился.

— А! Княжна Марья! — вдруг сказал он неестественно и бросил стамеску. Колесо еще вертелось от размаха. Княжна Марья долго помнила этот замирающий скрип колеса, который слился для нее с тем, что последовало. Княжна Марья подвинулась к нему, увидала его лицо,

---

[1] На полях: *Князь Андрей прятался от всех у Гернгутеров.*

и что-то вдруг опустилось во всей ей (это было счастие, интерес, любовь к жизни. Мгновенно этого ничего не стало), глаза ее задернулись. Она по лицу отца [увидала], по лицу не грустному, не убитому, но злому и неестественно над собой работающему лицу, она увидала, что вот, вот над ней повисло и задавит ее страшное несчастие, [еще] худшее в жизни несчастие, еще не испытанное ею, несчастие непоправимое, непостижимое,— смерть того, кого любишь.

— Mon père! André![2] — сказала она, неграциозная, неловкая княжна, с такой невыразимой грацией и прелестью печали и самозабвения, что отец не выдержал ее взгляда, отвернулся.

— Il n'est plus[3]. Убит,— [сказал] крикнул он пронзительно, как будто желая прогнать княжну этим криком.

Княжна не упала, с ней не сделалось дурноты [даже лицо]. Она была уже бледна, но когда она услыхала эти слова, лицо ее изменилось, и изменилось, не выражая худшее — страдание, но, напротив,— что-то просияло в ее лучистых, прекрасных глазах, как будто радость, высокая радость разлилась сверх той сильной печали, которая была в ней. Она забыла весь страх к отцу (самое сильное чувство [в жизни] в ее душе). Она [думала только о нем, о брате] подошла к нему, взяла его за руку и потянула к себе. Она поднимала уже другую руку, чтобы обнять его за сухую, жилистую шею.

— Mon père,— сказала она. [Я...] Не отвертывайтесь от меня, будемте плакать вместе. Слезы стояли в ее глазах.

Старик сердито дернулся от нее. Она не[4]

— Мерзавцы! Подлецы! — закричал он.— Губить армию, губить людей! За что? Поди, поди, скажи Лизе.

— Да, я скажу ей.

Княжна, не в силах стоять, села в кресло и плакала, не утирая слез. Она видела теперь его в ту минуту, как он прощался с ней и с Лизой с своим презрительным видом. Она видела его в ту минуту, как он [добро] нежно и насмешливо надевал образок на себя. «Верил ли он? Раскаялся ли он в своем неверии? Там ли он теперь? — думала она.

— Mon père, скажите мне, как это было? — спросила она сквозь слезы.

— Иди, иди; убит в сражении, в котором повели убивать русских лучших людей и русскую славу. Идите, княжна Марья.

Она встала и пошла. Но, вспоминая положение невестки, она мучалась, пыталась начать, пыталась скрыть и не могла ни то, ни другое. Перед обедом князь прислал Тихона с записочкой к княжне, спросить, объявлено ли? Получив отрицательный ответ, он сам пошел к ней.

— Au nom du ciel, mon père[5],— закричала княжна, бросившись к нему.— Не забудьте, что она в себе носит теперь!

Князь посмотрел на нее, на невестку и вышел. [В первый раз про] Но он не пошел к себе, а, затворив дверь в маленькую диванную, где сидели женщины, стал ходить взад и вперед по гостиной.

Княжна Марья не решилась объявить Лизе в это утро именно оттого, что никогда она не видала ее такой тихой, доброй и грустной.

Когда княжна Марья вернулась от отца, маленькая княгиня сидела за работой и с тем особенным выражением внутреннего и счастливо-спокойного взгляда беременных женщин посмотрела на княжну Марью.

— Marie,— сказала она, отстраняясь от пялец и переваливаясь назад,— дай сюда твою руку.— Она взяла руку княжны и положила ее себе на живот. Глаза ее улыбались, ожидая, губка с усиками поднялась и так детски-счастливо осталась.— Перестал, надо подождать... вот он... слы-

---

[2] Батюшка! Андрей!
[3] Его нет больше.
[4] Так в автографе.
[5] Ради бога, батюшка.

шишь? Как он там? маленький, маленький. Коли бы только не так страшно, Мари. Но я все-таки буду любить его. Очень, очень даже буду любить. Что ты? Что с тобой?

Мари упала на колени и рыдала. Она сказала, что так ей сделалось грустно об Андрее, но не могла решиться сказать. Несколько раз в продолжение утра она начинала плакать. Слезы эти, которых причину она не говорила, встревожили Лизу, как ни мало она была наблюдательна. Она ничего не говорила, но беспокойно оглядывалась, отыскивая. Но, когда вошел старый князь, которого она и всегда так боялась, теперь, с этим неспокойным злым лицом, она всё поняла. Она бросилась к Мари, не спрашивая ее уже о том, что такое, но спрашивая и умоляя ее сказать ей, что André жив, что это неправда. Княжна Марья не могла сказать этого. Лиза вскрикнула и упала в обморок. Старый князь [взглянул] отворил дверь, взглянул на нее и, как бы убедившись, что операция кончена, ушел в свой кабинет и с тех пор выходил только утром на свою прогулку, но не ходил в гостиную и в столовую. 〈Уроки математики продолжались.〉 Ночи он не спал, как слышал Тихон, и [здоровье] силы его вдруг изменили ему. Он [не ел] не похудел, а напротив, пожелтел и стал пухнуть как будто, и по утрам чаще стали находить на него минуты злобы, в которые он не помнил, что делать, и убегал к себе в присутствие одного Тихона, которого он бил чаще прежнего, но с которым по вечерам он говорил с одним только, приказывал ему садиться и рассказывать [Тихон знал, что рассказывать надо было про князя Андрея] про то, что делалось на дворне и в деревне. Старый князь не хотел надеяться, он объявил всем, что князь Андрей убит, заказал [склеп в часовне, где была похоронена его жена и послал чиновника в Австрию отыскивать тело] памятник своему сыну, для которого он назначил место в саду, но он всё еще надеялся, он послал в Австрию чиновника разыскивать следы князя Андрея. Он ждал и надеялся, и поэтому ему было тяжелее всех. Княжна Марья и Лиза переносили каждая горе по-своему. Лиза, хотя физически и перенесла горе безвредно, опустилась, говорила, что она знает, что умрет родами.

Княжна Марья молилась богу, ходила за Лизой и пыталась обратить отца на путь религии и слез, но всё было тщетно.

Прошло два месяца со дня получения известия. Старый князь заметно таял, несмотря на все усилия вступить в старую жизнь. Маленькой княгине подходило время. Княжна Марья напомнила отцу о просьбе князя Андрея об акушере, и послано было в Москву с требованием привезти лучшего акушера.

〈XXIII〉

— Ma bonne amie[1],— сказала маленькая княгиня утром 19 марта после завтрака[2], и губка ее с усиками поднялась по старой привычке; но, как и во всех не только улыбках, но звуках речей, даже походках [была всегда] в этом доме со дня получения страшного известия была печаль, так и теперь улыбка маленькой княгини была такая, что она еще больше напоминала об общей печали.

— Ma bonne amie, je crains que la fruschtique (comme dit[3] Фока — повар) de ce matin ne m'aie fait du mal[4].

— А что с тобой, моя душа? Ты бледна. Ах, ты очень бледна,— испуганно сказала княжна Марья, своими тяжелыми мягкими шагами подбегая к [золовке] невестке.

---

[1] Милый друг

[2] На полях: *В доме суетня. Таинство совершается, самое радостное человеческое таинство, все ждут, трепещут. Князь ожил, ходит.*

[3] Дружочек, боюсь, что от нынешнего фриштика, как называет его

[4] мне бы не было дурно.

— Ваше сиятельство, не послать ли за Марьей Богдановной? — сказала одна из бывших тут горничных (Марья Богдановна была акушерка из соседнего города, жившая тут 2-ю неделю).

— И в самом деле,— подхватила княжна Марья,— может быть, точно. Я пойду. Courage, mon ange! [5]— Она поцеловала.

— Ах, нет, нет! — И, кроме бледности, физического страдания на лице маленькой княгини выразился [ужас] страх неотвратимого отчаяния.

— Non, c'est l'estomac... dites, que c'est l'estomac, dites, Marie, dites... [6] — но Marie, увидав, как маленькая княгиня начала себе ломать руки и плакать, поспешно выходила из комнаты.

— Mon Dieu! Mon Dieu! Oh! [7] — слышала она сзади себя и все-таки не вернулась и бежала за Марьей Богдановной.

Потирая полные небольшие белые руки, ей навстречу, с значительно-спокойным лицом, уже шла Марья Богдановна.

— Ничего, княжна, не беспокойтесь,— сказала она.

Через пять минут княжна из своей комнаты услыхала, что несут что-то тяжелое. Она высунулась — официанты несли кожаный диван для чего-то в спальню. На всех лицах было что-то торжественное и тихое. Долго сидела княжна одна в своей комнате, отворяла дверь, то садилась в свое кресло, то [становилась] бралась за молитвенник, то становилась на колена перед киотом. Но, к несчастию и удивлению своему, она [видела] чувствовала, что молитва не утишала ее волнения. Ее мучала мысль [для чего], как умер, перестал быть князь Андрей и как, когда начнет быть новый князь Николай Андреич. (Она [была] и все в доме были уверены, что будет сын.) [Она взяла] [Но будет ли он, не умрет ли?] [За страдания Лизы] Она опять села в кресло, раскрыла Псалтырь и стала читать 104 псалом.

Во всех концах дома было разлито и владело всеми то же чувство, которое испытывала княжна Марья, сидя в своей комнате. По поверию, что, чем меньше людей знает о страданиях родильницы, тем меньше она страдает, все старались притворяться незнающими, никто не говорил об этом, но во всех людях, кроме обычной степенности и почтительности хороших манер, царствовавших в доме князя, видна была одна общая забота, смягченность сердца и сознание чего-то великого, непостижимого, совершающегося в эту минуту. Старая нянька, 100-летняя старуха, еще старого князя мамка, сердито крикнула на босоногую девчонку, прислуживавшую ей, за то, что та быстро вбежала в комнату, и, достав еще князеву венчальную свечу, велела ей зажечь ее перед иконами и, закрыв глаза, что-то всё шептала. [Старая] Няня другая вошла к княжне.

— Ничего, андел мой, не убивайся. Бог милостив,— сказала она, поцеловав в плечико.— Молись. Я с тобой посижу. И она села у княжны.

В большой девичьей не слышно было смеха. В официантской все люди сидели и молчали наготове чего-то. Старый князь, услыхав суетню, послал Тихона к Марье Богдановне спросить что. Марья Богдановна вышла из комнаты, из которой слышались крики, и сказала, посмотрев значительно на посланного:

— Доложи князю, что роды начались.— Тихон пришел и доложил князю.

[Князь точил. Посидев в официантской и заметив, что станок замолк]

— Хорошо,— сказал князь, и Тихон не слыхал более ни малейшего звука в кабинете, как он ни прислушивался. Хотя свеча горела, Тихон вошел в кабинет, как будто для того, чтобы поправить свечи, и [заметив,

---

[5] Не бойся, мой ангел!
[6] Нет, это желудок... скажи Мари, что это желудок...
[7] Боже мой! Боже мой! Ох!

что князь, услыхав его шаги, вскочил с дивана, притворяясь, что он не лежал] увидал, что князь лежал на диване. Тихон, забыв свой страх, посмотрел на князя, на его расстроенное лицо, [молча] покачал головой, молча приблизился к нему и, поцеловав его в плечо, вышел, не поправив свечи и не сказав, зачем он приходил. На дворне до поздней ночи жгли лучины и свечи и не спали [и бегали в дом]. Таинство, торжественнейшее в мире, продолжало совершаться. Прошел вечер, наступила ночь. И чувство ожидания и смягчения сердечного перед непостижимым не падало, а возвышалось. Никто не спал. [В комнате, где сидели женщины] Князь вышел из кабинета, прошел через официантскую мимо всех с опущенной головой в гостиную, диванную и остановился в темноте. Он услыхал из-за отворенных в ту минуту одних дверей далекие стоны [и крик, но один крик уже]. Он повернул, быстрыми шагами вернулся к себе [захлопнул дверь] и велел позвать приказчика. В этот самый день ждали акушера. Он ходил по кабинету и останавливался, чтобы прислушаться, нет ли звука колокольчика. Но ничего не слышно, кроме гула 〈*1 нрзб*〉 ветра и дрожания рам. Была одна из тех мартовских ночей, когда зима как будто хочет взять свое и высыпает с отчаянной злобой свои последние снега и бураны. Князь послал верховых людей с фонарями встречать акушера и продолжал ходить. Княжна Марья [читала, перечитывала псалом, сердце ее росло в ней с каждой минутой, и, когда пришло умиление, восторг и обожание величия бога дошло в ней до той высшей степени, когда человек забывает, что он плоть] сидела молча, устремив лучистые глаза на огонь лампадки, когда вдруг отчаянный порыв ветра налег на одну из рам ее окон (княжна выставляла по одной раме везде с жаворонками) и отбил [задвижку] плохо задвинутую задвижку, затрепал 〈суконною?〉 гардиной и пахнул холодом, белым выпавшим снегом, и задул свечу. [«Это сон,— думала она. Да, это сон». Что-то говорили несколько голосов.] Княжна очнулась. «Нет, еще нужен был весь ужас смерти,— подумала она,— что 〈*1 нрзб*〉 в чистую славу Всевышнего. Она встала испуганно. Няня бросилась запирать окно.

— Княжна, матушка, едут по прешпекту кто-то,— сказала няня, высунувшись, чтобы поймать откинутую раму.— С фонарями, должно, дохтур...

Княжна Марья накинула шаль и побежала навстречу ехавшим. Когда она вышла на крыльцо, карета с фонарями стояла у подъезда. Толпа официантов на нижней площадке отделяла ее от приехавшего. Что-то говорил рыдающий голос Тихона.— Батюшка, Андрей Николаич, а вас похоронили. [Князь иссох.] И вдруг голос, оплаканный, и, что было ужаснее всего, веселый голос князя Андрея отвечал: — Нет, еще поживем, Тихон. Батюшка здоров, сестра, княгиня? — сказал голос, дрогнув слегка. Получив ответ Тихона на ухо, что княгиня в 〈муках?〉, князь Андрей крикнул своему ямщику отъезжать. Его карета была карета акушера, которого он встретил на последней станции, и ехал с ним. Официанты засуетились, увидав сзади себя княжну Марью, и дали ей дорогу. Она испуганно смотрела на брата. Он подошел, обнял ее. Она должна была верить, что это был он. Да, это был он, но бледный, худой и с измененным, странно смягченным и счастливым выражением лица[8].

— Вы не получали моего письма? — спросил он и, не дожидаясь ответа, которого бы он и не получил, потому что княжна не могла говорить, он вернулся и вместе с акушером быстрыми шагами [перепрыгивая через две ступеньки] вбежал на лестницу и пошел к жене. Он не заметил даже, в то время как он проходил по коридору, голова старика в белом халате с страшно остановившимися глазами высунулась из двери официантской и молча, неподвижно смотрела на него до тех пор, пока

---

[8] На полях: *Лицо его дрогнуло, он испугался 〈1 нрзб〉 взял на себя.*

он не прошел. Князь Андрей, не слушая никого, прошел прямо к жене.

— Ну? Что? — спрашивал он беспокойно.

Она лежала на подушках в белом чепчике (страдания только что отпустили ее, черные волосы прядями вились у воспаленных, вспотевших щек, румяный, прелестный ротик с губкой с усиками был раскрыт) и радостно, детски улыбалась. Блестящие глаза смотрели детски и говорили [«Что вы со мной сделали. Ах, что вы со мной сделали!»]: «я вас всех люблю, но за что я страдаю, помогите мне!»

Князь Андрей поцеловал ее и заплакал.

[— Courage, courage, mon ami[9].]

— Душенька моя,— сказал он слово, которое никогда не говорил ей [но она поняла только]. Она вопросительно детски-укоризненно посмотрела на него. «Я от тебя ждала помощи и ничего, ничего и ты тоже». Она не удивилась, что он приехал. Муки вновь начались, и его вывели из комнаты. Акушер остался с ней. [Князь Андрей сидел в соседней комнате и не видел никого — ни m-lle Bourienne, ни сестры, которая стояла, он трясся всем телом.] Князь Андрей пошел к отцу, но княжна Марья остановила его, сказав, что отец велел сказать, чтобы он не ходил к нему, чтобы он оставался с женой. Они поговорили с сестрой, но всякую минуту разговор замолкал. Они ждали и прислушивались.

— Allez, mon ami![10] — сказала княжна Марья и сама убежала. Князь Андрей остался один и слышал шум ветра в окны, и ему стало страшно. Вдруг страшный крик — не ее крик — она не могла так кричать,— раздался в соседней комнате. Он подбежал к ее двери, крик замолк, но послышался другой крик, крик ребенка. «Зачем принесли туда ребенка»,— подумал князь Андрей [с удивлением]. Дверь отворилась, с засученными рукавами вышел акушер без сюртука, бледный и с трясущейся челюстью. Князь Андрей обратился к нему, но акушер злобно взглянул и, ни слова не сказав, ушел. Испуганная женщина выбежала и, увидав князя Андрея, замялась на пороге. Он вбежал в комнату жены. Она, мертвая, лежала в том же положении, в котором он видел ее 5 минут тому назад, и то же выражение, несмотря на остановившиеся глаза и на бледность щек, было на этом прелестном, детском, робком личике с губкой, покрытой черными волосиками. «Я вас всех любила и никому дурного не делала, и что вы со мной сделали! Ах, что вы со мной сделали!»

В углу комнаты хрюкнуло, как поросеночек, что-то маленькое [в красных], красное в белых руках Марьи Богдановны.

Через два часа всё так же было темно и так же гудел ветер. Князь Андрей тихими шагами вошел в кабинет к отцу. Старик [лежал] всё уже знал. Он лежал на диване. Князь Андрей подошел к нему ближе. Старик спал или притворился спящим. Князь Андрей сел к нему на диван. Старик дрогнул глазами.

— Батюшка...

[Ха-а-ха-ха-ха,— страшным хохотом захохотал старик и обхватил]

Старик молча и старческими, жесткими руками, как тисками, обхватил шею сына и зарыдал, как ребенок и ⟨*1 нрзб*⟩.

Через три дня отпевали маленькую княгиню. Князь Андрей [рыдал и плакал как ребенок, когда подошел] [подошел к ступеню[11]] взошел на ступеню гроба и увидал опять то же лицо, хотя и с закрытыми глазами. «Ах, что вы со мной сделали?»,— и он почувствовал, что в душе его оторвалось что-то, что он виноват в вине, которую ему не поправить и не забыть. Он не мог плакать. Старик тоже вошел и поцеловал ее руку, и ему она сказала: «Ах, что и за что вы это со мной сделали?» И старик 2-й раз в жизни зарыдал и заплакал.

---

[9] Не падай духом, мой друг.
[10] Иди, мой друг!
[11] Так в автографе.

Через 5 дней еще крестили молодого князя Николая Андреича[12]. Мамушка бородой придерживала пеленки, дули, и плевали, и вощечок расплескивали, чтоб он не потонул, и мокрого носили вокруг жестяной помятой купели[13].

〈XXIV〉

Еще не успело пройти впечатление первой войны с Наполеоном, как наступила 2-я, кончившаяся Тильзитским миром. В начале 1806-го и в 1807 году чувство вражды к Буонапартию, как его называли, уже глубже, чем в 1805 году, проникало уже до сердца русского народа[1]. Полмиллиона ратников, два набора в один год, проклятия врагу рода человеческого и антихристу Буонапартию, слышавшиеся во всех церквах, и слух о приближении его к русской границе не шутя заставлял ощетиниваться против него все сословия.

Ростов после несчастной дуэли, в которой он участвовал, повез [умирающего] раненого Долохова на его квартиру. Ростов знал Долохова по холостой жизни у цыган, на попойках, но никогда не бывал у него и даже никогда не думал о том, какой может быть дом у Долохова. Ежели был дом у Долохова, то, вероятно, это была, по предположениям Ростова, какая-нибудь закуренная, загрязненная комнатка, [с кроватью] с бутылками, трубками и собакой, в которой он держал свои чемоданы и ночевал изредка. [Но у Долохова был не только дом, но дорогой, уважаемый семейный очаг, к которому он не любил никого подпускать из своих светских приятелей. Долохов жил в доме, купленном им, у Николы Явленного, в переулке, купленном им на выигрышные деньги на имя своей матери. Он жил в этом доме с матерью и двумя незамужними сестрами, которых он один содержал своими деньгами. Во время переезда Долохов несколько раз терял сознание, но перед домом, узнав Арбат, он приподнялся и взял за руку Ростова.— Ради бога не к матери, она не перенесет... Обожаемая, бесценная матушка, что я сделал! Ростов, брось меня, беги к ней, приготовить ее. Бог мой, что я сделал! Ростов, исполни тяжелое поручение.] Но Долохов сказал ему, что он живет в собственном доме у Николы Явленного со старушкой матерью и двумя незамужними сестрами.

Во время переезда Долохов молчал, видимо делая над собой усилия, чтобы не стонать, но перед домом, узнав Арбат, он приподнялся и взял за руку Ростова, и на лице его выразилось страстное, восторженное отчаяние, какого никак не ожидал от него Nicolas.

— Ради бога, не к матери, она не перенесет... Ростов, брось меня, беги к ней, приготовить ее. Этот ангел не перенесет.

Домик был хорошенький, чистенький с цветами и 〈половиками?〉. Марья Ивановна Долохова была почтенная на вид старушка. Она испуганно выбежала в переднюю навстречу Ростову.

— Федя, что с Федей? — вскрикнула она, как только Ростов сказал, что Долохов прислал его и что несовсем здоров.

— Он умер. Где он? 〈И она упала без чувств.〉 Сестры, некрасивые девушки, выбежали и окружили мать. Одна из них шёпотом спросила у Ростова, что с Федей, и он сказал ей, что Долохов легко ранен. Ростов не мог перенести раздирающего душу вида отчаяния матери и сестер, когда вынес Долохова. Он вышел под предлогом поездки за доктором, освободив себя от вида свидания матери с сыном.

[Были крики, слезы, истерики, но всякое горе] [После криков отчаяния, истерик, уже когда Долохов был уложен на турецкий ковер в своем

---

[12] В автографе ошибочно: *А. Н.* (прим. составителя).
[13] См. Варианты, № 3.

[1] На полях: *Фармасон приезжает. Старый князь 〈главнокомандующий〉 милиции. Лопухин. Семейная жизнь Долохова — сёстры, мать.*

кабинете, мать, сестры, и Nicolas, и доктор, не отходя, чередовались у его постели. Мать не впускали первые дни, боясь слишком сильного волнения для нее и для раненого. Nicolas присутствовал при первом свидании матери с сыном и, глядя на них, плакал и рыдал так, что должен был выбежать из комнаты. Через 2 недели Долохову стало лучше. Доктор вынул пулю и объявил, что он будет жив. Ростов еще прежде с Шенграбенского костра чувствовал влечение к этому странному, мужественному, решительному и привлекательному человеку, теперь, увидав его в его семье, узнав его неожиданную, восторженную, страстную нежность и любовь к матери, полюбил Долохова всей силой своего пылкого и ничем не занятого сердца.]

Когда Ростов возвратился с доктором, Долохов уже был уложен в своем коврами и дорогим оружием увешанном кабинете на полу, на медвежьей шкуре, и мать на низенькой скамеечке, более бледная, чем ее сын, сидела у его изголовья. Сестры хлопотали по задним комнатам и коридору, но не смея войти в комнату. Долохов перенес боль зондирования раны и вынимания пули так же, как и самую рану. Он даже не морщился и улыбался, как только в комнату входила его мать. Все усилия его, видно, были устремлены на то, чтобы успокоить старушку. Чем ближе узнавал Ростов Долохова, тем более он чувствовал себя к нему привязанным. Все в нем было [необыкновенно], начиная от его привычки лежать на полу и до его [правила] [страсти] тщеславия своими дурными наклонностями и скрытности в хороших,— всё было необыкновенно, не так, как у других людей, и всё было решительно и ясно. Первое время Марья Ивановна враждебно смотрела на Ростова, связывала его с несчастием сына, но, когда Долохов, заметив это, прямо сказал ей: «Ростов мой друг и прошу вас, обожаемая матушка, любить его», Марья Ивановна [стала] действительно полюбила Nicolas, и Nicolas ежедневно стал бывать в домике у Николы Явленного. Несмотря на шутки домашних, на упреки светских знакомых, он целые дни проводил у выздоравливающего, то разговаривая с ним, слушая его рассказы, ловя каждое его слово, движение и улыбку, и безусловно во всем соглашался с ним, то с Марьей Ивановной Долоховой, разговаривая с ней о ее сыне. От нее он узнал, что Федя содержал ее и сестер, что это был лучший сын и брат в мире. Марья Ивановна была убеждена, что ее Федя был образец всех совершенств мира. (Мнение это разделял Ростов, особенно, когда ее слушал или видел самого Долохова.) Она даже [не понимала] не допускала, чтобы возможно было иметь сколько-нибудь другое мнение о ее сыне.— Да он слишком благороден, высок и чист душою,— говаривала она,— для нашего нынешнего развращенного света. Добродетель никто не любит,— она всем глаза колет. Ну, скажите, граф, справедливо это, честно это со стороны этого Безухова, а Федя по своему благородству любил его, а теперь никогда ничего дурного про него не скажет. В Петербурге эти шалости — с квартальным там что-то пошутили — ведь они вместе делали. Что же, Безухову ничего, а Федя всё на своих плечах перенес. Ведь что он перенес. Положим, возвратили, да ведь как же не возвратить. Я думаю таких, как он, храбрецов и сынов отечества немного там было. Что ж теперь эта дуэль. Есть ли чувства, честь у этих людей. Зная, что он единственный сын,— вызвать на дуэль и убить. Хорошо, что бог помиловал нас. И за что же? Ну, кто же в наше время не имеет интриги. Что ж, коли он так ревнив, я понимаю, ведь он прежде мог дать почувствовать, а то ведь год продолжалось. И что ж, вызвал на дуэль, полагал, что Федя не будет драться, потому что он ему должен. Какая низость! Какая гадость! Я знаю, вы Федю поняли, мой милый граф, оттого-то я вас душой люблю. Верите мне, его редкие понимают, это такая высокая небесная душа...

Долохов сам во время своего выздоровления [был необыкновенно тих] и в своем доме был часто особенно кроток и восторжен. Ростов

бывал почти влюблен в него, когда этот мужественный, 〈железный〉 человек, обессиленный теперь раной, обращал к нему свои яркие голубые глаза и всё прекрасное лицо, слегка улыбался и говорил [высказывая свои самые задушевные мысли], выказывая ему свою дружбу.

— Верь мне, мой друг,— говорил он,— на свете есть [три] 4 сорта людей: одни никого не любят, никого не ненавидят — [этих до Москвы не перевешаешь] [Эти все дураки такие] эти самые счастливые, другие, которые всех [любят] ненавидят,— это Картуши, злодеи, третие, [такие, как я] которые любят того, кто на глаза попадается, а к другим равнодушны, этих до Москвы не перевешаешь, это всё дураки, и такие есть, как я.— Я люблю кого, того люблю так, что жизнь отдам, а остальных передавлю всех, коли мне на дороге или на дороге любимых людей. У меня есть обожаемая, неоцененная мать, сестры, два-три друга, ты в том числе, а остальных я всех ненавижу, изо всех окрошку сделаю для того, чтобы моим избранным было хорошо.— И он, улыбаясь, пожал руку Ростову.— Да, душа моя,— продолжал он,— мужчин я встречал любящих, 〈честных〉, благородных, возвышенных,— он опять приласкал взглядом Ростова,— но женщин, кроме продажных тварей,— графинь или кухарок — всё равно — нет женщин. Нет этой чистой души, которая любила бы одной душой, как бедная Лиза любила Эраста. Ежели бы я нашел такую женщину, я бы жизнь отдал за нее. А эти...— Он сделал презрительный жест.— Ты знаешь ли, зачем я вызывал, то есть заставил Безухова вызвать меня. Она мне надоела. Это — рыба. Она не любила меня, она боялась. А мне любопытно было. Любовь есть высшее блаженство, и оно еще не далось мне.

Большей частью он был кроток, но один Ростов видел его в том припадке бешенства, в котором он делывал свои страшные поступки. Это было уже при конце его болезни. Он снял повязку, велел слуге подать чистую [Слуга замешкался], чистой не было, и слуга побежал к прачке, которая взялась гладить бинты. Минут с 5 Долохов пробыл в ожидании. Он, стиснув зубы и хмурясь, сидел [на кровати] на постели, потом привстал, [сполз] достал стул и придвинул его к себе.— Егорка! — начал кричать он, равномерно останавливаясь и дожидаясь. Ростов хотел развлечь его, но Долохов не отвечал ему. Ростов пошел за Егоркой и привел его с бинтами. Но только что Егорка вошел, как Долохов бросился на него, смял его под ноги и начал [убивать] [ударяя стулом по его голове] бить стулом. Кровь хлынула из раны. [Прибежала мать, сестры и 〈начали?〉] Несмотря на усилия Ростова и прибежавших матери и сестер, Егора не могли отнять до тех пор, пока Долохов сам не упал от изнеможения и потери крови.

〈XXV〉

Как ни строг был в то время государь для дуэлянтов, родные Hèléne и Ростова замяли это дело, и никто не был наказан. Еще Долохов был слаб и едва ходил, когда его новый друг Nicolas ввел его в дом родителей. [Долохова приняли как и всех] Всех принимали в доме Ростовых с распростертыми объятиями. Но Долохова приняли еще радушнее, во-первых, за дружбу его к Nicolas, во-вторых, за его страшную и блестящую репутацию. Приезда его тщетно ждали несколько дней. Графиня несколько робела, барышни волновались, несмотря на то, что Соня была вся поглощена своей любовью к Nicolas, Вера к Бергу, который приезжал в отпуск и опять уехал, и Наташа вполне довольна своим обожателем Денисовым. Ни одна из них не захотела бы, чтоб Долохов влюбился в нее, [ни одна бы не пошла за него замуж] но все подробно расспрашивали у Nicolas и, между собой говоря о нем, посмеивались таким смехом, который очевидно должен был скрыть их волнение и страх. [Наконец]

На 3-й день ожидания подъехала карета, барышни подбежали и отбежали от окон, узнав Долохова, и Nicolas ввел своего друга. Долохов был [хорошо воспитан] учтив. Он говорил мало (что говорил, то было оригинально) и внимательно вглядывался в женские лица. [Он обедал. Вечером он подсел к Соне и начал говорить с ней [о театре, о бале, об общих знакомых] [о чувствах] о бедной Лизе и о возвышенных чувствах любви. Наташа вопросительно ~~поглядывала~~ на него и Соню и наблюдала. На другой день он приехал опять, на третий, на четвертый, и всякий раз он говорил и сидел с Соней. В манере его не было ничего необыкновенного. Очень скоро он сделался своим, домашним человеком.] Все ждали от него чего-нибудь необыкновенного, но он ничего необыкновенного не сказал и не сделал. Одно, что было в нем не совсем обыкновенного, это то, что в его манере нельзя было найти и тени того стеснения и замешательства, которое, как бы оно ни было скрываемо, всегда заметно в молодом холостом мужчине в присутствии молодых [женщин] барышень. Долохов, напротив, пользуясь преимуществом, которое давала ему его рана и предполагаемая от нее слабость, свободно развалясь, сидел в вольтеровских креслах, которые ему предложили, и принимал те мелкие услуги, которые ему оказывали. Он понравился всем домашним Ростовых [и более всех Соне, которая видела], Соня видела в нем друга, и, считая то за большую важность, с самоотвержением старалась сделать для него приятным дом его друга. Она спрашивала, какой он любит чай, играла ему на клавикордах пьесу, которая ему нравилась и показывала ему картины в зале. [Лиза] Вера рассуждала, что он не такой человек, как все, и потому хороший. Наташа первые два часа его присутствия не спускала с него [глаз] любопытных вопросительных глаз (так, что старая графиня несколько раз потихоньку заметила, что это ей неучтиво). [но после обеда она стала] [но после обеда она вдруг решила] После обеда она стала петь, очевидно для него, и Васька Денисов уже говорил, что волшебница забыла своего карлика (так он себя называл) и хочет очаровать нового принца. Она смеялась, но, спев свою песенку в зале, она, беспокойно поглядывая на Долохова, вернулась в гостиную, где он сидел, и присела у стола недалеко от него, высматривая на его лице впечатление, произведенное ею, не спуская с него глаз, и ожидала похвалы. Долохов не обращал на нее ни малейшего внимания и рассказывал что-то Лизе[1] и Соне, обращаясь преимущественно к последней. Беспокойство Наташи и желание, чтоб ее [⟨заметил?⟩] похвалили, было так заметно, что старая графиня, улыбаясь, переглянулась с Nicolas, указывая глазами на Наташу и Долохова. Они поняли, чего ей нужно было.

— Вы любите музыку? — спросила графиня у Долохова.

— Да, очень, но я признаюсь, что ничего подобного не слыхал песням цыган и что ни одна итальянская певица, по мне, не может сравниться с Акулькой.

— Вы слышали, как я пою? — спросила вдруг Наташа, краснея.— Хорошо? Лучше Акульки-цыганки.

— Ах, да, очень хорошо,— холодно учтиво и ласково, как с ребенком, сказал Долохов, улыбаясь своей светлой улыбкой.

Наташа быстро повернулась и ушла. С этой минуты Долохов существовал для нее как мужчина менее, чем лакей, подававший кушанье.

Вечером, как это часто бывало, графиня к себе в спальню зазвала свою любимицу и смеялась с ней тем заливающимся смехом, которым редко, но зато неудержимо смеются добрые старушки.

— Чему вы, maman,— спросила Соня из-за ширмы.

— Соня, он (Долохов) не в ее вкусе, и графиня закатывалась сильнее прежнего.

---

[1] Так в автографе.

— Вы смеетесь, а не в моем вкусе,— повторяла Наташа, стараясь обидеться и не в силах удержаться от смеха.

— Что за божественное существо твоя кузина Софи,— сказал Долохов Nicolas, когда они увидались на другой день.— Да, счастлив тот, кто назовет другом такое неземное создание. Но, не будем говорить про это.

Больше они не говорили о Соне, но Долохов стал ездить каждый день, и Марья Ивановна Долохова со вздохом и тайно от сына иногда расспрашивала у Nicolas о его кузине Соне [2].

На вопрос, который задают себе семейные люди при сближении с молодым человеком, было весьма скоро отвечено всеми домашними, что Долохов ездил для Сони и был влюблен в нее. Nicolas с гордым чувством самодовольства и уверенности представлял Долохову случаи видеться с Соней и твердо был уверен, что Соня и вообще женщина, раз полюбившая его, не может изменить ему. Раз он сказал Соне, что это была хорошая партия. Соня заплакала:

— Вы злой человек,— Соня говорила ему,— вы,— только сказала она ему.

Старый граф и графиня шутили с Соней, ну, и серьезно поговаривали: «Чтож, это партия недурная, женится — переменится». Соня с удивлением и упреком только смотрела на них, на Николя и самого Долохова и, как бы находясь в нерешительности, хотя и польщенная вниманием Долохова, с страстным любопытством ожидала, что будет. [Неожиданно в конце года Соня получила письмо] [3]

Месяц после знакомства с Долоховым горничная барышень, расчесывая огромную косу Сони, [шёпотом сказала ей] выждала время, когда Наташа вышла из комнаты, и шёпотом сказала:— Софья Александровна, вы не рассердитесь, меня один человек,— и [стала] вся раскрасневшая стала доставать что-то рукой из-за пазухи. Это было [письмо] любовное письмо от Долохова. Испуганная и обрадованная Соня кошачьим движенем вырвала письмо и, еще более красная, чем горничная, [побежала] пошла в спальню [и там прочла письмо, прежде чем], там задумалась, следовало ли ей или не следовало читать это письмо. Она знала, что это было объяснение. «Да, ежели бы я была дочь maman (она так называла графиню), мне бы следовало показать ей письмо, но, бог знает, что ожидает меня. Я люблю Nicolas и буду его женой или ничьей, но я не дочь и мне, одинокой сироте, нельзя отвергать любви или дружбы этого Долохова». Она распечатала и прочла: «Обожаемая Софи, я вас люблю, как никогда ни один мужчина не любил женщину. Моя судьба в ваших руках. Я не смею просить руки вашей. Я знаю, что вас, чистого ангела, не отдадут мне, человеку с репутацией, которая заслужена мною. Но с того мгновения, как я узнал тебя, я другой, я увидал небо. Ежели ты любишь меня, хоть в $\frac{1}{100}$ столько, как я, то ты поняла меня. Софи, отдайся мне, и я буду твой раб. Ежели ты любишь, напиши «да», и я найду минуту свиданья».

Наташа застала Соню за чтением письма и узнала в чем дело.— Ах, какая ты счастливая,— закричала она.— Что ж ты ответишь ему?

— Нет. Я не знаю, что мне делать, я не могу теперь видеть его.

Через неделю после этого письма, на которое Долохов не получил ответа и во время которой Соня упорно избегала оставаться с ним наедине, Долохов приехал рано утром к Ростовым. Он попросил видеть графиню и сказал, что он просит руки Софьи Александровны. Графиня изъявила условное согласие и послала Соню. Соня, красная и трепещущая, обнявшись с Наташей, вошла мимо любопытных глаз дворни, уже

---

[2] На полях: *Nicolas, музыкальный вечер, восторг.*

[3] На полях: *Страстное письмо Долохова. Соня бегает его.*

знавшей в чем дело и радостно ожидавшей свадьбы барышни, в комнату, где ожидал ее Долохов, к затворившимся за ней дверям тотчас же прильнули любопытные головы. [— Софья Александровна, обожаемая Софья Александровна,— сказал Долохов,— я был порочен, я заблуждался, я был во мраке пока, не] Долохов покраснел, как только вошла еще более покрасневшая и испуганная Соня, быстро подошел к ней и взял ее за руку, которую она не могла отнять от [ужаса] страха, охватившего ее. «Как это может быть, чтобы он любил меня»,— думала она.

— Софья Александровна, я обожаю вас, вам нечего говорить. Вы поняли уже, что вы сделали с моим сердцем. Я был порочен, я был во мраке, пока я не знал тебя, обожаемая, несравненная Софи. Ты ангел, осветивший мою жизнь. Будь моей звездой, будь моим ангелом хранителем.— Его прекрасно-звучный голос задрожал, когда он говорил это, и он обнял ее и хотел прижать к себе.

Соня дрожала от страха и казалась потерянною, капли пота выступали у нее на лбу, но, как скоро он дотронулся до нее, кошечка проснулась и вдруг выпустила когти. Она отскочила от него. Всё, что она приготовила сказать ему, не сказалось. Она почувствовала его привлекательность, его власть над собою и ужаснулась. Она не могла быть ничьей женою, кроме Nicolas.

М.-г Долохов, я не могу... я благодарю вас... ах, уйдите, пожалуйста.

— Софи, помните, что моя жизнь, будущая жизнь в руках ваших.

Но она с ужасом оттолкнула его.

[— Софи, скажите, говорите, убивайте меня, вы любите? — Да.— Кого вы любите. Верьте моей чести, это умрет со мной. Кого?]

— Софи, скажи, ты любишь уже? Кого? Я убью его.

— Своего кузена,— сказала Соня.

Долохов нахмурился и вышел, хлопнув дверью. Долохов быстрыми, твердыми шагами, с тем особенным выражением злобной решительности, которое иногда принимало его лицо, прошел залу.

В зале старый граф встретил Долохова и протянул к нему обе руки.— Ну что, поздравить...— начал он, но не договорил — его ужаснуло злое лицо Долохова.

— Софья Александровна отказала мне,— сказал Долохов дрогнувшим голосом.— Прощайте, граф.

— Не думал я, не думал, я бы за честь счел племянником назвать тебя. Ну, мы поговорим еще, mon cher, с ней. Я знаю, что, знаю, мой Коко... с детства cousin и cousine, постойте.

— [Вы не считаете своего сына] Да,— сказал Долохов,— вы Софью Александровну не считаете достойной своего сына, и он тоже. Она же считает меня недостойным себя. Да, это в порядке. Прощайте, я вас поблагодарю за это,— и он вышел. Встретившемуся Nicolas он не сказал ни слова и отвернулся от него. Через два дня Nicolas получил от Долохова записку следующего содержания: «Я у вас в доме больше не буду, и ты знаешь почему. Я еду послезавтра, и ты скоро, как я слышал. Приезжай нынче вечером, помянем Москву гусарской пирушкой. Я кучу у Яра».

Ростов из театра в одиннадцатом часу приехал к Долохову и нашел у него переднюю полну плащами и шубами и из отворенных дверей услыхал гул мужских голосов и звуки перекидываемого золота. Три небольшие комнаты, занимаемые Долоховым, были красиво убраны и ярко освещены. Гости чинно сидели вокруг столов и играли. Долохов ходил между ними и радостно встретил Ростова. О предложении и вообще о семействе ни слова не было сказано. Он был ясен и спокоен, больше чем обыкновенно, но в глазах его Ростов заметил ту черту холодного блеска и наглого упорства, которая была в нем в ту минуту, как он на клубном обеде вызывал Безухова. Ростов не играл во всё время пребывания своего в Москве. Отец просил его несколько раз не брать карты в руки, и Долохов

несколько раз, смеясь, говаривал ему «играть в карты на счастье можно только дураку, коли играть, то играть наверное».

— Разве ты станешь играть наверное,— говорил ему Ростов.

Долохов странно улыбнулся на эти слова и сказал: — Может быть. Теперь после ужина Ростову вспомнился этот разговор, когда Долохов, сев на диван между двух свечей и выкинув из стола мешок с червонцами, ширококостными, мускулистыми руками распечатал игру и вызывающими приятными глазами оглянул присутствующих. Глаза его встретились с взглядом Ростова. Ростов боялся, чтобы он не подумал, что он вспоминает в это время о бывшем между ними разговоре об игре наверное, и искал и не находил в уме своей шутки, которая бы доказала ему противное, но, прежде чем успел он это сделать, Долохов, уставив свой стальной взгляд прямо в лицо Ростова, медленно и с расстановкой, так, что все могли слышать, сказал ему:

— А помнишь, мы говорили: дурак, кто на счастье хочет играть, а играть надо наверное, и я хочу попробовать.

«Попробовать на счастье играть или наверное?» — подумал Ростов.

— Или ты боишься меня? Да и лучше не играй,— прибавил он и, треснув разорванной колодой, сказал: — Банк, господа! — И, подвинув вперед деньги, приготовился метать. Ростов сел подле него и сначала не играл. Долохов презрительно взглядывал на него.

— Что ж не играешь? — сказал он. И странно, Nicolas почувствовал необходимость взять карту и, поставив на нее значительный куш, начать игру.

Долохов не обращал ни малейшего внимания на игру своего друга и просил его самого записывать. Но ни одна карта Ростову не давалась.

— Господа,— сказал он, прометав несколько времени,— прошу класть деньги на карты, а то я могу спутаться в счетах.

Один из игроков сказал, что он надеется, что ему можно поверить.

— О, конечно,— отвечал Долохов и, не глядя на Ростова, прибавил:

— Ты не стесняйся, мы с тобой сочтемся.

Игра продолжалась... Лакей не переставая разносил шампанское. Ростов отказался от налитого ему в третий раз стакана, тем более, что он был занят в это время поставкой большой карты. Все карты его бились, и на него было написано до 800 рублей. Он надписал было над одной картой 800 рублей, но в то время, как подавали ему шампанское, он раздумал и написал опять обыкновенный куш, 20 рублей. Долохов, не смотревший на него, видел, однако, его нерешительность.

— Оставь,— сказал он,— скорей отыграешься. Другим даю, а тебе бью. Или ты меня боишься? — прибавил он.

Ростов поспешно оставил написанные 800 и поставил семерку червей с заломанным углом. Он хорошо ее после помнил. Он поставил семерку червей, надписав над ней отломанным мелком 800 круглыми, прямыми цифрами; выпил поданный стакан согревшегося шампанского, улыбнулся на слова Долохова и в первый раз с замиранием сердца в игре, ожидая семерки, с нетерпением стал смотреть на руки Долохова, державшие колоду.

В воскресенье на прошлой неделе граф Илья Андреич дал своему сыну 2000 рублей, и он, никогда не любивший говорить о денежных затруднениях, сказал ему, что деньги эти были последние до мая и что потому он просил сына быть на этот раз поэкономнее. Николя засмеялся и сказал, что он дает честное слово не брать больше денег до осени.

Теперь из этих денег оставалось 1200 рублей. Стало быть, семерка червей означала не только проигрыш 1600 рублей, но и необходимость изменения данному слову. Он с замиранием сердца смотрел на руки Долохова и думал: «Ну, скорей, дай мне эту карту, и я беру фуражку, уезжаю и отправляюсь домой петь с Денисовым, и Наташей, и уж верно никогда в руках моих не будет карта». И в эту минуту прелесть песни, дома —

Денисов, Наташа, Соня, и беседы, и даже спокойной постели в Поварском доме с такою силой и ясностью представлялась ему, что он не мог допустить, чтобы глупая случайность, заставившая семерку лечь прежде направо, чем налево, могла бы лишить его всего этого счастия и повергнуть в такую пучину еще не испытанного и неопределенного несчастия. Это не могло быть, но он все-таки ожидал с замиранием движения рук Долохова, но руки эти спокойно положили колоду карт и взялись за подаваемый стакан и трубку.

— Так ты не боишься со мной играть,— повторил Долохов, и как будто для того чтоб ему рассказать веселую историю, он положил карты, опрокинулся на спинку стула и медлительно с улыбкой стал рассказывать:

— Да, господа, мне говорили, что в Москве распущен слух, будто я шулер, поэтому советую вам быть со мною осторожным.

— Ну, мечи же! — говорил Ростов.

Долохов с улыбкой взялся за карты.

Семерка, которая была нужна ему, уже лежала вверху, первой картой в колоде.

— Однако ты не зарывайся,— прибавил он Ростову и продолжал метать.

Чрез полтора часа времени большинство игроков уже шутя смотрели на свою собственную игру. Вся игра сосредоточилась на одном Ростове. Вместо 1600 рублей за ним была записана длинная колонна цифр, которую он считал еще до 10-й тысячи и которая, как он предполагал, возвышалась до 15 тысяч, в сущности же превышала 20 тысяч. Запись эту Долохов, несмотря на свою выказываемую рассеянность, помнил до последнего рубля. Он решил продолжать играть до тех пор, пока запись эта возрастет до 42 тысяч. Число это было выбрано им потому, что 42 составляло сумму сложенных его годов с годами Софьи Александровны. Ростов, опершись головою на обе руки, ничего не видел, не слышал. «600 рублей, туз, угол, девятка... отыграться невозможно, а как бы весело было у Елены... валет на пе, это не может быть... И зачем же это он делает со мной?» Иногда он ставил большую карту, но Долохов отказывался бить ее и сам назначал куш. Николя покорялся ему и то молился богу, как он молился на поле сражения на Энском мосту, то загадывал, что та карта, которая первая попадется ему под столом в руку, та спасет его; то рассчитывал, сколько было шнурков на его куртке, и с столькими же очками карту пытался ставить на весь проигрыш; то за помощью оглядывался на других играющих; то вглядывался в холодное теперь лицо Долохова и старался проникнуть, что в нем делалось. «Ведь он знает,— говорил он сам себе,— что значит этот для меня проигрыш. Не может он желать моей погибели. Но и он не виноват: что ж ему делать, когда ему везет счастие, и я не виноват,— говорил он сам себе.— Я ничего не сделал дурного. За что же такое ужасное несчастие! И когда оно началось? Еще так недавно, когда я подходил к этому столу с мыслью выиграть 100 рублей и ехать к Елене, я так был счастлив, хотя и не умел ценить того счастия. Когда же это кончилось и когда началось это новое, ужасное состояние? Чем ознаменовалась эта перемена. Я всё так же сидел на этом месте, у этого стола, и так же выбирал и выдвигал карты; когда же это совершилось, и что такое совершилось? Когда я здоров, силен и всё тот же, и всё на том же месте. Нет, этого не может быть, и, верно, всё это ничем не кончится». Он был красен, весь в поту, несмотря на то, что в комнате не было жарко. И лицо его было страшно и жалко, особенно по бессильной борьбе казаться спокойным.

Запись дошла до рокового числа. Ростов приготовил карту, которая должна была идти углом от 3000 рублей, только что данных ему, когда Долохов стукнул колодой, отложил ее и, взяв мел, начал быстро подводить итог записи Ростова. Николя понял в то же мгновение, что всё было кончено; но он равнодушным голосом сказал:

— Что же, не будешь еще. А у меня славная карточка притовлена.— Как будто более всего его интересовало веселье процесса самой игры.

«Всё кончено, я пропал,— думал он.— Теперь пуля в лоб — одно остается»,— и вместе с тем веселым голосом говорил:

— Ну, еще одну карточку.

— Хорошо,— отвечал Долохов, окончив итог,— хорошо! 21 рубль идет,— сказал он, указывая на цифру 21, разрознившую ровный счет тысяч, и, взяв колоду, приготовился кидать. Ростов, в покорность, отогнул угол и вместо приготовленных 6000 старательно написал 21.

— Это мне всё равно,— сказал он,— мне только интересно знать, убьешь ты или дашь мне эту десятку.

Долохов, не улыбясь, удовлетворил его интересу. Десятка была дана.

— За вами сорок две тысячи, граф,— сказал он и, потягиваясь, встал из-за стола.— А устаешь, однако, так долго сидеть,— сказал он.

— Да, и я тоже устал,— сказал Ростов.

Долохов, как будто напоминая ему, что ему неприлично было шутить, теперь перебил его.

— Когда прикажете получить деньги, граф?

Ростов вопросительно взглянул на него.

— Завтра, господин Долохов,— сказал он и, побыв несколько времени с другими гостями, вышел в переднюю, чтобы ехать домой. Долохов остановил его и отозвал в маленькую комнатку, в которую выходила другая дверь из передней.

— Послушай, Ростов,— сказал Долохов, схватив за руку Nicolas и глядя на него страшно нахмуренным лицом. Ростов чувствовал, что Долохов не столько озлоблен, сколько хочет казаться страшным в настоящую минуту.

— Послушай, ты знаешь, что я люблю Софи и люблю так, что я весь мир отдам за нее. Она влюблена в тебя, ты ее держишь, уступи ее мне, и мы квиты в 42 тысячи, которые ты не можешь заплатить мне.

— Ты с ума сошел,— сказал Nicolas, не успев оскорбиться, так неожиданно было это сказано.

— Помоги мне увезти ее и овладеть ею, и мы квиты.

Ростов почувствовал в эту минуту весь ужас своего положения. Он понял удар, который он должен был нанести отцу, прося у него эти деньги, весь свой стыд, и понял, какое бы было счастье избавиться от всего этого и быть квит, как говорил Долохов, но только что он понял это, как вся кровь поднялась в нем.

— Вы подлец, коли вы могли сказать это,— крикнул он, с бешенством бросаясь на Долохова. Но Долохов схватил его за обе руки.

— Идите, смирно.

— Всё равно, я дам вам пощечину и вызываю вас.

— Я не буду с вами драться, она вас любит.

— Завтра вы получите деньги и вызов.

— Я не приму последнего.

Сказать «завтра» и выдержать тон приличия было нетрудно, но приехать одному домой с страшным воспоминанием случившегося, проснуться на другой день, и вспомнить, и идти к щедрому, кроткому, но запутанному делами отцу, признаваться и просить о невозможном — было ужасно. О дуэли он не думал. Надо было прежде заплатить, а драться — нетрудно.

Дома еще не спали. Входя в залу, он услыхал громкий хриплый голос Денисова, его хохот и хохот женских голосов.

— Коли этого требует моя богиня, я не могу отказаться...— кричал Денисов.

— И прекрасно, отлично,— кричали женские голоса.

Все они стояли в гостиной около рояля.

Две сальные свечи горели в комнате, но при тысяче восковых свечей

нельзя было быть блестяще Наташи. Нельзя было блестяще рассыпаться серебряным смехом.

— А! вот и Nicolas! — закричали голоса. Наташа подбежала к нему.

— Какой ты умник, что рано приехал! Нам так весело! М-г Денисов остался для меня и мы его забавляем.

— Ну, хорошо, хорошо,— закричал Денисов, подмигивая Nicolas и не замечая его расстроенности.— Наталья Ильинична, за вами barcarolla. Ну-с.

— Nicolas, садись, аккомпанируй, а потом он сделает всё, что я велю.

Nicolas сел за рояль, никто не заметил, что он расстроен. Да и трудно было заметить что-нибудь, потому что он сам еще ясно не отдавал себе отчета в том, что он сделал и что предстоит ему. Он сел и сыграл прелюдию любимой баркароллы. Баркаролла эта, привезенная недавно из Италии графиней Перовской, только что была понята и разучена в доме Ростовых. Это была одна из тех музыкальных вещей, которые напрашиваются в ухо и чувство, [предста] неотразимо привлекая к себе первое время и исключая всякое другое музыкальное воспоминание. Спать ложишься, просыпаешься,— всё в ушах повторяются музыкальные фразы, кажется всё пустяки, вяло, скучно, и изысканно в сравнении с этими фразами. Запоет ли хороший голос эту мелодию, слезы навертываются на глаза, и всё кажется легким и ничтожным, и счастие так близким и возможным. Правда, такие мелодии, как эта баркаролла, скоро надоедают, делаются столь же невыносимыми, сколько они были неотразимыми первое время.

Nicolas взял первый аккорд прелюдии и хотел встать.

— Боже мой, что я делаю,— подумал он.— Я бесчестный, я погибший человек. Пулю в лоб — одно, что остается. И что делать? Как выйти из этого? Нет выхода. А я хочу петь с ними.

— Nicolas, что с вами? — спросил взгляд Сони, устремленный на него. Она одна видела, что что-нибудь нехорошо с ним. Он сердито отвернулся. Ему оскорбительно было за нее, ее участие. Он считал себя столь низко упавшим человеком, что он срамил всех людей, которые любили его. [Между тем Наташа, счастливая восхищением]

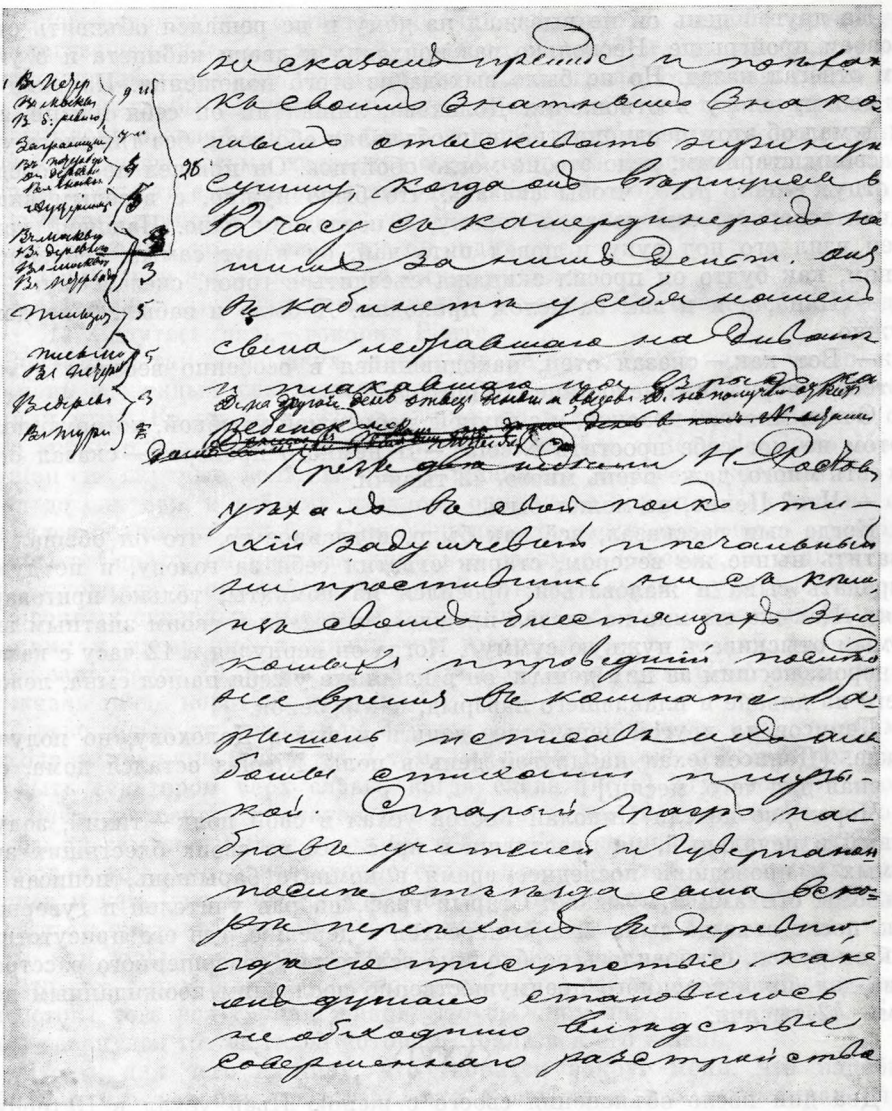
Наташа с своей чуткостью тоже мгновенно заметила состояние своего брата. Она заметила его, но ей самой было так весело в эту минуту, так далека она была от горя, грусти, упреков, что она (как это часто бывает с молодыми людьми), [обманула] нарочно обманула себя. «Я слишком счастлива в эту минуту и слишком большое удовольствие предстоит мне, чтобы его портить [из-за] сочувствием горю»,— почувствовала она и сказала себе: — «Нет, я, верно, ошибаюсь, он должен быть весел, так же как я».

— Ну, Nicolas,— сказала она и вышла на самую середину зала, где, по ее мнению, лучше всего был резонанс. Она сначала, гордо приподняв голову, грациозно опустив руки и энергическим движением переступая с каблучка на цыпочки, прошлась по середине комнаты и остановилась.

«Вот она я! — как будто говорила она.— Ну-ка, кто останется равнодушным ко мне. Посмотрим». Ей всё равно было: два, три человека смотрели на нее. Она вызывала весь мир этим взглядом. Добрый, восхищенный взгляд Денисова встретился с ее взглядом. «Однако, какая вы злодейская кокетка будете»,— сказал его взгляд. «Да еще какая,— отвечали ее взгляд и улыбка.— А чтож, разве это дурно? Ну-с».

Nicolas машинально ударил первый аккорд. «И что они делают глупости — поют,— думал он,— когда тут человек — я, погибаю. Не об этом думать надо, а о том, как спасти себя. А это всё глупо, детство, и старый Денисов любезничает, противно».

Наташа взяла первую ноту, горло ее расширилось, грудь выпрямилась, глаза приняли сериозное выражение. Уже она не думала ни о ком, ни о чем в эту минуту, и из в улыбку сложенного рта полились звуки, те звуки, которые может производить в те же промежутки времени и в те



СТРАНИЦА РУКОПИСИ 103

Текст под диктовку рукой Е. А. Берс с правкой Толстого. На полях план романа с указанием объема в печатных листах (автограф)

же интервалы всякий, но которые 1000 раз оставляют вас холодным, а в 1001 раз [выворачивают всё неземное, что есть в душе вашей] заставляют вас содрогаться и плакать. Весь мир для Nicolas мгновенно сосредоточился в ожидании следующей фразы, всё сделалось разделенным на три темпа, в котором была написана ария, которую она пела. Раз, два, три, раз, два, три, раз... «Эх, жизнь наша дурацкая,— подумал Nicolas.— Всё это несчастье, и Долохов, и злоба, и деньги, и долг, и честь,— всё это вздор... а вот оно — настоящее... Ну, Наташа, как она это si возьмет... Отлично».— И он невольно взял полной грудью втору и терцию высокой ноты — раз, два, три, раз...

Давно уже не испытывал Nicolas такого наслаждения от музыки, как в этот день. Но прошло время, и он опять вспомнил и ужаснулся. Старый граф, веселый и довольный, приехал из клуба. Nicolas не имел духа сказать ему в тот же вечер.

На другой день он не выезжал из дому и не решался объявить отцу о своем проигрыше. Несколько раз подходил к двери кабинета и с ужасом отбегал назад. Но не было выхода из этого положения. Изменял ли он своему слову в отношении Долохова, лишал ли он себя жизни, как он думал об этом неоднократно, или объявлял обо всем, без тяжелого удара своим старикам, дело это не могло обойтись. Он пришел перед обедом к отцу; вместо того, чтобы сказать, что было нужно, с веселым видом начал говорить, сам не зная почему, о последнем бале. Наконец, когда отец взял его под руку и повел пить чай, он вдруг самым небрежным тоном, как будто он просил экипажа съездить в город, сказал ему:

— Папà, а я к вам за делом приходил. Я было и забыл. Мне денег нужно.

— Вот как,— сказал отец, находившийся в особенно веселом духе.— Я тебе говорил, что недостанет. Много ли?

Очень много,— краснея, и с глупой, небрежной улыбкой, которую долго потом не мог себе простить Nicolas.— Я немного проиграл,— сказал он,— то есть много, даже очень много, 42 тысячи.

— Что? Полно, не может быть...

Когда сын рассказал, всё как было, и главное то, что он обещал заплатить нынче же вечером, старик схватил себя за голову, и не думая упрекать сына и жаловаться, бросился из комнаты, только приговаривая: «Как же ты мне не сказал прежде», и поехал к своим знатным знакомым отыскивать нужную сумму[4]. Когда он вернулся в 12 часу с камердинером, несшим за ним деньги, он в кабинете у себя нашел сына, лежавшего на диване и плакавшего навзрыд, как ребенок.

Денисов на другой день отвез деньги и вызов Долохову, но получил отказ. [Денисов ехал на другой день в полк, Nicolas остался дома, сам не зная для чего, месяц.]

Через две недели Николай Ростов уехал в свой полк — тихий, задумчивый и печальный, не простившись ни с кем из своих блестящих знакомых и проведший последнее время в комнате барышень, исписав их альбомы стихами и музыкой. Старый граф, набрав учителей и гувернанток, после отъезда сына вскоре переехал в деревню, где его присутствие, как он думал, становилось необходимо вследствие совершенного расстройства дел, произведенного преимущественно последним неожиданным долгом — 42 тысячи.

⟨XXVI⟩

Два дни после объяснения своего с женою Пьер уехал в Петербург с намерением получить паспорт и ехать заграницу[1], но война была уже объявлена и паспорты не выдавались. Остановившись не в своем доме, не у тестя, князя Василья, ни у кого из многочисленных знакомых, он жил в Аглицкой гостинице, не выходя из комнаты и никому не дав знать о своем приезде. Целые дни и ночи он проводил, лежа на диване и задрав ноги и читая или расхаживая по своей комнате, или слушая разговоры

[4] На полях:

В Петербурге, *В Москве*, *В деревне* ..... *9 л.*
За границей ..... *7 л.*
В Петербурге, *В деревне*, *В Москве* ..... *4 л.*
Аустерлиц ..... *5 л.*
В Москве, *В деревне* ..... *3 л.*
} *28*
В Москве, *В Петербурге и деревне* ..... *3 л.*
Тильзит ..... *5 л.*
Письмо В Петербурге ..... *5 л.*
В деревне, *В Турции* ..... ⟨*2 л.*⟩

[1] На полях: *Письма.*

г-на Благовещенского,— единственное лицо, которое он видел в Петербурге. Благовещенский был хитрый, подобострастный и глупый делец, который ходатайствовал по делам еще покойного графа Безухова. Pierre послал за ним, чтобы поручить ему взять паспорт, и с тех пор он приходил каждый день и сидел молча целые дни перед Pierr'ом, считая это сиденье в комнате графа весьма хитрым с своей стороны маневром, долженствовавшим принести ему большие выгоды. [Pierre 〈говорил〉] Pierre же привык к этому глупому и подобострастному лицу, не обращал на него никакого внимания, но любил, когда он сидит тут.

— Приходите же,— говорил он ему, прощаясь.

— Слушаю-с. Всё изволите читать,— говорил Благовещенский входя.

— Да. Садитесь, чаю,— говорил Pierre.

Pierre жил так более двух недель. Он не знал, когда какое число, какой день и каждый раз, просыпаясь, [не знал] спрашивал себя, вечер это или утро. Ел он то в середине дня, то в середине ночи. Прочел он в это время и все романы m-me Suza и Radcliff и «Escrit des lois» Montesquieu и скучные волюмы «Correspondance» Rouseau, которые он не читал до сих пор, и всё ему казалось одинаково хорошо. Как только он оставался без книги или без Благовещенского, рассказывающего о выгоде службы в Сенате, он начинал думать о своем положении, и всякий раз как повторялся в его голове весь, всё тот же самый, путь тысячу раз повторенных скверных мыслей и приводил его всё к тому же cul de sac[2] отчаяния и презрения к жизни; он говорил себе и всякий раз вслух и по-французски: «Э, разве не всё равно. Стоит ли думать об этом, когда вся жизнь такая короткая глупость».

Только когда он читал или слушал Благовещенского, ему урывками приходили прежние мысли то о том, как глуп Благовещенский, полагая, что быть сенатором верх славы, когда слава [есть] египетского героя, и та нечистая слава, то, читая про любовь какой-нибудь Amelie, о том, как бы он сам полюбил и отдал бы себя любви женщине, то читая Montesquieu о том, как односторонне судит писатель этот о причинах духа законов и как, ежели бы он дал себе труд подумать, он, Pierre, написал бы об этом предмете другую лучшую книгу и т. д.

Но как только он останавливался на этой мысли, ему приходило в голову то, что с ним было и он говорил себе, что всё это вздор и всё равно, и не стоит того вся глупая жизнь, что〈бы〉 чем-нибудь заниматься. Как будто свернулся тот винт, на котором стояла вся его жизнь.

«Что я, для чего я живу, что творится вокруг меня, что надобно любить и что надобно презирать, что я люблю и что я презираю, что дурно, что хорошо?» — были вопросы, которые, не получая ответа, представлявшиеся ему[3]. И отыскивая ответы, он лично, одиноко, несмотря на свое малое изучение философии, проходил по тем путям мысли и приходил к тем же сомнениям, по которым проходила и старая философия всего человечества. «Что есть я, что жизнь, что смерть, какая сила управляет всем?» — спрашивал он себя. И единственный, не логический ответ на все эти вопросы удовлетворял его. Ответ этот: «только в смерти возможно спокойствие». Всё в нем самом и вокруг его во всём мире представлялось ему столь запутанным, бессмысленным и безобразным, что он боялся одного, как бы люди не втянули его опять в жизнь, как бы не вывели его из этого презрения ко всему, в котором одном находил он временное успокоение.

В одно утро он лежал, положив ноги на стол, с раскрытым романом, но погруженный в этот тяжелый, безвыходный ход мыслей, всё повертывая и повертывая этот свинтившийся винт мысли, всё так же повертывавшимся и ничего не захватывавшим[3]. Благовещенский сидел [против]

---

[2] безвыходному положению

[3] Так в автографе.

в уголке и Pierre смотрел на его чистенькую фигуру, как смотрят на угол печи. «Ничего не найдешь, ничего не придумаешь»,— говорил себе Pierre. Всё гадко, всё глупо, всё навыворот. Всё, из чего бьются люди, гроша не стоит. А знать мы можем только то, что ничего не знаем. И это высшая степень человеческой премудрости. «Не глупа эта аллегория о невозможности вкушения плода с древа познания добра и зла»,— думал он. [Но ‹когда?›]

— Захар Никодимыч! — обратился он к Благовещенскому.— Когда вас учили в семинарии, как вам объясняли значение древа познания добра и зла?

— Уж это я забыл, ваше сиятельство, но профессор был вы‹сокого?› ума...

— Ну, расскажите...— Но в это время в передней послышался голос камердинера Pierr'a, не впускающего кого-то, и тихий, но твердый голос посетителя, говоривший: «Ничего, мой друг, граф меня не выгонит и будет тебе благодарен за то, что ты впустил меня».

«Затворите, затворите дверь!» — закричал Pierre, но дверь отворилась, и в комнату вошел [быстрыми шагами] невысокого роста, худой, старый человек в парике и пудре, чулках и башмаках, с белыми, седыми бровями, особенно резко отделявшимися на его чистом [желто-бледном] старческом лице. В приемах человека этого была приятная уверенность, учтивость человека высшего света. Пьер растерянно вскочил с дивана и с неловкой улыбкой вопросительно обратился к старику. Старик, печально улыбнувшись Пьеру, оглянул беспорядочную комнату и тихим ровным голосом назвал свою нерусскую известную Pierr'y фамилию, объяснив, что он имеет переговорить с ним с глазу на глаз. При этом он взглянул на Благовещенского так, как глядят только люди, имеющие власть. Когда Благовещенский вышел, старик [усадил подле себя] сел подле Pierr'a и долго, пристально, ласкающим взглядом, молча посмотрел ему в глаза[4].

Вокруг Pierr'a были разбросаны по полу и стульям бумаги, книги и платья. На столе валялись остатки завтрака и чая. Сам Pierre был неумытый, небритый и взлохмаченный, в грязном халате. Старик был так чисто выбрит, так облегал высокий жабо его шею, так обрамлял пудренный парик его лицо [так] и чулки его сухие ноги, что [всё это] он, казалось, не мог быть иным.

— M-r le comte,— сказал он удивленно глядящему на него и испуганно запахивающему свой халат Pierr'y.— Несмотря на ваше совершенно законное удивление видеть меня, незнакомца, у вас, я должен был утрудить вас. И ежели вам угодно будет дать мне короткую аудиенцию, вы узнаете в чем дело.

Pierre почему-то с невольным уважением вопросительно смотрел чрез очки на старика и молчал.

— Слышали ли вы, граф, про братство свободных каменщиков,— сказал старичок.— Я имею счастие принадлежать, и братья мои предписали мне прийти к вам. Вы меня не знаете, но мы знаем вас. Вы любите бога, то есть истину, и любите добро, то есть ближнего, братьев своих, и вы в несчастии, унынии и горе. Вы в заблуждении и мы пришли помочь вам, открыть вам глаза и вывести на путь, который ведет к вратам обновленного Эдема.

— Ах да,— с виновной улыбкой сказал Пьер [которому хотелось поскорее отделаться от посетителя,— но, признаюсь, в настоящую минуту мало интересуюсь чем.]. Очень вам благодарен... я...— Pierre не знал, что ему сказать, но лицо и речи старичка успокоительно-приятно действовали на него[5]. Лицо старичка, оживившееся и принявшее оживленное вы-

---

[4] На полях: *Письмо его к Андрею о новой жизни.*

[5] На полях: *Он видел веру и твердое убеждение, а оно-то убеждает больше всего. Да и потом, что за беда — всё равно.*

ражение, в то время как он начал говорить о каменщичестве, опять стало холодно и сдержанно учтиво.

— Очень благодарен... но оставьте меня в покое,— сказал старичок, по-своему доканчивая фразу Pierr'a. Он улыбнулся и вздохнул, своим твердым, полным жизни взглядом упорно глядя в растерянные глаза Пьера, и, странно, Пьер в этом взгляде почувствовал надежду на успокоение. Он чувствовал, что для этого старичка мир не был безобразною толпою, не освещенный светом истины, но, напротив, стройным величественным целым.

— Ах, нет, совсем нет,— сказал Pierre.— Напротив, я только боюсь, насколько я слышал и читал о масонстве, что я очень далек от понимания его.

— Не бойтесь, брат мой. Бойтесь одного всемогущего Творца. Говорите прямо все свои мысли и сомнения,— сказал старичок, спокойно и строго, опять покидая тон учтивости и входя в тон одушевления.— Никто один не может достигнуть до истины, только камень за камнем, с участием всех, миллионами поколений от праотца Адама и до нашего времени воздвигается храм Соломона, который должен быть достойным жилищем великого Бога. Ежели я знаю что-нибудь, ежели я дерзаю, сам ничтожный раб, приходить на помощь ближнему, то только оттого, что я есть составная часть великого целого, что я есмь звено невидимой цепи, начало которой пропадает в небесах.

— Да... я... да отчего же?..— сказал Pierre.— Я бы желал знать, в чем состоит истинное франкмасонство [спросил]. Какая цель его? — спросил Pierre.

— Цель? Воздвижение храма Соломона — познание [мудрости] натуры. Любовь к богу и любовь к ближнему.— Старичок замолчал с таким видом, что надо долго обдумывать сказанные слова. Они помолчали минуты 2.

— Но это цель христианства,— сказал Pierre. Старичок не отвечал.

— И какое же познание натуры? [Отчего оно достигается обществом, а не единично? [Никогда] Я бы был более способен,— сказал Pierre,— понять и полюбить учение, которое бы мне показало стройность мира. Как теперь я сомневаюсь, и мучаюсь и сомневаюсь теперь,— говорил он, поощряемый выражением кроткого и снисходительного участия, которое было на лице его собеседника. [— Скажите мне ясно и прямо, что такое масонство]] И какими путями вы дошли до того, чтобы достигать в мире осуществление вашей троякой цели — любви к Богу, к ближнему и к истине? [тогда как в моих глазах мир представлен, сколько я ни стараюсь видеть иначе, представляется собранием сил, сталкивающихся друг с другом и пожирающих одна другую]. Мне кажется, это невозможно.

Старичок кивал головой, как бы одобривая каждое слово Pierr'a. На последних словах он остановил Pierr'a, входившего в умственное, раздраженное одушевление.

— Разве ты не видишь в природе, что силы эти не пожирают одна другую, а сталкиваясь, производят гармонию и благость.

— Да, но,— начал Pierre.

— [Вижу. Да, но гармония всё же это только внешняя, частная, да, элементы сходятся.] Да, но в мире нравственном,— перебил его старичок,— ты не видишь этой гармонии, ты видишь, что элементы сходятся, чтобы произвести произрастание, произрастание служит для того, чтобы напитать животное, а животные без цели и следа пожирают одно другое. И человек, кажется тебе, губит вокруг себя всё для удовлетворения своей похоти и под конец всё не знает своей цели, к чему и зачем он живет.

— Да, нет, да,— сказал Pierre,— всё более и более чувствуя уважение к этому старичку, угадывавшему и высказывавшему его мысли.

— Живет, чтобы понять Бога, своего творца — сказал старичок, опять молчанием подчеркивая свои слова.

— Я... вы не думайте, что это так из моды... я не верю, не то, что не верю, я не знаю Бога,— с сожалением и с усилием сказал Pierre, чувствуя необходимость сказать всю правду и пугаясь, что он говорит.

Старичок улыбнулся, как улыбнулся бы богач, держащий в руке 1000-чи, бедняку, который бы сказал ему, что нет у него, у бедняка, 5 рублей и он чувствует, что невозможно достать их.

— Да, вы не знаете его, граф,— сказал старичок, переменяя тон и покойно усаживаясь и доставая табакерку.— Вы не знаете его, оттого вы и несчастны, оттого мир для вас есть груда развалин, валящихся и разрушающихся одни на другие.

— Да, да,— сказал Pierre тоном нищего, который подтверждает заявление богача о его бедности.

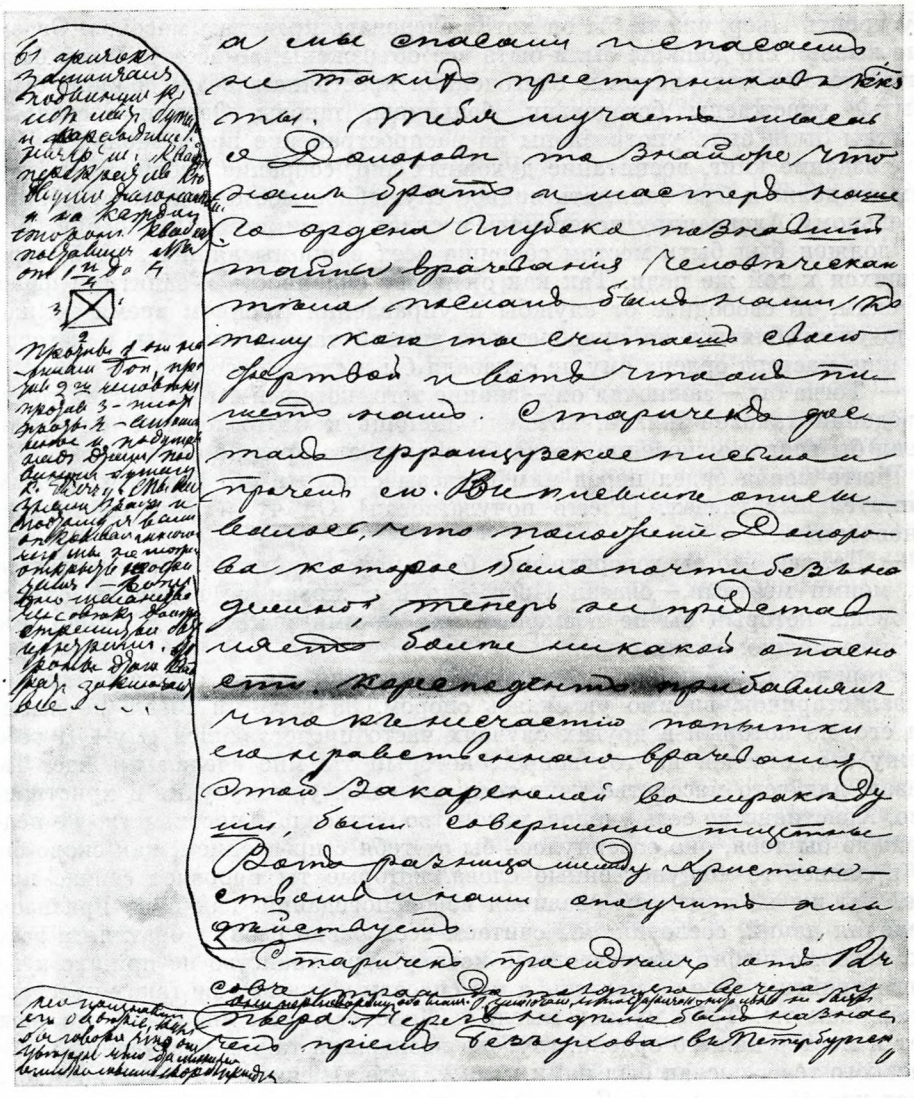
— Вы не знаете его, граф, вы очень несчастны, а мы знаем его и служим ему и в этом служении обретаем высочайшее блаженство не только в загробной жизни (которой вы тоже не знаете), но и в этом мире. Многие говорят, что знают его, но они еще не вступили на первую ступень этого знания. Ты не знаешь его. А он здесь, он во мне, он в моих словах, он в тебе и даже в тех кощунствующих речах, которые ты произнес сейчас,— дрожащим голосом сказал старичок. Он помолчал. Но познать его трудно. Мы работаем для этого познания и в работе этой находим высшее счастие на земле.

— Но в чем же состоит она, эта работа?

— Ты сказал сейчас, что цель наша есть та же, что и цель христианства. Отчасти это справедливо, но цель наша определена еще до воплощения Сына Божия. Мастера нашего ордена были у египтян, халдеев и древних евреев.

Как ни странно было то, что говорил старичок, как в душе своей ни смеялся прежде Pierre над этим родом масонских суждений, которые ему прежде доводилось слышать с упоминанием халдеев и таинств натуры, но теперь он с замиранием сердца слушал старичка и уже не спрашивал его, а верил тому, что он говорил. Он верил не тем разумным доводам, которые были в речи старичка, а верил, как верят дети интонациям убежденности и сердечности, которые были в его речи. Он верил тому дрожанию голоса, с которым старичок выразил сожаление о незнании Бога Pierr'ом, он верил этим блестящим старческим глазам, состарившимся на том же убеждении, он верил тому спокойствию и жизнерадостности, которые светились из всего существа старичка, которые особенно сильно поражали его в сравнении с своей опущенностью и безнадежностью. Он верил той силе огромного общества людей, связанных веками одной мыслью, которой старичок был 30-летним представителем.

— Открыть профану таинство нашего ордена невозможно. Невозможно потому, что знание этой цели достигается только работами, медленно подвигающими истинного каменщика от одной ступени знания к другой, более высокой. Постигнуть всё — значит постигнуть всю мудрость, коею обладает орден. Но мы давно следили за тобой, несмотря на жалкое твое невежество и мрак, застилающий свет души твоей. Мы решили избрать тебя и спасти от самого себя. Ты говоришь, что мир состоит из падающих и давящих одна другую развалин. И это справедливо. Ты один есть сия развалина. Что ты? — И старичок начал излагать Пьеру всю его жизнь, его обстановку и его свойства, ничего не скрашивающими прямыми и сильными словами.— Ты богат, десять тысяч человек зависят от твоей воли. Видел ли ты их, узнал ли ты об их нуждах, позаботился ли, подумал ли о том, в каком положении находятся их тело и душа, помог ли ты им, в чем состояла твоя прямая и священная обязанность найти пути для достижения царства божия? Осушил ли ты слезы вдов и сирот; любил ли ты сердцем их хоть одну минуту? Нет. Пользуясь плодами их трудов, ты предоставил их воле своекорыстных и невежественных людей, и ты говоришь, что мир есть падающая развалина. Ты женился и взял на себя



СТРАНИЦА РУКОПИСИ 103

Текст под диктовку рукой Е. А. Берс с поправкой Толстого. Вставка на полях — автограф

ответственность в руководстве молодого и неопытного существа, и что же ты сделал, думая только об удовлетворении своих радостей?..

Как только старичок упомянул о жене, Pierre багрово покраснел и начал сопеть носом, желая перебить его речь, но старичок не допустил.

— Ты не помог ей найти пути истины, а ввергнул ее в пучину лжи и разврата. Человек оскорбил тебя, и ты убил его или хотел убить его. Общество, отечество твое дало тебе счастливейшее и высшее положение в государстве. Чем ты отплатил ему за эти блага? Старался ли ты в судах держать сторону правосудия или достигать близости к престолу царя для того, чтобы защищать правду и помогать ближнему? Нет, ты ничего этого не сделал, ты отдался самым ничтожным страстям человеческим, окружил себя презреннейшими льстецами, и когда несчастие показало тебе всю ничтожность твоей жизни, ты обвиняешь не себя, а премудрого Творца, которого ты не признаешь, для того, чтобы не бояться Его.

Pierre молчал. Описав мрачными красками его прошедшую жизнь, старичок перешел к описанию той жизни, которую должен бы был вести

и устроить Пьер, ежели бы он хотел следовать правилам масонов. Огромные имения его должны были быть все объезжены, во всех должны были быть сделаны материальные благодеяния крестьянам, везде должны были ⟨быть⟩ учреждены богадельни, больницы, школы. Огромные средства должны были быть употреблены на распространение просвещения в России, издание книг, воспитание духовных лиц, собрание библиотек и т. п. Сам он должен был занимать видное служебное место и помогать благодетельному Александру искоренять в судах лихоимство и неправду. Дом его должен был быть местом сборища всех единомыслящих людей, стремящихся к той же цели. Так как он имеет склонность к занятиям философским, то свободное от службы и управления имением время должно было употребляться на приобретение знаний таинств натуры, в котором высшие мастера ордена ему не отказали бы в своем пособии.

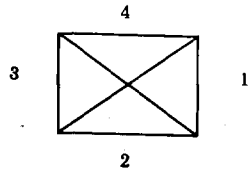
— Тогда бы,— заключил он,— знание того, который бы руководил тобою в ведении таковой жизни, которого помощь и благословение ты чувствовал бы всякое мгновение, тогда бы знание это пришло само собою.

Pierre молча сидел перед ним и слезы стояли в его больших, умных, внимательных глазах. [Pierre почувствовал] Он чувствовал себя вновь обновленным.

— Да, всё, что вы говорите мне, было моими единственными желаниями, моими мечтами,— сказал Пьер,— но я в жизни не видел ни одного человека, который бы не посмеялся над такими мыслями. Я думал, что это невозможно, ежели бы...

Старичок перебил его.— Почему же мечтания эти не осуществились,— сказал старичок, видимо увлекаясь спором, на который Pierre не вызывал его, но который в других случаях часто представлялся ему.— Я тебе скажу это, отвечая на тот вопрос, который ты мне сделал прежде. Ты сказал, для чего масонство учит тому же самому, чему учит и христианство. Христианство есть учение, масонство есть сила. Христианство не поддержало бы тебя, оно отвернулось бы от тебя с презрением, как скоро бы ты произнес те кощунственные слова, которые ты произнес сейчас при мне. Мы же не признаем различия вероисповеданий, как и не признаем различия наций, сословий; мы считаем всех равно своими братиями, всех тех, которые любят человечество и истину. Христианство не пришло и не могло прийти к тебе на помощь, а мы спасали и спасаем не таких преступников, как ты. Тебя мучает мысль о Долохове. Так знай же, что наш брат и мастер нашего ордена, глубоко познавший тайны врачевания человеческого тела, послан был нами к тому, кого ты считаешь своей жертвой, и вот что он пишет нам. Старичок достал французское письмо и прочел его. В письме описывалось, что положение Долохова, которое было почти безнадежно, теперь не представляет более никакой опасности. Корреспондент прибавлял, что, к несчастию, попытки его нравственного врачевания, этой закоренелой во мраке души, были совершенно тщетны. Вот разница между христианством и нами.

Старичок замолчал, подвинул к себе лист бумаги и карандашом начертил квадрат, перекрестив его двумя диагоналями, и на каждой стороне квадрата поставил №-а от 1-го до 4.



Против 1 он написал — бог, против 2-го — человек, против 3 — плоть, против 4 — смешанное и, подумав над этим, подвинул бумагу к Pierr'у. Мы не знаем, граф, и поэтому я вам открываю многое, чего мы не знаем

и не можем открыть неофитам. Вот оно, масонство. Человек должен стремиться быть центром. Стороны этого квадрата заключают все...

Старичок просидел от двенадцати часов утра до позднего вечера у Пьера. Они переговорили обо всем. Pierre замечал, что старичок не только не боялся, не признавал его безверие, как бы говоря, что он уверен, что эта минутная ошибка мысли скоро пройдет.

Через неделю был назначен прием Безухова в [ложу Северного сияния] Петербургскую ложу 〈*1 нрзб.*〉 Ищущих Манны.

〈XXVII〉

Дело Pierr'a с Долоховым было замято, и, несмотря на строгость государя в то время в отношении дуэли, ни оба противника, ни их секунданты не пострадали. Но история дуэли, подтвержденная разрывом Пьера с своей женой, разглашалась в обществе и дошла до слуха самого государя. Пьер, на которого смотрели снисходительно, покровительственно, когда он был незаконным сыном, которого ласкали и прославляли, когда он был лучшим женихом в Российской империи, после своей женитьбы, когда невестам и матерям нечего было ожидать от него, сильно потерял во мнении общества, тем более, что он не умел и не желал заискивать общего благоволения[1]. Теперь его одного обвиняли в происшедшем, говорили, что он бестолковый ревнивец, подверженный таким же кровожадным бешенствам, как и его отец. Князь Василий уже по письмам дочери из Москвы узнал, что его зять в Петербурге, отыскал его и написал записку, призывая к себе. Пьер ничего не ответил и не поехал. Князь Василий сам приехал к нему вскоре после посещения масона. Пьер всё это время никого не видел, кроме итальянца, новых друзей своих масонов и целые дни проводил за чтением их книг, перейдя от состояния апатии к страстному любопытству узнать, что же такое было это масонство. Он был принят Compagnen[2], он прошел испытание, он давал пожертвования, он слышал речи, и хотя и не мог ясно понять, чего они хотели, он чувствовал душевное успокоение [и, главное], надежду совершенствования, главное, подчинение чему-то и кому-то неизвестному и освобождение от своей необузданной воли. Он ждал только последствий четвергового собрания ложи, для того чтобы прочесть свои предположения о работах в деревне, и собирался ехать приводить их в исполнение. Он был занят переписыванием набело своей речи, когда вошел князь Василий.

— Мой друг, ты в заблуждении,— это были первые слова, которые он сказал ему, входя в комнату.— Я всё узнал и могу тебе сказать верно, что Элен невинна перед тобой, как Христос перед жидами.— Пьер хотел отвечать, но он перебил его.— Я всё понимаю, я всё понимаю,— сказал он,— ты вел себя как прилично человеку, дорожащему своею честью; может быть, слишком поспешно, но об этом мы не будем судить. Одно ты пойми, в какое ты ставишь положение ее и меня в глазах всего общества и даже двора,— прибавил он, понизя голос.— Полно, мой милый,— он потянул его вниз за руку,— всякому греху прощение; будь добрым малым, каким я тебя знал. Напиши сейчас со мною письмо, и она приедет сюда, и все эти толки кончатся, а то я тебе скажу, ты очень легко можешь пострадать, мой милый. Мне из хороших источников известно, что вдовствующая императрица принимает живой интерес во всем этом деле. Ты знаешь, она очень любила Элен еще в девушках.

Несколько раз Пьер собирался говорить, но, с одной стороны, князь Василий не допускал его до этого, поспешно перебивая разговор, с другой стороны, сам Пьер боялся начать говорить не в том тоне решительного отказа и несогласия, в котором он твердо решился отвечать своему тестю. Он морщился, краснел, вставал и опускался, работая над собою в самом

---

[1] На полях: *Pierre главное весел и рассеян.*

[2] в члены Общества

трудном для него в жизни деле — сказать неприятное в глаза человеку, сказать не то, что ожидал этот человек, кто бы он ни был. Он чувствовал, что от первого слова его зависела теперь его судьба. Он так привык повиноваться этому тону небрежной самоуверенности князя Василия, что и теперь он чувствовал, что не в силах он будет противустоять ей. Он чувствовал, однако, что от того, что он скажет сейчас, будет зависеть вся дальнейшая судьба его: пойдет ли он по старой, прежней дороге, или по той новой, которая так привлекательно была указана ему и на которой, он твердо верил, что найдет возрождение к новой жизни.

— Ну, мой милый,— шутливо-весело и самоуверенно сказал князь Василий,— скажи же мне «да», и я от себя напишу ей, и мы убьем жирного тельца.— Но князь Василий не успел договорить своей шутки, как Пьер с бешенством в лице, которое действительно напоминало его отца, не глядя в глаза собеседнику, проговорил тихим шёпотом.

— Князь, я вас не звал к себе, идите, идите! — Он вскочил и отворил для него дверь.— Идите же! — повторил он, сам себе не веря и радуясь выражению смущенности и страха, показавшемуся на лице князя Василия.

— Что с тобой? Ты болен.

Идите! — еще раз проговорил угрожающий голос. И князь Василий должен был уехать, не получив никакого объяснения.

На другой день Пьер получил записку от Анны Павловны Шерер, приглашавшую его непременно побывать к ней[3] нынче вечером между 7 и 8 часами для очень важных переговоров и сообщения ему радостного известия о князе Андрее Болконском. Пьер и все в Петербурге считали князя Андрея убитым.

В записке приписывалось, что, кроме его, у Анны Павловны никого не будет[4]. Пьер догадался вследствие этой приписки, что Анне Павловне уже было известно его вчерашнее свидание с тестем, что нынешнее свидание имело целью только продолжение вчерашнего, и что известие о князе Андрее была только приманка; но, убедив себя тем, что при новой его жизни ему не нужно бояться людей, что, вероятно, что-нибудь и правда о известии, касавшемся князя Андрея, он в первый раз после своей дуэли выбрился, надел фрак и поехал в далекое общество. Он был весел и сдержан. Как бы подтрунивая над всем миром, зная истину.

С того первого вечера, как Пьер так неуместно защищал Наполеона в гостиной Анны Павловны, прошло много времени. Первая коалиция была уничтожена, сотни тысяч людей погибли под Ульмом и Аустерлицем. Буонапарте, столь возмущавший Анну Павловну своей дерзостью присоединения Генуи и надевания себе на голову сардинской короны, Буонапарте этот с тех пор посадил своих двух братьев королями в Европе, предписывал законы всей Германии, был признан императором всеми европейскими дворами, кроме России и Англии, уничтожил в две недели прусскую армию под Иеной, вступив в Берлин, взял понравившуюся ему шпагу Фридриха Великого и отослал ее в Париж (это последнее обстоятельство более всех других раздражало Анну Павловну) и, объявив войну России, обещался уничтожить ее новые войска, так же как и под Аустерлицем. Анна Павловна же давала в свободные дни у себя такие же вечера, и точно так же, как и прежде, подшучивая над Наполеоном, и недоумевающе гневалась на него и на всех европейских государей и полководцев, которые, как ей казалось, нарочно согласились потворствовать Наполеону, чтобы сделать ей и вдовствующей императрице эту нравственную неприятность и огорчение. Но Анна Павловна и ее высокая покровительница считали себя выше такого поддразнивания.— Тем хуже для них,— говорили они и все-таки высказывали приближенным свой на этот счет непритворный образ мыслей.

---

[3] Так в автографе.

[4] На полях: *Hélène уже в Бартенштейне. Государь обласкал ее на бале и спрашивал о нем. Он бы мог сделать карьеру. Pierre весело отшучивается.*

В тот вечер, когда Пьер взошел на крыльцо Анны Павловны, его встретил тот же придворный лакей, с тем же значительным и торжественным видом отворил дверь и провозгласил его имя, когда он входил по ковру в ту же бархатную масака гостиную, в которой на том же кресле, с тем же безучастным видом сидела безмолвная тетушка, во всех своих чертах и позе олицетворяя тихую и преданную печаль о безбожных успехах Буонапарта.

Анна Павловна, столь же твердая и несомненная в своих приемах, вышла к Пьеру и особенно ласково подала ему свою желтую, сухую руку.

— О! как вы переменились,— сказала она ему,— и к лучшему, значительно к лучшему. Очень благодарна, что вы приехали. Вы не будете раскаиваться в том, но прежде, чем я скажу вам ту новость, которою должна обрадовать вас, я еще должна прочитать вам проповедь.

— Жив он? — нетерпеливо спросил Пьер и на лице его отразилось то выражение молодой любви и счастия, которого не было на нем со времени его женитьбы.

— После! После! — шутливо проговорила Анна Павловна.— Если вы будете послушны к моим проповедям, то я вам скажу эту новость.

Пьер нахмурился.— Я не могу этим шутить,— сказал он.— Вы не знаете, что для меня этот человек. Жив ли он?

— Пилад ваш жив,— с легким презрением сказала Анна Павловна,— но помните, с каким условием я говорю вам это и скажу еще все подробности о нем. Вы должны меня слушать, как духовника, и исполнить мои советы, но надеюсь, что вы не такой страшный спорщик, как бывали прежде. Женитьба, по моим наблюдениям, весьма формирует характер людей, надеюсь, что и на вас она подействовала также, особенно зная характер нашей милой Элен.

Пьер же, к удивлению своему, почувствовал себя необыкновенно твердым и спокойным ввиду предстоящих увещеваний. Сознание того, что у него есть цель и надежды в жизни, давали ему эту твердость. Он в первый раз после принятия своего в братство примеривал себя к обыденным условиям жизни и чувствовал себя необыкновенно выросшим. Он не боялся на себя влияния Анны Павловны, притом он был радостно возбужден неожиданным известием о возвращении к жизни своего друга.

— Вот Экзард,— сказал он, улыбаясь своей доброй улыбкой,— ожидаю речи. Пьера занимала вместе с тем мысль, каким образом придворная Анна Павловна коснется запрещенной и строго осуждаемой при дворе дуэли. Он удивился, каким образом Анна Павловна могла с ним говорить так кротко и дружелюбно после его столь не придворного поступка. Он не понимал еще того, что, хотя Анна Павловна знала все малейшие подробности его дуэли, она игнорировала их, то есть признавала эту дуэль не существовавшей. Она говорила только об отношении Пьера к жене. Когда Пьер неосторожно заметил ей, что он готов подвергнуться всем последствиям своего поступка, но что он не изменит своему решению расстаться с женой, она с вопросительным недоумением посмотрела на него, как бы спрашивая его, о каком он говорит поступке, и поспешно прибавила: — Мы, женщины, не можем и не хочем[5] знать ни о каких других поступках, как о тех, которые делаются в отношении нас. Несмотря на трогательные увещания и доводы Анны Павловны, как убит старик отец князь Василий, как предана своей судьбе и наклонностям молодая женщина, оставленная мужем, какой вред репутации его делает эта разлука, которая не может быть вечна, потому что Элен заставит его воротиться к себе. На все эти доводы Пьер [отвечал], краснея и нерешительно улыбаясь, решительно отвечал одно, что он не в силах и не может переменить своего решения.

---

[5] Так в автографе.

Пьер, удерживаемый своим прирожденным уважением к женщине, соединившимся у него с некоторым презрением к ней, не мог [Пьер не сердился, но, невольно впадая в придворный, светский тон французской болтовни, более отшучиваясь, чем серьезно, отвечал на доводы Анны Павловны. Притом, как видно, и Анна Павловна не интересовалась успехом своей негоциации. Ее увещания кончились тем, что она просила Пьера не говорить, что он никогда не сойдется с женой, не распускать слух о их размолвке и еще подумать.] рассердиться, но ему становилось тяжело.

— Оставимьте этот разговор, он ни к чему не приведет нас.

Анна Павловна задумалась.

— Ах! подумайте, мой друг,— сказала она, подняв глаза к небу.— Подумайте, как страдают и переносят свои страдания лица, особенно женщины, и очень высокопоставленные,— сказала она, принимая то грустное выражение, которое сопутствовало ее речам о высочайших особах.— Ежели бы вы, так же как и я, могли видеть целую жизнь некоторых женщин или скорее ангелов неба, страдающих, но не ропщущих от несчастия брака,— и слезы выступили на ее восторженные глаза.— Ах, мой милый граф, вы имеете дар увлекать меня,— сказала она слова, которые она говорила всем, кого хотела обласкать, и протянула ему руку.— Я бог знает, что говорю,— сказала она, как бы смеясь над своею восторженностию и опоминаясь. Пьер обещался ей подумать, не разглашать своего разрыва, но умолял сообщить всё то, что она знала о его друге. Родные Лизы Болконской получили известие, что он был ранен, лечился от своей раны в немецкой деревне и, совершенно выздоровев, ехал в деревню. Известие это обрадовало Pierr'a тем более теперь, когда он, воскреснув к новой жизни, не раз грустил о потере лучшего друга, с которым он так желал разделить новые мысли и взгляды на жизнь. «Это и не могло быть иначе,— подумал он.— Такой человек как André не мог погибнуть. Ему еще столь многое предстояло».

Pierre хотел откланяться, но Анна Павловна не отпустила его и из уединенного уголка, в котором происходил их разговор, заставила вместе с ней присоединиться к гостям [в гостиной у чайного стола], собранным тремя кружками, из которых два очевидно были составлены кое из кого, а один, у чайного стола, составлял центр, в котором сгруппировано было всё высшее и значительнейшее. Там были звезды, эполеты и посланник. В первом кружке Pierre нашел больше пожилых людей, между которыми один незнакомый ему мужчина заставлял себя слушать больше других. Pierre был знаком со всеми, и все его встретили так, как будто они его видели вчера. С незнакомым Анна Павловна познакомила Pierr'a, назвав иностранную фамилию и шепнув: «un homme de beaucoup d'esprit très profond» [6].

Речь шла о только что полученной в Петербурге просьбе Каменского главнокомандующему об отставке.

— Каменский совершенно сошел с ума,— говорилось тут.— Бенигсен и Буксгевден на ножах, ссорятся, армией управляет один бог. Чего же вам лучше [7]. Вот что он пишет к государю [и он продиктовал письмо, ходившее по рукам в Петербурге]: «Стар я для армии, ничего не вижу, ездить верхом почти не могу, но не от лени, как другие, мест на ландкартах отыскивать совсем не могу, а земли не знаю. Дерзаю поднести на рассмотрение малейшую часть переписки в шести бумагах состоящую, которую должен был иметь одним днем, чего долго выдержать не могу, для чего дерзаю испрашивать себе перемены».— И это главнокомандующий.

---

[6] человек большого и очень глубокого ума

[7] На полях: *Разговор о табакерке алмазной Гарденбергу с азартом. Пруссия изменила в 1805. Австрия теперь. Наполеон есть явление, чтобы уничтожить власть, проистекающую не от бога, говорит масон.*

— Но кого же было назначить,— перебила Анна Павловна, как бы защищая от нападок, которые на нее делали.— Где же у нас люди. Как будто отсутствие людей было тоже одно из поддразниваний, направленных против Марии Федоровны.— Кутузова? — сказала она, и улыбка ее навсегда уничтожила Кутузова.— Он хорошо показал себя.— Прозоровский? У нас нет людей. Кто виноват в этом?

— Quo vult perdere — dementat[8],— сказал l'homme à l'esprit profond[9].— У нас много причин, чтобы не иметь людей,— сказал он.— Одни молоды чином, другие низки званием, третьи не успели получить милость государя, а там наружу вызваны лучшие силы революции[10].

— Так вы говорите,— подхватила Анна Павловна,— что силы революции должны восторжествовать над нами, защитниками старого порядка.

— Избави меня бог это думать,— отвечал мудрец,— но очень может быть, что значение Буонапарте, еще темное для нас, будет яснее для потомства. Он призван для того, может быть, чтобы уничтожить те царства, которые не угодны были богу, и показать нам ясно, как тщетно величие мира сего.— И l'homme à l'esprit profond стал говорить о предсказаниях Юнга Штиллинга о значении апокалипсического числа четыре тысячи четыреста сорок четыре и о том, что в Апокалипсисе именно предсказано явление Наполеона, и что он есть антихрист.

[Pierre, уже готовившийся сделать масонский знак сочинителю, раздумал, услыхав эти рассуждения. «Я спрошу в своей ложе благодетеля»,— подумал он[11].]

— Я не по книгам дошла до этого,— возразила Анна Павловна,— но сначала поняла чувством, что он не человек, и я в вольнодумстве своем часто сомневалась в том, не противоречит ли христианскому учению обряд проклятия его, но теперь чувствую, что мои мольбы и проклятия от всей души сливаются с проклятиями, которые предписаны теперь читать в церквах; да, это антихрист, я верю этому, и когда подумаю, что это страшное существо имело дерзость предлагать нашему императору вступить с ним в союз и переписываться, как любезный брат... Об одном молю бога, что ежели не дано Александру как Георгию подавить главу этого змия, чтобы никогда, по крайней мере, не унизились мы до признания его равным себе. Я знаю, по крайней мере, что я не перенесу этого[12].— И с этими словами, кивнув, Анна Павловна перешла к другому кружку преимущественно дипломатическому, в котором Pierre узнал Mortemart'а теперь уже в русском гвардейском мундире, [Mortemart уже 8-й месяц собирался проливать кровь.] Mortemart на днях собирался ехать

---

[8] Кого бог хочет погубить — лишает разума (*лат.*).

[9] человек глубокого ума

[10] На полях: *Vienne trouve les bases du traité de Bartenstein hors d'atteinte, qu'on ne saurait y parvenir même par une continuité des succès les plus brilliants et elle mêt en doute les moyens qui pourraient nous les procurer.*

Донесение графа Разумовского, redigé par Bilibine, от 24 мая. Répétez à chaque occasion que l'empereur entièrement persuadé que ce n'est que la force qui puisse ramener Bonaparte (*изменение Билибина после Венского моста привилось*) *à la raison ne ralentira pas ses efforts dans la présente guerre, quand même la convocation du Congrès en question devrait avoir lieu.*

Pour le Roi de Prusse.

‹Вена находит основания договора в Бартенштейне до того невозможными, что достигнуть их нельзя даже рядом самых блестящих успехов, и она сомневается в средствах, которыми можно добиться этих успехов.

‹Донесение графа Разумовского›, отредактированное Билибиным, от 24 мая. Повторяйте при каждом случае, что император, убежденный, что только сила может образумить Бонапарта, ‹(изменение Билибина после Венского моста привилось)› не ослабит напряжения в настоящей войне, если даже и состоится конгресс, о котором идет речь. Для прусского короля.›

[11] На полях: *Pierre всё ищет, как между ними устроить братство.*

[12] На полях: *Письмо князя Андрея. Гердер. Желчь отчаяния и раскаяния.*

У князя Андрея свое имение недалеко. Отец отделил женино. Он отстроился, но в 7-м году переехал.

в русскую армию, Ипполита, недавно прибывшего из Вены, и Бориса, того самого, который так понравился ему своим откровенным объяснением в Москве. Борис за это время своей службы, благодаря заботам Анны Михайловны и свойствам своего приятного умеренного характера, успел поставить себя в самое выгодное положение по службе. Он находился при князе Волконском, и теперь был послан в армию и только что возвратился оттуда курьером. Он имел несколько возмужавший, [но тот же] но еще более приятный, спокойный вид. Он, видимо, вполне усвоил себе эту понравившуюся ему неписанную субординацию, по которой прапорщик мог стоять без сравнения выше генерала. И теперь он в гостиной Анны Павловны посреди чиновных и важных лиц, несмотря на свой малый чин и молодые года держал себя необыкновенно просто и достойно. Pierre радостно поздоровался с ним и прислушался к общему разговору. Речь шла о последних известиях, полученных из Вены, и на Венский кабинет, отказывавший нам в содействии, сыпались укоризны.

— Vienne trouve les bases de traité proposé tellement hors d'atteinte, qu'on ne saurait y parvenir même par une continuité de succès les plus brillants, et il mêt en doute les moyens qui pourraient nous les procurer». C'est la phrase authentique du Cabinet de Vienne[13],— говорил первоприсутствующий в дипломатическом кружке шведский chargé d'affaires[14].

— C'est le doute qui est flatteur[15],— сказал он ⟨с⟩ тонкой улыбкой.

— Il faut distinguer entre le cabinet de Vienne et l'empereur d'Autriche[16],— сказал Mortemart.— L'empereur n'a jamais pu penser une chose pareille, ce n'est que le cabinet qui le dit[17].

— Eh, mon cher Vicomte,— нашла нужным вмешиваться Annette,— l'Europe[18] (она почему-то выговаривала l'Urope, как особенную тонкость французского языка, которую она могла себе позволить, говоря с французом),— l'Urope ne sera jamais notre alliée sincère. Le roi de Prusse ne l'est que pour le moment. Il tend une main à la Russie et de l'autre il écrit la fameuse lettre à Bonapart, dans laquelle il lui demande s'il est content de la réception qu'il a reçu au palais de Potsdame. Non, ça me passe, c'est inouï[19].

«Все то же, как и два года тому назад»,— подумал Pierre, в то время как ему захотелось высказать Анне Павловне свое мнение на этот счет, но то обстоятельство, что тон и смысл разговоров был всё тот же, удержало его. Он, внутренне смеясь, обратился к Борису, желая переулыбнуться с кем-нибудь, но Борис как бы не понял его взгляда и не ответил ему улыбкой. Он внимательно, по-ученически, вслушивался в разговор старших.

Как только произнесено было слово roi de Prusse[20], Ипполит начал морщиться и волноваться, сбираясь что-то сказать и останавливаясь.

— Cependant c'est un allié[21],— сказал кто-то.

— Le roi de Prusse? — спросил Ипполит и засмеялся.

— Voilà le jeune homme qui a vu de ses propres yeux les restes de

---

[13] Вена находит основания предлагаемого договора до такой степени невозможными, что достигнуть их нельзя даже рядом самых блестящих успехов, и она сомневается в средствах, которыми эти успехи могут быть достигнуты. Таково подлинное мнение Венского кабинета.

[14] поверенный в делах

[15] Это сомнение лестно.

[16] Необходимо различать венский кабинет и австрийского императора.

[17] Император никогда не мог этого думать, это говорит только кабинет.

[18] Ах, мой милый виконт, Европа

[19] Европа никогда не будет нашею искреннею союзницей. Прусский король лишь временно наш союзник. Он протягивает России одну руку, а другой пишет свое знаменитое письмо Бонапарте, в котором спрашивает, был ли он доволен приемом, оказанным ему в Потсдамском дворце. Нет, разум отказывается в этом разобраться, это невероятно.

[20] прусский король

[21] Однако это союзник

l'armée prussienne, peut vous dire que ce n'est moins que rien[22],— сказала Анна Павловна, указывая на Бориса. Борис, на которого обратились глаза, спокойно подтвердил слова Анны Павловны и даже на минуту завладел общим вниманием, рассказав то, что он видел в крепости Глогау, куда он был посылан[23].

Разговор замялся на мгновение. Анна Павловна уже начала что-то говорить, когда Ипполит перебил ее и извинился. Она уступила ему слово, но он опять извинился и, смеясь, замолчал.

— C'est l'epée de Frédéric le Grand[24],— начала было Анна Павловна, но Ипполит опять перебил ее словами: «le roi de Prusse» и опять извинился. Анна Павловна решительно обратилась к нему, прося его высказать. Ипполит засмеялся.

— Non, ce n'est rien, je voulais dire seulement...— он засмеялся, повторяя шутку, которую он слышал в Вене и которую он целый вечер сбирался поместить,— je voulais dire que nous avons tort de faire la guerre pour le Roi de Prusse[25] (по-французски faire la guerre pour le Roi de Prusse значит: из-за пустяков[26]).

Pierre сморщился: глупое лицо Ипполита так болезненно напоминало ему Hélène. Кое-кто засмеялся. Борис осторожно улыбнулся так, что его улыбка могла быть отнесена к насмешке или к одобрению шутки, смотря по тому, как будет принята она.

— Il est très mauvais votre jeu de mot. Très spirituel, mais injuste,— грозя желтым [пальцем] пальчиком, сказала Анна Павловна.— Nous ne faisons pas la guerre pour le roi de Prusse, mais pour les bons principes pour la legion. Ah, le méchant ce prince Hippolyte[27],— сказала она и отошла к главнейшему кружку, уведя за собой Pierre, которого она не отпускала от себя. Борис последовал за ними. Pierre [знал] давно не был в свете, и ему интересно было узнать то, что делалось теперь. Ежели он узнал много интересного из разговоров этих двух кружков, то, подходя к третьему, центральному, и замечая то оживление, с которым шел в нем разговор, он [был убежден] надеялся тут услышать всё самое важное и интересное.

— On dit que Gardenberg recevera une tabatière ornée de diamants, le comte N. le grand cordon Sainte Anne[28],— говорил один.

— Je vous demande pardon: une tabatière avec le portrait de l'Empereur est une récompense, mais point une distinction et c'est pourquoi[29],— говорил другой.

— L'Empereur envisage la chose autrement[30],— строго перебил другой.— Et puis il y a eu des antécédents, je vous citerai le comte Schwarzemberg à Vienne[31].

— Mais M-r le comte, c'est impossible[32],— возразил ему другой. [В одно и то же время одушевленные голоса говорили о том же событии ⟨пожалования?⟩ алмазной табакерки прусскому министру.]

---

[22] Вот молодой человек, который видел собственными глазами остатки прусской армии, он может вам сказать, что от нее ничего не осталось.

[23] Так в автографе.

[24] Это шпага Фридриха Великого

[25] Нет, ничего, я только хотел сказать, я хотел сказать, что мы воюем напрасно.

[26] В автографе (Рукопись 103, вставка к л. 206) это замечание вынесено в подстрочное примечание. При переписке (л. 256об.) С. А. Толстая вписала это в основной текст в скобках, и Толстой, правя рукопись, внес ее исправление — оставил эти слова в тексте.

[27] Ваша игра слов не хороша, очень остроумна, но несправедлива. Мы не воюем pour le roi de Prusse, а за добрые начала. О, какой злой этот князь Ипполит.

[28] Говорят, что Гарденберг получил табакерку, украшенную брильянтами, граф Н. Анненскую ленту 1-й степени.

[29] Извините, табакерка с портретом императора есть награда, а не отличие.

[30] Император иначе на это смотрит.

[31] Были примеры и в прошлом, назову вам графа Шварценберга в Вене.

[32] Но, граф, это невозможно.

— Oui, c'est positif[33],— грустно вмешалась Анна Павловна, присаживаясь, и все горячо заговорили вдруг. На Pierr'а нашло в это время одно из тех заблуждений чувств, что [все говорящие перед вами только тени, картины, а не живые люди, что стоит закрыть] кажется, что спишь, что всё совершающееся есть сновидение, что стоит открыть глаза, и их не будет, и что можно попробовать, сон ли это или действительность, тем чтобы сделать что-нибудь необыкновенное — ударить кого-нибудь или закричать диким голосом. Он попробовал закричать, и крик его, начавшийся громко, заставил его очнуться. Он переделал крик в кашель и, не обратив на себя особенного внимания, встал и еще раз оглянулся на Бориса, желая передать кому-нибудь свое весело-насмешливое состояние [оглянул оживленное собрание. «Они ли все уроды или я урод, но мы чужие»,— так думал он. Он взглянул]. Молодой Друбецкой[34] [Стал за то прошедшее время] достойно и почтительно сидел несколько позади посланника и чуть заметно осторожно улыбался его шуткам. Pierre вспомнил живо свой спор в этой гостиной 2 года тому назад, [и ему грустно] и он сам себе понравился в прошедшем. Он вспомнил тоже тут бывшего Андрея, их дружбу, их вечер за ужином. «Слава богу, что он жив. Пойду домой и напишу ему». И, незамеченный, он тихо вышел из комнаты. И в карете всё время тихо улыбался своей радостной [жизни] и полной интересов жизни.

‹XXVIII›

Pierre в 1807 году собрался, наконец, в свое путешествие по деревням с целью весьма ясно определенной: облагодетельствования своих 20 тысяч душ крестьян. Цель эта подразделялась на три отдела: 1) освобождения, 2) улучшения физического благосостояния: богадельни, больницы и 3) нравственного благосостояния: школы, улучшение духовенства. Но [достигнуть того, чего он желал, было невозможно] как только он приехал в деревню, увидал дело на месте, переговорил с управляющим, он увидал, что это дело невозможно. И невозможно преимущественно от недостатка средств.

[В 1809 году, в тот самый приезд князя Андрея в Петербург, о котором писала княжна Марья, Pierre жил безвыездно в Петербурге, занимал довольно видное место в Комиссии составления законов. После принятия его в масонскую ложу для Pierr'а началась новая жизнь — деятельности и довольства собою] [Вскоре после своего разрыва с женою и принятия в масонскую ложу Pierre, желая исполнить свои давнишние намерения относительно своих крестьян, поддержанный теперь своими братьями масонами, он поехал по своим имениям.] Несмотря на богатство графа Безухова, все имения были заложены, и потому [трудно] невозможно было отпустить на волю всех крестьян, как он это намерен был сделать. Заплатить же долг было невозможно, так как его 600 000 ассигнациями валового дохода не только все расходились, но каждый год он чувствовал необходимость еще занимать. [Он никогда не чувствовал себя столь бедным и стесненным, как теперь, с тех пор как он получил это наследство 800 тысяч. Тысячи раз он перебирал весь свой бюджет и ничего не мог придумать для изменения его.] Он чувствовал себя теперь гораздо менее богатым, чем когда он получал свои 10 тысяч от покойного графа.

В общих чертах он смутно чувствовал следующий бюджет:

В совет платилось 80 тысяч по всем имениям. Жалования управляющим по всем имениям 32 тысячи. Князю Василью было дано 200 тысяч. Мелких долгов бездна. Содержание московского дома и княжен 30 тысяч. Подмосковной — 17 тысяч. Пенсий — 16 тысяч. На богоугодные заведения и просьбы — 10 тысяч. Графине за границу — 160 тысяч. Проценты за

---

[33] Да, это факт.

[34] В автографе: *Трубецкой* (прим. составителя).

долги — 73 тысячи. На постройку начатой церкви — 〈115〉. Другая половина, громадная половина, 300 тысяч, расходилась, он сам не знал как[1]. Как в московском доме, так и во всех имениях он нашел людей старых, с большим семейством по 20 лет живших на счет его отца и ставящих в заслугу продолжительность срока жизни. Невозможно было изменить этого положения. Хотел ли он уменьшить конюшни в Москве, он видел старого, заслуженного кучера (важного) еще в [Очакове] [Измаиле] Туретчине бывшего с покойным [барином] графом.

— Мне много лошадей, к чему мне? — говорил Pierre, полагая, что кучер войдет в его планы простоты. Но кучер почтительно говорил: «как прикажете» и «мне идти?» И на лице его выражалось огорчение и ядовитый упрек [выблядку] недорослю, незаконному, не умевшему соблюдать свое достоинство, ценить людей и поддерживать честь дома графа Безухова. То же было с садовником, с княжнами, с дворецким. Pierre морщился, кусал ногти и говорил: Ну, хорошо, я подумаю. Всё: и конюшня, и сад, и оранжереи, и княжны — оставалось по-старому, и всё, независимо от воли графа, жило своей старой жизнью, стоя Pierre половину его доходов. Прежде еще боялись [его], как бы он не переменил чего, но потом узнали его и старались только выказать огорчение и готовность к несчастию, в которое он безвинно ввергал их, и знали, что он всё оставит по-старому[2].

[Теперь, когда он с своими филантропическими мыслями поехал по имениям, все эти заслуженные люди выказали огорчение, что он, изменяя порядки, хочет опять лишить их законного. Главный управляющий, весьма глупый, но очень хитрый и деловой человек, очень, казалось, вник в его планы, но, вникнув, всякий раз как бы сочувствуя, показывал, что всё [это], что хотел делать Pierre, было невозможно. Преимущественно невозможно было отпустить на волю, пока имения в залоге. И по этому случаю Pierre решился быть экономнее. Но это трудно было ему. Он всё боялся обидеть и обмануть ожидания и купца, присылающего товары, и извозчика, и клубного казначея, и занимающих деньги. [Но, что было] А возможно — это были больницы и школы, которые он начал строить, и которые остались пустыми и на которых нажились все. Однако, учредив это и уехав от 〈всех〉, он был счастлив и по намерению заехал к князю Андрею в деревню.]

[В 1807 году] [Проездом из Петербурга Pierre с своим готовым]

Приехав в главные свои орловские имения, с готовым [проектом] и одобренным в ложе и Благодетелем (так называли великого мастера ложи) проектом освобождения крестьян и улучшения их физического и нравственного мира, Pierre вызвал к себе [всех], кроме главного управляющего, и всех управляющих имениями и прочел им свой проект и развил в длинной и умной речи свои мысли. Он говорил им, что немедленно будут приняты меры для совершенного освобождения крестьян от крепостной зависимости, что до тех пор крестьяне не должны быть отягчаемы работами, что женщины с детьми не должны посылаться на работы, что крестьянам должна быть оказываема помощь, что наказания должны быть употребляемы увещательные, а не телесные, что в каждом имении

---

[1] На полях: *В 1808 [свадьба Берга и] Андрей едет к Кутузову в Турцию. В 1809 Указ о камер-юнкерах и экзаменах и Указ Государственного совета. Мысли на Красном крыльце.*

Nicolas степная жизнь.

1809. В Москве князь Болконский с княжной Марьей 〈1 нрзб〉. *В Петербурге Лористон. [Сперанский]. Старый Ростов ищет места, свадьба. В Москве приезд государя. Pierre с женой. Борис, Долохов, Анатоль. В 1811. В деревне Анатоль.*

[2] На полях: *Князь Андрей. В Петербурге разговор с Pierr'ом, философия. Я смирился (неправда), гражданская служба. (Свадьба). Анна Павловна пилит его. Он смеется. Pierre в Москву с женою. Приезд государя. Борис, Долохов, Анатоль (Дон-Жуаны).— Князь Андрей в Крыму, философия. Намеренье жениться. Между тем Анатоль в деревне, охота, соблазняет. Война. Князь Андрей ничего не знает. Он не знал мужиков и не думал, что нужно их знать, как теперь.*

должны быть учреждены больницы, приюты и школы и т. д. Некоторые из управляющих (тут были и мужики-бурмистры) слушали испуганно, предполагая смысл речи в том, что молодой граф недоволен их замолотом и утайкой хлеба, другие [находили смысл] после первого страха находили забавным шепелявение Pierr'a и новые неслыханные ими слова, третьи находили просто удовольствие послушать, как говорит барин, 4-е, самые умные, в том числе и главноуправляющий, поняли из этой речи, что [барин] с барином обойтись можно. После общей речи Pierre с главноуправляющим каждый день *занимался*. Но, к удивлению своему, он чувствовал, что занятия его ни на шаг вперед не подвигают дела. Он чувствовал, что его занятия происходят независимо от дела, что они не цепляют за дело и не заставляют его двигаться. С одной стороны, управляющий, выставляя дела в самом дурном свете, показывал Pierr'у необходимость уплачивать долги и предпринимать новые работы силами крепостных мужиков, на что Pierre не соглашался. С другой стороны, Pierre требовал приступления к делу [построек больниц и школ] освобождения, на что управляющий выставлял необходимость прежде уплатить долг Опекунскому совету и потому невозможность быстрого исполнения. Управляющий не говорил, что это совершенно невозможно, он предлагал для достижения этой цели продажу лесов Костромской губернии, продажу земель низовых и крымского именья; но все эти операции в речах управляющего связывались с такою сложностью процессов снятий запрещений, истребования разрешений и т. п., что Pierre терялся и только говорил ему: «Да, да, так и сделайте». Прошло две недели и дело освобождения ни на шаг не подвинулось вперед. Pierre бился, хлопотал, но смутно чувствовал, что он не имеет той практической цепкости, которая бы дала ему возможность непосредственно взяться за дело и вертеть колеса. Он стал сердиться, угрожать управляющему и требовать. Управляющий, считавший все эти затеи молодого графа почти безумством, невыгодными для себя, для него, для крестьян, сделал уступку. Продолжая дело освобождения представлять невозможным, он распорядился постройкой во всех имениях больших зданий школ, больниц и приютов — и научил крестьян прийти к барину с благодарностью за его милости. Pierre разговаривал раза два с крестьянами и расспрашивая их о их нуждах, убедился еще больше в необходимости для них затеваемых им преобразований. Он нашел в их речах подтверждение всех своих планов, точно так же как управляющий [во всех] в их речах находил охуждение[3] и доказательство бесполезности всех планов графа. Но Pierre не знал, что в неопределенности речи народа можно найти подтверждение всему, как в словах оракула, и был очень счастлив, когда ему говорили мужики, как они век за него будут бога молить, за его больницы и школы. Pierre, объехав все орловские деревни, видел своими глазами поднимающиеся кирпичные стены новых зданий больниц и школ.

«Вот она куда проникла и закипела жизнь, вдохнутая мне нашим священным братством»,— думал он радостно, глядя на копошащихся каменщиков и плотников, около новых строений. Видел Pierre отчеты управляющих о барщинских работах, уменьшенных на бумаге (в сущности работы прибавились, так как в барщинах везде прибавилась постройка своими больниц и школ). Управляющий сказал Pierr'у, что народ благословляет его и теперь, что оброчные, которым был убавлен оброк, строят придел во имя его ангела. Управляющий увещевал графа оставить свои планы освобождения, так как и теперь уже крестьяне вдвое облагодетельствованы против прежнего, и на решительные требования Pierr'a продавать леса и крымское именье с тем, чтобы приступить к выкупу, обещал ему употребить все силы для исполнения воли графа. [Pierre уехал счастливый и даже]

[3] Очевидно, ошибка в автографе: по смыслу должно быть «осуждение» (прим. составителя).

‹XXIX›

После трехнедельного пребывания в деревнях, о котором он послал отчет в ложу, Pierre, счастливый и довольный, уехал назад в Петербург, но, не доезжая Москвы, сделал в 150 верст крюк, чтобы заехать к князю Андрею, которого он не видал до сих пор. Peirre [приехал] узнав, что князь Андрей живет в Богучарове, вновь отведенном ему отцом в 40 верстах от Лысых Гор, поехал прямо к нему. Это было весной 1807 года.

Усадьба, дом, сад, двор, надворные строения — всё было такое же новенькое, как и первая трава, и первые березовые листья весны. Дом еще не был оштукатурен, плотники (крепостные) работали ограду, мужики, грязные, оборванные, в одноколках привезли песок, босоногие бабы рассыпали его под руководством садовника (немца), представляя резкой контраст своей грязи с чистотою и изяществом двора, фасада дома и цветников. Мужики, поспешно сдергивая шапки, посторонились перед въезжавшим дормезом Pierr'a. Навстречу ему вышла не дворня в казакинах средних бар, не в пудре и чулках, как у него было по старине, а лакей во фраке на новый английский манер.

— Князь дома?

— Кушают кофе на террасе. Как прикажете доложить? — [Спросил лакей с новыми высшесветскими привычками] почтительно сказал лакей. В Pierr'e было что-то, несмотря на его [робость] неловкость или скорее вследствие этого, что-то очень внушающее уважение.

Pierr'a поразила противуположность изящества всего окружающего (которое надо было обдумать) с представлением о убитости и горе своего друга. Он поспешно вошел в чистый, с иголочки новый, пахнущий еще сосной, неоштукатуренный, но до малейших подробностей изящно и необыкновенно отделанный дом и, пройдя кабинет, подходил к двери террасы, на которой за окном виднелись белая скатерть, прибор и спина в бархатной шубке.

День был один из тех ранних, жарких апрельских дней, когда всё так быстро растет, что боишься, слишком рано пройдет эта радость весны.

Резкий, неприятный голос послышался с террасы:

— Кто там. Захар! Проси в угольную.— Захар остановился, но Pierre обогнал его и, отдуваясь, быстрыми шагами вошел на террасу и ухватил за руку снизу Андрея так скоро, что на лице князя Андрея еще не успело пройти выражение досады, а Pierre уже, подняв очки, целовал его и близко смотрел на него.

— [Здравствуй] Это ты, голубчик, [милый] — сказал князь Андрей.— И при этих словах Pierr'a поразила происшедшая перемена в князе Андрее. Слова были ласковы, улыбка была на губах, лице князя Андрея, но взгляд был потухший, мертвый, [которым, видно, не мог управлять князь Андрей] которому, несмотря на видимое желание, князь Андрей не мог придать радостного и веселого блеска. Pierre, расспрашивая и рассказывая, не переставал наблюдать и удивляться происшедшей перемене. Не то, что он похудел, побледнел, возмужал, но [взгляд этот выражал [одно] сосредоточение на чем-то одном, отрешенном] взгляд этот, и морщинка на лбу выражали сосредоточение на чем-то одном, долго поражали, пока он не привык, отчуждая, поражали Pierr'a.

При свидании после долгой разлуки, как это всегда бывает, разговор долго не мог установиться; они спрашивали и отвечали коротко о таких вещах, о которых они сами знали, что надо было говорить долго. Наконец разговор [остановился, как это всегда бывает, на одном из самых мало интересных для обоих предмете. О масонстве] стал понемногу останавливаться на прежде отрывочно сказанном, на вопросах о прошедшей кампании, о ране, о болезни, о планах на будущее (о смерти жены Андрей не говорил), на вопросах князя Андрея о женитьбе, разрыве, дуэли

и масонстве. (Они не писали друг другу, не умели. Как князю Андрею наполнить пол-листика? Один только раз Pierre писал рекомендательное письмо Долохову).

Та сосредоточенность и убитость, которую заметил Pierre во взгляде князя Андрея, теперь выражалась еще сильнее в суждениях князя Андрея, [к которым часто примешивалась едкая насмешка над всем, что есть жизнь: желания и надежды. Pierre перед ним стыдился иногда своего счастия и восторженности, в которых он находился после своих добродетельных поступков.] к которым часто примешивалась грустная насмешка над всем, что прежде составляло его жизнь — желания, надежды счастья и славы. И Pierre начинал чувствовать, что перед князем Андреем восторженность, мечты, надежды на счастие и на добро неприличны. Ему совестно было высказывать все свои новые масонские мысли и поступки, и он сдерживал себя.

— Служить я больше не буду никогда,— сказал князь Андрей.— Я ли не гожусь для нашей службы или служба не годится для меня — я не знаю, но мы не пара. Я даже думаю, что не гожусь я.— Он улыбнулся.— Да, мой дружок, много, много мы изменились с тех пор. Гордости ты во мне не найдешь теперь. Я смирился. Не перед людьми, потому что они большей частью хуже меня, [потому что, кроме разбойников и дураков, за малым исключением, я не встречал] но перед жизнью смирился. Сажать деревья, воспитывать ребенка, для забавы упражняться в умственной игре, коли это забавляет кое-как меня (вот видишь, читая Монтескье, делаю выписки. Зачем? Так, время убиваю). Вот они,— он указал на мужиков,— с песком то же делают и хорошо.

— Нет, вы не изменились,— сказал Pierre, подумав.— Ежели у вас нет гордости честолюбия, у вас та же гордость ума. Она-то и есть гордость, и порок и добродетель.

— Какая же гордость, мой друг, чувствовать себя виноватым и бесполезным, а это я чувствую и не только не ропщу, но доволен.

— Отчего виноватым? — Они были уже в кабинете в это время. Андрей указал на чудесный портрет маленькой княгини, которая, как живая, смотрела на него. [Он был размягчен близостью свежей молодости и любви Pierr'a]

— [Вот отчего,— сказал он,— и губа его задрожала] Вот отчего,— сказал он, размягченный присутствием милого ему человека: губа его задрожала, он отвернулся.

Pierre понял, что Андрей раскаивался в том, что он мало любил свою жену, и понял, как в душе князя Андрея это чувство могло дорасти до [такой] страшной силы, [но он одного не понял] но он и не понимал, как можно было любить женщину. [Он никогда не любил] Он замолчал.

— Ну, вот что, моя душа,— сказал князь Андрей, чтоб переменить разговор.— Я здесь на биваках. Я приехал только посмотреть. Я нынче еду опять к старику и к моему мальчишке. Он там у сестры. Я тебя познакомлю [с отцом] с ними. Мы поедем после обеда. [О браке Pierr'a Андрей сказал, что всё ‹случилось?›]

За обедом зашел разговор о женитьбе Pierr'a и о всей истории разрыва. Андрей спросил его, как это случилось. Pierre покраснел багрово, опять так же, как он краснел всегда при этом, и торопливо заговорил:

— После, после, я вам расскажу когда-нибудь.— Он задыхался, говоря это. Андрей вздохнул и сказал, что то, что случилось, должно было ждать, что счастливо, что так кончилось, и что удержал еще какую-нибудь веру в людей [твой beau-père ‹тесть› — это старый лакей. Заметь, как ничтожество успевает,— прибавил он,— не от того, что ничтожество нужно, а от того, что все ничтожны и всё ничтожно. О дуэли и раскаянии за дуэль он говорил, что не стоит того].

— Да, мне очень, очень жаль тебя.

— Да всё это кончено,— сказал Pierre,— и какое счастье, что я не убил этого человека. Этого бы я век не простил себе.

Князь Андрей [улыбнулся] смеялся.

— Э, на войне бьют таких же людей [Только бы не было раскаяния],— сказал он.— И все находят это очень справедливым. А убить злую собаку даже очень хорошо. Eh, mon cher, то, что справедливо и несправедливо — не дано судить людям. Люди вечно заблуждались и будут заблуждаться и ни в чем больше, как в том, что они считают справедливым и несправедливым. Надо только жить так, чтоб не было раскаяния. Правду Joseph Maistre сказал: «Il n'est dans là que deux maux bien réels: c'est le remords et la maladie. El il n'est de bien que l'absence de ces maux» [1].

[Pierre чувствовал, как ослабились его крылья, когда он слушал Андрея. На его распоряжения по имениям Андрей говорил: — Народ — животное, и едва ли не одно счастье — животное, зачем разрушать его? Умереть лучше, чем мучаться с помощью медицины 10 лет. Знание — к чему? Труд им необходим, как нам праздность. Я думал о них, говорил с ними, они [животные] лошади.— Андрей высказывал всё свое горькое и злое с особенным увлечением, как человек, долго не говоривший. Но ему становилось легче, чем больше он говорил. Ему часто хотелось, чтоб Pierre дал ему аргумент неопровержимый. Когда они прекрасным [летним] весенним вечером сели в коляску, впереди, уже в княжьем хуторе, была подстава ⟨*1 нрзб*⟩. Он сам уже стал расспрашивать Pierr'a о его судьбе и объяснении того, что он сказал, что масонство переродило его. Pierre стал излагать с жаром значение масонства.

— Да это иллюминаты и они уничтожены,— сказал князь Андрей.

— Всё равно я понимаю так.

— Да, хорошо бы было, коли бы так мог оживить меня человек, когда он сам не знает, что он, зачем он.

— Как не знает? — с жаром заговорил Pierre.— Разве я не чувствую в своей душе, что я часть этого целого, что я ступень (Гердер)? На пароме всё говорил Pierre, удивляя перевозчиков, и он удивился и себе не поверил.

Андрей, облокотившись на коляску, смотрел вдоль разлива, и в глазах его светилась жизнь.

— Да, ежели бы это было так,— сказал он. Но видно было, что он знает, это было так.

У старого князя разговор зашел о политике. Князь Андрей еще раз рассказал при отце свое свидание с Бонапартом, как много увлекаешься. Pierre поддерживал Бонапарта, старик спорил, но не сердился, ему нравился Pierre, он смеялся. Заговорили о масонстве, старик признал, что был иллюминатом.

— Молодец,— поджигает меня. Другие умные речи говорят, а и слушать не хочется и говорить еще меньше, а с ним всё вспомнил, и с отцом твоим походы. Гм... х... х... х... Что князь Василий хорош?.. Pierre добродушно засмеялся. Княжна Марья светила глазами, глядя на Pierr'a. Ввечеру с ней завязал разговор о религии, о странниках и монахах. Pierre говорил банальности, что монахи не приносят пользы, что странники и попы не знают Евангелия, и сердил княжну Марью. Они ссорились, улыбаясь. Они сами не знали, что они верят одному и тому же. Pierre уехал, оживленный, к своим добрым делам. Для князя Андрея это был первый толчок жизни.] [2]

---

[1] В жизни только два действительные несчастия: угрызение совести и болезнь. И счастье есть только отсутствие этих двух зол.

[2] Далее конспективные записи:

Князь Андрей не соглашается с ним — спорит, но, возвратившись домой, начинает действовать.

Старик отец шутит над ним: экономку возьми.

[*Pierre рассказывает о проекте вечного мира.*]

— Жить для себя, избегая только для себя этих двух зол, вот вся моя мудрость теперь.— князь Андрей замолчал.

— Нет, я жил только для себя,— начал Pierre,— и этим я только погубил свою жизнь. Нет, я с вами не могу согласиться. Нет, только теперь я начинаю понимать всё значение христианского учения любви и самопожертвования.— Андрей молча глядел своими потухшими глазами на Pierr'а и кротко, насмешливо улыбался.

— Поедем скорее к сестре, к княжне Марье, с ней вы сойдетесь[3]. Вот, душа моя, какая разница между нами, ты жил для себя,— сказал он,— и чуть не погубил свою жизнь и узнал счастие, только когда стал жить для других, а я испытал диаметрально противуположное. Я жил для славы (ведь что ж слава? та же любовь к другим, желание сделать для них что-нибудь, желание их похвалы). Так я жил для других и [этим погубил] не почти, а совсем погубил свою жизнь и с тех пор стал спокоен, как живу для одного себя.

— Как для одного себя, а сын, сестра, отец? — сказал Pierre.

— Да это всё тот же я,— это не другие,— [сказал] продолжал Андрей. А другие, ближние, le prochain, как вы с княжной Марьей называете этот источник заблуждения и зла, le prochain — это те твои орловские мужики, от которых ты сейчас приехал и которым ты хочешь делать добро.— И он посмотрел на Pierr'а насмешливо-вызывающим взглядом. Он, видимо, как человек, не вполне еще убедившийся в своих новых взглядах и не имевший еще случая их высказать, вызывал Pierr'а.

— Вы шутите,— можно ли это говорить? — сказал Pierre, оживляясь.— Какое же может быть заблуждение и зло в том, что несчастные люди — наши мужики, [вырастающие] люди, такие же, как мы, вырастающие и умирающие без другого понятия о боге и правде, как образ и бессмысленная молитва, будут поучаться в [истинах] утешительных истинах, верованиях будущей жизни, возмездия, награды, утешения? Мы можем думать иначе, но им это другое дело. Какое же зло и заблуждение, что люди умирают от болезни, от родов без помощи, когда так легко материально помочь им, и я им дам лекаря, и больницу, и приют старику? И разве не ощутительное, несомненное благо то, что он не имеет дн⟨я⟩, ночи покоя, и что я дам отдых и досуг?..— говорил Pierre, оживляясь и шепелявя.— И я это сделал. И вы не только меня не разуверите, что это не благо, но не разуверите, чтоб вы сами этого не думали.

Андрей всё молчал и улыбался.

— А главное,— продолжал Pierre,— наслаждение делать это добро есть естественное счастие жизни.

— Да, это другое дело,— начал князь Андрей.— Я строю беседку в саду, а ты больницы. И то, и другое может служить препровождением времени. Но, что справедливо, что добро, предоставь судить тому, кто всё знает, а не нам. Ты говоришь: школы,— продолжал он, загибая палец,— поучения и так далее, то есть ты хочешь вывести его из его животного состояния и дать ему нравственные потребности. А мне кажется, что единственно возможное счастье есть счастье животное, а ты его-то хочешь лишить его. Я завидую ему, а ты хочешь его сделать мною, но

Марья Герасимовна обиделась.

Разговор о Бонапарте. Старик просто ругает (он не может понять нового взгляда), Pierre защищает, хотя и делает упреки за измену революции. Андрей говорит, что он — человек, только умеющий презирать людей и избежавший ошибок от нового устройства, которое дала революция. У нас пучина зла и мерзости. Воспоминания о провианте, интригах, а величие — ложь. Аркольский мост — грязь.

Старик требует его адъютант⟨ом⟩. Вечером на прощанье Андрей изливает свою душу.

У Ростовых в деревне веселый отпуск — Борис. Отказ Наташи. Сватовство Берга. Старик посылает к Ростовым, они едут с Pierr'ом. Старик несчастен от крепостного ⟨права⟩. Pierre уехал. Андрей стал делать в именьи то же.

[3] На полях: *Князь Андрей говорит, что ты иной, раздвинул ⟨ожерелье?⟩.— Да, я пробовал молиться.*

не дав ему ни моего ума, ни моих чувств, ни моих средств. Другое ты говоришь: облегчить его работу. А по-моему, труд физический для него есть такая же необходимость, такое же условие его существования, как для тебя и для меня труд умственный. Ты не можешь не думать. Я ложусь спать в 3-м часу, мне приходят мысли, и я не могу заснуть, ворочаюсь, не сплю до утра от того, что я думаю и не могу не думать; так он не может не пахать, не косить; иначе он пойдет в кабак. Как я не перенесу его страшного физического труда, я умру через неделю, так он не перенесет моей физической праздности, он растолстеет и умрет. Третье... что, бишь, еще ты сказал?

Князь Андрей загнул 3-й палец.

— Ах, да. Больницы, лекарства. У него удар, он умирает, а ты пустил кровь, вылечил, и он калекой будет ходить 10 лет всем в тягость. Гораздо покойнее и проще ему умереть. Другие родятся, и так их много. Ежели бы ты жалел, что у тебя лишний работник пропал, а то ты из любви к нему его хочешь лечить. А ему этого не нужно. Да и потом, что за воображенье, что медицина кого-нибудь и когда-нибудь вылечивала...

Князь Андрей [говорил] высказывал с особенным увлечением свои [разочарованья] мысли разочарованья, как человек, долго не говоривший. И взгляд его оживлялся тем больше, чем безнадежнее были его суждения. Он во всем противуречил Pierr'у, но, противуречa, казалось, сам колебался в том, что он говорил, и рад был, когда Pierre сильно оспаривал его.

— Я не понимаю только — как можно жить с такими [убеждениями] мыслями,— говорил Pierre.— На меня находили такие же минуты, это недавно было, в Петербурге, но тогда я опускаюсь до такой степени, что я не живу, все мне гадко, главное — я сам, я не умываюсь, не ем... ну как же вы...

— Да, такие же мысли, но не совсем такие,— отвечал князь Андрей.— Я вижу, что это так, что всё бессмысленно, гадко, но я живу,— и в этом не виноват; стало быть, надо как-нибудь получше, никому не мешая, дожить до смерти.

— Ну что же вас побуждает жить? С такими мыслями будешь сидеть не двигаясь, не предпринимая...

— То-то и скучно, что жизнь не оставляет в покое. Я бы рад ничего не делать, и вот, с одной стороны, дворянство здешнее удостоило меня чести избрания в предводителя; я насилу отделался. Они не могли понять, что во мне нет того, что нужно, нет этой известной добродушной пошлости, которая нужна для этого. Потом вот этот дом, который надо было построить, чтоб иметь свой угол, где можно быть покойным. Теперь ополчение, в котором меня тоже не хотят оставить в покое.

— Отчего вы не служите?

— После Аустерлица! — мрачно сказал князь Андрей.— Нет, я дал себе слово, что служить [я не буду] в действующей русской армии я не буду. И не буду. Ежели бы Бонапарте стоял тут, у Смоленска, угрожая Лысым Горам, и тогда бы я не стал служить в русской армии. Ну, так я тебе говорил,— успокоиваясь, продолжал князь Андрей,— теперь ополчение, отец назначен главнокомандующим 3-го округа, и единственное средство мне избавиться от службы — это пойти к нему в помощники.

— И вы поступаете?

— Да, я уже утвержден.— Он помолчал немного.— Вот как всё делается, душа моя,— продолжал он, улыбаясь.— Я бы мог отделаться, но знаешь, отчего я пошел. Ты скажешь, что я подтверждаю твои теории [добрею] о делании добра. Я пошел оттого, что, с тобою я буду откровенен, отец мой один из замечательнейших людей своего века. Но он становится стар, и он не то что жесток, но он слишком цельного характера. Он страшен своей привычкой к неограниченной власти и теперь этой властью, данной государем ополченным главнокомандующим. Ежели бы я два часа опоздал

2 недели тому, он бы повесил протоколиста в Юхнове. Ну, так я пошел потому, что, кроме меня, никто не имеет влияния на отца, и я кое-где спасу его от поступка, в котором бы он после мучался.

— А, ну так вот видите...

— Да, mais ce n'est pas comme vous l'entendez[4],— продолжал князь Андрей.— Я ни малейшего добра не желал и не желаю этому мерзавцу протоколисту, который украл какие-то сапоги у ополченцев; я даже очень был бы доволен видеть его повешенным, но мне жалко отца — то есть опять себя же.

Князь Андрей в первый раз [во всё время] со времени приезда Pierr'a теперь, после обеда, оживился. Глаза его весело блестели, в то время как он старался доказать Pierr'у, что никогда в его поступке не было участия, желания добра ближнему.

— Ну вот, ты хочешь освободить крестьян,— продолжал он.— Это очень хорошо. Но не для тебя, не для меня. Ты, я думаю, никого не засекал и не посылал в Сибирь, [а это нужно] и еще меньше для крестьян. Ежели их бьют, секут и посылают в Сибирь, то им от этого нисколько не хуже. В Сибири ведет он ту же свою скотскую жизнь, а рубцы на теле заживут, и он так же счастлив, как был прежде; а нужно это для тех людей, которые гибнут нравственно, наживают себе раскаяние, подавляют это раскаяние, грубеют от того, что у них есть возможность казнить право и неправо. Вот кого мне жалко и для кого я бы желал освободить крестьян. Ты, может быть, не видал, а я видел, как хорошие люди, воспитанные в этих преданиях неограниченной власти, с годами, когда они делаются раздражительнее, делаются жестоки, грубы, знают это, не могут удержаться и всё делаются несчастнее и несчастнее.

Андрей говорил это с таким увлечением, что Pierre невольно подумал о том, что мысли эти наведены были Андрею его отцом. Он ничего не отвечал ему.

— Так вот кого и чего жалко: человеческого достоинства, спокойствия совести, чистоты, а не их [затылков] задниц и лбов, которых сколько ни секи, сколько ни брей, всё останутся такими же задницами и лбами.

— Vrai, vrai![5],— закричал Pierre, которому понравилось это новое воззрение на занимавшее его дело.

Вечером князь Андрей и Pierre сели в коляску и поехали в Лысые Горы. [Князь Андрей молча поглядывал на Pierr'a и изредка говорил ему: Как я тебе рад!] [Князь Андрей казался более оживленным. Pierre, напротив, мрачно молчал. Его мучало безнадежное состояние его друга.] Князь Андрей, поглядывая на Pierr'a, прерывал изредка молчание речами, доказывавшими, что находился в очень хорошем расположении духа.

— Как я тебе рад! как рад! — говорил он.

Pierre мрачно молчал, отвечая односложно, и казался погружен в свои мысли.

— А ты любишь детей? — спросил он потом после молчания.— Смотри же, скажи мне правду, как он тебе понравится.— Pierre коротко обещался.— А как ты странно переменился,— сказал князь Андрей.— И к лучшему, к лучшему.

[Всё то, про что я спорю с тобой, всё это я люблю в тебе.— Они опять молчали.

— А вы знаете, отчего я переменился? — сказал Pierre. Лучше я не найду времени говорить с вами.— Вдруг он повернулся [к нему] всем телом в коляске.— Дайте руку,— и Pierre сделал ему масонский знак, на который Андрей не ответил ему рукою.— Неужели ты масон? — сказал он.— Si vous croyez audessus de cela...[6].

---

[4] но не так, как ты думаешь
[5] Правильно, правильно!
[6] Если вы верите в нечто выше этого...

— Не говорите этого, не говорите этого, я сам то же думал. Я знаю, что такое масонство в глазах ваших.

— Нет, отчего же вы думаете,— вдруг начал Pierre, входя в состояние речистого экстаза, в каком он забывал всё, и [как всегда при этом] опуская голову]

Pierre всё не говорил. Он думал о том, что надо ему открыть Андрею учение масонства; но как только он придумывал, как и что он станет говорить, он предчувствовал, что князь Андрей одним словом, одним аргументом уронит всё его учение, и он боялся начать, выставить на возможность осмеяния свою любимую святыню.

— Нет, отчего же вы думаете,— вдруг начал Pierre, опуская голову и принимая вид бодающегося быка,— отчего вы так думаете. Вы не должны так думать.

— Да ты про что?

— Про жизнь, про назначение человека, про царство зла и беспорядка. Это не может быть. Я так же думал и меня спасло, вы знаете что? Масоны. Нет, вы не улыбайтесь, масонство это не религиозная, не обрядная секта, как и я думал, а масонство есть лучшее, единственное выражение лучших, вечных сторон человечества.— И он начал излагать Андрею масонство, как он понимал его, и в чем едва ли согласились бы с ним его братья каменщики. Он говорил, что масонство есть учение мудрости, учение христианства, освободившегося от государственных и религиозных оков, учение, признающее в человеке [только] первенствующими его способность [любить ближнего] [развивать] совершенствования себя, помощь ближнему, искоренение всякого зла и распространение этого учения равенства, любви и знания.

— Да, это было бы хорошо, но это иллюминатство, которое преследуется правительством, которое известно и потому бессильно.

— Я не знаю, что иллюминатство, что масонство,— [восторженно] заговорил Pierre, входя в состояние речистого восторга, в котором он забывался,— и знать не хочу. Я знаю, что это мои убеждения и что в этих убеждениях я нахожу сочувствие единомышленников, которым нет числа [и что в этом обществе только я вижу жизнь и смысл, остальное есть сон] в настоящем, нет числа в прошедшем и которым принадлежит будущее. Только наше святое братство имеет действительный смысл в жизни; всё остальное есть сон,— говорил он.— Вы поймите, мой друг, что вне этого союза всё исполнено лжи и неправды, и я согласен с вами, что умному и доброму человеку ничего не остается, как только, как вы, доживать свою жизнь, стараясь только не мешать другим. Но усвойте себе наши основные убеждения, вступите в наше братство, дайте нам руку, позвольте руководить собой, и вы сейчас почувствуете, как и я почувствовал, себя частью этой огромной, невидимой цепи, которой начало скрывается в небесах.

Князь Андрей, молча глядя перед собой, слушал речь Pierre. Несколько раз он, не расслышав от [толчок] шума коляски, переспрашивал у Pierr'а нерасслышанные слова. По особенному блеску, загоревшемуся в глазах Андрея, и по его молчанию Pierre видел, что слова его не напрасны, что Андрей не перебьет его. Он уже перестал бояться насмешливого или холодного возражения [а только] и желал только знать, как принимаются его слова.

Они подъехали к разлившейся реке, которую им надо было переезжать на пароме. Пока устанавливали коляску и лошадей, они молча прошли на паром и, облокотившись, стояли у перил. Князь Андрей молча смотрел вдоль по разливу, блестящему от заходящего солнца.

— Ну, что же вы думаете об этом? Что же вы молчите?

— Что я думаю? Я слушаю тебя. Всё это так. Но ты говоришь: вступи в наше братство, и мы тебе укажем цель жизни, и назначение человека,

и законы, управляющие миром. Да кто же мы — люди. Отчего же вы все знаете, а я не знаю, и ты, один человек, не знаешь, что ты такое?

— Как не знаю? — с жаром заговорил Pierre.— Нет, я знаю. Разве я не чувствую в своей душе, что я составляю часть этого огромного гармонического целого. Разве я не чувствую, что я в этом бесчисленном количестве существ, в котором проявляется божество,— высшая сила, как хотите, что я составляю одно звено, одну ступень от низших существ к высшим? Ежели я вижу, ясно вижу эту лестницу, которая ведет от растения к человеку, то отчего же я предположу, что эта лестница, которой я не вижу конца внизу, она теряется в растениях, полипах. Отчего же я предположу, что эта лестница прерывается со мною, а не ведет дальше и дальше до высших существ. Вы читали Гердера. Это величайший философ и мудрец. Он говорит...— и Pierre начал излагать всё учение Гердера, тогда бывшее еще совершенно новым учением, которое было до глубины понято и прочувствовано Pierr'ом.

Коляска и лошади уже давно были выведены на другой берег и заложены, и уж солнце скрылось до половины, и вечерний мороз покрывал звездами лужи у перевоза, а [они] Pierre, к удивлению лакеев, кучеров и перевозчиков, всё стоял, махая руками, говорил своим шепелявым голосом. Князь Андрей всё в той же неподвижной позе слушал его и, не спуская глаз, смотрел на красный отблеск солнца по синеющему разливу.

[Pierre кончил. Князь Андрей вздохнул детски, нежным лучистым взглядом он взглянул в раскрасневшее восторженное, но всё робкое лицо Pierr'a]

— Нет, мой друг,— кончил Pierre,— есть бог на небе и добро на земле.

Князь Андрей вздохнул детски и лучистым, детским нежным взглядом взглянул в раскрасневшееся, восторженное, но всё робкое перед первенствующим другом лицо Pierr'a.

— Да, коли бы это так было! — сказал он.— Однако пойдем садиться. И, выходя с парома, князь Андрей взглянул на высокое, чистое небо, и в первый раз после Аустерлица увидал то высокое, вечное небо, которое он видел, лежа на Аустерлицком поле, исходя кровью и умирая. Увидав это небо, он вспомнил и весь тогдашний склад мыслей и удивился, как мог он потом, войдя в старую колею мелких забот жизни, забыть всё это. Pierre не убедил его. Все разумные доводы Pierre поражали его только своей холодностью, но любовное оживление Pierr'a, державшегося за свои убеждения, как за спасительную доску, его видимое желание передать [⟨своему?⟩] испытываемое им счастье от этих убеждений своему другу, и более всего эта застенчивость Pierr'a, в первый раз принявшего тон поучения с человеком, с которым он прежде всегда и во всем соглашался,— всё это в соединении с чудным апрельским вечером и тишиною воды сделали то, что князь Андрей почувствовал опять высокое вечное небо и себя размягченным и с теми силами молодой жизни, бившимися в нем, которые он [не ощущал уже давно] считал уже прожитыми.

— Отчего же? — сказал князь Андрей на настоятельное требование ввести его в масонскую ложу,— отчего же? [Это тебе] Ça me coute si peu et ça vous fera tant de plaisir[7].

⟨XXX⟩

В 1807 году жизнь в Лысых Горах мало изменилась. Только на половине покойной княгини была детская, и вместо нее жил там маленький князек с Бурьен и нянькой англичанкой. Княжна кончила свои математические уроки и ходила только здороваться по утрам в кабинет отца, когда он бывал дома. Старый князь был назначен одним из 8-ми главнокомандующих по ополчению, определенных тогда по всей России. Старый князь настолько оправился после возвращения сына, что не счел себя

[7] Мне это нетрудно, а вам доставит большое удовольствие.

вправе отказаться от должности, в которую был определен самим государем[1]. Он был всё такой же, но только чаще в последнее время по утрам, натощак, и перед обедом находили на него минуты бешенства, в которых он был ужасен для подчиненных и невыносимо тяжел для домашних[2].

На церковном кладбище возвышался над могилой княгини новый памятник, часовня с мраморной статуей плачущего ангела. Старик князь однажды зашел в эту часовню и, сердито засморкавшись, вышел оттуда. Князь Андрей тоже не любил смотреть на этот памятник, ему казалось, вероятно, также и отцу, что лицо плачущего ангела было похоже на лицо княгини, и лицо это говорило то же: «Ах, что вы со мной сделали! Я всё отдала вам, что могла, а вы что же со мною сделали»[3]. Только княжна Марья охотно и часто ходила в часовню, стараясь передавать свои чувства ребенку, водила с собою маленького племянника и пугала его своими слезами.

Старый князь только что приехал из губернского города по делам службы, и, как это обыкновенно с ним бывало, деятельность оживила его. Он приехал весел и был особенно рад приезду сына с гостем, которого он не знал еще лично, но знал по отцу, с которым он бывал дружен. Князь Андрей ввел Pierr'а в кабинет к отцу и тотчас же пошел на половину княжны Марьи и к сыну. Когда он вернулся, старик с Pierr'ом спорили, и по оживленным старым глазам отца и его крику Андрей заметил с удовольствием, что Pierre пришелся по сердцу старику. Они спорили, как и надо было ожидать, о Бонапарте, о котором всякого нового приезжего как будто экзаменовал князь Николай Андреич.— Старик всё не мог переварить славы *Буонапартия* и доказывал, что он [дурак и мальчишка] плохой тактик. Pierre, хотя и много изменивший свой взгляд на своего прежнего героя, всё еще считал его гениальным человеком, хотя и обвинял его за измену идеям революции. Этого взгляда старый князь вовсе не понимал. Он судил Буонапарте только как полководца.— Что ж по-твоему он умно стал теперь задом к морю,— говорил старик,— как бы не Кусгевены (так он называл Буксгевдена), ему бы жутко стало.

— В этом-то и сила его,— возражал Pierre,— что он презирает предания военные, а во всем действует по-своему.

— Да, по-своему и под Аустерлицом стал между двух огней...

Но в это время вошел князь Андрей и князь замолк.

Он никогда при сыне не говорил об Аустерлице.

— Всё об Бонапарте,— сказал князь Андрей с улыбкой.

— Да,— отвечал Pierre,— помните, как мы 2 года тому назад смотрели на него.

— А теперь,— сказал князь Андрей — теперь для меня ясно, что вся сила этого человека в презрении к идеям и в лжи. Надо всех только уверить, что мы всегда побеждаем, и будем побеждать.

— Расскажи, князь Андрей, про Аркольскую лужу,— сказал старик и вперед захохотал.

Этот рассказ старик слышал 100 раз и всё заставлял повторять его. Рассказ этот состоял в подробности о взятии Аркольского моста 〈в〉 1804 году, который князь Андрей, бывши в плену, узнал от одного бывшего очевидца, французского офицера. В то время еще более, чем теперь, был прославляем и всем известен мнимый подвиг Бонапарте, бывшего еще главнокомандующим, на Аркольском мосту. Рассказывалось, и печаталось, и рисовалось, что французские войска замешались на мосту, обстреливаемые картечью. Бонапарт схватил знамя, бросился вперед на мост, и, увлеченные его примером, войска последовали за ним и взяли мост. Очевидец передал Андрею, что ничего этого не было. Правда, что

---

[1] На полях: *M-lle Bourienne должна принять подданство. Княжна Марья защищает ее.*

[2] На полях: *страдает от крепостного права.*

[3] Следующий лист утрачен. Текст до конца абзаца восстанавливается по копии.

на мосту замялись войска и несколько раз посылаемые вперед бежали, правда, что сам Бонапарт подъехал и слез с лошади, чтоб осмотреть мост. В то время, как он слез позади, а не впереди войск [адъютант схватил его, умоляя не идти вперед.], войска, бывшие впереди, побежали назад, в это время и сбили с ног маленького Бонапарта, и он, желая спастись от давки, попал в наполненную водой канаву, где испачкался и промок и из которой с трудом вынули, посадили на чужую лошадь и повезли обсушивать. А мост так и не взяли в тот день, а взяли на другой, поставив батареи, сбившие австрийские...

— Вот как слава приобретается французами,— хохоча своим неприятным смехом, говорил старик,— а он в бюллетенях велел написать, что он с знаменем шел на мост.

— Да ему не нужно этой славы,— сказал Pierre,— его лучшая слава — усмирение террора.

— Ха-ха-ха — террора... Ну да будет.— Старик встал.— Ну, брат,— обратился он к Андрею [вставая и хлопая по плечу Pierr'a],— молодец твой приятель. Я его полюбил. Разжигает меня. Другой и умные речи говорит, а слушать не хочется, а он всё врет, а так и подмывает с ним спорить. С ним и старину вспомнил, как с его отцом в [в Измаиле] [в Турции] Крыму были. Ну, идите,— сказал он.— Может быть, приду ужинать. Опять поспорю. Ступай, дружок. Мою дуру, княжну Марью, полюби.

Князь Андрей повел Pierr'a к княжне Марье, но княжна Марья не ожидала их так рано и была в своей комнате с своими любимыми гостями.

— Пойдем, пойдем к ней,— сказал князь Андрей,— она теперь прячется и сидит с своими божьими людьми, поделом ей, она сконфузится, а ты увидишь божьих людей. C'est curieux, ma parole[4].

— Qu'est-ce que c'est que[5] божьи люди,— спросил Pierre.

— А вот увидишь.

Княжна Марья действительно сконфузилась и покраснела пятнами, когда вошли к ней. В ее уютной комнате с лампадками перед киотами на диване [за чаем] за самоваром сидел рядом с ней молодой мальчик с длинным носом и длинными волосами и в монашеской рясе. На кресле, подле, сидела старушка в черном [и платье вроде ⟨*1 нрзб*⟩] платке на голове и плечах.

— André, pourquoi ne pas m'avoir prévenu[6],— сказала она с кротким упреком, становясь перед своими странниками, как наседка против коршуна.— Charmée de vous voir. Je suis très contente de vous voir[7],— сказала она Pierr'y, в то время как он целовал ее руку. Она знала его ребенком, и теперь дружба его с Андреем, его несчастье с женой и, главное, его доброе, [робкое] несмелое лицо расположили ее к нему. Она [радостно] смотрела на него своими прекрасными, лучистыми глазами и, казалось, говорила: «Я вас очень люблю, но, пожалуйста, не смейтесь над *моими*».

— А, и Иванушка опять тут,— сказал Андрей, указывая улыбкой на молодого странника, в то время как сестра его говорила с Pierr'ом.

— André! — умоляюще сказала княжна Марья.

— Il faut que vous sachez que c'est une femme[8],— сказал Андрей Pierr'y.

— André, au nom de Dieu[9],— повторила княжна Марья.

Видно было, что насмешливое отношение князя Андрея к странникам и бесполезное заступничество за них княжны Марьи было привычное, установившееся между ними отношение.

---

[4] Это курьезно, право.
[5] Что это такое
[6] Андрей, почему ты не предупредил меня?
[7] Рада вас видеть. Очень рада.
[8] Ты знаешь, это женщина.
[9] Андрей, ради бога!

— Mais, [ma chère] ma bonne amie,— сказал князь Андрей,— vous devriez au contraire m'être reconnaissante de ce que j'explique ainsi votre intimité avec ce jeune homme[10].

— Vraiment?[11],— сказал Pierre, любопытно и сериозно (за что особенно благодарна ему была княжна Марья) вглядываясь через очки в лицо Иванушки, который [была женщина], поняв, что речь шла о нем, хитрыми глазами оглядывал всех.

Княжна Марья совершенно напрасно смутилась за *своих*. Они нисколько не робели. Старушка тем мерным голосом, в себя, особенно, когда она говорила о святости, разговорилась с князем Андреем. Иванушка-женщина, стараясь говорить басом, попивал чай, тоже не смущаясь, отвечал князю Андрею.

— Так в Киеве была? — спрашивал старуху князь Андрей.

— Была, отец,— отец Амфилохий благословил. [Ослабел и ручка] Очень ослабел, матушка,— обратилась она к княжне Марье.— Кажется, в миру спасется. Худой-прехудой, а к благословенью подойдешь, ручка ладаном пахнет. В пещеры ходила. Нынче в пещерах вольно стало. Монахи знают меня. Дадут ключ, [я и хожу по пещерам. А слышала, матушка, в Калязине, матушка, Мать Пресвятая Богородица открылась, миро из щёчки] я и хожу, угодникам прикладываюсь, всем помолюсь, слава тебе, господи.

Все молчали, одна странница говорила мерным, спокойным голосом.

— А еще где была? — спросил князь Андрей.— У матушки была?

— Полно, Андрей,— сказала княжна Марья.— Не рассказывай, Пелагеюшка.

— И, что ты, матушка, отчего ж не рассказывать. Ты думаешь он смеется. Нет, он добрый, богобоязненный, он мне, благодетель, 10 рублей дал, я помню. В Калязине была. В Калязине, матушка, Пресвятая Богородица открылась, уподобилась видеть, чудотворная икона. Вот чудеса, отец, [так] у ней миро из щёчки течёт.

— Ну, хорошо, хорошо, после расскажешь,— краснея, сказала княжна Марья.

— Позвольте у нее спросить,— сказал Pierre.— Как же миро?

— Так и течет, голубчик, из щечки-то матушки, благовоние такое, отец.

— И вы верите этому? — сказал Pierre.

— Как же не верить-то? — испуганно сказала странница.

— Да ведь это обман.

— Ах, отец [что говоришь, так-то один анарал не верил и ослеп; привели его к ней. Он и прозрел. «Отдаю, говорит, тебе всё, чем царь жаловал». Сама видела, звезда,— она обратилась], что говоришь! — с ужасом сказала Пелагеюшка, обращаясь за защитой к княжне Марье.

— Что ж, он правду говорит,— сказал князь Андрей.

— Господи Иисусе Христе,— крестясь, сказала странница,— и ты тоже. Ох, не говори, отец. Так-то один анарал не верил, сказал: «Монахи обманывают»,— да как сказал, так и ослеп. И приснилось ему, что приходит к нему матушка пресвятая богородица и говорит: «Уверуй мне, я тебя исцелю». Вот и стал проситься: повези да повези меня к ней. Это я тебе истинную правду говорю, сама видела. Привезли его, слепого, прямо к ней; подошел, упал, говорит: «Исцели!» — отдаю, говорит, тебе всё, что царь жаловал. Сама видела, звезда в ней так и вделана. Что ж, прозрел! — обратилась она к княжне Марье.

Княжна Марья краснела. Иванушка лукавыми глазами глядел на всех исподлобья.

Князь Андрей не мог удержаться, чтобы не посмеяться — так он привык, любя, дразнить сестру.

---

[10] Но, мой добрый друг, ты бы должна была бы быть мне благодарна за то, что я объясняю твою интимность с этим молодым человеком.

[11] Право?

— Значит в генералы и матушку произвели.

— [А вот и грех тебе, грех] Отец, отец, [умоляюще заговорила Пелагеюшка] грех тебе, у тебя дети,— вдруг злобно и испуганно заговорила странница, вся красная, всё оглядываясь [как бы за помощью] на княжну Марью.— Грех, что ты сказал такое. Бог тебя прости.— Она перекрестилась.— Господи, прости его. Матушка, что ж это? — Она встала и, чуть не плача, стала собирать свою сумочку. Ей, видно, было и страшно и жалко того, кто это сказал, и стыдно, что она пользовалась благодеяниями в доме, где могли говорить это. Теперь княжне Марье не нужно было просить Андрея. Он сам и особенно Pierre старались успокоить странницу и убедить ее, что никто не думал этого, что это с языка сорвалось. Странница успокоилась, и она долго потом рассказывала про счастье ходить одной по пещерам, про благословение отца Амфилохия и т. д. Потом она запела кант.— И княжна Марья, отпустив их ночевать, повела брата и гостя к чаю. [Разговор зашел о странницах.]

— Вот, граф,— говорила княжна Марья,— André не хочет согласиться со мной, что странствие есть великое дело. Бросить всё, все связи, радости жизни, и идти, рассчитывая на одну милостыню, по миру, молиться за всех, за благодетелей и за врагов.

— Да,— говорил князь Андрей,— ежели бы это сделала ты [то ты], для тебя бы это было жертва, а для них карьера.

— Нет, ты не так понимаешь. Ты послушай, что они говорят.

— Я слушал, я слышу только невежество, заблуждения и страсть бродяжничать, а ты слышишь всё то, что [есть] тебе хочется слышать и что есть в твоей душе.

— Нет, я согласен с княжной,— говорил Pierre.— Только мне жалки эти заблуждения [о мире и т. п.] суеверий.

— О, ты во всем будешь согласен с княжной Марьей, вы одинаковы.

— И я очень горд этим.

Старый князь вышел ужинать. Это было очевидно для Pierr'a. И был с ним оба дни его пребывания ласков и весел. Когда Pierre уехал и сошлись вместе все члены семьи, кроме Бурьенн, его стали судить, как это всегда бывает, и, как это редко бывает, все говорили про него одно хорошее. Даже Михаил Иваныч хвалил его часто, зная, что этим доставит удовольствие старому князю. Княжна Марья часто расспрашивала про него и просила Андрея писать ему чаще. Андрей редко говорил про него, но приезд его для него был эпохой. [Всё то, над чем] Все те мечтания Pierr'a, над которыми он почти смеялся и которые он оспаривал в разговоре с ним, все эти предположения он, никому не говоря, начал приветствовать у себя в имении. В Богучарове был отведен флигель для больницы, священнику внушено и дано денег, чтобы он учил детей, барщина уменьшена, и было послано прошение об отпуске богучаровских крестьян на волю [12].

Это было 26-го февраля. Кучера, возившие старого князя, вернулись из города и привезли бумаги и письма князю Андрею. Камердинер, не застав его в кабинете, пошел на половину княжны Марьи, но и там его не было, ему сказали, что он пошел в детскую.

— Пожалуйте, ваше сиятельство, Петруша с бумагами пришел,— сказала одна из девушек, помощниц няньки, обращаясь к князю Андрею, который сидел на маленьком детском стуле и дрожащими руками, хмурясь, капал из стклянки лекарство в до половины налитую рюмку, капал, сердито выливал на пол, потому что накапывал лишнее и требовал еще воды.

---

[12] Следующий лист утрачен; печатается по копии до слов: *всё дожидалась*; далее — вновь по автографу.

— Мой друг,— говорила княжна Марья от кроватки, у которой она стояла,— лучше подождать, после...

— Ах, сделай милость, ты всё говоришь глупости, ты и так всё дожидалась — вот и дождалась,— сказал он ворчливо, видимо желая уколоть сестру.

— Мой друг, право лучше не будить, он заснул.

Князь Андрей нерешительно на цыпочках подошел с рюмкой.

— Или точно ты думаешь не будить,— сказал он. Княжна Марья указала ему на девушку, вызывавшую его. Князь Андрей вышел, проворчав: «чёрт их принес», и, вырвав из рук подаваемые конверты и письма отца, вернулся в детскую. Старый князь на синей бумаге своим крупным, продолговатым почерком, употребляя кое-где титлы, писал следующее: «Весьма радостное в сей момент известие получил через курьера, если не вранье. Бенигсен под Пултуском над Буонапартом якобы полную викторию одержал. В Петербурге всё ликует, и наград послано в армию без конца. Хотя немец — поздравляю. Корчевский предводитель, некий Ростов граф, не постигну, что делает: до сих пор не доставлены добавочные люди и провиант. Сейчас скачи туды и скажи, что я с него голову сниму, чтоб через неделю всё было. О Пултуске сейчас получил письмо от Петеньки — всё правда. Как не мешают, кому мешаться не следует, то и немец побил Буонапарте. Сказывают, бежит весьма расстроен».

Получив это письмо, которое в другое время было бы из самых тяжелых ударов для князя Андрея, и только пробежав его, и понявши сущность его, состоявшую в том, что, 1-е, судьба продолжала подшучивать над ним, устроив так, что Наполеон побежден тогда, когда он сидит дома, напрасно стыдясь Аустерлицкого позора, и, 2-е, что отец требует его немедленного отъезда в Корчеву к какому-то Ростову, он остался совершенно равнодушен к обоим пунктам.

— Чёрт их возьми со всеми Пултусками, и Бонапартами, и наградами,— подумал он о первом.— Нет уж, извините, теперь не поеду, покуда Николенька будет находиться в этом положении,— подумал он о втором, и он с открытым письмом в руке на цыпочках вернулся в детскую и глазами отыскивал сестру.

Была вторая ночь, что они оба не спали, ухаживая за горевшим в жару мальчиком. Все сутки эти, не доверяя своему домашнему доктору и ожидая того, за которым было послано в город, они предпринимали то то, то другое средство. Измученные бессонницей и тревожные, упрекали один другого и ссорились. В ту минуту, как опять входил князь Андрей с письмом в руке, он увидал, что нянька с испуганным видом спрятала что-то от него и что княжны Марьи не было у кроватки.

— Мой друг,— послышался ему сзади себя отчаянный, как ему показалось, шёпот княжны Марьи. Как это часто бывает в минуты страшного ожидания, на него нашел беспричинный испуг. Всё, что он видел и слышал, показалось ему, подтверждало его страх.

«Всё кончено, он умер»,— подумал он, сердце его оборвалось, и холодный пот выступил на лбу. Он с потерянными мыслями подошел к кроватке, уверенный, что он найдет ее пустою, но хорошенький, румяный ребенок, раскидавшись, лежал в ней. Князь Андрей нагнулся и, как учила его сестра, губами попробовал, есть ли жар у ребенка. Нежный лоб был влажен, он дотронулся рукою — даже волосы были мокры. Какая-то тень виднелась ему подле него под пологом кроватки. Он не оглядывался, не помня себя от счастия глядя на лицо ребенка и слушая его ровное дыхание. Темная тень была княжна Марья, которая неслышными шагами подошла к кроватке, подняла полог и опустила его за собою. Под кисейным пологом был матовый полусвет, и они втроем были уединены, казалось, от всего мира.

— Он вспотел,— сказал князь Андрей.

— Я шла к тебе, чтобы сказать это.

Князь Андрей смотрел на свою сестру своими 13-тилетними[13], ясными и добрыми глазами и виновато улыбался. Лучистые глаза княжны Марьи блестели больше обыкновенного от счастливых слез, которые стояли в них. Они потихоньку, чтобы не разбудить ребенка, пожали друг другу руку, и неловкая княжна Марья этим жестом слегка зацепила за полотно кроватки. Они погрозили друг другу, еще постояли в матовом свете полога, как бы жалея расстаться с этим миром, отдельным, чистым и полным такой любви, и, наконец, путая волосы, вздохнув, вышли и закрыли за собою занавески[14].

На другой день мальчик был совершенно здоров и князь Андрей поехал в Корчеву исполнять поручения своего отца.

⟨XXXI⟩

Последний долг в 42 тысячи, сделанный для уплаты проигрыша Nicolas, хотя и составлял незначительную сумму относительно всего имения графа Ростова, был тою фунтовою [маленькой] гирькой, которая окончательно перевешивает пудами наложенные весы. Этот последний заем, сделанный графом на честное слово, и уплата по нем окончательно расстроила [его дела] дела Ростовых. К осени должны были поступить ко взысканию векселя и требования Опекунского совета, по которым платить нечем было, не продавая имений. Но старый граф с чувством заигравшегося игрока не считался с банкометом и верил; Митенька, ловя рыбу в мутной воде, не старался уяснить дел. Под предлогом уменьшения доходов граф поехал с семейством в деревню и намеревался провести в ней и зиму. Но жизнь в деревне нисколько не вела графа к поправлению своих дел. Он жил в своем Отрадном — 500-душенном имении, не приносящем никакого дохода [и едва достающим на чистку его садов и парков и поддержку оранжереи], но с богатым садом и парком и оранжереей, огромной псовой охотой, хора музыки, конных, голландского рогатого скота, не приносящими никакого дохода заводами[1]. На беду в этот же год [был объявлен манифест об ополчении] были два набора и ополчение, разорившие многих помещиков в России, положили конец его разорению[1]. В его имениях приходился 3-й работник в ополчение, так что в пахотных губерниях запашка должна была быть уменьшена, а в оброчных, которые составляли главные его доходы, мужики не платили и не могли платить оброка. Сверх того на обмундирование и провиант он должен был удержать десятки тысяч[2]. Но граф нисколько не изменил ни своей радушной веселости, ни гостеприимства, принявшего еще большие размеры в деревне и с тех пор как он единодушно был избран предводителем дворянства. Кроме огромного приема и увеселений, которыми он угащивал дворян своего уезда, он за некоторых, беднейших, платил свои деньги и всеми средствами отстаивал их перед главнокомандующим, несмотря на славу страшной строгости, которую имел главнокомандующий князь Болконский. Поэтому-то и были упущения по его уезду, за которые гневался князь Николай Андреич и исправить которые он послал своего сына.

[Граф Илья Андреич] Митенька жил с семьей в большом флигеле села Отрадного и все, имевшие дела до графа, знали, что тут-то, у него, решались все дела. У крыльца его в новых кафтанах, чисто обутые начальники из мужиков, и мужики растерзанные, и бабы-просительницы. Митенька вышел к ним в шубке, румяный, гордый, рассеянный.

---

[13] Так в автографе.

[14] На полях: *Старый князь приехал, взбесился. Князь Андрей уехал к себе и говорил с сестрой о несчастии отца от крепостного права. Наташа отчаянно весела. 1808. Анатоль.* ***Приезд Пьера.***

[1] Так в автографе.

[2] На полях: *Бергу приданое, отдает замуж.*

— Ну, ты что?

Староста села объяснил, что опять приехал ополченный начальник и требовал людей завтра на учение, а пар еще не пахан.

— Что прикажете?

Митенька поморщился.

— И чёрт их знает, что делают. Так все хозяйство бросить. Я *ему* говорил, чтобы написал,— проговорил он про себя.— Это еще что?

Это была бумага от станового с требованием, по приказанию главнокомандующего, денег. Митенька прочел.

— Скажи, что его нет, сейчас едут в город. Потом доложу. Ну, вы что?

Старый мужик повалился в ноги.

— Отец!.. Ваньку взяли, хоть бы Матюшку оставили! Прикажи отменить.

— Да тебе говорили, что это только на время.

— Как, батюшка, на время. Сказывают, всех заберут.

Баба, просившая о муже, бросилась в ноги.

— Ну, ну, твоего-то давно пора за грубиянство.— Из-за угла вышло еще человек 10 оборванцев, видимо, тоже просители.

— Ну, вас всех не переслушаешь. Царь велел...

— Батюшка... отец...

— Да вы подите к барину...

— Отец, защити.

В это время мимо крыльца приказчикова флигеля прогремела огромная карета цугом на сытой 6-ке серых. Два лакея в галунах стояли — гладкие — сзади. Кучер толстый, красный, с помаженной бородой крикнул на народ, подручный жеребец заиграл.— Держи короче, Васька.— И карета покатила к подъезду с колоннами между выставленных кадок огромного отрадненского дома. Граф ехал в город для свидания с князем Андреем, но знали, что он вернется на другой день, так как на [другой] 3-й день были его именины, день торжественный, и прием. К этому дню в большой зале уже давно готовился домашний театр сюрпризом, о котором, несмотря на стуки топоров, делавших подмостки, граф не должен был знать. Уже много и гостей было съехавшихся к этому дню из Москвы и губернского города.

Митенька отпустил народ, сказав, что графу некогда и что изменить ничего нельзя, так как всё было решено его именем.

Князь Андрей 2-й день жил в уездном городе, сделал все нужные ра поряжения властью, данной ему от отца, и ждал только свиданья с предводителем, назначенного вечером, чтобы уехать. Само собою разумеется, что, несмотря на перемену, которая, он льстил себя надеждой, произошла в нем, он не мог никого, ни городничего, ни судьи, знать из бывших в городе. Он ходил, гулял, как в пустыне. Однажды утром он пошел на торг и, пленившись красотою одной булочницы, подарил ей 5 рублей на расторжку; на другой день мужик пришел к нему, жалуясь на позор его дочери. Ее шуняют, что она любовница главнокомандующего сына. Князь Андрей разменял деньги, пошел на другой день на базар и раздарил по 5 рублей всем девкам. Когда граф Илья Андреич приехал в город и переоделся у судьи, он узнал об этом поступке молодого Болконского и очень был обрадован им. Он поспешно как и всегда с веселым и более чем всегда, веселым духом, вошел к князю Андрею[3].

Старый граф пользовался тою великою выгодою добродушных людей, что ему ни с кем, ни с важным, ни с неважным, не нужно было изменять

---

[3] На полях: *Два друга—Андрей и Pierre, у Ростовых, оба влюблены, но* **ребенок.** *У Ростовых шло веселье. Анна Михайловна привезла Анатоля, и Борис приехал. Положение Бориса в армии. Борис с презрением смотрит на деревенщину. La petite Natalie 〈маленькая Натали〉. Рад дружбе с Анатолем, даже уступает ему. Наташа подслушала, как он хвалит ее груди, и оскорблена. Pierre остается. Борис. Ему отказывает Наташа. Ей кажется, что их столько.*

своего обращения; он не мог быть более ласков, чем он был со всеми.

— Ну, здравствуйте, милый князь! Очень рад познакомиться с вами. Батюшку вашего встречал, да он, чай, меня не помнит. Как же это [его] вам не совестно здесь оставаться. Прямо бы ко мне, рукою подать, мои ямщики живо бы [тебя] вас докатили, и [тебе] вам, и людям твоим[4] спокой был, и об деле бы переговорили, а то [тебе] вам, чай, и есть-то нечего было; и графинюшка моя, и дети мои, все бы [тебе] вам душой рады были. Сейчас едем со мной, у меня переночуете, погостите, сколько вздумается, после же завтра день ангела моего, не побрезгайте, князь, моего хлеба-соли откушать. [Ты] Вы об деле погодите, вот сейчас я моего секретаря позову, мы в одну минуту всё обделаем. Деньги у меня готовы, я сам, батюшка, знаю, что служба прежде всего.

Вследствие того ли, что действительно граф с своим секретарем представил достаточные причины несвоевременности исполнения некоторых требований и удовлетворил тем, которым было возможно удовлетворить, или от того, что князь Андрей был подкуплен этой простодушно доброй манерой старого графа, за которой ничего не скрывалось, кроме общего благоволения, благодушия ко всем людям без исключения, но князь Андрей почувствовал, что все служебные дела кончены, и что ежели они не окончены, то мешает тому никак не нежелание старого графа сделать угодное правительству, его отцу и всем людям на свете.

— Ну, [брат] князь, хорошо [ты] вы штуку с торговками сделали! Это [брат] я люблю, это по-барски.— И он добродушно потрепал его по плечу.— Так пожалуйста же, князь, дружок, не откажите погостить у меня, ну, недельку,— сказал он, как бы не сомневаясь в том, чтобы князь Андрей мог не поехать к нему. Князь Андрей, действительно, находясь в особенно хорошем расположении духа вследствие счастливого окончания болезни сына, веселого расположения духа, произведенного историей с торговками, и в особенности вследствие того, что старый граф принадлежал к тому разряду людей, столь отличных от него самого, что он к ним не примерял себя и они ему бывали особенно симпатичны, он и не подумал, что можно было отказать ему.

— Ну, не недельку,— сказал он, улыбаясь.

— Там увидим,— подхватил старый граф, сияя радостной улыбкой.— [Ты посмотри] Вы посмотрите, послезавтра у меня театр будет, мои девчата затеяли. Только это секрет, сюрприз, [смотри не проговорись] смотрите не проговоритесь!

Усадив нового гостя в свою карету и велев коляске князя ехать за собой, старый граф привез его к вечернему чаю в Отрадное. Дорогой старик много и весело болтал и болтовней этой еще более понравился молодому Болконскому. Он с такою любовию и уважением говорил про своего сына, которого князь Андрей вспомнил, что видел раз за границей, он с такою осторожностию и усилием не хвалить говорил про своих девчат (князь Андрей понимал, что это была та врожденная деликатность отца невест, который говорит о них перед выгодным женихом), он с такой простотой смотрел на все отношения людские, так был непохож на всех тех гордых, беспокойных и честолюбивых людей, к которым принадлежал он сам и которых он так не любил, что старик ему особенно понравился.

— Вот и моя хата,— сказал он с некоторою гордостию, вводя его на отлогую, широкую, каменную лестницу, уставленную цветами, и в большую переднюю, в которую вскочило десятка полтора [довольно] грязных, но веселых лакеев. Старик провел его прямо к дамам в гостиную [с открытым б⟨алконом⟩] и на балкон, где все сидели за чайным столом. Князь Андрей нашел в семействе Ростова то самое, что он и ожидал найти: московскую барыню-старушку с бессмысленным и ленивым французским разговором, чопорную барышню Лизу, под видом небрежности

---

[4] *твоим* — осталось не исправленным (прим. составителя).

до малейших подробностей высматривающую жениха, скромную, краснеющую воспитанницу Соню и немца гувернера с мальчиком, беспрестанно надоедающего этому мальчику своими замечаниями, только с тем, чтобы показать родителям и в особенности гостю,— что он — хороший немец, помнит свое дело, что его «можете и вы, господин гость, взять к себе, ежели вам нужно хорошего немца, а я охотно пойду к вам, потому что здесь не умеют все-таки вполне ценить меня», и благородное дворянство — гости, почтительно держащие себя у графа-предводителя. Всё это было, как и следует быть. Ничего не было неожиданного, но почему-то всё это, со всею своею ничтожностию и пошлостию, до глубины души трогало князя Андрея. Было ли причиной тому его настроение, окрашивающее в эту минуту всё поэтическим и нежным светом, или всё, что окружало его, произвело в нем это настроение, он не знал, но всё его трогало и всё, что он видел, слышал, ярко отпечатывалось в его памяти, как бывает в торжественные и важные минуты в жизни.

Старичок в мягких сапожках поспешно подошел к жене, целуясь с нею рука в руку и взглядом указывая на гостя, говоря друг другу то, что понимает только муж с женою. Лиза, сразу не показавшаяся ему несимпатичной, присевшая к гостю (ему жалко было, что она не такая добрая, как отец), Соня, вся вспыхнувшая своим избытком крови и своими верными, собачьими глазами и черными, густыми косами, зачесанными у щек, как уши у лягавой собаки, и старый лакей, с улыбкой смотревший на представление нового лица, и огромная старая береза с неподвижно висевшими ветвями в теплом вечернем свете, и звук охотничьих рогов, и воя гончих, слышных из-под горы от псарни, и наездник на кровном, взмыленном жеребце и золоченых дрожках, остановившийся перед балконом, чтоб показать графу любимого жеребца, и спускавшееся солнце, и мелкая трава по краю дорожки, и прислоненная к ней садовническая лейка — всё это, как атрибуты счастия, врезалось ему в памяти. Новое место, новые люди, тишина летнего вечера, спокойное воспоминание и какое-то новое, благодушное воззрение на мир, отразившееся с старого графа на него во время поездки, давали ему сознание возможности новой, счастливой жизни. Он мельком взглянул на небо, в то время как графиня говорила ему пошлую фразу о приятности летней жизни (что ж ей было и говорить с новым лицом, он не осуждал ее, она славная). Он взглянул на небо и в первый раз после Аустерлицкого сражения опять увидал его, увидал высокое, высокое, бесконечное небо, и оно было не с ползущими по нем облаками, а голубое, ясное и уходящее. Какой-то шум, похожий на звук влетевшей в комнату и бившейся об окно птицы, послышался на окне, выходящем на балкон, и отчаянный и веселый голос кричал:

— Отворите, я защепилася, мама! Я защепилася,— кричал, смеясь и плача, как показалось князю Андрею, какой-то мальчик, стоявший на окне. Увидав его, мальчик, и прелестный мальчик, встряхнув черными кудрями, покраснел, закрыл лицо руками и соскочил с окна.

Это была Наташа[5]. Она в мужском костюме своей пьесы для репетиции, зная о возвращении отца и с гостем, пришла похрабриться и показаться, но зацепилась за задвижку, выдумала слово «защепилась», и желая и посмеяться над этим словом, и отворить окно, которое не подавалось, и показаться в мужском костюме, который, она знала, очень идет к ней, новому лицу, и желая скрыться от отца, она, как птичка, затрепыхалась в окне, сама не зная, что она делает, так как, как и всегда это с ней бывало, все эти мысли вдруг пришли ей в голову и она все их хотела сразу привести в исполнение.

— Ну, я пойду Полкана посмотреть,— сказал старый граф, подмигивая и улыбаясь жене, показывая, что он ничего не видал и не знает сюрприза, и спустился вниз с балкона к Полкану, который нетерпеливо бил ногой,

---

[5] На полях: *оживляется от похвалы, сердится и падает духом от равнодушия.*

отмахивался от мух и одними этими движениями откатывал и накатывал летние дрожки.

— Это моя меньшая, они готовят спектакль к именинам моего мужа,— сказала старая графиня.

Князь Андрей с улыбкой сказал, что он всё знает.

— От кого же? — закричал голос из окошка и [прелестная] оригинальная головка (Наташе минуло 15 лет и она очень сложилась[6], похорошела в это лето).— От папà?!

— Нет, я узнал это здесь,— сказал он, улыбаясь.

— А! — сказал голосок, успокоиваясь.— Мамà, подите сюда, посмотрите, хорошо ли будет.— Старая графиня вышла, и князь Андрей слышал, как она уговаривала дочь показаться всем, так как ее увидят же в этом костюме. Лиза между тем рассказывала подробно, что костюм этот означает приготовление к театру, что старый граф знает, но притворяется не знающим, одним словом всё то, что князь Андрей понял с первого намека.

Старый граф разговаривал с наездником о том, сколько минут едет Полкан. С одной стороны слышалась балалайка около кухни, а из-за пруда долетали звуки разбирающегося стада. Князь Андрей слышал всё, но все эти звуки были только аккомпанемент звука голоса мальчика-девочки, которая говорила, что она хочет показаться гостю. Старая графиня уговаривала ее. Вдруг быстро отворилась дверь, и на балкон выбежала Наташа. На ней были лосиные панталоны, гусарские сапожки и, открытая на груди, серебром шитая, бархатная курточка. Тонкая, грациозная, с длинными до плеч завитыми локонами, румяная, испуганная и самодовольная, она хотела сделать несколько шагов вперед, но вдруг застыдилась, закрыла лицо руками и, чуть не столкнув с ног мать, проскользнула в дверь, и только слышен был по паркету быстрый удаляющийся скрып ее гусарских сапожек.

Ввечеру Наташа, обыкновенно [незастенчивая] мало застенчивая, не сходила к ужину.

— Отчего ты не идешь? — говорили ей.

— Не пойду, мне стыдно.— Сама графиня должна была прийти за ней. Но Наташа, услыхав шаги графини, вдруг заплакала.

— Об чем ты? Что с тобой? — лаская говорила графиня.

— Ах, ничего, мне досадно, что вы историю делаете из пустяков. Идите, идите, честное слово,— она перекрестилась,— я приду. И она пришла перед самым ужином в женском платье, которое на ней было уже длинное, как у больших, но в той же прическе. Она, покраснев, присела князю Андрею.

Хотя видно было, что она еще много вырастет, она была стройна и уже роста взрослой невысокой женщины. Она была и хороша и не хороша. Верхняя часть лица — лоб, брови, глаза — были тонки, сухи и необыкновенно красивы, но губы были слишком толсты и слишком длинен, неправилен подбородок, почти сливавшийся с мощной и слишком сильной по нежности плеч и груди — шеей. Но недостатки ее лица можно бы было разобрать только на ее портрете или бюсте, в живой же Наташе нельзя было разобрать этого, потому что, как скоро лицо ее оживлялось, строгая красота верхней части сливалась в одно с несколько чувственным и животным выражением нижней части в одну блестящую, вечно изменяющуюся прелесть. А она всегда была оживлена. Даже, когда она молчала и слушала, или думала. [Она вся была то кокетство, то ожидание, то любопытство, страстное любопытство жи‹вой›] За ужином, не вступая в разговор больших, она внимательно, любопытно строгими глазами вглядывалась в новое лицо. Старый граф заметил, что она молчалива, весело подмигнул князю Андрею, и покосился на любимицу дочь, и сказал:

---

[6] Слово неясно читается, так как на нем чернильное пятно (прим. составителя).

— За одно, князь, жалею Москву: театров нету, что бы дал театр посмотреть. А! Наташа,— обратился он к ней. Князь Андрей, следя за взглядом старого графа, тоже смотрел на нее.

— Ведь она у меня певица,— сказал старый граф.

— А вы поете? — сказал князь Андрей. Он сказал эти простые слова, прямо глядя в прекрасные глаза этой 15-тилетней девочки. Она тоже смотрела на него, и вдруг без всякой причины князь Андрей, не веря сам себе, почувствовал, что кровь приливает к его лицу, что его губам и глазам неловко, что он просто покраснел и сконфузился, как мальчик. Ему показалось, что Наташа заметила его состояние и другие также.

[— Нет, не нравится, не нравится мне,— говорила вечером Наташа о князе Андрее.— Что-то гордое, сухое] Вечером старая графиня в кофте опять пустила к себе Наташу, которая была особенно оживлена после своего припадка застенчивости и, одевшись в старушечью кофту и чепец, сидела на горе из подушек и ораторствовала.

— Да, этот в моем вкусе,— говорила.

— У тебя губа не дура,— говорила графиня[7].

Князь Андрей не остался гостить, а уехал на другой день утром. Он ехал один в своей коляске и думал, не переставая, о своей покойной жене. Он видел, как живое, перед собой ее лицо. «Что вы со мной сделали?» — всё говорило это лицо, и ему тяжело и грустно было на душе.

— Да, есть надежда и молодость,— говорил он сам себе,— а я отжил, я кончил, я старик,— говорил он себе, но в это время [он увидал дуб], как он говорил себе это, он подъезжал к дому и проезжал [Лысогорский [дубовый и] березовый лес, примыкавший к самому дому] Лысогорскую березовую рощу, примыкавшую к самому дому. Когда он ехал еще в Корчеву, в этой роще, уже распустившейся, стоял один дуб, еще голый, и он задумался над этим дубом. Была весна, ручьи уже сошли, всё было в зелени, береза уже была облита клейкой, сочной и пушистой зеленью, в лесу пахло 〈теплой?〉 свежестью [соловьи] [птицы] [щеглы]. Около самой дороги, вытянув одну корявую, нескладную руку над дорогой, стоял старый двойчатка дуб с обломленной корой на одной стороне двойчатки. Весь старый дуб, с своими нескладными, 〈голыми?〉 руками и 〈пальцами?〉, с своей столетней корой, обросшей мохом, с своими болячками, голо торчащими ветвями, казалось, говорил про старость и смерть. «И опять вы те же глупости,— казалось, говорил он соловьям и березам,— опять вы притворяетесь в какой-то радости весны, лепечете свои старые, прискучившие, всё одни и те же басни про весну, про надежды, про любовь. Всё вздор, всё глупости. Вот смотрите на меня: я угловатый и корявый, таким меня сделали, таким я и стою, но я силен, я не притворяюсь, не пускаю из себя сока и молодые листья (они спадут), не играю с ветерками, а стою и буду стоять таким голым и корявым, покуда стоится».

Теперь, возвращаясь, князь Андрей вспомнил о дубе, совпадающем с его мыслями о самом себе, и он взглянул вперед по дороге, отыскивая старика с его голой избитой рукой, укоризненно протянутой над смеющейся и влюбленной весной. Старика уже не было: пригрело тепло, пригрело весеннее солнце, размягчилась земля, и не выдержал старик, забыл свои укоризны, свою гордость, все прежде голые, страшные руки уж были одеты молодой, сочной листвой, трепетавшей на легком ветре, из ствола, из бугров жесткой коры вылезли молодые листки, и упорный старик полнее и величественнее и размягченнее всех праздновал и весну, и любовь, и надежды.

---

[7] На полях: *Переписка князя Андрея с Pierr'ом, Тильзит. Nicolas и Денисов. Свадьба Берга. Андрей умиляется при пении Наташи.*

‹XXXII›

[После Пултуска и Прейсиш Эйлау всё одушевилось в России в армии] В 1-х числах апреля государь приехал к войску, и, как говорила Анна Павловна и все в Петербурге, с свойственным ему величием души он не хотел дать повода повториться упрекам за Аустерлиц и, живя подле армии, перенося все труды лагерной жизни, как честный человек, только одушевляя войско своим присутствием и предоставляя полную власть Бенигсену, назначенному главнокомандующим на место сумасшедшего Каменского. [Государь был в Бартенштейне, когда получено было известие о Фридланде, и послан был Попов — узнать, в каком положении находится армия. Армия была вся уничтожена и бежала, как доложили императору. Император Александр был в отчаянии]

Государь жил в Бартенштейне. Армия стояла у Фридланда.

Павлоградский полк, находившийся в той части армии, которая была в походе 1805 года и, укомплектовываясь в России, опоздала к первым действиям, стоял теперь в разоренной польской деревне. Денисов был не из тех офицеров, несмотря на свою известную храбрость [и честность], которые успевают по службе; он по-прежнему командовал и тем же эскадроном гусар, которые, хотя и переменившись больше, чем наполовину, так же как и прежние, не боялись его, [жалели, [но] уважали] но чувствовали к нему детскую нежность.

Nicolas был тем же субалтер-офицером, хотя и поручиком, в эскадроне Денисова.

Когда Nicolas вернулся на перекладной из России и застал Денисова в его походном архалуке, с его походной трубкой, в избе с раскиданными вещами и по-старому грязного, мохнатого и веселого, совсем не такого припомаженного, каким он его видал в Москве, и они оба обнялись, они поняли, как не на шутку они друг друга любят. Денисов расспрашивал о домашних и особенно о Наташе. Он не скрывал перед братом, как нравилась ему его сестра. Он прямо говорил, что влюблен в нее, но тут же (как ничего неясного не было с Денисовым) прибавлял [что он и не думает когда-нибудь быть ее мужем]:

— Только не про меня, не мне, старой, вонючей собаке, такую прелесть назвать своею. Мое дело рубиться и пить. [Он объявил брату, что вернее рыцаря, как его, его сестренка не будет иметь, но что тревожить ее и надоедать ей не будет.] — А люблю, люблю, и всё тут, и вернее рыцаря не будет у нее, покуда меня не убили. За нее готов изрубить всякого и за нее в огонь и в воду.

Nicolas, улыбаясь, говорил:

— Отчего же. Коли она тебя полюбит.

— Вздо', не с моим 'ылом. Стой, б'ат, слушай. Я тут один жил — скука! Вот ей стихи сочинил. И он прочел:

Волшебница, скажи, какая сила
Влечет меня[1] к покинутым струнам,
Какой огонь ты в сердце заронила,
Какой восторг разлился по перстам?
Давно ли я, убитый, безотрадный,
В жестокой грусти тайно изнывал,
Давно ль, к тебе бесчувственный и хладный,
Твой чистый дар с презреньем отвергал.
Вдруг весь волшебный мир воображенья
Открыла мне в прелестнейших мечтах,
И пробудилась жажда песнопенья,
И вспыхнул огнь на радостных струнах.

---

[1] Толстой вписал только полторы строки романса; при копировании Рукописи 103 был вписан весь текст, по копии он и печатается (прим. составителя).

В горящих нервах вымыслы родятся,
И думы роем вьются надо мной,
Мелькнут... исчезнут... снова вдруг толпятся
Забыто все... сон, пища и покой.
Пылает кровь в порывах вдохновенья.
Я в исступленьи день и ночь пою!
Нет сил снести восторгов упоенья,
Они сожгут всю внутренность мою!
Спаси меня, склонися к сожаленью,
Смири волненья страстных чувств моих,
Нет, нет, волшебница, не верь моленью!
Дай умереть у ног твоих!

Nicolas, пристыженный своим последним поступком, приехал с‹сшибленными?› крыльями, с намерением служить, драться, не брать ни копейки из дома и загладить свою вину. Он в этом расположении духа особенно живо почувствовал дружбу Денисова и всю прелесть этой уединенной, философской и монастырской жизни эскадрона, с ее обязательной праздностью, несмотря на водку и карты, и с наслаждением в нее погрузился.

Был апрель месяц, ростепель, грязь, холод, реки взломало, дороги провалились, по нескольку дней не давали провианта. Люди посыпались по жителям отыскивать картофель, но ни картофеля, ни жителей не было. Всё было съедено, и всё разбежалось. Те же жители, которые не убежали, были хуже нищих, и отнимать у них или нечего уж было или даже мало жалостливые солдаты не имели на это духа. Павлоградский полк почти не был в делах, но от одного голоду убавился наполовину. В гошпиталях умирали так верно, что солдаты, больные лихорадкой и опухолью, происходившей от дурной пищи, предпочитали нести службу, через силу волоча ноги во фронте. С открытием весны солдаты, хитрые на выдумки, нашли показывавшийся из земли корень, который они называли почему-то «Машкин сладкий корень», и рассыпались по лугам и полям, отыскивая сладкий корень (который был очень горек), саблями выкапывали его и ели, несмотря на приказы не есть этой травы. Солдаты начали пухнуть в руках, ногах и лице, и полагали, что от этого корня. Но, несмотря на запрещенье, солдаты ели корень, потому что уже вторую неделю им обещали провиант, а выдавали только по одному фунту сухарей на человека. Лошади питались тоже вторую неделю крышами с домов и тоже доедали последнюю привезенную за три мили солому. Лошади были кости и кожа и покрыты еще зимнею шерстью клоками. Денисов, бывший в выигрыше, выдал больше тысячи рублей своих денег на корм и занял всё, что было у Ростова, но купить негде было.

Но, несмотря на такое страшное бедствие, солдаты и офицеры жили точно так же, как и всегда: так же строились к расчетам, шли на уборку, чистили амуницию, даже делали ученья, рассказывали по вечерам сказки и играли в бабки. Только поодергались щеголи-гусары, и лица все были, более чем обыкновенно, желты и скуласты. Офицеры так же собирались, пили иногда, играли очень много и большую игру, так как денег, выдаваемых на провиант, который купить нельзя было, было очень много. Они все были в ходу — в игре.

— Ну, брат, седлай,— закричал раз вечером после приезда Ростова Денисов, возвращаясь от полкового командира, куда он ездил за приказаниями.— Сейчас берем два взвода и идем отбивать транспорт. Чёрта с дьяволом, не издыхать же людям, как собакам! — Он отдал приказанье вахмистру седлать и сошел с лошади.

— Какой? Неприятельский транспорт? — спросил Ростов, вставая с постели, на которой он один, скучая, лежал в комнате.

— Свой! — прокричал Денисов, горячась, видно, еще тою горячностью, с которой он говорил с полковым командиром.

— Еду, вст'ечаю т'анспо'т, думаю, что нам, п'иезжаю сп'ашивать суха'ей. Опять говорит, нету. Это в пехоту везут. Подождите день; требовал, писал. Я семь раз писал, гово'ит, до'ог нет.— Ну, так я отобью, кото'ый вст'етим. Не издыхать же людям.— Я не отвечаю.— Да и не отвечайте, чё'т вас возьми, я отвечу,— рассказывал Денисов.— Суди меня там, кто хочет.

Не выходя из этого состояния раздражения, Денисов сел на лошадь и поехал. Солдаты знали, куда едут, и в высшей степени одобривали распоряжение начальника, они были веселы и подшучивали друг над другом, над лошадьми, которые спотыкались и падали. Денисов взглянул на людей и отвернулся.

— Мерзко взглянуть,— сказал он и на рысях поехал по дороге, по которой должен был идти транспорт. На рысях не могли идти все лошади; некоторые падали на колени, но видимо из последних сил бились, чтобы не отставать от своих. Они догнали транспорт. Солдаты транспорта стали было противиться, но Денисов исколотил старшего унтер-офицера плетью и завернул транспорт. Через полчаса два пехотные офицеры, адъютант и квартирмейстер полка прискакали верхами требовать объяснений. Денисов ни слова не ответил им на их представления и только крикнул на своих:

— Пошел!

— Вы будете отвечать, ротмистр; это буйство, мародерство, у своих, наши люди два дня не ели. Это разбой. Ответите, милостивый государь,— и он, трясясь на лошади, как трясутся верхом пехотные офицеры, отъехал.

— Собака на забо'е, живая собака на забо'е! — прокричал ему вслед Денисов высшую насмешку кавалериста над верховым пехотным и рассмешил весь эскадрон.

Солдатам роздали сухарей вволю, поделились даже с другими эскадронами, и полковой командир, узнав всё дело, повторил, закрывая глаза открытыми пальцами:

— Я на это смотрю вот этак, но не отвечаю и не знаю.

Однако через день по поступившим жалобам от пехотного командира он позвал к себе Денисова и посоветовал съездить в штаб и там, по крайней мере, в провиантском ведомстве расписаться, что он получил столько-то провианту, а то требование записано на пехотный полк. Денисов поехал и возвратился к Ростову взбешенный, красный и с таким приливом крови, что ему необходимо было в тот же день пустить кровь; глубокая тарелка черной крови вышла из его мохнатой руки и тогда только он стал в состоянии рассказать, что с ним было. Но и тут, дойдя до трагического места, он так разгорелся, что кровь пошла из руки и надо было перебинтовать ее.

— Приезжаю. Ты думаешь, они там бедствуют, как мы? Как же! Смотрю, жиды провиантские, все чистенькие, гладенькие, веселенькие. Ну, где у вас тут начальник? Показали. Ждал долго. Уж это меня взбесило. Обругал всех, велел доложить. У меня служба, я за 30 верст приехал. Хорошо, выходит этот обер-вор: вы пожалуйте к чиновнику по комиссии, там распишетесь, а поступок ваш представится высшему начальству.

— Вы меня, батюшка, не учите, а лучше бы не заставляли ждать по 3 часа. Извольте идти.

Обругал, и с этим пошел. Прихожу, один чиновник к другому, к третьему, один одного погоняет, все франты, я тебе говорю, уж меня стало бесить. Прихожу к тому-то комиссионеру. Хорошо, кушают, сейчас. Смотрю: портер несут, индейку. [— Доложи.] «Ну,— думаю,— уж этого ждать не буду». Вхожу, изволят кушать... Кто же! Нет, ты подумай (тут развязалась повязка и брызнула кровь). Телянин!

— А, так ты нас с голоду моришь! — Раз, раз, по морде!.. А . . . . . ! (он произнес грубое ругательство). Кабы они не бросились на меня, я бы убил его до смерти... Хороши, а? Хороши, а?..

— Да что же ты кричишь, успокойся,— говорил Ростов.— Ведь этак еще кровь пускать.

В Фридландском сражении два эскадрона павлоградцев, над которыми старшим был Денисов, поставлены были на левом фланге в прикрытие артиллерии, как ему сказал с вечера полковой командир. С начала дела открылся страшный огонь по гусарам. Ряды вырывало за рядами, и никто не приказывал им ни отступать, ни переменить положение. Денисов, хотя, как и всегда для сражения надушенный и напомаженный, был грустен и сердито отдавал приказания для уборки тел и раненых. Увидав недалеко проезжавшего генерала, он поскакал к нему и объяснил, что дивизион перебьют весь без всякой пользы для кого бы то ни было. Лошади так слабы, что в атаку идти не могут [место], ежели бы даже и можно было, то место изрыто рытвинами, и наконец нет надобности стоять под ядрами, когда можно перейти дальше. Генерал, не дослушав его, отвернулся и поехал прочь [2].

— Обратитесь к генералу Дохтурову, я не начальник.— Денисов отыскал Дохтурова. Тот сказал ему, что начальник 3-й генерал, 3-й генерал, что начальник 1-й генерал.

«Чёрт вас дери совсем»,— подумал Денисов и поскакал назад.

Кирстен был уже убит, и Ростов был старшим. Так много было перебитых, что люди мешались и отходили от мест. Денисов поставил своим долгом собрать их. Но тут набежала на него пехота и смешала его.

— Стоило погубить $^1/_2$ эскадрона. Дьявол! — проговорил он, но тут картечь попала ему в спину и замертво повалила его с лошади. Ростов, уже привыкший переносить всегда повторявшееся в деле чувство страха, как умел старался в бегстве собирать эскадрон, а потом бежал, как попало.

〈XXXIII〉

Борис пристроился к штабу императорскому в конце прошлой кампании, и служба его шла весьма успешно. Он числился в Преображенском собственном его величества баталионе и получал вследствие этого гораздо больше жалованья и был на виду у императора. Князь Долгорукий не забыл его и представил князю Волконскому. Князь Волконский рекомендовал его другому, очень важному лицу, при котором (продолжая получать оклад по Преображенскому собственному его величества баталиону) и числился в качестве адъютанта [1] молодой [Борис] Друбецкой. Всем, особенно важным лицам, Борис очень нравился своей, как говорили, открытой и distingué [2] наружностью, скромностью, уменьем держать себя и добросовестностью исполнения поручений и точностью и элегантностью способа выражения. Гвардия, как и [в первый поход] в первую войну шла с праздника на праздник; в продолжение всего похода ранцы и часть людей везли на подводах. Офицеры ехали в экипажах со всеми удобствами жизни. Вся гвардия шла так, собственный баталион его величества шел еще роскошнее. Берг уже был старшим ротным командиром в баталионе и владимирским кавалером, на прекрасном счету у начальства. В Бартенштейне именно Борис явился к важному лицу, к которому у него была записочка от князя Волконского, и был взят в адъютанты, и отделился от Берга, предвидя [И будущность] лучшую будущность. Надежды эти оправдались. То величие всего императорского двора, которое он

[2] На полях: *То он боялся, как сделался старшим, не слышит пуль, не видит опасности.*

[1] На полях: *Придворная косточка. Танцовал в Бартенштейне, видел плот и прусского короля.*

Ростов просит о Денисове. Борис наивно рассказывает о огорчении

Прежде Ростов с Перигором и гошпиталь.

[2] изящной

видел только в коридоре Ольмюцкого дворца, он видел здесь в [во всех] одной с собой зале. Он был приглашен на один из балов, которые давались прусским министром Гарденбергом и который удостоили своим присутствием император Александр и король. На этом бале Борис, красивый танцор, был даже замечен. И ему случилось танцевать с графиней Безуховой в то время, как государь подошел к ней и сказал ей несколько слов. Он танцовал с ней, а государь говорил с нею и отошел, ласково улыбнувшись на ее кавалера в то время, как им надо было начинать фигуру экосеза. Борис, узнав, кто была эта красавица, которую замечал император, попросил одного знакомого флигель-адъютанта представить его ей [⟨и гордо?⟩]. Он воспользовался знакомством с князем Василием для того, чтобы вступить с нею в разговор, и с своим природным тактом обошел разговор о ее муже. (Он чувствовал, не зная никаких подробностей, каким-то инстинктом, что этого не дóлжно было делать). Элен осветила его всего своей улыбкой, той же улыбкой, которой она осветила и царя, она подала ему руку и тотчас после того, как царь говорил с нею. Во время разговора царя с его дамой Борис отступил и не слыхал разговора, хотя и никто не учил его так поступить. Он знал, что это нужно было сделать.

[После бала государь уехал из Бартенштейна в ⟨Тильзит?⟩. Борис был при нем] [Борис был при свидании в Тильзите.] Борис был всё время при государе, то есть в тех же городах и местечках, где был государь, и всё, что делалось в этом дворе, было его главным интересом и жизнью. Он был и в Юрсбурге, когда получено страшное известие Фридландского поражения, послан в Петербург и потом на нашем берегу Немана в Тильзите при свидании двух императоров. Так как то лицо, при котором он состоял, не было при государе в самом Тильзите во время пребывания в нем императоров, а Преображенский баталион был в нем, то Борис откровенно признался, что он желал бы видеть это, и просил своего начальника отпустить его опять хоть на время во фронт, на что и получил согласие.

...[3] июля он приехал в свой баталион и принят был хорошо товарищами, с которыми он, как и с начальниками, умел ладить. Никто страстно не любил его, но все считали его приятным молодым человеком. Он приехал ночью — отзыв был дан: [Socrat, Sion, silence] [4] Napoléon, France, bravoure[5] в ответ на накануне данный отзыв Наполеона: Alexandre, Russie, grandeur[6]. И это была первая новость, которую ему восторженно рассказал Берг. Берг показал ему дом, в котором был Наполеон, и так странно и радостно было испытывать близость того человека, которого близость была так страшна прежде. Борис видел все торжества и надеялся видеть Наполеона еще ближе, когда приехал к ним Ростов[7].

На другое утро к Бергу собрались офицеры, и Борис, бывший 2 дни тому назад свидетелем свидания, рассказывал подробности его. Борис говорил с своей всегдашней улыбкой, которая означала или легкую насмешку или умиление перед тем, что он видел, или радость, что он может это рассказать. Он рассказывал, как редко умеют рассказывать,— с такою властью в голосе, что чувствовалось невольно, что всё, что он говорил, была только правда и то, что он видел, и с такою умеренностью красот и с таким отсутствием личных суждений, что его слушали молча. Чувствовалось, что он заявляет факты, отрешаясь от своих суждений[8].

---

[3] Отточие в автографе — очевидно, место для даты (прим. составителя).

[4] Сократ, Сион, молчание

[5] Наполеон, Франция, храбрость.

[6] Александр, Россия, величие.

[7] На полях: *Борис ему рассказывает. Борис нежен и ласков, но Nicolas неловко. Ростов озадачен величием Бориса и увлечен их веселием с французскими офицерами.*

[8] На полях: [*Рассказ о прусской королеве.*] *Ростов удивляется на его придворность.*

ВСТРЕЧА ДВУХ ИМПЕРАТОРОВ В ТИЛЬЗИТЕ 25 ИЮНЯ 1807 Г.
Гравюра Куше-сына с рисунка Свебаха

— Я был при Napoléon'e,— начал он.— Мы выехали рано утром. Государь изволил ехать верхом рядом с королем прусским. Государь был в преображенском мундире, в шарфе и андреевской ленте. Вы знаете эту деревню Обер-Маменшек Крук, тут корчма еще есть недалеко от берега. Государь вошел в корчму, сел подле окна и положил на стол шляпу и перчатки. Генералитет тоже вошел в корчму, и все, как будто ожидая чего-то, молча стояли около двери. Государь был как и всегда спокоен, только несколько задумчив. Я стоял у окна и мне всё видно было. Около четверти часа пробыли здесь, и никто, ни король, ни государь, никто из генералов не сказал ни одного слова. Я пошел к берегу, и, так как река не широка, как вы знаете, я не только рассмотрел павильоны на плотах с огромными вензелями А., Н., но и весь тот берег, который был закрыт сплошною толпою зрителей. Справа виднелась гвардия императора Наполеона (Борис называл так прежнего Буонапарте, еще и не зная о том, что по армии строго было запрещено с 3-го дни называть Наполеона — Бонапартом, он природным чутьем узнал, что так дóлжно было поступать), и на том береге видны были такие же приготовления. Вы понимаете,— с тонкой улыбкой сказал Борис,— что надобно было подумать и подумать, чтобы так устроить дело, чтобы ни один не приехал раньше другого, чтобы наш император не дожидался императора Наполеона и наоборот. И надо отдать справедливость, всё было устроено превосходно, превосходно,— повторил он.— Положительно это было из самых величественных зрелищ мира. Только что мы услыхали на том берегу по наполеоновской гвардии крики: «Vive L'empereur!..» [9]

— Как их крик гораздо лучше нашего глупого «ура»,— сказал один из офицеров.

— Да и вообще какое необыкновенное устройство их гвардии. Нынче обещались к нам обедать два офицера французской императорской гвардии. Однако, продолжайте, Друбецкой.

— Ну-с, только что мы заслышали на другой стороне крики и увидали скачущего на белой лошади императора Наполеона, как наш флигель-адъютант стремглав бросился к корчме: — Едет, ваше величество!

[9] Да здравствует император!

Государь вышел, очень спокойно надел шляпу и перчатки и подошел к лодке. Отчалили они почти в одно и то же время. Но император Наполеон подплыл к плоту раньше. Он ехал стоя, с сложенными на груди руками. Надо признаться, он очень величественен, несмотря на свой малый рост. Но вид нашего государя поразил всех. Это необыкновенно,— с умилением проговорил Борис,— и вообще эта минута была столь величественна и трогательна, что кто видел всё это, никогда не забудет.

Император Наполеон взошел раньше на плот, поспешно перешел его на другую сторону и, когда наш государь только выходил из лодки, подал ему руку.— На этом месте Борис остановился с тонкой улыбкой, как бы желая дать время слушателям оценить всю глубину значения этого обстоятельства.

— Но правда ли это,— спросил один из слушателей,— что, в то время как императоры взошли в павильон, французская лодка с вооруженными солдатами выехала от них и стала между нашим берегом и плотом?

Борис поморщился, как бы давая чувствовать, что об этом обстоятельстве, действительно бывшем и виденном им, не следовало упоминать.

Он своим чутьем понял, что это было что-то нехорошо. Хотел ли ⟨Наполеон⟩ в самом деле в случае неблагоприятного окончания переговоров попугать императора Александра, что он находился в его власти, или просто это была часть церемониала, хотя с нашей стороны и не было лодки, выехавшей на ту сторону плота, во всяком случае упоминать об этом не следовало и, хотя он очень хорошо видел лодку и даже задумался над ней, он сказал:

— Нет, не заметил,— и продолжал свой рассказ.— Были они в павильоне,— сказал он,— ровно час и 52 минуты. Я смотрел на часы. Потом мы видели с берега, как они позвали господ своей свиты и представляли их друг другу. Потом государь изволил тем же путем вернуться, сел в коляску и с прусским королем поехал назад в Амт Баублен. Тут-то, господа, видишь,— продолжал Борис,— всё истинное величие, когда мы невольно сравнивали нашего государя с прусским королем,— только сказал Борис. Но другие офицеры подхватили:

— Говорят, король прусский решительно не мог преодолеть себя во время свидания; он был, как сумасшедший: ездил по берегу без всякой цели, то направо, то налево, всё как будто прислушивался к тому, что там говорится, и под конец совсем, как помешанный, поехал прямо в воду, утопиться, верно, хотел. Он по брюхо лошади, говорят, въехал в воду и остановился. Ты видел, Друбецкой?

— Нет, не заметил.

— Но, однако, его положение ужасно,— сказал еще другой офицер,— говорят, его жена, королева Амалия, приехала.

— Как хороша! Я ее видел вчера,— сказал Берг.— По-моему даже лучше Марии Федоровны. Она вчера обедала у императора Наполеона.

— Ежели бы я был Наполеоном, я бы ни в чем не отказал ей.

— Да, ежели бы и она ни в чем не отказала ему,— сказал другой офицер.

— Ну, это само собою разумеется.

Офицеры, исключая Бориса, засмеялись.

— Да это и я бы на месте прусского короля с горя бы в реку заехал. Плохо его дело.

Борис, слегка нахмурившись, своим выражением показал, что он считает неприличным даже между товарищами такой разговор о союзнике и коронованной особе, и поспешил переменить разговор.

— Да, господа,— сказал он,— величие души не дается с короною. Для государя Александра удар, нанесенный Фридландским несчастием, я думаю, был не легче, чем удар, нанесенный прусскому королю, но надо было видеть, с каким мужеством, с какою твердостию он перенес это.

И Борис рассказал своим внимательным слушателям впечатление, про-

изведенное в Юнсбурге известием о Фридланде, и в его рассказе видно было, что весь интерес этого события сосредоточивался в одном впечатлении, произведенном им на императора Александра, императора, принесшего столько жертв, перенесшего столько трудов, рассчитывающего на то, что армия его находится в блестящем положении, ожидающего известия о победах, пожертвовавшего своей личной славой, устранившегося от командования только для успеха дела, и вдруг, вместо известия о победе, получающего известие о совершенном поражении, в котором виноваты и главнокомандующие, и генералы, офицеры и солдаты, и которое, лишая государя всех плодов его деятельности, изменяет все его планы и до глубины души огорчает его. Что же сделал государь? Он своей ангельской кротостию и величием души не велел казнить всех преступников. Он только огорчился и, обдумав свое положение, принял новые меры. Борис с таким истинным убеждением говорил всё это, что вполне заставил своих слушателей разделить свое убеждение. В это время приехал Николай Ростов к Борису. Появление армейского гусара в штатском платье, очевидно, тайно приехавшего в Тильзит, его дружеское приветствие Бориса неприятно подействовало на офицеров. Но Борис радушно приветствовал старого товарища. Он воздерживался от излияния чувств, но спрашивал, не хочет ли он чаю, обедать или спать. Офицеры разошлись.

‹XXXIV›

После Фридландского несчастия Николай Ростов оставался старшим офицером в эскадроне, эскадроне только по имени, так как конных солдат у него было всего 60 человек. Они стояли недалеко от Немана, весть о мире уже дошла до них. Провианту стало достаточно, и офицеры уже поговаривали об отступлении в Россию.

Первое время Ростов был увлечен своим новым званием и хозяйственными делами по эскадрону. Он вел их с таким старанием, что получал одобрение от бывшего своего врага, теперешнего своего начальника, полкового командира. Ему весело было принимать кашу эскадрона, здороваться с людьми, отдавать приказания вахмистру и говорить: «в моем эскадроне».

Ему весело было тоже думать, что война кончилась, что не предстоит более опасностей, скоро удастся, вернувшись в Россию, увидать своих. О том, как бесславно кончилась эта кампания, он, как и все фронтовые офицеры, весьма мало думал.

Немецкая пословица говорит: «от деревьев лесу не видно». Так и военные люди, участвующие в войне, никогда не видят и не понимают значения самой войны. Кончилась кампания, провиант есть, в Россию идешь или отступил в Польшу к паночкам стоять, говорят — перемирие. Ну, и слава богу. А как кончилась и какой результат этой войны — это рассудят те, которые не участвовали в ней. Только тогда живо чувствуется для военного человека общий результат войны, когда он встречается после мира с прежними врагами и видит их торжество и радость.

Это-то случилось с Н. Ростовым 7-го июня, когда он ездил в главную квартиру Бенигсена за приказаниями и в этот самый день встретил там французского капитана Перигора, приехавшего от Наполеона для начала Тильзитских переговоров. В главной квартире Бенигсена Ростов остановился у бывшего своего товарища Жиркова, бывшего чем-то теперь при штабе главнокомандующего. Они зашли с ним вместе к маркитанту, когда на улице произошло движение. Все бежали смотреть что-то, и Ростов с Жирковым, следуя общему движению, увидали ехавшего по улице, сопутствуемого трубачом, красивого офицера французской гвардии в медвежьей шапке. Это был парламентер Перигор. Вид этого офицера был настолько презрительный и высокомерный, что Ростов вдруг почувствовал стыд побежденного и, поспешно отвернувшись, ушел назад.

Перигор, попавший к главнокомандующему во время обеда, был приглашен к столу. Не говоря уже об разнородных толках о том, как надменно вел себя этот Перигор, как и что оскорбительного для русских он говорил за обедом, очевидцы рассказывали, как он вошел, сел за стол и всё время ⟨у⟩ главнокомандующего провел, не снимая медвежьей шапки. Ростов, принужденный дожидаться бумаг до вечера, слышал эти толки и молчал. Он не мог говорить, так сильно кипели в нем негодование, стыд и злоба. Невольно спрашивал он сам себя, не имели ли права эти французы так презирать русских, не был ли он и его товарищи и его солдаты виноваты в том презрении, которое оказывал этот француз. Но нет, сколько ни вспоминал он Кирстена, Денисова, своих гусар, нет это была наглость француза и подлость тех русских, которые переносили это. Он стоял вместе с Жирковым и другими офицерами на крыльце одного из домов, занимаемого штабными. Жирков шутил как и всегда.

— То-то вспотел под шапкою, я думаю,— сказал он и обратился к Ростову.— Все люди, как люди, один чёрт в колпаке! не правда ли, а Ростов? — Это обращение вывело Ростова из его состояния скрытой злобы, он разгорячился.

— Я не понимаю, господа,— заговорил он, возвышая голос всё более и более,— как вы можете шутить и смеяться над такими вещами? У меня вся внутренность переворачивается: какая-нибудь дрянь, французский сапожник (Ростов ошибался: Перигор был член старой французской аристократии) смеет в шапке сидеть против нашего главнокомандующего, что же мы после этого? Чего же после этого не позволит себе какой-нибудь французишка со мною, с русским офицером? Только я, гусарский поручик, ему бы фухтелями сбил шапку с головы, потому что я не курляндский немец, мне честь русского дорога.

— Ну, ну! — испуганно, стараясь обратить в шутку, заговорили офицеры, оглядываясь. Невдалеке стояла группа генералов, но Ростов, возбужденный этим страхом, еще более разгорячился.

— Разве мы пруссаки какие-нибудь,— говорил он,— чтобы они имели право так обходиться с нами. Кажется Пултуск и Прейсиш Эйлау показали им, а что у нас главнокомандующие бог знает кто...

— Полно, полно,— заговорили офицеры.

— Бог знает кто, немцы, колбасники, сумасшедшие да порченные.— Большинство офицеров отошли от Ростова, но в то же время один из генералов, стоявший невдалеке, высокий, плотный, седой человек, отделился от своей группы и подошел к молодому гусару.

— Как ваша фамилия? — спросил он.

— Граф Ростов, Павлоградского гусарского полка, к вашим услугам,— проговорил Nicolas,— и готов повторить, что сейчас сказал, хоть перед самим государем императором, тем более пред вашим превосходительством, которого не имею чести знать.

Нахмуренный генерал, строго продолжая смотреть на Ростова, взял его за руку.

— Совершенно разделяю ваше мнение, молодой человек,— сказал он,— совершенно, и очень рад с вами познакомиться, очень.

В это время мохнатая шапка, возбудившая такое злобное чувство в душе Ростова, показалась на подъезде к главнокомандующему. Он уезжал. Ростов отвернулся, чтобы не видать его. Несмотря на удовольствие командовать эскадроном и скоро вернуться в Россию, чувство стыда побежденного, возбужденное этим случаем, не оставляющее его чувство раскаяния в своем московском проигрыше и сильнее всего печаль о потере Денисова, которого он так сильно полюбил в последнее время и который, по слухам, между жизнию и смертию лежал в гошпитале, делали его жизнь за это время тильзитских торжеств весьма грустною. В половине июня, как ни трудно это ему было, он отпросился у полкового командира поехать за 40 верст к Денисову в гошпиталь.

Маленькое прусское местечко, в котором был гошпиталь, два раза разоренное русскими и французскими войсками, именно потому, что это было летом, когда в поле было так хорошо, с своими разломанными крышами и заборами и своими загаженными улицами, оборванными жителями и пьяными или больными солдатами, представляло мрачное зрелище. В одном каменном доме на дворе с остатками разобранного забора, выбитыми частью рамами и стеклами помещался гошпиталь. Несколько перевязанных бледных солдат ходили и сидели на дворе на солнышке. В то время как Николя[1] входил в двери, его обхватил запах гниющего тела и больницы. По коридору проносили в это время за руки и за ноги труп или живого человека, он не рассмотрел. Навстречу ему вышел военный русский доктор с сигарою во рту и сопутствуемый фельдшером, который что-то докладывал ему.

— Не могу ж я разорваться,— говорил доктор,— приходи вечерком к бургомистру, я там буду.— Фельдшер что-то спросил у него.

— Э! делай, как знаешь, разве не всё равно? — и он пошел дальше и тут с удивлением заметил Ростова.

— Вы зачем, ваше благородие? — сказал он с докторской, особенной, шуточной, манерой и видимо нисколько не смущаясь тем, что Ростов слышал его слова, сказанные фельдшеру.

— Вы зачем, али пуля вас не брала, так вы тифу набраться хотите? Тут, батюшка, дом прокаженных, кто ни взойдет — смерть. Только мы двое с Макеевым (он указал на фельдшера) еще тут трепемся. Тут уж нашего брата докторов человек пять перемерло: как поступит — через недельку готов. Прусских докторов вызывали, так не любят союзники-то наши,— и словоохотливый доктор засмеялся таким смехом, который показывал, что ему не только теперь, но и никогда не хотелось смеяться. Ростов объяснил ему, что он желал видеть здесь лежащего гусарского майора.

— Тут, батюшка, раненых нету, у нас, хоть и раненый, сейчас тифозным делается, да и не знаешь всех. Ведь вы подумайте, у меня на одного три гошпиталя, 400 больных с лишним. Еще хорошо прусские дамы нам кофе и корпию присылают по два фунта, а то бы пропали. Я отчисляю в умершие, за этим дело у нас не стоит, тиф помогает, а мне всё новеньких присылают. Ведь 400 есть, а? — обратился он к фельдшеру[2].

— Так точно,— отвечал фельдшер. Фельдшеру, видимо, давно уже хотелось обедать, и он с досадой дожидался, скоро ли уйдет заболтавшийся доктор, столь обрадовавшийся появлению нового лица.

— Майор Денисов,— повторил Ростов,— он под Молитени ранен был.

— Кажется, умер? — равнодушно спросил доктор у фельдшера. Фельдшер не знал.

— Что он такой длинный, рыжеватый? — спросил доктор. Ростов описал наружность Денисова.

— Да, да,— как бы радостно проговорил доктор,— этот, должно быть, умер, а впрочем я справлюсь, у меня списки были. Есть у тебя, Макеев?

Как ни уговаривал доктор Ростова не ходить по палатам, как он все-таки называл разваленные сараи, в которых на полу лежали больные, как ни угрожал ему, что непременно заразится тифом, Ростов, простившись с доктором, пошел с фельдшером наверх и обошел всех больных. Увидав положение, в котором были больные (большей частью солдаты), Ростов тотчас убедился, что Денисова тут не может быть. Но он все-таки обошел всех. Какое-то чувство говорило ему: «а, тебе гадко, страшно это видеть, нет, посмотри, ты должен, должен это видеть». И Ростов обошел

---

[1] Это текст из Рукописи 103, написанной рукой Т. А. Берс под диктовку Толстого. В автографе имя Ростова всегда написано: *Nicolas*. Очевидно, Т. А. Берс на слух в данном случае и далее писала в русской транскрипции.

[2] На полях: *Тушин с оторванной под Фридландом рукой.*

все палаты. Он никогда не видал подобного ужаса, какой он увидал в этом доме.

Бельэтаж только был занят. Дом был построен, как и все барские дома: передняя, зала, проходные гостиные, диванная, спальня, девичья и опять передняя. Мебели никакой не было. С первой комнаты всего этого круга и до последней, в два ряда головами к стене и оставляя проход посредине, лежали солдаты, где на прорванных тюфяках, где на соломе, где на голом полу, на своих шинелях. Запах, нечистоты были ужасные, мухи облепляли так больных, что они уже не отмахивались. Одни умирали, только хрипением показывая признаки жизни, другие метались в жару, толкая друг друга, третьи слабыми горячечными глазами смотрели на проходящего мимо их здорового, свежего и чистого человека. Человек пять здоровых солдат были тут для прислуги и ковшами разносили воду, которую тут больше всего требовали больные. Денисова не было между ними, и по спискам от фельдшера Макеева[3], что Денисов был записан в эту гошпиталь, но переехал в бывший помещичий дом и лечился там, у прусского доктора.

После многих трудов Николя, наконец, нашел его. Денисов поправлялся от раны, но он нравственно страдал больше от последствий завязавшейся переписки и дела по случаю отбитого им транспорта и нанесения побоев провиантскому чиновнику Телянину. Едва увидав Ростова и не принимая ни малейшего участия в его рассказах о Перигоре, о Тильзите, о ужасах в гошпитале, он был занят только одним, своей перепиской и ответами на запросы провиантского ведомства, в которых он честил всех провиантских ворами и, сам любуясь своим произведением и красноречием, стал с восторгом, сам смеясь и стуча кулаком по столу, подпускаемыми им шпильки провиантскому ведомству[3]. Последнюю, по его мнению, весьма тонкую, ироническую и убийственную, по его мнению, бумагу, кончавшуюся словами: «ежели бы господа комисариатские так же хорошо действовали для заготовок по нуждам армии, как они для себя действуют, то армия не знала бы, что такое есть голод». Эту бумагу он передал Ростову, прося его непременно самому свезти в Тильзит и отдать в собственную канцелярию его величества.

С желанием исполнить это поручение и приехал 27 числа Николя на квартиру Бориса.

— [Ну, я очень рад, что ты приехал. Какие славные ребята эти французские офицеры. Ты знаешь, Наполеон обедал ныне у государя.

— Бонапарт?

— Ах ты, деревенщина.— Борис рассказывал свидание.

— Ты [разве] видел?

— Как же, я тут был.][4] Ну, я очень рад, что ты приехал в это время. Ты увидишь много интересного. Ты знаешь, нынче император Наполеон обедал у государя.

— Бонапарт?

— Ах ты, деревенщина, император Наполеон, а не Бонапарт,— с улыбкой сказал Борис.— Разве ты не знаешь, что мир, что было свидание?

— Ничего не знаю. А ты видел?

— Как же, я тут был.

Ростову было неловко с своим прежним другом. Он пообедал и лег спать. На другое утро оба приятеля пошли на смотр. Борис во фронт, Nicolas в мундире.

Ростов попал в Тильзит в день, менее всего удобный для беседы с другом Борисом и для подачи бумаги Денисова. Самому ему нельзя

---

[3] Так в автографе.

[4] На полях этого зачеркнутого текста — записи: *Ему вспомнился Перигор, Фридланд.* [*Денисов*]. *Гошпиталь. Он написал записку: «Мы слишком различны, нам надо разойтись»,— и уехал, как будто Борис был виноват в чем-нибудь.* (*Письмо Сони. Она утешает Nicolas, просила писать*).

было, так как он был во фраке и без разрешения начальства приехал в Тильзит, но и Борис, которого он просил об этом, не мог сделать этого в этот день, 27 июня. С утра разнеслось известие, что мир заключен, что императоры поменялись орденами, Андреевским и Почетного легиона и что будет [смотр Преображенского баталиона] обед Преображенскому баталиону; его угащивает баталион французской гвардии. Борис [готовился к смотру и обеду] [как и все офицеры] выехал с раннего утра к своему баталиону.

Ростов пошел бродить по городу. [Городок был маленький.] В 11-м часу он [услыхал топот и шум] вышел на площадь, разделявшую две улицы, в которой жили императоры. На площади стояли преображенцы и французская гвардия. Из соседней улицы выбежал махальный. Баталион стал строиться, и Ростов увидал скачущую ему навстречу столь знакомую, страстно любимую фигуру императора Александра, счастливую, веселую. Император Александр был в звезде Почетного легиона, он смотрел вперед и улыбался. В первую минуту заблуждения Nicolas показалось, что это ему он улыбается, и он испытал минуту счастия, но Александр смотрел дальше. Ростов оглянулся по направлению его взгляда и увидал также скачущего человека в шляпе без пера, в мундире полковничьем и Андреевской ленте. Он догадался, что это был Наполеон. Это не мог быть никто другой, впереди свиты, маленький горбоносый подъезжавший к Александру и взявшись рукой за шляпу; он не верил, что это был Наполеон Бонапарт. Аустерлицкий победитель, так близко он его видел, так человек он был, так плохо даже он ездил и сидел на лошади (что бросилось в глаза кавалеристу). Где же величие? Человек как мы все грешные... Но в этих рассуждениях Ростова чуть не сбили с ног жандармы, отгонявшие толпу. Он едва успел пробиться к Преображенскому баталиону, где стояла толпа, и, ежели бы не Борис покровительствовал ему, его бы отогнали. Борис вывел его из толпы и поставил его подле первой шеренги еще с двумя штатскими господами, стоявшими тут. Один был дипломат, другой англичанин[5].

Всё время, как его толкали и устанавливали, он всё смотрел на своего героя и следил с удивлением и волнением за их отношениями с Бонапартом. Для Nicolas это был всё Буонапарт, еще больше Буонапарт после Перигора.

Ростов видел, как поговорив, пожав с улыбкой друг другу руки (его оскорбляло, что Наполеон, ему всё казалось, что Наполеон и всякий француз — учитель или актер — жмет руку нашего государя). Улыбка Наполеона была неприятно притворна, Александра — ласкова и светла. Они поехали к Преображенскому баталиону, прямо на них, на штатских. Они отступили, но очутились неожиданно так близко, что невольно смутились, особенно Ростов, дрожавший за то, что его узнают и отдадут под суд. Глаза его опять встретились с глазами государя, и Nicolas поспешно отвернулся. Ему показалось, что что-то недостойны светлым блеском глаз государя[6]. (Ему показалось это, может быть, оттого, что сам он был раздражен всем и своим неловким положением и молодостью.) Государя к этому учителю — другу Перигора. Он отвернулся, и глаза его невольно упали и остановились на ближней к нему фигуре флангового солдата-преображенца. Это был рослый мужчина, рыжеватый, с красным глупым лицом и оловянными глазами. Не только всё его тело, но черты лица, глаза, мысли души даже, видимо, делали в эту минуту стойку, т. е. погружены были в усилие, как стоять вытянувшись и глядеть в глаза государю.

В 3-х шагах от себя он услыхал голос, резкий, точный и приятный, говоривший по-французски:

---

[5] На полях: *Пажи, Мюрат, блеск свиты. Конвой.*

[6] Так в автографе.

— Sire, je vous demande la permission de donner la Legion d'honneur au plus brave de vos soldats[7].

Ростов оглянулся,— это говорил Бонапарт. Александр, наклонив голову, [приятно] чуть улыбнулся.

— A celui qui s'est le plus vaillament conduit dans cette dernière guerre[8],— прибавил Наполеон, оглядывая ряды.

— Votre majesté me permettra-t-elle de demander l'avis du colonel[9],— сказал Александр и, тронув лошадь, выдвинул вперед к полковнику Козловскому. Бонапарт между тем слез с лошади [и сняв перчатку] и бросил поводья. Торопливо бросившийся вперед адъютант, учитель-француз: «Тоже важничает»,— озлобленно подумал Nicolas.

— Кому дать? — негромко по-русски спросил император Александр у Козловского.

— Кому прикажете, ваше величество.

Государь невольно поморщился и, оглянувшись, сказал:

— Да ведь надобно же отвечать ему.

Козловский с решительным видом оглянулся на ряды и в этом взгляде захватил и Ростова.

«Уж не меня ли»,— подумал Ростов.

— Лазарев! — сказал полковник ровным, твердым голосом, вызывая первого по ранжиру солдата, того самого, на глупое лицо которого смотрел Ростов.

Лазарев бойко вышел, красиво, но лицо его дрогнуло, как это бывает с солдатами, вызываемыми перед фронт для наказания.

Бонапарт [слез с лошади, подошел к] снял перчатку и показал маленькую пухлую руку («парикмахер», думал Ростов) и только чуть поворотил голову назад, как лица его свиты, догадавшись в ту же секунду, в чем дело, засуетились и, передавая один другому орден с ленточкой, выскочили вперед и подали ему, не заставив дожидаться ни одной секунды его назад протянутую маленькую ручку. Он, видно, знал, что это не может быть иначе. Он протянул руку и, не глядя, сжал два пальца; в них был орден. Он подошел к Лазареву и, глядя вверх на это неподвижное лицо,— не нахмурившись, не просветляясь, лицо его не могло измениться,— оглянулся на императора Александра, показывая этим, что это *ему*, и рука с орденом дотронулась до пуговицы солдата Лазарева, вероятно, желая и предполагая, что орден сам собою прилипнет к пуговице солдата Лазарева, он знал, что дело только в том, что его, Наполеонова рука [дотронулась] удостоила дотронуться до груди русского солдата, и д⟨овольный?⟩ солдат этот теперь есть уже святыня. Крест действительно прилип, потому что и русские и французские услужливые руки, мешая одна другой, бросились прицеплять его. Лазарев, между тем, как около него увивались все силы мира, неподвижно держал на караул, прямо глядя в глаза Александра и изредка вниз, косясь на Бонапарта и оглядываясь на Александра, как будто он спрашивал Александра,— всё ли еще ему стоять или не прикажут ли ему еще что-нибудь сделать ⟨*1 нрзб*⟩, или убить этого Бонапарта, или не надо, или так оставаться. Но ему ничего не приказали, и он так и оставался.

Государи сели верхами и уехали. Преображенцы приступили к столу и сели кругом — русские и французские — за столы, за серебряные приборы, и стали обедать.

Лазарев сидел на почетном месте. Не только люди, но офицеры имели такие счастливые лица, как будто они все только что женились. Солдаты переменялись киверами, шапками, мундирами, трепали по плечам и животу друг друга. «Бон жур» всё больше слышалось. Офицеры, русские

---

[7] Государь, я прошу вашего позволения дать орден Почетного легиона храбрейшему из ваших солдат.

[8] Тому, кто храбрее всех вел себя в эту войну.

[9] Позвольте мне, ваше величество, спросить мнение полковника.

и французские, похаживали кругом, иногда служили переводчиками солдатам и тоже обнимались и объяснялись в любви и воздавали похвалы храбрости друг друга. Ростов ходил по улицам, издалека глядя на эту сцену, и ушел к Борису дождаться его. Борис с Бергом, тоже счастливые и румяные, вернулись вечером.

Вот счастливец-то Лазарев — 1200 рублей пенсиона пожизненно,— говорил Берг, входя.

— Да,— отвечал Борис.— Что ж ты не пришел к нам? — обратился он к Ростову. — Превосходно всё было. Слышали, что наш государь послал Георгия тоже самому храброму из французских гвардейцев,— сказал он.

— Ну, ты счастливо попал, видел всё это торжество.

— По-моему, это не торжество, а кукольная комедия,— мрачно сказал Ростов.

— Как ты любишь противоречить.

— Чистая кукольная комедия, больше ничего...— опять начал Ростов, но Борис не дал договорить ему.

— Однако мне надо идти к Сосюру, он звал.

— Ну, и иди [и прощай].

Борис ушел и Ростов, не простившись, уехал к себе, оставив следующую записку к Борису: «Я уехал оттого, что мне больше делать нечего; а с тобой не видался потому, что я думаю, мы столь различны стали во взглядах, что нам гораздо проще разойтись, а не притворяться. Иди по своей дороге и желаю тебе успеха. Бумагу Денисова прошу передать»[10].

---

[10] На полях: *Озлоблен от своего фальшивого поведения Nicolas в недоумении: что это — вздор или он сам виноват, но ему все противны.*

РУКОПИСЬ 107

⟨ОТ «ВНУТРЕННИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» СПЕРАНСКОГО ДО КОНЦА ВОЙНЫ 1812 ГОДА⟩

⟨I⟩

[Прошло два года.] Никто уже не поминал о *Буонапарте* — корсиканском выходце и антихристе: не Буонапарте был, а был великий человек Наполеон. Два года мы были в союзе с этим гением и великим человеком — императором Наполеоном. Два года его посланник Коленкур был чествуем в Петербурге и Москве, как ни один из посланников. В 1809 император Александр ездил в Эрфурт для нового свидания с своим новым другом, и только и было речи в высшем обществе, в обществе Анны Павловны, что о величии этого торжественного свидания двух властелинов мира и о гениальности императора Наполеона, бывшего корсиканца Буонапарте, антихриста, которого год тому назад по высочайшему манифесту, как врага рода человеческого, по всем русским церквам предавали анафеме. В 1809 году дружба двух властелинов мира, как называли Napoléon'a и Александра, дошла даже до того, что поговаривали о браке Наполеона с [великой] одной из сестер императора Александра, и когда Наполеон объявил войну Австрии, то русский корпус выступил за границу для содействия своему прежнему врагу Буонапарту и [вражды] для воевания с прежним союзником, австрийским императором. Но в обществе чувствовалось, что мы не примем сериозного участия в этой войне, и общество не было занято ею. Главное внимание русского общества обращали в это время внутренние преобразования [на образец французских], которые были производимы в это время императором [с помощью возвышавшегося тогда из ничтожества Сперанского] во всех частях государственного управления. Был тот молодой период царствования, следующий после продолжительного царствования (царствование Екатерины), в который всё бывшее, прежнее кажется устарелым, негодным, в который, кроме побуждения изменить надоевшее, дать разгуляться молодым силам, кроме той причины, что недостатки старого порядка видны и выгоды его незаметны, представляются еще бесчисленные причины, почему нужно уничтожить старое и ввести новое. Всё переделывалось, как новый жилец непременно переделывает квартиру [в которой представляются бесчисленные причины, почему нужно уничтожить старое и ввести новое, тогда как сущность побуждения изменять лежит только в том, что старое надоело, что из старого устройства видны только невыгоды и удобства незаметны, что уже забыт тот труд, который был положен на то, чтобы ввести это старое, когда оно еще было новое, и что молодости нужно положить свои силы. Всё переделывалось только по тому, почему новый жилец непременно переделывает квартиру], в которой долго до него жил [один] его предшественник. Был тот молодой период царствования, который всякий народ переживает раз пять в столетие,— период революционный, отличающийся только тем от того, что мы называем революцией, [тем] что власть при этих революциях находится в руках прежнего правительства, а не нового. В этих революциях, как и во всех других, говорится о духе нового времени, о потребностях этого времени, [о правах человека и т. п. фразы, служащие только предлогом для того, чтобы удовлетворить потребности молодости разрушать старое и творить

новое, т. е.— после старого жильца — убрать квартиру по своему вкусу, покуда еще есть на это энергия и охота] о правах человека, о справедливости вообще, о необходимости разумности в устройстве государства и под предлогом этих идей и выступают на поприще самые неразумные страсти человека. Пройдет время и охота, и прежние нововводители точно так же упорно держатся за свое бывшее новое, а теперь старое и отстаивают свое убранство квартиры против подросшей молодежи, которой опять хочется и нужно удовлетворить своей потребности попробовать свои силы. И точно так же обе стороны говорят друг другу аргументы, которые они считают истиной [о том]: один о новом духе времени, правах человека и т. п., а другие — о освященном временем праве, о выгодах известного, привычного и т. п., и обе стороны [только] стремятся удовлетворить потребностям возрастов человека. Как и всегда нововводители в 1809 году [были совершенно] [имели идеал и пример подражания] [имели пример, к достижению] имели пример, к подражанию котор‹ому› они стремились. И пример этот была [Франция] [была Наполеоновская Франция и Англия] отчасти Англия, отчасти наполеоновская Франция.

[Эти нововводители совершенно разумно говорили, что во Франции и Англии учреждения лучше: там, например, есть ответственность министров, есть конституция, есть доступ всех сословий к высшим должностям, есть хартия вольностей, и такие же постановления делали у нас — указ о уничтожении коллегий и учреждении Государственного совета и министерств и указ о экзаменах для получения чинов. Они были совершенно правы, но забывали только одно, что эти преимущества вынесли Франция и Англия из революций, принесших вместе с преимуществами и много зол, и что нельзя взять одни преимущества без невыгод, что нельзя удержать самодержавную власть и конституцию, что лучше бы было, бессомненно, ежели бы корова могла и под верхом ходить, но что нет на свете коровы-лошади и что надо выбирать одно из двух: или верхом ездить или молоко пить, а к лошади нельзя пришить коровье вымя, а к корове — лошадиные ноги. Консерваторы, Карамзин с своей запиской о старой и новой России и другие, были тоже правы, но они забывали, что тот старый порядок, который они защищали, был, точно так же, когда-то новым и тоже, по примеру других, насильственно пришит к еще прежнему порядку. И как и всегда] Давно уже вышел указ о уничтожении коллегий и учреждений Государственного совета и министерств, вышел указ о экзаменах для получения чинов и указ о уничтожении преимуществ придворных чинов, и готовились другие, еще важнейшие, еще разумнейшие преобразования, которые пугали стариков, которые знали, что им не дожить до плодов этих семян, и радовали молодежь, потому что молодежь любит новое. Как и всегда и те и другие, полагая, что они приводят аргументы, и думая, что действуют вследствие мысли, на основаниях разума,— и те и другие удовлетворяли только своей инстинктивной потребности. И так же как и всегда, и те и другие, вследствие спора, забывали даже и свои мнимые доводы и действовали только вследствие [одного желания оскорбить друг друга] одной страсти. «А, так вы говорите, что дворянство было опорой трона, так вот, не угодно ли 50-летним надворным советникам держать экзамен»? — говорил Сперанский.— «А, вы говорите, что новый дух времени лучше, так я вам докажу, что при Иоанне Грозном русские были счастливее, чем теперь»,— говорили Карамзин и противники. И те и другие думали, что судьба человечества и наверное России и всех русских зависит от решения их спора и о введении или невведении в действие указа о министерствах или экзаменах. И в этом-то как и всегда они более всего заблуждались. Никому, кроме тех, которые в споре о том находили счастье жизни, не было никакого дела ни до министерств, ни до экзаменов, ни до освобождения крестьян, ни до введения судов и т. п. Жизнь с своими существенными интересами здоровья, болезни, богатства, бедности, любви брата,

сестры, сына, отца, жены, любовницы, с своими интересами труда, отдыха, охоты, страсти, мысли, науки, музыки, поэзии, шла [помимо] вне указов о министерствах и о коллегиях, как и всегда идет вне всех возможных правительственных распоряжений.

⟨II⟩

[Князь Андрей еще два года после Тильзита безвыездно прожил в деревне. В торжественные именинные дни он бывал у Ростовых, иногда редко ночевывал у них, но [продолжал быть] держал себя таким гостем, а не домашним человеком, так что самые проницательные барыни не могли [ни] вывести никакого заключения из его частых посещений. Личное вступление свое в масонскую ложу (он числился масоном), и поездки для этого в Петербург (в том умолял его письмами Pierre) он постоянно откладывал, не в силах чувствуя себя преодолеть свое отвращение к свету и особенно Петербургу. Но все те предприятия] Князь Андрей, за исключением короткой поездки в Петербург, где он был принят в масоны, еще два года после Тильзита безвыездно прожил в деревне. Все те предприятия по имениям, которые затеял было у себя Pierre и бросил, [⟨ограничившись?⟩] не в силах будучи преодолеть молчаливое противудействие управляющих и свою нерешительность и неаккуратность, все эти предприятия без заметного труда были исполнены князем Андреем. Он имел в высшей степени ту недостававшую Pierr'у практическую цепкость, которая без размахов и усилий при весьма малом движении с его стороны заставляла покорно и правильно двигаться [приближенные] прикасающиеся ему колеса. Одно именье его в 1000 душ крестьян было отпущено на волю, в других была барщина заменена оброком. [Две] [Больницы] [В Богучарове была ученая акушерка и оспопрививатель. Он много читал, много учился. Он с участием следил за преобразованиями Сперанского, хотя и не приписывал им никакой важности.] В Богучарове была[1] оспопрививатель и ученая акушерка. Это было главное для князя Андрея. Он много читал, много учился, много переписывался с братьями масонами. Он следил за преобразованиями Сперанского и начинал всё более и более тяготиться своей тихой, ровной и плодотворной деятельностью, которая казалась ему бездействием в сравнении с [шумной] борьбой и ломкой всего старого, которая по его понятиям должна была происходить теперь в Петербурге, центре правительственной власти.

Два года каждую весну он наблюдал корявый дуб в березовой роще, всякую весну распускавшийся и подавлявший своей красотой и счастием березовые деревья, над весенним счастьем которых он прежде так мрачно смеялся. Мысли неясные, неопределенные, невыразимые словом даже для самого себя и тайные, как преступление тайные (князь Андрей один на один краснел, как дитя, когда он только думал о том, что кто-нибудь может узнать эти мысли), эти-то неясные мысли о дубе составляли сущность вопроса, выработающегося[1] в душе князя Андрея, и весь интерес его жизни. Все его практические и умственные работы были только наполнение пустого от жизни времени, а вопрос о дубе и связанных с ним мыслей была — жизнь.

«Да, [не] крепился,— улыбаясь, думал князь Андрей про дуб,— долго крепился — не выдержал, как пригрело — пригрело тепло любви, невыдержал, ⟨размяк?⟩ и послужил, чему смеялся, и сам дрожит и млеет в темной сочной зелени.— Да, да,— говорил он, улыбаясь и слыша, как бы он тут пел, грудной шаловливый и страстный голос Наташи и видя ее свет перед своими глазами. Он вставал, подходил к зеркалу [зеркало] и долго смотрел на свое красивое, сухое, задумчивое, умное лицо. Потом он отворачивался и смотрел на [высокое] портрет покойницы Лизы, которая

[1] Так в автографе.

с à la Grecque[2] взбитыми буклями нежно [кротко] и весело смотрела на него из золотой рамки. Она смотрела весело, а все-таки она говорила: «Что я вам сделала? Я всех так любила». И князь Андрей, заложив назад руки, долго ходил по комнате, то хмурясь, то улыбаясь, передумывал мысли о дубе в связи с Сперанским, с славой, с масонством, с 〈будущей?〉 〈жизнью?〉. И в эти-то минуты, ежели кто входил к нему, он бывал особенно сух, строг, решителен и в особенности неприятно логичен. «Mon cher,— бывало скажет, входя в такую минуту, княжна Марья.— Коко [надо] нельзя нынче гулять — очень холодно».

Князь Андрей сухо в эти минуты смотрел на сестру и говорил: Ежели бы было тепло, то он бы пошел в одной блузе, а так как холодно, надо надеть на него теплую одежду, которая для этого и выдумана, вот всё, что следует из того, что холодно, а не следует, чтобы оставаться дома, когда ребенку нужен воздух,— говорил с особенной логичностью, как бы наказывая кого-то за всю эту тайную нелогичную внутреннюю работу о дубе. Княжна Марья думала в этих случаях, что князь Андрей занят умственной работой, и что как сушит мужчин эта умственная работа.

Зимой 1809 года Ростовы уехали в Петербург, у которых после своего посещения в 1807 году князь Андрей изредка бывал. (дела старого графа так расстроились, что он поехал искать места на службе). Весной того же года князь Андрей стал кашлять. Княжна Марья уговорила его показаться доктору, и доктор значительно покачал головой [стараясь] и посоветовал молодому князю быть осторожней и не запускать этой болезни. Князь Андрей посмеялся сестре о ее заботливости о медицине и уехал в Богучарово. Неделю он пробыл один и продолжал кашлять. Через неделю он поехал к отцу с твердым убеждением, что ему остается недолго жить и тут, проезжая мимо распустившегося дуба, он окончательно и несомненно решил [вопрос о том] тот тайный вопрос, который давно занимал его. Да, он не был прав. И счастье, и любовь, и надежда — всё это есть, всё это должно быть, [но мне уже поздно] и мне надо употребить на это остаток моей жизни. Может быть, оттого так ясно решил этот вопрос князь Андрей, что он был уверен в близости своей смерти, как это часто бывает с людьми около 30 лет. Князь Андрей, чувствовавши, что кончается его юность, подумал, что кончается его жизнь, и твердо верил в близость смерти. Само собой разумеется, князь Андрей никому не сказал [ни о〈тцу?〉] о своем предчувствии смерти, служившем продолжением его тайных мыслей, но он стал еще озабоченнее, деятельнее, добрее, нежнее со всеми и вскоре уехал в Петербург [и оттуда в Крым] [с намерением ехать оттуда в Крым].

〈III〉

[Князь Андрей ехал в Крым] Приехав в Петербург[1] в [1809] [1810] 1809 году, князь Андрей велел себя везти прямо [в дом Безухого (не собственный дом, но дом, занимаемый им на Мойке со времени женитьбы, из которого Pierre, несмотря на дороговизну, не переехал и жил один). Подъехав] в дом Безухого, полагая, что, ежели, как и надо предполагать, Pierre не занимает один этот известный всему Петербургу огромный дом на Мойке, что по крайней мере там он узнает, где живет Pierre. Въехав в ворота, он заметил, что дом обитаем, спросил — дома ли?,— уверенный, что вопрос этот мог относиться только к Pierr'у, так как [графиня была в Эрфурте, с тех пор приезжала в Петербург и опять уехала за границу] графиня, Андрей знал, жила отдельно и последнее время со всем двором жила в Эрфурте.

---

[2] на греческий манер

[1] На полях: *Андрей сочувствует Сперанскому, но слабость — кутейник. Не могу. Что хочешь, не могу. Это стыдно, но не м〈огу?〉. Князь Андрей 1810 расцветает весной после 4-х лет, как старый дуб, и едет [к Кутузову в армию] в Крым.*

— Графиня выехали,— отвечал дворник.

— Так, стало быть, граф Петр Григорьевич не живет тут? — спросил князь Андрей.

— Они дома, пожалуйте.

Князь Андрей был так удивлен этим известием, что он едва удержался от выражения недоумения перед дворником [он послал наверх слугу спросить, может ли остановиться тут, но сам пошел вслед за слугою. Дом был большой, половина Pierr'а была наверху в низеньких комнатках. Он остановил слугу и вошел сам. Pierre в выпущенной рубашке] и вслед за слугой пошел в комнаты Pierr'а. Дом был большой, половина была наверху в низеньких комнатках. Pierre в выпущенной рубашке, с голыми, толстыми ногами в туфлях сидел за столом и писал. Низкая комната была завалена книгами и бумагами и накурена так, что днем было темно[2].

Pierre, видимо, так был увлечен своим делом, что он долго не слыхал шума входивших. На голос князя Андрея он оглянулся и прямо глядел [в его лицо] в лицо Болконского, но всё еще, видимо, не узнавал его. [Лицо его] Лицо Pierr'а было нездорово, опухше и желто-бледно, и в глазах и губах было выражение досадливо-озабоченное. «И опять несчастлив,— подумал князь Андрей,— и не могло быть иначе, как скоро он опять сошелся с этой женщиной».

— Ах, это вы! — воскликнул Pierre.— Славу богу, наконец.

Но в тоне Pierr'а не было заметно той прежней детски-восторженной радости. Он обнял князя Андрея и тотчас же повернулся к своим тетрадям, стал [укладывать] складывать их. [На одутловатом лице его князь Андрей заметил новые морщины]

— Ах, я и не умывался, я так занялся... Разумеется, у меня остановитесь, больше негде... Славу богу,— говорил Pierre. И в то время как он это говорил, князь Андрей еще очевиднее, чем прежде, заметил на одутловатом лице его новые морщины и в особенности общее выражение мелкой озабоченности, скрывающей обыкновенно неясность существенных условий жизни.

— Так ты не получил моего последнего письма,— спросил князь Андрей,— где я тебе пишу про свою болезнь и поездку...

— Нет... ах, да, получил. Что с вами, неужели вы точно больны? Нет, vous avez bonne mine[3].

— [Нет, плохи мы с тобой, дружок, отжито,— сказал князь Андрей под впечатлением поразительных признаков постарелости своего друга еще более, чем всегда, наведенный на свою манию мнительности.

— Отжито! — подхватил даже испуганно] Нет, плохи мы с тобой, дружок. Стары становимся,— сказал князь Андрей.

— Стары? — подхватил испуганно Pierre.— О, нет.— Он смущенно засмеялся.— Напротив, я никогда так вполне не жил, как теперь,— сказал он. Но тон его подтверждал как будто слова князя Андрея. Pierre повернулся опять к своему столу как будто по привычке отыскивать на этом столе в своих бумагах спасение от жизни.

— [Я пишу возражение на записку Карамзина о старой и новой России. Он говорит, что учреждения вырабатываются веками, но я спрашиваю его во времени...] [Я пишу возражение на проект Сперанского о уничтожении коллегий. Он хочет переделать учреждения России на образец конституционных государств. Я несогласен с этим.] [Вы ведь знаете всё, что теперь делается Сперанским. Теперь только оживает наша Россия.] Вы знаете, за чем застали меня? Я пишу проект преобразования судов...

Pierre не договорил, заметив, что князь Андрей, усталый с дороги, снимал дорожное платье и отдавал приказание слуге.

---

[2] См. Варианты, № 4.

[3] вы хорошо выглядите

— Впрочем, что ж я вам говорю, еще успеем. Ах, как я рад вам! Ну, что княжна Марья Николаевна, ваш отец? Вы знаете, что это пребывание в Лысых Горах осталось мне лучшим воспоминанием. [Надолго вы?] [Рассказов ему о]

Ответив на все его вопросы [умывшись и переодевшись] [4].

[— Ну, что твои масоны? Etes-vous toujours aussi entiché de la franc-maçonnerie [5] — спросил князь Андрей.

— Да.

— Ну, что братья масоны? Как идут работы?

— Хорошо,— отвечал нерешительно Pierre.— У нас теперь именно очень оживленно. [Вы] На днях готовится торжественное собрание. Мы получили из Шотландских лож большого Востока послание, и готовится соединение Ищущих манны с Астреею. Вы долго пробудете? [Я введу вас непременно.]

Князь Андрей молча улыбнулся [тихо и вместе закашлялся].

— Нет, не думайте,— отвечал Pierre на эту улыбку так же определенно, как бы князь Андрей словами выразил ту мысль, которую означала эта улыбка.— Нет, не думайте, чтобы у нас преобладала формальность и внешность. Нет, у нас есть замечательные люди. Теперь Великий мастер здесь. Он замечательный человек. Я говорил ему о вас... Ну, как я счастлив, как я рад,— говорил Pierre, начиная понемногу входить в прежнее естественное и искреннее оживление. В это время с легким скрипом сапог в комнату вошел щегольский, блестящий новизной ливреи, румяный лакей и почтительно и достойно поклонился.

Pierre поднял кверху голову, прищурился, сморщился и прежде даже, чем лакей начал говорить, стал, подтверждая каждое будущее слово лакея, слегка одобрительно кивать головой.

— Ее сиятельство графиня Алена Васильевна приказали доложить вашему сиятельству,— отчетливо и приятно выговаривал лакей, что как они изволили узнать о прибытии князя Андрея Николаевича, то не прикажете ли отвести для них внизу княжескую половину.

— Да, хорошо, хорошо, да, да, да, да,— скороговоркой [6] повторял Pierre. Несмотря на всё свое участие в судьбе друга, князь Андрей не мог не улыбнуться.

Князь Андрей чувствовал, что спрашивать о том, как опять Pierre сошелся с женой, было бы неприятно для Безухова, но и обойти молчанием эту новость было бы также неприятно.

— Давно возвратилась графиня,— спросил [князь Андрей] он по уходе лакея. Pierre [‹виновато›] слабо улыбнулся и этой улыбкой сказал князю Андрею всё, что [хотел] [мог] хотел узнать Болконский. Он сказал этой улыбкой то, что, во-первых, его заговорили, запутали, обошли и против воли свели его с женой; во-вторых, сказал то, что было все-таки основным верованием Pierr'a,— сказал то, что жизнь так коротка, так глупа, что не стоит того — не сделать того, чего другим так хочется, не стоит верить, так же как и не верить чему бы то ни было. На словах же он сказал по-французски:

— Vous voulez le mot de l'énigme? Eh bien, mon cher, il faut que je vous avoue: j'ai été trop entête j'ai eu tort et puis au fond c'est une bonne pâte de femme... Elle a ses défauts, mais qui n'a pas les siens. Et puis quoique je n'ai pas d'amour pour elle (entre nous), elle est ma femme et puis... et voilà [7].

Pierre совсем смутился этим объяснением и тотчас же опять подошел

---

[4] Так в автографе.

[5] Ты всё еще увлечен масонством?

[6] В автографе: *скоровогоркой* (прим. составителя).

[7] Вам нужен ключ к разгадке? Итак, милый мой, сознаюсь вам, что я был слишком упорен, и я был не прав. Затем, в сущности, она сама по себе неплохая женщина... У нее есть недостатки, да у кого их нет. И потом, хотя любви к ней у меня нет (между нами), она — моя жена и затем... ну и вот...

к столу, взял свою тетрадь и начал говорить про [свое сочинение] предмет своего сочинения.

Теперь уже совершенно очевидно было князю Андрею, от каких преимущественно мыслей спасался Pierre [своим занятием о записке] своей работой над запиской о старой и новой России, и ясно стало, отчего так одутловато стало лицо Pierr'a и так скоро показались на нем складки, не столько старости, сколько опущенности[8].

— Вот видите ли? я вам начал говорить о моей записке. Я полагаю, что одних конституционных форм, ответственности министров мало, необходима полнота преобразований, а что же может быть.

Князь Андрей знал до малейших подробностей о том, что делалось Сперанским, и имел об этом свое особенное понятие. Он считал, всё существующее устройство таким безобразием, так презирал и ненавидел все правительственные лица, что революционная, ломающая всё деятельность Сперанского была ему по сердцу. Сперанский, которого он никогда не видал, представлялся ему чем-то вроде гражданского Наполеона. Он радовался его возвышению, унижению прежних государственных лиц и из-за тех преобразований, которые делались, видел всю общую основную мысль этих преобразований. Он видел освобождение крестьян, палаты депутатов, [свободу], гласность судов и ограничение монархической власти. Сперанский интересен ему был как выражение новых идей и протест против старых. Он вполне был согласен с мыслью Pierr'a, но в эту минуту это мало занимало его.

— Так вы очень интересуетесь Сперанским? — говорил Pierre, Вы знаете, что он масон? Я через ⟨жену?⟩ могу вас свести с ним.

— Да, это замечательный человек,— говорил князь Андрей[9].

⟨IV⟩

Князь Андрей был новинкою в Петербурге. Заслуга его на известность теперь была в том, что он, интересный вдовец, бросил всё, и посвятил себя сыну, и исправился, обратился на путь истинный, делает много добра в деревне и, главное, отпустил крестьян.

Графиня Алена Васильевна Безухова[1], и прежде имевшая один из первых салонов Петербурга, теперь, после приезда своего из Эрфурта, где, как слышно было, она была удостоена предпочтением одного очень и очень значительного лица, и в особенности после соединения своего с мужем (муж, именно такой муж, как Pierre, был необходимым условием для вполне модной женщины), теперь графиня Безухова и ее салон были несомненно первыми в Петербурге. Князь Андрей по своей прежней репутации модного петербургского молодого человека и вообще по своему положению, в особенности потому, что это был молодой мужчина (Hélène [любила общество] предпочитала общество мужчин), был сочтен ею не недостойным некоторых frais[2]. На другой день после приезда он был приглашен вниз, на половину графини, обедать и на вечер.

Князю Андрею нельзя было отказаться, и Pierre, не любивший вообще обедать у жены (он обедывал обыкновенно в клубе) [на этот] собрался вниз вместе с своим другом.

---

[8] На полях: *Разговор о падении женщины.*

[9] К тексту: *Я полагаю* ∾ *говорил князь Андрей.*— см. Варианты, № 5.

[1] На полях: *Hélène только приехала из Эрфурта. Обед и вечер у Hélène. Le salon le plus huppé de Pétersbourg est le salon de ma femme.* ⟨Самый важный петербургский салон — это салон моей жены.⟩ *Сам Pierre удивляется, как она так умно говорит с людьми, а сама глупа. Князь Андрей заметил кроткий фатализм выражения Бориса. За обедом еще свежее впечатление Эрфурта. Для князя Андрея любезность посадить его рядом с Анной Павловной. Hélène обожает французов.*

[2] стараний

— Vous devez savoir, mon cher,— сказал Pierre, бреясь,— que le salon le plus huppé de Pétersbourg c'est le salon de ma femme. Vous trouverez chez elle les hommes les plus distingués du corps diplomatique et surtout de l'ambassade français: Caulaincourt vient chez elle[3].

Князь Андрей только щурился, слегка улыбаясь, слушая.

В 6-м часу вечера (по новейшей моде) графиня в простом (оно стоило 800 рублей) бархатном черном платье с такими же кружевами приняла князя Андрея в своей тоже простой (стоившей отделкой 16 000) гостиной. Разнообразный званиями и мундирами мужской двор приближенных графини, в числе которых преобладали французы, уже окружал графиню. Из знакомых князю Андрею был здесь один Борис, который сразу [неприятно] болезненно поразил князя Андрея по незаметным для других, но для него ясных, как день, отношениям его к жене и мужу Безуховым. Главной чертой Бориса, теперь уже ротмистра гвардии и адъютанта N. N., были всё те же приятная представительность и calme[4], но такой calme, за которым по тонкой улыбке, живущей в глазах и губах, видно было, что скрывалось многое. Правда, князь Андрей, уже входя в гостиную, был готов во всем отыскивать признаки несчастия [своего] бедного Pierr'a, но его [поразила отдаленность] особенно поразил тон особенной и несколько грустной, почтительной учтивости, с которой Борис встал перед Pierr'ом, и, наклонив молча голову, приветствовал его. Само собою разумеется, что это была фантазия Андрея, но часто фантазии открывают истину вернее, чем очевидные доказательства. Князю Андрею показалось, что выражение лица Бориса [говорило], в то время как он здороровался с мужем Hélène, было кротко стыдливое и фаталистическое, как будто он говорил: «Я вас уважаю и не [желаю] желал вам зла; но страсти наши и страсти женщин не во власти нашей. Ежели я по страсти сделал вам зло, и вы считаете это злом, то я во власти вашей и готов нести всю ответственность своего положения. А ежели, впрочем, вы ничего не знаете и не думаете,— говорил вместе с тем насмешливый свет в его глазах,— то тем лучше для тебя, мой милый». Это представилось князю Андрею, но странно: всё последующее наблюдение над Борисом и Hélène, от которых он не мог воздержаться, подтверждали 1-е впечатление. Борис сидел не в числе окружавших графиню; он держался в стороне, занимая гостей, как домашний человек и как человек, который доволен тем, что ему принадлежит в действительности, и потому не желающий выказывать больше того, что у него есть. Потом князь Андрей заметил, что графиня попросила Бориса передать [портрет] что-то с особенно холодным взглядом. Потом он заметил их мгновенные взгляды, в то время как они не говорили друг с другом, и, наконец, когда в разговоре Борис обратился к графине и сказал ей: «Madame la comtesse»[5], по тону, которым это было сказано, князь Андрей до очевидности понял, что Борис наедине не говорил ей «madame la comtesse», а говорил ей «ты» и что Борис наверное был, есть или будет ее amant de coeur[6], вместе с тем как то очень и очень высокое лицо, о связи которого с Hélène было известно всему миру, был amant avoué[7].

Pierre в свете, в гостиной жены, был как всегда оживленно говорлив и возбудительно спорлив. Он со всеми был одинаков и во всех, казалось, искал только мысли. Видно было, что [тут он забывался] в свете он забывался так же, как и за своей работой. Дам было мало: две или

---

[3] Нужно вам сказать, милый мой, что самый важный петербургский салон — это салон моей жены. У нее бывают все выдающиеся дипломаты, особливо из французского посольства. Коленкур ездит к ней.

[4] спокойствие

[5] графиня

[6] любовник по сердцу

[7] признанный любовник

три неизвестные князю Андрею и Анна Павловна, которую, как друга покойной жены Болконского, с своим необыкновенным светским ‹тактом›, для князя Андрея, пригласила Hélène и за обедом посадила с ним рядом. Графиня Безухова принимала гостей и приняла князя Андрея с тою особенной aisance[8] и уверенностью в своей безупречности, которой никогда не бывает у добродетельных женщин. Она [была] еще похорошела [для тех] за то время, что не видал ее князь Андрей. Она была [не толста] очень полна, но не толста, необыкновенно бела — ни одной морщинки не было на ее прекрасном лице. Волосы были свои, необыкновенной длины и густоты. Собольи брови, как написанные, оттеняли гладкой, мраморный, выпуклый лоб. И всё та же, всегда та же улыбка румяных губ, или очень много или ничего не говоря, сияла на ее лице. Она [уже 2-й год] была признанная красавица не только в Петербурге, но и за границей, [она] [ей говорили] весь партер поворачивался задом к сцене, когда она входила в ложу. Наполеон сказал про нее: «c'est un animal superbe»[9].

Она знала это и еще более была хороша от этого сознания. Князю Андрею она никогда особенно не нравилась, он никогда бы не выбрал ее своей женой, но и он теперь невольно подчинился этому влиянию красоты, элегантности и всего этого круговорота светской жизни. [Ему] Не она ему нравилась, но он видел в ней цель, которую все признают желанною, к которой все стремятся, и ему захотелось занять место в этом турнире и попытаться победить всех. Кроме того, он после своего воскресенья так оживленно чувствовал себя расположенным и давно не испытанное им удовольствие быть в изящно обставленном светском кругу[10], что он сам не заметил, как, подсев к графине, он сказал ей несколько более чем обыкновенных светских комплиментов и более, чем нужно, смотрел на нее. Он уже забывал свою жену, и Pierra, и всё. Графине это было приятно. Андрей был теперь особенно хорош собою и держал себя в гостиной так свободно и презрительно, что женщине приятно было бы смутить его; в середине разговора она вдруг обратилась к нему и замолчала, ее прекрасные глаза сузились, и из-за длинных ресниц вдруг засветились такие наглые, страстные и грязные глаза (те самые, которые смотрели на Pierr'a, когда она в день обручения поцеловала его), что князь Андрей [отвернувшись, холодным] опомнился, и она опять не понравилась, он, отвернувшись, холодным тоном отвечал на ее вопрос.

Анна Павловна приняла князя Андрея в свое соседство за столом радушно, но с некоторым оттенком укоризны всё за его адъютантство у Кутузова, так огорчившего государя под Аустерлицом.

Разговор общий шел преимущественно о Эрфуртском свидании[11], бывшем новостью дня. Четыре года после последнего своего [свидания] светского вечера с Анной Павловной князь Андрей слушал теперь [ее восторженные] [те же восторженные] восторженные речи о Наполеоне, [та же стыдливость девочки за свою восторженность была] том самом, который прежде предавался проклятиям. Не было достаточно восторга и почтительности, чтобы говорить об этом гении.

Графиня рассказывала про торжество Эрфурта, в разговоре называя, как своих близких знакомых, замечательнейшие лица в Европе. «Nous

---

[8] непринужденностью

[9] «это великолепное животное»

[10] Так в автографе.

[11] На полях: *Разговор зашел о важнейшем: о свихнутой ноге императора Александра и о преобразованиях Сперанского. Vous voyez comme nous lancons nos fusées, mais elles sont suivies immediatement par l'obscurité.* ‹Видите, как мы пускали ракеты, но тьма идет за ними следом.› *Hélène говорит. Всем кажется умно, кроме Pierr'a и князя Андрея. Государь в Петербурге с поврежденной ногой. Слава богу, лучше.*

etions beaucoup de monde. Le duc de... и le comte de...»[12]; или: «Le duc de Luines m'a fait rire»[13].

«Как могут они ее слушать, и как она может так искусно притворяться, что она всё это понимает, и что она не дура»,— думал Pierre, слушая свою жену. Графиня рассказывала про знаменитый торжественный спектакль, в котором играл Racin'a — Talma, и оба императора сидели перед сценой на эстраде на двух приготовленных им креслах, и как, когда Talma сказал: «L'amitié d'un grand homme Est un bienfait de Dieu...»[14]

— De Dieux, comtesse, s'il est permis de retablir Racine[15],— поправил один из французского посольства.

— Ah, je ne suis pas monodéiste[16],— сказала графиня.

«И от кого она выучилась и запомнила это слово,— подумал, наливая себе вино, Pierre,— и догадалась сказать? — Не понимаю. А я ведь знаю, что она дура и не понимает ничего того, что говорит. Pierre много пил, как заметил князь Андрей. Графиня продолжала рассказ, состоявший в том, что когда Talma произнес эти слова, император Александр — мы все видели — взял руку императора Napoléon'a и пожал ее. Вы не можете себе представить впечатление на нас. Все затаили дыхание.

Князь Василий доканчивал фразы дочери и значительно мычал, [доказывая этим] как бы говоря этим: «Ну, что же un grand homme, un génie. Eh bien, je n'ai jamais dis le constraire»[17].

Анна Павловна принимала участие в этих разговорах и не отказывала в легком восторге и глубоком уважении к [императору] «sa majesté l'empereur des français»[18], как она его теперь называла, но в ее восторге был оттенок некоторой грусти, долженствовавший относиться к особенности взгляда ее высокой покровительницы на новый союз России[19]. Она признавала Наполеона гением, оказавшим большие услуги революции и понявшим свои выгоды в союзе с Александром, но она [не признавала] всё соболезновала о разрушенном старом порядке вещей и была все-таки par conviction dans les bons principes[20]. Одно, в чем она вполне сходилась с графиней, это [было ее страстное] был ее страстный восторг вообще к французам.

— C'est la reine de nations. Etre français et avoir un titre de noblesse[21],— говорила она. [Они решились только]

[Князю Андрею стало тяжело под конец вечера, и он, который всегда так охотно бранил русских, не мог удержаться от колких замечаний.] Князь Андрей, как всегда в гостиной, вступал и даже держал разговор, весело и колко противореча. Он, который всегда так охотно бранил русских, не мог удержаться от некоторых не понравившихся Анне Павловне замечаний о том, что поэтому лучше бы перейти в подданство Наполеона и никогда бы не воевать с французами.

— Да, это было бы гораздо лучше,— сказала значительно Анна Павловна.

[Pierre всё время не вступал в разговор, но перед вечером, когда он сказал жене, что князь Андрей желает познакомиться с Сперанским, и графиня обещала ему это сделать, он вступил в разговор, зашедший о Сперанском, и бестактно и неприятно для всех, восхищавшихся в этом обществе Сперанским, начал умно и горячо, но длинно излагать при-

---

[12] Нас было много, герцог такой-то... граф такой-то...
[13] Герцог Люин меня насмешил.
[14] «Дружба великого человека — дар бога...»
[15] Богов, графиня, если позволите восстановить Расина.
[16] О, я не исповедую единобожия.
[17] великий человек, гений. Ну что же, я этого никогда не отрицал.
[18] его величеству императору французов,
[19] На полях: *Осуждают государя, что он не довольно француз.*
[20] по убеждениям за строгие принципы.
[21] Это глава всех наций. Быть французом и принадлежать к дворянству.

чины своего несогласия со всеми намерениями Сперанского] [Pierre всё время не вступал в разговор, но перед вечером, когда он сказал жене, что князь Андрей желает познакомиться с Сперанским, и графиня обещала ему это сделать, он вступил в разговор, зашедший о Сперанском, и начал доказывать значительные ошибки Сперанского] Pierre шутил и изредка блеском своей французской болтовни, несмотря на невыгодное положение мужа в гостиной жены, обращал на себя внимание. «Да, это ничего, не обращайте внимания, это мой муж»,— при этом говорило выражение лица графини.

⟨V⟩

[На другой день у князя Андрея были дела с тестем, необходимые выезды, явления, так ⟨как?⟩ он всё еще был военный] С вечера[1], разойдясь из гостиной графини, Pierre поехал в клуб, и, когда вернулся, Андрей уже спал. На другой день Андрей рано выехал по делам, обедал у тестя, вечером был в том доме, где его обещали познакомить с Сперанским, и только вечером вернулся домой и вошел в низенькие, накуренные комнаты Pierre, с которым они целые сутки не видались.

— Как я рад, что я тебя застал дома,— сказал князь Андрей, расстегнувшись, ложась на оттоманку и потирая лицо руками.

Pierre знал это выражение в лице Андрея, знал и любил его. Он положил свои тетради и, закурив трубку, попокойнее уселся против друга.

[Князь Андрей много видел людей в этот день, много спорил, много получил впечатлений, задирающих и неудовлетворенных. После своей деревенской жизни, где каждая [тень] мысль, каждое впечатление додумываются до конца, он чувствовал себя спутанным и усталым. Ему хотелось, высказавшись, привести всё это в ясность.

— Боже, как на свете людей мало,— сказал Андрей.— Всё дураки, всё дураки, всё разумные дураки — вот что ужасно.]

— Eh bien, savez vous, mon cher, je reste à Pétersbourg, on m'a fait des propositions que je ne puis refuser[2]. И в самом деле, такое время, такие перевороты, так кипит всё, так трещит гнилое, старое, что нельзя удержаться не дать и свой coup de main[3].

— Вот как? Как я рад,— сказал Pierre.— Где же?

— Кочубей просит меня заняться в комиссии составления законов, потом мне предлагают место в Крым.

— Нет, оставайтесь здесь.

— Да, мы не видались с вами еще со вчерашнего вечера,— сказал Pierre.— Я думаю, странно на вас это всё подействовало, все эти восхваления Наполеону. Как иначе заговорило всё. Мне кажется, ежели бы я даже продолжал думать о Наполеоне то же, что думал прежде, я бы изменил своим мыслям, только чтобы не быть заодно с этой толпой[4].

— Да,— сказал князь Андрей, улыбаясь,— то, что мы с тобой думали и чувствовали 4 года тому назад, то они поняли теперь. Но для них Египет, итальянский поход, освобождение Италии, 1-й консул — было непонятно; pour faire une brèche dans leur entendement, il leur fallait tout le faste ridicule et dégoûtant de Tilsit et d'Erfurt[5]. Они [все] [тоже поймут величие, но так поздно, когда уже то], как говорит Гёте, ⟨как⟩

---

[1] На полях: *У Анны Павловны J. Maistre. Всё держится печаль о легитимизме. ⟨Католические государи?⟩ царствуют долго. Монета. Университеты. Библейское общество. Юнга Штиллинга. Старики.*

[2] Знаете, милый мой, я остаюсь в Петербурге — я получил предложения, от которых не могу отказаться.

[3] не приложить руки

[4] На полях: *Разговор о том, что князь Андрей простил бы не жену, а девушку.*

[5] чтобы пробить доступ к их разуму, нужна была помпа Тильзита и Эрфурта, вызывающая насмешку и отвращение.

эхо, а голосов нет. И как эхо, они, опаздывая, всё перевирают. [Когда для нас, для людей 〈*1 нрзб*〉] Они никогда не поют в такт. Когда подступает новое, они все верят в старое, когда новое сделается старым, отсталой пошлостью и передовые умы уже видят новое, новое, они только начинают разжевывать старое, то, против чего они спорили. Вот и теперь с Наполеоном. Ежели бы я еще мог допускать великих людей, как 4 года тому назад, я бы давно разочаровался в Бонапарте и без Аустерлица.

— А,— подхватил Pierre,— так вы того же мнения о Бонапарте. Помоему, это ничтожество, пустота, близкая к своей погибели. Это человек, не выдержавший своего положения и измельчавшийся[6].

— Еще бы, еще бы,— говорил князь Андрей, кивая головой, как будто то, что говорил Pierre, было избитой истиной, хотя едва ли в Петербурге не одни 〈они〉 двое были этих мыслей.

Они помолчали и переглянулись. Им приятно было чувствовать, что они, хотя и живя врозь, так равномерно шли вперед в своих мыслях, что после долгого промежутка времени, далеко впереди по дороге жизни, они находили себя опять вместе. Князь Андрей по естественной связи мыслей от этого сближения перешел к воспоминаниям о Борисе, в 1805 очень понравившемся ему. С ним, он чувствовал, они очень разошлись за это время.

— А помнишь, я тебе говорил 〈о〉 Борисе Друбецком, которого ты рекомендовал мне. Он мне очень нравился. И я очень ошибся. Я его опять встретил нынче. Он мне не нравится.

Опять они сошлись. Pierre точно так же был им прежде прельщен и разочарован в этом молодом человеке, но он по причине тех подозрений, которые он имел о Борисе, не откровенно выразил о нем свою мысль.

— Нет, он очень хороший молодой человек. И он имеет большой успех в свете и службе.

— Да, да, он уйдет очень, очень далеко. И этим-то он не нравится мне. [Это один из тех людей, которые умеют скрывать свое превосходство] Il prend au serieux le succés dans le monde et la carrière[7]. Это-то и жалко в нем. Он умнее их всех. И это не трудно. Но он имеет такт скрывать свое превосходство, чтобы не оскорбить их, и притворяется равным им. Это главный рецепт успеха, но то-то и жалко, что он не настолько умен, чтобы видеть, что это не стоит того. Ему кажется, что всё это очень важно — он старательно и бережно раздувает этот мыльный пузырь, и тем хуже ему будет, когда пузырь лопнет.

Pierre переменил разговор.

— Да вы мне не говорите, видели вы Сперанского? Ну что?

Князь Андрей вздохнул.

— Encore une illusion de moins[8],— сказал он.— Не то чтобы я с тобой был[9] согласен. Многое можно и должно сделать, но не такими нечистыми, кутейницкими руками.

— Ah, ah, не говорите, ah, mon cher, quel esprit de caste...

— Esprit de caste ou non[10],— только не могу я переносить этого кутейницкого тона с тою же догматичностью и с каким-то лоском иакобинизма [республиканизма] придворного. Кутейницкий особенный род.

[— Нет, я не согласен. Замысел его хорош, но меры не те.

— Да и потом,— перебил князь Андрей,— кому это нужно. Разве крестьяне требуют свободы, разве они могут воспользоваться ею? Вот

---

[6] Так в автографе.
[7] Он придает серьезное значение успеху в свете и карьере.
[8] Еще одним заблуждением меньше.
[9] В автографе: *были* (прим. составителя).
[10] — Ах, мой милый, кастовый дух...
— Кастовый дух или нет...

я отпустил своих... И кому нужна у нас ответственность, свобода печати?]

— Mon cher, qu'est ce que vous dites?..[11] Но подумайте, что это единственный человек, могущий...

— Да и потом, перебил князь Андрей.— Эти люди не могут понять свободы, потому что они привыкли смотреть снизу вверх[12].

‹VI›

Денежные дела Ростовых не поправились в продолжении 2-х лет, которые они пробыли в деревне. Несмотря на то, что Nicolas, твердодержась своего намерения, продолжал так же служить в глубокой армии, расходуя сравнительно мало денег, ход жизни в Отрадном был таков, и в особенности Митенька так вел дела, что долги неудержимо росли с каждым годом. Единственная помощь, которая, очевидно, представлялась старому графу,— это была служба, и он приехал в Петербург искать места. Искать места и вместе с тем — как он говорил — в последний раз потешить девчат. «А может кого и замуж отдать»,— думал он, как думают все отцы невест. И действительно Берг, командовавший теперь уже баталионом гвардии, украшенный Владимиром и золотой саблей за храбрость, молодой человек нравственный, скромный, красивый и стоявший на самой блестящей дороге, сделал предложение Вере, на что он 4 года тому назад твердо [решился, и к чему он вел свои дела] [решился и не упускал из вида] решился и твердо исполнил.

— Вот видите ли,— говорил он, пуская добродетельно колечки дыма, своему товарищу, которого он называл другом только потому, что он знал, что у всех людей бывают друзья.— Вот видите ли, я всё это сообразил, и я бы не женился, ежели бы не обдумал всего, и это почему-нибудь бы было неудобно. А теперь, напротив. Папенька и маменька мои теперь обеспечены, я им устроил эту аренду в Остзейском крае, а мне пожить можно с женою в Петербурге при моем жаловании и при ее состоянии. Я не из-за деньги женюсь, я считаю это неблагородно, но надо, чтобы жена [внесла] принесла свое, а муж свое. У меня служба, [у ней связи и маленькие средства] у ней маленькие средства и связи. [Она ‹прекрасная›] Это в наше время что-нибудь такое значит, не так ли? А главное — она прекрасная, почтенная девушка, и любит меня... Берг покраснел, улыбнулся.

— Вот будете приходить к нам...— он хотел сказать: «обедать», но раздумал, сказал:— чай пить,— и, проткнув его быстро языком, выпустил круглое маленькое колечко, олицетворявшее вполне его мечты о счастии.

Предложение Берга было принято сначала с нелестным для него недоумением. Сначала представилось странно, что сын темного лифляндского дворянина делает предложение, но главное свойство всего характера Берга состояло в таком наивном и добродушном эгоизме, что невольно Ростовы подумали, что это будет хорошо, ежели он сам так твердо убежден, что это даже очень и очень хорошо. Притом Вера весьма обстоятельно объяснила, что Берг барон, на [блестящей] хорошей дороге, что нет ни малейшего mesaliance выйти за него замуж и что таким бракам в их обществе есть много примеров, которые она привела. Согласие было дано. После недоумения чувство родных перешло в радость, но радость не искреннюю, а внешнюю. В чувствах родных, говоривших об этой женитьбе, были заметны замешательство и стыдливость, как будто им совестно было теперь за то, что они не любили Веру и теперь так сбывали ее с рук. Больше всех смущен был старый граф. Он бы, вероятно, не умел бы назвать то, что было причиной его смущения,

---

[11] Милый мой, да что вы говорите?..
[12] См. Варианты, № 6.

а причина это была — его же денежные дела, в последнее время присоединившиеся ко всем его домашним и семейным делам. Он решительно не знал, что у него есть, сколько у него долгов и что он в состоянии будет дать в приданое Вере. Когда родились дочери, каждой было назначено по 300 душ в приданое, но одна из этих деревень была уже продана, а другая заложена и так просрочена, что должна была продаваться. Берг уже более месяца был женихом и только неделя оставалась до свадьбы, а граф еще не решил с собой вопроса, что он даст Вере и не говорил об этом с графиней, которая, жалея мужа, дала себе слово никогда не говорить с ним о денежных делах. [За три дни] За неделю до свадьбы это всё было не решено, и стыдливость и мучения совести графа доходили до такой степени, что он бы заболел, ежели бы Берг не вывел его из этого положения. Берг попросил tête à tête с графом и с добродетельной улыбкой почтительно попросил тестя объявить ему, что будет дано за Верой. Граф чувствовал себя столь виноватым и так смутился при этом давно предчувствованном вопросе, что он сказал необдуманно первое, что пришло ему в голову.

— Люблю, что позаботился, люблю, останешься доволен,— и он, похлопав по плечу, встал, желая прекратить разговор. Но Берг, приятно улыбаясь, объяснил, что, ежели он не будет знать верно, что за Верой, и не получит вперед, то он, несмотря на всю свою любовь, не женится на ней.

— Потому что вы рассудите, граф, ежели бы я теперь позволил себе жениться, не имея определенных средств для поддержания своей жены, я поступил бы подло... Разговор кончился тем, что граф, желая быть великолепным и не подвергаться новым просьбам, сказал, что он выдаст вексель в 80 тысяч, но Берг, [задумавшись] подумавши, сказал, что он не может взять один вексель, а просит [сколько] 40 тысяч деньгами, а на 40 вексель.

— Да, да, хорошо,— скороговоркой заговорил граф,— только уж извини, дружок, 40 тысяч я достану и дам, а вексель, кроме того, дам на 80 тысяч. Так-то, поцелуй меня.

[Тот день, когда] [Это было в тот самый день, когда князь Андрей приехал к Ростовым] [На другой день старый граф] Через несколько времени граф за жидовские проценты достал деньги и отдал Бергу. Разговор графа с Бергом был тайной для всех в доме. Замечали только, что граф и жених особенно веселы.

[Вскоре после этого приехал и Nicolas Ростов, сделавшийся загрубелым гусаром и привез с собой] Nicolas [получил] продолжал служить в своем полку, стоявшем в Польше. И, получив известие о женитьбе сестры, прислал холодное поздравительное письмо и сам не приехал под предлогом дел службы [в 8-м году он приезжал]. Вскоре после Тильзитского мира он приезжал в отпуск и на своих домашних произвел впечатление большой происшедшей в нем перемены. Отец нашел его очень возмужавшим и остепенившимся. [Он 〈сидел?〉] Денег он брал немного, в карты не играл и обещал еще года через два выйти в отставку, жениться и приехать в деревню хозяйничать.

— Теперь еще рано, дайте хоть до ротмистров дослужиться.

— Славный он, славный малый,— говорил отец.

Графиня тоже была довольна сыном, но на ее материнские глаза ей заметно было, что Nicolas загрубел, и ей хотелось бы женить его. Но, намекнув раз о богатой невесте, именно о Жюли Корнаковой, она увидала, что сын этого не сделает. Она видела, что что-то хуже стало в сыне, но не могла понять этого. Она испытывала в 1-й раз то материнское чувство, что радостно веришь в каждый шаг вперед своего детища, а не веришь в его такой же переход книзу, какой и сам испытываешь. Вера была вполне довольна братом, она одобряла его умеренность в расходах и степенность. [Соня в этот приезд опять сблизилась с Nicolas.

Оттого ли, что, видя дела совершенно расстроенными, Nicolas знал, что ему никак не позволят жениться на Соне, он говорил ей о женитьбе и успокаивал, что никогда он не женится на богатой.] Соня в этот приезд больше чем когда надеялась быть женой Nicolas. Он ничего не говорил ей о любви и женитьбе, но был кроток, ласков и дружен с нею. Соня всё так же верно любила его и обещала любить его, женился ли бы он на ней или на другой. [Наташа одна] Сонина любовь была так верна и так тверда, что Наташа говорила:

— Я даже не понимаю, как можно так любить: точно ты себе велела и уж не можешь изменить этого.

Наташа одна была недовольна братом. [Она всё дергала, тормошила его, вскакивала на него верхом и заставляла возить по комнатам (она одна могла по-старому оживлять его)] Она охала на его приемы совершенно большого, на его бурую шею, на его манеру держать трубку между пальцев, всё дергала, тормошила его, вскакивала на него верхом и заставляла возить по комнатам и всё чего-то как будто искала и не находила в нем.

— Что с тобой? — говорила она.— Ну! Ну! Где ты? — всё приставала она к нему, как бы докапываясь в нем того самого брильянта [молодости] оживления, которого другие не замечали и который [т⟨олько?⟩] она один и любила в нем и который заметно потускнел в последнее время. [Nicolas был в состоянии первого разочарования, когда всё кажется пустяками, всё — мечтами, потому что, за что первое взялся, оказалось мечтой и пустяками.]

⟨VII⟩

Наташа, проживши в одиночестве [последнее лето] последний год в деревне, составила себе обо всем свое очень определенное и часто противное мнениям своих родных, понятие. В этот последний год в деревне было скучно, оттого, что все, кроме ее и Сони, говорили только о том, что мало денег, что нельзя ехать в Москву, жалели о барышнях и каждый день слышали толки Веры о том, что в деревне очень трудно выйти замуж, что умрешь с тоски, что можно найти место в Петербурге и т. д. Наташа редко вступала в эти разговоры и, ежели вступала, то озлобленно нападала на Веру и утверждала, что в деревне гораздо веселее, чем в Москве. Летом, действительно, Наташа устроила себе такую жизнь, что она, не притворяясь, говорила, что она чрезвычайно счастлива. Она вставала рано утром и с дворовыми девушками, и гувернанткой [иногда], и Соней отправлялась за грибами, ягодами или орехами. Когда становилось жарко, они подходили к реке и там купались в устроенной купальне. Наташа с радостью и гордостью выучилась плавать. Потом она пела, обедала и отправлялась одна, в сопровождении Митьки-охотника, верхом в любимые места, поля и луга. С каждым днем она чувствовала, как она крепнет, полнеет, хорошеет, лучше и лучше плавает, ездит верхом и лучше поет. Она постоянно бывала счастлива в поле и вне дома. И когда за обедом или вечерним чаем она опять слышала те же [столкновения] толки о скуке в деревне и о бедности, она еще более чувствовала себя счастливой в поле, в лесу, верхом, в воде или в лунную ночь на своем окне. Она не была влюблена ни в кого и не чувствовала в этом никакой надобности. Соня участвовала в ее жизни, но в самые лучшие минуты Наташи она чувствовала, что Соня, со всем ее желанием, не могла поспеть за ней, как не могла [плавать] поспеть в лесу, в воде, на лошади. Один раз в жаркий июльский день, когда они с Соней, [и] гувернанткой и 7-ю девушками пришли к реке, к купальне, Наташа разделась, завязала голову белым платком и в одной рубашке села на передней лавочке на корточках и обхватила тонкими руками свои [тонкие] гибкие ноги, и глаза ее остановились на воде. Все уже давно были

в воде, плескались, боялись, кричали. Девушки взывали ко всем, забывая в воде различие господ от дворовых.

— Ну, девки, ну, на ту сторону! — кричали они с тем гуртовым, девичьим ухарством, с которым купаются русские девушки. Наташа всё сидела и смотрела на воду и на противоположную березу. Она думала, серьезно думала в первый раз в своей жизни: «Зачем же ехать в Москву? Отчего же не жить всегда здесь? Разве здесь не хорошо? Ах, как хорошо. И как я довольна и счастлива! И потом, они все говорят, что мы бедны. Как же мы бедны, когда у нас столько земли, людей, домов. Вон Настя, у ней ничего нет, кроме этого розового платья, а она как мила, и как весела, и какая коса чудесная. Как же мы бедны? Зачем же нам столько учителей, и музыкантов, и два шута? Всё это не нужно. Папаша всем доволен, и мама тоже, и я тоже. Продать всё лишнее и жить с двумя девушками в одном флигеле, и как будет весело! Непременно пойду и скажу это папа»,— решила она сама с собой. В это время вихрь, поднимая пыль на пашне, пробежал по полю, по дороге к реке и понесся по реке, рябя воду, и прямо набежал на лицо плывущей Насти. Настя испугалась, [потом] [захлебнулась] задохнулась, потом засмеялась, и Наташа, смеясь, убежала в купальню и бросилась в воду. Вернувшись с купанья, Наташа, повязанная платком, загорелая, веселая, вбежала к отцу и серьезно и внушительно рассказала ему свою философию, как она назвала ее. Отец, смеясь, поцеловал ее и презрительно-ласково сказал, что хорошо бы было, коли бы всё так легко делалось. Но Наташа не скоро сдалась, она чувствовала, что, несмотря на то, что она девочка, а он старик, она говорит правду.

— Да отчего же нельзя? — говорила она.— Ну, долги. Ну, так давай жить так, чтоб проживать вдвое меньше.

Наташа не поверила презрительно-ласковой улыбке отца и шуткам матери, она знала, что она говорит правду, и с этих пор стала думать, верить своим мыслям и обо всем иметь свое суждение. В Петербурге она не одобряла искательство места отца и говорила, что всё это глупости, что они и так богаты. Женитьбу Берга она очень одобряла, потому что Вера [недобрая] нам не пара. Она была рада, однако, случаю веселиться в Петербурге. Но, несмотря на то, что она готова была всегда жить в деревне, она в Петербурге недовольна была тем образом жизни, который вели ее родные. Всё ей казалось не так, не достаточно comme il faut, провинциально. Почему она знала, как надо было жить в высшем обществе, но чутье ее указывало ей верно, и ее чувство изящества и тщеславия оскорблялось тем, что комнаты были убраны не так, лакеи грязны, карета старинная, стол не так накрывается. Она одевалась [прекрасно] не только сама, но и одевала старую графиню, отдавшуюся совершенно в ее власть, и одевала прекрасно. Все те мелкие приемы манер и туалета, которые составляют оттенок высшего общества, она угадала сейчас же и, в несколько смешном в Петербурге, провинциально-московском, доме Ростовых Наташа поражала своей безупречностью манер самого высшего и элегантного общества.

Ей было 16 лет; одни говорили, что она очень хороша, другие говорили, что она только мила, говорили, что она пустая, что она кокетка, что она избалована, но всё говорили, что она очень мила.

В месяц, однако, после приезда Ростовых в Петербург богатыми женихами Наташе было сделано два предложения, из которых одно было очень выгодно, но она отказала обоим. Наташа так смеялась[1], так весело кокетничала, что людям наблюдательным никогда бы и в голову не пришло сделать ей самой предложение. Она казалась не от мира сего. Странно было подумать, чтобы она вдруг захотела выбрать себе одного

---

[1] К тексту: *Наташа, проживши* (с. 444) ∾ *так смеялась* — см. Варианты, № 7.

мужа, который в халате ходил при ней, из всех этих сотен людей, которые все были ее мужьями, когда она того хотела. Все готовы были за ней ухаживать, поднимать ей платок, танцовать с одной ею и писать ей стихи в альбом. Она другого назначения не допускала в мужчинах. И чем больше было таких, тем было лучше. [Одно время после обручения Берга ей вдруг стало досадно, что Берг, которого она совершенно презирала, ⟨целуется⟩ с Верой. Она обратила свое внимание на Берга и довела его до того, что он сказал ей то, что и нужно было:

— Ежели бы я знал, Наталья Ильинична, [что] это прежде, я бы вам сделал предложение, потому что я...

— Как вы смеете это говорить. Я Вере скажу,— и ушла от него.] Pierre сразу был оценен Наташей, и не столько потому, что она воображала себе когда-то, что она влюблена в него, и не столько потому, что она сразу причислила его к людям самого высшего общества, сколько потому, что он был умнее и проще всех других людей. Узнав, что он масон, она расспрашивала его о том, что это такое, и когда он сказал ей в общих чертах цель масонства, она большими глазами долго смотрела на него и сказала, что это прекрасно.

Когда он уехал, старая графиня спросила ее, о чем они так горячо говорили.

— Нельзя сказать, мама.

— Знаю, знаю, что он фармазон,— сказала графиня.

— Franc-maçon, maman,— поправила Наташа.

В отношении мужчин у ней было чувство, похожее на чувство распорядителя охоты, оглядывающего ружья — заряжены ли они? Заряжено, курок действует, есть порох на полках — хорошо. Так ждите, когда я [прикажу] захочу сделать залп из всех ружей или выберу одно [и залп]. А надо, чтобы все, все были заряжены.

Наташе было 16 лет, и был 1809 год, тот самый, до которого она 4 года тому назад по пальцам считала с Борисом, после того как она с ним поцеловалась. С тех пор она [она несколько раз] [она два раза] [она один раз виделась с Борисом в Москве, но при других, говорила ему «вы», но ни раза с ним не видалась наедине и ни раза не говорила о том, чему они обещались в 1809 году. Борис был особенно внимателен к ней, но из его выражения она никак не могла понять, считал ли он свое и ее обещание существующим или уничтоженным.] ни разу не видела Бориса.

[И вопрос] [Говоря с Соней] Перед Соней и с матерью она, когда разговор заходил о Борисе, она совершенно свободно говорила, как о деле решенном, что всё [это прежнее], что было прежде, было ребячество, про которое не стоило и говорить и которое давно было забыто; но эта девочка имела в высшей степени женский дар хитрости придавать, какой она хотела, тон своим словам, скрывать и обманывать, и в самой тайной глубине ее души вопрос о том, было ли обязательство к Борису шуткой, забытым ребячеством, или важным, связующим обещанием, болезненно мучал ее. С одной стороны, ей бы весело было выйти теперь замуж и именно за Бориса, который был так мил, хорош и comme il faut (особенно весело потому, что она показала бы Вере, что нечего так гордиться, что она уже большая и выходит замуж, как будто она одна может это сделать, и показать ей, как надобно выходить замуж не за немчика Берга, а за князя Друбецкого), с другой стороны, мысль об обязательстве, связывающем ее и лишающем ее главного удовольствия — думать о том, что каждый встречающийся мужчина может быть ее мужем, тяготила ее.

В 1809 году, когда Ростовы приехали в Петербург, Борис приехал к ним, тотчас же был принят, как все, т. е. с приглашением обедать, ужинать каждый день. [Но в первое же посещение Наташа, молча слушавшая разговор Бориса с отцом и матерью, осталась недовольна тоном

Бориса. Она заметила в нем] Наташа, узнав о приезде Бориса, вспыхнула и дрожащим голосом сказала Соне: «Знаешь, он приехал».

— Кто, [Болконский] Безухов? — спросила Соня.

— Нет, [маленькой] [прежний друг] прежний он,— сказала Наташа,— Борис,— и, посмотревшись в зеркало и оправившись, пошла в гостиную.

Борис ждал встретить Наташу изменившеюся, но всё в его воображении был тот милый ему образ чернушки с блестящими из-под локон глазами, с красными губками и детски отчаянным смехом. Он ехал к ним не без волнения. Воспоминание о Наташе было самым сильным поэтическим воспоминанием Бориса. Но его светская, блестящая карьера, которой одним из главных условий была свобода, и известия, полученные от матери, о расстройстве дел Ростовых, заставили его принять окончательное решение уничтожить, забыть эти детские воспоминания и обещания. [Это 〈было〉] Но он знал, что Ростовы в Петербурге, и потому нельзя было ему не приехать к ним. Ежели бы он не приехал, он бы этим тем хуже показал, что помнит о прежнем. Он решился ехать, как старый, добрый знакомый, относясь к [прежнему] [своим воспоминаниям] своему прошедшему с Наташей с той забывчивостью, которой так много постыдных и сердечных воспоминаний покрываются в свете. Но он смутился, когда вошла Наташа, сияя больше, чем ласковой улыбкой, во всей прелести своей только что развившейся 16-тилетней красоты. Он никак не ждал ее такою. Он [несмотря на весь свой такт] покраснел и замялся.

— Что, узнаешь свою старую приятельницу-шалунью?

Борис поцеловал руку Наташи и сказал, что он удивлен происшедшей в ней переменой.

— Как вы похорошели!

«Еще бы!» — отвечали сияющие глаза Наташи.

— А папà постарел? — спросила она.

Наташа села и молча слушала разговор Бориса с графиней, которая обращалась с ним, как с большим. Она молча рассматривала его до малейших подробностей, и он чувствовал на себе радостную тяжесть этого упорного, неучтивого взгляда. Наташа наблюдала и заметила в Борисе снисходительную учтивость, говорившую как будто, что он помнит свою прежнюю дружбу с Ростовыми и потому, только потому [не〈смотря〉] и теперь, хотя он и не принадлежит к обществу Ростовых, он не будет гордиться. Во время этого первого визита с тактом, но не нечаянно, как это чувствовала Наташа, Борис упомянул о дворцовом бале, на котором он был, о приглашениях к NN и к SS, называя высшую аристократию. Он сидел, поправляя белой, нежной рукой чистейшую, облитую перчатку на левой; мундир, шпоры, галстук, прическа,— всё это было самое модное и comme il faut'ное. Наташа сидела молча, исподлобья разгоревшимися, оскорбленными глазами глядя на него. Он не мог оставаться обедать, но приехал через несколько дней; он приехал опять и пробыл от обеда и до ужина. [Наташа] Он не хотел и приехать, не хотел и пробыть так долго, но он не мог поступить иначе. Несмотря на свое решение отказаться от Наташи, несмотря на то, что он говорил себе,— это было бы неблагородно,— он не мог не поехать. Ему представлялось, что необходимо было объясниться с Наташей, сказать ей, что [он] всё старое должно быть забыто, что несмотря на всё... она не может быть его женой, что [несмотря] у него нет состояния и ее никогда не отдадут за него. Он приехал, а этот день Наташа, по замечанию матери и Сони, казалась по старому влюбленной в Бориса. Она пела ему его любимые песни, показывала ему свой альбом, заставляя писать в него, [она ласкала его взглядом, улыбкой, слушала его, и он забывал все свои решения, был влюблен, как прежде. Про старое они, однако, не говорили оба], не позволяла поминать ему о старом, давая понимать, как прекрасно

было новое; и поздно вечером он уехал в тумане, сам не зная, что он делал и для чего он приезжал, и ничего не сказав того, что он был намерен сказать. На другой день Борис опять приехал, на 3-й, на 4-й. Он [уже] получал записки от графини Безуховой и целые дни проводил у Ростовых.

[На 5-й день Борис приехал рано утром и попросил позволения видеть графиню.

— Ma bonne tante,— сказал он, когда она посадила его подле себя.— Я люблю Наташу, вы это знаете, у меня ничего нет, [но я служу] но я люблю ее больше всего на свете. Я прошу ее руки.

— Ах, mon cher, как ты меня удивляешь, я так привыкла тебя любить, как сына, но Наташа так молода, ты сам говоришь, что ты не богат, а наши дела... Ах, подумать... А Наташа что?

— Я не знаю, ma tante,— улыбаясь отвечал Борис.

— Ах, боже мой, боже мой! Как это всё растет, как это всё... Нет, мой дружок... это нельзя. Я тебя люблю, очень люблю... нет, mon cher. Графиня заплакала...] [На 5-й день Борис приехал рано утром и сделал предложение Наташе через старую графиню. Графиня [отказала] посоветовалась с графом и отказала ему, сказав, что Наташа еще так молода, что средства их малы, но что она очень любит Бориса и впереди еще много времени.

Борис довольный тем, что он исполнил свой долг, продолжал ездить в дом, но уже меньше сближался с Наташей. Наташа продолжала всё так же быть с ним ласковой, кокетливой.] На 4-й день вечером, когда старая графиня, вздыхая и кряхтя, в ночном чепце и кофточке, без накладных буклей, а с одним седым пучком волос, выступавшим из-под коленкорового чепчика, клала на коврике [вечерние] земные поклоны вечерней молитвы, ее дверь скрипнула и в туфлях на босу ногу тоже в кофточке, в папильотках вбежала Наташа. Графиня оглянулась, нахмурилась и дочитывала свою последнюю молитву: «Неужели одр сей мне гроб будет». Наташа [приложила], красная, оживленная, увидав мать на молитве, вдруг остановилась на своем бегу, присела и невольно высунула язык, грозясь самой себе. Заметив, что мать продолжала молитвы, она на цыпочках подбежала к кровати, быстро ⟨скользнув?⟩ одной маленькой ножкой о другую, скинула туфли и прыгнула на тот одр, за который графиня боялась, как бы он не был ее гробом. Одр этот был высокий, перинный с 5-ю уменьшающимися подушками. Наташа вскочила, утонула в перине, перевалилась к стенке и начала прыгать, возиться под одеялом, укладываясь, брыкала ногами, и чуть слышно смеясь, то закрываясь с головой, то выглядывая на мать. Графиня с строгим лицом подошла к постели и улыбнулась [только] своей доброй слабой улыбкой, когда Наташа, закрытая ⟨с⟩ головой, не могла видеть ее[2].

— Ну, ну, ну,— сказала она.

— Мама! Конференция, да? — сказала Наташа.— Ну, в душку один раз, ну, еще и будет. И она [пова⟨лила⟩] обхватила шею матери и поцеловала ее под подбородок. В обращении своем с матерью Наташа выказывала внешнюю грубость манеры, но она так была чутка и ловка, что как бы она ни обхватила руками мать, она всегда умела это сделать так, чтобы матери не было ни больно, ни неприятно, ни неловко.

— Ну, об чем же нынче,— сказала мать, устроившись на подушках и подождав, пока Наташа, также побрыкавши ногами и перекатившись раза два через себя, не легла с ней рядом[3] под одним одеялом и, выпростав руки, не приняла сериозного выражения. (Эти ночные посеще-

---

[2] На полях: *Девушка. Свеча.*
[3] На полях: *Наташа ушла от Сони.*

ния Наташи, совершавшиеся до возвращения графа из клуба, были одни из любимейших и неоценимых наслаждений матери и дочери.)

— Об чем же нынче. А мне нужно тебе сказать...

Наташа закрыла рукой рот матери.

— О Борисе... я знаю, сказала она серьезно.— Я за тем и пришла. Не говорите — я знаю. Нет скажите.— Она отпустила руку.— Скажите, мама. Он мил?..

— Наташа, тебе 16 лет, в твои годы я была замужем. Ты говоришь, что Боря мил. Он очень мил, и я его люблю, как сына. Но что же ты хочешь... что ты думаешь, ты ему совсем вскружила голову, я это вижу...

Говоря это, графиня оглянулась [на Наташу] на дочь[4]. Наташа лежала прямо [так] и неподвижно, [так что] глядя вперед себя на одного из сфинксов красного дерева, вырезанных на углах кровати, так что графиня видела [видела лицо] [видела профиль дочери] только профиль лица дочери. И лицо это поразило графиню своей способностью серьезного и сосредоточенного выражения. Наташа слушала [думала] и соображала.

— Ты ему вскружила совсем голову, зачем? Что ты хочешь от него? Ты знаешь, что тебя нельзя выдать за него замуж?

— Отчего? — не переменяя положения, сказала Наташа.

— Оттого, что он молод, оттого, что он беден, оттого, что он родня... да ты и сама этого не захочешь.

— А почему вы знаете?

— Я знаю, так это нехорошо, мой дружок, и я хотела [сказать тебе] спросить тебя, любишь ли ты его или...

— Вы знаете, кого я люблю, зачем вы говорите глупости...

— Нет, не знаю. Безухого, или [Болконского] Денисова, или еще кого, или...— сказала графиня и не договорила от смеха.

Она притянула к себе большую руку графини и поцеловала ее сверху, потом [Ну, так видишь] [стала] в ладонь, потом опять перевернула и стала целовать и в косточку верхнего сустава пальца, потом в промежуток, потом опять в косточку, шёпотом приговаривая,— генварь, февраль, март, апрель и т. д.

— Говорите, мама, что же вы молчите? Говорите,— сказала она, оглядываясь на мать, которая [восторженным] [нежным] [ласкающим] восторженно-нежным взглядом смотрела на дочь и из-за этого созерцания, казалось, забыла всё, что она хотела сказать.

— [Это нехорошо] Так я тебе и говорю, что это нехорошо.— Во-первых, оттого, что не все поймут вашу детскую связь, а видеть его таким близким с тобой может повредить тебе в глазах других молодых людей, которые к нам ездят, а главное, отвлекает, мучает его. Он, может быть, нашел бы себе партию по себе — богатую, а теперь он с ума сходит.

— Сходит? — повторила Наташа.

— Я тебе про себя скажу, у меня был один cousin...

— Знаю. Кирила Матвеич, да ведь он старик.

— Не всегда был старик. Но вот что, Наташа, я поговорю с Борей[5]. Ему не надо так часто ездить...

— Очего же не надо, коли ему хочется.

— Оттого, что ты сама говоришь, что не выйдешь за него замуж.

— [Я не выйду, а] Так что ж, что не выйду замуж, точно за всех надо выходить замуж. Нет, мама, вы не говорите ему, не смейте говорить ему. Что за глупости. [Он такой милый] — говорила Наташа тоном человека, у которого хотят отнять его собственность.

— Ну, не выйду замуж,— так пускай ездит, коли ему весело и мне весело.— Наташа, улыбаясь, глядела на мать.— Не замуж,— а так,— повторила она.

---

[4] На полях: *Наташа говеет.*

[5] На полях: *жалко его было*

— Как же это, мой друг?

— Да так, Ну, очень нужно, что замуж не выйду — так.

— Так, так,— повторила графиня и, трясясь всем телом, засмеялась своим добрым, неожиданным, старушечьим смехом.

— Полноте смеяться, перестаньте,— закричала Наташа.— Всю кровать трясете. Ужасно вы на меня похожи, такие же хохотуньи... Постойте,— она схватила обе руки графини, поцеловала на одной косточку мизинца,— июнь,— и продолжала целовать,— июль, август на другой руке.— Мама, а он очень влюблен? Как на ваши глаза? В вас были так влюблены? ⟨Он⟩ очень мил, очень, очень мил. Только не совсем в моем вкусе,— он узкой такой, как часы столовые — вы не понимаете?.. Узкой — знаете, серый, светлый... Безухой, тот синий, темносиний с красным, и он четвероугольной. А видели, как он сопел и ревновал нынче вечером.— Он славный. Вот я бы вышла за него, ежели бы я никого не любила и ежели бы он не был женат.

— Графинюшка,— послышался голос графа из-за двери,— ты не спишь?

Наташа вскочила босиком, захватила в руки туфли и убежала в свою комнату, где она еще долго не заснула, всё думая о том, что никто никак не может понять всего, что она понимает и что в ней есть. Соня,— подумала на спящую, свернувшуюся кошечкой с ее огромной косой.— Нет, куда ей! Мама и та не понимает. Это удивительно, как я умна и как... она мила,— продолжала она, говоря про себя в 3-м лице и воображая, что это говорит про нее какой-то очень умный, самый умный и самый хороший мужчина...— всё, всё в ней есть,— продолжал этот мужчина,— умна — необыкновенно мила — и потом хороша, необыкновенно хороша,— ловка, а голос! — Она пропела свою любимую музыкальную фразу из Херубиневской оперы [и за⟨смеялась⟩], бросилась на постель, засмеялась от радостной мысли, что она сейчас заснет. Крикнула Дуняшу потушить свечку, и еще Дуняша не успела выйти из комнаты, как она уже перешла в другой, еще более счастливый мир сновидений, где всё было так же легко и прекрасно, как и в действительности, но только было веселее, потому что было по-другому...[6].

На другой день Борис опять приехал вечером к Ростовым, и графиня, подозвав его к себе, взяла его за руку, притянула к себе и поцеловала.

— Boris, vous savez, que je vous aime comme un fils[7].

Графиня покраснела, и Борис еще больше.

— Вы знаете, мой друг, что у материнской любви есть свои глаза, которые видят то, чего другие не видят. Mon bon ami vous êtes un grand garçon, bon et raisonnable[8]. Ты знаешь, что девушка — огонь, что молодой человек не может ездить в дом...— Графиня смешалась.— Vous êtes un honnête garçon et je vous estime toujours comme un fils...[9].

— Ma tante[10],— отвечал Борис, поняв значение таинственных слов графини так же хорошо, как ежели бы они были изложены по всем законам логики,— ma tante, ежели я был виноват, то не перед вами. Я никогда не забуду, чем я вам обязан и, ежели вы мне скажете, что я не должен бывать у вас, как ни тяжело это мне будет, моя нога не будет у вас.

— Нет, зачем, но помни, моя душа.

Борис поцеловал ручку графини и с этого дня ездил к Ростовым только на балы, на обеды и не оставался наедине с Наташей.

---

[6] См. Варианты, № 8.
[7] Борис, вы знаете, что я люблю вас, как сына.
[8] Мой милый друг, вы юноша взрослый, добрый и рассудительный.
[9] Вы честный юноша, и я вас всегда считала сыном...
[10] Тетушка

⟨VIII⟩

Князь Андрей приехал в Петербург в августе 1809 года[1]. [Это было то памятное для] Это было время апогея молодой силы Сперанского и энергии совершаемых им переворотов. В этом самом августе государь, ехав в коляске, был вывален, повредил себе ногу и оставался в Петергофе 3 недели, видясь ежедневно и исключительно с Сперанским. В это время готовились не только два столь знаменитые и встревожившие общество указа — о уничтожении придворных чинов и о экзаменах на чины коллежских асессоров и статских советников, но и целая государственная конституция, долженствовавшая изменить действующий судебный, и административный, ⟨и⟩ финансовый порядок управления России от Государственного совета до волостного правления. Осуществлялись, воплощались теперь те неясные и неопределенные [мечтания императора Александра] либеральные мечтания, с которыми вступил на престол император Александр и которые он первое время стремился осуществить с помощью своих помощников: Чарторижского, Новосильцова, Кочубея и Сперанского, которых он сам шутя называл comité du salut publique[2].

М. М. СПЕРАНСКИЙ
Миниатюра П. А. Иванова 1806 г., литографированная П. Ф. Борелем в 1861 г.

Теперь всех вместе заменил Сперанский по гражданской части и Аракчеев по военной. Князь Андрей вскоре после приезда своего, как камергер, явился ко двору и на выход. [Государь спросил его о его ране и о том, намерен ли он] [Государь спросил его о его ране и надолго ли он приехал] [Государь спросил его о ране и об отце и прошел мимо. На другой день он явился к государю с своим проектом, но государь был занят и принял проект через флигельадъютанта. Когда через два дни князь Андрей [наведался о участи] явился опять, ему ⟨было⟩ объявлено, что государь приказал благодарить его за усердие к службе и передал проект графу Аракчееву, к которому Болконский и имеет обратиться.

На другой день князь Андрей в 9 часов утра явился к графу Аракчееву.] Государь спросил его о его ране. Князю Андрею всегда еще прежде казалось, что он антипатичен государю, что государю неприятно его лицо и всё существо его. В нескольких словах, сказанных ему на выходе, в этом сухом, отдаляющем взгляде князь Андрей еще более, чем прежде, нашел подтверждение этому предположению. Хотя он мог бы по своей службе и связям рассчитывать на более ласковый прием,

---

[1] На полях записи: *Князь Андрей спорит с Сперанским о общественном мнении для государя. Неполнота работы. Ильинский подделывает статьи. Розенкампф перепортил работу князя Андрея. Сперанский говорит: вы знаете мнение государя. Он отменит и нерешителен. Сперанский полюбил князя Андрея. Учреждение лицея без телесных наказаний. Андрей был на выходе. В 1809 государь повредил ногу в Петергофе. (Заседание Совета 1-го января.) Князь Андрей загадывает, будет ли его женой Наташа.*

[2] комитетом общественного спасения

настоящий прием был именно такой, какой он ожидал. Придворные объясняли сухость государя упреком Болконскому за то, что он не служил, и так объяснили ему.

«Я сам знаю, как мы не властны в своих симпатиях и антипатиях,— думал князь Андрей,— и потому нечего думать о том, чтобы представить лично проект государю и ожидать от него награды. Но дело будет говорить само за себя». Он тут же на выходе передал свой проект старому фельдмаршалу и другу отца. [Фельдмаршал обещал] Фельдмаршал назначил ему час, ласково принял его и обещал доложить государю. Через несколько дней князю Андрею было объявлено, что он имеет явиться к военному министру, графу Аракчееву.

В 9 часов утра в назначенный день князь Андрей явился в приемную к графу Аракчееву. Князь Андрей [помнил] знал графа Аракчеева и по рассказам артиллеристов гвардейских, по анекдоту о собственноручном вырывании бакенбард солдатам и по кануну Аустерлицкого сражения, на котором всему главному штабу было известно, что под предлогом слабости нерв Аракчеев отказался от начальствования над колонной в деле. Репутация эта,— слабости нерв, подтвердилась и в кампании 1807-го года в финляндской войне, в которой граф Аракчеев командовал, находясь за 100 верст от армии. [Всё, что знал] Лично князь Андрей не знал его и никогда не имел с ним дела, но всё, что он знал о нем, мало внушало ему уважения к этому человеку. «Но он был военный министр, доверенное лицо государя императора, никому не должно было быть дела до его личных свойств, а ему поручено, следовательно, он один и может дать ход моему проекту»,— так думал князь Андрей, в числе многих важных и неважных лиц дожидаясь в передней графа Аракчеева. Князь Андрей во время своей большей части адъютантской службы много видел приемных и приемов, и различные характеры приемных были для него очень ясны. У графа Аракчеева был совершенно особенный характер приемной.

[На неважных лицах выражался общий страх, но страх, доходивший до смешного. Как только дверь отворялась, они вскакивали, бледнели и вытягивались. Некоторые принимали вид озлобленного отчаяния. «Пропадай всё»,— как будто говорили они. Между важными лицами [выражалось, напротив, какое-то] выражалась, напротив, насмешка над чем-то — над собою или над тем, кого они ожидали.— Дядюшка-то наш, Сила Андреич,— говорили они, называя так Аракчеева,— не полюбится, ну уж, что делать.] На неважных [дожидавшихся] лицах выражалось одно общее всем чувство неловкости, скрытое под личиной развязности и насмешки над собою, над своим положением и над ожидаемым лицом. Иные задумчиво ходили взад и вперед, иные, шепчясь, смеялись, и князь Андрей слышал sobriquet[3] «Сила Андреича» и слова: «дядя задаст». Один, важное лицо, видимо оскорбленный[4] тем, что должен был так долго ждать, [ходил] сидел, перекладывая ноги и презрительно сам с собой улыбаясь. Но как только растворялась дверь, на всех лицах выражалось мгновенно только одно — страх. Князь Андрей удивил дежурного чиновника, попросив его другой раз доложить о себе, но все-таки довольно долго подождал и услыхал из-за двери раскаты дерзкого и неприятного голоса и увидал офицера, который бледный, с трясущимися губами, вышел оттуда и, схватив себя за голову, прошел через приемную.

Когда пришел его черед, он был [введен] подведен к двери, и чиновник шёпотом сказал: — Направо, к окну.

Князь Андрей увидал перед собой сухого, 40-летнего, черноватого человека с нахмуренными бровями над [глупыми] ничтожными глазами, который ворчливо обратил к нему голову, не глядя на него.

---

[3] прозвище

[4] Так в автографе.

— Вы чего просите? — спросил Аракчеев.

— Я ни-че-го не прошу [а государь император изволил переслать], — тихо, медленно проговорил князь Андрей. Глаза обратились на него и замигали, и губы слегка дернулись.

— Садитесь, — сказал Аракчеев, — князь Болконский?

— Я ничего не прошу, а государь император изволил переслать к вашему сиятельству поданную мною записку...

— Изволите видеть, мой любезнейший. Записку я вашу читал, — перебил Аракчеев, только первые слова сказав ласково, и опять не глядя ему в лицо и впадая всё более и более в свой ворчливо-презрительный тон. — Новые законы военные предлагаете? Законов много, исполнять некому старых. Нынче все законы пишут, писать легче, чем делать.

— Я приехал по приказанию государя узнать у вашего сиятельства, какой ход вы полагаете дать поданной записке? — сказал князь Андрей.

— На записку вашу мной положена резолюция и переслана в комитет, а вам угодно знать, то я не одобряю, — сказал Аракчеев, вставая и доставая с письменного стола бумагу. — Вот, — он подал князю Андрею.

На бумаге было написано: «Неосновательно составлено, понеже как подражание списано с французского военного устава и от воинского артикула без нужды отступающаво» [5].

— В какой же комитет передана записка? — спросил князь Андрей.

— В комитет о воинском уставе, и мною представлено о зачислении вашего благородия в члены. Только без жалованья.

Князь Андрей улыбнулся.

— Я и не желаю.

— Без жалованья, — повторил Аракчеев. — Имею честь. Эй, зови! — крикнул он, кланяясь князю Андрею.

[Прежде чем далее следить за ходом своей] [Узнав, что комитет этот давно работает над воинским уставом и находится при военном министерстве, князь Андрей, ожидая своего назначения в этот комитет, сделал несколько визитов прежним знакомым и вступил опять в тон петербургского света, который он оставил 5 лет тому назад.] Прием графа Аракчеева не охладил князя Андрея к делу своего проекта. Ожидая уведомления о зачислении его в члены комитета, он [ездил] возобновил старые знакомства, сделал несколько визитов, особенно тем лицам, которые, он знал, были в силе и могли поддержать его, к тем лицам, которые, как он чувствовал общественным чутьем, находились теперь во главе управления и которые озабоченно готовили что-то. Он испытывал теперь в Петербурге чувство, подобное тому, какое он испытывал накануне сражения, когда его [невольно тянуло] томило беспокойное любопытство и непреодолимо тянуло в высшие сферы, туда, где готовилось будущее, от которого зависели судьбы 1000 000-в [6]. Он чувствовал, по озлоблению стариков, любопытству непосвященных, по сдержанности посвященных, по торопливости, озабоченности всех, по бесчисленному количеству комитетов, комиссий, которые он новые узнавал каждый день, что теперь, в 1809 году, готовилось здесь, в Петербурге, какое-то огромное гражданское сражение, которого главнокомандующим было неизвестное ему, таинственное и представлявшееся ему гениальным лицо — Сперанский [7]. И самое ему смутно известное дело преобразования, и Сперанский — главный деятель, так страстно интересовали его, что самое его дело воинского устава очень скоро стало переходить в сознании его на второстепенное место.

Князь Андрей находился в одном из самых выгодных положений, для того чтобы быть радостно принятым во все самые разнообразные

---

[5] Так в автографе.

[6] Так в автографе.

[7] На полях: *Указ о камергере. Какое его положение в обществе.*

и высшие круги тогдашнего петербургского общества. Партия преобразователей радушно принимала и заманивала его, во-первых, потому, что он [был умен] имел репутацию ума и большой начитанности, во-вторых, потому, что он своим отпущением ⟨крестьян⟩ на волю уже сделал себе репутацию либерала. Партия стариков, недовольных, прямо, как к сыну своего отца, обращалась к нему за сочувствием, осуждая преобразования. Женское общество, *свет* радушно принимали его, потому что он был жених, богатый и знатный, и почти новое [уже замечательное] лицо с ореолом романической истории о его мнимой смерти и трагической кончине жены. Кроме того, общий голос о нем всех, которые знали его прежде, был тот, что он много переменился к лучшему за эти 5 лет, смягчился и возмужал, что не было в нем прежней гордости и насмешливости и было то спокойствие, которое приобретается годами. [О нем заговорили] О нем говорили, им интересовались, и все желали его видеть.

⟨IX⟩

На другой день после посещения графа Аракчеева князь Андрей был вечером у графа Кочубея. Он рассказал графу свое свидание с *Силой Андреичем*, как и Кочубей называл его с той же неопределенной над чем-то насмешкой, которую заметил князь Андрей в приемной военного министра.

— Mon cher,— сказал Кочубей,— даже и в этом деле вы не минуете Михаила Михайловича.— C'est le grand faiseur[1]. Я скажу ему. Он обещался приехать вечером...

— Какое же дело Сперанскому до военных уставов? — спросил князь Андрей.

Кочубей, улыбнувшись, покачал головой, как бы удивляясь наивности Болконского.

— Мы с ним говорили про вас на днях,— продолжал Кочубей,— о ваших вольных хлебопашцах...

— Да, это вы, князь, отпустили своих мужиков,— сказал екатерининский старик, презрительно оглянувшись на Болконского.

— Маленькое именье ничего не приносило дохода,— отвечал Болконский.

— Vous craignez d'être en retard[2],— сказал старик, обращаясь к Кочубею. Я одного не понимаю,— продолжал старик,— кто будет землю пахать, коли им волю дать. Легко законы писать, а управлять трудно.

— Всё равно как теперь, я вас спрашиваю, граф, кто будет начальником палат, когда всем экзамены держать?

— Те, кто выдержит экзамены,— отвечал Кочубей, закидывая ногу на ногу и оглядываясь.

— Вот у меня служит Пряничников, славный человек, золото, а ему 60 лет, разве он пойдет на экзамены...

— Да, [положение] это затруднительно, понеже образование весьма мало распространено, но...— граф Кочубей не договорил, он поднялся и, взяв за руку князя Андрея, пошел навстречу входящему высокому, лысому, белокурому человеку, лет сорока, в синем фраке с крестом на шее и звездой, с большим открытым лбом и необычайной, странной белизной продолговатого лица. Это был Сперанский. Князь Андрей тотчас узнал его по [особенности] ни на кого не похожей, совершенно особенного типа фигуре. Ни у кого из того общества, в котором жил князь Андрей, он не видал [этакого] этого спокойствия и самоуверенности неловких и тупых движений, такого твердого и вместе мягкого взгляда полузакрытых и несколько влажных глаз, такой твердости ничего не значущей

---

[1] Мой милый, это великий делец.
[2] Боитесь опоздать.

улыбки, такого тонкого, ровного, тихого голоса и, главное, этой нежной белизны лица и особенно рук, несколько широких, но необыкновенно пухлых, нежных и белых. Такую белизну и нежность лица князь Андрей видал только у солдат, долго пробывших в гошпитале.

Сперанский [никогда не смотрел] не перебегал глазами с одного лица на другое, как это невольно делается при входе в большое общество, и не торопился говорить. Он говорил тихо, с уверенностью, что будут слушать его, и смотрел только на то лицо, с которым говорил.

Князь Андрей особенно внимательно следил за каждым словом и движением Сперанского. Как это часто бывает с людьми, особенно с теми, которые строго судят своих ближних, князь Андрей, встречаясь с новым лицом, особенно таким, как Сперанский, как он знал его по репутации, он ждал найти в нем полное совершенство человеческих достоинств.

Сперанский сказал Кочубею, что жалеет о том, что не мог приехать раньше, потому что его задержали во дворце. Он не сказал, что его задержал государь. И эту аффектацию заметил князь Андрей. Когда Кочубей назвал ему князя Андрея, Сперанский медленно перевел свои глаза на Болконского с той же улыбкой и молча стал смотреть на него.

— Я очень рад с вами познакомиться, я столько слышал о вас, как и все,— сказал он.

Кочубей сказал о проекте Болконского и о приеме Аракчеева. Сперанский больше улыбнулся.

— Директором комиссии мой хороший приятель Магницкий,— сказал Сперанский,— и ежели вы захотите, я вас сведу с ним и уверен, что вы найдете в нем полное сочувствие всему [благородному] разумному.

Около Сперанского скоро составился кружок, и тот старик, который говорил о своем чиновнике, Пряничникове, с тем же вопросом обратился к Сперанскому.

Князь Андрей невольно наблюдал все движения этого человека. Его поражало необычайное презрительное спокойствие, с которым Сперанский выдерживал нападки, он изредка улыбался, говоря [учтивости старику и спокойно объясняя], что он не может судить о выгоде или невыгоде того, что угодно было государю. Поговорив несколько времени, Сперанский встал и подошел к князю Андрею. [— Я не успел] Видно было, что он считал нужным заняться Болконским.

— Я не успел поговорить с вами, князь, среди этого одушевленного разговора,— сказал он, презрительно улыбаясь и этой улыбкой признавая как бы то, что они вместе понимают ничтожность этих разговоров. Невольно это обращение польстило князю Андрею.— Я вас знаю давно, князь, во-первых, по делу вашему о ваших крестьянах, это наш первый пример, которому так желательно бы было больше последователей, а во-вторых, потому, что вы одни — из тех камергеров, которые не сочли себя обиженными новым указом.

— Да,— сказал князь Андрей.— Отец не хотел, чтобы я пользовался этим правом; я начал службу с нижних чинов.

— А между тем так осуждается эта мера.

— Я думаю, однако, что есть основание и в этих осуждениях.

— Основание для личного честолюбия...

— Отчасти и для государства.

— Как вы разумеете?..

— Я почитатель Montesquieu,— сказал князь Андрей.— И его мысль, что le principe des monarchies est l'honneur, me paraît incont estable. Et certains droits et privilèges de noblesse me paraissent être des moyens de soutenir ce sentiment de l'honneur [Et l'honneur] [3]

---

[3] основание монархии есть честь, мне кажется несомненною. Некоторые права и преимущества дворянства мне представляются средствами для поддержания этого чувства чести. И честь

Улыбка исчезла на белом лице Сперанского, и лицо его много выиграло от этого. Вероятно, мысль князя Андрея показалась ему занимательна.

— Si vous envisagez la chose sous ce rapport...[4],— начал он с дурным выговором и еще медленнее, чем по-русски, но совершенно спокойно. Он говорил, что честь не может поддерживаться преимуществами, вредными для хода службы, что честь есть или: отрицательное понятие неделания предосудительных поступков, или известный источник соревнования для получения одобрения и наград, выражающих его. Доводы его были сжаты, просты и ясны. Институт, поддерживающий эту честь, есть институт, подобный Legion d'honneur[5] Наполеона, не вредящий, а содействующий успеху службы, а не сословное или придворное преимущество.

— [Но тори достигали той же цели] [Оно, однако, достигает той же цели, хотя, без сомнения, вредит успеху службы] Оно, однако, достигает той же цели,— сказал князь Андрей.

— [И которым вы] Но вы не хотели воспользоваться, князь,— сказал Сперанский, опять с своей улыбкой.— Ежели вы мне сделаете честь пожаловать ко мне в середу,— сказал Сперанский,— то я, переговорив с Магницким, сообщу вам [всё, что он] то, что может вас интересовать, и, кроме того, буду иметь удовольствие подробнее побеседовать с вами.— Он закрыл глаза, поклонился и à la française[6], не прощаясь, стараясь быть незамеченным, вышел из залы.

Первое время своего пребывания в Петербурге князь Андрей [находился] почувствовал весь свой склад мыслей совершенно измененным. Может быть, склад его мыслей, его взгляд на жизнь, которые выработались в нем во время его уединенной жизни и не был изменен, но он был заглушен, затемнен теми мелкими заботами, которые охватили его в Петербурге. С вечера, возвращаясь домой, он в памятной книжке записывал 4 или 5 необходимых визитов или rendez-vous[7] в назначенные часы. Механизм жизни, распоряжение дня такое, чтобы везде поспеть вовремя, отнимали большую долю [де] самой энергии жизни. Справедливо было, что он это первое время ничего не делал, ни о чем даже не думал и не успевал думать, а только говорил, и с успехом говорил то, что он успел прежде обдумать в деревне, хотя через несколько дней он заметил с неудовольствием, что ему случалось в один и тот же день, в разных обществах, повторять одно и то же. Но он был так занят целые дни, что не успевал подумать о том, что он ничего не делал [одни]. Из прежних интересов жизни только одни смутные мысли о распустившемся дубе, о своем лице и о женщине приходили ему в Петербурге точно так же часто в голову.

Сперанский, как в первое свидание с ним у Кочубея, так и потом в середу дома, где Сперанский en tête-à-tête[8] принял Болконского и долго доверчиво говорил с ним, Сперанский понравился князю Андрею так, как нравятся новые люди только очень гордым людям. Князь Андрей такое огромное количество людей считал презренными и ничтожными существами, так ему хотелось найти в другом живой идеал того совершенства, к которому он стремился, что в Сперанском он думал, что нашел этот успокоивающий идеал того человека, который способен был вполне понять его и которого он готов был уважать, любить всей той силой любви и уважения, в которой он отказывал остальным людям. Ежели бы Сперанский был из того же общества, из которого был князь Андрей, того же воспитания и нравственных привычек, то Болконский скоро бы нашел его слабые [стороны], человеческие, не геройские сто-

[4] Ежели вы смотрите на дело в этом отношении...
[5] Почетному легиону
[6] на французский манер
[7] встреча
[8] один на один

роны, но теперь этот странный для него, чуждый склад ума тем более внушал ему уважения. Кроме того, Сперанский, потому ли, что он оценил способности князя Андрея, или потому, что нашел нужным приобресть его себе, Сперанский кокетничал перед князем Андреем своим беспристрастным, спокойным разумом, который он выставлял единственным мотивом своих поступков, и льстил князю Андрею той тонкой лестью, соединенной с самонадеянностью, которая состоит в молчаливом признании своего собеседника единственным человеком, способным понимать всю глупость *всех* остальных и всё значение своих мыслей.

Во время длинного их разговора в середу вечером Сперанский не раз говорил: «У *нас* смотрят на всё, что выходит из общего уровня закоренелой привычки...», или с улыбкой: «Но *мы* хотим, чтобы и волки были сыты и овцы целы...», или: «*Они* этого не могут понять...»,— и всё с таким выражением, которое говорило: «Мы, вы да я, мы понимаем [это], что они и кто мы». Этот первый длинный разговор с Сперанским только усилил в князе Андрее то чувство уважения и даже восхищения, с которым он в первый раз увидал Сперанского. Он видел в нем добродетельного, разумного, строго мыслящего, огромного ума человека, энергией и упрямством достигшего власти и употребляющего ее только для блага России. Сперанский в глазах князя Андрея был именно тот человек [во всей], каким он сам желал быть, человек, разумно объясняющий все явления жизни, признающий действительным только то, что разумно, и ко всему умеющий прилагать мерило разумности. Всё представлялось так просто, ясно и, главное, разумно в изложении Сперанского, что князь Андрей невольно соглашался с ним во всем. Ежели он возражал и спорил, то только потому, что хотел нарочно быть самостоятельным [Когда он] и что вид руки Сперанского, берущей табакерку или платок, раздражали его. Всё было так, всё было хорошо, но одно, что смущало князя Андрея, это была пухлая, белая, нежная рука Сперанского, на которую невольно смотрел князь Андрей, как смотрят обыкновенно на руки людей, имеющих власть, и рука эта почему-то раздражала князя Андрея. [Другая черта, поражавшая неприятно князя Андрея, было слишком большое презрение к людям, которое он замечал в Сперанском и в доказательствах, которые он употреблял, приводя в подтверждение своего мнения, употребление всех возможных орудий мысли, исключая сравнения; то он становился на почву практического деятеля, то на почву сатирика, то мыслителя, логика, то метафизика и [это последнее] на эту последнюю почву] Неприятно поражало князя Андрея еще слишком большое презрение к людям, которое [было даже 〈слишком?〉] он замечал в Сперанском и разнообразность приемов в доказательствах, которые он [употреблял] приводил в подтверждение своего мнения. Он употреблял все возможные орудия мысли, исключая сравнения, и слишком смело, как казалось князю Андрею, переходил от одного к другому. То он становился на почву практического деятеля и осуждал мечтателей, то на почву сатирика, иронически подсмеивался над противником, то становился строго логичным, то вдруг поднимался в область метафизики. (Это последнее орудие доказательств он употреблял, как только князь Андрей выказывал несогласие с его мнением). Он [входил в] переносил вопрос [в метафизическую] на метафизические высоты, переходил к 〈определениям?〉 пространства, времени, мысли и, [выходил] [там опровержения] вынося оттуда опровержения, опять спускался на почву спора. Вообще главная черта ума Сперанского, поразившая князя Андрея, была общая всем parvenu[9] покорность уму и несомненная вера в него. Видно было, что никогда Сперанскому не могла прийти в голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя выразить всего и что не вздор ли всё то, что я говорю и во что верю. Это были смутно

[9] выскочкам

подмеченные черты или скорее впечатления, испытываемые князем Андреем во время разговора, но [общий], выходя от него, князь Андрей испытывал к Сперанскому то странное чувство восхищения, похожее на то, которое он когда-то испытывал к Бонапарту. То обстоятельство, что Сперанский был сын священника, которого можно было глупым людям, как это и делали многие, презирать только как кутейника и поповича, заставляло князя Андрея особенно бережно обходиться с своим чувством к Сперанскому и бессознательно усиливать его в самом себе.

Разговор их начался с крестьян князя Андрея, которых он перевел в свободные хлебопашцы. Сперанский с доверием, особенно польстившим князю Андрею, передал ему мысли государя об этом предмете [освобождения] уничтожения рабства. С этого предмета разговор естественно перешел на необходимость единовременности преобразований и т. д., и т. д.

О проекте нового военного устава Сперанский сказал только, что Магницкий обещал рассмотреть устав с помощью Болконского, но еще не успел этого сделать.

[Потом] В конце разговора Сперанский предложил князю Болконскому вопрос, отчего он не служит, и предлагал ему место в комиссии составления законов. По этому случаю Сперанский с иронией рассказал о том, что комиссия законов существует 150 лет, стоит миллионы и ничего не сделала, что Розенкампф наклеил ярлычки на все статьи сравнительного законодательства. И вот и всё. [А мы] Мы хотим дать новую судебную власть Сенату, а у нас нет законов. Поэтому-то таким людям, как вы, князь, грех не служить теперь.

Князь Андрей сказал, что для этого нужно юридическое образование, которого он не имеет.

— Да его никто не имеет, так что же вы хотите. Это circulus viciosus[10], из которого надо выйти усилием.

Через неделю князь Андрей был членом комиссии составления и воинского устава, и, чего он никак не ожидал, [членом] начальником отделения комиссии составления законов. И по просьбе Сперанского взял первую часть составляемого гражданского уложения и, с помощью Code Napoléon[11] и Justiniani[12], работал над составлением отдела прав лиц.

Так жил Андрей [около месяца] до нового 1810 года[13], того самого, в 1-й день которого должна была быть введена в действие вся новая конституция и быть первое заседание Государственного совета. Часть своей сделанной работы, занимавшей всё его время, он передал Сперанскому. Но через несколько дней узнал, что его работа передана была опять Розенкампфу для переделки. Князя Андрея оскорбило то, что Сперанский ничего не сказал ему об этом и передал для переделки его работу тому самому лицу, к которому сам Сперанский выражал не раз полное презрение. Обстоятельство это оскорбило князя Андрея, но нисколько не поколебало того высокого мнения любви и уважения, которые он имел к Сперанскому. С упорством человека, многое презирающего, князь Андрей крепко держался за свое чувство [уважение] к Сперанскому. Он раз 6 за это время был у Сперанского, [говорил] всегда видел его одного и всякий раз много говорил с ним и подтверждался в высоком, совершенно особенном и необыкновенном уме Сперанского. Магницкий, с которым он имел дело по комиссии военного устава, напротив, не нравился ему. Он узнавал в нем тот [распространенный] неприятный тип французского esprit[14] с [русским] отсутствием французско-

---

[10] закалдованный круг (*лат.*)
[11] Кодекса Наполеона
[12] Кодекса Юстиниана
[13] На полях: *Князь Андрей ездит в свет. Легитимисты и Hélène.*
[14] ума

— 278 —

предвидѣлось посѣщеніе непродолжительное и не важное, позволяли спрятаться подъ чехолъ большаго глобуса. Потомъ все утро было занято у батюшки дѣлами или дѣловыми выѣздами. Въ 3 часа онъ постоянно прогуливался, большею частію одинъ, но иногда и со мною, или съ Цейеромъ. Въ 4 часа мы обѣдали, не рѣдко съ гостями, которыми, кромѣ того же Цейера, жившаго у насъ, обыкновенно были Столыпинъ, Магницкій (*) и Жерве (**). Лишь очень изрѣдка приглашался еще кто нибудь посторонній. Столыпинъ, съ своимъ громкимъ хохотомъ, былъ особенно забавенъ, когда, разгорячась въ разговорѣ, начиналъ заикаться. У него зачастую бывали противъ разныхъ лицъ что называется *пики*, и онѣ выражались уморительными вспышками, которыя Магницкій, съ своимъ тонкимъ и колкимъ умомъ, тотчасъ обдѣлывалъ, завострялъ и разцвѣчалъ по своему. Магницкій вообще

(*) Магницкій въ 1798-мъ году былъ отправленъ къ нашей миссіи въ Вѣну, въ 1801-мъ переведенъ къ Парижской и въ слѣдующемъ году, по возвращеніи въ Петербургъ, опредѣленъ въ канцелярію государственнаго канцлера, но оставался въ ней только до тѣхъ поръ, пока Сперанскій, въ мартѣ 1803-го года, перевелъ его начальникомъ отдѣленія къ себѣ въ экспедицію государственнаго благоустройства. Съ этихъ поръ Магницкій сдѣлался ревностнымъ сподвижникомъ всѣхъ его проектовъ и работъ. 1 января 1810-го, по преобразованіи государственнаго совѣта и назначеніи Сперанскаго государственнымъ секретаремъ, онъ былъ перемѣщенъ статсъ-секретаремъ въ департаментъ законовъ и оставался неотлучно при виновникѣ своей карьеры до постигшаго ихъ вмѣстѣ несчастія.

(**) Жерве служилъ въ это время въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ. До пріѣзда въ Петербургъ дочери Сперанскаго, постояннымъ участникомъ этихъ пріятельскихъ обѣдовъ бывалъ еще и Лубяновскій, послѣ перехавшій въ Тверь къ новой своей должности. «Въ теченіи семи лѣтъ — пишетъ онъ въ своихъ запискахъ — рѣдкій день проходилъ, чтобы мы не видѣлись и не говорили о всемъ—о земномъ и небесномъ».

— 279 —

былъ у насъ настоящимъ Протеемъ: одно живое слово, одно блестящее замѣчаніе смѣнялось у него другимъ; за эпиграммою слѣдовалъ фарсъ; тамъ опять какое нибудь передразниваніе, какая нибудь острая выходка, напоминавшая лучшія Парижскія гостиныя, какая нибудь арлекинада, отъ которой всѣ помирали со смѣху: и все это, съ разностороннимъ его талантомъ, было приправлено то стихотворною импровизаціею, то прочитаннымъ гдѣ нибудь или тутъ же вымышленнымъ разсказомъ. Жерве, напротивъ, отличался сухою, холодною шутливостію, чѣмъ-то въ родѣ Англійскаго *юмора*, котораго проблески вырывались у него какъ бы невольно и тѣмъ еще болѣе всѣхъ смѣшили. Батюшка, нисколько не врагъ веселости, хохоталъ отъ души и собственными шутками поддерживалъ общее веселое расположеніе, которому и бабушка (г-жа Стиверсъ) способствовала своимъ ѣдкимъ и саркастическимъ остроуміемъ. Что касается Цейера, то онъ былъ болѣе моимъ собесѣдникомъ; его простосердечіе уничтожало разность лѣтъ между нами; онъ сдѣлался моимъ неотлучнымъ другомъ и въ наблюденіяхъ своихъ надо всѣмъ, что вокругъ насъ дѣлалось и говорилось, соперничалъ со мною въ наивности. Матеріальная часть обѣда была всегда чрезвычайно проста: супъ, два или три другихъ блюда, въ томъ числѣ непремѣнно вареная рыба съ картофелемъ и говядина; хорошій медокъ и бутылка шато-марго, изъ которой хозяинъ самъ каждому наливалъ (*); наконецъ рюмка десертнаго вина и кофе, который тутъ же варился Цейеромъ, посереди тысячи

(*) Одинъ человѣкъ, изрѣдка также обѣдывавшій у Сперанскаго въ бытность его государственнымъ секретаремъ, разсказываетъ, что послѣ стола дочь его всегда сама убирала остававшіяся недопитыми бутылки, которыя отецъ сперва тщательно закупоривалъ, приговаривая: «нынче хорошее вино въ сапожкахъ ходитъ».

М. А. КОРФ. ЖИЗНЬ ГРАФА СПЕРАНСКОГО, Т. I, СПб., 1861
Тексты из книги использовались Толстым в романе

го добродушного легкомыслия, которое производило на него всегда неприятное впечатление. Магницкий говорил прекрасно, говорил часто очень умно, помнил страшно много, но на тот тайный вопрос, который мы всегда делаем себе, слушая умные речи: зачем человек говорит это,— в речах Магницкого не было ответа. Однажды перед новым годом Сперанский пригласил князя Андрея обедать en petit comité [15].

В паркетной [гостиной] столовой домика у Таврического сада, отличавшегося чистотой (напоминающей монашескую чистоту), князь Андрей нашел в 5 часов уже собравшееся всё общество этого petit comité. [Тут был] Дам не было, кроме маленькой дочери с длинным лицом, неприятно похожей на отца, и гувернантки. Тут был Жерве, Магницкий и Столыпин. Еще из передней князь Андрей услыхал громкие голоса и громкий звонкий отчетливый и невеселый хохот. Хохот, похожий на тот, каким смеются на театре. Отчетливо отбивал — ха-ха-ха — голос Жерве и самого Сперанского. Магницкий быстро говорил. Магницкий рассказывал анекдоты про глупость одного из сановников, с которым он имел дело, и рассказывал очень остроумно, но смех, который слышался вокруг, показался князю Андрею не смешным. Сперанский подал князю Андрею свою белую, нежную руку, пережевывая кусок и продолжая смеяться. Сели за стол, разговор ни на мгновенье не умолкал. Не умолкал и смех, который своей фальшивой нотой резал какую-то чуткую струну в душе князя Андрея. Толстый огромный Столыпин, заикаясь, [рассказал, как] [заговорил] говорил о своей ненависти к известному человеку, и в голосе Столыпина была искренность, но тот же смех вторил ему. Сперанский же был здесь как всегда сдержан. Видно было,

[15] в дружеском кружке

что тут он после трудов хотел отдохнуть и повеселиться в приятельском кружку. Что он слыхал, что веселятся веселыми разговорами за обедом, и хотел то же делать; но это было неловко. Тонкий звук его голоса неприятно поражал князя Андрея. Темы разговоров — большей частью насмешки над людьми, давно осмеянными, и, главное, смех был тяжелый. Князь Андрей не смеялся [и был тяжел] и боялся, что он будет тяжел для этого общества. Но никто не замечал его [невступления] несоответственность к общему настроению.

После обеда дочь с гувернанткой встали, и Сперанский, приласкав дочь своей белой рукой, поцеловал ее. И это было фальшиво, как показалось князю Андрею.

Мужчины по-английски остались за столом и за вином, портвейном. О сериозном ни о чем не говорилось, и было шутливо запрещено затрогивать такие вопросы. Надо было шутить и все шутили. [Князю Андрею представлялось, что] Князь Андрей несколько раз, желая выйти из неловкого положения, вступал в их разговор, но всякий раз его слово выбрасывалось вон, как пробка из воды, и он не мог шутить с ними вместе. Ему представлялось, точно они глухие, взявшие квартетные инструменты и научившиеся играть на них только по виду, играют на них. Ничего не было дурного или неуместного в том, что они говорили, напротив, всё было умно и могло бы быть смешно, но чего-то того самого, что составляет соль веселья, не только не было, но они и не знали, что оно бывает.

Магницкий сказал стихи, сочиненные им на князя Василия. Жерве тотчас же импровизировал ответ, и они вдвоем представили сцену князя Василия с женою. Князь Андрей хотел уехать, но Сперанский удержал его. Магницкий нарядился в женское платье и продекламировал монолог Федры. Все смеялись. Князь Андрей рано раскланялся с гостями и вышел.

Враги Сперанского — старая партия бранила Сперанского — говорили, что он вор, взяточник, говорили, что он безумный иллюминат или легкомысленный мальчишка. И говорили это не с тем, чтобы оскорбить или очернить Сперанского, но потому, что были в этом искренно убеждены. В кругу Сперанского, как теперь слышал князь Андрей, говорили, что люди старой партии — воры, бесчестные, глупые, и смеялись над ними. И тоже не потому, что хотели очернить их, но искренно так думали. Это оскорбило князя Андрея. Зачем было осуждать, зачем личности, мелкая злоба у Сперанского, делающего такое великое дело. И потом этот аккуратный, невеселый смех, который не переставал звучать в ушах князя Андрея. Князь Андрей разочаровался в Сперанском, но еще более, ежели это было возможно, увлекся своим делом, участием в общем преобразовании. Окончив свою работу по гражданскому своду, он писал теперь проект освобождения крестьян и с волнением ждал [устройства] открытия нового Государственного совета, в котором должны были быть положены первые основания конституции. У князя Андрея было уже свое прошедшее в этом деле, связывавшее его, были свои связи и свои ненависти, и он, ни на мгновение не сомневаясь в [успехе] важности дела, отдавался ему всей душою [16].

⟨X⟩

[С того времени как Андрей последний раз видел [своего] его] В эти два года Pierre, за редкими поездками в Москву, безвыездно жил в Петербурге [в своем большом доме], три месяца тому назад опять в своем большом доме и опять соединившись с своей женой. [⟨Почти?⟩] [⟨Много?⟩ Как это случилось] Было много причин, которые привели Pierr'a

---

[16] К тексту: *Князь Андрей рано ∾ всей душою.*— см. Варианты, № 9.

к этому соединению, но одна из главных и почти единственная была та, что Hélène, ее родные и друзья считали для себя делом большой важности соединение супругов, а Pierre ничто в жизни не считал делом большой важности и не считал таким свою свободу и свое упорство в наказании жены. Аргумент, который победил его, хотя никто и он сам не приводил его себе, был тот, что «ça me coûte si peu et ça leur fera tant de plaisir» [1].

Для графини Елены Васильевны, для ее положения в обществе, было необходимо жить домом с мужем и именно с таким мужем, как Pierre, и потому с ее стороны и [со стороны ее родных и друзей] со стороны князя Василья были употреблены с свойственной глупым людям ⟨настойчивостью?⟩ все возможные хитрые и упорные средства для убеждения Pierr'a. Главным средством было действие через Великого мастера ложи, который имел большое влияние на Pierra. Pierre же, как человек, ничему житейскому не приписывающий важности, скоро согласился, особенно потому, что после двух лет болезненная рана, нанесенная его гордости, уже зажила и загрубела. Великий мастер ложи, которого масоны звали не иначе, как Благодетелем, жил в Москве. [Он искренно] Масоны во всех затруднительных случаях жизни обращались к нему, и он, как духовник, давал советы, принимающиеся, как приказания. В настоящем случае он сказал Pierry, нарочно для свидания с ним приехавшему в Москву: 1) что, женившись, он взял на себя обязанность руководить женщиной и потому не имеет права предоставить ее себе, 2) что преступление жены его не доказано, что ежели бы оно было доказано, то и то он не имеет права отвергнуть ее, 3) что [он должен] человеку нехорошо единому быть, и так как ему нужна жена, то он не может брать другой, кроме той, какая есть. Pierre согласился. Hélène приехала из-за границы, где она жила всё это время, и у князя Василья произошло примирение. Он поцеловал руку своей улыбающейся жены и через месяц поселился с ней в большом петербургском доме.

Два года изменили Hélène. Она была еще красивее и спокойнее. До свидания с нею Pierre думал, что он в состоянии будет искренно соединиться с нею, но, когда он увидал ее, он понял, что это было невозможно. Он отклонился от ее объяснений, галантно поцеловал ее руку и устроил в общезанимаемом ими доме свою отдельную половину в низеньких комнатках 3-го этажа. Иногда [он сходил], особенно когда бывали гости, он сходил обедать и часто присутствовал на вечерах и балах жены, на которые [собиралось высшее] [собиралось всё интересное] [собиралось всё замечательное и умное] собиралась вся весьма замечательная часть самого высшего петербургского общества. Как и всегда, и тогда высшее общество, несмотря на то, что всё соединялось вместе при дворе и на больших балах, подразделялось на несколько кружков, имеющих каждый свой оттенок. Был, хотя и небольшой, но ясно определенный кружок недовольных союзом с Наполеоном, кружок легитимистов, Joseph Maistr'a и Марьи Федоровны (к кружку этому, само собой, принадлежала Анна Павловна). [Потом был] Был кружок М. А. Нарышкиной, кружок, которого характером было светское изящество без всякого политического оттенка. Был кружок деловых людей, более мужской, либералов: Сперанского, Кочубея, князя Андрея, был кружок польской аристократии, А. Чарторижского и других, и был кружок французской, наполеоновского союза,— графа Румянцева, Caulaincourt'a, и в этом кружке [одно из самых видных мест] один из самых видных центров заняла Hélène. У нее бывали господа французского посольства, и сам Caulaincourt, и большое количество людей, известных своим умом и любезностью, принадлежащих к этому направлению.

---

[1] мне это ничего не стоит, а им доставит большое удовольствие

Hélène была в Эрфурте во время знаменитого свидания императоров и оттуда привезла эти связи со всеми наполеоновскими достопримечательностями Европы. В Эрфурте она имела блестящий успех. Сам Наполеон, заметив ее в театре, сказал про нее «c'est un superbe animal»[2]. Она была элегантна и хороша больше, чем прежде, и это не удивляло Pierr'a, но удивляло его то, что за эти два года жена его успела приобрести себе репутацию d'une femme charmante aussi spirituelle, que belle[3]. Секретари посольства и даже посланник доверяли ей дипломатические тайны, она была сила в некотором смысле. Известный Duc de Lignes писал ей письма на 8 страницах. Билибин приберегал свои mots[4], чтобы в первый раз сказать их перед графиней Безуховой. Быть принятым в салоне графини Безуховой считалось дипломом ума, и молодые люди прочитывали книги перед вечером Hélène, чтобы было о чем говорить в ее салоне. Pierre, который знал, что она была очень глупа, с странным чувством недоумения и страха, что вот-вот откроется обман, присутствовал на ее вечерах, где говорилось о политике, поэзии и философии. На этих вечерах он испытывал чувство, подобное тому, которое должен испытывать фокусник, ожидая всякий раз, что обман его будет открыт. Но оттого ли, что для производства такого салона [не нужно ничего, кроме глупости] именно нужна только глупость, или потому, что сами обманываемые находили удовольствие в своем обмане, обман не открывался, и репутация d'une femme charmante et spirituelle[5] непоколебимо утвердилась за Аленой Васильевной.

Pierre был именно тем самым мужем, который нужен был для этой блестящей светской женщины. Он был тот рассеянный чудак, муж [никому] grand seigneur[6] по приемам, никому не мешающий и не только не портящий общего впечатления, но своей противуположностью изяществу и такту жены служащий выгодным для нее фоном. [За эти два года Pierre особенно] Pierre, возмужавший, как и всегда люди мужают после женитьбы, за эти два года, вследствие своего постоянного сосредоточенного занятия высшими масонскими интересами, еще более возмужал и невольно приобрел тот тон равнодушия и небрежности в неинтересовавшем его обществе, который [дает] [не ⟨интересует?⟩] [дает] [не ⟨приобретает?⟩ характер барина] не приобретается искусственно и внушает невольное уважение. Он входил в гостиную своей жены, как в буфет. Со всеми был знаком [но ни с кем] и старался как можно менее скучно провести то время, которое он проводил дома. Иногда он вступал в разговор, заинтересовавший его, и тогда, без соображений о том, были ли тут, или нет les messieurs de l'ambassade[7], шамкая, говорил свои мнения, иногда очень бестактно. Но мнение о чудаке муже [красавицы] de la femme la plus distinguée de Petersburg[8] уже [было] так установилось, что никто не принимал au sérieux[9] его выходок. Он так больно страдал два года тому назад, узнав о оскорблении, нанесенном ему женой, что теперь он спасал себя от возможности подобного оскорбления, во-первых, тем, что он не был ее мужем, во-вторых, тем, что он бессознательно отвертывался от всего того, что могло ему дать мысль о подобном оскорблении, и был твердо уверен, что жена его [есть] сделалась bas bleu[10] и потому не может увлекаться еще другим.

Борис Друбецкой, [бывший] уже весьма успевший на службе и бывший в Эрфурте, после возвращения оттуда двора был домашним чело-

---

[2] это прекрасное животное
[3] прелестной женщины, столь же умной, сколь и прекрасной
[4] остроты
[5] женщины прелестной и умной
[6] важный господин
[7] господа из посольства
[8] самой замечательной женщины Петербурга
[9] серьезно
[10] синим чулком

веком в доме Безуховых. Hélène называла его mon page[11] и [считала] обращалась с ним, как с ребенком. Улыбка ее в отношении его была та же, как и ко всем, но иногда она, не улыбаясь, смотрела на него. Иногда в редкие минуты Pierr'у приходила мысль, что [не была] эта покровительственная дружба к мнимому ребенку, которому было 23 года, имела что-то неестественное, но потом он упрекал себя в этом недоверии. И притом так естественно и 〈смело?〉 Hélène обращалась с своим пажем. [Борис тоже] Самое обращение Бориса в первую минуту неприятно поразило Pierr'a. Борис, со времени своего приезда в Петербург и интимности в его доме, обращался с особенной достойной и грустной почтительностью с Pierr'ом. «Этот оттенок почтительности относится, вероятно, к моему новому положению»,— подумал Pierre [не обращал] и старался не обращать на него внимания, но странно,— присутствие Бориса в гостиной жены (а оно было почти постоянно) физически действовало на Pierr'a. Оно оковывало все его члены, уничтожило бессознательность и свободу движений. «Такая странная антипатия»,— подумал Pierre и реже стал бывать дома.

[Во все эти два года Pierre постоянно был занят работами масонства. Многое уже было открыто ему, он был принят мастером, но многое еще представлялось ему тайным. Вот что писал он в дневнике за несколько дней перед своим вечерним посещением князя Андрея] [Во все эти два года Pierre постоянно был занят работами масонства. Многое уж было открыто ему, он был принят мастером, но многое еще представлялось ему тайным. Вот что писал он в дневнике за несколько дней перед тем, как он, взволнованный и расстроенный, приехал к князю Андрею] [Во все эти два года Pierre постоянно был занят работами масонства. Многое уж было открыто ему, он был принят мастером, но многое еще представлялось ему тайным. В начале зимы в Петербург приехали Ростовы и, случайно встретившись с ними, Pierre часто стал бывать у них.] В глазах света Pierre был большой барин, муж знаменитой жены, добрый малый, умный чудак, хотя и ничего не делающий, но никому не вредящий. В душе же Pierr'a происходило за всё это время сложная и трудная работа внутреннего развития, открывшая ему многое, приведшая его [к сомнениям и] ко многим духовным радостям и сомнениям.

Осенью этого года он ездил в Москву для свидания с Великим мастером ордена, Иосиф〈ом〉 Алексеевичем Поздеевым, пользовавшимся благоговейным уважением масонов и называвшимся не иначе, как Благодетелем.

Свидание с Благодетелем, во время которого Pierre был убежден соединиться с своей женой, имело большое влияние на Pierr'a и открыло ему многие стороны масонства. С этого посещения Pierre за правило поставил себе регулярно писать свой дневник, и вот что он писал в нем:

«Москва 17 ноября. Сейчас только приехал от Благодетеля и спешу записать всё, что [он сказал мне] я испытал при этом. Зная Иосифа Алексеевича по письмам и речам, читанным у нас, по великому занимаемому им у нас званию и всеобщему благоговению к нему, я ехал, готовясь увидать величественного старца, образца добродетели, и то, что я увидал, было выше того, что я ожидал. Иосиф Алексеевич невысокий, худой, но с чрезвычайно широкой костью старец, с сморщенным, бурым лицом и большими, седыми бровями, из-под которых глядят огненные глаза. Он живет бедно и грязно. Страдает несколько лет мучительною болезнью пузыря, и никто никогда не слыхал от него стона или слова ропота. С утра и до поздней ночи, за исключением часов, когда он кушает самую простую грубую пищу, он работает, составляя послания, акты и работая над наукой самопознания.

---

[11] мой паж

Он принял меня милостиво, изволил сказать, что знает меня, посадил подле себя на кровать, на которой он лежал. По случаю разговора нашего о моих семейных делах он сказал мне: «Главная обязанность истинного масона состоит в совершенствовании самого себя. И часто мы думаем, что, удалив от себя все трудности нашей жизни, мы скорее достигнем этой цели,— напротив, государь мой, сказал он мне, только в среде светских волнений можем мы достигнуть 3-х главных целей: 1) самопознания, ибо человек может познавать себя только через сравнение; 2) совершенствования, так ⟨как⟩ только борьбой достигается оно, и 3) главное — любовь к смерти. Только превратности жизни могут показать нам тщету ее и могут содействовать нашей врожденной любви к смерти или возрождению к новой жизни. Слова эти тем более замечательны, что Иосиф Алексеевич, несмотря на свои тяжкие физические страдания, никогда не тяготится жизнью, а любит смерть, к которой не чувствует себя еще достаточно готовым. Разговор зашел потом о действиях нашей ⊠, и Иосиф Алексеевич не одобрил последние действия. Он сказал, что настоящее направление новейших лож увлекается общественной деятельностью, тогда как главная цель должна быть [есть] достижение мудрости и воздвижение в себе самом храма Соломона. Он объяснил мне вполне значение Великого ⊠ квадрата мироздания и указал на то, что тройственное и седьмое число суть основание всего. [⟨С нынешнего?⟩] Он [показал] советовал мне заняться первее всего своим совершенствованием и с этою целью дал мне тетрадь, ту самую, в которой я пишу и буду вписывать впредь все свои поступки, отступающие от 7 добродетелей.

«Петербург 23 ноября. Я опять живу с женою. Вчера мы переехали в наш дом, я вновь устроился в верхних комнатах и испытал счастливое чувство обновления. Жене я сказал, что старое забыто, что я никогда не помяну о нем, прошу ее делать то же и что мне прощать нечего. Мне радостно было сказать ей это. Пусть она не знает, как тяжело мне было простить ее. По [⟨заведенному?⟩] составленному для себя расписанию встал в 8, читал Св⟨ященное⟩ писание, потом пошел к должности (Pierre служил в одном из комитетов), возвратился к обеду, ел и пил умеренно и после обеда списывал пиесы для братьев. Ввечеру рассказал смешную историю о Б. и только тогда вспомнил, что этого не дóлжно было делать, когда все уже громко смеялись. Ложусь спать с счастливым и спокойным духом. Господи великий, помоги мне ходить по стезям твоим: 1) побеждать часть гневну — тихостью, медлением, 2) похоть — воздержанием и отвращением, 3) удаляться от суеты, но не отучать себя от: a) государственных дел — службы, b) от забот семейных, c) от дружеских отношений и d) экономических [соображений] занятий».

Следующие числа дневника Pierra показывают, что за малыми отступлениями около недели он исполнял свои обеты и испытывал за это время состояние счастия и даже восторга, которое заставляло его думать по ночам и видеть сновидения в том же порядке мыслей, из которых некоторые он записывал. Так 28 ноября было записано следующее:

«Видел сон, будто Иосиф Алексеевич в моем доме сидит, и я рад очень и желаю его угостить. Будто я с посторонними неумолчно болтаю и вдруг вспомнил, что это ему не может нравиться, и желаю к нему приблизиться и его обнять. Но только что приблизился, вижу, что лицо его преобразилось, стало молодым, и он мне тихо-тихо что-то говорит из учения Θ, так тихо, что я не могу расслышать. Потом, потом будто вышли мы все вон из комнаты, и что-то тут ⟨случилось?⟩ мудреное. Мы сидели или лежали на полу. Он мне что-то говорил. А мне будто

захотелось показать ему свою чувствительность, и я, не вслушиваясь в его речи, стал себе воображать состояние своего внутреннего человека и осенившую меня милость божию, и появились у меня слезы на глазах, и я был доволен, что он это приметил. Но он, взглянув на меня с досадой, вскочил, пресекши свой разговор. Я оробел и спросил, не ко мне ли сказанное относилось, но он, ничего не отвечая, показал мне ласковый вид. И после вдруг очутились мы в спальне моей, где стоит двойная кровать. Он лег на нее на край, а я, будто пылая к нему желанием ласкаться, прилег тут же. И он будто у меня спрашивает: скажите по правде, какое вы имеете главное пристрастие? Узнали ли вы его? Я думаю, что вы его узнали? Я, смутившись сим вопросом, отвечал, что лень — мое главное пристрастие. Он недоверчиво покачал головою. И я, еще более смутившись, отвечал, что я, хотя и живу с женою по его совету, но не как муж жены своей. На это он возразил, что не должно жену лишать своей ласки, давая чувствовать, что в этом была моя обязанность. Но я отвечал, что я стыжусь этого, и вдруг всё сокрылось. И я проснулся и нашел в мыслях своих текст священного писания: *Живот бе свет человеком, и свет во тьме светит, и тьма его не объять*. Лицо у Иосифа Алексеевича было моложавое и светлое. В этот день получил письмо от Благодетеля, в котором он пишет о обязанности супружества.

Другой сон. Вижу я, что иду в темноте и вдруг окружен собаками (которые кусают меня за ноги), но иду без страха, вдруг одна небольшая схватила меня за левое стегно зубами и не выпускает. Я стал давить ее руками. И только что я оторвал ее, как другая, еще большая, схватила меня за грудь, я оторвал эту, но 3-я, еще большая, стала грызть меня. Я стал поднимать ее, и чем больше поднимал, тем она — больше и тежеле. И вдруг идет брат А. И. и, взяв меня под руку, повел с собою и привел к зданию, для входа в которое надо было пройти по узкой доске. Я ступил на нее, и доска отогнулась и упала, и я стал лезть на забор, до которого едва достигал руками. После большого усилия я перетащил свое тело, так что ноги висели на одной, а туловище на другой стороне. Я оглянулся и увидал, что брат А. И. стоит на заборе и указывает мне на большую аллею и сад, и в саду большое и прекрасное здание. Я проснулся. Господи, Великий Архитектор природы, помоги мне оторвать от себя собак — страстей моих, и последнюю из них, совокупляющую в себе силы всех прежних, и помоги мне вступить в тот храм добродетели, какого я во сне достигнул лицезрения».

«30 Ноября. Встал поздно и, проснувшись, долго лежал на постели, предаваясь лени. „Боже мой! помоги мне и укрепи меня, дабы я мог ходить по путям твоим". Читал Священное писание без надлежащего чувства. Потом пришел брат Урусов, беседовали о суетах мира. Рассказывал о новых предначертаниях государя. Я начал было осуждать, но вспомнил о своих правилах и слова Благодетеля нашего о том, что истинный масон должен быть усердным деятелем в государстве, когда требуется его участие, и спокойным созерцателем того, к чему он не призван. Язык мой — враг мой. Посетили меня братья Г. В. и О., была приуготовительная беседа для принятия нового брата. Они возлагают на меня обязанности ритора. Чувствую себя слабым и недостойным. Потом зашла речь о объяснении семи столбов и ступеней храма. 7 наук, 7 добродетелей, 7 пороков, 7 даров [божиих] Святого духа. Брат О. был очень красноречив. Вечером совершилось принятие. Новое устройство помещения много содействовало великолепию зрелища. Принят был Борис Друбецкой. Я предлагал его, я и был оратором[12]. Странное чувство волновало меня во всё время моего пребывания с ним одним[13]

[12] На полях: *Писал, с ужасом вспоминал, а там жена, и опять с ужасом уходил в масонство, как собака в конуру.*

[13] В автографе: *одного* (прим. составителя).

в темной храмине. [Я считаю этого человека преступным в отношении меня. Иногда] Я застал в себе к нему чувство ненависти, которое я тщетно стремлюсь преодолеть. И потому-то я желал бы истинно спасти его от злого и ввести его на путь истины, но дурные мысли о нем не оставляли меня. Мне думалось, что цель вступления в братство состояла только в желании сблизиться с важными и случайными людьми, которые находятся в нашей ложе. Кроме тех оснований, что он несколько раз спрашивал, не находится ли в нашей ложе NN. и SS. (на что я не мог ему ответить), кроме того, что он, по моим наблюдениям [не вникал], не способен чувствовать уважения к нашему святому ордену и слишком занят и доволен своим внешним человеком [занимаемым положением], чтобы желать улучшения духовного, я не имел оснований сомневаться в нем; но он мне казался неискренним, и всё время, когда я стоял с ним en tête à tête в темной храмине, мне казалось, что он презрительно улыбается на мои слова, и хотелось действительно уколоть его обнаженную грудь шпагой, которую я держал, приставленною к ней. Я не мог быть красноречив и не мог искренно сообщить своего сомнения братьям и Великому Мастеру. „[Боже мой] Великий Архитектор природы, помоги мне находить истинные пути, выводящие из лабиринта лжи".

За обедом был невоздержан [объелся и опился] от одного блюда отказался, но опился. Так что встал из-за стола тяжелый и сонный».

После дневника 18[14] было пропущено 3 дня и под 21 было написано следующее: [Адонаи]

«Имел продолжительный и поучительный разговор наедине [с Благодетелем] с братом И. Многое, хотя и недостойному, мне было открыто. Адонаи есть имя сотворившего мир. Элоим есть имя правящего всем. 3-е имя — имя не изрекаемое, имеющее значение ВСЕГО. Беседы [с Благодетелем] с А. подкрепляют, освежают и утверждают меня на пути [правды] добродетели. При нем нет места сомнению. Мне ясно различие бедного учения наук общественных с нашим святым, всё обнимающим учением. Науки человеческие [убивают] всё подразделяют, чтобы понять, всё убивают, чтобы рассмотреть. [В святом учении ордена всё едино, всё изучается] В святой науке ордена всё едино, всё познается в своей совокупности и жизни. Троица — три начала вещей — сера, меркурий и соль. Сера елейного и огненного свойства; она в соединении с солью огненностью своею возбуждает в ней алкание, посредством которого притягивает меркурий, схватывает его, удерживает и совокупно производит отдельные тела. Меркурий — есть жидкая и летучая духовная сущность — Христос, Дух Святой, [Бог] Он.

Всё так же ленив и чревоугодлив. Вспомнил о [законе] правиле воздержания в конце обеда и было поздно. Смотрел на Марью Михайловну с похотливыми мыслями. Господи, помоги мне».

22 января[15]. Была мастерская товарищеская ложа. И описание страданий отца нашего Адонирама. Я слушал и, как и в 1-й раз, когда познал это, на меня нашло сомнение. Был ли Адонирам, не есть ли это аллегория, имеющая свое значение. Объяснил брату О. свои сомнения. Он сказал мне, что должно терпеливо ждать открытия дальнейших таинств, которые объяснят многое. Нынче вечер провел у графини (у жены). Не могу преодолеть внутреннего отвращения к ней. Увлекся беседой с NN о суетном и ничтожном и злобно трунил над сенаторами. Ужинал неумеренно, так что всю ночь [не спал от похотных грез] спал с дурными грезами.

---

[14] До перестройки этой части текста приведенная запись дневника за 30 ноября была под датой: *18 ноября*,— и Толстой не исправил дату, и в дальнейшем даты дневника Пьера оставались не исправленными.

[15] На полях: *Один из главных чиновников царя Соломона, а именно, его сборщик податей.*

26. Мне было поручено устройство и председательство в столовой ложе. Бог помог мне устроить всё удовлетворительно. Я уговорил князя Андрея быть с нами. Я мало вижу его и не могу [руководить им] следить за ним. Он увлечен мирской борьбой, и я каюсь, что часто завидую ему, хотя участь моя должна бы была казаться мне предпочтительнее. Он заехал ко мне и с гордостью говорил о своем успехе. Он горд и в своем успехе рад столько же водворению добра, сколько и победой над теми, кого он считает своими врагами. Я старался приготовить его к торжественности нынешнего заседания, но он слушает меня с кротостью и вниманием, но я чувствую, что не проникаю в его душу, как Благодетель в мою, когда он говорит со мною. [Собрание] Князь Андрей принадлежит к холодным, но честным масонам. Все масоны подразделяются по моим наблюдениям на 4-е разряда. К 1-му принадлежат те редкие светила, как Благодетель, которые вполне усвоили себе святые истины Ѳ, которых длинный пройденный путь утверждает в [твердости] предприятии пройти остальной путь, для которых тайн меньше, чем знания, которые жизнь свою слили с святым учением Ѳ и которые служат образцами человечества. Таких мало. К 2-му разряду принадлежим мы, ищущие, колеблющиеся, отступающие [исправляющиеся] и раскаивающиеся, но ищущие истинного света самопознания и воздвижения внутреннего храма. К 3-му принадлежат люди, как и милый друг мой Болконский и О., и Б., и их много. Эти масоны равнодушно смотрят на наши работы, не ожидают от них успеха, хотя и не сомневаются. Это люди, которые отдают нашему Ѳ только малую часть своей души. Они поступают, как князь Андрей, потому что их приглашают и потому что они, хотя и не видят всего света Сиона, не видят ничего, кроме хорошего в масонстве. Это верные, но ленивые братья. К 4-му разряду, наконец, принадлежат те, которые, увы, вступают в святое братство только потому, что на это мода и что в ложе они делают нужные им для светских целей связи с богатыми и знатными людьми. Таких много, и молодой Друбецкой принадлежит к ним.

Ложа прошла благополучно и торжественно. Много ел и пил. После обеда в ответной речи не мог иметь всей нужной ясности, что многие и заметили.[16]

[Видел сон будто] 3 декабря. Проснулся поздно. [Не могу преодолеть свою лень] Читал Священное писание, но был безчувствен. После вышел и ходил по залу. Хотел размышлять, размышлять, но вместо того воображение представило одно происшествие, бывшее 4 года тому назад. [Долохов за обедом клуба сказал мне оскорбительное слово] [Французский виконт, прощаясь] Французский виконт после моей дуэли имел дерзость проститься со мной и сказать, что он желает мне здоровья и душевного спокойствия. Я тогда ничего не отвечал. Теперь я припомнил все подробности этого свидания и в душе своей говорил ему самые злобные слова и колкие ответы. Опомнился только тогда и бросил сию мысль, когда увидал себя в распалении гнева, но недостаточно раскаялся в этом. После пришел Борис и стал рассказывать разные приключения, я же с самого его прихода сделался недоволен его посещением и сказал ему что-то противное. Он возразил. Я вспыхнул и наговорил ему множество неприятного и даже грубого. Он замолчал, а я спохватился только тогда, когда уже было поздно [и ушел со двора, но дорогой скверными словами избранил кучера]. Боже мой, я совсем не умею с ним находиться. Этому причиной мое самолюбие. Я ставлю себя выше его, а потому делаюсь гораздо его хуже, ибо он снисходителен к моим грубостям, а я, напротив того, питаю к нему презрение. Боже мой, даруй мне в присутствии его видеть больше мою мерзость и поступать так, чтобы и ему это было полезно. [Опять объелся, за сто-

---

[16] См. Варианты, № 10.

лом рассказал историю, которая всех смешила, хотя и внутренний голос отклонял от этого. Чувствовал мертвенность, так что и не знал, что].

После обеда заснул, и, в то время как засыпал, услыхал явственно голос, сказавший мне в левое ухо: «твой день». Видел сон, после которого проснулся с просветленной душой и трепещущим сердцем. Видел, будто я в Москве в своем доме в большой диванной и из гостиной входит Иосиф Алексеевич. Будто я тотчас узнал, что с ним уже совершился процесс возрождения, и бросился ему навстречу. Я будто его целую и руки его, а он говорит: «Приметил ли ты, что у меня теперь лицо другое»? Я посмотрел на него, продолжал держать его в своих объятиях и будто вижу, что лицо его молодое, но волос на голове нет, и черты совершенно другие. И будто я ему и говорю: «Я бы вас узнал, ежели бы случайно с вами встретился»,— и думаю вместе с тем: правду ли я сказал? И вдруг вижу, что он лежит, как труп, мертвый, потом понемногу пришел в себя и вошел со мной в большой кабинет, держа большую [бумагу] книгу, писанную его рукой. Он положил книгу и стал читать. И будто я говорю: — Это я написал.— И он ответил мне наклонением головы. И многое я прочел в этой книге. И всё, что я прочел, было определение цели [которую я туда и выписывал] Ѳ. Из этих мыслей, представившихся мне во сне, я и составил следующую речь, которую имею прочесть в ложе.

. . . . . .

26 декабря. [Вместо того, чтобы] Я почти месяц не заглядывал в эту тетрадь и в [свое сердце] свою душу. Я предался вполне суете и всем порокам своим, которые я льстил себя уничтожить. [Нынче вечером] Вчера я постигнул, к какой пучине зла вела меня эта беспечность, ужаснулся и решился опомниться. В Петербург приехали мои давнишние московские знакомые Ростовы. Старый граф весьма добрый человек, встретив меня у N., пригласил к себе, и я две недели каждый день у них бываю, только вчера поняв, для чего я это делал. Меньшая дочь, Наталья, имеет прекрасный голос и обворожительную наружность. Я возил ей ноты, слушал ее пение, смешил ее и говорил с нею даже о [⟨нравственных?⟩] высоких предметах. Эта девушка всё понимает. Но вчера вечером старшая сестра, шутя, сказала, что когда я 5 лет тому назад был у них на именинах в Москве, меньшая дочь Наталья сделалась влюблена в меня. Услыхав эти слова, я так смутился, покраснел и почувствовал даже слезы на глазах, что ничего не нашел сказать, и встал, заметив, однако, что и она также покраснела. Это обстоятельство заставило меня вникнуть в свои чувства [прекратить свои отношения с этой девицей] и ужаснуться того, чему я подвергал себя. В прошедшую ночь я видел сон. Вижу, будто кто-то показывает мне большую книгу в александрийский лист. И в книге этой на всех страницах прекрасно нарисовано. И я будто знаю, что эти картины представляют любовные похождения души с ее возлюбленным. И на страницах будто я вижу прекрасное изображение девицы в прозрачной одежде и с прозрачным телом, возлетающую к облакам. И будто я знаю, что эта девица есть никто другая, как [она, Ростова] меньшая графиня Ростова, и вместе с тем знаю, что это есть изображение Песни песней. И будто я, глядя на эти рисунки, чувствую, что я делаю дурно, и не могу оторваться от них.

«Господи, помоги мне. Боже мой, ежели это оставление меня тобою есть действие твое, то да будет воля твоя, но ежели же я сам причинил сие, то научи меня, что мне делать. Я погибну от своей развратности, буде ты меня вовсе оставишь.

[На другой день после того, как это было написано, князь Андрей застал у себя дожидавшегося его и спавшего Pierr'a]

В последних числах декабря Pierre[17] в торжественном заседании ложи 2-го градуса прочел свою речь [〈необходимости?〉] *о средствах распространения чистой истины и торжества добродетели.* И речь эта произвела не только сильное впечатление, но и волнение в ложе. [Великий Мастер, председательствовавший, два раза пытался остановить Pierr'a, но] Безухов находился в таком волнении при чтении своей речи, с таким чувством и жаром говорил, почти с слезами на глазах, что чувство его сообщилось многим из искренних братьев и испугало многих, которые видели в этой речи опасные замыслы. Давно не было столь бурного заседания. Составились партии. Многие спорили, обвиняли Pierr'a, осуждали его в иллюминатизме, многие поддерживали его. Великий Мастер, председательствующий в ложе, кончил прения тем, чтобы послать речь на обсуждение высших степеней и до тех пор прекратить о ней дело и заняться обычными работами. Pierre никак не думал сам, чтобы он с такой силой был убежден в том, что он говорил, до тех пор, пока он не прочел своей речи и не встретил [против нее] с нею несогласия. Братья с удивлением в первый раз заметили в Безухом страстность и энергию, которой не ожидали в нем. Он забывал условные обряды, перебивал всех, [кричал] раскрасневшись, кричал, находился в состоянии энтузиазма, которое самому ему доставляло огромное наслаждение. Великий Мастер сделал Безухову замечание о его горячности и о том, что не одна любовь к добродетелям, но и увлечение борьбы руководило им в споре, в чем Pierre не мог не сознаться. [Возвращаясь домой, Pierre, однако, не думал о том, что сказал ему Великий Мастер, а продолжал свой ход мыслей о возможности более успешного распространения масонства и противудействия злым правительствам.] Вместо того, чтобы ехать домой, Pierre прямо из ложи поехал к князю Андрею, которого он давно не видал. Pierr'a в первый раз поразило на этом собрании то бесконечное разнообразие умов человеческих, которое делает то, что никакая истина одинаково не представляется двум людям. [Никто] Несмотря на всю силу своего убеждения, Pierre не мог ни одного человека убедить вполне в своих мыслях: каждый понимал по-своему, с ограничениями, изменениями; а между тем главная потребность мысли состоит в том, чтобы передать ее другому точно так, как ее сам понимаешь. Князь Андрей был дома [один] за работой. Он внимательно выслушал рассказ Pierra о заседании ложи, сделал несколько замечаний и, когда Безухов кончил, встал и стал ходить по комнате.

— Всё это прекрасно, мой друг, всё это истина, и я бы был ревностный брат, ежели бы я верил в возможность всего этого,— заговорил он, с блестящими глазами глядя на Pierra,— но ничего этого не будет, чтобы сделать такое преобразование нужна власть и власть в руках правительства! И, чем нам парализировать[18] его, нужно помогать ему, особенно такому правительству, как наше.

— Да, но это случайно,— сказал Pierre,— а силы и действия ордена вечны. Случайно теперь человек как Сперанский.

— Не Сперанский,— сказал князь Андрей,— государь, а главное, время, образованье. [Сперанский] [Разве вы]

— Что вы так презрительно говорите о Сперанском? — спросил Pierre.

— Сперанский. Une illusion de moins mon cher[19],— сказал князь Андрей.— Сперанский это выслужившийся кутейник, немножко, на волосок, умней толпы.

— Mon cher! — с упреком сказал Pierre.— Esprit de caste...[20].

---

[17] На полях: *Pierre с Андреем сошлись в ложе. Андрей последнее время [меньше] занимался больше масонскими делами и написал следующую речь.*

[18] В смысле «ослаблять» — от французского «paralyser» (прим. составителя).

[19] Одним заблуждением меньше, мой милый.

[20] Милый мой! кастовый дух...

— Нет не esprit de caste. А я узнал его. Я никому не говорил и не буду говорить этого. Всё лучше он, чем Аракчеев, но Сперанский не мой герой. Сперанский. Нет, что говорить. Но не Сперанский может что-нибудь сделать, а учреждения, которые вынуждаются временем и делаются людьми, всеми нами. Мы не понимаем того времени, которое мы переживаем теперь. Это одно из величайших событий истории. Государь сам дает права народу и ограничивает свою власть и [все стороны управления получают] дает права народу. Ведь это хорошо не понимать старикам. Но нам как же не чувствовать того, что делается теперь? Это лучше и выше всех военных подвигов. На днях открывают Государственный совет как сословие государства. Министры отдают отчеты публично. Финансовые дела объявляются народу. Нынче, завтра пройдет проект освобождения рабов. Чего желать, чего еще нужно?

— Да, это прекрасно,— говорил Pierre,— но согласитесь, что есть другая сторона души, которая не удовлетворяется этим[21], которую только наше святое братство поддерживает и просвещает. Я не понимаю, как вы можете быть холодным братом.

— Да я не холодный брат, особенно теперь. Ваш орден, я знаю, одно из лучших учреждений в мире, но этого мало для жизни.

[— Женитесь,— сказал Pierre.]

Pierre помолчал.

— Отчего вы не женитесь? — сказал он.— Я думал о вас, вам надо жениться.

Князь Андрей молча улыбнулся.

— Ну, что ж я,— отвечал Pierre,— какой я пример? Я женился мальчишкой, et puis... au fond Hélène est une très bonne pâte de femme, au fond...[22].

Князь Андрей радостно, кротко улыбнулся и, подойдя к Pierry, потрепал его рукой.

— Мне ужасно жалко, что мы мало виделись с тобою,— сказал он.— Я не знаю, отчего ты так всегда [успокоительно] возбудительно на меня действуешь. Посмотрю на твою рожу [и думаю: «нет, еще жить можно»], и весело и молодо сделается.

— Женитесь,— повторил Pierre с сияющей улыбкой, глядя на Андрея. И в эту же минуту ему пришла мысль, на ком надо жениться князю Андрею. Одна девушка, лучше которой он не знал, была достойна его лучшего друга. Это была Ростова. Pierr'у показалось, что он и прежде об этом думал, и только для этого так полюбил ее.— Вам надо жениться и я знаю на ком,— сказал он.

Князь Андрей странно покраснел при этом слове. Его воспоминания о дубе и связанных с ним мыслях вдруг представились ему.

— [Мне нельзя] Marie и то женит меня,— сказал он.— Тут есть ее друг, Жюли Корнакова. Знаешь ее.

— Знаю, это не то,— сказал Pierre.— Я для вас не хочу mariage de raison[23], я хочу, чтобы вы ожили, и я знаю...

— Нет, мой друг, мне не должно об этом думать и я не думаю. [Мне] Какой я муж, больной и слабый. Моя рана на днях опять открылась и меня Вилье посылает за границу.

[Через неделю после этого разговора] [Pierre уехал, и после него князь Андрей долго ходил по комнате, мечтая о любви и женитьбе. Он подходил к зеркалу, смотрел вопросительно на свое худое лицо и опять принимался ходить, воображая себе женщину, которую бы он мог любить, и не находя ее в числе своих женских знакомых.]

Вы будете на бале Льва Кирилловича послезавтра? — спросил Pierre.

— Да, буду.

---

[21] К тексту: *что-нибудь* ∾ *не удовлетворяется этим* см. Варианты, № 11.

[22] Впрочем... в сущности Элен не дурная женщина, в сущности...

[23] брак по рассудку

〈XI〉

31 декабря, накануне нового, 1810, года, le réveillon[1], был бал у Льва Кирилловича Нарышкина, екатерининского вельможи. На бале должен был быть дипломатический корпус, Caulaincourt и государь.

На Английской набережной светился бесчисленными огнями иллюминации известный дом вельможи. У освещенного подъезда с красным сукном стояла полиция, и не одни жандармы, но полицеймейстер на подъезде и десятки офицеров полиции. Экипажи отъезжали, и всё подъезжали новые с лакеями в перьях на шляпах. Из карет выходили мужчины в мундирах, звездах и лентах; дамы в атласе и горностаях легко соскакивали с подножки, и на мгновенье виднелись толпе легкие и грациозные очертания и движения.

Почти всякий раз, как подъезжал новый экипаж с блестящим лакеем, в толпе пробегал ропот и снимались шапки.

— Государь?.. Нет, министр, князь, посланник. Разве не видишь перья?..— говорилось из толпы. Один из толпы, в шляпе, казалось, знал всех и называл по имени знатнейших вельмож того времени.

Наконец, что-то очень зашевелились, полицеймейстер приложил руку к шляпе, и из кареты легко лаковым сапогом с шпорой ступил на освещенное красное сукно государь. Шапки снялись, и знакомая народу молодая и красивая фигура государя с зачесанным затылком и взлизами, с высокими эполетами из-под шинели быстро прошла в подъезде и скрылась. Государь держал в руке шляпу с плюмажем и что-то мельком сказал полицеймейстеру, вытянутому и наклоненному.

Из-за окон неслись [пронеслись] стройные звуки большого и прекрасного оркестра, и по освещенным окнам зашевелились перед глазами толпы тени мужчин и женщин. Залы бала были уже полны народу. Тут был Сперанский, и князь Кочубей, и Салтыков, и Вязьмитиновы, и их жены и дочери, и весь Петербург, и все придворные чины, и дипломатический корпус, и приезжие сановники Москвы, и неизвестные 〈гвардейские?〉 офицеры, танцоры, и всё и вся. Тут был и князь Василий. Тут были и князь Андрей, и Pierre, и Борис, и Берг с женой, и старичок Ростов, и графиня с токой по вкусу Наташи, и Соня и Наташа в белых платьях и с розанами в волосах.

Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Много было толков и приготовлений для этого бала, много страхов, что приглашение не будет получено, платье не будет готово и не устроится все так, как было нужно. Вместе с Ростовыми ехала на бал Марья Игнатьевна Перонская, приятельница и родственница графини, фрейлина старого двора, и худая [желтая] старая девушка. Она всё устроила для Ростовых, и в 10 часов вечера Ростовы должны были за ней заехать к Таврическому саду. Ежели дело шло о купанье, то Наташа все силы [души] устремляла на то, чтобы скорее всех переплыть на ту сторону, ежели о грибах, то она больше и лучше всех набирала грибов, а все, что не касалось грибов и купанья, казалось ей ничтожным. Теперь же, когда дело шло о бале, ей казалось, что всё остальное вздор, а что всё счастье жизни ее зависит от того, [чтобы быть одетой лучше всех и быть самой лучшей всех на бале] чтобы они все: мама, Соня, она были одеты как нельзя лучше. Соня и графиня поручились вполне ей. На графине должно было быть масака бархатное платье, на них двух белые кисейные с розанами в корсаже и в волосах, причесанных à la grecque[2].

Думать о том, что будет на бале, что ожидает их, было некогда. Только было чувство [совершающегося] ожидания торжественного и великого, а что и как — думать некогда. Наташа хлопотала за всех и потому позднее всех была готова. Она еще сидела перед зеркалом [и ее] в на-

---

[1] в сочельник
[2] по-гречески

кинутом на худенькие плечи пенуаре, а Соня была уже готова и надевала ленту.

— Не так, не так, Соня,— кричала Наташа, поворачивая голову от прически и хватаясь руками за волосы, которыми она сделала больно.

— Не надо такой бант. Поди сюда.

Соня присела. Наташа завязывала ей.

— Позвольте, барышня, нельзя так.

— Да что ж делать...

— Скоро ли вы,— слышался голос графини.— 3/4 10-го.

— Maman, а вы готовы?

— Только току приколоть.

— Не делайте без меня,— кричала Наташа,— вы не сумеете!

Как всегда, разумеется, опоздали. Юбка Наташи была длинна; ее подшивали две девушки, обкусывая торопливо нитки. Другая с булавками в губах и зубах бегала от графини к Соне и Наташе. Существенное всё было уже сделано: ноги, руки, шеи, уши,— хотя всё это было чисто,— особенно старательно было вымыто, надушено и напудрено; но еще многое оставалось. Наташа в прическе и в бальных башмачках, но в материной кофточке бегала от одной к другой и к девушкам. Наконец в 10 уже граф вошел в комнату в синем фраке, в чулках, башмаках, припомаженный и надушенный.

— Скоро ли, наконец? Вот вам духи. Перонская уж заждалась.

— Папà, ты как хорош, прелесть! — кричала Наташа [только по], на которой уже было надето платье, но две девушки на коленях еще подшивали рубец (платье всё было длинно).

— Папà, мы будем Данилу Купора...,— говорила Наташа.

Графиня вышла особенно тихим шагом и застенчиво.

— У, моя красавица! — сказал граф.— Лучше вас всех...

— Мамà, больше набок ток. Я переколю,— Наташа бросилась вперед, а девушка, подшивавшая, не успевшая за ней броситься, оторвала кусочек кисеи.

— Ничего, застегаю, не видно будет.

Няня пришла смотреть барышень и ахать.— Красавицы, крали-то мои,— говорила она.

Еще перчатку разорвали и, наконец, сели и поехали.

Перонская [несмотря] не была еще готова. Несмотря на свою старость и некрасивость, у нее происходило точно то же, что у Ростовых, хотя не с такой торопливостью (это было привычно), но так же было надушено, вымыто, напудрено старое, некрасивое тело, так же старательно промыто за ушами и даже так же, как у Ростовых, старая [девушка] горничная восторженно любовалась нарядом своей госпожи, когда она в желтом платье с шифром вышла в гостиную. Перонская похвалила туалеты Ростовых: — Charmant, delicieux! [3]

Ростовы похвалили ее и, бережа прически, сели по каретам и поехали.

Для Наташи [4] сборы и приготовления начались еще накануне, но с утра этого дня она не имела минуты свободы и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей. В сыром, холодном воздухе и неполной темноте и тесноте колыхающейся кареты Наташа в первый раз представила себе то, что ожидает ее там, на бале, в освещенных залах, между сотнями прелестных женщин [при] — музыка, цветы, танцы, государь; но она не поверила даже тому, что это будет. Так это было несообразно

---

[3] Прелестно, восхитительно!

[4] На полях: *С другими она кокетничала, властвовала, Андрею она покорялась. Я вас не стесняю, ежели вы полюбите другого — любите.— Никогда, никого. Ежели она теперь подойдет к матери, то она будет моей женой.*

На бале Жюли приветливая. Князь Андрей сначала за ней из памяти сестры, и вдруг видит, что не то.

Nicolas герой бала. Соня мила, и ее замечают.

с впечатлением холода, тесноты и темноты кареты. Она поняла всё то, что ее ожидает только тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла впереди матери между цветами по освещенной лестнице. Только тогда она вспомнила, как ей надо было себя держать на бале, и постаралась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимой для девушки на бале. Но, к счастью ее, она почувствовала, что в эту же минуту пульс ее забил 100 раз в минуту, и она не могла принять той манеры, которая бы сделала ее смешной, а шла, замирая от радостного волнения и стараясь всеми силами только скрыть его. И это-то была та самая манера, которая более всего шла к ней. Впереди, сзади их, так же тихо переговариваясь и так же в бальных платьях, входили гости. Зеркала по лестнице отражали дам в белых, голубых платьях, с бриллиантами, жемчугами и открытыми шеями и руками. Наташа не могла в отражении узнать себя между ними. Вступив в первую залу, равномерный гул голосов, шагов, 〈платьев?〉 оглушил, свет и блеск еще более ослепил ее. Хозяин и хозяйка, уже полчаса стоявшие у входной двери и говорившие одни и те же слова входившим, именно [хозяин]: — Charmé de vous voir[5], [хозяйка] так же встретили и Ростовых с Перонской.

Две девочки в белых платьях, с одинаковыми розами [в прическах] в черных волосах, одинаково присели; но невольно хозяйка остановила свой взгляд на тоненькой Наташе, посмотрела на нее и особенно ей одной улыбнулась впридачу к своей хозяйской улыбке. Глядя на нее, хозяйка вспомнила, может быть, и свой первый бал и свое золотое, невозвратимое, девичье время. Хозяин тоже проводил ее глазами и спросил у графа, которая его дочь.

— Charmant![6] — сказал он.

В зале стояли, [ож〈идали?〉] [оставлен был] теснясь перед входной дверью, ожидая государя. Графине дали место, и она поместилась в первых рядах этой толпы.

Наташа слышала и чувствовала, что несколько голосов спросили про нее и смотрели на нее. Она ничего не видела, не понимала в эту минуту, но на лице ее не видно было ни малейшего замешательства. Она первая сказала несколько слов матери только для того, чтобы не стоять молча. Она [медленно] не поспешно оглядывалась вокруг, не выказывая любопытства [но внутри ее всё волновалось, как перед]. Недалеко от нее стоял старичок-посланник с серебряной сединой курчавых, обильных волос и, держа табакерку, смеялся и заставлял смеяться дам, окружавших его. Высокая, полная, необыкновенной красоты дама, спокойно улыбаясь, говорила с несколькими мужчинами. [Pierre] Это была Hélène. Наташа восторженно любовалась ею и с грустью думала о своем ничтожестве в сравнении с этой красотой. Pierre шел, переваливаясь, через толпу, лениво опустив руки и с таким видом, как будто он шел по торгу [как будто он был уверен, все пропустят его], — и пожимал всем руки направо и налево. Не доходя до Наташи, на которую он издалека взглянул своими близорукими глазами, он [остановился] схватил какого-то молодого офицера за руку и сказал:

— Allez faire la cour à ma femme[7], — указывая на Hélène.

Какой-то старый генерал подошел к Перонской, но скоро отошел, потом молодой человек тихо заговорил с ней. Наташа чувствовала, что спрашивают про нее. Борис подошел к ним и говорил с графиней. Приехали две молодые девушки-блондинки с матерью, на которой были огромные бриллианты. Вошел князь Андрей Болконский в полковничьем мундире и поразил Наташу своей уверенностью и элегантностью. Она вспом-

---

[5] Очень рады вас видеть.
[6] Прелесть!
[7] Ступайте ухаживать за моей женой.

нила, что где-то видела его. Мало двигались и говорили, ожидая приезда государя, и Наташа имела время делать наблюдения. [Она по отношениям, взглядам определяла безошибочно] Она всё наблюдала: и прически, и мундиры, и отношения людей. По отношениям, взглядам она определяла для себя, кто принадлежал к самому высшему, высшему и среднему обществу, и мысль о том, какое они займут место, занимала ее. Из мужчин, входивших в это время и стоявших близко, она причислила к высшему свету 4-х: Pierr'a, князя Андрея, секретаря французского посольства и еще кавалергарда необыкновенной красоты, вошедшего после других и с презрительным видом, заложивши руку за пуговицы мундира, ставшего почти в середине залы. Pierre, увидав Наташу, оставил офицера и стал проходить к Ростовым, но в это время всё надвинулось, опять раздвинулось, заговорило и, между двух расступивших рядов, при звуках заигравшей музыки, вошел государь, за которым шли хозяин и хозяйка. Государь шел быстро, кланяясь направо и налево, как бы стараясь поскорее избавиться от этой первой минуты встречи.

Тут заиграли польской, всё зашевелилось, какой-то молодой человек с растерянным видом попросил Наташу посторониться. Некоторые дамы, с лицами, выражавшими совершенную забывчивость всех условий света, бросились вперед. Мужчины стали подходить к дамам и строиться в пары польского. Всё расступилось и государь, улыбаясь, не в такт ведя [под] за руку хозяйку дома, вышел опять из [гостиной] другой залы, за ним хозяин с Марьей Антоновной Нарышкиной, потом посланник, министры, генералы, которых называла Перонская, которая не была взята в польской. Наташа чувствовала, что она оставалась с матерью и Соней в числе меньшей части дам, не взятых в танец, и что положение это было оскорбительно, и что, ежели так она останется весь бал, только занимая место, и даром пропадет ее туалет, которым так восхищалась няня, то она будет несчастлива. Она стояла, опустив свои тоненькие руки с веером [и блестящими агатовыми], и с мерно поднимающейся, чуть определенной грудью, сдерживая дыхание и блестящими, испуганными агатовыми глазками глядя перед собой, как подстреленная птичка, с выражением готовности на величайшую радость и на величайшее горе. Ее не занимали ни все важные лица, ни государь, на которых указывала Перонская, у ней была одна мысль: «Неужели так никто не подойдет ко мне, неужели я не буду танцовать между первых, неужели меня не заметят все эти мужчины, которые теперь, кажется, и не видят меня, и ежели смотрят на меня, то с таким выражением, которое говорит: „а, это не она, так и нечего смотреть". Нет, это не может быть,— думала она.— Они должны же знать, как мне хочется танцовать, как я отлично танцую и как им весело будет танцовать со мною». Звуки польского, продолжавшегося долго, уже начинали звучать грустно, каким-то воспоминанием в ушах Наташи. Ей хотелось плакать. Pierre с какой-то важной дамой прошел, что-то шамкая и не видя ее, мимо. Князь Андрей, которого она заметила, прошел с красавицей Hélène, лениво улыбаясь и что-то говоря ей. Еще два, три молодых человека, которых она заметила и которых считала высшими и потому теми, с которыми бы она хотела танцовать, но никто не посмотрел даже на нее. Красавец Анатоль не пошел в польской и, презрительно улыбаясь, что-то говорил молодым людям, окружившим его. (Наташа заметила, что он был тоже известностью в своем роде.) Наташа чувствовала, что он говорил про нее и смотрел на нее, и это тревожило ее. Перонская, указывая на него, сказала графине:

— Вы знаете, это известный повеса Курагин. Как хорош!

Борис два раза прошел, видел Наташу и не сделал ей никакого знака. Наташа совсем разлюбила его. Берг с женой, не танцовавшие, подошли. Это было еще хуже. Наташе показалось оскорбительнее это семейное сближение здесь, на бале.

Наконец государь остановился подле своей последней дамы (он танцовал с тремя). Музыка замолкла, озабоченный адъютант набежал на Ростовых, прося посторониться, раздать круг. И с хор раздались отчетливые, осторожные и увлекательные, мерные звуки вальса. Государь с улыбкой взглянул на залу. Прошла минута, никто еще не начинал. Адъютант распорядитель подошел к Марье Антоновне и пригласил на тур вальса. Она подняла руку, чтобы положить ему на плечо. Она была необыкновенно хороша. Адъютант танцовал прекрасно. И в большом круге залы, под глазами 100-н, они пошли сначала глисадом, не кружась, потом [повертываясь] мерно повертываясь, и из-за всё убыстряющихся звуков музыки слышны были мерные щелчки шпор быстрых и ловких ног адъютанта, повертывающего[8] Марью Антоновну. Наташа смотрела на них и готова была плакать, что это не она танцует этот первый тур вальса. [В это время] Она не видела, как в это время подходили к ней и глядя на нее Безухов и Болконский. Князь Андрей любил бал с его толпою, цветами, музыкой и танцами. Он был одним из лучших танцоров в свое время, до войны. В этот же приезд в первый раз был на бале. Он всех знал, почти все его знали, и все желали его. Но за те 5 лет, которые он не был в обществе, молодое, светское, танцующее, веселящееся общество переменилось. Те, кто в его время были выезжавшими девушками, были дамы, блестящие дамы того времени были затменены другими. Его встречали с вопросом о последнем указе, о политической новости. Старички и старушки с ним вместе хотели вспоминать прошлое, но ему не этого надо было. Он любил бал с его движеньем — вальсом, любил быть действователем, а не зрителем на бале. Как только он вошел на бал, его обдало этой поэзией блестящего, изящного веселья и он, отделываясь от дам и мужчин, желавших акапарировать[9] его, вышел [на середину] вперед, [чтобы танцовать] испытывая такое оживление, которого он не ждал в себе. [Он всегда] Он чувствовал по-старому, что он хорош, что он обращает на себя внимание, и ему стало беспричинно весело. Pierre остановил его, ухватив за руку.

— Как мила Ростова, помните, я говорил вам.

[Я видел?] [Вот моя страсть — пусировать[10] молоденьких]

— Никогда ты мне не говорил и я не знаю, но кто эта? — Он указывал тоже на Наташу Ростову.— Пари держу, что на первом бале.

— Это она. Пойдемте, я вас познакомлю.

— Ах, я знаю: отец — глупый [индюк] предводитель рязанский, пойдем.

Так подошли с другой стороны, в которую не смотрела Наташа, Болконский с Pierr'ом[11]. И князь Андрей предложил тур вальса. То замирающее выражение, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной, детской улыбкой. «Давно я ждала тебя»,— как будто сказала эта девочка своей [счастливой] просиявшей из слез улыбкой, с оголенными, тоненькими плечиками, испуганная, счастливая и сдержанная, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. Они были третья пара, вошедшая в круг. И Наташа тотчас же была замечена. И нельзя было не заметить ее теперь. Такое восторженное сияние лилось из ее глаз, такая детская, невинная грация была в ее оголенных руках и шее. [Такая] Ее оголенное тело было некрасиво, в сравнении с плечами Hélène, ее плечи были худы, грудь неопределенна, руки тонки, но на Hélène был уже как будто лак [покрывающий] всех 1000 взглядов,

[8] В автографе: *повертывающих* (прим. составителя).

[9] Французское «accaparer» — захватить (прим. составителя).

[10] От французского «pousser» — содействовать успеху, продвигать (прим. составителя).

[11] Подойдя к сцене бала, Толстой перенес в Рукопись 107 четвертый вариант начала романа, в котором действие начиналось с описания бала (см. т. 13, с. 58—68). На оставшейся чистой нижней половине последнего из перенесенных листов он сделал набросок, затем зачеркнутый. См. Варианты, № 12.

скользивших по ее телу, а Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили и которой бы очень стыдно это было, ежели бы она не знала, что это всегда так надо. Князь Андрей пошел танцовать, потому что ему хотелось выбрать ее, потому что из всех начинающих, которых он любил пускать в ход, она первая ему представилась, но едва он обнял этот тонкий, подвижный, трепещущий стан, и эта оголенная девочка зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко от него, вино ее прелести вдруг ударило ему в голову. Во время вальса он сказал ей, как она прекрасно танцует. Она улыбнулась. Потом он сказал ей, что он видел ее где-то. Она не улыбнулась и покраснела. И вдруг Pierre на паркете, дуб, поэзия, весна, счастие — всё вдруг воскресло в душе князя Андрея. Pierre стоял подле графини и на вопрос ее, кто эта дама в бриллиантах, отвечал: шведский посланник. Он ничего не видал, не слышал, он жадно следил за каждым движением этой пары, за быстрым, мерным движением ног Андрея и за башмачками Наташи и ее преданным, благодарным, счастливым лицом, так близко наклоненным к лицу князя Андрея. Ему было больно и радостно. Он отошел и увидал в другой стороне жену свою во всем величии ее красоты, встающую перед высокой особой, удостоившей ее своего разговора.— Боже мой! помоги мне,— проговорил он, и лицо его сделалось мрачно [и рассеянно]. Он ходил по зале, как потерявший что-то, и в этот вечер особенно удивлял своих знакомых своей бестолковой рассеянностью.

Он вернулся к Наташе и стал говорить ей про князя Андрея, про которого он так часто говорил ей. [Но стал] [Не давал много разговаривать] [Борис подошел к ней] После князя Андрея к Наташе подошел Борис, приглашая к танцам, [опять князь Андрей], еще и еще молодые люди, и Наташа, счастливая, раскрасневшаяся, не переставала танцовать целый вечер. В середине котильона [когда] [который она танцовала с князем Андреем и во время которого] Наташу беспрестанно выбирали, и она с улыбкой соглашалась, несмотря на то, что еще тяжело дышала [на приглашение одного кавалергарда, князю Андрею вдруг пришла мысль]. Князю Андрею, танцовавшему недалеко от нее, вдруг пришла мысль, что [она] эта девушка не протанцует половины зимы и выйдет замуж, и ему стало страшно чего-то. [и он пошел приглашать ее и сказал ей, что она лучше всех на бале. Другой раз в конце бала] В конце бала, когда Наташа шла через залу, князь Андрей застал себя на странной и совершенно неожиданной мысли: «Ежели она подойдет [теперь] прежде к своей кузине, а потом к матери, то эта девушка будет моей женой»,— сказал он сам себе. Она прежде подошла к кузине. «Что я говорю? Я с ума сошел»,— подумал Андрей [и опять весна и дуб живо представились ему]. Последний танец, мазурку, князь Андрей танцовал с Наташей и [и пров⟨одил?⟩] повел ее к ужину. Старый граф подошел к ним в своем синем фраке и, вспомнив Андрею Отрадное и пригласив его к себе, спросил у дочери, весело ли ей?

Наташа не ответила и только улыбнулась такой улыбкой, [которая говорила, что об этом нельзя спрашивать] которая с упреком говорила, как можно было об этом спрашивать.

— Так весело, как никогда в жизни,— сказала она, снимая с сухой, белой руки душистую перчатку. Наташа была так счастлива, как никогда еще в жизни. Она была на той высшей ступени счастия, когда человек делается вполне добр и хорош, и всех одинаково любит, и всех считает равными. Государь Александр Павлович казался ей прелесть, и, ежели бы ей это нужно было, она бы подошла к нему и сказала бы ему, что он прелесть, так же просто, как она сказала это Перонской. Ей хотелось, чтобы все были веселы и счастливы. Соня танцовала, но когда она оставалась без кавалера, Наташа говорила незнакомым:

— Подите позовите мою кузину,— и это было так просто, что никого не удивляло.

Перонская не танцовала и сидела одна. Наташе приходило в голову, что напрасно она так пудрила шею, но она утешалась, что Перонской этого не нужно. Все-таки она пошла и поцеловала ее. Князь Андрей, Pierre, другие танцовавшие — они все были ей равны, все были прелесть.

⟨XII⟩

На другой день князь Андрей [проснулся уже весь вполне в том птичьем, цветочном, бабочном мире, в который он столько раз только заглядывал] [проснулся с чувством человека, выздоравливающего от гордости. «Где я? И где я был прежде? Да»,— спросил он себя. И тотчас решил, что ему надо ехать к Ростовым. Поутру зашел к нему один из его приятелей-либералов,— так по моде либеральничающий, как надевающие люди шляпы. Он стал рассказывать.] проснулся и улыбнулся, сам не зная чему. Вся прошедшая жизнь его в Петербурге представилась ему в новом свете. Он вспомнил вчерашний бал, но не надолго остановился на нем мыслью. «Да, очень блестящий был бал. И я еще могу находить большое удовольствие в этих удовольствиях. И еще — да — Ростова очень мила. Что-то в ней есть свежее, особенное, непетербургское, отличающее ее». Вот всё, что он подумал о вчерашнем бале. Но он стал вспоминать гораздо дальше назад, он стал вспоминать всю свою петербургскую жизнь. И все эти 4 месяца представились ему в совершенно новом свете, как будто он никогда не думал о них до сих пор. Он вспомнил свои хлопоты, искательства, историю своего проекта военного устава, который был принят Комитетом к сведению и о котором старались умолчать единственно потому, что другая работа, хотя и не выдерживающая критики была уже сделана и представлена государю. Вспомнил о истории своей записки об освобождении крестьян, от обсуждения которой Сперанский постоянно уклонялся не потому, чтобы неразумно была составлена записка или не нужно это делать, но потому, что не время было этим занимать теперь внимание государя. Вспомнил о своей законодательной работе [и], об обиде своей, что [записка] работа его отдана была опять Розенкампфу, и ему стало смешно и совестно чего-то. Он живо представил себе Богучарово, знакомых своих мужиков, Дрона-старосту и дворовых и приложив к ним статьи [которые он] о правах лиц, которые он распределял по [статьям] параграфам, ему смешно стало, как мог он заниматься такой праздной работой.

В таких мыслях застал его его знакомый молодой человек, Бицкий, служивший в различных комиссиях, бывавший во всех обществах Петербурга, страстный поклонник новых идей и Сперанского и озабоченный вестовщик Петербурга. Один из тех людей, [которые верят во все авторитеты] которые выбирают направление, как платье по моде, но которые по этому-то кажутся самыми горячими партизанами направлений. Он озабоченно, едва успел снять шляпу, вбежал к князю Андрею [и тотчас], которого он считал одним из столпов либеральной партии, и тотчас же начал говорить. Он только что узнал подробности знаменитого заседания Государственного совета, открытого государем, и [рассказывая] с восторгом рассказывал о них. Речь государя была необычайна, это была одна из тех речей, которые произносятся только конституциональными английскими королями. Государь прямо сказал, что Совет и Сенат суть [непоколебимые] государственные *сословия*, он сказал, что правление должно иметь основанием не произвол, а *твердые начала*, говорил Бицкий, ударяя на эти слова и значительно раскрывая глаза, сказал, что финансы должны быть преобразованы и отчеты быть публичны.

— Да, нынешнее событие есть эра, величайшая эра в нашей истории,— заключил он.

Князь Андрей, слушал его рассказ о этом открытии Государственного совета, которого он сам ожидал с таким нетерпением и приписывал

ему такую важность, и удивлялся, что событие это не только не трогало его, но представлялось ему более чем ничтожным. Он с тихой, скрываемой, доброй насмешкой слушал восторженный рассказ Бицкого. Самая простая мысль приходила ему в голову. «Какое мне дело и Бицкому какое дело до того, что государю угодно было сказать в Совете». [Под конец] Разговор Бицкого стал скучен князю Андрею. Он попросил его извинения и сказал, что ему надо сделать несколько визитов. Они вышли вместе. И когда князь Андрей остался один, он спросил себя, куда ему нужно было? Да, надо было сделать визит Ростовым.— Этого требовала учтивость.

Наташа была в другом, чем вчера, синем платье, в котором она была еще лучше, чем вчера. Всё семейство, которое строго судил прежде князь Андрей, теперь, по его мнению, было составлено из прекрасных, простых и добрых людей. Гостеприимство и добродушие старого графа, особенно мило поразительное в Петербурге, было таково, что князь Андрей не мог отказаться от обеда. Всё это были добрые, славные люди, разумеется, не понимающие ни на волос того сокровища, которое они имели в Наташе. Но добрые люди, которые составляли наилучший фон для того, чтобы на нем отделялась [это особенно поэтическое, переполненное жизнью сокровище] эта особенно поэтическая, переполненная жизни, прелестная девушка. Князь Андрей чувствовал в Наташе присутствие совершенно чуждого для него особенного [счастливого] мира, преисполненного каких-то неизвестных ему радостей — того чуждого мира, который еще тогда, в отрадненской аллее, натолкнувшись на него, [так] поразил его. Эта неизвестность больше всего занимала его в [Наташе] Ростовой. После обеда она пела. Князь Андрей сначала, разговаривая с матерью, слушал ее, потом оба замолкли, потом князь Андрей почувствовал неожиданно, что к его горлу подступают слезы, возможность которых он не знал за собой. Он был счастлив, и ему вместе с тем было [ужасно] очень грустно[1].

Ему решительно не об чем было плакать, но он готов был плакать. О чем? О прежней любви? О маленькой княгине? О своих разочарованиях? Да и нет. Какая-то страшная противуположность [какая] между чем-то бесконечно великим и неопределимым, что было в нем, и чем-то узким и телесным, что был он сам. Вот что [заставляло его] томило и радовало его во время ее пенья. [Ему представлялось] Только что она кончила петь, она подбежала к нему [мимо всех] и спросила, как ему нравится? Он [только] улыбнулся, глядя на нее. Она улыбнулась тоже. [Всё в Наташе пленяло князя Андрея, но одно, в чем он[2] (может быть именно оттого, что это было ошибочно и что ему только хотелось, чтобы это так было) была [непосредственность] первенность, девственность ее чувства. «Она не только никого никогда не любила, она и теперь не знает, что она любит»,— думал он, не слыхавший ее вечерней конференции с графиней.]

Он уехал поздно вечером, лег спать по привычке ложиться, но увидал скоро, что теперь [как он узнал настоящую жизнь] спать не нужно. Он то, зажжа свечу, сидел в постели, то вставал, то опять ложился, нисколько не тяготясь бессонницею. Так радостно [ему] и ново ему было на душе. Перед утром он заснул часа два, [потом] но, когда проснулся, был [также] свежее, чем когда-нибудь. Утром получил он письмо от Мари. Она описывала болезненное состояние отца, невольно высказывала недовольство на Bourienne; потом пришел [сотрудник и жаловался на порчу работы, потом слышал он упреки и толки о Сперанском, и на всё ему смешно было обращать внимание] сотрудник его по комитету

---

[1] К тексту: *На другой день князь Андрей* (с. 477) ∾ *очень грустно.*— см. Варианты, № 13.

[2] Так в автографе.

и жаловался на порчу их работы. Князь Андрей старался успокоить его. «Как они не понимают, что всё это ничего, всё это будет хорошо [Я всё это им устрою, это так легко, вот после того...]»,— думал он. [На другой]

Он опять поехал к Ростовым, опять не спал ночь и опять поехал к Ростовым. В то время, как он в 3-й день сидел [вечером подле Наташи и говорил ей о последнем бале, он] вечером в гостиной Ростовых и рассказывал, смеясь и заставляя смеяться, о рассеянности Pierr'a, он почувствовал на себе взгляд чей-то, упорный и серьозный. Он оглянулся. Это был [строгий взгляд графа и вместе сочувственный] грустный, строгий и вместе сочувственный взгляд графини, которым она соединяла их обоих, как будто она этим взглядом и благословляла их, и боялась обмана с его стороны, и жалела о разлуке с любимой дочерью. Графиня тотчас же переменила выражение и [сказала что-то о comtesse Apraksine, но князь Андрей понял, что было будущее, что есть ответственность, и с этой мыслью он опять] сказала, что она удивляется, что так давно не видит графа Безухова, но князь Андрей из ее слов понял другое. Он понял, что она напоминала ему об ответственности, которую он берет на себя теперь этим сближением, и с этой мыслью он опять посмотрел на Наташу, как будто спрашивая себя, стоит ли она всей этой ответственности. [«Стоит, и стоит всей жизни,— подумал князь Андрей.— Впрочем, дома я это обдумаю и с этой новой стороны».] «Дома,— подумал князь Андрей,— дома и это обдумаю».

Ночью он опять не спал и уж думал и спрашивал себя, что ж он будет делать?

Он старался забыть, выкинуть из своего воображения воспоминание о лице, о руке, о походке, о звуке голоса, последнем слове Наташи и без этого воспоминания решить вопрос, женится ли он на ней и когда? Он начинал рассуждать: «Невыгоды — родство,— наверно, недовольство отца, отступление от памяти жены, ее молодость, мачеха Коко... Мачеха, мачеха. [«Не мачеха, а мальчик, милый, девственный, невинный, прелестный мальчик». И опять ему с особенной силой представлялось то, что он думал, он любил больше всего в ней,— ее чистоту, девственность. Кроме куклы, музыки и летания по воздуху, ничего она не любила прежде меня. Эта святость ее девственности в мыслях его больше всего прельщала. Да, и главное, я не могу, не могу иначе, я не могу быть без нее. Что бы я ни думал, я поеду и завтра, и послезавтра, и всегда буду с ней... Это должно быть...] Да, но главное, что же я с собой сделаю?» Ему представлялась она уже его женой. «Не могу, не могу иначе, я не могу быть без нее. Но я не могу [жениться] сказать ей, что я люблю ее, не могу, рано!» — говорил он сам себе.

Но страшная мысль в том состоянии возбуждения, в котором он находился, ошибиться, увлечь ее и не сдержать как-нибудь хоть и не выговоренного обещания, поступить нечестно, так испугала его, что он решился на 4-й день не видеть ее и стараться всё обдумать и решить с самим собою. Он не поехал к Ростовым, но говорить с людьми и слушать толки о их пустых заботах, иметь дело с людьми, которые не знали того, что он знал, было для него невыносимо [3].

В эту же ночь Наташа, то взволнованная, то испуганная [остановившимися] с останавливающимися глазами долго лежала в постели у матери и расспрашивала у нее [как что будет? — то, не верящая своему счастию, старалась дать почувствовать даже матери, до какой степени она привлекательна, и как уже жених, и такой жених, как князь Андрей, делает ей предложение.] — что это значит? — то рассказывала мате-

---

[3] См. Варианты, № 14.

ри, как он хвалил ее, как он спрашивал, где они будут и когда поедут в деревню.

— Я только не знаю, что он нашел во мне. А вот вы говорили, что я глупая. Ежели мне всегда страшно при нем, что это значит? Значит, что я влюблена? Да? Мамà, вы спите.

— Нет, душа моя, мне самой страшно,— ответила мать.— Иди.

— Всё равно я не буду спать. Что за глупости спать. И могли ли мы думать...— и она опять начинала то, что говорила уже раз десять, что «я его люблю и что он меня полюбит».— И надо было ему нарочно теперь в Петербург приехать, и нам приехать.

Она говорила всё это, как игрок, который не может прийти в себя от того, что ему дана первая огромная карта, которую он поставил. Ей казалось теперь, что еще когда она в первый раз увидала его в Отрадном, она влюбилась в него. Ее пугало как будто это странное, неожиданное счастье, что тот, кого она выбрала [(она знала это в глубине своего сердца) выбрала так потому, что надо было кого-нибудь выбрать] (она теперь была уверена в этом), что тот самый [может] полюбил ее [и будет ее мужем]. Ее радовало необыкновенное счастье и льстило ее огромному самолюбию, что она была выбрана им и из-за этого [она не знала, что любит] чувства, она не знала, есть ли у ней любовь к нему. Прежде она больше была уверена, что любила его, теперь она бы не знала, что ответить, ежели бы имела силы спросить себя об этом.

[На другой день] [В тот же день, как Pierre так добродушно исполнял перед своей совестью долг, облегчающий от греха зависти, не думая о том, какие могла иметь последствия его нескромность, в этот же день князь Андрей, решившись еще на сутки испытать себя, не поехал к Ростовым]

— Мама, что же он, когда сделает предложение? Сделает?

— Полно, Наташа, молись богу. Les mariages se font dans les cieux[4].

— Голубушка, мамаша, как я вас люблю,— крикнула Наташа, со слезами счастья обнимая мать.

⟨XIII⟩

Князь Андрей четыре дня не ездил к Ростовым и никуда, где бы он мог встретить их[1]. Но на 4-й день он не выдержал, и, обманывая самого себя, в смутной надежде увидать Наташу, он вечером поехал к молодым Бергам, которые два раза были у него и звали его к себе вечером.

Несмотря на то, что Берг всякий раз, как он где бы то ни было встречал князя Андрея, настоятельно упрашивал Болконского приехать к нему вечером, когда ему доложили в его аккуратной, чистой до возмутительности квартире на Владимирской, что приехал Болконский, Берг взволновался, как от неожиданности. Он, в то время как приехал Болконский, сидел в своем новом кабинете [и внушал], чистом, светлом, убранном бюстиками и картинками и новой мебелью так аккуратно, что трудно было жить в этом кабинете, что невольно цель этого кабинета представлялась в том, чтобы он всегда был в порядке, и что малейшее житейское употребление этой комнаты представлялось нарушением порядка. Он сидел в новеньком расстегнутом мундире в кабинете и внушал Вере, сидевшей подле него, что всегда можно и должно иметь знакомых людей, которые выше себя, [Вот] потому что тогда только есть приятность от знакомств. Переймешь что-нибудь, можешь попросить о чем-нибудь. Вот посмотри, как я жил с первых чинов (Берг жизнь свою считал не годами, а высочайшими наградами). Мои товарищи теперь еще ничто, а я на

---

[4] Браки совершаются на небесах.

[1] На полях: *Озлобление на Наташу, перемена взгляда на семью всю. В этот же день предложение от Сперанского губернатором в Белосток — ответ ни да, ни нет. Деятельность. письма отца. Объяснение с Наташей. Переписка.*

ваканции полкового командира, я имею счастье быть вашим мужем (он встал, поцеловал ее руку, но по пути к ней отогнул угол заворотившегося ковра). И всё, чем я приобрел это? [Больше ничем, как уменьем] Главное уменьем выбирать свои знакомства. Само собою разумеется, надо быть добродетельным и аккуратным...— Берг улыбнулся с сознанием своего превосходства над слабой женщиной и замолчал, подумав, что все-таки эта милая жена его [не может] есть слабая женщина, которая не может постигнуть всего того, что составляет достоинство мужчины. Ein Mann zu sein[2]. Вера в то же время также улыбнулась с сознанием своего превосходства над добродетельным, хорошим мужем, но который все-таки [не мог] ошибочно, как и все мужчины, (по понятиям Веры) понимал жизнь. Он не понимал, по ее мнению, что главное все-таки в жизни было искусство (которым Вера думала, что она владела в высшей степени), искусство тонкого дипломатического обращения с людьми и [〈желания?〉] упрямство в своих желаниях. «Коли б я не имела этого искусства, я бы теперь еще была стареющая дева в доме разоряющихся родителей, а не женою хорошего, честного мужа, делающего блестящую карьеру, в дальнейшем успехе которой, главное, я буду содействовать». Берг думал, что все женщины только выгодны для женитьбы и ограниченны, как его жена. Вера думала, судя по одному своему мужу, и распространяла это мнение на всех, как всегда это делают ограниченные люди, что все мужчины горды и приписывают себе только разум, а вместе с тем ничего не понимают. И оба были очень довольны своей судьбой.

Берг встал и, [поцеловав] осторожно обняв свою жену, чтобы не смять кружевную пелеринку, которую он, дорого заплатив, купил ей, поцеловал ее в середину губ.

Одно только, чтоб у нас не было так скоро детей,— сказал он по бессознательной для себя филиации идей.

— Да,— отвечала Вера,— я совсем этого не желаю. Однако,— сказала она, улыбаясь над осторожностью, с которой Берг снял с нее дорогую пелеринку (она любила в лице своего мужа становиться выше всего рода мужчин),— однако, я надеюсь, что кто-нибудь нынче будет у нас,— сказала она, отстраняясь от мужа опять по бессознательной для себя филиации идей.— Свечи зажжены в гостиной?

— Да. Точно такая была на княгине Юсуповой,— сказал Берг с счастливой и доброй улыбкой, указывая на пелеринку.

В это время доложили о приезде [дорогого] почетного, давно желаемого гостя, князя Андрея, и оба супруга, переглянувшись самодовольной улыбкой,— каждый себе приписал честь этого посещения. «Вот что значит уметь делать знакомства! — подумал Берг.— Вот что значит уметь держать себя».

Князь Андрей, приехав к Бергам, сделал компромисс с своим решением два дни не видать Наташи.— Он смутно надеялся увидеть ее у сестры. Он был принят в новенькой гостиной, в которой нигде сесть нельзя было, не нарушив симметрию, чистоту и порядок, и потому весьма понятно было и не странно, что Берг великодушно предлагал разрушить симметрию кресла или дивана для дорогого гостя и, видимо, находясь сам в этом отношении в болезненной нерешительности, предлагал решение этого вопроса выбору гостя. Князю Андрею вообще не неприятен был Берг с его наивным эгоизмом тупоумия (вероятно потому, что Берг представлял самую резкую противуположность его собственного характера), а теперь в особенности Берг был для него наилучшим собеседником. Он долго слушал его рассказы о служебных повышениях, о его планах, о благоустройстве, с удовольствием под звук его голоса мечтая всё 〈об〉 одном же своем. Вера, которая сидела, изредка вставляя слово и в душе не одобряя мужа не за то, что он говорил всё про себя и только про себя

[2] Быть мужчиной (*нем.*).

(это по ее [было] не могло быть иначе), но за то, что он говорил недостаточно небрежно. Вера была тоже приятна князю Андрею по невольной связи, существовавшей в его воспоминании между ей и Наташей. Вера была одно из тех так часто повторяющихся в свете приличных, незаметных лиц, что о них никогда сериозно не думаешь, и князь Андрей всегда считал ее добрым, ничтожным существом, теперь особенно близким ему по близости ее к Наташе.

Берг, прося извинения оставить князя Андрея наедине с Верой (Вера взглядом показала Бергу неприличность этого извинения), вышел, чтобы послать поскорее денщика купить к чаю тех именно печений, которые он ел у Потемкиных и которые, по его понятию, были верхом светскости и которые должны были поразить удивлением князя Андрея, когда они будут поданы в серебряной, присланной ему отцом к свадьбе, корзинке.

Князь Андрей остался наедине с Верой, и ему стало вдруг неприятно. Вера так же много и одна говорила, как и ее муж, [она говорила] но при ее говоре нельзя было независимо думать, потому что она имела привычку, не бывшую у ее мужа, в середине своего разговора обращаться с вопросами к своему собеседнику, как бы экзаменуя его: Y êtes vous?[3] Князь Андрей должен был поэтому следить за ее [болтовней] разговором, да и кроме того, как только вышел ее муж, она заговорила о Наташе.

Вера [не понимала], как и все в доме [Ростовых] и бывавшие у Ростовых, заметила чувство князя Андрея к Наташе и на основании его делала свои предположения. Теперь она не то, чтобы сочла нужным сообщить князю Андрею свои соображения о характере Наташи и о ее прошедших склонностях и увлечениях — хотя она это [самое] и сделала — не то, чтобы она нашла нужным это сделать, но для нее была необходимость в разговоре с таким дорогим и светским гостем приложить к делу свое ⟨мнимое?⟩ дипломатическое искусство обращения, такта намеков и бесцельной хитрости. Ей нужно было быть проницательно-тонкой, и ближайшим и лучшим для того предлогом была Наташа, и на нее[4] то она и обратила всё свое искусство. Наведя вопрос на своих, на последнее посещение князя Андрея, на голос Наташи, она остановилась на рассуждениях о свойствах сестры.

— Вы, я думаю, князь, часто удивлялись этой необыкновенной способности Natalie изменять свои пристрастия[5]. То она любила [итальянскую] французскую музыку, теперь слышать не может. И это у нее беспрестанно. Она способна так страстно привязываться ко всему и *так* же скоро забывать...

— [Я думаю, это относится ⟨*1 нрзб*⟩ не к людям,— сказал князь Андрей,— потому что я всегда любуюсь на ее любовь к вашей матушке.] Да. Я думаю, она очень сильно чувствует,— сказал князь Андрей таким тоном, как будто вопрос о свойствах Наташи ни в каком случае не мог интересовать его.

— Да,— с тонкой улыбкой сказала Вера.— Но вы, князь, так проницательны и так понимаете сразу характеры людей. Что вы думаете о Натали. Может она постоянно любить одного человека? [Вы так были?]

Князю Андрею стал неприятен этот разговор.

— [Я думаю, что она будет прекрасной женой, когда она полюбит...] Не имею повода думать ничего, кроме хорошего, о вашей сестре.

— [Да, но любовь, князь, такое сложное чувство. Часто нам] А я думаю, князь, когда она полюбит действительно,— с значительным видом сказала Вера,— как бы давая чувствовать, что теперь она любит.

---

[3] Вы поняли?

[4] *нее* написано по слову *него* (прим. составителя).

[5] На полях: *Князь Андрей к Сперанскому: — Давайте дело — я ваш. Берется за работу, но нейдет. Дает работу вне Петербурга.*

(Вообще во всем этом разговоре Вера думала, что она желает добра Наташе.) — Но в наше время,— продолжала она, упоминая о нашем времени, как вообще любят упоминать ограниченные люди, полагающие, что они нашли и оценили особенности нашего времени и что свойства людей изменяются с временем,— в наше время девушка имеет столько свободы, что le plasir d'être courtisée[6] заглушает это чувство et Natalie, il faut l'avouer, y est très sensible[7].

Князь Андрей не знал, что будет, но, слушая бестактные и неловкие слова Веры, он чувствовал внутреннее страдание, [как будто какое-то несчастие начинало совершаться над ним] подобное тому, которое должен испытывать музыкант, когда слышит и видит своего лакея, передразнивающего его, играющего с значительным видом на инструменте, которого он ⟨*1 нрзб*⟩ не знает. Так самодовольно играла Вера на инструменте тонкого, гостинного разговора.

— Да, я думаю,— отвечал Андрей сухо,— вы были в последнем концерте Каталани?

— Нет, я не была, но, возвращаясь к Natalie, я думаю, никто так не был courtisée[8], как она, но никогда, до самого последнего времени, никто сериозно ей не нравился, даже наш милый cousin Борис, которому очень тяжело было от нее отказаться.

Князь Андрей прокашлялся и, нахмурившись, молчал. [Ему совестно и больно становилось за себя и за Наташу и] Он испытывал враждебное чувство к Вере, которое он бы не удержался выразить, если бы она не была женщина. Она не замечала этого.

— Вы ведь дружны с Борисом? — сказала она.

— Да, я его знаю... [Вы так близки с ним]

— Он, верно, вам говорил про свою детскую любовь к Натали.

[— Нет.] Последнее время он трогателен был, [но Natalie a su tenir bon et lui refusé net[9]] он очень влюблен и, ежели бы он был богат...

— Разве он делал предложение? — спросил Андрей невольно [начавши интересоваться].

— Да, знаете, это была детская любовь, vous savez entre cousin et cousine cette intimité mène quelquefois à l'amour [Ну, и это так было. Они обещали друг другу, а потом...] Mais... vous savez l'âge, les circonstances[10].

— Ваша сестра отказала ему или он отказал? — спросил князь Андрей.

— Да, знаете, эти были детские интимные отношения, которые были очень милы, когда они были детьми. Mais le cousinage est dangereux voisinage, vous savez [et maman a mis bon ordre à tout cela. Et tant mieux pour Natalie, N est-ce pas?[11]] [И это так тянется, я думаю. Борис ездит к нам, но теперь уж он не опасен для того, кого полюбит Наташа.]

Князь Андрей ничего не ответил и неучтиво молчал. Внутри его как бы оборвалось что-то. То, что было не только естественно, но необходимо при характере Наташи, то, что она любила кого-нибудь, что она целовалась с своим cousin (как сам князь Андрей в отрочестве обнимался с своей кузиной), это [не только] никогда не приходило в голову князю Андрею, но всегда, когда он думал о Наташе, с мыслью о ней соединялась мысль о чистоте и девственности 1-го снега. «И что за вздор, чтобы я любил когда-нибудь эту девочку»,— было первое, что подумал князь Андрей [и вдруг он как будто опомнился от сна, в котором он находился в продолжение всего этого времени со дня бала.]. И как заблудив-

[6] удовольствие иметь поклонников

[7] и Натали, надо признаться, к этому очень чувствительна

[8] ни за кем столько не ухаживали

[9] Натали была тверда и отказала ему наотрез.

[10] Вы знаете, между двоюродным братом и сестрой эта близость очень часто приводит к любви. Но, знаете, возраст, обстоятельства...

[11] Но, вы знаете, двоюродное родство — опасное соседство, и мамà всё это привела в порядок. И тем лучше для Натали, не так ли?

шийся ночью путешественник с удивлением на рассвете оглядывает местность, в которую занесло его, князь Андрей не мог понять сразу, какими судьбами занесло его за чайный стол молодых, наивных каких-то Бергов. И что ему за дело до Наташи [и сестры] [которая может совершенно целоваться с кем ей угодно и которая, верно, перецеловала уже многих], и до сестры ее, и до этого наивного немца, рассказывающего, как хорошо в Финляндии делают серебряные корзиночки для хлеба и сухарей. Но как путешественник, заехавший в незнакомую местность, долго не может решиться выехать, не зная, где была его прежняя дорога, князь Андрей, не слушая, не отвечая, долго сидел у Бергов, удивляя и даже под конец тяготя их своим присутствием. [Во 2-м часу он приехал...] [12]

Выйдя от Бергов, князь Андрей [почувствовал], как только он остался сам с собою, почувствовал, что он не может уже вернуться на старую дорогу, что он любит, и ревнует, и боится потерять *ее*, несмотря *на всё*, еще больше, чем прежде. Было еще не поздно. Он велел ехать к Pierr'у, которого он, к удивлению, не видал все эти дни [дома]. У освещенного подъезда Безуховых стояли кареты. У графини был раут, был французский посланник, но Pierre был один наверху, в своей половине.

Pierre в выпущенной рубашке сидел в низкой, накуренной комнате и [писал] переписывал подлинные шотландские акты, когда вошел к нему князь Андрей.

Pierre со времени бала чувствовал на себе приближение припадка ипохондрии и с отчаянными усилиями старался бороться против них. Опять всё ему казалось ничтожно в сравнении с вечностью, опять представлялся вопрос: к чему? И он дни и ночи *заставлял себя работать*, трудом надеясь отогнать приближение злого духа.

— А, это вы,— сказал он ему с нерадостно и рассеянным видом.— [Я очень рад] А я вот работаю,— сказал он, указывая на тетрадь с тем видом спасения от невзгод жизни, с которым смотрят несчастливые люди на свою работу.

— Давно не видать тебя, милый,— сказал Андрей.— Ростовы спрашивали про тебя.

— А, Ростовы.— Pierre покраснел.— Вы были у них?

— Да.

— Мне некогда, вы знаете, я еду и вот кончаю работу...

— Куда? — спросил князь Андрей.

— В Москву.— Pierre вдруг тяжело вздохнул и повалился своим тяжелым телом на диван подле Андрея.— Правду тебе сказать, nous ne nous convenons pas avec la comtesse [13]. Испытание сделано и... Да, да, я рано женился, но вам, вам самое время.

— Ты думаешь? — сказал князь Андрей.

— Да, и я скажу вам на ком,— опять покраснев, сказал Pierre [Ну, что я вам говорил про младшую Ростову]

— На младшей Ростовой,— улыбаясь сказал Андрей.— Да, я скажу тебе, что я мог бы влюбиться в нее.

— И влюбитесь, и женитесь, и будете счастливы,— с особенным жаром заговорил Pierre, вскакивая и начиная ходить.— И я всегда это думал. Эта девушка такое сокровище, такое... Это редкая девушка. Милый друг, я вас прошу — вы не умствуйте, не сомневайтесь. Женитесь, женитесь и женитесь.

— Легко сказать! Во-первых, я стар,— сказал князь Андрей, глядя в глаза Pierr'у и ожидая ответа.

— Вздор,— сердито закричал Pierre.

---

[12] См. Варианты, № 15.

[13] мы с графиней не подходим друг к другу

— Ну, ежели бы я и думал, quoique je suis à 100 lieus du mariage[14], у меня отец... который сказал мне, что моя новая женитьба была бы единственное могущее его поразить горе.

— Вздор! — кричал Pierre,— и он полюбит ее. Она славная девушка. Женитесь, женитесь, женитесь и n'en parlons plus[15].

И, действительно, Pierre придвинул свои тетради и стал объяснять князю Андрею значение этих подлинных шотландских актов, но князь Андрей не слушал объяснения актов, не понимал даже всё завистливое, скрываемое страдание Pierr'a и опять навел разговор о Ростовых и женитьбе. Где была его тоска, его презрение к жизни, его разочарованность. Он, как мальчик, мечтал, делал планы и жил весь в будущем. Pierre был единственный человек, перед которым он решался высказаться, но зато ему он уже высказал всё, что у него было на душе. То наивно, как мальчик, рассказывал свои планы, то сам смеясь над собою.

— Да, ежели бы я женился теперь,— говорил он,— я бы был в самых лучших условиях. Честолюбие мое всякое похоронено навсегда. В деревне я выучился жить. Привез бы instituteur'a[16] Николушке. Маша, которой жизнь тяжела, жила бы со мной. Зиму я приезжал бы в Москву. Право, мне точно 17 лет. Они проговорили до поздней ночи и последние слова Pierr'a были: «женитесь, женитесь, женитесь».

⟨XIV⟩

[В первый день Наташе было страшно, что приедет князь Андрей, что наступит страшная минута, решающая всё, но он не приехал ни на другой, ни на третий, и Безухов, заезжавший в это время, сказал, что он сам не видел Болконского за это время и не может понять, где он] [В первый день Наташе было страшно, что наступит страшная минута, решающая всё и лишающая ее лучшего счастия] В первый день после своего ночного объяснения с матерью, где они решили, что князь Андрей должен сделать предложение, Наташа ждала его со страхом, что наступит та решительная минута, которая лишит ее лучшего ее счастия — надежды ожидания любви от всех мужчин, которых она встречала,— тех испытаний, которые она любила делать над каждым мужчиной — полюбить ее. Наступит то время, когда будут и другие радости — быть дамой, ездить ко двору и т. д., но надо будет отказаться от прежних, привычных, веселых радостей. Ей страшно было, что приедет этот князь Андрей, который один из всех мужчин более всех нравился ей, и сделает предложение. Но он не приехал [и, ложась спать], и на другой день она уже нетерпеливо и страстно ждала его и боялась, что он не приедет. Ежели бы она умела сознавать свои чувства, то она увидала, что нетерпение это проистекало не из любви, но из страха оказаться смешною и обманутою в глазах себя, и матери, и Pierr'a, и, ей казалось, всего света, который знал или узнает то, что было и как она надеялась. В этот день она была тиха и пристыжена. Ей казалось, что все знают ее разочарование и смеются над ней или о ней жалеют. Вечером она [не выдержала, она] пришла к матери и расплакалась, как ребенок, в ее постели. Сначала слезы ее были слезы обиженного, оскорбленного ребенка, который сам отыскивает свою вину и, не находя ее, спрашивает, за что он наказан, но потом она рассердилась и объявила матери, что она вовсе не любит и никогда не любила князя Андрея и не пойдет за него теперь, пускай он, как хочет, будет просить ее. Но будет ли он еще просить ее? Этот вопрос ни на минуту не оставлял ее, и с этим мучительным, неразрешимым вопросом она заснула.

---

[14] хотя я за 100 миль от женитьбы
[15] не будем об этом больше говорить
[16] воспитателя

«Он такой странный, такой непохожий на всех остальных. От него всё может случиться,— думала она.— Но всё равно, кончено. Теперь я об нем больше не думаю, а завтра надеваю папашино именинное голубое платье, любимое Бориса, и буду весела целый день». [«Очень нужно мне слушать, что этот твой Безухой наговорил, и зачем мне от этого быть скучной. И когда Безухой приедет, скажу ему, чтобы он вперед не говорил мне таких глупостей». Но ни князь Андрей, ни Безухой не приезжали и в следующие дни. Князь Андрей потому, что он решился никогда больше не ездить. Безухой оттого, что, поняв на другой день глупость, которую он сделал, он заперся у себя в комнате за переписками шотландских актов и не выезжал никуда, ожидая, что как-нибудь развяжется сделанная им глупость, как и всё на свете развязывается.]

Но, несмотря на твердое решение забыть всё и возвратиться к прежней жизни, несмотря на голубое папашино платье, несмотря на полосатое с кружевами, в котором, по приметам, бывало всегда еще веселее, Наташа не могла уже войти в прежний ход жизни. Все ее обожатели были у них за эти дни, и Борис... и еще другие, все они так же смотрели ей в глаза и восхищались ею, но всё это было невесело, и при них еще живее вспоминался ей князь Андрей, и беспрестанно она краснела и раздражалась; ей всё казалось, что они *знают* и жалеют ее. Мысль о возможности замужества [и слова, сказанные] и сериозной взгляд на всё это матери незаметно для нее самой всю переродили ее. Ей в душе уже не могло быть весело по-прежнему [хотя она казалась кокетливее и веселее обыкновенного].

Когда один раз вечером графиня стала успокоивать Наташу, говоря ей, что отсутствие князя Андрея очень естественно, что перед таким важным решением ему, вероятно, надо много сделать и обдумать,— что необходимо ему, вероятно, согласие отца. Наташа, вслушивавшаяся сначала в слова матери, вдруг прервала ее.

— Перестаньте, мама̀, я и не думаю и не хочу думать [об] [Что-нибудь Безухов солгал. Просто солгал, солгал.]. Так, поездил и перестал, и перестал.— Голос ее задрожал, она чуть не заплакала, но опять оправилась и весело продолжала.— И совсем я не хочу выходить замуж. И я его боюсь. Я теперь совсем, совсем успокоилась...

На другой день после этого разговора Наташа в том самом голубом платье, которое было ей особенно известно за доставляемую им по утрам веселость, ходила по большой пустой зале, которую особенно любила за сильный резонанс, который был в ней, и, проходя мимо каждого из зеркалов, всякий раз взглядывала в него и всякий раз, останавливаясь на середине залы, повторяла одну музыкальную фразу конца херубиневского хора, особенно понравившегося ей, прислушиваясь радостно к той (всякий раз как будто неожиданной для нее) прелести, с которой эти звуки, переливаясь, наполняли всю пустоту залы и медленно замирали. Она останавливалась, победительно улыбалась и продолжала свою прогулку, ступая не простыми шагами по звонкому паркету, но на всяком шагу переступая с каблучка (на ней были новые любимые башмаки) на носок, и так же радостно, как и к звукам своего голоса, прислушиваясь к этому мерному топоту каблучка и поскрипыванию носка — ток — тип, ток — тип.— И опять она, проходя мимо зеркала, заглядывала в него. «Вот она я! — как будто говорило выражение ее лица при виде себя.— Ну и хорошо». Лакей хотел войти, чтобы убрать что-то в зале, но она не пустила его, опять, затворив за ним двери, продолжала свою прогулку.

Она находилась в то утро опять в том любимом ею привычном состоянии любви к себе и восхищения перед собою. «Что за прелесть эта Наташа,— говорила она опять про себя словами какого-то 3-го собирательного мужского лица,— хороша — голос — молода, и никому она не ме-

шает [и все ее любят], оставьте только ее в покое».— Топ — то-то-то,— пропела она и опять, как refrain [захлопали] затопали каблучки и заскрипели носочки. Она даже не могла удержаться и громко засмеялась своей радости.

В это время в передней отворилась дверь подъезда, кто-то спросил — дома ли? — и чьи-то шаги.

Наташа смотрела в зеркало, но она не видала себя. Она слушала звуки в передней. Когда она увидала себя, лицо ее было бледно и вдруг покраснело. Это был *он*, настоящий *он*. Она это верно знала, хотя чуть слышала звуки из затворенных дверей.

Она вошла в гостиную [и, поцеловав мать, села недалеко от нее на кресле].

— Мама, Болконский приехал,— сказала она.— Мама, это ужасно, это несносно. Я всё кончу,— проговорила она озлобленным голосом.— Я не хочу мучаться.

— Что ж, проси,— сказала графиня со вздохом вслед за Наташей вошедшему лакею и подтвердившему известие Наташи.

Князь Андрей вошел и с спокойным лицом поцеловал руки дам и [начал ту повторенную уж им несколько раз нынче фразу, которую он говорил, что он приехал проститься, и почему и куда он едет] стал говорить про m-lle Georges. Князь Андрей говорил всё это [так спокойно, как будто] более спокойно, чем когда он говорил это в других гостиных. Он смотрел на Наташу, и взгляд его был так же холоден и спокоен, как когда он смотрел на Анну Павловну. Князь Андрей в своем житейском опыте умел усвоить себе то необходимое искусство говорить [и думать] одним ртом и смотреть, не видя, то искусство, которое все мы прилагаем [когда] бессознательно, когда глаза наши останавливаются упорно на одном предмете, и мы его не видим, или когда произносим заученные слова, не думая о них, и которое сознательно прилагается, когда мы хотим, не испугавшись, смотреть на что-нибудь страшное или произнести трогательные слова [не расплакавшись и] без дрожания голоса,— искусство, которое состоит в том, чтобы как будто раздвинуть два механизма — внешних проявлений и внутренней душевной жизни — так, чтобы тот вал, шестерня, ремень — та передача механизма, которая в нормальном состоянии существует между этими двумя механизмами, не существовала более. У князя Андрея были умышленно раздвинуты эти механизмы, когда он смотрел и говорил, и он чувствовал, что, ежели бы восстановилось это сообщение, он бы не мог так смотреть и говорить, и бог знает, что бы вышло. От этого он старательно [раздвигал] [держал раздвинутыми] не давал колесу от внешних проявлений цеплять за душевную жизнь, и оттого был так слишком неприятно прост и спокоен. Наташа в ту же минуту поняла, что тут что-то было неестественное и непонятное, и она с упорным и неучтивым любопытством и волнением смотрела, ни на секунду не спуская глаз, на лицо князя Андрея. Графиня не слушала князя Андрея, не понимала, что он говорил ей (она не слыхала даже того, что он сказал о своем отъезде). Она беспрестанно вспыхивала, краснела, как девочка, и взглядывала на дочь. Графиня за эту неделю так много передумала и перечувствовала об этом предстоящем объяснении, что она теперь только думала о том, что неужели вот оно пришло уже, уже это страшное мгновение и что вот надо или не надо встать и уйти под каким-нибудь предлогом, оставив их для объяснения. Поговорив о театре, графиня встала.

— Я пойду позову мужа,— сказала она.— Он занят, но будет очень жалеть, что не видал вас.

Когда она встала и вышла, Наташа испуганными, умоляющими глазами взглянула на мать, и князь Андрей почувствовал, что против его воли раздвинутый механизм опять сдвинулся, и что теперь уже он не в состоянии сказать ни одного спокойного слова, и что глаза его пере-

дают ему всю силу влияния на него этой девушки [и что он не может уже вы...]. Он улыбнулся ей и начал говорить ровно и спокойно.

— Вы знаете зачем я приехал?

— Да... Нет...— поторопилась сказать она.

— Я приехал [просить вашей руки] узнать о своей участи, которая зависит от вас.

Лицо Наташи просияло, но она ничего не сказала.

— Я приехал [спросить вас] сказать вам, что я вас люблю и что мое счастье зависит от вас. Захотите ли вы соединить свою судьбу с моей?

— Да,— тихо, тихо сказала Наташа.

— Но знаете ли вы, что я вдовец, что у меня сын, что у меня отец, которого бы я желал получить согласие.

— Да,— всё так же сказала Наташа.

Он взглянул на нее, и серьезная страстность ее выражения испугала его, как неожиданность. Он хотел всё смотреть на нее, но такое новое счастье любви обхватило его, что он не мог этого сделать. Он улыбнулся и поцеловал ее руку.

— Но нужно время. Дадите вы мне год...— сказал он.

— Я ничего не знаю, не понимаю... Я только... Я очень счастлива. Я... [Она прижалась к его спустившейся щеке губами. В это время вошла графиня и князь Андрей повторил ей то же, что]

— Вы дадите мне год? Вы не разлюбите меня?

Наташа не могла отвечать. Внутренняя работа, происходившая в ней, измучила ее. Она громко вздохнула, другой раз, чаще и чаще и зарыдала. Она ничего не могла выговорить. «Ну так что же»,— говорили ее глаза, с детской нежностью смотревшие в лицо князя Андрея. Она села. Князь Андрей взял ее тонкую, худую руку и прижал к губам.

— Да?— сказал он, улыбаясь. Она улыбнулась тоже сквозь слезы, нагнулась над его головой, подумала секунду, как будто спрашивая себя, можно ли это, и поцеловала его. [«Да, да, подождать»,— думал]

— Нет, скажите...

Князь Андрей попросил видеть графиню и передал ей то же. Он просил руки ее дочери. Но так как дочь ее еще молода, имела привязанность к своему cousin, так как князю Андрею нужно получить согласие отца (который, конечно, за честь сочтет родство с Ростовыми, сказал князь Андрей), так как нужно ему, Андрею, лечиться за границей, он просит подождать год, во время которого он связывает себя, но не связывает Натали. Через год, ежели он будет жив, с согласием или без согласия отца, он будет просить сделать его счастье, отдать ему Натали. Но, ежели Натали полюбит другого в это время, он просит ее только написать ему одно слово. Наташа улыбнулась, слушая его, и из всего, что он говорил, она понимала только то, что она, девочка Наташа, такой ребенок, недавно обиженный гувернанткой Марьей Эмильевной, над которой Nicolas смеялся, когда она рассуждала, с ней, с этой девочкой, так серьезно обращались[1] как с равной, как с высшей и еще любимой, кто ж? Князь Андрей, такой умный, такой рыцарь, такой большой, но такой милый человек. Это было лестно, это было счастливо, но и страшно вместе с тем. Страшно потому, что Наташа чувствовала, что теперь это не шутка, что нельзя играть больше с жизнью. В первый раз она чувствовала, что она большая и что на ней тоже лежит ответственность за каждое слово, которое она скажет теперь.

— От графини зависит решить объявить ли это обязательство или оставить тайной.

Князь Андрей желал бы лучше именно для своего отца не разглашать его. Графиня согласилась оставить тайной. Но в тот же день, как

---

[1] Так в автографе.

тайна, это было сообщено всем домашним. [Когда кончилось объяснение, князь Андрей взял руку Наташи, поцеловал ее и на правах жениха отошел с ней к окну.]

Князь Андрей был счастлив, хотя и менее того, как он ожидал, но он был счастлив. Он отошел к окну с Наташей.

— Вы знаете, что я с того времени, как вы были у нас в Отрадном, люблю вас,— сказала она. [Он еще раз поцеловал ее руку.]

Старый граф делал вид, как будто ничего не знал, но особенно радостно ласков был с князем Андреем[2]. [Наконец] [В конце зимы] [Князь Андрей каждый день бывал у Ростовых до того времени, когда граф, не получив места, уехал в Отрадное и князь Андрей приехал к ним весною проститься перед своим отъездом за границу. Его рана открылась, он похудел и доктора посылали его. Он обещал приехать осенью, он так же нежен был к Наташе и так же тверд в своем намерении. Об отце он ничего не говорил.— Он будет любить вас, как я,— говорил он Наташе. Наташа была спокойна и счастлива.] Ростовы уже должны были уезжать, но они остались еще несколько времени для Наташи и князя Андрея. Болконский бывал у них каждый день и, как домашний человек, в расстегнутом мундире, сидел за маленьким шахматным столиком, рисовал в альбомы, играл в мячик с Петей [и заставлял петь Наташу, рассказывал свои похождения, путешествия и свою ссору с] и оживлял их семейный кружок добродушной и простой веселостью. Сначала в семействе чувствовалась неловкость в обращении с ним. Его называли и считали ученым. Он казался человеком из чуждого света; но потом привыкли к нему и, не [тяготились] стесняясь, говорили при нем о своих домашних делах [оставляли его одного с Наташей, с которой он себе не позволял ничего, кроме дружеских разговоров, и перестали перед ним высказываться] и с ним говорили о пустяках, в которых он, как и все, принимал участие. Он им казался сперва гордым и почему-то ученым, но скоро они убедились, что он про всё мог говорить. Он про хозяйство умел говорить с графом и про тряпки с графиней и Наташей. [〈Раз прочитали?〉] [Раз при нем рассказали] Ему доверчиво рассказывали про Nicolas, про его решение мало брать денег и про его проигрыш.

— Это очень счастливо, что он раз и сильно проиграл,— сказал князь Андрей.— Это лучшее средство для молодого человека. Со мной тоже было.— И он рассказал, как в первое время службы его обыграли в Петербурге и как он хотел застрелиться. Наташа смотрела на него.

— Это удивительно, как всё уже знает! — сказала Наташа.— Всё и всех знает, всё испытал, даже неприятно.

— Отчего же? — спросил князь Андрей, улыбаясь.

— Так, я не знаю.

— Ну, я не буду рассказывать.

— Нет, я люблю.

Иногда домашние Ростовы между собою и при князе Андрее удивлялись тому, как всё это случилось и как очевидно были к этому предзнаменования. Всё казалось им предзнаменованиями: и приезд князя Андрея в Отрадное, и их приезд в Петербург, и сходство между Наташей и Андреем, которое заметила няня в первый приезд князя Андрея, и столкновение в 1805-м году между Андреем и Nicolas, и то, что всё это решилось в день Адрияна и Натальи, «Андрея и Наташи», говорили они.

В доме царствовала, однако, та поэтическая скука и молчаливость, которая всегда сопутствует жениху и невесте. Часто, сидя вместе, молчали. Иногда вставали и уходили, и жених с невестой все-таки молчали и не тяготились этим. Старый граф обнимал и целовал князя Андрея,

---

[2] К тексту: *Он улыбнулся* (с. 488) ∾ *ласков был с князем Андреем.*— см. Варианты, № 16.

спрашивал у него совета насчет воспитанья Пети или службы Nicolas. Старая графиня вздыхала, глядя на них. Соня радостно глядела то на князя Андрея, то на Наташу. [Сама] Наташа была тревожна и счастлива. Чем больше она была счастлива, тем больше ей недоставало чего-то. Когда князь Андрей говорил — он очень хорошо рассказывал [про отца, про сестру] — она с гордостью слушала его; когда она говорила, она с страхом и радостью замечала, что он внимательно и испытующе смотрел на нее. И она с недоумением спрашивала себя: «Чего он ищет во мне? Чего-то он добивается своим взглядом». Иногда она входила в свое безумно веселое расположение духа, и тогда она особенно любила слушать и смотреть, как князь Андрей смеялся. Он редко смеялся, но зато, когда он смеялся, то отдавался весь своему смеху, и всякий раз после этого смеха она чувствовала себя ближе ему.

Накануне их отъезда князь Андрей привез с собой Pierr'a. Pierre [разговаривал с матерью] казался растерянным и смущенным. Он разговаривал с матерью. Наташа пошла и села с Соней у шахматного столика, приглашая этим к себе князя Андрея. Он подошел к ним.

[— Вы давно знаете моего друга? — спросил он.— Да, давно.— И, как всегда говоря, князь Андрей стал]

— Вы ведь давно знаете Безухова,— спросил он.— Вы любите его?

— Да, он славный, но смешной ужасно.

И, как всегда говоря о Pierr'e, стали рассказывать анекдоты о его рассеянности, которые даже выдумывали на него.

— Вы знаете, я всё сказал ему,— сказал князь Андрей.— Я знаю его с детства. Это золотое сердце. Я вас прошу, Natalie,— сказал он вдруг серьезно,— одно. Я уеду. Бог знает, что может случиться. Вы можете разлю... Ну, знаю, что я не должен говорить об этом. Одно, что бы ни случилось с вами, когда меня не будет...

— Что же случится?..

— Какое бы горе ни было,— продолжал князь Андрей,— и прошу, Natalie. Что бы ни случилось, обратитесь к нему одному за советом и помощью.

В конце февраля уехали Ростовы, и скоро после них, получив отставку, уехал и князь Андрей за границу, только на 4 дня заехав в Лысые Горы, куда к этому времени возвратились уже князь с дочерью, прожившие эту зиму в Москве.

⟨XV⟩

Эту зиму 1809 и 10 годов [княжна Марья с] князь Николай Андреич Болконский с дочерью жили в Москве[1]. Старику был разрешен въезд в столицы, и он хотел воспользоваться им, но не выдержал жизни в Москве более 3-х месяцев и еще великим постом возвратился в Лысые Горы. [Еще в бытность свою в Москве княжна Марья получила из Петербурга письмо от брата, в котором он писал ей про свою любовь к Ростовой, намеренье жениться на ней и с эгоизмом любви влюбленного рассказывал про свое счастье и просил сестру сказать про это отцу. Хотя он ничего не писал ей о том, чтобы она приготовила отца к этому известию, княжна Марья поняла, что этого хотел ее брат, и что ее обязанность была сделать это. Но сделать это было очень трудно, тем более теперь, когда после отъезда сына и после различных столкновений в Москве характер князя сделался еще раздражительнее, чем прежде.] Здоровье и характер князя в этот последний год, после отъезда сына, очень ослабели. Он сделался еще более раздражителен, чем прежде, и все

---

[1] На полях: *Письмо князя Андрея в Москву. Его приезд, старик сердит. Едут в деревню. Княжне забота. Ее юродивые. Приезжает Pierre. Денег мне не нужно, у меня состояние моей матери.*

вспышки его беспрестанного гнева большей частью обрушáлись на княжну Марью. Он как будто старательно изыскивал все самые больные места ее, чтобы как можно жесточе нравственно мучать ее. [И он] У княжны Марьи были две страсти [два 〈удовольствия?〉] и потому две радости: племянник Николушка и религия, и обе были любимыми темами нападений и насмешек князя. О чем бы ни заговорили, он сводил разговор на суеверия [на религию] старых девок или на баловство и порчу детей. «Тебе хочется его (Николушку) сделать такой же старой девкой, как сама, напрасно, князю Андрею нужно сына» — говорил он; или, обращаясь к mademoiselle Bourienne, он спрашивал ее при княжне Марье, как ей нравятся наши попы и образа, и шутил...

Он беспрестанно больно оскорблял княжну Марью, но дочь даже не делала усилий над собой, чтобы прощать его. Разве мог быть больной слабый старик виноват перед нею, и разве мог отец ее, который (она все-таки знала это) любил ее, быть к ней несправедливым? Да и что такое справедливость? Княжна никогда не думала об этом гордом слове: «справедливость». Все сложные законы и суждения человечества сосредоточивались для нее [в одной простой и ясной истине исполнять закон любви] в одном простом и ясном законе — в законе любви и самоотвержения, преподанных нам Тем, который с любовью страдал за человечество, когда сам он был Богом. Что ей было за дело до справедливости или несправедливости других людей? Ей надо было самой страдать и любить, и это она делала.

Ранней весной в Лысые Горы приехал князь Андрей. Он взял отпуск и ехал за границу лечить свою открывшуюся рану и приискать своему сыну швейцарца-воспитателя, одного из таких наставников философов, добродетельных [в возможность которых верил в то время] друзей, которых тогда привозили детям богатых людей. Князь Андрей был весел, кроток и нежен, каким его давно не видела княжна Марья. Она предчувствовала, что с ним случилось что-то, но он ничего не сказал княжне Марье о своей любви. Перед отъездом долго о чем-то беседовал с отцом, и княжна Марья заметила, что перед отъездом оба были недовольны друг другом. [Вскоре после отъезда княжна Марья писала из Лысых Гор в Петербург своему другу Жюли Корнаковой, которую княжна Марья, как мечтают всегда девушки, мечтала выдать за своего брата и которая в это время была в трауре по случае смерти своего брата в Турции] [Княжна Марья, по-старому стареясь в девках, жила в Лысых Горах с своим стареющим, опускающимся отцом, следила за упадком сил отца и за развитием сил племянника, одинаково воображая, что как упадок одного, так и развитие другого суть необыкновенные, встретившиеся ей 1-й явления. В 1809 году она так же писала свое обычное письмо другу своему Жюли.]

Старый князь после известия о смерти сына, возвращения его и смерти невестки и в особенности после неприятностей, бывших у него по ополчению, сильно постарел. В 1808 году он ездил [для свидания] в Москву, но скоро возвратился [пересорившись со всеми во время своего командования в ополчении и в особенности после известия о смерти сына, его возвращения и смерти невестки сильно постарел [нравственно], и близкие отношения с сыном становились всё тяжелее и тяжелее]. Нравственный упадок его особенно выказался после отъезда сына. Он выражался преимущественно в раздражении, только сменявшимся редкими минутами спокойствия, и странным, вдруг проявившимся (княжна Марья видела это, не могла верить себе) пристрастии к госпоже Бурьен. Только она могла говорить и смеяться, не раздражая его, только она могла читать ему вслух так, чтобы он оставался доволен, и она постоянно служила для него образцом, на который он для подражания указывал своей дочери. Княжна Марья была виновата в том, что она не так весела и не имеет такого здорового цвета лица, не так ловка, как госпожа

Бурьен. Большая часть разговора за обедом происходила с Михаилом Ивановичем о воспитании и имела целью доказать княжне Марье, что она портила баловством своего племянника, и что женщины ни на что более не способны, как на то, чтобы производить детей, и что в Риме, ежели бы были старые девы, то, вероятно, бы кидали с Тарпейской скалы, или с госпожей Бурьен о том, что религия есть занятие для праздных людей, и что ее одноземцы в 92 году одно только сделали умное, уничтожив бога. Проходили недели, что он не говорил ласкового слова с дочерью и старательно находил все больные места, где бы ужалить ее. Иногда (это случалось преимущественно до завтрака, время самого дурного расположения духа) он приходил в детскую, няньки и мамки с трепетом разбегались, он находил всё дурным, всё систематической порчей ребенка, раскидывал, ломал игрушки, бранил, даже толкал иногда княжну Марью и поспешно убегал. [Вскоре после отъезда князя Андрея еще новое событие — сватовство за княжну Марью, которая как очень богатая невеста была заманчива для многих — расстроило еще больше беспокойство. Ее сватали через Анну Михайловну за Nicolas Ростова, которого она видела несколько раз в его последний отпуск.]

В середине зимы князь безо всякой причины заперся в свою комнату, не видя никого, кроме m-lle Bourienne, и не принимая к себе дочь. M-lle Bourienne была очень оживлена и весела, и в доме делались сборы для отъезда куда-то. Княжна ничего не знала. Она не спала две ночи, мучилась и, наконец, решилась пойти и объясниться с отцом. Княжна Марья, неосмотрительно выбрав время до обеда, пришла к отцу, требуя свидания с ним для необходимого объяснения. Несмотря на всегдашний свой страх, она преодолела его на этот раз под влиянием чувства негодования за свое незаслуженное положение в доме. Эта мысль волновала ее так, что она допустила даже в себе подозрение против m-lle Bourienne, умышленно восстанавливавшей против нее отца. Но она осталась кругом виновата, дурно выбрав время для объяснения. Ежели бы она спросила у m-lle Bourienne, та бы объяснила ей, в какое время дня можно и неможно говорить с князем. Но она с своею бестактностью своими тяжелыми шагами и с выступавшими красными пятнами на лице вошла в кабинет и, боясь, что ежели она замнется и недостанет у ней более храбрости, прямо приступила к делу.

— Mon père[2], — сказала она, — я пришла вам сказать одно, что, ежели я что-нибудь дурно сделала, скажите мне, накажите меня, но не мучьте так. Что я сделала?

Князь был в одной из самых дурных минут. Он, лежа на диване, слушал чтение, он фыркнул, посмотрел на нее молча несколько секунд и, неестественно засмеявшись, сказал: — Тебе что надо? Что надо? Вот жизнь, ни минуты покоя.

— Mon père...

— Что тебе нужно? Мне ничего не нужно. У меня Bourienne есть, она хорошо читает, и Тихон камердинер хороший. Что же мне еще. Ну, продолжайте, — обратился он к m-lle Bourienne и опять лег. Княжна Марья расплакалась и выбежала, но в истерике упала у себя в комнате.

Ввечеру того же дня князь позвал ее к себе, встретил у двери — он, видно, дожидался ее — тотчас обнял ее, как только она вошла, заставил ее читать себе и всё ходил, дотрогиваясь до ее волос. M-lle Bourienne он не звал этот вечер и долго не отпускал от себя княжну Марью. Только она хотела уходить — и он выдумывал новое чтение и опять продолжал ходить. Княжна Марья знала, что он хочет говорить с ней об объяснении нынешнего утра, но не знает, как начать. Ей было невыразимо больно

---

[2] Отец

и совестно, что отец перед нею в виноватом положении и помочь ему она не могла, потому что не смела. Наконец, в третий раз она встала, чтобы уходить; его смягченное, просветленное детски робким взглядом и детской улыбкой на морщинистых щеках ⟨лицо?⟩ смотрело прямо на нее... Он быстрым движением схватил ее руку и, несмотря на все усилия отдернуть ее, поцеловал. Он никогда в жизни не делал этого. Закрыл ее обеими ладонями, вновь поцеловал, с тою же робкой улыбкой взглянул в глаза дочери, вдруг нахмурился, перевернул ее за плечи и толкнул ее к двери.

— Ступай, ступай,— проговорил он.— В то время как он повертывал ее, он сам был так слаб, что пошатнулся, и голос, проговоривший «ступай, ступай», хотевший казаться грозным голосом, был слабый, старческий голос.

Как было не простить всего после этого. Но не простить — княжна Марья и не могла думать о прощении, разве мог он быть виноват перед нею, разве мог быть несправедливым, да и что такое несправедливость. Она никогда не думала об этом гордом слове «справедливость». Все законы человечества сосредоточивались для нее в одной простой и ясной истине: исполнять закон любви и самоотвержения, преподанный нам Тем, который с любовью страдал за человечество, когда сам он был Богом. Что ей бывало за дело до справедливого и не справедливого других людей. Ей нужно было любить и исполнять закон любви, и это она делала. Но минута умиления старого князя прошла, и на другой день прежняя жизнь пошла по-старому, по-прежнему, чувство тихой ненависти старика к своей дочери, выражавшееся ежеминутными оскорблениями, которые как бы против его воли делались им, стало проявляться по-прежнему. С этого времени новая мысль стала входить в голову княжны Марьи. Эта мысль для княжны Марьи столь же темная и столь же дорогая, составлявшая сущность жизни, мысль, и как мысль князя Андрея о дубе. Это была мысль о монашестве, и не столько монашестве, сколько странничестве. Года три тому назад княжна Марья сделала обыкновение два раза в год ездить говеть в Сердобскую пустынь и беседовать там с отцом Акинфием, настоятелем скита, и исповедоваться ему. Только ему, отцу Акинфию, она поверяла эту тайну, и он сначала отговаривал, а потом благословил ее. Оставить семью, родню, родину, свое положение, все заботы о мирских благах для того, чтобы не прилепиться ни к чему, ходить в посконном рубище, скитаться под чужим именем с места на место, не делать вреда людям и молиться за них. Молиться и за тех, кто покровительствует им, и за тех, которые гонят их. «Выше этой истины и жизни нет истины и жизни»,— думала княжна Марья. Что же могло быть лучше такой жизни? Что может быть чище, возвышенней и счастливей? Часто, слушая рассказы странниц, она возбуждалась их простыми для них речами, механическими речами, так, что она готова была вот-вот бросить всё и бежать из дому (у ней уже был и костюм, приготовленный для этого), но потом, увидав отца и особенно маленького Коко, она, проклиная свою слабость, потихоньку плакала и чувствовала, что она, грешница, любила их больше, чем Бога. С ужасом и страхом находила княжна в своей душе еще худшее (по ее мнению, помыслу): страх к отцу, зависть к Bourienne, сожаление о невозможности связать свою судьбу с таким простым, честным и милым человеком, каким ей представлялся Ростов. И потом опять и опять возвращалась к своей любимой мечте видеть себя с Пелагеюшкой, в грубом рубище, одной шагающей с палочкой и котомочкой по пыльной дороге, направляя свое странствие без радости, без любви человеческой, без желаний, от угодников к угодникам и в конце концов туда, где нет ни печали, ни воздыхания о вечной радости и блаженстве. «Нет, я обдумала это, я непременно это исполню»,— думала княжна Марья, сидя у письменного стола и грызя перо, которым она писала в 1809 году

свое обычное, привычное четверговое французское письмо своему другу Julie[3].

«Горести, видно, общий удел наш, милый и нежный друг, которую я, кажется, тем более люблю, чем более она несчастна,— писала княжна.— Ваша потеря после несчастий, которые Вам нанесла война, так ужасна, что я иначе не могу себе объяснить ее, как особенной милостью бога, который хочет испытать, любя Вас и Вашу превосходную мать (письмо княжны Марьи было письмо соболезнования по случаю смерти от горячки третьего брата, тогда как два ее были убиты, один в кампанию 1805, а другой 1807 года. Так что из четырех сыновей Настасьи Дмитриевны теперь оставался только один). Ах, мой друг, религия, только одна религия может нас, уже не говорю утешить, но избавить от отчаяния, одна религия может объяснить нам то, что без ее помощи не может понять человек, для чего, зачем существа добрые, возвышенные, умеющие находить счастие в жизни, никому не только не вредящие, но необходимые для счастия других, призывают к богу, а остаются жить злые, бесполезные и вредные или такие, которые в тягость себе и другим. Первая смерть, которую я видела и которую никогда не забуду, смерть моей милой невестки, произвела на меня такое впечатление. Точно так же, как Вы спрашиваете судьбу, для чего было умирать Вашему прекрасному брату, точно так же спрашивала я, для чего было умирать этому ангелу — Лизе, которая не только не сделала какого-нибудь зла человеку, но никогда, кроме добрых мыслей, не имела в своей душе. И что ж, мой друг, вот прошло с тех пор пять лет, и я своим ничтожным умом уже начинаю ясно понимать для чего ей нужно было умереть, и каким образом эта смерть была только выражением бесконечной благости творца, все действия которого, хотя мы их большею частию не понимаем, суть только проявления его бесконечной любви к своему творению. [Теперь я понимаю значение ее смерти] Может быть, я часто думаю, она была слишком ангельски невинна для того, чтобы иметь силу перенести все обязанности матери [и иметь столкновения с мужем]. Она была безупречна как молодая жена, может быть, она не могла бы быть такою матерью. Теперь мало того, что она оставила нам и в особенности Андрею самое чистое сожаление и воспоминание, она и там, вероятно, получит то место, которого я не смею надеяться для себя [и бог знает, что бы было, если бы она жила дольше].

Но, не говоря уже о ней одной, эта ранняя и страшная смерть имела самое благотворное влияние, несмотря на всю печаль, на меня, на Андрея и на моего отца. Тогда, в минуту потери, эти мысли не могли прийти мне. Тогда я с ужасом отгоняла бы их, но теперь это так ясно и несомненно. Пишу всё это вам, мой друг, только для того, чтобы убедить вас в евангельской истине, сделавшейся для меня жизненным правилом: ни один волос с головы нашей не упадет без его воли, а воля его руководится только одной беспредельною любовью к нам, и потому всё, что ни случается с нами, всё для нашего блага. Вы спрашиваете приедем ли мы в Москву и скоро ли? Несмотря на всё желание вас видеть, не думаю и не желаю этого. И вы удивитесь, что причиной этому Буонапарте. И вот почему. Здоровье отца моего заметно слабеет и выражается особенной нервической раздражительностью[4]. Раздражительность эта,

---

[3] Письмо княжны Марьи к Жюли входило в предыдущую часть. По указанию Толстого листы с текстом письма из Рукописи 103 были перенесены в Рукопись 107, и Толстой изменил текст письма.

На полях деловые пометы: *Письмо Жюли прежде. Письмо Pierre, все масонское, слегка о Ростовых. С этого начать.*

По тексту начала письма запись: *Говорят у Ростовых веселье. Мы были в Москве. André va à Petersbourg pour affaire, mais je crois que c'est plutôt pour ne pas perdre de vue* (1 нрзб). (*Андрей едет в Петербург по делам, но, мне кажется, скорее для того, чтобы не потерять из виду* (*1* нрзб).)

[4] К тексту: *Вы спрашиваете* ∾ *раздражительностью.*— см. Варианты, № 17.

как вы знаете, обращена преимущественно на политические дела. Он не может перенести мысли о том, что Буонапарте ведет дела как с равными со всеми государями Европы и в особенности с нашим, внуком Великой Екатерины.

Как вы знаете, я совершенно равнодушна к политическим делам, но, по словам моего отца и разговора его с Михаилом Ивановичем, я знаю всё, что делается в мире и в особенности все почести, [которые воздаются] воздаваемые Буонапарту, которого, как кажется, еще только в Лысых Горах изо всего земного шара не признают ни великим человеком, ни еще меньше французским императором. И мой отец не может переносить этого. Мне кажется, что мой отец, преимущественно вследствие своего взгляда на политические дела и предвидя столкновения, которые у него будут вследствие его манеры, не стесняясь ни с кем, высказывать свое мнение, [мне кажется, что вследствие этого мой отец] так неохотно говорит о поездке в Москву. Всё, что он выиграет от лечения, он потеряет вследствие споров о Буонапарте, которые неминуемы. Мы видели образец этому в прошлом году. Во всяком случае это решится очень скоро. [Семейная жизнь наша, главное, стала грустной от разлуки с братом, он, как я уже писала вам, сделал уступку своему решению никогда уже больше не служить в военной службе. Он сказал, что обещался только после Аустерлицкого позора не служить больше никогда против Буонапарте, но что война с Турцией — другое дело, и [что то] по письму Кутузова, назначенного, как вы знаете, помощником к Прозоровскому, он тотчас же согласился и поехал в Петербург. Он и теперь там, со дня на день ожидает отправления, как мне известно по последнему письму. Образчики и книги он прислал, а не привез сам к вам, потому что знал, вас не было дома, а на другой день он должен был ехать. Отец мой, хотя как и всегда скрывая это, очень одобрил решение Андрея.] Семейная жизнь идет по-старому, за исключением присутствия Андрея. Он, как я уже писала вам, очень изменился последнее время. После [испытания] его горя он теперь только в нынешнем году [совершенно очнулся и расцвел] совершенно нравственно ожил. Он стал таким, каким я его знала ребенком, кротким, добрым и нежным. Он понял, как мне кажется, что жизнь для него не кончена; но вместе с этой нравственной переменой [он дал себе слово после Аустерлицкого позора не служить больше никогда, но я боюсь, что теперь он изменит этому решению] он физически очень ослабел. Он стал худее, чем прежде, нервнее. И я очень боюсь за него и рада, что он предпринял эту поездку в Петербург [и в наши имения и в Крым]. Я надеюсь, что это поправит его. Он поехал в Петербург, где ему нужно окончить дела с тестем, и еще потому, что он обещал Ростовым быть на свадьбе их старшей дочери. Она выходит за какого-то Берга. Но я надеюсь, что эта поездка так или иначе оживит его. Я знаю, что князь Разумовский писал Андрею, приглашая его занять какое-то важное место по статской службе. Андрей сказал [ни да, ни] нет, но я надеюсь, что он раздумает. Ему нужна деятельность. Отец мой очень одобрил поездку Андрея. Он желает, чтобы André служил. Как он ни бранит и ни презирает нынешнее правительство, хотя он и не выказывал этого, пятилетнее бездействие Андрея и то, что многие его товарищи перегнали его по службе, очень мучило моего отца, хотя и презираемо правительство, но он желает, чтобы Андрей занимал важное место и был на виду у государя, а не оставался бы век отставным полковником. Андрей же тоже в последнее время, я видела, не то, чтобы тяготился бездействием, но празднен он никогда не бывал и не может быть с его огромными [способностями. Он чрезвычайно много читал, учился, образовывал себя. Потом занимался своими имениями и, главное, в несчастном 7 году, состоя при отце, умеряя его порывы, делал так много добра, что в нашем околодке — от мужика до губернского предводителя — нет человека, который бы не любил и не уважал его.

Так я говорю, что он не то, чтобы] [способностями. Он чрезвычайно много читал, учился, просто учился, как ученик] способностями и с его сердцем. Нельзя перечесть добро, которое он здесь сделал всем, начиная от своих мужиков и до дворян etc, etc, и он, не то чтобы тяготится бездействием, а он чувствует себя настолько готовым на всякое государственное, важное дело и в военной и в гражданской сфере, что ему жалко видеть, как пропадает его способность, и что места, принадлежащие ему по праву, занимаются другими, ничтожными, людьми. [Несмотря на всю высоту его характера, он огорчен этим и, кроме того, странно сказать, но он любит, просто любит войну, войну, которая так ужасна для нас, женщин. Он любит ее, не отдавая себе отчета почему так, как некоторые женщины любят тряпки. И так он уехал веселый, оживленный и не скрывал.] Я знаю, что он огорчен этим.

И так он уехал, хотя худой, больной и несколько кашляющий, но оживленный и нежный. Он не скрывал, так как прежде, считая стыдным показывать печаль, поплакал, прощаясь со мной, с отцом и маленьким Коко. [Правда, что [в нем] в последнее время он много переменился и к своему лучшему] Удивляюсь, каким образом вообще доходят слухи из деревни в Москву, и особенно такие неверные, как тот, о котором вы мне пишете, слухи о той женитьбе Андрея на маленькой Ростовой. Правда, что Андрей в последнее время видел общество только у них, у Ростовых, правда, что Ростовы, проезжая из деревни в Петербург [(Вы слышали, что дела Ростовых очень расстроились, и что старик Ростов поехал в Петербург искать себе места), правда, что они], со всем семейством заезжали к нам, пробыли у нас целый день, правда, что [маленькая] Натали Ростова есть одна из самых обворожительных девушек, которых я когда-либо видывала, правда, что Андрей очень ласков к ней, но ласковостью старого дяди к племяннице, правда, что он очень любит ее прелестный голосок, который даже и отца моего развеселил, но не думаю, чтобы Андрей когда-нибудь думал жениться на ней [Видела тоже в этот приезд Николя и скажу вам, что он один из тех молодых людей, которые мне больше всего нравятся в жизни, он принадлежит к тому роду людей [сангвинических] веселых, скромных, честных, правдивых, которым легко и приятно прямо смотреть в глаза и из которых выходят лучшие отцы семейства, мужья, граждане и христиане. Эти люди бывают добродетельны без всякого усилия, сами не знают того, и не давая это другим ни чувствовать и ни заметить; у него очень приятный голос, они пели нам с сестрою, и, глядя на него, я думала, что как бы счастлива я была, ежели бы этот молодой человек был мужем лучшего моего друга. Тут я узнала, что странно в первую кампанию молодой Ростов встретился случайно с Андреем и у них произошло столкновение, чуть не доведшее их до дуэли. Теперь же нет ничего похожего на неприязнь, но напротив. Николя, как и все хорошие молодые люди, находится в обожании перед моим братом, и мне вдвойне мило и дорого это. Я вам сказала так решительно, что, по моему мнению, брат Андрей никогда не подумает жениться на маленькой Ростовой, не сказав почему я это так решила. Вот почему.] и не думаю, чтобы это могло случиться. И вот почему. Во-первых, я знаю, что, несмотря на то, что Андрей редко говорит о покойной жене, печаль этой потери слишком глубоко вкоренилась в его сердце, чтобы когда-нибудь дать ей преемницу и мачеху нашему маленькому Коко. [Во-вторых, эта Натали, как я вам сказала, обворожительна] Во-вторых, потому, что эта Натали совсем не из того разряда женщин, которые могут нравиться Андрею. Она привлекательна, обворожительна, но в ней нет того, что называется fond[5]. После того как она обворожит вас, и вы, без всякой причины улыбаясь, глядите на нее, вы невольно себя спрашиваете: «Что же в ней хорошего, за что

[5] глубина

я пленилась ею»,— и не находите ответа. Она меня обворожила и всех нас, так что я только на второй день могла собраться с мыслями, чтобы обдумать ее характер. У нее два огромные недостатка: тщеславие, страсть к похвалам [кокетство обворожительное, которому я не видала] и кокетство, не имеющие границ и цели. Я не видала ничего подобного. Она кокетничала со всеми: с Андреем, со мной, с своим братом и, главное, с моим отцом. Она, видимо, слышала о его характере и решила победить его — и победила; через два часа времени она дошла до того, что позволяла себе с ним такие вольности, которые никто, я думаю, в жизни не позволял себе [но она мила и необыкновенно мила]. Не думаю, чтобы Андрей выбрал ее своею женою, и откровенно скажу, я не желаю этого.

Что касается до Nicolas, то скажу вам откровенно, что он мне очень понравился, и, признаюсь, глядя на него, мечтала о счастьи вашем с ним. Как бы я желала видеть такого милого человека мужем моего лучшего друга.

Но я заболталась. Кончаю свой 9-й листок. Прощайте, мой милый друг, да сохранит вас бог под своим святым могущественным покровом. Моя милая подруга Бурьен целует вас[6].

ПИСЬМО ПЬЕРА К КНЯЗЮ АНДРЕЮ[1]

Петербург, 1809 года, октября 11 дня

Вы мне пишете, милый друг, что франкмасонство есть 〈глупая?〉 комедия и что тогда, когда он〈о〉 захотел〈о〉 быть чем-нибудь, то оно перешло в общество иллюминатов и было запрещено и уничтожено. Это не так. Во-первых, мы масоны те же иллюминаты, но без всякой цели вредить какому бы то ни было правительству. Мы не имеем дело с правительством, так как мы не знаем и не хотим знать ни государств и народностей.

5-я ЧАСТЬ[1]

〈I〉

Библейское [откровение] предание говорит, что отсутствие труда — праздность — было условием блаженства первого человека до его падения[2]. Любовь к праздности осталась та же и в падшем человеке, но проклятие всё [еще] тяготеет над человеком и не только потому, что мы должны снискивать хлеб свой,— мы не можем быть праздны и спокойны. Какой-то червячок сосет нас и говорит, что мы должны быть виновны за то, что праздны. Ежели бы мог человек найти состояние, в котором бы он [чувствовал], бывши праздным, чувствовал себя полезным и исполняющим свой долг, он бы нашел одну сторону первобытного блаженства. И таким состоянием [безупречной] обязательной и безупречной праздности в каждом благоустроенном государстве пользуется постоянно одно большое сословие — сословие военное. И в этой-то обязательной и безупречной праздности [лежит главная привлекательность] состоит блаженство и привлекательность военной службы. Nicolas Ростов после 7-го года, продолжая служить в гусарском полку на мирном положении, испытывал вполне это блаженство[3].

---

[6] На полях: *Князь Андрей разговаривает перед отъездом с княжной Марьей об отце и крепостном праве и о будущем, о Nicolas. Говорит: он женится, кажется, из-за денег, но будет хороший муж. Предводитель, настолько в нем есть пошлости.*

[1] В этом месте стройный текст Рукописи 107 прерывается данным наброском письма Пьера князю Андрею.

[1] Здесь в автографе Толстого впервые нумерация частей (прим. составителя).

[2] На полях: *Pierre и княжна Марья. Письмо от Андрея и странницы. Признание брату. Nicolas хвалит Андрея, но он ему не симпатичен.*

[3] См. Варианты, № 18.

Денисова уже не было в полку — он перешел. С утра вставал Ростов поздно — некуда было торопиться, выпивал чай, выкуривал трубки, беседовал с вахмистром, потом приходили офицеры, рассказывали о важной штуке, произведенной N. N., о том, как надо осадить этого нового молодчика, о вороном жеребце, проданном за бесценок, и о том, куда ехать вечером. В карты Ростов не играл, по службе был исправен, дрался раз на дуэли, деньги у него всегда были, [пил здорово] пил много, не делаясь пьяным, и был щедр на угощенье. Он сделался загрубелым добрым малым, которого московские знакомые нашли бы mauvais genre[4], но который уважался товарищами и имел репутацию молодца и славного человека даже по дивизии.

Он был лихой ездок и постоянно менял, продавал, покупал лошадей и сам выезжал их, [после обеда он спал] ездил верхом, гонял на корде, обедал дома, и у кого не было обеда, все знали, что у Ростова найдут готовый прибор и радушный прием. После обеда он спал, потом призывал песенников, сам учил их. Езжал и к полякам и волочился за паннами, но аффектировал грубого гусара, не дамского кавалера. Когда он оставался один, он редко брал книгу и, когда брал ее, читал, забывая то, что он прочел.

В последнее время, т. е. в 1809 году, он чаще в письмах из дома находил сетование матери на то, что дела расстраиваются хуже и хуже, что надо что-нибудь предпринять и что пора бы ему приехать домой. Читая эти письма, Nicolas испытывал беспокойное чувство и страх в том, что хотят вывести из [монастыря] этой ограниченной знакомой скорлупы военной службы в ⟨*2 нрзб*⟩, в которой он, так оградив себя от всей житейской путаницы, жил тихо и спокойно. Он чувствовал, что рано или поздно придется опять вступить в тот омут жизни с расстройством и поправлением дел, с учетами управляющих (о чем ему в тот приезд намекал отец), с связями с обществом, с любовью Сони и обещанием ей. Всё это было страшно трудно, запутано, и он отвечал холодными классическими письмами на письма матери, умалчивая о [своем] том, когда он намерен приехать. Так же он отвечал на письмо, извещавшее его о свадьбе Веры. О сватовстве князя Андрея ничего не писали ему, но только по письмам Наташи он чувствовал, что что-то с ней случилось и [не мог понять] что-то от него скрывают. Это беспокоило его. Наташу он более всех любил дома.

Но в конце 1810 года он получил отчаянное письмо матери, писавшей тайно от графа. Она писала, что ежели Nicolas не приедет и не возьмется за дела, всё именье пойдет с молотка и все пойдут по миру. Граф так слаб, так вверился Митеньке, и так добр, и так все его обманывают, что всё идет хуже и хуже. «Ради бога, умоляю тебя, приезжай сейчас же, ежели ты не хочешь сделать меня и все твое семейство несчастными»,— писала графиня. Письмо это подействовало на Nicolas. У него ⟨уже?⟩ был тот здравый смысл или инстинкт esprit de conduite[5], который [говорит] показывал ему, что было *дóлжно*.

Теперь было должно ехать, коли не в отставку, то в отпуск. Почему, он не знал: но, выспавшись после обеда, он велел оседлать серого Марса, давно не езженного и страшно злого жеребца, и, вернувшись на взмыленном жеребце домой, велел Даниле своему [укладываться и собираться домой через неделю] [приготовить к завтраку прощальный обед и жженку товарищам] укладываться, что подает в отпуск и едет домой. Как ни трудно и ⟨неприятно?⟩ было ему думать, что он уедет и не узнает из штаба того, что особенно интересно было ему, произведен ли он будет в ротмистры или получит Анну за последние маневры; как

---

[4] дурного тона
[5] поведения

ни странно было думать, что он так и уедет, не продав графу Голуховскому тройку саврасых, которых не торговал у него и которых Ростов на пари бился, что продаст за 2 тысячи; как ни непонятно, что без него будет тот бал, который гусары должны были дать панне Пшизецкой в пику уланам, дававшим бал своей панне Бржовской, он знал, что надо ехать [куда-то туда, где всё] из этого ясного, хорошего мира куда-то туда, где всё было вздор и путаница.

Через неделю вышел отпуск, гусары-товарищи не только по полку, но и по бригаде дали обед Ростову, стоивший 15 рублей подписки — играли две музыки, два хора песенников. Ростов плясал трепака с майором Басовым. Молодежь вся повалилась к 8-ми часам. Все были пьяны, качали, обнимали Ростова. Он целовался с своими гусарами-солдатами. Солдаты еще раз качали его, и после этого он уже ничего не помнил, как только то, что он на другое утро с головной болью и сердитый проснулся на 3-й станции и крепко избил за что-то жида, содержателя станции. До половины дороги, как это всегда бывает, до Кременчуга или до Киева, все мысли Ростова были еще назади, в эскадроне, но, перевалившись за половину, уж он начал забывать тройку саврасых, своего вахмистра и панну Бржозовску и беспокойно начал спрашивать себя о том, что и как он найдет в Отрадном. Чем ближе он подъезжал, тем сильнее, гораздо сильнее, как будто нравственное чувство было подчинено тому же закону ускорения падения тел обратно квадратам расстояния,— он думал о своем доме. И на предпоследней станции избил ямщика, у которого были плохие лошади, а на последней перед Отрадным дал 3 рубля на водку и, как мальчик, задыхаясь, вбежал на крыльцо дома.

После восторгов встречи и после того странного чувства [недовольства] неудовлетворения в сравнении с тем, что ожидал (всё те же, к чему же я так торопился) Nicolas стал вживаться в свой старый мир дома. Отец и мать были те же, они только немного постарели, но новое в них было какое-то беспокойство и иногда несогласие, которое происходило, как Nicolas скоро узнал, от дурного положения дел. Соне был уже 20-й год. Она уже остановилась хорошеть, ничего не обещала больше того, что в ней было, но и этого было достаточно. [Всё ее лицо] Она вся дышала счастьем и любовью, с тех пор как приехал Nicolas, и верная непоколебимая любовь этой девушки радостно действовала на него.

На Наташу Nicolas долго удивлялся, и ужасался, и смеялся.— Совсем не та,— говорил он.— Что ж подурнела? — Напротив. Но важность какая-то.— Наташа в первый же день приезда Nicolas под секретом рассказала ему свой роман с князем Андреем и показала его последнее письмо. Nicolas был очень удивлен и мало обрадован. Князь Андрей был чуждый для него человек из другого, высшего мира.— Что ж ты рад? — спрашивала Наташа.— Очень рад,— отвечал Nicolas.— Он отличный человек. Что ж ты очень влюблена?

— Как тебе сказать,— отвечала Наташа.— Мне покойно, твердо. Я знаю, что лучше его не бывает людей, и мне так спокойно, хорошо теперь. Совсем не так, как прежде...

Петя поразил всего больше. Это был совсем большой малый.

Первое время этого своего приезда Nicolas ~~был серьезен и даже сер-~~ дит. Его мучила предстоящая необходимость вмешаться в эти глупые дела расчетов и всей этой невоенной жизни. Чтобы скорее свалить с плеч эту обузу, в [тот же] вечер того дня, как он приехал (он приехал утром), он сердито, не отвечая Наташе на вопрос, куда он идет, пошел с нахмуренными бровями во флигель к Митеньке и потребовал у него счеты *всего*. Что такое были эти счеты всего, Nicolas знал еще меньше, чем пришедший в страх и недоумение Митенька.

Разговор и учет Митеньки продолжался недолго. [В денежной книге, которую подал Митенька молодому графу, Nicolas бестолково придирал-

ся к тому, в чем не было никакой вины Митеньки, и староста] Староста, выборный и земский, дожидавшиеся в передней флигеля, с страхом и удовольствием слышали сначала, как загудел и затрещал как будто всё возвышавшийся и возвышавшийся голос молодого графа, слышали ругательные и страшные слова, сыпавшиеся с быстротой одно за другим: «Разбойник, неблагодарная тварь. [«Я тебя изрублю, как собаку. Это не с папенькой, которого ты обворовал, как разбойник] Изрублю собаку... не с папенькой... обворовал ракалья».

Потом эти люди не с меньшим удовольствием и страхом видели, как молодой граф, весь красный с налитыми кровью глазами, за шиворот вытащил степенного Митеньку, ногой и коленкой с большой ловкостью в удобное время между своих слов толкнул Митеньку под зад и закричал: «Вон, чтоб духу твоего, мерзавец, здесь не было». Митенька стремглав слетел с 6 ступень и убежал в *клумбу*. (Клумба эта была известным местом спасения преступников в Отрадном. Сам Митенька, приезжая пьяный из города, прятался от жены в клумбе. И многие жители Отрадного, прятавшиеся от Митеньки, знали спасительную силу этой клумбы.) Жена Митеньки и свояченицы с испуганными лицами высунулись в сени из дверей комнаты, где кипел чистый самовар и воздымалась приказчицкая высокая постель под кусочками стеганным одеялом. На Митеньку граф, задыхаясь, не обращал никакого внимания, решительным шагом, звеня шпорами, прошел мимо их и пошел в дом.

Графиня, узнавшая тотчас же через девушек о том, что произошло во флигеле, с одной стороны, успокоилась — в том отношении, что теперь состояние их должно поправиться, но беспокоилась о том, как перенесет это Nicolas, и подходила несколько раз на цыпочках к его двери, слушая, как он курил трубку за трубкой.

На другой день старый граф отозвал в сторону Nicolas и с улыбкой сказал ему:

— А знаешь, ты, моя душа, напрасно погорячился! Мне Митенька рассказал всё.

Nicolas покраснел, чего давно с ним не было. «Я знал,— подумал он,— что [здесь весь этот] я никогда ничего не пойму здесь, в этом дурацком мире».

— Ты рассердился, что он не вписал эти 700 рублей. Ведь они у него написаны транспортом, а другую страницу ты не посмотрел.

— Папенька, он мерзавец и вор, я знаю. И что я сделал, то сделал. И ежели вы не хотите, я ничего не буду говорить ему.

— Нет, знаешь, душа моя.— Граф был смущен тоже. Он чувствовал, что он был дурным распорядителем имения своей жены и виноват был перед своими детьми, но не знал как поправить это.— Нет, знаешь, он преданный человек. Я прошу тебя заняться делами, [я стар, я... но его оставь.

— Нет, папенька, я меньше вашего умею, вы оставьте меня.— И под предлогом, что Митенька остается, Nicolas [был рад] отказался заниматься делами] я стар, я...

Nicolas забыл о Митеньке и обо всем, увидев смущенное лицо отца, он не знал, что говорить, и чуть не заплакал. Так ужасно было думать, что отец его, старый, добрый, милый, мог считать себя виноватым.

— Нет, папенька, вы простите меня, ежели я сделал вам неприятное, я меньше вашего умею, простите меня, я ни за что не вступлюсь больше.

«Чёрт с ним, с этим транспортом, и мужиками, и деньгами, и со всем этим вздором»,— подумал он. И с тех пор более не вступался в дела и имел сношение с Митенькой, который особенно был приятен и услужлив в отношении молодого графа, только по распоряжениям о псовой охоте, которая была огромная и запущенная у старого графа. Единственное хозяйственное распоряжение Nicolas за это время состояло в том, что однажды графиня сообщила Nicolas свою тайну о том, что у нее

есть вексель Анны Михайловны на 12 тысяч, и спрашивала у Nicolas, как он думает поступить с ним.

— А вот как,— отвечал Nicolas, вспомнив бедность Анны Михайловны, свою прежнюю дружбу к Борису и теперешнюю нелюбовь (это последнее обстоятельство более всего заставило его поступить так, как он поступил).— Вот как! — сказал он.— Вы мне сказали, что это от меня зависит, так вот как! — и он разорвал вексель, и слезами радости[6] заставил этим поступком рыдать старую графиню.

Nicolas сериозно занялся [этим] делом охоты, так как была осень и самое лучшее охотничье время. Наташа смело ездила верхом, по своей охотничьей породе, как мужчина, любила, понимала охоту, и благодаря охоте эти два осенние месяца, которые провели [теперь] Наташа и Nicolas в 1810 году в Отрадном, были счастливейшим в своем роде временем в их жизни, о котором они более всего любили вспоминать впоследствии. [Наташа, благодаря своему обещанию князю Андрею, успокоенная насчет мужчин] Соня не умела ездить верхом и оставалась дома, и вследствие этого Nicolas меньше виделся с ней. Он был с ней в простых, дружеских отношениях, любя ее, но считал себя совершенно свободным. Наташа, переставшая учиться, не имея никого, с кем бы она кокетничала, не тяготясь своим одиночеством, потому что она была уверена в будущем браке с князем Андреем, и не слишком нетерпеливо ожидая этого времени, тоже чувствовала себя вполне, как никогда, свободной, и с страстью, с которой она всё делала, отдалась охоте и дружбе с братом[7]. Благодаря ей Nicolas повеселел и нашел и здесь, в этом прежде страшном своей путаницей мире, свой замкнутый мирок существенных интересов дружбы с Наташей и охоты.

〈II〉

Это было 12 сентября. Уже были зазимки — утренние морозцы, заковывавшие [землю] смоченную[1] осенними мгами землю, уже зеленя уклочились, и здоровыми, зелеными, огромными полосами отделялись от полос светложелтого озимого жнивья и буреющего, выбитого скотом, ярового жнивья с изрезывавшими его красными полосами гречихи. Вершины и леса [за две], в конце августа еще бывшие зеленые острова между черными полями озимей и жнивами, на которых еще были копны, теперь были темнобурыми [островами] с золотистыми и яркокрасными отблесками и с устланным падшим мокнущим листом островами посреди яркозеленых озимей. Русак уже до половины затер портки и седел в спинке, лиса повыцвела, и выводки нынешнего года начинали разбредаться. Молодые волки уже были больше гончей собаки, и собаки [Ростова уже] горячего [охотника] молодого охотника Ростова уже порядочно подбились, вошли в охотничье тело, и в общем совете охотников решено было три дня дать отдохнуть собакам, а 14 сентября идти в отъезд, начиная с дубравы, где были волки[2].

В таком положении были дела 11 сентября вечером. Весь этот день охота была дома [Но с 〈вечера?〉], и было морозно и колко, но с вечера стало замолаживать, оттеплело, пошла мга, ветру не было никакого, и на другой день, когда Nicolas, проснувшись рано, в халате выглянул в окно, он увидал такое охотничье утро, лучше которого быть ничего не может для охотника, как будто небо таяло и спускалось на землю. Ежели было движенье в воздухе, то, может быть, только сверху вниз.

---

[6] В автографе: *радостями* (прим. составителя).

[7] На полях: *Соня-кошечка рада, и всегда одна, веселится и играет одна, любовь. Ее характеристика.*

[1] В автографе: *смощенную* (прим. составителя).

[2] К тексту: *и в общем ∾ волки* — см. Варианты, № 19.

На оголившихся ветвях сада висели капли не светло-серо[3] — земля на огороде глянцевито-мокро чернела, как мак, не то дождь, не то туман сыпался из серой бесконечности. Nicolas вышел на крыльцо, пахло мокрым листом и собаками, которые тут лежали под навесом крыльца. Чернопегая широкозадая хортая сука Милка с прелестными навыкате черными глазами, увидав хозяина, встала, потянулась назад и легла порусачьи, потом неожиданно вскочила и лизнула хозяина прямо в нос и усы. Однопометник Милки красный кобель Ругай, увидав хозяина и завидуя Милке, с цветочной дорожки, по которой он, ⟨застричав?⟩ шел, выгибая спину, стремительно бросился к крыльцу и, подняв правило, удержался с разбегу и стал тереться об ноги Nicolas.

— О-гой! — послышался в это время тот неподражаемый охотничий подклик, соединяющий в себе и самый глубокий бас, и самый тонкий тенор, и из-за угла вышел Данила, по-украински в скобку обстриженный, седой морщинистый охотник, с гнутым арапником с ⟨свинчаткой?⟩ в руке и с тем выражением самостоятельности и презрения ко всему в мире, которое бывает только у охотников. Он снял свою черкесскую шапку перед барином, но и в этом жесте было презрение к барину, и презрение это лестное для барина, потому что все-таки Nicolas знал, что этот всё презирающий и превыше всех стоящий Данила все-таки его человек.

— Данила! — сказал Nicolas, поправляя усы и улыбаясь, чувствуя, что его уже обхватило то непреодолимое охотничье чувство, в котором человек забывает всё прошедшее и будущее и все прежние намерения, как человек влюбленный в присутствии своей любовницы.

— Что прикажете, ваше сиятельство?[4] — спросил протодиаконски охриплый от порсканья бас, и два черные блестящие глаза хитро взглянули исподлобья на молчавшего барина. «Что, али не выдержишь?» — как будто сказали эти два глаза.

— Хорош денек, а? И гоньба, и скачка, а? — сказал Nicolas, чеша за ушами Милку.

Данила не отвечал и помигивал глазами.

— Уварку посылал,— сказал его бас после минутного молчанья,— послушать на заре. Сказывал, в Отрадненский заказ перевела. Перевела — значило волчица, про которую они оба знали, перешла с детьми в Отрадненский лес, который был за две версты от дома.

— Что ж не ехать ли? Приди-ка ко мне с Уваркой.

— Как прикажете. Вот [пойду] кобыл надо запереть — хватку размыть. И Данила скрылся за углом.

— Так погоди не кормить.

— Слушаю.

Через 5 минут Данила с Уваркой стояли в большом кабинете и беседовали. Но как ни велик был кабинет Nicolas, страшно было видеть Данилу в комнате. Несмотря на то, что он был невелик ростом, видеть его в комнате производило впечатление подобное тому, как когда видишь лошадь или медведя на полу, между мебелью и условиями людской жизни. Данила [и] сам это чувствовал больше всех. Он обыкновенно, ⟨придя?⟩, становился на своих как будто каменных ногах, не двигался и старался говорить только тише. Ему всё казалось, что он нечаянно всё это разломает и попортит, и всегда как можно торопился выйти на простор [под] из-под потолка под небо. Окончив расспросы и выпытав сознание, что собаки ничего (Даниле и самому без памяти хотелось ехать), и сделав маршрут, Nicolas велел седлать. Но только что Данила хотел выйти, как в комнату [вбежала] вошла быстрыми шагами Наташа, еще не причесанная и вся окутанная в большой нянин платок с черным полем, на котором были изображены птицы.

---

[3] Так в автографе.

[4] На полях: *Вдруг приятная добрая улыбка у Данилы.*

Наташа была взволнована, так что она насилу удерживалась не раскрыть платок и не замахать при охотниках голыми [худыми] руками. Она отчасти это и сделала.

— Нет, это гадость, это подлость,— кричала она.— Сам едет, велел седлать, а мне ничего не сказал...

— Да ведь тебе нельзя. Маменька сказала, что тебе нельзя.

— А ты и выбрал время ехать, очень хорошо.— Она едва удержалась, чтоб не заплакать.— Только я поеду, непременно поеду. Что хочет мамà, а я поеду. Данила, вели мне седлать, и Саша чтоб выезжал с моей сворой,— обратилась она к ловчему.

И так то быть в комнате Даниле казалось неприлично и тяжело, но иметь какое-нибудь дело с барышней,— в этом уже он ничего не понимал. Он опустил глаза и поспешил выйти, как будто до него это не касалось, стараясь только как-нибудь нечаянно не повредить барышню.

Хотя и говорили, что Наташе нельзя было ехать, что она простудится, но еще меньше можно было помешать ей сделать то, что она хотела, и Наташа [поехала] собралась и поехала [5].

Старый граф, всегда державший огромную охоту и изредка сам выезжавший в поле, теперь же передавший всю охоту в ведение сына, в этот день 12 сентября, развеселившись, собрался сам тоже выехать и [〈пригласил?〉] послал жену, Соню, гувернантку, Петю ехать в линейке...

Через час вся охота была у крыльца [и], Nicolas, не дожидаясь никого, с строгим и сериозным видом, показывавшим, что некогда теперь заниматься пустяками, прошел мимо Наташи, с помощью своего стремянного Саши садившейся на лошадь, осмотрел все части охоты, послал вперед стаю и охотников в заезд, сел на своего рыжего донца и, подсвистывая собак своей своры, тронулся через гумно в поле, ведущее к Отрадненскому заказу. Лошадь старого графа, игреневого меренка, называемого Вифлянкой, вел его, старого графа, стремянный, сам же он должен был прямо, на оставленный ему лучший лаз, выехать в дрожечках. Всех гончих собак в охоте Ростовых было 80. Все одной старинной ростовской породы, костромки, низкие на ногах, сухие, паратые и голосистые, черные с подпалинами. Но много уже было подбившихся собак, так что вывели в стаю всего 54 собаки. Данила с Карпом Туркой ехали передом. Сзади ехало три выжлятника. Борзятников было 4 господских своры: графские (старого графа) в 11 собак и два стремянных, графченкова (Nicolas) в 6 собак, Наташина в 4 плохеньких собачки. На нее не надеясь, ей дали что было похуже, и Митенька с своей сворой; кроме того, было 7 свор борзятников. Так что вышло в поле около 150 собак и 25 [6] конных охотников. Каждая собака знала хозяина, кличку, каждый охотник знал дело, знал свое место и назначение. Весь этот хаос визжавших собак, окрикивающих охотников, собравшийся на дворе дома, без шума и разговоров равномерно и спокойно расплылся по полю, как только вышли за ограду. Только слышно было изредка подсвистыванье, храп лошади или взвизг собаки и, как по пушному ковру, шаги лошадей и побрякиванье железки ошейника. Едва выехали за Чепыж, как по полю показались еще 5 охотников с борзыми и два с гончими, шедшие навстречу ростовским.

— А, дядюшка! — сказал Nicolas подъехавшему к нему красивому старику [в охотничьем] с большими седыми усами.

— Так и знал,— заговорил дядюшка (это был дальний родственник, небогатый сосед, и исключительно посвятивший свою жизнь охоте),— нельзя вытерпеть, и хорошо, что идешь, такая погода — чистое дело марш

---

[5] На полях: *Чужая охота. Скучно едут. Батюшка, Ругаюшка. Лопотанье над затравленным.*

[6] *25* написано поверх *20* (прим. составителя).

(это была поговорка дядюшки). Бери заказ сейчас, а то мой Гирчик мне донес, что Илагины с охотой в Карниках стоят, они у тебя, чистое дело марш, под носом выводок возьмут.

— Туда и иду. Что же свалить стаи? — спросил Nicolas. Гончих соединили в особенности потому, что дядюшка утверждал, что без его Волтора, чистое дело марш, на волков хоть не ходи, и господа поехали рядом. К ним галопом подскакала и Наташа, неловко и уродливо закутанная и увязанная и перевязанная платками, которые все-таки не могли скрыть ее ловкой, уверенной посадки на лошади и ее оживленного, счастливого, с блестящими глазами, лица, высовывавшегося из-под платка и [шапки] мужской шапки. На ней сверх всего был, однако, рог, кинжал и сворка.

— Nicolas, какая прелесть Трунила, он узнал меня,— заговорила она.— Здравствуйте, дядюшка.— Nicolas не отвечал, озабоченный соображениями и планами, чувствуя на себе всю ответственность предприятия и оглядывая свою армию. Дядюшка поклонился, но ничего не сказал и поморщился при виде юбки. Он не любил, чтоб соединяли баловство с сериозным делом, как охота. Nicolas был того же мнения и строго взглянул на сестру, стараясь ей дать почувствовать то расстояние, которое их должно было разделять в эту минуту, как Генрих IV давал чувствовать Фальстафу, что [между], какая бы ни была между ними дружба прежде, теперь между королем и Фальстафом была пучина.

Но Наташа [не хотела] была слишком весела, чтобы заметить это.

— Nicolas, посмотри, какая Завидка моя стала худая,— ее верно плохо кормят,— она [указала] подкликнула Завидку, старую-старую облезлую суку с шишками на кострецах.— Посмотри.

Nicolas дал эту суку Наташе потому, что некуда было девать ее, и теперь перед дядюшкой ему совестно было, что у него в охоте была такая собака.— Ее повесить надо,— сказал он коротко и сделал распоряжение, которое передавать поскакал стремянной на рыжей лошади, брызгая грязью в Nicolas, Наташу и дядюшку. Но плохое положение Завидки не смутило Наташу. Она обратилась к дядюшке, показывая ему свою другую собаку и хвастаясь ею, хотя и эта другая была очень плохая собака. Но уже остров Отрадненского заказа виднелся саженях в ста, и доезжачие[7] [⟨заходили?⟩] подходили к нему.

Nicolas, решив окончательно с дядюшкой, откуда бросать, указал Наташе место, подтвердив, где стоять ее стремянному, и сам поехал в заезд над оврагом, считавшимся вторым по достоинству лазом на матерого волка. Лучший лаз в узкой перемычке к большому лесу [занят] предоставлен был старому графу.

— Nicolas,— прокричала Наташа,— я сама заколю...

[Ну, на матерого]

Nicolas не отвечал и только пожал плечами на бестактность сестры.

— На матерого становишься, прогладишь,— сказал дядюшка.

— Как придется,— отвечал Nicolas.— Карай, фють, на,— крикнул он, отвечая этим призывом на слова дядюшки. Карай был огромный бурдастый кобель, не похожий на собаку, сериозный и уродливый, известный тем, что он в одиночку бирал матерого волка.

Все разъехались.

Старый граф, зная охотничью горячку сына, поторопился не опоздать, и еще не успели доезжачие подъехать к месту, как Илья Андреич, веселый, румяный, позавтракав, с трясущимися щеками, на своих вороненьких подкатил по зеленям к лазу и, расправив шубку и надев охотничие снаряды взлез на свою гладкую, сытую, смирную и добрую, поседевшую, как и он сам, Вифлянку. Лошадей с дрожками отослал. Граф Илья Андреич, хоть и не охотник в душе, но знавший твердо охотничьи законы, забрался в опушку леса, от которого он стоял, разобрал поводья,

---

[7] В автографе: *доезжащие* (прим. составителя).

выправил шубку и оглянулся, улыбаясь. Подле него стоял его камердинер и старинный ездок, но отяжелевший, Семен Чекмарь, державший на своре 3-х лихих, тоже зажиревших, как хозяин и лошадь, волкодавов. 2 собаки, умные, старые, улеглись без свор. Подальше в опушке стоял другой стремянной, маленькой, краснорожий, всегда пьяный форейтор Митька Копыл, отчаянный ездок и страстный охотник. Граф, по своей старинной привычке, перед охотой выпил охотничьей запеканочки серебряной кубочек, закусил и запил полубутылкой своего любимого бордо. Илья Андреич был немножко красен от вина и езды, глаза его [были], подернутые влагой, особенно блестели, и он, прямо, укутанный в шубку, сидя на седле [имел вид], оглядывался, улыбаясь, кругом и имел вид ребенка, которого собрали гулять.

Семен Чекмарь, пивший запоем, худой, с втянутыми щеками, имел грозный вид, но не спускал глаз с своего барина, с которым они жили 30 лет душа в душу и, понимая его приятное расположение духа, ждал приятного разговора. Еще 3-е лицо подъехало осторожно (видно уж оно было учено) из-за леса и остановилось позади графа. Лицо это был старик в седой бороде и в женском капоте и высоком колпаке. Это был шут Настасья Иваныч.

— Ну, смотри, Настасья Иваныч,— сказал ему, подмигивая граф,— ты только оттопай зверя, тебе Данила задаст.

— Я сам... с усам.

— Шшш,— зашипел граф и обратился к Семену.

— Наталью Ильиничну видел? — спросил он у Семена.— Где они?

— Они от Жаровых кустов стали,— отвечал Семен улыбаясь.— Так и наровят волка затравить...

— А ты удивляешься, Семен, как она ездит... а? — сказал граф.

— Хоть бы мужчине впору.

— Николаша где? над Лядовским верхом что ль? — спросил граф, всё говоря шёпотом.

— Так точно-с. Уж они знают. Так тонко езду знают, что мы с Данилой другой раз с диву даемся,— говорил Семен, зная, чем угодить барину.

— [Ловок.] Хорошо ездит, а? А на коне то каков, а?

Картину писать. Как намеднись они из Заварзинских бурьянов лисицу перескакивали,— страсть: лошадь тысяча, а седоку цены нет. Ну уж, такого молодца поискать.

— Поискать...— повторил граф, видимо сожалея, что кончился так скоро разговор Семена.— Поискать? — сказал он, отворачивая полы шубки и доставая табакерку. Семен слез и, выпростав табакерку, подал.

— Намедни, как от обедни во *всией* регалии вышли, так Михаил-то Сидорыч...— Семен не договорил, услыхав ясно раздавшийся в тихом воздухе гон с подвыванием [одного] не более двух или 3-х гончих. Он поспешно ухватился за стремя и стал садиться, кряхтя и бормоча что-то.

— На выводок натекли...— заговорил он,— вон она, во подвывает, вишь подвоивает. Но... прямо на Лядовской повели.

Граф [понюхал], забыв стереть улыбку с лица, смотрел перед собой вдоль по перемычке и, не нюхая, в руке держал табакерку. Семен говорил правду. Послышался голос по волку в басистый рог Данилы. Стая напала на выводок, слышно было, как заревели с заливом голоса гончих с тем особенным подвыванием, которое служит признаком гону по волку, слышно было, как уж не порскали, а улюлюкали доезжачие, и из-за всех голосов выступал голос Данилы, то басистый, то пронзительно стальной, тонкий, которому мало было этих 200 десятин леса, так и выскакивал наружу и звучал везде в поле. Прислушавшись несколько секунд, граф заметил, что гончие разбились на две стаи: одна [повела прочь], большая, ревевшая особенно горячо, стала удаляться (это были прибылые), другая часть стаи понеслась вдоль по лесу, мимо

графа, и при этой стае было слышно улюлюканье Данилы. Оба эти гона сливались, переливались, но оба удалялись. Семен вздохнул и нагнулся, чтоб оправить сворку, в которой запутался молодой кобель. Граф тоже вздохнул и машинально, заметив в своей руке табакерку, открыл ее и достал щепоть.

— Назад,— крикнул шёпотом в это время Семен на кобеля, который выступил за опушку. Граф вздрогнул и уронил табакерку.

Семен хотел слезть поднять ее, но, раздумав, мигнул шуту. Настасья Иваныч слез и, подходя к табакерке, зацепился за сук и упал.

— Али перевесила? — Семен и граф засмеялись.

— Кабы на Николашу вылез,— сказал граф, продолжая прерванный разговор.— То-то бы потешился, Карай возьмет...

— Ох, [злой] мертвый кобель.... Ну, давай сюда,— говорил Семен, протягивая руку к табакерке графа и смеясь тому[8], что Настасья Иваныч одной рукой подавал табакерку, а другой подбирал табак с сухих листьев. И граф и Семен смотрели на Настасью Иваныча. Гончие всё гоняли, казалось, всё так же далеко. Вдруг, как это часто бывает, звук мгновенно приблизился, они услыхали [лай] гон, как будто вот-вот перед самыми ими были лаящие рты собак, и услыхали улюлюкание Данилы, который, казалось, вот-вот задавит, скача на своем буром мерине. Оба испуганно и беспокойно оглянулись, но впереди ничего не было. Граф оглянулся направо ⟨на⟩ Митьку и ужаснулся. Митька с выкатывавшимися глазами, бледный, плачущий, смотрел на графа и, подняв шапку, указывал ею вперед на другую сторону графа.

— Береги! — закричал он таким голосом, что видно было, это слово давно уже мучительно просилось у него наружу. Митька поскакал, выпустив собак, к графу. Граф и Семен, сами не зная зачем, выскакали из опушки [всё ничего не видя] и налево от себя, шагах в 30, увидали седого лобастого волка с наеденным брюхом, который неуклюжо, мягко переваливаясь, тихим скоком подскакивал левее их к той самой опушке, у которой они стояли. [Собаки] Злобные собаки визгнули, ахнули и, срываясь с свор, как стрелы, отбивая [⟨энергические?⟩] скачки по упругому, мягкому жнивью, понеслись к волку, мимо ног лошадей[9]. Волк уже был у опушки; он приостановил бег, [оглянулся, как] неловко повернул свою седую голову к собакам, как больной жабой поворачивает голову, и, так же мягко переваливаясь, прыгнул раз, другой, мелькнуло полено, и скрылся в опушку. В ту же минуту, как граф, чувствуя свою ошибку, плачущим голосом заулюлюкал вслед волку, в ту же минуту из противуположной опушки с [плачем] ревом и гоном, похожим на плач, растерянно вынеслась одна, другая, третья гончая, и вся стая взрячь понеслась по полю, по тому месту, где бежал волк. Но это бы было еще ничего, вслед за гончими расступились кусты орешника, и вылетела бурая, казавшаяся вороной от поту, лошадь Данилы. На длинной спине комочком, валясь вперед, сидел Данила, [красный] без шапки, с седыми встрепанными волосами над красным потным лицом (один ус насмешливо торчал кверху).

— Улюлюлю,— крикнул еще раз в поле Данила.— Береги рас про..... крикнул,— ж..а,— крикнул он, со всего размаха налетая с поднятым арапником на графа. Но, и узнав графа, он не переменил тон.

— Проб...ли волка-то. Охотники.— И как бы не удостоивая графа дальнейшим разговором, он со всей злобой на графа ударил по быстро ⟨ввалившимся?⟩ мокрым бокам бурого мерина и, улюлюкая так, что ушам больно было, понесся за гончими. Граф, как наказанный, стоял, оглядываясь и стараясь улыбкой вызвать хоть в Семене сожаление к своему положению. Но Семен, увидавший наеденное брюхо волка, понял, что

---

[8] На полях: *Не хочется смеяться.*
[9] На полях: *Почувствовал, что нельзя.*

была надежда перескакать его, и несся по кустам, заскакивая волка от Засеки. С двух сторон также перескакивали зверя борзятники. Но волк пошел кустами, и ни один охотник не перехватил его.

[Уже] Через полчаса Данила с гончими с другой стороны вернулся в первый остров, подваливая их к отбившейся части стаи, всё еще гонявшей по прибылым. [Один переярок вылез на Nicolas. Он перескакал и затравил его. [Прибылой] Два прибылых было взято живыми и один третий прибылой был затравлен в глазах Николая. Тот же Данила первый вынесся за гончими и, не допустив борзых, со всего размаху лошадиного скока, свалился на спину волка [переломив ему] и, едва выпроставшись из-под собак и волка, [схватил] сел на него верхом и, взяв за уши, стал струнить.]

В острову оставались еще два переярка и 4 прибылых. Одного прибылого затравил дядюшка, другого словили гончие и отололи выжлятники. 3-го затравили борзятники на опушке, по 4-му еще гоняли. Один из переярков слез лощиной к деревне и ушел нетравленным, другой переярок [вылетел на Nicolas] полез по Лядовскому оврагу, тому самому, над которым стоял Nicolas[10].

Nicolas чувствовал [приближению] охотничьим чувством (определить и сознать которое невозможно) по приближению и отдалению гона, по звукам голосов известных ему собак, по приближению, отдалению и возвышению голосов доезжачих, что совершалось в острове, что были прибылые и матерые, что гончие разбились, что где-нибудь травили и что что-нибудь случилось неблагополучное. Сначала он наслаждался звуками варом варившей стаи, два раза проведшей мимо его по опушке, сначала он замирал, напрягая зрение и, подбираясь на седле, с готовым криком отчаянного улюлюкания, стоявшим уже в верху его горла. Он держал во рту этот крик, как держат воду во рту, готовясь всякую секунду его выпустить. Потом он отчаявался, [потом] сердился, надеялся, несколько раз в душе молился богу о том, чтобы волк вышел на него,— молился с тем страстным и совестливым чувством, с которым молятся люди в минуты сильного волнения, зависящего от ничтожной причины. «Ну, что тебе стоит,— говорил он богу [с болезненной улыбкой],— сделай это для меня. Знаю, что ты велик и что грех тебя просить об этом, но, ради бога, сделай, чтобы на меня вылетел матерый и чтобы Карай на глазах у дядюшки, который вон оттуда смотрит, влепился ему мертвой хваткой в горло». Но волк всё не выбегал. Тысячу раз в эти $^1/_2$ часа упорным, напряженным и беспокойным взглядом окидывал Nicolas и опушку леса с двумя редкими дубами над осиновым подседом, и овраг с измытым краем, и [фигуру] шапку дядюшки, чуть видневшегося из-за куста направо, и Наташу с Сашей, которые стояли налево. «Нет, не будет этого счастия! — думал Nicolas.— И что бы стоило? Не будет, мне всегда во всем несчастье, и смотреть нечего». Он думал это и в это самое время, напрягая усталое зрение, весь зрение и слух, оглядывался налево и опять направо.

. . . . . .

Направо, лощиной по Лядовскому верху, уже в шагах 30 от опушки, [катил] в то время как Nicolas опять глянул направо, катил матерый, как ему показалось, волк, своей бело-сериной [слегка] отличаясь от [буреющего] серой зелени травы по скату оврага. «Нет, это не может быть!» — подумал Nicolas, тяжело вздыхая, как облегченно вздыхает человек при совершении того, что долго ожидаемо. Совершилось величайшее счастье — и так просто, без шума, без блеска, бежит серый зверь, как будто по своему делу, бежит вскачь, не шибко, не тихо, оглядываясь

---

[10] На полях: *Nicolas травит, и вот оно счастье. Не слезают. Данила. В зеленях драка за лисицу.*

[налево] [направо] по сторонам. Nicolas [оглянулся] не верил себе; он оглянулся на стремянного. Прокошка, пригнувшись к седлу, не дышал, устремляясь не только выкаченными глазами, но и всем наклоненным туловищем к направлению волка, как кошка, встречающая беззаботно бегущую к ней мышь. Собаки лежали, стояли, не видя волка, ничего не понимая. Сам старый Карай, завернув голову и оскалив желтый, старый клык, щелкал зубами, сердито отыскивая блоху в своем лесе комками висевшей на задних ляжках шерсти.

Бледный Nicolas строго и значительно оглянул их, но они не поняли взгляда.— Улюлюлю!— шёпотом, оттопыривая губы, проговорил он им. Собаки, дрогнув железками, вскочили, насторожив уши. Карай [доискал, однако] дочесал однако свою ляжку и только потом встал, насторожив уши и слегка мотнув хвостом, на котором висели войлоки. «Что ж, я готов, в чем дело?» — как будто сказал он.

«Пускать, не пускать»,— всё спрашивал себя Nicolas, в то время как волк подвигался к нему, отдаляясь от леса. Но вдруг вся физиономия волка изменилась: он вздрогнул, увидав человеческие глаза, устремленные на него, присел, задумался — «назад или вперед» — и [вдруг] пустился вперед, уже не оглядываясь, своим мягким, редким, вольным скоком, как будто он сказал себе: «Э, всё равно! [и тут еще и] Посмотрим еще, как-то они меня поймают».

«А! ты так! Ну, держись»! — И Nicolas, заулюлюкав, выпустил во весь мах свою добрую лошадь под гору Лядовского верха, впоперечь волку. Nicolas смотрел только на собак и на волка, но он видел и то, что напротив его в развевающейся амазонке неслась с пронзительным визгом Наташа, обгоняя Сашку, сзади спешил дядюшка с своими двумя сворами.

Волк летел, не переменяя направления, по лощине. Первая приспела чернопегая Милка. Но, о ужас, вместо того, чтобы наддать, приближаясь к нему, она стала останавливаться и, подняв хвост, уперлась на передние ноги. [Тоже сделал] Второй был Любим. Этот [сдержался, но потом] с разлета схватил волка за гачи, но волк приостановился и, оглянувшись, оскалился. Любим спустил. «Нет, это невозможно. Уйдет»,— подумал Nicolas.— Карай! — Но Карай медленно, тяжело скакал наравне с его лошадью. Одна, другая собака подоспели к волку. Собаки Наташиной своры были тут же, но ни одна не брала. Nicolas был уже в шагах 20 от волка. Волк [беспрестанно] раза три останавливался, садился на зад, огрызался, встряхивался от хватавших его больше за задние ноги собак и с поджатым хвостом опять пускался вперед. Всё это происходило на середине [Лядовского] верха, соединяющего Отрадненский заказ с казенным огромным лесом Засекой. Перейди он в Засеку, волк ушел.

— Караюшка, отец,— кричал Nicolas. Древний урод, калеченный Карай, был немного впереди лошади и [тихим] ровным скоком, сдерживая дыханье и не спуская [налитых кровью больших черных] глаз, спел к [остановленному] опять на мгновение присевшему в это время волку. [В это время] Муругой молодой, худой, длинный кобель своры Наташи с неопытностью молодости подлетел спереди к волку [схватил] и хотел схватить его. Волк быстро, как нельзя было ожидать от него, бросился к неопытному кобелю, ляскнул зубами, и окровавленный, с распоротым боком кобель, поджав хвост, бросился в сторону, отчаянно и неприятно визжа. Волк поднялся и опять двинулся вперед, между ног пряча полено. Но, пока происходило это столкновение, Карай с своими мотавшимися на ляжках войлоками и нахмуренными бровями, был уже в 5 шагах от волка, всё не изменяя свой ровный скок. Но тут, как будто какая-то молния прошла сквозь него, Nicolas видел только, что что-то сделалось с Караем: он двумя отчаянными прыжками очутился на волке [с вдавленными волку в шиворот зубами, поднявшейся шерстью] и с волком вместе повалился кубарем. [Та минута, когда Nicolas увидал [ноги волка поднятыми] голову волка с разинутой, ляскающей и никого не достающей

пастью, поднятой кверху, и в первый раз всю фигуру волка на боку, с усилием цепляющимся толстыми лапами за землю, чтобы не упасть на спину, была счастливейшей минутой в жизни Nicolas. Nicolas был уже тут же над ним и заносил уже ногу, чтобы слезть принимать волка. Карай сам упал через волка. Шерсть его поднялась, он весь дрожал и делал своими съеденными зубами отчаянные усилия, чтобы встать и перехватить из шиворота в горло. Но, видно, зубы его были уже плохи. На одном из этих усилий [он сам упал] волк рванулся, справился. Карай упал и выпустил его. Как бы поняв, что шутить нечего, волк выпустил во весь мах и стал отделяться от собак.

— Боже мой! За что! — с отчаянием закричал Nicolas.

Дядюшка, как старый охотник, скакал наперерез от Засеки и встретил опять и задержал волка. Но ни одна собака не брала плотно. [Опять] Карай отстал далеко сзади. Охотники, Nicolas, его стремянный, дядюшка с своим, Наташа с своей,— все вертелись над зверем, улюлюкая, крича, не слыша друг друга, всякую минуту собираясь слезать, когда волк садился на зад. Но всякий раз волк встряхивался и медленно подвигался к Засеке, которая должна была спасти его.

Еще в начале этой травли Данила, услыхав улюлюканье, выскочил на опушку и, так 〈как〉 это было дело не его и без гончих, остановился посмотреть, что будет. Он видел, как Карай взял волка, ждал, что сейчас возьмут его. Но, когда охотники не слезли, волк встряхнулся, Данила крякнул.— Отвертится,— сказал он и выпустил своего бурого не к волку, но прямой линией к Засеке, к тому месту, где он знал, волк войдет в Засеку. Благодаря этому направлению, он подскакивал к волку в то время, как во второй раз его остановили дядюшкины собаки, прежде чем Карай успел 2-й раз приспеть к зверю. Данила скакал молча, держа вынутый кинжал в левой руке и, как цепом, молоча своим арапником по подтянутым бокам бурого. Nicolas не видал и не слыхал Данилы до тех пор, 〈пока〉 мимо самого его [волк вертелся тихо две] не пропыхтел, тяжело дыша, бурый, и он не увидел, что Данила [стремглав] через голову лошади не упал в середину собак на зад волка. [Волк побежал] [Волк испуганно бросился вперед] Но в то же мгновение те же собаки, которые не брали, уцепились с визгом за гачи волка, и Данила, [ползком и] кубарем падая вперед, добежал до остановленного зверя и, измученный, как будто ложась отдыхать, всей тяжестью повалился на волка, хватая его за уши. Данила не позволил колоть волка, а послал стремянного вырубить палку, засунул ее в рот волку, завязал сворой и взвалил на лошадь. Когда всё было кончено, Данила ничего не сказал, а только, сняв шапку, поздравил молодого графа с красным полем и улыбнулся [своей] из-под усов своей детски-нежной, круглой и кроткой улыбкой.

Гончих вызвали, все съехались, желая поговорить; под предлогом рассказать[11] друг другу всё, что было, рассказали всё то, чего не было, и тронулись дальше. Старый граф посмеялся Даниле об прозеванном волке.— Однако, брат, ты сердит,— сказал граф. Данила на это только улыбнулся своей приятной улыбкой. Старый граф и линейка поехали домой. Наташа, несмотря на уговоры и требования, осталась с охотой. Более всего хотелось Nicolas захватить Зыбинскую вершину прежде Илагиных, которые стояли недалеко от нее, и потому он пошел дальше, чем предполагал.

Зыбинская вершина была глубокая, изрытая водой, поросшая чащею осинника котловина в зеленях, в которой всегда бывали лисицы. Только что бросили гончих, как услыхали в соседнем острове рога и гон плагинской охоты и увидали охотника Илагина с борзыми, стоявшего от Зыбинской вершины. Случилось так, что, в то время как из-под ростовских гончих побежала на перемычку от илагинского леса лисица, их охотник заезжал в заезд. Травить стали оба, и Nicolas видел, как расстилалась

---

[11] В автографе: *рассказали* (прим. составителя).

по зеленям красная, низкая, пушисто-странная лисица, как, как кругами, плавала она между собак, всё чаще и чаще делая эти круги и обводя вокруг пушистой трубой, и как наконец налетела белая собака и вслед за ней черная, и всё смешалось и звездой, врозь расставив зады, чуть колеблясь, стали собаки и подскакали два охотника — один его, в красной шапке, другой чужой, в зеленом кафтане. Охотники эти долго не торочили, стояли пешие — около них на чумбурах лошади с своими выступами седел и собаки — и махали руками и один махал лисицей и подал голос.— Дерутся,— сказал стремянной Nicolas. Так гончие вышли за лисицей. Nicolas послал подозвать к себе сестру и шагом поехал на место драки. С другой стороны, тоже прекрасной лошадью и нарядом отличаясь от других, сопутствуемый двумя стремянными, выехал навстречу Nicolas толстый барин. Но прежде, чем съехались господа, дравшийся охотник с лисицей в тороках подъехал к графу. Он далеко снял шапку и старался говорить почтительно, но он был бледен, как полотно, задыхался и был, видимо, в таком озлоблении, что не помнил себя. Глаз у него был подбит, но всё он имел гордый вид победителя.

— Как же, из-под наших гончих он травить будет, да и сука-то моя половая поймала. Поди, судись. За лисицу хватает, я его лисицей-то по морде съездил. «Отдай в тороках». А этого не хочешь,— говорил охотник, указывая на кинжал и, вероятно, воображая, что он всё еще говорит с своим врагом. Nicolas, не разговаривая с охотником, тоже взволнованный, поехал вперед к приближавшемуся барину. Охотник-победитель въехал в задние ряды и там, окруженный сочувствующими любопытными, рассказывал свой подвиг. Вместо врага Nicolas нашел в Илагине добродушного и представительного барина, особенно желавшего познакомиться с молодым графом. Он объявил, что велел строго наказать охотника, очень жалеет о случившемся, просит графа быть знакомым, предлагал свои места и низко галантно снял соболью шапку перед Наташей и сделал ей несколько мифологических комплиментов, сравнивая ее с Дианой [12]. Илагин, чтобы загладить [свою] вину, настоятельно просил Nicolas [чтобы] пройти в его угорь, которую берег для себя и в которой было пропасть лисиц и зайцев. Nicolas [сожалел], польщенный любезностью Илагина и желая похвастаться перед ним охотой, согласился и отвлекся еще дальше ⟨от⟩ своего маршрута. Идти до илагинской угори было далеко и голыми полями, в которых было мало надежды найти зайцев. Они разровнялись и прошли версты 3, ничего не найдя. Господа съехались вместе. [Илагин был] Все взаимно поглядывали на чужих собак, тайком стараясь, чтобы другие этого не заметили, и с беспокойством отыскивали между этими собаками соперниц своим. Ежели разговор заходил о резвости собак, то каждый обыкновенно особенно небрежно говорил о достоинствах своей собаки, которых он не находил слов расхваливать, говоря с своим охотником.

— Да, это добрая собака,— ловит,— равнодушным голосом говорил Илагин про свою краснопегую Ерзу, за которую он два года тому назад отдал три семьи дворовых соседу. Эта Ерза особенно смущала Nicolas, она была необыкновенно хороша. Чистопсовая, тонкая, узенькая, но с стальными на вид мышцами и с той драгоценной энергией и веселостью, которую охотники называют сердцем. Собака скачет не ногами, а сердцем. Всем охотникам без памяти хотелось померять своих собак, у каждого была своя надежда, но они не признавались в этом. Nicolas шёпотом сказал стремянному, что даст рубль тому, кто подозрит, то же самое распоряжение сделал Илагин.

— У вас половый кобель хорош, граф,— говорил Илагин.

— Да, ничего,— отвечал Nicolas. [Любим, фю!]

— Я не понимаю,— говорил Илагин,— как другие охотники ⟨доро-

---

[12] На полях: *Илагин злодей ⟨в качке?⟩.*

жат?〉 завистливы на зверя и на собак. Я вам скажу про себя. Меня веселит, знаете, проехаться, потравить, вот съедешься с такой компанией... Уж чего же лучше... — Он снял свой бобровый картуз перед Наташей,— а это, чтобы шкуры считать, сколько привез, мне всё равно.

— Ну, да.

— Или чтоб мне обидно было, что чужая собака поймает, а не моя,— мне только бы полюбоваться,— не так ли, граф, потому я сужу...

Охотники ровнялись вдоль оврага. Господа ехали в середине[13] правой стороной.

— Оту его!— послышался в это время протяжный крик одного из борзятников Илагина. Он заработал рубль, подозрил русака.

— А, подозрил, кажется,— сказал небрежно Илагин.— Что же, потравим, граф?

— Да, подъехать... да что ж, вместе?— отвечал Nicolas, вглядываясь в Ерзу и в черного кобеля дядюшки, не в силах скрыть волнения, что приходит минута поровнять своих собак с чужими, особенно с илагинскими, славившимися своей резвостью, и чего ему еще ни разу не удалось сделать. Ну, что как с ушей оборвут мою Милку.

— Матерый?— спрашивал Илагин, подаваясь к месту и не без волнения оглядываясь и подсвистывая Ерзу... — А вы, Михаил Никанорович?— обратился он к дядюшке. Дядюшка ехал, насупившись.— Что мне соваться, ведь ваши по деревне плачены собаки. Ругай, на, на,— крикнул,— Ругаюшка,— прибавил он, невольно этим уменьшительным выражая свою нежность и надежды, возлагаемые на этого красного кобеля. Наташа чувствовала то же, что и другие, и, не скрывая, волновалась и вперед уже чувствовала и выражала даже ненависть ко всем собакам, которые [посмеют] смеют поймать зайца вместо ее Завидки.

— Куда головой лежит. Отъезжай, отведи гончих,— крикнул кто-то; но не успели еще [сделать] исполнить этих распоряжений, как русак, чуя мороз к завтрашнему утру, не вылежал и вскочил, [покатился полубугром] сначала приложив одно ухо. Гончие на смычках [понеслись], преследуемые доезжачими, понеслись за ним. Борзятники со всех сторон, так везде было, выпустили собак. Почтенный, спокойный Илагин под гору выпустил свою лошадь, Nicolas, Наташа и дядюшка летели, сами не зная как и куда, видя только собак и зайца и боясь только потерять хоть на мгновение их из вида. Заяц попался матерый и резвый. Он лежал на жнивах, но впереди были зеленя, по которым было топко. Нетерпеливая Наташа была ближе всех к зайцу. Ее собаки первые воззрились и поскакали. Но к ужасу ее, она заметила, что надежная ее Завидка стала мастерить, взяла в сторону, две молодые 〈к ней〉 стали придвигаться, но еще далеко не [добрались] достали, как из-за них вылетела краснопегая Ерза [и стала почти] и приблизилась к зайцу на собаку и стала вилять за ним, вот-вот обещая схватить его. Но это продолжалось мгновение. С Ерзой сравнялся Любим и даже высунулся из-за нее.— Любимушка! Батюшка! — послышался [отчаянный] торжествующий крик Nicolas. Наташа только визжала без слов. Казалось, сейчас ударит Любим, и там и другие подхватят, но Любим догнал и пронесся. Русак [опять впереди над хвостом русака повисла Ерза] отсел и отделился, опять насела красавица Ерза и повисла над хвостом русака, повисла, примеряясь как будто, как бы, не ошибясь, схватить за заднюю ляжку.

— Ерза! Матушка! — послышался плачущий не свой голос Илагина.

Но Ерза не вняла его мольбам, она на самой границе зеленей дала угонку, но не крутую, русак вихнул и выкатил на зеленя; опять Ерза, как дышловая пара, выровнялась с Любимом и [быстро] стала спеть к зайцу, хотя уже не так быстро, как по жнивам.

---

[13] *В середине* написано по словам: *по середине* (прим. составителя).

— Ругай, Ругаюшка! [Отец] Чистое дело марш,— закричал в это время голос, и Ругай, утопая по колена, тяжелый, грузный, красный кобель, вытягиваясь и выгибая спину, стал с первыми двумя выступать из-за них, обогнал их, наддал с страшным самоотвержением уже над самым зайцем, и только видно было, как он кубарем, пачкая спину в грязь, покатился, и звезда собак окружила его. Через минуту все стояли над зайцем. Один счастливец дядюшка слез и, отпазанчив и потряхая зайца, чтоб стекала кровь, тревожно оглядывался, бегая глазами и не находя положения рукам и ногам, говорил, сам не зная с кем.

— Вот это собака... вот вытянул — чистое дело марш,— говорил он, задыхаясь, как будто ругая кого-то, как будто все были его враги, все его обижали и наконец он оправдался.— Вот вам и 1000-ные, чистое дело марш. Ругай, на пазанку,— говорил он, кидая лапу с налипшей землей,— заслужил,— чистое дело марш. Что, прометался?

— Он вымахался, три угонки дал один,— говорил Nicolas, тоже не слушая никого и не заботясь о том, слушают его или нет, и забыв свое старание казаться всегда равнодушно спокойным.— А это что же впоперечь.

— Да как осеклась, так с угонки всякая дворняшка поймает,— говорил также в одно время Илагин, красный и задохшийся от скакания.

Наташа визжала в одно ⟨и⟩ то же время, не переводя духа, так, что в ушах звенело. Она не могла не визжать всякий раз, как при ней затравливали зайца. Она как какой-то обряд совершала этим визгом. Она этим визгом выражала всё то, что выражали и другие охотники своими единовременными разговорами. Дядюшка сам второчил русака, перекинул его ловко и бойко, как бы упрекая всех этим перекидыванием, и с видом, что он и говорить ни с кем не хочет, поехал прочь. Все, кроме него, грустные и оскорбленные, разъехались и только долго после могли прийти в прежнее притворство равнодушия, но долго еще поглядывали на красного Ругая, который с испачканной землей горбатой спиной, с спокойным видом победителя шел рысцой за ногами лошади дядюшки, слегка побрякивая железкой.

«Что ж, я такой же, как и все, когда дело не коснется до травли. Ну, а уж тут держись, всем очки вотру» [14].

Когда долго после дядюшка подъехал к Nicolas и просто заговорил с ним, Nicolas был польщен, что дядюшка после всего, что было, еще удостоивает говорить с ним.

В угори нашли мало, да и было уже поздно. Охоты разъехались, но Nicolas было так далеко идти домой, что он принял предложение дядюшки оставить охоты ночевать у него (у дядюшки) в его деревеньке Михайловке, бывшей от угори в 2-х верстах.

— И сами бы заехали ко мне, чистое дело марш, видите погода мокрая,— говорил дядюшка, особенно оживляясь,— отдохнули бы, графиню бы отвезли в дрожечках. [Наташа очень рада была заехать, но не хотела возвращаться]

Охота пришла в Михайловку, и Nicolas с Наташей слезли у маленького, заросшего садом, серого домика дядюшки.

⟨III⟩

Человек 5 [в казакинах] больших и малых дворовых мужчин выбежало на парадное крыльцо встречать барина. Десятки женщин [в поневах], больших, малых, высунулось с заднего крыльца смотреть на подъехавших охотников. Присутствие Наташи, женщины, барыни, верхом довело любопытство (как и везде, где в незнакомых местах проезжала Наташа) до тех пределов удивления, что многие, не стесняясь ее живым

[14] В автографе: *во рту* (прим. составителя).

присутствием, подходили к ней самой, заглядывали ей в глаза и делали при ней свои замечания, как о [великом] показываемом чуде, которое не человек и не может слушать и понимать.

— Аринка, глянь-ка, на бочкю сидит, а [платье] подол да болтается. Вишь и рожок.— Батюшки-светы, ножик-то... Вишь, татарка.— Как же ты не перекувырнулась-то? — говорила самая смелая, прямо уж обращаясь к ней и отбегая.

Дядюшка слез у крыльца с лошади и, оглянув своих домочадцев, крикнул повелительно, чтобы лишние отошли и чтобы было сделано всё нужное для приема гостей и охоты, прибавив несколько раз что делать. Всё разбежалось и принялось за дело. Наташа, которая, несмотря на усталость или, может быть, вследствие усталости, находилась в раздраженном счастливом состоянии, где зеркало души особенно чисто и блестяще принимает все впечатления, наблюдала и замечала всё до малейших подробностей. Она заметила, как лицо дядюшки преобразилось дома и стало спокойно, уверенно.— Послали за линейкой в Отрадное и вошли в дом. В сенях пахло свежими яблоками и висели волчьи и лисьи шкуры. Было не очень чисто — не видно было, чтобы цель живших людей состояла в том, чтобы не было пятен, но не было заметно запущенности. Там, где жили, было подмыто и подметено, но за углами чистилось в светлый праздник. [Как всегда] Дом был нештукатуренный с [простыми] досчатыми полами. Была маленькая зала. Гостиная с круглым столом и диваном. Но это были нежилые комнаты. Комната 〈*1 нрзб*〉 была кабинет с истасканным диваном и истасканным ковром, и портретом Суворова, и греческими богинями, и запахом Жукова[1] и собаки. Ругай с невычистившейся его спиной вошел в кабинет, лег на диван и обчищал себя языком и зубами. Милка и Завидка тоже введены были. Из кабинета шел коридор, в котором были прорванные занавески и шёпот. Там, видно, начиналась женская половина, и тайная женская половина, так как дядюшка был не женат.

Наташа и Nicolas разделись, сели на диван, оглядываясь (дядюшка ушел, очевидно, что-то приготавливать). Лица их горели, они были голодны, очень счастливы и весь этот [вечер[2] 〈прелестный?〉] час, проведенный у дядюшки, они до конца своей жизни [с наслаждением] вспоминали с грустным наслаждением, как и многие минуты из этого 〈периода?〉 отрадненской жизни, несмотря на то, что ничего особенно счастливого не случилось в этот день. Они поглядели друг на друга (после охоты, в комнате, Nicolas уже не считал нужным принимать важность перед сестрой). Наташа подмигнула брату, и оба удерживались недолго и звонко расхохотались.— Расхохотались, не успев придумать предлога для своего смеха. Немного погодя дядюшка вышел в казакине, [и] синих панталонах и маленьких сапогах. И Наташа почувствовала, что этот самый костюм, в котором она с удивлением и насмешкой видала дядюшку в Отрадном, был [самый] настоящий костюм, и что фраки и сюртуки были смешны, так естественно и благородно дядюшка носил этот костюм. Дядюшка был тоже весел, он не только не обиделся смеху брата и сестры [хотя] (ему в голову не могло прийти, чтобы могли смеяться над его жизнью), а сам присоединился к их смеху.

— Вот так графиня молодая, чистое дело марш, другой такой не видывал,— сказал он, подавая одну трубку Nicolas, а другую закладывал привычным жестом между 3-х пальцев.— День отъездила, хоть мужчине впору, и как ни в чем не бывало. Вот бы, сударыня, кабы такая как вы в мое время была — чистое дело марш, сейчас бы женился.

Наташа ничего не ответила, а только закатилась смехом и сквозь смех проговорила:

---

[1] Имеется в виду табак фабрики Жукова (прим. составителя).
[2] Слово *вечер* ошибочно не зачеркнуто (прим. составителя).

— Что за прелесть этот дядюшка!

Недолго после дядюшки, очевидно по звуку ног, босая девка отворила дверь, и в дверь [с большим подносом в руках вошла полная, румяная красавица, баба лет 40, с приветливой и представительной улыбкой, несмотря на полноту, больше чем обыкновенную, женщина эта] с большим уставленным подносом в руках вошла полногрудая, толстая, румяная, русая красавица, баба лет 40, с двойным подбородком, полными румяными улыбающимися губами; своей приятной представительностью и приветливостью в глазах и каждого движенья, несмотря на толщину, больше чем обыкновенную, заставляющую ее выставлять живот и назад держать голову, женщина эта (экономка дядюшки) [шла легко] ступала чрезвычайно легко и чрезвычайно ловко своими белыми, пухлыми руками[3] уставила поднос, и поклонилась почтительно и ласково, и расставила с него бутылки, закуску и угощение по столу, и, отойдя к сторонке с улыбкой на лице, стала. «Вот она и я, теперь понимаете дядюшку»,— как будто сказала она. Как не понимать, не только Nicolas, но и Наташа поняла дядюшку и значение нахмуренных бровей, и счастливую, самодовольную улыбку, которая чуть морщила губы, в то время как входила Анисья Федоровна. На подносе были травники, наливки, грибки, лепешечки черной муки на юраге, сотовый мед, мед вареный и шипучий, яблоки, орехи, сырые и каленые, и орехи в меду. Потом принесено было Анисьей Федоровной и варенье на меду и на сахаре, и ветчина, и курица, только что зажаренная. Всё это было хозяйства, сбору и варения и приготовления Анисьи Федоровны. Всё это пахло, и отзывалось [ее красивой], и имело вкус Анисьи Федоровны. Всё отзывалось сочностью безупречной, ⟨толстото?⟩ чистотой, белизной и приятной улыбкой.— Покушайте, барышня графинюшка,— приговаривала она, подавая Наташе то то, то другое.

Наташа потом всегда говорила, что подобных лепешек на юраге с таким букетом подобных варений, меду, орехов никогда уже не видала и не ела, как в этот раз у Анисьи Федоровны.

Анисья Федоровна вышла. Nicolas с дядюшкой, пробуя то ту, то другую наливку, разговаривали об прошедшей, будущей охоте, о Ругае и илагинских собаках. Наташа, выпив медку, вступила тоже в разговор. После наступившего случайно молчания, как это почти всегда бывает у людей, в первый раз принимающих в своем доме знакомых людей, дядюшка сказал, отвечая на мысль, которая, вероятно, была у его гостей.— Так-то вот и доживаю свой век. Умрешь,— чистое дело марш,— ничего не останется. Что ж и грешить-то!

Лицо дядюшки было очень значительно и даже красиво, когда он говорил это, и Nicolas невольно вспомнил при этом всё, что он хорошего слыхал от отца и соседей о дядюшке. Дядюшка во всем околотке губернии имел репутацию благороднейшего и бескорыстнейшего чудака. Его призывали судить семейные дела, его делали душеприказчиком, ему поверяли тайны, его выбирали в судьи и другие должности, но он от всего упорно отказывался. Осень и весну проводя в полях на своем соловом мерине, зиму сидя дома [и ходя], летом лежа в своем заросшем саду.

— Что же вы не служите, дядюшка?

— Служил, да бросил. Не гожусь, я ничего не разберу. Это ваше дело. А у меня ума не хватит. Вот насчет охоты другое дело. Отворите дверь то,— крикнул.— Что ж затворили! — Дверь в конце коридора (который дядюшка называл «колидор») вела в людскую охотничью. Там дверь отворили, и ясно стали слышны звуки балалайки, на которой играл очевидно какой-нибудь мастер. Наташа уже давно прислушивалась к этим звукам и теперь вышла в коридор, чтобы слышать их яснее.

---

[3] В автографе ошибочно: *губами* (прим. составителя).

— Это у меня мой Митька-кучер. Я ему купил хорошую балалайку, люблю,— сказал дядюшка. У дядюшки был порядок, когда он приезжал с охоты, чтобы из людской слышались звуки балалайки.

— Отлично, превосходно, прелесть,— говорили Nicolas и Наташа, которым, так же как грибки, мед и наливки показались лучшими в мире, так и это залихватски отхватываемое *Барыня*.

— Еще, и еще,— кричала Наташа в дверь. Дядюшка сидел и слушал, склонив голову набок с такой улыбкой, что он как будто говорил, что я вот и старик и сижу теперь смирно с трубкой, а что я и это могу, очень могу. [*Барыня* повторялась] Мотив *Барыни* повторился раз 100. Несколько раз игрок настраивал и опять дребезжали те же звуки, и слушателям не наскучивало, а только хотелось еще и еще. Анисья Федоровна вошла и прислонилась своим тучным телом к притолке.

— Изволите слушать, графинечка,— сказала она Наташе с улыбкой, которая, так же как и улыбка дядюшки, говорила, что она может,— он у нас славно играет.

— Вот в этом колене не то делает,— вдруг с энергическим жестом, который уж очень показывал, что он может,— сказал дядюшка.— Тут рассыпать надо — чистое дело марш.

— А вы разве умеете? — спросила Наташа. Дядюшка, не отвечая, улыбнулся.

— Посмотри-ка, Анисьюшка, что струны-то целы на гитаре, давно уж не трогал, бросил, чистое дело марш.

Анисья Федоровна, видно, с радостью [побежала исполнить] пошла своей легкой поступью исполнить поручение своего барина и принесла гитару.

Дядюшка, ни на кого не глядя, сдунул пыль, костлявыми пальцами стукнул по крышке, настроился и, видимо, забыв всё и всех, кто тут были в комнате, поправился на кресле, взял грациозно (несколько театральным жестом) повыше шейки гитары и, подмигнув Анисье Федоровне, начал не *Барыню*. А взял один звучный, чистый аккорд и мерно, спокойно, но твердо начал весьма тихим темпом отделывать [аккорды] «По [улице] у-ли-и-ице мостов-ой...— [Входную дверь] Обе двери загородили лица дворни.— Шла девица за водой». Враз, в такт, с тем степенным весельем (тем самым, которым дышало всё существо Анисьи Федоровны) запел вперед в душе у Nicolas и Наташи. Анисья Федоровна закраснелась и, закрывшись платочком, смеясь вышла из комнаты. Дядюшка продолжал чисто, старательно и энергически-твердо отделывать песню, продолжая вдохновенным взглядом смотреть на то место, с которого ушла Анисья Федоровна. Чуть-чуть что-то смеялось в его лице, с одной стороны, под седым усом; особенно когда дальше и дальше расходилась песня, ускорялся темп и в местах переборов отрывалось что-то. Так вот и ждалось, что дядюшка пойдет.

— Чудо, прелесть, восторг, дядюшка! Еще, еще! — кричала Наташа, вскочив, обнимая и целуя дядюшку, не помня себя от радости и оглядываясь на Nicolas, как бы спрашивая его: что ж это такое? Nicolas был тоже в восхищении. Дядюшка второй раз заиграл песню. Улыбающееся лицо Анисьи Федоровны явилось опять в дверях и из-за ней еще другие лица. «...за холодной ключевой — кричит, девица, постой»,— сделал опять забирающий перебор дядюшка, оторвал и сделал энергическое движение плечом.

— Ну, ну, голубчик, дядюшка,— таким умоляющим голосом застонала Наташа, как будто жизнь ее зависела от этого. Дядюшка встал, и как будто в нем было два человека — один из них сериозно улыбнулся над весельчаком, а весельчак сделал наивную, но строго комическую выходку.

— Ну, племянница! — видимо, совершенно забывшись, взмахнул он к Наташе рукой, оторвавшей аккорд.

НАТАША В ГОСТЯХ У ДЯДЮШКИ
Рисунок М. С. Башилова, конец 1860-х годов
Третьяковская галерея, Москва

Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней, выбежала[4] вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движенье плечами и стала.

Где, как, когда всосала [она] в себя из того русского воздуха, которым она дышала, эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, откуда взяла она эти приемы (которые pas de châle давно бы должны были выгнать), но как только она стала, улыбнулась — весело, торжественно и гордо — и повела плечом, первый страх, который охватил было Nicolas и всех присутствующих, страх, что она, барышня, не то сделает, страх этот прошел, и они уже любовались ею. Она сделала то самое и так точно, так полно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала графинечке необходимый для ее дела платок, Анисья Федоровна прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чуждую ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела понять всё то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и тетке, и матери, и во всяком русском человеке.

— Ну, графиня,— чистое дело марш,— радостно смеясь, сказал дядюшка, окончив пляску.— Ай да племянница! Вот бы только муженька бы тебе, молодца бы тебе выбрать,— чистое дело марш!

— Уже выбран,— сказал смеясь Nicolas.

— О? — сказал удивленно дядюшка, глядя вопросительно на Наташу. Наташа с счастливой улыбкой утвердительно кивнула головой.

— Еще какой!

— Вот важно! Чистое дело марш!

После «улицы мостовой» дядюшка по настоятельному требованию племянницы проиграл ей [бар⟨ыню?⟩] еще некоторые песни и спел ей свою любимую охотницкую:

Как заутра выпадала,
Ах, пороша хороша.

[4] В автографе *выбежала* написано по слову *побежала* (прим. составителя).

Дядюшка пел, как поет народ, с полным убеждением, что в песне всё дело в словах, а что напев только так, для складу, и от этого-то этот бессознательный напев в его устах был необыкновенно хорош. Дядюшка пел хорошо, и Наташа была в восхищеньи. Она решила, что не будет больше учиться на арфе, а только на гитаре и тут же стала учиться подбирать аккорды. [Когда приехала линейка, Наташа отказалась решительно ехать в ней, а поехала верхом] [Наташа села в линейку с Nicolas и всю дорогу молчала.] Однако за Наташей уже приехали. Кроме линейки, дрожки и трое верховых, посланных ее отыскивать. Граф и графиня не знали, где она, и волновались и отчаивались от беспокойства. Наташа простилась с дядюшкой и села в линейку. Дядюшка укутывал Наташу и прощался с ней с совершенно новою нежностью. Он пешком проводил их до моста и велел с фонарями ехать впереди охотникам.

— Прощай, племянница дорогая! — крикнул из темноты его старческий размягченный голос.

Ночь была темная и сырая. Лошади шлепали по невидной грязи. В деревне, которую проезжали, были красные огоньки.

— Что за прелесть этот дядюшка! — сказала Наташа, когда они выехали.

— Да,— сказал Nicolas.— Тебе не холодно?

— Хорошо. Отлично, отлично. Мне так хорошо,— с особенным чувством счастия сказала Наташа; и с той поры всё молчала.

Что делалось в этой чистой, детски-восприимчивой душе, так жадно ловившей все разнообразнейшие стороны жизни, как это всё укладывалось в ней, бог знает. Но она была очень счастлива.

Уже подъезжая к дому, она вдруг запела мотив песни «Как заутра выпадала», мотив, который она ловила всю дорогу и наконец поймала.

— Отлично,— сказал Nicolas.

— Ты об чем думал теперь, Nicolas? — спросила Наташа. Они любили это спрашивать друг у друга.

— Я,— сказал Nicolas, раздумывая,— а вот видишь ли,— сначала я думал, что Ругай, красный кобель, похож на дядюшку, и что ежели бы он был человек, то он дядюшку всё бы еще держал у себя за лады [А потом думал, что «Лады, лады, лады» песня есть, припев, и что в хороводе когда ходят, то хорошо бы взять и потащить всех скоро-скоро...] дядюшку. Как он ладен, дядюшка, а? — Он захохотал.— Ну, а ты?

— А я ничего не думала, а только всю дорогу твержу про себя «ich bezeuge dich mein lieber Pumpernikel, ich bezeuge dich mein lieber Pumpernikel» [5],— повторила она, и еще звучнее захохотала Наташа.

— А знаешь,— вдруг сказала она,— я знаю, что никогда уже я не буду так счастлива, спокойна, как теперь.

— Вот вздор, глупости, врешь,— сказал Nicolas и подумал: «Что за прелесть эта моя Наташа, такого другого друга и товарища у меня нет и не будет».

«Экая прелесть этот Nicolas»,— думала Наташа.

— А, еще огонь в гостиной,— сказала она, указывая на окна отрадненского дома, красиво блестевшие в мокрой темноте ночи.— Ну, уж зададут тебе. Мамà велела...

⟨IV⟩

Поздней осенью получено было еще письмо от князя Андрея, в котором он писал, что здоровье его совсем хорошо, что он любит свою дорогую невесту больше, чем когда-нибудь, и считает часы до счастливой минуты свидания, но что есть обстоятельства, о которых не стоит говорить, которые мешают ему приехать раньше определенного срока. Наташа и графиня поняли, что эти обстоятельства было согласие отца. Он

[5] «я уверяю тебя, мой милый Пумперникель» (*нем.*)

умоляет Наташу не забывать его, но с замиранием сердца повторяет прежнее, что она свободна и все-таки может отказать ему, ежели она разлюбит его и полюбит другого.

— Какой дурак! — закричала Наташа со слезами на глазах.

В письме он присылал свой миниатюрный портрет и просил [такой] Наташин. «Только теперь, после 6 месяцев разлуки я понял, как сильно и страстно я люблю вас. Нет минуты, в которую бы я забыл вас, нет радости, при которой бы я не подумал о вас». Несколько дней Наташа ходила с восторженными глазами, говорила только про него и считала дни до 15 февраля. Но это было слишком тяжело. Чем сильнее она любила его, тем страстнее отдалась она мелким [заботам] радостям жизни[1].

Она опять забыла, и как она говорила Nicolas, никогда в жизни она не испытывала, ни прежде, ни потом, той свободы, того интереса в жизни, который она испытывала в эти [первые] 8 месяцев. Зная, что [вопрос о замужестве решен, что ⟨она?⟩] вопрос о замужестве, о счастьи жизни, о любви решен, сознавая (хотя и умышленно не думая об этом), что есть мужчина, лучший из всех, который любит ее,— в ней исчезло это прежнее беспокойство, [отделавшись от этого беспокойства] тревога при виде каждого мужчины и потребность [вскружить] нравственно присвоить себе каждого, и весь мир, с своими бесчисленными радостями, не заслоненный уже этой кокетливой тревогой, открылся перед нею.— Никогда не чувствовались ею ни красоты природы, ни музыки, ни поэзии, ни прелесть семейной любви, дружбы с такой ясностью и простотой. Она чувствовала себя проще, добрее и умнее. Она редко вспоминала и не позволяла себе углубляться в мысли об Андрее и не боялась забыть его. Ей казалось, что это чувство так сильно вкоренилось в ее душе. С приездом брата начался для нее совершенно новый мир — товарищеской, равной — дружбы, охоты и всего того коренного, [русского] природного и дикого, связанного с этого рода жизнью. Старый вдовец, ⟨злодей?⟩ Илагин, пленившись Наташей, стал ездить и через сваху сделал предложение. Прежде бы это польстило Наташе, она забавлялась бы и смеялась, но теперь она оскорбилась за князя Андрея. «Как он посмел?» — думала Наташа.

[Ростов] Граф Илья Андреевич вышел из предводителей, потому что эта должность была сопряжена с слишком большими расходами, и, не имея больше надежды получить место, остался на зиму в деревне. Но дела всё не поправлялись, часто Наташа и Nicolas видели тайные, беспокойные переговоры родителей и слыхали толки о продаже богатого родового московского дома и подмосковной. Лучшие знакомые, соседи уехали в Москву, без предводительства не нужно было иметь такого большого приема, и жизнь Отрадненская велась тише, чем в прежние года, и от этого еще приятнее. Огромный дом и флигели все-таки были полны, и за стол все-таки садилось больше 20 человек, но всё это были свои, обжившиеся в доме, почти члены семейства. Такими были музыкант Диммлер с женой, Иогель с семейством, барышня Белова, жившая в доме, и еще другие. Не было приезда, но ход жизни велся тот же, без которого не могли граф с графиней представить себе жизни. Та же была, еще увеличенная Nicolas, охота, те же 50 лошадей и 15 кучеров на конюшне, тот же сказочник слепой рассказывал на ночь графине сказки, те же два шута в золотых бахромах приходили к столу и чаю, и получали полоскательные чашки с чаем, с сухарем, и так же говорили свои заученные, мнимо смешные речи, которым из снисходительности улыбались господа. Те же учителя и гувернеры для Пети, те же дорогие друг другу

---

[1] К тексту: *Поздней осенью* (с. 517) ∾ *жизни.*— см. Варианты, № 20.
По тексту запись: *Читали «La Nouvelle Héloïse», разговоры.*

подарки в именины и торжественные на весь уезд обеды. Те же графские висты и бостоны, в которых он, распуская веером всем на вид карты, давал себя каждый день на сотни обыгрывать соседям, смотревшим на право составлять партию графа Ильи Андреевича, как на самую выгодную аренду. Берг настоятельно и холодно учтиво, с каждой почтой писал, что они находятся в затруднении и что нужно получить все деньги по векселю. Граф, как в огромных тенетах, ходил в своих делах, стараясь не верить тому, что он запутался, и с каждым шагом всё более и более запутываясь и чувствуя себя не в силах ни разорвать сети, ни осторожно, терпеливо приняться распутывать ее. Графиня никак бы не умела сказать, как она смотрит на это дело, но она любящим сердцем чувствовала, что дети ее разоряются, что граф не виноват, что он не может быть другим, [но что помочь делу] что он сам страдает, хотя и скрывает это. Графиня искала средства и с своей женской точки зрения нашла только одно, женитьбу Nicolas. Она с своей апатией и ленью искала, думала, писала письма, советовалась с графом и наконец нашла, и нашла, по ее понятиям, такую счастливую, во всех отношениях выгодную партию для Nicolas, что она чувствовала, что лучше этого найти нельзя, и что ежели от этой откажется Nicolas, то надо навсегда отказаться поправить дела.— Партия эта была Жюли [Ахросимова] Корнакова, известного с детства Ростовым отличного семейства, дочь прекрасной, добродетельной [хотя и чудачки Марьи Дмитриевны] матери и теперь богатая невеста по случаю смерти последнего из ее братьев. Графиня писала прямо к [Марье Дмитриевне] [матери] 〈Анне Михайловне〉 в Москву и получила от [Марьи Дмитриевны] 〈Анны Михайловны〉 благоприятный ответ и приглашение Nicolas приехать в Москву. С этой стороны всё было хорошо, но графиня чутьем понимала, что Nicolas, по его характеру, отвергнет с негодованием брак по расчету, и потому она, изощряя всю свою дипломатическую способность, несколько раз с слезами говорила Nicolas о ее единственном желании видеть его женатым, о том, как бы она легла в гроб спокойной, ежели бы это было, о том, какая есть прекрасная девушка у нее на примете. В других разговорах она хвалила Жюли Ахрасимову[2] и советовала Nicolas съездить в Москву на праздники повеселиться. (Nicolas догадался очень скоро, к чему клонились разговоры, он вызвал ее на откровенность, и когда она сказала ему, что вся надежда поправления дел теперь в его женитьбе, он с жестокостью, которую сам не понимал, спросил мать, неужели бы, ежели бы он любил девушку без состояния, она бы потребовала, чтоб он пожертвовал чувством и честью для состояния. Nicolas испытывал в это время то же чувство, как и Наташа, спокойствия, свободы и отдохновения в несложных условиях жизни. Ему было так хорошо, что он ни в каком случае не желал менять своего положения и потому менее чем когда-нибудь мог спокойно думать о женитьбе.) Мать ничего не отвечала и расплакалась.

— Нет, ты меня не понял,— говорила она, не зная, что сказать и как оправдаться.

— Маменька, не плачьте, а только скажите мне, что вы этого хотите, и вы знаете, что я всю жизнь свою, всё отдам для того, чтобы вы были спокойны,— сказал Nicolas, но графиня, хотя и верила ему, чувствовала, что весь план ее рушился.

«Да, может быть, я и люблю бедную девушку»,— говорил сам себе Nicolas, и с этого дня, хотя он прежде был совершенно равнодушен к Соне, стал более и более сближаться с ней.

«Пожертвовать своим чувством я всегда могу для блага своих родных, говорил он сам себе, но чувству своему я не могу приказывать, коли я полюблю ее».

---

[2] Фамилия ошибочно осталась неисправленной (прим. составителя).

После охоты начались длинные зимние вечера, но Nicolas, Наташе и Соне было нескучно. Кроме волкобоен для Nicolas, для них всех: троек, катанья, горы, затем театров, музыки, дружеской болтовни, громкие чтения (они прочли «Corinne» и «Nouvelle Héloise») счастливо и вполне занимали их время[3]. Nicolas сидел по утрам в своем накуренном кабинете с трубкой и книгой, хотя ему и нечего было делать отдельно, но так, потому что он был мужчина. И барышни с уважением нюхали этот запах табаку и судили об его этой отдельной, мужской жизни, во время которой он либо читал, либо, куря, лежал и думал то о будущей женитьбе, то о прошедшем службы, то о Карае и его будущих щенках и загривастой лошади, то о Матреше, сенной девушке, то о том, что Милка все-таки косолапа. Но зато тем веселее была их жизнь вместе, когда он к ним присоединялся и особенно когда за фортепьянами или просто в диванной с гитарой они засиживались[4] за полночь [переливая из пустого в порожнее] за такими разговорами, которые для них одних имели смысл. [Так они раз читали] [А Наташе не понравилось, но Соня прослезилась и Nicolas тоже. Тут они ⟨музицировали?⟩, играли и пели неожиданно, урывками, и хором.] Обыкновенно у Наташи каждый день бывала какая-нибудь новая поговорка или [выходка] шуточка, которой нельзя было не смеяться, то «échappement à cilyndre»[5], то «остров Мадагаскар», которые она говорила с особенным чувством[6]. Потом она, [засыпала] [вдруг] когда расходилась, она вскакивала на спину Nicolas и требовала, чтобы он так нес ее наверх спать, и там задерживала его, сближая его с Соней и радостно сощуренными, сонными глазками изредка поглядывала на их любовное шушуканье.

⟨V⟩

Пришли святки. Кроме парадной обедни, на которой в первый раз пела Наташа с Nicolas, [и] дьячком и охотниками разученные духовные песни, торжественных и скучных поздравлений соседей и дворовых, ничего особенного, ознаменовывающего святки, не было. Так прошел [особенно] тихо и грустно первый, 2-й и 3-й день праздников. А в воздухе, в солнце, в рождественском, безветренном, 20-градусном морозе, в холодном лунном свете, в блестках снега, в пустоте передней и девичьей, [в которых было пусто, потому что все отпрашивались] из которых отпрашивались погулять и, запыхавшись и принося мороз, красные, прибегали из дворни,— во всем этом было то поэтическое требование ознаменования праздника, которое делает грустным[1] тишину во время праздников.

После обеда Nicolas, ездивший утром к соседям, вздремнул в диванной. Соня вошла и вышла на цыпочках. Свечей не подавали, и в комнату отчетливо ложились тени и лунный свет рам. Наташа [занята была] пела, после обеда посидела с задремывавшим папенькой, потом пошла [скучая] ходить по дому. [Побродив] [В девичьей она проехалась верхом на нянюшке, но, не доехав до половины дороги, спрыгнула — скучно было.] В девичьей никого не было, кроме старух. Она подсела к ним и выслушала историю о гаданьи и о том, как в баню подъехал суженый и при крике петуха рассыпался, потом пошла к Диммлерам в комнату. Музыкант с очками на носу читал что-то перед свечкой, жена шила. Только что они подвинули ей стул и выразили удовольствие ее видеть, она вста-

[3] Отсутствие согласования — в автографе (прим. составителя).

[4] На полях: *Люди не сердятся.*

[5] ходовой цилиндр

[6] На полях: *Уголок поэтический, Диммлер, сухой немец, расчувствовался. Соня чувствовала то, что Nicolas чувствует ее верность. Илагина предложение. Как он смеет!*

[1] Так в автографе.

ла и ушла, внушительно проговорив: [«Сидней Лабордам, Сидней Лабордам»] «остров Мадагаскар, остров Мадагаскар». Диммлеры не обиделись. Никто не обижался [отчего-то] на Наташу[2]. Потом она пошла в переднюю [разогнала всех лакеев, одного за] и послала одного лакея за петухом, другого за овсом, третьего за мелом, но как только они принесли ей это всё, она сказала, что не надо, и велела отнести. И лакеи, даже старики почтенные, с которыми старый граф обращался осторожно, никогда не сердились на Наташу, несмотря на то, что Наташа беспрестанно помыкала ими, мучала посылками, как будто пробуя: «Что рассердится, надуется он на меня? Достанет у него духа?» [Действительно ни у кого не доставало духа.] Горничная Дуняша была самый несчастный человек: ни минуты она не имела покоя от своей барышни, которая, ежели не требовала то того, то другого, растрепывала Дуняше косу или [пришивала ей хвост к] портила ее платье, вместо того, чтобы дарить ей, и несмотря 〈на это〉 Дуняша умерла 〈бы〉 с тоски, как она раз, заболев, прожила две недели на дворне без барышни, и пришла служить еще слабая и больная. Из передней Наташа пошла в гостиную. Найдя там мать с барышней Беловой за круглым столом, раскладывающую пасьянс, она смешала ей карты, поцеловала в душку и пошла велеть подавать самовар, хотя это было вовсе не время. [и обрадовалась, что самовар велели унести] Самовар велели унести.

— Уж эта барышня,— сказал Фока, унося самовар, 〈не〉 в силах и желая рассердиться. [— Цыц,— закричала на него Наташа и замахнулась на него так, что он, держа в руках самовар, моргнул] Наташа засмеялась, глядя в глаза Фоки, и за этот-то смех никто не сердился на нее.

Настастья Иваныч, что от меня родится? — спросила она, проходя, у шута.

— От тебя блохи, стрекозы, кузнецы,— отвечал шут. Наташа спросила только у шута, но не слушала его ответа, она редко смеялась шуту и не любила говорить с ним. Как будто обойдя свое царство и испытав свою власть и убедившись, что все покорны, Наташа пошла в залу, взяла гитару, села в темный угол и стала в басу перебирать струны, выделывая фразу, которую она запомнила из одной оперы. Для посторонних слушателей на гитаре у нее выходило «ту-ить, ту-ить», не имевшее никакого смысла, но в ее воображении из-за этого «ту-ить» воскресал целый ряд [театральных] воспоминаний [розового атласного платья. Бориса и еще многого, многого]. Она сидела в уголке и, 〈с〉 сериозной улыбкой устремив глаза, слушала себя и вспоминала — всё вспоминала. Она находилась в состоянии воспоминания. Сначала звуки этой толстой струны напоминали ей целый ряд впечатлений из прошлого, но, когда она перевспоминала всё из того времени, ей нечего было вспоминать, но все-таки хотелось находиться в этом полугрустном состоянии воспоминания. И вдруг ей представилось, что она вспоминает настоящее: что то, что она сидит теперь с гитарой в углу, и в щель буфетной двери падает свет,— что это было, и еще прежде было, и было, что она вспоминала, что это было. Соня зачем-то прошла в буфет, в конец зала. И это было точь-в-точь так же.

— Соня, [откуда это?] что это? — крикнула Наташа, делая свое «ту-ить, ту-ить» на толстой струне. Соня подошла и прислушалась.

— Не знаю,— сказала она, как всегда робея перед теми странными разговорами, которые бывали между Nicolas и Наташей о разных бессмысленных тонкостях, которых она, Соня, не понимала. А ей особенно больно это было перед Nicolas, который, она видела, особенно ценил эти непонятные разговоры. Не знаю,— сказала она,— [〈робею?〉] [из «Девы Дуная»] буря! — сказала она, робко угадывая, боясь ошибиться. [Вот

---

[2] На полях: *Наташа сидит одна, перебирает свои вещицы — всё воспоминания — и горюет о том, что она стареется.*

точно] Соня всегда, когда заходили такие разговоры, испытывала совсем особенное от Nicolas и Наташи поэтическое удовольствие. Она не понимала, в чем они находят удовольствие и в этих разговорах и в музыке, но она чувствовала и верила, что тут совершается что-то [поэтическое] хорошее, и с любимым Nicolas, Наташей старалась усвоить себе это отражение. «Ну вот, точно так робко она улыбнулась *тогда*, когда это уж было,— подумала Наташа, и точно так же...»

— Нет, это хор, разве не слышишь: «ту-ить», «ту-ить»,— и Наташа допела, чтобы дать понять.

— Ты куда ходила? — спросила Наташа.

— Воду в рюмку переменить, я срисовываю узор мамаше.— Соня всегда бывала занята.

— А Nicolas где?

— Спит, кажется, в диванной.

— Поди, разбуди его,— сказала Наташа.— Я сейчас приду. [Вслед за Соней Наташа вошла в диванную.— Я сейчас приду,— и она всё делала: «ту-ить, ту-ить», и всё вспоминала. Она вспоминала, как детьми [за ней] целовались Nicolas с Соней, подумала, как теперь он ⟨*1 нрзб*⟩ поцелует ее руку. Она встала]

Она посидела, подумала, что это значит, что всё это было, и, не разрешив этого вопроса и нисколько не сожалея о том, что не разрешила его: «Ах, поскорее бы он приехал. Я так боюсь, что этого не будет! А главное: я стареюсь, вот что. Уж того, что теперь есть во мне...» Она встала, бросила гитару и пошла в гостиную. Все домашние сидели уж за чайным столом, из гостей был дядюшка. Люди стояли вокруг стола. Наташа вошла и остановилась.

— А, вот она,— сказал Илья Андреевич. Наташа оглядывалась кругом.

— Что тебе надо? — спросила мать.

— Мужа надо. Дайте мне мужа, мама, дайте мне мужа,— закричала она своим грудным голосом, сквозь чуть заметную улыбку, точно таким голосом, каким она за обедом ребенком требовала пирожного. В первую секунду все были озадачены, испуганы этими словами, но сомнение продолжалось только одну секунду. Это было смешно, и все, даже лакеи и шут Настасья Иваныч, рассмеялись. Наташа знала и злоупотребляла даже тем, что она знала, что не от того она будет мила и приятна, что она то или другое сделает, но что всё будет мило, как только она что бы то ни было сделает или скажет.

— Мама, дайте мне мужа. Мужа,— повторила,— у всех мужья, а у меня нет.

[За чаем зашел разговор о] [Накануне ⟨было⟩ получено письмо, извещавшее графиню о печальном для нее известии: о женитьбе Бориса на Жюли Ахросимовой.— Что ж ты упустила Бориса, женишок славный был,— сказал граф. Наташа присела.]

— Матушка, только выбери,— сказал граф.

Наташа [⟨не ответила⟩], она поцеловала отца в плешь.

— Нет, не надо, папà.— Она присела к столу (она никогда не пила чай и не понимала, зачем это притворяются, что любят чай) и поговорила рассудительно и просто с отцом и дядюшкой, но скоро ушла в диванную, в любимый их с Nicolas уголок, в котором всегда начинались задушевные разговоры, [присела] [уселась] принесла брату трубку и чай и уселась с ним. [— А помнишь,— начала она,— она всё находилась в состоянии воспоминания,— арапа в кабинете? Помнишь, когда мы совсем маленькие были.

Nicolas обрадовался как старому другу воспоминанию этого арапа.

— Как же...

— Nicolas, мне скучно,— сказала она, садясь подле него.

— Отчего же тебе скучно? — сказал Nicolas с улыбкой, потягиваясь.— Всё хорошо — отлично даже.

— Бывает с тобой,— продолжала Наташа,— что тебе кажется, что ничего не будет — ничего. Что всё, что хорошее, то было. И не то что скучно, а грустно.

— А я видел во сне, что будто я лежу в кабинете, и вдруг в дверь лезет что-то страшное [медведь] и что он меня задерет, и я притворяю дверь, держу и не могу, и вдруг отворилась, и арап вошел, и я умер. И думаю, кончено, и помню, что это во сне... взял и проснулся.] [Nicolas с улыбкой, потягиваясь, смотрел на нее. Отлично выспался,— проговорил он.

— Бывает с тобой,— начала Наташа,— что тебе кажется, что ничего не будет — ничего. Что всё что хорошее, то было. И не то что скучно, а грустно.

Nicolas никогда небрежно не слушал Наташу. Он знал, что она, как бы не ясно она не говорила, говорила то, что было не для того, чтоб подумал]

Nicolas с улыбкой, потягиваясь, смотрел на нее.

— Отлично выспался,— проговорил он.

— Бывает с тобой,— начала Наташа,— что тебе кажется, что ничего не будет — ничего. Что всё, что хорошее, то было. И не то что скучно, а грустно?

— Еще как! — сказал он.— У меня бывало, что всё хорошо, все веселы, и тут мне придет в голову, что ничего не будет и что [все счастливы] всё вздор. Особенно, когда я бывало в полку издалека слышу музыку...

— Еще бы! знаю, знаю,— подхватила Наташа.— Я еще маленькая была, так со мною это бывало. Помнишь, раз меня за сливы наказали. И вы все танцовали, а я сидела в своей классной и рыдала. Так рыдала, никогда не забуду. Мне и грустно было, и жалко было всех, и себя, и всех, всех жалко.

— Помню,— сказал Nicolas. [Я ужасно] [Я очень много помню. Я помню]

Наташа подумала (она всё находилась в состоянии воспоминания).

— А помнишь ты,— сказала она с задумчивой улыбкой,— как давно-давно, мы еще маленькие были, папенька нас позвал в кабинет, еще в старом доме, и темно было, мы пришли, и вдруг там стоит...

— Арап,— докончил Nicolas с радостной улыбкой,— как же не помнить? Я и теперь не знаю, что это был арап или это мы во сне видели или рассказали.

— Он серый был, помнишь, и белые зубы — стоит и смотрит на нас... [Ты помнишь]

— Вы помните, Соня? — спросил Nicolas.

— Нет, не помню,— робко отвечала Соня.

— Я ведь спрашивала про этого арапа у папà и у мамà,— сказала Наташа.— Они говорят, что никакого не было. А ведь вот и ты помнишь.

— Как же, как теперь помню его зубы.

Как это странно, точно во сне было. Я это люблю.

[Они улыбались, глядя друг на друга, и, перебивая один другого, вспоминали различные события из самого первого детства. Для них [это было] воспоминание, как и для всех молодых людей, имело особенную, не грустную [а только], как для старых, а поэтическую, волшебную прелесть.]

— А помнишь, как мы катали яйца в зале и вдруг — две старухи, и стали по ковру вертеться? Это было или нет? Помнишь, как хорошо было...

— Да, а помнишь, как папенька выстрелил из ружья?

Они перебирали, улыбаясь, с новым для них наслаждением воспоминания, не грустного, старческого, а поэтически-юношеского воспоминания, из того самого дальнего прошедшего, где сновидения сливаются с дей-

ствительностью, и тихо смеялись, грустно радуясь чему-то. Соня как и всегда отстала от них, хотя воспоминания их были общие. Она приняла участие только в том, когда они вспоминали первый приезд Сони. Соня говорила, как она боялась Nicolas, потому что у него на курточке были снурки, и ей няня сказала — и ее в снурки зашьют.

— А я думала, что ты капустная дочь, мне сказали...

В диванную, в которой горела только одна нагоревшая сальная свеча, вошел Диммлер и подошел к арфе, стоявшей в углу. Он снял сукно, и арфа издала фальшивый звук.

— Эдуард Карлыч, сыграйте, пожалуйста, мой любимый ноктюрн Фильда,— сказал голос старого графа из гостиной.

Диммлер взял аккорд и, обратясь к Наташе, Nicolas и Соне, сказал: — Молодежь как смирно сидит.

— Да, мы философствуем,— сказала Наташа, на минутку оглянувшись, и продолжила разговор. [Но, когда Диммлер начал играть, она тихо встала, вынесла свечку и, вернувшись] Разговор шел теперь о сновидениях. Наташа рассказывала, как она прежде часто летала во сне, а теперь редко.

— Ты как, на крыльях? — спросил Nicolas.

— Нет, так, ногами. Усилиться надо немножко ногами.

— Ну да, ну да,— улыбаясь говорил Nicolas.

— Вот так,— сказала быстрая Наташа, вскочив на диван стоя. Она выразила в лице усилие, протянула вперед руки и хотела полететь, но спрыгнула на землю. Соня и Nicolas смеялись.

— Нет, постой, не может быть, непременно полечу,— сказала Наташа.

Но в это время Диммлер начал играть. Наташа соскочила, опять взяла свечу, вынесла ее и, вернувшись, тихо села на свое место. В их углу было темно, но в большие окны падал на пол холодный, морозный свет месяца.

— Знаешь, я думаю,— сказала Наташа [придвигаясь] шёпотом, придвигаясь к Nicolas и Соне, когда уже Диммлер кончил и всё сидел, слабо перебирая струны, видимо, в нерешительности, оставить или начать что-нибудь новое,— что, когда этак вспоминаешь, вспоминаешь, всё вспоминаешь, до того довспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете.

— Это метампсикоза,— [сказал Nicolas.— Они же верили] сказала Соня, которая всегда хорошо училась и помнила историю.— Египтяне верили, что наши души были в животных и опять пойдут в животных.

— Твоя я знаю в кого пойдет душа.

— В кого?

— В лошадь?

— Да?

— А Сонина?

— Была кошка, а сделается собакой.

— Нет, знаешь, я не верю этому, чтоб мы были в животных,— продолжала Наташа тем же шёпотом, хотя музыка и кончилась,— а я верю и знаю наверное, что мы были ангелами там где-то и здесь были, и от этого всё помним...

— Можно мне присоединиться к вам? — сказал тихо подошедший Диммлер и подсел к ним.

— Ежели бы мы были ангелами, так за что же мы попали ниже? Нет, это не может быть,— говорил Nicolas.

— Не ниже, кто же тебе сказал, что ниже... Почему я знаю,— горячо возражала Наташа.— Ведь ты же говорил, что души бессмертны...

— Да, но трудно нам представить вечность,— сказал Диммлер, [начав] подсев с презрительной улыбкой, но, теперь, сам не зная как,

чувствуя, что и он поддался влиянию диванной, и серьезно принимал разговор[3].

— Отчего же трудно? Нынче будет, завтра будет, всегда будет! Я только не понимаю, отчего же началось вдруг...

— Наташа, теперь твой черед, спой мне что-нибудь,— послышался голос графини.— Что вы уселись, точно заговорщики?

— Мамà, мне так не хочется,— сказала Наташа, но вместе с тем встала.

И всем им, даже и старому, черствому Диммлеру, почувствовавшему в этом уголке какое-то новое, свежее чувство, не хотелось уходить. Но Наташа встала и пошла. Nicolas сел за фортепиано, и она начала петь, как всегда становясь на середину залы и выбирая выгоднейшее место для резонанса. Она сказала, что ей не хотелось петь, но она давно прежде и долго после не пела так, как она пела в этот вечер. Граф Илья Андреич из кабинета, где он беседовал с Митенькой, слышал ее пенье и, как ученик, торопящийся идти играть, доканчивая урок, путался в словах и замолкал. Митенька изредка улыбался. Nicolas, не спуская глаз с сестры, и вместе с ней переводил дыханье. Соня, с ужасом слушая ее, думала о том, какая громадная разница между ею и ее другом и как невозможно ей быть любимой. Старая графиня сидела с счастливо-грустной улыбкой и слезами в глазах, изредка покачивая головой и думала о том, как скоро ей придется разлучиться с Наташей и как хорошо и вместе как грустно ей будет отдать ее князю Андрею.

Диммлер подсел к графине и, закрыв глаза, слушал.

— Нет, графиня,— сказал он наконец,— это талант европейский, ей учиться нечего, этой мягкости, нежности, силы...

— Ах, как я боюсь за нее, как я боюсь! — сказала графиня, не помня, с кем она говорит [и выражая только тот страх за нравственное]. Ее материнское чутье говорило ей, что [Наташа] чего-то хорошего слишком много в Наташе и что страшно за нее. Чувство материнское не обманывало. Еще Наташа не кончила петь, как в комнату вбежал восторженный 11-летний Петя с известием, что пришли наряженные. Наташа вдруг остановилась [подбежала].

— Дурак,— закричала она на брата, подбежала к стулу, упала на него и заплакала. Но тут же вскочила, поцеловала Петю и побежала навстречу наряженных: медведей, коз, турок, баринов, барыней, страшных и смешных. Дворовые с балалайкой ввалили в залу и начались песни, пляски, хороводы и подблюдные песни. Через полчаса в зале между другими наряженными появились еще: старая барыня в фижмах — Nicolas, ведьма — Диммлер, гусар — Наташа, черкес — Соня и турчанка — Петя. Всё это было затеяно и устроено Наташей. Она и придумывала наряды и разрисовывала пробкой усы и брови. Она была теперь [необыкновенно вес〈ела〉] веселее и оживленнее, чем обыкновенно. После снисходительных удивлений, неузнаваний и похвал со стороны не наряженных, молодые люди нашли, что костюмы так хороши, что надо было их показать еще кому-нибудь. Nicolas [первый], которому хотелось по отличной дороге прокатить всех на своей тройке, предложил, взяв с собой из дворовых человек 6 наряженных, ехать к дядюшке, который [был] [обедал в Отрадном, но уехал] только что уехал к себе. Через полчаса были готовы 4 тройки с колокольцами и бубенчиками и в неподвижном, морозном, пропитанном лунным светом воздухе, по не только скрипящему, но свистящему от 25-градусного мороза снегу тройки с наряженными покатили [с песнями] к дядюшке[4].

---

[3] На полях: *Петя, 〈наряженные?〉.*

[4] На полях: *Дядюшка суетился, едва ли приятно. Наташа советы дает странные.*

⟨VI⟩

Наташа первая дала тон того святочного веселья, которое разгорелось теперь во всех, даже в Диммлере, плясавшем со своей метлой в костюме ведьмы. Веселье отражалось от одного к другому, всё более и более увеличивалось, особенно когда все вышли на мороз и, переговариваясь, перекликаясь, смеясь и крича, расселись в сани.

Две тройки были разгонные, одна тройка старого графа с орловским рысаком в корню; другая собственная Nicolas с его низеньким вороным косматым коренником. Nicolas был очень весел. Он в своем старушечьем наряде, на который он надел гусарский подпоясанный плащ, стоял в середине своих саней, подобрав возжи. Было так светло, что он видел отблескивающие на месячном свете бляхи [и глаз коренного, который с подтянутой высоко головой косил на седоков, требуя работы. Пошел вперед] [и глаза лошадей и их] и глаза лошадей, испуганно оглядывавшихся на седоков, шумевших у подъезда в таинственном свете месяца.

К Nicolas сели Наташа, Соня, две девушки и няня.

— Пошел вперед, Захар,— крикнул он кучеру отца, с тем чтобы перегоняться с ними. Одна тройка тронулась вперед, свистя полозьями и звеня колокольчиками, которые были слишком звучные для этой ночи. Пристяжные [увязали и] жались на оглобли и увязали, выворачивая как сахар крепкий и блестящий снег.

— Ну, [с богом] вы, милые,— крикнул Nicolas по-ямщицки, забывая свои фижмы, и тронулся за ними, сначала рысцой по узкой дороге [прищпекта] [аллеи] мимо сада. [По дороге лежали неподвижные тени оголенных дерев. Nicolas перерезал их] Тени от оголенных дерев ложились часто поперек дороги и [затеняли] скрывали яркий свет луны. Но вот выехали на сахарную, блестящую даже фиолетовым отблеском снежную равнину, толконул — раз, раз — ухаб в передних санях; точно так же толконул следующие, следующие.

— Вот след заячий, много следов! — прозвучал в [снежном] морозном, скованном воздухе голосок Наташи.

— Как видно, Nicolas! — сказал голосок Сони. Nicolas оглянулся на них и пригнулся, чтоб рассмотреть какое-то совсем новое лицо, с бровями и усиками выглядывало из соболей. «Это прежде была Соня»,— подумал он. Он ближе вгляделся в нее и улыбнулся.

— Вы что, Nicolas?

— Ничего.— Он опять повернулся к лошадям, которые, выехав на торную большую дорогу по примасленному снегу, всю иссеченную следами шипов, стали натягивать. Левая пристяжная уже подергивала прыжками свои постромки. Коренной раскачивался, но упирался, как будто спрашивая: «Начинать? Или рано еще?» [Ну ли вы] Впереди, уже далеко отделившись и вдали звеня колокольцом, но ясно видная черная тройка на белом снегу катил Захар, покрикивая, и из его саней слышны были повизгивания дворовых и голос и хохот Диммлера.

— Ну ли вы, разлюбезные! — крикнула старушка в фижмах, с одной стороны поддергивая возжи и [поводья] наотмашь отводя с кнутом руку, и только по усилившемуся как будто навстречу ветру и подергиванью натягивающих и всё прибавляющих скоку пристяжных заметно было, как шибко летела тройка. Nicolas глянул назад. С криком и визгом, маханием кнутом навскочь коренных отставали другие тройки. Коренной стойко поколыхивался под дугой, но еще и не думал сбивать, и обещая еще и еще наддать, когда понадобится. Сдерживая, они поровнялись с первой тройкой.

— Ну, [держись] Захар, равняйся.

Захар обернул свое уже обиндевевшее по брови лицо:

— Ну, держись, барин.

[Nicolas взял вперед, но Захар обогнал] Тройки понеслись, но Захар

взял вперед, [но] Nicolas стал ровнять с ним [захватывая].— Врешь, барин,— закричал Захар и стал жать его вправо. Правая пристяжная скакала в непроезжанном снегу и закидывала седоков мелким сухим снегом.— Nicolas не выдержал и выпустил вскачь всю тройку.

Проехав с версту, он остановил [пешком] и опять оглянулся, в санях все сидели какие-то чужие с усиками веселые лица.

— Посмотри, у него и усы и ресницы все белые,— сказал один с усиками. «Этот, кажется, Наташа»,— подумал Nicolas.

— Не холодно вам? — Диммлер что-то кричал смешное из тех саней. Его не расслышали, но всё равно засмеялись.

Бог знает, рад ли был дядюшка всему этому веселью — даже первое время он казался смущен и ненатурален, но те, кто приехали к нему, и не замечали этого. После плясок и песен начались гаданья. Nicolas снял свои фижмы и надел дядюшкин казакин, барышни оставались в своих костюмах, и всякий раз Nicolas надо было прежде вспомнить, что это Соня и Наташа, когда он смотрел на них с их пробкой начерченными усами и бровями. Особенно Соня поражала его, и, к радости ее, он беспрестанно внимательно и любовно смотрел на нее. Ему казалось, что он нынче только, благодаря ее усам и бровям, узнал ее в первый раз. «Так вот она какая, а я-то дурак»,— думал он, глядя на ее блестящие глаза и счастливую, восторженную из-под усов улыбку, делающую ямочки на щеках, которые он не видал прежде.

После вынимания колец и петуха Анисья Федоровна предложила барышням пойти в амбар послушать. Амбар был около самого дома, и Анисья Федоровна говорила, что в амбаре верно всегда слышат, [кто] либо пересыпают, либо стучат, а раз голосом заговорили оттуда. [Наташа побежала слушать, но вернулась холодная, озяблая, но ничего не слыхавшая. Потом пошла Соня] [Наташа побежала слушать, но вернулась, уверяя] Наташа сказала, что она боится.

Соня, смеясь, накинула себе на голову шубку и, улыбаясь, выглянула из-под нее.

— Вот я ничего не боюсь, сейчас пойду.

Опять Nicolas увидал эту неожиданную улыбку из-под пробочных усов.

«Что за прелесть эта девочка!» — подумал он.— И об чем я, дурак, думал до сих пор?» И только Соня вышла в коридор, Nicolas пошел на парадное крыльцо освежиться, в маленьком доме было жарко. На дворе был тот же неподвижный холод, тот же месяц, только еще светлее. Свет был так силен, и звезд на снеге так много, что на небо не хотелось смотреть, и звезд незаметно было. На небе было черно и скучно, на земле было весело.

«Дурак я, дурак. Чего я ждал до сих пор?» — подумал Nicolas и, сам не зная зачем, сбежал с крыльца и обошел угол дома по той тропинке, которая вела к заднему крыльцу. Он знал, что здесь пойдет Соня. На половине дороги стояли сложенные сажнями дрова. На них был снег, от них падала тень, через них и с боку их, переплетаясь, падали тени переплетенно на снег и дорожку. Дорожка вела к амбару. Стена рубленного амбара, как высеченная из какого-то необыкновенного драгоценного камня, блестели на месячном 〈свете〉. Было совершенно тихо. В саду треснуло дерево, и опять всё затихло. [Грудью дышалось] Грудь дышала не воздухом, казалось, а какой-то вечно молодой силой и радостью.

Вдруг в девичьем крыльце застучали ноги по ступенькам, скрыпнуло звонко на последней, на которую был нанесен снег, и голос Анисьи Федоровны сказал:

— Прямо-то вот, барышня. Только не оглядывайтесь.

— Я не боюсь,— отвечал голос Сони, и по дорожке, по направлению к Nicolas, завизжали, засвистели ножки в тоненьких [ботинках] башмачках. «Она, да. Ну что ж я? — подумал Nicolas.— Не знаю. Но она

прелесть». Соня была уже в двух шагах, и увидала его. Она увидала его тоже не таким, каким она знала и всегда немного боялась его. Он был в дядюшкином казакине с спутанными волосами и насурмленными бровями, тоже с счастливой и новой для Сони улыбкой. Соня испугалась того, что будет, и быстро подбежала к нему: «Совсем другая и всё та же»,— думал Nicolas, глядя на ее лицо, всё освещенное лунным светом. Он под шубку, прикрывавшую ее голову, обнял под шубку[1] и прижал к себе и поцеловал в губы, над которыми были усы и от которых сладко пахло пробкой. Соня[2] в самую середину губ поцеловала его и, выпростав маленькие руки, с обеих сторон взяла его за щеки.

— Соня, ждешь, видно, своего суженого,— сказал Nicolas.— Нечего и в амбаре слушать. Пойдем, увидят. Они подбежали к амбару и вернулись назад каждый с своего крыльца.

Когда они возвращались назад, Наташа [села], всегда всё видевшая и замечавшая, села в сани с Диммлером, а Соню посадила с Nicolas. Nicolas, уже не перегоняясь, ровно ехал, всё оглядываясь в этом странном лунном свете на Соню, отыскивал в этом переменяющем всё свете и из-под бровей и усов свою ту прежнюю и теперешнюю Соню, с которой он положил не разлучаться. Вглядывался, вглядывался и, когда узнавал всё ту же и другую и вспоминал этот запах пробки, смешанный с поцелуем, молча отворачивался или иногда только спрашивал: — Соня, вам хорошо? — Хорошо,— и продолжал править.

На середине дороги он, однако, дал подержать лошадей кучеру и перебежал к Диммлерам. Они подбежали к саням Наташи и сели на отвод.

— Наташа,— сказал он ей шёпотом по-французски,— знаешь, я решился насчет Сони.

— Ты ей сказал? — спросила Наташа, [сияя глазами так же] вся вдруг просияв от радости.

— Ах, какая ты странная с этими усами и бровями, Наташа! Ты рада?

— Я так рада, так рада! Я уже сердилась на тебя. Я тебе не говорила, но ты дурно с ней поступал. Это такое сердце, Nicolas, как я рада! [Я бываю гадкая,— продолжала Наташа.— Теперь, когда мне говорят, что кто-нибудь женится, мне завидно бывало, но теперь] Я бываю гадкая, но мне совестно было быть одной счастливою, без Сони,— продолжала Наташа.— Теперь я так рада. Ну, беги к ней.

— Нет, постой, ах, какая ты смешная! — говорил Nicolas, всё всматриваясь в нее и в ней тоже находя что-то такое новое, необыкновенное, чего он прежде не видал в ней. Именно не видал он в ней прежде этой сердечной серьезности, которая ясна была, в то время как она с своими усами и бровями [давала ему] говорила, что он должен был это сделать.

— Кабы я прежде видел ее такою, какая она теперь, я бы давно спросил и что сделать, и сделал бы, что она бы велела, и всё бы было хорошо.

— Так ты рада, и я хорошо сделал?

— Ах, так хорошо! Я [раз] недавно, знаешь, с мамашей поссорилась за это. Мама̀ говорила, что она тебя ловит. Как это можно говорить? Я с мама̀ побранилась. И никому никогда не позволю ничего дурного про нее сказать и подумать, потому что в ней одно хорошее.

— Так хорошо,— сказал Nicolas, опять вглядевшись в брови и усы, чтоб знать, правда ли это, и, скрыпя сапогами, соскочил и побежал к своим саням. Всё тот счастливый, улыбающийся черкес, с усиками и блестящими глазами, смотревший из-под собольего капора, сидел там.

---

[1] Так в автографе.
[2] Вместо *Соня* ошибочно написано: *Наташа* (прим. составителя).

[Вернувшись] [Когда уже часу во 2-м барышни, раздевшись, но не смыв пробки, пришли в свою комнату, Дуняша, тоже насурмленная, устроила зеркала и предложила гадать. Обе барышни посидели. [Я подумаю об нем, о твоем,— сказала Соня по-французски Наташе и села за зеркала.] — Наташа, я видела комнату большую, и сидит, пишет,— рассказывала Соня.

После Сони села Наташа, но, как ни текли у нее слезы от усилия вглядываться в эту перспективу свечей, она ничего не видала и так и сказала, что ничего не видала.]

Вскоре после святок[3] старая графиня настоятельно стала требовать от сына, чтоб он женился на Жюли, и когда он признался ей в своей любви и в обещаниях, данных Соне, старая графиня стала упрекать перед сыном Соню и называла ее неблагодарной. Nicolas умолял мать простить его и ее, угрожая даже тем, что, ежели Соню будут преследовать, то он сейчас же тайно женится на ней, и, почти рассорившись с отцом и матерью, уехал в полк, обещая Соне устроить в полку свои дела и через год приехать жениться на ней.

[Вскоре после отъезда сына граф получил известие, что князь желает купить его дом, и для окончательного производства этой продажи поехал в Москву и взял с собою Наташу, особенно скучавшую после отъезда брата, чтобы повеселить ее] [Вскоре после отъезда Nicolas было получено письмо от князя Андрея, в котором] [Вскоре после отъезда Nicolas Pierre] [Вскоре после отъезда сына Ростовы собрались в Москву. До назначенного князем Андреем срока оставался месяц, и Наташа надеялась найти его уже в Москве] Вскоре после отъезда сына Илья Андреевич собрался в Москву для продажи дома. Наташа утверждала, что князь Андрей уже, верно, приехал и, умоляла, чтобы отец взял ее с собою. После переговоров и колебаний решено было графине оставаться в Отрадном, а отцу с двумя девочками ехать в Москву на месяц и остановиться у тетушек[4].

〈VII〉

Любовь князя Андрея и Наташи и их счастье было одной из главных причин происшедшего переворота в жизни Pierre. Ему не было завидно, он не ревновал. Он радовался счастию Наташи и своего друга, но после этого [он не мог уже переносить даже прежних холодных отношений своих к жене, и весь интерес и всё значение масонства для него мгновенно исчезли. Он уехал в Москву.] вся жизнь его расстроилась. Весь интерес масонства вдруг исчез для него. Весь труд самопознания и самосовершенствования пропал даром. Он поехал в клуб. Из клуба с старыми приятелями к женщинам. И с этого дня начал вести такую жизнь, что графиня Елена Васильевна сочла нужным сделать ему строгое замечание. Pierre, ничего не сказав ей, собрался в Москву и уехал[1].

В Москве [же], как только он въехал в свой огромный дом с засохшими и засыхающими княжнами, с громадной праздно кормящейся дворней, как только он увидал, проехав по городу, эту Иверскую с свечами, эту площадь с неизъезженным снегом, этих извозчиков, эти лачужки Сивцего Вражка, увидал стариков московских, всё ругающих, ничего не желающих и, [тихо] никуда не спеша, доживающих свой век, увидал старушек, московских барынь и Аглицкий клуб, [он навсегда распростился не с масонством по форме, а с верою и любовью в него] [он почувствовал себя дома, в тихом пристанице. Со времени своего приезда

---

[3] На полях: *Пишут Pierre и Марья, чтобы они приезжали знакомиться с стариком.*

[4] На полях: *Три московских круга: Долохов и Анатоль. Pierre — умники веселые, свет Жюли и Hélène. Театр. Старый князь в Москве, жизнь с Коко.*

[1] К тексту: *Любовь князя Андрея ∾ и уехал.*— см. Варианты, № 21.

в Москву он ни разу не открывал своего дневника, не ездил к братьям масонам, отдался опять своим главным страстям, в которых он признавался при принятии в ложу, и был доволен, и спокоен, и весел.] он почувствовал себя дома, в тихом пристанище [где]. Со времени своего приезда в Москву он ни разу не открывал своего дневника, не ездил к братьям масонам, отдался опять своим главным страстям, в которых он признавался при принятии в ложу, и был, ежели не доволен, то не мрачен и весел. Как бы он даже не ужаснулся, а с презрением бы не дослушал того, который 7 лет тому назад, до Аустерлица, когда он только приехал из-за границы, сказал бы ему, что ему ничего не нужно искать и выдумывать, что его колея определена предвечно и давно пробита. Жениться на красавице, жить в Москве, давать обеды, играть в бостон, слегка бранить правительство, иногда покутить с молодежью и быть членом Аглицкого клуба. Он и хотел произвести республику в России, он хотел быть и Наполеоном, он хотел быть и философом, и хотел залпом выпить на окне бутылку рому, он хотел быть тактиком, победителем Наполеона, он хотел и переродить порочный род человеческий и самого довести себя до совершенства, он хотел и учредить школы и больницы, и отпустить на волю крестьян, и вместо всего этого он был богатый муж неверной жены, камергер в отставке и член московского Аглицкого клуба, любящий покушать, выпить и, расстегнувшись, побранить слегка правительство. Он был всем этим, но и теперь не мог бы, не в силах бы был поверить, что он [вступил] есть тот самый отставной московский камергер, тип которого он так глубоко презирал 7 лет тому назад. [Нет] Ему казалось, что он совсем другой, особенный, что те совсем другие, те пошлые, глупые, [а он] а я и теперь всё недоволен, всё мне хочется сделать всё это для человечества. Ему бы слишком больно было подумать, что, верно, и все те отставные камергеры так же бились, искали какой-то новой, своей дороги в жизни, и, так же как и он, силой обстановки, общества, породы, той стихийной силы, которая заставляет картофельные ростки тянуться к окну,— приведены были, как и он, в Москву — Аглицкий клуб, легкое фрондерство против правительства и отставное камергерство.— Он всё думал, что он [вот] другой, что он не может на этом остаться [и что вот-вот], что это так, покаместа (так, покаместа, уже 1000 людей входили со всеми зубами и волосами и выходили без одного из московского Аглицкого клуба), и что вот-вот он начнет действовать... Он и его друг Андрей в этом взгляде на жизнь были до странности противуположны один другому. Pierre всегда хотел что-то сделать, считал, что жизнь без разумной цели, без борьбы, без деятельности не есть жизнь, и всегда он ничего не умел сделать того, что хотел, и просто жил, никому не делая вреда и многим удовольствие. Князь Андрей, напротив, с первой молодости считал свою жизнь конченною, говорил, что его единственное желание и цель состоят в том, чтобы дожить остальные дни, никому не делая вреда и не мешая близким себе, и вместе с тем, сам не зная зачем, с практической цепкостью ухватывался за каждое дело [и входил в самую], и увлекался сам, и других увлекал в деятельность.

[Pierre] [В 11-м году зимой Pierre уже домом] [В 11-м году Pierre с женою] [В 11-м году зимой Pierre с женою в огромном, заново отделанном безуховском доме, в котором большинство москвичей считало за честь быть приглашенными на балы и ужины, но в котором Pierr'у одному было тяжело и скучно. Его монастырь, его тот уголок с несложными условиями жизни, в которой он уединялся от всей путаницы действительности, был клуб, особенно с помощью выпитой одной или двух бутылок вина. Там он всё бранил, над всем смеялся, как и все московские старички в клубе, частью оттого, что легче критиковать и бранить, чем понять смысл дела, частью оттого, что в характере Москвы не делать уступок и глупость называть глупостью. Не одно происходило от дру-

гого, а обе причины совпадали. Несмотря на то, однако, когда, скучая, Pierre появлялся в обществе, он, сам не зная того, делался французски мил и любезен, и про него говорили: «il est charmant, c'est dommage (что-то), c'est un homme de beaucoup d'esprit» [2]. Но Pierr'у было скучно и тяжело. Князь Андрей был далеко и не писал, знакомых были все, а друга, любимого человека, мужчины или женщины, не было ни одного. В середине зимы Pierre узнал, что в Москву приехал с дочерью князь Николай Андреевич Болконский. Он был, как говорили, слаб, стар и болен и приехал лечиться. Pierre поехал к нему, был принят особенно ласково, как и тот раз в Лысых Горах, и с тех пор дня не проходило, чтобы Pierre не бывал у них. И старый чудак с дочерью сделались для Pierr'а именно теми людьми, которых ему нужно было,— людей, которых бы он любил сердцем. Старый князь, приехав в 11-м году после долгого изгнания] [Одно только отличавшее Pierr'а от других, но и то общее с большинством людей его состояния, он последнее время страстно увлекся живописью и приобретением и увеличением своей уже дорогой, огромной галереи.]

Прожив год [3], Pierre сделался совсем московским жителем. Ему стало покойно, тепло, привычно и приятно в Москве, как в заношенном старом платье, которого нет причины когда-нибудь переменить, как бы оно не износилось. Как ни чужд был для него дом его жены, как ни неприятна была эта постоянная близость Hélène, может быть, самое это озлобление на нее еще поддерживало и сдерживало его. Когда в конце апреля Hélène уехала в Вильно, куда переехал двор, Pierre почувствовал себя страшно печальным и запутанным, главнее всего он чувствовал себя запутанным. Он впал с разницей годов и опытности почти в то же состояние, в котором он был 7 лет тому назад в Петербурге. [Он ясно] В душе его с прежней силой поднялось сознанье любви к добру, к справедливости, к порядку, к счастию, и, примеривая к этому сознанию и свою и чужую жизнь, он уже сам недоумевал перед 〈несостоятельностью?〉 жизни [4], старался закрыть глаза от всей представлявшейся ему безобразной путаницы и не мог. Что такое сотворилось на белом свете, думал он, постоянно, в душе имея идеал справедливости, счастия, порядка, целесообразности (ежели он не носил в себе этого идеала, как бы ему казалось просто и ясно), что такое творится на свете. Я ненавижу, презираю эту женщину и навеки, как ...forçat [5] цепью, на которой висит ядро [ношей] чести, имени, связан с ней и ее связываю. Ее любовник Борис бросает ее для того, чтобы жениться на женщине скучной и глупой и губит все хорошие чувства затем, чтобы быть неравным с женою (она богата, он беден) [6]. Старик Болконский любит дочь и за то мучит ее, а она любит добро, за то несчастна, как камни. Сперанский был дельный, полезный человек, его ссылают в Сибирь. Государь был друг Наполеона, теперь нам велят проклинать его. Наташа Ростова — милая, тонкая, поэтическое существо — чуть не отдается глупому, грубому фату [солдату]. И он не виноват. Масоны клянутся в любви и милосердии и не платят денег и интригуют Астрея против Ищущих Манны и бьются о фартук шотландской ложи. А я понимаю всю путаницу. Вижу, что узел накручен и перекручен, а как распутать его не знаю. Не только не знаю, но знаю, что нельзя его распутать. Pierre в этом положении особенно любил брать газеты и читать политические новости. Лорд Пит говорит о хлебе, он этого не думает. Зачем Бонапарт говорит о дружбе,—

---

[2] он мил, и жаль — человек большого ума. Французский текст у Толстого прерывается русским: (*что-то*).

[3] На полях: *Pierre много пил, жена в Вильне. Как его любят. Дружба — утешать — сам виноват.*

[4] В автографе: *жизнью* (прим. составителя).

[5] каторжник

[6] На полях: *Pierre 〈помнит?〉 разговор о Napoléon и Hélène.*

всё лгут, сами не знают зачем? Но мне-то куда, куда деваться, думал Pierre. Он испытывал несчастие людей многих, особенно русских людей,— способность видеть и верить в возможность добра и правды и слишком ясно видеть ложь и зло жизни. Поэтому умственное спасение от этого мучения — дело, работа — было отнято от него. Всякая область труда в глазах его соединялась с злом и обманом. Ежели он пробовал быть филантропом и либералом-служакой, [он скоро] ложь и зло скоро отталкивали его. А вместе ⟨с тем⟩ дело, специальность необходимы были Pierr'у, как они двояко необходимы для каждого. С одной стороны — по справедливости — человек, пользующийся благами общества, должен сам работать, чтобы отдать обществу то, что он берет от него; с другой стороны — лично необходимо дело — специальность, потому что человек, *неделающий*, будет видеть всю безобразную путаницу жизни и [потер⟨яет⟩] сойдет с ума или умрет, глядя на нее. Как прикрытие под ядрами, как рассказывал Pierr'у князь Андрей, всё было занято — все, кто делал плетеночки из сухой травы, кто строил, кто городил домики, кто сапоги поправлял. Слишком страшно быть под ядрами, чтоб не делать чего-нибудь. Слишком страшно быть под жизнью, чтоб не делать что-нибудь. И Pierr'у надо было делать. И он делал. [Он] Удержав из масонства один мистицизм, он читал, и читал мистические книги, и от чтения и мыслей отдыхал болтовней в гостиных и клубе, к вечеру и после обеда большей частью уже много выпивал. [Выпив вина] [Вино] В потребности пить вино для Pierr'а было опять то же совпадение 2-х противуположных причин, ведших к одному. Пить вино для него становилось всё больше и больше физической потребностью. Он опрокидывал в свой большой рот, сам не замечая как, разом проглатывал стаканы алито марго (любимое его вино), и ему становилось хорошо, несмотря на то, что доктора предостерегали его с его корпуленцией от вина. И вместе с тем, когда он выпивал бутылку и две, тогда только узел, этот страшный, запутанный узел жизни представлялся ему не страшным. Болтая, слушая разговоры или читая после обеда и ужина, ему беспрестанно мелькал в воображении этот узел какой-нибудь стороной его. И он говорил себе: «Это ничего. Это я распутаю — вот у меня и готово объяснение — но теперь некогда, а после я обдумаю — всё ясно». Но после это никогда не приходило. А Pierre больше чем когда-нибудь боялся одиночества. Он спасался от жизни вином, обществом и чтением. Иногда он сам думал о рассказе князя Андрея ⟨о⟩ солдат⟨ах⟩, старательно занятых под ядрами, и ему все люди представлялись такими солдатами, спасающимися от жизни: кто спасался честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто игрушками — лошадьми, охотой. «Только бы не видать *ее*, эту страшную *ее*»,— думал Pierre. Таким был Pierre для себя в тайне своей души, о страданиях которой он никогда никому не говорил и которые никто не подозревал в нем, но для других, для общества, особенно московского, которое всё, начиная от старух до детей, всё как своего давножданного гостя, которого место всегда было готово и не занято, приняло его как друга, для других Pierre — ⟨был⟩ самым милым, добрым, умным, веселым, великодушным чудаком, разбитным и душевным русским старого покроя барином. Кошелек его всегда был пуст, потому что открыт для всех. Ежели бы не нашлись добрые люди, которые, пользуясь его богатством, с улыбкой, как с ребенком, обращались с ним, взяв его в денежном отношении на свое попечение, он давно бы был нищим. Бенефисы, дурные картины, статуи, благотворительные общества, школы, церкви, книги — ничто не получало отказа, и ежели бы не два его друга, занявшие [взяв] у него денег много и взявшие его под опеку, он бы всё роздал. В клубе не было обеда, вечера без него. Как только он приваливался на свое место на диване после 2 бутылок Марго, его окружали и завязывались споры, толки, шутки. Где ссорились, он одной своей доброй улыбкой и кстати сказанной шуткой —

мирил. На балах он везде был, недоставало кавалера — он танцовал[7]. Старушек он дразнил и веселил. С молодыми барынями был умно любезен, и никто лучше его не рассказывал смешные истории и не писал в альбомы. На турнирах в буриме с В. Л. Пушкиным и П. И. Кутузовым всегда его буриме были прежде готовы и [смешнее] забавнее. Il est charmant. Il n'a pas de sexe[8],— говорили про него молодые дамы. Масонские столовые ложи были скучны и вялы, ежели его не было[9]. Только в самой-самой тайной глубине души своей Pierre говорил себе, объясняя свою распущенную жизнь, что сделался таким не оттого, что природа его влекла к этому, а оттого, что он влюблен несчастливо в Наташу и подавил в себе эту любовь.

В Москве жили очень весело эту зиму с 1810 на 1811 год. Как и в Петербурге, Pierre знал всю Москву и бывал во всех самых разнообразных московских обществах и во всех ему было весело, и во всех ему были рады. Он ездил и по старикам и старушкам, которые все любили его, и в свет, на балы, где о нем было составившееся мнение чудака, рассеянного, очень умного, но смешного [человека] (ridicule[10]) человека, и вместе с прежними кутежными товарищами, собравшимися в Москву к цыганам и т. п. Товарищами его в этих экскурсиях были Долохов, с которым он опять сошелся, и шурин Анатоль Курагин. [Эти два молодые человека, бывшие тогда знаменитостями Москвы, сделались опять приятелями Pierr'a, и часто из клуба, после выпитых двух бутылок вина, с более обыкновенного блестящими глазами и путающимся языком, Pierre уезжал с ними на ночные похождения.]

〈VIII〉

[Старый князь, приехав в 11-м году после долгого изгнания, по своему] В начале зимы князь Николай Андреевич с дочерью опять приехали в Москву. По своему прошедшему, по своему уму и оригинальности, в особенности по тому времени ослабления восторга к царствованию императора Александра I и по тому враждебному французскому влиянию и патриотическому направлению, которое царствовало в то время в Москве, князь Николай Андреевич сделался тотчас же предметом особенной почтительности и преданности москвичей и центром московской опозиции правительству.

[Pierre заметил, что старый князь постарел, с тех пор как он его видел] Старый князь постарел в этот год и по наружности, и по самому грустному признаку старости, неожиданным засыпаньям, забывчивости ближайших по времени событий и памятливости к давнишним и, главное, по тому детскому тщеславию, с которым князь принимал роль главы оппозиции и московские овации. Но, несмотря на то, когда старик, особенно по вечерам, выходил к чаю в своей шубке и пудренном парике и начинал затронутые [Pierr'ом] кем-нибудь свои отрывистые рассказы о прошедшем или еще более отрывистые и резкие суждения о настоящем[1], [Pierre не мог не удивляться этой свежести ума, памяти и изложения. Когда Pierre, кроме удовольствия слушать его, испытывал радостное чувство и любовался на весь обиход такой особенной, старинной жизни князя Болконского — и лакеи в пудре, и огромные трюмо, и вся мебель дореволюционного, Екатерининского, времени. Любовался и на самый вид этого крепкого старика, живущего одного с внуком и двумя молодыми женщинами, княжной Марьей и m-lle Bourienne, хотя разнооб-

[7] На полях: *Княжна Грузинская его друг с шутихами.*

[8] Он прелестен. Он не имеет пола.

[9] На полях: *Он сознается себе в тайной, никогда не имеющей быть объявленной любви к Наташе.*

[10] смешной

[1] В автографе ошибочно: *о прошедшем* (прим. составителя).

разно, но одинаково сильно преданными ему, угадывающими его мысли и желания, и, как казалось Pierr'у, ничего не желающими, кроме того, чтобы всегда быть с ним. Pierre любовался на княжну Марью и завидовал ей. Когда он ей это сказал, он заметил в ней замешательство и объяснил его тем, что ей неприятно было слышать похвалы о том, что не должно было быть иначе. Pierre забывал и судил, как и всегда все посещающие дом, только тогда, когда готовы принимать их, что кроме] нельзя было не удивляться этой свежести ума, памяти и изложения.

Для посетителей весь этот старинный дом с огромным трюмо и дореволюционной мебелью, этими лакеями в пудре и сам [свежий] энергический старик с его кроткой дочерью и хорошенькой француженкой, которые благоговели перед ним, представлял [приятное] величественное и приятное зрелище. Но посетители не думали о том, что, кроме тех 2-х—3-х часов, во время которых они видели хозяев, были еще 21 час суток, во время которых шла тайная, внутренняя домашняя жизнь. И эта-то внутренняя домашняя жизнь в последнее время так тяжела стала для княжны Марьи, что она уже не скрывала от себя тяжесть своего положения, сознавалась в нем и молила бога помочь ей. Ежели бы *он* заставлял ее все ночи класть поклоны, ежели бы он бил ее, заставлял бы таскать дрова и воду, ей бы и в голову не пришло, что ее положение трудно, но этот любящий мучитель, самый жестокий от того, что он любил, и за то мучал себя и ее,— он умышленно с хитростью злобы умел ставить ее в такое положение, что ей надо было выбирать из двух невыносимых положений. [Он мучал людей, ссылал их в Сибирь и в солдаты и посылал этих же людей, которые и без посылки приходили, просить заступы княжны Марьи. Он выгонял и не впускал к себе дочь и говорил, что он несчастен и что она его знать не хочет, он умышленно унижал ее перед m-lle Bourienne и с упорством (как казалось княжне Марье) выказывал] Он знал, что теперь ее главная забота была получить его согласие на брак [сына] князя Андрея, тем более, что срок его приезда приближался, и на это-то самое больное место он направлял все свои удары с проницательностью любви-ненависти. Пришедшая ему в первую минуту мысль-шутка о том, что ежели Андрей женится, и он женится на Bourienne, он видел, так больно поразила княжну Марью, что эта мысль понравилась ему и он с упорством последнее время (как казалось княжне Марье) выказывал особенную ласку к m-lle Bourienne и держался [⟨метода?⟩] плана выказывать [свою нелюбовь] свое недовольство к дочери любовью к m-lle Bourienne. Один раз в Москве княжна Марья видела (ей казалось, что отец нарочно при ней это сделал), как князь поцеловал у m-lle Bourienne руку. Княжна Марья вспыхнула и выбежала из комнаты [и зарыдав]. Через несколько минут m-lle Bourienne вошла к ней, приглашая ее к князю. Увидав m-lle Bourienne, княжна Марья спрятала слезы, вскочила, сама не помнила, что она наговорила [в эту минуту] своей французской подруге и закричала на нее, чтоб она шла вон из ее комнаты. На другой день [Димитрий] Лаврушка, лакей, не успевший вовремя подать кофе француженке, [был сослан в пастухи] [был сослан в Сибирь] был отослан в часть с требованием сослать его в Сибирь. Сколько раз в этих случаях вспоминала княжна Марья слова князя Андрея о том, для кого вредно крепостное право, и князь при княжне Марье сказал, что он не может требовать почтительности от людей к своему другу Амелии Евгеньевне, ежели дочь его[2] позволяет себе забываться перед нею [чтобы]. Княжна Марья просила прощенья у Амелии Евгеньевны, чтобы спасти Лаврушку [Димитрия]. Утешения прежнего в монастыре и странницах не было. Друга не было. Жюли, которой она писала пять лет, оказалась совершенно чуждой ей, когда княжна Марья сошлась с нею.

---

[2] В автографе ошибочно: *дочь ее* (прим. составителя).

Жюли в это время, по случаю смерти братьев сделавшись одной из самых богатых невест Москвы, [была] находилась во всем разгаре светских удовольствий. Она была окружена молодыми людьми, которые знали ее столько лет и, наконец, как она думала, оценили ее достоинства. Жюли находилась в том периоде [〈разгаре〉] стареющей светской барышни, которая чувствует, что вот наступил последний момент замужества — и теперь или никогда.

Княжна Марья с грустной улыбкой вспоминала по четвергам, что ей теперь писать не к кому, так как Жюли — Жюли, от присутствия которой ей не было никакой радости,— была здесь и виделась с ней каждую неделю. Она вспомнила, как старый эмигрант отказался жениться на даме, у которой он проводил вечера, потому что «où passerai-je mes soirées» [3]. [От князя Андрея приходил ответ через полгода, да и ему она не могла писать, потому что, всякий раз как она писала ему, ей хотелось описать свое положение, а этого не дóлжно было.] Свет не существовал для княжны Марьи. (Все знали, что отец не пускает ее, и не звали.) Она говорила, что не может оставить больного отца. Все восхищались ее любовью и преданностью; многие засылали сватов для сыновей, так 〈как〉 она и Жюли были теперь две самые богатые невесты Москвы. Но с тех пор как они были в Москве, князь Николай Андреевич не одного молодого человека, приехавшего к нему в дом, не отделал так и не поднял на смех, что уж никто не ездил к нему. Хуже всего было то, что поручение брата не только не было исполнено, но дело было совершенно испорчено, и напоминание о графине Ростовой выводило из себя старого князя. Княжне Марье было очень тяжело [так] в особенности потому, что только редко, редко, в самые тяжелые минуты, она позволяла себе думать, что она не виновата во всей тягости ее положения, большей же частью она твердо была уверена, что она сама дурна, зла и оттого виновата. Она думала это, во-первых, оттого, что последнее время, особенно здесь в Москве, ожидая каждый день приезда брата, она находилась всегда в таком тревожном состоянии, что не находила в себе прежней способности мысли о будущей жизни и прежней способности любви к богу. Она не могла молиться душою, как прежде, и чувствовала, что исполнила только обряд. Во-вторых, она чувствовала себя виноватой потому, что в своих отношениях с Коко, который был отдан на ее руки, она с ужасом узнавала в себе свойства раздражительности своего отца. Сколько раз она говорила себе, что не надо позволять себе горячиться, уча племянника, но почти всякий раз, как она садилась с указкой за французскую азбуку, ей так хотелось поскорее, полегче перелить из себя свое знание в эту белую головку Коко, но, несмотря на весь любовный лучистый свет ее глаз, устремленных на Коко, уже боящегося, что вот-вот тетя рассердится, Коко не понимал, она вздрагивала, торопилась, горячилась, иногда возвышала голос, дергала его за ручку и ежели ставила в угол, то сама падала на диван, закрывалась прекрасными руками и рыдала, рыдала над своей злой, дурной природой, так что Коко, подражая ее рыданиям, подходил к ней и отдергивал от лица ее мокрые руки. Но более, более всего чувствовала она свою порочность и виноватость тогда, когда отец, которого она иногда упрекала, вдруг при ней или искал очки, ощупывая подле них и не видя их, или забывал то, что сейчас было, или делал ослабевшими ногами неверный шаг и оглядывался, не видал ли кто, или, что было хуже всего, когда он за обедом вдруг задремывал, выпуская салфетку и склонялся трясущейся головой. Да, он был стар и слаб, был не виноват, она была виновата. Как бы она поддержала бы его голову, склонила бы ее на высокую ручку кресла и нежно бы поцеловала в 〈изрытый?〉, морщинистый лоб, но она не смела этого и подумать,— это делала m-lle Bourienne, а княжна Марья толь-

[3] «где же тогда проводить свои вечера»

ко дрожала от страху, от мысли, что отец увидит, что она это видела. Старалась и не умела ни скрыть, ни показать того, что она хотела, и ненавидела и презирала себя за то.

⟨IX⟩

В 1811 году в Москве был быстро вошедший в моду французский доктор[1] [по фамилии], огромный ростом красавец, любезный, как француз, [и ученый, как немец] необыкновенно ученый и образованный и, как говорили все в Москве, врач необыкновенного искусства. Метивье был принят в высших домах не как доктор, а как равный [и, как только графиня Безухова приехала в Москву, Метивье сделался ее домашним человеком, и Pierre всякий раз, как встречал у себя этого француза [краснел] или как слышал изречения жены, что un médecin est un ami, un confesseur[2], всякий раз краснел и старался не слыхать и не видать этого Метивье. Но Метивье был везде].

Князь Николай Андреевич, смеявшийся над медициной, последнее время стал допускать к себе докторов, как казалось, преимущественно с целью посмеяться над ними. [В том числе] В последнее время был призван и Метивье, и раза два был у князя, как и везде, кроме своих врачебных отношений, стараясь войти и в семейную жизнь больного. В Николин день, именины князя, вся Москва была у подъезда его дома, но он никого не принимал, и некоторых, список которых он дал княжне Марье, велено было звать обедать. Метивье, в числе других приехавший с поздравлением, нашел приличным, как доктор, de forcer la consigne[3], как он сказал княжне Марье, и вошел к князю. [Это именинное утро было одно из самых дурных] Это именинное утро князь был в одном из самых дурных своих периодов. Он выгнал от себя княжну Марью, пустил чернильницей в Тихона и лежал, дремля, в своем вольтеровском кресле, когда красавец Метивье с своим черным хохлом и прелестным румяным лицом вошел к нему, поздравил, пощупал пульс и сел подле него. Метивье, как бы не замечая дурного расположения духа, развязно болтал, переходя от одного предмета к другому. Старый князь, хмурясь и не открывая глаз, как будто не замечая развязно веселого расположения духа доктора, продолжал молчать, изредка бурча что-то непонятное и недоброжелательное. [Но Метивье, привыкший держать в руках сокровенные пружины людских стремлений и посредством их управлять ими, привыкший безучастно смотреть на людей, заставляя их делать то, что он считал нужным, взял себе задачей за point d'honneur ⟨вопрос чести⟩ поставил себе разговорить старого князя и заставить его говорить о том, о том, о чем он, Метивье, захочет. Князь Николай Андреевич, как это часто бывает с стариками, понял, чего хотел француз, но не счел нужным дать ему заметить, что он его понял и за point d'honneur поставил себе не разговориться.] Метивье поговорил с почтительным сожалением о последних известиях неудач Наполеона в Испании и выразил условное сожаление в том, что император увлекается своим честолюбием. Князь молчал. Метивье коснулся невыгод континентальной системы. Князь молчал. Метивье заговорил [о том что] о последней новости введения нового свода Сперанского. Князь молчал. Метивье с улыбкой [начал] торжественно начал говорить о востоке, о том, что направление французской политики, совокупно с русской, должно бы было быть на востоке, что слова сделать Средиземное море французским озером...

---

[1] На полях: *Прогнал доктора. Обед. Растопчин, ругают Сперанского. Борис.— Pierre говорит, что он в положении ищущего невест, оттого у вас. Я бы пошла.— Под опеку. Княжна Марья пишет Pierr'у.*

Pierre не ошибся, весьма скоро Борис сделал предложение. Метивье. тов. Карамзин. Сколько приданого.

[2] врач — друг, духовник

[3] силой нарушить приказ

Князь не выдержал и начал говорить на свою любимую тему о значении востока для России, о взглядах Екатерины и Потемкина на Черное море. Он говорил много и охотно, изредка взглядывая на Метивье.

— По вашим словам, князь,— сказал Метивье,— все интересы обоих империй лежат в союзе и мире. [Князь вдруг вспомнил, как он обещал себе не говорить, и разговорился. Он]

Князь вдруг замолк и устремил прикрываемые отчасти бровями злые глаза на доктора.

— А, вы меня заставляете говорить. Вам нужно, чтоб я говорил [да, слова],— вдруг закричал он на него.— Вон, шпион! Вон! — и князь, войдя в бешенство [выгнал], вскочил [со стула] с кресла, и находчивой Метивье ничего не нашел лучше сделать, как поспешно выйти с улыбкой[4], сказать навстречу бегущей княжне Марье, что князь не совсем здоров — «la bile et le transport au cerveau. Tranquillisez-vous, je repasserai demain»[5] — и, приложив палец к губам, он вышел, услыхав шаги в туфлях князя, подходящего к гостиной. Вся сила гнева обрушилась на княжну Марью, она была виновата в том, что к нему пустили шпиона. С ней он не мог иметь ни минуты покоя, не мог умереть спокойно.

— Нам надо разойтись, это вы знаете,— были его слова к дочери. И как будто боясь, чтоб она не сумела как-нибудь утешиться, он вернулся к ней и, стараясь принять спокойный вид, прибавил: — И не думайте, чтобы я это сказал вам в минуту сердца, а я спокоен, и я обдумал это, и это будет.— Но он не выдержал и с тем озлоблением, которое может быть только у человека, который любит, он, видно сам страдая, потрясая кулаками, прокричал ей: — И хоть бы какой-нибудь дурак взял ее замуж!

Он хлопнул дверью, позвал к себе m-lle Bourienne и, лежа, слушал ее чтение «Amélie de Manfrad», изредка прокашливаясь.

(С этого дня разошлась по Москве молва, которой верили и не верили, что Метивье — шпион Бонапарте.)

В два часа съехались избранные 6 персон к обеду и князь Николай Андреич в своем парике, пудре, кафтане и звезде вышел к гостям величаво приветливым, спокойным как всегда. Гости были: известный граф Растопчин, князь Лопухин с своим племянником, генерал Чатров, старый товарищ князя, и из молодых Pierre и Борис Друбецкой. Борис, адъютант важного лица, гвардии капитан, занимающий видное место в Петербурге, на днях приехавши в Москву в отпуск и быв представлен князю Николаю Андреичу, так умно, почтительно и независимо патриотически умел держать себя перед ним, что князь для него сделал исключение из всех холостых молодых людей, которых он не принимал к себе. Дом князя был не то, что называется «свет», но это был такой маленький кружок, о котором не слышно было в городе, но в котором лестнее всего было быть принятым. Это понял Борис с неделю тому назад, когда при нем главнокомандующий, сказав Растопчину, что он надеется видеть его у себя в Николин день, Растопчин ответил, что не может быть.— В этот день уже я всегда еду прикладываться к мощам князя Николая Андреича.

— Ах, да, да,— отвечал главнокомандующий.

Обед был чопорен, [как и всё в доме князя Николая Андреича, но оживлен, как и всякое общество, где бывали Pierre, всегда напрашивающийся на споры, и граф Растопчин с своей [живостью фигуры и мастерством речи] подвижностью, быстротой и неожиданностью остроумия.

---

[4] Следующий лист автографа утрачен, дальнейший текст до слов: *Обед был чопорен...* — дается по копии, сделанной рукой С. А. Толстой (прим. составителя).

[5] «желчь и прилив к голове. Не беспокойтесь, я завтра заеду».

Князь Николай Андреич рассказал, как он выгнал Метивье, и о том, почему он знает верно, что этот француз шпион. Растопчин грустно подтвердил мнение князя, как будто он никогда и не сомневался в этом.

— Да, в странное время живем мы: со всеми в дружбе, в связи, а все правительства наши друзья, а везде измена,— говорил Растопчин, когда за кофеем собрался небольшой кружок в парадной гостиной] [За обедом разговор зашел о Бонапарте, о последнем присоединении немецких мелких государств и в том числе герцогства Ольденбургского к Франции] [За обедом разговор зашел о последнем манифесте учреждения министерств Сперанского.— Я не вижу другой цели, как уронить верховную власть, породить смуты в народе,— говорил Растопчин. Прожили царствование Екатерины с коллегиями, к ним привыкли. Кутейники! — закричал] но разговоры, и интересные разговоры, не умолкали. Тон разговора был такой, что гости, как будто перед высшим судилищем, докладывали князю Николаю Андреичу все глупости и неприятности, делаемые ему в высших правительственных сферах. Князь Николай Андреич как будто принимал их к сведению. Всё это докладывалось с особенной объективностью, старческой эпичностью, все заявляли факты, воздерживаясь от суждений, в особенности, когда дело могло коснуться личности государя. [Монотонность этого доклада нарушалась только иногда оживленным рассказом старого князя о старом времени Потемкина.] Pierre нарушал только этот тон иногда, стараясь сделать выводы из напрашивавшихся на выводы фактов и переходя границу, но всякой раз был останавливаем[6]. Растопчина, видимо, все ждали, и, когда он начинал говорить, все оборачивались к нему, но вошел он в свой удар только после обеда.

— Consul d'état, ministère de cultes[7]. Хоть бы свое выдумали [кутейники],— закричал князь Николай Андреич,— изменники,— «державная власть». Есть самодержавная власть,— говорил князь,— та самая, которая велит делать эти изменения.

— Хоть плетью гнать министров,— сказал Растопчин больше для того, чтобы вызвать на спор.

— Ответственность! Слышали звон, да не знают, где он. Кто назначит министров? Царь, он их и сменит, ⟨взмылит?⟩ голову, сошлет в Сибирь, а не объявит народу, что у меня такие министры, которые могут изнурить вас налогами, а потому быть виноваты.

— Мода, мода, мода, французская мода, больше ничего. Как мода раздеваться голыми барыням, как в торговых банях вывеска, и холодно и стыдно, а разденутся. Так и теперь. Зачем власти ограничивать себя? Что за идея на монетах писать Россия, а не царь? Россия и царь — всё одно, и тогда всё одно, когда царь хочет быть вполне царем.

— Читали вы, князь, записку Карамзина о старой и новой России? — спросил Pierre.— Он говорит...

— Умный молодой человек, желаю быть знакомым.

За жарким подали шампанское. Все встали, поздравляя старого князя. Княжна Марья тоже подошла к нему. Он подставил ей щеку, но не забыл и тут взглянуть на нее так, чтобы показать ей, что он не забыл утреннее столкновение, что вся злоба на нее остается по-прежнему во всей силе.

Разговор замолк на минуту. Старый генерал, сенатор, тяготившийся молчанием, пожелал поговорить.

— Изволили слышать о последнем событии на смотру в Петербурге?

— Нет, что?

---

[6] На полях: *Сперанский. Совет. Манифест о учреждении министерств. Растопчин*: avec 500 000 hommes il serait facile d'avoir un beau style. ⟨С 500 000-ной армией легко иметь прекрасный слог.⟩

Le russe n'a de viril que la baïonnette, tout le reste est enfant. ⟨В русском человеке одно мужественно — это штык. Всё остальное в нем ребячливо.⟩

[7] Государственный совет, министерство вероисповеданий.

— Новый французский посланник [после] (это был Лористон после Коленкура) был при его величестве. Его величество обратил его внимание на гренадерскую дивизию, церемониальный марш, так он будто сказал, что мы у себя на такие пустяки не обращаем внимания. На следующем смотру, говорят, государь ни разу не изволил обратиться к нему,— сказал генерал, как будто удерживаясь от суждения и только заявляя факт.

— Читали вы ноту, посланную к дворам и отстаивающую права герцога Ольденбургского? — сказал Растопчин с досадой человека, видящего, что дурно делается то дело, которым он сам прежде занимался.— Во-первых, слабо и дурно написано. А нам можно и должно [писать] заявлять смелее, имея 500 000 [8] войска.

— Да, [писать] avec 500 000 hommes il est facile d'avoir un beau style [9].

Pierre замечал, как во всех осуждениях своих эти старики останавливались у границы, где осуждение могло касаться самого государя, и никогда не переходили этой границы.

Растопчин остановился, одабривая фразу Pierr'a и повторяя ее.

— Я спрашиваю, какие же законы можно писать для своего государства, какую справедливость можно требовать, после того как Бонапарт поступает, как пират на завоеванном корабле, с Европой...

— Войны не будет,— резко и сентенциозно перебил князь.— Не будет оттого, что у нас людей нет. Кутузов стар, и что он там в Рущуке делал — не понимаю. Что принц, как переносит свое положение? — обратился он к Растопчину, который был на днях в Твери у принца Ольденбургского. Князь Николай Андреич умышленно переменял разговор; в последнее время он не мог говорить о Бонапарте, потому что он постоянно о нем думал. Он начинал не понимать в этом человеке. После того как он в прошлом году женился на дочери австрийского кесаря, старый князь не мог уже более уверенно презирать его, не мог и верить в его силу. Он не понимал, терялся в догадках и был смущен, когда говорили о Бонапарте [10].

— Le duc d'Oldenbourg supporte son malheur avec une force de caractère et une résignation admirable [11],— сказал Растопчин. И продолжал о Бонапарте.— Теперь дело до папы доходит,— говорил он. Что ж мы не перенимаем? Наши боги — французы, наше царство небесное — Париж,— он обратился к молодым людям, к Борису и Pierr'y.— Костюмы французские, мысли французские, чувства французские. Ох, поглядишь на нашу молодежь, взял ‹бы› старую дубинку Петра Великого из кунсткамеры, да по-русски обломал бы бока... Ну, прощайте, ваше сиятельство, но не хворайте, не хандрите, бог не выдаст, свинья не съест.

— Прощай, голубчик, гусли,— заслушаюсь его,— сказал старый князь, удерживая его руку и подставляя ему для поцелуя свою щеку. С Растопчиным поднялись и другие. Один Pierre остался, но старый князь, не обращал на него внимания, пошел в свою комнату. Борис, откланявшись и сказав княжне Марье, что он всегда, как на святыню, смотрит на ее отца, заслушивается его и потому не может насладиться ее обществом, вышел с другими, но просил позволения бывать у нее

Княжна Марья сидела в гостиной молча во время разговора и, слушая эти толки и пересуды о столь важных государственных делах, ни-

---

[8] В автографе описка: 50 000 (прим. составителя).

[9] с 500 000-ной армией нетрудно владеть и хорошим слогом.

[10] На полях: *En voyant le duc d'Oldenbourg on est dans le cas d'admirer le triomphe de la vertu,— сказал Ростопчин тоном, показывавшим, что фраза эта уже узаконилась при дворе.— Car sa fermeté est une chose admirable ainsi que l'égalité de son humeur.* ‹При виде герцога Ольденбургского сознаешь силу добродетели... Твердость его и мирное состояние духа достойны поклонения.›

[11] Герцог Ольденбургский с твердостью и достойной покорностью переносит свое несчастье.

чего не понимала из того, что говорилось, а странное дело, только думала о том, не замечают ли они враждебных отношений ее отца к ней. С этим вопросительным взглядом она и обратилась к Pierr'у, который перед отъездом с шляпой в руке повалился своим толстым телом подле нее в кресло. «Вы ничего не заметили?» — как будто говорила она. Pierre же находился в приятном послеобеденном состоянии духа [особенно оживленный происходившим разговором. Он завидовал этой тихой, преданной жизни княжны Марьи. Он улыбнулся]. Он глядел вперед себя и тихо улыбался.

— Давно вы знаете, княжна Марья, этого молодого человека? — сказал он, указывая на уходящего Бориса.

— Я знала его ребенком, но теперь недавно...

— Что, он вам нравится?

— [Не очень.] Да, отчего же.

— Что, пошли бы за него замуж?

— Отчего вы у меня спрашиваете? — сказала княжна Марья, вся вспыхнув, хотя она уже оставила всякую мысль [о женитьбе] о замужестве.

— Оттого что я, ежели езжу в свет, не к вам, а в свет, то забавляюсь наблюдениями. И теперь я сделал наблюдение, что молодой человек без состояния обыкновенно приезжает из Петербурга в Москву в отпуск только с целью жениться на богатой.

— Вот как,— сказала княжна Марья, всё думая о своем.

— Да,— продолжал Pierre с улыбкой,— и этот юноша теперь себя так держит, что где есть богатая невеста, там и он. Я, как по книге, читаю в нем. Он теперь в нерешительности, кого ему атаковать: вас или m-lle [Julie Ахросимов] Julie Корнаков. Il est assidu auprès de vous deux[12]. [Но, я думаю, Julie aura la palme[13]. [Et] И вы знаете новая манера de faire la cour...[14].

— Нет,— грустно улыбаясь, сказала княжна Марья.

— C'est la mélancolie! Il est plus mélancolique là-bas qu'ici[15].

— Полноте смеяться, мой друг, мне так грустно.]

— Vraiment?[16] — А княжна Марья думала: «Отчего бы мне его не выбрать своим другом и поверенным и не высказать ему всё. Мне бы легче стало. Он бы подал мне совет».

— Пошли бы вы за него замуж?

— Ах, боже мой, граф, есть такие минуты,— сказала княжна Марья,— что я пошла бы за всякого,— вдруг неожиданно для самой себя, сказала княжна Марья с слезами в голосе.— Ах, коли бы вы знали, mon ami[17],— продолжала она,— как тяжело бывает любить человека близкого и чувствовать, что ничего не можешь для него сделать, кроме горя, когда знаешь, что не можешь этого переменить. [Тогда одно — уйти, а мне уйти только можно замуж.

— Вы про князя говорите?

— Да про кого же,— со слезами уже говорила княжна Марья,— он ненавидит меня. Должно быть, я сама в этом виновата. Но за что же, что ж он так ужасно мучит меня. Я никогда никому, и Андрею, не говорила, но вам я всё расскажу.

— [Ах, говорите] Как бы я счастлив, ежели бы я мог помочь вам.— Pierre взял ее за руку.

— Нет, я бог знает, что говорила, я ничего.— И она, рыдая, ушла к себе.

---

[12] Он приложил старания по отношению к вам обеим.
[13] Жюли одержит победу.
[14] Новая манера ухаживать
[15] Меланхоличность! Там он меланхоличнее, чем здесь.
[16] Правда?
[17] мой друг

На другой день Pierre получил письмо от княжны Марьи, в котором она умоляла его забыть весь разговор, бывший между ними, в котором она, бывши больна, не помнила, что она говорила] [Тогда одно — уйти, а мне уйти только можно замуж.

— Вы про князя говорите?

— Да про кого же,— со слезами уже говорила княжна Марья,— он ненавидит меня. Должно быть, я сама в этом виновата. Но за что же, что ж он так ужасно мучит меня. Я никогда никому, и Андрею, не говорила, но вам я всё расскажу.

— Как бы я счастлив... ежели бы я мог помочь вам.— Pierre взял ее за руку.

— Нет, я бог знает, что говорила, я ничего.— И она, рыдая, ушла к себе.

После этого объяснения Pierre [часто] сиживал с княжной и, хотя никогда ни слова не говорил с ней о случившемся, он с тактом и почтительностью, которая бывает только перед несчастием, показывал ей, как он готов бы был помочь ей. Говорили они и о князе Андрее и под] Тогда одно — уйти, а куда мне уйти можно?

— Что вы, княжна? — Но княжна не договорила и заплакала.

— Я не знаю, что со мной нынче,— сказала она оправившись.— Не слушайте меня, а поговорим лучше про André. Скоро ли приедут Ростовы?

— Я слышал, что они на днях будут.

Княжна Марья, чтобы забыть о себе, сообщила Pierr'у план, как она, ничего не говоря отцу, как только приедут Ростовы, постарается сблизиться с будущей belle-soeur[18], с тем чтобы князь привык к ней и полюбил ее.

Pierre вполне одобрил этот план [и уехал].

— Одно,— сказал он ей, уезжая и с особенной теплотой глядя ей в глаза,— насчет того, что вы о себе сказали, помните, что у вас есть верный друг — я. Pierre взял ее за руку.

— Нет, я бог знает, что говорила, забудьте,— сказала княжна.— Только дайте мне знать, как приедут Ростовы.

В этот же вечер она сидела по обыкновению с работой у отца. [Она сидела] Он слушал чтение и крякал сердито. Княжна Марья молча глядела на него. Княжна Марья думала за него 1000 злых вещей: «Он ненавидит меня, он хочет, чтоб я умерла». Она оглянулась. Он оттопырил губу и клевал носом с старческим бессилием.

⟨X⟩

Предположения Pierr'a[1] относительно Бориса были справедливы. Борис находился в нерешительности между двумя самыми богатыми невестами Москвы. Но княжна Марья казалась ему, несмотря на [её дурноту?] то, что княжна Марья, как ни дурна она была, казалась ему привлекательнее Жюли; он боялся и чувствовал, что с ней у него трудно поведется дело, и остановился на Жюли. Он сделался ежедневным у Ахрасимовых. И Марья Дмитриевна все такая же прямая, но убитая душевно потерею сыновей и презиравшая в душе ~~столь~~ непохожую на нее дочь, с нетерпением ждала случая сбыть ее. Жюли было 27 лет. Она думала, что она не только так же, но гораздо больше привлекательна теперь, чем была прежде. Она была действительно, во-первых, потому, что она была богата, во 2-х, потому, что чем старее она была, тем безопаснее она была для мужчин и тем свободнее была с ними. Она сама принимала и одна ездила с каким-нибудь чепцом.

---

[18] невесткой

[1] На полях: ⟨*Дядя?*⟩ *умер, сделалась богатой.*

Aliment & poison d'une ame trop sensible
Toi, sans qui le bonheur me seroit impossible.
Tendre mélancolie! Ah! viens me consoler;
Viens calmer les tourmens de ma sombre retraite,
Et mêle une douceur secrète
Où ces plaisirs que je sens couler. —

Loin de moi, vains plaisirs que le monde idolâtre,
Ces vieux insensés, cette gaîté folâtre,
Semblent braver ma peine & ne font qu'aigrir.
J'aime mieux mes soupirs, ma tristesse, mes larmes,
Ma langueur a pour moi des charmes —
Je souffre — & ne veux point guérir.

СТРАНИЦЫ ИЗ АЛЬБОМА П. И. И В. П. ЮШКОВЫХ

Толстой заимствовал из этого альбома описание рисунков и стихи, которыми Борис Друбецкой «украшал» альбом Жюли Карагиной. Приведенные стихи вошли в окончательный текст

Мужчина, который 10 лет тому назад побоялся бы каждый день ездить в дом, где была 17-летняя барышня, чтобы не компрометировать ее, теперь ездил к ней смело на ужины (это были ее манеры). Она [была] умела принимать, передразнивать всевозможные тоны и, смотря по людям, была то чопорная аристократка, фрейлина, то москвичка простодушная, то просто веселая барышня, то поэтическая, меланхолическая, разочарованная девица. Этот последний тон, усвоенный ею еще в молодости и употребляемый еще тогда, когда она кокетничала с Nicolas, был

ее любимый. Но все эти тоны она принимала так поверхностно, что людей, действительно бывших меланхолическими или просто веселыми, подделки поражали и отталкивали, но так 〈как〉 большинство людей только притворяется, а не живет, то ее окружало и ценило большинство людей. Ее приятелем был и Карамзин, в прежние времена бедняк, и Василий Пушкин и Петр Андреевич Вяземский, который писал ей стихи. Всем весело было без последствий пусто болтать с нею. В числе ее искателей Борис был для нее один из самых приятных, и она ласкала его и с ним нашла нужным принять любимый тон меланхолии. Покуда Борис был в нерешительности, он еще смеялся и бывал весел, но когда он твердо решился выбрать ее из двух, он вдруг сделался грустен, меланхоличен, и Жюли поняла, что он отдается ей. Весь альбом Жюли был исписан его рукою такими изречениями над картинками гробниц:

La mort est secourable et la tombe est tranquille
Ah! contre les douleurs il n'est pas d'autre asile [2].

Или:

Arbres antiques, vos sombres rameaux secouent sur moi
les, tenèbres et la mélancolie.
Bois, fait être l'asyle de la mélancolie, je veux, hermite
nouveaux, me reposer sous ton ombre [3]

Или:

Plus j'approche du ferme et moins je le redoute... [4] и т. д.

Борису Жюли играла на арфе самые печальные марши. Борис вздыхал и читал ей вслух «Бедную Лизу». Но положение это тянулось две недели и становилось тяжело. Оба чувствовали, что надобно выйти из ожиданий смерти, любви к гробнице и презрения к жизни. Жюли — для того, чтобы сделаться женой флигель-адъютанта. Борису — для того, чтобы с меланхолической невестой получить нужные 3000 душ в Пензенской губернии. Выход этот был очень тяжел, но надо было [пройти] перейти его, и в один день после сознания в том, что, кроме мечтания о неземной любви, Борис, решившийся в этот день объясниться, сделал предложение. Предложение к ужасу старой графини Ростовой и к досаде Наташи (она все-таки Бориса *так* считала своим), предложение было принято. И на другой день оба игрока не считали более нужным употребление меланхолии и весело стали ездить, показываться в театрах и на балах, как жених с невестой, и по утрам в магазины, закупая всё для свадьбы. Устроившаяся свадьба Жюли с Борисом была свежей и капитальной светской новостью, когда Илья Андреич Ростов приехал в конце зимы в Москву продавать свой дом и привез с собой повеселить Наташу [5].

〈XI〉

В начале февраля приехали Ростовы. Никогда Наташа не была [так хороша, так взволнована и так полна любви] так взволнована, так готова, зрела для любви и потому так женственно хороша, как в этот свой приезд в Москву. Перед отъездом своим из Отрадного она видела сон, что князь Андрей встречает ее в гостиной и говорит: «Зачем вы не едете? Я уже давно приехал». Наташа [была] так страстно желала этого, так сильна была в ней потребность любить мужчину не в одном воображении, так тяжело ей становилось ожидание своего жениха, что она, приехав в Москву, твердо была уверена, [что найдет] что сон ее сбудется и что

[2] Смерть спасительна, и в могиле покой. И нет иного приюта от горестей.

[3] Деревья вековые, ваши темные ветви навевают на меня мрак и меланхолию. Меланхолии в роще приют. Отшельником хочу отдохнуть в ее тени.

[4] Чем ближе подхожу я к пределу, тем менее страшит он меня...

[5] См. Варианты, № 22.

она найдет уже в ней князя Андрея. Они приехали вечером. На другой день утром были посланы извещения Pierr'у, Анне Михайловне и Шиншину. На другой день утром прежде всех приехал Шиншин и рассказывал про московские новости [в том числе о том]. Главные новости были про то, что здесь теперь два молодые человека, Долохов и Курагин, которые свели с ума всех московских барынь.

[— Помнишь, Наташа, этот красавец кавалергард на бале у Нарышкиных? — сказал граф.

— Помню,— отвечала Наташа.— Что мне за дело до них,— думала она.]

— Это те, что медведя связали? — сказал граф.

— Ну, тот самый,— отвечал Шиншин,— да добро бы Курагин, ну, отец — известный человек,— и точно — красавец писаный. Ну, а Долохов-то что. «Dolochoff le Persan» [1], так и прозвали барыни.

— Да откуда он взялся? — сказал граф,— ведь он пропал куда-то года 3 назад.

— Нашелся; оказывается, что он у какого-то владетельного князя был министром в Персии где-то, гарем там имел, убил брата шахова. Ну и с ума все сходят московские наши барыни. Dolochoff le Persan, да и кончено. А он шулер, вор. А у нас нет обеда без Долохова, на Долохова зовут — вот как.

— И что забавнее всего,— продолжал Шиншин.— Помните, Безухов с ним [друзья] на дуэли дрался, теперь друзья закадычные. Первый гость и у него и у графини Безуховой.

— Разве она здесь? — спросил граф.

— Как же, на днях приехала. Муж от нее сбежал, она сюда за ним приехала. А хороша, очень хороша, я понимаю, что и...

«Что [мне] за дело до них»,— думала Наташа, рассеянно слушая.

— А Болконский здесь? — спросила она.

— Старик здесь, а молодого, увы, нет, ma chère cousine [2], не с кем пококетничать,— отвечал Шиншин насмешливо, ласково улыбаясь.

[Есть чему улыбаться,— сердито отворачиваясь от него, подумала Наташа.]

[Наташа даже не улыбнулась на ответ Шиншина и ушла в свою комнату плакать.]

Наташа даже не улыбнулась на ответ Шиншина, едва удержалась, чтобы не заплакать.

Потом приехала Анна Михайловна и объявила со слезами на глазах о своей радости: [о браке] о женитьбе сына на Жюли.

— Главное, это такое сердце золотое. И так страстно мой Боря любит ее. С детства еще,— говорила состарившаяся Анна Михайловна, [не ⟨успевшая⟩] повторяя фразу, которую она говорила всем, и не успевшая сообразить, что для Ростовых надо было изменить эту фразу.

Наташа вспыхнула, услыхав это известие, и, не сказав ни слова, встала и вышла. Но только что она вышла, она поняла, как неуместна была ее досада. Что ей было за дело до Бориса, когда она сама была невеста и кого же, князя Андрея, самого лучшего человека в мире. Но все-таки ей было больно и досадно и еще более досадно то, что она выказала свою досаду.

Pierre, который должен был сообщить ей последние известия о Андрее, всё не приезжал. Он до поздней ночи прокутил накануне и потому встал только в 3-м часу. К обеду и он приехал. Наташа, услыхав о его приезде, [стремглав бросилась] бегом побежала к нему из задних комнат, где она молча и задумчиво сидела до тех пор.

Увидав Наташу, Pierre покраснел, как ребенок, чувствуя, что он глупо краснеет.

---

[1] «Долохов.персианин»
[2] милая моя кузина

— Ну, что? — говорила Наташа, удерживая руку, которую он у ней целовал,— есть письма? Милый граф. Все мне так противны, кроме вас. Есть? Давайте.— Наташа за руку повела Pierr'a к себе в комнату, не помня себя от радости.

— Скоро ли он приедет?

— Должно быть, скоро, он пишет [что] мне о паспорте для гувернера, которого он нашел.

— Покажите, покажите,— говорила Наташа, и [Pierre с грустью подал ей письмо, которое, он чувствовал, разочарует ее.] Pierre подал ей письмо. Письмо было короткое, деловое, по-французски. Князь Андрей писал, что последнее его дело сделано. Швейцарец Chapelle [ехал], умный, образованный, идеальный instituteur[3], ехал с ним — нужно было достать ему паспорт. Письмо было деловое и сухое, как писал князь Андрей. Но Pierre по этому заключил, что он был в дороге.

— Ну, а еще? — спросила Наташа.

— Еще нет ничего,— улыбаясь сказал Pierre. Наташа задумалась.

— Ну, пойдемте в гостиную.

Pierre еще сообщил ей о желании княжны Марьи видеться с ней, о том, что она приедет к Ростовым, и о том, что приятно бы было познакомиться с стариком, будущим beau-pèr'ом[4]. [Pierre жалел, что он едет в деревню. Он не мог переносить Наташу.] Наташа согласилась на всё, но была очень молчалива и сосредоточена.

На другой день Илья Андреич поехал с дочерью к князю. Наташа с страхом и неудовольствием замечала, что ее отец неохотно согласился на эту поездку и робел, входя в переднюю и спрашивая, дома ли князь. Наташа заметила тоже, что после доклада о них произошло смятение между прислугой, что двое шептались о чем-то в зале, что к ним выбежала девушка и что только после этого доложили, что князь принять не может, а княжна просит к себе. Первая навстречу вышла m-lle Bourienne. Она особенно учтиво, но холодно встретила отца с дочерью и проводила их к княжне. Княжна с взволнованным, испуганным лицом и красными пятнами на лице встретила гостей, тщетно пытаясь казаться свободной и радушной. Кроме своей неопределимой антипатии и зависти к Наташе, княжна была взволнована еще тем, что при докладе о приезде Ростовых князь закричал, что ему их не нужно, что пусть княжна Марья принимает, если хочет, а чтоб к нему их не пускали.

Княжна Марья решилась принять Ростовых, но всякую минуту боялась, как бы князь не сделал какую-нибудь выходку. Княжна Марья знала о предполагаемом браке, Наташа знала, что княжна Марья знала это, но они ни раза о том не говорили.

— Ну, вот я вам, княжна милая, привез мою певунью,— сказал граф,— уж как хотела вас видеть... Жаль, жаль, что князь все нездоров,— и, сказав еще несколько общих фраз, он встал.— Ежели позволите, княжна, на $^1/_4$ часика прикинуть вам мою Наташу, я бы съездил тут два шага в Конюшенную к Анне Дмитриевне и заеду за ней...

Илья Андреич придумал эту дипломатическую хитрость для того, чтобы дать простор будущей золовке объясниться с своей невесткой. Княжна сказала, что она очень рада и просит только графа[5] пробыть подольше у Анны Дмитриевны.

M-lle Bourienne [осталась], несмотря на беспокойные, бросаемые на нее взгляды княжны Марьи, не выходила из комнаты и держала твердо le fil de la conversation[6] о московских удовольствиях и театрах.

Наташа была оскорблена и огорчена и, сама того не зная, своим спокойствием и достоинством внушала к себе уважение и страх в княжне

[3] воспитатель
[4] свекром.
[5] В автографе ошибочно: *князя* (прим. составителя).
[6] нить разговора

Марье. Через 5 минут по отъезде графа дверь комнаты отворилась и вошел князь в белом колпаке и халате.

— Ах, сударыня,— заговорил он,— сударыня, графиня Ростова, коли не ошибаюсь... Прошу извинить, извинить... Не знал, сударыня. Видит бог, не знал, что вы удостоили нас своим посещением. Извините, прошу,— говорил он так ненатурально, неприятно, что княжна Марья, [краснея] опустив глаза, стояла, не смея взглянуть ни на отца, ни на Наташу, а Наташа, встав и присев, тоже не знала, что ей делать. Одна m-lle Bourienne приятно улыбалась.

— Прошу извинить. Прошу извинить,— пробурчал старик и вышел. M-lle Bourienne первая нашлась после этого появления и начала разговор про нездоровье князя, но через 5 минут вошел Тихон и доложил княжне Марье, что князь приказали ей ехать к тетушке. Княжна Марья до слез покраснела и велела сказать, что у ней гости.

— Chère Amélie,— сказала она, обращаясь к m-lle Bourienne,— allez-dire à papa que je n'irai pas ce matin. Je vous en prie[7],— прибавила она тем тоном, который m-lle Bourienne знала за ⟨непременный?⟩, за такой [требовательный], в котором княжна Марья, доведенная до последних границ терпения, уже не уступала. M-lle Bourienne вышла. Княжна Марья, оставшись одна, встала и взяла за руки Наташу и тяжело вздохнула, сбираясь говорить.

— Княжна,— вдруг сказала Наташа, вставая тоже.— Нет, подите, подите, княжна,— сказала она со слезами на глазах.— Я хотела вам сказать, лучше всё оставить... лучше,— она заплакала.

— Полноте, полноте, душенька,— и княжна Марья заплакала и стала целовать ее. В этом положении их застал старый граф и, получив обещание княжны быть у них завтра вечером, увез дочь.

⟨XII⟩

В этот же вечер Ростовы поехали в театр. Наташа была весь день молчалива и сосредоточена. Она одевалась в театр без всякого удовольствия[1].

В этот же вечер был бенефис любимицы московской публики, и граф Илья Андреич, достав билет, повез своих барышень. Наташа неохотно поехала, потому что надо ж было как-нибудь проводить время, но когда она одетая вышла в залу, дожидаясь отца, и погляделась в большое зеркало, она увидала, что она хороша, очень хороша и ей еще более стало грустно. Но грустно [и], сладостно и любовно. «Боже мой! ежели бы он был. Как бы я не так, как прежде, с какой-то глупой робостью [и ⟨строгостью?⟩] перед чем-то, а по-новому просто обняла бы его, прижалась бы к нему, заставила бы его смотреть на меня теми искательными любопытными глазами, и потом заставила бы его смеяться, как он смеялся тогда, и глаза его — как я вижу эти глаза,— думала Наташа.— [Нет, лучше не думать о нем, совсем не думать, забыть, а то я не могу это вынести, я сейчас зарыдаю.] И что мне за дело до его отца и сестры, я люблю его, одного его, его с этим лицом и глазами и улыбкой, мужской и детской. Нет, лучше не думать о нем, не думать, забыть, совсем забыть на это время. А то я не вынесу этого ожидания, я сейчас зарыдаю»; и она отошла от зеркала, чтобы не зарыдать. «И как может Соня так ровно, спокойно любить и ждать,— подумала она, глядя на входившую, тоже одетую, с веером Соню.— Нет, она совсем другая...»

Наташа [грустная, но влюбленная] вошла в театр и, сняв шубу, в освещенный бенуар, в то время как музыка играла любимую ею увер-

---

[7] Милая Амелия, подите скажите батюшке, что я нынче утром не поеду. Пожалуйста.

[1] К тексту: *На другой день* (с. 545) ∾ *удовольствия.*— см. Варианты, № 23.

тюру, и при этих ярких звуках и свете она стала еще грустнее и еще влюбленнее. Она не думала о князе Андрее, но она чувствовала так, как когда она бывала в его присутствии[2]. Она чувствовала себя размягченной и разнеженной. Ей хотелось припасть к кому-нибудь, ласкаться и любить... Она села впереди, куда ее посадили, и, положив руку на рампу, стала оглядывать партер и противуположные ложи. Маленькая в перчатке рука ее невольно и незаметно для нее самой судорожно в такт увертюры сжималась и разжималась и комкала афишу. [Наташа была в сосредоточенно грустном] Две замечательно хорошенькие девушки Наташа и Соня, вошедшие с известным всей Москве графом Ильей Андреичем, которого давно не видно было, обратили на себя общее внимание. [И внимание это особенно сосредоточилось на Наташе, которая в этот вечер, благодаря своему грустному поэтическому настроению, была особенно хороша. Она поражала особенно своей полнотой жизни и красоты в соединении с равнодушием ко всему окружающему. Кроме того, все знали смутно про ее сватовство с князем Андреем, одним из лучших женихов, знали, что с тех пор они жили в деревне, и это обстоятельство еще более возбуждало интерес к ней. Но, несмотря на это равнодушие, Наташа почувствовала, что на нее смотрят, и ей это было приятно. Наташе было приятно, что на нее смотрят, и она почувствовала это и, даже не глядя, видела тех, кто на нее смотрел. Она оглянула партер и ложи и везде видела большей частью знакомые и обращенные на нее лица.] Кроме того, все знали смутно про ее сватовство с князем Андреем, одним из лучших женихов, знали, что с тех пор они жили в деревне; и это обстоятельство еще более возбуждало интерес к ней. И внимание это особенно сосредоточилось на Наташе, которая в этот вечер, благодаря своему грустному поэтическому настроению, была особенно хороша. Она поражала особенно своей полнотой жизни и красоты в соединении с равнодушием ко всему окружающему.

— Посмотри, вон Аленины,— говорила Соня,— с матерью, кажется.

— Батюшки! Михаил Кирилыч-то еще потолстел,— говорил старый граф.— Смотрите! Анна Михайловна наша в токе какой! Так и Борис с Жюли. Сейчас видно жениха с невестой.

Наташа посмотрела по тому направлению, по которому смотрел отец, и увидала Жюли, которая декольте, в бриллиантах на толстой красной шее (Наташа знала, обсыпанной пудрой) сидела с счастливым видом рядом с матерью. Позади их с улыбкой наклоненная ухом ко рту Жюли виднелась гладко причесанная красивая голова Бориса. Он исподлобья смотрел на Ростовых и, улыбаясь, говорил что-то.

«Они говорят о нас,— подумала Наташа.— И он, верно, успокаивает ревность ко мне своей невесты». Сзади сидела в зеленой токе и с преданным воле божией и счастливым праздничным лицом Анна Михайловна. В ложе стояла та атмосфера жениха с невестой, которую так знала и любила Наташа. Она вздохнула и стал оглядывать другие знакомые и незнакомые лица. Впереди партера, в самой середине, облокотившись спиной к рампе, стоял Долохов с огромной странно зачесанной кверху копной курчавых волос в персидском костюме. Он стоял на самом виду театра, зная, что он обращает на себя внимание всей залы, так же свободно, как будто он стоял в своей комнате. Около него, столпившись, стояла самая блестящая московская молодежь, и он [как будто] видимо первенствовал между ними. Долохов после истории с Nicolas не кланялся Ростовым. Он нагло и весело посмотрел прямо в глаза Наташе. Наташа с презрением отвернулась от него. Граф Илья Андреич, смеясь, подталкивая краснеющую Соню, указывал ей на прежнего обожателя.

---

[2] На полях: *Портье видит: «Charmante». И. А. Вот девочек привез повеселиться. Hélène (после разговора с братом). Грех. «Charmante». Mon frére est a.*

Я знаю, что вы Наташа. Наташа думает, что так надо. Pierre говорит: не надо. «Вот глупой».

[Подле самого] [Рядом с бенуаром Ростовых] В соседнем бенуаре в двух шагах от себя Наташа видела задом к себе сидевшую даму [с огромной прелестной косой] с прелестными очень оголенными плечами и шеей и с той особенностью туалета и прически, которая показывала высшую степень элегантности. Наташа, всегда и во всем, особенно в женщинах, любившая красоту и изящество, несколько раз оглядывалась на эту шею с жемчугом, плечи и прическу, и ей казалось, что она где-то уже любовалась этой красотой. Дама сидела одна. В то время, как Наташа второй раз вглядывалась в нее, дама оглянулась и, встретившись глазами с графом Ильей Андреичем, [улыбнулась] кивнула ему головой и улыбнулась. Она была необыкновенно хороша, и Наташа помнила, что уже видела ее и [восхищалась] где-то восхищалась ею. Она вспомнила, что это была графиня Безухова, жена Pierr'a, когда Илья Андреич, [перегнувшись] знавший всех на свете, перегнувшись к ней, заговорил с ней.

— Давно пожаловали, графиня? — заговорил он.— Приду, приду, ручку поцелую. А я вот приехал по делам, да вот и девочек своих с собой привез. Бесподобно, говорят, Семенова играет. А где ваш муж?

Графиня Безухова улыбнулась своей прелестной улыбкой, сказала:

— Очень рада, муж хотел приехать,— и отвернулась от графа.

— Как хороша,— шёпотом сказал граф.

— Чудо! — сказала Наташа, на которую в особенности женская красота всегда неотразимо действовала.

В это время зазвучали последние аккорды увертюры, застучала палочка капельмейстера, стоявшие сели, прошли некоторые на места, и поднялась занавес.

На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашеные картоны зеленым, долженствовавшие представлять деревья, из-за картонов под лампами высовывались мужчины в сюртуках и девушки какие-то, позади был очень дурно нарисован какой-то город — такой, какие всегда бывают [В действительности] на театре и никогда не бывают в действительности. Наверху были протянуты полотна. На досках сидели какие-то барышни в красных корсажах и белых юбочках, а одна в шелковом белом платье сидела особо, и все они были одеты, как никогда в действительности и всегда на театре. И все они пели что-то [очень дурно и неслышно]. Потом в белом девица подошла к будочке, и к ней подошел в шелковых в обтяжку панталонах (ноги толстые были) с пером и кинжалом и стал что-то ей доказывать, хватать за голую руку, перебирать пальцами по руке и петь. Наташа, как ни редко бывала в театре, [всё это знала. И] знала, что всё это так будет, и [как никогда] не интересовалась тем, что было на сцене. Она вообще мало любила театр, а теперь после деревни и в том сериозном настроении, в котором она была, всё это ей было скучно и неинтересно. В одну из самых тихих минут, когда любовник в обтянутых панталонах перебирал пальцами руку девицы в белом платье, очевидно выжидая такта начать, скрипнула дверь партера и зазвучали шаги [твердые] с легким поскрипыванием сапог по ковру партера на той стороне, на которой была ложа Ростовых.

Hélène обернулась и, улыбаясь, дружески кивнула входящему. Наташа невольно посмотрела по направлению глаз графини Безуховой. К ним подходил Анатоль Курагин, тот самый красавец, кавалергард, которого Наташа тогда заметила на Петербургском бале. Он был теперь в адъютантском мундире с одним эполетом и аксельбантами. Он шел [той] ухарски ускоренной, молодецкой походкой, которая была бы смешна, ежели бы он не был так хорош собой и ежели бы на прекрасном его лице не было бы такого выражения добродушного довольства и веселья. Не одни Hélène и Наташа, но и многие дамы и мужчины оглянулись на него, когда он, [шел] не торопясь, слегка поскрицывая сапогами и побрякивая шпорами и саблей, шел по наклонному ковру коридора.

Несмотря на то, что действие шло, он не торопился сесть, а, оглядываясь кругом и заметив Наташу, на которую он два раза взглянул, он подошел к сестре, тряхнул ей головой и, наклонясь, прошел опять, указывая на Наташу.— Кто это? — Наташа слышала это. И слышала [еще] или видела по движению его губ, что он сказал: «Charmante!»[3] Потом он прошел в первый ряд и сел подле Долохова.

— Как похожи брат с сестрой,— сказал граф.— [Порода] Одна кровная порода! — сказал он.

В антракте [первого акта] [между] все опять встали в партере, перепутались и стали ходить и выходить. Борис прошел в ложу Ростовых очень просто и учтиво принять поздравления и, приподняв брови, с рассеянной улыбкой передал Наташе и Соне просьбу его невесты, чтобы они были у нее на свадьбе. Еще несколько мужчин входили и выходили в ложу Ростовых. Ложа Hélène заполнилась и окружилась самыми знатными и умными мужчинами, и Наташа слышала из нее урывки утонченных разговоров.

Анатоль Курагин, который интересовал Наташу, насколько интересует всякую женщину мужчина, имеющий репутацию повесы, стоял весь этот антракт впереди у рампы [рядом с Долоховым] и, глядя на ложу Ростовых, говорил с Долоховым, и Наташа знала, что он говорил про нее. Перед началом 2-го акта Pierre вошел в партер и, облокотившись на ложу Ростовых, поговорил с ними о певице [и пришел], что-то спросил у жены. Наташа заметила его изменившееся лицо, когда он говорил с женою, и прошел в первые ряды.

Прошел первый акт, весь партер встал и перепутался, очень многие проходили мимо самой их ложи и кланялись. Анатоль, высокий, стройный, красивый, стоял в самой середине рампы и что-то оживленно доказывал толстому полковнику, очевидно, не думая о другом, всё о ней, о Наташе. В середине рядов Наташа заметила большую толстую фигуру с очками, которая стояла, оглядывая наивно ложи. Это был Pierre. Встретившись глазами с Наташей, он кивнул ей, улыбаясь, головой. И в это же время Наташа увидала, что по направлению к Pierr'у шел Анатоль, как по кустам, по толпе, раздвигая ее перед собою. [У него был значительный, гордый и молодецкий вид. Так самоуверенно небрежно идти по рядам прямо на людей с уверенностью, что посторонятся, не мог идти человек, который не знал себе цены. Походка у него была немного ленивая, немного ухарская, такая походка, которая бы сделала его смешным, ежели бы он не был так хорош собой. Кроме того, начиная от звука его сапог по ковру (тонких с маленькими шпорами) до прически и покроя платья,— всё это было красиво и мило и, главное, необыкновенно в нем: не такое, какое у других людей. «Да влюбился ли бы он в меня? — опять подумала Наташа.— Он совсем другой от тех, которые влюблялись в меня,— подумала Наташа.— Таких я не знаю».] Анатоль подошел к Pierr'у и стал что-то говорить, глядя на ложу Ростовых. «Наверное, пари держу, просит Pierr'а, чтобы представить его нам»,— подумала Наташа. Но Наташа ошиблась. [В ложу к ним входили многие в этом антракте, но не было ни Pierr'а, ни Анатоля. Анатоль куда-то вышел.] Анатоль вышел один из партера и опять вернулся только тогда, когда уж сели на места. Проходя мимо их ложи [с тем же поскрипыванием сапог по ковру], Анатоль небрежно повернул прямо к ней свою красивую голову, и ей показалось, что он улыбнулся. Потом она слышала его голос в ложе сестры [Наташе стало досадно и беспокойно от его взгляда.], что-то шептавший ей.

Во втором акте были всё картоны, изображающие какие-то монументы, и дыра в полотне, изображающая луну, а абажуры ламп подняли и стали играть в басу трубы и контрабасы, и в черных мантиях стали

---

[3] «Прелестна!»

ходить люди, и пришло много справа и слева, и стали опять махать руками, а в руках у них было что-то вроде кинжалов, [под предлогом пения] потом прибежали еще какие-то и стали тащить ее прочь, но не утащили сразу, а она долго с ними пела, а потом уже ее утащили и за кулисами ударили 3 раза в кастрюльку, и все очень этого испугались и стали на колени и опять пели очень хорошую молитву.

[Наташа уже меньше] [В третьем Наташа не слушала, ее занимало много вещей: 1) ей хотелось быть знакомой с Hélène, известной модницей и красавицей, и она удивлялась, почему папà не познакомит ее; ей досадно было смотреть на Бориса, который был ее собственный и посмел сделаться женихом. Она ждала его к себе в ложу и старалась быть как можно веселее с ним и как можно естественнее, радостнее поздравить его; 2) она сама не знала, почему Анатоль, который, очевидно, был — и по тому, какое положение он принимал в партере и в ложах дам,— 1-м кавалером Москвы, занимал ее, и она не спускала с него глаз.

Во 2-м антракте пришел Борис. Наташа обошлась, как и хотела, радушно и холодно, и Наташа, выйдя в коридор с отцом, была представлена Hélène. Анатоля не видно было. Он под руку с Долоховым ушел куда-то, она не заметила Анатоля и нашла его опять уже на своем месте. Но, занятая ими, она не заметила Анатоля.] Во время этого действия Наташа, [невольно] [несколько раз] всякий раз как взглядывала в партер, видела Анатоля Курагина, перекинувшего руку через спинку кресла, смотревшего на нее; ей становилось неприятно и беспокойно от этого взгляда.

Как только кончился акт, Элен Васильевна встала, повернулась к ложе Ростова, пальчиком в перчатке поманила к себе старого графа и [начала], не обращая внимания на вошедших к ней в ложу, начала, любезно улыбаясь, говорить с ним.

— Да познакомьте же меня с вашими прелестными дочерьми,— говорила она,— весь город про них кричит, а я их не знаю.

Наташа, краснея, присела ей. Ей приятно было знакомство и похвала этой блестящей красавицы.

— Я теперь тоже хочу сделаться москвичкой. И как вам не грех зарыть такие перлы в деревне? — Элен Васильевна по справедливости имела репутацию обворожительной. Она могла говорить то, чего не думала, а в особенности лесть, совершенно просто и натурально.

— Нет, милый граф, вы мне позвольте заняться вашими дочерьми. Я хоть теперь здесь ненадолго [но вы] и вы тоже. И я постараюсь повеселить ваших.— Графиня Алена Васильевна спросила о князе Андрее Болконском, тонко намекая этим, что она знала отношения его к ним, и попросила, чтобы ей лучше познакомиться, позволить одной из дочерей посидеть остальную часть спектакля в ее ложе, и Наташа перешла в ложу Элен Васильевны.

В 3-м акте был представлен дворец очень светло и картины, рыцари с бородками, особенно дурно нарисованные, так дурно, как только бывает на театре, и царица и царь, вероятно, которые оба очень дурно пели, пропели что-то по сторонам и сели на трон. Она была, тоже и он, в дурном платье и очень грустны. Но они сели. Справа вышли мужчины с голыми ногами и женщины с голыми ногами и стали танцовать все вместе, кружиться, а потом скрипки заиграли, одна отошла на угол, поправила корсаж худыми руками и стала прыгать и скоро бить одна об одну толстыми ногами.

В это время Наташа заметила, что Анатоль смотрел в трубку на нее и хлопал и кричал. Потом один мужчина стал в угол, заиграли громче в цимбалы и трубы, и один этот мужчина с голыми ногами стал прыгать [очень высоко и очень дурно и потом наверху стали] очень высоко (мужчина этот был Duport, получавший 60 тысяч рублей серебром за это искусство), семенить ногами, и все стали хлопать и кричать, и муж-

СТРАНИЦА РУКОПИСИ 107

Автограф

чина стал глупо улыбаться и кланяться. Потом еще плясали другие, и потом опять один из царей закричал что-то под музыку, и стали петь. Но вдруг, само собой разумеется, сделалась буря, стали arpeggio уменьшенными септимами и хроматической гаммой играть, и все побежали и потащили опять кого-то.

[Pierre вдруг вошли с Анатолем в ложу, и Анатоль начал] [Еще не успело всё это кончиться, как вдруг в ложе пахнуло холодом, отворилась дверь и в ложу вошел Pierre и ввел с собой Анатоля. Анатоль, добродушно улыбаясь, близко наклоняясь к Наташе своей душистой головой, просто и весело ‹начал› говорить с нею. Наташа весело улыбалась ему. Ей приятно было видеть, что в нем не только ничего не было страшного, но что был очень добрый, веселый и милый человек.] Еще

не успело всё это кончиться, как вдруг в ложе пахнуло холодом, отворилась дверь, и в ложу вошли Pierre и за ним, нагибаясь и стараясь не зацепить кого-нибудь, улыбаясь, вошел красивый Анатоль. Наташа была рада Pierr'у и с той же радостной улыбкой обратилась к Курагину; когда Элен Васильевна представила его, он подошел [к ней] к Наташе, низко пригибая к ней свою надушенную голову и говоря, что он желал иметь удовольствие это еще с бала Нарышкиных 1810 года.

Анатоль Курагин говорил просто, весело [приятно], и Наташу странно и приятно поразило, что не только ничего не было такого страшного в этом человеке, про которого так много рассказывали, но что, напротив, у него была самая наивно веселая и добродушная улыбка.

Анатоль Курагин рассказывал ей про карусель, который затевался в Москве, и просил ее принять в нем участие.

— Будет очень весело. [Вы будете очень хороши амазонкой. Пожалуйста.]

— Почему вы знаете?

— [Уж я знаю. Я бы был вашим кавалером] Пожалуйста, приезжайте, право,— говорил он.

Он говорил чрезвычайно легко и просто, видимо, и не думая о том, что выйдет из его речей. Он, не спуская улыбающихся глаз, смотрел на лицо, на шею, на руки Наташи. Ей было это очень весело, но тесно и жарко и тяжело становилось. Когда она не смотрела на него, она чувствовала, что он смотрит на ее плечи, и она наивно перехватывала его взгляд, чтоб он уже лучше смотрел на ее глаза. Но, глядя ему в глаза, она с страхом чувствовала, что между им и ею нет той преграды стыдливости, которую всегда она чувствовала между собой и мужчинами. Она сама не знала, как через 5 минут чувствовала себя страшно фамильярно близкою к этому человеку. Когда она отвертывалась, она боялась, как бы он сзади не взял ее за голую руку, не поцеловал бы ее в шею. Они говорили о самых простых вещах, а она чувствовала, что они близки, как она никогда не была с мужчиной. И что ей странно было, это то, что [он не только не робел перед нею, как робел сам князь Андрей, а, напротив, он, как будто лаская, подсмеивался над нею. Тон небрежно подсмеивающийся был принят Анатолем раз навсегда со всеми женщинами.] он не только не робел перед нею, не старался понять что-то, а, напротив, он, как будто лаская, ободрял ее. Наташа оглядывалась на Pierre'а и отца, как оглядывается ребенок, когда его ⟨няни?⟩ хотят увезти, но они не смотрели на нее. В числе вопроса учтивости Наташа спросила у Анатоля, как ему нравится Москва. Наташа спросила и [ужаснулась тому, что она спросила] покраснела: ей постоянно казалось, что что-то неприличное она делает, говоря с ним [а вместе была весела]. Анатоль улыбнулся.— Сначала мне мало нравилось, потому что что делает город [жизнь] приятным — les femmes, les jolies femmes[4]. Но теперь очень нравится,— сказал он, всё улыбаясь, глядя на нее.

— Поедете на бал? Пожалуйста, поедем и в ⟨*2 нрзб*⟩,— сказал он и, протянув руку к ее букету, понижая голос, сказал: — Donnez moi cette fleur[5].— Наташа не знала, что сказать, и отвернулась, как будто не слыхала. Но только что она отвернулась, она с ужасом подумала, что он тут сзади и так близко от нее, что он теперь сконфужен, рассержен, что надобно поправить это. Она не могла удержаться, чтобы не оглянуться. Он поднял отпавший листик и, улыбнувшись, взглянул на нее. Хотела или не хотела рассердиться Наташа, она сама не знала, она прямо в глаза взглянула ему, и его близость и уверенность и добродушная ласковость улыбки победила ее. Она улыбнулась тоже, так же как и он, глядя прямо в глаза ему.— «Боже мой, что я? Где я?» — думала она,— но, глядя

---

[4] Женщины, хорошенькие женщины.
[5] Дайте мне этот цветок.

на него, она, покоряясь ему, улыбалась, она чувствовала, что между ним и ею нет никакой преграды.

Опять поднялся занавес, и он ушел. В 3-м акте был какой-то чёрт, который пел, махая рукою, до тех пор, пока не выдвинули под ним доски и он не опустился туда, но Наташа ничего этого не слышала и не видела, она хотела и не могла не следить за каждым движением Анатоля. Проходя мимо их бенуара, он улыбнулся, и она ответила ему улыбкой. Когда они выходили, Анатоль провожал их до кареты. Он подсадил Наташу и пожал ее руку выше локтя[6].

«Боже мой! Что это такое,— думала Наташа весь этот вечер и на другой день утром невольно вспомнила про Анатоля и про свободу, с которою он обращался с ней.— Этого я никогда не испытывала. Что это такое? Хочу и не могу не думать о нем. Может быть, это то самое, что называют внезапной любовью. Нет, я не люблю его, но всякую минуту вспоминаю, думаю о нем. Что это такое? Что такое этот страх, который я испытываю к нему?» Старой графине, ей одной, Наташа в состоянии была ночью в постеле рассказать всё, что она думала. Соня, она знала, с своим строгим и цельным взглядом на жизнь только ужаснулась бы ее признанию, и она не сказала ей.

⟨XIII⟩

В Москве в этом 1811 году жили очень весело. Царями, руководителями холостой молодежи были Долохов и Анатоль Курагин. Князь Андрей не приехал. Старый князь уехал в деревню. Pierre боялся Наташи и не ездил к ним.

Долохов[1] в нынешнем году только опять появился в Москве, из которой он пропал вскоре после того, как обыграл Ростова. Рассказывали, [что вскоре] [что после] что в этом году он обыграл еще купца, и когда купец объявил, очнувшись на другое утро, что он был опоен дурманом и платить не намерен, то Долохов, ничего не сказав купцу, кликнул людей, велел приготовить вексельной бумаги и селедки в пустую комнату и запер туда купца.

— Он так погостит у меня, может вздумает подписать.

Рассказывали, что через три дни, во время которых купцу не давали пить, вексель был подписан и купец выпущен. Но купец подал жалобу и, несмотря на сильную защиту, которую успел найти Долохов, он был выслан из Москвы и ему угрожали разжалованием, ежели он не вступит в службу. Рассказывали, что он поступил капитаном в финляндскую армию. В Финляндии их полк не был в деле, и он, как всегда умевший быть в связи с людьми высшими себе по состоянию и положению, жил вместе [с родственником Болконского] с князем Иваном Болконским, двоюродным братом Андрея. Оба стояли у пастора и оба влюбились в его дочь. Долохов, прикидываясь только влюбленным, давно уже был любовником пасторской дочери. Болконский, узнав это, стал упрекать Долохова. Долохов вызвал его и убил. В тот же вечер пасторская дочь с упреками и угрозами пришла к нему. Долохов был в припадке своей жестокости. Он прогнал и избил ее. Сразу начались два новые дела. И в это время Долохов пропал, так что в продолжение двух лет никто ничего о нем не слышал. Последнее известие, полученное от него[2] было письмо к матери, таинственно переданное ей одним из прислужников и помощников по игре Долохова во время его блестящей жизни в Москве. Письмо это было короткое, но страстно нежное, как

---

[6] К тексту: *В этот же вечер* (с. 546) ∾ *локтя.*— см. Варианты, № 24.

[1] См. Варианты, № 25, в котором описана жизнь Долохова, после того как он обыграл Николая Ростова (прим. составителя).

[2] В автографе ошибка: *им* (прим. составителя).

и все письма Долохова к матери и как его отношения к ней с того самого времени, как он стал на ноги[3].

Марья Ивановна Долохова ездила по Москве, показывая всем это письмо и прося защиты и милости своему обожаемому Феде. Письмо это, писанное из Финляндии, было следующее:

«Бесценный ангел-хранитель мой, матушка. Жестокая судьба не перестает преследовать меня. Роковые обстоятельства увлекают меня в бурный поток жизни. Я опять несчастен, опять сужусь. Богу истинному ⟨справедливому?⟩ известна правда. Я бежал. Но о себе я не думаю. Одно горе, мучающее меня, это вы, мой ангел, мой голубчик; обнимаю вас, бесценная, и умоляю не печалиться, жалеть себя для лучших дней. Я не пропаду. Я чувствую, что буду опять видеть ясные, любви полные, материнской любви, которая дороже света для меня,— очи и лобзать эти руки. Божественная натура говорит во мне сильнее других голосов. Прощайте, ангел, посылаю, что могу, и молю об терпении. Ваш, обожающий вас, сын Ф. Долохов».

При письме было 5000 денег. Долохов писал, что ему ничего не нужно.

Марья Ивановна Долохова обливала слезами это письмо[4], упрекала весь свет за несправедливость к ее благородному сыну, и Безухова за его жестокость, и Ростова за его клевету, и этого гадкого купчишку, который, подлый, проиграв благородному человеку,— пошел жаловаться, и чухонку [правительство] эту наглую, и жестокое правительство.

Три года прошло без всяких известий, наконец, в 10-м году, осенью, в домик к Марье Ивановне явился в странном персидском одеянии красно-загорелый и обросший бородой человек, который бросился к ногам матери. Это был Долохов. Рассказывали, что он всё это время был в Грузии у какого-то владетельного князя министром, что он воевал там с персиянами, имел свой гарем, убил кого-то, оказал какую-то услугу правительству и был возвращен в Россию. Несмотря [на то, что ⟨порочное?⟩] на это прошедшее, которое не только не скрывал, но с особенным цинизмом любил останавливаться сам Долохов, он понемногу не только [стал] был принят во всем высшем московском обществе, но он поставил себя так, что как бы делал особенную милость тому, к кому он приезжал. В лучших московских домах [звали] для него делали обеды и звали гостей на Долохова-персиянина. Очень много молодых людей сгорали желанием сблизиться с Долоховым и стыдились своего прошедшего, в котором не было таких историй, какие были у Долохова.

Никто не знал, чем он жил в Москве, но он жил очень богато. Он [не переменил своего костюма и ходил в персидском костюме] продолжал носить персидский костюм, который очень шел к нему. И дамы и девицы наперерыв кокетничали перед ним. Но Долохов в это свое последнее пребывание в Москве усвоил себе тон презрительного донжуанства в отношении к женщинам, которое особенно волновало дам. В Москве повторялся и известен был его ответ Жюли Корнаковой, которая, так же как и другие, особенно желала приручить этого медведя. Она спрашивала его на бале, отчего он не женится.

— Оттого,— отвечал Долохов,— что не верю ни одной женщине, а еще меньше девушке.

— Чем же бы могла доказать вам девушка свою любовь? — спросила Жюли.

— Очень просто: тем, чтобы отдаться мне до свадьбы,— тогда женюсь.— Хотите?

Долохов в этом году в первый раз пустил в моду хоровых цыган, часто угощал ими своих приятелей и говаривал, что ни одна барыня

---

[3] См. Варианты. № 26.

[4] На полях: *На Кавказе и у горцев.*

московская не стоит пальца Матрешки. [Анатоль, старый приятель Долохова, приехав в Москву по приказанию отца, сделался неразлучным с Долоховым, и Долохов умел себя так поставить с Анатолем, что как будто Долохов-персиянин делал честь этой дружбой Курагину. Оба они были в том периоде жизни холостого, красивого мужчины, когда уже притупилось чувство любви к [одной] женщине, но когда еще нет потребности в женской семейной любви — в том периоде донжуанства — желания наслаждений женщиной без обязанностей и соображений 〈ее〉 положения, через которые проходит более или менее каждый человек. Но в Долохове это донжуанство соединялось с презрением, злобой к женщине вообще и склонностью к жестокости, в Анатоле, напротив, с добродушной ограниченностью, не позволявшей ему видеть ничего дальше своего удовольствия.] Анатоль был другим блестящим молодым человеком этого сезона в Москве, хотя и в другом несколько обществе, но друг и приятель Долохова.

[Анатолю Курагину] Анатоль Курагин с тех пор много пережил, и репутация его, соблазнителя и Дон-Жуана, как ком снега, нарастала. Он соблазнял потому, что имел репутацию] Анатолю было 28 лет. Он был в полном блеске своей силы и красоты. Во все эти 5 лет, со времени 1805 года, за исключением времени, проведенного[5] в Аустерлицком походе, пробыл в Петербурге, в Киеве, где он был адъютантом и [и теперь в Москве] в Гатчине в кавалергардском полку. Он не только не искал службы, но всегда избегал ее, и, несмотря на то, он не переставая служил на видных, приятных местах, не требующих никаких занятий. Князь Василий считал одним из условий приличия для себя, чтобы сын его служил, и потому не успевал сын напортить себе в одном месте, как он уже назначался в другое. Анатолю казалось, что это было необходимое условие жизни, и он, поступая в адъютанты, делал вид, что он делает милость, поступая. Впрочем, он и этого вида не делал. Он был для этого слишком всегда здоров и добродушно весел. На деньги точно так же смотрел Анатоль. Он был инстинктивно, всем существом своим, убежден, что ему нельзя было жить иначе, как он жил, т. е. проживать около 20 тысяч, что это было одно из естественных условий его жизни — как вода для утки. Отец жаловался, упрекал его (хотя не часто: князь Василий понимал то же, что и сын, и видел, что говорить незачем), но давал, отрывая от себя и принужденный выпрашивать у государя. Анатоль тем более был убежден, что ему проживать 20 тысяч неизбежно, что он чувствовал, он не имел никаких дурных страстей. Он был не игрок, не проматывался на женщин (он был так избалован женщинами, что не понимал, как можно им платить за то, чего они так желают), был не честолюбив (он 100 раз дразнил отца, портя свою карьеру, и смеялся над всеми почестями). Он был не скуп, надеясь, и не копил, напротив, везде он сорил деньгами, везде, где только мог, и был кругом должен. Но как же ему было не иметь двух камердинеров, не иметь скаковой лошади, ежели вздумывалось скакать на призы, как не иметь экипажа, не иметь счетов у портных, парфюмеров и поставщиков эполет и т. п. по 1000 в год. Ведь он не мог же думать об этом и занашивать мундиры. А главное, как же ему было не выпить бутылку с приятелем, не угостить обедом или ужином друзей. Кажется, он этим никому вреда не делал. Нельзя не послать букета и браслетку хорошенькой женщине в благодарность за ее внимание, расставаясь с нею. У кутил, у этих мужских магдалин, есть темное чувство сознания невинности, такое же, как и у магдалин женщин, основанное на той же надежде прощения. «Ей всё простится, потому что она много любила. А ему всё простится, потому что он веселился и никому вреда не делал». Так думают — или скорее в глубине души чувствуют — кутилы, и чувствовал Анатоль, несмотря на

[5] В автографе: *проведенным* (прим. составителя).

свою неспособность соображать. И Анатоль это чувствовал более другого, потому что он был вполне искренний кутила, всё [чем дорожат другие люди] пожертвовавший для добродушного веселья. Он не был, как другие кутилы, даже как Васька Денисов, для которых двери честолюбия и высшего света, богатства, счастия супружества закрыты, и потому утрирующие свой кутеж, не был, как Долохов, помнящий всегда выгоды и невыгоду — он искренно знать не хотел ничего, кроме удовлетворения своих вкусов, из которых главный был женщины и веселье. Оттого он так твердо веровал в то, что о нем должны были кто-то другие заботиться, помещать его на места и что для него должны были быть всегда деньги. А оттого, что он так твердо веровал в это, оттого это действительно так было, как это и всегда бывает в жизни. Последнее время в Петербурге, в Гатчине он задолжал так много, что кредиторы стали, несмотря на свою особенную терпимость с ним, надоедать ему. (Кредиторы перед тем бывали обезоружены его открытой, красивой рожей, с выпученной грудью фигурой, когда он говорил им, улыбаясь: «Ей-богу, нет, что делать».) Но теперь стали приставать. Он поехал к отцу и, улыбаясь, сказал: «Papa, il faut arranger tout ça. On ne me donne plus de repos» [6].

Потом он зашел к сестре.

— Что же это? Дай мне денег.— Отец погудел и вечером придумал:

— Поезжай ты в Москву, я напишу, тебе там дадут место, и живи [сестры] у Pierr'a в доме,— тебе ничего не стоить будет.

Анатоль поехал и весело зажил в Москве, [опять сойдясь с Долоховым] [Pierr'ом] сойдясь с Долоховым [7] и вместе с ним заведя какое-то масонство донжуанства.

Pierre принял Анатоля сначала неохотно по воспоминаниям о жене, которые возбуждал в нем вид Анатоля, но потом привык к нему, изредка ездил с ним на их кутежи к цыганам, давал ему денег взаймы и даже полюбил его. Нельзя было не полюбить этого человека, когда ближе узнавали его. Ни одной дурной страсти не было в нем — ни корыстолюбия, ни тщеславия, ни честолюбия, ни зависти, ни еще меньше ненависти к кому-нибудь. (Никогда ни про кого Анатоль не говорил дурно и не думал дурно.) «Чтоб не скучно было покуда»,— вот всё, что ему было нужно.

Его общество в Москве было другое, чем общество Долохова. Главный круг Анатоля был свет с балами и актрисы французские, особенно m-lle Georges.

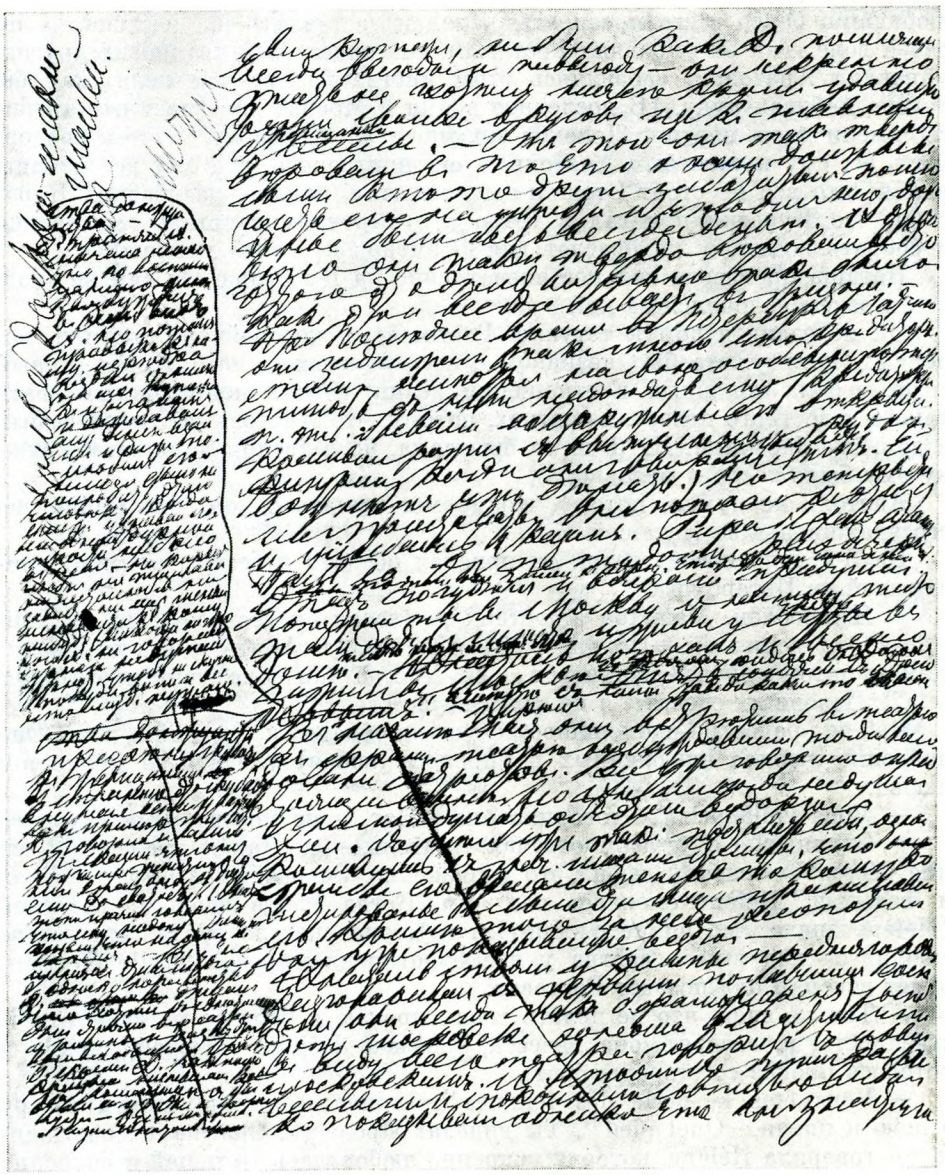
Он ездил и в свет, и танцовал на балах, и участвовал в карусели в рыцарских костюмах, которую устраивали тогда в высшем обществе, и даже на домашних театрах, но планы князя Василия о его женитьбе на богатой были далеки от осуществления. [Приятнейшие для него минуты] Приятнейшие минуты для Анатоля в Москве были те, когда с бала или даже от m-lle Georges, с которой он был очень близок, он приезжал или к Шальма, или к Долохову, или к себе, или к цыганам и, сняв мундир, принимался за дело [или]: пить, и петь, и обнимать цыганку или актрису. Бал и светское общество в этом случае действовало на него, как возбуждение [скуки для] стеснения перед ночным разгулом. Сила и сносность его в перенесении этих бессонных и пьяных ночей удивляли всех его товарищей. Он после такой ночи ехал на обед в свет такой же свежий и красивый как всегда.

В отношениях их с Долоховым была [⟨внешне?⟩] со стороны Анатоля наивная и чистая товарищеская дружба, насколько он был в состоянии испытывать это чувство, со стороны Долохова был расчет. Он держал

---

[6] Папа̀, надо уладить всё это. Мне покоя не дают.

[7] См. Варианты, № 27, в котором дана первоначальная характеристика Анатоля и его образа жизни (прим. составителя).



СТРАНИЦА РУКОПИСИ 107

Автограф

при себе беспутного Анатоля Курагина и настраивал его так, как ему нужно было. [Последнее время в театре появилась молоденькая красивая хористка, славившаяся своей безупречностью. Долохов с Анатолем [поставили] оба решили соблазнить ее и не пропускали ни одного спектакля, где она плясала.]

Ему нужно было чистое имя, знатность связей и репутация Курагина для своего общества, для игорных расчетов, так как он опять начинал играть, но нужнее всего ему было настраивать Анатоля и управлять им так, как он хотел. Этот самый процесс — управление чужой волею — было наслаждением, привычкой и потребностью для Долохова. Только в редкие минуты своих припадков буйства и жестокости Долохов забывал себя, всегда же он был самый холодный, расчетливый человек.

любивший более всего презирать людей и заставлять их действовать по своей воле. Так он управлял Ростовым, так теперь, кроме многих других, управлял Анатолем, забавляясь этим иногда без всякой цели, как бы только набивая руку. [В последнее время в Москве две [певицы] актрисы имели свои партии. Долохов предпочитал Семенову. Чтобы поддержать ее, ему нужен был Анатоль, и он, притворясь, что ему все певицы равны, что все не стоят Стешки-цыганки, так, однако, раздразнил Курагина, что Курагин приехал в театр с намерением свистать той певице и собрать подписку на браслет для [Семеновой] своей певицы]

Наташа произвела сильное впечатление на Курагина. Он сам не знал, что и зачем волочился за ней.

Он не ездил в дом к тетушке Ростовых, у которой они гостили, во-первых, потому, что был незнаком с нею, во-вторых, потому, что старый граф, весьма чопорный в отношении девиц, считал неприличным звать такого известного повесу, в-третьих, потому, что Анатоль не любил ездить в дом, где барышни. На бале он был дома, но в тесном домашнем кружку ему было тесно и неловко.

Анатоль не думал, потому что не мог думать о том, что выйдет из его ухаживанья за Наташей.

На 3-й день после театра он приехал обедать к сестре, недавно приехавшей из Петербурга.

— Я влюблен. Mais fou amoureux[8],— сказал он сестре.— Elle est délicieuse[9],— говорил он.— Но они никуда не ездят. А что я к ним поеду? Как и потом сейчас — жениться... А? Non, il faut que vous m'arrangiez cela[10]. Позови их обедать, я не знаю, вечер сделай.

Hélène радостно-насмешливо слушала брата и дразнила его. Она искренне любила влюбленных и [процесс любви] следить за процессом любви.

— Vous voilà pris[11],— говорила она.— Нет, я не позову. Они скучные.

— Скучные! — с ужасом отвечал Анатоль.— Это такая прелесть. C'est une déesse[12]. Анатоль любил это выражение. За обедом Анатоль молчал и вздыхал. Hélène смеялась над ним. Когда Pierre ушел из гостиной (Hélène знала, что он не одобрит этого), она сказала брату, что готова сжалиться над ним и завтра у нее будет декламировать m-lle Georges, будет вечер, и она позовет Ростовых.

— Только знай, что не делать твоих проказ, я беру ее на свою ответственность, и, говорят, она невеста,— сказала Hélène, которой именно и хотелось проказ со стороны брата.

— Vous êtes la perle des femmes[13],— кричал Анатоль, целуя сестру в шею и плечи.— Quel pied[14]. Ты видела? Прелесть. Charmante, charmante[15],— говорила Hélène, которая искренно любовалась Наташей и искренно желала повеселить ее.

На другой день серые рысаки Hélène подвезли ее к дому Ростовых, и, свежая с мороза, сияющая улыбкой из соболей, поспешно и оживленно она вошла в гостиную.

— Нет, это ни на что не похоже, мой милый граф. Как жить в Москве и никуда не ездить? Нет, я от вас не отстану: нынче вечером у меня m-lle Georges, и, ежели вы не привезете своих красавиц, которые лучше Georges, я вас знать не хочу. Непременно, непременно в 9-м часу. Оставшись одна с Наташей, она успела сказать ей:

---

[8] Схожу с ума от любви.
[9] Она — прелестна.
[10] Нет, надо, чтобы вы устроили мне это.
[11] Вот и попался.
[12] Это — богиня.
[13] Ты — лучшая из женщин.
[14] Какая ножка.
[15] Прелестна, прелестна.

СТРАНИЦА РУКОПИСИ 107
Автограф

— Вчера брат обедал у меня. Мы помирали со смеха. Он ничего не ест и вздыхает по вас, моя прелесть. Il est fou, mais fou amoureux de vous, ma chère[16].

Наташа покраснела [услыхав это]. «К чему она говорит мне это! — подумала.— И что мне за дело до тех, кто вздыхает, когда у меня есть один, избранный». Но Hélène, как будто догадываясь о сомнении Наташи, прибавила:

— Непременно приезжайте. Повеселитесь. Si vous aimez quelqu'un ma délicieuse (она так называла Наташу), ce n'est pas une raison pour se cloîtrer. Si même vous êtes promise je suis sûre que votre promis aurait

[16] Он сходит с ума, но сходит с ума от любви к вам, моя милая.

désiré que vous alliez dans le monde en son absence plutôt que de dépérir d'ennui[17].

«Что же это: она знает, и она же говорит мне про любовь Анатоля? Они с мужем, с Pierr'ом говорили и смеялись про это. И она такая grande dame, такая милая, и так видно всей душой любит меня». (Наташа не ошибалась в этом: Hélène искренно нравилась Наташа.) «Они лучше знают,— думала Наташа.— Кто же кому может запретить влюбляться? И отчего же не веселиться?»

⟨XIV⟩

Освещенная гостиная дома Безуховых была полна. Анатоль был тут и видно у двери ожидал входа Наташи и тотчас же подошел к ней и не отходил от нее в продолжение всего вечера. Как только его увидала Наташа, опять то же чувство страха и отсутствия преград неприятно охватило ее. M-lle Georges надела красную шаль на одно плечо и, став на середине гостиной, строго и мрачно [посмотрела] оглянула публику и начала монолог из Федры, где возвышая голос, где шепча и торжественно поднимая голову. Все шептали: «Adorable, divin, délicieux»[1].

Но Наташа ничего не слышала и не понимала и ничего не видела хорошего, кроме прекрасных bras[2] m-lle Georges, которые, однако, были слишком толсты. Почти позади всех она сидела, и сзади ее сидел Анатоль [и не переставая], и она испуганно ждала чего-то. Изредка встречала она глаза Pierr'a, которые всегда были строго устремлены на нее, которые всякий раз опускались, когда встречались с ее взглядом. После первого монолога всё общество встало и окружило m-lle Georges, выражая ей свой восторг.

— [Она очень хороша] Как она хороша! — сказала Наташа, чтобы сказать что-нибудь.

— Я не нахожу, глядя на вас,— сказал Анатоль.— И теперь она толста, а вы видели ее портрет?

— Нет, не видала.

— Хотите посмотреть, вот в этой комнате. [Да, посмотрите]

— Ах, посмотрите,— сказала Hélène, проходя мимо их.— Анатоль, покажи графине.

Они встали и [прошли через пустую столовую в картинную] прошли в соседнюю картинную, Анатоль поднял тройной бронзовый подсвечник и осветил наклоненный портрет. Он стал рядом с Наташей, держа высоко одну руку с свечей и, наклонив голову, глядя в лицо Наташи. Наташа хотела смотреть на портрет, но ей совестно было притворяться, портрет не интересовал ее. [Страх и ожидание чего-то волновали ее.] Она опустила глаза, потом взглянула на Анатоля. «Я не смотрю, мне нечего смотреть на портрет»,— сказал ее взгляд. Он, не опуская руки с подсвечником, левой рукой [обнял Наташу, притянул к себе и поцеловал в шею. «Да, так это и должно было быть»,— [сказалось в душе] подумала Наташа, но она отстранилась от него и с ужасом [хотела] вырвала свою руку.] обнял Наташу и поцеловал в щеку. Наташа с ужасом вырвала свою руку. Она хотела сказать что-то, хотела сказать, что она оскорблена, но не могла и не знала, что ей сказать. Она готова была плакать и, красная и дрожащая, поспешно пошла из комнаты.

— Un mot, un seul. Au nom de Dieu[3],— говорил Анатоль, следуя за ней.

---

[17] Из-за того, что вы любите кого-то, моя прелесть, никак не следует жить монашенкой. Даже если вы невеста, я уверена, что ваш жених предпочел бы, чтобы вы в его отсутствие выезжали в свет, чем погибали со скуки.

[1] «Восхитительно, божественно, чудесно».
[2] рук
[3] Одно слово, только одно. Ради бога.

Она остановилась. Ей так нужно было, чтобы он сказал это слово, которое бы объяснило то, что случилось.

— [Je vous adore[4]] Natalie, un mot, un seul,— всё повторял он. Но в это время послышались шаги[5], и Pierre с Ильей Андреичем и дамой шли тоже смотреть галерею.

В продолжение вечера Анатоль Курагин успел сказать Наташе, что он любит ее, но что он несчастный человек, потому что не может ездить к ним в дом (почему — он не сказал, и Наташа не спросила его). Он умолял ее приезжать к сестре, чтобы изредка хотя они могли видеться.— Наташа испуганно глядела на него и ничего не отвечала. Она сама не знала, что делалось в ней.

— Завтра, завтра я скажу вам.

После этого вечера Наташа не спала всю ночь и к утру решила в самой себе, что она никогда не любила князя Андрея, а любит одного его и так скажет всем, и отцу, и Соне, и князю Андрею.

Внутренняя психологическая работа, подделывающая [причины] разумные причины под совершившиеся факты, [произвела] привела ее к этому. «Ежели я могла после этого, прощаясь с ним, улыбкой ответить на его улыбку, ежели я могла допустить до этого, то только оттого, что он благороден, прекрасен, что я всегда, с первой минуты, любила его и никогда не любила князя Андрея». Но какой-то страх обхватывал ее при мысли о том, как она скажет это. [В этот же день вечером она получила страстное письмо Анатоля, в котором он говорил, что от нее зависит его жизнь, что никто никогда не любил ее, как он, что он умоляет ее сказать ему только два слова, хочет ли она быть его женой, и тогда он завтра вечером будет ждать ее у заднего крыльца и увезет, чтобы тайно обвенчаться с нею, или нет, и тогда [он погибнет] не может жить более] [В этот же день вечером она получила страстное письмо Анатоля, в котором он говорил, что от нее зависит его жизнь, что никто никогда не любил ее, как он, что он умоляет ее сказать ему только, любит ли она его или нет и найти средство дать ему свидание, и тогда, он несмотря ни на что] На другой день вечером она через девушку получила страстное письмо Анатоля, в котором он спрашивал ее ответа на вопрос: любит ли она его, жить ему или умереть, хочет ли она довериться ему, и тогда он завтра вечером будет ждать ее у заднего крыльца и увезет, чтобы тайно обвенчаться с нею, или нет, и тогда он не может жить более.

Все эти старые, выученные, списанные с романов слова показались ей новыми, только к одному ее случаю относящимися. Но как ни казалось ей всё уже решенным в ее душе, она ничего не отвечала и сказала девушке, чтобы она ничего никому не говорила.

Но прежде, прежде всего надо было написать князю Андрею. Она заперлась в своей комнате. И стала писать.

«Вы были правы, когда говорили мне, что я могу разлюбить вас. Не разлюбить я не могу вас. [Но память] Память о вас никогда не изгладится во мне. Но... я люблю другого, люблю Курагина, и он любит меня». Тут Наташа остановилась и стала думать. Нет, она не могла дописать этого письма, всё это было глупо — не так. Долго она думала потом.

Мучительное сомнение, страх, тайна, которую она никому не решалась сказать, и бессонная ночь сломили ее. Получив это письмо и отослав девушку, она, как была одетая, упала на диван и заснула с письмом в руках.

Соня, ничего не подозревавшая, вошла в комнату и, на цыпочках, кошачьи, подойдя к Наташе, вынула из ее рук письмо и прочла его.

---

[4] [Я восхищаюсь вами]

[5] В автографе: *шагами* (прим. составителя).

Соня не верила своим глазам, читая это письмо. Она читала и взглядывала на Наташу спящую, как будто на лице ее отыскивая объяснения. И не находила его. Лицо было милое, кроткое. Схватившись за грудь, чтобы не задохнуться, Соня тихо положила письмо, села и стала думать.

Графа не было дома, [он с утра уехал на два дня с покупателем в подмосковную] тетушка была богомольная старушка, которая не могла подать помощи. С Наташей говорить было страшно: Соня знала, что противуречие только утвердило бы ее в ее намерении. Бледная и вся дрожащая от страха и волнения, Соня на цыпочках ушла в свою комнату и залилась слезами. «Как я не видала ничего? Как могло это зайти так далеко? [Что она ответила, и ответила ли она? Что скажет Nicolas, когда] Да, это Анатоль Курагин. И зачем он не ездит в дом? Зачем эта тайна? Неужели он обманщик? Неужели она забыла князя Андрея?» И что ужаснее было всего. Ежели он обманщик, что будет с Nicolas, с милым, благородным Nicolas, когда он узнает про это? «Так вот ⟨что⟩ значило ее взволнованное, решительное и [счастливое] неестественное лицо нынче»,— думала Соня. «Но нечего предполагать, надо действовать,— думала Соня.— Но как, но что?» Как женщине, и особенно ей с ее характером, Соне тотчас пришли в голову средства окольные — хитрости. Ждать, следить за нею, выпытать ее доверие и помешать в решительную минуту. [Послать к] «Но, может быть, действительно они любят друг друга. Какое я имею право мешать им? [Послать к графу с ложным известием, что Наташа больна] Послать сказать графу? Нет, граф не должен ничего знать. Бог знает, что с ним будет при этом известии. Написать Анатолю Курагину, потребовать от него честного, правдивого объяснения, но кто же велит ему [сказать мне] приехать ко мне, ежели он обманщик. Обратиться к Pierr'у, единственному человеку, которому бы я смогла доверить тайну Наташи. Но неловко, и что он сделает?» Но так или иначе Соня чувствовала, что теперь пришла та минута, когда она должна [всей своей] и может отплатить за все добро, сделанное ей семейством Ростовых, спасая их от несчастия, которое грозит им. Она радостно плакала при этой мысли и горько при той, что Наташа готовит себе такое несчастье.

После многих колебаний она остановилась на решении. Она вспомнила слова князя Андрея о том, к кому обратиться в случае несчастия, пришла назад в комнату, где спала Наташа, [вынула] взяла письмо и написала от себя записку Безухому, в которую вложила [письмо Анатоля] начатое письмо Наташи. Она умоляла Pierr'а помочь ей и ее кузине объясниться с Анатолем и узнать причину тайных сношений и его намерения.

Наташа проснулась и, не найдя письма, бросилась к Соне с тою решительностью и нежностью, которая бывает в минуты пробуждения.

— Ты взяла письмо?

— Да,— сказала Соня.

Наташа вопросительно посмотрела на Соню.

— Нет, Соня, я не могу. Я так счастлива,— говорила Наташа,— Я не могу скрывать больше с тобой. Ты знаешь, мы любим друг друга. Он сказал мне, Соня, голубушка. Он пишет... Соня.

Соня, как бы не веря своим ушам, смотрела во все глаза на Наташу.

— А Болконский? — сказала она.

— Ах, Соня, то было не любовь, я ошибалась. Ах, коли бы ты могла знать, как я счастлива. Как я люблю его.

— Но, Наташа, [надо решить скорее, скорее] неужели ты можешь променять на него Болконского?

— Еще бы. Ты не знаешь, как он любит. [Он нынче сказал мне] Вот он пишет.

— Но, Наташа! [Надо решиться на что-нибудь] Неужели то всё кончено.

— Ах, ты ничего не понимаешь,— с радостной улыбкой сказала Наташа.

— Но, душенька, как же ты откажешь князю Андрею?

— Ах, боже мой! Разве я обещала? — с сердцем сказала Наташа.

— Но, душенька, голубчик, подумай. Что ты меняешь и на что? Любит ли этот тебя?

Наташа только презрительно улыбнулась.

— [Но отчего он не просит твоей руки?] Но отчего же он не ездит в дом? Зачем эта тайна? Подумай, какой это человек.

— Ах, какая ты смешная. Он не может объявить всем теперь, он просил меня.

— Отчего? [Его отец не 〈позволит?〉]

Наташа смутилась, видно, ей самой пришел в первый раз в голову этот вопрос.

— Отчего? Отчего? Не хочет, я не знаю. Отец верно. Но, Соня, ты не знаешь, что такое любовь...

Но Соня не подчинялась выражению счастия, которым сияло лицо ее друга, лицо Сони было испуганное, огорченное и решительное. Она строго продолжала спрашивать Наташу.

— Что ж может мешать ему объявить свою любовь и просить твоей руки у твоего отца,— говорила она,— ежели ты разлюбила Болконского?

— Ах, не говори глупости! — перебила Наташа [6].

— Какой отец может мешать ему, чем наше семейство хуже его? Наташа, это неправда...

— Не говори глупости, ты ничего, ничего не понимаешь,— говорила Наташа, улыбаясь с таким видом, что она уверена была, ежели бы Соня могла говорить с ним так, как она говорила с ним, то она бы не делала таких глупых вопросов.

— Наташа, я не могу этого так оставить,— испуганно продолжала говорить Соня.— Я не допущу до этого, переговорю с ним.

— Что ты, что ты? ради бога,— заслоняя ей дорогу, как будто Соня сейчас могла это сделать, закричала Наташа.— Ты хочешь моего несчастия, ты [хочешь, чтоб он перестал ездить] хочешь, чтоб он уехал, чтоб он...

— [Я пойду и скажу ему] Я скажу ему, что благородный человек...— начала Соня.

— Ну, я сама скажу, [нынче] [завтра] нынче вечером скажу, как это ни гадко будет с моей стороны, но я всё переговорю с ним, я всё спрошу его. Он неблагородный человек? Кабы ты знала,— говорила Наташа.

— Нет, я не понимаю тебя,— сказала Соня, и не обращая внимания на Наташу, которая вдруг заплакала.

Разговор их прервали, позвав обедать. После обеда Наташа стала спрашивать письмо у Сони.

— Наташа, сердись на меня или нет, но я [сказала] написала графу Безухову и отослала ему письмо, просила его объясниться с ним.

— Как глупо, как гадко,— закричала сердито Наташа.

— Наташа, или он объявит свои намеренья или откажется...

Наташа зарыдала.

— Откажется. Да я жить не могу [и не 〈люблю?〉] [без]. А коли ты так,— закричала она,— я убегу из дома, хуже будет.

— Наташа, я не понимаю тебя, что ты говоришь. Ежели ты уже разлюбила князя Андрея, вспомни о Nicolas, что с ним будет, когда он узнает это.

— Мне никого не нужно, я никого не люблю, кроме его. Как ты

---

[6] На полях: *Он тайно женат.*

смеешь говорить, что он неблагороден? Ты разве не знаешь, что я его люблю,— кричала Наташа.

— Наташа, ты не любишь его,— говорила Соня,— когда любят, то [все] делаются добры, а ты сердишься на всех, ты никого не жалеешь, ни князя Андрея, ни Nicolas [ни отца, ни матери].

— Нет, душенька, Сонечка, я всех люблю, мне всех жалко,— добрыми слезами плача теперь, говорила Наташа,— но я так люблю его, я так счастлива с ним, я не могу с ним расстаться.

— Но должно ж. Пускай он объявит. Вспомни отца, мать.

— Ах, не говори, молчи, ради бога, молчи.

— Наташа, ты хочешь погубить себя. Безухов тоже говорит, что он неблагородный человек.

— Зачем ты говорила с ним, никто не просил тебя. И ты не можешь понимать всего этого. Ты мой враг — навсегда.

— Наташа, ты погубишь себя.

— И погублю, погублю, поскорее погублю себя, чтобы вы не приставали ко мне. Мне дурно будет, так и оставьте меня,— и Наташа, злая и плачущая, убежала к себе, схватила начатое письмо, прибавила: «я влюблена, прощайте и простите меня» и [с хитростью], отдав девушке, велела отнести на почту. Другое письмо она написала Анатолю, в котором умоляла его приехать за ней ночью и увезти ее, потому что она не может жить дома[7].

На другой день [вернулся граф] ни от Анатоля, ни от Pierr'a не было известий. Наташа не выходила из своей комнаты и говорила, что она больна. Ввечеру этого дня приехал Pierre.

‹XV›

После первого своего свиданья с Наташей в Москве Pierre почувствовал, что он не свободен и не спокоен с ней, он решил не ездить к ним. [Накануне того дня, как он получил письмо Сони, Анатоль приходил к нему и занял у него большую сумму денег.

— Что с тобою? — спросил у него Pierre, заметив особенно сияющее лицо своего beau-frèr'a.

— Mon cher, je suis amoureux comme un fou[1],— сказал Анатоль.

— В кого же?

— После узнаешь.

«Так вот в кого он был влюблен,— подумал Pierre, получив письмо Сони, и как ни стыдно ему бы было признаться в том, первое чувство его] Но Элен Васильевна привлекла к ним в дом Наташу, и Pierre с чуткостью влюбленного мучался, глядя на их отношения. Но какое право он имел вмешиваться в это дело. Тем более, что он чувствовал себя не беспристрастным в этом деле. Он решился не видеть никого из них.

Получив письмо Сони, как ни стыдно ему бы было признаться в том, первое чувство Pierr'a было чувство радости. Радости, что князь Андрей не счастливее его. Чувство это было мгновенное, потом ему стало жалко Наташу, которая могла полюбить человека, столь презираемого Pierr'ом, как Анатоль, потом ему стало непонятно это, потом страшно за Андрея и потом больше всего страшно за ответственность, которая на него самого ложилась в этом деле. Мгновенно, как утешение, ему пришла его мрачная мысль о ничтожестве, кратковременности всего, и он старался презирать всех: но нет, этого нельзя было оставить. Измена Наташи Андрею мучала его, как измена ему самому, больше, чем его мучала измена своей жены. Так же как при известии об измене своей жены,

---

[7] К тексту: *убежала к себе ∾ жить дома.*— см. Варианты, № 28.

[1] Мой милый, я безумно влюблен.

он испытал какое-то отталкивающее, но кроткое чувство к тому, для кого изменили, и озлобление к той, которая изменила. Он ненавидел Наташу. [Долго он ходил в своей] Но надо было на что-нибудь решиться; он велел закладывать и поехал искать Анатоля.

[Анатоль, получив записку Наташи [собрался] и решившись увезти ее [прощался с Москвой] *<1 нрзб>*, он был у Долохова. Долохов всё приготовил для похищения и для тайного ложного брака. Долохов со своим уменьем всё устроил.]

Pierre нашел его у цыган веселого, красивого, без сюртука, с цыганкой на коленах.

В низкой комнате пели и плясали, был крик и гам. Pierre подошел к Анатолю и вызвал его с собой.

— Я от Ростовых,— сказал Pierre.

Анатоль смутился и покраснел.

— Что, что? А?

Но Pierre был еще более смущен, чем Анатоль. Он не смотрел на него.

— Mon cher,— начал он,— vous savez que André Bolkonsky qui est mon ami est amoureux de cette jeune personne. Je suis l'ami de la maison et je voudrais connaitre vos intentions[2].

Pierre взглянул на Анатоля и был удивлен выражением волнения и смущения, показавшегося на лице Анатоля.

— Да что ты знаешь, что? — говорил Анатоль.— Ах, mon cher, [ты знай, que je suis fou d'elle[3]] всё это так глупо. Это меня Долохов сбил.

Я знаю то, что ты позволил себе написать вот это письмо и что оно попалось домашним.

Анатоль схватился за письмо и вырвал его.

— Что сделано, то сделано, вот и всё,— сказал он, багровея.

— Это хорошо, mais je suis autorisé à vous demander vos intentions[4].

— Ежели [ты хочешь] меня хотят заставить жениться,— заговорил[5] Анатоль, разрывая письмо,— то знай, что [никто] меня не заставят плясать по своей дудке, а она свободна, она мне сама сказала. И ежели она меня любит, [тем] tant pis pour Bolkonsky, voilà tout[6].

Pierre тяжело вздохнул. У него уже поднялось его метафизическое сомнение в возможности справедливости и несправедливости, этот его свинтившийся винт, и потом он вместе так завидовал и так презирал Анатоля, что он постарался быть особенно кротким с ним. «Он прав,— подумал он,— виновата она, а он прав».

— Все-таки прямо отвечай мне, я затем приехал,— шёпотом, не поднимая глаз, сказал Pierre,— что мне сказать им, намерен ты просить ее руки?

— [Нет,— крикнул] Разумеется, нет! — сказал Анатоль, тем более смелый, чем робче был Pierre.

Pierre встал и вышел в комнату, где были цыганы и гости. Pierr'a знали цыганы и знали его щедрость. Его стали величать. Илюшка проплясал, размахнулся и поднес ему гитару. Pierre положил ему денег и улыбнулся ему. [Он нарочно, именно потому что ему не хотелось этого, выпил] Илюшка не виноват был и отлично плясал. Pierre выпил вина, поданного ему, и побыл более часа в этой компании. «Он прав, она виновата»,— думал он. И с этими мыслями он приехал к Ростовым.

Соня встретила его в зале и [рассказала всё] рассказала ему, что письмо написано. Старый граф жаловался на то, что с девками без графини [нельзя] — беда, что он не понимает, что с Наташей.

---

[2] Мой милый, вы знаете, что Андрей Болконский, мой друг, влюблен в эту молодую девушку. Я друг семьи и желал бы знать ваши намерения.

[3] что я без ума от нее

[4] но мне поручено узнать у вас о ваших намерениях

[5] Слово *заговорил* написано по слову *закричал* (прим. составителя).

[6] тем хуже для Болконского, вот и всё.

— Как же, папà, не понимаете, я вам говорила,— сказала Соня, оглядываясь на Pierr'a.— Курагин делал предложение. Ну, она отказала, и расстроило ее.

— Да, да,— подтвердил Pierre.

Поговорив несколько времени, граф уехал в клуб. Наташа не выходила из комнаты и не плакала, а сидела, молча устремив прямо глаза, и не ела, не спала, не говорила. Соня умоляла Pierr'a пойти к ней и переговорить с нею.

Pierre пошел к Наташе. Она была бледна [заплакала] и дрожала. Pierr'у жалко стало ее. Она поглядела на него сухо и не улыбнулась. Pierre не знал, как и что начать говорить. Соня первая начала.

— Наташа, Петр Кириллович всё знает, он пришел сказать тебе...

Наташа оглянулась [радостным] любопытным взглядом на Pierr'a, как бы спрашивая, [друг он или враг Pierre вдруг начал] друг он или враг по отношению к Анатолю. Сам по себе он не существовал для нее. Pierre это чувствовал. Увидав этот переменившийся взгляд и ее похудевшее [красное] лицо, Pierre понял, что Наташа не виновата, и понял, что она больная, и начал говорить.

— Наталья Ильинична[7],— сказал он, опустив глаза,— я сейчас виделся с ним и говорил с ним.

— Так он не уехал? — радостно вскричала Наташа.

— Нет, [но уедет] но это всё равно для вас, потому что он не стоит вас. Он не может быть вашим мужем. И я знаю, вы не захотите сделать несчастие моего друга. Это была вспышка, минутное заблуждение, вы не могли любить дурного, ничтожного человека.

— [Ради бога, не говорите мне про него дурно. Он лучше всех вас] [Ради бога, не говорите мне про него дурно. Болконского не поминайте. Он лучше всех вас. Если бы вы] Ради бога, не говорите мне про него дурно.— Pierre перебил ее.

— Наталья Ильинична, подумайте, счастье ваше [ваш] и моего друга зависит от того, что вы решите. Еще не поздно. [Напишите ему.]

Наташа усмехнулась ему: «Разве это может быть, и разве я думаю о Болконском, как он хочет?»

— Наталья Ильинична, он ничтожный, дурной...

— Он лучше всех вас,— опять перебила Наташа.— Если бы вы не мешали нам. Ах, боже мой, что это, что это? Соня, за что? Уйдите,— и она зарыдала с таким отчаянием, с которым оплакивают люди только такое горе, которого они чувствуют сами себя причиной.

[Pierre ушел. Анатоль не вызывал его на дуэль] [Pierre ушел. Анатоль уехал в ту же ночь в Петербург. Как ни старались все участвовавшие скрывать всю эту историю, через неделю по всей Москве [говорили о ней] ходили по поводу ее [самые ⟨неправдивые?⟩] несправедливые толки. [Через две недели приехал князь Андрей и послал Pierr'a просить к себе.] Князь Андрей не приезжал, и великим постом Pierre узнал, что он получил письмо отказа, посланное Наташей, и поехал домой.] Pierre начал было говорить. Но она [зарыдала и закричала] закричала: — Уйдите, уйдите. И тут только Pierr'у [опять] всей душой стало жалко ее, и он понял, [что она только была больна, а что она все та же была прекрасная девушка] что она не виновата в том, что с ней сделали.

Pierre поехал в клуб. Никто ничего не знал, что делалось в душе Pierr'a и в доме Ростовых. Это Pierr'у было странно. Все сидели по своим местам, играли, приветствовали его. Лакей принес свечу на привычное место Pierr'a и доложил ему, что князь в столовой (лакей знал, кто знакомые Pierr'a). Но Pierre не читал, не говорил и даже не ужинал. В 3-м часу он вернулся домой.

— Где Анатолий Васильевич? — спросил он у швейцара.

---

[7] Здесь и далее в автографе ошибочно: *Н. А.* (прим. составителя).

— [Сейчас домой приехали. Pierre вошел к нему. Он лежал в постели и [читал] письмо перечитывал] [Дома] Не приезжали. Им письмо принесли от Ростовых. Оставили.

— Сказать мне, когда приедут.

— Слушаю-с.

До поздней ночи Pierre, не ложась, как лев в клетке, ходил в своей комнате. И он не видал, как прошло время до 3-го часа, когда камердинер пришел сказать, что Анатолий Васильевич приехали. Pierre остановился, чтоб перевести дыхание и пошел к нему. Анатоль, до половины раздетый, сидел на диване; лакей стаскивал с него сапоги, а он держал в руках письмо Наташи и, улыбаясь, читал его. Он был красен, как всегда после попойки, но тверд языком и ногами и только икал. «Да, он прав, он прав»,— думал Pierre, глядя на него. Pierre подошел и сел подле него.

— Вели ему уйти,— сказал он на лакея.

Лакей ушел.

— [Это опять] [Я бы желал знать, что тебе за дело до моих пассий, это, наконец, скучно,— сказал Анатоль, понимая по официальному тону, с каким вошел Pierre, что он всё о том же.] Я опять о том,— сказал Pierre.— Я бы желал знать...

— Зачем ты вмешиваешься? — сказал Анатоль,— я тебе не скажу и не покажу.

— Mon cher, j'en suis bien fâché,— сказал Pierre,— mais il faut que vous me donniez cette lettre, 1-е[8].— Он вырвал письмо, [смял] узнал почерк, скомкал, положил в рот и стал жевать. Анатоль хотел возражать, но не успел этого сделать и, заметив состояние Pierr'a, замолк. Pierre не дал ему договорить:

— Je ne serais pas violent, ne craignez rien[9].

Он встал и [и разбил] [и, опершись на стул, сломал его] [и взял ножницы] [и взял на столе подсвечник] взял на столе щипцы и стал судорожно гнуть и ломать их.

2-е, il faut que vous partiez cette nuit-même[10],— сказал он [всё], жуя бумагу и ломая.

— [Что же это [у себя]? Что с тобой? — говорил Анатоль] Mais, mon cher,— сказал Анатоль, но робко.

— Это очень неучтиво с моей стороны, но не отсюда, не из моего дома ты должен уехать, а из Москвы и нынче. Да, да. Третье, ты никогда ни слова не должен говорить о том, что было между тобой и этой несчастной... и не должен ей попадаться на глаза. [Это нужно, я тебя люблю, и ты добрый малый. Но ежели в тебе есть честь, то ты сделаешь. Дай честное слово.

— Это чёрт знает, что такое,— говорил Анатоль.

— Я тебя прошу,— повторил Pierre и хотел]

[Это нужно, я тебя люблю, и ты добрый малый. Но ежели в тебе есть честь, то ты сделаешь. Дай честное слово.

— Ежели так, то другое дело,— говорил Анатоль, не глядя на него.— По крайней мере, дай мне денег, чтоб уехать.

— Я тебя прошу,— повторил Pierre.— Тебе деньги нужны. Я принес тебе (он достал из кармана панталон). Я тебя прошу...]

Анатоль, нахмурясь и опустив глаза, молчал. И взглянул робко на Pierr'a.

— Ты добрый, честный малый,— вдруг [нежно] дрожащим голосом заговорил Pierre, отвечая на этот робкий взгляд.— Это дóлжно. И я не стану говорить почему, но это должно, мой милый.

---

[8] Я сожалею, мой милый, но необходимо, чтобы вы отдали мне это письмо. Это первое.

[9] Я не употреблю насилия, не бойтесь.

[10] Ты должен уехать в эту же ночь.

— Да отчего ты так? — сказал Анатоль.

— Отчего? — крикнул Pierre.— Отчего? Да кто она, девка, что ль? Это мерзость. Тебе забавляться, а тут несчастье дома. Я тебя прошу.

Не слова, но тон слов убедил Анатоля.— Он робко взглядывал на Pierr'a.

— Да, да,— сказал он.— Я говорил Долохову. Это он подбил меня. Он хотел увезти ее. Я ему говорил, что потом...

Мерзавец! — сказал Pierre.— Он...— и хотел что-то сказать еще и замолчал и начал сопеть носом, выкатившимися глазами уставясь на Анатоля. Анатоль знал его это состояние, знал его страшную физическую силу [То, что благородно и неблагородно я знаю сам,— сказал Анатоль,— и тебе меня учить нечего], отстранился от него [и кликнул лакея: — Je vous donne ma parole [11],— сказал он].

— Она прелесть, но ежели ты так говоришь, то кончено.

Pierre всё сопел, как надуваемая волынка, и молчал.

— Это так, ты прав,— говорил Анатоль.— N'en parlons plus [12]. И знай, mon cher, что ни для кого, кроме как для тебя, я не сделал бы этой жертвы. [Так,— сказал Pierre,— вели закладывать, посылай за лошадьми,— и обнял Анатоля и чуть не заплакал.] Я еду.

— Votre parole? [13] — сказал Pierre.

— Ma parole.

Pierre вышел из комнаты и прислал с лакеем денег Анатолю на дорогу.

На другой день Анатоль взял отпуск и уехал в Петербург.

6-я ЧАСТЬ

⟨I⟩

В 1812 году весною князь Андрей был в Турции, в армии [1], в которой после Прозоровского и Каменского был назначен тот же Кутузов. Князь Андрей, много изменившийся в своих взглядах на службу, отклонился от штабных должностей, которые ему предлагал Кутузов, и поступил во фронт, в пехотный полк, командиром баталиона. После первого дела он был произведен в полковники и назначен командующим полком. Он достиг того, чего желал — деятельности, т. е. избавления от сознания праздности и вместе с тем уединения. Несмотря на то, что [думал] считал себя много изменившимся с Аустерлицкого сражения и смерти жены, несмотря на то, что он и действительно много изменился с тех пор, он для других, для сослуживцев, подчиненных и даже начальников представлялся тем же гордым, неприступным человеком, как и прежде. Только с тою разницею, что гордость его теперь не была оскорбительна. Подчиненные и товарищи знали [почему-то], что он человек честный, храбрый, правдивый и чем-то особенный — презирающий всё одинаково. (Ничто не возбуждает презрение, как неровность и обратное — твердость.)

Он был в полку уединеннее не только, чем в своей деревне, но чем мог бы быть в монастыре. Только один Петр, его камердинер, был человек, знавший его прошедшее, его горести; все остальные были солдаты, офицеры — люди, которых нынче встретил, [завтра] с ними дерешься, но,

---

[11] Даю вам честное слово.

[12] Не будем об этом говорить.

[13] Даешь слово?

[1] На полях: [*Всё что он*] *Как он ехал, оживленный, возвратившимся к жизни.* ***За границу.*** *Как там тоска по родине. И ⟨пр?⟩.* [*Успехи по службе и презрение к этому успеху.*] *Он притворялся себе самому убитым, а был полон жизни. Он желает смерти, а княжна Марья будет жить у него и ходить за Коко. Он предложит себя не только к Б., но генералом с огромной карьерой впереди. Полно, предложить ли себя? Слишком много чести.*

По тексту запись: *Князь Андрей не служит. Он в Крыму.*

вероятно, никогда не увидишься, выйдя из полка. Они так смотрят на вас, и сам так смотришь на них — без соображения прошедшего и будущего и оттого особенно просто, дружелюбно, человечески. Притом полковой командир поставлен положением в уединение. Его любили, называли *наш князь*, любили не за то, что он был ровен, заботлив, храбр, но любили, главное, за то, что не стыдно было повиноваться ему. Он — наш князь — так очевидно стоял выше всех. Адъютант, квартирьер, баталионный командир, робея [докладывали] входили в его всегда изящно убранную, чистую палатку, где он, чистый, сухой, спокойный всегда, сидел в[2] обыкновенном кресле, и робели докладывать ему о нуждах полка, как бы боясь развлечь его от его важных чтений или соображений. А они не знали, что чтения — это был Шиллер, а размышления — мечты любви и семейной жизни. Он хорошо управлял полком и именно хорошо оттого, что главные силы его были направлены на мечты и он отдавал службе только ничтожное, небрежное, механическое внимание. Pas trop de zèle[3], оттого и хорошо было, как и всегда бывает.

1812 года 18 мая штаб его полка стоял в Олтенице на берегу Дуная. Военных действий не было. [На него 〈находила?〉] С утра [обойдя] осмотрев пришедший баталион, он поехал верхом кататься, как он всегда делал, проехав верст шесть, подъехал к молдаванской деревне Будшеты. Там был праздник. [Цыганы водили] Народ сытый, отпоенный вином, южный, все в новых посконных рубахах сидели празднично. Девки водили хороводы, на него посмотрели и продолжали играть. Напев веселый, мелодический, манерный. Одна цыганка с стоячими грудями из-под посконной белой рубахи, рябая и счастливая. Цыган корявый, нарядный малый. Они смутились военного, прижались. Он купил им [семячек] орехов — не взяли. Ему было весело. Он улыбался. Но грустно стало, что его боятся. Он был в том состоянии яркого наблюдения, которое было с ним на Аустерлицком поле, у Ростовых. Он въехал в лес. Молодая листва дубов. (Его парило, наконец и он распустился.) Тень и свет колыхали теплый, душистый воздух. Офицеры встретились и почтительно прошли. Он поехал в рощу. Офицеры думали, что он осматривает позицию, а он не знал, что с ним делается. Он отослал провожатого и поскорее уезжал, чтобы никто не видал его. Ему хотелось плакать.

«Есть же,— думал он,— истина и любовь и [где же она?] путь верный и счастливый в жизни. Где он, где он?» Он слез с лошади, сел на траву и заплакал. «Лес теплый, душистый. Цыганка с грудями[4]. Небо высокое, и сила жизни и любви, и Pierre, и человечество,— Наташа. Да, Наташа — я люблю ее сильнее всего в мире. Я люблю тишину, природу, мысль». И вдруг, прежде он не знал, что с собою сделать, заторопился, встал и поехал, веселый, счастливый, домой. Приехав домой, он сел и написал две бумаги, одну на почтовом, другую на простом листе. Одна было прошение об отставке, другая — письмо к графу Ростову, в котором он официально просил руки его дочери с вложенной запиской к Наташе[5] по-французски. «Я вас люблю, вы это знаете. Я не смел предложить вам до сих пор свое разбитое сердце, но любовь к вам так оживила его, что я чувствую в себе силы посвятить всю жизнь твоему счастью. [Напишите] [Я прошу] Я жду вашего ответа».

Как то, так и другое решение было самопожертвованием в [глазах] понятии князя Андрея. Бросить службу, когда он был представлен в генералы и ему предлагаемо было место дежурного генерала, когда его репутация в войске была прекрасна,— это было лишение и отречение от всего прошедшего, но тем более наслаждения доставляла ему мысль, что он бросает всё это — из-за чего? Из-за мысли, над которой, слушая ее от

---

[2] *в* написано по *на* (прим. составителя).
[3] Не слишком много усердия
[4] На полях: *Похоть к цыганке — гадость.*
[5] На полях: *Дуб.*

Pierr'а, он не раз смеялся, что война есть зло, в котором могут участвовать только тупые орудия, а не самостоятельно думающие люди. Для человечества он жертвовал этим. И всё это было в нем, но вдруг выпросилось наружу под впечатлением цыганки, покупавшей орехи, и теплой, колыхающейся тени листвы: да будет так. Другое пожертвование было вступление в дрязги родства жизни. Ежели бы она, как цыганка, была бы тут, это не было самопожертвование: увести ее и связать себя с ней навеки; но теперь его ужасало будущее, но он твердо решил пройти через всё. Через пошлость ее родных, через неудовольствие своего отца. Она представлялась ему плачущей и кокетничающей с [другим] Pierr'ом. «Нет, я не могу, не могу жить без нее». И цыганка в посконной рубахе связывалась со всеми этими решеньями[6].

У него обедали всегда несколько офицеров. Он считал нужным образовывать их. Болконского маленький двор.

Почтительно сели офицеры, замечая хороший дух *нашего князя.* Разговор о войне с французами. После обеда пришли пакеты. О ремонте фур. О производствах.

— Поздравляю вас, господа.

— Это вам обязаны, ваше сиятельство.

— Ну, а вам, князь?

— В генералы и назначение.

— Что же вы нас оставите? — стараясь быть грустным, сказал баталионный командир.

— Я всё равно бы оставил,— сказал князь Андрей.— Потрудитесь отправить конверт. Извините.— Он стал читать письмо. [Это было письмо Наташи[7]. Он побледнел, прочтя это письмо, но продержал офицеров до вечера. Всю ночь он ходил по двору, глядя на комету, которая как будто разметалась и уперлась на одном месте, подняв кверху хвост. Князь Андрей с Аустерлицкого поля выучился смотреть на далекое небо, понимать его и находить в нем успокоение. «Да, и это было заблуждение,— думал он,— как и прежние. Но что же правда, где же то, чего нужно моей душе, то, про что говорят мне эти звезды и эта остановившаяся, влепившаяся комета?»]

В милых каракулях этих рассказывалась неосторожно история падения Сперанского и всех планов конституции и писалось о предстоящей войне 1812 года.

«Наполеон подходил к Неману, война неизбежна. Кто будет начальствовать. Но теперь не шутка. Не возьмут же Москву. Я не могу представить себе, что будет. Вы счастливы, что служите. А я ничего. Ростовых не видел, они в деревне. Я надеюсь еще».

Письмо это взволновало князя Андрея так, что он задохнулся. Неужели он не примет участия в этом деле, решающем участь отечества, и с кем, с этим маленьким поручиком, когда и он — уж что-нибудь. Нет, он станет выше этого. У него есть обязанности в отношении себя. Он поехал в Букерешт и на бале застал Кутузова, завязывающего башмачок молдаванке. Холодно распростился и поехал в отпуск, в отставку не выпускали[8].

⟨II⟩

Граф был в отчаянии, он выписал жену, и оба ходили за Наташей, как за больной. Доктора ездили к ней, но прямо говорили, что болезнь нравственная. Наташа мало ела, мало спала и, ничего не делая, сидела на одном месте, изредка говоря ничтожные вещи. Когда ей напоминали

---

[6] На полях: *«Нет, дуб и груди цыганки солгали,— думает князь Андрей.— Это не то было — не то. Но что же?» — Он взглянул на небо и увидал комету.*

[7] На полях: *Остановка кометы возбуждает к деятельности.*

[8] Так на более раннем этапе заканчивалась первая половина романа, т. е. текст до начала войны 1812 года. Затем следовал конспект продолжения (см. с. 37; прим. составителя).

о князе Андрее или Анатоле, она сердито плакала. Больше всех она любила быть с братом Петей и с ним иногда смеялась. Другой человек, с которым она оживлялась иногда, был Pierre. Pierre целые дни проводил у Ростовых и [так] с нежностью и деликатностью, которые одна Наташа вполне ценила, обращался с ней. [Он иногда смешил ее, но]

На страстной неделе Наташа говела, но она не хотела говеть со всеми в приходской церкви. Она с няней отпросилась говеть особенно в известной няне особенной церкви Успенья на Плоту. Там особенный был священник, очень строгой и высокой жизни, как говорила няня. Няня была верный человек, и потому Наташу пустили с нею. Каждую ночь няня в 3 часа со свечой будила разоспавшую Наташу. Она [зябла] испуганно — не проспала ли — вскакивала, озябшая, умывалась, одевалась и, повязавшись платком, [нужно было] — «дух смиренномудрия» вспоминала каждый раз Наташа, узлом завязывая вокруг себя ковровый платок. И в одну лошадку, на пошевнях, они ехали к заутрене, иногда шли пешком по темным улицам и обледенелым тротуарам. В Успеньи на Плоту, где уже дьячки, и священники, и прихожане признали Наташу, она становилась перед иконой божьей матери, вделанной в зад клироса, освещенной ярким светом маленьких свеч, и, вглядываясь в кривое, черное, но небесно-кроткое и спокойное лицо божьей матери, молилась за себя, за свои грехи, за свои злодейства, за свою будущую жизнь, за врагов своих и за весь род человеческий и особенно за человека, которому она сделала жестокое зло.

Иногда к иконе, перед которой стояла Наташа и которая пользовалась большою верою прихожан, проталкивались, несмотря на сердитую защиту няни, не имевшей смиренномудрия Наташи, проталкивались мещане, мужики [и бабы], низкого сословия народ и, не признавая Наташу за барышню, били ее по плечу, покрытому ковровым платком, свечой и шепли: «матушка» [или «празднику»], и Наташа радостно, смиренно своими тонкими похудевшими пальцами бережно устанавливала всё отлеплявшуюся свечу и скромно, как дворовые, прятала свои без перчаток руки под ковровый платок. Когда [молились] читали Часы, Наташа старательно вслушивалась 〈в〉 молитвы и старалась душою следить за ними. Когда она не понимала, что бывало чаще, когда речь шла о лядвиях и поругании, она что-то поддумывала под эти слова, и душа ее в эти минуты еще больше исполнялась умилением перед своею мерзостью и перед благостью неведомого бога и его святых. Когда дьякон, знакомый ей, как друг близкий, дьякон с русыми волосами, которые он, всякий раз далеко отставляя большой палец, выправлял из-под ризы, когда дьякон читал «миром господу помолимся», Наташа радовалась, что она миром, со всеми одинаково, молится, и радостно крестилась и кланялась и следила за каждым словом о плавающих и путешествующих (тут она вспоминала ясно, спокойно всякий раз о князе Андрее, только как о человеке, и молилась за него). О любящих и ненавидящих нас — тут она вспоминала о своих домашних — любящих, и об Анатоле — ненавидящих нас. [Она молилась] Ей особенно радостно было молиться и за него. Она знала теперь, что он был враг ее. И постоянно ей всё недоставало врагов, чтобы молиться за них. Она причисляла к ним всех кредиторов и всех тех, которые имели дела с ее отцом. Потом, когда молились за царскую фамилию, она всякий раз преодолевала в себе чувство сомнения: зачем так много молиться за них особенно, и низко кланялась и крестилась, говоря себе, что это гордость и что и они люди. Так же усердно молилась она и за синод, говоря себе, что она также любит и жалеет священствующий правительствующий синод. [Но когда отворялись царские двери и вокруг нее] Когда читали Евангелие, она радовалась и ликовала, произнося предшествующие чтению слова: «слава тебе, господи», и считала себя счастливою, что она слышит эти слова, имеющие каждое для нее особое значение. Но когда отворялись царские двери и вокруг нее шептали набожно: «Милосердия двери», или

когда выходил священник с дарами, или слышны были таинственные возгласы священника за царскими дверями и читали «Верую», Наташа наклоняла голову и радостно ужасалась перед величием и непостижимостью бога, и слезы лились по ее похудевшим щекам. Она не пропускала ни заутрени, ни часов, ни всенощной. Она падала ниц при словах: «свет Христов просвещает всех» и с ужасом думала о том святотатце, который бы выглянул в это время и увидал, что делается над их головами. Она помногу раз в день просила «бога, владыку живота ее» отнять у нее дух праздности... и дать ей дух... Она с ужасом следила за происходившими на ее глазах страданиями Христа. Страшная неделя, как говорила няня, страсти, плащаница, черные ризы — всё это смутно, неясно отражалось в душе Наташи, но одно было ей ясно: «да будет воля твоя». «Господи, возьми меня»,— говорила она со слезами, когда путалась во всей сложности этих радостных впечатлений. [В середу она ввечеру у всех в доме просила прощения. Особенно плакала она, прося прощения у Сони. Она теперь в первый раз призналась ей, что она была несправедлива, что Соня спасла ее, что она никогда не любила Анатоля, а что она всегда и на всю жизнь будет любить князя Андрея, но никогда не будет его женой.] В середу она попросила мать пригласить Pierr'a, и в этот же день она, запершись одна в комнате, написала письмо князю Андрею. После нескольких брульонов она остановилась на следующем: «Приготовляясь к высокому таинству исповеди и причащения, мне нужно просить у вас прощения за зло, которое я сделала вам. Я обещала никого не любить, кроме вас, но я так порочна была, что я полюбила другого и обманула вас. Ради бога, для этого дня, простите меня и забудьте недостойную вас». Это письмо она передала Pierr'y и попросила его передать князю Андрею, который, она знала, был в Москве. [Pierre возвратился вечером с ответом князя Андрея.

— Ну что? — спросила Наташа, красная и дрожащая.— Простил?

— О да,— отвечал Pierre,— но...

— Нет, ничего,— закричала Наташа,— я никогда не буду его женою. Вы знаете, что я люблю и любила его одного, но я недостойна его.

Pierre ничего не сказал, потому что он не имел ничего утешительного сказать Наташе. Князь Андрей, которого он нашел твердым, веселым и спокойным, в первый раз в жизни вышел из себя и с трясущимися губами сказал Pierr'y:

— Ежели ты хочешь быть моим другом, никогда, никогда, не говори мне о ней. Я спокоен и счастлив и ей не желаю зла. Только, ради нашей дружбы, никогда, никогда не упоминай о ней.]

Она отпросилась у матери, удивлявшейся и боявшейся за религиозную страстность дочери, исповедоваться не дома, а в церкви у отца Анисима в Успеньи на Плоту. Там она за ширмочками у клироса и исповедовалась между кучером и купцом и его женою. Священник Анисим, усталый от тяжелой службы, ласково и небрежно взглянул на Наташу, покрыл ее эпитрахилью и грустно выслушал ее с рыданиями вырвавшиеся признания. Он отпустил ее с коротким и простым увещанием не грешить, которое Наташа поняла так, как будто каждое слово это выходило с неба. Она пришла домой пешком и в первый раз со дня театра спокойная и счастливая заснула.

На другой день она счастливее пришла после причастия, и с тех пор графиня с радостью заметила, что Наташа стала оживать. Она принимала участие в делах жизни, пела иногда, много читала из книг, которые ей привозил Pierre, сделавшийся домашним человеком в доме Ростовых, но уже никогда к ней не возвращалась прежняя живость и веселость. Она постоянно перед всеми имела вид и тон виноватой, для которой всё было слишком хорошо по ее преступлениям[1].

[1] К тексту: *Граф был в отчаянии* (с. 570) ∾ *по ее преступлениям.*— см. Варианты, № 29.

История Наташи с Анатолем сильно поразила Pierr'a. Кроме своей любви к Андрею, кроме больше чем дружбы к Наташе, кроме того странного стечения обстоятельств, которые заставляли его принимать постоянно участие в судьбе Наташи, и его участие в его сватовстве, его поразила мысль, что он был виною этого столкновения, что он не предвидел того, что сделает Анатоль. Но мог ли он это предвидеть? В его понятии Наташа была такое высокое, неземное существо, отдавшее свою любовь лучшему человеку в мире — князю Андрею, и Анатоль, такое глупое, грубое, лживое животное[2].

Несколько дней после происшествия Pierre не был у Ростовых[3] и усердно ездил в свет и особенно в сплетничье, т. е. самое большое общество. Там действительно с радостным сожалением говорили про Наташу, и Pierre со всей силой своего умения удивлялся тому, как могли выдумывать нелепости, не имевшие никакого основания, и спокойно рассказывал, как его beau-frère[4] влюбился в Ростову и как ему было отказано. Когда он в первый раз приехал к Ростовым, он особенно был весел с родными и с Наташей. Он не замечал как будто заплаканных глаз и исхудавшего лица и остался обедать. За обедом он во всеуслышание, не глядя на Наташу, рассказал, как по всей Москве говорят о том, что Анатоль делал предложение Наташе и как она отказала ему, а Анатоль, убитый горем, уехал. Он не заметил, ни как пошла при этом кровь носом у Наташи, и она вышла из-за стола, ни как Соня умиленно, набожно за это смотрела на него. Он остался и вечер и приехал на другой день. И каждый день стал ездить к Ростовым.

С Наташей он был как прежде весел и шутлив, но с особенным оттенком робкой почтительности, которая бывает у нежных людей перед несчастием. Наташа часто улыбалась ему сквозь слезы, которые, хотя глаза были сухи, как будто всегда были в ее глазах. Соня после Nicolas теперь больше всех в мире любила Pierr'a за добро, которое он делал ее другу, и потихоньку говорила ему это.

Он ничего не говорил с Наташей ни о Анатоле, ни о князе Андрее, он только много говорил с ней и стал привозить ей книги, между прочим любимую свою «Nouvelle Héloïse», которую Наташа прочла с увлечением и стала судить о ней, говоря, что она не понимает, как Албер мог любить Héloïse.

— [Я бы не мог] Я бы мог,— сказал Pierre (Наташе странно показалось, что Pierre говорит про себя, как про мужчину, который тоже мог любить и страдать. Он и для нее не имел пола).— Я бы не мог,— сказал Pierre,— [но мы раз спорили с Андреем Болконским, и он мне доказывал] но мы раз говорили с одним моим другом, и решили, что любовь женщины очищает всё прошедшее, что прошедшее не его...— Он смотрел на Наташу через очки.— Соня нарочно отошла. Она ждала объяснения и желала его.

Наташа вдруг заплакала.

— Петр Кириллович[5],— сказала она.— Зачем нам скрываться? Я знаю, про что вы говорите. Этого никогда, никогда не будет... не от него, а от меня. Я слишком его любила, чтобы [захотеть] заставить его страдать.

Одно скажите мне, любили вы...— он не знал, как назвать Анатоля, и краснел при одной мысли о нем,— любили вы этого дурного человека...

— Да,— сказала Наташа [но никогда],— и не называйте его дурным, вы меня оскорбляете. Но я ничего, ничего не знаю. Теперь,— она опять заплакала,— ничего не понимаю.

— Не будем говорить, мой друг,— сказал Pierre.

---

[2] См. Варианты, № 30.

[3] На полях: *Pierre спрашивает ее как confesseur* 〈духовник〉, *любит ли она Анатоля? Она отвечает: не знаю, не спрашивайте и убегает.*

[4] шурин

[5] В автографе ошибочно: *Петр Ильич* (прим. составителя).

Так странен вдруг для Наташи показался этот его, кроткий, нежный нянюшкин тон с ней.

— Не будем говорить, мой друг, но об одном прошу вас, считайте меня своим другом и, ежели вам нужна помощь, совет, просто нужно будет излить свою душу кому-нибудь — не теперь, а когда у вас ясно будет на душе,— вспомните обо мне. [Знайте, что, ежели бы я был свободен, я бы за счастье счел предложить] Он поцеловал ее руку и, достав платок из кармана фрака, стал протирать очки. Наташа была счастлива этой дружбой и приняла ее. Ей и в мысль не приходило, что Pierre тоже мужчина, что дружба эта могла перейти в другое. Это могло бы быть, но не с этим милым Pierr'ом. Она верно это чувствовала за себя, но не знала, что делалось в душе Pierr'а. Она оттого так чувствовала это, что та нравственная преграда между мужчиной и женщиной, отсутствие которой она так болезненно чувствовала с Анатолем, у Pierr'а была, казалось, непреодолимой. Pierre ездил каждый день к Ростовым, особенно последнее время, [когда его жена уехала, уехали в деревню и самые приятные для него знакомые в Москве, князь Болконский с дочерью.— Так продолжалось до самой весны, когда на страстной неделе он получил от Наташи письмо перед исповедью, и когда приехал князь Андрей в Москву] [Так продолжалось до самой весны, когда на страстной неделе он получил от Наташи письмо, написанное перед исповедью, с просьбой князю Андрею.

Князь Андрей приехал не к Pierr'у, а остановился в гостинице [Он послал к Pierr'у и поехал] и написал записку Pierr'у, прося его приехать к себе.] и оставил клуб и цыган.

Князь Андрей приехал не к Pierr'у, а остановился в гостинице [6] и написал записку Pierr'у, прося его приехать к себе.

Pierre нашел его таким же, как всегда. [Но у него был новый рубец на лице — рана в Турции] [в генеральском мундире] Он был несколько бледен и нахмурен. Он ходил взад и вперед по комнате, ожидая видимо. Он слабо улыбнулся, увидав Pierr'а, одним ртом. И поскорее перебил Pierr'а, чтобы не дать ему говорить шуточно и легко, когда предстояло совсем не легкое и не шуточное объяснение. Он провел его в [кабинет] заднюю комнату и затворил дверь.

— Я бы не заехал сюда (он так назвал Москву), я еду [в Свенцианы, к армии] к Кутузову, в турецкую армию, но [мне нужны объяснения здесь] мне нужно передать тебе объяснения здесь на это письмо.— Он показал Pierr'у каракули Наташи на сером клочке бумаги (эти каракули дошли по назначению). Было написано: «Вы мне сказали, что я свободна и чтоб написала вам, когда я полюблю. Я полюбила другого. Простите меня. Н. Ростова».

Видно было, что письмо это написано было в минуту нравственной болезни, и лаконическая грубость его была [тем тяжелее и тем] тем извинительнее, но тем тяжелее.

— Прости меня, ежели я тебя утруждаю, но мне самому трудно,— голос его дрогнул.— И как будто рассердившись на эту слабость, он решительно и звонко, неприятно продолжал.— Я получил отказ от графини Ростовой и до меня дошли слухи о искании ее руки твоим шурином или тому подобное. Правда ли это? — Он потер себе лоб рукою.— Вот ее письма и портрет.

Он достал его со стола и, передавая Pierr'у, взглянул на него. Губа его задрожала, когда он передавал его.

— Отдай графине...

---

[6] На полях: *Князь Андрей приехал из [Петербурга] [Крыма] Турции. Он был уже в мундире. Он поступил на службу. Философские, государственные занятия были связаны с ней. Теперь он не мог ни ее видеть, ни этих занятий. Он был уже у отца. ⟨Видел?⟩, как он мучает. «Еду на службу [где ничего не будет] [в Турцию, где ничего не будет], рядовым офицером буду служить».*

— Да... Нет...— сказал Pierre.— Вы не спокойны, André, я не могу говорить теперь с вами, у меня есть письмо к вам, вот оно, но я должен сказать вам прежде...

— Ах, я очень спокоен, позволь мне прочесть письмо.— Он сел, прочел и холодно, зло, неприятно, как его отец, усмехнулся.

— Я не знал, что это зашло так далеко, и г-н Анатоль Курагин не удостоил предложить своей руки графине Ростовой,— сказал Андрей. Он фыркнул носом несколько раз.— Ну, так, так,— сказал.— Передай графине Ростовой[7], что я очень благодарю ее за хорошее воспоминание обо мне, что вполне разделяю ее чувства и желаю всего лучшего. Это неучтиво, но ты, милый друг, извини меня, я не сумею напи...[8] — он не договорил, [отвернулся.— Ах да, еще дружбу. Где теперь находится... г-н... Где этот мерзавец? — вдруг закричал он.— Ты понимаешь одно, что я не могу жить, пока он не задушен моими руками... Нет.— Андрей упал в кресла и зарыдал, как женщина в истерике.] отвернулся.

— André, разве ты не можешь понять это увлечение девушки, это безумство. Но это такое прелестное, честное существо...

Князь Андрей перебил его. Он усмехнулся зло.

— Да, опять просить ее руки? Простить, быть великодушным и т. п. Да, это очень благородно, но я не способен идти sur les brisées de...[9]. Ах да, еще дружбу. Где теперь находится... г-н... Где этот... ну...— и страшный свет блеснул в глазах князя Андрея.

— Уйди, Pierre, уйди, я умоляю тебя.

Pierre послушался его и ушел, ему слишком тяжело было, и он видел, что не может помочь. Он вышел и велел ехать к Ростовым, сам не зная зачем, но он хотел только увидать Наташу, ничего не сказать ей и вернуться, как будто вид ее мог научить его, что делать. Но он не застал Ростовых и вернулся к князю Андрею.

Болконский, совершенно спокойный, сидел за столом и один завтракал.

— Ну, садись, теперь поговорим толком,— сказал он.

Но, сам того не замечая, князь Андрей не мог говорить ни о чем и не давал говорить Pierr'у. На всё, про что только они ни начинали говорить, у Андрея было короткое, насмешливое, безнадежное словечко, которое для Pierr'а, столь близкого к такому состоянию, [закрывало всякой] уничтожало весь интерес жизни и показывало во всей наготе этот страшный, нераспутываемый узел жизни. Такие слова и мысли могли выработаться только [долго ядовитом] в пропитанной ядом отчаяния душе, хотя они иногда были даже смешны. [Они заговорили о Сперанском, войне и отъезде государя.— Не бойся, ничего не будет,— сказал Андрей,— другой плот на Немане построим и скажем que nous sommes de grands hommes[10], и всё кончится...— Когда Pierre рассказал ему значение числа звериного 666, то Андрей заметил, что Петр Кириллович очень хорошо делает, что так учтив, называя его l'empereur Napoléon.

О главнокомандующем он сказал: — Бенигсен лучше всех, с ним приятные воспоминания у государя, вместе шалили и шутили над Павлом. Когда Pierre сказал, что заметно патриотическое настроение,— да, как в 7-м году, особенный патриотизм выказали те, которые собирали провиант и сукно.]

Заговорив об отце, он сказал:

— Что делать, он любит, зато и мучает княжну Марью, так видно надо — пауку заесть муху, а отцу заесть жизнь княжны Марьи. И она довольна. Она съест бога своего с вином и хлебом, сколько б не унижал и не мучал отец. Так надо, видно.

---

[7] В автографе ошибочно: *графине Толстой* (прим. составителя).

[8] В автографе сначала было: *написать!* — затем зачеркнуто окончание слова (прим. составителя).

[9] по следам...

[10] что мы великие люди

О себе он говорил тоже.

— Стоило мне только надеть генеральские эполеты, и все воображают, что я генерал и что-нибудь понимаю, а я никуда не гожусь, другие все-таки еще хуже меня. Да, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles [11]. Так я буду иметь удовольствие встретить твоего ‹милого?› beau-frèr'a в Вильно? Это хорошо. И твою милую супругу. Mon cher, ты в выгоде, право, хорошая жена жила бы с тобою. Это еще хуже.— Ну, так, и прощай. Или ты посидишь? — сказал он, вставая, и пошел одеваться. Pierre ничего не мог [понять] придумать. Ему было едва ли не тяжеле своего друга. Он хотя никак не ждал, чтоб князь Андрей так больно принял это дело, но, увидав, как он его принял, Pierre не удивлялся.

«Однако я виноват, и во всем, во всем, я не должен этого так оставить»,— думал он, вспоминая, как легким представлял он себе примирение и как теперь оно казалось ему невозможно. «Однако, надо сделать всё, что я хотел». Он вспомнил приготовленную наперед речь и пошел говорить ее князю Андрею, как бы она ни была некстати. Он вошел к князю Андрею. Болконский сидел и читал какое-то письмо, лакей укладывался на полу. Болконский сердито посмотрел на Pierr'a. Но Pierre решительно начал то, что хотел.

— Помните вы наш спор в Петербурге — сказал он,— помните о «Nouvelle Héloïse»? [12]

— Помню,— поспешно ответил князь Андрей.— Я говорил, что падшую женщину надо простить, я говорил это, но я не говорил, что я могу простить. Я не могу.

— André,— сказал Pierre.

Князь Андрей перебил его.— Ежели ты хочешь быть моим другом, не говори со мной никогда про эту... про всё это. Ну, прощай. Готово? — крикнул он на лакея.

— Никак нет-с.

— А я тебе сказал, чтоб было готово, а я тебе сказал, мерзавец [и он ударил лакея, чего с ним никогда не бывало]. Вон.

— Прощай, Pierre, прости меня,— тотчас же после этого обратился он к Безухову, обнял, поцеловал.— Прости [ежели я дурно с тобой], прости...— И он выпроводил Pierr'a до передней.

Больше Pierre не видал его и не говорил Ростовым о своем свидании с ним [13].

Ростовы [в это лето] в эту весну из-за неулаживавшейся продажи дома всё думали ехать и не уезжали из Москвы. Pierre тоже жил в Москве, каждый день бывал у Ростовых.

‹III›

«Monsieur mon frère! — писал весною 1812 года император Наполеон императору Александру.— Le comte de Norbonne m'a reçois la lettre dont Votre Majesté l'a chargé pour moi. J'y ai vu avec plaisir qu'elle se rappelle de Tilsitt et d'Erfurt... [1].

«Monsieur mon frère! — [писал памятного 12 июня, накануне которого войска Наполеона перешли Неман и вступили на русскую землю] писал 12 июня, после того как войска Наполеона перешли Неман.— J'ai appris que malgré la loyauté... Si Votre Majesté n'est pas intentionnée de verser le sang de nos peuples pour un mésentendu de se genre... Il dépend encore de

---

[11] всё к лучшему в этом лучшем из миров

[12] На полях: *Это было в 11 году.*

[13] На полях: *Светло христово воскресенье.*

[1] Государь, брат мой! Граф де-Норбонн передал мне письмо вашего величества. Вижу с удовольствием, что вашему величеству памятны Тильзит и Эрфурт...

Votre Majesté d'en éviter à l'humanité les calamités d'une nouvelle guerre.

Alexandre[2]

Таковы были два последние письма, два последние выражения отношений между этими двумя лицами[3].

Но видно, несмотря на два раза вызываемые Наполеоном в письме воспоминания Тильзита и Эрфурта, несмотря на подразумеваемое обещание, что он останется таким же обворожительным, каким он был в Тильзите и Эрфурте, несмотря на это, желание сквозь все сложные международные и дипломатические тонкости отношений проникнуть к самому сердцу [к личности] к личным дорогим воспоминаниям о дружбе с Александром (как прежде любимая женщина [хочет] [напоминает] говорит, усмиряя ожесточенного охладевшего любовника: «а помнишь первую минуту признания, а помнишь минуту самозабвения — эту ночь при лунном свете»), несмотря на всё это, видно то, что имело совершиться должно было совершиться, и Monsieur mon frère, Sc. Majesté l'Empereur Napoléon [était] quoique véritablement intentionnée de ne pas verser le sang de nos peuples et [de ne pas] d'eviter à l'humanité les calamités d'une nouvelle guerre вступил в пределы России, т. е. должен был поступить [как должна двигаться стоящая на колене лошадь], как он поступил, так же неизбежно, как падает с ветки созревшее яблоко.

Обыкновенно думают, что чем больше власти, тем больше свободы. Историки, описывая мировые события, говорят, что такое событие, то событие произошло от воли человека — Кесаря, Наполеона, Бисмарка и т. п., хотя сказать, что в России погибло 100 000 людей, убивая один другого, потому что так хотел один или два человека, так же бессмысленно, как сказать, что [гора] подкопанная гора в миллион пудов упала потому, что последний работник Иван ударил под нее лопатой. Наполеон [приведен был] не привел в Россию Европы, но люди Европы привели его за собой, заставив его управлять собою. Для того, чтобы убедиться в этом, [стоит вспомнить, что приписывают этому человеку ни более ни менее как приказ 100 000 〈людям?〉 убивать и умирать] стоит просто подумать о том, что приписывают этому человеку власть заставить 100 000 людей убивать друг друга и умирать. Понятно, что может быть зоологический человеческий закон, подобный зоологическому закону пчел, заставляющему их убивать друг друга и самцов убивать один другого, и даже история подтверждает существование этого закона, [но непонятно] но чтобы один человек велел убивать друг друга миллионам — это не имеет смысла, потому что непонятно и невозможно. Отчего мы не говорим, что Аттила повел свои полчища, а уже понимаем, что народы пошли с востока на запад, [но не понимаем этого в новой истории. А между прочим это ясно. Если [события] действия произвольные] в новой истории мы еще не хотим понимать этого. Нам всё еще кажется, что пруссаки побили австрийцев, потому что Бисмарк очень остроумен и ловок, тогда как всё остроумие Бисмарка только подделывалось под историческое неизбежно имевшее совершиться событие, [как подделывается целое сновидение под] этот обман наш происходит от двух причин: во-первых, от психологического свойства подделываний après coup[4] умственных причин тому, что неизбежно совершается, как мы подделываем сно-

---

[2] Государь, брат мой! До меня дошло, что, несмотря на прямодушие... Ежели ваше величество не расположены проливать кровь наших подданных из-за подобного недоразумения... Соглашение между нами будет возможно.

Ваше величество еще имеет возможность избавить человечество от бедствий новой войны.

Александр

[3] На полях этого листа помета Толстого: *Богданович т. Приложения, стр. 419*, т. е. указание источника, из которого надо переписать полный текст писем (прим. составителя).

[4] задним числом

видение в прошедшем под факт, совершившийся в минуту пробуждения, и, во-вторых, по закону совпадения бесчисленного количества причин в каждом стихийном событии; по тому закону, по которому каждая муха может справедливо считать себя центром и свои потребности целью всего мироздания, по тому закону, по которому человеку кажется, что лисица хвостом обманывает собак, а он только работает рычагом для поворота. Фатализм в истории [есть] столь разумен, как неразумен в отдельном человеке. Недаром слово Соломона — сердце царево в руце божией — сделалось пословицей. Царь есть раб истории, стихийного события, и у него произвола менее, чем у других людей. Чем больше власти, чем больше связи с другими людьми, тем меньше произвола. Есть действия непроизвольные, относящиеся к стихийной жизни человека, и есть действия произвольные, что бы ни говорили физиологи и как бы точно не исследовали нервы.— Один неотразимый аргумент против них есть тот, что сейчас я могу поднять и могу не поднять руку. Я могу продолжать писать и остановиться. Это несомненно. Но могу ли я в море знать, что я скажу, могу ли я на войне знать, что я сделаю, могу ли в столкновении ⟨с⟩ каким бы то ни было с другим человеком, в таком действии, где вообще субъект моей деятельности не я сам, могу ли я знать, что я сделаю? Нет, не могу. Там действую я по стихийным, непроизвольным законам человечества. И чем больше власти, чем больше связи с другими людьми, тем меньше свободы. [В этом и состоит всё недоразумение.] Действуя над самим собой, ученый, художник, мыслитель — свободен, действуя над людьми, полководец, царь, министр, муж, отец не свободен, подлежит стихийным законам и, подчиняясь им, с помощью воображения и ума бессознательно подделывает свою свободу и из бесчисленных совпадающих причин каждого стихийного явления выбирает те, которые ему кажутся оправдывающими его свободу. В этом состоит всё недоразумение. Monsieur mon frère l'Empereur Napoléon, несмотря на то, что ему, более чем когда-нибудь, теперь казалось, что от него зависело verser или не verser le sang des ses peuples[5], никогда, более как теперь, не подлежал тем неизбежным законам, которые заставляли его (полагая, что он действует по своему произволу) делать то, что должно было совершиться. Он не мог остановиться, не мог поступать иначе [иначе, он даже не делал ничего, делали сложные, не разбираемые исторические причины]. Бесчисленные сложные исторические причины вели к тому, что должно было совершиться, а он был их вывеской, он, как [белка] лошадь в колесе, думал, что он бежит вперед для своих целей, двигая механизм, приделанный [к колесу белки] к колесу лошади. [Войска громадные и [сила] власть громадная, собранные в один центр (не потому собранная, что он собрал, а потому что она [сложилась] собралась сама и должна была иметь центр, который случайно был он), собраны по тем же стихийным, непроизвольным причинам] Войска, громадные и собранные в один центр, были собраны по стихийным, непроизвольным причинам. Этой силе надо было деятельность[6]. Первым предлогом, естественно представлявшимся, была Россия, и по закону совпадения причин подделались сами собою 1000 мелких причин, укоры за несоблюдение континентальной системы, герцог Олденбургской, минута желчного настроения во время выхода, когда Наполеон, сам не зная что, наговорил Куракину, русскому послу в Париже. Потом двинулись войска в Пруссию, чтоб поддержать угрозу. Чтобы угроза была не шуточная, [сделаны] нужно было сделать и сериозные приготовления. Делая сериозные приготовления, тот, кто их делал, увлекался ими. Когда много их было сделано, был fausse honte[7], чтобы они не пропали даром,— была потребность приложить их

---

[5] Проливать или не проливать кровь своих народов
[6] Так в автографе.
[7] ложный стыд

к делу. Были переговоры, которые, по взгляду современников, [были с искренним желанием направлены] были делаемы с искренним желанием, направлены к достижению мира и которые только уязвляли самолюбие той и другой стороны и делали неизбежным столкновения. Не воля Александра, не воля Наполеона, еще менее воля народов, еще менее континентальная система, герцог Олденбургский или интриги Англии, но бесчисленное количество совпадающих обстоятельств, из которых каждое могло быть названо причиной, вело к тому, что должно было быть, [к войне, крови, и разрушению, и возникновению новых условий жизни] к войне, крови, к тому, что противно самому человечеству и потому не может происходить по его воле. Когда созрело яблоко и падает, отчего оно падает? Оттого ли, что тяготеет к земле, оттого ли, что засыхает стержень, оттого ли что сушится солнцем, что тяжелеет, что ветер трясет его, оттого ли, что стоящему внизу мальчику хочется съесть его? Ничто не причина. Всё это только совпадение тех условий, при которых совершается жизненное [органическое явление] органическое стихийное событие. И тот ботаник, который найдет, что яблоко падает оттого, что клетчатка... и т. п., будет так же прав и так же неправ, как и ребенок, стоящий внизу, скажет, что оно упало оттого, что ему хотелось съесть его. [Как неправ] Как прав и неправ будет тот, который скажет, что Наполеон пошел в Москву, потому что он захотел этого и оттого погиб, что Александр захотел этого. В исторических событиях великие люди суть ярлыки, дающие наименование событию, но которое, так же как ярлыки, менее всего имеют связи с самым событием.

⟨IV⟩

11 июня в 11 часов утра[1] польский полковник Поговский, стоявший с полком улан у Немана[2], увидал скачущую прямо к нему коляску на шести взмыленных [рысаках] лошадях, сопутствуемую императорской свитой. В коляске сидел император Наполеон в своей шляпе и мундире старой гвардии [и Бертье] и говорил с Бертье. Поговский никогда не видал императора [и был пленен его видом в нынешнее утро], но тотчас узнал его и собрал свою команду для отдания чести. Наполеон находился в это утро в том же состоянии, в котором он был в памятное утро Аустерлицкого сражения. Он был в том утреннем, свежем, ясном [состоянии, в котором гимнаст прыгает на два вершка выше обыкновенного прыжка, пьянист сделает чисто пассаж, никогда не удающийся, ездок сядет на опасную лошадь и без труда заставит ее покориться, мыслитель сразу изложит свою мысль и увидит свой труд ясно во всем объеме — состоянии, в котором все трудное] состоянии, в котором всё трудное делается естественно легким и именно потому, что человек верит в себя, что он всё может сделать, больше чем верит,— ни на минуту не сомневается и делает, как будто какая-то внешняя, не зависимая от него сила заставляет его действовать. Наполеон с утра находился в этом состоянии, еще более усиленном 15-верстной прогулкой на быстрых лошадях, мягких рессорах по прекрасной дороге между покрытою ночным дождем зеленью, в трубку поднимающейся ржи и во всем блеске июня распустившейся зелени лесов[3]. Он выехал (как он думал) для того, чтобы осмотреть места для переправы на Немане. Он еще не решил в своем уме вопрос о том, перейдет ли он теперь Неман или подождет на нем ответа Лористона, но в сущности он поехал потому, [что утро было хорошо, что он находился в том состоянии, про которое я] что он в это утро был неизбежным исполнителем воли Провидения. Утро было прекрасное,

---

[1] К тексту: *11 июня ∾ утра* — см. Варианты, № 31.
[2] По тексту запись: *Москва* (прим. составителя).
[3] На полях: *Здоровывается с полком; блестящий вид полков.*

он находился в том утреннем аустерлицком состоянии, в котором ему неизбежно нужно было предпринять что-нибудь [оттого, что], его веселила мысль, что *он*, он, несмотря на все свое величие, несмотря на последнее дрезденское пребывание, во время ⟨которого⟩ короли и императоры составляли его дожидающий выхода двор,— он, сделавший милость Австрийскому дому, вступив в брак с его принцессой,— он, несмотря на это, сам едет осмотреть место переправы и отдать нужные приказания [он делает то, что не сделает ни один государь, ни тот Александр, который хочет бороться с ним. И оттого ни один не может и не будет мочь бороться со мною]. Поздоровавшись с польскими уланами, он, не опуская глаз с делавшего в этом месте крутого изгиба Немана, вышел[4] из коляски и махнул рукой — к себе офицеров. Несколько генералов и офицеров подбежали к нему. Сухоржевский был одним из первых, и Наполеон обратился к нему с вопросами о дорогах к Неману и о расположении аванпостов[5]. Не дослушав еще конца речей Сухоржевского, Наполеон, отпустив от глаз зрительную трубу, в которую он смотрел, и сказал Бертье, что он намерен сам [доехать] осмотреть Неман. Бертье поспешно спросил офицеров, не представляет ли такая рекогносцировка опасности от казаков для императора, и на утвердительный ответ доложил императору, что его особа и шляпа слишком известны всему миру и что было бы неблагоразумно ему выехать под выстрелы казаков. Наполеон оглянулся на офицеров, отыскивая между ними человека своего роста. Сознание своего небольшого роста всегда было неприятно Наполеону, и большой рост смущал его. Но это было счастливое утро, как оно всегда бывает счастливо для людей, находящихся в счастливом расположении духа. Или офицеры случились небольшого роста, или Наполеон заметил только малорослых, [но несколько] он сказал с улыбкой, что наденет польский мундир. Несколько офицеров подходящего роста поторопились скинуть свои мундиры, в том числе и Сухоржевский. Но он еще не успел открыть плечи, как строгий взгляд одного из свиты Наполеона остановил его. Наполеон, как Парис с яблоком, избирающий красавицу, не улыбаясь, оглянул раздевшихся офицеров и потому ли, что полковник Поговский был старше чином или что открывшееся из-под снятых мундиров белье было чище всех на Поговском, император выбрал его и, сняв свой серый сюртук с лентой, который тотчас же был подхвачен как реликвия, надел сюртук и фуражку Поговского. Бертье позади тоже поспешно [одевался] наряжался в польского улана и [поняв в чем было дело] отдавал приказание, чтобы императору была [подана] выбрана посмирнее верховая лошадь, так как Бонапарт был не смелый и не твердый ездок. В сопровождении одного Бертье и маиора Сухоржевского Наполеон верхом поехал к деревне Алексотену и оттуда к Неману, за которым вдалеке видны были русские казаки.— Увидав тот Неман, на котором был 5 лет тому назад Тильзитский мир и, главное, тот Неман, за которым [было] начиналось то таинственно громадное скифское государство, подобное тому, в которое ходил Александр Македонский, за которым был этот Александр, дерзко требовавший отступления французских войск из Померании, тогда когда вся Европа преклонялась перед ним, владыкой Франции, за которым была эта ville asiatique Moscou avec ses innombrables églises et ses pagodes chinoises[6], [когда], увидав этот Неман, это прекрасное небо, далеко открывающие зелень поля, [увидав молодцеватых польских] скрывающиеся там, надев ⟨раз?⟩ польский мундир и сам выехав под выстрелы русских аванпостов,— он уже не мог не [дать] [приказать] решить в своем уме, что завтра он наступает. Возвращаясь назад верхом к селению Ногаришки, Сухаржевский, ехавший сзади, слы-

---

[4] Слово *вышел* написано по слову *вылез* (прим. составителя).
[5] На полях: *Ужас ⟨всех?⟩, чтобы его не застрелили в этом костюме Наполеона.*
[6] азиатский город Москва с ее бесчисленными церквами и китайскими пагодами

шал, как великий человек фальшивым голосом запел: «Malborough s'en va t'en guerre...»[7] и видел блестящий, светлый, веселый взгляд, который безучастно и [однообразно указывал] 〈безразлично?〉 остановлялся на всем[8] и говорил о счастливом легком состоянии в эту минуту великого человека. В Ногаришки послано вперед приказание перевести в них [русскую] главную квартиру и там [отдано приказание] продиктована Наполеоном диспозиция перехода через Неман и наступления. Кроме того, в Ногаришках же были в первый раз представлены императору Наполеону образцы выделанных на 100 миллионов рублей фальшивых русских ассигнаций, сличены с настоящими и одобрены императором и представлен к подписанию приговор расстреляния польского сержанта, [〈неповиновавшегося〉] сказавшего дерзость французскому генералу. [И Наполеон был доволен исполнением приказания по выделке фальшивых ассигнаций и приказал выдать денежную награду производителю. Приговор расстреляния тоже был им подписан.]

〈V〉

[В то] Русский император[1] с двором уже около месяца жил в Вильно, где была и главная квартира русской армии. После многих балов и праздников у польских магнатов, у придворных и у самого государя в июне месяце [генерал-адъютант] одному из польских генерал-адъютантов государя пришла мысль дать [праздник] [бал] обед и бал государю от лица его генерал-адъютантов. Мысль эта была принята всеми. Государь изъявил согласие, генерал-адъютанты собрали по подписке деньги, особа, которая наиболее могла быть приятна государю, была приглашена быть хозяйкой бала. Бенигсен [дал] предложил свой загородный дом, и 11 июня был назначен обед, бал, катанье на лодках и фейерверк. В тот самый день как Наполеоном был отдан приказ к переходу через Неман и [приказал] передовые войска, оттеснив казаков, перешли через Неман, государь проводил вечер на даче Бенигсена на бале, даваемом генералами-адъютантами.

Вечером на другой день был веселый блестящий праздник с графиней Лович. Было особенно весело и оживленно.

В числе польских красавиц графиня Безухова не уронила репутации русских красавиц и была замечена. [В числе молодых танцоров] [Борис Друбецкой [адъютант] обращал на себя внимание своими отличными танцами, вел бал] Борис Друбецкой, через Hélène Безухову, получив приглашение, был тоже на этом бале.

В 12-м часу ночи еще танцовали. Государь, прохаживаясь перед танцующими, и осчастливливал то тех, то других теми полковыми словами, которые он один только умел говорить. Борис, как и все на бале, удостоенном императорским присутствием, душою всё время стремился к государю и был при нем, хотя и танцовал и говорил с дамами. При начале мазурки он видел, что Балашов подошел к государю, говорившему что-то польской даме, и остановился — непридворно остановился подле государя. Это что-нибудь значило. Государь взглянул вопросительно и понял, что Балашов поступил так только потому, что на то были важные причины, что ему нужно было говорить с государем. [Окончив] Поклонившись даме слегка в знак, что аудиенция кончена, государь обратился к Балашову и, взяв его под руку, пошел с ним, бессознательно для себя расчищая с обеих сторон сажени на 3 широкую дорогу сторонившихся перед ним. Борис [заметил] посмотрел на грубое и подло преданное лицо Аракчеева, который, заметив разговор государя с Балашовым, тянулся из толпы, но

[7] «Мальбрук в поход собрался...»
[8] Слова *на всем* написаны по словам *на всех* (прим. составителя).

[1] В автографе: *императором* (прим. составителя).

не смел подойти ближе. Борис, как и большинство порядочных людей, чувствовал инстинктивную антипатию к Аракчееву, но милость к нему государя заставляла его сомневаться в справедливости своих чувств. Балашов что-то с весьма сериозным лицом говорил государю. Государь быстро выпрямился, как человек оскорбленный и удивленный, и продолжал ласково и спокойно слушать. Борис, несмотря на ясное сознание, что то, что говорилось, было очень важно, несмотря на страстное желание узнать в чем дело, [отошел] поняв, что, ежели граф Аракчеев не смеет подвинуться ближе, ему и думать нечего, отошел к стороне. Совершенно неожиданно государь с Балашовым направились прямо к нему (он стоял у выходной двери в сад). Он не успел отодвинуться и слышал следующие слова государя, говорившего с волнением лично оскорбленного человека: — Я помирюсь только тогда, когда ни одного вооруженного неприятеля не останется на моей земле.

При этих словах государь, заметив Бориса, взглянул на него гордо, решительно, и, как показалось Борису, государю приятно было высказать эти слова,— он был доволен формой выражения своей мысли и был доволен даже, что Борис восторженно и почтительно услыхал его.— Чтоб никто ничего не знал,— прибавил государь (Борис понял, что это относилось к нему). И государь прошел. Известие, сообщенное Балашовым на бале государю, [состояло] было без объявления войны переход Наполеона со всей армией через Неман в одном переходе от Вильно. Неожиданное известие это было особенно неожиданно после месяца [спокойного] несбывающегося ожидания и на бале. Государь был в первую минуту возмущен и взволнован этим известием и нашел под влиянием этого минутного чувства то, потом сделавшееся знаменитым изречение, которое самому понравилось ему, выражая вполне [его впечатления] его чувства. Возвратившись домой с бала, государь в 2 часа ночи послал за секретарем Шишковым и велел написать [Манифест] петербургскому военному губернатору и войскам, в котором он непременно требовал, чтобы были помещены слова о том, что он не помирится, пока хоть один вооруженный останется[2] на русской земле.

[В эту же ночь было написано письмо Monsieur mon frère и послан] На другой день было написано то письмо, начинающееся словами: — Monsieur mon frère, которое выписано в начале главы, и послан Балашов к Наполеону с последней попыткой примирения. На другой день новость, привезенная Балашовым, была известна всем. Императорская квартира переехала на станцию назад, в Свенцианы, и все войска отступали[3].

⟨VI⟩

Отправляя Балашова, государь вновь повторил ему слова о том, что он не помирится до тех пор, пока останется хоть один вооруженный неприятель на русской земле, и приказал непременно передать их Наполеону, хотя, вероятно, именно потому, что государь чувствовал [что] с своим тактом, что слова эти неудобны для передачи в ту минуту, когда делается последняя попытка примирения, именно потому он не написал их в письме и именно потому приказал Балашову передать их, т. е. чувствовал личную потребность выразить их. [Балашов выехал верхом в сопровождении двух казаков и трубача под впечатлением последней беседы с государем и лестного чувства быть представителем могущественнейшего и благороднейшего из государей.] Выехав ночью, Балашов

---

[2] В автографе: *не останется* (прим. составителя).

[3] На полях: *Поездка Балашова. Мюрат — Даву. Вдруг соскочил у Даву генерал-адъютант. Он пленный, и даже страшно. Фальшивые ассигнации и мародеры, ⟨расстрел?⟩. Наполеон сам не знает, зачем перешел. Перешел потому, что сел верхом и легко перейти. Какие требует условия. Императора австрийского успокоил подарками: колье бриллиантовое, в ту минуту как он говорил с Балашовым.*

к рассвету приехал на аванпосты и был остановлен французскими кавалерийскими часовыми. Гусары-солдаты в малиновых мундирах не пропустили его, не сделали ему чести, непочтительно, как и должно было быть, угрюмо в его присутствии переговаривал〈ись〉 между собою и послали к офицеру. Необычайно странно было Балашову, привыкшему издавна по своей службе [к почестям, видеть тут, на русской земле, это враждебное отношение к себе] к почестям и после той близости к высшей власти и могуществу — разговора 3 часа тому назад с государем, видеть тут, на русской земле, это [непочтительное] враждебное и, главное, непочтительное отношение к себе. Но, естественно, приходила мысль о ничтожестве этих людей, о том, что, несмотря на то, что они, кажется, такие же люди, как он, с руками, с ногами, с воспоминаниями, с мыслями, [они относятся теперь] несмотря на то, что они грубой силой своей преграждают ему путь — они относятся к нему, как относится [крупинка] зернушко молотого хлеба к одному из главных колес мельницы. Он не смотрел даже на них, в то время как ожидал в цепи. Он ожидал недолго. Французский гусарский полковник Юльнер выехал к нему на красивой, сытой серой лошади с видом довольства и исправности, который был и на его солдатах, находившихся в цепи. Это было то первое время кампании, когда войска еще находятся в исправности, почти равной смотровой мирной деятельности, [когда] только с оттенком неформенной воинственности и с нравственным оттенком того веселья и раздраженности, предприимчивости, которые всегда сопутствуют началу кампании. Войска чистятся, щеголяют, как будто не зная того, что очень скоро они не только не будут успевать расчесывать хвосты лошади, но и свои собственные волосы, как будто не знают, что скоро не только не будет веселья, но будет страх, ужас, страдания и смерть. [Еще война была похожа для Балашова и Мюрата на веселую игру, хотя, в сущности, настоящее значение ее уже начиналось для некоторых: для одного казака, раненного на аванпостах пулей в локоть и которому доктора, пользуясь еще редким тогда случаем операции, весело отрезали руку, и кое для кого больных, завязших в грязи, избитых и ограбленных в той и другой армии.]

Полковник Юльнер был сдержанно и достойно учтив, видимо понимая [всю важность] всё значение посылки Балашова. Он [провел его через цепь и вывел навстречу ехавшему Мюрату, тому, который] провел его мимо своих солдат и с приятной улыбкой вступил с ним в разговор.

Не проехали они 100 шагов, как навстречу им показался едущий [Мюрат] король неаполитанский, тот самый Мюрат, который так бойко один взял Венский мост и который за все свои услуги Наполеону теперь уже давно был королем Неаполитанского королевства. Когда Юльнер, указывая на блестящую группу, впереди которой ехал в красной мантии, облитый золотом и дорогими каменьями[1] Мюрат, сказал, что это — неаполитанский король, [Балашову невольно пришло в голову, как и всем, кто тогда слышал про Мюрата или видел его: почему же гасконец без роду-племени, образования и ума — неаполитанский король? Но почему бы это ни было, все верили, что Мюрат — неаполитанский король, хотя в душе и знали, что это только на короткое время, верили и его подданные и чужие и называли его «ваше величество», и больше всех сам Мюрат верил, что он действительно неаполитанский король. Он верил в это так сильно, что накануне] Балашов, в знак согласия и уважения, слегка наклонил голову и поехал навстречу [королю неаполитанскому] Мюрату, который был теперь король, [в чем никто не сомневался] величавее и представительнее, чем он был в 1805 году на Венском мосту, где они с Бельяром эскамотировали[2] другую половину Вены. Это был

---

[1] В автографе слово *каменьями* пропущено; восстановлено по копии.
[2] От франц. excommunier — отлучать (прим. составителя).

уже тот Мюрат, который назывался неаполитанским королем, во что все совершенно искренне верили. Это был тот Мюрат, который [уезжая] накануне того дня, когда по требованию Наполеона присоединиться к его армии, он выезжал из Неаполя, прохаживаясь под руку с своей супругой и придворными по улицам Неаполя и когда [ему в] два пирожника-итальянца вскочили от своих мест и прокричали [⟨итальянцы?⟩] для того, чтобы развлечься от скучных занятий дня: «Viva il re»[3]; Мюрат с грустной улыбкой, которая тотчас же, как и всякая царская улыбка, отразилась на лицах придворных, сказал:

— Les malheureux! Je les plains... ils ne savent pas que je les quitte demain[4].

Он, как немного разъевшийся, но всё готовый на службу старый конь, ехал на арабском жеребце, chamarré d'or et des pierreries[5], веселый, сияющий, оживленный прежним привычным делом войны, подъехал навстречу Балашову, притронулся рукой к своей обшитой золотом и с страусовыми перьями шляпе и весело приветствовал генерал-адъютанта императора Александра. Он подъехал близко и положил руку на холку лошади Балашова. Его добродушное усатое лицо сияло самодовольствием, когда Балашов, разговаривая с ним, поддавал ему: «à Votre Majesté, de Votre Majesté»[6] — во всех падежах, с неизбежной аффектацией учащения титула обращаясь к лицу, для которого титул этот еще нов.

Понравилось ли Мюрату лицо Балашова, или вообще он был хорошо, весело расположен прекрасным утром и верховой прогулкой, но он, слезши с лошади и взяв под руку Балашова, вступил в тон разговора вовсе не королевского и не вражеского, а в тон добродушных, веселых [лакеев] слуг ссорящихся господ, которые останутся добрыми приятелями, несмотря ни на какие отношения между принципалами.

— Eh bien, général! Tout est à la guerre, à ce qu'il paraît[7],— сказал Мюрат.

Балашов сознался, что это действительно так, но заметил, что государь Александр не желал войны и что его посылка служит доказательством этого.

— Так вы считаете зачинщиком войны не императора Александра? — сказал Мюрат с добродушной улыбкой из-под своих усов.

Поговорив о причинах войны, Мюрат сказал, вероятно, то, что он и не желал сказать, но сказал под влиянием развеселения:

— [Душевно желаю, чтоб] Je désire de tout mon coeur que les empereurs s'arrangent entre eux, et que la guerre commencée malgré moi se termine le plus tôt possible.

— Je ne vous retiens plus. Charmé d'avoir fait votre connaissance, général[8],— прибавил Мюрат, и Балашов, откланявшись его величеству, поехал дальше, по словам Мюрата, предполагая весьма скоро встретить самого Наполеона.

Но вместо скорой встречи с Наполеоном часовые пехотного корпуса Даву опять [встретили] задержали Балашова, и вызванный адъютант командира корпуса проводил его к маршалу Даву.

⟨VII⟩

[Рыжий, сумрачный маршал] [Сумрачный жестокий маршал] Сумрачный солдат Даву был совершенная противоположность Мюрату.

---

[3] Да здравствует король! (*итал.*).

[4] Несчастные! Мне их жаль... Они не знают, что завтра я их покидаю.

[5] разукрашенный золотом и драгоценными каменьями

[6] «вашему величеству, вашего величества»

[7] Ну, что ж, генерал, дело, кажется, идет к войне?

[8] Я желаю от всей души, чтоб императоры покончили дело между собой и чтобы война, начатая против моей воли, окончилась как можно скорее.

— Я вас не задерживаю более. Рад был познакомиться с вами, генерал.

Это был Аракчеев императора Наполеона,— Аракчеев не трус, но столь же исправный, жестокий и не умеющий выражать свою преданность иначе, как жестокостью. В механизме государственного организма нужны эти люди, как нужны волки в [〈зоологии〉] организме природы, и они всегда есть, всегда являются и держатся, как ни несообразно кажется их присутствие и близость к главе правительства. Ежели бы не было этой органической необходимости, как бы мог жестокий, лично выдиравший усы гренадерам и не могущий нервами переносить опасность, не образованный, не придворный Аракчеев держаться в такой силе при рыцарски-благородном и нежном характере Александра. Но это должно было быть и было.

Балашов застал маршала Даву в сарае на бочке, [диктовавшего] занятого [〈поверкой?〉] письменными работами (он поверял счеты). Возможно было найти лучшее помещение, но маршал Даву был один из тех характеров, которые нарочно ставят себя в самые мрачные условия жизни для того, чтобы иметь право быть мрачными[1]. Они для того же всегда поспешно и упорно заняты: «Где тут заниматься и думать о счастливой и любовной человеческой стороне жизни, когда, вы видите, я на бочке сижу в грязном сарае и работаю»? Первое удовольствие и потребность этих людей состоит в том, чтобы, встретив молодое, доброе оживление жизни, и бросить этому оживлению в глаза свою мрачную, упорную деятельность. Это удовольствие доставил себе Даву, когда к нему ввели Балашова.

Он еще более углубился в свою работу, когда вошел русский генерал, и, взглянув через очки на веселое и представительное под впечатлением прекрасного утра и беседы с Мюратом лицо Балашова [и], еще больше нахмурился и [зло] усмехнулся [продолжая карандашом отмечать кресты на полях бумаги].

«Вот еще франт с любезностями,— подумал он,— теперь не до любезностей. Я был против этой войны, но ежели раз уже война начата, то надо не любезничать, а работать». [Поставив в неловкое положение Балашова тем, что он не сразу обратился к нему, и скосясь] Заметив на лице Балашова неприятное впечатление, Даву строго, холодно обратился к нему с грубым вопросом: что ему нужно? Предполагая, что такой прием мог быть сделан ему только потому, что Даву не знает, что он генерал-адъютант императора Александра и [〈подавив?〉] даже представитель его перед Наполеоном, Балашов поспешил сообщить свое звание и назначение.

В противность ожидания его, что это известие мгновенно переменит тон и обращение Даву на самый почтительный, как это обыкновенно бывает с людьми грубыми, Даву, выслушав Балашова, стал еще суровее и грубее.

— Где же ваш пакет? — сказал он.— Donnez-le moi, je l'enverrai à l'Empereur[2].

[Выпустив напрасную свою последнюю надежду на смягчение Даву, Балашов нахмурился и сказал] Балашов сказал, что он имеет личные приказания передать пакет самому императору.

— Приказания вашего императора исполняются в вашей армии,— грубо сказал Даву,— вы должны делать то, что вам говорят.— И как будто для того, чтобы еще больше дать почувствовать русскому генералу его зависимость от грубой силы, Даву высунулся из сарая и кликнул дежурного [и окликнул конвой, который сопутствовал Балашову].

Балашов вынул пакет, заключавший письмо государя [с жестом оскорбленного достоинства], не глядя на Даву, положил его на стол

---

[1] На полях: *Князь Андрей отцу говорит, что он мучитель, и с проклятием его уезжает.*

[2] Дайте мне его, я пошлю императору.

(стол, состоявший из двери, на которой торчали еще оторванные петли, положенной на две бочки).

Даву взял конверт и прочел надпись. [Ежели вам неугодно]

— Вы совершенно в праве оказывать или не оказывать мне уважение,— сказал Балашов,— но позвольте вам заметить, что я имею честь носить звание генерал-адъютанта его величества... Где я могу подождать ответа?..

[Даву ясно взглянул на него. Он, видимо, соображал, как ему поступать, удовлетворяя уже своей потребности оскорбить человека.] Даву взглянул на него молча. Он, видимо, соображал, не [слишком] ошибся ли он в самом деле, слишком удовлетворяя своей потребности показать, что он работник, а не любезник.

— Вам будет оказано должное,— сказал он и, положив конверт в [портфель] карман, [проводил] [приказал позвать адъютанта и, приказав проводить Балашова в соседнюю пустую избу, занимаемую им с Балашовым] вышел из сарая. [Во время его отсутствия адъютант убрал бумаги с двери, и денщики маршала накрыли там же стол. И Балашов имел удовольствие обедать с маршалом, который говорил весьма мало о погоде и лошадях, но казался уже менее суровым. После обеда приставленный к Балашову адъютант проводил его в назначенную для него избу. На другой день маршал Даву зашел к нему и объявил, что он [должен] еще не получил ответа, когда император Наполеон захочет принять русского генерала, но что он должен оставить его.

— Мой дом к вашим услугам,— сказал Даву [кланяясь].— Прошу вас об одном, генерал, не говорить ни с кем, кроме как с господином NN (адъютант, приставленный к Балашову)] Через минуту вошел адъютант и провел Балашова в приготовленное для него помещение.

Балашов обедал в этот день с маршалом, в том же сарае, на той же доске на бочках, и еще три дня провел при главной квартире Даву, с нею вместе передвигаясь вперед по направлению к Вильно и уже не видя маршала, а имея при себе неотлучно адъютанта — французского генерала.

⟨VIII⟩

После 4-дневного уединения, скуки и сознания подвластности и ничтожества, особенно ощутительного после той среды могущества, в которой он так недавно находился, за Балашовым была прислана коляска, и он мимо французских войск, занимавших всю местность, привезен в Вильно, в ту же заставу, из которой он выехал 4 дня тому назад. И к тому же самому лучшему в Вильне дому, в котором он получил последние приказания императора Александра. Четыре дни тому назад у дома этого стояли Преображенского полка часовые, теперь стояли два гренадера с распахнутыми синими мундирами и в мохнатых шапках. У крыльца дома толпились генералы и местные чиновники, [из которых некоторых узнал Балашов и старался не глядеть на них. В доме стоял Наполеон и всегдашний сотрудник Наполеона маршал Бертье] из которых некоторые узнали Балашова и отворачивались от него. У крыльца же стояла верховая императорская лошадь, пажи, мамелюк Рустан и блестящая свита адъютантов. Вероятно, ждали выхода самого Наполеона.

В первой комнате Бертье принял учтиво Балашова и, оставив его, [прошел к императору и объявил] прошел к Наполеону. Через 5 минут ~~он вышел и~~ объявил, что императору угодно сейчас принять его.

Наполеон ждал ~~Балашова и ж~~дал с тем волнением, которое не оставляло его всегда, когда дело касалось сношений с аристократами царской крови, из которых блестящее всех, и физическими и нравственными качествами, представлялся ему Александр. Он знал, что всякое слово, движение его, всё впечатление, которое он произведет на посланного, будут переданы Александру. Он выбрал самое выгодное свое время — утро и

самый, по его мнению, величественный свой костюм: открытый мундир с лентой légion d'honneur[1] на белом пикейном жилете и ботфорты, которые он употреблял для верховой езды. Сбор блестящей свиты у подъезда был тоже рассчитан. Наполеон решил принять Балашова на выходе для верховой прогулки и принял его стоя в своем кабинете. Он стоял [посередине] у окна комнаты, облокотясь на маленький столик своей маленькой белой рукой, играя табакеркой, и слегка наклонил голову [принимая письмо] в ответ на почтительный поклон Балашова.

«Буду спокоен и величествен. Выражение сознания силы есть спокойствие,— думал в это время Наполеон.— Оставлю его всё высказать [и заставлю] и покажу ему свою [силу] власть. Покажу ему, как дерзко было требовать выхода моих войск из Померании и как они наказаны за это требование вступлением моих войск в их пределы». Воспоминание о [этом] требовании очищения Померании в первую минуту, когда оно получено было в [Дрездене]... особенно оскорбило Наполеона по стечению разных обстоятельств и потому, что оно пришло к нему тогда, когда он был дурно настроен, и потому, что за час перед этим он говорил Бертье, что Россия предложит условия мира теперь, и потому воспоминание это начало было поднимать оскорбленное чувство в его душе. Но он сейчас же сказал себе: «Этого не будет. Теперь, занимая ту самую Вильну, из которой послан этот генерал-адъютант, я должен одним спокойствием показать свою силу».

«Ну, вы меня видите, не смущайтесь, придите в себя, успокойтесь и говорите, что вам нужно сказать»,— говорил его взгляд.

— Sire! L'Empereur mon maître...[2],— начал Балашов, немного смутясь, но с свойственной ему свободой и изяществом элокуции[3] [и изложил]. Он передал Наполеону всё, что ему было приказано. Передал, что император Александр удивлен вступлением французских войск в русские пределы, что не он начинает войну и не желает ее, что князь Куракин [взял] требовал свои паспорты без ведома императора Александра, что с Англией еще нет никаких сношений и что император Александр желает мира, но приступит к нему не 〈иначе?〉, как с тем условием, чтобы войска вашего величества отступили за Неман. Он сказал, чтобы *войска 〈французские?〉 отступили за Неман*, а не сказал ту фразу, которая очевидно, особенно нравилась императору Александру, которую он не написал в письме, которую он непременно приказал вставить в приказ войскам и которую он приказал Балашову передать Наполеону. Балашов помнил про эти слова [но какое] — «пока ни один вооруженный неприятель не останется на земле русской»,— но какое-то необъяснимое, сложное чувство, называемое тактом, удержало его — он, глядя в глаза, не мог сказать этих слов, хотя и хотел это сделать. Слишком личное чувство оскорбления слышалось в этих словах, и, вероятно, [чутье Балашова воспрещало ему] инстинкт, т. е. не один ум, а совокупность всех способностей, воспрещал Балашову сказать их. Наполеон выслушал всё спокойно, но последние слова, хотя и смягченные, кольнули его. Кольнули еще более потому, что в них слышалось воспоминание о прежнем требовании очистить Померанию, «требованье, кончившееся тем, что я вступил в Россию»,— [хотел сказать он, но воздержался. Он начал с того, что он желал мира не менее] подумал он.

— Я желаю мира не менее императора Александра,— начал он.— Я 18 месяцев,— сказал он,— делаю всё, чтобы получить его. Я 18 месяцев жду объяснения.— Но он начал говорить и уже одно слово, независимо от его воли, погоняя другое, вырывалось из него, воспоминание о требовании очистить Померанию, кончившееся вступлением в Россию, представилось и тотчас же выразилось словами.

---

[1] почетного легиона
[2] Ваше величество! Император, государь мой...
[3] выражения — от латинского elocritio (прим. составителя).

— Но для того, чтобы начать переговоры, чего же требуют от меня?

— Отступления войск за Неман.

Наполеон как будто не обратил на это внимания и продолжал:

— Но для того, чтобы возможны были переговоры, нужно было, чтобы вы не были связаны с Англией.

Балашов передал в этом уверение императора Александра, что союза с Англией не было.

Наполеон еще раз вывел сообщение [повторил вопрос] о требовании отступить за Неман, только за Неман. Это требование нужно было ему. Оно было и оскорбительно и успокоительно [для его оскорбленного самолюбия] для него. «Вместо требования 4 месяца тому назад отступить из Померании, теперь требовали отступить только за Неман, и тогда союз и вражда с Англией продолжалась. Да, так и понимаю,— думал Наполеон и хотел сказать, что после теперешнего требования отступить за Неман скоро будут требовать от него только отступить от Москвы.— Но нет, я не скажу ничего лишнего, я не разрушу на него (на Александра через Балашова) это впечатление спокойного сознания силы. [И услышав всё, ⟨если?⟩] Но он уже начал говорить, и, чем больше он говорил, тем менее он становился в состоянии управлять своей речью. Все оскорбительные воспоминания о требовании очистить Померанию, о непризнании его императором в 1805 и 6 году, о отказе в руке великой княжны — все воспоминания эти восставали в нем по мере того, как он говорил. И вместе с каждым из [этих] воспоминаний этих унижений, против каждого из них восставало в его воображении воспоминание оплаты за унижение и торжества, как торжества Тильзита, Эрфурта, недавнего дрезденского пребывания. [Вспомнилось ему по самой сложной филиации идей (в то время как он говорил о другом) последнее его столкновение с матерью его жены, императрицей австрийской, которая не хотела ехать в Дрезден и не хотела обедать у него. И вспомнилась ему ее покорность и радостная улыбка, когда [он три дня сряду] после 3-х дней, во время которых посылал каждое утро камергера графа Роган узнать о ее здоровье и передать ей вазу, драгоценную коллекцию камеев и колье жемчугов. В другую минуту вспомнилось ему кроткое и запуганное лицо Марии Луизы, когда он встретил ее в Дижоне, вспомнились обеды и вечера в Эрфурте.] «Все они люди, ничтожные люди»,— думал он и продолжал говорить, радовался [оскорбительности] логичной, казавшейся ему неоспоримой, оскорбительности своих доводов. Он давно уже оставил свое положение и, то складывая руки на груди, то закладывая их за спину, ходил по комнате и говорил.

— Такие [условия] предложения, как то, чтобы очистить Одер и Вислу, можно делать принцу Баденскому, а не мне. Ежели бы вы мне дали Петербург и Москву (ville asiatique Moscou[4], которая была там, в Скифии), я бы не принял этих условий. И кто прежде приехал к армии. Император Александр, а не я. Хотя ему нечего делать при армии. Я другое дело, je fais mon métier[5]. И какое прекрасное царствование могло быть его царствование,— говорил он, как будто жалея о мальчике, который вел себя дурно и не заслужил конфетку. [Он был паинька в Эрфурте и Тильзите, я ему дал игрушки и еще бы дал, а теперь подумаю, и кажется, что не дам, несмотря на всё мое желание, оттого что не заслуживает.] — Я ему дал Финляндию, я бы ему дал Молдавию и Валахию. Говорят, что вы заключили мир?

Балашов подтвердил это известие, но Наполеон не дал ему говорить, особенно говорить то, что было неприятно ему (а это было очень неприятно). Ему нужно было говорить самому, одному, доказывать, что

---

[4] азиатский город Москву

[5] я делаю свое дело

он прав, что он добр, что он велик, и он продолжал говорить с тем красноречием и невоздержанием раздраженности, к которому так склонны вообще балованные люди, и с тем красноречием невоздержания и раздраженности, с которыми он говорил в 1803 с английским посланником и недавно с князем Куракиным.

— Да,— продолжал он,— я обещал ему и дал бы ему Молдавию и Валахию, а теперь он не будет иметь этих прекрасных провинций. Он бы мог, однако, присоединить их к своей империи и в одно царствование он бы расширил Россию от Ботнического залива до устьев Дуная. Катерина Великая не могла бы сделать более,— говорил Наполеон, всё более и более разгораясь, ходя по комнате и повторяя Балашову почти те же слова, которые он говорил самому Александру в Тильзите.— Tout cela il l'aurait dû à mon amitié... Ah, quel beau règne, quel beau règne,— повторил он несколько раз и остановился,— quel beau *règne aurait pu être* celui de l'empereur Alexandre! [6] Он [кротко] с сожалением взглянул на Балашова, и только что Балашов хотел заметить что-то, как он опять поспешно перебил его. В эту минуту Наполеону до озлобления непонятно было, как мог Александр отступить от блестящей (так казалось Наполеону) программы, начертанной ему.

— Чего он мог желать и искать такого, чего бы он не нашел в моей дружбе... Нет, он нашел лучшим окружить себя — и кем же? — продолжал Наполеон, перебивая Балашова.— Он призвал к себе Штейнов, Армфельдов, Винцингероде, Бенигсенов. Штейн, прогнанный из своего отечества,— повторил Наполеон с озлоблением, и краска бросилась в его бледное лицо. Воспоминание о Штейне потому особенно сильно оскорбило его, что он начал с того, что ошибся в Штейне — сам [рекомендовал] считал его за ничтожного человека, рекомендовав его прусскому королю: «Prenez Stein, c'est un homme d'esprit» [7],— и потом, узнав ненависть Штейна к Франции, подписав в Мадриде декрет, конфискующий все имения Штейна и требующий его выдачи. Оскорбительнее же всего было для Наполеона связанное с именем Штейна воспоминание о том, как он велел взять безвинно сестру Штейна и привезти ее судить в Париж. Этого уже не мог простить Наполеон, и он продолжал, еще более раздраженный и невластный управлять своим языком.— Армфельд развратник и интриган, Винцингероде беглый подданный Франции, Бенигсен несколько более военный, чем другие, но все-таки неспособный, который ничего не умел сделать в 1807 году и который был должен возбуждать в императоре Александре ужасные воспоминания... Положим, ежели бы они были способны, можно бы употреблять,— продолжал Наполеон, едва успевая словами поспевать за беспрестанно возникающими соображениями, показывающими ему его правоту,— но и того нет — они не годятся ни для войны, ни для мира. Барклай, говорят, дельнее их всех, но я этого не скажу, судя по его первым движеньям. А они что делают? [«Они» было выговорено с таким презрением и озлоблением, что Балашов чувствовал, как оскорблен был] Что делают? — сказал Наполеон, еще более раздражаясь при мысли о том, что император Александр допускает в свою intimité [8], которой так [1 *нрзб*] и которой так дорожил Наполеон, допускает тех лиц, которых он презирал больше всего на свете и немедленно бы повесил, ежели бы они попали в его руки.— Пфуль предлагает, Армфельд спорит, Бенигсен рассматривает, а Барклай, призванный действовать, не знает, на что решиться, и время проходит, ничего не делая. Один Багратион военный человек, он глуп, но у него есть опытность, глазомер и решительность... И что за роль играет ваш молодой государь в этой безобраз-

---

[6] Всем этим он был обязан моей дружбе... О, какое прекрасное царствование, какое прекрасное царствование, какое прекрасное царствование *могло бы быть* царствование императора Александра!

[7] «Возьмите Штейна, это умный человек».

[8] близость

ной толпе. Его компрометируют и на него сваливают ответственность всего совершающегося. Он замолк на мгновенье и с выражением величавости прошелся.— Un souverain ne doit être à l'armée que quand il est général![9] — сказал он, очевидно посылая эти слова в форме великодушного совета прямо как вызов в лицо государя. Наполеон знал, как [страдал Александр, не сознавая в себе] страшно желал император Александр быть полководцем.

— Уже неделя, как началась кампания, и вы не сумели защитить Вильну, вы разрезаны надвое и прогнаны из польских провинций. Ваша армия ропщет...

— Напротив, ваше величество,— сказал Балашов, едва успевавший запомнить, что говорилось ему, и с трудом следивший за этим феерверкером слова,— войска горят желанием...

— Я всё знаю,— перебил его Наполеон,— я всё знаю и знаю число ваших баталионов так же верно, как и моих. У вас нет 200 тысяч войска, а у меня втрое столько. Даю вам честное слово,— сказал Наполеон, забывая, что это слово никак не могло иметь значения и для него бессмысленное.— Даю вам ma parole d'honneur que j'ai 530 mille hommes de ce côté de la Vistule[10]. Турки вам не помощь, они никуда не годятся и доказали это, [⟨сделав?⟩] замирившись с вами. Шведы — их предопределенье быть управляемыми сумасшедшими королями. Их король был безумный, они переменили его и взяли другого, который тотчас сошел с ума (Наполеон усмехнулся своей шутке), потому что сумасшедший может, бывши шведом, заключать союз с Россией.

На каждую из фраз Наполеона Балашов [не сходивши за словом в карман] хотел и имел, что возразить, беспрестанно он делал движение человека, желавшего сказать, но Наполеон перебивал его.

Например, о безумии шведов Балашов хотел сказать, что Швеция есть остров, когда Россия за нее, но он и не пытался теперь уже говорить, он, не рассуждая, не умом, но всем существом своим чувствовал, [он видел] что Наполеон находился теперь в том состоянии, в котором бывают все люди в состоянии возбуждения нервов и происходящей от того потребности говорить, говорить и говорить только для того, чтобы самим себе доказать свою справедливость. С одной стороны, Балашову приятно было видеть это раздраженное состояние [ждал ⟨ошибочных?⟩]; он видел, что Наполеон поступает дурно, говоря ему всё то, что он говорил [с другой стороны, он]. (Он это видел особенно по грустно-равнодушному выражению лица присутствующего Бертье, очевидно не одобрявшего слова Наполеона.) С другой стороны, Балашов боялся уронить свое достоинство посланного императора и всякую секунду был готовым на отражение.

— Да что мне эти ваши союзники? У *меня* — союзники это поляки. Их 80 тысяч, и они дерутся как львы. И их будет 200 тысяч («Откуда будут эти 200 тысяч»? — подумал Бертье, грустно вздыхая.) [— Я отниму у вас польские провинции. Я отниму у всех родных вашего царствующего дома, что остается у них в Германии. И пришлю их вам без корон и без владений.] «Тоже писали протест о герцоге Олденбургском,— подумал Наполеон, и, вспомнив это прежнее оскорбление, он продолжал:

— Ежели вы поколеблете Пруссию против меня, знайте, что я сотру ее с карты Европы,— сказал он, всё более и более разгораясь, с энергическим жестом маленькой руки.— Да, я заброшу вас за Двину, за Днепр и восстановлю против вас ту преграду, которую Европа была преступна и слепа, что позволила разрушить. Да, вот что с вами будет, вот что вы выиграли, [оставив] удалившись от меня,— заключил Наполеон, начавший говорить с Балашовым с твердым намерением узнать взгляд императора

---

[9] Государь должен находиться при армии только тогда, когда он полководец!

[10] честное слово, что у меня 530 тысяч человек по сю сторону Вислы

Александра на дела войны и с намерением выговорить настоящий мир.

Остановившись против Балашова, чувствуя потребность заключить чем-нибудь свою странную речь, дошедшую в конце до итальянской восторженности, он опять сказал с поддразнивающим сожалением: «Quel beau règne aurait pu avoir votre maître, aurait pu avoir...[11].

[Несмотря] На доводы Балашова, который старался доказать, что со стороны России дела не представляются в таком мрачном виде, в каком они представляются Наполеону, что от войны генералы и союзники ожидают всего хорошего, Наполеон снисходительно кивал головой, как бы говоря: «Знаю, так говорить ваша обязанность, но вы сами в это не верите...»

— Уверьте от моего имени императора Александра [что],— перебил он, очевидно, и не слыхав того, что говорил Балашов,— что я ему предан по-прежнему, я знаю его совершенно и весьма высоко ценю высокие его качества. [Боже мой, боже мой]

— Que diable allait-il faire dans cette galère?[12]— возвращался он всё к сожалению о том, что Александр так испортил свою карьеру, и очевидно было, что он только о себе думал это.

— Dieu, mon Dieu, quel beau règne *aurait pu avoir* votre maître... Je ne vous retiens plus, général, vous recevrez ma lettre à l'empereur[13]. [И Наполеон, задумчиво опустив голову, пошел] И Наполеон в своих ботфортах решительным шагом пошел, предшествуемый пажами, садиться, чтобы ехать на свою прогулку.

Балашов полагал, что он откланялся, но в 4-м часу он был приглашен к столу императора. На этом обеде, на котором присутствовали Бессьер, Коленкур и Бертье, Балашов было более настороже, при каждом вопросе Наполеона стараясь найти ту дипломатическую шпильку, ту тонкость Маркова платка, которая бы почтительно отразила надменный тон Наполеона. И две такие дипломатические шпильки были найдены им — одна была ответ на вопрос Наполеона о Москве, о которой он спрашивал, как о городе, который с приятностью и любознательностью путешественника намерен посетить в скором времени.

— Сколько жителей, сколько домов, какие это дома? Сколько церквей?— спрашивал Наполеон. И на ответ, что церквей более 200, заметил, что [Это слишком много. Русский народ набожен] большое количество монастырей и церквей, которое он заметил и в Польше, есть признак отсталости народа. Балашов почтительно и радостно, найдя помещение своей дипломатической шпильке [заметил] позволил себе не согласиться с мнением французского императора, заметил, что есть две страны в Европе, где цивилизация не может истребить религиозного духа народа. Страны эти — Россия и Испания,— [сказал] пустил свой букет Балашов. Но как высоко был оценен этот букет дипломатического остроумия впоследствии, по рассказам Балашова, в кругах врагов Наполеона, так мало он был оценен за обедом и прошел незаметно. По равнодушным и недоумевающим лицам господ маршалов видно было, что они недоумевали, в чем тут состояла острота, на которую намекала интонация Балашова. «Ежели и была она, то мы не поняли ее или она вовсе не остроумна»,— говорили выражения лиц маршалов. Другая шпилька, столь же мало оцененная, состояла в том, что на вопрос Наполеона о дорогах к Москве, Балашов отвечал, что comme tout chemin mène à Rome, tout chemin mène à Moscou[14] и что в числе разных [дорог] путей Карл XII избрал путь на *Полтаву*. Но это также показалось неостроумно, и не успел Балашов

---

[11] Какое прекрасное царствование могло бы быть у вашего государя, могло бы быть...

[12] Какой чёрт занес его туда?

[13] Боже мой, боже мой, какое прекрасное царствование *могло бы быть* у вашего государя... Я не удерживаю вас более, генерал, вы получите мое письмо к императору.

[14] как всякая дорога ведет в Рим, так всякая дорога ведет в Москву

досказать последний слог Poltawa, как уже Коленкур заговорил о тяжести дороги из Петербурга к Москве и о своих воспоминаниях того времени.

После обеда перешли пить кофе в кабинет Наполеона, 4 дня бывший кабинет императора Александра. Наполеон сидел, потрогивая кофе в севрской чашке, и указал на стул подле себя Балашову[15]. Есть известное послеобеденное расположение духа человека, которое сильнее всяких разумных причин заставляет человека быть довольным собой и считать всех своими друзьями. [Может быть, это происходит оттого, что трудно не счесть своим другом того, с кем вместе ел.] Наполеон находился в этом расположении. Ему казалось, что он окружен людьми, обожающими его. Ему даже казалось, что и Балашов должен был быть после его обеда его другом и обожателем.

Это не заблуждение, а неестественно человеку, после того как они вместе сидели с другим за обедом, думать, что этот другой его враг. Наполеон дружески, с приятной улыбкой, забывая, кто был Балашов, обратился к нему:

— Это тоже комната, как мне говорили, в которой жил император Александр? Странно.

Балашов коротко утвердительно ответил, грустно опустив голову.

— В этой комнате 4 дня тому назад совещались Винценгероде и Штейны,— вдруг опять вспыльчиво заговорил Наполеон, оскорбленный тоном ответа Балашова.— [не могу простить императору Александру] Чего я не могу перенести,— заговорил он,— это то, что император Александр приблизил к себе всех личных моих неприятелей. Вы не подумали, что я могу сделать то же. Да. Я выгоню из Германии всех его родных — виртембергских, баденских, веймарских, да, я выгоню их... Наполеон опять стал ходить как утром.— Пусть он готовит для них убежище в России. [Мне сказывали]

Балашов встал, и видом своим показывая, что он желал бы откланяться. Наполеон, не обращая на него внимания, продолжал:

— И зачем он принял начальство над войском, к чему это? Война — мое ремесло, а его дело царствовать, а не командовать войсками. Зачем он взял на себя такую ответственность?

Он замолчал и молча прошел несколько раз по комнате и вдруг неожиданно подошел к Балашову и с легкой улыбкой так уверенно, и быстро, и просто, как будто он делал какое-нибудь не только важное, но и благодетельное дело, он поднял руку [и слегка] к лицу Балашову и слегка тронул его за ухо. Avoir l'oreille tirée par l'Empereur[16] считалось честью в французской империи.

— Eh bien, vous ne dites rien, admirateur et courtisan de l'Empereur Alexandre?[17]

— Готовы ли лошади для генерала? — прибавил, слегка наклоняя голову в ответ на поклон Балашова.— Дайте ему моих, ему далеко ехать.

Письмо, привезенное Балашовым, было последнее, которое когда-либо прочел Александр. Все подробности разговора были переданы русскому императору, и война началась.

⟨IX⟩

После своего свидания в Москве с Pierr'ом, князь Андрей уехал в Петербург в надежде встретить там князя Курагина, которого он считал необходимым встретить. Но в Петербурге он узнал, что Курагин[1] уехал

---

[15] На полях: *Хлеб вместе съесть — у древних сближает.*

[16] Быть выдранным за ухо императором

[17] Ну, что ж вы ничего не говорите, почитатель и придворный императора Александра?

[1] В автографе: *Куракин* (прим. составителя).

по поручению военного министра в Молдавскую армию. В это же время в Петербурге князь Андрей узнал, что Кутузов, его прежний, всегда расположенный к нему генерал Кутузов, назначен в Молдавскую армию помощником к фельдмаршалу Прозоровскому. Князь Андрей подал прошение о зачислении его в [Турецкую] Молдавскую армию и, получив назначение состоять при штабе главной квартиры, уехал в Турцию.

Пробыв около году в Турецкой армии в начале 12-го года, когда Кутузов уже жил более двух месяцев безвыездно в Букаресте с своей любовницей валашкой, ведя переговоры о мире, и когда доходили слухи о близкой войне с французами, князь Андрей опять попросился в русскую армию и по протекции Кутузова был перечислен к главному штабу военного министра Барклая де Толли.

Вскоре после того как князь Андрей приехал в Турецкую армию, Курагин вернулся в Россию и князю Андрею не удалось встретить его. Князь Андрей считал неудобным писать к Курагину и вызывать его. Не подав нового повода к дуэли, князь Андрей считал вызов с своей стороны компрометирующим Наталью Ростову, и потому он дожидался [и искал] личной встречи, в которой он намерен был найти новый повод к дуэли.

Несмотря на то, что прошло более года со времени его возвращения из-за границы, решение князя Андрея не изменилось, как и не изменилось его общее настроение. Сколько бы ни прошло времени, он не мог, встретив его, не вызвать его, как не мог голодный человек не броситься на пищу. И сколько бы ни прошло времени, он не мог видеть в жизни ничего другого, [как искусство, чем-нибудь наполняя досуг, доживать до смерти] как сочетание пороков, несправедливостей, глупостей, которая могла быть занимательна только тем презрением, которое она возбуждала в нем. Рана его физическая совершенно зажила, но нравственная была всё так же раскрыта. Не измена невесты разочаровала его в жизни, но измена невесты была последним из его разочарований. Единственное наслаждение его в жизни теперь было гордое презрение ко всему и ко всем, которое он любил высказывать очень часто таким людям, которые не могли понимать и которых он презирал, так же как и других. Он становился умным, но праздным и желчным болтуном, которыми так часто бывают холостые незанятые люди. Сын его не требовал его поддержки и деятельной любви — при нем был привезенный из Швейцарии institeur M-r Laborde[2] и тетка, княжна Марья. Да и потом [при самых] [что], чем же мог быть этот мальчик при самых лучших условиях воспитания? Или [такой же дрянью] таким же обманщиком или обманываемым, как все живущие и действующие в этом мире, или таким же несчастным, слишком ясно видящим всю тупость этого мира, презирающим всё человеком, как и его отец. Так думал о нем князь Андрей. В Турции он получал редкие письма от отца, сестры, Labord'a и Николушки, который уже писал по линейкам. Видно было, что княжна Марья страстно любит Николушку, что Laborde находится в восхищении перед княжной Марьей и что отец всё такой же.

Прежде чем ехать в армию, находившуюся в мае в Дрисском лагере, князь Андрей заехал в Лысые Горы, которые были на самой его дороге, находясь в 3-х верстах от Смоленского большака. [Князь Андрей в первый раз после] Последние три года в жизни князя Андрея было так много переворотов, так много он передумал, перечувствовал, перевидел (он объехал и запад и восток), что его странно и неожиданно поразило при въезде в Лысые Горы всё точно то же, до малейших подробностей,— то же устройство жизни. Он, как 〈в〉 заколдованный, заснувший замок, въехал в аллею и в [тесовые] каменные ворота лысогорского дома. Та же степенность, та же чистота, та же тишина была в этом доме, те же мебели, те же

---

[2] В автографе: *la Borde* (прим. составителя).

стены, те же пятна и те же робкие лица, только несколько постаревшие. Княжня Марья пополнела, но глаза ее потухли и редко зажигался в них прежний лучистый свет, она как будто примирилась с своей жизнью. Bourienne тоже пополнела, похорошела и стала увереннее, как показалось князю Андрею. Laborde [сшил] был одет в русского покроя сюртук, коверкая язык, говорил по-русски с слугами, но был всё тот же ограниченно-умный, образованный, добродетельный и педантический воспитатель. Старый князь переменился только тем, что с боку рта у него стал заметен недостаток одного зуба. Один только Николушка вырос, переменился, разрумянился, оброс курчавыми темными волосами и, сам не зная того, смеясь и веселясь, поднимал верхнюю губку хорошенького ротика точно так же, как его поднимала покойница маленькая княгиня. Он один не слушался закона неизменности этого заколдованного спящего замка.

Князь Андрей намерен был прожить [три] неделю, но пробыл только три дня. С первого взгляда он заметил, что, хотя по внешности всё оставалось по-старому, внутренние отношения изменились. Члены семейства были разделены на два лагеря, чуждые и враждебные, которые сходились теперь только при нем, для него изменяя свой обычный образ жизни. К одному принадлежали старый князь и m-lle Bourienne и архитектор, к другому — княжна Марья и Laborde, Николушка и все няньки и мамки.

Вечером первого дня камердинер Петр, уложив барина и стоя со свечей, рассказал князю Андрею, что [⟨француженка?⟩] обыкновенно князь не выходят кушать в столовую, а им подают в кабинет с Амели Карловной и ахтитехтуром, а княжна кушают особо и иногда по недели не сходятся с папенькой.

Действительно со времени сватовства князя Андрея старый князь сначала шутя, а потом уже сериозно всё более приближал к себе Bourienne, которая читала ему вслух, и всё менее и менее мог переносить присутствие своей дочери. Всё в ней раздражало его и приводило к несправедливости, которую он чувствовал, и тем более тяготился. Именно потому, что он любил княжну Марью, он не мог переносить ее. Он хотел, чтобы она была совершенна, и видел, что не может переделать ее и не может примириться с нею такою, какая она есть. Bourienne же была для него только приятный предмет, до души и качеств которого ему дела не было. Ежели она льстила и притворялась, ему до этого и дела не было, только бы ему было приятно. Но в княжне малейшее отклонение от его идеала раздражало его. Внука он любил, но не одобрял его воспитания и потому старался не видать его. Единственное [кроме политики, за которой он продолжал следить, были постройки] занятие его теперь, кроме чтения, ⟨*2 нрзб*⟩ были постройки. Только что он отстроил оранжерею, он затеял огромный летний дом в греческом стиле [который отделать нельзя было раньше] в новом саду, где он копал пруды и сажал деревья. Только говоря об этом будущем парке и летнем доме, которые ⟨*1 нрзб*⟩ могли быть в ⟨*2 нрзб*⟩ не раньше 50 лет, старик оживлялся как прежде. Об общих же делах политики он теперь говорил мало и [неохотно] не то что неохотно, а сдержанно. Князь Андрей несколько раз заметил, что когда он, стараясь расшевелить старика, начинал рассказывать отцу о турецкой войне, о будущей кампании с Бонапартом, старик вслушивался [как будто], хотел что-то сказать и потом как будто раздумывал, как будто он знал что-то такое, что уничтожало весь интерес этих соображений и что не стоило говорить того, что он знает, потому что не могут понять его. Во время его пребывания в Лысых Горах все домашние обедали вместе, но всем было неловко, и князь Андрей чувствовал, что он гость [и что он стесняет], для которого делают исключение, что он стесняет своим присутствием. Во время обеда князь Андрей, невольно чувствуя это, был молчалив, и старый князь [угрюмо], заметив неестественность его состояния, тоже угрюмо замолчал и ушел к себе. Когда на другой день князь Андрей пришел к нему, старый князь неожиданно начал с ним разговор о

княжне Марье, осуждая ее за суеверия, за ее нелюбовь к m-lle Bourienne, которая одна истино предана ему[3].

Князь Андрей, само собой разумеется, ничего не мог сказать и помочь ему. Но старый князь говорил для того, чтобы сын мог выслушать и промолчать [и тогда бы это много для него значило]. [Чего хотел старый князь, жалуясь на дочь? Он только] [Хоть бы оставила Бурьен, сама бы вышла замуж, я не держу, или в монастырь, она любит.

Чем дольше он говорил, тем больше разгорался и тем убедительнее для него самого становилось его безвинность в отношении княжны Марьи и все ее вины в отношении к нему. Сын ничего не мог сказать и помочь ему. Но сын мог выслушать и промолчать.] Старый князь чувствовал до глубины души, что он виноват перед дочерью, что он мучает и как только можно мучать живое существо, но не мучать ее он не мог. Стало быть, надо было ее мучать, и он был прав, что мучал ее и на то были причины. И он нашел эти причины. Смутно ему казалось, что князь Андрей не одобряет его образ действий. Он, верно, не понимает и потому надо объяснить ему, надо, чтобы он выслушал. И он стал [рассказывать] объяснять. Но князь Андрей в том душевном состоянии, в каком он находился, не мог спокойно слушать. Ему тоже нужно было бороться, и спорить, и делать других несчастными. «Что ж мне его жалеть,— подумал князь Андрей.— Он мне отец, пока он справедлив, «magnus amicus Plato, sed majus amica veritas»[4].

— Ежели вы спрашиваете меня,— сказал князь Андрей, не глядя на отца (он в первый раз в жизни осуждал своего отца [то]),— я не хотел говорить, ежели вы меня спрашиваете, [то я скажу вам, что вы мучаете сестру, que vous lui rendez la vie dure[5], и что Маша] так я скажу вам, напротив, я нежнее и добрее существа княжны Марьи не знаю и не могу понять, за что вы ее отдаляете от себя. Ежели уж вы спрашиваете меня,— продолжал князь Андрей, раздражаясь, потому что он всегда был готов на раздражение это последнее время и [сам] не соображая того, что он говорил,— то я одно могу сказать, что княжна Марья и так жалка мне. Маша такое добрейшее и невиннейшее существо, которое надо жалеть и лелеять, так что,— князь Андрей не мог договорить, потому что старик выпучил сначала глаза на сына, потом сардонически ненатурально захохотал и хохотом открыл главный недостаток зуба, к которому князь Андрей не[6] мог привыкнуть.

— Так ей надо дать волю мучать меня и твоего сына глупостью своей...

— Батюшка, я не могу быть судьей всего, но вы вызвали меня и я сказал и всегда скажу, что [в ваших раздорах вы виноваты и эта француженка] не столько вы сами виноваты, сколько эта француженка.

— А! Присудил! Ну, хорошо, хорошо. Очень хорошо,— сказал он тихим голосом, потом вдруг вскочил и, с энергическим жестом указывая на дверь, закричал:— Вон! вон! Чтобы духу твоего тут не было...

Князь Андрей вышел с грустной улыбкой. «Всё это так и должно быть на этом свете»,— подумал он.

Княжна Марья, узнавшая о ссоре князя Андрея с отцом, стала упрекать его за это.

[И он уехал вечером, не видав отца и простившись с одной княжной Марьей] [Княжна Марья, узнавшая о причине ссоры князя Андрея с отцом, само собой разумеется, упрекала его за это, и когда только] Князь Андрей хотел тотчас же уехать, но княжна Марья [не пустила] упросила остаться еще день. В этот день князь Андрей виделся с отцом. Он не

---

[3] К тексту: *После своего свидания* (с. 592) ∾ *предана ему.*— см. Варианты, № 32.

[4] Платон мне друг, но истина дороже (*лат.*).

[5] что вы делаете ее жизнь тяжелой

[6] Верхний правый угол листа автографа оторван, и это слово, а также окончания слов следующих двух строк автографа утрачены. Воспроизводится по копии (прим. составителя).

говорил о прежнем разговоре. Только старый князь говорил своему сыну «вы» и особенно щедр и предупредителен был в награждении его деньгами. На другой день князь Андрей велел укладываться и пошел на половину сына[7]. Ласковый, по матери кудрявый мальчик сел ему на колени. Князь Андрей [не успел досказать сказку о Синей Бороде, как вошел] начал сказывать ему сказку о Синей Бороде, но, не досказав, задумался и обратился к Labord'у.

— Так вы очень хороши с княжной?— сказал он ему.— Я очень рад, что вы сходитесь во взгляде на воспитанье...

— Разве можно не сходиться с княжной,— восторженно сложив руки[8],— сказал Laborde.— Княжна, этот образец добродетели, ума, самоотвержения. Ежели Nicolas не выйдет [таким же] прекрасным человеком, то это будет не вина окружающих его,— сказал с наивным самохвальством.

Князь Андрей [улыбнулся] заметил это, но заметил, как и в прежних своих разговорах с Laborde, его искренний восторг перед княжной. [Ну, а в религиозном отношении, как вы]

— Ну, рассказывай же,— говорил сын.

Князь Андрей, не отвечая, опять обратился к Laborde.

— Ну, а в религиозном отношении, как вы сходитесь с Marie? — спросил он.— Вы ведь поборник протестантства.

— В княжне я вижу только одно: чистейшую сущность христианства и никакого пристрастия к формам, и в религии, как и во всем, она совершенство.

— А ее странники, монахи, видели вы их? — спросил с улыбкой князь Андрей.

— Нет, не видал, но слышал про них. Княжна заметила, что князю это неприятно, и перестала принимать их.

Действительно, последнее время княжна так страстно привязалась к своему плану странствования и так очевидно убедилась, что она не может исполнять его иначе, как после смерти отца, что мысль о возможности желания этой смерти ужаснула ее. Она отдала свое платье Федосьюшке и оставила эту мечту.

В середине разговора Андрея с Laborde княжна Марья испуганно вошла в комнату.

— Как? вы едете? — сказала она. И на утвердительный ответ брата она увела его в свою комнату, чтобы переговорить с ним.

Как только она начала говорить об этом, [слезы] губы ее задрожали и слезы закапали. Князь Андрей понял, что в противность ее словам, говорившим, что ей хорошо, слезы эти говорили, что он угадал, как она страдает, и что она благодарна и любит его еще больше (ежели это возможно) за его заступничество[9].

— Mais n'en parlons plus, cela passera. Je tâcherai de l'apaiser[10] (она знала, что это невозможно, что всё при враждебной разлуке падет на нее же).— Но вот что я тебе хотела сказать.— Она нежной рукой, [таким] грациозным, женственным жестом взяла его за локоть, подвинулась к нему, и в глазах ее, в которых еще стояли слезы, засветились прямо в лицо брата [лучи любви] успокоивающие, поднимающие дух, лучи любви, одной любви [ко всем людям]. Она забыла уже о себе. Так, как в 5-м году ей нужно было надеть образок на Андрея, так теперь ей надо было дать ему совет, дать ему успокоение, утешение в его горе. Она знала обо всем по письмам Julie Друбецкой (теперь), но никогда не говорила о том с братом. «И не найдется человек, который бы понял

---

[7] В автографе: *сыну* (прим. составителя).

[8] В автографе: *руку* (прим. составителя).

[9] Верхний угол листа оторван, и утрачены начала слов пяти строк автографа. Восстановлено по смыслу (прим. составителя).

[10] Не будем больше говорить об этом, это пройдет. Я постараюсь его успокоить.

и оценил всю нравственно женскую прелесть [красоту] этой девушки,— подумал князь Андрей, глядя на нее.— И так погибнет, забитая и загнанная выживающим из ума старым отцом».

— André, об одном я прошу и умоляю тебя. Ежели у тебя есть горе (княжна Марья опустила глаза), не думай, что горе это сделали тебе люди. Люди — орудия Его.— Она взглянула немного повыше головы князя Андрея с уверенным, привычным взглядом, с которым смотрят на знакомое место портрета. Она, верно, видела Его, когда говорила это.

— Горе послано Им, а не людьми. Люди Его орудие,— они не виноваты. Ежели тебе кажется, что кто-нибудь виноват перед тобой, забудь это и прости. Ради бога, André, не мсти никому. Мы не имеем права наказывать. Мы сами наказаны.

André, только увидав ее взгляд, понял всё, понял, что она знала всё, понял, что она знала его [знала, теперь его цель убить Курагина] желание встретить и вызвать Курагина, который был в главной армии и говорила об этом. Ему хотелось верить ей. Он чувствовал всю высоту ее [мысли] чувства. Он хотел вступить на нее...[11] «Простить что? — спросил он себя.— Чувственные поцелуи женщины, которую я любил выше всего? Кому? Простить? Этому... Нет, это нельзя вырвать из сердца».

— Ежели бы я был женщина, я бы это сделал, Мари.— Это добродетель женщины, но ежели мужчину ударят в лицо, он не то что не должен, он не может простить.

— André...

— Нет, душа моя, нет, милый мой друг Маша, я никогда не любил тебя так, как теперь. Не будем говорить об этом.— Он обнял голову Маши [и поцеловал], заплакал и стал целовать ее.

Послышались шаги няньки и Николаши. Брат и сестра оправились. Андрей посадил к себе на колени Николашу.

— Поедем со мной,— сказал князь Андрей.

— Нет, я не поеду. Я с тетей пойду завтра в сад и соберу шишки, [знаешь шишки,— и волк придет, и собаки, много, много пустятся по большой дороге] знаешь шишки, и из шишки сделаю такой дом, знаешь, что все будут ехать по *большой* дороге. Знаете большую дорогу...

Николаша еще [не договорил своей истории, которой смысл заключался только в произношении новых слов (Николаша учился говорить), как Андрей встал и стал собираться. Он не согласился на просьбы княжны Марьи попытаться зайти еще к отцу, после того как старый князь прогнал посланного, спрашивавшего, можно ли прийти проститься. Князь сел в коляску (старик между тем ждал и готовил речь, с которой он примет сына).

— Это всё пройдет,— по-французски успокоивал князь Андрей. Я напишу ему [и встал прощаться]. Прощай.] не договорил своей истории, как Андрей встал, поднял его и опять со слезами припал к его хорошенькому личику. Князь Андрей совсем собрался и послал спросить отца, может ли он прийти к нему проститься. Посланный воротился с известием, что князь [прогнал] сказал, они уже простились и желают хорошего пути. Княжна Марья умоляла Андрея подождать еще день, говорила о том, что она знает, как будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет, не помирившись с ним, но князь Андрей успокоивал сестру, что он, вероятно, скоро приедет опять из армии и непременно напишет отцу, а что теперь, чем дольше оставаться, тем больше растравится этот раздор.

— Это всё пройдет, всё пройдет,— говорил князь Андрей.

— Adieu, adieu. Rappelez-vous que les malheurs viennent de Dieu et que les hommes ne sont jamais coupables[12],— прокричала княжна Марья, когда коляска тронулась. И последние слова, которые слышал, были

[11] Так в автографе: фраза не закончена и не вычеркнута (прим. составителя).

[12] Прощай, прощай. Помни, что несчастия происходят от бога и что люди никогда не бывают виноваты.

«le droit de punir»[13], которые [произнесла] произнес полный слезами голос Марии. «Так это должно быть,— думал князь Андрей.— Она — прелестное существо,— остается на съедение прекрасному, но выжившему из ума старику. Я знаю, что она говорит правду, но сделаю противное. Мальчишка мой хочет поймать волка. А я еду в армию. Зачем? Не знаю. Так надо. И всё равно, всё равно.

⟨X⟩

Князь Андрей приехал в главную квартиру армии 13 июля. Как ни мало занимали его теперь общие вопросы войны, он знал, что Наполеон перешел Неман, занял Вильно, [после] [разделил] разрезал надвое армию, что наши отступали к укрепленному лагерю на Дриссе, что были небольшие дела при отступлении, целью которых было только спасение армий и соединение их. Соединение еще не было достигнуто, и оно было сомнительно, как говорили. [Командовал] По слухам знал князь Андрей, что армиями командовал сам император Александр и что главным распорядителем был пруссак Пфуль, тот самый, [который делал диспозицию при Иене и что] который с другими учеными пруссаками [заведывал] сделал план прусской иенской кампании, и что Пфуль имел полное доверие государя. При армии находились [кроме]: Румянцев — канцлер, бывший военный министр, Аракчеев, новый военный министр Барклай де Толли, Бенигсен без назначения, Армфельд — шведский генерал, Штейн — бывший прусский министр, Паулучи — знакомый князя Андрея по Турции и вообще огромное количество иностранцев и сложный механизм штабных должностей. В случайных разговорах по дороге с военными чиновниками князь Андрей заметил общий характер недоверия к начальству и самые дурные предчувствия об исходе войны. Но об опасности нашествия в русские губернии никто не думал.

Князь Андрей был назначен состоять при штабе Барклая де Толли, там же при этом штабе должен был быть и Курагин. Князь Андрей нашел Барклая де Толли на берегу Дриссы. Войска располагались в укрепленном лагере [по предварительному распоряжению Пфуля] по плану Пфуля. Так как не было ни одного большого села или местечка в окрестностях, то всё огромное количество генералов и придворных расположилось в окружности 10 верст по лучшим домам деревень по сю и по ту сторону реки. Барклай де Толли стоял в 4 верстах от государя. Он [как всегда] сухо и холодно принял Болконского и сказал своим немецким выговором, что он доложит о нем государю для определения ему назначения. Тут князь Андрей, не спрашивая о том, случайно узнал, что Анатоль находится в армии Багратиона, куда он был послан и где остался. Князю Андрею было приятно это известие. Он не намерен был искать Курагина, он не торопился исполнить свое решение; он знал, что оно никогда не изменится. Здесь же, несмотря на всё его равнодушие к жизни, интерес центра производящейся огромной войны невольно привлек его. Тут в продолжение 4 дней до...[1] июля, пока он не был никуда требуем, князь Андрей из разговоров с штабными успел узнать, что в управлении армиями происходила [⟨неимоверная?⟩] такая путаница[2], которой даже князь Андрей, в настоящем настроении своего духа находящий всё безобразное таким, каким оно должно было быть, не мог себе представить. [Армия была разделена] Когда еще они стояли в Вильне, армии были разделены надвое. 1-я армия была под начальством Барклая де Толли, 2-я под начальством Багратиона. Государь находился при 2-й армии, но не в качестве полководца. В приказе ⟨не⟩ было сказано, что государь бу-

[13] «право наказывать»

[1] Отточие в автографе (прим. составителя).

[2] На полях: *Великий князь, наследник озлоблен, что его не спрашивают, всех критикует.*

дет командовать, сказано только, что государь будет при армии. Кроме того, при государе лично не было штаба главнокомандующего, а был штаб императорской главной квартиры. При нем были начальник его императорской квартиры — князь Волконский и его чиновники, генералы и флигель-адъютанты и большое количество иностранцев, но [не было генерал-квартирмейстера, генерал-интенданта и т. д.] не было штаба армии. Так что иногда надо было исполнять приказы князя Волконского, когда знали, что они идут от государя, иногда нет. Кроме того, без должностей находились при государе: Аракчеев, полный генерал, Бенигсен, старший всех, и великий князь. Хотя эти лица и находились без должностей, но по своему положению они имели влияние, и корпусной начальник часто не знал, в качестве чего спрашивает или советует то или другое Бенигсен, или великий князь, или главнокомандующий. Но это была внешняя обстановка, существенный же смысл присутствия государя и всех этих лиц был с придворной точки 〈зрения〉 (а в присутствии государя все делаются придворными), всё было ясно. Он был следующий: государь не принимал на себя звания главнокомандующего, [командовал] распоряжался [войсками] той и другой армией. Аракчеев был верный исполнитель и блюститель выгоды и порядка, который всякую минуту мог понадобиться. Бенигсен, помещик виленский, как будто делал les honneur[3] края, [но] в сущности, был хороший генерал, полезный для совета, а может, и для того, чтобы заменить им Барклая. Великий князь был тут, потому что это было ему угодно. Министр Штейн был тут потому, что он был полезен для совета [об направлении умов], и потому, что он был честный, умный человек, которого умел ценить Александр. Армфельд был злой ненавистник Наполеона и генерал, уверенный в себе, что имело всегда влияние на Александра. Паулучи был потому, что он был смел и решителен в речах. Генерал-адъютанты были тут потому, что они везде, где государь, и наконец, главное, Пфуль был тут, потому что он, составив [и заставив] план войны против Наполеона и заставив Александра поверить в целесообразность этого плана, руководил всем делом войны. При Пфуле был Вольцоген, который передавал мысли Пфуля в более доступной форме, чем сам Пфуль, резкий [иронический], самоуверенный до презрения ко всему и кабинетный теоретик.

Кроме этих поименованных лиц, русских и иностранных, при императорской квартире их было еще много (особенно иностранцев) и каждый, особенно иностранец (с смелостью, свойственной человеку в деятельности среди чужой среды), вносил свою лепту разномыслия в эту управляющую армией организацию.

Князь Андрей, не имея никаких личных интересов, был в самом выгодном положении для наблюдения. В числе всех мыслей и голосов в этом огромном, беспокойном, блестящем и гордом мире князь Андрей видел следующие, более резкие подразделения направлений и партий.

[направления. Во-первых, было направление Пфуля, т. е. тактиков, методиков, теоретиков — таких людей, которые вместе с Пфулем имели непреоборимое ничем презрение к действительности] [направлений:

1) [Придворное] Пфуль [с оттенком своего] — методик.
2) Противоположность — 〈атака?〉 — Багратион, Ермолов.
3) Придворные Пфуль, Багратион с оттенком.
4) Придворные — уехать царю.
4) Константин Павлович. Всё пойдет к чёрту. Надо мир.
5) Личные a) барклаевское — не меня, так кого-нибудь; b) бенигсенское — не минуют меня; c) царское — самые преданные; d) 〈Матаморские?〉 — Паулучи; e) 〈2 нрзб〉 и, наконец, 6) что надо это всё кончить и государю уехать.

---

[3] почести

Разумно-старческое государственное.]

⟨1)⟩ Первая партия была Пфуль и его последователи, теоретики войны, верящие в то, что есть наука войны и что в этой науке есть свои неизменные законы, законы облического движения, обхода и т. п., и требующие отступлений в глубь страны, отступления по точным законам, предписанным этой мнимой теорией войны, и [вне этой] во всяком отступлении от этой теории видели только варварство, необразованность или злонамеренность. К этим принадлежали Вольцоген, Армфельд и другие, преимущественно немцы.

2) Как и всегда бывает, при одной крайности были представители другой крайности [Практики] [и другой ⟨*1 нрзб*⟩]. Это были те, которые еще с Вильно требовали наступления [и свободу] в Польшу и свободу от всяких вперед составленных планов. Кроме того, что представители этой партии [предлагали все совершенно] были представители смелых действий, они вместе с тем и были представителями национальности, вследствие чего становились еще одностороннее в споре. Это были [преимущественно] [всё] русские: Багратион, Ермолов и другие. В это время была распространена известная шутка Ермолова, будто бы просившего государя об одной милости — производства его в немцы. Эти говорили, вспоминая Суворова и Румянцева, что надо не думать, не накалывать иголками карту, а бить и драться, [и] не впускать неприятеля в Россию и не давать унывать войску.

3) к которой, как кажется, принадлежал и сам государь, были придворные делатели сделок между обоими направлениями. Эти думали и говорили, что говорят обыкновенно люди, не имеющие убеждений, но желающие казаться за таковых, тем более, что они как будто стоят выше обеих крайностей, обсудив и соединяя их,— эти говорили, что без сомнения, война, особенно с таким гением, [им, как и всем, казалось, что нужно как⟨ой⟩-то особый дар, называемый гений, для того, чтобы велеть привезть вовремя сухари и велеть этому полку идти сюда, а этому сюда. Они говорили: война с гением.] как Бонапарте (он опять сделался Бонапарте), требует глубокомысленных соображений, глубокого знания науки (и в этом деле Пфуль гениален); но вместе с тем, без сомнения, теоретики односторонни, и потому мы прислушиваемся и к голосам, требующим энергического действия, соединим все и выйдет... каша, говорили их противники, но они говорили, что выйдет прекрасно.

4) направление было направление, которого самым видным представителем был великий князь, наследник, цесаревич, не могший забыть своего аустерлицкого разочарования, где он, как на смотр, выехал перед гвардию в каске и колете, рассчитывая молодецки раздавить французов, и попал неожиданно в 1-ю линию и насилу ушел в общем смятении. Эти имели в своих суждениях и качество и недостаток искренности. [Они говорили] Они боялись Наполеона, видели в нем силу, в себе слабость и прямо высказывали это [и давали чувствовать]. Они говорили: «Ничего, кроме горя срама и погибели, из всего этого не выйдет. Вот мы оставили Вильно, оставили Витебск, оставим и Дриссу». «Tous les allemands sont des cochons»[4],— коротко и ясно говорил великий князь.— Одно, что нам остается умного сделать, это заключить мир, и как можно скорее, пока не выгнали нас из Петербурга. Воззрение это, сильно распространенное в высших сферах армии, находило себе поддержку и в Петербурге [в особенности] и в канцлере Румянцеве, по другим государственным причинам стоявшем также за мир.

5) Были приверженцы Барклая де Толли не столько как человека, сколько как военного министра и главнокомандующего. Они говорили: «Какой он ни есть (но *почти* всегда так начинали), он честный, дельный человек, лучше его нет. Дайте ему начальника штаба и дайте ему власть,

---

[4] «Все немцы — свиньи».

потому что война не может идти успешно без единства начальствования. Ну, хоть не Барклай,— говорили они,— только не Бенигсен, он уже показал свою неспособность в 7-м году, дайте хоть кого-нибудь, но кто-бы имел власть, а так не может идти».

6) Бенигсенисты говорили, напротив,— все-таки нет никого дельнее и опытнее Бенигсена, и, как ни вертись, все-таки придешь к нему. Пускай теперь делают ошибки, чем более наделают ошибок, тем лучше: по крайней мере скорее поймут, что так не может идти. И нужен не какой-нибудь Барклай, а человек, как Бенигсен, который показал уже себя, которому отдал справедливость сам Наполеон и за которым бы охотно признавали власть.

7) Были лица, и которые всегда есть, в особенности при молодых государях, и которых особенно много было при императоре Александре — лица из генералов и флигель-адъютантов, страстно преданные государя[5] не как императора, но как человека, обожающие его, как его обожал Ростов в 1805 году, и видящие в нем не только все добродетели, но и все качества людские. Эти лица, хотя и восхищались скромностью государя, но жалели о ней и желали одного, чтобы обожаемый государь, оставив излишнее недоверие к себе, объявил бы открыто, что он становится во главе войска, составил бы при себе штаб главной квартиры и, советуясь, где нужно, с опытными теоретиками и практиками, сам бы вел свои войска, которых одно это довело 〈бы〉 до высшего состояния воодушевления.

8) Самая большая группа людей, которая по своему огромному количеству относилась к другим, как 99 к 1, состояла из людей, не желающих, ни не желающих ни мира, ни войны, ни наступательной, ни 〈не〉-наступательной, ни лагеря при Дриссе или где бы то ни было, ни Барклая, ни государя, ни Пфуля, ни Бенигсена, но желающих только одного, и самого существенного,— наибольших для себя выгод и удовольствий. В той мутной воде перекрещивающихся и перепутывающихся интриг, которые кишели при главной квартире государя, в весьма многом можно было успеть в таком, что немыслимо бы было в другое время. Один, не желая только потерять своего выгодного положения, нынче соглашался с Пфулем, завтра с противником его, послезавтра утверждал, что не имеет никакого мнения об известном предмете, только для того, чтобы избежать ответственности. Другой, желающий приобрести выгоды, обращал на себя внимание государя своим 〈матаморственным?〉 спором и кричал в совете, ударяя себя в грудь и вызывая несоглашающихся на дуэль и тем показывая, что он готов быть жертвою общей пользы. [Так поступал Паулучи (без нации)] 3-й просто под шумок выпрашивал себе [единовременное] между двух советов и в отсутствие врагов единовременное пособие за свою верную службу. 4-й нечаянно всё попадался на глаза государя, отягченный работой. 5-й достигал давно желанной цели — обеда у государя и для этого доказывал, что прав Пфуль или не прав, и приводил более или менее сильные доказательства. [6) просто находил, что] [6) заметив, что нынче государь недоволен Барклаем, дипломатически намекал на то, что необходимо]

Большинство ловило рубли, кресты, чины и в этом ловлении следило только за направлением флюгера царской милости, и только что замечало, что флюгер обратился в одну сторону, как всё это трутневое население армии начинало дуть в ту же сторону, так что государю тем труднее было повернуть его в другую. Среди неопределенности положения, при угрожающей, сериозной опасности для армии, придававшей всему особенно тревожный характер, среди этого вихря интриг, самолюбий, [споров] столкновений, различных воззрений и чувств, при разноплеменности всех этих лиц, эта 8-ая партия людей, занятых личными интересами, прида-

[5] Так в автографе.

вала большую запутанность и смутность общему делу. Какой бы ни поднимался вопрос, как уж рой этих трутней, не оттрубив еще над прежним, [перелетал сюда] перелетал на новую тему и своим жужжанием заглушал и затемнял все искренние, спорящие голоса.

Из всех этих партий, в то самое время, как князь Андрей приехал к армии, собралась еще одна, 9, последняя партия, начинавшая поднимать свой голос. Это была партия людей старых, разумных, государственно-опытных и умевших [дать себе] [не входя ни в одно], не разделяя ни одно из противоречащих направлений, объективно посмотреть на все, что [творилось] делалось при штабе главной квартиры, и обдумать средства [помощи] выхода из этой неопределенности, нерешительности, запутанности и слабости. Люди этой партии говорили и думали, что всё дурное происходит от присутствия государя с военным двором при армии; что в армию перенесена та неопределенность, условная и колеблющая шаткость отношений, которая удобна при дворе, но вредна в армии; что государю нужно царствовать, а не управлять войском; что единственный выход из этого положения есть отъезд государя с его двором из армии; что одно присутствие государя парализует 50 тысяч войска, нужных для его обеспечения, что самый плохой независимый главнокомандующий будет лучше самого лучшего, связанного присутствием и властью государя.

⟨XI⟩

В то самое время как князь Андрей жил без дела на Дриссе, Шишков, государственный секретарь, бывший одним из главных представителей этой партии, написал государю письмо, которое согласились подписать Балашов и Аракчеев. В письме этом, [в котором они] пользуясь позволением, данным им государем рассуждать об общем ходе дел, они почтительно и под предлогом необходимости для государя воодушевить к войне народ в столице, предлагали государю оставить войско.

Письмо это еще не было подано государю, когда Барклай за обедом передал Болконскому, что государю лично угодно видеть князя Андрея для того, чтобы расспросить его о Турции, и чтобы князь Андрей явился в квартиру [государя] Бенигсена в 6 часов вечера. В этот же день в квартире государя было получено известие о новом движении Наполеона, могущем быть опасным для армии. И в это же утро полковник Мишо, объезжая с государем Дрисские укрепления, [уяснял государю невыгоды этого положения] [Дом, занимаемый государем, был не велик. Из прихожей был вход в небольшую залу, из залы затворенная дверь отделяла кабинет государя. В зале были разложены карты и находилось несколько генералов, из которых многих в первый раз видел Болконский. Ему передано было, чтобы он дожидался тут. Флигель-адъютант государя Чернышов знал князя Андрея, сообщил ему имена незнакомых лиц и объяснил, что государь, собрав у себя этих лиц, и поручил им обдумать и обсудить некоторые ⟨встретившиеся?⟩ положения плана, затруднения тут были] доказывал государю, что укрепленный лагерь этот, устроенный Пфулем и считавшийся [главным] chef-d'auvr'ом тактики, долженствующим погубить Наполеона,— что лагерь этот есть бессмыслица и погибель русской армии.

Князь Андрей приехал в квартиру генерала Бенигсена, занимавшего бывший помещичий дом на самом берегу реки. Ни Бенигсена, ни государя не было там; но [граф] Чернышов, флигель-адъютант государя, принял Болконского и объявил ему, что государь поехал с генералом Бенигсеном и с маркизом Паулучи [еще] другой раз в нынешний день для объезда укреплений Дрисского лагеря, [в которых ⟨превосходство?⟩], в удобности которого начинали сильно [колебаться] сомневаться.

Чернышов сидел с книгой французского романа у окна первой комнаты. Комната эта, вероятно, была прежде [конторой] залой, в ней еще

стоял орган, на который навалены были ковры какие-то, и в одном углу стояла складная кровать адъютанта Бенигсена. Этот адъютант был тут. Он, видно, замученный пирушкой или делом, сидел на свернутой постеле и дремал. Из залы вели две двери: одна прямо в бывшую гостиную, другая направо, в кабинет. Из первой двери слышались голоса разговаривающих по-немецки и изредка по-французски. Там, в бывшей гостиной, были собраны, по желанию государя [лично], некоторые лица, которых мнение о предстоящих затруднениях он желал знать. Это не был военный совет, но как бы совет избранных для уяснения некоторых вопросов лично для государя. Тут был генерал Армфельд, швед, тут был генерал-адъютант Вольцоген, тут был Винценгероде, там были Мишо, Толь, вовсе не военный человек — граф Штейн и, наконец, сам Пфуль, [про которого так много слышал князь Андрей и которого он имел случай] который, как слышал князь Андрей, был la cheville ouvrière[1] всего дела. Князь Андрей имел случай хорошо рассмотреть его, так как Пфуль вскоре после него приехал и прошел в гостиную, остановившись на минуту поговорить с Чернышовым.

Пфуль, с первого взгляда, в своем русском генеральском дурно сшитом мундире, который нескладно, как на наряженном, сидел на нем, показался князю Андрею как будто знакомым, хотя он никогда не видал его. В нем был и Вейротер, и Макк, и Шмит, и много других немецких теоретиков-генералов, которых он видел в 1805 году. [Он был] Пфуль был типичнее всех их. Такого [еще], соединявшего в себе всё, что было в тех, еще никогда не видал князь Андрей.

Пфуль был невысок ростом, но ширококост, грубого, здорового сложения, но очень худой, с широким тазом и костлявыми лопатками. Лицо у него было очень морщинисто, с глубоко вставленными [глазами] умными и блестящими глазами. Волоса его спереди, у висков, торопливо были приглажены щеткой, сзади наивно торчали кисточками. Он, беспокойно и сердито оглядываясь, вошел в комнату, как будто он всего боялся в большой комнате, куда он вошел. Он неловким движением, придерживая шпагу, обратился к Чернышову, спрашивая по-немецки, где [собрался генералитет] государь. Ему, видно, как можно поскорее хотелось пройти комнату [и], сесть 〈на〉 место и заняться делом. Он поспешно кивал головой на слова Чернышова и иронически улыбался, слушая его ответ, что государь осматривает укрепления. «Есть кому и есть с кем рассматривать укрепления,— как будто говорил он, кивая головой и иронически посапывая,— когда я их заложил». И он что-то басисто и круто, как говорят самоуверенные немцы, проворчал про себя: «Dummkopf...» или zu Grunde die ganze Geschichte... или: s'wird was gescheites d'raus werden...[2] Князь Андрей не расслышал. Чернышов познакомил князя Андрея с Пфулем, заметив, что князь Андрей приехал из Турции, где так счастливо кончена война. Пфуль чуть взглянул не столько на князя Андрея, сколько через него, и проговорил смеясь: «Da muss ein schöner taktischer Krieg gewesen sein»[3].— И, засмеявшись презрительно, прошел в комнату, из которой слышались голоса.

Видно, Пфуль, уже всегда готовый на ироническое раздражение, нынче был особенно возбужден тем, что осмелились без него осматривать его [укрепления] лагерь и судить о нем. Князь Андрей по одному короткому этому свиданию с Пфулем, благодаря своим аустерлицким воспоминаниям, составил себе ясную характеристику этого человека.

Пфуль был один из тех безнадежно, неизменно, до мученичества самоуверенных немцев, которые только бывают немцы, и именно потому, что только немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи —

---

[1] главной пружиной
[2] Дурацкая голова... к чёрту всё дело... из этого выйдет что-то безобразное (*нем.*).
[3] «То-то должно быть правильно — тактическая была война» (*нем.*).

науки мнимой или действительной. Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично как умом, так и телом непреодолимо-обворожительным как для мужчин, так и для женщин, от этого он забавен. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства и, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и потому знает, несомненно, что всё, что он делает, как англичанин, то хорошо. Итальянец самоуверен, потому что он взволнован и забывает легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет. Немец самоуверен хуже всех и тверже всех, потому что он знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая есть для него абсолютная истина. Таков очевидно был Пфуль, у него была [теория] наука — теория облического движения, выведенная им из истории войн Фридриха Великого, и всё, что встречалось ему в новейшей истории, не подходящим под эту теорию, казалось ему бессмыслицей и варварством. В 1806 году он был один из составителей плана войны, кончившейся Иеной и Ауерштетом; но в исходе этой войны он не видел ни малейшего урока или опыта, напротив, малые отступления от его теории были причиной всей неудачи, и он со свойственною ему радостною иронией говорил: «Ich sagte dass die ganze Geschichte zum Teufel gehen werde»[4]. Пфуль был один из тех теоретиков, которые так любят свою теорию, что забывают цель теории — приложение ее к практике: он в любви к теории ненавидел всякую практику и знать ее не хотел. Он даже радовался неуспеху, потому что неуспех, происходивший от неизбежного отступления в практике от теории, доказывал ему справедливость теории.

Он [проговорил] сказал несколько слов с князем Андреем и Чернышовым с выражением человека, который знает вперед, что всё будет скверно [хотя] и что даже не недоволен этим. Торчавшие на затылке непричесанные кисточки волос и торопливо причесанные височки особенно красноречиво подтверждали это.

Он прошел в эту комнату, как мученик приходит на казнь, слышались басистые и ворчливые звуки его голоса.

Не успел князь Андрей проводить глазами Пфуля, как в комнату поспешно вошел Бенигсен и, не останавливаясь, прошел в кабинет, отдавая какие-то приказания своему адъютанту. Государь ехал за ним, и Бенигсен поспешил вперед, чтобы приготовить [кабинет] кое-что и успеть встретить государя. Чернышов и князь Андрей вышли на крыльцо. Государь с усталым, но твердым видом уже [слезал с лошади, остановился, разговаривая с маркизом Паулучи. Он не заметил] слезал с лошади. Маркиз Паулучи что-то говорил государю. Государь не заметил князя Андрея и, склонив голову, слушал Паулучи, говорившего [что-то] с особенным жаром. Государь что-то сказал, тронулся вперед, видимо желая окончить разговор, но раскрасневшийся, взволнованный итальянец, забывая приличия, шел за ним, продолжая говорить:

— Quant à celui qui a conseillé ce camp, le camp de Drissa...[5],— говорил Паулучи, в то время как государь, входя на ступеньки, заметил князя Андрея, кивнул ему головой и нахмурился на слова итальянца.

— Quant à celui, Sire,— продолжал с отчаянностью, как будто не в силах удержаться,— qui a conseillé le camp de Drissa, je ne vois pas d'autre alternative que la maison jaune ou le gibet[6].

Не дослушав и как будто не слыхав слов итальянца, государь милостиво обратился к Болконскому:

— Очень рад тебя видеть, пройди туда, где они собрались, и подожди меня.— Государь прошел в кабинет [где]. За ним прошел князь Болкон-

---

[4] «Ведь я же говорил, что всё дело пойдет к чёрту» (*нем.*).

[5] Что же касается того, кто присоветовал Дрисский лагерь...

[6] Что же касается, государь, до того, кто советовал лагерь при Дриссе — для него я не вижу иного выбора, как желтый дом или виселица.

ский [Бенигсен, призванный Штейном] и барон Штейн, и за ними затворились двери, [а] князь Андрей, пользуясь разрешением государя, прошел [в гостиную] с Паулучи, которого он знал еще в Турции, в гостиную, где собрался совет.

Князь Болконский вышел от государя и, принеся в гостиную карты, расположив их на стене, передал вопросы, на которые желал слышать мнение собранных господ государь. Дело было в том, что в ночь было получено известие (впоследствии оказавшееся фальшивым) о движении французов в обход Дрисского лагеря. Государь желал, чтобы они спокойно в его отсутствии обсудили предмет, сам же он выйдет после.

Начались прения. Первый начал генерал Армфельд, неожиданно предложив совершенно новую, ничем, кроме как желанием показать, что он тоже может иметь мнение, позицию в стороне от Петербургской и Московской дорог. Это было одно из 10000000 предположений, которые так же основательно, как и другие, можно было делать, не имея понятия о том, какой характер примет война. Его оспаривали и защищали весьма основательно. Потом Толь, молодой полковник, прочел свою записку, тоже весьма основательно предлагая еще новый план. Потом Паулучи предложил план атаки, при котором весьма громко и сердито заспорил с князем Волконским [отказавшим ему в картах]. Так заспорил, что было что-то похожее на дуэль. Пфуль во всё время этих споров и его переводчик Вольцоген (его мост в придворном отношении) молчали. Пфуль только презрительно фыркал и отворачивался, показывая, что против того вздора, который он теперь слышит, он никогда не унизится до возражения. Но, когда князь Волконский вызвал его на изложение своего мнения, он только сказал:

— Что же меня расспрашивать, господа [все решили позицию при Дриссе]. Генерал Армфельд предложил прекрасную позицию с открытым тылом или атаку von diesem italienischen Herrn, sehr schön![7] Или отступление. Auch gut[8]. Что ж меня спрашивать? — говорил он.— Ведь вы сами знаете лучше меня. [Когда, однако, настояли на том, чтоб он сказал свое мнение, он встал и начал, вдруг одушевившись, так: — Да, всё] Но когда Волконский, нахмурившись, сказал, что он спрашивает его мнения от имени государя, то Пфуль встал и, вдруг одушевившись, начал говорить:

— Всё испортили, всё спутали, всё хотели знать лучше меня, а теперь пришли ко мне. Как поправить? Нечего поправлять. Надо исполнять всё в точности по основаниям, изложенным мною. В чем затруднение? Вздор, Kinderspiel[9].— Он подошел к карте и стал быстро говорить, тыкая сухим пальцем по карте и доказывая, что никакая случайность не может изменить Дрисского лагеря, что всё предвидено и что ежели неприятель действительно пойдет в обход, то он будет уничтожен.

Паулучи, не знавший по-немецки, стал спрашивать его по-французски. Вольцоген подошел на помощь своему принципалу и стал переводить, едва поспевая за Пфулем, который с своими наивными височками и кисточками быстро доказывал, что всё, всё, не только то, что случилось, но всё, что только могло случиться, всё было предвидено и вся вина была только в том, что не в точности всё исполнено. Он беспрестанно иронически смеялся, доказывал и, наконец, презрительно бросил доказывать, как бросит математик поверять различными способами раз доказанную верность задачи. Вольцоген заменил его, продолжая излагать по-французски, изредка говоря: «Nicht wahr, Exellenz?»[10] Пфуль, как в бою разгоряченный человек бьет по своим, сердито кричал и на своего, на Вольцогена:

— Nun ja, was soll denn da noch expliziert werden?[11]

---

[7] этого итальянского господина, очень хорошо!
[8] Тоже хорошо (*нем.*).
[9] детские игрушки (*нем.*).
[10] «Не правда ли, ваше превосходительство?» (*нем.*)
[11] Ну да, что еще тут толковать? (*нем.*)

И Паулучи и Мишо в два голоса нападали на Вольцогена по-французски, Армфельд по-немецки приставал к Пфулю. Толь [по-русски спорил с князем] по-русски объяснял князю Волконскому. Князь Андрей молча слушал и наблюдал.

Из всех этих лиц более всех возбуждал участие в князе Андрее озлобленный, решительный и бестолково-самоуверенный Пфуль. По тону, с которым с ним обращались придворные, по тому, что позволил себе сказать Паулучи императору, но главное, по некоторой отчаянности выражения самого Пфуля, видно было, что другие знали и он сам чувствовал, что падение его близко. И, несмотря на свою самоуверенность и немецкую ворчливую ироничность, он был жалок с своими приглаженными волосами на височках и торчавшими на затылке. Он один [Князя Андрея, никогда не бывавшего при дворе, удивляла эта картина бестолковщины и разноязычного говора] из всех здесь присутствовавших лиц [был] ничего не желал для себя, ни к кому не питал вражды, а желал только одного — приведения в действие плана, выведенного из теории, выведенной им годами, и этот единственный случай ускользал от него. Он был смешон, был неприятен своей ироничностью, но вместе с тем он внушал невольное уважение своей безраздельной преданностью идее и был жалок. Кроме того, во всех [речах всех говоривших была одна] говоривших была, за исключением Пфуля, одна общая черта, которой не было на военном совете в 1805 году,— это был хотя и скрываемый, но панический страх перед гением Наполеона, который высказывался в каждом возражении. Предполагали для Наполеона всё возможным, ждали его со всех сторон и его страшным именем разрушали предположения друг друга. Один Пфуль, казалось, и его считал таким же варваром, как и всех, и готов *⟨2 нрзб⟩*.

Князь Андрей молча слушал и наблюдал. Князь Андрей с удовольствием присутствовал при этой бестолковщине разноязычного говора и даже крика в двух шагах от императора, в комнате, куда он всякую минуту мог войти. Всё это было так, как должно было быть сообразно с его мрачным настроением, и он даже, как Пфуль, радовавшийся чему-то злому, радовался тому, что всё было очень скверно. Те давно и часто приходившие ему во время его военной деятельности мысли, что нет и не может быть никакой военной науки и поэтому не может быть никакого так называемого военного гения, теперь получили для него совершенную очевидность истины. «Какая же могла быть теория и наука в деле, которого условия и обстоятельства не известны и не могут быть определены [в деле], в котором сила [военных] деятелей войны еще менее может быть определена. Никто не мог и не может знать, в каком будет положении наша и неприятельская армия через день, и никто не может знать какая есть сила этого или того отряда. Иногда, когда нет труса впереди, который закричит: «мы отрезаны» и побежит, а есть веселый, смелый человек впереди, отряд в 5 тысяч стоит 30-и, как под Шенграбеном, а иногда 50 тысяч бегут перед 8-ю, как под Аустерлицем. Какая же может быть наука в таком деле, в котором, как во всяком практическом деле, [как в хозяйстве, в наживании денег] ничто не может быть определено и всё зависит [от минуты] от бесчисленных условий, значение которых определяется в одну минуту, про которую никто не знает, когда она наступит. Армфельд говорит, что наша армия отрезана. А Паулучи говорит, что мы поставили французскую армию между двух огней; Мишо говорит, что гибель Дрисского лагеря в том, что река позади, а Пфуль говорит, что в этом сила. Толь предлагает позицию, Армфельд предлагает другую; и все хороши, и все дурны, и выгоды всякого предложения могут быть очевидны только в тот момент, когда совершится событие. И почему все говорят: гений военный. [Гений Руссо, Ньютон, Данте, что общего между ними и человеком, который во время] Разве гений тот, который во-время успеет велеть подвезти сухари и идти тому направо,

а тому налево. Отчего же нет гения наживать деньги и хозяйничать [напротив]? Оттого только, что военные люди облечены блеском и властью и массы 〈подлецов〉 льстят власти, придавая ей не свойственные ей качества гения. Напротив, лучшие генералы, которых я знал,— глупы или рассеянны. Лучший — Багратион, сам Наполеон признал это. Лицо глупо, самодовольно. Лицо Наполеона на Аустерлицком поле я помню. Не только гения и каких-нибудь особенных качеств не нужно хорошему полководцу, но, напротив, ему нужно отсутствие самых лучших, высших человеческих качеств — любви, поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Он должен быть ограничен, твердо верить, что то, что он делает,— очень важно, иначе у него недостанет терпения, и тогда только он будет 〈хороший?〉 полководец. Избави бог, коли он человек, полюбит кого-нибудь, пожалеет, подумает о том, что справедливо и нет. [Как хозяевы самые лучшие — дураки, так и полководцы.] Понятно, что исстари еще для них подделали теорию гениев, потому что они — власть [12].

Так думал князь Андрей, слушая толки, и очнулся только тогда, когда Паулучи позвали к государю и все расходились.

На другой день на смотру государь спросил у князя Андрея, где он желает служить, и князь Андрей навеки потерял себя в придворном мире, не попросив остаться при особе государя, попросив полк. На 2-й день после совета Болконский оставил главную квартиру, а государь уехал.

〈XII〉

Ростов перед открытием кампании получил письмо родителей, в котором его умоляли выйти в отставку и приехать домой тогда, когда уж полк был в походе и государя ждали в армии. О разрыве Наташи с Андреем ему писали кратко, объясняя причину его отказом Наташи. Nicolas ничего не знал о всём происшедшем. Он и не попытался проситься в отпуск, а написал родителям письмо, в котором говорил, что дела могут еще поправиться, но что ежели он теперь уедет от этой великой готовящейся войны, то он навсегда потеряет честь в своих собственных глазах, чего уже нельзя будет поправить [1]. Соне он писал отдельно: «Обожаемый друг души моей. Нынешний год разлуки будет последним. Жди терпеливо и верь в мою вечную неизменную любовь. После этой войны я бросаю всё, беру тебя, ежели ты всё будешь любить меня, и мы зароемся в тихое уединение, живя только для любви и друг для друга. Это последнее письмо мое. Следующее будет свиданье, когда я, как невесту, прижму тебя к моей пламенной груди». Nicolas, хотя и с старым оттенком роман〈т〉изма, оставшимся в его тоне (но не в характере), писал то, что он искренно думал.

В полку ему было очень хорошо — еще лучше чем прежде, но он уже видел, что всю жизнь невозможно прожить так. Отрадненская осень и зима с охотой и святками открыли ему перспективу тихих дворянских радостей и спокойствия, которые манили его к себе. «Славная жена, дети, [лихая] добрая стая гончих, лихие 10—12 свор, а там можно и хозяйством заняться и по выборам послужить,— думал он.— Но всё это после. Теперь же и здесь хорошо, да и нельзя — кампания». Приехав из отпуска, радостно встреченный товарищами, Nicolas был скоро послан за ремонтом и из Малороссии привез отличный ремонт. В отсутствии его он был произведен в ротмистры и скоро получил эскадрон.

Больше, чем прежде, он был погружен весь в интересы полковой жиз-

---

[12] На полях: *Здесь молодой человек, тонкий, бледный, выпросил 〈чин?〉 — ему князь Андрей дома доказывает, что есть война.*
Роль полководца — 〈завидная?〉, солдата — благородная.

[1] На полях: *На письмо его о Наташе и Андрее ему не отвечали.*

ни, хотя уже знал, что рано ли поздно придется их покинуть. Но теперь начиналась кампания, полк был двинут в Польшу, выдавали двойное жалованье, прибыли новые офицеры, новые люди, лошади и главное распространилось то возбужденно-веселое настроение, которое сопутствует началу войны, и Nicolas, сознавая свое выгодное положение в полку, весь предался удовольствиям и интересам военной службы.

Войска отступали от самой границы, и ни разу до 12 июля павлоградцам не удалось быть в деле, но это постоянное отступление нисколько не приводило в уныние гусаров. Напротив, весь этот отступательный поход [был для них] в лучшую пору лета с достаточным продовольствием был постоянным весельем. Унывать, беспокоиться и интриговать могли в главной квартире, а в глубокой армии и не спрашивали себя, куда, зачем идут, смутно слышали что-то про Дрисский лагерь и жалели, что отступают только потому, что надо было выходить из обжитой квартиры, от хорошенькой панны. Ежели и приходило кому-нибудь в голову, что дела плохи, то, как следует хорошему военному человеку, тот, кому это приходило в голову, тем более старался быть весел и не думать об общем ходе дел.

12[2] июля, ночь накануне дела, была сильная буря. (Это лето вообще было замечательно своими бурями). Павлоградские два эскадрона стояли биваками за деревней, занятой начальством, среди ржаного желтевшего, но выбитого дотла поля. Дождь лил ливмя и Ростов с двумя офицерами, промокши до костей, жались под сгороженным на скорую руку шалашиком. Один офицер с длинными усами, продолжавшимися от щек, имевший привычку близко нагибаться к лицу того, с кем говорил, рассказывал Ростову известия о Салтановском сражении, слышанном им в штабе.

Ростов, пожимаясь шеей, за которую затекала вода, курил трубку и слушал невнимательно, изредка улыбаясь молодому [офицерику] офицеру Ильину, который жался около него и делал гримасы. Офицер этот. 16 лет, недавно поступивший в полк, был теперь в отношении Nicolas то, что был Nicolas к Денисову 7 лет тому назад. Ильин старался во всём подражать Ростову и, как женщина, был влюблен в него. Офицер с двойными усами, Здржинский, рассказывал, что салтановская плотина была Фермопилы, что на этой плотине был совершен генералом Раевским поступок, достойный древности. Здржинский рассказывал с польским акцентом и с польской восторженностью поступок Раевского, который вывел на плотину своих двух сыновей под страшный огонь и [пустил] с ними рядом пошел в атаку. Ростов слушал рассказ и не только ничего не говорил в подтверждение восторга Здржинского, но, напротив, имел вид человека, который стыдится того, что ему рассказывают, хотя и не намерен возражать. Действительно, Ростов теперь [уже] после Аустерлицкой и Прусской кампаний был уже [настолько опытен, что] опытен. Он знал по своему собственному опыту, что, рассказывая военные происшествия, всегда врут, как и сам он врал, рассказывая[3], во-вторых, он имел настолько опытности, что знал, как всё происходит на войне совсем не так, как мы можем воображать и рассказывать, и потому ему не нравился рассказ Здржинского. «Во-первых, на плотине, которую атаковали, была, верно, такая путаница и теснота, что ежели Раевский и вывел своих сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме на человек 10, которые случились тут около. Остальные и не могли видеть этого. Но и те, которые видели это, не могли очень воодушевиться, потому что что́ им было за дело до нежных родительских чувств Раевского, когда тут дело шло о собственной жизни. Потом оттого, чтобы взять или

[2] В автографе чернильное пятно, дата восстановлена по завершенному тексту (прим. составителя).

[3] К тексту: *Ростов перед открытием кампании* (с. 607) ∾ *врал, рассказывая* — см. Варианты, № 33.

не взять Салтановскую плотину, не зависела судьба отечества, как нам описывают это в Фермопилах, и потому зачем же было приносить такую жертву. И потом, зачем тут, на войне мешать своих детей. Я бы не только Петю — брата не повел, даже и Ильина, этого милого мальчика, постарался бы загородить чем-нибудь»,— думал Nicolas. Но Nicolas не сказал своих мыслей: он и на это уже имел опыт. Он знал, что этот рассказ содействовал к прославлению нашего оружия, и потому надо было делать вид, что не сомневаешься в нем. Так он и сделал.

— Однако мочи нет,— сказал Ильин, улыбаясь.— И чулки, и рубашка, и под задницу протекло. Пойду искать...

Через пять минут Ильин, шлепая по грязи, прибежал к шалашу.

— Ура! Ростов, идем скорее. Нашел. Вот тут шагов 200 корчма и отлично. И Марья Генриховна там.

Марья Генриховна была жена полкового доктора, молодая, хорошенькая немка, на которой доктор женился в Польше. Доктор, или оттого, что не имел средств, или оттого, что не мог первое время женитьбы разлучаться с молодой женой, возил ее везде за собой при гусарском полку, и ревность доктора сделалась [⟨ходячим?⟩] обычным предметом шуток между офицерами.

Ростов, вдвойне довольный отделаться от собеседника, пригибавшегося к самому его лицу, и возможности обсушиться, пошел с Ильиным по лужам воды под проливным дождем в темноте вечера, изредка освещаемой молоньями.

— Вы где идете? — спрашивал Здржинский[4].

— В корчму.— И Ильин с Ростовым побежали, раскатываясь по лужам.

— Ростов, ты где?

— Здесь. Какова молния! — переговаривались они.

В корчме, перед которою стояла кибитка доктора, находилось человек 12 офицеров с двух эскадронов. Некоторые [спали. Доктор] [за перегородкой] в одном угле играли в карты, большинство сидели около улыбающейся хорошенькой, раскрасневшейся, в кофточке и ночном чепчике Марьи Генриховны. Муж ее, доктор, спал позади ее на широкой лавке. Ростов с Ильиным, встреченные хохотом, вошли в комнату. Вода ручьями текла с них. Марья Генриховна уступила на время свою юбку, чтобы употребить ее вместо занавески, и за этой занавеской Ростов и Ильин с помощью Лаврушки, принесшего вьюки, переоделись и обсушились. В разломанной печке разложили огонь. Достали доску, утвердив ее на двух седлах, покрыли попоной, достали докторов самоварчик, погребец и полбутылки рому, и, попросив Марью Генриховну быть хозяйкой, улыбаясь, [толпились все около самовара] [В разломанной печке разложили огонь] [Ростов подошел к офицерам, игравшим в карты. ⟨Положил?⟩] толпились все около нее. Кто предлагал ей чистый носовой платок, чтоб обтирать ручки, кто под ноги подкладывал ей венгерку, чтобы не было ⟨сыро?⟩, кто плащом завешивал окно, из которого дуло, кто обмахивал мух с лица ее мужа, чтобы он не проснулся.

— Оставьте его,— говорила Марья Генриховна, счастливо улыбаясь,— он и так спит хорошо после бессонной ночи.

— Нельзя, Марья Генриховна [Я уважаю],— отвечал с хмурой улыбкой офицер,— надо доктору прислужиться. Всё, может быть, и он меня пожалеет, когда ногу или руку резать станет.

[Чай был] Стаканов было только три; и в самоваре воды было только на 6 стаканов, но чай казался крепким от того, что был из мутной дождевой воды, и тем приятнее было по очереди и старшинству получить свой стакан из белых ручек Марьи Генриховны. Все офицеры, казалось, и действительно были в этот вечер влюблены в Марью Генриховну. Даже

---

[4] В автографе: *Држинский* (прим. составителя).

те офицеры, которые играли в другом углу, скоро бросили игру и перешли к самовару, подчиняясь общему настроению ухаживания за Марьей Генриховной. Все были очень веселы, а Марья Генриховна сияла счастьем, как ни старалась она скрывать это.

Ложка была только одна, [и решено] сахару было больше всего, но размешивать его не успевали, и потому решено было по предложению Ростова, который был [первым] главным затейщиком в этом общем ухаживаньи за Марьей Генриховной, что она будет мешать сахар каждому. Ростов, [налив] получив свой стакан и подлив рому без сахару, попросил Марью Генриховну размешать.

— Да вы ведь без сахару? — сказала она, всё улыбаясь, как будто всё, что ни говорила она и ни говорили другие, было очень смешно и имело еще другое значение.

— Да мне не сахар, мне только, чтоб вы помешали своей ручкой.

Марья Генриховна согласилась [но ложки] и стала искать ложку.

— Вы пальчиком, Марья Генриховна,— сказал Nicolas,— еще приятнее будет.

— Горячо,— сказала Марья Генриховна, еще счастливее улыбаясь.

Услыхав это, Ильин схватил ведро с водой и, капнув туда рому, просил Марью Генриховну помешать пальчиком.

— Это моя чашка,— говорил он.

После чая Nicolas взял карты от игроков и [кинув жребий ⟨*1 нрзб*⟩] предложил играть в короли с Марьей Генриховной. Кинули жребий, кому составлять партию Марьи Генриховны. Ростова без жребия допустили к игре. Правилами игры, предложено было Ростовым, чтобы тот, кто будет королем, имел право поцеловать ручку Марьи Генриховны, а чтобы тот, кто останется прохвостом, шел бы ставить новый самовар для доктора, когда он проснется.

— Ну, а ежели Марья Генриховна будет королем? — спросил Ильин.

— Она и так королева! И приказания ее — закон!

Всем было очень весело. Но в середине игры из-за Марьи Генриховны поднялась вспутанная голова доктора. Он давно уже не спал и прислушивался к тому, что говорилось, и, видимо, не находил ничего веселого, смешного или забавного во всём, что говорилось и делалось. Лицо его было грустно и уныло. Он поздоровался со всеми офицерами, почесался, попросил позволить ему выйти и, вернувшись, сообщил Марье Генриховне, которая перестала уже так счастливо улыбаться, что дождь прошел и что надо идти ночевать в кибитку, а то всё растащат.

— Да я вестового пошлю... двух,— сказал Ростов.

— Я сам стану на часы,— сказал Ильин.

— Нет, господа, вы выспались, а я две ночи не спал,— сказал доктор и мрачно сел подле жены, ожидая окончания игры. Офицерам стало еще веселее, и многие не могли удерживаться от смеха, которому они поспешно старались приискивать благовидные предлоги.

Веселый безвредный, беспричинный хохот [почти] без помощи вина, потому что ничего не было пить в этот вечер, звучал всю ночь до 3-го часа утра. Некоторые легли, но не спали, то переговариваясь, смеясь, вспоминая испуг доктора и веселье докторши, то пугая корнета тараканами, то представляя живые картины. Веселый дух нашел на эту молодежь. Несколько раз Nicolas завертывался с головой, хотел заснуть, но опять одно замечание, сделанное кем-нибудь, развлекало его, опять начинался разговор, и опять смеялись, как дети.

В 3-м часу еще никто не заснул, как явился вахмистр с приказом выступать к местечку Островно. Всё с тем же говором и хохотом офицеры поспешно стали собираться; опять поставили самовар на грязной воде. Но Ростов, не дождавшись чаю, пошел к эскадрону. Уже светало; дождик перестал, тучи расходились. Было сыро и холодно, особенно в непросохшем платье. Выходя из корчмы, Ростов и Ильин оба в сумер-

ках рассвета заглянули в глянцовитую от дождя кожаную докторскую кибиточку, из-под фартука которой торчали ноги доктора и в середине виднелся чепчик докторши и слышался чей-то сонный свист.

— Что, влюблен? — сказал Ростов Ильину, выходившему с ним.

— Не влюблен, а так,— отвечал [ему] Ильин.

[Через полчаса] Ростов отошел от коновязи делать нужные распоряжения, и через полчаса [эскадрон] подъехал адъютант, скомандовали: «садись», солдаты перекрестились, то же сделал и Ростов, и два эскадрона, вытянувшись в 4 человека, тронулись по большой, обсаженной березами дороге, вслед за какой-то пехотой и батареей.

[Под] Разорванные сине-лиловые тучи, краснея на восходе, быстро гнались ветром. Становилось светлее и светлее. Уже ясно виднелась эта курчавая травка, которая заседает всегда по проселочным дорогам, еще мокрая от вчерашнего дождя; висячие ветви берез, тоже мокрые, качались от ветра. Яснее и яснее обозначались лица окружавших солдат. Nicolas ехал [стороной] с Ильиным, не отстававшим от него, стороной дороги, между двойным рядом березок и, ни на минуту не останавливаясь на мысли о том, что ему предстоит сражение, только радовался утру, ходу своей доброй лошади и воинственному красивому виду двигавшегося подле него своего эскадрона. Nicolas в кампании позволил себе вольность ездить не на фронтовой лошади, а на казацкой. И знаток, и охотник, он недавно достал себе лихую донскую, крупную и добрую игреннюю лошадь, на которой никто не обскакивал его. Ехать на этой лошади было для Nicolas наслаждение. Он думал о лошади, об утре, о докторше и не думал об опасности. Но прежде он портил сам себе своим беспокойством, теперь пришло время и он был совсем другим, корнет любовался его небрежно спокойным и изящным видом и каждым движением, когда он либо обрывал листья ракиты, либо дотрогивался тонкие ноги до паха лошади, либо отдавал, не поворачиваясь, докуренную трубку ехавшему сзади гусару. Только что солнце стало выходить на чистой полосе из-под тучи, как ветер стих, как будто он не смел портить этого прелестного после грозы летнего утра. Капли воды падали, но все затихло, птицы запели, и Nicolas указал на бекаса, который высоко где-то гоготал в воздухе.

— Коли простоим тут, надо будет сходить в это болото,— сказал Ростов.— А утро какое, прелесть!

Солнце вышло, покачалось на горизонте и исчезло. Уже не видно его стало, а только всё засветилось и заблестело. И вместе с этим светом, как будто отвечая ему, раздались впереди выстрелы орудий.

И не успел еще Nicolas обдумать и определить, как далеки эти выстрелы, как от Витебска прискакал адъютант графа Остермана-Толстого с приказанием идти на-рысях по дороге. Ростов весело подъехал в 〈*1 нрзб*〉 эскадрона и отдал команду. Попрашивая поводья, [тронулась] его донец стал вытягиваться на полных рысях впереди эскадрона. Они обошли пехоту, встретили раненых, спустились под гору, прошли через деревню, поднялись на гору. Лошади стали взмыливаться, люди раскраснелись.

— Стой, равняйся! — послышалась впереди команда дивизионера и потом шагом, левое плечо вперед, их провели по линии войск, по которой уже гудели орудия, пуская голубые дымки, и вывели на левый фланг в лощину. Впереди видна была наша цепь, пускавшая дымки и весело перещелкивающаяся с невидимым неприятелем.

Nicolas весело, как при звуках самой веселой музыки, стало от этих звуков, которых он не слыхал уже 4 года. Трап-та-тап! — [отбивали] хлопали вдруг два-три выстрела, замолкала на мгновение и опять налаживалась эта точно молотьба цепами. Nicolas стал осматриваться: справа стояла наша пехота густой колонной — это были резервы, слева, на горе видны были на чистом, чистом воздухе в утреннем косом и ярком осве-

щении на самом горизонте наши пушки с копошившимися около них людьми, застилавшимися дымом, спереди наша густая цепь отстреливалась с неприятелем, который, приближаясь, стал тоже виден.

Граф Остерман с свитой проехал сзади эскадрона и, остановившись, поговорил с командиром полка и отъехал к пушкам на гору. Эскадрон Ростова стоял во второй линии. Впереди были еще уланы. Вслед за разговором Остермана с полковым командиром у улан послышалась команда построения в колонну к атаке. И Nicolas заметил, что пехота впереди здвоила взводы, чтобы пропустить улан. Уланы тронулись, колеблясь флюгерами пик, и вслед затем гусар выдвинули в гору в прикрытие к батарее. Nicolas теперь не находился как прежде в тумане, который мешал ему наблюдать всё, что делалось перед ним. Напротив, он внимательно следил за всем. Уланы пошли влево в атаку на неприятельскую кавалерию, и в это же самое время по гусарам, выходившим на их место, из цепи пролетели визжа и свистя далекие, не попадавшие пули. Звук этот, давно не слышанный, еще радостнее и возбудительнее подействовали на Nicolas, чем прежние звуки стрельбы. Он, выпрямившись, разглядывал поле сражения, открывшееся с горы. Уланы близко налетели на французских драгун, что-то спуталось там в дыму и через 5 минут уланы и драгуны вместе понеслись назад к той лощине, в которой прежде стояли гусары. Уланы бежали. Драгуны то впереди, то сзади их [гнались] перемешивались с ними, махая саблями. Ростов поскакал к полковнику [— Андрей Севастьяныч, велите в...— сказал Ростов] с просьбой атаковать. Полковник ехал к нему [чтобы отдать].

— Андрей Севастьяныч, велите...

Полковник начал говорить, что не было приказания, но в это время [одна] пуля ударила его в ногу, и он, охнув, схватился за шею лошади. Ростов повернул лошадь [выскакал], рысью выехал вперед эскадрона и скомандовал движение. Ростов сам не знал, как и почему он это сделал. Всё это он сделал, как он делал на охоте, не думая, не соображая. Он видел, что драгуны близко, что они скачут, расстроены; он знал, что они не выдержат, он знал, что была только одна минута, которая не воротится, ежели он упустит ее. Пули так возбудительно визжали и свистели вокруг него, лошадь так горячо просилась вперед, и потом, главное, он знал, что еще минута, еще такое зрелище, как то, как вскрикнул жалобно полковник, хватаясь за ногу, [и он струсит] и чувство страха, готовое уже близко, возьмет верх. Он скомандовал, тронул лошадь и в то же мгновение услыхав за собой звук топота своего развернутого эскадрона. На полных рысях он сошел под гору. И, оглянувшись на своих, крикнул: «Марш, марш» и выпустил лошадь. В ту минуту, как он оглянулся, он увидал испуганное лицо Ильина и, сам не зная почему, сказал себе: «верно, что убьют сейчас». Но думать некогда было. Драгуны были близко. [Они увидали] Передние, увидав гусара, стали поворачивать назад, задние приостанавливаться. С чувством, с которым он несся наперерез волку, Ростов скакал наперерез расстроенным рядам французских драгун. [Уланы стали останавливаться] Один улан остановился, один [припал] пеший припал к земле, чтоб его не раздавили, одна лошадь без седока замешалась с гусарами. Драгуны стали поворачиваться и поскакали назад. Nicolas, выбрав себе одного [волка] на серой лошади, вероятно, офицера, пустился за ним. По дороге он налетел на куст; добрая лошадь перенесла его через него, и, едва справясь на седле, Nicolas, увидав в 5 шагах своего офицера, только что пустившегося скакать назад за своими драгунами. Через мгновенье лошадь Nicolas ударила грудью в зад лошади офицера, чуть не сбила ее с ног и в то же мгновенье Nicolas, сам не зная зачем, ухватил за ⟨*1 нрзб*⟩ перевязи, не столько сбил его с лошади, сколько, упершись об него, удержался на своей лошади. Офицер свалился с лошади и зацепился за стремя. Тут Nicolas взглянул в лицо на своего врага, чтобы увидать, кого он победил. Драгунский фран-

цузский офицер стоял на земле одной ногой, другой держался, запутавшись в своем стремени. Он, испуганно щурясь, как будто ожидая всякую секунду удара, смотрел снизу вверх на Ростова. Лицо его было бледно, и пыльные волоса прилипли от пота. Но лицо белокурое, молодое, с дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами,— самое не для поля сражения лицо, а самое простое комнатное лицо. Еще прежде, чем Nicolas решил, что он с ним будет делать, вероятно, из запаса старых детских воспоминаний Nicolas закричал: Rendez-vous[5]. И офицер и рад бы, но не мог выпутаться из стремени и достать, чтоб отдать свою прижатую лошадьми саблю. Подскочившие гусары взяли пленного офицера, и Ростов тут взглянул [со всех сторон вели пленных драгун, одного изранили саблями, но не убили, и все поворачивали уже назад]. Гусары с разных сторон возились с драгунами, один был ранен, но с лицом в крови не давал свою лошадь, другой, обняв гусара, сидел на крупе его лошади. 3-ий 〈влезал?〉, поддерживаемый гусаром. Несколько драгун было взято, другие ускакали.

Впереди бежала, стреляя, французская пехота [и пули беспрестанно свистели]. Гусары поворотили, поехали назад. [Ростов пропускал] Только поднимаясь назад в гору, Ростов с ужасом вспомнил о том, что он без приказания атаковал неприятеля и со страхом увидал ехавшего ему навстречу Остермана. «Беда,— подумал Ростов,— и чёрт меня дернул, стояли бы на своем месте». Но кроме этого страха, Ростов испытывал еще какое-то неприятное чувство, что-то неясное, запутанное, что открылось ему взятием в плен этого офицера, чего он не мог успеть объяснить себе. Граф Остерман-Толстой не только благодарил Ростова, но объявил, что он представит государю о его молодецком поступке, будет просить для него Георгиевский крест и будет иметь в виду как блестящего храброго офицера. Хотя и неожиданно, но похвалы эти были очень приятны Ростову. Но что-то мучало его. Ильин? «Где корнет? — спросил он.

— Ранены, Топчинко их отвели.

«Ах, жалко»,— подумал Ростов. Но всё не то, что-то другое мучало его, что-то такое, чего он никак не мог объяснить себе. Он подъехал, еще посмотрел на офицера с дырочкой на подбородке и голубыми глазами, поговорил с ним, заметил его притворную улыбку, и всё ничего не мог понять. Весь этот день и следующие дни друзья и товарищи Ростова заметили, что он не скучен, не сердит, но молчалив, задумчив и сосредоточен. Он неохотно пил, старался оставаться один и о чем-то всё думал.

Ростов всё думал об этом своем блестящем подвиге, который, к удивлению его, его чрезвычайно прославил (так случилось) и приобрел ему георгиевский крест, и всё ничего 〈не〉 мог понять. «Так и они еще больше боятся нашего,— думал он.— Я их боялся. И что за глупость и гораздо опаснее быть сзади, чем спереди. Так только-то и есть всего то, что называется геройством и подвигом за веру, царя и отечество. И разве я это делал для отечества? И в чем он виноват с своей дырочкой и голубыми глазами? А как он испугался! Он думал, что я убью его. За что ж мне убивать его? А отчего же георгиевский крест и потом и мало ли какую карьеру можно сделать. Ничего, ничего не понимаю!»

Но пока Nicolas перерабатывал в себе эти вопросы и все-таки не дал себе ясного отчета в том, что так смутило его, колесо счастья по службе, как это часто бывает, повернулось в его пользу. Его выдвинули вперед, дали ему батальон гусаров, поручили ему аванпосты, и там он еще больше убедился в том, чем ближе к неприятелю, тем безопаснее и выгоднее по службе. И Nicolas понемногу вошел в свою роль храбреца известного и не обсуждал больше всего того, что смутило его сначала, а, забыв даже эти сомнения, утешался своим новым лестным положением.

---

[5] Сдавайтесь.

‹XIII›

Прошло более года с того времени, как Наташа отказала Андрею и из своей вечно счастливой, радостной жизни вдруг перешла к тупому отчаянию, [которое только одна религия делала сносным] [которое только религия и дружба с Pierr'ом делали для нее сносным] которое смягчила, но не рассеяла религия.

Лето 1811 года Ростовы провели в деревне. В Отрадном [не было ни церкви, ни Pierr'a] были жгуче-живые воспоминания о том времени, когда Наташа чувствовала себя в этом Отрадном столь [беззаботной] беззаботно-счастливой и столь [радостно] открытой ко всем радостям жизни. Она не ходила гулять, не ездила верхом, не читала даже, а молча сидела по целым часам в саду на скамейке, на балконе или в своей комнате[1].

С самого того страшного времени, когда она [послед‹ний?›] написала князю Андрею письмо и поняла всю злобу своего поступка, она не только избегала всех внешних условий радости: балов, катаний, концертов, театров, но она ни раза не смеялась так, чтобы из-за смеха ее не видны были слезы, она не могла петь. Как только начинала она смеяться или петь, слезы душили ее — слезы раскаяния, слезы воспоминания о том невозвратимом, чистом времени, слезы досады, что так задаром погубила она свою молодую жизнь, которая могла бы быть так счастлива. Смех и пенье особенно казались ей [как] кощунством над прошлым горем.

О кокетстве она и не думала. Никогда ей не приходилось даже воздерживаться. Она говорила — и это было совершенно справедливо — все мужчины были для нее совершенно то же, что шут Настасья Ивановна.

Внутренний страж твердо воспрещал ей [это] [Следующий день] всякую радость. [И не было] Да и не было в ней [прежних] всех прежних интересов жизни из того девичьего, беззаботного, полного надежд склада жизни. [Жить надо было] [Не было ничего, чтобы] Как часто (и чаще всего) вспоминала она эти осенние месяцы, когда она была невеста, проведенные с Nicolas на охоте. Что бы она дала, чтобы возвратить хоть один день из них. Но уж это навсегда кончено было. Предчувствие не обманывало ее тогда, что это состояние свободы и открытости для всех радостей никогда уже не возвратится больше. Но жить надо было. И это было всего ужаснее. Одно время жизнь ее была наполнена религией, которая открылась ей стороной смирения, от которой так далека она была в прежней жизни.

В начале июля в Москве распространялись всё более и более тревожные слухи о ходе войны: говорили [по слухам] о воззвании государя к народу, о приезде самого государя из армии в Москву. И так как до 11 июля Манифест и воззвание не были получены, то о них и о положении России ходили преувеличенные слухи. Говорили, что государь уезжает потому, что армия в опасности, говорили, что Смоленск [взят] сдан, что у Наполеона миллион войска и что только чудо может спасти Россию.

11 июля в субботу был получен Манифест, но еще не напечатан и на другой день, в воскресенье, Pierre, бывший у Ростовых, обещал приехать обедать и привезти Манифест и воззвание, которое он достанет у графа Растопчина. В это воскресенье Ростовы по обыкновению поехали к обедне в домовую церковь Разумовских. Был жаркий июльский день. Уже в 10 часов, когда Ростовы вылезали из кареты перед церковью, в жарком воздухе, в криках разносчиков, в ярких и светлых летних платьях толпы, в запыленных листьях дерев бульвара, в громе мостовой, в звуках музыки и белых панталонах пришедшего на развод батальона, в ярком блеске жаркого солнца было то летнее томление, довольство и недовольство на-

---

[1] К тексту: *Прошло более года ∾ в своей комнате.* — см. Варианты, № 34.

стоящим, потребность желания невозможного, которое особенно резко чувствуется в ясный жаркий день в городе. В церкви Разумовских была вся знать московская, все знакомые Ростовых (в этот год, как бы ожидая чего-то, очень много богатых семей, обыкновенно разъезжающихся по деревням, остались в городе). Проходя позади ливрейного лакея, раздававшего толпу подле матери, Наташа слышала [голоса молодых женщин] шёпот обращавших на нее внимание друг друга.

— Это Ростова,— та самая...

— А как хороша!

Она слышала, или ей показалось, что были упомянуты имена Курагина и Болконского. Впрочем, ей всегда это казалось. Ей всегда казалось, что все, глядя на нее, только и думают о том, что с ней случилось. [Наташа шла] Страдая и замирая в душе, как всегда в толпе, Наташа шла в своем лиловом шелковом с черными кружевами платье так, как умеют ходить женщины,— тем спокойнее и величавее, чем больнее и стыднее у ней было на душе. Она знала и не ошибалась, что она хороша, но это не радовало ее, как прежде. Напротив, это самое мучало ее больше всего последнее время и в особенности в этот яркий, жаркий летний день в городе. «Еще воскресенье,— еще неделя,— говорила она себе, вспоминая, как она была тут в то воскресенье, и всё та же жизнь без жизни, и всё те же условия, в которых так легко бывало жить прежде. Хороша, молода, и я знаю, что я добра,— думала она,— а так даром, даром проходят лучшие, лучшие годы». Она стала на обычное место, перекинулась с близко стоявшими знакомыми. Наташа по привычке рассмотрела туалеты дам, осудила tenue[2] и неприличный способ креститься на малом пространстве, но, услыхав звуки службы, она вспоминала о грехе осуждения, о своей мерзости душевной, и [стала молиться] прежние воспоминания умиления охватили ее, и она стала молиться. Редко даже в лучшие минуты прошлого поста она находилась в таком умилении, в каком она находилась этот день. Все эти знакомые, непонятные звуки и еще более непонятные торжественные движения были то самое, что было нужно ей. Она старалась понимать и счастлива была, когда она понимала некоторые слова: «Миром господу помолимся» или: «Сами себя и друг друга Христу Богу предадим». Она понимала их по-своему. Миром — значит наравне со всеми, со всем миром — не я за себя, а мы все просим тебя, боже. «Сами себя богу предадим» она понимала в смысле отрицания всякой воли и желаний и мольбы к богу руководить мыслями и желаниями. Но когда она, вслушиваясь, не понимала, ей было еще сладостнее думать, что желать понимать есть гордость, что понять нельзя, а надо только верить и отдаваться. Она крестилась и кланялась сдержанно, стараясь не обратить на себя внимание, но старая графиня, не раз оглядываясь на ее строго сосредоточенное неподвижное лицо с блестящими глазами, вздыхала и отворачивалась, чувствуя, что что-то важное творится в душе дочери, сожалея, что не может принять участия в этой внутренней работе, и моля бога, чтоб он помог, дал утешение ее бедной невинно несчастной девочке. Певчие пели прекрасно.

Благообразный, тихий старичок служил [кротко и торжественно] с той кроткою торжественностью, которая так величаво, успокоительно действует на души молящихся. Царские двери затворились, медленно задернулась завеса; таинственный тихий голос [воззвал оттуда хвалу богу] произнес что-то оттуда. Непонятные для нее самой слезы стояли в груди Наташи, и радостное и томительное чувство давило ее.

«Научи меня, что мне делать, как мне быть с моей жизнью»,— думала она.

Дьякон вышел на амвон, прочел о трудящихся, угнетенных, о царях, о воинстве, о всех людях и опять повторил те утешительные слова, ко-

---

[2] манеру держаться

торые сильнее всего действовали на Наташу: «Сами себя и живот наш Христу Богу предадим».

«Да, возьми же меня, возьми меня»,— с умиленным нетерпением в душе говорила Наташа, не крестясь уже, а бессильно и преданно опустив свои тонкие руки и как будто ожидая, что вот-вот невидимая сила возьмет ее и избавит от себя, от своих сожалений, желаний, укоров и надежд.

Неожиданно, в середине и не в порядке службы, который Наташа хорошо знала, дьячок вынес скамеечку, ту самую, на которой читались коленопреклоненные молитвы в Троицын день, и поставил ее перед царскими дверьми. Священник вышел в своей лиловой бархатной скуфье, оправил волосы и стал на колени. Все сделали то же, хотя с некоторым недоумением. Это была молитва, только что полученная из синода, молитва о спасении России от вражеского нашествия.

— Господи боже сил, боже спасения нашего,— начал священник тем ясным, ненапыщенным и кротким голосом, которым читают только одни духовные славянские чтецы и который так неотразимо действует на русское сердце [3].

Наташа всей душой повторяла слова общей молитвы и молилась о том, о чем молились все, но как это часто бывает, она, слушая и молясь, не могла удержаться, чтоб в то же время не думать. При чтении слов: «*Сердце чисто созижди в нас, и дух прав обнови во утробе нашей; всех нас укрепи верою в Тя, утверди надеждою, одушеви истинною друг к другу любовью*». При этих словах ей вдруг мгновенно пришла мысль о том, что нужно для спасения отечества [и мысль эта, как и та мысль о том, что нужно было для поправления дел отца]. Так же как в вопросе о долгах отца ей пришло на купанье простое ясное средство исправить всё дело тем, чтобы жить умереннее, так теперь ей представилось ясное средство победить врага [⟨соединением⟩]. Средство это состояло в том, чтобы действительно всем соединиться любовью, отбросить корысть, злобу, честолюбие, зависть, любить всем друг друга и помогать, как братьям. Надо всем просто сказать: «Мы в опасности, давайте отбросим всё прежнее — отдадим всё, что у нас есть — жемчужное ожерелье (как в Марфе Посаднице), не будем жалеть никого — пускай Петя идет, так как он этого хочет — и все будем покорны и добры, и никакой враг ничего не сделает нам. А ежели мы будем все ждать помощи, ежели будем спорить, ссориться, как вчера Шиншин с Безуховым, то мы погибнем. Наташе это казалось так ясно, просто, несомненно, что она удивлялась, как прежде это никому не пришло в голову, и она душою радовалась тому, как она передаст эту мысль своим и Pierr'у, когда он приедет. «Только Безухов не поймет. Он такой странный. Я никак не пойму его. Он лучше всех, но он странный».

⟨XIV⟩

К обеду по обещанию приехал Pierre прямо от графа Растопчина, у которого он списал Манифест и воззвание и от которого узнал положительное известие, что [послезавтра] завтра приедет в Москву государь. Pierre, за год еще более потолстевший, пыхтя, вошел на лестницу. Кучер его уже не спрашивал, дожидаться ли. Он знал, что когда граф у Ростовых, то до 12 часу. Лакеи Ростовых радостно бросились снимать плащ. Pierre по привычке клубной и палку и шляпу оставлял в передней. В зале его встретил [хорошенький] красивый, румяный широколицый 15-летний мальчик, похожий на Nicolas. Это был Петя. Он готовился в университет, но в последнее время с товарищем своим Оболенским тайно решили, что пойдут в гусары. Петя выскочил вперед к своему

[3] На полях рукой С. А. Толстой, вероятно, по указанию Толстого надпись: «Здесь молитва⟨Михайловский-Данилевский⟩ 258 и 259 стр. В окончательный текст молитва вошла вся (т. III, ч. I, гл. XVIII) (прим. составителя).

тезке, чтобы переговорить о деле. Он просил его [через графа Растопчина записать] узнать, примут ли его в гусары.

— Ну, что, Петрухан,— сказал Pierre, весело показывая свои порченные зубы и дергая его вниз за руку.— Опоздал?

— Ну, что мое дело, Петр Кирилыч? Ради бога. Одна надежда на вас,— говорил Петя, краснея.

— Нынче скажу всё. Уж я устрою,— отвечал Pierre.

Соня, увидав Pierr'a, [пошла 〈скорее?〉] только [показала] присела ему и сказала:

— Pierre, Наташа у себя, я пойду позову ее.

Pierre не только был свой домашний человек, но такой домашний человек, который был дружен преимущественно с одним из членов семьи — с Наташей, и все это знали.

— Ну что, mon cher, ну что, достали Манифест? — спросил граф.— А графинюшка были у обедни у Разумовских, молитву новую слышали. Очень хорошая, говорят.

Pierre охлопывал карманы и не мог найти бумаг и, продолжая охлопывать карманы, целовал руку у графини.

— Ma parole, je ne sais plus où je l'ai fourré [1],— говорил он.

— Ну уж вечно растеряет всё,— говорила графиня.

Соня, Петя улыбались, глядя на растерянное лицо Pierre. Наташа вошла в том же лиловом платье. [По тому, как она подошла к нему, улыбнулась, как он с тех пор, как она вошла, обращался только к ней, видно было, что [отношения] [они] между ними было чувство сильнее обыкновенной приязни.] Несмотря на свою заботу отыскать бумаги, Pierre тотчас заметил, что с Наташей произошло что-то особенное. Он поглядел на нее пристальнее.

— Ей богу, я съезжу... я дома забыл. Непременно.

— Ну, уж и так опоздали обедать.

— Ах, и кучер уехал.

[Наконец, в то время как пошли обедать] Все стали искать и, наконец, бумаги нашли в шляпе Pierr'a, куда он их старательно заложил за подкладку.

— Ну что ж, всё правда? — спросила его Наташа [А мы слышали]

— Всё правда. Дело нешуточное [За обедом]... вот прочтемте.

— Нет, после обеда,— сказал старый граф,— после.

Но Наташа выпросила бумагу и вся красная, взволнованная [за обедом читала] пошла читать, сказав, что не хочет обедать.

Pierre подал руку графине, и пошли в залу.

За обедом Pierre [как всегда] рассказывал городские новости о снятии Дрисского лагеря, о болезни старой грузинской княгини, о том, что Метивье исчез из Москвы, и о том, что к Растопчину привели какого-то немца и объявили ему, что это шампиньон,— так рассказывал сам граф Растопчин Pierr'y, и как Растопчин велел шампиньона отпустить, сказав, что это просто старый гриб немец.

— Хватают, хватают,— сказал граф, пережевывая пирожок,— я графине и то говорю, чтоб поменьше говорила по-французски. Теперь не время.

— И то,— сказал Pierre.— Князь 〈Дмитрий?〉 Голицын русского учителя взял — по-русски учится. Véritablement il commence à devenir dangereux de parler français dans les rues [2].

— Что ж, и очень хорошо написано воззвание? — сказал граф, [с удовольствием] [Ну, что, Наташа] предвкушая удовольствие послеобеденного чтения.— Ну что, Наташа.— Наташа ничего не отвечала из гостиной.

---

[1] Ей богу, не знаю, куда я его дел.

[2] Действительно становится опасным говорить по-французски на улицах.

— Да [так себе. Много очень уж], хорошо. Вот Наташа моя в восторге от молитвы,— сказал граф. [Наташа покраснела.— Прелестная молитва,— сказала она,— каждое слово]

— Ну, что ж [вы пойдете], граф, как ополченье-то собирать будут и вам придется на коня,— сказал граф, обращаясь к Pierr'у. Pierre засмеялся:

— Какой я воин? Я и на лошадь не влезу, и после обеда спать нельзя...— сказал он.

— Вот я не понимаю,— заговорила вдруг горячо Наташа, вышедшая в столовую, опять краснея,— зачем вы этим шутите? Это не шутка. Ведь я знаю, что вы первый всем пожертвуете, зачем вы шутите? Я вас никак не понимаю.

[Да я и сам не] Pierre улыбнулся и, подумав немножко и ласково внимательно поглядев на Наташу, сказал:

— Да я и сам не понимаю! Я не знаю, я так далек от военных вкусов, и мне кажется, так легко человеку, разумному существу обойтись без войны...

— Нет, пожалуйста, не шутите так,— сказала Наташа, ласково улыбаясь Pierr'у, и села за стол, но есть не хотела.

— Вот патриотка-то... А? — сказал старый граф. Графиня только покачала головой. После обеда подали кофе. Граф уселся покойно в кресла и с улыбкой на лице попросил Соню, славившуюся мастерством чтения, читать: «*Неприятель вступил в пределы России. Он идет разорять любезное наше отечество*».

. . . . . .

. . . . . .

Несколько раз граф прерывал чтение и просил повторить. Когда прочли о знаменитом дворянстве, граф [произнес] проговорил: — Так, так.

[Pierre во время чтения поглядывал на старого графа и на Наташу и Петю, которые трое сильнее других волновались, и чувствовал тоже какое-то новое для него душевное волнение.— Отлично, превосходно!]

Наташа во время чтения сидела вытянувшись, испытующе и прямо глядя то на отца, то на Pierr'а, отыскивая на их лицах [того] выражения того чувства, которое было в ней.

— Да, еще бы, мы всё отдадим, все, все пойдем! — закричал граф, когда кончилось чтение.— Как же, очень испугались! — Наташа неожиданно вскочила и, обняв отца, стала целовать.— Что ж это такое! Какая прелесть этот папà! — сказала она с прежней своей живостью. Этот восторг Наташи оживил еще более графа. Он сам, надев очки, прочел еще раз воззвание, несколько [прерывался от слез и с бумагой в руке ушел к себе в кабинет, где он имел обыкновение отдыхать после обеда.

— Приходи покурить, Петр Кирилыч,— сказал он.] прерывался от сопения, как будто к носу ему подносили склянку с крепкой уксусной солью.

Едва только граф кончил, как Петя, еще прежде вставший и махавший сам для себя сжатыми кулаками, подошел к отцу и весь красный, но [дрожащим] твердым, хотя то грубым, то тонким голосом сказал [что он]:

— Ну, теперь, папенька, я решительно скажу, и маменька тоже, как хотите,— я решительно скажу, что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу... вот и все...

Графиня только с ужасом пожала плечами и ничего не сказала, но граф в ту же минуту оправился от волнения и тотчас же насмешливо обратился к Пете: [— Вота! — сказал он]

— Ну, ну,— сказал он.— Глупости-то оставь.

— Это не глупости, папенька. Оболенский Федя моложе меня и тоже идет, а главное, что всё равно я не могу ничему учиться, и теперь,

когда...— Петя остановился, покраснел до поту и проговорил-таки,— когда отечество в опасности.

— Полно, полно, глупости.

— А я вам говорю. Вот и Петр Кирилыч скажет, и Наташа скажет.

— Я тебе говорю — вздор! И то сердце изболело за одного, а тут ребенок, молоко не обсохло.... Ну, ну, я тебе говорю,— и граф, взяв с собой бумаги, вероятно, чтобы еще раз прочесть в кабинете перед отдыхом, пошел из комнаты.

— Петр Кирилыч, что ж пойдем покурить...

Безухов встал[3], задумчиво покачивая головой. Петя выбежал за ним и, схватив за руку, шёпотом проговорил:

— Петр Кирилыч, голубчик, уговорите, ради Христа.

[Пете было решительно отказано. Вечером Pierre по обыкновению сидел с Наташей и Соней в диванной. Наташа с одушевлением, которого давно не было в ней, рассказывала ему свою мысль о том, как надо всем соединиться любовью для того, чтобы прогнать неприятеля, о том, как бы она распорядилась, ежели бы она была государь, расспрашивала Pierr'а о том, как думают все, выиграют ли теперь сражение]

Пете было решительно отказано. Он ушел один в свою комнату и там, запершись от всех, горько плакал. Все сделали вид, как будто ничего не заметили, когда он к чаю пришел молчаливым и мрачным, с заплаканными глазами. После чаю, как обыкновенно, когда Pierre оставался вечер у Ростовых, он составил с Ириной Яковлевной и доктором партию графини. Pierre ездил к Ростовым для Наташи, но он очень редко бывал [наедине и говорил] с нею и говорил с нею отдельно. Ему нужно было только для того, чтобы ему было радостно и покойно чувствовать ее присутствие, смотреть на нее, слушать ее. И она знала это и всегда бывала там же, где он, когда он бывал у них. Ей самой было приятней всего в его присутствии. Он только один [без тяжелых воспоминаний] не тяжело, а напротив, утешительно напоминал ей о том мрачном времени. После игры Pierre остался у стола, рисуя на нем фигуры. [Наташа с Соней] Надо было уезжать. И как всегда, именно когда надо было уезжать, Pierre чувствовал, как ему хорошо было в этом доме. Наташа и Соня подошли к нему и сели у стола.

— Что это вы рисуете? — Pierre не отвечал.— Однако,— сказал он Наташе.— Вы не на шутку заняты войной,— я этому рад.— Наташа покраснела. Она поняла, что Pierre рад ее увлеченьем, потому что увлеченье это заслонит ее горе.— Нет,— отвечая на ее мысль, сказал Pierre,— я люблю [смотреть] наблюдать, как женщины обращаются с мужскими вопросами, у них все выходит ясно и просто.

— Да и что ж может быть неясно, граф? — сказала Наташа оживленно.— Нынче слушая молитву, мне так все ясно стало. Надо только смириться, покориться друг другу и ничего не жалеть, и все будет хорошо.

— А вот вы жалеете же Петю.

— Нет, не жалею. Я бы его ни за что не послала, но ни за что бы не удерживала.

— Жалко, что я не Петя, а то меня вы посылаете,— сказал Pierre.

— Вас, разумеется. Да вы и пойдете.

— Ни за что,— отвечал Pierre,— и, увидав недоверчиво добрую улыбку Наташи, продолжал: — Удивляюсь, за что вы обо мне такого хорошего мнения,— сказал он.— [Вы не хотите верить, что бы я не был] По-вашему, я могу всё хорошо сделать и всё знаю.

— Да, да, всё. [реплика Пьера: — Ну, а отчего] А теперь самое главное защита отечества,— опять слово «отечество» задержало Наташу, и она поторопилась оправдаться в употреблении этого слова.— Право, я сама

---

[3] В автографе слово *встал* написано поверх слова: *вышел* (прим. составителя).

не знаю отчего, но я день и ночь думаю, что с нами будет, и я ни за что, ни за что не покорюсь Наполеону.

— Ни за что,— серьезно повторил ее слова.— Вы и не покоритесь,— сказал Pierre и стал писать.— А это вы знаете,— сказал он, пиша ряд цифр. Он объяснил, что все цифры имеют значение букв и что по этому счислению написать 666 — выйдет: L'empereur и 42. И рассказал предсказание Апокалипсиса. Наташа долго с горячечно устремленными глазами смотрела на эти цифры и поверяла их значение.

— Да это страшно,— говорила она,— и комета.

Наташа так была взволнована, что Pierre раскаивался даже в том, что сказал ей это.

⟨XV⟩

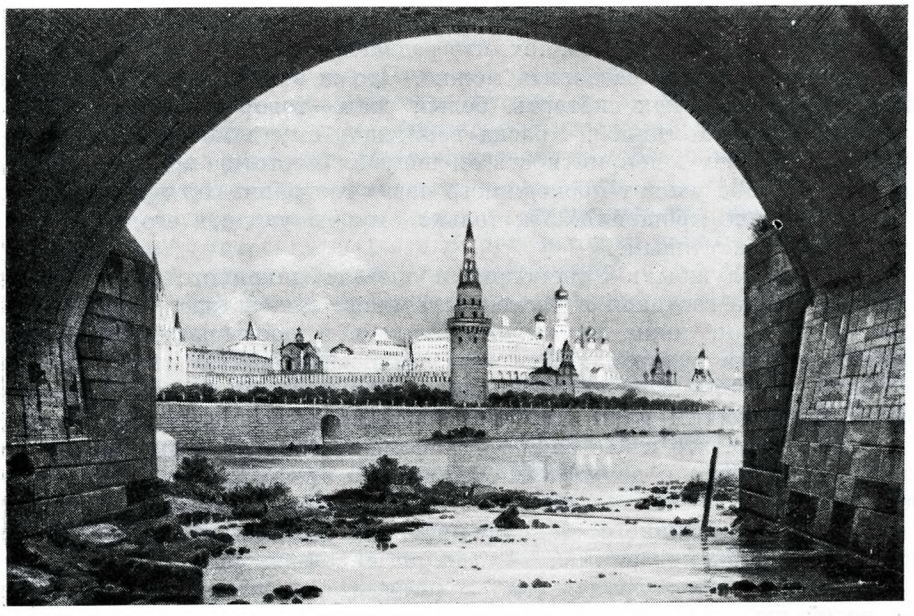
12 числа государь приехал в Москву. 13-го с раннего утра слышался благовест во всех церквах, и толпы праздничного народа [валили] шли ~~по~~ Поварской мимо дома Ростовых к Кремлю.

Несколько человек дворовых отпросились пойти посмотреть царя. Петя после своего объяснения с родителями продолжал иметь таинственный и обиженный вид. В это утро Петя долго один одевался, причесывался, всё устраивал воротнички так, как у больших. Он хмурился перед зеркалом, делал жесты, пожимал плечами и, наконец, никому не сказавшись, надел шляпу, вышел с заднего крыльца и, стараясь не быть замеченным, из дома выбежал на улицу. Петя решился идти прямо к государю, сказать какому-нибудь камергеру (Пете казалось, что государя всегда окружают камергеры) и прямо объяснить, что он, граф Ростов, желает служить отечеству, что молодость не может быть препятствием для преданности, и много еще прекрасных слов приготовил Петя в то время, как он собирался, рассчитывая, что успех его прошения к государю должен зависеть от того, что он ребенок (Петя думал даже, как все удивятся его молодости), а вместе с тем он хотел казаться стариком и так устроил свою одежду и наружность и с самым строгим степенным видом медленным шагом шел по улице, но чем дальше он шел, тем больше он развлекался все прибывающим и прибывающим у Кремля народом. Потом уже стал заботиться о том, чтоб его не затолкали, и решительно, с угрожающим видом выставил по бокам локти. Но в Троицких воротах, несмотря на всю его решительность, люди, которые, вероятно, не знали, с какой патриотической целью он идет в Кремль, так прижали его, что он должен был покориться и остановиться, пока в ворота проезжали экипажи. Около Пети стояли баба с лакеем, два купца и отставной солдат. На веснушками покрытом лице бабы, и на сморщенном с седыми усами лице солдата, и на чиновнике худом и горбатом было одно выражение ожидания и [⟨притворной?⟩] торжественности, когда говорили о том, где государь [⟨и предстоящее?⟩], чего никто не знал.

Постояв несколько времени в воротах, Петя прежде других хотел тронуться дальше и начал решительно работать локтями, но баба, стоявшая против него, на которую он на первую направил свои локти, сердито крикнула на него:

— Что, барчук, толкаешься, видишь, все стоят. Что ж лезть-то?

Петю поразило, что эта баба, за минуту перед этим так нежно говорившая о том, что «не прошли ли уж батюшка-то наш», тотчас же так ворчливо напустилась на него. Он остановился, не в силах достать платка в тесноте руками отер пот, покрывавший его лицо, и поправил размочившиеся от пота воротнички, которые он так хорошо устроил дома. Петя чувствовал, что он имеет непрезентабельный вид, и боялся, что таким он теперь представится камергерам, его не допустят до государя. Но оправиться и перейти в другое место не было возможности от тесноты. Хуже всего было, когда в ворота проезжал с гудящим под сводами



ВИД КРЕМЛЯ
Литография

звуком какой-нибудь генерал с плюмажем, тогда Петю 〈затискивали?〉 в вонючий угол. Один генерал был знакомый. Петя хотел просить его помощи, но счел, что это было бы противно мужеству. Он иронически улыбался на слова окружающих, которые принимали генерала за государя.

[Но вдруг] Но вот толпа хлынула и вынесла и Петю на площадь, которая была вся занята народом. Не только по площади, но и на крышах арсенала, на пушках,— везде всё были разноцветные фигуры и головы, головы, головы, головы. Только что Петя очутился на площади, как вдруг все головы открылись, всё бросилось еще куда-то вперед. Петю сдавили так, что он не мог дыхнуть, и всё закричало: «Ура, ура, ура!» Петя на цыпочках видел только движущихся толпами генералов и один плюмаж, который он принял за лицо государя.

Та баба, которая в воротах так сердилась на него, стояла рядом с Петей и рыдала, и слезы текли у ней из глаз.

— Отец. Ангел. Батюшка. Ура! — кричали все, и многие плакали. Петя, сам себя не помня, стиснув зубы и зверски выкатив глаза, бросился вперед, работая локтями и крича «ура», как будто он готов был и себя и всех убить в эту минуту, но с боков лезли точно такие же зверские лица с такими же криками «ура».

«Так вот что такое государь,— подумал Петя.— Нет нельзя мне самому подать ему прошение. Это слишком смело». Петя остановился, но [толпа все лезла и колебалась] в это время толпа заколебалась назад (спереди жандармы оттаптывали надвигавшихся слишком близко к шествию), государь проходил из дворца в Успенский собор. Петя неожиданно получил в бок такой удар по ребрам и так был придавлен, что он завизжал от боли, и священник или дьячок, стоявший подле, сжалившись над ним, подхватил его под руку.

— Барчонка задавили,— сказал дьячок.— Что ж так, легче.

Толпа опять разравнялась, и дьячок вывел Петю, бледного и не дышащего, к пушкам. Несколько лиц пожалели Петю, и вся толпа обратилась вдруг к нему, и уж вокруг него давили друг друга. Те, которые

стояли ближе, прислуживали ему, расстегивали его сюртук, усаживали на пушку и укоряли кого-то, тех, кто раздавил его.

— Этак до смерти раздавить можно. Что ж это? Душегубство делать. Вишь, сердечный, как скатерть, белый стал,— говорили голоса.

Петя скоро опомнился. Краска вернулась ему в лицо, боль прошла, и за эту временную неприятность он получил место на пушке, с которой он уже наверное увидит проходящего назад государя. Петя уже не думал теперь о подаче прошения. Уж только ему бы увидать его и то он бы считал себя счастливым.

Во время службы в Успенском соборе — соединенного молебствия по случаю приезда государя и благодарственного молебствия за заключение мира с турками, толпа пораспространилась и послышались обыденные разговоры. Одна купчиха показывала свою разорванную шаль и сообщала, как дорого она была куплена; другая говорила, что нынче все шелковые материи дороги стали. Дьячок, спаситель Пети, разговаривал с чиновником о том, кто и кто служит с высокопреосвященным. Два молодые мещанины шутили с дворовыми девушками, грызущими орехи. Все эти разговоры, в особенности шуточки с девушками, [В пору] для Пети в его возрасте имевшие особенную привлекательность, все эти разговоры [прежде] теперь не занимали Петю; он сидел на своем возвышении — пушке, всё так же волнуясь [как и тогда, когда] при мысли о государе и о своей любви к нему. Совпадение чувства боли и страха, когда его сдавили, с чувством восторга еще более усиливали в нем сознание важности этой минуты.

При выходе из церкви Пете удалось с пушки видеть государя, хотя из-за слез он не мог ясно рассмотреть его лицо, и, увидав его, он закричал «ура» неистовым голосом и решил, что [либо до] завтра же, что бы это ни стоило, будет военным. Хотя было уже поздно и Петя ничего не ел и пот лил с него градом, он не уходил домой и вместе с уменьшившеюся толпой, хотя и поредевшей, но еще огромной, стоял перед дворцом, ⟨любовно?⟩ глядя в окно и с трепетом счастия ожидая еще чего-то и завидуя одинаково и сановникам, подъезжавшим к крыльцу — к обеду государя, и камер-лакеям, служившим за столом и мелькавшим в окнах. Два раза в окно видна была голова государя и подняли крик «ура».

За обедом государя Валуев сказал, оглянувшись в окно:

— Народ всё еще надеется увидать ваше величество.

Обед клонился к концу. Государь встал и [вышел], доедая бисквит, вышел на балкон. Народ, [Петя] с Петей в середине, а Пете казалось, что он, окруженный народом, бросились к балкону.

— Ангел! Отец! Ура! батюшка! — кричал народ и Петя, и опять бабы и некоторые мужчины послабее, в том числе и Петя, показали слезы на глазах. Государь велел подать себе тарелку бисквитов, и стал кидать бисквиты с балкона. [Тут глаза] Глаза Пети налились кровью, опасность быть задавленным еще более возбуждала его, он бросился на бисквиты. Он не знал зачем, но нужно было взять один бисквит из рук царя, и нужно было не поддаться. Он бросился и сбил с ног старушку, ловившую бисквит. Но старушка не считала себя побежденною, хотя и лежала на земле (старушка ловила бисквиты и не попадала руками). Петя коленкой отбил ее руку и схватил бисквит и, как будто боясь опоздать, опять закричал «ура» уже охриплым голосом.

Государь ушел, и после этого большая часть народа стала расходиться.

— Вот я говорил, что еще подождать,— так и вышло,— с разных сторон радостно говорили в народе.

Как ни счастлив был Петя, но ему все-таки грустно было идти домой и знать, что все наслаждение этого дня кончилось. Из Кремля Петя, совершенно эпатировавшись [1], пошел не домой, а к своему товарищу Оболен-

---

[1] От франц. épater — ошеломлять (прим. составителя).

скому, которому было 15 лет и который тоже поступал в полк. Вернувшись домой, он [застал Pierr'a у своих. Pierre, как и всегда, проводил у Ростовых, но нынешний вечер он был особенно оживлен.] решительно и твердо объявил, что ежели его не пустят, то он убежит. И на другой день, хотя и не совсем еще сдавшись, но граф Илья Андреич поехал узнавать, как бы пристроить Петю куда-нибудь побезопаснее[2].

15-го числа, утром, на третий день после этого, у [Благородного собрания] Слободского дворца утром стояло бесчисленное количество экипажей [запружавших Дмитровку и Охотный ряд, и толпы народа ждали проезда государя из дворца в собрание] на набережной и 〈*1 нрзб*〉 Кремлю и опять Петя между ними, но на этот раз с Соней и Наташей и душой 〈спокоен?〉.

[Хоры зал] [Залы собрания] Залы были полны. [〈Дамы?〉 важные и безмундирные мужчины] [Залы пополнились] [В большой дворяне в мундирах, в меньшей купцами] Первая была полна дворян в мундирах, вторая купцами с медалями, в бородах и синих кафтанах. По всем залам шел гул и движение. Были центры у [губернских и уездных] столов, но большинство ходило по залам. Все дворяне, большей частью старики, подслеповатые, беззубые, плешивые, оплывшие жиром, те самые, которых каждый божий день видал Pierre то в клубе, то в их домах,— все были в мундирах большей частью екатерининских, и этот общий мундир придавал что-то странное виду этих знакомых лиц, как будто в одинакие бумажки завернули, какой-нибудь шутник, самые разнообразные товары мелочной лавки. Особенно поразительны были старики. Они больше сидели и молчали, а ежели ходили и говорили, то пристраивались к кому-нибудь помоложе. Так же как на лицах толпы на площади видел Петя, на всех лицах была поразительная черта противоположности общего тупого ожидания чего-то торжественного и обыденного вчерашнего[3] — бостонной партии, Петрушки — повара, здоровья Зинаиды Дмитриевны и французского табаку.

[Дамы сверху с завистью смотрели на важное и торжественное зрелище этого собрания и с умилением думали о том, что там их мужья, отцы и дети и что-то, что они там решают и говорят не только судить, но и понять им никогда невозможно.]

Pierre с раннего утра, затянутый в неловком, сделавшемся ему узким дворянском мундире, был в залах[4]. Он был в волнении: необыкновенное собрание не только дворянства, но и купечества — сословий états généraux[5] вызвало в нем целый ряд давно оставленных, но глубоко врезавших в его душе мыслей «Contrat social»[6] и французской революции. Он ходил, присматривался, прислушивался к говору, но нигде не находил чего-нибудь на выражение тех мыслей, которые занимали его.

Был прочтен Манифест государя, и потом разбрелись разговаривая. Кроме обыденных интересов, он слышал толки о том, где стоять предводителям, когда дать бал государю, и изредка намеки о общем положении военного дела, о выгодах и невыгодах милиции. Но война, как скоро дело касалось войны и того, для чего было собрано дворянство, толки были нерешительны и неопределенны. Всё больше желали слушать, чем говорить. [Ежели же кто говорил, то, очевидно, из удовольствия сгруппировать вокруг себя слушателей. Так говорил один]

Один мужчина средних лет, полный, мужественный, красивый, в отставном морском мундире, говорил в угле залы, и около него столпились. Pierre подошел к образовавшемуся кружку около говоруна и стал при-

---

[2] К тексту: *Но жить надо было* (с. 614) ∾ *куда-нибудь побезопаснее.*— см. Варианты, № 35.

[3] На полях: *Vive Henri IV* и рисунок Толстого пером: мужское лицо.

[4] На полях: *Pierre конституцию.*

[5] Государственные чины

[6] «Общественный договор»

слушиваться. Граф Илья Андреич в своем екатерининском воеводском кафтане [подошел], ходивший с приятной улыбкой между всеми, со всеми знакомый, подошел тоже к этой группе и стал слушать с своею доброй улыбкой, как он всегда слушал, в знак согласия с говорившим одобрительно кивая головой. Отставной моряк говорил очень смело (это видно было по выражению лиц, его слушавших) и по тому [7], что известные Pierr'у за самых [преданных царю] покорных и тихих людей неодобрительно отходили от него или противуречили, подходили и другие ⟨*1 нрзб*⟩, очевидно, ⟨говоривший?⟩ был либерал, и потому Pierre, протискавшись поближе, стал слушать. Действительно моряк был отчаянный, бойко говоривший сангвиник, либерал, но совсем в другом смысле, чем думал Pierre. Он говорил [с жаром] тем особенным звучным, певучим ⟨баритоном?⟩ дворянским баритоном, от которого так и слышатся привычные слова: «чеаек», «трубку», «кобель помай», «спой, коварница», «девку тебе» и т. п. Он говорил с привычкой разгула и власти в голосе.

— Что ж, что смоляне предложили ополчение государю. Разве нам смоляне указ. Ежели благородное дворянство Московской губернии найдет нужным, оно может выказать свою преданность государю другими средствами. Разве мы забыли ополченье в 7-м году. Только что нажились кутейники, да воры.

Граф Илья Андреич, сладко улыбаясь, одобрительно кивал головой.

— А что же, разве [они] наши ополченцы помогли что-нибудь, только разорили наши хозяйства. Лучше еще набор..., а то вернется к вам ни солдат, ни мужик, только один разврат. Дворяне не жалеют своего живота, мы сами поголовно пойдем, возьмем еще рекрут, и всем нам только клич кликни гусай (он так по-дворянски выговаривал слово «государь»), мы все умрем за него,— прибавил оратор [желая] одушевляясь.

Илья Андреич проглатывал слюни от удовольствия и толкал Pierr'а, но Pierr'у захотелось [высказать свои несогласия с оратором или] также говорить; одушевленно он выдвинулся вперед, не зная, что еще скажет. В это время один [статский генерал] сенатор, без зубов совершенно, но с умным лицом, стоявший близко, перебил Pierr'а. С видимой привычкой вести прения и держать вопросы, он сказал тихо, но слышно:

— Я полагаю, мы призваны сюда не для того, чтобы обсуждать, что удобнее для государства в настоящую минуту — набор или ополчение. Мы призваны для того, что государь удостоил нас сообщением о состоянии, в котором находится государство, и желает слышать наш отзыв... А судить о том, что удобнее, набор или ополчение, мы предоставим судить высшей власти...— И, не докончив еще эти слова, сенатор повернулся и вышел из круга.

Но Pierre вдруг ожесточился против сенатора, вносящего эту правильность и узкость воззрений на предстоящую цель занятия дворянства, и, выступив, остановил его. Он сам не знал, что он будет говорить, но начал так оживленно и изредка прорываясь французскими словами и [⟨неправильно?⟩] книжно выражаясь по-русски.

— Извините меня,— начал он,— но, хотя я не согласен с господином... que je n'ai pas l'honneur de connaitre [8], но я полагаю, что сословие дворянства, кроме выражения своего сочувствия и восторга (это слово понравилось Pierr'у), призвано также для того, чтобы и обсудить те меры, которыми мы можем помочь отечеству. Я полагаю,— говорил он, воодушевляясь,— что государь был бы сам недоволен, ежели бы он нашел в нас только владельцев мужиков, которых мы отдаем ему, и б... [9] chair à canon [10], которую мы из себя делаем, но не нашел бы в нас совета.

---

[7] Нет согласования в автографе (прим. составителя).
[8] которого я не имею чести знать
[9] Отточие в автографе (прим. составителя).
[10] пушечное мясо

Многие поотошли от кружка, заметив презрительную улыбку сенатора и то, что Pierre говорит 〈лишнее?〉, только Илья Андреич был доволен, как он бывал доволен всегда тем, который говорил.

— Я полагаю, что, прежде чем обсуждать эти вопросы, мы должны спросить у государя, почтительнейше просить его величество сообщить нам, сколько у нас войска, в каком положении находятся наши войска и армии, и тогда...

Но Pierre не успел договорить, как с 3-х сторон вдруг напали на него. Сильнее всех напал на него давно знакомый ему, всегда хорошо расположенный к 〈нему приятный?〉 игрок в бостон, Степан Степанович Апраксин. Степан Степанович был в мундире, и, от мундира ли, или от других причин, Pierre увидал перед собой совсем другого человека. Степан Степанович с вдруг проявившейся старческой злобой на лице закричал на Pierr'a:

— Во-первых, доложу вам, что мы не имеем права спрашивать об этом государя, а, во-вторых, ежели было бы такое право у российского дворянства, то государь не может нам ответить. Войска движутся сообразно с движениями неприятеля — войска убывают и прибывают... Другой голос, [старичка] среднего роста, человек лет 40, которого Pierre тоже видал у цыган и знал за нехорошего игрока в карты и который, тоже измененный в мундире,— этот голос перебил Апраксина.

— Да и не время рассуждать,— говорил этот голос, который часто слышал Pierre подпевающим бойко цыганам и кричавшим «во банк», от него запахло вином.— Не время рассуждать, а нужно действовать: война в России, враг наш идет, чтобы погубить Россию, чтобы поругать могилы наших отцов, чтоб увезти жен, детей.— Дворянин ударил себя в грудь,— а все встанем, все поголовно пойдем, все за царя-батюшку! — Некоторые отвернулись, как будто чувствуя неловкость при этих словах. Pierre начинал и не мог сказать ни слова. [Его слова] Он только чувствовал, что звук его слова, независимо от того, какую оно заключало мысль, был [так же мало слышно, как] менее слышен [ни от чего], чем звук слов крикуна.

Илья Андреич одабривал. Сзади кружка некоторые бойко поворачивались плечом к оратору при конце фразы и говорили:

— Вот так, так! Это так!

Pierre хотел сказать, что он не прочь ни от пожертвований, ни деньгами, ни мужиками, ни собой, но что надо бы знать состояние дел, чтобы помогать ему, но он не мог говорить. Много голосов кричало и говорило вместе, так что Илья Андреич не успевал кивать всем; и группа увеличивалась, распадалась, опять сходилась и двинулась вся, гудя говором, в большую залу к губернскому столу. [Сверх, с хор с умилением] Многие молодые и неопытные люди с умилением и трепетным уважением смотрели на эту волнующуюся толпу. В ней-то мужчины решали судьбу России. Pierr'у не только не удавалось говорить, но его грубо перебивали, отталкивали, отворачивались от него, как от общего врага. Это не оттого происходило, что недовольны были смыслом его речи,— ее и забыли после большого количества речей, последовавших ей,— но для одушевления толпы нужно иметь ощутительный предмет любви и ощутительный предмет ненависти. Pierre сделался этим последним. Много ораторов говорило, всё в смысле кутилы с запахом вина, и говорили многие прекрасно и оригинально.

Издатель «Русского вестника» Глинка, которого узнали («писатель, писатель»,— послышалось в толпе) как 〈*1 нрзб*〉 сказал, 〈что〉 он видел ребенка, улыбающегося при блеске молнии и при раскатах грома, но что мы не будем этим ребенком.

— Да, да, при раскатах грома! — повторяли одобрительно в задних рядах, предполагая, что гром относился только к Наполеону.

Толпа подошла к губернскому столу, у которого в лентах, седые,

плешивые в мундирах сидели 70 вельмож — стариков, которых почти всех по домам с шутами и в клубах за бостоном видал Pierre. Толпа подошла, не переставая [разговаривать] гудеть. Один за другим и иногда два вместе подходили к столу, прижатые сзади к высоким спинкам стульев налегающей толпой, говорили. [Большинство] Стоявшие сзади замечали, чего не сказал говоривший оратор, и торопились сказать это пропущенное. Другие, в этом жаре и тесноте, шарили в своей голове, не найдется ли какая мысль, и торопились говорить ее. Знакомые Pierr'у старички сидели и оглядывались то на того, на другого, и выражение большей части из них говорило только, что им очень жарко. Pierre, однако, чувствовал себя взволнованным, и общее чувство желания [всем пожертвовать] показать, что нам всё нипочем, выражавшееся больше в звуках и в выражениях, чем в смысле, сообщалось и ему. Он не отрекся от своих мыслей, но чувствовал себя в чем-то виноватым и желал оправдаться.

— Я сказал только, что [прежде] нам удобнее было бы делать пожертвования, когда мы будем знать, в чем нужда...

Один ближайший старичок оглянулся на него, но был прерван криком, начавшимся в другой стороне стола.

— Да, Москва будет сдана. Она будет искупительницей,— кричал один. [От] [Ежели враг истребляет]

— Он враг человечества! — кричал другой.— Позвольте мне говорить... Господа, вы меня давите...

~~В это время быстрыми шагами~~ перед расступившимися дворянами, в генеральском мундире, с лентой через плечо, с своим высунутым подбородком и быстрыми глазами, которые не казались озабоченными, вошел граф Растопчин.

— Государь [в зале купеческого собрания,— сказал граф Растопчин,— оттуда польются мильоны] император скоро будет,— сказал граф Растопчин,— я сейчас оттуда. Я полагаю, что судить много нечего в том положении, в котором мы находимся. Государь удостоил собрать нас и купечество,— сказал граф Растопчин.— Оттуда польются мильоны, а наше дело выставить ополчение и не щадить себя... Как вы полагаете, господа?

Начались тихие совещания, которые весьма скоро окончились предложением графа Растопчина выставить 10-го, на что все согласились, и обмундировать, на что также изъявлено было согласие с короткими замечаниями некоторых лиц о том, кому будет поручено и как избежать злоупотреблений, вкравшихся в прежнее ополчение. Замечания эти были устранены графом Растопчиным тем, что об этом подумаем после. Все совещание прошло больше чем тихо, оно даже казалось грустно, когда по одиночке были слышны старые голоса, говорившие один согласен, другой для разнообразия: «и я того же мнения» и т. д., после всего прежнего шума.

Граф Растопчин велел секретарю писать постановление дворянства. И господа заседавшие встали, как бы облегченные, загремели стульями и пошли по зале разминать ноги, забирая кое-кого под руку и разговаривая.

— Государь, государь,— вдруг разнеслось по залам, и вся толпа бросилась к выходу, но государь прошел сначала в залу купечества. Он пробыл там около 10 мин. Pierre в числе других увидал государя, выходящего из залы купечества с слезами умиления на глазах. Как потом узнали, государь только что начал речь купцам, как слезы брызнули из его глаз, и он дрожащим голосом договорил ее. Когда Pierre увидал государя, то он выходил сопутствуемый тремя купцами. Один был знаком Pierr'у, толстый откупщик, другой голова с худым узкобородым желтым лицом. Оба они плакали. У худого стояли слезы, но толстый откупщик рыдал, как ребенок, и всё твердил: «и жизнь и имущество [тебе] возьми, ваше величество».

Толпа отхлынула и унесла с собой Пьера в залу дворянства. И тут, как только вошел государь с своим красивым растроганным лицом,

с стоящими на глазах слезами, все лица изменились, и Pierre сзади себя услыхал рыдания. Pierre стоял довольно далеко и не разобрал, что говорил Растопчин государю (Растопчин сообщил постановление дворянства), но он ясно слышал столь приятно человеческий и тронутый голос государя, который говорил:

— Никогда я не сомневался в усердии Российского дворянства. Но в этот день оно превзошло мои ожидания. Благодарю вас от лица Отечества. Господа, будем действовать — время всего дороже...

— Да, всего дороже... царское слово,— рыдая говорил сзади голос Ильи Андреича, ничего не слышавшего, но всё понимавшего по-своему.

Pierre не чувствовал в эту минуту уже ничего, кроме желания показать, что все ему нипочем и что он всем готов жертвовать. Как упрек ему представлялась его речь с конституционным направлением. Он искал случая загладить это. Узнав, что граф Мамонов жертвует полк, Безухой тут же объявил графу Растопчину, что он отдает [в его полное распоряжение 5-го тоже полк, который 〈не?〉 будет] 1000 человек и их содержание. Старик Ростов без слез не мог рассказать жене того, что было и [написал] тут же согласился на просьбу Пети и сам свез его к Мамонову в его будущий полк.

На другой день государь уехал. Все собранные дворяне сняли мундиры, опять разместились по домам и клубам [и 〈страдая?〉] и, покряхтывая, отдавали приказания управляющим о ополчении и удивлялись тому, что они наделали.

Pierre был членом комитета приема пожертвования [и ревностно занимался как *〈1 нрзб〉*, так и своим полком]. Петя надел казачий мундир. Старый граф окончательно решил продать весь дом с движимостью, которая была ценнейшею, и ждал только приезда Разумовского.

7-я ЧАСТЬ

〈I〉

Что должно было совершиться, то должно было совершиться. Как Наполеон думал, что он начал войну с Россией потому, что он захотел всемирной монархии, а начал ее потому, что не мог не приехать в Дрезден, не мог 〈не〉 отуманиться почестями, не мог не надеть польского мундира и не поддаться предприимчивому впечатлению июньского утра и не начать переправу через Неман, так думал Александр, что он [начал] ведет отчаянную войну, в которой он не помирится, хотя бы ему дойти до Волги, только потому, что [он нашел это справедливым для России, он вел такую войну, потому что он не мог не быть лично оскорблен Наполеоном и лично не мог забыть оскорбления. Как думает лошадь, поставленная на колесо рушилки, что она идет потому, что ей хочется] не мог поступить иначе.

Лошадь, поставленная на покатое колесо рушилки, думает, что она совершенно свободно, произвольно ступая с левой или с правой ноги, поднимая или опуская голову, идет потому, что ей хочется взойти наверх, так точно думали все те неперечислимые лица, участники этой войны, которые боялись, тщеславились, горячились, негодовали, думая, что они знают, что они делают, а все были только лошадьми, мерно ступавшими по огромному колесу истории, [заставлявшими] производившими скрытую от них, но понятную для нас работу. Такова неизменная судьба всех практических деятелей, и тем несвободнее, чем выше они стоят в людской иерархии, чем выше, тем более они связаны, чем круче колесо, тем быстрее и несвободнее идет лошадь. Стоит ступить на это колесо, и [и пошла 〈непонятная?〉] нет свободы, нет понятной деятельности, и чем дальше, тем быстрее идет колесо и [нет] тем меньше свободы до тех пор, пока не сойдешь с него.

[Есть] Только Ньютон, Сократ, Гомер действуют сознательно и независимо, и только у тех людей [которые действуют сообразно с своей] есть тот произвол[1], который против всех доказательств о нервах доказывает моя, сейчас поднятая и опущенная рука [теперь, когда].

Не спор материалистов и идеалистов занимает меня. Что мне за дело до их спора. Но этот самый спор во мне, в вас, во всяком человеке. Есть у меня свобода воли? [Этот старый] Это старое столь дорогое мне понятие, или нет его, и всё, что я делаю, совершается по законам неизбежным [я сижу и]. Он говорит, что нервы мои афектированы так, что я не могу не сделать этого движения; но кроме того, что он запутался сам, когда дошел до объяснения понятия, из которого никто ничего понять не может, он не ответил и никто не ответит на главный аргумент, простой и неоспоримый, как колумбово яйцо: Я сижу и пишу, подле меня лежит гиря гимнастическая и собака. Могу я или не могу сейчас перестать писать? Попробовал — могу, а теперь могу я продолжать писать? — могу. Стало быть, есть произвол. Но спрашиваю себя дальше, могу я поднять гирю и сделать так и так движение? — могу. А могу я сейчас с высоты руки бросить гирю на собаку? Попробовал — нет, не могу. Оно можно в другие минуты,— а теперь нет — 1000 соображений: глупо, жалко, можно сделать другой опыт. Нет, не могу. А! так вот есть [вещи] поступки, как махать рукой во всех направлениях, как писание и воздержание от него, которые могу, и такие, которые не могу. Продолжу испытание. Могу пойти поцеловать спящего ребенка? Могу пойти в безик сыграть с тетушкой? — могу. Могу пойти ударить [спящего] лакея [теперь], или пойти поцеловать кухарку? — нет, не могу, теперь не могу. [Это ясно. Я спрашивал] Могу ли я не спать нынче ночью? Мог ли я не согнать муху с глаза? Нет, не могу и не мог. Я просил других [делать] отвечать мне на такие же вопросы, и все отвечали то же. Есть вещи, которые можно сделать и не сделать (разумеется, в области физически возможного). Есть вещи, которые нельзя сделать и нельзя не сделать. Это ясно. И ежели не только запутается, как до сих пор в доказательствах, что нет ничего кроме нервов, а что такое нервы, он не знает, но даже если он мне как 2×2=4 докажет это, то я не поверю, потому что я могу сейчас [протянуть руку и согнуть ее.— Стало быть, есть произвол. Но, кроме того, [я могу] я не мог сейчас же после этого не протянуть руки к [носу] глазу, на котором защекотала муха, и, кроме того, я не мог сейчас же бросить гирю на собаку] протянуть руку и потом не протягивать ее.

Главный источник людских заблуждений состоит в отыскивании и определении причин [живых] явлений жизни человеческой — тех органических жизненных явлений, которые вытекают из совокупности бесчисленного количества необходимостей. Вольтер, кажется, сказал, что не было бы Варфоломеевской ночи, ежели бы у короля не было запора. Это столько же справедливо, как и то, что ежели бы не было всех тех волнений, предшествующих Варфоломеевской ночи, то у короля желудок действовал бы исправнее. Столько же справедливо, как и то, что причина Варфоломеевской ночи был фанатизм средних веков, была интрига католиков и т. д. и т. д., о чем можно справиться во всех историях. Факт Варфоломеевской ночи есть одно из тех жизненных явлений, которое совершается неизбежно по предвечным законам, свойственным человечеству [также]: убивать в среде своей лишнее число людей и подводить под это совпадающие с этим убийством свои страсти. Статистика преступлений показывает, что человек, думающий, что он убивает свою жену потому, что она изменила ему, исполняет только [зоологический] общий закон, по которому он должен пополнить число убийц в статистическом отчете. Самоубийца, лишающий себя жизни, по самым сложным философическим соображениям, исполняет только тот же закон. Это относится до личности

[1] В автографе слова: *есть тот произвол* вписаны два раза (прим. составителя).

человека. Но общество человеческое, всё человечество, кроме [личных] законов, управляющих их личностью, подлежат ее законам [общественным], управляющим обществами, группами человечества (группами, определяемыми не по государственному различию, [а по] так что Баден не составляет отдельной группы, [а Европа, Россия и 〈Мап?〉] но по управляемости ими одними началами) и всем человечеством.

В этих обществах есть такая же необходимость больших убийств — войны, как и необходимость убийств для отдельных лиц, и точно так же как и для самоубийства и убийства, частью ум и воображение человека подделывают причины, [так] частью совпадают обстоятельства, принимаемые за причины, так и в обществах совершается то же.

Человек, как пчела и муравей, не могут быть рассматриваемы только как личности. Только общества людские есть целый организм, подчиненный таким же законам, как [пчелы в 〈улье?〉] организм улья и муравейника. Для того чтобы яснее понять это, посмотрите на мелкие [людские] общества людей, стоящих на низкой степени развития (там легче видеть от несложности условий и дальше от нас, вследствие чего мы независимее можем смотреть на них), посмотрите на любое село. Каждый дом, двор, чулан, лавка, образ, чашка, нож, одежда, еда,— всё устроено точно так же у одного, как у другого. Весенний день вы видите из одного двора, из другого точно так же, с теми же орудиями выезжают мужики сеять. Они не сговаривались, не думали об этом, но точно так же, как одна пчела, за ней другая из другого улья, как будто говоря: «ребята на работу», уже полетели, вылетели пчелы и возвратились с колошкой, точно так же выехали и вернулись мужики, или бабы, пошли брать замашки или мыться к празднику. Как после 19 февраля мы, все помещики, углубились в новые условия жизни, вникали, отыскивали, думали, что мы только разумным путем доходим до вступления в новые условия. И что же? Из Пензенской губернии встречались с Тульскими и, [не] перебивая один другого, говорили всё то же, одно и то же, как сыновья нечаянно — все подарили по зонтику матушке. Все говорили, что на сходках надо быть требовательнее, а никак не великодушными,— что [надо давать] лучше всего в исполу, что батраки разорительны, что надо уменьшать запашки и т. д. и т. д. Всё это есть муравейная [деятельность] сторона, стадная сторона жизни.

Для того, чтобы вполне понять [наше заблуждение] возможность заблуждаться в непризнании этих общих стихийных законов, управляющих человечеством, необходимо понять [закон] свойства человека.

1. [Способность воображения с быстротой, исключающей понятие времени, подделываться под неизбежную необходимость] Закон подделывания воображения с быстротой, исключающей понятие времени, под неизбежную необходимость, сложные умственные доводы, убеждающие нас в том, что мы делаем, неизбежно делается по нашему произволу.

2. [Свойство человека объяснять причину явлений только сообразно с своей выгодой и невыгодой.] Закон[2], лишающий человека в минуту совершения стихийного поступка видеть стихийность его и необходимость видеть его личную выгоду (праздники — посты),

и 3. Закон совпадения жизненных явлений внешних с соответствующими ему душевно нравственными или умственными проявлениями.

1. Для того чтобы понять способность подделывания причин под неизбежные [факты] явления, лучше и очевиднее и проследить эту способность там, где она выражается отдельно от логичной способности ума.

2. Закон личности. Лисица, зайцы и[3]

3. Закон совпадения. Что-то совершилось, для него по неизвестной мне причине, имея и для меня[3].

---

[2] На полях: *Время.*

[3] Так в автографе.

Вы спите и видите сон, что шли на охоту и длинную историю, предшествующую охоте; наконец, вылетает дичь, вы стреляете и просыпаетесь. Звук выстрела был действительный звук — звук хлопнувшего ветром ставня. [В минуту] В момент пробуждения воображение подделало всю историю охоты. Сумасшедший ничему не удивляется. Его сажают в карету и везут, он не знает, зачем и куда. Он не только не удивлен, но говорит, смотря по своему пункту помешательства, почему он ждал этого, и рассказывает целую историю, вследствие ⟨которой⟩ должны были за ним приехать.

Дети сидят, им целый день не позволяют бегать. Они сидят и играют в тихую игру, представляя больную мать, доктора, и мужа, [Вдруг] и няню. Вдруг им позволено бегать. Слуга бежит за лекарством 30 раз вокруг стола, муж тоже, больная тоже. А для того чтобы удовлетворить потребности движения, воображение мгновенно подделало им предлог посылки за доктором. Ребенку хочется спать или есть. Он плачет и сердится и всегда о чем-нибудь плачет и о чем-нибудь сердится.

Это примеры (и таких миллионы) того действия воображения, где ум слабый не успевает разумно выбрать и обставить подделку воображения. Но процесс тот же самый.

Вы сельский хозяин, вы не в духе, вы идете туда и обращаете внимание на то, что может дать вам предлог сердца, и искренно убеждены, что не вы выбрали предлог хозяйство, а что хозяйство мучит вас, что, не будь хозяйства, вы были бы спокойны. Вам необходимо по законам стихийным всуе *верить,* [вы выбрали] вы увидали сон, и вы под него подделываете будущее и лжете, не признаваясь себе. Вертящиеся столы, которые вертели все в мире и спорили, и говорили, и писали о магнетизме только потому, что стихийный закон — желание проникнуть в будущее. «Да, вот вы не верите в гомеопатию, а он воскрес после белладонны, да и без исключения всем помогаю»,— говорит алопат, здоровый и ученый, обладающий логичной способностью человек. Вас тронул мороз по спине, вы содрогнулись, читая книгу,— это впечатление у вас бывало, когда вас тронуло что-нибудь и вы тронуты книгой. Вы вспоминаете, вам нечего вспоминать, и вы вспоминаете, что вы вспоминали. Бисмарк убежден, что из сложных, хитрых и глубоких государственных соображений его возникла победоносно кончившаяся последняя война. Члены Vaterland'а думают, что это сделал патриотизм. Англичане думают, что они перехитрили Наполеона, а всё, что они все думают, подделало им их воображение с помощью ума,— подделало под потребность [евро⟨пейского?⟩] кровопускания европейскому обществу. Такую же потребность, как потребность желтых и черных муравьев истреблять ⟨друг друга?⟩ и по известной вечно одной форме строить свой муравейник.

Еще можно бы было в какой-нибудь другой деятельности общественной человека оспаривать его зависимость от общих и непроизволь⟨ных причин⟩, но не в военной, потому что военная есть одна из самых противных деятельностей другой — нравственной стороне человека. Мы привыкли говорить о войне как о благороднейшем деле. Цари носят военный мундир. Военные люди называются так же, как и благодетели рода человеческого,— гении, и так же, и более, несравненно более Сократа и Ньютона прославляются. Мечта мальчика есть война. Высшая почесть военная. А что [есть война] и что нужно для успешного ведения войны? Для того, чтобы быть гением:

1. Продовольствие — организованный грабеж.
2. Дисциплина — варварский деспотизм, наибольшее стеснение свободы.
3. [Сведения] Умение приобретать сведения — шпионство, обман, измена.
4. Уменье прилагать военные хитрости, обман.
5. Что самая война? — Убийство.
6. Какие занятия военного? — Праздность.

7. Нравы — разврат, пьянство.

Есть ли один порок, одна дурная сторона человеческой природы, которая бы не вошла в условия военной жизни? Отчего же уважается военное звание? Оттого, что оно есть высшая власть. А власть *имеет льстецов*.

[Это] Так вот почему военное дело более всего подлежит муравейным, неизбежным законам, руководящим человечество, и исключает всякий личный произвол и знание своей цели 〈1 *нрзб*〉 тем более, чем более лица связаны с общим ходом дела. Как тем быстрее вертится [флюгерок в оркестре] то колесо [которое] последней передачи, чем больше под ним передач. Теперь двигатели колес 12 года давно сошли с своих мест, колеса уничтожились и преобразовались, а результаты перед нами, и потому нам ясно, как ни один человек, чем выше он был (ни Наполеон, ни Александр), не имел ни малейшего чаяния о том, что будет, а что вышло именно то, что должно было быть. Наполеон с Вильны все ждал мира, Александр не мог допустить, чтобы Смоленск был отдан, не только Москва[4]. Теперь нам ясно, что было причиной успеха 12-го года. Я думаю, никто не станет спорить, что успех зависел от заманения Наполеона в глубь России, от сожжения городов и возбуждения ненависти к врагу. И не только никто не видел этих средств. (Я не говорю о разных намеках в письме Александра к Бернадоту и разных намеках современников, которые, естественно, après coup[5] собирают из всего, что было думано и говорено, и забывают, что эти намеки — 1 на 100 000 противуположных — не упоминают о противуположных, а говорят о подтверждающих свершившийся факт. Это прием, которым оправдываются и подтверждаются предчувствия и предсказания.) Итак, не только никто не видел этого тогда, напротив, все силы были направлены на то, чтобы помешать этому,— то есть входу неприятеля в глубь России и возбуждению народному[6]. И силы, направляющиеся против, сами не сознавая того, обращались в пользу. Наполеон входит в Россию с 500-тысячной армией. Он страшен своим уменьем давать решительные сражения. Мы раздробляем на маленькие кусочки свою 2[7] слабейшую армию и держимся плана Пфуля. Армии наши разрезаны. Мы стремимся соединить их и для соединения принуждены отступать. И невольно, описывая острый угол обеими армиями, заводим Наполеона до Смоленска. Мы намерены дать сражение впереди Смоленска и сами обойдены и принуждены защищать Смоленск. Смоленск мы защищаем, но не настолько, чтобы подвергнуть армию опасности, и не настолько, чтобы не обмануть жителей, которые погибают в стенах Смоленска, и Смоленск зажигают. Все это делается противно распоряжениям свыше, все это вытекает из сложнейшей игры, интриг, целей, планов, желаний, противуположных друг другу [ни одной] и не угадывающих того, что должно быть, и того, что есть единственное спасение. Пфуль уезжает, ругаясь, говорит, что die ganze Geschichte geht zum Teufel[8], и не может понять бессмыслицы раздробить армии сообразно с его планом и потом оставить этот план. Император уезжает от армии по письму Шишкова, Аракчеева и Балашева, в котором они как за довольно удобный предлог ухватываются за необходимость воодушевить столицу своим присутствием, а в этом вся сущность дела. Генералы в отчаянии, что армии раздроблены и что нет единства начальства, что Багратион старше чином, а Барклай военный министр, но из этой путаницы и раздробления вытекает нерешительность и избежание сраженья, от которого нельзя бы было удержаться, ежели бы армия собралась вместе. Избрание не 〈национального?〉 ничтожного Барклая главнокомандующим

---

[4] На полях: *Планы. Сколько было планов! Дрисса — права. Высадка. Штейн. Армфельд. Слоним. Атака впереди Гродно.*

[5] задним числом

[6] В автографе: *народного* (прим. составителя).

[7] Так в автографе; означает: вдвое.

[8] вся история идет к чёрту (*нем.*).

кажется ошибкой и горем, а оно-то спасает армию и возбуждает дух... Всё ведется для очевидной для нас, потомков, цели, но скрытой, как жернов, от ходящей на круге лошади. И всё для исполнения предназначенной цели употребляется невидимым машинистом и берется во внимание: и пороки, и добродетели, и страсти, и слабости, и сила, и нерешительность — всё, как будто стремясь к одной своей ближайшей цели, ведет только к цели общей.

После отъезда государя из армии положение [начальствующих] начальства армии еще более запуталось, хотя это и казалось невозможно. Тогда, хотя неопределенно [<просто?<], неясно, но чувствовался всеми центр власти. Теперь и этого не было. Барклай мог (и то сомнительно) отдавать приказания именем государя, но Багратион и поставлен независимо, был старше чином и мог его не слушаться, точно так же надо было просить Чичагова и Тормасова. Весь рой лишних и потому вредных людей, генерал- и флигель-адъютантов, все судивших и все путавших, был тот же. Пфуль уехал, и Армфельд, но Бенигсен, старший генерал, и цесаревич были при армии. Цесаревич вернулся к Смоленску из Москвы и высказывал свою ненависть к Барклаю, и теперь, когда нельзя было уже говорить о мире, не было брата, которому он противуречил, он противуречил Барклаю во всем. Барклай стоял за осторожность, цесаревич намекал на измену и требовал генерального сражения. Любомирский, Браницкий, Влодский и т. п. так раздували весь этот шум, что Барклай вынужден был поручить им бумаги для доставления государю в Петербург и приготавливал еще нужнейшие бумаги для Бенигсена и великого князя. Каждый даже из тех, которые не прямо противуречили главнокомандующему, каждый имел свой план и проект и делал всё возможное, чтобы план противника не удался. Один предлагал сражение, другой ехал как будто для рекогносцировки и вместо рекогносцировки [<говорил?>] ехал в гости к корпусному командиру около того места и говорил, что он осмотрел и место не годится. И ему точно казалось, что оно не годится, тогда как его противнику оно казалось единственно возможным. Остроты, шутки, насмешки, ссоры перекрещивались, как плутонгная[9] пальба. Багратион долго не присоединялся, хотя это была главная цель всех начальствующих лиц, так как ему казалось, что он на этом марше ставил в опасность свою армию и что выгоднее всего для него было бы отступить левее и южнее и, беспокоя с фланга и тыла неприятеля, комплектовать свою армию в Украине. Он так думал, а в сущности он только выдумывал невозможности и придумывал выгоды для того, чтобы не подчиниться ненавистному и младшему в чине немцу Барклаю.

В Смоленске, наконец, соединились армии. Багратион в карете подъезжал к дому, занимаемому Барклаем. Барклай (за что редкие поклонники и превозносили его) надел шарф и вышел навстречу и рапортовал Багратиону. Багратион был доволен и подчинился Барклаю. Но, подчинившись, еще меньше был согласен. Багратион лично доносил государю. И когда оба главнокомандующие свиделись, они как будто сошлись, но рой Браницких, Винценгероде и т. п. еще больше отравил их сношения, вышло еще меньше единства. Хотели, сбирались атаковать, и вынуждены были принять неожиданное сражение в Смоленске, чтобы спасти свои сообщения. Так надо было.

Высший же машинист заставлял его топтаться в этом колесе для того, чтобы он соединился только под Смоленском, и для того, чтобы зажжен и избит был Смоленск. Это надо было для того, чтобы поднялся народ.

Мы с 1-х чисел августа искали сражения впереди и правее Смоленска[10], два раза ходили войска туда и назад, но во время этой нерешительности и споров французы — о чем мы не знали — хотели обойти нас

---

[9] Плутонг — небольшое войско в строю (прим. составителя).
[10] На полях: *В Петербурге Кутузов назначен.*

с правого фланга и, заняв Смоленск, отрезать от Московской дороги. Совершенно неожиданно 3-го августа дивизия Неверовского наткнулась, была атакована всем авангардом Мюрата, должна была отступить, билась целый день и, отступая, привела французов к самому городу Смоленску, который не только уступить французам, но до которого допустить французов за день до этих событий никто и не мог подумать. На защиту Смоленска послан корпус Раевского. Целый день 4-го августа [бился] шло сраженье, но французы не стреляли по городу. 5-го корпус Дохтурова и Евгения Вюртембергского послан на смену Раевского, и 5-го числа Наполеон сказал:

— On prendra cette biocoque ou toute l'armée y périra[11],— и началась канонада из 150 орудий по войскам и городу и начались атаки французов. Mais la biocoque ne fut pas prise et l'armée n'y périt point[12]. На другой день Барклай де Толли велел Дохтурову отступить, и тут-то Бенигсен и великий князь поехали к Барклаю внушать, что армия недовольна и что нужно дать сражение, и тут, наконец, нашлись в главной квартире Барклая такие важные бумаги, которые главнокомандующий не мог поручить никому для доставления в Петербург, кроме самого брата государя.

〈II〉

Старый князь после отъезда сына слабел с каждым днем, как замечала это его дочь, но на глаза равнодушные прислуги и знакомых он казался[1] еще мужественней и энергичней, чем когда-либо. Он [изменился особенно в том отношении, что стал деятельнее и заботливее 〈13 и последующую?〉] начинал изменять все свои привычки.

Следующую ночь по отъезде сына он долго ходил по кабинету, потом в 11-м часу отворил дверь в [гостиную] официантскую и стал ходить по гостиной зале. В зале, у шкапчика, он сел, отворил окно и смотрел в сад, потом велел подать свечу и тут читал и потом тут же в зале велел Тихону разбить себе походную кровать. На другой день [был] днем он спал и много ходил и делал беспрестанные распоряжения, вечером и ночью опять стал ходить по комнатам и опять велел себе разбить постель уже не в зале, а в [гостиной] галерее. [После двух] Так он жил, беспрестанно переменяя ночлеги, очевидно не зная, что и когда и где он будет делать, но постоянно торопясь и не поспевая всего обдумать и обделать. С княжной Марьей за всё это время совсем не было ссор, но была к ней постоянная холодность, которую княжна Марья объясняла себе только приличием. Ему неловко было перейти от прежнего озлобления к ласке. А княжна Марья думала, что он бы хотел и не смел сам перед собой это сделать. [Отправив Алпатыча] [В 1-х числах августа] В конце июля он получил письмо о занятии Витебска и сражении под Островно. Прочтя письмо, он напился чаю с княжной Марьей и Бурьен и разговаривал оживленно о [Измаиле] сражении на Дунае. В конце разговора он к чему-то сказал, что как скоро дошло письмо князя Андрея от границы. Княжна Марья взяла письмо и, осмотрев его, прочла: «местечко Градник Витебской губернии».

[— Mon père, он не с границы]

— Они теперь должны быть перед Вильно. Бонапарт пойдет влево. Ах, ничего-то никто не заботится[2].

Князь встал и велел Тихону разложить географические карты и стал делать расчеты о движении неприятеля в окрестностях Вильны. Он стар-

---

[11] Этот городишко будет взят или вся армия погибнет там.

[12] Но городишко взят не был, и армия тоже не погибла.

[1] В автографе: *казалось* (прим. составителя).

[2] Далее было: — *велел карты разложить*. Видимо, ошибочно фраза не зачеркнута (прим. составителя).

ческими корявыми руками водил по карте и позвал архитектора. Всё было так ясно обдумано, что он говорил, но всё относилось к прошедшему. Он не понял и не мог понять, что Наполеон уже был в Витебске. Давно уже это замечала княжна Марья, что последнее время князь не понимал того, что ему говорили, что у него были свои мысли, и ежели он спрашивал или узнавал о чем-нибудь, то он узнанное подводил под свои мысли. Княжна Марья попробовала напомнить ему о Витебске, но он сердито, презрительно и так самоуверенно посмотрел на неё, что она пришла в сомнение, не ошибалась ли она. Во время занятий над картами пришел Алпатыч. Князь поспешно пошел в кабинет, заметив иголками места на карте, и сел за бюро. Отправляемому Алпатычу надо было дать так много инструкций, и князю казалось, что никто заменить его не может.

— Почтовой бумаги. Смотри же, этой золотообрезной — вот образчик, чтобы непременно по нем была. Потом протоколисту, этому мерзавцу, скажи, чтоб он записи мне выдал все. «Они всё запутают без меня,— думал он.— Лысые Горы чресполосны будут». Потом была нужна покупка флера для портрета, потом ящик переплетный надо было заказать для укладки завещания. Алпатыч принимал приказания, но удивлялся: никогда князь так подробно, мелочно, торопливо не доходил до всего. Отпустив Алпатыча, князь раскрыл завещание своё, которое он вынимал для мерки, и стал читать, надев очки. «Ах, да, ещё надо приписать статью о том случае, коли у внука не будет потомства». Но, затворив дверь, князь устал и стал [писать] перечитывать прежнее и писать вновь. Завещание было очень пространное и обстоятельное, и князь испытывал успокоивающее чувство заниматься этим делом, которое будет иметь действие, когда его самого не будет. Тогда всё будет ясно, спокойно, представлялось ему, и он с особенным удовольствием обращался к тому времени. Уже было поздно, когда князь встал от стола, но [спать еще не хотелось] спать ему хотелось, но он знал, что не заснет и что самые дурные мысли приходят ему в постели,— он вспомнил еще поручение Алпатычу: к имянинам Коли купить лошадь, позвал Алпатыча и подробно рассказал, какую.

Погуляв потом по комнатам и примеривая всякий уголок, хорошо ли тут будет спать. Ему все казалось нехорошо — хуже всего был привычный диван в кабинете — диван этот был страшен, ужасен — вероятно, по тяжелым мыслям, которые он передумал, лежа на нем. Нигде не было хорошо, но все-таки лучше всех был уголок в диванной за фортепиано, он никогда еще не спал тут. Тихон принес с официантом постель и стал уставлять.

— Не так, не так,— закричал князь и сам подвинул на четверть подальше от угла и потом опять поближе.— «Ну, наконец, все переделал. Теперь отдохну»,— подумал князь [3]. Но едва он лег, как вдруг вся постель равномерно заходила под ним вперед и назад, как будто тяжело дыша и толкаясь. Он открыл закрывшиеся было глаза.

«Тяжело, больно! Нет спокою телу, а духу еще, еще тяжелее. Не могу, не могу понять и запомнить всё, что надо. Да, да еще что-то приятное было, очень что-то приятное я приберег себе на ночь в постеле. Лимонад? Нет, что такое, что-то в гостиной было. Княжна Марья что-то врала. В кармане что-то... Не вспомню».— Тишка! [Что за обедом] Об чем за обедом говорили?..

— Об князе Михайле.

— Молчи, молчи.— Князь захлопал рукой по боковому карману камзола.— Знаю, письмо князя Андрея. Княжна Марья что-то про Витебск говорила, теперь прочту.

---

[3] На полях: *Но вдруг постель стала колебаться. Он стал тяжело, поспешно дышать. Он торопился, он заботился — не об чем еще было — но он уже заботился.*

Да и тело — больно, и духом не могу, не могу понять всей этой путаницы.

Он достал письмо [лёг в кровать, надел очки и] и положил на придвинутый к кровати столик с лимонадом и витушкой восковой свечкой. Он стал раздеваться. Боже мой, боже мой, как тяжело было сгибать измученные, засохшие, 70-летние его плечи в то время, как Тихон снимал кафтан, как тяжело опустился он на кровать, как не хотела подняться нога, которую разували, и как она, худая, сухая, желтая, упала вниз. А надо было ещё поднять их, передвинуться на кровати. «Ох, как тяжело, ох, хоть поскорее, поскорее кончились эти труды и вы бы отпустили меня»,— думал он. Он сделал, поджав губу, в 20-тый раз это усилие и лег с письмом в руке. Письмо сына было записано в его памяти чем-то утешительным и приятным, но оно подействовало обратно. Тут только, в тишине ночи, при слабом свете из-под зеленого колпака, он, прочтя письмо, понял всё его значение. «Что же это? Французы в Витебске. Так они через [2] 4 перехода могут быть у Смоленска. Может они уже там? Что ж это? Нет, нельзя мне успокоиться».

Он завертел своей трещоткой. Тихон вскочил.

— Пошли Алпатыча. Дай халат и посвети в кабинет.

Надо было внушить Алпатычу, как ему поступить, ежели он встретит неприятеля, надо было запастись оружием и порохом (ружей, мушкетонов было много) на случай нападения мародеров. В два часа ночи он отпустил Алпатыча, но только что он отпустил его, как ему вспомнились еще необходимые, несделанные распоряжения. Надо было написать письмо сыну, надо было здесь, в Лысых Горах, распорядиться постановкой пикетов на дорогах, надо было укрепить усадьбу, внушить мужикам, написать предводителю. Не снимая халата, до рассвета князь Николай Андреич не ложился [и заснул]. Утром он оделся, пошел в кабинет и послал за дочерью и за чаем. Но, когда пришли, он спал в кресле, склонившись на ручку, и на цыпочках унесли кофе. Так же, как и прежние дни, в неперемежающихся хлопотах и заботе, прошли и эти 3 дни отсутствия Алпатыча, со 2-го дни были посланы гонцы за ним, и целые дни князь Николай Андреич распоряжался шитьем платьев военных для всех дворовых и обучением их стрельбе, которое он поручил архитектору[4].

Лысые Горы, имение князя Николая Андреича Болконского, находились в 60 верстах от Смоленска, позади его, и в 30 верстах только от Московской дороги. 2-го[5] числа, [после медового Спаса, который Яков Алпатыч степенно отпраздновал с обедней в нарядном с княжьего плеча кафтане и с пирогами и гостями, почтительно зашедшими поздравить Якова Алпатыча, княжеского управляющего, Яков Алпатыч по поручению князя отправился в Смоленск для покупок, отдачи писем на почту и, главное, для узнания подробностей о войсках и о Перновском полку, которого командиром был назначен князь Андрей.] после медового Спаса Яков Алпатыч по поручениям князя отправился в Смоленск.

Яков Алпатыч, несмотря на то, [что] или именно потому, что имел честь и счастие часто подпадать под удары суковатой палки старого князя, был по своему положению в той среде, в которой он действовал уже 36 лет и из которой не выходил, такой властный вельможа, какой теперь есть, может быть, только на востоке, такой вельможа, каким был какой-нибудь кардинал Ришелье и вообще полномочный любимец самодержавного государя. Не говоря о уездном городе, Смоленск находился еще в районе власти Алпатыча. В Смоленске Алпатыч, как с равными и даже низшими, обращался с [чиновниками] губернскими секретарями и почтмейстерами. И купцы наперерыв просили его сделать честь посещения. Алпатыч под Очаковым мальчишкой был с князем и потому имел несколько воинственный и аккуратный вид старого служаки. [И в войне считал себя] В войне он считал себя таким же непреложным судьей, как

[4] На полях: *Ехать в орденах. Ученье дворовых.*

[5] В автографе *2* написано по цифре *3* (прим. составителя).

и [его] своего барина, и так же, как князь, считал, что под Очаковым действительно была война, и всё, что теперь называли войной, было так, детская забава — «так, притворялись — тоже, мы воюем»,— говорил Алпатыч [еще с более глубоким презрением, чем сам принципал его.] [Как всегда подговаривающие с чужого голоса бывают увереннее, чем те, которые сами выдумали то, что они говорят.]. Как всегда говорящие с чужого голоса, Алпатыч был увереннее в этом, чем сам князь.

На зорьке прекрасного летнего дня 2-го августа[6], с вечера получив все приказания, напившись чайку, Алпатыч, провожаемый домашними, в белой пуховой шляпе — княжеский подарок,— с палкой, так же, как князь, вышел садиться в кожаную кибиточку, заложенную тройкой сытых саврасок. [Алпатыч любил] Колокольчик был подвязан, и бубенчики заложены бумажками. Князь никому не позволял в Лысых Горах ездить с колокольчиком, и один становой был собственноручно избит за это. Но Алпатыч любил колокольчики и бубенчики в дальней дороге. Придворные Алпатыча: земский, конторщик, кухарка, черная и белая, две старухи, мальчик — казачок, кучера и [лакеи, музыканты] разные дворовые провожали его. Горничная прибежала, прося божескую милость сделать, купить ей вот точно таких иголочек. Дочь укладывала за спину и под него ситцевые пуховые подушки. Свояченица — старушка тайком сунула узелок.— (Алпатыч не любил бабьи сборы).— Один кучер подсадил его под руку.

— Ну, ну, бабьи сборы. Бабы, бабы,— пыхтя проговорил Алпатыч, точно так, как говорил князь, садясь в кибиточку. Отдал последние приказания о работах земскому и, в этом уж не подражая князю, снял с лысой головы шляпу и перекрестился троекратно.

— Вы, ежели что, вы вернитесь, Яков Алпатыч, ради Христа, нас пожалей,— прокричала ему жена, намекавшая на слухи о войне и неприятеле.

— Бабы, бабы, бабьи сборы,— проговорил Алпатыч про себя и поехал холодком зори, оглядывая вокруг себя покрытые росой поля и соображая свои распоряжения о посеве и уборке и о том, не забыто ли какое княжеское приказание. Алпатыч не только словами и приемами, он даже лицом был похож на старого князя. [Проехав]

Покормив дорогой в Поповых Крестах, к вечеру 2-го Алпатыч приехал в город и остановился у Ферапонтовых. Ферапонтовы были купцы, 5 братьев, у отца которых еще стоял Яков Алпатыч и с которым игрывал в шашки 30 лет тому назад точно так же, как играл теперь в мучной лавке с старшим братом.

По дороге Алпатыч [встретил мало воинских обозов и войск] встречал и обгонял обозы и войска, [а в городе было тихо] но в городе еще было тихо. Ферапонтовы сообщили ему, что некоторые по глупости собираются из Смоленска и боятся.

— А по нашему делу разве соберешься, да и губернатор объявил, что опасности нет и войска наши далеко впереди.

Ферапонтов еще рассказал некоторые военные новости, как Платов Матвей Иваныч крепко бьет французов и на реке Марине (хотя никакой похожей по имени реки не было) 18 тысяч французов в одну ночь утопил. Яков Алпатыч невнимательно слушал рассказы Ферапонтова. Он так же, как князь, презирал бабьи толки и был убежден, что, кроме князя, хотя он и за 60 верст, никто вернее не знает хода дел. На другой день Алпатыч надел камзол, который он надевал только в городе, и пошел по делам. Все его знали, все кланялись ему весело. Он зашел в лавки, на почту и в присутственные места, где пробыл весьма долго. Алпатыч считал себя большим мастером ходить по делам и писать прошения с такими периодами, где далеко, далеко от всех обстоятельств глагол стоял

---

[6] На полях: *Тушин радуется на убитого и завидует.*

на самом конце.— Дело в присутствии было самое пустое, подача ревижских сказок, но Яков Алпатыч с другом своим [чиновником] протоколистом долго, тонко обсуждали предмет и решили сделать так, чтобы вышло как можно сложнее и хитрее, хотя в хитрости надобности не было. Потом Алпатыч с протоколистом выпил дрей-мадеры, поговорил о политике и пришел, несколько раскрасневшийся, в лавку к Ферапонтову. Яков Алпатыч, что было большая редкость в то время, был так крепок насчет вина, что он не скрывал от князя и в добрую минуту говаривал ему: «Вы изволите знать, я пить не пью, [но иногда] окромя как другой раз дрей-мадеры придется с приказным выпить, я ее люблю».

Проиграв несколько партий и побив кучера, который, как всегда, напился в городе, Яков Алпатыч рано, по своему обыкновению, лег спать на дворе на сене. Но едва он заснул, как толстый Ферапонтов в одной рубахе, поправляя поясок с ключиком, пришел к нему и объявил, что дело плохо. Слышны были выстрелы недалеко за Смоленском и, говорят, неприятель близко. Алпатыч усмехнулся и объяснил, как военный человек, купцу, что это бабьи толки, что чего не соврут, что выстрелы могут быть ученье и что [Смоленск не оставят] до Смоленска ни за что не допустят, и заснул. А Ферапонтов не ошибался: в этот день, 3-го августа, было нападение на Неверовского и отступление его к Смоленску. На другой день рано Алпатыч разбудил пьяного, избитого кучера и, заложив лошадей и собравшись ехать, вышел на крыльцо. Действительно, по улице [шли навстречу друг другу повозки с ранеными и войска] шли войска. Только что выехала Алпатычева тройка саврасых, как один офицер, ехавший верхом, указал на кибиточку и что-то сказал. Двое солдат вскочили в кибитку и велели ей ехать в Петербургский форштат за раненым полковником. Алпатыч учтиво, но строго снял шляпу и, махнув рукой кучеру, чтоб он не ехал, подошел к офицеру, желая объяснить ему его ошибку.

— Ваше благородие, господин интендант,— сказал он,— как кибитка [и я, так и эти], так лошади, и кучер, и я сам,— сказал он с улыбкой,— принадлежат его сиятельству генерал-аншефу князю Болконскому, равно и я, потому...

— Пошел, пошел,— крикнул офицер солдатам...— Ступай с ними, им по дороге,— и офицер поскакал, стуча по камням мостовой.

[— Так дерзко! — закричал Алпатыч.— Я дойду до главнокомандующего! — Но прежде, чем бежать идти к главнокомандующему, он побежал к повозке и велел вынуть из нее вещи. С вещами он вернулся.]

Алпатыч остановился в недоумении.

— Это мило! — сказал он иронически, тоже повторяя слова своего барина. Он пожал плечами.— Вещи-то выложи,— крикнул он кучеру.

Кучер исполнил его приказание, и с узелками и подушками Алпатыч вернулся к Ферапонтову и тотчас же стал сочинять прошение против офицера «неизвестного имени и чина, но, вероятно, вином до беспамятства доведенного, [взявшего] не мою, но принадлежащую Его сиятельству генерал-аншефу князю Болконскому повозку взявшего». Написав и перебелив прошение и напившись чайку, Яков Алпатыч понес его к главнокомандующему. Узнав, что в городе за рекою находился старший генерал Раевский, он пошел к нему. Проходя улицами, Яков Алпатыч видел везде шедшие войска и, не дойдя до места, услыхал близкую перестрелку. Раевский был за мостом и не принял Алпатыча[7]. [Он постоял, посмотрел и вернулся назад. Он не мог понять того, что делалось. В половине дня стала слышна канонада, и стали опять подвозить раненых, и он видел двух французских пленных. Несмотря на всё недоумение и волнение свое, он, однако, пошел обедать к Ферапонтовым и за обедом

[7] На полях: *Сидел у ворот и смотрел, ни во что не верил, даже в бомбы,— это не очаковские — всё пустяки, и бомбы не посмели тронуть его. Он верит в победоносность русских.*

только тогда оживился, когда, забывая и не объясняя того, что делалось теперь, стал рассказывать свои старинные военные похождения под Очаковым. Ферапонтов рассказывал, что некоторые] Он постоял. За мостом несли раненых. Улицы были запружены народом, и несколько человек посоветовали Алпатычу вернуться назад. Офицер, с которым нашел нужным посоветоваться Алпатыч, засмеялся ему в лицо и сказал, что Раевского он не найдет теперь. Алпатыч вернулся. Возвращаясь, он услыхал близкую канонаду, и проходящие солдаты объяснили ему, что французы на стены лезут. Несколько раз Алпатыч останавливался, оглядывая то раненых, то пленных, которых вели мимо его, и неодобрительно покачивал головой. Когда он вернулся, Ферапонтовы [садились обедать] подтвердили ему дурные слухи, но, несмотря на это, пригласили обедать, так как было уже за полдень. За обедом, во время которого подрагивали [окна] стекла в окнах, Алпатыч, бывший почетный гость, начал разговор о Очаковской войне и с подробностями рассказал, что он там видел и как князь действовал и 3000 турок забрал. Ферапонтовы внимательно слушали его, но как только он кончил, как будто бы то, что они говорили, было ответом на его слова, начали рассказывать о том, что некоторые уезжают, что разбойники мужики дерут теперь по 3 рубля серебром за подводу, и про то, что Селиванов [купец ловко продал] купец угодил в четверг, продал муку в армию по 7 рублей за куль, а что [его кухарка села] Марья-пряничница и та села на мосту с квасом и с солдат выручила 6 рублей в день за квас. И квас-то дрянной, потому — жара.

К вечеру стрельба затихла. Одни говорили, что французов прогнали, другие говорили, что на завтра опять большое сражение будет за городом. Старший брат Ферапонтов [ходил по двору и лавкам, крича на работников за нечистоту и беспорядок] ушел со двора. Братья ходили, растерянные, по двору и лавкам. Алпатыч как сел с вечера на лавочку у ворот, так и сидел молча, глядя на проходившие войска. Повозка Алпатыча не возвращалась. [Но он] Он не ложился. Всю короткую летнюю ночь он и сидел на лавочке, разговаривая с кухаркой и дворником, расспрашивая о том, что делалось, у беспрестанно проходивших войск и прислушиваясь к говору и звукам. В соседнем доме убирались и уезжали. Ферапонтов вернулся, и тоже не ложились и к утру стали укладываться.

В ночь повозка вернулась. Кучер рассказывал, что его угнали за мост, что побоище было страшное и что его не выпускали. Лошадей надо было кормить. Алпатыч, только что рассвело, пошел к собору и в соборе нашел не спящий народ. Против Смоленской божьей матери, не переставая, по очереди служили молебны. Отслужив молебен и за себя, Алпатыч вместе с знакомым купцом вошел на колокольню, с которой, как ему говорили, видны были французы. Французы ясно видны были за Днепром. Они всё двигались и подходили. Еще не успел Алпатыч слезть, как опять началась канонада за Днепром, но в город не попадали ядра.

«Что же это будет?» — думал Алпатыч, ничего не понимая и возвращаясь к дому. [На соседнем дворе от Ферапонтова] [На улице убило бабу ядром, которое попало ей в плечо. В вороты попал осколок гранаты] [На улице убило бабу ядром, которое попало ей в плечо. В вороты попал осколок гранаты. Алпатыч, вернувшись с колокольни] [На улице убило бабу ядром, которое попало ей в плечо. В вороты попал осколок гранаты, недалеко от того места, где шел Алпатыч.]

Навстречу ему еще больше, чем вчера, с озабоченными, измученными лицами шли войска через город к тому месту, где была стрельба. Яков Алпатыч искал между ними своего молодого князя, но не находил. Один офицер сказал ему, что Перновский полк уже там,— он указал на предместья, откуда, сливаясь, гудели выстрелы и откуда везли и несли беспрестанно раненых. Яков Алпатыч вздохнул и перекрестился. [Он ходил взад и вперед] Якову Алпатычу надо было ехать. Он, раб и верный исполнитель воли князя по праву и по сердцу, знал, как мучался князь

СМОЛЕНСК 20 АВГУСТА 1812 Г.
Литография

его отсутствием, но он не мог уехать. Он слушал этот страшный гул орудий, нюхал запах пороха, доносимый ветром в самый город, смотрел на раненых и стоял на месте. Вид бесчисленного количества наших солдат, проходивших к месту сражения, радовал Алпатыча. Он, умиленно улыбаясь, смотрел на них и не двигался с места.

[— Батюшки, родные, —говорил он им, когда они проходили мимо его, кланяясь им, до земли дотрагиваясь рукою,— защитите Россию православную,— и он кланялся, крестился на них. Но] Он крестился на них и кланялся в пояс.

Мимо самого его проехали три телеги, полные ранеными и мертвыми, и один молодой офицер, который остановился против Алпатыча. Офицер кричал, чтоб его бросили, что он не доедет. Офицер бился головой и кричал: — Возьмите! Возьмите!

Алпатыч подошел к нему.

— Голубчик ты мой! — сказал он и хотел помочь ему выйти, но телега опять двинулась, и опять навстречу шли солдаты. Алпатыч вдруг смягчился. Он стал креститься, кланяться проходящим солдатам, приговаривая:

— Отцы родные, голубчики, защитите Россию православную.

Некоторые из проходивших оглядывались на этого благообразного старика и, не переменяя строгого выражения лиц, проходили. Несколько подвод ехало навстречу войскам. Это уезжали жители. Алпатыч вспомнил, что ему тоже надо ехать, и пошел к дому. Ещё не дойдя до дома, он услыхал знакомый ему свист, который он слышал в Турции; это было ядро, которое влетело в город. Но вот другое, третье, и по мостовой, по крышам, по воротам стали бить снаряды. На дворах и в домах поднялся женский визг и беготня. Алпатыч прибавил шага, чтобы поспеть к Ферапонтовым. У монастыря укладывались монахини; баба с квасом сидела всё на перекрестке; из дома выбежал мужик и кричал:

— Держи вора!

Пьяные два прошли. Он подошел к своему дому. Ферапонтов, один брат, был дома и поспешно укладывался, другие с бабами сидели в погребе. Кучер рассказывал, что на соседнем дворе убило бабу, и спрашивал, не пора ли закладывать. Но Алпатыч [сказал] ничего не ответил ему и сел опять на лавочку против ворот. Ядра всё еще летали и попадали через улицу. Стало смеркаться. Канонада стала стихать, но в двух местах показалось зарево. На соседнем дворе выли бабы. [Один из братьев Ферапонтовых подошел к Алпатычу и рассказал, что французов отбили и, говорят, сам Бонапарт убит. Алпатыч молча перекрестился и велел закладывать. Но в это время войска, переставшие было двигаться по улице, опять показались, шумя ногами и по временам цепляющимися штыками; они шли назад. Солдаты, проходя, говорили, что наши отступают и что французы уже на мосту.

Становилось темнее, и ярче из-за крыш виднелось зарево пожара.]

Ферапонтовы все повылезли из погреба и суетились, запрягая, укладывая и торопливо бегая из дома к подводам. Солдаты, как муравьи из разоренной кочки, разных мундиров, но с одинаковым то робким, то наглым видом, бегали по улицам и дворам. Два с мешками и хомутом пробежали из дома Ферапонтова. Бабы ⟨Ферапонтовы?⟩ съехали со двора. По улице хлынул народ, и послышалось духовное пение.

— Матушку Смоленскую понесли! — прокричала баба.

Алпатыч вышел на перекресток и увидал, как проносили священники в ризах икону и редкая толпа шла за ними. Какой-то полк шел назад [мимо] от предместья.

— Позвольте спросить вашего благородия,— сказал Алпатыч, открывая лысую голову,— [или] [будут ли] [не оставляют ли город] побежден ли неприятель?

— Сдают город,— коротко отвечал офицер и тут же обратился с криком к солдатам.

— Я вам дам по дворам бегать! — крикнул он на выбежавших из рядов и заворачивающих в двор Ферапонтовых солдат. Солдаты, однако, проскочили в двор, другие в лавку.

Алпатыч вошел на двор, велел выезжать кучеру и [увидав Ферапонтова, с ним вместе вошел в лавку] увидал Ферапонтова, подошедшего и остановившегося у открытых дверей лавки. В лавке человек 10 солдат с громким говором насыпали мешки и ранцы пшеничной мукой и подсолнухами. [— Грабят!]

Ферапонтов вошел в лавку, хотел крикнуть что-то, но вдруг остановился и, схватившись за волоса, захохотал рыдающим хохотом.

[— Тащи, руби, жги.] Тащи, всё бери, ребята. Не доставайся дьяволам! — закричал он.

Некоторые солдаты, испугавшись, выбежали, некоторые продолжали насыпать.

Алпатыч [Алпатыч вышел на двор и сел в кибитку] [Алпатыч вышел во двор и, велев выезжать] [Алпатыч вышел на улицу] торопил своего кучера. Полк всё еще тянулся по улице Ферапонтовых. [Алпатыч въехал в его ряды и шагом поехал с ним.] Было уже совсем темно, и звезды зажглись на ясном небе. У угла дома Ферапонтова под амбаром толпилась кучка солдат [на корточках. Что-то шлёпнуло между ними и осветило стены амбара] и начинало светлеть, точно заря занималась. Это был [заряд пороха на соломе, которую зажгли солдаты под углом амбара. Алпатыч остановился посмотреть. Пламя разгоралось благодаря] заряд пороха, который зажгли солдаты. Алпатыч подошел посмотреть. Угол амбара загорался благодаря тесинам, которые подкладывали солдаты. Ферапонтов выбежал к горящему углу.

— Распаливай, тащи [тащи всё, жги, черти! — кричал] всё, всё... всё Туда ей дорога! — кричал Ферапонтов, армяком раздувая огонь. Около пожара всё больше и больше собиралось народа.

— Важно. Пошла драть. Вот пошла,— слышались голоса.

— Пропадай всё! — кричал голос Ферапонтова.

Алпатыч долго не мог оторваться от вида этого пожара и стоял тут же в толпе. Чей-то знакомый голос окликнул его: — Алпатыч!

— Ваше сиятельство,— отвечал Алпатыч, узнав голос князя Андрея. Князь Андрей в плаще, верхом на серой лошади стоял на перекрестке и [потухшим, ленивым] оживленным взглядом смотрел на Алпатыча.— Ты как здесь? — По приказанию его сиятельства, сейчас возвращаюсь. Ваше сиятельство, что же, или уж пропали мы?

Князь Андрей, не отвечая, достал записную книжку и, приподняв колено, стал писать карандашом на вырванном листе. Он писал сестре. «Смоленск взят,— писал он,— Лысые Горы будут заняты неприятелем через неделю. Уезжайте сейчас в Москву. Отвечай мне тотчас, когда вы выедете, прислав нарочного в Горки»[8]. Написав и передав листок Алпатычу, он на словах передавал как распорядиться отъездом князя, княжны и маленького князя с мусью и как и куда отвечать ему тотчас же. Еще не успел он окончить эти приказания, как верховой штабный начальник, сопутствующий свитой, подскакал к нему.

— Вы, полковник? — кричал штабный начальник с немецким акцентом знакомым князю Андрею голосом.— При вашем присутствии зажигают дома, а вы стоите? Что это значит такое! Вы ответите, кричал Берг, который был теперь начальником штаба помощника начальника левого фланга пехотных войск. Князь Андрей с любопытством посмотрел на него и ничего не сказал.

— Так скажи,— продолжал он, обращаясь к Алпатычу,— что до 10 я жду ответа, а ежели ⟨в⟩ 10 не получу известий, что все уехали, я сам должен буду все бросить и ехать в Лысые Горы.

— Я, князь, только потому говорю,— оправдывался Берг, узнав князя Андрея,— что я должен исполнять приказания, потому что я всегда точно исполняю...

— Уруру! — вторя завалившемуся потолку амбара, из которого несло запахом [печеного хлеба[9]] лепешек от сгоревшего хлеба, заревела толпа. Пламя ярко вспыхнуло и осветило худое, желтое, но с блестящими глазами лицо князя Андрея. Громче всех, подняв кверху руки, кричал Ферапонтов.

— Это сам хозяин, ваше сиятельство,— сказал Алпатыч.

— Ну, хорошо. Ступай, ступай! — сказал князь Андрей. Сам, поклонившись Бергу, тронул лошадь вперед за полком, который уже прошел почти.

До княжны Марьи доходили слухи о сражении под Смоленском, и она скрывала эти известия от отца, но [приезд Алпатыча нельзя было скрыть от князя. Князь спокойно выслушал его.

— Да, да, хорошо, хорошо,— приговаривал он на все слова Алпатыча, и, отпустив его отдохнуть, сам тотчас же] приезд Алпатыча и письмо Андрея и его требование уехать в Москву нельзя было скрыть от князя. Князь спокойно выслушал его. «Да, да, хорошо, хорошо»,— приговаривал он на все слова княжны и Алпатыча и, отпустив их, сам тотчас же заснул на своем кресле. Проснувшись ввечеру, он приказал позвать княжну Марью, которая и без того все время провела в официантской, прислушиваясь к его двери.

— А, что? Старый дурак отец из ума выжил! А? Так что ли? — встретил он дочь.— Что я говорил? А?..

— Да, вы правы, mon père, но...— Княжна Марья хотела сказать, что надо ехать, но не успела.

---

[8] К тексту: *К вечеру* (с. 638) ∾ *нарочного в Горки».*— см. Варианты, № 36.

[9] В автографе часть листа вырвана, начало слова *хлеб* утрачено (прим. составителя).

— Ну, теперь слушай, княжна Марья,— (князь казался особенно свеж в этот день),— слушай, теперь время терять нечего. Надо действовать. Садись, пиши.

Княжна Марья [разбирала его вещи на письменном столе и не могла] видела, что надо покориться, она села к его столу, не могла найти хорошего пера.

— Пиши (это ополченному главнокомандующему): «Ваше превосходительство...»

Но княжна еще не нашла пера. Он дернул ее за плечо.

— Ну, рыба. «Ваше превосходительство, известившись...» Постой, раз навсегда — я к тебе бывал дурен, зол, несправедлив. Да, да,— говорил он сердито, отворачиваясь от ее обороченного к нему испуганного лица,— да, да,— и он своим неловким жестом гладил ее по волосам,— так, я стар, я устал жить и против воли — зол, несправедлив. Прошу простить, княжна Марья,— закричал князь,— ein für allemal[10], прошу простить, прошу, прошу, прошу, шу-кх, шу-шу! — кричал он и кашлял.

— Ну, пиши: «известившись о близости врага...» — и он, ходя по комнате, твердо продиктовал целое письмо, в котором говорил, что он [стар] не оставит Лысых Гор, в которых он родился и умрет, что будет защищаться в них до последней крайности и что, ежели правительство не боится стыда, чтоб один из старших генералов русских попал в плен французам, то пусть не присылают никого, в противном же случае он просит только роту артиллерии и 300 человек милиционеров с кадровым унтер-офицером.

— Михаил Иваныч,— крикнул он.— Печатай, и чтоб кипело. Княжна Марья, пиши другое. К губернатору Смоленска: Г-н барон... Известившись...

В середине диктовки этого письма, мягко ступая и соболезнующе улыбаясь, вошла m-lle Bourienne, спрашивая, не угодно ли князю чай...

Князь, не отвечая, [повернулся к княжне Марье и велел писать еще другое.— При сем препровождаю] подошел к ней.

— Сударыня! Благодарю за услуги, не считаю возможным удержать вас. Извольте ехать в Смоленск к губернатору.

— Princesse[11],— обратилась Bourienne к княжне Марье.

— Вон, вон! — закричал князь,— Михаил Иваныч, позвать Алпатыча и распорядиться отправить ее в город не медля.

Он подошел к бюро, вынул деньги, старательно отсчитал.

— Передашь ей... Пиши дальше: «Известившись, господин барон, что неприятель...»

Он опять остановился, вспоминая что-то, и опять подошел к княжне Марье.— Да, ein für allemal, я был жесток с тобой, княжна Марья, несправедлив. Прошу, прошу, прошу,— пиши, пиши...

Написав еще два письма с половиной и, вероятно, забывая, что он уже сказал то, что хотел, княжне Марье, он, несколько раз еще повторив свое: «Прошу, ein für allemal»,— он в середине 4-го письма остановился, [и отпустил дочь] сел в кресло, сказал «иди» и тотчас же заснул.

Княжна Марья, несмотря на страх, чтоб он не проснулся, поцеловала его в лоб и еще более испугалась того, что он не проснулся, что он так странно и крепко спал.

Был уже 1-й[12] час ночи. Княжна Марья пошла к себе [и едва разделась] [и с ⟨общего?⟩], но по дороге она встретила Алпатыча, который в первый раз в ее жизни обратился к ней за советом и приказанием, за разъяснением вопроса, в какой степени нужно теперь исполнять приказания князя. Алпатыч, запустив руку за пазуху, пожав плечами, и закрыл глаза:

---

[10] раз навсегда (*нем.*).

[11] Княжна

[12] В автографе переправлено из *2-й* (прим. составителя).

— В своем сомнении осмелюсь прибегнуть к вашему сиятельству, прикажете ли отослать француженку и послать в Богучарово за мужиками, как распорядились их сиятельство князь Николай Андреич, или?..

Алпатыч сказал это, но княжна Марья поняла совсем другое, она поняла теперь в первый раз, что отец ее, тот отец, для которого она перенесла столько, что этот отец умер или умрет скоро, что его не будет скоро. Княжна Марья остолбенела и вопросительно, почти с ужасом смотрела на Алпатыча.

— Ваше сиятельство, ежели бы не было необходимости, я бы не осмелился докладывать этих слов вашему сиятельству. Но князь Андрей Николаевич настоятельно объясняли об опасности оставаться в здешнем имении и [требовали] изволили приказать ехать в Москву и их о том уведомить.

— Я не знаю,— сказала княжна Марья,— но одно: Амалию Федоровну (Бурьен) нельзя отправить в Смоленск, ты сам говоришь...

— Не прикажете ли, ваше сиятельство, отправить их в Богучарово, там Дронушке приказать сделать им всякую приятность, но не выпускать из дома. А от князя покаместа скрыть. Но насчет лично князя и вашего отправления в Москву как прикажете? Лошади и экипажи готовы. И князь, вероятно, в теперешнем положении изволят согласиться; потому покаместа...

— Да, да, пожалуйста, я переговорю завтра,— разрыдавшись, проговорила княжна Марья, которая словом «покаместа» лишилась последнего присутствия духа, и она ушла своими тяжелыми шагами сначала в свою комнату, потом к Бурьен, которую она не могла забыть именно потому, что она-то в жизни ей сделала наибольше зла. Она вошла к плачущей француженке и, как виноватая, умолила ее простить и успокоиться и ехать в Богучарово. Во 2-м часу неслышными шагами княжна Марья вернулась к себе в комнату, посмотрела на образа и не могла молиться. Она чувствовала, что ее призывал теперь другой, трудный мир житейской деятельности, совершенно противуположный нравственному миру молитвы, она чувствовала, что, предаваясь последнему, она потеряет последние силы действовать. Она не могла и не стала молиться. Проходя в свою комнату, она слышала шаги отца по галерее. Едва она успела раздеться, как шаги эти стали приближаться к ней, к ее двери и остановились, и опять зашевелился князь и опять остановился. Он прислушивался. Он хотел и не смел войти. Княжна Марья кашлянула. Он вошел в ее комнату. Никогда этого не бывало с тех пор, как себя помнила княжна Марья.

— А я всё хожу, не спится,— сказал старик измученным, усталым голосом, которому он хотел придать небрежные интонации. Он сел в кресло под образа.— Так-то я не спал раз в Крыму. Там теплые ночи. Всё думалось. Императрица прислала за мной... [Вы думаете] Я получил назначение...— он оглянулся на стены.— Да, уж так не построят теперь. Ведь я начал строить, как приехал сюда. Тут ничего не было. Ты не помнишь, как сгорели. Нет, где тебе. Так не построят, нынче тяп да ляп — и корабль. [Николаша, не дай бог] Поживу, я отсюда обведу галерею, и там будут Николаше покои. Там, где невестка жила,— добрая бабенка была, добрая, добрая, добрая. А его надо будет послать прочь — надо будет, да и тебе... Ах, забыл, забыл,— эка память становится. Ну, спи, спи.

Он ушел. Княжна слышала его трещотку и шаги и перестала слышать только тогда, когда заснула. Она проснулась поздно.

По первому взгляду на лицо девушки она заметила, что что-то случилось в доме. Но ей было так страшно, что она не спросила. Она поспешно оделась и сошла вниз. Алпатыч, стоя в официантской, с любопытством и сожалением посмотрел на нее. Княжна Марья не остановилась спросить

его, она подошла прямо к двери кабинета. Тихон высунулся из двери. Княжна Марья заметила, что гардины были спущены.

— Карл Иваныч сейчас выйдут,— сказал он. Карл Иваныч был доктор. Он вышел на цыпочках.

— Это ничего. Княжна, ради бога, успокойтесь,— сказал доктор,— небольшой удар правой стороны.

Княжна Марья тяжело переводила дыханье. Она сделала, как будто всё знала...

— Можно мне видеть его?

— После лучше,— и доктор хотел затворить дверь, но княжне Марье было страшно оставаться одной, она поманила его к себе и увела в гостиную.

— Это не могло не быть. Он так принимал к сердцу, он так страдал нравственно, что силы не вынесли. Нынче поутру, получив письма от губернатора и князя Андрея Николаевича, он пошел смотр делать ополченцам — дворовым, сам всё показывал. Он хотел ехать, и карета была заложена, как вдруг с ним сделалось...

Княжна Марья не плакала.

— Может ли он ехать до Москвы? — спросила она.

— Нет. Мое мнение — лучше ехать в Богучарово...

— Могу я видеть его?

— Пойдемте.

Княжна Марья вошла в темную комнату и в темноте сначала ничего не видала, потом на диване ей обозначилось что-то. Она подошла ближе. Он лежал на спине с согнутыми ногами, покрытыми одеялом. Он весь был такой маленький, худенький, слабый. Она нагнулась над ним, лицо его было прямо уставлено в противуположную стену, левый глаз, очевидно, не видел, но когда правый глаз увидал лицо княжны Марьи, всё лицо задрожало, он поднял правую руку и схватил ее за руку, и лицо его задергалось с правой стороны. Он заговорил что-то, чего не могла понять княжна Марья, и, заметив, что она не понимает, он сердито засопел. Княжна Марья кивала головой и говорила «да», но он всё фыркал сердито, и княжну Марью отвел доктор.

«Так долго мы не понимали друг друга,— подумала княжна Марья,— и теперь тоже».

Посоветовавшись с доктором и с городничим, княжна Марья решилась вместо Москвы ехать с больным, разбитым параличом отцом не в Москву, а в Богучарово, которое было в 40 верстах от дороги, а Николушку с Laborde отправить в Москву к тетке. Чтобы успокоить Андрея, она написала ему, что она едет с отцом и племянником в Москву [13].

От Смоленска войска продолжали отступать. Неприятель шел вслед за ними. 10 августа Перновский полк проходил по большой дороге через Лысые Горы. [Был жаркий] Жара и засуха стояла более [двух] трех недель. Каждый день ходили курчавые облака, изредка заслоняя солнце. Но к вечеру опять расчищало и солнце садилось в бурую красную мглу. И только сильная роса ночью освежала землю. Оставшийся на корню хлеб и травы сгорали. Болота пересохли. Скотина ревела от голода по сбитым парам и отавам. Только ночью с росой и в лесах, пока держалась роса, было прохладно. Но по дороге, по большой дороге, по которой шли войска, не было никогда и этой прохлады. [Войска] Роса незаметна была по песочной пыли дороги, втолченной больше, чем на четверть. Как только рассветало, начиналось движение. Обозы, артиллерия [пехота] беззвучно шли по ступицу, а пехота по щиколку в мягкой, душной, не остывшей за ночь жаркой пыли, которая поднималась и стояла облаком, влипая в глаза, в волоса, в уши, в ноздри и, главное, в легкие. Чем выше поднималось солнце, тем выше поднималось облако пыли, и на солнце можно было

[13] К тексту: *По первому* (с. 643) ∾ *в Москву.*— см. Варианты, № 37.

смотреть простым глазом сквозь эту тонкую жаркую пыль: оно представлялось багровым шаром.

[Как ни странно это сказать, ожил после Смоленска. Он уже не командовал полком] [командовал полком и не для того только командовал, что надо же что-нибудь делать, как он думал, прося этого назначения, но он сам не знал, как отдался своему делу] [командовал полком и не для того, что надо же что-нибудь делать, как он думал, прося этого назначения; но он сам не знал, как весь занялся своим делом. Поступив в военную службу и прося назначение во фронт, инстинкт самосохранения верно указывал ему доску спасения. Он мог быть озлоблен, разочарован, презрителен ко всему и всем, но одно чувство долга оставалось в нем непоколебимо. Он знал и теперь это чувство спасло и подняло его. Некогда было осуждать и презирать, надо было ответить на вопросы о распоряжениях батальонных командиров, надо было озаботиться о том, чтобы не отставали, не грабили своих люди, чтобы они были сыты и обуты. И мало того, уж раз командуя полком, надо было, чтоб дивизионный начальник не наступал бы на ногу, надо было, главное, чтоб полк его был не хуже, а лучше всех других полков. И время и усилия ума, прежде направленного на осуждение, большей частью были заняты.]

Князь Андрей командовал полком и, как солдаты, строгающие шомпол, с страстью строгал свою палочку — устройство полка. Благосостояние его людей, облагороженье офицеров, готовность к бою. После Смоленска он еще более увлекся этим делом. Он начинал забывать свое. Он бывал кроток и добр с своими офицерами и солдатами. Его называли наш князь, им гордились и его любили. Но добр и кроток он был с своими полковыми, с Тимохиным и т. п., с людьми совершенно новыми и чужой среды, которые не могли знать и понимать его прошедшее, но как только он [сходился] сталкивался с кем-нибудь из своих прежних, из штабных, он тотчас опять ощетинивался, делался злобен, насмешлив, презрителен. Всё, связывающее его воспоминания с прошедшим, отталкивало его, и потому он старался только в отношении этого [прошедшего] прежнего мира только не быть несправедливым и исполнять свой долг. Это слово и понятие долг был сильнее боли в нем теперь, когда он боялся под влиянием озлобления как-нибудь изменить ему. Прежде всё в темном свете представлялось князю Андрею — особенно после того, как оставили Смоленск, как отец больной должен был бежать в Москву и бросить на расхищение столь любимые, обстроенные, им сделанные Лысые Горы. Но несмотря на то, благодаря полку, князь Андрей мог [потом] думать о другом, совершенно не зависимом от общих вопросов, предмете,— о своем полку.

10 августа колонна, в которой был его полк, поровнялась с Лысыми Горами. Князь Андрей два дня тому назад получил известие, что его отец, сын и сестра уехали в Москву. (Это было то обманное письмо, которое написала ему с целью успокоить его княжна Марья перед отъездом в Богучарово.) [Он поехал с денщиком Петром верхом в самую деревню.]

«Да, я должен поехать,— подумал князь Андрей. Хотя ему и очень не хотелось этого,— это мой долг распорядиться в имении, посмотреть по крайней мере». Он велел оседлать двух лошадей и поехал с Петром верхом. В деревне, через которую они проехали, было всё то же, [только] но дома были старики, все остальные были на работах, мужики пахали, бабы мыли на пруде белье и кланялись испуганно и низко. Князь Андрей подъехал. В сторожке у каменных ворот въезда никого не было и дверь была отперта. Дорожки сада уже заросли, и телята и лошади ходили по английскому парку. Какая-то женщина и мальчик увидали его и побежали через луг. Петр поехал на дворню. Князь Андрей подъехал к оранжерее: стекла были разбиты и деревья в кадках некоторые повалены, некоторые засохли. Он окликнул Тараса — садовника. Никто не откликнул-

ся. Обогнув оранжерею на выставку, он увидел, что забор тесовый весь изломан и фрукты слива обдерганы с ветками. Старый мужик — Андрей видел его у ворот в детстве — сидел и плел лапоть на [поливочной кадке] зеленой скамейке. Он был глухой и не услыхал подъезда Андрея. Ему было ловко сидеть на кадке, и около него так аккуратно развешано лычко на сучках обломанных и засохших магнолий. Он сидел тут так же безучастно, как мухи ходят по лицу дорогого мертвого человека. Князь Андрей подъехал к дому. Несколько лип в старом саду были срублены, лошади ходили тут между розанами. Дом был заколочен ставнями. Одно окно внизу было открыто. Алпатыч в очках, застегиваясь, выбежал из дома. Алпатыч услал семью и один оставался в доме. Он сидел дома и читал Жития. Он подбежал к князю и, ничего не говоря, заплакал, целуя князя Андрея в коленку. Потом он отвернулся с сердцем на свою слабость и, пригласив князя слезть, стал докладывать ему положение дел. Всё ценное и дорогое было отвезено в Богучарово, хлеб до [1000] 100 четвертей тоже был вывезен, сено и урожай нынешнего года взят и скошен зелеными войсками. Мужики раззорены, но некоторые ушли тоже в Богучарово, малая часть остается. Князь Андрей, не дослушав его, спросил, [не имеет ли он известий из Богучарова] когда уехали отец и сестра, разумея, когда уехали в Москву. Алпатыч отвечал [об отъезде] [что], полагая, что спрашивают об отъезде в Богучарово, что уехали 7-го, и опять распространялся о делах хозяйства, спрашивая распоряжений. Князь Андрей опять перебил его вопросом о состоянии отца, и тут Алпатыч объяснил князю Андрею о болезни старого князя.

— Прикажете ли отпускать под расписку командам овес? — у нас еще 600 четвертей осталось,— спрашивал Алпатыч.

«Что отвечать ему»? — думал князь Андрей, грустно глядя на лоснящуюся на солнце плешивую [голову старика,— Ежели] голову старика и в выражении лица его читая сознание того, что он сам понимает несвоевременность этих вопросов, но спрашивал так, чтобы заглушить и свое горе.

— Ежели изволили заметить беспорядки в саду,— говорил Алпатыч,— то невозможно было предотвратить — 3 полка приходили и ночевали, в особенности драгуны, я выписал чин и звание для подачи прошения.

— Ну что ж ты будешь делать? Останешься [наши], ежели неприятель займет? — вдруг спросил его князь Андрей.

Алпатыч повернул свое лицо к князю Андрею, посмотрел на него. И вдруг торжественным жестом поднял руку кверху:

— Он мой покровитель. Да будет воля его.

Толпа мужиков и дворовых шла по лугу, с открытыми головами, приближаясь к князю Андрею.

— Прощай, старый друг! — сказал князь Андрей, обнимая Алпатыча. [Прощай. Я ничего не могу тебе сказать. Трудное, тяжелое время,— и он поспешно со] [Ребята, спасибо, что пришли. Я заехал на минутку. Я, вы знаете, ⟨прикомандирован?⟩] Алпатыч прижался к его плечу и зарыдал.— Уходите все, и зажигай дом и деревню,— сказал князь Андрей Алпатычу тихим голосом.— Здравствуйте, ребята. Вот я Якову Алпатычу всё приказал. Его слушайтесь. А мне некогда, некогда. Прощайте.

— Батюшка, отец,— послышались голоса.

Он поднял лошадь в галоп и поехал вниз по аллее. На выставке всё так же сидел старик и стукал по колодке лаптя, и две девочки с сливами в подолах перешли ему через дорогу.

Князь Андрей [догнал] освежился немного, выехав из района пыли большой дороги, по которой двигались войска. Но недалеко за Лысыми Горами он выехал опять на дорогу и догнал свой полк на привале [у плотины винокуренного завода] у плотины небольшого пруда. Был 2-й час после полдня. Солнце, красный шар в пыли, невыносимо пекло и жгло спину сквозь черный сюртук, пыль [также] немного реже, но стоя-

ла над говором гудевшими остановившимися войсками. Ветру не было. Проезжая по плотине, на князя Андрея пахнуло тиной и свежестью пруда. Ему захотелось в воду. Какая бы грязная она ни была. Он оглянулся на пруд, с которого неслись крики и хохот. Небольшой мутный с зеленью пруд, видимо, поднялся четверти на две, заливая плотину, потому что он был полон человеческими солдатиками, голыми, барахтавшимися в нем белыми телами, с кирпично-красными руками, лицами и шеями. Всё это голое белое человеческое мясо с хохотом и гиканьем барахталось в этой грязной луже, как караси, набитые в лейку. И беззаветным весельем отзывалось это барахтанье, и оттого оно особенно было грустно. Один молодой белокурый солдат — ещё князь Андрей знал его — 3-й роты с ремешком под икрой, одной рукой закрываясь, другой крестясь, отступал назад, чтоб хорошенько разбежаться и бултыхнуться в воду, другой, черный, всегда лохматый унтер-офицер, по пояс в воде поддергивая счастливо мускулистым станом и радостно фыркал, [намыливая] поливая себе голову черными по кисти руками. Слышалось шлепанье [и визги] друг по другу, и визг, и уханье. Другая рота раздевалась и тоже лезла туда же. [В пруду] С другой стороны [влезали] [в воду влезали] купалась кавалерия. На берегах, на плотине, в пруде,— везде было белое здоровое, мускулистое мясо. Офицер Тимохин с красным носиком обтирался на плотине и застыдился, увидав князя, однако решился обратиться к нему:

— То-то хорошо, ваше сиятельство, вы бы изволили,— сказал он. [«И то,— проговорил князь Андрей,— да грязно».]

— Грязно,— сказал князь Андрей, поморщившись.

— Мы сейчас очистим вам,— и Тимохин, еще не одетый, побежал очищать.— Князь хочет.— Какой? — *Наш* князь,— заговорили голоса, и все заторопились так, что насилу князь Андрей успел их успокоить... Он придумал лучше облиться в сарае. [«Мясо — тело, chair à canon»,— всё думал он этот день, и ему страшно] «Мясо, тело, chair à canon»,— думал он, глядя и на свое голое тело, и вздрагивал не столько от холода, сколько от самому ему непонятного отвращения и ужас〈а〉 к...[14].

〈III〉

В числе бесчисленных подразделений, которые можно сделать в явлениях жизни, можно подразделить их все на такие, в которых преобладает содержание, другие — в которых преобладает форма. К числу таковых, в противоположность деревенской, земской, губернской, даже московской жизни, можно ставить жизнь петербургскую, в особенности салонную[1]. Эта жизнь неизменна. С 1805 года мы мирились и ссорились с Бонапартом, мы делали конституции и разделывали их, а салон Анны Павловны и салон Hélène были точно такие же, какие они были: один 7 лет, другой 5 лет тому назад. Точно так же у Анны Павловны говорили с недоумением [о Бонапарте] о успехах Бонапарта и видели во всем единственную цель Антихриста [поработить] побеспокоить императрицу Марию Федоровну, точно так же у Hélène, которую сам Румянцев удостаивал своим посещением и считал весьма умной женщиной, со вздохом сожаления говорили [о разрыве] о печальном разрыве с великой нацией и великим человеком.

В последнее время, после приезда государя из армии произошло некоторое волнение в этих противуположных кружках салонов и некоторые демонстрации, но направленность осталась та же. В кружке Марии Фе-

---

[14] Окончание фразы в автографе не поддается прочтению (прим. составителя).

[1] На полях: *Hélène и Анна Павловна — два салона. По-французски, так же труппа дорого стоющая. Укладываются. Неопределенность 1-е время. Князь Василий говорил «il est borgne» 〈«он кривой»〉 На другой день 〈рассказывали?〉 князь Василий: «il y voit assez» 〈«он достаточно видит»〉 дипломату. Кутузов делает свое дело и едет. Комитет.*

доровны, как бы в доказательство того, до чего ужасен был Бонапарт, были отданы приказания укладывать тяжести и готовиться к отъезду в Казань придворным и женским институтам, находившимся под ведением императрицы-матери, и [не] принимались только закоренелые легитимисты французы и выражалась патриотическая мысль о том, что не надо ездить во французский театр и что содержание труппы стоит столько же, сколько содержание целого корпуса. За военными событиями следилось жадно, и распускались самые выгодные для нашей армии слухи. В кружке Hélène и румянцевско-французском высказывали особенную самоуверенность и спокойствие и опровергались слухи о жестокости врага и войны. Вообще все дело представлялось пустыми демонстрациями, которые весьма скоро кончатся миром. И царствовало мнение Билибина, бывшего теперь в Петербурге и домашним у Hélène (всякий умный человек должен был быть у Hélène), что не порох, а те, кто его выдумали, решат дело. В этом кружке иронически и весьма умно, хотя весьма осторожно, осмеивали московский восторг, известие о котором прибыло вместе с государем в Петербург.

В кружке Анны Павловны восхищались этими восторгами и говорили о них, как говорит Плутарх о древних; князь Василий, занимавший всё те же важные должности, составлял звено соединения между двумя кружками. Он ездил к ma bonne amie[2] Анне Павловне и [к ma petite моей милой, той] dans le salon diplomatique de ma fille[3], и часто при беспрестанных переездах из одного лагеря в другой он путался и говорил у Анны Павловны то, что надо было говорить у Hélène, и наоборот.

Вскоре после приезда государя князь Василий разговорился у Анны Павловны о делах войны, жестоко осуждая Барклая де Толли и находясь в нерешительности, кого бы назначить главнокомандующим. Один из гостей, известный под [прозвищем] именем un homme de grand mérite[4], рассказал о том, что он видел нынче Кутузова, заседающего в [гражданской] казенной палате для приема ратников, и слушал толки о том, что вот человек, кого бы назначить.

Анна Павловна грустно улыбнулась и заметила, что Кутузов, кроме неприятностей, ничего не делал государю.

— Я говорил и говорил в дворянском собрании,— перебил князь Василий,— но меня не послушали. Я говорил, что избрание его в ⟨штаб?⟩ ополчения не понравится государю. Они меня не послушали.

— Всё какая-то мания фрондировать. И перед кем? И всё оттого, что мы хотим обезьянничать глупым московским восторгам,— говорил князь Василий, спутавшись на минуту, но тотчас же поправляясь.— Ну, графу Кутузову, неприлично са́мому старому генералу в России, заседать в палате, et il en restera pour sa peine![5] Разве возможно назначить главнокомандующим человека, который не может верхом сесть, засыпает на совете, человека самых дурных нравов! Хорошо он себя зарекомендовал в Букареште. Я уже не говорю о его качествах как генерала, но разве можно в такую минуту назначить человека дряхлого и слепого,— просто слепого. Хорош будет генерал слепой. Он не видит ничего. В жмурки играть... ровно ничего не видит!

Никто не возражал на это.

4 августа это было совершенно справедливо. [Но] 10 августа Кутузову пожаловано княжеское достоинство. Но княжеское достоинство могло означать и то, что от него хотели отделаться, и потому суждение князя Василья продолжало быть справедливо, хотя он и не торопился его высказывать теперь. Но [13] 15 августа в самый день Смоленской битвы был собран комитет из генерал-фельдмаршала Салтыкова, Аракчеева, Вязь-

---

[2] своему хорошему другу
[3] в дипломатический салон своей дочери
[4] человек с большими достоинствами
[5] хлопоты его пропадут даром!

митинова, Лопухина и Кочубея для обсуждения дел войны. Комитет решил, что неудачи происходили от разноначалий, и предложил назначить Кутузова главнокомандующим. И в тот же день Кутузов был назначен полномочным главнокомандующим армии и всего края, занимаемого войсками.

17 августа князь Василий встретился опять у Анны Павловны с l'homme de beaucoup de mérite[6], который ухаживал за Анной Павловной по случаю желания назначения попечителей женского учебного заведения императрицы Марии Федоровны. Князь Василий вошел в комнату с видом счастливого победителя, человека, достигшего цели своих желаний:

— Eh bien, vous savez la grande nouvelle? Le prince Koutouzoff est maréchal[7]. Все разногласия кончены. Я так счастлив, так рад! — говорил князь Василий.— Enfin voilà un homme[8]!

L'homme de beaucoup de mérite, несмотря на свое желание получить место, не мог удержаться, чтобы не напомнить князю Василью. (Это было неучтиво и перед князем Васильем в гостиной Анны Павловны и Анной Павловной, которая так же радостно приняла эту весть: но он не мог удержаться.) — Mais on dit qu'il est aveugle, mon prince[9],— сказал он.

— Allez donc, il y voit assez[10],— сказал князь Василий своим басистым, быстрым голосом с покашливанием, тем голосом и покашливанием, которым он разрешал все трудности.

— Allez donc, il y voit assez,— повторил он и, не обращая более внимания на это, продолжал.— И чему я рад, это то, что государь дал ему полную власть над всеми армиями, над всем краем,— власть, которой никогда не было ни у какого главнокомандующего. Это другой самодержавец.

— Дай бог, дай,— сказала Анна Павловна. L'homme de beaucoup de mérite еще новичок в придворном обществе, желая польстить Анне Павловне, выгораживая ее прежнее мнение из этого суждения, сказал: [Mois on]

— Говорят, что государь неохотно передал эту власть Кутузову. [Говорят] On dit qu'il rougit comme une demoiselle à laquelle on lirait «Joconde» en lui disant: «Le souverain et la patrie vous décernent cet honneur».

— Peut-être que le coeur n'était pas de la patrie[11],— сказала Анна Павловна.

— О нет нет,— горячо заступился князь Василий. Теперь уже он не мог никому уступить Кутузова. Не только он был сам хорош, но и все обожали его.— Нет, это не может быть, потому что государь так умел прежде ценить его.

— Дай бог только, чтобы князь Кутузов,— сказала Анна Павловна,— взял действительно власть и не позволял бы — *никому* — вставлять себе палки в колеса — des bâtons dans les roues.

Князь Василий тотчас понял, кто был этот *никому*. Он шёпотом сказал: — Я верно знаю, что Кутузов, как непременное условие, выговорил, чтоб наследник цесаревич не был при армии. Он сказал: «Я не могу наказать его, ежели он сделает дурно, и наградить, ежели он сделает хорошо». О, [этот] это умнейший человек, Кутузов, et quel caractère. Oh je le connais de longue date[12].

---

[6] человеком с большими достоинствами

[7] Ну-с, вы знаете великую новость, князь Кутузов — фельдмаршал.

[8] Наконец, вот это человек!

[9] Ну, говорят, он слеп, князь.

[10] Э, вздор, он достаточно видит.

[11] Говорят, что он покраснел, как барышня, которой бы прочли «Жоконду», в то время как ему сказали: «Государь и отечество награждают вас этой честью».

— Может быть, сердце не вполне участвовало.

[12] какой характер. О, я его знаю давно.

— Говорят даже,— сказал l'homme de beaucoup de mérite, [любивший поговорить] не имевший еще придворного такта,— что он непременным условием поставил, чтобы государь не приезжал к армии.

Как только он сказал это, в одно мгновение князь Василий и Анна Павловна [посмотрели] отвернулись от него и грустно, со вздохом о его наивности, посмотрели друг на друга [13].

‹IV›

В то время как это происходило в Петербурге, французы уже давно прошли Смоленск и всё ближе и ближе приближались к Москве. Историк Наполеона Тьер говорит, стараясь оправдать своего героя, потому что все другие историки обвиняли его в этом, что Наполеон был привлечен к стенам Москвы невольно. Он прав, как и правы другие французские историки, ищущие объяснения событий исторических в воле одного человека, он прав так же, как и русские историки, утверждают, что Наполеон был привлечен к Москве искусством русских полководцев. Здесь, кроме закона ретроспективности (возвратности), представляющего всё прошедшее приготовлением к совершившемуся факту, есть еще взаимность, путающая всё дело. Хороший игрок, проигравший в шахматы, искренне убежден, что его проигрыш произошел от его ошибки, и он отыскивает эту ошибку в начале игры, но забывает, что в каждом его шаге, в продолжении всей игры, были такие же ошибки (ни один шаг не был совершенен), но ошибка заметна ему только потому, что противник воспользовался ею. Насколько же более сложна эта игра войны, происходящая в известных условиях времени, где не одна только воля руководит безжизненными машинами, а где всё вытекает из бесчисленного столкновения различных произволов.

В деле, где действуют [все люди] много людей вместе, всё совершается не по воле людей, а по зоологическим разным законам, которые не дано предугадать человеку.

После Смоленска Наполеон искал сражения за Дорогобужем у Вязьмы, потом у Царева-Займища; но выходило, что по бесчисленному столкновению обстоятельств до Бородина, ‹в› 60 верстах от Москвы русские не могли принять сражения. От Вязьмы было сделано распоряжение Наполеоном для движения прямо на Москву.

Moscou, la capitale asiatique de ce grand Empire d'Orient, la ville sacrée des peuples d'Alexandre, Moscou avec ses innombrables églises en forme de pagodes chinoises! [1] Эта Moscou не давала покоя воображению Наполеона. На переходе из Вязьмы к Цареву-Займищу Наполеон верхом ехал на своем соловом энглизированном иноходчике, сопутствуемый гвардией, караулом, пажами и адъютантами. Бертье отстал, для того чтобы допросить взятого кавалерией русского пленного. Он галопом, сопутствуемый переводчиком Leborgne d'Ideville, догнал Наполеона и с веселым лицом остановил лошадь.

— Eh bien,— сказал Наполеон.

— Un cosaque de Platoff [2], говорит, что [Платов] корпус Платова соединяется с большой армией, что Кутузов назначен главнокомандующим. Très intelligent et bavard [3]. Наполеон улыбнулся и велел дать этому

---

[13] На полях указание о перестановке текста: сначала должна идти сцена Наполеона с Лаврушкой, а затем текст о Николае Ростове и княжне Марье (прим. составителя).

[1] Москва, азиатская столица этой великой восточной империи, священный город народов Александра, Москва — с своими бесчисленными церквами в форме китайских пагод!

[2] Это платовский казак

[3] Очень умный и болтун

казаку лошадь и привести его сюда. Он сам желал поговорить с ним. Несколько адъютантов поскакало, и через час крепостной человек офицера Петрова в денщицкой куртке на французском кавалерийском седле, с плутовским и пьяным, веселым лицом, подъехал к Наполеону. Наполеон велел ему ехать рядом с собой и начал спрашивать.

— Вы казак?

— Казак-с, ваше благородие.

«Le cosaque ignorant la compagnie dans laquelle il se trouvait, car la simplicité de Napoléon n'avait rien qui pût révéler à une imagination orientale *la présence* d'un souverain, s'entretint avec la plus extrême familiarité des affaires de la guerre actuelle» [4],— говорит Тьер, рассказывая этот эпизод. Действительно, Лаврушка, [лакей Петрова] лакей Денисова, перешедший к Ростову, напившийся накануне пьяным и оставивший барина без обеда, был высечен накануне и отправлен в деревню на мародерство, где и был взят французами. Лаврушка был один из тех грубых, наглых лакеев, видавших всякие виды, [〈*1 нрзб*〉 понимать барские] которые считают долгом делать всё с подлостью и хитростью, которые готовы служить всякую службу своему барину и которые хитро [узнают] угадывают барские дурные мысли, в особенности тщеславие и [фанаберию] мелочность.

Попав в общество Наполеона, которого личность он очень хорошо и легко признал, Лаврушка нисколько не смутился и только старался от всей души заслужить новым господам. Он очень хорошо знал, что это сам Наполеон, и присутствие Наполеона не могло смутить его больше, чем присутствие Денисова или вахмистра с розгами, потому что не было ничего у него, чего бы не мог лишить его ни вахмистр, ни Наполеон. Он врал всё, что толковалось между деньщиками. Многое из этого была правда. Но когда Наполеон спросил его, как же думают русские, победят они Бонапарта или нет, Лаврушка прищурился и задумался. Он увидел тут тонкую хитрость (как всегда во всем видят глубоко развращенные люди) и хитро насупился и помолчал. И сказал хитросплетенно неопределенно народную шпильку [которую и сказал Наполеону так]

— Оно значит: коль быть страженью, так значит в скорости ваша возьмет. Это так точно, ну, а коли пройдет три дня опосля того самого числа, ну, тогда значит власть божия».

Наполеону перевели это так:

«Si la bataille est donnée avant trois jours, les Français la gagneraient; mais que si elle serait donnée plus tard, Dieu sait ce qui en arriverait» [5],— улыбаясь передал Leborgne d'Ideville. Но Наполеон не улыбнулся, хотя он, видимо, был в самом веселом расположении духа. Лаврушка заметил это и, чтобы развеселить его, сказал, притворяясь, что не знает, кто он.

— Знаем, у вас есть Бонапарт, он всех в мире побил, ну да об нас другая статья...— сказал он, сам не зная как и отчего под конец проскочил в его словах хвастливый патриотизм. Переводчик передал эти слова Наполеону без окончания и Бонапарт улыбнулся [постарался показать себя равнодушным Он проехал несколько шагов молча.]

— «Le jeune Cosaque fit sourire son puissant interlocuteur» [6],— говорит Тьер. Проехав несколько шагов молча, Наполеон обратился к Бертье и сказал, что он хочет испытать действие, которое произведет sur cet enfant du Don [7] известие, что он сам император.

---

[4] Казак, не зная того общества, в котором он находился, потому что простота Наполеона не имела ничего такого, что бы могло открыть для восточного воображения *присутствие* государя, разговарил с чрезвычайной фамильярностью об обстоятельствах настоящей войны.

[5] Ежели сражение произойдет прежде трех дней, то французы выиграют его, но ежели после трех дней, то бог знает, что случится.

[6] «Молодой казак заставил улыбнуться своего могущественного собеседника».

[7] на это дитя Дона

Известие было передано. И Лаврушка, поняв, что это делается, чтоб озадачить его, и что Наполеон думает, что он испугается, тотчас же притворился ошеломленным, выпучил глаза и сделал такое же лицо, какое ему привычно было, когда его водили сечь.

«A peine l'interprête de Napoléon,— говорит Тьер,— avait-il parlé, que le Cosaque, saisi d'une sorte d'ébahissement ne proféra plus une parole et marcha les yeux constamment attachés sur ce conquérant, dont le nom avait pénétré jusqu'à lui, à travers les steppes de l'Orient. Voute sa loquacité s'était subitement arrêtée, pour faire place à un sentiment d'admiration naïve et silencieuse. Napoléon, après l'avoir récompensé, lui fit donner la liberté, comme à un oiseau qu'on rend aux champs qui l'ont vu naître»[8].

— Avant trois jours Moscou, les steppes de l'Orient...»[9],— думал Наполеон, подвигаясь к Вязьме.

Да не упрекнут меня в подбирании тривиальных [комических] подробностей для описания действия людей, признанных великими, как этот казак, как Аркольский мост и т. п. Ежели бы не было описаний, старающихся выказать великими самые пошлые подробности, не было бы и моих описаний. В описании жизни Ньютона подробности о его пище и о том, как он спотыкнулся, не могут иметь никакого влияния на значение его как великого человека — они посторонни; но здесь, наоборот, бог знает, чтобы осталось от великих людей, правителей и воинов, ежели бы перевести на обыденный язык всю их деятельность.

⟨V⟩

— L'oiseau qu'on rendit aux champs qui l'ont vu naître[1] поскакал влево, выехал к казакам, распросил, где был павлоградский полк, состоявший в отряде Платова, и к вечеру же нашел своего барина, Ростова, стоявшего в Янкове и только что севшего верхом, чтобы с Ильиным сделать прогулку до Богучарова. Он дал другую лошадь Лаврушке и взял его с собой.

Богучарово [не совсем] не вполне хорошо было выбрано убежищем от французов. Правда, что здоровье старого князя было так слабо, что он не доехал бы до Москвы. [Четыре дня после приезда в Богучарово] [На третий день] Князь в Богучарове, несмотря на помощь доктора, оставался более двух недель всё в том же положении. Уже поговаривали о французах, в окрестностях показывались французы, и у соседа в 25 верстах, Дмитрия Михайловича Телянина, стоял полк французских драгун. [Докладывал Дронушка-староста, что Амалия Карловна получила записку, дóлжно от французов, и что мужики не хороши, но ехать] Но князь ничего этого не понимал, доктор сказал, что нельзя ехать в таком положении. На третьей ночи после приезда в Богучарово князь лежал, как и прежние дни, в кабинете князя Андрея. Княжна Марья ночевала в соседней комнате. Всю ночь она не спала и слышала его кряхтенье [и возню] и ворочанье с помощью доктора и Тихона, но она не смела войти к нему. Она не смела [потому что при входе ее все эти три дня] потому, что все эти дни, как только наступал вечер, князь выказывал признаки раздражения и знаками выгонял ее, приговаривая: «Спать... мне хорошо мне...» Днем он допускал ее и левой здоровой рукой держал и жал ее за руку

---

[8] «Едва переводчик Наполеона сказал это казаку, как казак, охваченный каким-то остолбенением, не произнес более ни одного слова и продолжал ехать, не спуская глаз с завоевателя, имя которого достигло до него через восточные степи. Вся его разговорчивость вдруг прекратилась и заменилась наивным и молчаливым чувством восторга. Наполеон, наградив казака, приказал дать ему свободу, как птице, которую возвращают ее родным полям».

[9] Через три дня Москва, восточные степи...

[1] Птица, возвращенная родным полям

и успокоивался[2] до тех пор, пока что-нибудь не напоминало ему о том, что его выгнало из Лысых Гор. Тогда, несмотря ни на какие средства доктора, он начинал кричать, хрипеть и метаться. [После бессонной ночи, проведенной в напряжении слуха у его двери, княжна Марья вошла к нему] Он, видимо, очень страдал и физически, и нравственно. Княжна страдала не меньше его. Надежды на исцеление не было.

Он мучался... «Не лучше ли был бы [совсем] конец,— совсем конец»,— иногда думала княжна Марья.— И странно сказать, [часто она страстно] она день и ночь, почти без сна, следила за ним, и часто она следила за ним не затем, чтобы найти признаки облегчения, но следила, желая найти признаки приближения к концу, к великому горю,— но к успокоению. После 4-й бессонной ночи, проведенной в напряжении слуха в сухом ожидании и страхе у его двери (княжна Марья не плакала и удивлялась самой себе, что она не могла плакать), она утром вошла в его комнату. Он лежал высоко на спине с своими маленькими костлявыми ручками на одеяле и уставленными прямо глазами. Она подошла и поцеловала его руку [и не выпускала] [Он 〈начал?〉], левая рука сжала ее и так, что видно долго не хотел ее выпустить.

— Как вы провели ночь? — спросила она.

Он начал говорить (что ужаснее всего было княжне Марье), с комическим трудом ворочая язык. Он говорил лучше нынче, но лицо его похоже стало на птичье лицо и очень измельчало чертами, как будто ссохлось или растаяло.

— [Ах!] [Я] Ужасную ночь провел,— выговорил он.

— Отчего, mon père? Что особенно вас мучало?

— Мысли! Погибла Росси...— он зарыдал.

Княжна Марья, боясь, что он опять озлобится при этом воспоминании, и спешила навести его на другой предмет.

— Да, я слышала, как вы ворочались, как Тихон...— сказала она.

Но он нынче не озлобился, как прежде, при воспоминании [об несчастии] о французах, напротив, он был кроток и это [особенно] поразило княжну Марью.

— Всё равно теперь конец,— сказал он и, помолчав: — Не спала? Ты?

Княжна Марья отрицательно покачала головой; невольно подчиняясь отцу, она теперь так же, как он, говорила, стараясь говорить больше знаками и как будто тоже с трудом ворочая язык.

— Нет, я все слышала,— сказала она.

— [Ах, душенька, друг] Душенька, или дружок,— (княжна Марья не могла разобрать, но да, как ни странно это было, это наверно по выражению его взгляда было нежное, ласковое слово),— зачем не пришла ко мне? — Он опять зарыдал.

К княжне Марье вдруг воротилась способность слез и рыданий. Она нагнулась к его груди и зарыдала. Он пожал ее руку и замахал головой, чтоб она шла к двери.

— Не послать ли за священником? — сказал шёпотом Тихон.

— Да, да.— Княжна Марья обратилась к нему. Она еще [не договорила] ничего не успела сказать, как он проговорил: — Священника, да.

Княжна Марья вышла, послала за священником и побежала в сад. Был [яркий] жаркий августовский день, тот самый, в который князь Андрей заезжал в Лысые Горы. Она выбежала в сад и, рыдая, побежала вниз к пруду по молодым, засаженным князем Андреем, липовым дорожкам.

«Да, я, я, я. Я желала его смерти. Да, я желала. Вот она пришла. Радуйся. Пришла (я знаю), радуйся, ты будешь покойна... [Но надо]»,— думала княжна Марья, падая на засохшую траву и руками давя грудь, из которой судорожно вырывались рыдания. Но надо было идти назад.

---

[2] В автографе *успокоивался* написано по слову *беспокоился* (прим. составителя).

[Она видела, священник уже был у него в комнате] Она облила водой голову и вошла в большое крыльцо. Священник при ней вошел в его комнату. Она выходила и вернулась, когда ему утирали рот. Он смотрел на нее. Когда священник ушел, [княжна Марья] он опять указал княжне Марье дверь и закрыл глаза. Она вышла в столовую. На столе был накрыт завтрак. Княжна Марья подошла к его двери. Он кряхтел. Она вернулась в столовую, подошла к столу, села и положила себе на тарелку котлету с картофелем и стала есть и пить воду.

Тихон вошел в дверь и поманил ее. Тихон неестественно улыбался. Он, видно, что-то хотел скрыть этой улыбкой. [Он]

— Зовут,— сказал он.

Княжна Марья, не торопясь, дожевывая котлету, подошла к двери. Она остановилась у двери, чтобы проглотить и отереть рот. Наконец, взялась за ручку, скрипнула и отворила. Он лежал всё так же, только лицо его еще больше растаяло. Он поглядел на нее так, что видно было, он ждал ее. И рука его ждала ее руки. Она схватилась за нее... Сначала это была его рука, это было его лицо, но через несколько минут не только это было не его лицо, которое лежало на подушках, и не его рука, которая держала ее, но это было что-то чуждое, страшное и враждебное. [Княжна поцеловала его холодный лоб. Он был холоден. Она хотела думать, что это он, но внутренний голос говорил ей, что его нет.] И эта перемена вдруг произошла в княжне Марье в ту минуту, как доктор, не ступая более на цыпочки, а всей ступней[3] подошел к окну и поднял стору. Был уже вечер. «Вероятно, я более 2-х часов сидела тут,—подумала княжна Марья. [Она] Нет, не может быть, чего мне страшно? Это — он». Она поднялась и поцеловала его в лоб. Он был холоден. «Нет, нет его больше. Его нет, а есть, тут же, на том месте, где был он, какая-то страшная, ужасающая тайна...»

[Доктор] В присутствии доктора и Тихона женщины обмыли его, что был он, [связали] повязали голову, чтобы не закостенел открытый рот, и [связывали] связали другим платком расходившиеся ноги, одели в мундир с орденами и положили на стол под парчой в гостиной. Как лошади шарахаются и толпятся и фыркают над мертвой лошадью, так в гостиной толпился народ, чужой и свой, с остановившимися глазами, крестился и заботился о ельнике, который насыпали на полу, о парче, о свечах, о венчике...

Княжна Марья сидела с уставленными прямо сухими глазами на сундуке в своей комнате, бывшей спальне князя Андрея, и с ужасом думала о том, что она желала этого...

M-lle Bourienne, не показывавшаяся до того времени и жившая в доме приказчика, опять пришла в дом, и княжна Марья слышала ее рыдания, слова bienfaiteur[4], и видела, как она, с испуганным лицом глядя на него, по-католически всей рукой крестилась на панафиладах.

[На 3-й день после похорон князя, 14 августа, в Богучарово, которое было уже не вполне безопасно от французов и в которое заходили два раза мародеры по три человека и в которое уже через m-lle Bourienne была прислана записка от французского генерала Рамо о доставлении овса в Богучарово, к вечеру 12 августа, на переходе остановилось два эскадрона павлоградских гусар.]

На похороны приехало много народа: городничий, исправник, соседи, даже незнакомые, желавшие отдать честь праху генерал-аншефа. В числе этих соседей был и Телянин. [Городничий] Капитан-исправник почтительно сообщил княжне Марье, что опасно оставаться долее и надо поспешно уезжать, потому что в уезде показываются французские мародеры. Но княжна Марья решительно не поняла его. В числе собравшихся

---

[3] В автографе вместо *ступней* ошибочно: *окной* (прим. составителя).

[4] благодетель

на похороны был и Алпатыч, приехавший в тот же день из Лысых Гор. Княжне Марье в эти минуты горя утешительнее всего было видеть Алпатыча и Тихона, двух людей, бывших ближе других к покойнику, больше других страдавших от него и больше всех убитых горем. Особенно Алпатыч со своим подражанием манерам старого князя более всего трогал ее. Он стоял во время службы, прямо держась, нахмурясь, с своей рукой за пазухой, видимо желая соблюсти почтительно представительность, и вдруг лицо его падало, как будто обрывались пружинки, поддерживающие его, и он, как женщина, трясясь головой, начинал рыдать. И зажженный Смоленск, и разоренные Лысые Горы, занятые французскими драгунами, и минутный приезд князя Андрея, и теперь смерть его — всё последовало так скоро одно за другим — и всё после ровной, торжественной 30-летней жизни, что иногда Алпатыч чувствовал, как рассудок его начинал теряться. Одно, что поддерживало его силы, это была княжна, на которую он не мог смотреть (он отворачивался от нее). Он чувствовал, что для нее он необходим и необходима вся его твердость. Как только вернулись с кладбища и княжна Марья увидала тот опроставшийся кабинет, где он лежал больной, и ту опроставшуюся залу, где он лежал мертвый, она почувствовала в первый раз, как это всегда бывает, и всю тяжесть, всё значение утраты и вместе с тем требования жизни, не остановившейся, несмотря на то, что его уже не было [она едва добежала до своей комнаты и упала, рыдая, на кровать].

Гости собрались за поминками. Алпатыч тихо отворил дверь и вошел к княжне Марье. Несколько раз в продолжение этого утра княжна Марья начинала плакать и останавливалась, принималась за какое-нибудь дело и бросала его. В ту минуту, как вошел Алпатыч, она решилась прочесть, наконец, письмо, которое перед похоронами с почты привез ей Алпатыч. Оно было от Жюли, и его-то и читала княжна Марья. Жюли писала из Москвы, где она жила одна с матерью, так как муж ее был в армии. Письмо, первое из сотен, которые получала княжна Марья, было писано по-русски и всё наполнено военными новостями и патриотическими фразами. «Я вам пишу по-русски, мой добрый друг,— писала Жюли,— потому что я [с озлоблением] [с злобой] имею ненависть ко всем французам, равно и к языку их, который я не могу слышать, говорить... Мы в Москве все восторженны [〈энтузиазмом?〉] через энтузиазм к нашему обожаемому императору. Бедный муж мой переносит труды и голод в жидовских корчмах, но новости, которые я имею, еще более воодушевляют меня. Вы слышали, верно, о героическом подвиге Раевского, обнявшего двух сыновей и сказавшего: «Погибну с ними, но не поколеблемся». И действительно, хотя неприятель был вдвое сильнее нас, мы не колебнулись. Мы проводили время, как можем, но на войне, как на войне. Княгиня Алина и Sophie сидят со мной целые дни, и мы, несчастные вдовы живых мужей, за корпией делаем прекрасные разговоры, только вас, мой друг, не достает» и т. д.

Княжна Марья знала по-русски не лучше своего друга Жюли, но русское чутье говорило ей, что что-то не так в этом письме. Она перестала его читать и думала о том, когда вошел Алпатыч. Увидав его, рыдания опять подступили ей к горлу. Несколько раз она поднималась, удерживая слезы, против него, ожидая, что он скажет, несколько раз он, хмурясь, прокашливался, желая начать, и [оба раза] всякий раз они оба не удерживались и начинали рыдать.

Наконец, Алпатыч собрался с силами:

— Осмелюсь доложить вашему сиятельству, что, по наблюдениям моим, опасность пребывания в здешнем имении становится настоятельнее, и я бы предложил вашему сиятельству ехать в столицу.

Княжна Марья посмотрела на него.

— [Отчего?] Ах, дай мне опомниться.

— Необходимо потому, ваше сиятельство.

— Ну, делай, как знаешь. Я поеду, я сделаю всё, что ты скажешь.

— Слушаю-с. [Я приду вечером за приказаниями] Я сделаю распоряжения и вечером приду за приказаниями, ваше сиятельство.

Алпатыч ушел и, призвав старосту Дронушку, отдал ему приказания о приготовлении 20 подвод для подъема из дома и княжниных постелей и девушек.

Имение Богучарово было всегда заглазное [и мужики] до поселения в нем князя Андрея, и мужики богучаровские имели совсем другой характер от лысогорских. Они отличались от них и говором, и одеждой, более грубой, и нравами, и недоверием, и недоброжелательством к помещикам. Они назывались в Лысых Горах степными, и их хвалил старый князь за их сносливость в работе, когда они приезжали подсоблять уборке в Лысых Горах или копать пруды и канавы, но не любил их за их пьянство и грубость нравов. Последнее пребывание в Богучарове князя Андрея [не только] с его нововведениями — больницы, школы — и облегчением оброка, как и всегда было и будет, только усилило в них их [недоброжелательство к господам] недоверчивость к помещикам. Между [собой они говорили, что князь Андрей эти больницы] ними ходили толки о перечислении их всех в казаки, то о новой вере, в которую их обратят, то о царских листах каких-то, то о присяге Павлу Петровичу в 1796 году, которую помнили многие, говоря, что тогда еще воля выходила, да господа отняли. Лет 30 Богучаровым управлял староста Дрон, которого старый князь звал Дронушкой и который всякий год после поездки в Вязьму на ярмарку привозил оттуда вяземские пряники. Княжна Марья еще с детства помнила его; впечатление Дронушки, высокого, красивого, худого, с римским носом и с выражением необыкновенной твердости во всей фигуре мужика, соединялось в ней с приятным впечатлением пряников. Дронушка был один из тех крепких физически и нравственно мужиков, которые, как только войдут в года, обрастут бородой, так, не изменяясь, живут до 60—70 лет без единого седого волоса или недостатка зуба, такие же прямые и поворотливые в 60 лет, как и в 30. [Один из тех мужиков, которые, раз себе дав зарок, не пьют вина, не ругаются дурным словом, один из тех старост, которые могут стоять, не уставая, перед барином или приказчиком, не переменив ноги, три и 5 часов сряду, один из тех, которые в 100 дворах знают наизусть, сколько у какого мужика лошадей, овец и коров, и за 20 лет помнят, сколько копен был урожай на какой десятине. Один из тех мужиков, который мог 3 ночи не спать, объезжая поля и леса, когда нужно, и от которого никакой вор никогда не мог укрыться. Один из тех, которые, перепуская в руках десятки тысяч, равномерно оставляет у себя известный %, но никак не больше. Один из тех, которых главные три радости составляют видеть свое благополучие, порядок и тишину в своем мужичьем и барском хозяйстве видеть, исполнять торжественно обряды церкви и ловко и смело поймать вора. Один из тех старост-бурмистров, которые, никогда не горячась, не торопясь, держат имение в 1000 душ свободно и легко, как вожжи к тройке лошадей.]

[Дрон лет 20] Дрон 23 года тому назад, уже бывши старостой, вдруг начал пить; его строго наказали и сменили из старост. Вслед за тем Дрон бежал и пропадал около года, обходил все монастыри и пустыни, был в Лаврах и Соловецких. Вернувшись оттуда, он объявился. Его опять наказали и поставили на тягло. Но он не стал работать и тотчас же пропал. Через две недели он, изнуренный и худой, едва таща ноги, пришел к себе в избу и лег на печь. Потом узнали, что эти две недели Дрон провел в пещере, которую сам вырыл в горе в лесу и которую сзади себя заложил камнем, смазанным глиной. Он без еды и питья 9 дней пробыл в этой пещере, желая спастись, но на 9-й день на него нашел страх смерти, он с трудом откопался и пришел домой. С тех пор Дрон перестал пить вино и браниться дурным словом, сделан опять старостой и в этой долж-

ности ни разу не был ни пьян, ни болен, никогда не устав ни от какого труда, ни от двух бессонных ночей, никогда не запамятовав ни одной [копны] десятины, сколько было на ней копен, за 20 лет назад или одного пуда муки, который он выдал, и пробыл безупречно 23 года старостой. Никогда и никуда не торопясь, никогда и ни в чем не опаздывая, без поспешности и без отдыха, Дрон управлял имением в 1000 душ так же свободно, как хороший ямщик приезженной тройкой.

На приказание Алпатыча собрать 17 подвод к середе (был понедельник) Дрон сказал, что этого нельзя, потому что лошади под казенными подводами, а остальные без корма по голым полям ходят. Алпатыч удивленно [и гневно] посмотрел на Дрона, не понимая смелости его возражения.

— Что? — сказал он. [Чтоб были.] [С тысячи] — С 150 дворов 17 подвод нету?

— Нету,— тихо отвечал Дрон, и Алпатыч с недоумением заметил опущенный и нахмуренный взгляд Дрона.

— Да ты что думаешь? — сказал Алпатыч.

— Ничего не думаю. Что мне думать.

Алпатыч по методе, по которой князь [не любил] не считал удобным тратить много слов, взял Дрона за аккуратно запахнутый армяк [и потрясал его из стороны в сторону.— Я еду за лошадьми в Хлебное (это был хутор, в который из Лысых Гор, занятых неприятелем, Алпатыч перевел господских лошадей) и завтра к ночи вернусь, так знай ты, что, ежели у меня подводы готовы не будут, то я тебя] и, потрясая его из стороны в сторону, начал говорить.

— Нету,— начал он.— Нету, так ты слушай. Я к вечеру буду, ежели у меня подводы готовы не будут завтра к утру, с тобой то сделаю, что ты и не думаешь. Слышишь?

Дрон равномерно и покорно раскачивался туловищем вперед, стараясь угадывать движения руки Алпатыча, ни в чем не изменяя ни выражения своего опущенного бессмысленного взгляда, ни покорного положения рук. Он ничего не ответил, Алпатыч покачал головой и поехал за лошадьми лысогорскими, которых он вывел за собой и оставил в 15 верстах от Богучарова.

〈VI〉

В этот день в 5-м часу вечера, когда уж Алпатыч давно уехал, княжна Марья сидела в своей комнате и, не в силах заняться ничем, читала Псалтырь, но она не могла понимать того, что она читала[1]. Картины близкого прошедшего — болезнь и смерть — беспрестанно возникали в ее воображении. Дверь ее комнаты отворилась, и в черном платье вошла та, которую она менее всего бы желала видеть: m-lle Bourienne. Она тихо подошла к княжне Марье, со вздохом поцеловала ее и [после преданного] начала речь о печали, о горе, о том, что в такие минуты трудно и невозможно думать о чем-нибудь другом, в особенности о себе самой. Княжна Марья испуганно смотрела на нее, чувствуя, что речь была предисловием чего-то. Она ждала сущности дела. [M-lle Bourienne]

— Ваше положение вдвойне ужасно, милая княжна,— сказала m-lle Bourienne.— Я о себе не думаю, но вы... Ах, это ужасно! Зачем я взялась за это дело?..

M-lle Bourienne заплакала и не в силах сказать.

— Коко? — вскрикнула княжна Марья.— André?

— Нет, нет, успокойтесь, но вы, вы знаете, что мы в опасности, что мы окружены, что [неприятель] французы нынче-завтра будут здесь.

— А,— успокоенно сказала княжна Марья.— [Я] Мы завтра поедем.

---

[1] На полях: *Княжна Марья читала письмо. Не колебнулись.*

— Но, я боюсь, это поздно. Я даже уверена, что это поздно,— сказала m-lle Bourienne.— Вот,— и она, достав из ридикюля, показала княжне Марье объявление на нерусской, необыкновенной бумаге французского генерала Рамо о том, чтобы жители не покидали своих домов, что им оказано будет должное покровительство французских властей.

Княжна Марья, не дочтя, остановила свои глаза на m-lle Bourienne [и вдруг опять]. Молчание продолжалось около минуты.

— [Что, чтоб я, я] Так что вы хотите, чтоб я,— заговорила, вспыхнув, княжна Марья, вставая и своими тяжелыми шагами подходя к [к двери] m-lle Bourienne,— чтоб я приняла в этот дом французов, чтоб я... Нет, уйдите, ах, уйдите, ради бога.

— Княжна, я для вас говорю, верьте.

— Дуняша! — закричала княжна.— Уйдите.

Дуняша, румяная, русая девушка, двумя годами моложе княжны, ее крестница, вбежала в комнату. [Дуняша, я] M-lle Bourienne всё говорила, что это трудно, но что больше делать нечего, что она просит простить, что она знала...

— Дуняша, она не хочет уйти. Я пойду к тебе.

И княжна Марья вышла из комнаты и захлопнула за собой дверь.

Дуняша, няня и все девушки ничего не могли сказать о том, в какой мере справедливо было то, что объявила m-lle Bourienne[2]. Алпатыч не возвращался. Княжна Марья, возвратившись в свою комнату, из которой ушла m-lle Bourienne, с высохшими, блестящими глазами ходила по комнате. Потребованный ею Дронушка вошел в комнату и с тем выражением тупого недоверия твердо стал у притолоки.

— Дронушка! — сказала княжна Марья, видевшая в нем несомненного друга, того самого Дрона, который из Вязьми привозил и с улыбкой подавал ей всегда свои особенные пряники.— Дронушка, правда ли мне говорят, что мне и уехать нельзя?

— Отчего же не ехать? — вдруг с доброй усмешкой сказал Дронушка.

— Говорят, опасно от французов.

— Пустое, ваше сиятельство.

— Ты со мной поезжай, пожалуйста, Дронушка, завтра.

— Слушаю-с. Только подводы приказывали Яков Алпатыч к завтрашнему дню, то никак невозможно, ваше сиятельство,— всё с той же доброй улыбкой сказал Дрон. Эта добрая улыбка невольно выходила ему на уста в то время, как он смотрел и говорил с княжной, которую он любил и знал девочкой.

— Отчего же невозможно, Дронушка, голубчик? — сказала княжна.

— Эх, матушка, время такое, ведь [что] изволили слышать, я чай. Бог наказал нас, грешных. Всех лошадей под войско разобрали, а который был хлебушко — стоптали, стравили на корню. Не то, что лошадей кормить, а только бы самим с голоду не помереть. И так по три дни не емши сидят. Нет ничего, разорили в конец...

— Ах, боже мой! — сказала княжна Марья. «А я думаю о своем горе»,— подумала она. И счастливая тем, что ей представился предлог заботы такой, для которой ей не совестно забыть свое горе, она стала расспрашивать у Дрона подробности бедственного состояния мужиков, изыскивая в голове своей средства помочь им.

— Что же нашего хлеба разве нет, ты бы дал мужикам? — сказала она.

— Что раздавать-то ваше сиятельство, всё туда ж пойдет. Прогневили мы бога.

— Так ты раздай им хлеб, какой есть, Дронушка, да постарайся, чтоб так не разоряли их. Может быть, нужно написать кому-нибудь, я напишу.

---

[2] На полях: *Княжна Марья благодетельствует пейзанам.*

— Слушаю-с,— сказал Дрон, видимо не желая исполнять приказания княжны, и хотел идти. Княжна воротила его.

— Но как же, когда я уеду, как же мужики останутся?— спросила она.

— [А как бог даст] Куда же ехать, ваше сиятельство,— сказал Дрон,— когда и лошадей нет, и хлеба нет.

Княжна Марья вспомнила, что Яков Алпатыч говорил ей, что Лысогорские мужики почти все уехали в подмосковную деревню. Она сказала это.

— Что же делать,— сказала она, вздыхая,— не мы одни, собирайтесь все и поедем, уж я, я... всё свое отдам, только чтоб вы все были спасены. Ты скажи мужикам, все вместе поедем. Вот Яков Алпатыч приведет лошадей [своих], я наших велю дать, кому не достанет. Так ты скажи мужикам. Нет, лучше я сама пойду к ним и скажу им. Так ты скажи.

— Слушаю-с,— сказал улыбаясь Дрон и вышел [3].

[Княжна Марья опять послала Дрона спросить о подводах.] Княжну Марью так заняла мысль о несчастии и бедности мужиков, что она несколько раз посылала спрашивать, пришли ли они, и советовалась с людьми — прислугой, как и что ей делать. Дуняша, 2-я горничная, бойкая девушка, упрашивала княжну не ходить к мужикам и не иметь с ними дела.

— Всё обман один,— говорила.— А Яков Алпатыч приедут и поедем, ваше сиятельство, а вы не извольте...

— Какой же обман? Какая ты...

— Да уж я знаю, только послушайтесь меня, ради бога.

Но княжна не слушала ее. Она, вспоминая самых близких людей, призвала еще Тихона.

Совет с Тихоном был еще менее утешителен, чем совет с Дроном. Тихон, лучший камердинер в мире, до необычайности проницательности доведший свое искусство угадывать волю князя, выведенный из своего круга деятельности, никуда не годился. Он никого не мог понять, ничего сообразить [4]. Он с бледным и изнуренным лицом пришел к княжне и на все ее вопросы отвечал [одними слезами] [Только Михаил Иваныч, архитектор и Дуняша не унывали. Они собрали привезенные из Лысых Гор ружья и приготавливали заряды. Княжна Марья взволнованная ходила из своей комнаты в гостиную, где Михаил Иваныч устроил свою лабораторию.— Неужели придется сражаться? — спросила княжна Марья.— Я не боюсь, но это ужасно.— Княжна Марья взяла одно ружье.— Оно не заряжено?

— Нет.

— Так как же стрелять? — спросила она.

Михаил Иваныч, поспешно встав, указывал ей.

— Вот так? — Но, не спуская курка, княжна Марья вдруг заплакала.

В это время пришли доложить, что пришел Дронушка. К вечеру пришел Дрон и объявил, что мужики решительно отказались дать подводы и что они так и велели сказать.] одними словами «как прикажете» и слезами.

Несмотря на отговариванья [Михаила Иваныча и] Дуняши, княжна Марья надела свою с длинными полями шляпу и пошла [на деревню сама говорить с мужиками. Она] к амбару, у которого собрались мужики. Именно потому, что они отговаривали ее [и находили, что это опасно], княжна Марья с особенной радостью, своими тяжелыми шагами

---

[3] К тексту: *всё с той же доброй улыбкой* (с. 658) ∾ *и вышел.*— см. Варианты, № 38.

[4] На полях: *Богучарово было*

Nicolas пришел в Богучарово и видит сходку. Дрон — «не хороши». Княжна Марья учится стрелять, говорит с Бурьен. Учится стрелять у Тихона. Идет на сходку.

путаясь в юбке, пошла к деревне. Дрон, Дуняша и Михаил Иваныч шли за нею. «Какие тут могут быть расчеты,— думала княжна Марья, надо всё отдать, только спасти этих несчастных людей, поверенных мне богом. Я им буду обещать месячину в подмосковной, квартиры, что бы это ни стоило нам. Я уверена, André еще больше бы сделал на моем месте»,— думала она, подходя.

Толпа раскрылась полукругом, все сняли шапки и оголились лысые, черные, рыжие и седые головы. Княжна Марья, опустив глаза, близко подошла к ним. Прямо против нее стоял старый согнутый седой мужик, опершись обеими руками на палку.

— Я пришла, я пришла,— начала княжна Марья, глядя невольно только на старого мужика и обращаясь к нему.— Я пришла... мне Дрон сказал, [что вы не повинуетесь... и что вы не хотите помочь... А вам, всем нам, грех нам покориться врагу, потому что... Я вам советую, мои друзья... собрать лучшее всё имущество и ехать со мной, чем оставаться. И не верю тому, чтобы вы не хотели меня слушать и я прошу] что вас разорила война. Это наше общее горе, и я ничего не пожалею, чтобы помочь вам. Я сама еду, потому что уже опасно здесь и неприятель близко, потому что... и я вам советую, мои друзья... и прошу вас собрать лучшее всё имущество и ехать со мной, и все вместе поедем в подмосковную и там вам будет всё от меня. И вместе будем делить нужду и горе. Ежели вы хотите оставаться здесь, оставайтесь — это ваша воля, но я прошу вас от имени покойного отца, который был вам хорошим барином, и за брата, и его сына, и за себя. Послушайтесь меня [а не слушайтесь изменников] и поедемте все вместе [в Москву вместе делить горе].— Она помолчала. Они молчали тоже, но никто не смотрел на нее.— Теперь, ежели вам нужда, я велела раздать всем хлеба, и всё, что мое, то ваше...

Опять она замолчала, и опять они молчали, и старик, стоявший перед нею, старательно избегал ее взгляда.

— Согласны вы?

Они молчали. Она оглянула эти 20 лиц, стоявшие в 1-м ряду, ни одни глаза не смотрели на нее, все избегали ее взгляда.

— Согласны вы? Да что ж, отвечайте что ль? — сзади спросил голос Дрона.

— Согласен ли ты? — в это же время спросила княжна у старика. Он зашамкал губами.

— Как [народ] люди, так и мы,— сердито отворачиваясь от взгляда княжны Марьи, которая ловила его взгляд.

Наконец она [как бы] поймала его взгляд, и он, как бы рассердившись за это, опустил совсем голову, проговорил: — Чего соглашаться-то. Что ж нам всё бросать-то.

— Не согласны,— раздалось сзади.— [Не согласны]. Нет нашего согласия. Поезжай сама одна...

Княжна Марья начала говорить, что они, верно, не поняли ее, что обещается поселить их, вознаградить, но голос ее заглушили. [Ей вдруг] Рыжий мужик кричал больше всех сзади, и баба кричала что-то. Княжна Марья [стало] взглянула на эти лица, опять ни одного взгляда она не могла поймать.

[— Грех вам,— сказала она и, чувствуя негодование, превозмогавшее ее страх, вышла из круга.] Ей стало странно и неловко. Она шла с намерением помочь им, облагодетельствовать тех мужиков, которые так преданы были ее семейству, и вдруг [они] эти самые мужики враждебно смотрели на нее. Она замолчала и, опустив голову, вышла из круга.

— Вишь, научила ловко, за ней в крепость иди,— послышались голоса в толпе.— Дома разори, да в кабалу и ступай. Как же! И хлеб, мол, отдам,— с ироническим хохотом проговорил старик с дубинкой.

В ночь приехал Алпатыч и привел две шестерни лошадей. Но на посылку его за Дроном ему ответили, что староста на сходке, которая

опять собралась с раннего утра, и что он велел сказать: «пускай сама придет». Через преданных ему людей, в особенности через Дуняшу, Алпатыч узнал, что не только мужики отказались дать подводы, но кричат все у кабака, что они не выпустят господ, потому что им объявлено, что их разорят, ежели они будут вывозиться. Лошадей, однако, велели закладывать, и княжна Марья с бледным лицом [ожидала решения своей судьбы. Более всего ее пугало то, что Михаил Иванович раздал ружья лысогорским дворовым.] в дорожном платье сидела в зале [5].

Еще лошади не подъехали к крыльцу, как толпа мужиков приблизилась к господскому дому и остановилась на выгоне.

[Княжна Марья [решила] страшилась более всего кровопролития и объявила решительно, что она не поедет до тех пор, пока мужики не разойдутся.] От княжны Марьи скрывали враждебные намерения крестьян, но она, притворяясь даже для самой себя, что не знает, в чем дело, понимала свое положение. Яков Алпатыч с расстроенным и бледным 〈лицом〉, тоже в дорожном одеянии — панталоны в сапоги — вошел к ней и с осторожностью доложил, что, так как по дороге могут встретиться неприятели, то не угодно ли княжне написать записку к русскому воинскому начальнику в Яньково (за 15 верст) с тем, чтобы приехал конвой.

— Зная звание вашего сиятельства, не могут отказать.

Княжна Марья поняла, что конвой нужен для разогнания мужиков.

— Ни за что, ни за что,— с жаром и решительностью заговорила она,— вели подавать и поедем.

Яков Алпатыч сказал: «слушаю-с» — и не уходил.

Княжна Марья ходила взад и вперед по комнате, изредка заглядывая в окно. Она знала, что и у ее свиты, у лысогорских дворовых, были ружья, и ее более всего страшила мысль о кровопролитии.

— Для чего они тут стоят,— сказала княжна Марья самым простым голосом Алпатычу, указывая на толпу.

Яков Алпатыч замялся.

— Не могу знать. Вероятно, проститься желают,— сказал он.

— Ты бы сказал им, чтобы они шли.

— Слушаю-с.

— И тогда вели подавать.

Уже был 2-й час дня, мужики всё стояли на выгоне. Княжне Марье доносили, что они купили бочку водки и пьют.

Было послано за священником, чтобы уговорить их. Из окна передней их видно было. Княжна Марья сидела в дорожном платье и ждала.

— Французы, французы,— вдруг закричала Дуняша, [отбегая от окна] подбегая к княжне Марье. Все бросились к окну, и действительно, к толпе мужиков [подъехали два кавалериста, и становой один на игреневой, другой на рыжей лошади и остановились] [〈Благодаря?〉] подъехали три кавалериста [6], один на игреневой, два на рыжих, и остановились.

— Всевышний перст! — сказал торжественно, поднимая руку и палец, Алпатыч.— Офицеры русской армии.

Действительно, два кавалериста были Ростов с Ильиным [находившиеся в отряде Платова и делавшие] [находившиеся в отряде Платова и отправленные на фуражировку] и только что вернувшимся Лаврушкой, въехали в Богучарово, находившееся последние три дня между двумя линиями неприятельских армий, так что так же легко могли зайти туда [русские казаки] русский арьергард, как и французский авангард. Из авангарда французского уже [были посланы] приезжали посланные, привезли вперед фальшивых бумажек за провиант и объявили

---

[5] На полях: *Nicolas с почтительностью к несчастью не хочет воспользоваться случаем для знакомства.*

[6] На полях: *Лаврушка.*

волю всем крепостным и требование, чтобы никто не вывозился, которое и смутило богучаровских мужиков.

Nicolas Ростов [с своим] [стоял] с эскадроном остановился в 15 верстах в Янькове, но, не найдя достаточно фуража в Янькове и желая прогуляться в прекрасный летний день, поехал с Ильиным и [вахмистром] Лаврушкой поискать [где] побольше овса и сена в несколько даже опасное по тогдашнему положению армии Богучарово,— Nicolas Ростов был в самом веселом духе. [Они пели] Дорогой он расспрашивал Лаврушку о Наполеоне, заставлял его петь будто бы французскую песню, сами пели с Ильиным и смеялись мысли о том, что они повеселятся в богатом помещичьем доме в Богучарове, где должна быть большая дворня и хорошенькие девушки. Nicolas и не знал, и не думал о том, что это имение того самого Болконского, который был женихом его сестры.

Они подъехали к бочке на выгоне и остановились. Мужики некоторые сняли шапки, смутившись, некоторые, смелее, и поняв, что два офицера не опасны, [продолжали] не снимали шапок, некоторые же пьяные, не снимая шапок, продолжали свои разговоры и песни. Два старые, длинные мужика, с сморщенными лицами и редкими бородами, вышли из толпы и оба, сняв шапки, с улыбкой, [распевая] качаясь и распевая какую-то нескладную песню, подошли к офицерам.

— Молодцы! — сказал, смеясь, Ростов.

— И одинакие какие,— сказал Ильин.

— Развесе-оо-ооо-лая бисе... бисе...— распевали мужики с счастливыми улыбками. Ростов подозвал мужика, который показался ему трезвее.

— Что, брат, есть овес и сено у господ ваших под [контрамарки] квитанции?

— Овса — страсть,— отвечал,— сена — бог весть.

— Ростов,— по-французски сказал Ильин,— смотри в барском доме прекрасного пола-то сколько. Смотри, смотри, это — моя, чур не отбивать,— прибавил он, заметив красневшую, но решительно подвигавшуюся к нему Дуняшу.

— Наша будет,— подмигнув, сказал Ильину Лаврушка.

— Что, моя красавица, нужно? — сказал он ей, улыбаясь.

— Княжна приказала узнать, какого полка и ваши фамилии.

— Это — граф Ростов, эскадронный командир, а я — ваш покорный слуга. Да какая хорошенькая,— сказал он, взяв ее за подбородок.

— Ай, Ду... ню-шка-ааа,— всё распевали оба мужика, еще счастливее улыбаясь, [глядя на Дуняшу, разговаривающую с офицером] глядя на Ильина, разговаривающего с девушкой. Вслед за Дуняшей подошел к Nicolas Алпатыч, еще издали [низко] сняв свою шляпу. Он уже узнал его фамилию.

— Осмелюсь обеспокоить, ваше сиятельство,— сказал он с почтительностью, но с [относительным] пренебрежением к юности этого офицера.— Моя госпожа, дочь генерала-аншефа князя Николая Андреевича Болконского, находясь в затруднении по случаю невежества этих лиц,— он указал на мужиков,— просит вас пожаловать... Не угодно ли будет,— с [кислой] грустной улыбкой сказал Алпатыч,— отъехать несколько, а то не так удобно при...— Алпатыч указал на двух мужиков, которые сзади [его] так и носились около самого его, улыбаясь и еще радостнее распевая и приговаривая:

— А, Алпатыч? А, Яков Алпатыч? Важно?

Nicolas посмотрел на пьяных стариков и улыбнулся.

— Или, может, это утешает ваше сиятельство,— сказал Яков Алпатыч с степенным видом, с заложенной рукой, указывая на стариков.

— Нет, тут утешенья мало,— сказал Ростов и отъехал.— Скажи, что сейчас буду,— сказал он Алпатычу и, приказав вахмистру Лаврушке разузнать о овсе и сене и отдав ему лошадь, пошел к дому.

— Так приволокнемся? — сказал он, подмигивая Ильину.

— Смотри, какая прелесть,— сказал Ильин, указывая на m-lle Bourienne, выглядывавшую из другого окна.— Этак и заночуешь. Только бы эта княжна прелестная дала бы котлеток, как вчера у городничего, а то подвело.

В таких веселых разговорах они вошли на крыльцо и в гостиную, где княжна в черном платье [встретила их], раскрасневшаяся и испуганная, встретила их.

Ильин, тотчас же решив, что в хозяйке дома мало интересного, поглядывал на щели дверей, из которых выглядывал, он наверное знал, глаз хорошенькой Дуняши. Nicolas, напротив, как только увидал княжну, ее глубокие, кроткие и грустные глаза и услыхал ее нежный голос, тотчас же весь переменился (хотя он и не вспомнил, что она была сестра князя Андрея), и в позе, в выражении лица его выразилась нежная почтительность и робкое участие. «Моя сестра, мать завтра могут быть в таком же положении»,— думал он, слушая ее робкий сначала, но простой рассказ. Она не говорила, что мужики ее не выпускают и не давали подвод, но говорила о том, что запоздала здесь по случаю смерти отца и теперь боится попасться неприятелю, тем более, что в народе даже стали заметны беспорядки.

Когда она заговорила о том, что всё это случилось на другой день после похорон отца, ее голос задрожал. И Nicolas слезы навернулись на глаза. Княжна Марья заметила это, и ей стало легче.

— Вот вам мое положение, [делайте, что можете и что найдете [нужным], справедливым. Quel bonheur que je suis arrivé jusqu'ici[7],— сказал Nicolas, невольно желая этим французским языком более сблизиться с княжной Марьей, и встал.— Итак, вы позволяете мне распорядиться всем и быть вашим chevalier[8] до Москвы?] и я надеюсь, что вы не откажетесь помочь мне.

Nicolas тотчас же встал и [низко], почтительно поклонившись [так], как кланяются дамам царской крови, объявил, что он сочтет себя счастливым, ежели будет в состоянии [помочь] оказать услугу, и сейчас отправляется, чтобы исполнить ее приказания.

Почтительностью своего тона Nicolas показывал как будто то, что, несмотря на то, что он за счастье бы счел свое знакомство с нею, он не хотел пользоваться случаем ее несчастия для сближения с нею. Княжна Марья поняла и оценила этот тон.

— Notre intendant voit tout en noir, n'écoutez pas trop, m-r le comte,— сказала ему княжна, тоже вставая [Je désire seulement que les paysans...[9]] Я только желала бы, чтобы мужики [которые веселятся теперь] эти разошлись и оставили меня ехать без проводов.

— Mademoiselle la princesse, vos désirs sont des ordres pour moi[10],— сказал Nicolas, [низко кланяясь, и вышел из комнаты] кланяясь, как маркиз двора Лудовика XIV, и вышел из комнаты.

— Я не знаю, как благодарить вас.

Выходя Nicolas думал [теперь] о двух мужичках, певших ему песни, и о других, не снявших шапок. Он покраснел, поджал губы и поторопился идти распорядиться [Он вышел вместе], отказываясь от чая и обеда, которые предлагали ему. В передней Алпатыч доложил Ростову всю сущность дела.

—Ну, брат, что же ты это ушел,— говорил Ильин,— а я девочку эту ущипнул-таки...— но, взглянув на лицо Nicolas, Ильин замолк. Он видел, что его герой и командир находился совсем в другом строе мыслей.

— Вот какие несчастные бывают существа,— проговорил он, нахму-

---

[7] Какое счастье, что я сюда заехал.

[8] рыцарем

[9] Наш управляющий видит всё в черном свете, не очень слушайте его, граф. Я только бы желала, чтобы мужики...

[10] Княжна, ваши желания для меня приказ.

рясь.— Эти мерзавцы... Он [подозвал вахмистра, а с ним вместе] подозвал Лаврушку, велел [привязать] отдать лошадей кучерам княжны, а с ним вместе направился к выгону.

Два веселых мужичка лежали один на другом [и все еще улыбались], один храпел внизу, а верхний всё еще добродушно улыбался и пел.

— Эй! Кто у вас староста тут? — крикнул Nicolas, быстрым шагом войдя и останавливаясь в толпе.

— Староста-то,— сказал мужик,— на что вам?

Но не успел он договорить, как шапка его слетела и голова мотнулась на бок от сильного удара.

— Шапки долой, изменники! — крикнул полнокровный голос Nicolas.

Все шапки соскочили с голов, и толпа сдвинулась плотнее.

— Где староста?

Дронушка неторопливой походкой, издали почтительно, но достойно сняв шапку, [шел по выгону] с своим строгим римским лицом и твердым взглядом подходил к Ростову.

— Я староста, ваше благородие,— сказал он.

— Ваша помещица требовала подвод [для отъезда]. Отчего вы не поставили? А?

Все глаза смотрели на Дронушку, и Nicolas не совсем спокойно говорил с ним. Так внушительна была представительность и спокойствие Дрона.

— Лошади под войсками все в разброде, извольте посмотреть по дворам.

— Гм. Да. Хорошо. А для чего вы все здесь, все на выгоне и для чего вы приказчику сказали, что не выпустите княжну?

— Кто говорил, не знаю. Разве можно так господам говорить? — сказал Дрон с усмешкой.

— А зачем сбор, водка? А?

— А так, старички в мирском деле собрались. [О мирском деле]

— [Хорош. Вахмистр, поди сюда. Поди, возьми всех лошадей в деревне и приведи сюда.— Слушаю, ваше сиятельство,— сказал вахмистр и шёпотом прибавил: — Не поймаешь один, ваше сиятельство.] Хорошо. Вы все слушайте меня.— Он обратился к мужикам.— [Ежели вы здесь?] Сейчас марш по домам и вот этому человеку,— он указал на Лаврушку,— с 5 дворов по подводе, чтоб сейчас были. Слышишь ты, староста?

— Как не слыхать.

— Ну, [ну] марш,— Nicolas обратился к ближайшему мужику,— марш, веди подводу.

Мужик рыжий смотрел на Дрона. Дрон мигнул мужику. Мужик не двигался.

— Ну? — крикнул Ростов.

— Как Дрон Захарыч прикажут.

— [Что ж, видно, другое начальство] Видно, новое начальство оказалось,— сказал Дрон.

— Что? — закричал Nicolas [и бросился] [и, грозя кулаками, подошел] [ближе подходя], подходя к Дрону.

— Э, пустое-то говорить,— вдруг махнув рукой, сказал Дрон, отворачиваясь от Ростова.— Будет болтать-то. На чем старики порешили, тому и быть.

— Тому и быть — заревела толпа, шевелясь,— много вас начальства тут. Сказано — не вывозиться.

[— Ты постой,— Nicolas дернул за руку Дрона] [— Стой! — закричал Nicolas Дрону, дернув его]

Дрон было, повернувшись, пошел прочь.

— Стой! — закричал Nicolas Дрону, поворачивая его к себе. Дрон нахмурился и прямо угрожающе двинулся на Nicolas. Толпа заревела громче. Ильин, бледный, подбежал к Nicolas, [доставая] хватаясь за саблю.

[Вахмистр бросился к лошадям] [Лаврушка бросился прочь] Лаврушка бросился к лошадям, за поводья которых хватали мужики. Дрон был головой выше Nicolas, он, казалось бы, должен смять его. Презрительным ли, решительным ли или угрожающим жестом сжав кулаком, отмахнул назад правой рукой. Но в тот же момент Nicolas ударил его в лицо один, другой, третий раз, сбил его с ног и, не останавливаясь ни мгновения, бросился к рыжему мужику. [Ростов] [— Вахмистр, вяжи зачинщиков. Вахмистр опять]

— Лаврушка! Вяжи зачинщиков.

Лаврушка, оставив лошадей, схватил Дрона сзади за локти и, сняв с него кушак, стал вязать его [Чем].

— Что же, мы никакой обиды не делали. Мы только, значит, по глупости,— послышались голоса.

— Марш за подводами. [Ну, несколько] По домам.

Толпа тронулась и стала расходиться. [Дрон был заперт в амбар.] Один мужик побежал рысью, другие последовали его примеру. Только два пьяные лежали друг на друге и Дрон с связанными руками, с тем же строгим, невозмутимым лицом остались на выгоне.

— Ваше сиятельство, прикажите! — говорил Лаврушка Ростову, указывая на Дрона.— Только прикажите, только этого, да рыжего уж так взбузую, по-гусарски, только за Федченкой съездить.

Но Nicolas не отвечал на желания Лаврушки, [послал его за гусарами] [распорядился] велел ему помогать укладываться в доме, [а сам с Ильиным] сам пошел на деревню с Алпатычем выгонять подводы, а Ильина послал за гусарами. Через час Ильин привел взвод гусар, подводы [укладывали] стояли на дворе, и мужики особенно заботливо укладывали господские вещи, старательно затыкая сенцом в углах и под веревками, чтобы не потерялись.

— Ты ее так дурно не клади,— говорил тот самый [рыжий мужик, принимая] рыжий мужик, который грознее всех кричал на сходке, принимая из рук горничной шкатулку.— Она ведь тоже денег стоит. Что ж ты ее так-то вот бросишь, а она потеряется. Я так не люблю. А чтоб всё честно, по закону было, вот так-то, под рогожку-то и важно. Любо! Ишь, книг-то, книг-то,— приговаривал добродушно другой, выносивший [шкапы] библиотечные шкапы князя Андрея.— Ты не цепляй. А грузно, ребята. Книги здоровые.

— Да, писали, не гуляли,— говорил третий, указывая на толстые лексиконы, лежавшие сверху. Дрон, сначала запертый в амбар, но выпущенный по желанию княжны Марьи, вместе с Алпатычем внимательно распоряжался нагрузкой подвод и отправкой их.

Nicolas Ростов, доложив о положении княжны Марьи своему ближайшему начальнику, получил разрешение конвоировать ее эскадроном до Вязьмы и там же, направив ее на путь, занятый нашими войсками, простился с нею почтительно, в первый раз позволив себе поцеловать ее руку[11].

〈VII〉

Приняв командование над армиями, Кутузов вспомнил о князе Андрее и послал ему приказание прибыть в Главную квартиру. Князь Андрей приехал в Царево-Займище в тот самый день и в то самое время дня, как Кутузов делал первый смотр войскам. Князь Андрей остановился в деревне у дома священника, у которого стоял экипаж главнокомандующего, и сел на лавочке у ворот, ожидая Светлейшего, как все называли теперь Кутузова. Вдали слышны были то звуки полковой музыки, то рев огромного количества голосов солдат, вероятно, кричавших «ура!» Кутузову. Тут же у ворот, пользуясь отсутствием князя и пре-

[11] На полях: *Романическое рыцарское спасительство со стороны и желает видеть ее милой.*

красною погодой, стояли два денщика, казак, курьер и дворецкий. Черноватый, обросший усами и бакенбардами, маленький гусарский подполковник подъехал к воротам и спросил: здесь ли стоит Светлейший и скоро ли он будет? Это был Васька Денисов. Он незнаком был с князем Андреем, но подошел к нему и, тотчас же назвав себя, разговорился. Князь Андрей знал Денисова по рассказам Наташи о ее первом женихе [и это воспоминание вдруг перенесло совсем в другой мир. Но последнее время] и это воспоминание и сладко и больно вдруг перенесло его к [целому] тем злым и больным мыслям, о которых он последнее время давно уже не думал. В последнее время столько [было ⟨соб?⟩] других и таких сериозных впечатлений, как оставление Смоленска, его приезд в Лысые Горы, недавнее известие о смерти отца,— было испытано им, что эти воспоминания уже давно не приходили ему и, когда пришли, далеко не подействовали на него с прежней силой.

— Тоже дожидаетесь главнокомандующего? — заговорил Денисов.— Говорят, он доступен. Славу богу. А то с колбасниками беда. Недаром Ермолов в немцы п'осился. Тепе'ь, авось, и русским гово'ить можно будет. А то че'т знает, что делали. Вы ведь видели все отступления.

— [Имел это неудовольствие] Имел удовольствие,— отвечал князь Андрей,— не только участвовать в отступлении, но и потерять [в своем] в этом отступлении всё, что [я имел и отца] имел дорогого, отца, который умер с горя... Я смоленский.

— А!.. Вы князь Болконский. Очень рад познакомиться,— сказал Денисов, [еще раз] пожимая его руку и с особенно добрым вниманием вглядываясь в лицо Болконского.— Да, я слышал, вот и скифская война. Это всё хорошо, но не для тех, кто своими боками отдуваются... А вы — князь Болконский.— Он покачал головой.— Очень рад! Князь, очень рад познакомиться,— прибавил он опять с грустной улыбкой, пожимая ему руку.

Но и для Денисова тот ряд воспоминаний, которые вызвало имя Болконского, было далекое, прошедшее, и он тотчас же перешел к тому, что страстно и как всегда исключительно занимало его в эту минуту. Это был план кампании, который он придумал, служа во время отступления на аванпостах, который представлял Барклаю де Толли и который он теперь намерен представить Кутузову. План [состоял] основывался на том, что операционная линия французов слишком растянута и что вместо того, или вместе с тем, чтобы действовать с фронта, загораживая дорогу французам, нужно было действовать на их сообщения.

— Они не могут удержать всей этой линии. Это невозможно, я отвечаю, что 'азо'ву их. Дайте мне 500 человек, я 'азо'ву их. Это ве'но. Одна система — партизанская — помните. Денисов приступил ближе к Болконскому и хотел доказывать ему, но в это время крики армии, более нескладные, более распространенные и сливающиеся с музыкой и песнями, послышались на месте смотра.

— Кончился смотр,— сказал казак.— Вон сам едет.

Действительно, Кутузов, сопутствуемый толпой офицеров, с криками «ура», бежавшими за ним, подъезжал к воротам. Впереди его проскакали адъютанты и слезли с лошадей, ожидая. Князь Андрей с Денисовым вошли тоже в ворота, с тем чтобы встретить Кутузова [при его] в то время, как он слезет с лошади. Кутузов остановился у ворот, раскланиваясь с генералами, провожавшими его.

Кутузов, с тех пор как не видал его князь Андрей, еще потолстел, обрюзг и оплыл жиром. Знакомые ему белый глаз и рана первые бросились ему в глаза. Он был одет в мундирный сюртук с плетью на ремне через плечо, в белой кавалерийской фуражке, грузно и тяжело расплываясь и раскачиваясь на белой лошади, бойко несшей его.

— Фю, фю, фю...— засвистал он чуть слышно, подъезжая к дому и выражая на своем лице радость успокоения человека, намеревающегося

отдохнуть в простоте после представительства. Он вынул ноги из стремен и с трудом занес правую. 4 человека сзади его. Он оправился, оглядываясь своими сощуренными глазами и, видимо не узнав князя Андрея, зашагал своею ныряющею походкой к крыльцу.

— Фю, фю, фю,— опять по-домашнему засвистал он, но оглянулся и, узнав князя Андрея, подозвал его к себе.

— А, здравствуй, князь, здравствуй, голубчик, пойдем, устал.

Он вошел на крыльцо, расстегнул сюртук и сел на лавочку[1].

— Ну, что отец?

— Вчера получил известие о его кончине,— сказал князь Андрей.— Он не перенес всего этого. [Ах, боже мой, боже мой.]

Кутузов испуганно посмотрел, потом снял фуражку и перекрестился:

— Царство небесное! [Ах, боже мой, боже мой.] Грустно.— Он тяжело, всей грудью вздохнул и помолчал.— Очень жаль. Я его любил и уважал и сочувствую тебе всей душой.— Он обнял князя Андрея и прижал его к себе. Когда он отпустил его, князь Андрей на глазах его заметил слезы.

— Пойдем, пойдем ко мне, поговорим,— прибавил Кутузов, но в это время Денисов, так же мало робевший перед начальством, как и перед неприятелем, несмотря на то, что у крыльца адъютанты сердитым шёпотом останавливали его, смело [подошел], стуча шпорами по ступенькам крыльца, подошел к Кутузову и, назвав себя, объявил, что он имеет сообщить его светлости дело большой важности для блага отечества. Кутузов равнодушно усталым взглядом прямо посмотрел на Денисова и досадливым жестом, махнув рукой, повторил:

— «Для блага отечества?» Ну что такое? [скажи.] Говори.

Денисов покраснел, как девушка (так странно и мило было видеть краску на этом усатом, старом лице), и смело начал излагать свой план разрезания операционной линии неприятеля между Смоленском и Вязьмой. Денисов ходил $1^1/_2$ месяца в тех местах с летучим отрядом и знал местность, и план его казался несомненно хорошим, в особенности по тону убеждения, который был в его словах. Кутузов смотрел себе на ноги и изредка оглядывался на двор к соседней избе, как будто он ждал чего-то оттуда. Из избы, на которую он смотрел, действительно скоро показался офицер с портфелем под мышкой, направляясь к крыльцу.

— Что, уже готово? — крикнул он офицеру [с досадой] с видом досады. И, покачав головой, как бы говоря: «Как это всё успеть одному человеку?»

Денисов всё [еще] говорил, давая честное благородное слово русского офицера, что он разо'вет сообщения Наполеона.

— Тебе Кирилл Андреич Денисов, обер-интендант,— как приходится? — перебил его Кутузов.

— Дядя родной, ваша светлость.

— О! Приятели были! Хорошо, хорошо, голубчик, оставайся тут при штабе, завтра я поговорю,— и он протянул руку к бумагам, которые принес ему дежурный генерал.

— Не угодно ли вашей светлости пожаловать в комнаты,— сказал дежурный генерал,— необходимо подписать, план рассмотреть...

— Все готово, ваша светлость,— сказал адъютант. Но Кутузову, видимо, хотелось войти в комнаты уже свободным.

— Нет, вели подать, голубчик, сюда столик, я тут посмотрю,— сказал он.— Ты не уходи,— прибавил он к князю Андрею. Довольно долго князь Андрей молча наблюдал этого давно знакомого ему старика, на которого теперь были возложены все надежды России, присутствовал при подписании бумаг, при докладе дежурного генерала. Одним из важнейших

---

[1] На полях: *Кутузов доволен и говорит о Каменском. Пустить надо время и терпенье, и о том, что он не даст никому мешаться.*

предметов этого доклада был вопрос о избрании позиции для сражения и критика позиции, избранной до Кутузова Барклаем при Царево-Займище.

Во время доклада за входной дверью князь Андрей слышал [шептание] женское шептанье и хрустение женского шелкового платья. Несколько раз, взглянув по тому направлению, он [заметил] увидел за дверью разряженную в розовом грезетовом платье и лиловом шелковом платке полную, румяную и красивую женщину с блюдом. Адъютант Кутузова шёпотом объяснил князю Андрею, что это была хозяйка дома, попадья, которая намеревалась подать хлеб-соль его светлости. Муж ее встретил его с крестом в церкви, а она дома...— Très belle[2],— прибавил адъютант. Кутузов слушал доклад дежурного генерала и критику позиции при Царево-Займище так же, как он слушал Денисова. Он слушал только оттого, что у него были уши, которые не могли не слышать; но очевидно было, что ничто из того, что могли сказать ему, не могло не только удивить или заинтересовать его, но что он знал всё, что ему скажут, и слушает всё это только потому, что надо прослушать, как надо прослушать поющийся молебен. Всё, что говорил Денисов, было дельно и умно. То, что говорил дежурный генерал, было еще дельнее и умнее, но очевидно было, что Кутузов презирал и знание и ум и знал что-то другое, что [было] должно было решить дело, что-то другое, независимое от ума и знания. Князь Андрей внимательно следил за выражением его лица, и единственное выражение, которое он мог заметить в нем, было выражение скуки, необходимость соблюсти приличие и любопытства к тому, что такое означал женский шёпот за дверью и мелькание и шуршание розового платья. Очевидно было, что Кутузов презирал ум, и знание, и даже патриотическое чувство, которое выказывал Денисов, но он презирал всё это ни умом, ни чувством, ни знанием, потому что он и не старался выказывать их [своей старостью, своей опытностью, жизни], а он презирал их желанием успокоиться, пошутить с попадьею, заснуть, презирал своей старостью, своею опытностью жизни и знанием того, что, что́ должно совершиться, то совершится.

— Ну теперь всё? — сказал Кутузов, подписывая последнюю бумагу, и, тяжело поднявшись и расправляя складки своей пухлой белой шеи, направился к дверям.

Попадья, с бросившеюся кровью в лицо, [выступила] схватилась за блюдо, которое, несмотря на то, что она так долго приготавливалась, она все-таки не успела подать вовремя, и с низким поклоном поднесла Кутузову. Глаза Кутузова прищурились; он улыбнулся, [поднял] рукой взял ее за подбородок и сказал:

— И красавица какая! Спасибо, голубушка!

Он достал из кармана шаровар несколько золотых и положил ей на блюдо. Попадья, провожая дорогого гостя, улыбаясь ямочками на румяном лице, прошла за ним в горницу. Князь Андрей остался, дожидаясь, на крыльце. Через полчаса его позвали опять к Кутузову. Кутузов лежал на [двух стульях] кресле в том же расстегнутом сюртуке, но в чистом белье. [Подле него на столике лежала раскрытая книга.] Он держал в руке французскую книгу и при входе князя Андрея, заложив ее ножом, свернул. Это был роман m-me de Genlis, как увидал князь Андрей на обертке.

— Ну, садись, садись тут, поговорим,— сказал он.— Грустно, очень грустно. Но помни, дружок, что я тебе отец, другой отец... Я тебя вызвал, чтоб оставить при себе...

— Благодарю вашу светлость,— отвечал князь Андрей,— но я боюсь, что не гожусь больше для штабов,— сказал он с улыбкой, которую Кутузов заметил и при которой вопросительно посмотрел на князя Анд-

---

[2] Очень хороша.

рея.— А главное,— прибавил князь Андрей,— я привык к полку, полюбил и офицеров, и людей. Ежели я отказываюсь от чести быть при вас, то поверьте...

Умное, доброе и тонкое выражение светилось в лице Кутузова. Он перебил Болконского.

— Мне жаль тебя, а ты прав, ты прав. Нам не сюда люди нужны. Советчиков всегда много, а людей нет. Не такие бы полки были, если бы все советчики служили там. Я тебя с Аустерлица помню... Помню, помню [знамя] с знаменем. Кутузов притянул его за руку и поцеловал, и опять на глазах его князь Андрей заметил слезы. Хотя и знал князь Андрей, что Кутузов слаб на слезы и что он теперь особенно ласкает его, жалея о его потере, князю Андрею было радостно и лестно это воспоминание об Аустерлице.

— Иди с богом своей дорогой. Ну, про Турцию, про Букарешт расскажи...— вдруг переменил он разговор. Поговорив о Валахии, расспросив о 〈Калафате?〉, которые особенно интересовали его, Кутузов опять возвратился к советчикам, как он называл штабных, и которые, видимо, занимали его.

— Там советчиков не меньше было. Если бы я слушал, мы бы еще теперь воевали в Турции. Всё поскорее хотят. А скорое на долгое не выходит. Если бы Каменский не умер, он бы пропал. Он с 30 тысячами штурмовал крепости. Взять крепость нетрудно, трудно кампанию выиграть. А для этого не нужно [солдат] штурмовать и атаковать, а нужно терпение и время. Каменский на Рущук солдат послал, а я [бы] их одних (терпение и время) посылал и взял больше, и лошадиное мясо турки ели. И французы тоже будут.

— Однако дóлжно ж будет принять сражение,— сказал князь Андрей.

— Дóлжно будет, если все этого захотят, а тогда... Нет сильнее тех двух воинов — терпение и время, те всё сделают, да советчики n'entendent pas de cette oreille, voilà le mal[3].

— Ну, прощай, дружок; помни, что я всей душой несу с тобой твою потерю и что я тебе не Светлейший князь и не главнокомандующий, а отец. Прощай.

Как и отчего это случилось, князь Андрей не мог бы никак объяснить; но после этого свидания с Кутузовым он вернулся к своему полку успокоенный насчет общего хода дела и насчет того, кому оно вверено было. Чем более он видел отсутствие всего человеческого в этом старике, в котором оставались одни привычки страстей, тем более он был спокоен, что этот-то и нужен. У него не будет ничего своего, и он не испортит общих дел. [Ежели бы он смело сознавал то] Он всё запомнит, выслушает, разочтет, будет бояться осрамиться и потерять командование, которое забавляет его, и сделает нечаянно всё, что нужно для общего дела. Он та тяжелая лошадь, избитая, старая, которая не побежит на колесе, не соскочит, не будет дергать и ломать, а пойдет ровно настолько, насколько падает колесо, что и нужно. На этом же чувстве, которое более или менее смутно испытывали все, и основано было то единомыслие и общее одобрение, которое сопутствовало избранию Кутузова в главнокомандующие[4].

Князь Андрей был очень мрачен и грустен в этот день. Накануне только он получил известие о смерти отца [и принял его как]. Последний раз, как он видел отца, он поссорился с ним. Он умер скоропостижно и мучительно. Сестра и его сын с гувернером, чувствительным идеаль-

---

[3] этим ухом не слышат, вот что плохо

[4] На полях: *Б. сам себя оправдает всегда.*

Князь Андрей узнал о смерти отца, холодно распорядился о сестре и продолжает служить в линии — он всё рисуется. Наташа спасается в дружбе.

К тексту: *Приняв командование* (с. 665) ∾ *в главнокомандующие.*— см. Варианты, № 39.

ным другом ребенка, но никуда не годным для помощи в России, оставались одни без покровительства. Как надо было поступить князю Андрею? Первое чувство сказало ему, что надо всё бросить и скакать к ним, но потом ему живо представился общий характер мрачного величия, в котором он находился, и он решил, подчиняясь этому характеру, остаться. [Врач зашел] Отечество в опасности, все надежды личного счастия уничтожены, жизнь никуда не нужна, один человек, понимавший его,— отец, умер в несчастии. Еще что есть близкого в опасности? Что остается ему делать? Малодушно бежать из армии искать помочь своим близким, но самому выйти из опасности и долга или в темных рядах войска искать смерти, исполняя долг и защищая отечество? Да, последнее надо было выбрать. Le devoir et la mort[5]. [Он послал дядьку в Лысые Горы и Богучарово, написал длинные наставления княжне Марье и швейцарцу, всё практично обдумал и велел немедленно ехать в Москву. Сам же он] Побывавши у Кутузова, он с еще большим мрачным настроением погрузился в темные ряды армии после приглашения Кутузова и своего отказа[6].

‹VIII›

[24 августа камергер императора французов m. le comte de Beaumont приехал из Парижа в штаб-квартиру императора Наполеона в[1] у Бородина. Переодевшись в камергерский мундир, отшучиваясь от адъютантов императора, окруживших и спрашивающих о новостях Парижа, M. de Beaumont с большим ящиком под мышкой вошел в дом помещика Можайского уезда И. Г. Дурова, в котором стоял император Наполеон.] 24 августа камергер императора французов de Beausset и полковник Fabvier приехали первый из Парижа, второй из Мадрида в штаб-квартиру императора Наполеона в его стоянку у Бородина. Переодевшись в камергерский мундир m. de Beausset приказал нести впереди себя привезенный им императору ящик с портретом, вошел в приемную дома, занимаемого императором. Это был дом помещика Можайского уезда И. Г. Дурова[2]. Император Наполеон ночевал в бывшем кабинете Дурова, в котором на окнах стояли еще тарелки с исполинской рожью, вазой и висел портрет отца Дурова в золотой рамке.

[Император Наполеон оканчивал свой туалет, когда в соседнюю залу вошел m-r Beaumont. Наполеон был голый] В приемной, бывшей зале, уже толпился военный двор. Приезжий m. de Beausset, отшучиваясь, отвечал на вопросы о парижских дамах. Le colonel Fabvier рассказывал о испанских делах и расспрашивал о ходе московского похода. Некоторые, смеясь, рассказывали о странностях Московии, один генерал шёпотом у окна [рассказывал] сообщил Fabvier, что поход слишком длинный, что линия слишком растянута, что le nombre de trainards à vue d'oeuil[3], что в армии беспорядки, обозы огромны и что 3-го дня у Гжатска — la ville[4] Jass многие маршалы представляли Наполеону необходимость остановиться и зимовать в Смоленске, но что судьба видно решила иначе. Император сказал — как бы загадывая — ежели завтра дурная погода — я слушаю вашего совета и остаюсь в Смоленске, ежели хорошая погода, то вперед — погода была отличная, et nous voilà aux

---

[5] Долг и смерть.

[6] На полях: *Характеристика Кутузова. Дрон. Nicolas. Ужасы войны. Hélène. Бессмысленно.* [*Мальчик.*] *Доктор, перевязочный пункт у Шевардина.*

[1] Пропуск в автографе (прим. составителя).

[2] На полях: *4 сентября* [*14*] *13-го он хотел зимовать в Смоленске, но уговаривал маршалов.*

Он сжег две повозки штабных. В Витебске снял дом.

[3] число отставших на глаз

[4] город

portes de Moscou[5]. Бог знает, бог знает, что из этого будет, говорили ⟨*1 нрзб*⟩ генералы, видевшие в дурном свете, но в это время к Fabvier подошел другой его знакомый и как веселую шутку рассказал вчерашнее происшествие с повозками начальника авангарда. Император несколько раз приказывал, чтобы не было лишних экипажей и вчера ⟨*1 нрзб*⟩ на прекрасный экипаж, весь наложенный вещами генерала Jouber'a. Mais un charmant petit carosse polonais que le général [s'était] à Vilna. Et figurez-vous, mon cher, que l'Empereur fait brûler devoit le carosse avec toute la pacotille... Mai il fallait voir la figure du pauvre général... Mais mon cher, c'était comique[6].

. . . . . .

В это время император Наполеон, оканчивая свой туалет, был голый, в башмаках и коротких чулках, обтягивающих его толстые икры, и без рубашки с выпущенным толстым животом, над которым висели как женские груди, [между которыми] обросшие волосами. Камердинер брызгал одеколоном на жирное [маленькое] выхоленное тело, другой растирал щеткой спину его величества. Волоса недлинные были мокры и спутаны на лоб. Наполеон фыркал и приговаривал: «allez ferme»[7].

— Faites dire à m-r de Beausset, ainsi que Fabvier de m'attendre[8].

Два камердинера быстро одели его величество, и он вышел веселый, оживленный, твердыми быстрыми шагами[9]. [M-r de Beaumont с испуганным лицом торопился руками и зубами разрывать] M-r de Beausset торопился с помощью других господ руками разрывать свою посылку. Это был портрет сына императора, le roi de Rome[10] (слово, которое так любят повторять о сыне Наполеона и которое так присвоилось ему, вероятно, именно оттого, что оно не имеет никакого смысла), сделанный [Legrand] Gérar'ом. Надо было приготовить его на стульях (на тех стульях, на которых в лошадки играли дети Дурова) прямо перед выходом императора.

Но император так неожиданно скоро оделся, что придворные боялись, что не успеют этого сделать. Наполеон был в самом хорошем духе. Он, выйдя, заметил, что они делали, но не хотел их лишить удовольствия сделать ему сюрприз. Он сделал, как будто не видал, и [обратился к m-r de Beaumont, который низко кланялся] обратился к Fabvier, подозвал его к себе, стал расспрашивать о подробностях сражения при Саламанке. Наполеон слушал, молча хмурясь, то, что говорил ему Fabvier о храбрости и преданности его войск, дравшихся на другом конце Европы, и имевших только одну мысль — быть достойными своего императора, и один страх — не угодить ему. Результат сражения был печальный. «Это не могло быть иначе без меня»,— думал он.— Всё равно. Из Москвы мы поправим это.— A tantôt[11],— сказал он Fabvier и подозвал Beausset. M-r de Beausset низко поклонился тем французским придворным поклоном, которым умели кланяться только старые слуги Бурбонов, подошел, подавая конверт. Наполеон был в хорошем духе, потому что русские, очевидно, принимали сражение, и он был весел, как человек, который долго ждет случая поставить карту, и не спрашивая, выиграет ли карта или нет, уже рад, что думает, что выиграл, что пришло время поставить карту. Кроме того, самое поле сраженья было на берегу реки Moscou.

---

[5] и вот мы у ворот Москвы

[6] Прелестную маленькую польскую карету, которую генерал отправлял в Вильно. И представьте себе, мой милый, император приказал поджечь карету со всем хламом... Надо было видеть лицо бедного генерала... Ну, милый мой, это было комично.

[7] «ну еще»

[8] Скажите г-ну Боссэ, а также Фабвье, чтобы меня подождали.

[9] На полях: *Dédié à ma mère.* ⟨Посвящается моей матери.⟩ *Pierre читает и думает: я с ума сошел. А, видно, можно еще на это смотреть с личной точки зрения.*

[10] римского короля

[11] До скорого свидания

Moskowa aux innombrables églises[12], в которой Наполеон знал, что он будет [так, как знают, что будет дурная погода завтра]. Он это знал.

Наполеон весело обратился к [Beaumont] Beausset, подрал его за ухо.

— А вы поспешили. Очень рад. Ну, что говорит Париж? [(Это милость)] [Очень]

— Paris regrette votre absense[13],— как и должно ответил Beausset. Но это было давно известно Наполеону, об этом не стоило говорить.

— Очень жалею, что так далеко заставил вас проехать.

— Я и ожидал не менее как найти вас, sire, aux portes de Moscou[14],— сказал Beausset.

Наполеон улыбнулся и протянул руку. Один из важнейших адъютантов подскочил с золотой табакеркой и подставил ее. Наполеон взял призу[15] и понюхал.

— Да, хорошо случилось для вас,— шутя сказал Наполеон,— вы любите путешествовать, вы увидите Москву через три дня...

Beausset наклонился с благодарностью за эту к нему внимательность.

А! Это что? — сказал Наполеон, заметив, что все придворные смотрели на ⟨яркий?⟩ портрет roi de Rome, напоминавший мальчика Мурильо в соединении с Христом Рафаэля и в маленьком соединении с лицом того мальчика, с которого он был списан. Наполеону хотелось еще поговорить с Beausset и похвастаться ему своим походом и завоеванием Moscou ville asiatique aux innombrables églises. Но нельзя было, все ждали действия сюрприза. Наполеон должен был обратиться к портрету, и с свойственной итальянцам способностью изменять произвольно выражение он подошел к портрету и сделал вид задумчивости и нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, есть история. Он почувствовал, что лучшее, что он может сделать теперь, это он с своим величием, grand Empereur, grande armée. Piramides. Moscou et ses steppes[16],— лучшее, что он может сделать, это выказать, в противуположность величию, самую простую отеческую нежность. Глаза его отуманились, [он подвинул стул и сел] он подвинулся, оглянулся на стул, стул подскочил под него и он сел на него [верхом] против портрета. Один жест его, и всё на цыпочках вышло, предоставляя самому себе и его чувству великого человека. Посидев несколько времени и дотронувшись, сам не зная для чего, рукой по шероховатости блика, он встал, позвонил и вышел завтракать. За завтраком, как всегда, принимал и отдавал приказания[17].

[Войска его еще не все пришли на Бородинское поле, делать ему было нечего. Он поехал верхом и выехал]. После завтрака он поехал верхом и пригласил к своей прогулке Fabvier и Beausset, любившего путешествовать.

— Votre Majesté a trop de bonte[18],— сказал Beausset, которому хотелось спать и который не умел и боялся ездить верхом. Наполеон выехал на Бородинское поле [но он выехал, надо же было приказать что-нибудь. Все ждали].

Русские войска видны были за рекой и в редуте у деревни Шевардино. Никаких не нужно было Наполеону делать распоряжений. Русские войска без всякой хитрости расположились на открытом поле, работая над укреплениями и ожидая сражения. Нынче было уже поздно, чтобы начинать сражение. Кроме того, войска еще не все собрались, и прика-

---

[12] Москвы. Москва с бесчисленными церквами

[13] Париж сожалеет о вашем отсутствии.

[14] государь, у ворот Москвы

[15] От французского priser — нюхать табак (прим. составителя).

[16] великий император, великая армия, Пирамиды. Москва и ее степи

[17] На полях: *Палатка с тремя подразделениями. M-r de Beausset. Gérard. Colonel Fabvier, bataille de Salamanque* ⟨Г-н Боссе. Жерар. Полковник Фабвье — битва при Саламанке.⟩

[18] Ваше величество, вы слишком добры.

зание о их приближении уже было давно отдано. Предпринимать и приказывать было нечего. Вопрос о том, как атаковать русских [еще не был и не] с фронта, с фланга или обходом, еще не был и не мог быть решен в уме Наполеона, так как не было еще верных сведений о позиции русских и их силах, и потому приказывать и начинать в этот вечер было нечего, но все ждали приказаний. Многие предлагали свои мнения, на которые вызывал их Наполеон. Погода была прекрасная и расположение духа Наполеона хорошее. Он посмотрел на Шевардинский редут и [спросил] сказал:

— [Elle ne sera] Cette redoute ne sera pas difficile à enlever[19].

— Vous n'avez qu'à ordonner, sire[20],— сказал маршал Даву, и Наполеон, оглянувшись на m-r de Beausset и, прочтя восторг к себе в его взгляде, приказал тотчас же атаковать редут и слез с лошади, чтобы спокойнее любоваться зрелищем.

‹IX›

Шевардинский редут был атакован 24 вечером, и убито и ранено около 10 тысяч человек с обеих сторон. Когда стало смеркаться, паж подал лошадь Наполеону, другой подержал стремя, и он шагом поехал ужинать в дом Дурова.

24-го было сражение при шевардинском редуте, 25 не было пущено ни одного выстрела ни с той, ни с другой стороны, 26 произошло Бородинское сражение, которое историки называют великим событием — La grande bataille de la Moscowa[1], годовщину которого празднуют теперь и в благодарность [богу] за которое тогда служили молебны как в русской, так и во французской армии, благодаря бога за то, что много убили людей,— и про которое Кутузов писал государю, что он его выиграл, а Наполеон объявлял по своей армии и своему народу, что он его выиграл, сражение, про которое до сих пор происходят споры о том, чьи распоряжения были лучше и *гениальнее* (это слово особенно любят). Для нас же, потомков событий, это представляется столь же печальным событием, как единичное убийство, только настолько интереснее, насколько 80 тысяч убийств, совершенных в один день и в одном месте, интереснее одного, и таким событием, за которое мы не видим предлога ни благодарить, ни укорять бога, как за всякое неизбежное событие,— за весну, лето и зиму. Событие это представляется нам неизбежным явлением, которое не могли произвести воли частных людей Кутузова и Наполеона и в котором их воли участвовали так же мало, как и воля каждого солдата, событием, которого эти военачальники не только [не предвидели] не произвели, но не предвидели, не руководили и не понимали. Их действия — этих гениев — были, как и всегда бывает в войне, так же бессмысленны, как действие того солдата, который в упор стрелял в другого неизвестного и чуждого ему человека.

Мы бы не останавливались на анализе действий полководцев [гениальных], ежели бы не существовало то, в кровь и плоть перешедшее убеждение о гениальности [и необходимости] полководцев.— Действия Наполеона и Кутузова в Бородинском сражении были непроизвольны и бессмысленны[2]. Для чего, во-первых, было дано Бородинское сражение? Ни для французов, ни для русских оно не имело смысла. Результатом ближайшим этого убийства было [то, что] и должно было быть для русских то, что они приблизились к погибели Москвы, которого они

---

[19] Этот редут нетрудно будет взять.

[20] Вам стоит только приказать, государь.

[1] Великая битва под Москвой

[2] К тексту: *24-го было сражение ∾ непроизвольны и бессмысленны.*— см. Варианты, № 40.

боялись больше всего в мире, а французы — к погибели всей армии, которого они тоже боялись больше всего в мире. [А ежели бы они] Ежели бы полководцы руководились разумными причинами, то, казалось, как ясно бы должно было быть для Наполеона, что, зайдя за 2000 верст и теряя $^1/_4$, он [шел], принимая сражение, шел на верную погибель. [И как] И насколько ясно бы должно было казаться [русским] Кутузову, что, принимая сражение, они наверное теряют Москву. Это было математически ясно, как ясно то, что ежели в шашках у меня меньше шашки и я буду меняться, я наверное проиграю, и потому не должен меняться. Когда у противника 16 шашек, а у меня 14, то я только на $^1/_8$ слабее его, а когда я поменяюсь 13 шашками, то он будет втрое сильнее меня. Это казалось [ясным] бы ясно, но [тогда никто этого не видел, и с нами случилось то самое] ни Наполеон, ни Кутузов этого не видели, и было сражение. До Бородинского сражения [мы были слабы] наши силы относились к французским как 5 к 6, а после сражения как 1 к 2, т. е. до сражения 103 тысячи к 130, а после — 50 к 100. И Москва была отдана [и историки под свершившиеся факты подводят хитросплетенные доказательства великодушия и гениальности людей, которые были ⟨самым⟩ из непроизвольных орудий мировых событий, самыми рабскими и непроизвольными деятелями]. Наполеон же еще менее показал гениальности, теряя $^1/_4$ армии и еще более [отдаляясь] растягивая свою линию. [Занятие] Если скажут, что, заняв Москву, он думал, как занятием Вены, кончить кампанию, то против этого есть много доказательств. Сами историки Наполеона рассказывают, что еще от Гжатска он хотел последовать совету возвратиться и знал опасность своего растянутого положения; знал, кроме того, то, что занятие Москвы не будет конец кампании, он от Смоленска видал, в каком положении оставляли ему русские города, и сам в Смоленске говорил Тучкову, что ежели занятие Москвы и не решит судьбы кампании, то оно будет непоправимо тяжело для русских, что занятие неприятелем столицы, сказал он с своей тривиальностью мысли, подобно девке, раз потерявшей свою невинность и которую возвратить уже невозможно.

Давая и принимая Бородинское сражение, Кутузов и Наполеон поступили непроизвольно и бессмысленно. А историки под совершившиеся факты уже потом подвели хитросплетенные доказательства предвидения и гениальности полководцев, которые из всех непроизвольных орудий мировых событий были самыми рабскими и непроизвольными деятелями. [Кутузов, прибыв к ропщущей за отступление армии, не мог не дать сражения, вместе не мог не видеть, что с той непропорциональностью сил он не мог не проиграть его. Проиграв его, он не мог не желать дать другое сражение, под Москвою и не мог не увидать, что это сражение погубит армию и не мог не отступить и не покинуть Москву.]

Древние оставили нам образцы героических поэм, в которых боги управляли поступками героев, решали их судьбу, плакали о них, вступались за них, и долго мы продолжали эту форму поэзии, хотя уже давно никто не верил в героев. Древние оставили нам тоже образцы героической истории, где Ромулы, Киры, Кесари, Сцеволы, Марии и т. д. [изображают нам ⟨деятелей?⟩] составляют весь интерес истории, и мы всё еще не можем привыкнуть к тому, что для нашего человеческого времени история такого рода не имеет смысла.

⟨X⟩

После отъезда государя из Москвы, когда прошла эта первая минута восторга, московская жизнь потекла прежним, обычным порядком, и течение этой жизни было так обычно, что трудно было вспомнить о этих бывших днях увлечения, и трудно было верить, что действительно Россия в опасности и что члены аглицкого клуба суть вместе с тем и сыны

отечества, готовые для него на всякую жертву. Одно, что напоминало о бывшем во время пребывания государя в Москве общем восторженно патриотическом настроении, было требование пожертвований людьми и деньгами, которые, как скоро они были сделаны, облеклись в законную, официальную форму. Старики, покрёхтывая, делали распоряжения о выдаче ратников и рекрутов и о исправлении брешей, которые эти пожертвования делали в их хозяйствах. И опасность от врага, и патриотические чувства, и сожаление о убитых и раненых, и пожертвования, и страх приближающегося врага, всё в обыденной общественной жизни теряло свое строгое и сериозное значение и получало в разговорах за бостонными столами или в кругу дам, беленькими ручками щипавшими корпию, характер ничтожности и часто было предметом споров, шуток или тщеславия.

И с приближением врага к опасности [не только] взгляд на свое положение не только не делался сериознее, но еще легкомысленнее, как это всегда бывает с людьми, которые видят приближающуюся опасность. При приближении опасности два голоса одинаково сильно всегда говорят в душе человека: один весьма разумно говорит о том, [что опасность] чтобы человек обдумал самое свойство опасности и средства для избавления от нее; другой [говорит] еще разумнее говорит, что слишком тяжело и мучительно думать об опасности, тогда как предвидеть и спастись от общего хода дела не во власти человека, и потому лучше отвернуться от тяжелого [и думать] до тех пор, пока оно не наступило, и думать о приятном. В одиночестве человек большей частью отдается 1-му голосу, в обществе, напротив, 2-му. Так было и теперь с жителями Москвы. Новости о том, что наша армия отступила еще на марш к Москве и что было еще сражение, рассказывалось в перемежку с новостями о том, что княжна Грузинская очень занемогла и прогнала всех докторов, а лечит ее какой-то 〈*1 нрзб*〉, делающий чудеса, и что Catiche, наконец, поймала жениха, а князь [Захар] Петр совсем плох. Афишки графа Растопчина [читались] о том, что ему государь поручил сделать большой шар, на котором полетят куда захотят, и по ветру и против ветра, и о том, что [у него] он теперь здоров, что у него болел глаз, а теперь он глядит в оба, и о том, что французы народ жидкий, что одна баба может 3 французов вилою закинуть, и т. п., эти афишки читались и [критиковались] обсуживались наравне с последними буриме П. И. Кутузова, В. Л. Пушкина и Pierr'a Безухова. Некоторым нравились эти афишки и в клубе, в угловой комнате [〈читались?〉] собирались читать их и смеялись жидким французам. Некоторые не одобряли этот тон и говорили, что это пошло и глупо. Рассказывали о том, что французов и даже всех иностранцев Растопчин выслал из Москвы, что между ними шпионы и агенты Наполеона; с такой же старательностью не забыть рассказывали, что Растопчин, отправляя их на барке, сказал: «Je désire qui cette barque ne soit pas pour vous la barque de Charron» [1], рассказывали, что выслали уже из Москвы все присутственные места и тут же прибавляли [что] шутку [Безухова] Шиншина, что за это одно Москва должна быть благодарна Наполеону. Рассказывали, что Мамонову его полк будет стоить 800 тысяч, что Безухов еще больше затратил на свой батальон, но что лучше всего в поступке Безухова это то, что он сам оденется в мундир и поедет верхом перед батальоном и ничего не будет брать за места с тех, которые будут смотреть на него.

— Вы никому не делаете милости,— сказала Жюли Друбецкая, [щипля] собирая и прижимая кучку нащипанной корпии тонкими пальцами, покрытыми кольцами.— Безухов так добр, так мил [Vous êtes si [2]] [Вы]. Что за удовольствие быть так caustique [3].

[1] Я желаю, чтоб эта лодка не сделалась для вас лодкой Харона.
[2] Вы так
[3] злоязычным

— Штраф в пользу раненых за caustique,— сказал тот, кого обвиняли.

— Другой штраф за галлицизм [Вы не],— прибавил другой.— Вы никому не делаете милости,— vous nt faites grâce à personne[4].

— За caustique виновата,— отвечала Жюли — и плачу, за удовольствие сказать вам правду я готова еще заплатить, но за галлицизм не отвечаю, у меня нет времени, как у князя Голицына, взять учителя и учиться по-русски.

. . . . . .

[После своего] Для Pierr'а приезд государя, собрание в Слободском дворце [и его вечером посещение Ростовых собрались в одно событие и впечатление, сделались эпохой в его жизни], чувство, испытанное там, сделавшееся эпохой жизни. То, что составляло горе и страх для большинства людей его круга, эта опасность, это расстройство обычного хода дел и угроза разорения, то-то и делало счастье Pierr'а, освежив и переродив его.

«А мне то-то и хорошо и приятно,— думал он,— что пришло время, когда этот надоевший мне правильный, охвативший меня порядок жизни изменится и что пришло время для меня показать, что всё это вздор, пустяки и ничтожество». Pierre, подобно Мамонову, тогда же затеял выставить баталион стрелков, который должен был стоить дороже мамоновского, и, несмотря на то, что управляющий [и знакомые приятели] доказывал Pierr'у, что с его расстроенными делами он разорится этой затеей, он говорил своему управляющему: «Ах, делайте только. Разве не всё равно?» Чем хуже шли его дела, тем ему было приятнее. Pierre испытывал радостное беспокойное чувство, что изменяется наконец этот ложный, но всемогущий быт, который приковал его. Он [то сидел] [то он ездил по городу и узнавал новости] то сидел в своем комитете, то ездил по городу, жадно узнавал новости и всеми силами души призывал скорее ту торжественную минуту, когда всё рухнется [не только] и когда ему можно будет не то что торжествовать, а просто бросить не только богатство, но и всю свою жизнь, столь же ненужную, как и богатство.

Несмотря на то, что всем своим знакомым Pierre [упорно говорил], краснея, одно и то же говорил, что он не только никогда не будет командовать своим баталионом, но что он ни за что в мире не пойдет на войну, что он и по корпуленции своей представляет слишком большую мишень и слишком неловок и тяжел, Pierre давно уже волновался мыслью о том, чтобы поехать к армии и самому своими глазами увидать, что такое война.

25[5] августа, получив от адъютанта Раевского известие о приближении французов и вероятном сражении, Pierr'у еще больше захотелось ехать в армию, посмотреть, что там делалось, и с этой целью, чтоб сдать свою должность по комитету пожертвований и быть свободным, поехал к Растопчину. Проезжая по Болотной площади, он увидал толпу у Лобного места и, остановившись, слез с дрожек. Это была экзекуция французского повара за обвинение в шпионстве. Экзекуция только что кончилась, и палач отвязывал от кобылы жалостно стонавшего толстого человека в синих чулках и зеленом комзоле, с рыжими бакенбардами. Другой преступник, худенькой и бледный, стоял тут же.

С испуганным болезненным видом, подобным тому же, какой имел худой француз, Pierre проталкивался сквозь толпу, спрашивая: «Что это, кто, за что?» — и не получал ответа, толпа чиновников, народа, женщин жадно смотрела и ждала. Когда толстого человека отвязали и он, видимо, не в силах удержаться, хотя и хотел этого, заплакал, сам сердясь на себя, как плачут взрослые сангвинические люди, толпа загово-

---

[4] вы никому не оказываете уважения

[5] В автографе *25* написано по *24* (прим. составителя).

рила, как показалось Pierr'у для того, чтобы заглушить в самой себе чувство жалости, и послышались слова:

— То-то теперь запел: «патушка, переяславные, ни пуду, ни пуду»,— говорил один, вероятно кучер господский, подле Pierr'а.

— Что, мусью, видно, русский соус кисел, француз набил оскомину,— подхватил шутку кучера приказный. Pierre посмотрел, покачал головой, сморщился и, повернувшись, пошел назад к дрожкам, и решил, что он не может более оставаться в Москве и едет к армии.

Растопчин был занят и через адъютанта выслал сказать, что очень хорошо. Pierre поехал домой и отдал приказание своему всезнающему, всемогущему, умнейшему и известному всей Москве дворецкому Евстратовичу о том, что он в ночь поедет в Татаринову к войску.

Pierre к утру 25, никому не сказавшись, выехал и приехал к вечеру к войскам в дрожках на подставных. Лошади его ждали в Князькову. Князьково было полно войсками и до половины разрушено. По дороге у офицеров Pierre узнал, что он выехал в самое время и что нынче или завтра [назначено] должно было быть генеральное сражение. «Ну что ж делать? Ведь я этого хотел,— сказал сам себе Pierre,— теперь — кончено».

У разломанных ворот стояла его подвода с кучером, берейтором и верховыми лошадьми. Pierre, было, проехал своих, но берейтор, узнав, окликнул его, и Pierre обрадовался, увидав свои знакомые лица после бесчисленного количества чужих солдатских лиц, которые он видел дорогой. Берейтор с лошадьми и повозкой [стоял подле пехотного полка в лесу у разваленной караулки] стоял в середине пехотного полка.

Для того, чтобы иметь менее обращающий на себя общее внимание вид, Pierre намерен был в Князьково переодеться в ополченский мундир своего полка, но, когда он подъехал к своим (переодеваться надо было тут, на воздухе), на глазах солдат и офицеров, удивленно смотревших на его пухлую белую шляпу и толстое тело во фраке, он раздумал. Он отказался также от чая, который приготовил ему берейтор и на который завистливо смотрели офицеры [и которые желали и не имели. Pierre предложил этот чай.]. Pierre торопился скоро ехать. Чем дальше он отъезжал от Москвы и чем глубже погружался в это море войск, тем больше им овладевало беспокойство. Он боялся и сражения, которое должно было быть, и еще более боялся того, что опоздает к этому сражению.

Берейтор привел двух лошадей. Одну рыжую, англизированную, другого вороного жеребца. Pierre давно не ездил верхом, и ему жутко было влезать на лошадь. Он спросил, какая посмирнее. Берейтор задумался.

— Эта мягче, ваше сиятельство.

Pierre выбрал ту, которая была помягче, и, когда ему ее подвели, он, робко оглядываясь — не смеется ли кто над ним,— схватился за гриву с такой энергией и усилием, как будто он ни за что в мире не выпустит эту гриву, и влез, желая поправить очки и не в силах отнять руки от седла и поводьев. Берейтор неодобрительно посмотрел на согнутые ноги и пригнутое к луке огромное тело своего графа и, сев на свою лошадь, приготовился сопутствовать.

— Нет, не надо, оставайся, я один,— прошамкал Pierre. Во-первых, ему не хотелось иметь сзади себя этот укоризненный взгляд на свою посадку, а во 2-ых, не подвергать берейтора тем опасностям, которым он твердо намерен был подвергать себя. Закусив губу и пригнувшись наперед, Pierre ударил обоими каблуками по пахам лошади, этими же каблуками уцепился за лошадь, натянул и дернул неровно на сторону взятыми поводьями и, не отпуская гриву, пустился по дороге неровным галопом, предавая свою душу богу.

Проскакав версты две и едва держась от напряжения на седле, Pierre остановил свою лошадь и поехал шагом, стараясь обдумать свое положение. Ему надо было обдумать, куда и зачем и к кому он едет. Из Моск-

вы его выгнало [чувство] то же чувство, которое он испытывал и в Слободском дворце во время приезда государя, то приятное чувство сознания, что всё то, что составляет счастие людей, удобства жизни, богатство, даже самая жизнь есть вздор, который приятно откинуть, в сравнении с... чем-то. С чем?

Pierre не мог себе дать отчета, да и не старался уяснить себе, для кого и для чего он находит особенную прелесть пожертвовать и всем своим имуществом и своей жизнью[6]. Его не занимало то, для чего он хочет жертвовать, но самое жертвование составляло для него новое радостное, обновляющее чувство. Вследствие этого чувства он приехал теперь из Москвы в Бородино с тем, чтобы участвовать в предстоящем сражении. *Участвовать* в сражении казалось ему [делом] в Москве делом совершенно простым и ясным, но теперь, увидав эти массы людей, [⟨озабоченных?⟩] расчисленных по разрядам, [⟨различных?⟩] подчиненных, связанных, озабоченных каждый своим делом, он понял, что нельзя так просто приехать и участвовать в сражении, а надо для этой цели к кому-нибудь присоединиться, кому-нибудь подчиниться, получить какой-нибудь интерес более частный, чем вообще участвовать в сражении.

Остановив свою лошадь шагом, Pierre оглядывался на обе стороны дороги, [везде встречая] отыскивая знакомого лица и везде встречал только незнакомые военные лица разных родов войск, одинаково то с удивлением, то с насмешкой смотревшие на его белую шляпу и зеленый фрак. Проехав две разваленные [⟨забытые⟩] и покинутые жителями, но наполненные войсками деревни, он подъезжал к 3-й, когда встретил, наконец, знакомого человека и радостно обратился к нему [желая], чтобы посоветоваться о том, что ему с собой делать. Знакомый этот был [главный] один из начальствующих докторов армии. Он в бричке ехал, сидя рядом с молодым доктором, [он ехал в бричке по той же дороге] догнал Pierr'a и, узнав его, остановил своего казака, сидевшего на козлах вместо кучера.

— Ваше сиятельство, вы как тут? — спросил доктор.

— Да вот, хотелось посмотреть...

— Да, да, будет, что посмотреть...

Pierre слез и, остановившись, разговорился с доктором, спрашивая его совета, как ему поступить, к кому обратиться и где найти Перновский полк, которым командовал князь Андрей. На последний вопрос доктор ничего не мог ответить, но [⟨что бы?⟩] на первый присоветовал Безухову обратиться прямо к Светлейшему.

— Что ж вам бог знает где находиться во время сражения и без помощи и без известности,— сказал он, переглянувшись с своим молодым товарищем,— а Светлейший [верно] все-таки знает вас и примет милостиво... Так, батюшка, и сделайте,— сказал доктор.

[Он показался] Доктор казался усталым и спешащим. И Pierr'a поразила в нем [черта] фамилиарность, с которой он обращался с ним, в противность прежнему приторно-почтительному обращению.

— Вот как въедете в эту деревню — кажется, Бурдино называется, Бурдино или Бородино, не помню,— так вот от того места — видите — где там копают, возьмите по дороге вправо, прямо в Татаринову и приедете в квартиру Светлейшего.

— Но ему некогда, может быть.

— Всю ночь не спали — готовятся, ведь не шутка эту громаду обдумать — я был. Ну да вас примет.

— Так вы думаете...

Но доктор перебил его и подвинулся к бричке.

— Я бы вас проводил, за честь бы счел — да, ей-богу,— вот,— доктор показал по горло,— скачу к корпусному командиру. Ведь у нас, как вы знаете граф,— завтра сраженье на 100 тысяч войска, малым числом на

[6] На полях: *Доктор, ополченцы, Бенигсен, икона, Кутузов, мальчик.*

20 тысяч раненых считать надо, а у нас ни носилок, ни коек, ни фельдшеров, ни лекарей на 6 тысяч нету. Как хочешь, так и делай...

Та странная мысль, что из числа тех тысяч людей живых, здоровых, молодых и старых, которые с веселым удивлением смотрели на его шляпу, были, наверное, 20 тысяч обреченных на раны и смерть (может быть, те самые, которых он видел), так поразила его, что он, не отвечая доктору ни на его слова, ни на его прощанье, долго стоял на месте, не переменяя страдальческого и испуганного выражения лица.

С помощью услужливого фурштата, подержавшего ему лошадь, влезши на лошадь, Pierre поехал в эту деревню, которая была перед ним и которую доктор называл неопределенно Бурдино или Бородино. [Разваленная] Небольшая улицой деревня эта, так же как и другая, с домами без крыш и с колодезем по улице, была полна мужиками с крестами на шапках, которые [в одних рубахах] с громким говором, в одних рубахах, с лопатами на плечах шли ему навстречу. На самом конце улицы такие же мужики копали какую-то гору, возили и по доскам землю в тачках. Два офицера стояли на горе и распоряжались мужиками. Удушливо противная человеческая вонь охватила Pierr'a, как только он подъехал к этому строящемуся ополченцами укреплению.

— Позвольте спросить,— обратился Pierre к офицеру,— это какая деревня?

— Бородино!

— А на Татаринову как проехать?

Офицер, видимо, [наскучивший своими] довольный случаем поговорить, сошел с возвышения и, зажав нос, пробежал мимо работавших в пропотевших рубахах ополченцев.

— Фу, проклятые,— проговорил он и, подойдя к Pierr'у, облокотился рукой на его лошадь.— Вам в Татаринову? [Вот видите] Так вам назад,— а тут вы прямо к французам ехали. Ведь они вон видны.

— Простым глазом видно.

— Да, вот, вот.

Офицер из-за лошади показал рукой на чернеющие массы. Оба помолчали.

— Да, неизвестно, кому завтра живым быть. Много не досчитаются. Ну, да, славу богу, один конец.— Унтер-офицер подошел сказать, что за турами ехать надо.

— Ну, да посылай 3-ю роту опять,— сказал офицер неохотно.— А вы кто же? — спросил он.— Не из докторов?

— Нет, я так,— отвечал Pierre.

— Так вот назад по улице и влево второй поворот, вон где колодезь с палкой-то.

[〈Едва?〉] Pierre поехал по указанию офицера и, еще не выехав из деревни, увидал впереди себя по той дороге, по которой ему надо было ехать, стройно идущую ему навстречу пехоту с снятыми киверами и ружьями, опущенными книзу. Позади пехоты слышалось церковное пение и, обгоняя его, без шапок бежали [〈ополченцы?〉] навстречу идущим солдаты и ополченцы.

— Матушку по войску несут!

— Заступницу — Иверскую!

— Смоленскую матушку,— поправлял другой, на бегу говорили ополченцы и те, которые были в деревне, и те, которые работали на батарее и теперь, побросав лопаты, бежали навстречу церковному шествию. За баталионом, шедшим впереди, шли [два] в ризах священники, один в клобуке с крестом и певчими, за ним солдаты и офицеры несли большую с черным ликом в окладе икону, за иконой и кругом нее, впереди и со всех сторон шли, бежали и кланялись в землю с обнаженными головами толпы военных. В деревне икона остановилась, священники [с кадилом] зажгли вновь кадило и начали молебен.

Pierre, слезши с лошади [постоял] и сняв шляпу, постоял несколько времени и поехал дальше.

На всем протяжении дороги он направо и налево видел те же войска с теми же сосредоточенными лицами, принимавшими одинаковое выражение удивления при взгляде на него. «И эти, и эти в числе тех 20 тысяч, для которых уже заготовляют на завтра носилки и койки»,— думал он, глядя на них. Несколько адъютантов и генералов проехало навстречу ему. [Все они] Но все были незнакомые. Они любопытно оглядывали его и проезжали мимо. На повороте в Татаринову двое дрожек парою с двумя генералами, сопутствуемые большим количеством адъютантов, встретились ему. Это был генерал Бенигсен, который ехал осматривать позиции. В числе свиты, ехавшей за Бенигсеном, было много знакомых Pierr'a. Его тотчас же окружили, [засыпали вопросами] стали расспрашивать его о Москве, о том, зачем он здесь, и, к удивлению его, весьма мало удивились, узнав, что он приехал участвовать в сражении. Бенигсен, заметив его фигуру и остановившись у копаемого укрепления, пожелал познакомиться с ним, подозвал к себе и предложил ехать с собой вместе по линии.

— Вам это будет интересно,— сказал он.

— Да, очень интересно,— сказал Pierre.

— Что же касается до вашего желания участвовать, то я думаю, вам лучше сказать Светлейшему, он очень рад будет...

Больше Бенигсен не говорил с Pierr'ом. Он, очевидно, был слишком чем-то взволнован и раздражен в этот день так же, как и большая часть окружающих его. Бенигсен осматривал всю передовую линию размещения наших войск, делал некоторые замечания, объяснял кое-что бывшим с ним и подъезжавшим к нему генералам и изредка отдавал приказания. Pierre, слушая его, напрягал все свои умственные способности для того, чтобы понять сущность предстоящего сражения и выгоды и невыгоды нашей позиции; но он ничего не мог понять из того, что он видел и слышал. Он не мог понять оттого, что в расположении войск перед сражением, он привык отыскивать что-то утонченно глубокомысленное и гениальное, здесь же он ничего этого не видел. Он видел, что просто здесь стояли такие-то, здесь такие-то, а здесь такие-то войска, которые точно с такою же пользою можно было поставить правее и левее, ближе и дальше. И оттого то, что это ему казалось так просто, он подозревал, что он не понимает сущности дела[7], и старательно вслушивался в речи Бенигсена и окружавших его[8]. Они проехали по фронту линии назад через окапываемые бруствером Бородино, в котором уже был Pierre, потом на редут, еще не имевший и потом получивший название редут Раевского, на котором устанавливали пушки. Pierre не обращал никакого внимания на этот редут. (Везде одинаково копали.) Он не знал, что это место сделается памятнейшим из всех мест Бородинского поля, потом они поехали к Семеновскому, в котором солдаты растаскивали последние бревны изб и овинов. Потом под гору и на гору они проехали через поломанную, выбитую, как градом, рожь по вновь проложенной артиллерией по колчам пашни дороге на флеши, тоже тогда еще [копаемые и ничем не известные. Тут Бенигсен остановился и стал] копаемые и памятные Pierr'у только потому, что здесь он, слезши с лошади, во рву позавтракал с Кутайсовым у [офицера] полковника, предложившего им битков.

Бенигсен остановился на флешах и стал смотреть на неприятелей — напротив, в бывшем нашим еще вчера Шевардинском редуте[9], он был версты за $1^1/_2$, и офицеры уверяли, что там группа — это Наполеон или

---

[7] В автографе: *делал.*

[8] К тексту: *После отъезда государя* (с. 674) ∾ *окружавших его.*— см. Варианты, № 41.

[9] В автографе: *редутом* (прим. составителя).

Мюрат. [Бенигсен говорил что-то долго, критикуя] Когда Pierre подошел опять к Бенигсену, он говорил что-то, критикуя расположение этого места и говоря:

— Необходимо надо было подвинуться вперед.

[Pierre внимательно слушал, глядя ему в рот] [Pierre внимательно слушал терпеливо, всё не понимая значения слов Бенигсена.— Вам, думаю, неинтересно,— сказал Бенигсен.] Pierre внимательно слушал, дожевывая битки.

— Вам, я думаю, неинтересно,— вдруг обратился к нему Бенигсен.

— Ах, напротив, очень интересно,— повторил Pierre фразу, повторенную им раз 20 в этот день и всякий раз не совсем правдиво. [Ему было очень интересно, но он ничего не мог понять. И не мог понять так, как молодые люди не понимают Бетховена или Гете оттого, что они ищут найти это понимание в какой-то другой высшей и ненормальной сфере. Pierr'у казалось всё это очень премудро. Например, он не мог понять] Он не мог понять, почему флешам надо было быть впереди, чтобы их обстреливала Раевского батарея, а не Раевского батарее быть впереди, чтобы ее обстреливали флеши.

— Да, это очень интересно,— всё говорил он.

[Но, что ему было более всего интересно, это то, что он действительно почти понял, но потом опять спутался, это левый фланг, и вопрос о том, как поместить корпус] Наконец, они приехали на левый фланг, и тут Бенигсен еще более спутал понятия Pierr'а своим недовольством помещения корпуса Тучкова, долженствовавшего защищать левый фланг. Вся позиция Бородина представлялась Pierr'у следующим образом. Передовая линия, несколько выгнутая вперед, простиралась на 3 версты от Горок до позиции Тучкова. Почти по середине линии, ближе к левому флангу, была река Колоча с крутыми берегами, [которую трудно обойти правому флангу.] разрезавшая всю нашу позицию надвое.

Выступающим пунктом справа налево были: 1) Бородино, 2) редут Раевского, 3) флеши, 4) оконечность левого фланга — леса березника в оглоблю, [и за ним старая Калужская дорога.

25 числа началась речь об том, что французы могут обойти левый фланг, и про это все говорили и разные слышал суждения в этот день Pierre, и затем ехал туда Бенигсен. Значительно отступив от линии, там и стоял Тучков и казаки. Полковник 1-го полка подошел к Бенигсену (у него было сердитое лицо) и начал кричать, говоря, что здесь стоять нельзя, что людей перебьют под горой. Бенигсен, печально улыбаясь, стоял, молча слушал и поехал вперед смотреть, потом подъехал Тучков, и Бенигсен сказал, что корпус надо передвинуть вперед. Тучков не соглашался. Бенигсен приказал именем главнокомандующего и уехал, когда войска двинулись.] у которого стоял Тучков.

Правый фланг был сильно защищен рекою Колочею, левый фланг был слабо защищен лесом, за которым была старая Калужская дорога. Корпус Тучкова стоял почти под горой. [Подъехав к 1-му казачьему полку, стоявшему тут] Бенигсен нашел, что корпус этот стоит нехорошо, и приказал подвинуться ему вперед [на полверсты] на версту расстояния.

Почему лучше было стоять впереди без подкреплений, почему не подвинуты были другие войска, ежели левый фланг слаб, почему [нельзя было не] Бенигсен сказал полковнику, который с ним был, что об этом распоряжении его не нужно было докладывать Кутузову, и почему сам не сказал Кутузову[10]. Потом Pierre слышал, как он [передал ему только, что всё хорошо, и ничего не сказал о сделанном распоряжении], встретив Кутузова, прямо сказал, что он всё нашел в исправности и не нашел

[10] На полях: *Тут Pierre видел мужиков с тачками. Они были очень веселы. «Но на что они были нужны»,— думал Pierre.*

нужным ничего изменять,— это не смог понять Pierre, и всё это было ему [очень] еще более интересно.

[Бенигсен] В 6-м часу Pierre за Бенигсеном приехал в Татаринову, где стоял Кутузов. Одна большая изба в три окна была занята Кутузовым. Рядом на плетне была прибита доска: «Канцелярия главного штаба». Напротив, с фургонами у подъезда была изба, в которой жил Бенигсен.

Перед самой деревней Pierr'а обогнал знакомый ему Кутайсов. Он верхом возвращался откуда-то с двумя офицерами. Кутайсов дружески обратился к Pierr'у, не в силах удержать насмешливые взгляды, которые обегали всю фигуру Pierr'а, и улыбнулся на вопрос Pierr'а о том, как ему просить главнокомандующего о разрешении *участвовать* в сражении.

— Поедемте со мной, граф. Князь (Кутузов), верно, в саду под яблоней. Я вас проведу к нему. Ну, что Москва, волнуется? — И, не дожидаясь ответа, Кутайсов подъехал к навстречу ему ехавшим генералам на дрожках, и по-французски что-то горячо поговорил с ними. La position est intonable... Il faut être fou [11],— [говорил] слышал Pierre.

— Кто это,— спросил Pierre.

— Это принц Евгений едет на левый фланг осматривать позицию, которая невозможна. Хотят, артиллерия чтоб действовала из-под горы... Ну, да вам неинтересно...

— Ах, напротив... мне очень интересно. Я видел всё.

— А,— сказал Кутайсов, и подъехали к плетню, на котором была вывеска. Кутайсов слез и приказал казаку взять лошадь Pierr'а и Pierr'у сказал, куда идти и где найти свою лошадь.

В сарае на соломе спал один офицер, накрывшись рубашкой от мух, другой у дверей обедал подовыми пирогами и арбузом.

— Светлейший в саду? — спросил Кутайсов.

— В саду, ваше сиятельство.

И Кутайсов через сарай прошел в яблочный мужицкий сад с теми переливами тени и света, которые бывают только в густых яблочных садах. В саду было прохладно и вдалеке виднелись раскинутые палатки, ковер и воротники мундиров и эполеты. Яблоки еще оставались на деревьях, и у плетня мальчишка босиком влез на дерево и тряс. Девчонка подбирала внизу. Они испуганно замерли, увидав Pierr'а. Им казалось, что цель всех людей, а потому и этих, состояла в том, чтобы помешать им рвать яблоки. Кутайсов прошел вперед, мелькая между деревьями, к блестящему ковру и эполетам. Pierre, не желая развлекать главнокомандующего, остался сзади [но он слышал то, что говорилось. Вероятно, Кутузов говорил с доктором, главным заведывателем по докторской части, потому что Pierre слышал слова, ужасом поразившие его, о количестве нужных перевязок и фур для перевозок будущих раненых и убитых, теперь здоровых и живых, но число которых уже приблизительно верно определялось главным доктором и Кутузовым] [слышал слова Кутузова: — Чем больше, тем лучше,— сказал Кутузов,— считай на 20 тысяч и не ошибешься.— Потом заговорил Кутайсов, и Pierre слышал слова Кутузова.].

— Ну, хорошо, поезжай сам да пришли его ко мне.

Кутузов, засмеявшись чему-то, встал и пошел к избе переваливающейся, ныряющей походкой, руки назад. Pierre подошел к нему. Но еще прежде главнокомандующий остановился перед ополченным офицером, знакомым Pierr'у. Это был Долохов. Долохов говорил что-то горячо Кутузову, который через голову его кивнул Pierr'у. Pierre подошел. Долохов говорил:

— Все сражения наши были проиграны от слабости левых флангов. Я осмотрел нашу позицию и наш левый фланг слаб. Я решил, что ежели

---

[11] Позиция ненадежна... Надо быть сумасшедшим.

я доложу вам, ваша светлость может прогнать меня или сказать, что вам известно то, что я докладываю, и тогда у меня не убудет.

— Так, так.

— А ежели я прав, то я принесу пользу отечеству, для которого я готов умереть.

— Так, так.

— А ежели вашей светлости нужно человека, который бы пошел в неприятельскую армию убить Бонапарта, то я готов быть таким.

— Так, так...— сказал Кутузов, смеющимися, сужившимися глазами глядя на Pierr'a, и тут же обратился к Толю, шедшему за ним.— Сейчас иду,— не разорваться мне.

— Хорошо, голубчик, благодарю тебя,— обратился он к Долохову, отпуская его. И к Pierr'у:

— Хотите пороху понюхать. Да, приятный запах. Имею честь быть обожателем вашей супруги. Здорова она? Мой привал к вашим услугам,— и Кутузов прошел в избу.

[Попросив лошадь и казака у Кутайсова и узнав, где стоит Перновский полк, Pierre поехал] Пообедав у Кутайсова и попросив у него лошадь и казака, Pierre поехал к Андрею, у которого и намерен был отдохнуть и провести ночь до сражения[12].

〈XI〉

Князь Андрей [в этот августовский вечер 25 августа сидел в сарае на ковре] в этот ясный августовский вечер 25 числа лежал в разломанном сарае деревни Князьково на разостланном ковре. Сарай этот был на задворках деревни над скатом выгона, по которому стояли солдаты его баталиона. Крыша с сарая вся была [оттащена] стащена, и одна сторона, выходившая над обрывом, отломана так, что князю Андрею открывался далекий и прекрасный вид, оживленный видом войск, лошадей и столбов дыма, поднимавшихся с разных сторон из котлов. На задворках около сарая был виден остаток овина и между овинами и сараями была полоска дерев осин и березок 30-летних, у которых сучья были обрублены, одна срублена и некоторые зарублены. Князь Андрей застал своих солдат, рубивших этот лесок или садок, видимо, насаженный старательным хозяином-мужиком, и запретил им рубить, предоставляя таскать сараи и бревны. Зеленые еще березки с кое-где ярко желтеющими листьями стояли веселые и курчавые над его головой, не шевелясь ни одним листком в тишине вечера. Князь Андрей жалел и любил все живое и радостно смотрел на эти березки. Желтые листья обсыпали место под ним, но это они обсыпали прежде, теперь ничего не падало, они блестели ярким светом, вырвавшимся из-за туч,— блестящим светом. Воробьи слетали с берез на оставшееся звено забора и опять влетали в них. Князь Андрей лежал, облокотившись на руку и закрыв глаза. Распоряжения все были сделаны, завтра должно было быть сражение. [У полкового командира] [У начальника его отряда] У начальника его колонн он уже был, с ротным и батальонным командирами обедал — и теперь хотел побыть один и подумать — подумать так же, как он думал [накануне Аустерлица. Но ничего похожего] накануне Аустерлица. Как ни много времени прошло с тех пор, как ни много пережито было с тех пор, как ни скучна и никому не нужна и ни тяжела ему казалась его жизнь, теперь точно так же, как и 7 лет тому назад накануне сражения, страшного сражения, которое ему предвиделось на завтра, он чувствовал себя взволнованным и раздраженным и испытывал необходимость, как и тогда, сделать счеты с самим собою и спросить себя, что и зачем я?

---

[12] К тексту: *Одна большая изба* (с. 682) ∾ ночь до сражения.— см. Варианты, № 42.

Ничего похожего не было в нем, каким он был в 1805 и каким он был в 1812 году. Все очарования войны не существовали уже для него. [Доходя] Откидывая и откидывая прежние заблуждения, он дошел до того, [что считал честным и разумным воевать только с солдатами] что война ему представлялась уже самым простым и ясным, но ужасным делом. Он несколько недель тому назад сказал себе, что война понятна и достойна только в рядах солдат, [без ожидания славы, наград и радостей] без ожидания наград и славы — воевать в товариществе Тимохиных и Тушиных, которых он так глубоко презирал прежде, к уважению которых он не пришел и теперь, но которых все-таки предпочитал Несвицким, ⟨Кутайсовым?⟩ и Чарторыйским и т. п. на том основании, что, хотя Тимохины и Тушины были почти животные, но честные, не лживые простые животные, а те были обманщики и лгуны, загребающие жар чужими руками и над смертью и страданиями людей вырабатывающие себе [звания] крестики и ленточки, которых им и не нужно[1].

[Князь Андрей уже 3 месяца был в полку. Сначала его дичились и бранили, как человека и одевающегося и говорящего и всё делающего не так, как другие, но потом его почтительно строгое, далекое обращение с [полковым командиром] начальством, его всегда ровная и снисходительная учтивость к низшим, его связи и знакомства в высших сферах (не раз видели, как к нему приезжали генералы и флигель-адъютанты, с которыми он обращался точно так же, как с армейцами), его готовность к материальной услуге — обеда, лошади, водки солдатам, приобрели ему общее уважение. «Наш князь»,— называли его все в полку. Итак, он вызывал в себе тот ряд мыслей, которые бывали у него до Аустерлица] Но даже и эта война в самом упрощенном виде теперь слишком ясно всей своей ужасной бессмысленностью и представлялась князю Андрею. Он был раздражен, ему хотелось думать, он чувствовал, что находится в одной из тех минут, когда ум так проницателен, что, откидывая всё ненужное, запутывающее, проникает в самую сущность вещи, и именно от этого ему страшно было думать. Он удерживался и все-таки думал. Он вызывал в себе тот ряд мыслей, которые бывали у него прежде, но ничего похожего не шевелилось в нем. «Чего же я хочу? — спрашивал он сам себя.— Славы, власти над людьми? Нет, зачем? Я бы не знал, что с нею делать. Не только не знал бы, что делать, но знаю наверное, что людям ничего нельзя [делать, что всё они делают сами. Славы для меня? Нет, ведь я отказался, отказываюсь от нее. Разве не в моей воле было теперь быть там, с теми, которые решают теперь судьбы этих 180 тысяч, судьбы России (думают, что решат)] желать, ни к чему стремиться». [Всё делается по вечным, неизменным и бессмысленным законам] Он посмотрел на воробьев, слетевших роем с забора на выгон, и улыбнулся: «Что ж они (люди) могут решать. Всё идет по тем вечным законам, по которым этот воробей отстал от других и подлетел после. [Разве я мог быть там с ними в штабе и притворяться, что я решаю судьбы. Для этого так мало надо. Такую малую долю усилия души. Но многого надо отречься, многого не иметь... не иметь любви к истине, ясного, прямого, неробкого взгляда, чтобы видеть правду, всю правду...] Так чего же я хочу? чего? Умереть, чтоб меня убили завтра? чтоб меня не было — чтобы всё это было, а меня бы не было?» Он живо представил себе отсутствие себя от этой жизни с плетнем (он отломил палочку) и дымом котлов, и мороз подрал его по коже. «Нет, я этого не хочу, я боюсь [ни этого, ничего] еще чего-то. Чего же я хочу? [Узнать всё, всю правду всей этой путаницы. Да, этого я хочу, одного этого хочу и могу. Я чувствую теперь, что-то светит мне в этой путанице. Но не могу я уловить этого света. Подыму и опущу завесу. Что ж, истины я хочу? Но и то нет, коли узнать ее надо смертью. Нет, не хочу.— Он привстал

[1] На полях: *Князь Андрей раздражен и видит всю правду: измена Наташи — так должно быть — тело.*

и стал ломать палочку и радостно смотреть на дым из-под горы.— Есть, есть что-то в этой жизни, чего мне нужно, что могло бы быть хорошо. А что это? Он открыл глаза.] Ничего, но живу потому, что не могу не жить и боюсь смерти. Вот эти все,— думал он, глядя на двух солдат, которые, стоя у пруда, [с криком] голыми ногами в воде, вытягивали с бранью друг у друга доску, на которой они хотели стоять, чтобы мыть белье,— вот эти и этот офицер, который так доволен, что прискакал верхом,— чего они хотят, из чего хлопочут. Им кажется, что и эта доска, и эта его лошадка, и это будущее сражение,— что всё это очень важно, и живут... И там где-то моя княжна Марья и Николушка тоже боятся, хлопочут, и бог знает, кому лучше — им или мне? И я так же, как они, недавно еще верил во всё. Как же я делал поэтические планы о любви, о счастии с женщинами.— О милый мальчик! — с злостью вслух проговорил он.— Как же! Я верил в какую-то идеальную любовь, которая должна была мне сохранить ее верность за целый год моего отсутствия. Как нежный голубок басни, она должна была зачахнуть в разлуке со мной и не полюбить другого. Как же я боялся того, что она зачахнет с тоски по мне». Краска бросилась ему в лицо, он встал и начал быстро ходить.— «А всё это гораздо проще. Она самка, ей нужен муж. Первый самец, который встретился, и стал хорош для нее. И непонятно, как можно не видеть такую простую и ясную истину.— Отец тоже строит в Лысых Горах и думает, что это его место, его земля, его воздух, его мужики, а пришел Наполеон и, не зная об его существовании, как щепку с дороги, оттолкнул и развалил его Лысые Горы и всю его жизнь. А княжна Марья говорит, что это испытанье, посланное свыше. Для чего это испытанье, когда его уж нет и не будет, никогда больше не будет. И я буду думать, что мне послано испытанье. Очень хорошо испытанье. Что это меня готовит к чему-то. А завтра меня убьют, и не француз даже, а свой, как вчера разрядил солдат ружье около моего уха, и придут французы, возьмут меня за ноги и за голову и швырнут в яму, чтоб я не вонял им под носом, завтра придут в Москву и, как в Смоленске, поставят лошадей в Собор, а на раку святителя насыпят овса и сена, и лошади будут очень покойны... Кому же это испытание? Испытанье человеку, который всё не понимает того, что над ним смеются. Глупо, когда не понимаешь, мерзко, когда понимаешь всю эту шутку».— Он вошел в сарай, лег на ковер, открыл глаза и перестал ясно думать. Одни образы сменялись другими. На одном на чем-то он долго радостно остановился, когда его развлек какой-то близко знакомый пришепетывающий голос, говоривший за сараем: «Да, я и спрашиваю не Петра Михайловича, а князя Андрея Николаевича Болконского». Князь Андрей пропустил мимо ушей этот голос и стал спрашивать себя, о чем он так долго и радостно думал: «О чем последнем? Да, вот о чем? Я вошел в заднюю дверь нашей комнаты. Она (Наташа) сидела перед трюмо и чесала волосы. Она услыхала мои шаги и оглянулась. Оглянулась, держа пряди волос в руке и прикрывая ими румяную свежую щеку, и смотрела радостно благодарно на меня. И я был ее счастливый муж, и она была да, Наташа. Да... Да, в эти самые щеки, в эти плечи [с жемчугом], может быть, целовал ее этот человек. Нет, нет, никогда, видно, никогда я не прощу, не забуду этого».

Князь Андрей почувствовал, что слезы душат его. [Он встал и вышел и стал ходить взад и вперед по сараю, [ударяя] ломая хворост] Он приподнялся и перевернулся на другой бок. «И могло, могло это не быть. Нет, я одно хочу, хочу еще. Это убить этого человека и видеть ее. [Я говорил себе всё, чтобы доказать, что я не имею этого права, но я не могу. И зачем мне ее видеть. Вон Тимохин идет, и он не желает этого. Ему все равно, чего он желает. Совсем другого. Кто это всё поймет? Ему всё равно, и Павлу всё равно. Стало быть, и мне всё равно. И действительно, мне всё равно».

— Эй, Павел, давай самовар и попроси господ, кто хочет чаю. Это кто?]

[Это был Pierre, который, разминая ноги, в своей пуховой шляпе входил в сарай князя Андрея и ударился головой о жердь, оставшуюся сверх ворот.] «И зачем он не женился на ней? Он не удостоил ее. Да, то, что для меня верх моих желаний, для него — презренно. Таких есть царство земное. Что же мое?.. Что-то есть, и все-таки не хочу я быть ими».

В входной двери послышались шаги и голоса [2]. Он знал, что это были батальонные командиры, которые шли к нему пить чай, но кроме их был знакомый голос, который сказал: «Que diable!» [3] Андрей оглянулся. Это был Pierre, который в своей пуховой шляпе, входя вместе с офицерами, не нагнулся и стукнулся головой [в слегу сарая] в жердь, остававшуюся сверх ворот сарая. Pierre с первого взгляда на своего друга заметил, что, ежели он переменился с последнего их свидания, то только в том, что за это время он еще дальше ушел на том пути мрачного озлобления. Андрей с насмешливой и скорее неприязненной улыбкой встретил Безухова. Князю Андрею вообще неприятно было видеть людей теперь из своего мира, в особенности же Pierr'a, с которым он почему-то чувствовал необходимость всегда быть откровенным и еще более потому, что вид Pierr'a напоминал ему живее всего их последнее свидание, и угрожало ему повторение тех объяснений, которые были при последнем свидании. Князь Андрей, сам не зная почему, испытывал неловкость смотреть ему прямо в глаза (неловкость эта тотчас же передалась Pierr'у и боялся остаться с ним с глаза на глаз).

— А вот как,— сказал он, подходя к нему и обнимая его.— Какими судьбами. [В то время] Очень рад.

Но в то время, как он говорил это, в глазах его и выражении всего лица была больше чем сухость,— была враждебность, как будто он говорил [и что ты]: «ты очень хороший человек, но оставь меня, мне тяжело с тобою».

Последнее свиданье их было в Москве, когда Андрей получил письмо Ростовой.

— Mon cher. Я приехал... так... знаете... приехал... мне интересно,— сказал Pierre, краснея.— Полк мой еще не готов. [Как я ни старался, я не мог быть употреблен. Что ж мне делать?]

— Да, да, а братья масоны что говорят о войне? Как предотвратить ее? — сказал Андрей, улыбаясь.

— Да, да.

— Ну, что Москва? Что мои, приехали ли, наконец, в Москву? — спросил князь Андрей.

— Не знаю. [Pierre уселся на ковер и кивал дружески головой дядьке Сидору, вошедшему с самоваром.] Жюли Друбецкая говорила, что она получила письмо из Смоленской губернии.

— Не понимаю, что делают. Не понимаю. Войдите, господа,— обратился он к офицерам, которые, увидав гостя, замялись у входа в сарай. Впереди офицеров был Тимохин с красным носом, который, хотя теперь за убылью офицеров был уже батальонный командир, был такой же добрый и робкий человечек. За ним вошли адъютант и казначей полка. Они были грустны и серьезны, как показалось Pierr'у. Адъютант почтительно сообщил князю, что в один батальон не достало калачей, присланных из Москвы. Тимохину [4] тоже что-то передал по службе.

---

[2] На полях: *Князь Андрей восхваляет линейную службу. Немцы едут мимо. Русские, как на острове.*

[3] Кой чёрт!

[4] Далее несколько строк автографа повреждены и не поддаются прочтению; печатаются по копии (прим. составителя).

Раскланявшись с Pierr'ом, которого князь Андрей назвал им, они разместились на полу вокруг поданного самовара, и младший из них занялся разливанием. Офицеры не без удивления смотрели на толстую громадную фигуру Pierr'а и слушали его рассказы о Москве и о расположении наших войск, которые ему удалось объездить. Князь Андрей молчал, и лицо его так было неприятно, что Пьер уж обращался более к добродушному батальонному командиру Тимохину.

— Так ты понял всё расположение войск? — перебил его князь Андрей.

— Да, то есть как,— сказал Pierre,— как невоенный человек я не могу сказать, чтобы вполне, но все-таки понял общее расположение.

— Eh bien, vous êtes plus avancé que qui cela soit[5],— сказал князь Андрей.

— То есть как? — сказал Pierre с недоумением, через очки глядя на Андрея.

— То есть, никто ничего не понимает, как и должно быть,— сказал князь Андрей.— Да, да,— отвечал он на удивленный взгляд Pierr'а.

— То есть как же ты это понимаешь — это? Ведь есть же des lois[6]. Ведь, например, я сам видел, как на левом фланге Бенигсен нашел, что войска стоят слишком далеко назади для взаимного подкрепления, и двинул их вперед.

Князь Андрей сухо 〈неприятно?〉 засмеялся.

— Выдвинул вперед корпус Тучкова. Я был там — я видел.

— А ты знаешь, зачем он выдвинул? А затем, что глупее этого уже ничего нельзя сделать.

— Ну как же, однако,— возражал Pierre, избегая взгляда своего бывшего друга,— все обсуживали этот вопрос. И в такую минуту, я думаю, нельзя быть легкомысленным. [Pierre начал приводить примеры из военной истории Фридриха и Наполеона.]

Князь Андрей захохотал так же, как смеялся его отец.

Pierr'а поразило это сходство.

— В такую минуту,— повторил он.— Для них,— для тех, с которыми ты там объезжал позицию, эта минута только такая минута, в которую можно подкопаться под врага и получить крестик и звездочку лишнюю. Расставлять и переставлять нечего, потому что всякая диспозиция не имеет смысла, а так как ils sont payés pour cela[7], им надо притворяться, что они что-нибудь делают.

— Однако всегда успех и неуспех сражения объясняют неправильными распоряжениями,— сказал Pierre, оглядываясь на Тимохина за подтверждением и на лице его находя согласие с своим мнением точно такое же, какое и находил в нем князь Андрей, когда случайно взглядывал на него.

— А я тебе говорю, что все это вздор и что ежели бы что-нибудь зависело от распоряжений штабов, то я бы был там и делал бы распоряжения, а вместо того я [служу здесь] имею честь служить здесь в полку вот с этими господами и считаю, что [здесь] от нас действительно будет зависеть завтрашний день, а не от них...[8]

Pierre молчал.

Офицеры, напившись чаю и не понимая того, что говорилось, [ушли] [хотели уйти, но князь Андрей удержал их] ушли.

— Но трудно тебе дать понять всю пучину этой лжи, всю отдаленность [рассказов] понятия о войне до действительности. Я это понимаю: 1) потому что я испытал войну во всех видах, 2) потому что я не боюсь

---

[5] Ну, так ты больше знаешь, чем кто бы то ни было.

Далее текст снова дается по автографу (прим. составителя).

[6] законы

[7] им за это платят

[8] К тексту: «*И зачем* (с. 686) ∾ *не от них...*— см. Варианты, № 43.

прослыть трусом — j'ai fait mes preuves[9]. Ну, начать с того, что сраженья, чтобы войска дрались, никогда не бывает, и завтра не будет.

— Это я не понимаю,— сказал Pierre.— Идут же одни на других и сражаются.

— Нет, идут, стреляют и *пугают* друг друга. Головнин, адмирал, рассказывает, что в Японии всё искусство военное основано на том, что рисуют картины изображения ужасов и сами наряжаются в медведей на крепостных валах. Это глупо для нас, когда знаем, что это наряженные, но мы делаем то же самое. Говорится в III: «Culbuta les dragons Russes. Il rejetta»[10] и т. д., ils abordirent à bayonnettes[11]. Этого никогда не бывает и не может быть. Ни один полк никогда не рубил саблями и не колол штыками, а только делал вид, что хочет колоть, и враги пугались и бежали. Вся цель моя завтра не в том, чтобы колоть и бить, а только в том, чтобы помешать моим солдатам разбежаться от страха, который будет у них и у меня. Моя цель только, чтобы они шли вместе и испугали бы французов [ежели] и чтобы французы прежде нас испугались. Никогда не было и не бывает, чтобы два полка сошлись и дрались, и не может быть. (Про Шенграбен писали, что мы так сошлись с французами. Я был там. Это неправда: французы побежали.) Ежели бы сошлись, то кололись бы до тех пор, пока всех бы перебили или переранили, а этого никогда не бывает. В доказательство тебе скажу даже, что существует кавалерия только для того, чтобы пугать, потому что физически невозможно кавалеристу убить пехотинца с ружьем. А ежели бьют пехотинца, то когда он испугался и бежит, да и тогда ничего не могут сделать, потому что ни один солдат не умеет рубить, да и самые лучшие рубаки самой лучшей саблей не убьют человека, который бы даже не оборонялся. Они только могут царапать. Штыками тоже бьют только лежачих. Поди завтра на перевязочный пункт и посмотри. На 1000 ран пульных и ядерных ты найдешь одну à l'arme blanche[12]. Всё дело в том, чтобы испугаться после неприятеля, а неприятеля испугать прежде. И вся цель, чтобы [все не ‹разбежались?›] разбежалось как можно меньше, потому что все боятся. Я не боялся, когда шел с знаменем под Аустерлицем, мне даже весело было, но это можно сделать в продолжение $^1/_2$ часа из 24-х. А когда я стоял под огнем в Смоленске, то я едва удерживался, чтобы не бросить баталион и не убежать. Так и все. Стало быть, всё, что говорится о храбрости и мужестве войск, всё вздор[13]. Теперь второе: распоряжений никаких главнокомандующий в сражении никогда не делает, и это невозможно, потому что всё решается мгновенно. Расчетов никаких не может быть, потому что, как я тебе говорил, я не могу отвечать, чтобы мой баталион завтра не побежал с 3-го выстрела и тоже чтобы не заставил побежать от себя целую дивизию. Распоряжений нет, но есть некоторая ловкость главнокомандующего: солгать вовремя, накормить, напоить вовремя и опять, главное, не испугаться, а испугать противника и, главное, не пренебрегать никакими средствами, ни обманом, ни изменой, ни убийством пленных. Нужны не достоинства, а отсутствие честных свойств и ума. Нужно, как Фридрих, напасть на беззащитную Померанию, Саксонию. Нужно убить пленных и предоставить льстецам, которые во всём совершившемся и давшем власть найдут великое, как нашли предков Наполеону. Ведь ты заметь, кто полководцы у Наполеона, и нас уверяют, что это всё гении: зять, пасынок, брат. Как будто могло это так случайно совпасть: родство с талантом военным. Не родство совпало, а для того, чтобы быть полко-

---

[9] я это доказал

[10] Опрокинул русских драгун. Он отбросил...

[11] сошлись в штыки

[12] холодным оружием

[13] Далее вырван верхний угол и сохранились лишь обрывки отдельных слов. Одна фраза восстанавливается по копии (прим. составителя).

М. И. КУТУЗОВ
Народный лубок. Первая половина XIX в.

водцем, нужно быть ничтожеством, а ничтожных много. Ежели бы кинуть жребий, было бы то же.

— Да, но как же установились такие противуположные мнения? — спросил Pierre.

— [Ну, как же не понимаешь? Одно из главных источников заблуждений людских это свойство подделывать разумные причины под совершившиеся факты.] Как установилось? Как установилась всякая ложь, которая со всех сторон окружает нас и которая, очевидно, должна быть тем сильнее, чем хуже то дело, которое служит ей предметом. А война есть самое гадкое дело, и потому всё, что говорят о войне,— всё ложь и ложь.

Сколько сот раз я видал людей, которые в сражении бежали (это всегда бывает) или, спрятавшись, сидели, ждали позора и вдруг узнавали

по реляции, что они были герои и *прорвали*, *опрокинули* или *сломили* врагов, и потом твердо и от всей души верили, что это была правда. Другие бежали от страха, натыкались на неприятеля, и неприятель бежал от них [В сражении вот ты увидишь завтра шум, дым, бегство, испуг на всех лицах, беготня, из которой никто, ничего не понимает; но когда дело кончилось, тогда под него подделывается одна общая мысль, и так как мысль клонится к славе русского оружия, патриотизму, и потому каждого солдата и офицера, за которым за каждым есть грешки трусости (я сам струсил под Шенграбеном, так что чуть не уехал, а в Турции вовсе спрятался за дерево), никто не спорит и все верят и забросали бы меня каменьями, ежели бы я им сказал то, что говорю тебе. От этого почти во всех сражениях оба неприятеля], и потом уверялись, что они, влекомые мужеством, свойственным сынам России, бросились на врага и сломили его. А потом оба неприятеля служат благодарственные молебны за то, что побили много людей (которых число еще прибавляют) и провозглашают победу. Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать древа познания добра и зла.

Они ходили теперь перед сараем, солнце уже зашло, и звезды выходили над березками, левая сторона неба была закрыта длинными тучами, поднимался ветерок. Со всех сторон виднелись огни наши и вдалеке огни французов, казавшиеся [особенно] в ночи особенно близкими[14].

По дороге недалеко от сарая застучали копыта трех лошадей и послышались гортанные голоса двух немцев. Они близко ехали, и Pierre с Андреем невольно услыхали следующие фразы:

— Der Krieg muss im Raum verlegt werden. Der Ansicht kann ich nicht genug Preis geben[15].

— Warum nicht, sogar bis Kazan[16],— сказал другой.

— Der Ziel ist nur den Feind zu schwächen, so kann man gewiss nicht den Verlust der Privat-Personen in Achtung nehmen[17].

— Jawoll[18],— послышался басистый, в себе самоуверенный немецкий голос, и Klausévіz с другим немцем, важные люди при штабе, проехали.

— Да, im Raum verlegen[19],— повторил, смеясь, князь Андрей.— Im Raum[20]-то у меня остался отец, и сын, и сестра в Лысых Горах. Ему это всё равно.

— [Да, это ужасно, сколько их в штабе] И всё — немцы, и в штабе всё немцы,— сказал Pierre.

— Это — море, в котором редкие острова русские. Они всю Европу отдали ему и приехали нас учить, славные учителя. [Ах, у нас был человек — Суворов, которого мы еще не скоро поймем. У него были две мысли, простота, постное масло, отсутствие всякого штаба. Это первое. Когда эти подлецы и трутни пьют шампанское, а мы без сапог, мы не верим друг другу, и другое это атака, и всегда атака вперед. Он понимал, что всё дело в том, чтоб пугать и не давать разбегаться, и для этого всегда заставлял бежать вперед.] Одно, что бы [я прибавил] я сделал, ежели бы имел власть, это — не брать пленных. [...На войне всё лганье, оттого что это — самое гадкое дело... кавалерия — лганье, саблей нельзя рубить, рукопашная — штык... позиции — диспозиции и 100 posi-

---

[14] Верхний край листа оторван; от текста пяти строк сохранились отдельные слова и обрывки слов. Текст до слов: *следующие фразы* восстанавливается по копии (прим. составителя).

[15] Война должна быть перенесена в пространство. Это воззрение я не могу достаточно восхвалить (*нем.*).

[16] Почему же нет, даже до Казани (*нем.*).

[17] Так как цель состоит только в том, чтоб ослабить неприятеля, то нельзя принимать во внимание потери частных лиц (*нем.*).

[18] О, да (*нем.*).

[19] перенести в пространство (*нем.*).

[20] В пространстве (*нем.*).

tions[21] — всё вздор. Дерутся, один другого победит, кто сильнее или упрямее. Упрямее — это главное... вместе, то вопрос в том, как справа этот не убил этого... бы добивать в середине. Но этот в середине прибьет и пойдет... а слева... видишь, ежели 4 человека вместе, то сколько перемен... расчесть нельзя. Надо, чтоб они хотели драться, и самому тут быть... потому что один может побить двух и не побить, и все 3 могут 〈убить?〉. Всё это зависит от того, чего расчесть нельзя — ноги мокры. 〈Потом?〉 главное лганье в том, что говорят: все стремятся сражаться — неправда, все стремятся за дерево. Главная цель моя завтра не то, чтоб французы убежали, а чтобы вот эти не убежали. Но ты спросишь, что же надо на войне делать. Много. Во-первых, всю ложь отбросить. Наград никому не давать, кроме 〈фронтовых?〉] Диспозиций никаких не было. Кавалерию всю уничтожить и японскими средствами не пренебрегать. Стариков, как Кутузов, не допускать, и детей тоже. Теоретиков всех прогнать, войска равнять не по росту, а по мужеству. Потому лганье — honneur, patriotisme[22]. Потом главное, я думаю, пленных не брать[23]] Что такое пленные? Это рыцарство. Они враги мои, они преступники все, по моим понятиям. Надо их казнить. Ежели они враги мои, то не могут быть друзьями, как бы Александр Павлович ни разговаривал в Тильзите[24]. Это одно изменило бы всю войну и сделало бы ее менее жестокой. А то мы играли в войну — вот что скверно — наряжались в 〈страшных?〉, как М. и М., великодушничали и т. п. И всё это великодушие от того, что мы не хотим видеть, как для нас бьют теленка, а кушаем его под соусом. Нам толкуют о правах, рыцарстве, о парламентерстве, щадить несчастных и т. д. Всё вздор! Я видел в 1805 году рыцарство, парламентерство. Нас надули, мы надули. Грабят чужие дома, пускают фальшивые ассигнации, да хуже всего убивают моих детей, моего отца и говорят о правилах и разумности. Одна разумность в том, чтобы понять, что в этом деле одна скотскость моя призвана. На ней и строить всё. Не брать пленных, кто готов на это, как я готов теперь,— тот военный, а иначе — сиди дома и ходи к Анне Павловне в гостиную разговаривать. [Я так велел своим, и сам на то иду. Я-то не убью, я не сумею и не осилю.]

Князь Андрей остановился перед Pierr'ом и остановил на нем странно блестящие, восторженные глаза, смотревшие куда-то далеко.

— Да, теперь война — это другое дело. Теперь, когда дело дошло до Москвы, до детей, до отца, мы все, от меня и до Тимохина, мы готовы. Нас не нужно посылать. Мы готовы резать. Мы оскорблены,— и он остановился, потому что губа его задрожала.

— Ежели бы так было всегда: шли бы на верную смерть, не было бы войны за то, что П. И. обидел М. И., как теперь. А ежели война, как теперь, так война, и тогда интенсивность войск была б не та, как теперь. Мы бы шли на смерть, и им бы невкусно это было — вестфальцам и гессенцам и т. д. А в Австрии мы бы и вовсе драться не стали. Всё в этом — откинуть ложь, и война, так война, а не игрушка. Меня не Александр Павлович посылает, а я сам иду[25].

---

[21] позиций

[22] честь, патриотизм

[23] Верхний левый угол листа автографа оторван; утраченные слова отмечены отточиями (прим. составителя).

[24] По тексту запись: *Суворов капусту с постным маслом и вперед.*

[25] Далее конспективные записи:

Pierre говорит: — Но как же общественное, государственное устройство? Дипломатические сношения?

Князь Андрей: — А не знаю. А то, что я говорю, я знаю, что это так. Прежде разговор об успехе Бориса. Толя, Кутайсова, он не любит — об нем одном будут. Штабные? Да это всё — подлецы, шакалы, или льстецы, или трутни. На совет можно нас позвать, а адъютантам можно 〈кронд?〉 написать.

На левом фланге — это нарочно сделал Бенигсен.

[В 1-м часу пропели ⟨*1 нрзб*⟩ из телеги, князь Андрей и друзья зашли в сарай и заснули. В 4 часа часовой разбудил князя Андрея, велено было становиться в ружье. Pierre пожал руку князя Андрея, разбуженный князем Андреем, пожал его руку и поехал в Бородино, где он при Раевском намеревался находиться во время сражения] [Однако ты спишь, ложись,— сказал князь Андрей, зевнув.

Pierre прошел в сарай и заснул. Князь Андрей раздраженный ходил всю ночь.]

— Однако ты спишь — ложись,— сказал князь Андрей.

— О нет! — отвечал Pierre, испуганно соболезнующими глазами глядя на князя Андрея.

— Ложись, ложись, перед сраженьем нужно выспаться,— повторил князь Андрей.

— А вы?

— И я лягу.

И действительно, князь Андрей лег, но не мог спать, и, как только он услыхал звуки храпения Pierr'а, он встал и до рассвета продолжал ходить перед сараем. В 6-м часу он разбудил Pierr'а.

Полк князя Андрея, находившийся в резерве, выстраивался. Впереди слышно и видно было усиленное движение, но канонада еще не начиналась. Pierre, желавший видеть все сражение, простившись с князем Андреем, поехал вперед по направлению к Бородину, где он [намеревался] надеялся встретить Бенигсена, предложившего ему накануне причислить его к своей свите.

⟨XII⟩

В 6 часов было светло. Утро было серое. «Может быть, и вовсе не начнут, может быть, этого не будет»,— [думал Pierre, подъезжая к флешам Багратиона (Андрей ему советовал быть там, ежели он хотел видеть ход сражения). Но вдруг справа показался, и не из Бородина, дымок, и густой звучный одинокий выстрел. Прошло несколько минут, видно было, как двигались французские войска, и раздались 2-й и 3-й выстрел, и всё слилось в дым, звуки, движенье войск, страх и поспешность.] думал Pierre, подвигаясь по дороге. Pierre редко видел утро. Он вставал поздно, и впечатление холода и утра соединялось в его впечатлении с ожиданием чего-то страшного. Он ехал и чувствовал, что как будто он не проснулся еще, что будто он все еще с князем Андреем лежит на его турецком ковре и говорит и слушает его говорящим и видит эти страшно блестящие, восторженные глаза и безнадежные, сдержанно разумные речи. Он ничего не помнил из того, что [сказал] говорил князь Андрей, он только помнил его глаза, лучистые, блестящие, далеко смотрящие куда-то, и одно только вводное предложение из всех его речей живо осталось в памяти Pierr'а: «Война теперь это другое дело,— сказал он,— теперь, когда дошло до Москвы, нас не нужно посылать, а все, от Тимохина до меня, в хорошие или дурные минуты готовы резать [и стрелять]. Мы оскорблены». И губа князя Андрея дрогнула при этом. [Из всего вечера памятно было Pierr'у это, и он, всматриваясь] [Из всего вечера памятно было Pierr'у это, и он, глядя

Андрей при свидании с Наташей понял, что она не виновата. Князь Андрей говорит Pierr'у: я знаю, что меня убьют, и одного мне хочется — это убить этого быка Анатоля.

Откупщики, все родные, гении. И у Бонапарта: принц Евгений Богарне — Jérome. Всё лганье — на войне.

Оттого ничего не помнишь. Я видел, как под Шенграбеном, как в Турции — подделали всё после под рассказы и реляции и забыли правду, а помнят ложь.

Будут тактик, историк искать стратегии — в Суворове никакой. Это всё хитрости Бенигсена или Ермолова. Аустерлиц мы проиграли оттого, что ехал, я видел в... правду тут еще труднее.

Здесь оторван край листа и текст утрачен (прим. составителя).

по сражению, вспоминал только одно это слово и эту дрожащую губу. Pierre направлялся к флешам. Он обгонял стоявшие полки, шедшие полки, и во всех глазах, встречавшихся с его глазами, он видел одно и то же выражение сначала удивления, зачем этот толстый в белой шляпе с вывернутыми носками трясется тут, потом удовольствия при виде такого мирного домашнего явления, и потом досады — зачем 〈мол?〉 этот суется тут, когда дело не до шуток,— с которым и отворачивались от Pierr'a. Один раз даже Pierre заехал в двигавшиеся баталионы, и офицер сердито крикнул: «Чего ездишь?» — на галопирующего Pierr'a. Все были заняты, казалось, очень заняты делами, кто строгал, кто чистил, кто распоряжался.] Pierre ехал, пожимаясь от свежести и вспоминая эти слова. Он проехал уже Бородино и остановился у [кургана] батареи, где он был вчера. Пехотные солдаты, которых не было вчера, стояли тут, и два офицера смотрели вперед влево. Pierre посмотрел тоже по направлению их взгляда.

— Вот оно,— сказал один офицер.

Впереди показался дымок, и густой, звучный одинокий выстрел пронесся и замер среди общей тишины. Прошло несколько минут, войска, стоявшие тут [при Бородине], так же как и Pierre, вглядывались в этот дымок и вслушивались в этот звук [Pierre проехал селение и с горы увидал двигавшиеся французские войска] и вглядывались в двигающиеся французские войска. 2-й, 3-й выстрелы заколебали воздух, 4-й и 5-й раздались близко и торжественно где-то справа, и как будто от этого выстрела проскакал кто-то мимо Pierr'a, и тоже от этого выстрела мерно задвигались солдаты, заслоняя [справа какие-то пехотные] батарею. Еще не отзвучали эти выстрелы, как раздались еще другие, еще, и еще, сливаясь и перебивая один другой. Уже нельзя было ни считать, ни слышать их отдельно. Уже слышались не выстрелы, а с грохотом и громом катились со всех сторон громадные колесницы, вместо пыли распространяя голубоватый дым вокруг себя. Только изредка вырывались большие, резкие звуки из-за равномерного гула, как будто встряхивало что-то эту невидимую колесницу.

Лошадь Pierr'a стала горячиться, настораживать уши и торопиться. С Pierr'ом сделалось то же самое. Гул орудий, торопливые движенья лошади, теснота полка, в который он заехал, и, главное, все эти лица, строгие, задумчивые,— всё слилось для него только в одно общее впечатление поспешности и страха. Он спрашивал у всех, где Бенигсен, но никто не отвечал ему, все были заняты своим делом, которого не видно было, но присутствие которого видел Pierre.

— И что ездит тут в белой шляпе,— услыхал он голос сзади себя.— Поезжайте куда вам надо, а здесь не толкайтесь,— сказал ему кто-то.

— Где генерал Бенигсен? — спрашивал Pierre.

— А кто ж его знает.

Pierre, выехав из полка, поскакал [направо] налево к тому месту, где была самая сильная канонада. Но только что он выехал из одного полка, как попал в другой, и опять кто-то крикнул ему: — Что ездишь перед линией? — И опять везде он видел те же озабоченно занятые лица каким-то невидимым, но важным делом. Один Pierre был без дела и без места [и это было тяжело ему]. Дым и гул выстрелов все усиливался. [Наконец] Летали ли над ним ядра, Pierre не замечал, он не знал этого звука и был так встревожен, что не был в силах отдавать себе отчет о причинах разнообразия звуков. Он торопился скорее и скорее поспеть куда-то [и увидеть] и найти себе дело [поспеть к Багратиону, думая там найти спасенье от овладевшего им беспокойства и сбивчивости впечатлений, овладевших им].

Раненых и убитых он не видал (по крайней мере он думал так, хотя он проехал уже мимо сотни таковых). Дело началось канонадой против флеш Багратиона и потом атакой на них. К ним-то и ехал Pierre

с страхом чувствуя, что беспокойство [и торопливость] и бесцельная поспешность всё больше и больше овладевают им. Всё у него перед глазами слилось в туман дыма и пальбы, из которых он редко натыкался на оазисы человеческих лиц, и все эти лица носили один и тот же отпечаток озабоченности и недовольства, и упреки тем, что заехал сюда без дела этот толстый человек в белой шляпе.

Pierre ехал от Бородина по полю к флешам, полагая, что там только будет сражение. Но в то время, как он был уже в 200 шагах от флешей и в дыму видел прогалопировавшего вперед генерала со свитой (это был Багратион) и видел надвигавшиеся массы синих солдат с штыками, он вдруг услыхал, что сзади его в Бородине, откуда он выехал, тоже началась стрельба и канонада. [«Ну, теперь — кончено,— подумал Pierre,— и позади то же самое. И мне некуда уехать». Несколько] Он поскакал к тому месту, где видел генерала со свитой; но генерала уже не было, и опять сердитый голос закричал на него:

— И чего вертится тут под пулями!

Тут только Pierre услыхал звуки пуль, свистевших уже вокруг него. Pierre остановился, отыскивая место, куда бежать, и, потерявшись, не узнавая, где были свои, где неприятель, поскакал вперед. Но пули, которых он прежде не замечал, свистали со всех сторон, и на него нашел ужас[1].

Pierre был так уверен, что каждая попадет в него, что он остановился, пригнулся к седлу, мигал, почти не открывая глаз. Но вдруг на него наскакали наши кавалеристы, бывшие впереди, и его лошадь, повернув назад, поскакала с ними. Он не помнил, долго ли он скакал, но, когда он остановился, он заметил, что страшных звуков пуль уже не было вокруг него, и что он весь дрожит, и что зубы его щелкают друг об друга.

Вокруг него слезали с лошадей уланы, [и одного раненого положили на землю. «Нет, я не могу этого выносить»,— подумал Pierre и тихим шагом, не оглядываясь, поехал назад к Татариновой вслед за фурами, которые, полные раненых, ехали впереди. Сзади еще громче, еще сплошнее и шире расплывались страшные звуки стрельбы, и изредка даже и тут над головой Pierr'а пролетали ядра, и он содрогался от их звука, каждое казалось ему направленным в его голову. Он слез с лошади и, опустив голову, пошел по дороге, по которой всё больше прибывали и прибывали раненые.

— Взята, наши взяли. Как же. Царя в плен взяли. Беда, всех побил,— слышались голоса.

Он ехал] много их было, раненых, в крови. Один в двух шагах от Pierr'а упал с лошади, и лошадь, фыркнув, отбежала от него. Лица всех этих людей были страшные. Пуль не слышно было, но над головами еще летали ядра. Pierre содрогался от звука каждого ядра: каждое ему казалось направленным в его голову. [Некогда разбирать] Он подъехал к упавшему с лошади и увидал, что у него оторвана рука выше локтя, что на вздрагивающих жилах в крови висит что-то, [но что лицо улана было] и услыхал, что улан плачет и просит водки.

— Некогда разбирать, [вали, поднимай на ложе] веди на перевязочный,— слышался сзади строгий и сердитый командирской голос.

— Батюшки! кормильцы,— плакал улан.— Смерть моя. Не дайте умереть.

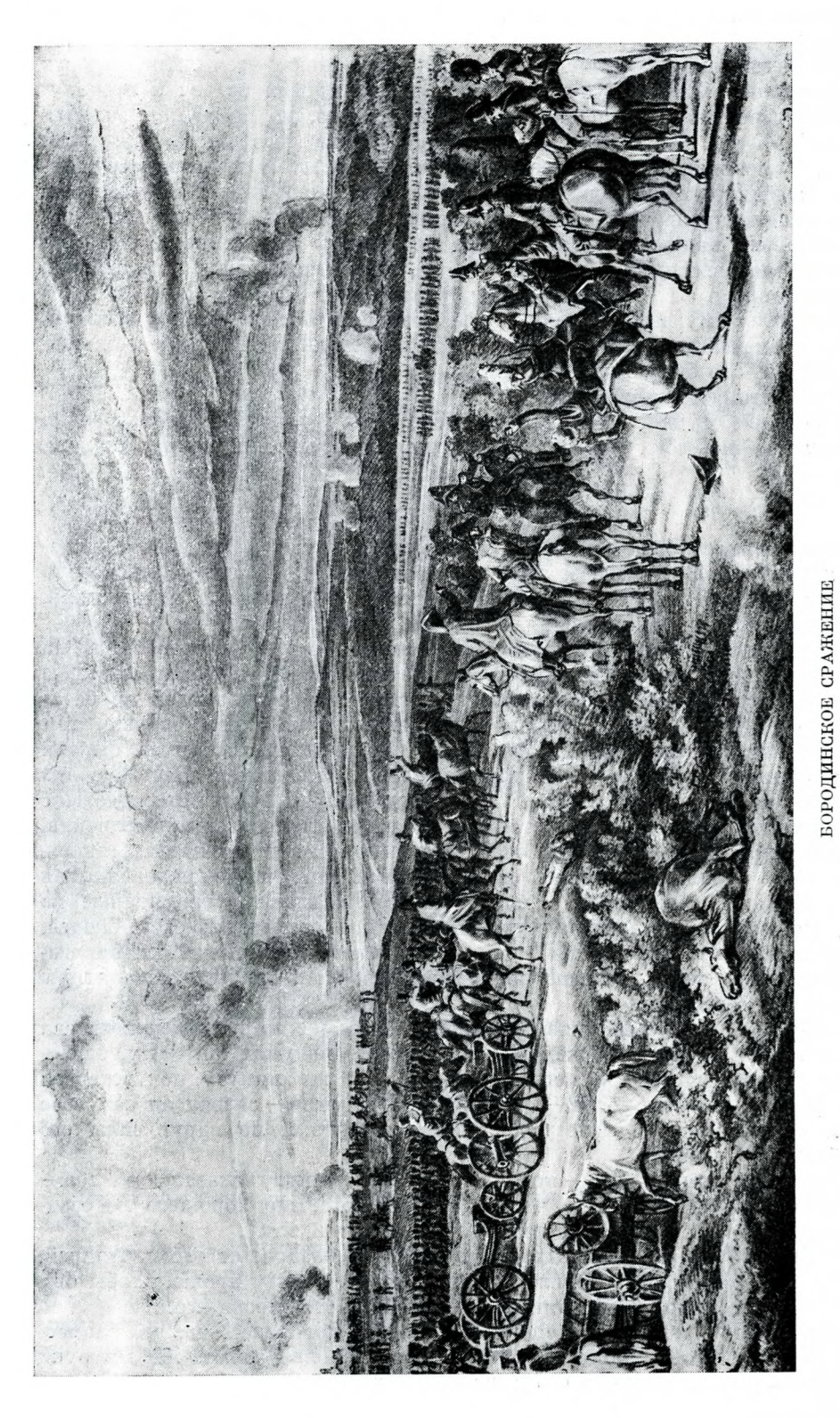
— Полковник,— сказал Pierre распоряжавшемуся офицеру,— прикажите помочь этому.

— [Что ему] Этот готов. Мне этих свезти на перевязочный пункт и то не знаю где.

— [Я съезжу] [Я поеду, узнаю сейчас. Я видел у рощи лазарет] Не могу ли я вам быть полезен? — сказал Pierre.

---

[1] К тексту: *Дело началось* (с. 693) ∾ *нашел ужас.*— см. Варианты, № 44.



БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ
Литография А. Адама

Полковник попросил его съездить отыскать перевязочный пункт, который должен был быть вправо у рощи. Pierre поехал туда и не переставал с замиранием сердца слушать продолжающуюся пальбу, долго отыскивал перевязочный пункт, и хотя после многих встреч и противуречивых известий о ходе сражения и нашел его, но не нашел [и хотя и нашел фуры лазаретные, но не нашел] уже того места, где были уланы. Отыскивая их, Pierre ехал по тому короткому пространству, которое отделяло в Бородинском сражении первую линию от резервов. Вдруг сзади стрельба и канонада усилились до отчаянности, как человек, который, надрываясь, кричит из последних сил. Толпа солдат, раненых и здоровых, нахлынула на Pierr'a, проскакали офицеры и войска, бывшие впереди его — резервы тронулись вперед.

Навстречу ему рысью ехали пушки и ящики, облепленные солдатами, другие солдаты цеплялись, соскакивали и бежали кругом, впереди скакал офицер. Это был князь Андрей...

Князь Андрей узнал Pierr'a.

— Ступай, ступай, тебе здесь не место. Не отставать! — пронзительно крикнул он на своих солдат, лепившихся и бежавших вокруг орудий.

⟨XIII⟩

Князь Андрей был в резервах, которые [тронулись] били без движения ядрами до 3-го часа и которые тронулись к батарее Раевского в 3-м часу. Князь Андрей устал от волнения опасности в бездействии, и теперь задыхался от волнения и радости, подвигаясь вперед.

[«Да, только в рядах есть наслаждение войны»,— чувствовал он. Он оглядывал ряды ротных командиров и не мог себе представить, как бы они испугались. Чем дальше шли, тем чаще вырывало людей из баталиона. «Ну, еще, еще,— говорил себе князь Андрей чем больше, тем лучше». Впереди виднелся редут, и на редуте каша, с редута бежали наши. Больше ничего не видал князь Андрей] [Несколько рот его полка посадили на орудия и повезли. С веселым говором вскочили солдаты с разгоревшимися лицами.] Да, только, сколь ни глупое дело было война, он чувствовал себя ожившим, счастливым, гордым и довольным теперь, когда чаще и чаще слышались свисты пуль и ядер, когда он, оглядывая [роту солдат] своих солдат, видел их веселые глаза, устремленные на него, [и чувствовал] слышал удары снарядов, вырывавших его людей, и чувствовал, что [возможно] эти звуки, эти крики только больше выпрямляют ему спину, и выше поднимают голову, и придают непонятную радость его движению.

[«Ну еще,— подумал князь Андрей, и в ту же минуту почувствовал удар в живот и упал.— А жалко, что теперь»,— подумал он.] «Ну, еще,— думал князь Андрей,— ну, еще, еще,— и в ту же минуту почувствовал удар [в грудь] выше соска.— Это — ничего, ну его»,— сказал он сам себе в 1-ю секунду удара. Еще бодрее он стал духом, но вдруг силы его ослабели и он упал.

«Это — настоящая. Это — конец,— в ту же минуту сказал он себе.— А жалко. Что теперь? Еще что-то, еще что-то было хорошего[1]. Досадно»,— подумал он. Солдаты подхватили его [рады уйти].

— Бросьте ребята. Не выходи из рядов,— сказал еще князь Андрей, сам не зная, зачем он говорил это, но в ту же минуту дрожа, чтобы они исполнили его приказание. Они не послушались и понесли его.

«Да, что-то нужно было еще». [«Да, этого человека... да, да, напрасно я не убил его». И опять он видел, как Анатоль целовал лицо и руки его невесты, презирающую его и любящую другого.]

---

[1] На полях: *Победа,— думает.*

СТРАНИЦА РУКОПИСИ 107

Автограф

Солдаты принесли его к лесу, где стояли фуры и где был перевязочный пункт.

Перевязочный пункт состоял из трех раскинутых с завороченными полами палаток на краю березника. В березнике стояли фуры и лошади. И лошади в храпугах ели овес, и воробьи слетались к ним и подбирали просыпанное точно так же, как будто ничего не было особенного в том, что происходило вокруг палаток. Вокруг палаток больше, чем на две десятины места, лежали окровавленные тела живых и мертвых; вокруг лежащих с унылыми и испуганными лицами стояли толпы солдат-носильщиков, которых нельзя было отогнать от этого места. Они стояли, куря трубки, опираясь на носилки. Несколько начальников распоряжалось порядками, 8 фельдшеров и 4 доктора перевязывали и резали в 2-х палатках. Раненые, ожидая по часу и более своей очереди, хрипели,

стонали, плакали, кричали, ругались, просили водки и бредили. Сюда же принесли князя Андрея и как полкового командира, шагая через перевязанных раненых, пронесли его ближе к палатке и положили у ее края. Он был бледен, съежился весь и, стиснув тонкие губы, молчал, блестящими, открытыми глазами оглядываясь вокруг. Он сам не знал отчего, оттого ли, что сражение было проиграно, оттого ли, что он желал [он убит, а он желал] жить, и оттого ли, что так много было страдающих, но ему хотелось плакать, и не слезами отчаяния, а добрыми, нежными слезами. Что-то жалкое и детски-невинное было в его лице. И, вероятно, от этого его трогательного вида доктор, еще [не окончив свою операцию, обратился к нему] не окончив делаемую операцию, два раза оглянулся на него.

До князя Андрея не скоро дошло дело. Шесть человек докторов в фартуках, все в крови [хлопотали] и в поту, работали. Офицер какой-то отгонял солдат, приносивших раненых. [Прямо]

«Разве не всё равно теперь? — думал князь Андрей.— А может быть...» — и он смотрел на того, которого перед ним резали доктора. Это был татарин, солдат с коричневой голой спиной, из которой ему вырезали пулю. (Князь Андрей вспомнил то мясо, которое было в реке.) Татарин страшно кричал. Доктор отпустил ему руки и накинул на него шинель и [взял] подошел к князю Андрею. Они переглянулись друг с другом, и что-то оба поняли. Князю Андрею стыдно и холодно было, когда, как с маленького, с него снимали панталоны. [Они что-то сделали с ним, и он опять почувствовал] Его стали сондировать и вынимать пулю, и он почувствовал новое чувство холода смерти, которое было сильнее, чем боль. [«Ну что мучать? Всё кончено. А может быть...» — и он держался, чтобы не кричать [2].]

Он [3] вскрикнул во всё время. Его положили на землю. Доктора, которые отпускали. Они переглянулись и сказали, что ему надо отдохнуть, прежде чем везти его в Можайск. Один из них с добрым лицом подошел к нему и молча поцеловал его в губы. Доктор этот хотел что-то сказать князю Андрею, но в это время мимо самого его несли, так же как и князя Андрея, шагая через раненых (вероятно чиновного) какого-то на носилках. Из-за носилок виднелась, с одной стороны, голова с черными ⟨нежными?⟩ вьющимися волосами, с другой лихорадочными трепетаниями ходившая нога, из-под которой сочилась кровь. Князь Андрей ⟨равнодушно?⟩ [4] смотрел на этого нового раненого, потому что он первый был тут перед глазами.

— Клади тут! — крикнул доктор.

— Кто такой?

— Адъютант, князь какой-то.

Это был Анатоль Курагин, раненый осколком в коленку. Когда его сняли с носилок, князь Андрей слышал, как он плакал, как женщина, и видел мельком его красивое лицо, сморщенное и покрытое слезами [5].

— Боже! убейте меня! О! О!.. О!.. Это не может быть! О, боже, mon Dieu, mon Dieu! Боже мой! Боже! Боже мой!..

Доктор неприятно поморщился на эти женские вопли, но князю Андрею жалко было слушать его. Доктора осмотрели его и что-то поговорили. Подбежали два фельдшера и потащили отбивавшегося и до хрипа кричавшего, закатывающегося, как ребенок, Анатоля в палатку. Там послышались увещания, тихие голоса, на минуту всё замолкло, и вдруг ужасный крик послышался из груди Анатоля; но такой крик не мог

---

[2] На этом текст обрывается. Следующие листы (лл. 591—596), исписанные, вероятно, как и вся рукопись, с двух сторон, утрачены. Отдельные отрывки восстанавливаются по копии, сделанной С. А. Толстой (прим. составителя).

[3] Несколько стершихся слов не поддаются прочтению (прим. составителя).

[4] Это слово также стершееся; возможно прочитано не точно (прим. составителя).

[5] Фраза не закончена (прим. составителя).

продолжаться долго, он слабел. Князь Андрей смотрел уставшими глазами на других раненых и слышал, как пилили кость. Наконец вместе и силы оставили Анатоля, он не мог кричать больше, и работа была кончена. Доктора что-то бросили, и фельдшера подняли и понесли Анатоля. Правой ноги его не было. Анатоль был бледен и только изредка всхлипывал. Его положили рядом с князем Андреем.

— Покажите мне ее,— проговорил Анатоль. Ему показали белую красивую ногу. Он закрыл лицо руками и зарыдал.

Князь Андрей закрыл глаза, и ему еще более хотелось плакать нежными любовными слезами над людьми, над собой и над своими заблуждениями. «Любовь, состраданье к братьям, к любящим и ненавидящим нас, да, та любовь, которую проповедывал бог на земле, которой меня учила княжна Марья,— вот оно, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив».

Его осторожно подняли, понесли и положили в лазаретную фуру.

В 5-м часу Pierre чувствовал, что, шляясь с места на место, он устал, устал физически и нравственно. Лошадь его была ранена и не шла с места. Он слез на дороге и сел на брошенную ось. Он ослабел совершенно и не мог ни двигаться, ни думать, ни соображать. На всех лицах, которые он видел, одинаково на тех, которые шли туда и которые возвращались, была видна такая же усталость, упадок сил и сомнение в том, что они делали. Стрельбы уже не слышно было, но канонада продолжалась, хотя и она начинала ослабевать.

Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненных, на испуганных и на изнуренных и на сомневающихся людей, как будто говорил: «Довольно, довольно, люди, перестаньте, опомнитесь, что вы делаете?» Но нет, хотя уже к вечеру сражения люди чувствовали весь ужас своего поступка, хотя они и рады бы были перестать, уже истощив свою потребность борьбы[6], поданный толчок еще двигал этим страшным движением, запотелые, в порохе и крови оставшиеся по одному на три артиллериста, хотя и спотыкаясь от усталости, приносили заряды, заряжали, наводили, прикладывали фитили, и злые холодные ядра так же прямо, и быстро, и жестоко перелетали с обоих сторон и расплюскивали человеческое тело.— Русские отступали с половины позиции, но стояли так же твердо и стреляли остающимися зарядами.

Наполеон с покрасневшим от насморка носом выехал за Шевардинский редут на соловой арабской лошадке.

— Ils fiennent toujours[7],— сказал он, хмурясь и сморкаясь, глядя на густые колоны русских.

— Ils veulent encore — donnez leurs en[8],— сказал он, и 350 орудий продолжали бить, отрывать руки и ноги, и головы у столпившихся и неподвижных русских.

Pierre сидел на оси, скулы его прыгали, и он смотрел на людей, не узнавая их. Он слышал, что Кутайсов убит, Багратион убит, Болконский убит. Он хотел заговорить с знакомым адъютантом, проехавшим мимо, и слезы помешали его говорить. Берейтор нашел его ввечеру, прислоненного к дереву с устремленными вперед глазами. Pierr'а привезли в Можайск, там ему сказали, что в соседнем доме лежит раненый князь Андрей, но Pierre не пошел к нему, оттого что ему слишком хотелось спать. Он лег в своей коляске, задрав ноги на козлы, и спал бы до другого вечера, ежели бы его не разбудили с известием, что войска выходят. Pierre проснулся и увидал продолжение вчерашнего. Та же была война.

---

[6] В копии явно ошибочно: *общества*. Толстой исправил: *борьбы* (прим. составителя).

[7] Они всё еще держатся.

[8] Они хотят еще — ну, и задайте им.

‹XIV›

После Бородинского сраженья, тотчас после сраженья, истина о том, что Москва будет оставлена неприятелю, мгновенно стала известна.

Тот общий ход дела, состоящий в том, во-первых, что в Бородинском сражении несмотря на самопожертвованье войска, ставшего поперек дороги, неприятель не мог быть удержан, во-вторых, что во всё время отступления до Москвы происходило колебанье в вопросе о том дать или не дать еще сраженье, и, в третьих, наконец, что решено было отдать Москву — этот ход дел, без всяких непосредственных сообщений от главнокомандующего, совершенно верно отразился в сознании народа Москвы.

Всё, что совершилось, вытекало из сущности самого дела, сознание которого лежит в массах.

С 29 августа в Драгомиловскую заставу ввозили каждый день по тысяче и более раненых. И в другие заставы выезжали до тысячи более раненых. И в другие заставы выезжали до тысячи более экипажей и подвод, каждый день увозя жителей и их имущество.

В тот день как армия стягивалась и происходил военный совет в Филях, и как безобразная толпа черни выходила на Три Горы, ожидая Ростопчина, в этот день к графу Илье Андреевичу Ростову приехали 36 подвод из подмосковной и рязанской, чтобы поднимать богатства поварского, так и не проданного дома. Подводы приехали так поздно, во-первых, потому, что граф до последнего дня надеялся на продажу, во-вторых, потому, что граф, пользуясь своим всемирным знакомством, не слушался общего голоса и верил графу Ростопчину, к которому он ездил всякий день справляться. А в третьих, и главное, потому, что графиня слышать не хотела об отъезде до возвращения сына Пети, который был переведен в полк Безухова и был ожидаем всякий день в Москву из Белой Церкви, где формировался его прежний полк казаков Оболенского.

30 августа приехал Петя, и 31 августа пришли подводы.

На огромном дворе и на улице[1] толпы видна была тонкая худая фигурка Наташи с черной головой, повязанной белым носовым платком. Много зрителей было прежде около раненых, но раненых было так много и все были так заняты своими делами, что помочь чем-нибудь никому и не приходило в голову; но как только Наташа с охотником взялась переносить раненых в дом, кормить, поить их, как из всех домов и от толпы высыпались люди и последовали ее примеру.

Когда граф Илья Андреич с женою увидали Наташу, она надевала спавшую назад фуражку на солдата, которого Матюшка с Митькой несли в охапке на двор, она шла сзади, ни на кого не оглядываясь, и делала руками жесты, как будто собою поддерживая равновесие за раненого, чтобы ему было легче. Граф, увидав это, засопел, как собака стучит чутьем, принюхиваясь к странному запаху, и упорно глядел в окно, не поворачиваясь к графине. Но с графиней происходило то же, что и с графом, она не дождалась его и потянула к себе за рукав камзола. Граф оглянулся и встретил ее мокрые виноватые глаза. Он бросился к ней, обнял ее, прижал подбородком ее плечо и зарыдал над ее спиной.

— Mon cher — надо...— сказала графиня.

— Правда... яйца курицу... учат...— сквозь счастливые слезы проговорил граф — Спасибо им... Ну так пойдем...

— Матюшка,— закричал граф громко, весело.— Швыряй всё к черту с подвод, накладывай раненых.

Соня была счастлива. Ей ни раненые, ни Москва, ни отечество не нужны были ни на грош. Ей нужно было счастие семьи, дома, в котором она жила. Ей хотелось теперь смеяться и прыгать. Она побежала в свою комнату, разбежалась, завертелась, быстрее и быстрее, села, раз-

[1] Здесь в автографе пропуск (прим. составителя).

дувши балоном свое платье, и тихо засмеялась. Потом уже, удовлетворив этой потребности, она побежала к Наташе и стала помогать ей, соображая и делая всё гораздо лучше самой Наташи.

Как будто выплачивая за то, что не раньше взялись за это, всё семейство с особенным жаром взялось за одно и то же дело. Постоянно прибывали раненые и постоянно находили возможность сложить еще то и то и отдать подводы. Никому из прислуги это не казалось странным.

На другой день прибыли еще раненые, и опять они остановились на улице. В числе этого последнего транспорта было много офицеров и в числе офицеров был князь Андрей.

— Четверых еще можно взять, говорил дворецкий, я свою повозку отдаю, а то куда же их еще?

— Ну, отдайте мою гардеробную,— говорила графиня,— Дуняша со мной сядет в карету.

Отдали еще и гардеробную повозку и в нее-то решили поместить князя Андрея и Тимохина. Князь Андрей лежал без памяти. Когда их стали переносить, Соня заглянула в лицо тому, который казался мертвым. Это был князь Андрей. Соня помертвела так же, как и лицо раненого, и побежала к графине.

— Maman,— говорила она,— это нельзя. Наташа не перенесет этого. Ведь надо же этакую судьбу.

Графиня ничего не отвечала, она подняла глаза к образам и молилась.

— Пути господни неисповедимы,— говорила она себе, чувствуя, что во всём, что делалось теперь, начинала страшно выступать эта всемогущая рука, скрывавшаяся прежде от взгляда людей.— Видно так надо, мой друг. Вели отнести его в биллиардную, во флигель, и не говори Наташе.

Целый день еще этот не выехали. Наташа и Соня как барышни не ходили во флигель, где были раненые офицеры, потому что это было неприлично, и Наташа не знала, кто лежит, умирая, около нее.

30-го Пьер, проспавший накануне 26-го, проснулся и увидал, что вокруг него всё укладывается, и в его доме тоже. Он сел и стал считать 666, l'Empereur Napoléon и l'Russe Besuhoff было тоже 666. Долго он сидел, передумывая и передумывая, и когда он встал, он твердо решился оставаться в Москве и убить l'Empereur Napoléon, виновника всех злодеяний. Иногда изредка на него находили минуты сомнения, и, боясь этого, он поехал к графу Растопчину узнать об общем ходе дел. Он нашел графа счастливым: всё l'Empereur Napoléon et le Russe Besuhoff было равно 666. «Все страдают и страдали кроме меня... Теперь уезжать уже поздно, дворецкий и люди мои, стало быть, и я могу остаться. Один Бонапарт причиной всего несчастия. Я должен пожертвовать всем 〈*1 нрзб*〉, хоть жизнью, для того, для чего пожертвовали другие... 666... Я останусь в Москве и убью Бонапарта»,— решил Пьер.

Он позвал дворецкого, объявил ему, что ничего ни укладывать, ни прятать, ни приготавливать не нужно, что он остается в Москве, и, велев себе заложить дрожки, поехал по Москве, узнать, в каком положении находилось дело. Не найдя никого, кроме толпы у дома графа Ростопчина, он поехал домой и, проезжая по Поварской, увидал в доме Ростовых выдвинутые экипажи.

— Теперь ничего нет прежнего, теперь, когда я уверен, что никогда больше не увижу ее, я должен заехать к ним.

Он вошел к Ростовым.

Соня (практичная) переглядывалась, несколько раз смотрела на часы, он всё сидел. Наконец, поймав раз этот взгляд, он засмеялся неестественно, встал и сказал:

— M-lle Natalie, j'ai à vous parler[2],— подите сюда.

---

[2] Мадемуазель Натали, мне нужно с вами переговорить

Она вышла с ним в залу.

— Eh bien[3],— сказал он, и всё по-французски,— я знаю, что я вас больше не увижу, я знаю... теперь время... Не знаю зачем, я не думал, что я это скажу вам, но теперь время такое, что мы все на краю гроба, и меня стесняют наши приличия. Я вас люблю и люблю безумно, как никогда ни одну женщину. Вы мне дали счастье, какое только я испытывал. Знайте это, может быть, вам это будет приятно знать, прощайте.

Не успела еще Наташа ответить ему, как он уже убежал. Наташа рассказала Соне, что ей сказал Pierre, и, странно, в этом доме, набитом ранеными, с неприятелем у заставы Москвы, с неизвестностью о двух братьях, в первый раз после долгого времени у них возвратился тот задушевный разговор, какие бывали в старину. Соня говорила, что она это давно замечала и удивлялась, как он мог не сказать этого прежде, что теперь он, как сумасшедший.

Наташа не отвечала. Она поднялась.

— Где он теперь? — спросила она.— Дай бог ему счастья и помилуй его.

Она разумела Андрея. Соня поняла это, но, с своею способностью скрывать, она спокойно сказала:

— Ежели бы он был ранен или убит, мы бы знали.

— Знаешь, Соня, я всей душой, всей внутренностью никогда не любила его [Курагина], того я совсем не любила — это было другое, но его я не любила, и в этом, в первом, я виновата перед ним. Ежели бы я знала, что он счастлив, и я бы могла жить, а теперь нет... Мне всё черно, всё темно на свете. Прощай. Ты спать хочешь. Да.

⟨XV⟩

На другой день [рано] Наполеон стоял [слезши с лошади] на Поклонной горе и смотрел на Moscou, cette ville asiatique aux innombrables églises[1] и говорил:

— La voilà donc enfin cette fameuse ville... Il était temps qu'on m'amène les boyards[2], и он, слезши с лошади, смотрел на этот город [с той хищной радостью], qui était à la veille [perdre son honneur[3]] d'être occupé par l'ennemi comme une fille perdu son honneur[4], по его собственному выражению.

Этому узкому уму ничего не представлялось, кроме города, добычи и его великого завоевательства — Alexandre de Macédoine и т. д., и он с хищной и пошлой радостью смотрел на город и поверял на разостланном перед ним плане подробности этого города.

— Да,— говорит разбойник, готовящийся изнасильничать женщину,— мне говорили: красавица, так, и косы, и груди, всё, как они говорили мне.

Les boyards[5] не пришли, и с шумом, и криком «Vive l'Empereur»[6], и звоном бросились войска через Драгомиловскую заставу.

В это время Pierre в мужицкой свитке, но в тонких сапогах, которые он забыл снять, шел по пустынному [Арбату] Девичьему Полю, ощупывая пистолет под полою и остановившимися близорукими глазами без очков глядя под свои ноги. Pierre сжег свои корабли и [скорее пошел] вышел [из межи] из черты, занимаемой нашими войсками, и торопился

---

[3] Так вот

[1] Москву, этот азиатский город с бесчисленными церквами

[2] Так вот он, наконец, этот знаменитый город... Давно пора привести ко мне бояр

[3] потерять свою невинность

[4] которому на другой день предстояло быть занятым неприятелем, стать подобным девушке, потерявшей невинность

[5] Бояре

[6] Да здравствует император!

скорее войти в черту французов. Он испытывал новое для него счастливое чувство независимости, похожее на то, которое испытывает богатый человек, оставляя все прихоти роскоши и отправляясь с сумкой путешествовать в горы Швейцарии. «Чего мне нужно. Вот я один, и всё у меня есть, и солнце, и силы». Чувство это еще более усилилось случившимся с ним на Девичьем Поле событием у Алсуфьева дома. Он услыхал крик и песни в доме и зашел в ворота. Пьяная солдатская голова выглянула из окна гостиной.

— Опоздал, брат... не хочешь ли? А, чёрт, пришел, услыхал.

Другой человек, видимо дворовый, высунулся.

— Что ругаешь? — и, поглядев на него, сошел вниз. Он, шатаясь, подошел к Pierr'у и взял его за полу.

— Что, брат, дожили до времячка, вот они! — И он потряс в руках два мешка с чем-то.— Иди. Друх, люблю.— И он дергал его. Pierre хотел идти прочь и оттолкнул его.

— Что толкаешься. И, Петро, барин. Ей-богу, барин,— сапоги-то.

Еще три человека обступили Pierr'а.

— Барин кошку ошпарил. В мужика нарядился. Твой дом, что ль? — нагло глядя в глаза, спросил его один.

— Вон, бездельники,— крикнул Pierre, толконув переднего[7]. Все отступились от него, и он пошел дальше, намереваясь [спрятаться] тотчас же выстрелить в Наполеона. Но войска, которые он скоро встретил и от которых он спрятался в ворота дома, оттеснили его на левую сторону Девичьего Поля, тогда как Наполеон проехал Драгомиловским мостом.

В это же время в Гостином дворе и на площади происходили неистовые крики солдат, растаскивающих товары, и офицеров, старающихся собрать их[8]. Подальше, в улицах, ведущих к Владимирской заставе, толпились войска, повозки с кладью и ранеными [〈кастрюлями〉] [〈седлами〉]. На Яузском мосту толпились повозки и не пропускали шедшую сзади артиллерию. Впереди повозок была одна, парой, с горой накладенных вещей, стульчик детский, перины торчали, наверху сидела баба, придерживая кастрюли, сзади между колес жались 4 борзые на ошейниках, рядом с ней, сцепившись колесом, была мужицкая телега с шифоньеркой, обвязанной рогожами, и на ней был денщик, сзади коляска, потом три купеческие фуры. Кирасир обгонял с одной стороны.

— Что, батюшка, идет, что ль, сзади-то? — спросила баба.

— Кык она моя Касатинка была,— вдруг закричал кирасир, желая запеть и палашом ударяя худую лошадь, качаясь, проскакал мимо.

— Держи его! — слышалось сзади, и два казака, смеясь, проскакали с шубой в руках.

— Тепло, так согреешься. С возу утащил. Что ж. Это хуже хранцуза. Да трогай, что ль.

Вдруг сзади, ломая, поперла толпа; палить будут. Паника. Кто под мост, кто за перилы. Это был Ермолов, который велел артиллерии сделать пример, что стреляют, чтоб очистить мост.

В другом месте Растопчин подскакал к Кутузову и много и сердито начал говорить ему.

— Мне некогда, граф,— отвечал Кутузов и отъехал далее и, став на дрожках, облокотя старую голову на руку, молча пропускал войска.

За Москвой по Тамбовской дороге цугами тянулись в два-три ряда экипажи, тем гуще, чем ближе к Москве, и тем реже, чем дальше. Только отъехав верст за 10, люди едущие начинали опоминаться от страху,

---

[7] На полях: *Англичане идут на выручку нам,— сказала Pierr'у баба, но он услыхал говор французов.*— Pas plus de cosaques, à que diable. On dirait le champs de Mars. 〈И помину нет о казаках, чорт возьми. Точно Марсово поле.〉

[8] На полях: *Кутузов сидел на скамейке, и он взволновался и испугался, тогда сказали, что Милорадовича преследуют. Удерживать неприятеля и остановить всю армию или идти дальше?*

тесноты, крика, которые были в городе, начинали переговариваться между собой, осматривать, всё ли и всё ли цело, и начинали дышать менее пыльным воздухом. В числе этих счастливцев был и обоз Ростовых. Они выбрались за город, но ехали все-таки шагом; 6[9] подвод с ранеными отправились от них отдельно. С ними же ехали те повозки с ранеными, которые они отделили уже от своего личного поезда. Таких было 2, из которых в одной лежал князь Андрей с Тимохиным. Эта повозка ехала впереди. За ними ехала большая карета, где сидели: графиня, Дуняша и доктор, [слуга сзади] Наташа и Соня, сзади коляска графа,— граф с камердинером, потом бричка с девушкой и людьми. Вдруг поезд остановился от передних повозок, и, высунувшись, Соня и Наташа из двух окошек увидали, что что-то возятся около передней брички с офицерами. Соня услыхала слово: «Кончается. Он умрет сейчас», которое сказал один из людей, и, дрожа от страха, чтоб Наташа не услыхала того же, вернулась головой в карету и стала говорить что-то Наташе. Но Наташа тоже слышала это и с обычной быстротой отперла дверцу, откинула подножку, сбежала и [подбежала] побежала вперед. В передней повозке на ситцевой подушке лежал лицом кверху князь Андрей с закрытыми глазами и, как рыба, открывал и закрывал рот, ловя воздух. Доктор стоял уже на подножке и щупал пульс.

Наташа ухватилась за колесо повозки, почувствовала, как бьются одна о другую ее колени. Но она не упала.

— Что вам, графиня, тут делать,— сказал доктор сердито.— Извольте идти, ничего! [Скажите]

Она пошла покорно.

— Скажите лучше графу, что нельзя ли ему уступить рессорный экипаж.— Наташа [подошла] пошла к отцу, но граф Илья Андреевич уже шел навстречу, и передала ему то, что сказал доктор. Больного перенесли в коляску. А Наташа молча села в карету. Ни Соня, ни мать старались не смотреть на нее. Мать сказала только:

— Доктор говорил, что он будет жив.

Наташа посмотрела на нее и опять отвела глаза в окно. На [⟨постоялом⟩] 1-ой станции был вперед посланный задержать постоялый двор для Ростовых. Они остановились в нем ночью. Одну комнату заняли они все вместе, другую, лучшую, отдали раненым офицерам. Было уже темно, когда сели обедать. Доктор пришел от раненых и объявил, что Болконскому лучше, что он может поправиться и доехать. Главное, доехать.

— Он в памяти?

— Теперь совершенно.

Доктор ушел спать к больному, граф — в коляску. Наташа легла к матери. Когда свечи потушили, она прижалась к матери и зарыдала.

— Он будет жив...

— Нет, я знаю, что он умрет... я знаю.— Они вместе плакали. И ничего не говорили. Соня с своего сена на полу несколько раз поднимала голову, но ничего не слышала, кроме слез. Уж петухи пропели несколько раз близко на дворе и все заснули, но Наташа не спала. Она не могла ни спать, ни лежать, она тихо встала, не обуваясь, надела материну куцавейку и, перешагнув через храпевшую девушку, вышла в сени. В сенях спали какие-то мужчины и забурчали что-то при звуке отворившейся двери. Она нашла скобу другой двери и отворила ее. [Ничто] В комнате был свет нагоревшей сальной свечи. Что-то зашевелилось, это и был Тимохин с своим красным носом, который испуганными глазами смотрел на графиню, поднявшись на локоть. Узнав барышню, он, не переставая смотреть, стал закрываться стыдливо плащом. Против него лежал еще раненый на кровати, спустив маленькую белую руку. Наташа

---

[9] В автографе вместо *6* было *8* (прим. составителя).

неслышными босыми шагами подошла к нему, но он услыхал, тяжело открыл глаза и вдруг радостно, детски улыбнулся. Наташа ничего не сказала, она упала неслышно на колени, взяла его руку, прижала к вдруг вспухнувшим от слез губам и нежно прильнула к ней. Он делал движения пальцами, он чего-то хотел. Она поняла, что он хотел видеть ее лицо. Она подняла свое детски-изуродованное всхлипываньями мокрое лицо и посмотрела на него. Он всё так же радостно улыбался. Тимохин, стыдливо закрывая голову, желтую руку, дернул доктора, заснувшего рядом, и доктор и Тимохин испуганно смотрели, не шевелясь, на Наташу и Андрея. Доктор стал кашлять. Они не слышали его.

— Можете ли вы простить?

— Всё, всё,— тихо сказал Андрей.— Идите.

Доктор еще громче закашлял и зашевелился. Тимохин, ожидая, что она обернется, скрыл всё до подбородка, хотя и высунулась босая нога.

Наташа вздохнула тяжело и легко и вышла из комнаты. [и вернулась].

〈XVI〉

Из дома Pierr'a две княжны (3-я давно вышла замуж) были выпровожен〈ы〉, многое было увезено[1]. Что именно, Pierre не знал хорошенько. Он начал было руководить уборкой картинной галереи, но, увидав, как много было драгоценных вещей и как мало средств увоза и времени, он предоставил все дело дворецкому и не вмешивался более. Сам же он ехать никуда не хотел, преимущественно оттого, что ему совестно было подражать всем слабым уезжающим людям и женщинам. Он все верил еще в сражение последнее, отчаянное, как защита Сарагоссы. Потом же осталось так мало времени, когда узналось, что сражения не будет, что не успел принять нового решения. Смутно представлялось ему 666 и Pierre de Besouhoff, но главное волновало его беспокойство и показать, что всё ему действительно море по колено, как он это почувствовал и сказал на Дворянском собрании. Главное чувство, владевшее им, было то русское чувство [равно〈душия〉], которое заставляет загулявшегося купца перебить все зеркала,— чувство, выражающее высший суд над всеми условиями истины жизни, на основании какой-то другой, неясно сознанной истины. Одно, о чем и не думал Pierre, но что инстинкт дал понять ему и что было уже решенный вопрос, как только он задумал оставаться в Москве, было то, что он будет оставаться в Москве не под своим именем и званием графа Безухова и зятя одного из главных вельмож, а в качестве своего дворника[2]. Он перенес свою постель и книги во флигель и поместился там за перегородкой комнатки, в которой жил [привратник] дворецкий с старухой-тещей, женой и свояченицей, вдовой, бойкой, худой, красивой бабой, когда-то бывшей 1-й любовью Pierr'a и потом испытавшей много превратностей и радостей и бывшей близко знакомой со многими из богатейших московских молодых людей. Теперь она была sur le retour[3], повязана платочком, с косичками, румяными, чахоточными щеками, мускулистыми, худыми, сильными членами и блестящими, прекрасными, всегда веселыми глаза-

[1] На полях: *Pierre первое время, когда один, то озлоблен и оскорблен, но потом смягчен. Остался оттого, что совестно ехать.*

Pierre в доме Ростовых с дворником в комнате Наташи, танцы, офицер. Долохов. Пожар. Ребенок. По пожару взят на Девичьем Поле.

Старушка, знакомая Pierr'a. Pierre рассказывает французу про свою любовь. Убита девка за то, что выстирала услужливо ассигнации в штанах, и тело ее осталось. Ребенок Pierr'a.

Масонство менее действует, чем всемирное знакомство добрых людей. Сапоги разбойник снимал — дед заплакал, за колпак деда.

Дети из палок стреляют. Б... Белобородова.

[2] На полях: *В Pierre детская наивность незнания языка и условий быта, за которые с ним обращаются, как с ребенком, почтительно.*

[3] уже немолода

ми. Отношения, кончившиеся весьма приятно для Мавры Кондратьевны, со стороны Pierr'а теперь были забыты. Мавра Кондратьевна была с Pierr'ом почтительно фамилиарна и веселила весь их кружок своей находчивостью и бойкостью.

Она нарядила Pierr'а в армяк Степки (сначала выпарив его), и она, принарядившись, пошла с Pierr'ом навстречу французам. В кабаке был крик, Мавра Кондратьевна останавливается. Pierr'а остановили и через поляка спросили: — Где жители? Кто он? Какой это костел, показывая на собор? — Они поглядели на драгун, на пехоту. Мавра Кондратьевна, смеясь, советовала Pierr'у ласковее быть с ними.

И страшно и весело было Pierr'у подумать, что он уже обхвачен и корабли сожжены. Он всё ходил, смотрел разные войска и вблизи видел живые, добрые, усталые, страдальческие, человеческие лица, которые жалко ему симпатичны были. Они кричали «Vive l'Empereur!» — и были минуты, что Pierr'у казалось (уже под конец), что так и должно быть и что они правы. Ему даже захотелось закричать.

Они [признали] узнали, что Наполеон стоял в Драгомиловском предместии, и вернулись. Мавра Кондратьевна с платком, свернутым мышкой, в розовом платье и лиловом шелковом платке пошла одна, нисколько не робея, подмигивая французам.

Pierre пошел один в Старую Конюшенную к княжне Чиргазовой, старой-старой москвичке, которая, он знал, не выезжала из Москвы. Pierre пошел к ней, потому что некуда было деваться, и он рад был, что пошел к ней. Как только он вошел в ее переднюю, услыхал привычный запах старого затхла и собачек в передней, увидал старика лакея, девку и шутиху, увидал цветочки на окнах и попугая,— всё по-старому, так он опять попал в прежнее свое русское состояние.

— Кто там? — послышался старухин ворчливо-визгливый голос, и Pierre невольно подумал, как посмеют войти французы, когда она так крикнет.

— Царевна! (так звали шутиху) подите же [кто] [сюда] в переднюю.

— Это я, княжна. Можно?

— Кто я? Бонапарт, что ль? А, ну здорово, голубчик, что ж ты не убежал? Все бегут, отец мой. Садись, садись. Это что ж, в кого нарядился, или святки уж, ха-ха. Царевна, поди погляди... А [и то правда] что ж они тебе сделают. Ничего не сделают. Что ж, пришли, что ль? — спрашивала она, точно как спрашивала, пришел ли повар из Охотного ряда. Она [видимо] или не понимала или не хотела понимать. Но, странно, ее уверенность была так сильна, что Pierre, глядя на нее, убеждался, что действительно ничего нельзя ей сделать.

— А соседка-то моя, Марья Ивановна Долохова, вчера уехала,— сынок спровадил, так же, как ты, наряжен, приходил меня уговаривать уехать, а то, говорит, сожгу. А я говорю: сожжешь, так я тебя в полицию посажу[4].

— Да полиция уехала.

— А как же без полиции? У них, небось, своя есть. Я, чай, без полиции нельзя. Разве можно людей жечь? Пускай едут, мне выгода: [у меня] [дрова] я на двор к ним прачечную перевела, мне простор...

— А что ж, не приходили к вам?

— Приходил один, да я не пустила.

В это время послышался стук в калитку, и скоро вошел гусар. Очень учтиво, прося извинения за беспокойство, он попросил поесть. Грузинская княжна посмотрела на него и, поняв, в чем дело, велела отвести его в переднюю и покормить.

---

[4] На полях: *М. Д. Ахросимова.*

И. И. ТЕРЕБЕНЕВ. КАРИКАТУРА-ЛУБОК. 1812 Г.

— Поди, голубчик, посмотри, дали ли ему всего: от обеда вафли хорошие остались, а то ведь они рады, сами сожрут...

Pierre подошел к французу и поговорил с ним.

— Граф Петр Кирилыч, поди сюда,— закричала старуха, но в это время француз, отзывая в переднюю Pierr'а и показывая черную рубаху, краснея, просил дать ему чистую, ежели можно. Pierre вернулся к старухе и рассказал.

— Хорошо, дать ему полотна 10 аршин, да сказать, что я из милости даю[5]. Да скажи ему, чтоб он своему начальнику сказал, что, мол, вот я, княжна Грузинская, Марфа Федоровна, живу, никого не трогаю и чтоб они мне беспокойства не делали, а то я на них суд найду, да лучше самого бы ко мне послал. Хорошо, хорошо, ступай с богом,— говорила она французу, который расшаркивался в дверях гостиной en remerciant la bonne dame...[6].

Выходя от княжны, Pierre в темноте лицо с лицом наткнулся с человеком в таком же армяке, как он сам.

— А, Безухой! — сказал человек, которого Pierre тотчас узнал за Долохова. Долохов взял его за руку, как будто они всегда были друзья.— Вот что, ты остался, и хорошо. Я запалил уже Каретный ряд, мои молодцы зажгут везде, да вот как мне с старухой быть, жалко; а материн дом я зажгу.

Pierre тоже забыл в это время, что Долохов был его враг, он без предисловия отвечал ему.

— Нельзя, за что же ее жечь? — сказал он.— Да кто ж распорядился жечь?

— Огонь! — отвечал Долохов,— а свой дом зажжешь?

— Да лучше, чем угощать в нем французов,— сказал Pierre,— только сам зажигать не стану.

---

[5] На полях: *Типы французов. Итальянец — нежный, добрый, образованный Рыжий Javert, честный служака. Брульон весельчак.*

[6] благодаря добрую госпожу...

— Ну, я тебе удружу. Завтра сделаю визит с красным петухом,— сказал Долохов, близко приставляя свое лицо к лицу Pierr'a, и, засмеявшись, пошел прочь.

— Ежели меня нужно будет, спроси у Данилки под Москворецким мостом.

Вернувшись домой во флигель, Pierre встречал везде французских солдат; некоторые спрашивали его, кто он, и, получая ответ: «дворник из такого-то дома»,— пропускали его. У его дома стояли часовые, и в доме, как он узнал, стоял важный французский начальник. В галерее сделали спальню, перестановили всё и спрашивали, где хозяин, и с Маврой Кондратьевной заигрывали [да она]. Слышно было тоже про пожары.

На другой день Pierre пошел опять ходить и [на Арбате встретил Наполеона] невольно толпой народа привлечен был к гостиным рядам, которые горели. Здесь от дыма он пошел к реке и у реки наткнулся на толпу, около мальчика 5 лет. Чей он был — никто не знал, и взять его никто не решался. Pierre взял его и пошел домой. Но горела уже и Покровка, и его дом. Толпы народа [⟨бежали?⟩] и солдат грабили и сновали по городу. [Pierre прошел к княжне Грузинской. У них стоял начальник во флигеле, и ее не трогали — посылали ей даже гостинцев.] У своего входа 9 он встретил Мавру Кондратьевну, она бежала и кричала, что всё сгорело и разграблено. Они вместе с ней пошли к церкви. По дороге видели, как убил улан пикой купца. В церкви нечего было есть. Мавра Кондратьевна пошла на добычу и достала чаю, и сахару, и водки, а водку променяла на хлеб. [В церковь пришли два] Pierre пошел на добычу, но по дороге был остановлен солдатом, который снял с него кафтан и велел нести мешок. По дороге они зашли на Подновинское Поле, там Pierre видел, как дворнику, старику, велел солдат сесть и разуться. Старик заплакал, мародер отдал ему сапоги и ушел. Потом отпустил Pierr'a. Когда Pierre вернулся голодный, он заснул. Поутру пришли два офицера в церковь. Один подошел к Pierr'у, спрашивая, кто он. Pierre сделал ему масонский знак, которого не понял офицер, но обратился с вопросом, что ему нужно. Pierre рассказал свое положение. Они пошли вместе с найденышем на квартиру француза в доме Ростовых, пообедали и выпили. Pierre рассказал свое положение и свою любовь. Он говорил, как духовнику. Француз — милый, умный человек. Pierre, чтобы не подводить француза, давшего ему слово, ушел к княжне Грузинской. У нее начальник, присылавший ей кофе. На дворе тихо, дети стреляют из палок в французов. Но на дворе соседей событие: убийство кухарки за то, что прислужилась: вымыла панталоны с ассигнациями. Pierre идет отыскивать Долохова, чтоб найти средство уйти. Он встретил Долохова и зашел в подвал. Вдруг француза Долохов ударил ножом и пистолетом и выскочил. Pierr'a взяли и повели на Девичье Поле к Даву. При нем расстреляли 5-х. Его положили в часовню. Часовня для них была только место.

Масонские знаки сначала не помогают.

⟨XVII⟩

В Петербурге после приезда государя из Москвы многое было уложено и готово к отправке. В высших кругах с бо́льшим жаром, чем когда-нибудь, шла сложная борьба партий: Румянцева, французов, патриотическая Марии Федоровны, оскорбленной самим государем, и бестолковая цесаревича, заглушаем⟨ая⟩ и усиливаем⟨ая⟩ трубением трутней; но спокойная, роскошная, тщеславно-пустая жизнь, озабоченная только признаками жизни, шла по-старому, из-за хода этой жизни надо было делать большие усилия, чтобы сознавать опасное и трудное положение государства. Те же были выходы, даже балы, французский театр,

И. И. ТЕРЕБЕНЕВ. КАРИКАТУРА-ЛУБОК. 1812 Г.

интересы двора, интрижки службы и торговли. Только в самых высших кругах делались усилия напоминать то положение, в котором находилось государство. [1 сентября пришло известие о Бородинском сражении.] Так, у Анны Павловны 26 августа, в самый день Бородинского сражения, был вечер, цветком которого должно было быть чтение письма преосвященного...[1] посылавшего государю образ Сергия. Письмо это почиталось образцом патриотического духовного красноречия. Прочесть его должен был сам князь Василий, славившийся своим искусством чтения. Он читывал еще у императрицы. И искусство чтения считалось в том, чтобы громко, певуче, лавируя между отчаянным завыванием и нежным ропотом, переливать слова, совершенно независимо от их значения, т. е. что совершенно всё равно было, на какое слово попадало завывание, на какое ропот. Чтение это, как и все вечера Анны Павловны, имело политическое значение. Было собрано много народа и таких, которых надо было устыдить за их поездки во французский театр и воодушевить. [Пока] Анна Павловна еще не видела в гостиной всех, кого нужно было, и потому заводила общие разговоры. На одном конце говорили о Hélène, [шёпотом], рассказывали с соболезнованием о ее болезни. Она выкинула, и доктора отчаивались в ее излечении. [Дурные] Злые языки в стороне говорили, что странно ей выкинуть теперь, когда она 9 месяцев, как в разлуке с мужем.

— Ну, это положим,— говорил другой,— это — секрет комедии.— Он назвал очень важное лицо, находящееся [теперь] 〈больше?〉 в армии,—

[1] Отточие в автографе (прим. составителя).

но дело в том, что скандальная хроника говорит, что она и этому лицу не осталась верна и что неожиданное возвращение и приезд, когда l'autre, un petit housard[2] был тут, были причиной ее испуга.

— Жалко. Необыкновенно умная женщина!

— Ах, вы о бедной графине говорите,— сказала, подходя Анна Павловна,— Ах, как мне её жаль[3]. Мало, что умная женщина, какое сердце! И как необыкновенно она сформировалась. Мы с ней много спорили, но я не могу не любить её. Неужели нет надежды! Это ужасно. Ненужные люди живут, а цвет нашего общества...— Она не договорила и обратилась к Билибину, который в другом кружке, подобрав кожу и, видимо, сбираясь распустить ее, чтобы сказать un mot[4], говорил об австрийцах.

— Je trouve que c'est charmant[5],— говорил он про сообщение, при котором отосланы в Вену австрийские знамена, взятые Витгенштейном (le héros de Petropol[6]).

— Как, как это? — обратилась к нему Анна Павловна, возбуждая молчанье для услышания mot, которое она уже знала.

— L'Empereur renvoie les drapeaux autrichiens,— сказал Билибин,— drapeaux amis et égarés qu'il a trouvé hors de la route[7],— докончил Билибин, распуская кожу.

— Charmant, charmant. Ах, иди ⟨Гага?⟩,— сказал князь Василий, но в это время уж вошло то недостаточно патриотическое лицо, которое ждала для обращения Анна Павловна, и она, пригласив князя Василия к столу и поднося ему две свечи и рукопись, попросила его начать. Всё замолкло.

— Всемилостивейший государь император[8],— строго провозгласил князь Василий и оглянул публику, как будто спрашивая, не имеет ли кто сказать что-нибудь против этого. Но никто ничего не сказал.

— Первопрестольный град Москва, новый Иерусалим приемлет Христа *своего*,— вдруг ударил он на слове *своего*,— яко мать во объятия усердных сынов своих и, сквозь возникающую мглу провидя блистательную славу твоея державы, поет в восторге: Осанна, благословен прядый! — взвыл он и оглянул всех. Билибин рассматривал внимательно свои ногти, многие, видимо, робели, как бы спрашивая, в чем же они виноваты. Анна Павловна повторяла уже вперед, как старушка перед причастием: «Пусть наглый и дерзкий Голиаф...»

— Charmant! Quelle force![9] — послышались похвалы чтецу и сочинителю. Воодушевленные этой речью, гости Анны Павловны долго еще говорили о положении отечества и [предполагали] делали различные предположения о исходе сражения, которое на днях должно было быть дано.

— Vous verrez[10],— сказала Анна Павловна,— что завтра, в день рождения государя, мы получим известие. У меня есть хорошее предчувствие.

Предчувствие Анны Павловны действительно оправдалось. На другой день, во время молебствия во дворце по случаю дня рождения государя, князь Волконский был вызван из церкви и получил конверт от князя Кутузова [в своем старческом ⟨*1 нрзб*⟩], который писал, что русские не отступили ни на шаг, что французы потеряли гораздо более его, что он пишет второпях с поля сражения, не успев еще собрать последних

---

[2] Другой, молодой гусар

[3] На полях: *Жюли тут, ждет мужа.*

[4] словечко

[5] Я нахожу, что это прелестно.

[6] героем Петрополя

[7] Император отсылает австрийские знамена, дружеские и заблудившиеся знамена, которые он нашел вне настоящей дороги.

[8] На полях: *595 ⟨II т.?⟩ Богдановича.*

[9] Прелестно! Какая сила!

[10] Вы увидите

сведений. Стало быть, это была победа. И тотчас же по выходе из храма была воздана творцу благодарность за его помощь и за победу.

Предчувствие Анны Павловны оправдалось, и в городе всё утро царствовало радостно-праздничное настроение духа. Вдали от дел и среди условий придворной жизни весьма трудно, [обстоятельства] чтобы события отражались во всей их полноте и силе. Невольно события общие группируются около одного какого-нибудь частного случая. Так, теперь главная радость заключалась в том, что мы победили, и известие об этой победе пришлось именно в день рождения государя. Это было, как удавшийся сюрприз. В известии Кутузова сказано было тоже о потерях русских, и в числе их названы Тучков, Багратион и Кутайсов. Тоже и печальная сторона событий невольно в здешнем петербургском мире сгруппировалась около одного события — смерти Кутайсова. Его все знали. Государь любил его, он был молод и интересен. В этот день все встречались с словами:

— Как удивительно случилось! В самый молебен. А какая потеря Кутайсов! Ах, как жаль!

— Что я вам говорил про Кутузова,— говорил князь Василий с гордостью пророка.

Но на другой день не получилось известий из армии, и общий голос стал беспокоиться, а придворные страдать за страдание неизвестности государя.

— Каково положение государя,— говорили все. Упрекали Кутузова, и князь Василий уже помалкивал о своем protégé. Кроме того, к вечеру этого дня присоединилось еще печальное городское событие: узнали, что Hélène скоропостижно умерла, а на 3-й день общий разговор был уже о трех печальных событиях: неизвестность государя, смерть Кутайсова и смерть Hélène. Наконец, приехал помещик из Москвы, и по всему городу распространилось известие о сдаче Москвы. Это было ужасно! Каково было положение государя! Кутузов был изменник, и князь Василий, во время visites de condoléance[11], которые ему делали, говорил (ему простительно было в печали забыть то, что он говорил прежде), говорил, что чего же хотели от слепого и de mauvaises moeurs[12] старика.

Наконец приехал Мишо француз к государю и имел с ним знаменитый разговор, в котором, сделав государю jeu de mots[13], состоящее в том, что он оставил русских в страхе, [он вызвал государя] но страхе не боязни французов, а боязни, чтобы государь не заключил мира, он вызвал государя на выражение знаменитых слов, заключающихся в том, что государь готов отпустить бороду до сих пор и есть один картофель из всех овощей, а не заключать мира.

〈XVIII〉

[Pierre в это время] 1-го октября в Покров на Девичьем Поле звонили в монастырские колокола, но звонили не по-русскому[1]. Pierre вышел из шалаша, построенного на Девичьем Поле, и поглядел на колокольню. Это звонили два французские улана. [Он]

— Каршо? — спросил улан у Pierr'a.

— Нет, скверно,— сказал Pierre и по-французски прибавил, что звонить надо умеючи.

— Tiens, il parle français cet homme, dites donc[2].

Но часовой, стоявший у балагана, проходя мимо него с ружьем, ска-

---

[11] визитов сочувствия
[12] дурного нрава
[13] игру слов

[1] На полях: *Ребенка нет.*
[2] Каково, он говорит по-французски, этот человек, скажите, пожалуйста.

зал, не поворачиваясь: «rentrez»[3]. И Pierre вошел назад в балаган, где кругом стен сидели и лежали человек 15 русских пленных.

— Дяденька,— сказал ему мальчик 5-летний, толкая его за ногу,— пусти.

Pierre поднял ногу. Он наступил нечаянно на [⟨постель?⟩, на которую] тряпку, которую разостлал мальчик. Pierre поднял ногу и посмотрел на нее. Ноги его были босые, высовывавшиеся из серых, чужих панталон, завязанных по совету его товарища по плену — солдата — веревочкой на щиколотках. Pierre поставил ровно свои босые ноги и задумчиво стал смотреть на их грязные и толстые большие пальцы. Казалось, что созерцание этих босых ног доставляло Pierr'у большое удовольствие. Он несколько раз сам с собой улыбался, глядя на них, и потом пошел к своей шинели, на которой лежала деревянная чурочка и ножик, и стал резать ее. Солдат-сосед посторонился, но Pierre прикрыл его шинелью. А другому старику, видно чиновнику, который сидел рядом с ним и шил что-то, Pierre сказал:

— Что, Михаил Онуфриевич, пошло на лад?

— Да что, и руки отнимаются.

— Э, ничего, всё пройдет — мука будет,— сказал Pierre, улыбаясь и жуя язык, что он имел привычку делать работая, принялся зарезывать свою будущую куклу.

Мальчик подошел к нему. Pierre вынул кусок булки и усадил мальчика на шинель.

Pierre не видел давно себя в зеркало и, ежели бы увидал, то очень бы удивился, так как он стал непохож на себя и так он, к выгоде своей, переменился. Он похудел значительно, особенно в лице, но, несмотря на то, в плечах его и членах видна была та сила, которая наследственна была в их породе. Волосы, которые он постоянно из какой-то оригинальности и страха казаться занимающимся собой, он, портя себя, стриг в скобку, теперь обросли и курчавились так же, как курчавились все волосы его отца. Борода и усы обросли его нижнюю часть лица, а в глазах была [⟨какая⟩] свежесть, довольство и оживленность такие, каких никогда прежде не было. На нем была рубашка, остаток прежнего величия, тонкая, но разорванная и грязная, сверху шубка, женская, вероятно, как гусарский ментик внакидку, солдатские серые штаны, обвязанные у щиколоток, и замозоленные босые ноги, на которые он всё радостно поглядывал. В этот месяц плена в Москве Pierre много пережил. Много пострадал, как [говорят] казалось бы, но он чувствовал, что он столько насладился и узнал и себя, и людей, как не узнал во всю свою жизнь. И всё, что он узнал, в его понятии соединялось с понятием и ощущением босых ног. Казалось, и сапоги, и чулки — и переменять нужно, а вот босиком и легче, и поворотливее, и приятнее: «По крайней мере знаю, что это мои ноги». Pierre испытал много счастливого, но он не сказал бы этого теперь, напротив, он всякую секунду думал о том счастии, которое будет, когда он избавится от этого плена, и желал этого всеми силами души. Но в глубине души он, взглядывая на свои босые ноги, чувствовал себя счастливым. И это происходило преимущественно оттого, что в 1-й раз в жизни он лишился полной свободы и излишества, которыми он пользовался всю жизнь,— никогда он прежде не знал радости поесть и согреться; 2) ему было чего желать, 3) он чувствовал, особенно благодаря ребенку, который попался ему, что в тех тесных рамках свободы, в которых он действовал, что он поступил наилучшим образом, 4) потому что, глядя на уныние всей этой толпы, его окружающей, он говорил себе, что не стоит унывать, и действительно не унывал, а радовался теми радостями жизни, которые ни у кого отнять нельзя, 5) и главное, что за свободу он чувствовал теперь с своими бо-

[3] «вернитесь»

сыми ногами, что за море предрассудков соскочило с него, когда думал, что у него нет предрассудков, как далеки от него были и чужды понятия войны, полководцев, геройства, государства, управления или наук философских и как близки были ему понятия человеческой любви, сострадания, радостей, солнца, пенья. В часовне он пробыл 5 часов, и это были самые тяжелые его минуты. Он видел, что всё горело, что все уходят и что его забыли. Ему физически страшно стало, и он, высунувшись в решетку, закричал:

— Коли хотите сжечь меня живого, так так и скажите, а коли это нечаянно, так я вам имею честь о себе напомнить.

Офицер, проходивший мимо, ничего не сказал, но скоро пришли и взяли его, и, присоединив к другим, повели через город на Покровскую 〈гауптвахту?〉. Потом его два раза водили в какой-то дом, где его допрашивали о его участии в пожарах [и при нем расстреляли 5], и отвели на Девичье Поле. Там его привели к Даву. Даву писал что-то и, оборотившись, посмотрел на Pierr'а пристально и сказал:

— Я знаю этого человека, я видал его,— расстрелять.

Pierre похолодел и по-французски заговорил:

— Вы не могли меня знать, потому что я никогда не видал вас.

— А, вот он говорит по-французски,— сказал Даву и еще раз посмотрел на Pierr'а.

Они [долго] на минуту смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Pierr'а. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и понятий: что они оба дети [одной матери] человеческие, что у каждого из них есть или была мать, что их любили, они любили, что они увлекались, и делали зло и добро, и гордились, и тщеславились, и раскаивались. Pierre понял в различии этого 2-го взгляда от 1-го свое спасение. В 1-м взгляде он видел, что для Даву, приподнявшего только голову от отчетов по корпусам, где людские дела и жизни назывались №-ами, что для Даву, который был методист дела и который был жесток не потому, что любил жестокость, а любил аккуратность дела и любил, тщеславясь своей любовью к делу, показывать, что все нежности сострадания ничто в сравнении с делом, он понял, что после 1-го взгляда Даву застрелил бы его, не взяв на совесть свою дурного поступка, но теперь уж он имел дело не с ним, а с человеком.

— Почему вы не сказали, что вы знаете наш язык?

— [Я скрыл] Я не нашел нужным.

— Вы не то, что говорите.

— Да, вы правы. Но я не могу сказать, кто я.

В это время вошел адъютант Даву, и Даву велел отвести Pierr'а на экзекуцию. Это было сказано неясно. Pierre чувствовал, что можно было [спросить] понять это так, чтобы расстрелять его, и так, чтобы ему присутствовать при экзекуции, про приготовления к которой он слышал. Но он не мог переспросить. Он обернул голову и видел, что адъютант переспрашивал что-то.

— Да, да,— сказал Даву.

Но что «да», Pierre не знал.

Его два часовые привели к самой реке[4]. Там была толпа народа вокруг столба и ямы. Толпа состояла из малого числа русских и большого числа наполеоновских войск вне строя, и немцев, и итальянцев, и испанцев, которые поражали своим говором. Справа и слева столба стояли фронты французских войск. Два взвода, имея в середине 5 человек рус-

---

[4] На полях: *Француз, звонивший на колокольне Девичьего монастыря, говоривший накануне с ним, узнал его, выступил, остановился и закричал:*

— *Tiens, l'ami, j'en suis fâché, bien fâché pour vous.* 〈Эх, дружок, я огорчен, очень огорчен за вас.〉

ских, подошли к столбу. Это были обличенные поджигатели. Pierre близко остановился подле них. Командир взвода спросил грустно:

— И этого тоже? — слегка взглянув на Pierr'a (Pierr'у непонятно было, как его, графа Безухова, жизнь могла быть так легка на весах этих людей.)

— Нет,— сказал адъютант,— только присутствовать.

И они шёпотом что-то стали говорить. Забили барабаны, и русских выдвинули вперед.

Pierre всех рассмотрел их. Для него, для русского, все они имели значение — он сейчас по лицам и фигурам узнал, кто и кто они были. Два человека были из тех, которые с детства возбуждали ужас Pierr'a: это были бритые острожные, один высокий, худой, другой, черный, мохнатый, мускулистый с приплюснутым носом, 3-й был фабричный, желтый, худой малый лет 18, в халате. 4-й был мужик, очень красивый, с окладистой [черной] русой бородой и черными глазами. 5-й либо чиновник, либо дворовый, лет 45, с седеющими волосами и полным, хорошо откормленным телом.

Pierre слышал, что французы совещались, как стрелять, не по два ли вдруг, и сожалели, что нечет. Но несмотря на это, он видел, что им очень неприятно было исполнять эту обязанность, и они заботились только о том, как бы кончить дело поскорее. Решили по два. Взяли двух колодников и повели к столбу. Чиновник француз в шарфе [вышел] подошел к столбу и прочел по-французски и ⟨по-⟩русски приговор. Колодники смотрели вокруг к себе[5] молча разгоряченными глазами, как смотрит подбитый зверь на подходящего охотника. Один всё крестился, другой чесал спину и складывал впереди перед животом сильные, корявые руки. Наконец чиновник отошел, стали завязывать глаза и выбежали стрелки — 12 человек. Pierre отвернулся, чтобы не видать. Но выстрел, показавшийся ему ужасно громким, заставил его оглянуться. Был дым, и что-то делали у ямы французы с бледными лицами и дрожащими руками. Потом так же повели других двух, так же, такими же глазами и эти двое смотрели на всех, тщетно, одними глазами, молча, прося защиты и, видимо, не понимая и не веря тому, что будет. Они не могли верить. Они, они одни знали, что такое была для них их жизнь, и поэтому не понимали и не верили, чтобы можно было отнять ее. Pierre решился опять не смотреть, но опять, как будто ужасный взрыв, выстрел заставил его поглядеть. Он увидал то же: дым, кровь, бледные, испуганные лица и дрожащие руки. Pierre оглядывался, тяжело дыша, и волнение его еще более усиливалось тем, что вокруг себя на лицах русских, на лицах французских солдат, офицеров — всех без исключения — он читал бо́льший испуг, ужас и борьбу, чем на своем лице. «Да кто же это делает наконец? — думал Pierre.— Даже и Даву, и тот, я видел, пожалел меня и эти все страдают так же, как и я».

— Tirailleurs du 86-me, en avant![6] — прокричал кто-то. Повели 5-го. Это был фабричный в халате. Только что до него дотронулись, как он в ужасе отпрыгнул и закричал диким голосом, но его схватили за руки, и он вдруг замолк. Он [видимо, понял] как будто вдруг что-то понял. То ли он понял, что напрасно кричать, или то, что сказал ему охвативший его ужас, что невозможно, чтобы его убили. Он пошел так же, как и другие, подстреленным зверем оглядываясь вокруг себя [⟨воспаленными⟩] блестящими глазами. Pierre уже не мог взять на себя отвернуться и закрыть глаза. Любопытство и волнение его и всей толпы при этом 5-м убийстве дошло до высшей степени. Так же, как и другие, этот 5-й казался спокоен, [только ⟨глядел⟩] неся в руке шапку, запахивая халат, шагая ровно, и только глядел — спрашивая. Когда стали ему

---

[5] Так в автографе.
[6] Стрелки 86-го, вперед!

завязывать глаза, он поправил сам узел на затылке, видно резал ему, потом, когда прислонили его к окровавленному столбу, он завалился назад, и неловко ему было, так он поправился и, ровно поставив ноги, покойно прислонился. Pierre [пожирал так] всё так же пожирал его глазами, не упуская ни малейшего движения. Должно быть, послышалась команда, после команды выстрел 12 ружей, но никто, как после он узнал, ни он сам не слыхали ни малейшего звука от выстрела, видели только, как опустился на веревках фабричный, как показалась кровь в 2-х местах и как самые веревки от тяжести повисшего тела распустились и фабричный, неестественно опустив голову и подвернув ногу, повис. Кто-то крикнул, подбежали к нему бледные лица. У одного тряслась челюсть, когда он его отвязывал, и потащили его страшно неловко, торопливо за столб и стали сталкивать в яму, как преступники, скрывающие следы своего преступления. Pierre заглянул в яму и видел, что фабричный лежал там колени кверху, близко к голове, одно плечо выше другого. И это плечо судорожно и равномерно опускалось и поднималось. Но уже лопатины земли сыпались на это плечо. Часовой сердито, злобно и болезненно крикнул на Pierr'a, чтоб он вернулся. Послышались шаги уходивших. 12 человек стрелков примыкали к ним бегом в то время, как роты проходили. Уже присоединились к своим местам, но один молодой, белокурый солдат, стрелок в кивере, свалившемся назад, бессильно спустив ружье, с разинутым ртом и ужасом 〈с〉 раскрытыми глазами стоял еще против ямы, с того места, с которого он стрелял, и, как пьяный, шатался, делая то вперед, то назад несколько шагов, чтоб поддержать свое падающее тело. Он бы упал, ежели бы caporal[7] не выбежал из рядов и, не схватив его за плечи, не втащил в роту.

Все стали расходиться с опущенными головами и пристыженными лицами[8].

— Ça leur apprendra à incendier[9],— сказал кто-то, но видел, что он сказал это только так, чтоб похрабриться, но что он точно так же, как другие, был ужаснут, и огорчен, и пристыжен тем, что было сделано.

С этого дня Pierr'a содержали в плену. Сначала ему было дано особое помещение и его хорошо кормили, но потом, в конце сентября, его перевели в общий балаган и, видимо, про него забыли.

Тут в общем балагане Pierre роздал другим все свои вещи и сапоги и [〈оставил〉] жил, ожидая спасения, в том положении, в котором и находился теперь, 1-го октября. Ничего особенно Pierre не делал здесь, но невольно сделалось между всеми пленными что, как только кому-нибудь, все обращались к Pierr'y. Кроме того, что Pierre говорил по-французски и по-немецки (были караулы и баварские), кроме того, что он был ужасно силен, кроме того, что он,— никто не знал почему, ни пленные, ни он сам, ни французы,— пользовался большим уважением даже от французов: его звали le grand chevelu[10]. Не было человека из его товарищей, который бы не был ему обязан чем-нибудь: тому он помог работать, тому отдал платье, того развеселил, за того похлопотал у французов. Главное же его достоинство состояло в том, что он всегда был ровен и весел.

Не дострогав еще свою палочку, Pierre лег в свой угол и задремал. Только что он задремал, как за дверью послышался голос:

— Un grand gaillard. Nous l'appelons le grand chevelu, ça doit être votre homme, capitaine[11].

---

[7] капрал

[8] На полях: *Pierre испугался до ужаса после и передумал смерть и полюбил жизнь, детей, еду, булку.*

[9] Они узнают, как поджигать.

[10] волосатый великан

[11] Большой весельчак. Мы его волосатым великаном прозвали, должно быть, он и есть, капитан.

— Voyons, faites voir, caporal[12],— сказал нежный женский голос. И, нагибаясь, вошел капрал и офицер, маленький красавчик брюнет с прелестными, полузакрытыми, меланхолическими глазами. Это был Пончини, тайный друг Pierr'a. Он узнал о плене и положении Pierr'a и, наконец, добрался до него. У Пончини был сверток, который нес солдат. Пончини подошел [к самом⟨у⟩], оглядывая пленных, к Pierr'у, тяжело вздохнув, кивнул головой капралу и стал будить Pierr'a. Как только Pierre проснулся, выражение нежного сострадания, бывшее на лице Пончини, вдруг исчезло, он, видимо, боялся этим оскорбить его. Он весело обнял его и поцеловал.

— Enfin je vous retrouve, mon cher Pilade[13],— сказал он.

— Bravo! — закричал Pierre, вскакивая, и, взяв под руку Пончини, с тем самоуверенным приемом, с которым он хаживал по балам, стал ходить с ним по комнатам.

— Ну, как не дать мне знать? — упрекал Пончини.— Это ужасно,— положение, в котором вы находитесь. Я потерял вас из вида, я искал. Где, что вы делали?

Pierre весело рассказал свои похождения, свое свидание с Даву и расстреляние, на котором он присутствовал. Пончини бледнел, слушая его. И останавливался, жал его руку и целовал его, как женщина или как красавец, каким он был и который знал, что поцелуй его всегда награда.

— Но надо это кончить,— говорил он.— Это ужасно.— Пончини посмотрел на его босые ноги.

Pierre улыбнулся.

— Ежели я останусь жив,— поверьте, что это время будет лучшим в моей жизни. Сколько добра я узнал и как поверил в него и в людей. И вас бы я не знал, мой милый друг,— сказал он, трепля его по плечу.

— Надо вашу силу характера, чтобы так переносить всё это,— говорил Пончини, всё поглядывая на босые ноги и на узел, который он сложил.— Я слышал, что вы — в ужасном положении, но не думал, что до такой степени... Мы поговорим, но вот что...

Пончини, смутившись, взглянул на узел и замолчал. Pierre понял его и улыбнулся, но продолжал о другом.

— Рано ли, поздно кончится — так или иначе кончится война, а 2—3 месяца в сравнении с жизнью... [Есть ли] Можете ли вы мне что сказать о ходе дела, о мире?

— Да — нет — лучше я ничего не скажу вам, но вот мои планы. Во-первых, я не могу вас видеть в таком положении, quoique vous avez très bonne mine. Vous êtes un homme superbe. Et je voudrais que vous puissiez être vu dans cet état par celle...[14]. Но вот что...— и Пончини опять взглянул на узел, замолчал. Pierre понял его и, схватив снизу за руку, потянув, сказал:

— Давайте, давайте ваш узел благодетельный. Мне не стыдно принять от вас сапоги после того, как я не знаю, кто взял от меня, в моих домах, по крайней мере на 8 миллионов франков,— не мог он удержаться, чтобы не сказать, но добродушно веселой улыбкой смягчая выражение своих слов, могущее показаться упреком французам.— Одно только, что вы видите,— сказал он, обращая внимание Пончини на жадные глаза пленных, которые были устремлены на развязываемый узел, из которого виднелись хлебы, ветчина, и сапоги, и платье.— Надо будет разделить avec mes compagnons d'infortune et comme je suis le plus robuste

---

[12] Покажите мне его, капрал.

[13] Наконец-то я разыскал вас, мой дорогой Пилад.

[14] хотя вы выглядите хорошо. Вы молодчина. И я желал бы, чтобы вас увидала в этом положении та...

de la société j'y ai moins droit que les autres[15],— сказал он, не без тщеславного удовольствия, видя восторженное удивление на лице меланхолического, доброго, милого Пончини. Чтобы не мешал вопрос узла разговору [с Пончини], которым дорожили оба, Pierre роздал содержание узла товарищам, и оставив себе два белых хлеба с ломтем ветчины, из которых один он тотчас же стал есть, и пошел с Пончини на [⟨улицу⟩] поле ходить перед балаганом.

План Пончини состоял в следующем [что]. Pierre должен был объявить свое имя и звание, и тогда не только он будет освобожден, но Пончини брался за то, что Наполеон сам пожелает его видеть и, весьма вероятно, отправить его с письмом в Петербург. Как это и было... Но, заметив, что он говорит лишнее, Пончини только просил Pierr'а согласиться.

— Не портите мне всего моего прошедшего,— сказал Pierre.— Я сказал себе, что не хочу, чтобы знали мое имя, и не сделаю.

— Тогда надо другое средство; я похлопочу, но я боюсь, что мои просьбы останутся тщетными. Хорошо, что я знаю, где вы. Будьте уверены, что мои узлы будут так изобильны, что вы оставите и себе, что вам нужно.

— Merci! Ну, что княжна?

— Совершенно здорова и спокойна... Ах, mon cher, что за ужасная вещь — война, что за бессмысленная, злая вещь.

— Но неизбежная, вечная,— говорил Pierre,— и одно из лучших орудий для проявления добра человечества. Вы мне говорите про мои несчастия, а я так часто бываю счастлив в это время. В первый раз я узнал себя, узнал людей, узнал мою любовь к ней. Ну что, имели ли вы письма?

— Да, но можете себе представить, что моя мать всё не хочет слышать о моей женитьбе, но мне всё равно.

Поговорив до вечера, уже месяц взошел, друзья расстались. Пончини заплакал, прощаясь с Pierr'ом, и обещался сделать всё для [счастия] спасения его. Он ушел. Pierre остался и, глядя на дальние дома в месячном свете, еще долго думал о Наташе, о том, как в будущем он посвятит всю жизнь свою ей, как он будет счастлив её присутствием и как мало он умел ценить жизнь прежде.

На другой день Пончини прислал подводу с вещами, и Pierr'у достались валеные сапоги.

На 3-й день их всех собрали и вывели по Смоленской дороге. На первом переходе один солдат отстал, и французский солдат, отставши тоже, убил его. Офицер конвойный объяснил Pierr'у, что надо было идти, а пленных так много, что те, кто не хотят идти, будут расстреляны.

⟨XIX⟩

В половине сентября Ростовы с своим транспортом раненых приехали в Тамбов и заняли приготовленный для них вперед купеческий дом. [Князь Андрей ⟨вызвал?⟩] Тамбов был набит бежавшими из Москвы, и каждый день прибывали новые семейства. К князю Андрею прибыли его люди, и он поместился в том же доме, где Ростовы, и понемногу оправлялся. Обе барышни ростовского семейства чередовались у его постели. Главная причина тревоги больного — неизвестность о положении отца, сестры и сына — кончилась. Получено было письмо [от Nicolas и] от княжны Марьи с одним и тем же посланным, в котором извещался князь Андрей, что она едет с Коко в Тамбов, [благодаря своему спасителю Nicolas Ростову, который помог] благодаря Nicolas Ростову, который спас ее и был для нее самым нежным другом и братом.

---

[15] с моими товарищами по невзгоде, а так как я крепче их всех, я имею наименьшее право на всё это

У Ростовых очистили еще часть дома, пожавшись и уничтожив гостиную, и каждый день ждали княжну Марью. [Наконец]

20 сентября князь Андрей лежал в постели. [Наташа] Соня сидела и читала ему вслух Corinne.

Соня [читала] славилась хорошим чтением. Певучий голосок ее мерно возвышался и понижался. Она читала про выражение любви больного [лорда] Освальда и, невольно сближая Андрея с Освальдом и Наташу с Corinne, взглянула на Андрея. Андрей не слушал.

В последнее время у Сони явилась новая тревога. Княжна Марья писала (Андрей вслух читал это письмо Ростовым), что Nicolas был ей другом и братом, что она ввек сохранит ему нежную благодарность за его участие в тяжелые минуты, пережитые ею. Nicolas писал, что он на походе случайно познакомился с княжной Болконской и старался быть ей полезным, насколько мог, что было ему особенно приятно, так как он никогда не встречал, несмотря на отсутствие красоты, такой милой и приятной девушки.

Из сопоставления этих двух писем графиня, как заметила Соня, хотя графиня ничего не сказала об этом, вывела заключение, что княжна Марья была именно та невеста, богатая и милая, которая нужна была ее Nicolas для поправления дел. Отношения с Андреем оставались для всего семейства в неизвестности. Казалось, они были по-прежнему влюблены друг в друга, но на конференции Наташа объявила матери, [что] на вопрос ее о том, что из этого будет, что отношения их только дружеские, что Наташа отказала ему и не изменяла своего отказа, и не имеет причины изменять его.

Соня знала это [и тревога ее] и знала, что поэтому графиня лелеяла тайно мысль женить Nicolas на княжне Марье, от этого и так радостно хлопотала о устройстве для нее помещения; и этот-то план графини и был новой тревогой Сони. Она не сознавала этого и не думала о том, что ей хотелось бы поскорее женить Андрея на Наташе, преимущественно для того, чтобы потом, по родству, для Nicolas уже не было возможности жениться на княжне Марье; она думала, что она желает этого только из любви к Наташе, другу, но она желала этого всеми силами и кошачьи хитро действовала для достижения этой цели.

— Что вы смотрите на меня, m-lle Sophie? — сказал ей Андрей, улыбаясь доброй, болезненной улыбкой.— Вы думаете о аналогии, которая есть между вашим другом. Да,— продолжал он,— но только la comtesse Natalie в мильон раз привлекательнее этого скучного bas bleu[1] Corinn'ы...

— Нет, я ничего этого не думаю, но я думаю, что очень тяжело для женщины ожидать признания мужчины, которого она любит, и видеть его колебания и сомнения.

— Но, chère m-lle Sophie, есть, как и у лорда Невиля, соображения, которые выше своего счастия. Понимаете ли вы это?

— Я? То есть как вас понимать?

— Могли ли бы вы для счастия человека, которого вы любите, пожертвовать своим обладанием им?

[Соня] — Да, наверное...

Князь Андрей слабым движением достал письмо княжны Марьи, лежавшее подле него на столике.

— А знаете, мне кажется, что моя бедная княжна Марья влюблена в вашего cousin. Эта такая прозрачная душа. Она не только видна вся лично, но в письмах я вижу ее. Вы не знаете ее, m-lle Sophie.

Соня покраснела страдальчески и проговорила:

— Нет. Однако у меня будет мигрень,— сказала она и, быстро встав, она, едва удерживая слезы, вышла из комнаты, миновав Наташу.

— Что, спит?

---

[1] синего чулка

— Да,— она побежала в спальню и, рыдая, упала на кровать. «Да, да, это надо сделать, это нужно для его счастья, для счастья дома, нашего дома. Но за что же? Нет, я не для себя хочу счастия. 〈Надо?〉... [Да, да,— говорила себе между тем]

В этот же день в доме все зашевелилось, побежало к князю Андрею и на крыльцо. К подъезду подъехала огромная княжеская карета, в которой он езжал в город, и две брички. Из кареты вышла княжна Марья, Бурьен, гувернантка и Коля. Княжна Марья, увидав графиню, покраснела и, хотя это было первое ее свидание, бросилась в открытые её объятия и зарыдала.

— Я вдвойне обязана вам: за Андрея и за себя,— говорила она.

— Mon enfant! [2] — сказала графиня,— теперешнее время как счастливы те, которые могут помогать другим.

Илья Андреевич поцеловал руку княжны. Он представил ей Соню.

— Это племянница.

Но княжна Марья [3] всё искала с беспокойством кого-то. Она искала Наташу.

— А где Natalie?

— Она у князя Андрея,— сказала Соня.

Княжна улыбнулась и побледнела, вопросительно поглядев на графиню. Но на вопросительный взгляд её, спрашивающий о том, возобновились ли прежние отношения, ей ответили непонятной, грустной улыбкой.

Наташа выбежала навстречу княжне, почти такая же быстрая, живая и веселая, какой она бывала в старину. И княжну, как и всех, она поразила неожиданностью простоты и прелести. Княжна ласково поглядела на нее, но слишком невольно проницательно, и стала целовать.

— Je vous aime et vous connais depuis longtemps [4],— сказала она.

Наташа смутилась и молча отошла и занялась Коко, который ничего не понимал, кроме того, что она, Наташа, была веселее и приятнее всех, и больше всех полюбил её.

— Он совсем поправляется,— говорила графиня, провожая княжну к князю Андрею.— Но вы, ma pauvre enfant, combien vous avez souffer [5].

— Ах, я не могу вам рассказать, как это было тяжело,— [говорила] сказала княжна Марья (еще румяная и оживленная от холода и радости. «Совсем она не так дурна»,— думала графиня).— И ваш сын спас, решительно спас меня не столько от французов, сколько от отчаяния.

Слезы показались на прекрасных лучистых глазах княжны Марьи, когда она говорила это, и графиня поняла, что слезы эти относились к любви к ее сыну. «Да, она будет его женою, это прелестное создание»,— и она обняла княжну Марью и обе еще поплакали радостно, потом улыбнулись, отирая слезы и приготавливаясь войти к князю Андрею.

Князь Андрей, приподнявшись на кресле, сидел, встречая княжну Марью с исхудавшим, переменившимся, виноватым лицом, с лицом ученика, просящего прощения, что он никогда не будет, с лицом блудного, возвратившегося сына. Княжна Марья плакала, целовала его руки, приводила ему его сына. Андрей не плакал, мало говорил и только сиял преобразованным счастьем лицом. Он мало говорил об отце и его смерти. Всякий раз, когда нападали они на воспоминание об этом, то старались умалчивать. Говорить об этом было слишком тяжело. Они оба говорили себе: «после, после». А не знали они, что после они никогда и не будут говорить. Только одного не могла не рассказать княжна Марья, это — последних слов, которые, когда она ночью накануне его смерти сидела

---

[2] Дитя мое!

[3] В автографе ошибочно вместо: *княжна Марья* написано: *Наташа* (прим. составителя).

[4] Я вас люблю и знаю уже давно.

[5] моя бедняжка, сколько вы перестрадали

у его двери, не смея войти, и на другой день сказала ему это, как он — он суровый князь Николай Андреевич — сказал ей: «Зачем ты не вошла, *душенька*! Да, *душенька*!» — Мне так тяжело было.

Князь Андрей, услыхав это, отвернулся, нижняя челюсть его вся запрыгала, и он поскорее переменил разговор. Он спросил ее об ее отъезде и о Nicolas Ростове.

— Кажется, пустой малый,— сказал Андрей с хитрой звездочкой во взгляде.

— Ах, нет,— испуганно вскрикнула княжна, как будто ей физически больно сделали.— Надо было видеть его, как я в эти страшные минуты. Только человек с таким золотым сердцем мог вести себя так, как он. О нет.

Глаза князя Андрея засияли еще светлее.

«Да, да, это надо, надо сделать,— думал он.

— Да. Вот оно то, что еще оставалось в жизни, о которой я жалел, когда меня несли. Да, вот что. Не свое, а чужое счастие».

— Так он милый малый! Ну, я очень рад,— сказал он.

Княжну Марью позвали обедать, и она ушла, чувствуя, что не сказала самого важного: не узнала о теперешних отношениях с Наташей, но она почему-то, как бы чувствуя себя виноватой, боялась спросить о них. Сейчас после обеда брат ее избавил от этого труда.

— Ты удивляешься, я думаю, мой друг, нашим отношениям с Ростовой?

— Да, я хотела...

— Прежнее всё забыто. Я искатель, которому отказано, и я не тужу. Мы дружны и навсегда останемся дружны, но никогда она не будет для меня ничем, кроме младшей сестрой. Я никуда не гожусь.

— Но как она прелестна, André! Но я понимаю,— сказала княжна Марья и подумала, что гордость князя Андрея не могла ему позволить вполне простить ее.

— Да, да,— сказал князь Андрей, отвечая на её мысли.

Жизнь в Тамбове продолжалась с приездом княжны Марьи еще счастливее, чем прежде. [Старая графиня писала сыну, умоляя его отдать волю своему сердцу и просить руки княжны Марьи. Соня мучилась и боролась, но, когда она ближе узнала княжну Марью и от самой Наташи услыхала, что князь Андрей никогда не будет ее мужем, она написала письмо Nicolas, в котором]

Известия из армии были самые благоприятные, оба молодые Ростовы были целы, старший — в полку, меньшой — в партизанском отряде Денисова. [Граф Ростов даже]

Только старый Ростов, разоренный совершенно отдачей Москвы, был грустен и озабочен, писал письма ко всем сильным знакомым, прося денег и места. Один раз Соня застала его в кабинете рыдающим над написанным письмом. «Да, ежели бы это только было!» — думала она. Она заперлась к себе и долго плакала. К вечеру она написала письмо Nicolas, в котором отсылала ему кольцо, освобождала от обещания и просила просить руки княжны Марьи, которая сделает счастье его и всего семейства. Она принесла это письмо графине, положила на стол и убежала. С следующим курьером письмо было послано с прибавлением письма такого же содержания от графини.

— Donnez moi votre généreuse petite main à baiser[6],— сказал ей вечером князь Андрей, и они долго дружески разговаривали о Наташе.

— Любила ли она кого-нибудь сильно? — спрашивал Андрей.— Я знаю, что меня она никогда не любила совсем. [Она уважала] [боялась] Того еще меньше. Но других, прежде?

— Один есть, это — Безухов,— сказала Соня.— Она сама не знает этого.

---

[6] Позвольте мне поцеловать вашу великодушную ручку.

В тот же вечер князь Андрей при Наташе рассказывал о Безуховом, о известии, которое он получил от него. Наташа покраснела. Оттого ли, что она думала о Безухом больше, чем о другом, или от того, что с своим чутьем она чувствовала, что на нее смотрели, говоря это. Известие, полученное князем Андреем, было от Пончини, который в числе других пленных был приведен в Тамбов. На другой день Андрей рассказывал о чертах великодушия и доброты Pierr'a из своих воспоминаний и из того, что говорил этот пленный. Соня тоже говорила о Pierr'e. Княжна Марья делала то же.

«Что они со мной делают? — думала Наташа.— А что-то они делают со мной». И она беспокойно оглядывалась вопросительно. Она верила в том, что они, Андрей и Соня, лучшие друзья, а делают с ней всё для ее добра.

Вечером князь Андрей попросил Наташу спеть в другой комнате, и [пойти] княжна Марья села аккомпанировать, и два года почти не троганный голос, как будто [выиграв] сдерживая за всё это время всю свою обаятельность, вылился с такой силой и прелестью, что княжна Марья расплакалась, и долго все ходили, как сумасшедшие, неожиданно сблизившись, бестолково переговариваясь[7]. На другой день были приглашены пленные, которыми восхищались все в Тамбове, и в том числе Пончини. Два из них, генерал и полковник, оказались грубыми мужиками, не отчаивавшимися de baiser les comtesses Russes[8] и плевавшими в комнате, и один, понравившийся всем, тонкий, умный, меланхолический Пончини, особенно понравился всем тем, что он без слез не мог говорить о Pierr'e, и, рассказывая о его величии души в плену, с ребенком, доходил до того итальянского красноречия, которому нельзя не поддаться.

Наконец пришло письмо Pierr'a, что он жив и вышел с пленными из Москвы. И Пончини, признавшийся Андрею в признаниях Pierr'a и не переставший удивляться случаю, сведшему его именно с той особой, был подослан к Наташе, чтобы сделать ей эту indiscrétion[9], которая теперь, когда было получено известие о смерти Hélène, не могла иметь дурных последствий. [Наташа опять была счастлива.]

Старый граф видел всё это. Ему это не было радостно. Ему было тяжело и грустно — он чувствовал, что он при всём этом не нужен, что он отжил свою жизнь, сделал свое дело: наплодил детей, воспитал, разорился, и теперь они ласкают, жалеют его, но им его не нужно[10].

〈XX〉

После вступления неприятеля в Москву и доносов на Кутузова, и отчаяния в Петербурге, и негодования, и геройских слов, и опять надежды кончилось тем, что войска наши перешли за Пахрой с [Калужской] Тульской на Калужскую дорогу. Почему военные писатели, да и все на свете, полагают, что этот фланговый марш (это слово любят очень) есть весьма глубокомысленное движение, спасшее Россию и погубившее Наполеона, весьма трудно понять для человека, не принимающего всё на веру и думающего своим умом. Можно было сделать более 100 различных переходов и на Тульскую, и на Смоленскую, и на Калужскую дороги, и результат был бы тот же. Точно так же, подходя к Москве, уже дух войска Наполеона упал, разбегались солдаты, и еще больше упал вследствие пожаров и грабежей московских. Это говорится только потому, что трудно людям видеть всю совокупность причин, изменяющих

---

[7] На полях: *Князь Андрей уезжает в армию.*

[8] поцеловать русских графинь

[9] нескромность

[10] На полях: *Приехал в армию в Вязьму. Ему рассказывают. Письмо к князю Андрею. 〈Мефистофель?〉.*

события, и так и хочется всё отнести к действиям одного (такого же, как я) человека. [Но] Тем более, что это делает героя, которого мы так любим. Должно было быть так, и так было. Пробыв месяц в Москве, Наполеон и каждый человек его войска смутно чувствовали, что они погибли, и, стараясь скрывать это сознание, они, расстроенные, голодные и оборванные, пошли назад. За месяц тому назад под Бородиным они были сильны, а теперь, после месяца спокойных и удобных квартир и продовольствия в Москве и ее окрестностях, они, испуганные, побежали назад. Трудно поверить, что всё это сделал фланговый марш за Красной Пахрой. Были другие причины, которые я не берусь перечислять, но зато и не выставляю одной, недостаточной, говоря, что только от этого.

После отчаяния в русской армии и в Петербурге опять ожили. Из Петербурга часто стали ездить курьеры, и немцы, и генералы от государя, так — погостить в армии, и Кутузов особенно ласкал этих гостей. 3 числа, когда Кутузову сказали, что французы выступили из Москвы, он захлипал от радостных слез и, перекрестясь, сказал:

— Уж заставлю же я этих французов есть лошадиное мясо, как турок.

Это изречение часто повторял Кутузов. [Когда] Но Кутузову прислали план действий из Петербурга, ему надо было атаковать очень хитро, с разных сторон. Кутузов, разумеется, восхищаясь этим планом, находился в затруднении в исполнении его. Бенигсен доносил государю, что у Кутузова девка одета в казака.

Бенигсен подкапывал под Кутузова, Кутузов под Бенигсена, Ермолов под ⟨Коновницына?⟩, ⟨Коновницын?⟩ под Толя, опять под Ермолова, Винценгероде под ⟨Бенигсена?⟩ и т. д. и т. д. в бесконечных сочетаниях и перемещениях, но все они весело жили под Тарутиным с хорошими поварами и винами, и песенниками, и музыкой, и даже женщинами. Наконец явился гордый Лористон с письмом от Nanoléon'a, в котором Napoléon писал, что он особенно рад случаю засвидетельствовать свое глубокое уважение фельдмаршалу. Но князь ⟨Волконский?⟩ хотел один принять его, Лористон отказался — это было низко ему — и потребовал свидания с Кутузовым. Нечего делать, Кутузов надел занятые эполеты у Коновницына и принял. Генералы толпились около. Все боялись, как бы не изменил Кутузов. Но Кутузов как всегда отложил всё, отложил и Лористона, и Napoléon остался без ответа. Между тем Мюрат с Милорадовичем щеголяли глупостью под парламентерским флагом, и в один прекрасный день русские напали на французов, и французы побежали стремглав и удивлялись, что их всех не забрали, потому что они уже не могли драться по-прежнему. Не забрали же всех потому, что Кутузов поручил дело Бенигсену, и потому, чтобы подкатить Бенигсена, не дал ему войск и тем озлобил Бенигсена, но и, кроме того, опоздал — и оттого, что вне цепи, в целом помещичьем доме был кутеж у Шепелева и до ночи веселились и даже плясали сами генералы. Всё были хорошие генералы и люди, и рука бы не поднялась рассказывать их пляски и интриги, но досадно, что сами они всё писали державинским слогом о любви к отечеству и царю и т. п. вздор, а в сущности думали преимущественно о обеде и ленточке, синенькой, красненькой. Стремление это человеческое, и его осуждать нельзя, но так и говорить надо, а то это вводит в заблуждение юные поколения, с недоумением и отчаянием глядящие на слабости, которые они находят в своей душе, тогда как в Плутархе и отечественной истории видят только героев.

Французы после Тарутинского сражения, как растерянный заяц, пошли вперед на выстрел, а Кутузов, как промышленный стрелок, жалея заряда, не стал стрелять и отступил назад. Дойдя вправо до Малого Ярославца, однако, после небольшого нечаянного сражения заяц побежал назад в таком положении, что дворняжка догнала бы его. И действительно, в эту пору один дьячок взял 90 пленных и убил 30 человек. Партизаны побрали 10 тысяч пленных. Французские войска только жда-

Д. В. ДАВЫДОВ
Литография А. Мюнстера по рисунку Бореля. 1860-е годы

ли предлогов положить оружие et tirer son épingle du jeu[1]. Беспорядок, в сущности, армии был неимоверный: забывали целые депо, коменданты не знали, кто где находится. Каждый генерал тащил свой обоз накраденного, каждый офицер, солдат тоже. И, как обезьяна, захватившая в кувшине горсть орехов, не выпускала ее и скорее сама отдавалась в плен. Куда они идут и зачем — никто не знал, еще менее сам великий гений Наполеон, так как никто ему не приказывал. Около него еще соблюдался кое-какой decorum, писались приказы, письма, рапорты, ordre du jour[2], называли еще друг друга Sire! Mon cousin, prince d'Ekmuhl, roi de Naples[3]. Но все чувствовали, что они бедные и гадкие люди, нажившие себе горя, упреков совести и безвыходное несчастие. Приказы и рапорты были только на бумаге, в сущности был хаос. Ужас казаков: гикнет кто, и колонны бегут без причины. Дисциплина рушилась. Нищета была страшная, и требовать дисциплины нельзя было. Но потом, разумеется, всё жизненное, не укладывающееся в рамки человеческого понятия бедствия 300 тысяч,— из 300 тысяч поймет сто человек,— подведено под мнимые распоряжения по воле гениального императора. Это можно видеть, прочтя Tiera как образец 435 стр., II ч. А видеть, [что] какой хаос был, можно из того, что Денис Давыдов и другие, дьячки, брали по 10 тысяч

---

[1] убраться подобру-поздорову
[2] порядок дня
[3] Государь! Мой кузен, принц Экмюльский, король Неаполитанский

пленных, не теряя 100-й доли людей. А кто был на войне, тот знает, что только бегущего раненого медведя можно безобидно убить рогатиной, а не целого и смелого. Кутузов один знал это. Он не знал [это], как было дело, но знал, как знают это старые, жизненно умные люди, знал, что всё сделает время — всё само сделается. И в исторических событиях само делается лучше всего. $^1/_{100}$ доля той энергии, которая употреблена была при Смоленске и Бородине, уничтожила бы всю армию Наполеона и отдала бы его в плен. [Недаром он]

⟨XXI⟩

В эту пору, когда французы только того желали, чтобы их поскорее взяли в плен, а русские, занимаясь разными забавами, куражились около них, в это время Долохов был тоже одним из партизан. У него был отряд из 300 человек, и он жил с ним по Смоленской дороге.

Денисов был другим партизаном. И у Денисова, теперь полковника, в партии находился Петруша Ростов, непременно желавший служить с Денисовым, к которому он получил страстное обожание еще со времен приезда его в 1806 в Москву.

Кроме этих партий, рыскали в этом же пространстве, недалеко, партия одного польского графа в русской службе и немца, и генерала.

Денисов ночью [сидел] лежал на полу, на коврах, в разваленной избе, с бородой, в армяке и с образом Николая чудотворца на цепочке, и писал, быстро трещя пером, изредка попивая из стакана, налитого половиной рома и чая.

Петя с широким своим добрым лицом и худыми отроческими членами сидел в углу на лавке, обожательно, набожно поглядывая на своего Наполеона. Петя был тоже в фантастическом костюме: армяке с патронами, вроде черкески, и синих кавалерийских панталонах и в шпорах. Как только Денисов кончил одну бумагу, Петя взял ее, чтобы печатать.

— Можно прочесть?

— Можно, посмотри их... распечатал...

Петя прочел, и чтение это увеличило его восторг к гению своего Наполеона. Бумаги, которые писал Денисов, были ответом на требование 2-х командиров отрядов, дипломатически приглашавших Денисова соединиться с ними, то есть, так как Денисов был моложе чином, поступить под их начальство для атаки большого кавалерийского депо Бланкара, на которое точили зубы все начальники партий, желая приобрести славу этой добычи. Депо же Бланкара, загроможденное ранеными, пленными, голодными, главное, обозом, забытое штабом Наполеона, давно только ждало того, чтобы кто-нибудь из казаков взял его. Денисов отвечал одному генералу, что он поступил уже к другому под начальство, а другому писал, что он уже поступил к одному, каждому подпуская шпильки формальности, на которые он был великий мастер, и таким образом отделывался от обоих и намеревался сам захватить депо, и славу, и чин, и крест, может быть.

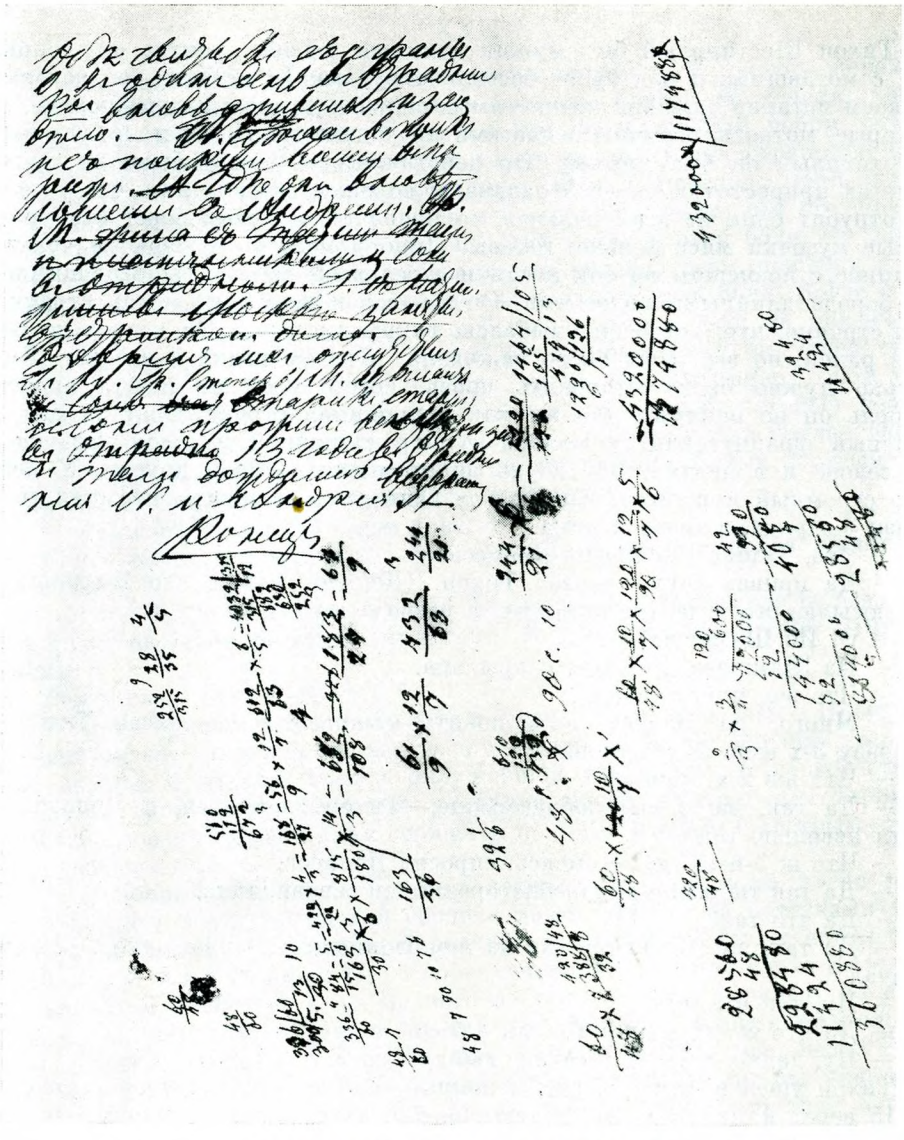
— Отлично отделал,— сказал Петя в восторге, [только как бы нам Долохов не нагадил] не понимая всей дипломации и цели ее.

— Посмотри, кто там,— сказал Денисов, заслышав мягкие шаги в сенях.

— Слушаю-с,— старательно проговорил Петя, особенно счастливый играть с своим Наполеоном в службу.

В домашней жизни он был на «ты» с Денисовым, как и все, но как до службы, так он был адъютант. Денисов, склонный играть в службу и в Наполеона, еще более был поощрен к этому твердой верой Пети в его наполеонство.

Шаги принадлежали Тихону Шестипалому, которого ввел Петя. Тихон Шестипалый был мужик из Покровского. Когда при начале своих



ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА РУКОПИСИ 107

Автограф

действий Денисов прибыл в Покровское, ему жаловались на двух мужиков, принимавших французов — Прокофия Рыжего и Тихона Шестипалого. Денисов тогда же, пробуя свою власть и свое уменье управлять ею, предварительно разгорячившись, велел расстрелять обоих. Но Тихон Шестипалый пал в ноги, обещая, что будет служить верно, что он только по глупости, и Денисов простил его и взял в свою партию.

Тихон, сначала исправлявший черную работу раскладки костров и доставания воды, скоро оказал необыкновенные способности в партизанской войне. Он раз, идя за дровами, наткнулся на мародеров и убил двух, а одного привел. Денисов шутя взял его с собой верхом, и оказалось, что не было человека, способного больше перенести трудов, видеть, подлезть неслышно дальше и менее понимать, что такое опасность, как Тихон Шестипалый, и Тихон был зачислен в казаки, в урядники, и получил крест.

Тихон Шестипалый был мужик длинный, худой, с низко опущенными, с мотавшимися как будто бессильно руками [и ногами], но которые в своем мотании ударяли крепче самых сильных, и мотавшимися ногами, но которые, мотаясь, огромными шагами проходили по 70 верст, не уставая. Шестипалый он был, потому что действительно у него были на руках и ногах приросточки около 5 пальца, и ворожея сказала ему, что, ежели он отрубит один из этих пальцев, то пропадет, и Тихон берег эти уродливые кусочки мяса больше головы. Лицо у него было изрытое чем-то, длинное, с повисшим на бок носом и с редкими, кое-где выбивающимися на бороде длинными волосьями. Он улыбался редко, но очень странно, так странно, что, когда он улыбался, то все смеялись. Он несколько раз был ранен, но все раны скоро заживали, и он не ходил в лазарет. Ему только нужно было остановить кровь, которую он не любил видеть. А боль он не понимал, так же как не понимал страха. Одет он был в красный французский гусарский мундир с шляпой пуховой казанской на голове и в лаптях. Эту обувь он предпочитал всем другим. У него был огромный мушкетон, который он один умел заряжать, насыпая туда сразу 3 заряда, и топор и пика.

— Что, Тишка? — спросил Денисов.

— Да привел двух,— сказал Тихон. (Денисов понял, что 2 пленных. Он посылал его туда, где стоит парк, разведать.)

— О! Из Шамшева?

— Из Шамшева. Вот тут, у крыльца.

— Что же, много народа?

— Много, да плохой, всех побить можно разом,— сказал Тихон.— Я сразу 3-х взял за околицей.

— Что же 2-х привел?

— Да так, ваше высокоблагородие,— Тихон засмеялся, и Денисов и Петя невольно тоже.

— Что ж 3-й-то где? — смеясь, спросил Денисов.

— Да так ты, ваше высокоблагородие, не серчай, так...

— Да что так?

— Да так, плохонькая такая на нем [шинелешка] одежонка...— он замолчал.

— Ну, так что ж?

— Да что ж его водить-то, так — босой.

— Ну, ладно, ступай, я сейчас выйду к ним.

Тихон ушел и вслед за ним в комнату вошел Долохов, прискакавший за 15 верст к Денисову всё с тем же, чем занят был и Денисов — желанием отвести его от депо и самому взять его. Долохов поговорил с тихоновыми пленными и вошел в комнату. Долохов был одет просто, в военный гвардейский сюртук без эполет и в бальные щегольские ботфорты.

— Что же это мы стоим, моря караулим? — заговорил Долохов, подавая руки Денисову и Пете.— Что же ты не возьмешь их из Ртищева, ведь там 300 пленных наших,— говорил он.

— Да я жду помощи на депо напасть.

— Э, вздор, депо не возьмешь, там 8 баталионов пехоты, спроси-ка, вот твой привел.

Денисов засмеялся.— Ну, понимаем, понимаем вас,— сказал он.— Хочешь пуншу?

— Нет, не хочу, а вот что: у тебя пленных набралось много, дай мне человек 10, мне натравить молодых казачков надо.

Денисов покачал головой.

— Что ж ты не бьешь их? — просто спросил Долохов.— Вот нежности...

Долохов обманул всех, и 2-х генералов, и Денисова. Он, не дожидаясь никого, напал на другой день на депо [и ⟨отобрал?⟩] и, разумеется, взял всё то, что только дожидалось случая отдаться.

〈XXII〉

Pierre находился в этом депо в числе пленных. С первого перехода от Москвы е него сняли валенки, и есть им ничего не давали, кроме лошадиного мяса с порохом. Ночевали они под открытым небом. Становились заморозки. На 2-м переходе Pierre почувствовал страшную боль в ногах и увидал, что они растрескались. Он шел, невольно припадая на одну ногу, и с этого времени почти все его силы души, вся его способность наблюдения сосредоточилась на этих ногах и этой боли. Он забыл [дни — 〈ночи〉] счет времени, забыл место, забывал свои опасения и надежды, он желал не думать о ней, думал только о этой боли. Когда и где это было, он не помнил, но одно событие поразило его: за повозками, в которых везли картины, и кареты, из которых одну он узнал свою, это *принадлежало*, как ему сказали, au prince d'Ettingen[1], шли они, пленные. Подле Pierr'a шел старый солдат, тот самый, который научил его подвязывать ноги и мазать их. Справа от Pierr'a шел солдат, француз молодой, с острым носом и черными, круглыми глазами. Старый русский солдат стал хрипеть и просился отдохнуть.

— Avancez![2] — кричал сзади caporal.

Pierre повел его под руку, сам хромая. У солдата болел живот. Он был желт.

— Dites lui vous autres,— сказал француз,— qui comprenez là bas, dites lui qu'on ne laisse personne en arrière. Il y a ordre de fusiller ceux qui restent[3].

Pierre сказал это солдату.

— Один конец,— сказал солдат и упал назад, крестясь.— Прощайте, православные,— говорил он, крестясь и кланяясь. И, как корабль, уносила всё дальше и дальше Pierr'a окружавшая его толпа. А серый старик сидел на грязной дороге и все кланялся. Pierre смотрел на старика и услыхал повелительный крик сержанта на того рядового с вострым носом, который шел справа.

— Исполняйте приказ,— крикнул сержант и толкнул за плечо молодого солдата. Солдат побежал сердито назад. Дорога за березками заворотила, и Pierre, оглядываясь, видел только дым выстрела, и потом бледный солдат и испуганный [и 〈отворачивающийся?〉], как будто он увидал привидение, прибежал и, ни на кого не глядя, пошел [вперед] на своем месте. Старика пристрелили, и так пристрелили многих из толпы в 200 человек, шедших с Pierr'ом. Но, как ни ужасно это было, Pierre не обвинял их. Им самим было так дурно, что едва ли бы некоторые не согласились быть на месте солдата. Лихорадочные, щелкая зубами, садились на краю дороги и оставались. Все разговоры, которые он слышал, шли о том, что положение их безвыходно, что они погибли, что стоит только казакам броситься, и ничего не останется. Несколько раз всё бросалось бежать от вида казака и иногда просто от ошибки. Pierre видел, как ели сырое лошадиное мясо. Но всё это Pierre видел, как во сне. Всё внимание его постоянно было направлено на свои больные ноги, но он всё шел, сам удивляясь себе и этой усиливаемости страданья и сносности страдания, вложенного в человека. Почти каждый вечер он говорил: «нынче кончено» — и на другой день опять шел. Общее впечатление деморализации войск отразилось, как во сне, на Pierr'e во время этих переходов, число которых он не знал, но впечатление вдруг сгруппировалось в весьма простом, в сущности, но его весьма поразившем, случае. На одном из переходов шли, жалуясь, около него три француза; вдруг послышались слова: «l'Empereur», всё подбодрилось, вытянулось,

---

[1] герцогу Эттингенскому

[2] Вперед!

[3] Скажите ему, вы, который понимает, скажите ему, что нельзя тех, кто отстает, оставлять. Есть приказ пристреливать отставших.

сдвинулось с дороги, и предшествуемая конвоем, шибко проехала карета, остановилась немного впереди. Генерал у окна, выслушав что-то, снял шляпу. Раздались отчаянно счастливые крики: «Vive l'Empereur!» — и карета ⟨проехала?⟩.

— Qu'a-t-il dit?[4]

— L'Empereur, l'Empereur,— слышались со всех сторон ожившие голоса. Как будто и не было страдания.— En voilà un qui! C'est un gaillard. Oh! le petit caporal qui ne laisse pas marcher sur le pied[5],— слышались восторженные, уверенные голоса. А всё было то же: тот же холод, голод и труд, бесцельный, жестокий, и тот же страх, который не оставлял войска.

Ввечеру одного дня Pierr'a, которого все-таки отличали от других, офицеры пустили его к костру, и, угревшись, Pierre заснул. Спасение Pierr'a в эти тяжелые минуты была способность сильного, глубокого сна. Вдруг его разбудили. Но он потом не знал, было ли то наяву или во сне, что он видел. Его разбудили, и он увидал у костра французского офицера с знакомым, мало что знакомым, но близким, с которым имел задушевные дела, лицом. Да, это был Долохов, но в форме французского улана. Он говорил с офицерами на отличном французском языке, рассказывая, как его послали отыскивать депо и он заехал навыворот. Он жаловался на беспорядок, и французский офицер вторил ему и рассказывал то, что Долохов, казалось, не слушал. Увидав поднявшуюся курчавую голову Pierr'a, Долохов не удивился, но слегка улыбнулся (по этой улыбке не могло быть сомнения — это был он) и небрежно спросил, указывая на Pierr'a:

— [Prisonnier] — Cosaque?[6] — Ему ответили. Долохов закурил трубку и раскланялся с офицерами. Bonne nuit, messieurs[7].— Он сел на лошадь и поехал.

Pierre все смотрел на него. Ночь была месячная, и далеко видно. Pierre видел с ужасом, но с утешением, что это сон, как он подъехал к часовым цепи и что-то говорил. «Слава богу, благополучно проехал»,— подумал Pierre, но в это время Долохов вдруг повернул назад и рысью подъехал к костру. Его улыбающееся, красивое лицо видно было в свете огня.

— Tiens, j'oublie,— он держал записку карандашом,— est-ce quelqu'un de vous ne peut pas me dire ce qui veut dire en russe[8]: Безухой, [не говори] будь готов с пленными, завтра я вас отобью.— И, не дожидаясь ответа, он повернул лошадь и поскакал.

— Arrêtez![9] — крикнули офицеры, в цепи раздались выстрелы, но Pierre видел, как Долохов ускакал за цепь и скрылся в темноте.

На другой день была дневка в Шамшеве, и, действительно, ввечеру послышались выстрелы, мимо Pierr'a пробежали французы, и [один] первый вскакал в деревню Долохов. Навстречу ему бежал офицер с парламентерским белым платком. Французы сдались. Когда Pierre подошел к Долохову, он, сам не зная отчего, зарыдал в первый раз за время своего плена. Солдаты и казаки окружили Безухова и надавали ему платья и свели ночевать в избу, в которой ночевал генерал французский, а теперь Долохов. На другой день пленные проходили мимо подбоченившегося Долохова, громко болтая.

— Enfin d'une manière ou d'autre l'Empereur...[10],— сливались голоса.

---

[4] Что он сказал?

[5] Император, император! Вот он каков! Молодчина! О, наш маленький капрал не даст себе наступить на ногу.

[6] Пленный? Казак?

[7] Покойной ночи, господа.

[8] Чуть не забыл, не скажет ли мне кто-нибудь из вас, что значит по-русски

[9] Держи!

[10] Словом, так или иначе, император...

Долохов строго смотрел на них, прекращая их говор словами: «Filez, filez...» [11].

Pierr'a направили в Тамбов, и, проезжая через город Козлов, 1-й не тронутый войной, который он видел за два месяца, Pierre во второй раз заплакал от радости, увидав народ, идущий в церковь, нищих, калачника и купчиху в лиловом платочке и лисьей шубе, самодовольно, мирно переваливающуюся на паперти. Pierre никогда в жизни не забывал этого. В Козлове Pierre [узнал] нашел одно из писем Андрея, везде искавшего его, нашел деньги, дождался людей и вещей, и в конце октября он приехал в Тамбов.

Князя Андрея уже не было там, он опять поехал в армию и догнал ее у Вильны [12].

〈XXIII〉

Одно из 1-х лиц, которое он встретил там, был Nicolas. Nicolas, увидав Андрея, покраснел и страстно бросился обнимать его. Андрей понял, что это было больше, чем дружба.

— Я — счастливейший человек,— сказал Nicolas,— вот письмо от Marie, она обещает быть моею. А я приехал в штаб, чтобы проситься на 28 дней в отпуск: я два раза ранен, не выходя из фронта. А еще жду брата Петю, который партизанит с Денисовым. Андрей пошел на квартиру Nicolas, и там долго обо всем рассказывалось друг другу. Андрей был твердо намерен проситься опять — и только в полк. К вечеру приехал и Петя, не умолкая рассказывающий о славе России и Василии Денисове, завоевавшем целый город, наказывавшем поляков, облагодетельствовавшем жидов, принимавшем депутации и заключавшем мир.

— У нас геройская фаланга. У нас — Тихон.— Он и слышать не хотел ни о какой другой службе. Но, к несчастью, это самое завоевание города, которым так счастлив был Петр, не понравилось немцу-генералу, желавшему тоже завоевать этот город, и так как Денисов был под командой немца, то немец распек Денисова и отставил его от его геройской партии. Впрочем, это узнал Петя после, теперь же он был в полном восторге и, не умолкая, рассказывал о том, как Наполеона прогнали, каковы мы, русские, и как особенно у нас — все герои...

Андрей и Nicolas радовались на Петю и заставляли его рассказывать. Утром оба новые родные пошли вместе к фельдмаршалу просить каждый своего, и фельдмаршал был особенно милостив и согласился на то и на другое, но, видимо, хотел еще поласкать Андрея, но не успел, потому что в гостиную вошла панна Пшезовска с дочерью, крестницей Кутузова [1]. Когда он был губернатором в Вильне. Пани была хорошенькой девочкой, и Кутузов, сузив глаза, пошел к ней навстречу и, взяв за щеки, поцеловал ее. Князь Андрей дернул за полу Nicolas и повел его вон.

— Будьте на смотру оба,— сказал Кутузов им в дверь.

— Слушаю, ваша светлость.

На другой день был смотр; после церемониального марша Кутузов подошел к гвардии и поздравил все войска с победой. [Что осталось из того]

— Из 500 тысяч нет никого, и Наполеон бежал. Благодарю вас, бог помог мне. Ты, Бонапарт, волк,— ты сер,— а я, брат, сед,— и Кутузов при этом снял свою без козырька фуражку с белой головы и нагнул волосами к фрунту эту голову...

---

[11] «Проходи, проходи...»

[12] На полях: *Письмо Сони. Едет мимо костров и 〈Vive Henri IV?〉, и это решает его.*

[1] На полях: *Он читал M-me Genlis и писал письмо своей дочери. La fortune qui est une femme.* 〈Счастье, которое есть женщина.〉

— Ураа, аааа! — загремело 100 тысяч голосов, и Кутузов, захлебываясь от слез, стал доставать платок. Nicolas стоял в свите, между братом и князем Андреем. Петя орал неистово «ура», и слезы радости и гордости текли по его пухлым, детским щекам. Князь Андрей чуть заметно добродушно, насмешливо улыбался.

— Петруша, уже перестали,— сказал Nicolas.

— Что мне за дело. Я умру от восторга,— кричал Петя и, взглянув на князя Андрея с его улыбкой, замолчал и остался недоволен своим будущим сватом.

Обе свадьбы сыграны были в один день в Отрадном, которое вновь оживилось и зацвело. Nicolas уехал в полк и с полком вошел в Париж, где он вновь сошелся с Андреем. [Графиня Марья жила с тестем, тещей и племянником и Соней в Отрадном. Pierre с Наташей жили в Москве, занятые отстройкой дома.]

Во время их отсутствия Pierre, Наташа, графиня (теперь), Марья с племянником, старик, старуха и Соня прожили все лето и зиму 13 года в Отрадном и там дождались возвращения Nicolas и Андрея.

Конец

ВАРИАНТЫ

№ 1

Князь Андрей с беспокойным любопытством вместе с другими штабными ожидал выхода Савари от императора и известия о том, чем решено будет это свидание, когда Долгоруков, всегда быстрый, веселый, большими шагами почти пробежал мимо его. Он с ласковой [участливой] улыбкой обратился мимоходом к князю Андрею.

— Государь отказал,— сказал он по-французски,— мне поручено переговорить с Буонапарте, иду приодеться и сейчас едем. Подождите уезжать. Расскажите главнокомандующему.

Он пробежал в занимаемую им соседнюю избу. Через десять минут князь Андрей и все штабные видели, как верхами, на прекрасных лошадях, сопутствуемые русскою свитою кавалеристов, проехали по направлению к аванпостам Савари и Долгоруков в полной генерал-адъютантской форме. Они ехали шагом, тихо и дружелюбно разговаривая, как два хорошие знакомые, встретившиеся на гуляньи. Приезд Савари и известие о предложении мира Наполеоном еще более подняли дух и без того весело расположенной русской армии. Войска продолжали идти и прошли к вечеру 15 верст еще вперед Вишау. [Князь Андрей ехал с главной квартиры. Государь]. После обеда еще на походе вернулся князь Долгоруков, еще более оживленный и веселый, чем утром. И, как это всегда бывает, неизвестно какими путями разнеслась молва о подробностях его свидания с Буонапарте. Буонапарте встретил его на своих аванпостах, так рассказывал и князь Долгоруков, и, слезши с лошади, рядом с ним стал ходить взад и вперед по большой дороге. Он был не в мундире, а в широком, простом сером сюртуке, тогда еще не бывшем историческим. Князь Долгоруков рассказывал и повторял несколько раз, до какой степени поразило его отсутствие всякого царского величия в этом человеке.

— Правда, видно, что это умный человек, но не более того,— говорил князь Долгоруков,— умный, хитрый и злой мещанин в успехе, и больше ничего. Я понимаю, что с его маленькой, ничего не внушающей фигурой ему ничего не оставалось, как, подражая Фридриху Великому, пытаться сделать историческим этот серый сюртучок, который я сейчас на нем видел, но кажется, что нынешняя кампания положит конец истории серого сюртучка. Когда я подъехал к нему,— так говорили по крайней мере, что рассказывал князь Долгоруков,— он слез с лошади и, очевидно, не умел и не знал, на какой ноге танцовать со мною. Что его, очевидно, смутило больше всего, эта аффектация, с которой я избегал называть его государем или вашим величеством. Спросив о здоровье государя, что было тоже весьма неловко, он, заложив руки назад, стал ходить, не глядя на меня и ничего не говоря мне. Ежели он этой тактикой думал смутить меня, то это опять не удалось ему. Так как не мы, а он требовал свидания и имел что-то сказать нам, то я с совершенно спокойным духом, заложив точно так же, как он, руки за спину, мог ходить так до второго пришествия. Видя, что маневры его не удаются, он вдруг сердито поднял голову, устремив на меня свои проницательные глаза, остановился и сказал:

№ 2

Маршалы Ланн, Мюрат, Сульт с своими адъютантами стояли позади императора и смотрели по тому же направлению. Мюрат в своем странном, блестящем золотом и каменьями одеянии, белой, шитой золотом мантии, шляпе с страусовыми перьями и красных сапогах с золотыми кистями, сказал что-то Ланну, выдвинулся вперед и обратился к императору. [Он хотел сказать, что неприятельские колонны ушли]. Но, взглянув ближе на лицо Наполеона, он не посмел сказать того, что был намерен, того, что он и другие маршалы боялись, чтобы не было упущено время атаки.

Увидав ближе лицо Наполеона, он понял, что не должен сметь нарушать ход мыслей Наполеона, что всё, что бы он ни думал, он и все маршалы,— всё и еще многое и многое из того, чего никто не мог думать, было обдумываемо в это время императором. И что же можно было говорить этому человеку, 10 лет тому назад артиллерийскому поручику, подавившему страшную революцию, разбившему уже две коалиции, коронованному императором и королем Италии, в руке своей державшему 500-тысячную армию, два месяца тому назад чудесно перебросившему огромную армию с одного конца Европы на другой, уничтожившему ульмскую армию, теперь пославшему вызов двум могущественнейшим державам и теперь стоящему над ними, как над готовой жертвой.

И как можно было давать советы и высказывать свои мнения этому человеку, ежели это только был человек. Десятилетнее предание неслыханных успехов и торжеств уже освещало его. И нынче, в день своего коронования, что-то спокойно величественное и праздничное отражалось на его лице.

Два месяца тому назад он волшебным мановением перевел громаднейшую армию мира с берегов океана в средину Германии, месяц тому назад под Ульмом огромная самонадеянная армия, положив

№ 3

Еще не успело пройти впечатление первой войны с Наполеоном, как наступила вторая, кончившаяся Тильзитским миром.[1] В начале 1806-го и в 1807 году чувство вражды к какому-то Буонапарту, как его называли, уже глубже, чем в 1805-м году, проникало до сердца русского народа. Полмиллиона ратников, два набора в один год, проклятия врагу рода человеческого и антихристу Буонапарту, слышавшиеся во всех церквах, и слух о приближении его к русской границе не шутя заставлял ощетиниваться против него все сословия.

Ростов после несчастной дуэли, в которой он участвовал, повез раненого Долохова на его квартиру. Ростов знал Долохова по холостой жизни у цыган, на попойках, но никогда не думал о том, какой может быть дом у Долохова. Ежели был дом у Долохова, то, вероятно, это была, по предположениям Ростова, какая-нибудь закуренная, загрязненная комнатка с бутылками, трубками и собакой, в которой он держал свои чемоданы и ночевал изредка. Но Долохов жил в собственном доме у Николы Явленного со старушкой матерью и двумя незамужними сестрами.

Во время переезда Долохов молчал, видимо, делая над собой усилия, чтобы не стонать, но перед домом, узнав Арбат, он приподнялся и взял за руку Ростова.

— Боже мой! Как я не подумал о ней,— сказал он.— Она не перенесет...— На лице его выразилось страстное, восторженное отчаяние, которого никак не ожидал от него Ростов.— Мать моя бесценная, обожаемая... Этот ангел не перенесет. Что я сделал? Брось меня.

Ростов поскакал на извозчике исполнять поручение. Ростов как бывший секундант и как участник его несчастия не покидал раненого Долохова. Чем ближе он узна-

---

[1] На полях конспекты:

Дом Долохова сейчас после дуэли.

1) *Потом Pierre с масоном в Петербурге и уезжает за границу*

2) *Потом Денисов, вернувшийся, чтоб уезжать, и Долохов обыгрывает. Оба едут. Волшебница.*

3) *Pierre по деревням и с Андреем.*

4) *К М. А., старый князь, поездка к Ростовым.*

5) *Бартенштейн и Петербург Фридлянд и* ⟨1 нрзб⟩.

6) *Тильзит. Борис и Nicolas.*

1) *Прием Pierr'a.*

2) *Конец отпуска.* [*Бал у Еголя*] *Денисов Дух любовный у Ростовых — обедают Несвицкий и Денисов, оба влюблены, бал у Еголя. Записка Долохова — игра у него и вечер с музыкой.— Денисов волшебницу, топочет пальцами. Борис был в Москве, не показывался у Ростовых. Анна Михайловна,* ⟨1 нрзб⟩ *отказ. Долохов друг Nicolas.*

Pierre по деревням и у Андрея, [*Тильзит*] *и больницы и Тильзит. Я* ⟨*рад?*⟩. *Андрей у Ростовых.*

вал его, тем более он чувствовал себя к нему привязанным. Всё в нем было, начиная от его привычки лежать на полу и до его тщеславия своими дурными наклонностями и скрытностью в хороших,— всё было необыкновенно, не так, как у других людей, и всё было решительно и ясно.

№ 4

— Что я вижу,— радостно закричал [он] и бросился к своему другу.— Разумеется, у меня, нигде, как у меня.

— Да, как же ты с женой? — с улыбкой сказал Андрей.

Pierre интересовался не вопросом, а тоном, которым он был сделан, звуком голоса, улыбкой и в особенности лучистым светом глаз. Он в мгновение, с чутьем любящей женщины, понял, что друг его другой человек, и ожил.

— Да, с женой,— отвечал Pierre,— я вам объясню ⟨всё?⟩, с женой, и очень рад и спокоен, что с женой. Я расскажу, как это всё сделалось. Но как я рад! Ах, как я рад! [1] А я вот за работой,— начал он,— аббат... [ты не знаешь] вы не знаешь [2] его, это удивительный человек. Я [тебя] вас с ним непременно познакомлю. Можете представить, это проект мира вечного. Он мне оставил. Много есть маниака, но мысль глубокая, я делаю отметки и увлекся, пишу целый traité [3], ну да после. Ведь мы два года не видались. Помнишь паром... Что за прелесть была весна. Как вы, зачем вы! Как я рад.

Он говорил, что рад, и Андрей понимал, что друг его был рад не только видеть его, но видеть его [повеселевшим] оживший. Он не только не скрывал этого, но, чтобы дать тон своего положения, тотчас же сказал ему:

— Зачем? Ты удивишься. Дела с тестем. Тебя посмотреть и отсюда в Крым. Я нездоров и очень нездоров.

— Что вы?

[Князь Андрей ехал в Крым] Приехав в Петербург в 1809 [4] году [5], князь Андрей велел себя везти прямо [в дом Безухового (не собственный дом, но дом, занимаемый им на Мойке со времени женитьбы, из которого Pierre, несмотря на дороговизну, не переехал и жил один). Подъехав] в дом Безухового, полагая, что ежели, как и надо предполагать, Pierre не занимает один этот известный всему Петербургу огромный дом на Мойке, что, по крайней мере, там он узнает, где живет Pierre. Въехав в ворота, он заметил, что дом обитаем, спросил «дома ли?», уверенный, что вопрос этот мог относиться только к Pierr'у, так как [графиня была в Эрфурте, с тех пор приезжала в Петербург и опять уехала за границу] графиня, Андрей знал, жила отдельно и последнее время со всем двором жила в Эрфурте.

— Графиня выехали,— отвечал дворник.

— Так, стало быть, граф Петр Григорьевич [6] не живет тут? — спросил князь Андрей.

— Они дома, пожалуйте.

Князь Андрей был так удивлен этим известием, что он едва удержался от выражения недоумения перед дворником [Он послал наверх слугу спросить, может ли остановиться тут, но сам пошел вслед за слугою. Дом был большой, половина Pierr'а была наверху в низеньких комнатках. Он остановил слугу и вошел сам. Pierre в выпущенной рубашке] и вслед за слугой пошел в комнаты Pierr'а. Дом был большой, половина Pierr'а была наверху в низеньких комнатках. Pierre в выпущенной рубашке, с голыми, толстыми ногами в туфлях сидел за столом и писал. Низкая комната была завалена книгами и бумагами и накурена так, что днем было темно.

Pierre, видимо, так был увлечен своим делом, что он долго

---

[1] На полях: *вообще масонство.*

[2] Так в автографе.

[3] трактат.

[4] Первоначально было: *1809*, затем заменено: *1810* и снова восстановлено: *1809* (прим. составителя).

[5] На полях: *Андрей сочувствует Сперанскому, но слабость — кутейник. Не могу. Что хочешь — не могу. Это стыдно, но не ⟨могу?⟩. Князь Андрей 1810 расцветает весной после 4-х лет, как старый дуб, и едет [к Кутузову в армию] в Крым.*

[6] В автографе ошибка — надо: *Петр Кириллович* (прим. составителя).

№ 5

— Я не возражаю против конституционных форм, ответственности министров и т. п., но я возражаю против неполноты, произвольности и случайности этих преобразований.

Князь Андрей по письмам знал до малейших подробностей о том, что делалось Сперанским, [всей душой] и сочувствовал этим преобразованиям. Сперанский, которого он никогда не видал, представлялся ему чем-то вроде гражданского Наполеона. Он радовался его возвышению и из-за тех преобразований, которые делались, видел всю общую основную мысль этих преобразований. Он видел освобождение крестьян, палаты депутатов, гласность судов и ограничение монархической власти. В свою поездку в Петербург он обещал себе увидать и узнать Сперанского и, ежели бы это нужно было, предложить ему свое содействие. Он понимал мысль Pierr'a, состоящую в том, что конституция не может быть даваема сверху, что такая конституция будет только внешняя и не привьется народу, но не соглашался с этой мыслью, доказывая, что управляющие народами люди могут предчувствовать потребности народа и, угадывая их, удовлетворять им.

— Так вы интересуетесь Сперанским,— говорил Pierre.— Вы знаете, что он масон, я через ⟨жену?⟩ могу вас свести с ним.

— Да, это замечательный человек,— говорил князь Андрей.

— Ах, вы знаете, [кто здесь и ⟨очень⟩] a propos de Speransky [1] кто здесь? Ростовы. Они много говорили про вас,— сказал Pierre.

— Отчего же a propos de Speransky,— сказал Андрей, и к удивлению своему чувствуя, как он краснел при упоминании о Ростовых.

— Меня просили похлопотать через Сперанского о месте для старика Ростова,— отвечал Pierre,— но я боюсь, что этот добрый старик именно не такого сорта человек, которым протежирует Сперанский. Вы знаете, их дела очень плохи. Вы будете у них? [Неужели] [Ну, это ⟨театры?⟩]

— Да, непременно. Так твоя записка...— сказал князь Андрей, желая переменить разговор. Но Pierre не всё еще сказал о Ростовых, и Андрей заметил, как особенно по-старому оживился Pierre, как скоро заговорил о них.

— [Но что вы скажете о маленькой Ростовой?] Славное, прекрасное семейство. Вы знаете, бывают минуты уныния, грусти. И мне стоит только поехать к ним, я оживаю. Меньшая какая прелесть! [Не правда ли?] Я помню ее почти ребенком. Вы знаете, что я никогда не был влюблен, но вот женщина, к которой я мог бы испытать это чувство.

Князя Андрея удивило, что Pierre чувствовал прелесть Наташи, так же как прежде удивляло Pierr'a тоже, что другие это чувствовали и, как казалось всем чувствующим, эту неопределимую прелесть. Но князь Андрей не хотел говорить с Pierr'ом о том, что еще в сомнении и тайне ворочалось в самой глубине его души.

№ 6

У Ростовых как в Москве, так и в Петербурге теперь был постоянно полон дом [1]. Но, судя по обществу, которое застал у них Андрей, он сейчас увидал, что, хотя в Москве Ростовы не принадлежали к высшему кругу, здесь, в Петербурге, их общество было смешанное. Его это оскорбительно кольнуло, и еще более кольнуло то, что старая графиня, Вера и Берг и даже Nicolas чувствовали это. Только Наташа и старый граф не видали и не чувствовали это. [Если] Первые были рады ему как представителю высшего петербургского круга. А старик и дочь просто [всей душой] рады были ему, отрадненскому знакомому. Князь Андрей всю жизнь потом помнил это свое посещение Ростовых и 1-й вход к ним. Вот как это было: [Пока они с Pierr'ом снимали шубы в передней, они слышали в зале звуки] В передней было особенно освещенно, так что лари и ливреи непривычно блестели, музыканты проносили инструменты. [Пока] Они снимали шубы, Pierre спросил у лакея, что такое.

---

[1] Кстати о Сперанском.

[1] На полях: *Борис с тоном презрения. Это заметил Андрей. Как Наташа встретила Андрея. Как она была под влиянием похвал. Что же он не едет.*

— Нынче бал.

— Вот как, да я и забыл,— сказал Pierre.— Ну, всё равно.

Андрей слышал в это время в зале по паркету стук носка и каблука женского и напевавший голос отрывочную одну фразу в просторном резонансе большой залы. «Какая другая, совсем другая есть жизнь, радостная, девичья, влюбленная, веселая,— как всегда подумал князь Андрей свои дубовые мысли при звуке одного голоса Наташи.— Люблю я это ребячество и молодость, это оживляет меня»,— подумал он.

— И прекрасно, напьемся чаю и уедем от бала,— сказал он.

— Да, да,— сказал Pierre,— и он вошел вперед.

Улыбающийся голосок встретил его [и князь Андрей по тону, с которым Наташа обратилась к Pierr'у, увидал, что это был друг, только друг, который]

— Нет, князь[2], непременно танцуйте,— начал голосок и вдруг замолк на середине. Наташа увидала князя Андрея и [покраснела] испуганно покраснела.

№ 7

Теперь в Петербурге Наташа на все дела семейные смотрела своим особенным манером[1]. Что отец хотел служить и жаловался на дела, это, по ее понятиям, было всё глупости. Хорошо было, что приехали в Петербург, и это надо было продолжать, потому что в Петербурге было весело. Что Вера выходила за Берга, это было хорошо, потому что будут балы, и весело посмотреть, как женятся[2]. Наташа не видала. Одно было нехорошо,— это то, что, по ее понятиям, родители не умели вести дома и сводить знакомства в высшем кругу. Всё, по ее понятиям, было не так. В передней по-московски сидел Фока и вязал чулок, а это не так надо было. Знакомые тоже были всякие, но одевались не так и тоже были не такие. Где она научилась этому, нельзя было сказать, но у Наташи было в высшей степени чутье на то, что называется comme il faut, и она, как муху в молоке, видела всякую мелочь, оскорблявшую ее чувства тщеславия и изящества. Платья она всегда заказывала сама, и даже мать одевала по-своему и всегда хорошо. С двух слов, с первого вида она отличала людей по свету, к которому они принадлежали, и предпочитала высших. Pierr'a она любила и как будто покровительствовала (такие у них установились отношения) за то, что он принадлежал к высшему кругу, [за то же] по той же причине она презирала Берга, не совсем довольна была своим братом за его гусарские манеры, давно отреклась от Денисова [и была ласкова, хоть и холодна к Борису]. По той же, вероятно, причине она после одного свиданья с князем Андреем, которого она сейчас узнала за человека высшего света, решила, что он в ее вкусе и что она влюблена в него по гроб, как это обыкновенно делают барышни.

Любовь эту, вероятно, она выбрала [во-первых] потому, что надо быть 16-летней девочке влюбленной, что лучшего выбора ей не представилось, что он не обратил на нее внимания, так на зло же... [и] что, вероятно, он не женится, и что такая любовь есть известная опора, положение, при котором можно [⟨смело?⟩] ожидать [всего], бывши хорошо занятой. Но, выбрав себе эту любовь, мысли о ней, мысли о князе Андрее, испанские замки, строимые ею по случаю этой любви, она так привыкла, думая, что она влюблена, что напоминание о князе Андрее заставляло ее краснеть, что она мучалась тем, что не видела его, и что [она] все лучшие девические мечты ее о любви были всегда соединены с ним.

Ей было 16 лет, говорили, что она очень хороша, говорили, что она дурна, говорили, что она пустая, что она кокетка, что она глупа, что она избалована, говорили, что она очень мила и добра, но все говорили, [что] когда слышали ее, что прелестнее голоса и пенья никто никогда не слышал, особенно, ежели его обработать, говорили многие, желая отчасти показать свои знания, а отчасти и оттого, что действительно, несмотря на учителей и на временные припадки страсти к пению, Наташа так и не обработала свой голос. Очень может, что от этого-то и действовал

---

[2] Так в автографе.

[1] На полях: *потому что можно проживать и в деревне. У меня философия и купанье.*

[2] На полях: *Борис и князь Андрей, предложения.*

на людей так обворожительно ее голос, удержавший всю непосредственную свежесть и страстность и неожиданность, но все говорили, что очень жалко, что она так мало занимается. Несмотря, однако, на все эти недостатки и на то, что дела графа были расстроены, Наташа говорила всем в Петербурге, что капитан Жомини, ездивший к ним в дом, был бы 16-тым ее женихом, ежели бы она захотела. И действительно, еще в деревне графине предлагали 3 партии для Наташи и в Петербурге сватались двое. Но Наташа так смеялась

№ 8

В ту же ночь, как Наташа [делала] беседовала так с своей матерью, Pierre, проведший вечер у Ростовых, у которых он любил бывать, сам не зная почему, Pierre, поздно вернувшись домой, сидел один в своей низенькой комнате верхнего этажа [и писал. Он писал свой] с пером в руках над раскрытой тетрадью своего дневника. Он готовился записать нынешний день: «18 генваря,— читал он за месяц вперед,— 18 генваря встал поздно и, проснувшись, долго лежал на постели, предаваясь лени. Боже мой, помоги мне и укрепи меня, дабы я мог ходить по путям твоим. Потом пришел князь Урусов, беседовал о суетах мира. Рассказывал о новых предначертаниях государя. Я начал было осаждать, но всего ⟨*1 нрзб*⟩ о своих правилах и слова Благодетеля нашего, о том, что истинный масон должен быть усердным деятелем в государстве, когда требуется его участие, и спокойным созерцателем того, к чему он и призван. Потом разговор зашел о последнем бале Татьяны Борисовны и не мог воздержаться от рассказа о ее падении и о смешном приключении. Вспомнил только тогда, когда все громко смеялись, слушая рассказ мой. Язык мой — враг мой. Посетили меня братья S., B. и O. Была приготовительная беседа для принятия нового брата. Они возлагают на меня обязанности ритора[1]. Чувствую себя слабым и недостойным. Потом зашла речь о объяснении семи столбов и ступеней храма. 7 наук, 7 добродетелей, 7 пороков, 7 даров [божиих] Святого духа. Брат O. был очень красноречив. Вечером совершилось принятие. Новое устройство помещения много содействовало великолепию зрелища. Принят был Борис Друбецкой. Я предлагал его, и я был оратором. Странное чувство волновало меня во всё время моего пребывания с ним одного в темной храмине[2]. Я считаю этого человека преступным в отношении меня. Иногда я застаю в себе к нему чувство ненависти, которое я тщетно стремлюсь преодолеть. И потому-то я желал бы истинно спасти его от злого и ввести его на путь истины, но дурные мысли о нем не оставляли меня. Мне думалось, что его цель вступления в братство состояла только в желании сблизиться с важными *и случайными* людьми, которые находятся в нашей ложе. Кроме тех оснований, что он несколько раз спрашивал, не находится ли в нашей ложе NN и SS (на что я не мог ему ответить), кроме того, что он, по моим наблюдениям, не [вникал в] способен чувствовать уважения к нашему святому ордену и слишком занят и доволен своим [занимаемым положением] внешним человеческим, чтобы желать улучшения духовного, я не имел оснований сомневаться в нем, но он мне казался неискренним, и всё время, когда я стоял с ним tête à tête в темной храмине, мне казалось, что он презрительно улыбается на мои слова, и хотелось действительно уколоть его обнаженную грудь шпагой, которую я держал приставленною к ней. Я не могу быть красноречив и не мог искренно сообщить своего ⟨сомнения?⟩ братьям и Великому Мастеру. [Боже мой] Великий Архитектор природы, помоги мне находить истинные пути, выводящие из лабиринта лжи. — За обедом был невоздержан, [объелся и опился] от одного блюда отказался, но опился. Так что встал из-за стола тяжелый и сонный».

После дневника 18 было пропущено 3 дня и под 21 было написано следующее: «[Адонай] Имел продолжительный и поучительный разговор в середине [с Благодетелем] с братом. Многое, хотя и недостойному мне, было открыто. Адонай есть имя сотворившего мир. Элоим есть имя правящего всем, 3-е имя неизрекаемое, имеющее значение ВСЕГО. Беседы с [Благодетелем] А. подкрепляют, освежают и утверждают меня на пути [правды] добродетели. При нем нет места сомнению. Мне ясно

[1] Слово *ритора* написано по слову *оратора* (прим. составителя).

[2] На полях: *Писал с ужасом воспоминания, а там жена, и опять с ушами уходил в масонство, как собака в ⟨конуру?⟩.*

различие бедного учения наук общественных с нашим святым все обнимающим учением. Науки человеческие [убивают] всё подразделяют, чтобы понять, всё убивают, чтобы рассмотреть, [в святом учении] в святой науке. Ордена всё едино, всё [изучается] познается в своей совокупности и жизни Тройцы. Три начала вещей — сера, меркурий и соль. Сера елейного и огненного свойства, она в соединении с солью огненностью своей возбуждает в ней алкание, посредством которого притягивает меркурий, схватывает и удерживает и совокупно производит отдельные тела. Меркурий есть жидкая и летучая духовная сущность — Христос, Дух Святой, [Бог] Он.

Все так же ленив и чревоугодник. Вспомнил о правиле воздержании в конце обеда, и было поздно. Смотрел на [княгиню Марью Дмитриевну] ⟨Марью Михайловну?⟩ ⟨с⟩ похотливыми мыслями. Господи, помоги мне.

22 января. Была мастерская товарищеская ложа. И описание страданий отца нашего Адонирама. Я слушал, и, как и в 1-й раз, когда познал это, на меня нашло сомнение. Был ли Адонирам, не есть ли это аллегория, имеющая свое значение? Объяснил брату О. свои сомнения. Он сказал мне, что должно терпеливо ждать открытия дальнейших таинств, которые объяснят многое.

Нынче вечером провел у графини (у жены). Не могу преодолеть внутреннего отвращения к ней. Увлекся беседой с NN о суетном и ничтожном и злобно трунил над сенаторами. Ужинал неумеренно

№ 9

а. Князь Андрей, однако, не выдерживая более этой нравственной боли, простился и вышел, обещая себе никогда не бывать у них и испытывая чувство виновности и стыда [1]. «Не то, не то»,— говорил он себе и, невольно перебирая все свои прежние беседы с Сперанским, иначе начинал смотреть на него.

Возвратясь домой, он застал у себя Pierr'a, с которым он мало видался за это время.

— [Вы] Вас нигде не найдешь,— сказал Pierre.— Уж я сел, чтоб вас дождаться. На что похоже, что мы с вами совсем не видимся.

— Я очень, очень рад,— сказал князь Андрей.

б. Князь Андрей, однако, не выдерживая более этой нравственной боли, простился и вышел, обещая себе никогда не бывать у них и испытывая чувство виновности и стыда. «Не то, не то»,— говорил он себе и, невольно перебирая все свои прежние беседы с Сперанским, иначе начинал смотреть на него. Возвратясь домой, он застал у себя Pierr'a. Pierre, дожидаясь его, спал у него на кресле [2].

в. Князь Андрей, однако, не выдерживая более этой нравственной боли, простился и вышел, обещал себе никогда не бывать у них, и испытывая чувство виновности и стыда. «Не то, не то»,— говорил он себе и, невольно перебирая все свои прежние беседы с Сперанским, иначе начал смотреть на него. Своего этого нового взгляда на Сперанского князь Андрей не только не сообщал никому, но продолжал держать себя в обществе защитником и партизаном Сперанского, чувствуя в этом с своей стороны особенную заслугу. Проект его о военном уставе был не принят, и делать князю Андрею в Петербурге было нечего, но он оставался, продолжая ездить в свет, как будто чего-то ожидая. В последнее время он чаще прежнего стал видаться с Pierr'ом и несколько раз был с ним в ложе.

№ 10

а. 28 января.

б. Теперь было 28 декабря [1], и Pierre ничего не писал с 25. Прочтя всё, он задумался и, потерев лоб, стал писать.

---

[1] На полях: *Князя Андрея поражает, как одни других ругают.* Вся эта запись подчеркнута и обведена кружком (прим. составителя).

[2] На полях: *Pierre примирился с женой. Благодетель. Его спокойствие, введение в ложу Бориса. 4 сорта масонов.*

[1] Путаница в датах вызвана тем, что место всего текста о Пьере и его дневниковых записей Толстой несколько раз менял. В автографе слово *декабря* написано по слову *января* (прим. составителя).

«Ни раза не был в ложе. Два [2] раза был у Ростовых и. вместо трудов самопознания и воздвижения внутреннего храма, предавался наслаждениям суеты. [Господи, Великий Архитектор вселенной] Я был весел и смешил и веселил всё общество у Ростовых, как вырвавшийся школьник. Всё только затем, чтобы видеть и слышать смех Наташи. Я гибну. Мало мне было ударов, что я хочу навлекать на себя новые. Господи, помоги мне, научи меня ходить по стезе твоей и помнить, что радости этой жизни — эта жизнь не для радостей, а для приготовления себя к смерти. Научи меня любить смерть, а не радости. Сделай мне горе из моих радостей. Силы мои слабы. Где искать масонства в костях?»

Дописав это, Pierre лег, но не думал о костях, а читал стишки о «la mélancolique Natalie» [3], которые он экспромтом написал в альбом Наташе, и как она смеялась, читая их.

в. «29 ноября. Великая мысль пришла мне. Я должен ясно определить цели ордена, как я понимаю его. Целый день писал и изготовил речь, которую прочту завтра. Масонство имеет переродить род человеческий».

№ 11

— Разве ты найдешь людей? Ты говоришь, что на тебя напали. Так и должно быть, потому что, будь они чиновники, министры, масоны,— они люди, а из людей на тысячи приходится один человек, настоящий человек, сам по себе думающий и чувствующий. Другие — толпа, les moutons de Panurge [1]. И что ты ни делай, будет царствовать посредственность, те, которые немножко умнее толпы, те, которые только настолько умнее, что понимают друг друга.

Pierre видел, что друг его совсем иначе, ближе к своим интересам понимал вопрос.

— Зачем царствовать? — сказал он.— Царствовать должны одна истина и добродетель.

— Да, но ты хочешь организовать ее, чтобы править. А разве не то же наши правительства? Разве они организованы для того, чтобы царствовало зло? Напротив, они хотят и любят добродетель и правду, но из них организовано правительство, и они любят добро, а делают зло. Кто же царствует? Сперанский, [который умнее всех, но только не] Аракчеев.

Разговор совсем отклонился от своего начала, Pierre невольно последовал за направлением, которое дал ему князь Андрей.

— Сперанский! — сказал он,— но вы сами считали его гениальным и великим человеком.

— Encore une illusion de moin, mon cher [2],— сказал с улыбкой князь Андрей.— Сперанский — это выслужившийся кутейник, немножко, на волосок умнее толпы.

— Mon cher!— с упреком сказал Pierre.— Esprit de caste... [3]

— Нет, не esprit de caste. А я узнал его. Я никому не говорил и не буду говорить этого. Всё лучше он, чем Аракчеев. Но Сперанский [это человек, который делает только то, что нужно] не мой герой. Одно, моя душа. Для того чтобы иметь силу, надо быть покорной частью одного целого, надо отказаться от своей самостоятельности, а я этого не могу и не хочу. Лучше я буду один, ничтожество для других, но для себя я буду что-нибудь.

— Одно не понимаю,— заговорил Pierre,— как вы можете быть холодным братом? Ежели бы вы знали то чувство успокоения, возрождения, которое испытываешь в нашем святом братстве. Вы говорите: невозможно. Отчего? Пускай толпа (хотя я не того низкого мнения о людях, как вы), но толпа руководится людьми: почему же не руководить их к добру, а не к суете, как вы говорите? Мы ничего не сделаем? А воспитанье детей, а книги, а пример, а помощь? Что же вы не служите теперь?

---

[2] В автографе *Два* написано по слову *Три* (прим. составителя).
[3] «меланхолической Натали»

[1] Панургово стадо
[2] Одной иллюзией меньше, мой милый.
[3] Но, мой милый, кастовый дух...

— Нет, я подал в отставку и на днях еду. Не знаю еще, домой или за границу... Я очень доволен. Мне казалось [теперь] из деревни, что я нужен тут, что что-то важное делается. Но теперь я успокоился. Ничего нет важного, кроме своей жизни. И моя жизнь в деревне так хороша, что мне ничего не нужно.

№ 12

Князь Андрей вошел и увидал замирающую от радостного волнения Наташу. Он прошел с ней первый круг. Струя поэзии и молодости налетела на князя Андрея и охватила его, на него нашел страх, когда он обнял ее тонкий стан. Быстрая, поворотливая ⟨*1 нрзб*⟩, счастливая, задыхающаяся девочка, голая, маленькая с блестящими испуганными глазами была окружена и Борисом, и Анатолем, и ⟨З.⟩ — все ловили, искали ее. Одна минута — и она погибнет для него, а она его, наверное его, не может быть иначе. [Он не отходил от] Она краснела, встречая его взгляд. А он не покидал ее ни минуты. Он танцовал с ней два котильона и мазурку. Он повел ее ужинать и когда снял перчатки, эти сухие, белые, пахучие руки, и отец подошел: «О как весело! Никогда так не было весело!» На этом же бале участь Pierr'а и его жены. Его делают камергером. С бала они поехали к Pierr'у и сели за вино.

Андрей: — Всё вздор, душа моя, всё вздор! — Он, как мальчишка, вскакивает и целует.

— Женись.

— Да, женюсь.

Pierre на другое утро рассказал то, что знал [о Борисе. Князь Андрей], Наташе, рассказал Наташе, и приехал к Андрею рассказал.

— Что ты сделал! — Андрей взбесился. Однако он поехал проститься, признал свое намерение и уехал за границу.

№ 13

На другой день князь Андрей помолоделый, улыбаясь всему и особенно заботам житейским, начал новую жизнь. Ему рассказывали про торжественность и значительность заседания Совета. Государь прямо назвал сенат и совет сословиями,— он сказал, что правление должно опираться на твердые основы. «Зачем? Что такое это говорят?» — спрашивал себя князь Андрей. Он видел в своем месте присутствия товарищей над работой. Он слышал споры, упреки. «Зачем? Что всё это значит? Они не знают всего, не знают»,— думал он. С кроткой победительной радостью он смотрел на всех и на свет божий [1]. Он поехал к Ростовым. Что-то говорили, что-то хлопотали там тоже все остальные люди, и старый граф, и графиня. [Но она одна понимала всё] Она была в другом платье и другой прическе. Сначала это удивило князя Андрея, как будто он ждал найти ее такою же, как вчера, в бальном платье. Но когда она, закрасневшись, вышла к нему и, как всегда, близко, близко, решительно подошла к нему и остановилась, смешавшись, как будто ей неловко было так только подойти к нему, не обняв его [2]. Он оглянул ее в этом синем платье и [понял] позабыл, какою она была вчера. Она всегда такая была. Кроме ее, ничего не было. Все где-то там что-то шумели, говорили и притворялись, что они тоже живут сами по себе, тогда как они знали, что, кроме ее — такою, какая она была в сердце князя Андрея, ничего не было. [Во время] Перед обедом она стояла в дверях и смотрела на князя Андрея. Граф вел под руку старую даму и за тоненькую руку отстранил, хотя и нежно, но отстранил Наташу. [⟨Верно?⟩]

«Он это нарочно сделал,— подумал князь Андрей,— чтоб показать, что и кроме ее есть люди, но всё-таки она осталась одна». Она, смеясь, отбежала, и князь Андрей подал ей руку. За обедом она протянула руку к графину, и князь Андрей [удивился] ждал, что сам графин вскочит в её руку. Она была необыкновенно хороша, не только для князя Андрея, но и для всех. Вчерашний успех и нынешнее посещение князя Андрея делали ее счастливой. Всё ей было ловко, всё ясно, всё просто, все добры, все

---

[1] На полях: *Андрей находит ее вместо в глупой семье. Всё милое, и москвичи лучше петербуржцев. Он видит ее на бале* [*на вечере, в театре*].

[2] В автографе ошибочно: *ее* (прим. составителя).

прекрасны. [Поздно вечером князь Андрей уехал домой, на другой, на третий день он был опять у Ростовых. На 3-й день] После обеда она пела. Пела, как и всегда, забывая себя и всех для своего пенья. Князь Андрей был счастлив, был влюблен, знал, что она его [любила] могла любить, знал, что ему отдадут ее, но, слушая ее пенье, он должен был отойти от клавикорд, чтобы подавить рыдания и скрыть слезы, выступившие ему на глаза.

Ему решительно не об чем было плакать, но он плакал и что-то грустное представлялось ему.

№ 14

а. Ввечеру он поехал к Pierr'у. Этот, хотя приблизительно, знал то, что знал князь Андрей и что так изменяло весь мир божий. Pierr'a не было дома. «Вероятно, в ложе»,— как предположил князь Андрей. Болконский лег на его диван и задремал, к 12-му часу, когда Pierre, везя с собой фартук Великого Мастера и молот, вернулся. Pierre не знал и не заметил, что у него был князь Андрей. Он бросил книги и вещи на стол и повалился в кресло. [«Где искать масонства? В костях? — проговорил он, ковыряя упорно в носу и морщась.— Кем вынута эта соль и сера? Как стать в центре квадрата?..» Потом он встал и долго, упорно стал смотреть в зеркало] [Андрей неохотно, встав, нагнулся на] [Андрей] [и, неохотно встав, нагнулся над] Достал тетрадь и стал писать. Пописав, он встал, посмотрелся долго в зеркало, придал себе торжественный вид и стал говорить: «Любезные братья, наше собрание...» Андрей проснулся от звука его голоса и проснулся, как это часто бывает после коротких дневных снов, в духе 13-летнего мальчика.

— Pierre, милый мой Pierre,— сказал он с нежностью женщины в голосе,— Pierre, душа моя, [Я ⟨влюблен⟩] поди сюда, сядь, я тебя ждал,— говорил он с той бессознательностью пробужденья, которая заставляет иногда нас так чисто и просто смотреть на свет,— Pierre, душа моя,— говорил он, приподнимаясь и обнимая удивленного Pierr'a.— Я влюблен, я счастлив. Я ожил. Я другой человек. Толстый, милый, мне некому, кроме тебя, сказать этого. Ну, слушай,— продолжал он,— ты знаешь Наташу Ростову, я люблю ее, как никогда никого не любил...

Pierre улыбался и был счастлив счастием своего друга, и не вследствие слов, а вследствие непосредственного влияния духа Андрея на себя он был счастлив.

— Вот как! Поздравляю.

Но в ту же минуту, как он понял то, что говорил ему Андрей, болезненно-злое чувство зависти и сожаления к себе сжало доброе сердце Pierr'a. Всё, что он делал нынче вечером, все стуки молотком и речи над мертвой головой под сияющей звездой об отце Адонираме [так вдруг ⟨показалось?⟩] в соединении с тем [миром] чуждым, грязным миром жены, с которым он был неразрывно связан, так вдруг убийственно грустны представились ему. Он шумно и громко поздравил Андрея и расспрашивал его, но в словах его не было душевности. Злое чувство зависти мучало его. Князь Андрей не замечал этого. Он рассказал Pierr'у, как он неизбежно любит ее, как он не может поступить иначе, как на днях сделать предложение, и о том, как он счастлив. До раннего утра они проговорили, и когда князь Андрей вышел из комнаты, Пьер почувствовал, что вот был сейчас в этой комнате один живой, вполне живущий человек, а теперь остался он, один труп, беспокойный, обязанный двигаться, безжизненный труп. Он вздохнул, задумался и, не разрешив всех мучавших его сомнений, быстро заснул. На другой день он встал с сознанием совершенного преступления. Он не знал, в чем состояло это преступление, но он знал, что с другом его и с милой ему девушкой Ростовой совершилось большое счастье, которому он рад и которому он должен как можно скорее выказать свою радость.

Он поехал обедать к Ростовым. Он, как и всегда, был [⟨необычайно?⟩] чрезвычайно весел и любезен и особенно осторожен, бережен в обхождении с Наташей. Он обходился с ней, как с человеком, с которым случилось несчастье и который еще его не знает. Вечером он взял ее альбом с тем, чтобы мочь говорить с ней наедине.

Нагнувшись над альбомом, как будто собираясь писать, он вдруг обратился к ней, глядя через очки и нежно, действительно нежно. Он в эту минуту, видя ее, [не ⟨завидовал⟩] больше любил ее, чем завидовал.

— Мы старые друзья,— сказал он.— Я знаю и желаю быть первым, поздравить вас. Это мой лучший друг и лучший человек из всех, кого я знаю.

Наташа радостно, но всё еще вопросительно смотрела на него. Ежели она ошибалась и не так его понимала, то она желала еще и еще так ошибаться. [Кто] [Он]

— Ежели этот человек любит, то на любви его можно строить свою жизнь смело. Я рад, что мой лучший друг женщина,— он галантно поцеловал ее руку,— будет женою моего лучшего друга.

Наташа, вся красная, задыхаясь, отдала ему свою руку, хотела сказать: «Кто — он?», но не могла выговорить.

— Я никогда не думал, чтоб André был так молод и чтоб такие сокровища любви были в нем. Когда вчера он всё рассказал мне...

Наташа уже не слушала: она медленно повернулась, сама не зная, что она делает, и вышла из комнаты. Только что она зашла за дверь, она побежала к себе, села на кресла и закрыла лицо руками.

Pierre уехал с успокоенным чувством человека, сделавшего доброе и честное дело. Наташа взволнованная

б. В этот же день он встретил на Невском Сперанского с его видом вне мира сего. Сперанский низко снял ему шляпу. [Князю Андрею смешно стало] Князь Андрей старался скрыть свою улыбку. Он шел к Pierr'у.

в. Вечером он поехал к Pierr'у. У Pierr'а было свое горе. На том же бале Нарышкиных высокое лицо обратило внимание на Hélène. Hélène не считала нужным уже скрывать свои связи с этим лицом и сама объявила Pierr'у, что он жалуется званием камергера. Pierre вспылил и окончательно разорвал связь с женою. Он ехал в Москву. Андрей рассказал ему всю свою любовь и все сомнения, вызванные разговором с Верой. Вопрос был в том: он желал знать, любит ли она его или любит Бориса. Он боялся потерять ее. И вместе с тем боялся увлечь ее, когда она еще не знала, любит ли она его, и пока он не знал, даст ли старик отец свое согласие, против которого князь Андрей не хотел действовать. [Надо было] Pierre нашел утешение в заботах своего друга от горя своего собственного. Надо было условно ⟨сделать?⟩.

г. Он встретился с Pierr'ом.

— Ну что, я слышал, вы были у Ростовых? — Андрей улыбнулся.— Знаешь, что я тебе скажу. Я чувствую, что могу влюбиться.

— И прекрасно, женитесь,— с особенным жаром, удивившим князя Андрея, заговорил Pierre.— Это редкая девушка.

— Легко сказать! Во-первых, я стар,— испытывая, сказал князь Андрей.

— Какой вздор!

— Ну даже, ежели бы я думал... Quoique je suis à 100 lieus de mariage [1]. Отец, он мне сказал раз, что одно, что могло бы еще огорчить и удивить его, это чтоб я женился.

— Вздор! — кричал Pierre,— поручите мне, я вам устрою всё. Женитесь, женитесь, женитесь! В Петербурге нет подобной девушки.

Слова Pierr'а сильно подействовали на Андрея. Он решил обдумать, испытать себя и 4 дня не бывать у Ростовых.

№ 15

Во 2-м часу он приехал к себе и к ужасу своему увидал опять перед собою весь тот сложный, лживый мир борьбы, сомнений, неправды, тщеты, который [еще] мрачнее в 1000 раз, чем [до ⟨бала⟩] прежде, опять представился ему. Только на короткое время, на крыльях любви вылетел он из этого мира. Всё было ясно, просто, легко, счастливо и душевно [1]. Теперь опять всё было тяжело, запутано и, главное, я сам, я с своими особенностями, воспоминаниями, которые были забыты, опять стоял один перед самим собою с своими отвратительно-прискучившими, мрачными чертами.— В первый раз после пяти дней он едва лег в постель, как крепко и беспробудно заснул до другого утра.

---

[1] Хотя я за 100 верст от женитьбы.

[1] На полях: *Тем более я женюсь на ней. Он поехал с решением объяснить свою любовь и поездку за границу. Он с ней, как с ребенком.*

На другое утро он [поехал] написал все свои запущенные письма, сделал распоряжения по имениям, тоже запущенные, разобрал свои бумаги и перечел начатые работы, потом пошел к Сперанскому и объявил ему, что он не отказывается, а желает работы и такой, которая бы отвлекла его от Петербурга. Сперанский предложил ему место губернатора в Тираспольской области, присоединенной к России по Тильзитскому миру, заведывание которой поручено было Сперанскому и в которой происходили величайшие беспорядки. Через неделю, во время которой князь Андрей нигде не был и не принимал никого, усердно работая, он поехал делать прощальные визиты.

На списке визитов, составленных им, не было Ростовых, но, проезжая по Фонтанке мимо дома, в котором они жили, он велел кучеру остановиться у их подъезда. «Благодарю судьбу, которая

№ 16

а. Но, несмотря на то, он еще твердо верил, что он уедет отсюда столь же свободным, как он и приехал. Глаза их встретились, и в обоих было выражение упрека и сожаления. Он первый опустил глаза и попытался сделать равнодушные.

— Вы давно не видали сестру? — начал он.

Она перебила его.

— Вы едете? — спросила она его спокойным, но дрожащим от страха и волнения голосом.

Он опять взглянул на нее, и [строго] серьезная страстность ее выражения испугала его, как неожиданность. Он хотел не смотреть на нее, но такое новое счастье любви обхватило его, что он не мог этого сделать. Он забыл, что она делала ему вопрос, и не отвечал ей.

— Вы совсем едете? — повторила она.

— Года на два, я думаю...

— Ну да, навсегда. А я,— сказала Наташа,— а я дум...— она не договорила, встала и [присела] остановилась перед ним, опять в том же положении, в котором она встретила его после бала. Так близко от него, так [свободно] робко и преданно, с опущенными прямо руками и [счастливым] нежным взглядом, устремленным на него, как будто она говорила: «Что ж, возьми меня. Вот она я». Но она не только не сказала этого. Она опять не дала ему выговорить того, что он хотел.

— Прощайте,— сказала она [и почти]. Он поцеловал ее руку. Она, быстро повернувшись, пошла из комнаты.

«Нет, это невозможно ...»,— сказал себе князь Андрей и побежал за ней. Но не успел он еще сделать двух шагов, как она, не слыхав его, остановилась у двери, повернулась к нему и встретила его.

— Нет, нет, нет,— капризно перебивая его, заговорила она, чтобы не слыхать, что он скажет.

— Безухов сказал мне, что вы, что вы... Что вы ему сказали про меня? Правда ли это? Мне надо это знать.— Наташа не смотрела на князя Андрея, и чем больнее оскорблена была ее гордость, что она говорила это, тем более вид ее был гордый и презрительный.

Князь Андрей не думал ничего о своих прежних решениях, не знал, что он говорит. Он чувствовал себя новым и счастливым.

— Да. Хотите вы быть моей женой? — сказал он, подходя к ней еще ближе и взяв ее руку.

Наташа не могла отвечать. Внутренняя работа, происшедшая в ней, измучала ее. Она громко вздохнула, другой раз, чаще и чаще и зарыдала. Она ничего не могла выговорить. «Ну так что же?» — говорили ее глаза, с детской нежностью смотревшие в лицо князя Андрея. Она села. Князь Андрей взял ее тонкую, худую руку и [поцеловал] прижал к губам.

— Да? — сказал он, улыбаясь.

Она улыбнулась тоже сквозь слезы, нагнулась над его головой, подумала секунду, как будто спрашивая себя, можно ли это, и поцеловала его.

— А как я боялась, что вы уедете,— сказала она.

— Я все-таки уеду,— сказал князь Андрей, глядя на нее и успокоивая ее этим

взглядом. И он долго и нежно говорил с ней, стараясь убедить ее в неизбежности его отъезда и отсрочки свадьбы на $1^1/_2$ года. Он говорил ей о том, что он принял служебное назначение и не может не исполнить его, о том, что ему [приятнее], хотя и не нужно, но приятнее было бы получить согласие отца, о том, что она молода, очень молода еще. Он не говорил еще об одной важнейшей причине отсрочки. В ту минуту, как он говорил с ней, образ маленькой княгини с своими простыми, жалкими словами представлялся ему. Она слушала его, и из всего, что он говорил, она понимала только то, что она, девочка Наташа, такой ребенок, недавно обиженная Марьей Эмильевной, гувернанткой, над которой Nicolas смеялся, когда она рассуждала, с ней, с этой девочкой, советуется, говорит, как с равной, как с высшей, сообщает ей все свои задушевнейшие мысли, кто же: князь Андрей, такой умный, такой рыцарь, такой большой, такой милый человек.

— Pierre — сплетник, которому от меня достанется,— говорил князь Андрей,— он сказал правду, но он заставил меня сказать вам эту правду теперь, а не через $1^1/_2$ года. Не сердитесь на меня, мой друг,— говорил он,— но вы молоды, вы ⟨страстны?⟩, я стар, я вдовец, у меня сын, я бы не желал связывать вас. Ежели через $1^1/_2$ года вы будете еще любить меня, о, я буду счастливейший человек назвать вас своей женой, но ежели вы полюбите другого, более достойного,— напишите мне. И я вас не связываю...

— Никогда, никогда, какие глупости!

— Я всё это говорю к тому, что я не желал бы, чтобы всё, что было сказано между нами, было известно до $1^1/_2$ года, как я и намерен был сделать. Пишите мне, и я буду писать вам.

— Только мамà я скажу, да? — сказала Наташа.— Мне всё равно, будут ли знать это или не будут.

— Скажите maman, но это моя фантазия, чтобы до тех пор, пока я буду в состоянии назвать вас своей женой, это бы было тайной, прощайте,— сказал Андрей,— я приеду обедать и завтра еще буду у вас.

Наташа встала, проводила его и ждала, что он обнимет ее. Как бы она прижалась теперь к нему, как она страстно любила его в эту минуту. Но он учтиво поцеловал ее руку и вышел. На другой день он еще раз обедал и, вечером простившись, на $1^1/_2$ года уехал.

В доме и в обществе предполагали многое, но только одна графиня и Наташа знали тайну предложения Андрея.

б.— Вы знаете, зачем я приехал? — спросил он.

— Зачем вы спрашиваете? — И как только она сказала «да», князь Андрей почувствовал, что она принадлежит ему, что некуда было торопиться, что [лучше] страшно ошибиться и лучше еще не связывать себя.

— [Я люблю вас. Но я боюсь, ни вы] Вы знаете, что я чувствую, но я боюсь сказать это вам, потому что боюсь, что ни вы, ни я не свободны.

Он взглянул на нее, и серьезная страстность ее выражения испугала его, как неожиданность. Он хотел не смотреть на нее, но такое новое счастье любви обхватило его, что он не мог этого сделать.

— Нет, зачем вы это говорите? Нет, говорите, ну что еще, что?

— Не связаны вы ничем с вашим cousin? — Лицо князя Андрея сделалось строго и зло, когда он сказал это.

Наташа покраснела.

— Нет, теперь нет. Да я никогда не любила его так, как...

Князь Андрей улыбнулся и поцеловал ее руку. Она смотрела на него, как будто говоря: «Только-то».

— Вы не связаны — так,— продолжал он,— но это было так недавно. Вы сами не знаете себя.

— Нет, я знаю... Но отчего вы не свободны? — Наташа сказала это, и ей самой стало страшно, как она могла сказать это.

— Я? Я, во-первых, стар, и болен, и вдовец. Но, положим, вы захотите взять таким, как я есть, у меня есть отец, который стар и который я хочу, чтобы любил вас так же, как и я. Хотите вы?

— Да, да,— говорила Наташа, ожидая поцелуя, но он только поцеловал ее руку.

№ 17

и в минуту печали мы только должны просить его, чтобы он открыл нам те пути, вследствие которых кажущееся нам несчастие делается благом, и тем бы облегчал нам нашу печаль.

Наша семейная жизнь идет по-старому, маленький Коко составляет всю мою радость. Он уже читает, учится хорошо, несмотря на то, что я такая дурная учительница, и действительно, умнее и милее этого ребенка ничего нельзя себе представить. [Мой] Отец, который, как вы знаете, строг сам к себе и боится внешних проявлений чувств, обожает этого мальчика и совсем изменяется в его присутствии. Семейная жизнь наша изменилась к худшему только в том отношении, что нездоровье моего отца становится с каждым днем все сильнее и он, несмотря на наши просьбы, до сих пор не хотел согласиться переехать в Москву для постоянного лечения. Главное, вред ему сделала два года тому назад его служба по ополчению. Он, несмотря на свои 73 года, так молод душою и горяч, так удивляется как бы неожиданному всякой подлости в людях, что все гадости, что все низости, обманы и воровства, которые делались по ополчению, которые он не мог искоренить и которые ввели его в неприятные столкновения, положили начало его теперешних недугов, чрезвычайной раздражительности, которую он, несмотря на силу своей воли, не всегда может преодолеть и по своему чувству справедливости страдает от нее больше всего сам.

№ 18

После Фридландского сражения, Денисовского гошпиталя и Тильзитского свидания Nicolas вступил в тот неизбежный для каждого молодого человека период развития, в котором, разочаровавшись в каком-нибудь одном своем мечтании, молодой человек прикладывает этот процесс разочарования ко всем, еще и не испытанным, сторонам жизни и делается разочарованным, blase [1], в отношении всего на свете и устремляет свое внимание только на ближайшие и простейшие радости жизни. После Байрона положение разочарования [сделалось чем-то ⟨вроде⟩], выраженное как назначение человека, сделалось модой, но всегда оно было и будет естественной ступенью в жизни человека. Разочаровавшись в возможности геройства в войне, в возможности воевать, не страдая и не унижаясь, разочаровавшись даже в разумности причин войны, Nicolas разочаровался заодно и в дружбе, и в любви, и во всем, чего еще не успел испытать он. Он жил в полку, наслаждаясь обязательной военной праздностью и забавляясь простейшими радостями жизни, веселыми попойками с товарищами, которые любили и даже начинали уважать его, хорошими песенниками, лихими тройками, блестящими парадерами и веселыми, приятными женщинами, от которых он ничего не ожидал и не желал, кроме удовольствия. Он жил в своем полку и эскадроне, которым он уже командовал, испытывая то же наслаждение ясности и ограниченности интересов, которые испытывает монах, удалившись от всей сложности и запутанности мирских отношений в свою келью и монастырь с его несложными интересами. Как черепаха, запрятавшаяся в свою скорлупу, сидит и монах в своем монастыре, и офицер в своем эскадроне, предоставляя свету идти помимо его, волноваться, искать, враждовать и распутываться, как он сам знает. Утро — к заутрене или на ученье, отец Никандр пожалован в мантию, Соколов получил Анну, вечером — всенощная, на послушанье, к адъютанту на жженку, а как там Сперанский и дела с Австрией,— им дела нет. Они оба знают, что, исполняя эти свои несложные дела в своем мире, они делают дела. Точно так же для тех и для других времени как будто не существует, потому что оно ничем не занято, и точно так же в обоих сословиях долго не стареются.

Самый дальний горизонт жизни для Ростова составляла бригада, товарищи, уланы и панна Пшиздецка, у которой бывали [часто] гусары и предпочитались уланам.

---

[1] пресыщенным

№ 19

Третьего дня было счастливое поле, в котором Nicolas в Соповом и Кипарисной вершине затравил 3-х лисиц на одной перемычке, в полях затравил 17 русаков и в лоск, как говорили охотники, уложил лошадей, собак, борзых и гончих, которые лихо вывели в поле матерую лисицу и, обведя два круга верст в 20, в бурьянах под мельницей словили ее. Наташа участвовала в этой охоте, одна из первых на своей пристяжной Белогубке подскакала к словленной гончими лисице и возвращалась не только счастливая и усталая, но довольная собою и ничего в мире не желающая, как может быть доволен человек, совершивший величайший подвиг мира, долженствующий предать его имя бессмертию.

Nicolas, притворяясь совершенно равнодушным к радостям нынешнего дня (Nicolas, как и все охотники, считал великой заслугой и необходимым притворяться, что какое бы великое счастье он ни испытывал на охоте, что всё это ему очень обыкновенно, и что радоваться над тем, что случилось, не следует, а нужно думать только о том, как бы еще бо̀льшие подвиги совершить в будущем), Nicolas объявил, что теперь он 3 дни даст отдыхать собакам и, хоть бы в сад к нему перевела *она* (т. е. волчица) выводок, он не поедет до 14-го. А то собьешь собак и не с чем выехать будет. Он с снисходительным презрением слушал Наташу, которая, не понимая еще правила притворяться равнодушной, с разгоревшимися глазами и махая руками и стараясь, но перевирая охотничьи выражения, рассказывала Nicolas, как она подскакала, и собаки за хвост (— Трубу,— поправил строго Nicolas.) — за трубу хотела поймать, и Трунило первая поймала ее [1].

— Отчего же поймала? поймал,— опять заметил Nicolas.— Нет, вот что, теперь дадим вздохнуть три дня, а потом слушай,— говорил Nicolas.— Я тебя отпрошу у папеньки, и маленькой отъезд сделаем. Начнем с Дубровы, тут выводок, потом проравняемся...— И Nicolas, сияя ожиданиями будущих радостей, изложил Наташе и подъехавшему ловчему план следующего маршрута с 14 сентября.

№ 20

Секрет Наташи о ее отношениях с Андреем, о взаимном, связывающем его [1], но не связывающем ее, обещании, как и должно было предполагать, был секретом только в том смысле, что, говоря про это, все говорили, что это секрет. Все в доме знали про это. Наташа не могла удержаться и рассказала про это брату и Соне. Графиня не могла не сказать мужу.

В продолжение восьми месяцев было получено одно письмо из Тирасполя. Князь Андрей писал графине почтительно и несколько холодно, как показалось Наташе. Он просил передать Наташе, что считает дни и часы, отделяющие его от назначенного срока свидания, просит верить, что, ежели чувства его изменились, то только в том, что они стали сильнее, обещался писать еще один раз и просил Натали в конце года написать ему только одно короткое слово «приезжайте», которое сделает его счастливым, или другое слово «не приезжайте», которого он ожидает, не считая себя достойным руки дочери графини, и которое он примет безропотно, ⟨из⟩ своей навеки преданности и любви к Наташе.

Прочтя это письмо [2], Наташа [⟨начала?⟩] долго, ничего не говоря, сидела с письмом в руках (это было еще до приезда Nicolas) и потом разрыдалась до истерики озлобления, как это почти всегда с ней бывало. Она детски сердито кричала на мать, чтоб ее оставили в покое, что она несчастна и что никто этого не понимает. Как балованный ребенок, которому не дали сейчас в руки игрушку, она плакала и не верила, что когда-нибудь эта игрушка будет ее. Еще почти год! Это легко было сказать тому, кто прожил 50 таких годов, но для нее год — это было такое же

---

[1] На полях: *Я чувствую, что это лучшее время.*

[1] В автографе ошибочно: *ее* (прим. составителя).

[2] На полях: *Их болтовня, Соня не понимает. Наташа смотрит на ⟨поэтическую⟩ любовь Nicolas, ей грустно, дайте мне мужа. Меланхолия Жюли. Pierre пьет, пьян бывает.*

длинное и полное впечатлений, чувств и изменений взглядов период [3], как и вся ее молодость с 16 до 17 лет.

— И что за дурацкие опыты? Что он хочет испытывать? Нечего испытывать. Ежели бы он любил меня так же, как я его. Целый год... Нет, он гордый человек, я его ненавижу... Целый год... А вот я назло влюблюсь в кого-нибудь, вот он и будет знать. Целый год,— говорила она сквозь слезы. Потом сквозь слезы же она стала улыбаться, вспоминая бал Нарышкиных, вспоминая его таким, какой он был на другой день.

На другой день, проспавши ночь над своим горем, Наташа перестала думать о нем. Она не то, чтобы помирилась с мыслью ждать его целый год. Этого она не могла. Ежели бы она старалась это сделать, она бы только всё больше и больше раздражалась,— она забыла — нарочно забыла и не думала об этом. Она, с одной стороны, слишком сильно чувствовала, для того чтобы быть в состоянии долго чувствовать, с другой стороны, она так сильно чувствовала, что боялась отдаваться этому сильному чувству и способна была увлекаться беспрестанно всеми теми радостями, которые ей представлялись.

№ 21

Вскоре после нарышкинского бала [1], где особенно была замечена прекрасная Hélène, Pierre [⟨получил⟩] был пожалован в камергеры и его супруга пришла к нему, сияя от [⟨радости⟩] счастья, объявить эту радостную новость.— [В третий раз] Теперь она имела въезд ко двору, и теперь уже Pierre не может отказаться.

Услыхав это, несмотря на всё искусство самопознания и совершенствования, в котором так долго и усердно упражнялся муж Hélène, вся кровь прихлынула ему к горлу, он вскочил и, выговорив страшно тривиальное бранное слово, объявил жене, что скорее он умрет, чем нога его будет при дворе, и объявил, что он едет в Москву. Pierre уехал в первое время один, но вскоре и Hélène, которой по разным сложным придворным соображениям неудобно было оставаться, далее оставаться, при дворе, [присоединилась] соединилась с своим мужем. Из Москвы уж Pierr'у уже бежать было некуда, и потому он остался с женою. «Притом всё так скоро кончится, что не стоит»,— думал он. Последнее заседание вместе с Андреем Шотландской столовой ложи, улыбка князя Андрея при обрядных словах закрытия, ссора и интриги с Астреею и получение актов 6-й степени, а главное, что страннее всего, любовь Наташи к князю Андрею вдруг заставили усумниться Pierr'а в [истине и] разумности и правде и чистоте и нужности для него масонства. Дорогой из Петербурга в Москву он все три дня, не переставая, перебирал, вспоминал свои впечатления масонства. Воздержание и самосовершенствование ни к чему не привело, так же он вставал поздно, так же на каждой станции пил водку и лафит, хотя знал, что это ему вредно [2]. Жизнь свою семейную и своих подданных лучше не устроил. Ежели он дал много пожертвований на убранство ложи и на деньги заведена настоящая серебряная звезда, то никому не стало лучше. «Цель и клятва наша — помощь ближнему, а по счетам сборов приношений у нас в заседании собиралось 10, 15 рублей, когда сидели мастера по 10 000 душ состояния. По общей книге расходов я платил за всех, и все в долгу и малые-то приношения не платят. Таинств я никаких не узнал, хотя и проник до IV ст⟨епени⟩ — сера и меркурий — вздор. Отец наш Адонирам [ничего] и не имел секретов, и не за что было его убивать»,— с улыбкой уже думал Pierre, подъезжая к Москве.

№ 22

Кроме света, аглицкого клуба и старых екатерининских тузов, в котором князь Николай Андреевич и граф Растопчин играли главную роль, кроме другого светского света балов, в котором первенствовала Hélène и, как барышня, Жюли, в

---

[3] Так в автографе.

[1] На полях: [*Театр*] *Три московские круга. Долохов и Анатоль, Pierre — умники веселые. Старый князь в Москве, жизнь с Коко.*

[2] На полях: *Pierre закутил, и жена прогнала.*

Москве был еще другой, холостой, мужской свет, в котором первенствовал Долохов. Общество это холостой молодежи играло, пило, вводило в моду хор цыган Ильи и изредка показывалось и в светском свете, как будто только для того, чтобы показать свету, что оно презирает его [1]. Долохов ездил на балы, но редко. Жюли, желавшая приручить к себе этого медведя, раз танцовала с ним мазурку, и все видели, как она, *она* багрово покраснела при каком-то слове Долохова. Долохов сказал ей на ее вопрос, женится ли он когда, что он женится на женщине, которая его будет любить, а что доказательство любви женщины есть одно — отдаться мужчине.

— Сделали бы вы это? — спросил он.

Была утвердившаяся между ними — а при них подражатели — профессия донжуанства. Они рассказывали друг другу. Долохов на вечере сказал Жюли, что он женится только на женщине, которая захочет быть его любовницей: «Хотите?»

№ 23

На другой день Илья Андреич поехал с дочерью к князю. Князь не мог принять, но княжна Марья просила войти к себе. Наташа была всё время этого визита молчалива и строга. Ее поражала и отталкивала эта атмосфера страха, царствовавшая в этом доме. Илья Андреич, оставив дочь, поехал сделать еще визит. Вслед за ним вошел старый князь («стало быть, он мог принять»,— подумала Наташа) и, пробурчав что-то, прошел через комнату. Потом через несколько времени вошел в комнату Тихон и доложил княжне Марье, что князь приказал ей ехать к тетушке. Княжна Марья покраснела и велела сказать, что у нее гости [1].

— Княжна,— вдруг сказала Наташа, вставая.— Я ни за что не войду в дом, где отец моего мужа будет презирать меня. Я хотела вам сказать, лучше всё оставить... лучше.— Она заплакала, и княжна Марья заплакала, и они стали целоваться. И в этом положении их застал старый граф.

В этот же вечер Ростовы поехали в театр. Наташа после своего сосредоточенного молчаливого состояния, в котором она была со времени приезда, вдруг [стало ‹необычайно?›] сделалась так безумно весела и обворожительна, как она бывала в свои лучшие минуты. Уже одетая, она ходила по зале, распевая и спрашивая у всех, хороша ли она и хорошо ли поет. Графиня, покачивая головой, глядела на нее и боялась, как она всегда своим матер‹инским› чутьем боялась чего-то от дочери.

— [Завтра княжна Болконская приедет к нам? — спросил отец.] Завтра княжна Болконская обещала приехать к нам, а потом...,— начала она.

— Не говорите мне, мамà, про Болконского,— сказала Наташа.— Тогда всё видно будет. Теперь пока надо веселиться, едем...

В это время в Москве было [два героя] два молодых человека, обращавших на себя общее внимание. Это был Долохов и Анатоль Курагин [Долохов раненый, пришедший], оба приятели. Долохов [был] только в нынешнем году опять появился в Москву, из которой он пропадал 4 года, в черкесском платье, с курчавыми, копной стоящими волосами и с раненной рукой в рукаве с завязочками, но с большими денежными средствами, на которые он жил холостой, роскошной жизнью. Про него рассказывали самые странные истории. Рассказывали, что после выигрыша у Ростова он завел правильно устроенный игорный дом, в котором обманом обыгрывал молодых приезжих дворян и купцов. Рассказывали, что один из таких обыгранных купцов, очнувшись на другой день после выпитого вина, объявил, что он платить не будет и что Долохов

---

[1] На полях: *Они все полнокровны. Жюли, декольте с прыщами, засыпанными пудрой, и Долохов, которому всё надоело, и он готовил новенькое.*

[1] На полях: *Они обе не сказали друг другу то, что думали.*

№ 24

Был бенефис [столь] любимой московской публикой итальянской певицы. Театр должен был быть полон. На морозе с обледенелыми усами стояли жандармы, визжа, одна за другой подъезжали кареты, и нарядные дамы, спеша, с озабоченным видом служительниц храма, пробегали [мимо] по холодным сеням в двери, которые сами отворялись перед ними. Элегантные мужчины, военные и штатские, оглядывали дам и в зимних платьях, при припомаженным волосам выказывая праздничность, обходили и сторонились перед дамами. Веселые компании купцов, мещан, лакеи шумно пробегали по задним лестницам. Снимались в коридорах шубки, салопы с дам ([всякий раз лица дам при этом делались] лица дам в эти минуты делались еще торжественнее) и охорашивались, оправляясь, шепотом отдавали приказания лакеям, заваленным шубами, и, переговариваясь, кому идти вперед, [входили] наполняли ложи. Негромким говором и легкими звуками шагов по ковру оглашали наполовину заполненный партер. Музыканты спорили. За занавесом, как мыши, [бегали] таинственно и незаконно шурчали и шевелились. Вся Москва была в этом спектакле. В середине съезда — не из первых, но всё еще слишком, слишком рано, по мнению Наташи, приехали Ростовы, то есть граф Илья Андреич, с Наташей и с племянницей, которую он взял, чтоб Наташа не была одна. (Илья Андреич с Наташей приехали только 3-го дни, и Илья Андреич не упускал случая повеселить дочь.) Наташа была свежая из деревни. В ее воспоминании и воображении были [еще] только Nicolas и Соня, дядюшка, Карай, Анисья Федоровна, баня, морозная месячная ночь, лиловеющий снег на закате, ямщики, дорога [(спокойные)] [радостные мысли об Андрее] и сознание того, что она спокойна, что ее девичья карьера кончена, что она счастлива и спокойна. Наташа, подъезжая к театру, даже думала о том, как она удивит всех (она не могла не думать, что все должны быть заняты ею) происшедшей в ней переменой, как она спокойно и весело будет смотреть на то, что прежде ее волновало и тревожило[1]. Когда они стали снимать шубы, рядом с ней к ложе подошло незнакомое семейство — дама, три девушки и два молодых человека. Одна из девушек, старшая, некрасивая, посмотрела на Наташу и, видимо, о ней сказала что-то матери. Мать тоже посмотрела на Наташу недоброжелательно, как показалось Наташе. Но тут же она заметила, что оба молодые человека смотрят только на нее. Так как она любила, чтоб на нее смотрели, Наташа слегка улыбнулась [презрительно отставив губку] и тотчас же заметила, что всё это семейство очень mauvais genre[2]. Во-первых, толпа народа в ложе, потом, эти токи и фермуар брильянтовый, и что за зеленый корсаж.

— Возьми, Захар (это был охотник Захар, он же и один из двух лакеев).— И Наташа скинула с голых плеч соболью шубку [и почувствовала, что она хороша], сделала серьезную мину, как будто говоря: «Не для того делаю, чтоб показать себя, а надо же снять шубу», и почувствовала, что она очень хороша, и всё деревенское спокойствие ее исчезло, и в глазах засветились веселые, вызывающие звездочки. [Но оттого, что она так] Наташа была в эту пору вполне созревшей для любви красавицей — глаза ее светились любовью, и вокруг себя она видела только одну любовь.

Больше половины бельэтажа еще было не занято. Наташа, слегка улыбаясь (потому что на нее смотрели), сделала упрек отцу, что рано приехали, и, оправив платье, села впереди, облокотив тонкую обнаженную руку на бархат балюстрады. Как всегда, большинство глаз обратилось на входящих, и большинство глаз надолго остановилось на Наташе, которая не ошибалась, думая, что она очень хороша в этот вечер. Прическа à la grècque[3], открытое спереди платье на тонкой, еще костлявой шее с жемчугами очень шло к ней. Но главное, всё выражение ее лица, ее глаза [ярко] светились особенным, [восторженным] любовным блеском в этот вечер. После деревенской тишины, после разочарования в приезде князя

---

[1] На полях: *Наташа только теперь, когда она меньше думала об этом, поспела, созрела для любви. Она глядела вокруг себя и везде видела любовь.*

[2] дурного тона

[3] на греческий манер

Андрея и досады первых дней и при ярком свете, и при звуках этой прелестной, любимой ее музыки [она пришла в то взволнованное девичье состояние, когда всё существо только ждет одного счастия] [она почувствовала, что всё в ней вдруг перевернулось и что она счастлива] она почувствовала, что кроме той ее жизни с ожиданием, разочарованием есть совсем, совсем другая счастливая жизнь.

— Посмотри, это Аленины.

— Да, а вон Петров идет.

— Какой Петров?

— Да cousin Бестужевых.

— Ах, да. Как хороша Аленина!

— Ничего хорошего,— говорили и спрашивали отец с дочерью. [Но Наташа] И говорили оба как-то особенно торжественно, не так, как они говорили между собой дома. Они говорили так, что видно было, кроме смысла их речей, было еще что-то. Наташе было уже не ново это состояние, оно с прелестью охватило ее. Сознание обнаженности плеч и груди, ощущение свежести, чистоты рук, обтянутых перчатками, запах духов и ощущение чего-то стройно воздвигнутого на напомаженной голове и не имеющего быть нарушенным,— все эти ощущения соединились в ней с особенным душевным состоянием восторга и самодовольства и легкости всего. Это было то же ощущение, которое она испытывала на памятном ей нарышкинском бале, которое она испытывала несколько раз после и которого она лишена была более года. С тем большей силой она отдалась ему. Не успела она перекинуться несколькими фразами с кузиной и с отцом, пригибавшим к ней свою лысую — тоже припомаженную голову, как застучала палочка капельмейстера и на одних духовых инструментах началось тихое и стройное adagio увертюры. Музыка, этот большой, стрйный оркестр уже совсем перенесли Наташу в новый мир [из ее]. Отрадненские воспоминания сделались чем-то давно, давно прошедшим. [Наташа не ⟨смотрела⟩] Увертюра была очень хороша. Наташа уже не смотрела вокруг себя, она чувствовала только, что сидит в блестящем свете, и на нее смотрят, и слушает так, как слушают люди, одаренные даром понимания музыки. Ей казалось, что не оркестр играет, что она сама производит эти строгие, чистые, отчетливые звуки. Она чуть заметно, в такт, сгибала и выпрямляла свою голову, чуть заметно улыбалась в местах, ей особенно нравившихся, и выпрямлялась и гордилась в блестящих местах увертюры. Увертюра, как и всякая оперная музыка, составляющая [⟨компромисс⟩] сделку между двумя искусствами, драмой и музыкой, и потому не удовлетворяющая ни одной из них,— увертюра состояла из неизбежного анданте, бури, [фуги] опять анданте и allegro con fuoco, кончающегося теми же неизбежными аккордами унтер-доминанты, доминанты и, наконец, tutti аккорды [тоники]. Но Наташе казалось, что она сама сейчас же и сочиняла и исполняла эту увертюру, и когда она дошла до последних аккордов tutti, то лицо ее разгорелось, она, продолжая исполнять увертюру, гордо оглядывалась на входивших и думала только: «Ну, идите, идите, много ли вас тут идет, проходите все, все,— вот сейчас доиграю. Тим, том, тим, том, тим, том», и, наконец, раздался последний аккорд и тотчас же аплодисменты. Всё последнее время увертюры Наташа [перебирала] напряженно перебирала пальцами руки, которые лежали на раме, как будто они мяли что-то, и граф Илья Андреич, покачивая головой и смеясь, смотрел на эти пальцы.

— Папа̀, что за прелесть! — сказала Наташа.

— Отлично! — ответил Илья Андреич,— пальцы-то что же у тебя работали?

Наташа не отвечала, ей некогда было, она стала разглядывать теперь то, что она мельком видела вокруг себя во время своего исполнения. Занавес поднялся, там были ровные доски, посередине с боков стояли крашенные картоны зеленым, долженствовавшие представлять деревья, из-за картонов под лампами высовывались мужчины в сюртуках и девушки какие-то, позади был очень дурно нарисован какой-то город, такой, какие всегда бывают на театре и никогда не бывают в действительности. Наверху были протянуты полотна. На досках сидели какие-то барышни в красных корсажах и белых юбочках, [и] одна в шелковом белом платье сидела особо, и все они были одеты как никогда в действительности и всегда на театре. И все они пели очень дурно и не слышно. Потом в белом подошла к будочке, и

к ней подошел в шелковых в обтяжку панталонах (ноги толстые были) с пером и кинжалом и стал что-то ей доказывать и петь.

Наташа, как ни редко [бывала в театре, всё это знала. И знала] бывала в театре, знала, что всё это так будет, и [как никогда] не интересовалась тем, что было на сцене. Она ⟨не?⟩ смела признаться в этом, но она не любила даже оперу. Она стала глядеть в партер и в ложи. Когда ребенком ее в первый раз привезли в театр, она думала, что самый театр не сбоку, на сцене, а прямо против, в рядах освещенных лож, где всё головы, головы, и, хотя ее старались в этом разуверить, она, никому в том не сознаваясь, осталась при этом убеждении. Во время увертюры она особенно заметила налево в соседней ложе что-то в золотых очках знакомое и рядом с ним что-то прекрасное, и еще в 1-м ряду кресел у рампы задом к сцене что-то знакомое и очень замечательное, и напротив в ложе что-то близкое и неприятное. Но тогда ей не было времени разбирать. У нее осталось в памяти только одно знакомое, доброе; знакомое доброе был Pierre, который с женой занял ложу рядом с Ростовыми. Прекрасное это была его жена Hélène во всем блеске красоты и элегантности петербургской дамы, которая хочет уничтожить всех московских соперниц. Знакомое и замечательное был Долохов в черкесском платье с огромной копной стоящими курчавыми волосами и с рукой в рукаве на завязочках, стоял в 1-м ряду, обращая на себя внимание и не тяготясь им; и неприятное близкое была Жюли с матерью и Борисом, который был уже женихом и которого по одному тому, как он вошел в ложу, улыбнулся, подставив, улыбаясь, ухо Жюли, можно было сейчас признать за жениха. Это было неприятное. Отчего и как, Наташа не могла себе дать отчета. Она отвернулась на сцену. Там с двух сторон из-за зеленых картонов вышла с левой — женщина с короткой юбкой, а справа — мужчина, и стали друг против друга и стали что-то петь — не слышно было что. Один из них, ровно подымая и опуская руку,— это был старичок в желтых в обтяжку панталонах. «Долго он это будет»,— подумала Наташа, как пришептывающий голос над самым ухом развлек ее. Это был Pierre, который, узнав и перегнувшись к ней, улыбаясь начал говорить, глядя ласково, радостно через очки.

[Ах, как] Pierre, сидя сзади, уже давно успел пожать руку графа, расспросить его, как и надолго ли он здесь, и давно уже тщетно старался обратить на себя внимание Наташи, которая смотрела и вперед, и на Жюли, и на сцену, и на 1-ые ряды, и на прекрасную Hélène, но не успела взглянуть.

— [Ах] Вы не хотите знать вашу нянюшку,— говорил ей Pierre, который с Наташей всегда держался в веселых шуточных отношениях, вероятно, оттого, что он чувствовал, что стоило бы ему только выйти из этих подставных, шуточных отношений, и он бы оказался к Наташе в других, слишком неудобных для него отношениях. С тех пор как он вошел в ложу, он не спускал с нее глаз, и теперь, когда он, нагнувшись, через очки смотрел на нее, [Наташа с несдерживаемым восхищением] Наташа [⟨обратила⟩] почувствовала с радостью, что он всей душой восхищается ею.

— Боже мой! Можно ли так похорошеть,— говорил он ей.— Что вы делали всё это время? Я говорил вашему папиньке, как ему не грех лишать Москву...

Наташа улыбалась и не отвечала. Что ж ей было отвечать? Она чувствовала только, что Pierre говорит очень умно и истинную правду. Но, кроме этой правды, ей от Pierr'a, который живо напомнил ей Андрея, хотелось узнать, не имел ли он известий, писем. «Уж не скрывают ли они от меня? — подумала она,— и вдруг, когда я меньше всего жду,— он войдет в ложу. Уж не приехал ли он?» С этой мыслью она обратилась к Pierr'y и [⟨прошептала⟩] спросила, где он провел это время, давно ли оставил Петербург. Она думала сначала искусно навести разговор, но потом вдруг покраснела и спросила прямо, не вернулся ли князь Андрей.

Pierre вздохнул почему-то и ответил, что не имеет ни писем, ни известий. Всё остальное время 1-го акта Pierre, перегибаясь к ней, смешил Наташу своими замечаниями насчет актеров, но Наташа не смеялась, ей грустно было. Напротив, Жюли беспрестанно обращалась к Борису, который нагибался и улыбался ей. Рядом, у Hélène, сидел за ней, кроме мужа, француз, шептавший ей что-то. Со всех сторон все были счастливы, все были окружены. Она одна должна была быть одна, хотя она и видела и чувствовала, что не один Pierre, но и большая часть партера

смотрела на нее, несмотря на соседство [⟨Hélène⟩]. В антракте Долохов, необыкновенно похорошевший, с приемами презрительной уверенности стоявший в середине театра, не спуская глаз, смотрел в их ложу. Наташа поняла, что он искал Соню. К ним вошел знакомый москвич, с которым говорил Долохов (Наташа заметила это), и стал спрашивать о семействе и о Соне: «Где она? Приедет ли она?» Наташа поняла, что [это был] он был подослан Долоховым, и ей вдруг после [минуты] чувства восторженного самодовольства сделалось грустно. Она вдруг, как это часто [бывает] и особенно болезненно бывает, почувствовала себя одинокой в этой блестящей толпе. Pierre ушел из своей ложи. Граф тоже вышел. Она рассеянно смотрела вокруг себя, завидовала, ревновала и хотела или поскорее уехать, или что-нибудь сделать необыкновенное. В соседней ложе ее внимание обратило имя Бориса Друбецкого и Жюли. Она прислушалась.

— Разве это уже объявлено! — говорил один из блестящих молодых людей, вошедших в ложу к Hélène.— M-lle Ахросимова старше Друбецкого, я думаю.

— Как же, вчера это решилось,— отвечала Hélène с громким смехом.— Ca sera un mariage mélancolique, comme dit mon mari [4].

Наташа поглядела в ложу Ахросимовых. Борис подавал руку Жюли, чтобы выйти из ложи.

«Да, когда еще это будет,— подумала Наташа о князе Андрее,— когда-нибудь, и что за испытание, точно он не мог выйти в отставку или взять меня с собой, а теперь я одна, и никому до меня дела нет». В соседней ложе шептали что-то.

— La cadette charmante, une tête de poétesse delicieuse [5]. Она знала, что это говорили про нее. [Hélène] [Где]

— Voyons voir! [6] — послышался голос громче других, басистый, мужской, приятный голос.— Gentille! Très gentille! [7]. А нога? Хороша? Я сужу о женщине, как о лошади,— по ногам. [Уже]

— Шшш,— сказала Hélène.— Этого уж я тебе не могу сказать...

— Покажи свою,— сказал мужской голос.

— Вот вздор!

В заду ложи послышалась возня и веселый хохот.

— Mauvais polisson [8],— сказала Hélène.

— Так я к тебе ужинать,— сказал мужской голос.

Наташа, само собой разумеется, в то время, как она слышала этот разговор, была занята рассматриванием афиши [но] и не оглядывалась, но, не оглядываясь, она видела, что [про нее говорил] тот, кто говорил «ты» Hélène и который спрашивал о ее ноге, был гвардейский офицер с белым затылком и шелковистыми русыми волосами, зачесанными наперед. «Кто это может быть?» — подумала Наташа и сама для себя, для своего успокоения, выставила ножку из-под платья [и полюбовалась ею].

В ложу вернулись Илья Андреич и Pierre. Наташа слушала и отвечала им, но смотрела в parterre [от], как бы карауля кого-то. Вот он. Это был тот самый mauvais polisson, который сомневался в ее ноге. Он вышел из боковой двери в кавалергардском, высокий, статный красавец с широкой грудью, румяными губами и высоко, гордо поднятой головой. Наташа узнала тот самый затылок, который она видела, и ей смешно было думать, какое он уважение к себе там, в партере, внушал своей осанкой (она заметила, что перед ним сторонились) и как он был polisson сейчас в ложе. У него был значительный, гордый и молодецкий вид. Так самоуверенно небрежно идти по рядам, прямо на людей, с уверенностью, что посторонятся, не мог идти человек, который не знал себе цены. Походка у него была немного ленивая, немного ухарская, такая походка, которая бы сделала его смешным, ежели бы он не был так хорош собой. Кроме того, начиная от звука его сапог по ковру (тонких с маленькими шпорами) до прически и покроя платья виден был l'homme élégant [9]

---

[4] Это будет меланхолический брак, как говорит мой муж.
[5] Младшая прелестна, поэтическая головка, очаровательна.
[6] Давайте посмотрим!
[7] Мила! Очень мила!
[8] Скверный шалун.
[9] элегантный мужчина

[et comme ⟨il faut⟩], что так высоко ценила Наташа. Анатоль прошел в первый ряд, подошел к Долохову, к которому так почтительно приближались другие, и [стал] улыбаясь, потрепал его по животу (тут на самом виду всего театра). «Знаю, что вы все смотрите,— как будто говорил его вид.— Ну смотрите, мне всё равно». «И о чем они говорят, о чем они смеются? — думала, глядя на них, Наташа.— Что-нибудь отличное». И ей досадно было, что они смеялись и говорили не о ней. Но в то время как подняли занавес, они оба перегнулись назад. Анатоль перекинул руку через спинку кресла и, смеясь глядя на нее, что-то говорил Долохову. «Это что-то новое, этого я не испытала еще,— подумала Наташа.— В нем всё другое, чем в князе Андрее, что не знаю, но всё другое». [Может быть это]

Во втором акте были всё картоны, изображающие какие-то монументы, и дыра в полотне, изображающая луну, и абажуры ламп подняли и стали играть в басу трубы и контрабасы, и в черных мантиях стали ходить люди, и пришло много справа и слева, и стали опять махать руками, а в руках у них было что-то вроде кинжалов [под предлогом пения], потом прибежали еще какие-то и стали тащить ее прочь, но не утащили сразу, а она долго с ними пела, а потом уже ее утащили, и за кулисами ударили 3 раза в кастрюльку, и все очень этого испугались и стали на колени и опять пели очень хорошую молитву.

Наташа [уже меньше] [В третьем] слушала, ее занимало много вещей: 1) ей хотелось быть знакомой с Hélène, известной модницей и красавицей, и она удивлялась, почему папа̀ не познакомит ее, 2) ей досадно было смотреть на Бориса, который был ее собственный и посмел сделаться женихом. Она ждала его к себе в ложу и сбиралась быть как можно веселее с ним и как можно естественнее, радостнее поздравить его. Она сама не знала, почему [но Анатоль ⟨притягивал⟩] Анатоль, который [очевидно] был — и по тому, какое положение он принимал в партере и в ложах дам,— 1-м кавалером Москвы, занимал ее, и она не спускала с него глаз.

Во 2-м антракте пришел Борис, Наташа обошлась, как и хотела, радушно и холодно, и Наташа, выйдя в коридор с отцом, была представлена Hélène. Анатоля не видно было. Он под руку с Долоховым ушел куда-то.

В 3-м акте был представлен дворец очень светло, и картины, рыцари с бородками, особенно дурно нарисованные, так дурно, как только бывает на театре, и царица, и царь, вероятно, которые оба очень дурно пели, пропели что-то по сторонам и сели на трон. Она была, тоже и он, в дурном платье и очень грустны. Но они сели. Справа вышли мужчины с голыми ногами и женщины с голыми ногами, и стали танцовать все вместе, кружиться, а потом скрипки заиграли, одна отошла на угол, поправила корсаж худыми руками и стала прыгать и скоро бить одна об одну толстыми ногами.

В это время Наташа заметила, что Анатоль смотрел в трубку на нее и хлопал и кричал. Потом один мужчина стал в угол, заиграли громче в цимбалы и трубы, и один этот мужчина с голыми ногами стал прыгать очень высоко и очень дурно, и потом наверху стали хлопать и кричать, и мужчина стал глупо улыбаться и кланяться. Потом еще плясали другие, и потом опять один из царей закричал что-то под музыку и стали петь, Но вдруг, само собой разумеется, сделалась буря, стали arpeggio уменьшенными септимами и хроматической гаммой играть, и все побежали и потащили опять кого-то.

В этом антракте Hélène особенно просила графа Илью Андреича пустить к ней в ложу дочь и просила так настоятельно, что, несмотря на очевидное нежелание это сделать, граф Илья Андреич не мог ей отказать. Hélène говорила, что она так полюбила Наташу, что она хочет воспользоваться ею, что она слышала о ее прелестном голосе, что они будут вместе петь и т. д. Наташа перешла к Hélène, а [Pierre перешел к графу, и там она слышала, как ее папенька, очевидно притворяясь, говорил, что пора] Pierre сел сзади с графом, и Наташа слышала, как ее отец говорил что-то, что пора давно было образумить Россию, что Сперанский прекрасно всё делает, что надо, наконец, приняться за финансы, а то ⟨лежа?⟩.

Pierre спорил, но кротко, видимо, не желая употреблять всех своих сил против такого неровного бойца. Как и что это было, Наташа не знала, но она чувствовала, что ее папенька *фурфоируется*, что он хочет быть современным, и что-то, что он говорит, уже старо, что на нем узкие панталоны, тогда как давно носят широкие. [Наташа всё ⟨замечала?⟩] Наташа желала бы внушить это папеньке, но не успевала

и не пробовала. Наташа была тщеславно возбуждена лестным приемом Hélène, казавшейся ей такой неприступной красавицей и grande dame, и всё тщеславно замечала. Когда она перешла к Hélène, она взглянула торжествующе на соседок справа. «Вот вы на меня так смотрели. А уж графиня Безухова-то, я думаю, всем известна, а видите, как я с нею».

В последнем акте приходил дьявол, и проваливался кто-то в раздвинутые доски, и был хор, где он всё впереди всех и громко пел, поднимая руку, но Наташа меньше всех видела этот последний акт, потому [что только что она перешла в ложу Hélène] как Анатоль, на которого она смотрела невольно, что-то сказал Долохову, засмеялся и ушел, несмотря на то, что начинался акт. Через две минуты пахнуло холодом из растворенной ложи, уже знакомая Наташе походка послышалась в ложе; между ней и Hélène нагнулась фигура Анатоля.

— Hélène, presentez moi à la comtesse Ростовой [10],— сказал голос, улыбаясь Наташе. И он начал с ней говорить прежде даже, чем сестра исполнила его просьбу. Он близко, так близко, что Наташе неловко было, подсел к ней и начал, наклоняясь совсем к ней, говорить ей о давнишнем желании быть представленным ей, о бале Нарышкиных. Он говорил чрезвычайно легко и просто, видимо, и не думая о том, что выйдет из его речей. Он, не спуская улыбающихся глаз, смотрел на лицо, на шею, на руки Наташи. Ей тесно, жарко и тяжело становилось. Когда она не смотрела на него, она чувствовала, что он смотрел на ее плечи, и она невольно перехватывала его взгляд, чтоб он уж лучше смотрел [на нее] на ее глаза. Но, глядя ему в глаза, она с страхом чувствовала, что между им и ею нет той преграды стыдливости, которую всегда она чувствовала между собой и мужчинами. Она, сама не зная как, через 5 минут чувствовала себя страшно фамильярно близкою к этому человеку. Когда она отвертывалась, она боялась, как бы он сзади не взял ее за голую руку, не поцеловал бы ее в шею. Они говорили о самых простых вещах, а она чувствовала, что они близки, как она никогда не была с мужчиной. И что ей странно было, это то, что он не только не робел перед нею, как робел сам князь Андрей, а напротив, он как будто ласкал и подсмеивался над нею. Тон, небрежно подсмеивающийся, был принят Анатолем раз навсегда со всеми женщинами.

Наташа оглядывалась на Pierr'a и отца, как оглядывается ребенок, когда его чужие хотят увезти, но они всё не смотрели на нее. В числе вопросов учтивости Наташа спросила у Анатоля, как ему нравится Москва. Наташа спросила и ужаснулась тому, что она спросила: ей постоянно казалось, что что-то неприличное она делает. Анатоль улыбнулся.

— Сначала мне мало нравилось, потому что, что делает [жизнь] город приятным, les femmes, les jolies femmes [11], но теперь к середине зимы подъезжает товар, и должен признаться, с каждым днем лучше. Ma parole d'honneur vous êtes la plus jolie femme de la saison [12],— сказал он и, протянув руку, сказал:

— Donnez moi cette fleur [13]. Наташа отвернулась и покраснела. Она не знала, что сказать. Но только что она отвернулась, она с ужасом подумала, что он тут сзади ее так близко от нее, что он теперь сконфужен, рассержен. Она не могла и оглянулась. Он, нагнувшись, отрывал бант с подола ее платья, и когда она взглянула на него, он оторвал его и, улыбнувшись, прижал к губам [14]. Хотела или не хотела рассердиться Наташа, она сама не знала, она прямо в глаза взглянула ему, и его близость, и уверенность, и добродушная ласковость улыбки победили ее. Она улыбнулась тоже, так же, как и он, глядя прямо в глаза ему. «Боже мой, что я, где я?» — думала она. Но и весь этот 3-й акт, всякий раз, как она глядела на него, она, покоряясь ему, улыбалась, она чувствовала, что между ним и ею нет никакой преграды. Когда они выходили с отцом, Анатоль провожал их до кареты. Он подсадил Наташу и пожал ей руку выше кисти.

---

[10] Элен, представь меня графине

[11] женщины, хорошенькие женщины

[12] Честное слово, вы самая красивая женщина в нынешнем сезоне.

[13] Дайте мне этот цветок.

[14] На полях: *Она позволила ему вольность, она ласково посмотрела на него, и началась та ретроспективная работа, которая доказала ей, что она его любила с самого начала. А любила, так он прекрасен. Это спокойствие, мужественность. А он — приемы романтика и ловеласа.*

№ 25
ИСТОРИЯ ДОЛОХОВА

а. [Долохов был] С 1807 года после большого выигрыша у Ростова Долохов открыл у себя [регулярный] организованный игорный дом, в который [собиралась] собирались всё игроки московские, несмотря на то, что все говорили, что Долохов играет поддельными картами. [Но искусство ли, такт ли] Но он делал так, что люди, как сенаторы, имевшие голос в обществе, выигрывали часто у него, проигрывали же большей частью неизвестные молодые богатые люди. В 1807 году один молодой купец был обыгран Долоховым на несколько 10-в тысяч, и так как молодой купчик не знал изречения, что un dette de jeu et sacré [1], то купчик, очнувшись на другой день от дурмана, подлитого ему в вино, с наивным здравым смыслом объявил, что он не заплатит, так как он обманом обыгран. Тогда Долохов особенным жестоким блеском глаз посмотрел на него, улыбка стала виднее, ничего не сказав купцу, кликнул людей, велел приготовить вексельной бумаги и селедки в пустую комнату и запер туда купца.

— Ну так погостите у меня, может вздумаете подписать.

Через три дня, во время которых купцу не давали пить, вексель был подписан и купец выпущен. Но купец подал жалобу, и, несмотря на сильную защиту, которую успел найти Долохов, он был выслан из Москвы и ему угрожало разжалование, ежели он не вступит в службу. Он поступил капитаном в Финляндскую армию. В Финляндии их полк не был в деле, и он, как всегда, умевший быть в связи с людьми, высшими себе по состоянию и положению, жил вместе с родственником Болконских, двоюродным братом Андрея. Оба стояли у пастора, и оба влюбились в его дочь. Долохов, прикидываясь только влюбленным, давно [уже] был любовником пасторской дочери. Болконский, узнав это, стал упрекать Долохова. Долохов вызвал его и убил. В тот же вечер пасторская дочь с упреками и угрозами пришла к нему. Долохов был в припадке своей жестокости. Он прогнал и избил ее. Сразу начались два новых дела. И в это время Долохов пропал, так что в продолжение двух лет никто ничего о нем не слышал. Последнее известие, полученное о нем [2], было письмо к матери, таинственно переданное ей одним из прислужников и помощников по игре Долохова во время его блестящей жизни в Москве.— Письмо это было короткое, но страстно-нежное, как и все письма Долохова к матери и как его отношение к ней с того самого времени, как он стал на ноги.

М. И. Долохова, дочь богатого человека, была бедная вдова с 60 душами и 3-мя дочерьми и одним сыном. Она жила в деревне, и только в 1805 году сын ее — примерный сын, перевез ее в Москву и купил ей на выигранные деньги маленький домик у Николы Явленного и содержал ее и сестер. Марья Ивановна считала своего сына Федю образцом всех человеческих совершенств, но слишком благородным и пылким для нашего нынешнего развратного света. Она и сестры во всем, что случалось с ним, только видели несчастие, преследующее всегда добродетель.

б. В 1805 он купил матери дом и был уже р

в. 1806 год, тот самый, во время которого произошла дуэль между Долоховым и Безуховым, был самый счастливый год для матери. Несмотря на горе, которое причинила матери его рана, всё время выздоровления он лежал у нее и был с нею. В том, что Безухов дрался с Долоховым, мать видела только новое доказательство людской злобы и порчи света. «Где же нет, чтобы молодой человек не имел связи с женщинами? Это, напротив, формирует людей. Ежели Безухов так ревнив, то он ⟨должен бы⟩ прежде так показать это, а не после хода. И что за гадость вызвать на дуэль человека, который ему должен, предполагая, что он откажется. [Самое же лучшее] И вот людская справедливость, Безухову ничего не сделали, а Федю судили и лишили чина». Но лучшее время для матери было последовавшее после дуэли сближение сына с семейством Ростовых. Nicolas, мать видела, понимал всю высоту души ее сына, и принимала его. Он был у них в домике Николы Явленного ежедневным гостем, и мать помнила их задушевный разговор. Она помнила, как сын, еще лежа в постели, разговорившись о правилах, говорил:

---

[1] Карточный долг — это священно.
[2] В автографе было *им* (прим. составителя).

— Есть три рода людей — одни, которые никого не любят и никого не ненавидят, это самые глупые и самые счастливые. Есть другие, которые только любят некоторых и остальных не знают, это Безухов, это бабы; есть такие, как я, которые только малое что любят, а остальное всё ненавидят. Это я. У меня есть обожаемая, неоцененная мать, есть два-три друга, еще есть одно... ты знаешь,— сказал он,— а остальное я всё ненавижу и презираю, и изо всех остальных готов сделать окропку для того, чтобы избранным было хорошо.

И мать знала, что это была правда. В это время сближения с Ростовым мать знала, что сын ее влюблен в Соню, в воспитанницу без средств, без состояния, что он бросил самую блестящую в России связь для этой девочки, что он для нее отказался от всех лучших партий, которые предлагала ему мать. И хоть мать желала ему богатства, она радовалась этому благородству сына. Она и дочери ее все были влюблены в Соню. Она ездила в театр, чтобы смотреть на нее, и восхищалась ею. Тоска, овладевшая Долоховым после отказа, была ужасна. Он говорил, что убил бы себя, ежели бы не несравненная мать, поддерживавшая его. Он всегда, говоря о матери и с матерью, употреблял какие-нибудь страстные эпитеты. Тоска эта его продолжалась до того дня, в который он решил отплатить кому-нибудь за неудачу и выместил на Nicolas свою досаду, обыграв его.— Мать долго не могла простить Ростовым то, что они раззнакомились с ее сыном за этот проигрыш и распускали о нем невыгодные слухи[3]. «Что ж, все играют и проигрывают. Федя не меньше других проигрывал и никогда никого не обвинял. Как не узнал этих молодых людей. Казался честный, а вышел какой подлый, что может распускать такие слухи, про кого же, про Федю бесценного, несравненного». Вся жизнь последующая Долохова (он жил отдельно от матери), буйная, развратная, игорная, только возбуждала горесть и ее сожаление о несчастном благородном сыне. Она понимала, что всё это происходило [от несчастной любви] от горя несчастной любви, которое он старался заглушить всем этим шумом. [И она благословила] История с купцом была опять несправедливым преследованием благородного сына. «Разумеется, он погорячился, но кому же не будет досадно, что какой-нибудь купчишка смеет говорить, что не заплатит, потому что он обыгран обманом. Кто же это, мой сын Федя, обыграл обманом? Очень похоже на него!» Когда Долохов уезжал в Финляндию, он, рыдая, как ребенок, обнял мать и его почти без чувств посадили в перекладную.

Последнее письмо, полученное из Финляндии, было следующего содержания: «Бесценный ангел-хранитель мой матушка. Жестокая судьба не перестает преследовать меня. Роковые обстоятельства увлекают меня в бурный поток жизни. Я опять несчастен, опять сужусь. Богу истинному, справедливому известна правда. Я бежал. Но о себе я не думаю, одно горе, мучающее меня, это вы, мой ангел, мой голубчик, обнимаю вас, бесценный ангел, и умоляю не печалиться, жалеть себя для лучших дней. Я не пропаду. Я чувствую, что буду опять видеть ясные любви полные материнские дороже света для меня очи и лобзать эти руки. Божественная натура говорит во мне сильнее других голосов. Прощай, ангел, посылаю, что могу, и молю об терпении и ⟨1 *нрзб*⟩. Обожающий вас сын Ф. Долохов». [Все эти письма]

При письме были 5.000 денег. Долохов писал, что ему ничего не нужно. Мать, обливая слезами, перечитывала это и прежние такие же письма, когда в 10 году зимой старый дворник Гаврила пришел сказать, что мужик пришел спрашивать. Ольга, сестра, пошла посмотреть. Одни женщины боялись. Как вдруг вскрикнул мужественный голос, и в кафтане вбежал бледный Долохов и упал в обморок в объятия матери. Это был он. Он пешком пришел из Камчатки. Он был ⟨диким?⟩, татуирован, он ездил вокруг света. Он боялся всего. Его велено было расстрелять за бунт, произведенный на корабле. Он тайно пришел. Мать спрятала его, но тайна скоро узналась, и важные тайно (secret de la comédie) видели этого странного человека и хлопотали за него. Он сделался даже известностью и модой.

---

[3] На полях вписано и зачеркнуто: [*Для*] *У М. И. Долоховой был один догмат веры: то, что сын ее образец добродетели, и всё, что случалось с сыном, для матери подтверждало только истину развращенности света и добродетели сына. Безухое был взбалмошный пьяный дурак. Nicolas Ростов был неблагодарный человек, который за всю любовь Феди отплатил роспуском нелепых слухов. Соня — про любовь сына М. И. тоже знала — была гадкая девчонка, а Феде было носить кресты в своей жизни.*

В это же время в Москве в начале 1812 года жил Анатолий Курагин. Он приехал из Петербурга, как он говорил, baiser les moscovitains[4]. Петербургские дамы ему надоели. Он приехал к Долохову, потому что все ездили к Долохову и спрашивали, видели ли знаменитого африканца, а Долохов обворожил его, как он умел, потому что он ему был нужен. Долохов жил отдельно от матери, опять богато и оригинально (чем, никто не знал). У него обедывали. И обеды его бывали странны: щи, бок, запеканка и редкая мадера. Анатоль обедал у него. Они выпили и разговорились.

— Что же,— говорил Анатоль, философствуя,— больше ничего нет на свете, как вино и женщины. Вот женщины. Как глупы, как жалки. Я люблю, когда плачет. И пройдет от ласк. ⟨Карнакова?⟩ жалкая была.

— Я, брат, обезьяну любил, всё то же. Теперь красивые женщины[5].

Была утвердившаяся между ними — а при них подражатели — профессия донжуанства. Они рассказывали друг другу. Долохов на вечере сказал Жюли, что он женится только на женщине, которая захочет быть его любовницей.— «Хотите?»

Анатоль брал молчаливой дерзостью, но добродушен был со всеми с товарищами мужчинами.

№ 26

а. Марья Ивановна Долохова, дочь богатого человека, была бедная вдова с 60 душами и с 3-мя дочерьми и одним сыном. Она жила в деревне. И только в 1805 году сын ее,— примерный сын,— перевез ее в Москву, [и купил ей маленький] купил ей на выигранные деньги маленький домик у Николы Явленного и содержал ее и сестер. Марья Ивановна считала своего сына Федю образцом всех человеческих совершенств, но слишком благородным и пылким для нашего нынешнего развратного света. Она и сестры во всем, что случалось с ним, только видели несчастье, преследующее всегда добродетель.

б. В 1806 он купил матери дом и был уже намерен

в. 1806 год, тот самый, во время которого произошла дуэль между Долоховым и Безуховым, был самый счастливый год для матери. Несмотря на горе, которое причинила матери его рана, всё время выздоровления он лежал у нее и был с нею. В том, что Безухов дрался с Долоховым, мать видела только новое доказательство людской злобы и порчи света. «Где же нет, чтобы молодой человек не имел связи с женщинами? Это, напротив, формирует людей. Ежели Безухов так ревнив, то он должен бы прежде показать это, а не после года. И что за низость вызвать на дуэль человека, который ему должен, предполагая, что он откажется. [Самое же лучшее] И вот людская справедливость: Безухову ничего не сделали, а Федю судили и лишили чина».

Но лучшее время для матери было последовавшее после дуэли сближение сына с семейством Ростовых. Nicolas, мать видела, понимал всю высоту души ее сына и ценил его. Он бывал у них в домике Николы Явленного ежедневным гостем, и мать помнила их задушевные разговоры. Она помнила, как сын, еще лежа в постели, разговорившись о правилах, говорил: «Есть три рода людей: одни, которые никого не любят и никого не ненавидят. Это самые глупые и самые счастливые. Есть другие, которые только любят некоторых и остальных не знают. Это Безухов, это бабы; есть такие, как я, которые только малое число любят, а остальное всё ненавидят. Это я. У меня есть обожаемая неоцененная мать, есть два-три друга, еще есть одно... ты знаешь,— сказал он,— а остальное я всё ненавижу и презираю, и изо всех остальных готов сделать окрошку для того, чтобы избранным было хорошо». [И мать знала, что это была правда].

В это время сближения с Ростовым мать знала, что сын ее влюблен в Соню, в воспитанницу без средств, без состояния, что он бросил самую блестящую в России связь для этой девочки, что он для нее отказался от всех лучших партий, которые предлагала ему мать. И хотя мать желала ему богатства, она радовалась этому благородству сына. Она и дочери ее все были влюблены в Соню. Они ездили в театр, чтобы смотреть на нее, и восхищались ею. Тоска, овладевшая Долоховым после отка-

---

[4] целовать москвичек

[5] На полях: *Долохов натравливает Анатоля, он его раб. В Москве было общество кутил.*

за, была ужасна. Он говорил, что убил бы себя, ежели бы не несравненная мать, поддерживавшая его. Он всегда, говоря о матери и с матерью, употреблял какие-нибудь страстные эпитеты. Тоска эта его продолжалась до того дня, в который он решился отплатить кому-нибудь за свою неудачу и выместил на Nicolas свою досаду, обыграв его. Мать долго не могла простить Ростовым то, что они раззнакомились с ее сыном за этот проигрыш и распускали о нем невыгодные слухи. «Что ж, все играют и проигрывают. Федя не меньше других проигрывал и никогда никого не обвинял. Как не узнаешь этих молодых людей. Казался честным, а вышел какой подлый, что может распускать такие слухи, про кого же? Про Федю бесценного, несравненного». У М. Д. Долоховой был один догмат веры: то, что сын ее есть образец добродетели, и потому всё, что случалось с сыном, для матери подтверждало только истину развращенности света и добродетели сына. Безухов был взбалмошный пьяный дурак. Nicolas Ростов был неблагодарный человек, который за всю любовь Феди отплатил, распуская нелепые слухи. Соня, про любовь к которой сына М. Д. тоже знала, была гадкая девчонка, а Феде было носить кресты в своей жизни.

Вся жизнь последующая Долохова [он жил в] [он жил отдельно от матери] — буйная, развратная, игорная — только возбуждала горесть и сожаление о несчастном, благородном сыне. Она понимала, что всё это происходило от горя несчастной любви, которое он старался заглушить всем этим шумом. [И она благословила] История с купцом была опять же несправедливым преследованьем благородного сына. «Разумеется, он погорячился, но кому же не будет досадно, что какой-нибудь купчишка смеет говорить, что он не заплатит, потому что его обыграли обманом. Кто же это, мой сын Федя обыграл обманом? Очень похоже на него!» Когда Долохов уезжал в Финляндию, он, рыдая, как ребенок, обнимал мать и его почти без чувств посадили в перекладную.

Последнее письмо, полученное из Финляндии, было следующего содержания [1].

Мать, обливаясь слезами, перечитывала это и прежние такие же письма, когда в [10] 11 году зимой старый дворник Гаврила пришел сказать, что мужик пришел спрашивать. Ольга, сестра, пошла посмотреть. Одни женщины боялись. Как вдруг вскрикнул мужественный голос, и в кафтане вбежал бледный Долохов и упал в обморок в объятия матери. Это был он. Он пешком пришел из Камчатки. Он был в диком ⟨виде?⟩, татуирован, он ездил вокруг света. Он боялся всего. Его велено было расстрелять за бунт, произведенный на корабле. Он тайно пришел. Мать спрятала его, но тайна скоро узналась, и важные лица тайно (secret de la comédie [2]) видели этого странного человека и хлопотали за него. Он сделался даже известностью и модой.

В это же время в Москве, в начале 1812 года, жил Анатоль Курагин. Он приехал из Петербурга, как он говорил, baiser les moscovitaines [3]. Петербургские дамы ему надоели. Он поехал к Долохову, потому что все ездили к Долохову и спрашивали, видали ли знаменитого Африканца, а Долохов обворожил его, как он умел, потому что он ему был нужен. Долохов жил отдельно от матери, опять богато и оригинально (чем, никто не знал). У него обедывали. И обеды его бывали странны: щи, бок, запеканка и редкая мадера. Анатоль обедал у него. Они выпили и разговорились.

— Что же,— говорил Анатоль, философствуя,— больше ничего нет на свете, как вино и женщины. Вот женщины. Как глупы, как жалки; я люблю, когда плачет. И пройдет от ласк. Корнакова жалкая была.

— Я, брат, обезьяну любил: всё то же. Теперь красивые женщины.

Была утвердившаяся между ними — и при них подражатели — профессия донжуанства. Они рассказывали друг другу. Долохов на вечере сказал Жюли, что он женится только на женщине, которая захочет быть его любовницей.— «Хотите?»

Анатоль брал молчаливой дерзостью, но добродушен был со всеми с товарищами мужчинами [4].

---

[1] Текст письма см. на. с. 755.

[2] всем известная тайна

[3] целовать москвичек

[4] На полях: *Долохов натравливает Анатоля. Он его раб. В Москве было общество кутил.*

Nicolas Ростов сидел в полку эскадронным командиром. [Анатоль Курагин приехал в Москву в отпуск. Он остановился у сестры Безуховой в доме. Княжны жили в нем.] Он испытывал то перемещение интересов и ту военную поэтическую праздность, которую нельзя описать, ежели не испытал ее. Он сидел на завалинке и думал: «Владимир с бантом. Обидели — чёрт их дери, в деревню, жениться на княжне Марье, стаю завесть. Соня вот пристала. Ну, да что я за Дон Жуан, и за то спасибо, что любит. Зашел товарищ: „Поедем в город". „Поедем, там письмо" [5]. Мать пишет: „Я признаюсь, отец медлит, дом не продан, приезжай, помоги нам"». Вдруг весь взгляд на вещи изменился — награда, эскадрон, песенники далеко, впереди только дом, Наташа, Соня. «Пристали, я не Дон Жуан. А пора бы Наташе мужа Андрея. Тогда мне нельзя».

Подъезжает к дому. Говорит с знакомыми извозчиками, радость.

Наташа одна тоскует, скверное общество, дайте мужа.

В тот же вечер Nicolas пошел к Митеньке, разгорячился и избил его. Соня умоляет не горячиться. Учет. «Папа, продадим дом». Старый граф сам едет и берет Наташу с собой. Nicolas дома охотится, [волк] брызги большой стаи (Киреевской). Приезжает Анатоль.

В Москве весною первая встреча у Жюли с Анатолем. Наташа кокетничает. Старик зовет к себе. Анатоль. Она пишет письмо Андрею, что она погибла.

Общий ход дел — народная война.

Старик Болконский умирает и княжна Марья, Bourienne.

№ 27

В начале [мая] апреля они встретились в театре, ⟨французском⟩ театре, возбуждавшем тогда негодование патриотов. Всё уже говорило о предстоящей войне. Но Анатоль никогда не думал и не мог думать об этом вздоре [1].

Долохов сумел уже так поставить себя, ознакомившись с значительными лицами столицы, что ежели бы его выслали теперь, то компрометированы бы были эти лица, принимавшие его. Кроме того, за него хлопотали. Он уже показывался везде.

Анатоль стоял у рампы переднего ряда, разговаривая с первым попавшимся соседом (он всегда так был фамильярен). Сосед этот, московский юноша, был счастлив, что в виду всего театра говорит с львом московским. Анатоль стоял с тем добрым, веселым и спокойным совестью видом, который показывал, однако, что он знает, что большинство дамских биноклей, хотя и стараясь скрывать это, обращено на него. Он весьма мало был занят и тем, что на него смотрели (он привык), и тем, что рассказывали по ⟨театру⟩ новости из Петербурга о смене Сперанского и верной войне, и даже тем, как распутается эта тонкая ⟨французская⟩ комедия, которой он видел только 2-й акт; он думал о ножках в розовых башмачках актрисы и о том, куда бы поехать выпить после театра. В это время по первому ряду, шагая всем через ноги, как через кусты, и не глядя на них, подходил [2] к нему Долохов в своей оригинальной черкеске.

— Здорово.— Анатоль улыбнулся своей доброй, глупой и твердой улыбкой.

— Вот говорил с ним,— он сказал про московского юношу, которого видел в первый раз,— куда бы поехать выпить. Поедем к ⟨Jogans?⟩ и его возьмем, а оттуда махнем к цыганам.

Долохов убийственно посмотрел на юношу: он строже и разборчивее был к знакомствам. Человек должен был быть выше его в ⟨общественном⟩ мнении, чтобы он был [⟨ласков?⟩] равен. Он отвел его.

---

[5] На полях: *Песенники отличные. Скука поэтическая. Мечты, перебор домашних дел. Решимость Сони. Брак на княжне Марье, богатство. Награды, досада. Охота, собака. Письмо от матери.*

[1] На полях: *Анатоль был добрый, славный малый, Наташа пишет князю Андрею, что она [любит] готова и ждать не может.*

[2] *подходил* написано по слову *проходил.*

— Нет, брат, поедем к Ахросимовым, я обещал тебя привесть.

— А, это та, которой ты сказал, чтоб она убежала с тобой — тогда женишься? Ха, ха, ха, это отличная штука. Что же, не хочет?

— Да, я обещал. У них будут Ростов старик с дочерью, вон, в 3-й с правой стороны [3].

— Эта в локонах — [славная] jolie femme, charmante petite [4],— сказал Анатоль. Он не мог говорить иначе, как по-французски, о женщинах.

— Я не нахожу.

— Да, знаю, ты в ту был влюблен, в маленькую, худенькую.— Долохов нахмурился.

— Не говори об ней,— сказал.

— Ха, ха, ха,— засмеялся.— Вот не знаю, где такие женщины, qui ne veulent pas de nous, quand nous voulons d'elles [5].

— Я тебе говорю — цыганки.

— Поедем к цыганкам. А недурна.— Анатоль смотрел на Наташу, которая, действительно, с отцом сидела в 3-й ложе. Наташа видела, что Анатоль и Долохов смотрели на нее, и она смеялась, говоря что-то отцу, и не смотрела на них, но лицо ее светилось уже тем блеском и прелестью, которое придавало ей восхищение других. Восхищение усиливалось, и прелесть усиливалась. (Она знала, что Анатоль и Долохов были львы Москвы; ей обещала обоих показать нынче вечером Жюли, и Наташе досадно было, что они не обращали на нее внимания.) Теперь cercle vicieux [6] установился между ей и Анатолем через весь театр.

— Délicieuse cette petite [7],— сказал Анатоль и во время пьесы не смотрел на башмачки, а, повернувшись назад, на Наташу. Она, разумеется, только смотрела пьесу, ни разу не взглянула на него, но всё хорошела, и Анатоль влюбился по-своему.

Марья Дмитриевна Ахросимова опустилась после смерти 3-х сыновей. Она молчала и только *представляла* своей фигурой. Жюли всё не выходила замуж. Хотя знакома была со всем миром и принимала уже сама.

Анатоль с Наташей встретились, как старые знакомые, не вследствие знакомства в Петербурге, а вследствие театра.

В Москве не чаи, как в Петербурге, а ужины. Победитель Анатоль. Они сейчас же уселись за стол. Старый граф о иллюминатстве.

Он поддается направлению времени, с Марьей Дмитриевной. [Зовет] Подошел к Анатолю.

— О чем вы, о доме в деревне? Вот приезжайте, посмотрите [8].

Nicolas по другим деревням. Май. Старый граф: «И зачем ты привез его?» Соня караулит. Соня проснулась рано, Наташи не было. [Наташа возвращается] Бежит искать. В саду встречается Наташа счастливая, бросается ей в объятия. Анатоль идет.

Наташа.— Нет не могу. Он меня любит. Я люблю его [9].

Соня.— Но что же было? Когда же он объявит?

Наташа.— Ах, ты ничего не понимаешь. Он не может. Его отец.

Соня.— Да, что же его отец? Твой не хуже его.

Наташа.— Ах, не говори, коли ты хочешь моего счастья. Вечером я пойду с тобой, Соня. Я всё переговорю с ним.

Соня плачет.— Наташа, что ты делаешь? Вспомни об Nicolas.

---

[3] На полях: *Письмо княжны Марьи о брате. Он совсем переменился и поехал служить к Кутузову. Маленькая Ростова. Напрасно вы думаете, что отец не пускает меня,— я счастлива маленьким Коко.*

Письмо Жюли, Берг garçon très distingué ⟨вполне порядочный⟩ *женится. Ростовы расстроены. Марья Дмитриевна несчастлива, братья убиты.*

Ростовы ищут места и продают дом.

[4] хорошенькая женщина, прелесть.

[5] которые не хотят нас, когда мы хотим их.

[6] заколдованный круг

[7] Эта девочка очаровательна

[8] На полях: *Анатоль, как милость делает, признает, что у нее для него достаточно хороша нога. С женщинами даже не глуп.*

[9] На полях: *Целуются под* ⟨*шляпу?*⟩.

— Мне никого не нужно, я никого не люблю, кроме его. А ежели я его люблю, то он благороден.

Соня.— Наташа, друг мой, [Вспомни Андрея, как ты будешь раскаиваться] это злое чувство; когда любишь, то добр, а ты сердита.

Наташа.— Нет, душенька. Дай мне счастия. Я не знаю, я так счастлива.

Соня.— Вспомни отца, мать.

Наташа.— Не говори, молчи.

Соня.— Так что же ты делаешь, ты губишь себя. Я говорила с ним, он неблагороден, он погубит тебя.

Наташа.— И погублю, погублю, поскорее погублю себя. Так надо, видно.— Она убежала к себе и написала Андрею: «Я люблю другого. Я отдалась ему. Это Анатоль Курагин»,— и она послала письмо.

— Я не понимаю тебя.

Она после обеда. Анатоль спит, бежит к нему. Требует объяснения.

— Я не могу жениться. Но, коли вы хотите, дайте мне переговорить с ней еще раз.

— Я вам говорю, поезжайте сейчас же, сейчас же, или я сию минуту скажу графу и напишу брату. [Анатоль при ней сел и поехал] Вы губите, неужели в вас нет человеческого чувства любви к матери, к сестре.— Она заплакала, у Анатоля не было этого чувства. Но она поверила, что оно могло быть. Он заплакал и уехал.— Наташа рыдала, не ела, приняла яд [Вскоре ⟨после?⟩] и обожала Анатоля.

Вскоре после этого было получено письмо от Nicolas, он ехал из минской деревни и встретил полк. Он не может оставить отечество в опасности, враг перешел границу. «Всё равно я оставил бы вас. Теперь меньше горя. Отечество прежде интересов. Дом продастся, и всё поправится. А коли Россия погибнет, то ничего не нужно. Россия погибнет, а я буду считать приказчиков, я умру от позора».

Князь Андрей возвращается из Крыма и узнает измену Наташи. Озлобление на весь мир. Столкновения с отцом в отделенном имении.

В Москве ездит по гостиным и злословит.

Конец 3-й части

1812 год

В Москве видит Pierr'а, упавшего и сбирающегося ехать к Ростовым.

1-я часть. Петербург. Москва. Деревня.

За границей, Петербург, Москва, Аустерлиц.

2-я часть [Обед в клубе и Тильзит], смерть.

Заочное сватовство Nicolas. Юродство княжны Марьи и говенье Наташи. Старик желает смерти — так уж всё неясно стало.

Москва, в Смоленске Долохов жжет. В Москве в собраньи.

№ 28

Убежала к себе и написала письмо князю Андрею: «Вы просили меня написать вам, [что] когда я полюблю другого, я полюбила. Прощайте». Она запечатала это письмо и отослала его на почту. Другое письмо она написала Анатолю, в котором умоляла его приехать за ней ночью и увезти ее, потому что она не может жить дома.

Это письмо Соня [успела перехватить] перехватила у горничной и вместо его написала другое от себя: «Ежели завтра вы еще будете в Москве, то знайте, что графу [известен ваш поступок] всё известно, и что вы отдадите тяжелый отчет перед ним и другими в ваших поступках... С. ⟨Делянова?⟩».

[Кроме этого письма Соня, отыскивая везде помощи, всё рассказала приехавшему на другой день Pierr'у и умоляла помочь ей.] [Кроме этого письма Соня, отыскивая везде помощь, всё написала Pierr'у, послала с нарочным письмо, в ко-

тором было написано: «Не зная, к кому обратиться и зная вашу любовь к князю Андрею и к моей кузине, прошу вас приехать как скорее».

На другой день Анатоль уехал из Москвы, а через 2 месяца на обратном пути в Россию князь Андрей получил письмо Наташи.] Кроме этого письма Соня, отыскивая везде помощь, написала Pierr'у, в котором она писала: «В нашем доме случилось страшное несчастье. Наташа написала отказ вашему другу. Она [говорит] страстно влюблена в Анатоля Курагина, который предлагает ей свою руку. Но этот молодой человек поступил с ней низким образом, он обманул ее, не решась сказать ничего графу. Ради бога, помогите мне. Спасите Наташу и удалите Курагина» [1].

В продолжение двух дней [2] [во время которых еще не приезжал Pierre] Анатоль не ездил в дом, но был в Москве. Наташа находилась в исступленном состоянии отчаяния. На вопросы отца [и матери] она ничего не отвечала, но, наконец, она сама пришла к отцу и рассказала ему всё,— что отказала Андрею, что любит Анатоля и что Соня прогнала его из дома. Граф Илья Андреич [не знал] ничего не понял. Как ему ни горько было отказаться от Болконского, который был ему по сердцу, горьше всего ему было видеть горе дочери, и он тотчас решился поехать за Анатолем, как за игрушкой, которую требовала дочь. Но чтобы прежде объяснить себе Соню, он позвал к себе Соню и строго спросил ее, как она могла так оскорбить сестру. Соня рассказала свое объяснение с Анатолем. И граф Илья Адреич пришел в бешенство, которое редко на него находило.

— Как! Моя дочь ему не хороша! Как играть со мной! Эй, лошадей, сани! — И он, не отвечая ничего дочери и приговаривая только «будь покойна, будь покойна», пошел садиться. Он поехал в дом Безухова [3]. Анатоля не было дома. Граф спросил Pierr'а и вошел к нему. Pierre лежал ногами на столе и спокойно читал, когда ему доложили о приезде графа. «Нет, не буду ездить к ним — не следует»,— подумал он.

— Проси.

Но, не дожидаясь доклада, граф, раскачиваясь, вбежал к нему. Pierre ужаснулся, увидав лицо графа. Это одутловатое доброе лицо было красно, глаза были на выкате и волосы растрепаны.

[— Где он подлец! Я его изобью,— кричал граф,— давайте его мне! Шутить! Не-ет!]

— Что с вами, граф,— заговорил, вскакивая, Pierre,— что с вами?

— Где ваш зять? Ваш шурин подлец, с которым я разделаюсь по-свойски.

— Что такое, что?

— Что? Он ездил в дом, он завлек мою Наташу, и он думает... и говорит, что он женат. Ежели вы благородный человек, Петр Кириллович, то вы дадите мне удовлетворение. Как это у вас делается, дуэль. Ну, дуэль — я убью его.

— Да успокойтесь, граф, верьте, что я... я не понимаю.

— Вот вам всё. Наташа 3-й день плачет, нынче узнаю, что этот мерзавец ездил в дом, обещал жениться. Наташа отказала Болконскому.

— Не может быть!

— Не может быть? Отказала. А он женат, говорят. Она влюблена в него.

— Ах, боже мой, боже мой! — заговорил Pierre, хватаясь за голову.— Одно, граф, знайте, что я... предан вам и всему семейству вашему, как никому. Его нет, он уехал, но я нынче объяснюсь с ним, и не вы, а я с ним разделаюсь. Да,— Pierre бледнел, когда говорил это.— Я виноват, поезжайте домой. Я буду у вас вечером.

Когда Ростов уехал, Pierre долго ходил по своему кабинету, ожидая Анатоля, о котором он велел доложить себе. Ему и не надо было ходить за ним. Анатоль сам пришел к нему. Ему нужно было ехать и надо было занять денег у зятя.

---

[1] На полях: *Андрей, получив письмо, уехал в Турцию.*

[2] Перед этим в начале листа был конспект: *История узналась. Старый граф приехал к Pierr'у, прося его быть секундантом. Pierre бьет Анатоля и гонит его. Ростовы уезжают в деревню. На другой день приехал Андрей. Pierre получает письмо в деревне, пока Ростовы.*

[3] На полях: *Князь Андрей в Швейцарии ходит по горам, решает ехать назад.*

— Mon cher, il faut que vous me prêtiez 2000 ‹roubles› [4],— сказал он, входя румяный, красивый, уверенный в себе, как всегда.

— Что у тебя было с Ростовой?— закричал [на него] Pierre, бледный подходя к нему.

— [Ах] Charmante! [5] — сказал Анатоль.— Ей богу, женился бы, ежели у ней было что-нибудь.

— Что у тебя было с ней? — закричал Pierre. [тряся его за руку] — Ты понимаешь, что ты пальца ее не стоишь, а ты компрометируешь ее. Ты понимаешь ли?— заговорил Pierre, тряся его за руку.— Правда ли, что ты обещал на ней жениться?

— Ну, ну,— сказал Анатоль, отстраняясь и хмурясь.

Этого только ждал Pierre. Он не владел уже собой, он схватил его за плечи, перевернул и ударил в шею таким страшным ударом, что Анатоль упал и до крови разбил себе лоб. Вид этой крови совсем одурманил Pierr'a. Он еще, еще наносил ему удары, выталкивая за дверь, и, захлопнув дверь, бледный, схватился за голову.

— Я к вашим услугам всегда,— закричал он, отворив дверь. [Вечером этого] Княжна услыхала крик [услыхала, что Pierre] и прибежала к Pierr'у. Он хрипел и задыхался. Послали за доктором и пустили ему кровь. К вечеру он велел заложить карету и поехал к Ростовым. [Откуда] Соня встретила его в зале и рассказала ему всё.

Наташа не выходила из комнаты и не плакала, а сидела молча, устремив прямо глаза, и не ела, не спала, не говорила.

Pierre пошел к графу и объяснил ему, что Анатоль мерзавец, с которым он разделается, а граф не должен себя компрометировать, что дело зашло очень недалеко, что графиня Наталья Ильинишна [6], вероятно, забудет это минутное увлеченье и не откажет Андрею, что надо переговорить с нею и послать эстафету перехватить письмо.

Pierre пошел к Наташе. Она поглядела на него сухо и не улыбнулась. Pierre не знал, как и что начать говорить. Соня первая начала:

— Наташа, Петр Кириллович всё знает, он пришел сказать тебе...

Наташа оглянулась радостным взглядом на Pierr'a, как бы спрашивая, друг он или враг.

Pierre [вдруг] начал говорить:

— Наталья Ильинишна, я сейчас виделся с ним и говорил с ним.

— Так он не уехал? — радостно вскричала Наташа.

— Нет, [но уедет] но это всё равно для вас, потому что он не стоит вас. Он не может быть вашим мужем. И я знаю, вы не захотите сделать несчастие моего друга. Это была вспышка, минутное заблуждение, вы не можете любить дурного, ничтожного человека.

— Ради бога, не говорите мне про него дурно. Он лучше всех вас [и Болконского не поминайте].

Pierre перебил ее.

— Наталья Ильинишна, подумайте, счастье ваше [‹вашего?›] и моего друга зависит от того, что вы решите. Если не поздно. [Напишите ему]

Наташа усмехнулась ему: «Разве это может быть, и разве я думаю о Болконском, как он хочет».

— Наталья Ильинишна, он ничтожный, дурной...

— Он лучше всех вас,— опять перебила Наташа.— Если бы вы не мешали нам. Ах, боже мой, что это, что это, уйдите! — и она зарыдала с таким отчаянием, с которым оплакивают люди только такое горе, которого они чувствуют сами себя причиной. Pierre ушел. Анатоль [не вызывая его на дуэль] уехал в ту же ночь в Петербург. Как ни старались все участвовавшие скрывать всю эту историю, через неделю по всей Москве говорили [о ней] по поводу ее самые [неправо] несправедливые толки.

---

[4] Милый мой, одолжи мне 2000 рублей.

[5] Прелестна!

[6] В автографе здесь и далее было ошибочно: *Н. А.* (прим. составителя).

№ 29

Ростовы продолжали жить в Москве всем семейством, ждали каждый день Nicolas, которому было написано, что его присутствие необходимо, что ему надо выйти в отставку для того, чтобы заняться делами. Продажа дома в Подмосковной всё оттягивалась от беспечности графа. Уже всё говорило о войне с Наполеоном[1]. Граф Растопчин был назначен главнокомандующим в Москву, и слышно было, государь проехал в Вильно к армии. Все военные, все мужчины, Борис, Анатоль, Долохов были при армии, и в Москве было пусто, и много веселились. Но Ростовы мало ездили в свет и мало принимали не оттого, что дела шли хуже, а оттого, что Наташа, к удивлению родителей, сказала им, что она отказала князю Андрею и что ей скучно ездить на балы. Она целые дни проводила одна в своей комнате, ничего не делая, не читая, не поя, не играя. Она очень побледнела и похудела. Призываемые доктора предписывали ей рассеяние, но она не хотела переменять своего образа жизни. С Соней она была ласкова, но никогда не говорила ни о Андрее, ни о Анатоле и сердито плакала, когда ей напоминали о том, другом. Она редко оживлялась только с Петей, который готовился к университету и которому было теперь 15 лет, и с другим, старым Петей — Pierr'ом, который часто эту зиму езжал к ним и с которым она [раза два сериозно и со слезами говорила о князе Андрее, о своем отказе ему, о том, что она не может] оставалась в веселых шуточных отношениях. Pierre сказал ей раз постом, что он на днях ждет в Москву своего друга князя Андрея, не нужно ли ей что-нибудь передать ему.

— Ах, нет, ничего, нет, не говорите ему, что вы со мной видитесь.

№ 30

Раза два видев Наташу с Анатолем, он удивлялся, какое удовольствие могла с ним находить Наташа, но он так верил в нее, что не смел сомневаться, говорил себе: верно, я не понимаю, а так надо. Он ничего не воображал до объяснения Сони. Когда Соня стала рассказывать, он выставил глаза и сначала улыбался. Всё, касавшееся Наташи, должно было быть приятно и весело. Но улыбка мало-помалу перешла в плаксивую гримасу, и когда на вопрос его, чего же она боится, Соня со слезами закричала:

— Как же вы не понимаете, граф, они целуются — она погубит себя, она этого хочет... [Услыхав] сказав это, посмотрела на Pierr'a и, не веря своим глазам, увидала, что он плачет. Он извинился перед Соней за свою слабость и уехал домой, тотчас же отыскал Анатоля и тут между зятем и шурином произошла такая же сцена, как и тогда между тестем и зятем. Pierre в первый раз после 7 лет пришел в свое наследственное от отца львиное бешенство, но на этот раз он не удержался.

Когда он объявил Анатолю, чтоб тот уезжал сейчас же и чтобы он знал, что после его поступка с Наташей он не смел показываться ему на глаза, Анатоль сказал:

— Que diable sur quel ton le prenez vous, parce qu'on embrasse une jolie fille?[1]. Pierre, сжав кулаки, подошел к его лицу.

— Ты хочешь жениться на ней?

— Да, ежели бы у ней было состояние...

Но не успел Анатоль договорить этого, как Pierre с поднятыми кулаками бросился на него и стал бить его по голове и спине до тех пор, пока Анатоль, и не думая защищаться, не выбежал из комнаты. Анатоль уехал, тем более, что Pierre послал ему 10 тысяч и объявил, что до тех пор, пока он не покажется в Москве, он будет получать прежнюю пенсию.

---

[1] На полях: *Комета князю Андрею. 29 мая Растопчина назначение. 9 апреля государь выехал из Петербурга. 4 мая Кутузов подписал мир с турками.*

Всё всегда известно. И история Анатоля с Наташей была известна с прибавками клеветы всей Москве.

[1] Какого чёрта вы поднимаете историю из-за того, что я поцеловал красивую девушку?

Но этого подвига было мало. Pierre, который спорил с князем Андреем о том, что нельзя простить никогда падшую женщину, и не ставил себе вопроса, прощает он или не прощает Наташу. Она была всё та же для него. Только новый, грустный, матовый круг этой ореолы прибавился, это было сожаление. [Этого подвига мало] Pierre чувствовал, что надо было спасти Наташу.

№ 31

[Государь Александр с двором около месяца жил в Вильно. Та же давка тщеславных, корыстолюбивых интересов происходила около него точно так же, как в Петербурге.] Государь Александр с военным двором около месяца жил в Вильно. Так же, как и в Петербурге, давка тщеславных, корыстолюбивых интересов происходила около него. Точно [так же] с теми же чувствами ходили люди по улицам Вильно, с которыми они ходили по Морской, по Невскому. Точно с теми же надеждами, завистями и желаниями. С маленьким оттенком национального различия толпились поляки и полячки на балах и приемах государя и великого князя [1]. 11 июня в Вильне было гуляние. В с иголочки новом мундире [с вензелями на эполетах, с той особенностью] с одним эполетом и аксельбантом, с той гордой и спокойной особенностью придворного молодого человека, для которого мир существующий ограничен весьма малым количеством придворных людей, шел по главному гулянью Вильно между рядами Борис Друбецкой и подходил к остановившимся коляскам знакомых дам. Великолепный польский цуг серых в коляске, в которой [стояли] сидела [под] [в шелку и бархате] [шелку и кисее] в шелку и кружевах Hélène на самом видном месте, [Борис], окруженная генерал-адъютантами и графами польским и русским, Борис, не соображая своих прежних отношений к Hélène (все эти соображения не могли иметь места для светского человека. «Une femme du monde [2] — она, un homme du monde [3] — я, все, что

№ 32

а. Князь Андрей после [своего] [подробностей измены Наташи] пребывания в Москве, где он узнал подробности сношений его почти невесты с Курагиным, нежил. Ничто его не интересовало, не радовало, не огорчало: ни вступление неприятеля в Россию, ни свидание с отцом, с сыном. Он и не думал [о Наташе] о госпоже Ростовой, ее не существовало для него. Он чувствовал только рану, такую больную, что он ни о чем [1], кроме о боли, не мог думать. Одно только ему хотелось — это увидать *его* и убить его. Этого ему хотелось, как хочется раненому расчесать свою рану. Это не нужно, не поможет, но нельзя удержаться. Перед отъездом в армию, куда он был назначен по рекомендации Кутузова состоять при штабе военного министра Барклая де Толли [2], он заехал в Лысые Горы, которые были на Смоленской дороге [3].

---

[1] На полях: *Анатоль и Борис. Анатоль подходит к сестре и говорит: «А знаешь, мне кажется, я скверно поступил».*
[2] светская женщина
[3] светский человек

[1] В автографе: *ничем* (прим. составителя).
[2] На полях: *С этим планом он поехал в Турцию.*
[3] На полях конспект:
1) Дрисса
2) Ростов к удивлению храбр в ⟨Островно?⟩
3) Долохов зажигает Смоленск — Божья матерь
4) Наташина ⟨молитва?⟩ Ахросимова
Дворянское собрание
Крикун Глинка фальшивый патриот
5) Старый князь умирает. Княжна Марья вооружает
6) Бородино. Князь Андрей. Наташин отъезд
7) Pierre в Москве. Nicolas Ростов. Княжна
8) Pierre в Москве.

У отца было все по-старому, но только значительно хуже, чем прежде. Страдания [и мучения] княжны Марьи становились невыносимы для нее, она всё переносила и ничего не сказала брату, но [даже для посторонних, для людей] Лавер, старый дядька князя Андрея, не боявшийся ничего сказать своему барину, уложив его в первую ночь спать во флигеле, расставив ноги, с свечой в руке остановился.

— Постарели князь, очень постарели.

— А что?

— А и люди говорят, да и сам я видел, всё в гневе, в гневе. [Воля ваша, наше дело холопское, а и люди говорят, да и сам я видел, нашей матушке княжне жить так нельзя. Хошь бы вы батюшке, князь, сказали] Добро, прежде они изволили выходить, и Алпатыч подвернется и ахтитехтур, всё на них злобу выместят, а нынче, как никуда не выходят, всё одна княжна отвечают. [Князя Андрея поразило, что Лавер имел такой же, как и он сам, взгляд на господское сердце. Он кивнул ему головой и промычал: гм, гм. Лавер ушел. Князь Андрей не хотел вмешиваться в дела сестры. Он видел, что ее замучивает отец.] Жалкое их житье.

Князь Андрей промычал что-то и кивнул ему головой. «А разве он и сам, отец, разве не мучается,— подумал князь Андрей,— разве кто-нибудь на свете, кроме животных, не мучается? Всё это так должно быть. Нечего говорить. Завтра еду смотреть, как в армии мучаются хорошие люди и торжествуют, наслаждаются животные».

Но на следующее утро отец, уже имевший прежде прихода князя Андрея столкновение с дочерью за то, что она не пришла к нему с Коко поутру, тогда как он [вечером] никогда не велел ей приходить без зову, отец о первом стал говорить с ним о дочери. Он [жаловался Андрею] говорил, что [она на] ежели он болен, то только от нее, что она нарочно мучит и раздражает его, что она баловством и глупыми речами портит маленького Коко. [Чего хотел старый князь, жалуясь на дочь? Он только] Хоть бы оставила Бурьен, а сама бы вышла замуж, я не держу, или в монастырь, она любит.

Чем дольше он говорил, тем больше разгорался и тем убедительнее для него самого становилось, его безвинность в отношении княжны Марьи и все ее вины в отношении к нему. Сын ничего не мог сказать.

б. Князь Андрей, возвратившись из Швейцарии с instituteur'[4] в деревню, получил письмо Наташи и, ничего не сказав сестре, тут же решил поступить в военную службу и ехать в Турцию. В Москве он был проездом, уже получив назначение в турецкую армию. Когда до Букарешта дошли слухи об объявлении войны Францией, князь Андрей перешел опять в западную армию, куда он по протекции Кутузова был назначен к штабу Барклая де Толли [опять]. Перед прибытием к армии он заехал в Лысые Горы.

в. Князь Андрей, возвратившись из Швейцарии с instituteur' в деревню, получил письмо Наташи и, ничего не сказав сестре, поехал в Москву, чтобы узнать подробности и увидать, т. е. убить этого господина — он [так же твердо знал, что он должен убить и убьет его, как и то, что он был] не мог называть его имени, но он твердо знал, что он должен убить и убьет его. В Москве, увидавшись с Pierr'ом, Андрей решил, что ее не существует, а что его надо поскорее убить.

Случилось, что Курагин уехал в турецкую армию. Для князя Андрея это было очень кстати. Самому ему надо было что-нибудь делать. Он подал прошение о вступлении опять в военную службу и поехал в Турцию в штаб Кутузова. Приехав в Турцию, случайно или потому, что Курагин узнал о приезде князя Андрея, но Анатоль ни разу не встретился ему и уехал в Россию. Князь Андрей отпросился в Россию и, приехав в Москву, узнал о предстоящей войне и о том, что Курагин опять в армии при генерале Витгенштейне. Опять это было кстати, и князь Андрей получил место при Барклае де Толли и поехал в армию. По дороге он заехал в Лысые Горы, которые были на Смоленской дороге.

У отца было все по-старому, но только значительно хуже, чем прежде. Отец впадал в страшную ипохондрию. Он поразил сына тем, что почти ничего не го-

---

[4] учителем

ворил с ним об общих делах, а только жаловался на всех людей, сговорившихся отравлять его жизнь. Княжна Марья была грустнее обыкновенного. Он говорил, что ежели он болен, то только от нее, что она

№ 33

В то время, как это происходило в главной квартире, в так называемой глубокой армии, в которой служил Ростов, очень мало заботились об общем ходе дел и чем дальше отступали в глубь России, что бы должно было так огорчать верных сынов России, тем меньше об этом думали и говорили[1]. Так устроен хорошо военный человек, что чем хуже общее положение, тем меньше о нем думают и тем больше доверяют начальству. Витебск уже был оставлен, а полк, в котором служил Ростов, ни разу не был в деле, и все-таки гусары были очень веселы и заняты не общим ходом дел, а вопросом [счета] срока новой трети жалованья, попойки, маркитантом [и его свояченицей]. [Ростов получил письмо родителей в [Виленской губернии] Вильне, куда он в отпуск ездил из полка. Он было собрался ехать, но [по дороге встретил полк и] полк уже был в походе.] Ростов перед открытием кампании получил письмо от родителей, в котором его умоляли выйти в отставку и приехать домой тогда, когда уж полк был в походе и государя ждали в армии. Он и не попытался проситься в отпуск, а написал родителям письмо, в котором говорил, что дела могут еще поправиться, но что, ежели он теперь уедет от этой великой готовящейся войны, то он навсегда потеряет честь в своих собственных глазах, чего уже нельзя будет поправить. Соне он писал отдельно: «Обожаемый друг души моей. Нынешний поход будет последний. Жди терпеливо и верь в мою вечную, неизменную любовь. После этой войны я бросаю всё, беру тебя, ежели ты всё будешь любить меня, и мы зароемся в тихое уединение, живя только для любви и друг для друга. Это последнее письмо моё. Следующее будет свиданье, когда я, как невесту, прижму тебя к моей пламенной груди». Nicolas, хотя и с старым оттенком романтизма, оставшимся в его тоне (но уже не в характере), писал то, что он искренно думал. После последней зимы с Наташей в Отрадном Nicolas много переменился. Он прежде был разочарован, теперь он успокоился в своем разочаровании, увидал, что кроме великих подвигов геройства, кроме всесветной славы, кроме небесной любви, соединяющей души, есть много хорошего и радостного на земле, добрые товарищи, ⟨1 *нрзб*⟩ веселье, [выпить во время и в пору] охота, спокойная жизнь и добрая, верная [преданная] и милая жена и, сверх того, сознание, что я честный и благородный человек. Всё это было хорошо. И, странное дело, как только Nicolas, отрекшись от искания восторгов своей юности, все эти простые и честные блага жизни сами давались ему в руки. В полку ему стало еще легче и веселее после его отпуска. В его отсутствие он был произведен в ротмистры, и ему дан был эскадрон. Начальство, товарищи и солдаты наперерыв высказывали радость его возвращению. Дело управления эскадроном, служба[2], отношения с товарищами, подчиненными и начальством пошли неожиданно легко, с тех пор как он видел только то, что было, не ища ничего дальше. [В войне уже он давно перестал] В войне он перестал видеть блестящие атаки и гарцованья, уже понимал значение слов, помня свою шенграбенскую атаку и фридландскую бойню. Он знал, что на войне золотые снурки, ташки и фразы ни к чему не нужны, а нужно терпение и спокойное перенесение трудов [и], неприятностей и страха, и готовился на это. Он уже, как старые офицеры, слушал всегда молча рассказы о подвигах геройских с тем чувством, что, хотя в глубине души он и знает, что этого не могло быть и что это всё вздор, но что все-таки,

---

[1] На полях: *Nicolas разочарован в войне. Маркитант и его ⟨жена?⟩, танцы в корчме. Ясный день, наслаждение пуль, молотьба.*

Наполеон со своим войском быстро двигался дальше и дальше в Россию, разрезывая наши две армии. Как в той, так и в другой армии были авангардные дела, но ни одного большого сражения. Ростову в первый ⟨раз⟩ случилось быть в деле под ⟨Островно?⟩.

[2] На полях: *Бурая ⟨казацкая?⟩ большая лошадь. Рубай их в песи.*

Здесь же на полях рукой Толстого арифметические вычисления — умножение больших чисел (прим. составителя).

бог знает, может, и правда и все-таки не следует сомневаться в истине геройства, клонящихся к возвышению духа нашей армии. Так, в недавнее время, когда его полк уже был [около Дриссы] на Двине, слушая рассказ про дело при Салтановке и ⟨древнее?⟩ геройство Раевского, поведшего на плотине 2-х своих сынов в атаку, он упорно молчал, не восхищался и не повторял этого рассказа. Ему, во-первых, не нравилось, зачем Раевский повел сыновей под пули. На плотине Салтановской не решалась судьба отечества, как у Муция Сцеволы. Потом ему неясно было, с какой целью он их повел. В путанице, которая должна была быть на плотине, 10 солдат, которые могли видеть и слышать Раевского с сыновьями, и от этого ничего лучше не было.

Вспоминая свои прежние военные действия, он признавался себе, что всякий раз он был не в себе и просто трусил. «Теперь этого не будет,— думал он.— Теперь я командую, а потом, главное, сколько ни трусь, всё то же самое, попробую не обращать внимания. Хорошо, что ни разу не заметили. А как осрамишься, да не убьют. Нет, теперь не обращу ни малейшего внимания, буду, как на ученьи. Да и нельзя, надо вести эскадрон». Вследствие ли этих рассуждений или рассуждение это пришло Nicolas вследствие того, что ему надо было вести эскадрон, но 13 июля в первый раз, как павлоградцы пошли в дело, Nicolas к удивлению своему во всё время дела не чувствовал ни малейшего страха.

12 июля, ночь накануне дела, несмотря на страшную бурю, гусары провели очень весело. Полк стоял биваками в поле просто среди ржаного, желтевшего, но выбитого до тла поля. Дождь лил ливмя, и прикрыться было негде. Один из офицеров нашел пустую корчму. И все офицеры ввалились за ним. Состав офицеров уже был совсем другой. Давно Денисова не было, Кирстен был убит, [но все были другие, но всё такие же] но хотя офицеры были другие, дух офицерского общества был совершенно тот же, как и прежде. В полку был молодой доктор, женившийся на немке в Польше, он тоже забрался с женой в корчму. И все до одного офицера влюбились тут в корчме в немку, грели и сушили ее, зажигали угли на окнах, играли с ней в короли, и з...[3] должен был идти за дровами, а король имел право поцеловать ручку. Ростов уже был такой офицер, что, когда он остался з..., его не пустили, а за него пошел влюбленный в него корнет Ильин, ручку же целовать ему дали, даже и без ⟨выигрыша?⟩[4]. Несмотря на то, что доктор притворялся очень довольным, но, наконец, нашел, под самым пустым предлогом увел свою жену под дождь в кибитку. Веселый, безвредный, беспричинный хохот [почти] без помощи вина, (потому что имелась только одна бутылка кислого вина] потому что ничего не было пить в этот вечер, звучал всю ночь до 3-го часа утра. Некоторые легли, укрывшись мокрыми ⟨шинелями?⟩, но вскакивали [с постели], хохотали [плясали], пугая корнета тараканами, и смеялись, как дети.

В эту ночь было приказано в 3-м часу выступать к местечку ⟨Островно⟩. Отрядом командовал граф Остерман. В ночь была гроза и страшная буря, но к утру [стало], в 3-м часу летнего утра, тучи разорванными хлопьями бежали по небу, и мокрая, серо-зеленая, выколосившаяся, мокрая рожь волновалась скучно и уныло. Овес зеленый, только что ⟨выскочивший?⟩ в трубку, подрагивал от ветра. Большая дорога с ракитами по сторонам, как аллея, поросла низкой зеленой травкой, которая, на зло [срывающему] выбивающим гуртам и обозам, так и лезла под дождями лета. По дороге встречались обозы и один гурт скота для армии. (Видно, неприятель далеко). Обогнали одну роту артиллерии, стоявшую на дороге. Nicolas ехал в стороне промежду ракиток с двумя офицерами: один — товарищ прежний, Перонский, другой — не отстававший от него [корнет], влюбленный в него корнет Ильин. Они весело болтали о прошедшей ночи. Nicolas сам удивлялся своему спокойствию, подходя к делу. Как будто будущее до него не касалось. Он думал, что это происходило от него самого — от умных правил, которыми он себя успокоил, в сущности [это было только] перемену эту произвело в нем только время — возраст и всегда с возрастом совпадающее повышение

---

[3] Так в автографе.

[4] На полях: *Докторша сияла. Nicolas понял, что французы тоже боятся русских. Собака лягавая. Охота.*

в чине и звании — эскадронный командир. С Nicolas произошло то, что может наблюдать [за собой] каждый за детьми, которые учатся,— учитель. Есть знания, которые усовершенствуются и которые познаются только временем. Мальчика начинают учить дробям (большею частью это замечается на дробях); мальчик, хорошо учивший 4 правила, мучается, бьется; учитель пробует различные приемы и решает, что мальчик дурак, он ничего не понимает; проходит время, год или около года, у мальчика мозг вырос до дробей, и он не верит, чтобы когда-нибудь ему могло казаться это трудно. Или вы играете на фортепьяно и оставили, плохо разбирая ноты; прошли года, вы садитесь за фортепьяно и читаете гораздо лучше: пришло время. Так для Nicolas пришло время спокойно переносить опасность. Ему жалок был корнет, особенно веселый и взволнованный. Nicolas видел, что корнет трусил и скрывал так, как сам он делывал это прежде [как чувствовал]. Nicolas чувствовал иначе и вид имел другой [он уже]. Прежде [он] Nicolas портил сам себя своим беспокойством, теперь корнет любовался его небрежно-спокойным и изящным видом и каждым движением, когда он либо обрывал листья ракиты, либо дотрогивали тонкие ноги[5] до паха лошади, либо отдавал, не поворачиваясь, докуренную трубку ехавшему сзади гусару.

Только что солнце стало выходить на чистой полосе из-под тучи, как ветер стих, как будто он не смел портить этого прелестного после грозы летнего утра. Капли еще падали, но всё затихло, птицы запели, и Nicolas указал на баранчика, который высоко где-то гоготал в воздухе.

— Коли простоим тут, надо будет сходить в это болото,— сказал Ростов, не притворяясь, а искренно думая о болоте. Он сам себе удивлялся, как он не торопился, как он не думал о будущем [до тех пор ‹пока?›], даже и тогда, когда впереди к Витебску послышался гул орудий. Даже тогда, когда прискакал адъютант графа Остерман-Толстого с приказанием идти на рысях по дороге, Nicolas не думал ни о чем, как о том, чтобы эскадрон шел в порядке. Просторно и спокойно у него было в этот день в голове. Оттого ли, что он не доспал, он чувствовал себя нынче глупее и нечувствительнее обыкновенного. Вспоминая нарочно о Соне, о доме, он был равнодушен, [ничего не] не возникало у него 1000 мыслей вследствие каждого впечатления; напротив, он ни о чем не думал и чувствовал, что он живет одной животной жизнью и имеет только настолько сообразительности, [ума] чтобы распорядиться эскадроном, на что нужно едва ли какие-нибудь душевные способности.

Во всё время этого так называемого блестящего сражения при Островне, во время которого Наполеон полагал, что русские принимают генеральное сражение, Ростову с эскадроном два раза пришлось быть в так называемом жарком деле, но он всё время находился в своем полусонном, животном, охотничьем состоянии, ничего не боясь и только соображая удобства своего эскадрона. Когда они пришли на рысях к левому флангу, то тотчас были пущены в атаку против французской цепи. Ростов теперь уже не желал для своей сабли поесть вражьего мяса, не скакал стремглав, ничего не видя, а ехал, ровно прибавляя, объезжая неровности местности и равняя вытянутый эскадрон. К удивлению его, цепь, далеко не дождавшись их приближения, побежала, и гусары одного совершенно напрасно изрубили саблями, не до смерти, чего нельзя сделать саблей, но до крови и довольно больно, а трех взяли в плен. Возвращаясь назад рысью, так как навстречу им выехали французские драгуны, гусары проехали мимо графа Остерман-Толстого, который подозвал к себе Ростова и с особенным волнением, которого никак не мог понять Ростов, благодарил его за лихую атаку. [У Ростова убили одного гусара] Ростов не знал, что этот генерал был постоянно одержим страхом казаться трусом и что от этого страха он был всегда в сражении так взволнован и так храбр. Во время атаки Ростов совсем и не слыхал выстрелов, а между тем два гусара были спешены, один ранен и один убит. И эскадрон Ростова был поставлен в заднюю линию за лейб-гусарами. Довольно долго они тут стояли, позавтракали, прислушиваясь к пальбе, которая всё разгоралась, и потом в 3-м часу увидали, что впереди их стоявшие лейб-гусары пошли влево, и видели, как они поскакали по

---

[5] Так в автографе.

лугу. Потом видели, как они вернулись еще левее и за ними летели драгуны французские по лощине. Французские драгуны остановились, проехавши линию ростовских гусар и, наткнувшись [назад] на русскую пехоту, шагом поехали назад.

— Вот бы пугануть-то их сбоку,— сказал один [солдат], стоявший в кучке офицеров,— они нас не видят.

Nicolas, находясь в своем сонном положении, понял, что это справедливо, что ничего не рискует наскакать на них, и, дальше не соображая, велел садиться и низом на полных рысях поскакал наперерез драгунам. Уже когда он ехал, он вспомнил, что распоряжается без приказаний высшего начальства. «Как бы не ответить», но было уже поздно. Он толконул лошадь и с чувством, с которым несся наперерез волку, покатил (разумеется, вместе с эскадроном) к бугру, отделявшему его от лощины, по которой шли французы расстроенными рядами. Когда он выскакал на бугор, французы были внизу в 50 шагах. Их лица видны были. Они засуетились вперед, назад, но еще не успели принять одного направления, как Nicolas, выбрав себе одного [волка] на серой лошади офицера, пустился за ним. Добрая лошадь несла Nicolas под гору, как птица, прямо на офицера, только что пустившегося скакать. Лошадь Nicolas ударила грудью в зад лошади офицера, чуть не сбила ее с ног, но в то же мгновение Nicolas ухватил ⟨*1 нрзб*⟩ перевязи офицера, [остановил] сбил его с лошади. Тут только Nicolas взглянул в лицо на своего врага, чтобы увидеть того, кого он победил. Драгунский французский офицер стоял на земле [отталкивая] одной ногой, другой держался, запутавшись в своем стремени. Он испуганно щурясь, как будто ожидая всякую секунду удара, смотрел снизу вверх на Ростова. Лицо его было бледно и пыльные волосы прилипли от пота. Но лицо, белокурое, молодое, с дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами,— самое не для поля сражения лицо, а самое простое комнатное лицо. Еще прежде, чем Nicolas решил, что он с ним будет делать, вероятно, из запаса старых детских воспоминаний Nicolas закричал: «Rendez-vous!»[6]. И офицер, и рад бы, но не мог выпутаться из стремени и достать, чтобы отдать свою прижатую лошадьми саблю. Подскочившие гусары взяли пленного офицера, и Ростов [верну⟨лся?⟩] поворотил к своему месту. Несколько драгун были взяты, другие ускакали. Впереди себя Ростов со страхом увидал опять Остермана. «Беда,— подумал Ростов,— и чёрт меня дернул, стояли бы на своем месте». Но, кроме этого страха, Ростов испытывал еще какое-то неприятное чувство, что-то неясное, запутанное, что открылось ему взятием в плен этого офицера, чего он не мог успеть объяснить себе.

Граф Остерман-Толстой не только благодарил Ростова, [но обнял] но объявил, что он представил государю о его молодецком поступке, будет просить для него георгиевский крест и будет иметь в виду, как блестящего храброго офицера. Хотя и неожиданны, но похвалы эти были очень приятны Ростову, и он бы был совершенно счастлив, ежели бы не мучало его что-то такое, чего он никак не мог объяснить себе. Он подъехал, еще посмотрел на офицера с дырочкой на подбородке и голубыми глазами, поговорил с ним, заметил его притворную улыбку и всё ничего не мог понять.

Весь этот день и следующие дни друзья и товарищи Ростова заметили, что он не скучен, не сердит, но молчалив, задумчив и сосредоточен. Он неохотно пил [и], старался оставаться один и о чем-то всё думал. Ростов всё думал об этом своем блестящем подвиге, который, к удивлению его, его чрезвычайно прославил (так случилось) и приобрел ему георгиевский крест, и всё ничего не мог понять. «Так и они еще больше боятся нашего,— думал он,— я их боялся. И что за глупость, и гораздо опаснее быть сзади, чем спереди. Так только-то и есть всего то, что называется геройством и подвигом за веру, царя и отечество. И разве я это делал для отечества? И в чем он виноват с своей дырочкой и голубыми глазами? А как он испугался! Он думал, что я убью его. За что ж мне убивать его? Ничего, ничего не понимаю».

Но пока Nicolas перерабатывал в себе эти вопросы и всё-таки не дал себе ясного ответа в том, что так мучало его, колесо счастья по службе, как это часто бывает, повернулось в его пользу. Его выдвинули вперед, дали ему батальон гусаров, поручили ему аванпосты, и тут он еще больше убедился в том, что чем ближе к непри-

---

[6] Сдавайтесь!

телю, тем безопаснее и выгоднее по службе. И Nicolas понемногу [втянулся] вошел в свою роль храбреца известного и не обсуждал больше всего того, что смутило его сначала, а, забыв даже эти сомнения, утешался своим новым лестным положением.

№ 34

Ростовы зажились всю весну и лето в Москве[1]. Сначала задерживали дела, потом уж не к чему было. Pierre жил также в Москве, во-1-х, потому что там не было его жены, во 2-х, потому, что нигде он не был более, как рыба в воде, как в Москве. в 3-х, потому, что тут жили Ростовы, у которых он бывал каждый день.

В 1-х числах июля было получено письмо Nicolas. Всё семейство в сборе сидело в кабинете графа. Графиня держала платок; граф весь красный сидел, держась за ручки кресла. [Наташа смотрела то на одного, другого блестящими глазами и хотела уйти и не смела]. Соня, с видимым усилием над собой, читала. Наташа, опустив глаза, смотрела то вперед себя задумчиво, то на Петю. Наташа теперь во всём, даже в письме брата, видела один свой стыд и горе. Слушая письмо брата, она думала о том, как он понимает ее разрыв с князем Андреем и узнает ли он когда-нибудь всё, что было. Петя с блестящими глазами, красный, оглядывался и особенно на Наташу. Пете было 14 лет, он готовился к университету, но ему яснее всех было, что он никогда не приготовится, потому что не только плохо учится, но забывает то, что выучит. Когда Соня прочла то место, в котором Nicolas говорил, что отечество дороже всего, старый граф засопел, как будто [сильный] [соль из стклянки] откупорили стклянку с уксусной солью над самым его носом, и графиня, видимо, решительно не понимая, что такое значило отечество, одобрительно покачала головой.

Да, он прав, он прав, главное,— сказал граф, целуя руку плачущей жены.— Что делать, такое время. Я горжусь им. Отечество... Граф не договорил. Слово отечество было привычно непреодолимо трогательно для него.

— Нет, он не жалеет меня,— сказала графиня.

— Маменька, уж в скольких он был сражениях, а я так знаю, что он останется жив,— сказала Наташа.— Маменька, разве вы не верите, что бог оставит вам его...

Все замолчали, так странны были от Наташи эти простые, наивные краткие слова.

— Петя, принеси воды maman,— сказал старый граф. Петя встал, еще раз вспыхнув, и вместо того, чтобы идти за водой, он подошел к отцу и, сжав левый кулак, начал им махать еще прежде, чем говорить, и заговорил:

— От того, что он правду [говорит] пишет истинную... от того, что я принесу, может и всякий принести воды, а я вам хотел сказать, что, когда дело коснулось отечества, так я не хочу на печи лежать... а я пойду на войну — как вы хотите... потому что я не могу, когда сам государь всех призывает...[2].

Как ни долго и мучительно одиноко уже недели 2 передумывал эту речь маленький Ростов, она не произвела не только ожидаемого им, но никакого действия. [Сначала] На него оглянулись.

— Полно — перестаньте. Петя,— недовольно сказала графиня.

— Ну, ну, воин,— шутливо сказал Илья Андреич.

Петя оглянулся за сочувствием на Наташу, которой он сообщил прежде свои планы и в сочувствии которой он был уверен, но и Наташа делала ему неодобрительные знаки, означавшие, что теперь ему лучше замолчать об этом.

— Коли так, и все против меня, я прямо один пойду к главнокомандующему и запишусь, вы не можете остановить меня, коли бы я шел на что-нибудь...

— Полно, Петя, не говори этого, всё можно сказать после,— сказала Наташа и вывела его.

В этот вечер Наташа долго тайно совещалась с Петей и тайно посылала записку к Pierr'у.

---

[1] На полях: *Наташа хочет приподняться и не может, как птица. В Москве получен Манифест.*

[2] На полях: *Оболенскому 15 лет — поступил.*

«Chère et aimable comtesse,— отвечал Pierre,— quoique vos désirs soient des ordres pour moi[3] и т. д.,— писал он на французском языке,— я бы не желал вмешиваться в ваши семейные дела и заслужить неудовольствие ваших родителей, которых я так люблю и уважаю, хотя желание [Пети] моего маленького тезки самое благородное и милое, которому я вполне сочувствую. Я буду к вам обедать, и всё переговорим». Это было в воскресенье. Наташа со времени своего говения, хотя и с некоторыми отступлениями, продолжала исполнять те христианские обязанности, в неисполнении которых она так раскаивалась: она ела постное, ходила к обедне и старалась исполнять все 10 заповедей, само собой, не раз отступала от них. Но одна только заповедь и заповедь, которая не была написана в числе 10, была всегда исполняема ею, и она ни разу не изменила ей. Это была заповедь [печали и отрешения] смирения и отрешения от земных радостей.

№ 35

Но жить надо было. И жизнь ее наполнили два чувства. Религия и возмущение против Наполеона, осмелившегося презирать Россию и дерзавшего завоевать ее. Религия [охватив каждого человека] редко человеку открывается всеми своими сторонами. Для одного надежда будущей жизни, для другого самоотвержение, для 3-го мистическое объяснение всего, для 4-го смирение. Для Наташи она открылась стороной смирения, от которой так далеко она была в прежней жизни.

Обедня и церковная служба была одним из лучших ее наслаждений. Она любила слушать «Миром господу помолимся», думая, как и она соединяет себя в одно с миром кучеров и прачек, она любила видеть раскрытые царские двери, непонятные таинственные движения и непонятные слова. Ей радостно было именно то, что она не понимает и не может ни она, никто понять этого. [На последнее] Она пошла к обедне в это воскресенье. Перед Евангелием знакомый теперь ей священник вышел из алтаря с тетрадью и стал на колени. Все зашумели, становясь. [Наташа была особенно набожно раздражена этот день. Она плакала при простых словах ектеньи.] Наташа в белом платье слушала, как всегда, службу с нежной набожностью, но, кроме того, она уже чувствовала чувство жизни, которого прежде не испытывала[1]. Каждое слово службы имело для нее живое сильное значение.

«Господи боже сил, боже спасения нашего»,— начал священник [трогательным] превосходный чтец, поправляясь на коленах, трогательным певучим голосом, тем, которым он читал молитвы в Троицын день. Это была молитва о спасении от врага. Когда читали об ужасах врагов, Наташа всей душой чувствовала их злобу и кротко ненавидела их. «Доколе грешницы восхвалятся?» — спрашивала Наташа с ужасом. Когда заговорили о кротости императора, она чувствовала всю свою кротость в душе императора. «И подаждь ему победу, яко Моисею на Амалике, Гедеону на Мадиама и Давиду на Голиафа». И эти переходы с вдруг «сохрани воинство его», то есть Nicolas и Андрея, трогали ее до глубины души. «И препояши на брань». Да, Пете надо идти.

«Сердце чисто созижди и обнови во...»

«Да, да,— говорила себе Наташа, вставая,— любовью соедини нас, да не вознесется жезл нечестивых на жребий освященных».

И, встав с колен, Наташа в первый раз сознала в себе новое чувство ненависти к врагу, оскорбленной гордости к французам [и любовь?] за своих, за русских, за дядюшку, за папеньку, то чувство, которым она давно уже жила, сама не зная этого.

К обеду приехал Pierre. Наташа приготавливалась встретить его упреками за его равнодушие к судьбе Пети, к его французскому письму, [Наташа не говорила] но к удивлению своему она нашла его уже в том расположении духа, в котором она желала найти его. Было 11 число июля. Получено было известие о приезде государя в Москву, о занятии неприятелем Вильны, о взбунтовании Польши и разные, самые несправедливые слухи о громадных силах, об угрозах Наполеона[2]. Pierre приехал растерянный и взволнованный. Он рассказывал слухи, сведения от графа Растопчина

---

[3] Дорогая и любезная графиня, хотя ваши желания для меня приказы

[1] На полях: *Михайловский — Данилевский 259. I т.*
[2] На полях: *Шампиньон — шпион.*

и говорил по-французски, не умея говорить так же хорошо по-русски. Наташа взволнованно смотрела на него молча и мало говорила. После обеда они [втроем] вчетвером с Петей и Соней сошлись вместе на столике, на котором Наташа щипала корпию: это было модное занятие, введенное при дворе Марии Федоровны.

— Eh bien, vous êtes mecontente de moi, mais j'ai été chez le comte[3] Растопчин.

— Ах, зачем по-французски. Ну что? — спросил Петя.

Pierre улыбнулся.

— Ну, по-русски. Граф мне сказал, что он [берет] *поручается* заставить его вступить в troupes de lignes[4] и [советует] дает мнение, что это предпочтительнее ополчения, puis que voyes vous[5],— продолжал Pierre, не в силах ломать свой язык по-русски тогда, когда он говорил оживленно. Но Наташе вдруг сделалось страшно. «Боже мой, что ж я делаю, помогая этому ребенку идти на войну».

— Ты меня просил, Петя, написать графу, но теперь я ничего больше не делаю и даже, ежели ты хочешь слушать меня,— подожди.

— Вот, очень нужно...— Петя обиделся и ушел. Pierre остался один с Наташей и стал ей рассказывать, как он умел, смешные новости города, о прогнании французской труппы (une victoire remportée par les russes[6]), потом о том, как модные дамы учатся по-русски, и князь Борис Владимирович Голицын взял себе учителя. Наташа [слабо] улыбалась его шуткам, но оживлялась только тогда, когда он рассказывал ей о положении дел.

— Ну, а ежели [вы по⟨йдете?⟩] Наполеон придет в Москву, что вы будете делать?

— Право, не знаю,— только верно, что не пойду на войну.

Pierre был друг дома Ростовых, ему ставили его любимое вино, и он любил всех, как семью, которая бы — он желал — была его. Он иногда думал о том, как бы он был счастлив, ежели бы его, шутника и кутил⟨у⟩, старая графиня приласкала своей большой рукой по голове и сказала бы: «милый мой Петя».

12-го числа государь приехал в Москву. 13-го с раннего утра слышался благовест во всех церквах, и толпы праздничного народа [валили] шли по Поварской, мимо дома Ростовых, к Кремлю.

«Это всё — вздор»,— подумал Петя, выбежав на улицу и узнав, что это бегут встречать государя. «То Наташа была за меня, а теперь и она отказалась. Этак дело протянется, а я им всем докажу, какой я буду герой. Всё пустяки они говорят. И этот толстый дурак сидит в Москве, и Наташа ему верит. Пойду к государю и прямо скажу ему, что я — Ростов, хочу служить отечеству. [Ну, удивится и сейчас меня в офицеры. Он может и в генералы.] Петя радостно улыбался, представляя себе государя. Он может сейчас в офицеры, может и в генералы. И Петя

№ 36

а. К вечеру вернулась повозочка, и стрельба затихла. Но ехать было невозможно, потому что лошади были замучены, но

б. К вечеру стрельба затихла. Повозка Алпатыча не возвращалась, и Алпатыч должен был ночевать 3-ю ночь

в. К вечеру стрельба затихла. Повозка вернулась в ночь, но Алпатыч не мог уехать. Всю короткую летнюю ночь он не ложился и сидел на завалинке, разговаривая с кухаркой и дворником, расспрашивая о том, что делалось [в городе] у проходивших войск и прислушиваясь к говору и звукам. В соседнем доме убирались и уезжали. Ферапонтовы тоже не ложились и к утру переговорили с соседями, тоже стали укладываться. Утром можно было ехать, но Алпатыч не уезжал. Им овладели тревога, беспокойство и потребность деятельности. Чуть зорька, он пошел к собору, там служили молебен. И лазили на колокольню смотреть французов. Они ясно видны были за Днепром. Они всё двигались и подходили. С утра началась канонада, всё

---

[3] Ну, что же вы недовольны мною, но я был у графа

[4] линейные войска

[5] так как видите ли

[6] одна победа, одержанная русскими

застилало дымом за Днепром, но в город [ничего] не попадали ядра. Вдруг в 3-м часу, как будто прорвало вдруг плотину, полетели ядра и гранаты в город, [свист и] засвистели осколки и ядра. «Что же это будет»,— думал Алпатыч, ничего не понимая и взад-вперед ходя по городу. [К вечеру] В трех местах загорелось, войска наши всё шли через город. Раненых много было, и один мальчик в фабричном халате пробежал мимо него с окровавленной рукой. [Что] Какой-то ряд мыслей, совсем независимых от старого князя, овладел Алпатычем. Ему было тяжело, ему надо было что-то сделать, но он не знал что. Он крестился и ласково кланялся в пояс проходившим войскам и влезал на колокольню, ругая сколько мог французов, потом опять молился. Во время своих блужданий он сходился то с раненым шедшим солдатом и провожал его назад, расспрашивая, то с своим кучером Влаской, которого он прибил утром, и с которым они теперь были друзья, то с бабой, продававшей квас солдатам, которая под ядрами сидела совсем спокойно, [как] и заботилась только, чтоб не разбили ее кувшина, то он провожал пленного и ругал его, идя сзади. В конце дня он встретился с знакомым [Красненским] городничим Тушиным с оторванной рукой. Тушин, так же как Алпатыч, нечаянно приехал в этот день и не мог уехать; он ходил под ядрами с своей трубочкой и завидуя раненым; запах пороха возбуждал в нем [радостное] тревожное военное чувство, и он завидовал тем, которые дрались и, так же как Алпатыч, не мог уехать. Они подходили к перевязочному пункту в доме богатого купца, стараясь больше раздразнить свое чувство, и ходили к Никольским воротам, к иконе, где женщины выли, и к монастырю, в котором укладывались монахини. Они видали воров, которые таскали вещи из домов, и пьяных солдат и фабричных. Наконец, смерклось. Канонада и стрельба затихла и пронеслась молва (справедливая), что французы разбиты и Наполеон убит.

Ферапонтов один с братом был дома, он поставил самовар, и Тушин с Алпатычем у открытого окна сели с ⟨стаканами?⟩. Кое-где горело, но нечего было смотреть, надо было отдохнуть. Напившись чаю и потолковав, Алпатыч опомнился и велел закладывать, но только-что он опять выехал из ворот, как войска запрудили всю дорогу. Войска шли поспешно, весело и говорливо, но шли назад. [Куда? Отступать... Куда] [Молва, что отступают, поразила всех]. Из одних ворот, с криком, теснясь, выли бабы. «Французы на мосту отступают»,— послышались голоса, и Алпатыч побежал опять, сам не зная куда. В Петербургском предместьи (ночь была месячная) стояли солдаты против генеральского дома и один [солдат] офицер раздувал полами костер, подложенный под вынутую доску забора. Забор занимался. Алпатыч набрал тесин и понес под другой угол дома, вся рота взялась за это дело [1].

— Так, дедушка, важно,— кричали голоса.— Вот как занялась, пошла драть.

Князь Андрей, отступавший позади своего полка, наехал на эту сцену. «Старик-то точно Алпатыч»,— подумал он [2]. Адъютант доложил князю Андрею, что солдаты жгут.

— [Ну что ж,— сказал князь Андрей.]

— Я вас об этом не спрашиваю,— сказал князь Андрей. Алпатыч, удовольствовавшись видом падавшего забора, пошел к лошадям и там тоже горело, и толстый Ферапонтов кричал:

— Так — важно! Пропадай вся!

Алпатыч увязался за повозкой с снарядами и выбрался из города и в самое Преображенье к вечеру приехал в Лысые Горы.

№ 37

Князь, вышедший из комнат в 5-м часу, успел уже переделать много дел. Он был на фортификационных работах, где мужики копали ров, принял приезжавшего доктора и городничего [Тушина], и когда княжна Марья вышла в сад, он на кругу в тени смотрел свою милицию и раздавал всем ружья и копья. Никто еще ничего не говорил

---

[1] На полях: *Князь Андрей в свете огня радостен.*

[2] На полях: *Берг приказывает остановиться. Пожар.— Прикажите,— говорит князь Андрей.— Я приказывал вчера ротному командиру отвести обоз, а он не отвел и его убили.— Князь Андрей отвернулся. Рухнула стена. Князь Андрей написал записку отцу с Алпатычем.*

про состояние князя, но все дворовые уже не так, как прежде, исполняли его приказания, вопросительно переглядываясь между собой. Показывая, как держать ружье, князь пошатнулся и упал. Когда княжна Марья вышла из дома, его навстречу ей вели под руки, а он [красный от волнения] кричал что-то.

— Эти ракальи не хотят! С ними ничего не будет, они первого вала не защитят. Расстреляю. Je me suis foulé le pied, ce n'est rien [1],— сказал он дочери, встретившей его, и замолк.

Когда его провели в кабинет, он посидел, закрыв глаза, и потом вдруг позвал Тихона, велел закладывать карету и [ехать] подавать себе одеваться мундир со всеми регалиями.

«Надо самому объяснить, ничего не будет». [«Нет, не надо сердиться. Надо быть спокойным».]

И, одеваясь, поддерживаемый двумя людьми, он беспрестанно останавливался, чтобы отдавать приказания о том, что делать в его отсутствие, как часовые должны скакать, донося дневальным, как надо стрелять во рву, как карета должна быть готова для Николушки и няни и другая для княжны Марьи. Его всё еще не смели не слушаться, и он был одет в напудренном парике и в мундире екатерининского времени. Уж он сбирался выходить, когда ему принесли письмо от смоленского губернатора [и от князя Андрея]. Губернатор писал, что советует князю немедленно уезжать, так как войска наши отступают за Дорогобуж, и всё пространство до Лысых Гор будет открыто. Князь Андрей писал то же самое, умоляя отца ехать в Москву и прося ответа. Княжна Марья, вышедшая в это время к доктору, с которым она советовалась, как бы удержать князя от поездки и увезти его в Москву, услыхала падение чего-то в кабинете и громкий крик, как будто князь ругал кого-то. Когда она вошла, он сидел на кресле, рвал с себя парик, ордена (стол, уроненный, лежал подле) и кричал с страшно налившимся кровью лицом, с сухими запекшимися губами [2]:

— Изменники! Прохвосты! Чтоб я уехал! Я не немец, заройте меня, тут заройте. Императрица, матушка! А? Внучек хорош! Вон, злодеи! Сына вам отдал, дочь! Для вас украсил, для вас. [Ну, выходи!] Я, старик [а еще постою]. Ну! [Он хотел вскочить, но вдруг почувствовал, что правая рука и нога его не двигаются. Он хотел говорить, и язык издавал какие-то неясные звуки. Он быстро успокоился и замолк] [3]. Он хотел вскочить, но вдруг оборвался и, упав навзничь, захрипел. Его раздели, положили на кровать, пустили кровь: кровь не пошла. Он всё время неприятно улыбался, и так с этой улыбкой и остановились его глаза и вытянулись ноги. На другой день его повезли похоронить, и княжна Марья поехала с ним в Богучарово.

Было несколько человек чиновников и Тушин без руки, к которому потом княжне Марье естественно было обращаться за советом и помощью [4].

Приехав в Богучарово, княжна Марья нашла рыдающую Бурьен, но так рыдать нельзя постоянно. Амалия Федоровна с грустью спросила княжну Марью, что она намерена предпринять теперь.

— Я ничего не знаю, я, как во сне,— говорила княжна Марья.

— Ах, я очень-то понимаю, но дело в том, что мы в опасности. Я знаю, что французы со всех сторон и вот что.

Амалия Федоровна показала письмо, в котором французский полковник Fleury обещал жителям покровительство и защиту, ежели они останутся на своих местах, и обращался к своей compatriote [5], прося ее содействовать распространению этой повестки, за что она и жители получат награждение императора.

Княжна Марья дочла всё письмо, слезы еще стояли в ее глазах, но, окончив письмо и прочтя последние слова о награде императора ей, ей, на которой было теперь всё: и Коко, и гроб отца — она вдруг вскочила. [Отец]

[1] Я свихнул себе ногу, это ничего.

[2] На полях: *Князь умер, а болен, паралич.*

[3] Этот вычеркнутый кусок также написан на полях (прим. составителя).

[4] На полях: *Княжна Марья получила письмо от Жюли: мы не колебнулись. Княжна Марья пишет успокоительное письмо: «Voilà m-r Telianine...» ‹«Вот г-н Телянин...»›.*

[5] соотечественнице

— Mon père avait raison[6],— сказала она,— чтоб я отдала прах отца, Коко,— говорила,— раздражая себя. Она пошла к Тушину и сообщила ему всё. Был собран военный совет: Алпатыч, Дронушка и Тушин, и решено, что так же опасно [защищаться] уехать, как защищаться. Решено защищаться, созвана сходка, которая, по словам Бурьен, уже решила покориться Наполеону, и княжна провозгласила им свое решение умереть, дожидаясь помощи, но не сдаваться[7]. Тушин хотел поддержать это геройство, махнул своим остатком руки, говоря: за царя и отечество, но его слова не подействовали. На сходке сзади что-то говорили неясно. Мужики уже были готовы принять Наполеона, освобождавшего их и платившего по 10 рублей за воз хлеба фальшивыми ассигнациями. Но когда услыхали слова княжны Марьи и Тушина, один поближе ловко и удобно сумел выразить, что они куда княжна, туда и они, и все заговорили то же и разошлись с мыслью, что они молодцы. Княжна Марья с Тушиным и главное Алпатычем занялись распоряжениями[8].

№ 38

— Так как же?

— Не могу знать. Может, они, Яков Алпатыч, приведут, а наших никак невозможно.

— [Ну, так] Все-таки не опасно?

— Не могу знать.

— Так я на тебя надеюсь, ты скажи мужикам, что я их прошу о подводах.

— Слушаю-с.

Только что ушел Дрон, Дуняша подбежала к княжне.

— Этому мужику, матушка княжна, ничего не верьте, я его по глазам увидала, что он не то говорит.

— [Так что же делать? Где Алпатыч? Ах, боже мой,— говорила княжна.] Неправда, неправда, Дуняша. Еще Тихона позовите.

— Я Тихона позову, да он что. А вы будьте покойны, я хоть и девка, а все так обделаю, что всех обману,— сказала скороговоркой Дуняша.— Я их знаю. Мне кума говорила. От французов бумага была, чтоб ничего не вывозили. Коли не вывезут, так всем милость будет от французов, а вывезут, так разорят. Ды вы не робейте, княжна. Я их обману. Мы с Михайлом Иванычем говорили.

— Дуняша, голубушка, я не боюсь. Я ни за что не останусь, ты мне хоть телегу найди, я поеду.

— И не нужно-с, и подводы возьмем. [Что они думают. Мы лысогорским дворовым ружья дадим.]

№ 39

Приехав в армию, Кутузов отправил в Петербург всех флигель-адъютантов и генерал-адъютантов без дела и объявил, что будет дано генеральное сражение. Приехав в армию, Кутузов вспомнил о князе Андрее и послал за ним. Князь Андрей командовал баталионом Перновского полка[1].

---

[6] Мой отец был прав

[7] На полях: *Nicolas Ростов приходит и спасает ее, узнает Тушина.*

Старик-отец успокоивается и умирает. Его гроб везут. Брат Алпатыча, Дрон, Анисим, мужик суровый — верный. Пешком пришел 50 верст.

[8] На полях: *Историк Наполеона. Пленный казак. Алпатыч. ⟨Казак?⟩ Портрет le roi de Rome, приказ французский* ⟨1 нрзб⟩.

Pierre ездит к главнокомандующему, ездит по бивакам, танцы. ⟨Hélène?⟩.

Попадья, и Pierre спокоен.

Начало дела, линия огней и дурман, наступающий на него, и тоска, что нечего делать. Андрей узнал его, он улетел с атакой, и Андрей усмехнулся.

Андрея ведут на Шевардино, он наслаждается, что он в рядах. Ну, теперь конец. А теперь-то и жалко.

— Бросьте ребята,— говорит, хотя знает, что не бросят.

Перевязочный пункт в лесу. Il veulent encore, donnez' leur en. ⟨Они еще захотели, так задайте же им.⟩

Сморкается. Назначение Кутузова.

[1] На полях: *Князь Андрей писал, чтобы сестра уехала в Москву и ничего не знал.*

Князь Андрей приехал в Царево Займище в тот самый день, как Кутузов делал первый смотр войскам. Князь Андрей остановился в деревне у дома попа, у которого стоял экипаж главнокомандующего, и сел на завалинку, ожидая его. Вдали ему слышны были страшные крики всей армии, приветствовавшей Кутузова. Крики, уже нескладные, послышались, приближаясь. [Офицер] Это Кутузов отпустил войска, поблагодарил, обещал сраженье и победу, и толпы офицеров бежали за ним и его свитой, крича «ура!» Князь Андрей и офицеры встали [чтоб] и посторонились. Поповский домик был на дворе. У ворот показалась белая донская лошадь на уздечке. На ней сидело огромное, расплывшееся тело Кутузова в мундирном сюртуке без эполет, в белой кирасирской фуражке без козырька, с красным околышем, и плетью через плечо по-казацки. Добрая лошадь тяжело шла под своей раскачивающейся ношей [2]. Кутузов, с тех пор как не видал его князь Андрей, еще потолстел, обрюзг и оплыл жиром. Знакомый ему белый глаз и рана бросились ему в глаза.

У ворот дома он остановился, обернулся к провожавшим его генералам, поклонился, поговорил с Барклаем, сделал жест всем и повернул лошадь к крыльцу.

— Фю-фю-фю! — засвистал он чуть слышно, подъезжая к дому и выражая на своем лице [успокоение] радость успокоения человека, намеревающегося отдохнуть в простоте после представительства. Он вынул ноги из стремян и с трудом занес правую, 4 человека ссадили его. Он оправился, оглядываясь своим сощуренным глазом и шагая своей ныряющей походкой.

— Фю-фю-фю,— опять по-домашнему засвистал и, увидав князя Андрея, радостно обратился к нему.

— А, здравствуй, [брат] князь, здравствуй, голубчик, пойдем, устал.— Он вошел на крыльцо, расстегнул сюртук и сел на лавочку.

— Ну, что отец? Но в это время попадья, [красивая] полная, белая и красивая женщина, которая очевидно знала, что она красива, вышла из дверей и стала просить его светлость пожаловать в комнату. Кутузов оглянулся на попадью, глаза его прищурились еще больше, он отвернулся от князя Андрея и подманил попадью.

— [Ты попадья] [Ай да попадья] Где ж, где же комнаты? — А вы перешли? — Зачем, не надо переходить. Поди сюда [3], и он ввел ее за собой.

Окончив аудиенцию попадью [4] Кутузов позвал опять князя Андрея.

— Ну что,— сказал он ему.— Как это ты бросил службу. Поступай ко мне опять.

— Благодарю вас, ваша светлость, но я привык к полку и полюбил его.

— А, ну что же, ступай, помни, что я тебе отец другой. Прощай, голубчик, устал,— и он, подставив щеку, лег на постель, взяв книжку романа m-me de Genlis.

Как и отчего это случилось, князь Андрей не мог бы никак объяснить, но после этого странного свидания с Кутузовым он вернулся в свой полк, успокоенный насчет общего хода дел и насчет того, кому оно вверено было. Чем более он видел отсутствие всего человеческого в этом старике, в котором оставались одни привычки страстей, тем более он был спокоен, что этот-то и нужен. У него не будет ничего своего, и он не испортит общего дела. Он всё запомнит, выслушает, разочтет, будет бояться осрамиться и потерять командование, которое забавляет его, и сделает нечаянно всё, что нужно для общего дела. Он та тяжелая лошадь, избитая, старая, которая не побежит на колесе, не соскочит, не будет дергать и ломать, а пойдет ровно настолько, насколько падает колесо, что и нужно. На этом же чувстве, которое более или менее смутно испытывали все, и основано было то единомыслие и общее одобрение, которое сопутствовало избранию Кутузова в главнокомандующие.

---

[2] На полях: *Суворовская замашка. Молодчина, даром, что старик,— сказал офицер, дожидавшийся рядом с князем Андреем.*

[3] Далее вписано на полях, возможно, взамен оставшегося не зачеркнутым продолжения текста:

Он спросил ее о чем-то и опять обернулся к Андрею, который говорил, что он разлюбил служить при штабах и желает одной службы во фронте. Князь Андрей говорил очень умно. Но Кутузов, видимо, презирал этот его ум. Так же точно презирал, очевидно, Кутузов и ум немца, который пришел к нему с замечательным проектом. Но чем же он презирал его? Попадьей, вероятно, потому что не дослушал немца.

Вставка потом зачеркнута (прим. составителя).

[4] Так в автографе.

№ 40

⟨*1 нрзб*⟩ день 25 прошел без одного выстрела с той и другой стороны. После сражения при Бородине Кутузов писал следующим образом[1] государю, что бог помог ему наголову разбить французов. И Наполеон, глава этих французов, писал, что бог помог ему наголову разбить русских. Да как же было не писать этого Кутузову, когда он, еще приехав к войску, обещал, что разобьет, Растопчину писал, что не пустит в Москву, и Вольцогену, который в конце сражения приехал объявить ему, что мы везде разбиты (что было правда), отвечал при всех (он думал, что надо так отвечать именно от того, что это было при всех), что я сам знаю подробности сражения, [и] французы везде разбиты и завтра мы их погоним дальше. Как же было не писать этого Наполеону, когда он обещал победу, давал rendez-vous[2] в Москве и бил в ладоши, кричал на своих кавалеристов: «ils y vont, ils y vont»[3] и, когда русские стояли под ⟨огнем?⟩ его 400 орудий, говорил:

— Ah ils en veulent, donner leur-en[4].

Из этого только следует, что слова ничего не значат и не служат выражением дела. Слова эти говорились так же неизбежно и непроизвольно, как они дышали или ели и спали. [Они говорили]. Вся кажущаяся странность состоит только в том, что мы хочем[5] разумно объяснить то, что делается неразумно. Охотник всегда лжет, и военный человек всегда лжет, это так же неизбежно, как то, что у старого кавалериста кривые ноги. И для того к воле одного человека относили то, что зависело от воли бога. Волю бога, нам надо признаться, что мы не понимаем, а Кутузова и Наполеона мы называем гением и [стараемся ⟨понять⟩] не только понимаем, но и обсуждаем. [Ну, что могли] Разве Кутузов и Наполеон выбрали место сражения и приказали убить 100 тысяч человек? (Во-первых, ежели бы один человек мог убить 100 тысяч по своей воле, то надо бы признать человека неразумным существом. Ни того, ни другого. И это прямо говорят историки, сами не замечая того, что, говоря это, они уничтожают весь смысл своей истории, объясняющей мировые события волей одного человека, которого для того, чтобы он играл эту роль, называют *гением*[6]. Точно как обвал горы объяснять тем, что одна крупинка земли отстала первая, и эту крупинку надо назвать гений и не нужно уже искать других причин. Те же историки — цвет историков,— собравши всё со всех источников, говорят, что Наполеон пошел дальше от Гжатска оттого, что было ясное утро, что он не знал, где давать сраженье, и не послушался несомненно разумного совета, оттого, что не хотел *так*, что он во время сражения портил его ход, потому что медлил и то посылал дивизию Клапареда, то Фриана и не дал гвардию, и, пока ему доносили, на Шевардинском редуте дело уже изменялось. То же самое делал Кутузов. Отчего он выбрал худшую из прежних, Бородинскую, позицию, отчего не усилил центр, что ему советовали, отчего поставил 3 линии под огонь неприятеля, отчего, сидя в Горках, получал известия о ходе сражения тогда, когда оно уже изменялось, и посылал войска за одним, а они делали другое? Ежели бы на месте Кутузова и Наполеона были бы вы и я, было бы совершенно то же самое. Убито и ранено 50[7] тысяч человек русских и 30 тысяч французов, и всё это произошло оттого, что Наполеон и Кутузов так и так распорядились. Это бессмысленно. Убито 90 тысяч человек и при этом г-н Бонапарт и г-н Кутузов [делали] говорили такие-то и такие-то слова, это верно. Понятно, что тот, кто сражается, думает, что вот я завоюю этого, получу чин, удивлю всех, покажу свое геройство и за тем сражаюсь. Это понятно. Но когда дело кончено, и мы спокойно судим, непонятно, чтобы мы судили, как это всегда делают историки, стараясь натянуть истину с целью доказать, что мы побили больше людей, мы русские. Нет, хоть тысяч на 5, но мы побили больше людей, говорят французы. Вот единственные книги, написанные в этом тоне, все истории, которых я бы жег и казнил

---

[1] Далее в автографе повторено: *писал* (прим. составителя).
[2] свидание
[3] напирают, напирают
[4] А, им хочется, ну и задайте им.
[5] Так в автографе.
[6] На полях: *Наполеон посылает Жюно, а потом Фриана, делает две диспозиции, и все ошибочны, стрелять нельзя. Кутузов посылает то Евгения Вюртембергского, то Дохтурова, то Толя.*
[7] В автографе *50* написано поверх *90* (прим. составителя).

авторов. Драться, я понимаю, и кулаками, и на дуэли, и на войне, а никто не может сказать про себя — я не буду драться, но в тиши кабинета целью умственной работы сделать оправдание драки и с завистью думать о том, и лгать, что мы, нет, мы больше убили людей, это было бы необъяснимо, ежели бы не знать, что на 10 тысяч людей бывает один думающий, а 9999 только повторяют то, что думают другие. Мало того, такие писания называются патриотическими и писатель самым благородным. На Бородинском поле совершилось страшное убийство, причины которого лежат в свойствах роевого устройства человека.

№ 41

24 августа 1812 года [было дело] [в 3 часа было слышно] вечером узналось в Москве[1], что французы в 60 верстах [от Москвы] по Смоленской дороге и сражаются с русскими. В Москве уже всё волновалось. Каждый день выходили растопчинские афишки, [французы], иностранцы все были высланы, скоро должен был быть готов шар, который полетит в лагерь французов, и многие уезжали по направлению к Нижнему и Тамбову. Из Москвы вывозили и присутственные места и пушки. [22 августа Pierr'у принесли афишку. «Здесь]. Каждый день разносили Растопчинские афишки; в одной писалось «Здесь мне от государя поручено сделать большой шар, на котором 50 человек полетят, куда захотят и по ветру и против ветру, и, что̀ от него будет, узнаете и порадуетесь...» и т. д. В другой писалось: «... [у меня] а я теперь здоров, у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба...» Pierre, прочтя это, болезненно улыбнулся, как он улыбался, когда добрый человек от всей души рассказывал глупый, несмешной анекдот. Это действие производили на него все афишки графа. Он ничего не говорил и не думал даже ясно, но чувствовал, что это что-то не то[2]. [24 утром Pierre прочел следующую афишку: «А... а я теперь здоров, у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба] [Pierr'у было ужасно стыдно, когда он прочел это. Он не узнавал приятного, живого Растопчина в этих афишках] [Безуховский полк] Pierre, испытывая неопределенное и радостное беспокойство, был в Москве, с утра и до вечера проводя вне дома и прислушиваясь ко всем слухам. Собирание и обмундирование Безуховского полка было поручено главному управляющему, и дело подвигалось. Pierre уж и не мешался в него — он знал, что во всяком практическом деле он только напутает. Он говорил только управляющему: «Ничего не жалейте. [Ну, что за дело что заложить, что продать — делайте.] Pierre знал только одно, что пришло время, когда хорошо стало таким людям, как он, [он испытывал постоянно счастливое чувство человека] [которым было всё нипочем] которые рады тому, что так или иначе, но расстроивается скучный порядок жизни. Pierre смотрел на ужас, отчаяние аккуратных почтенных людей — всегда тайных врагов его, и радовался: «А мне-то то и хорошо, что пришло время показать, что *все это* — вздор. [24-го он] От этого приятного чувства он был [даже] беспокоен, ему всё хотелось еще [ухнуть] что-нибудь отдать и как-нибудь сделать себе похуже и совсем изменить свою жизнь. Он не засиживался дома и, как вставал, ходил по городу и знакомым. Все говорили по-русски.

— Вы слышали, мы не колебнулись,— говорила ему Жюли Друбецкая, щипля корпию.

— Это подобной древней Риму геройства,— сказал ему А. Б. Голицын.

Ростовы были такие же, как все, старались говорить по-русски, любовались афишами, щипали корпию. Худая Наташа с блестящими глазами присаживалась, слушала и ничего не говорила. Старая графиня заботилась о богатстве дома, составлявшем одну надежду поправления дел, и бранила Разумовского за то, что он теперь отделывался от покупки. Они ждали подвод из деревни для вывоза всего из дома и экипажей, чтобы ехать в Тамбов. 24 числа Pierre был у них и сказал, что он едет в армию. Когда он сказал это, Наташа изменилась и не спускала с него глаз [и проводила его до передней].

В этот же день, проезжая по площади, он увидал толпу у лобного места и, остановившись, увидал, как сводили с кобылы человека толстого, в синих чулках и зе-

---

[1] На полях: *Общая характеристика Москвы. Казнь ⟨повара⟩.*

[2] На полях: *Бантыш-Каменский, ч. 3, стр. 138.*

леном камзоле, который имел не русский вид. Это был французский повар. Другой [стоял] преступник, худенький и бледный, стоял тут же.

— То-то теперь запел: «матушка, переяславные, ни пуду, ни пуду»,— шутил один фабричный. [Pierre, когда он сошел с дрожек и, сам не зная зачем, пошел, толкаясь, в толпу] — Что, мусью, видно, русский соус кисел, француз набил оскомину. Pierre треснул изо всех, всех сил фабричного по затылку и, повернувшись, пошел назад к дрожкам и поехал дальше. [В ночь на 25] С вечера еще он отдал приказание своему всезнающему, всемогущему, умнейшему и известному всей Москве дворецкому Евстратовичу о том, что он в ночь поедет в Татаринову к войску, и дворецкий всё вспомнил и обо всем распорядился. Он старого ⟨безуховского?⟩ берейтора послал с подводами и лошадьми верховыми вперед, а графу была готова коляска и выслана подстава. Pierre к утру 25 выехал и приехал к вечеру к войскам. Лошади его ждали в Князькове. Князьково было полно войсками и до половины разрушено. У ⟨разломанных⟩ ворот стояли его подводы с кучером, берейтором и верховыми лошадьми. Он было проехал их, но берейтор с криком бежал сзади, и Pierre обрадовался, увидав свои, знакомые лица после бесчисленного количества чужих солдатских лиц, которые он только и видал дорогой.

Для того, чтобы иметь менее обращающий на себя общее внимание вид, Pierre намерен был в Князькове переодеться в мундир своего полка, но когда он подъехал к своим (и переодеваться надо было тут, на воздухе, на глазах солдат и офицеров, удивленно смотревших на него), он раздумал. Притом неловко и глупо одеться в свой мундир, как будто напоминая о своем полке и вызывая на вопросы. «Нет, нечего делать, так поеду». Он отказался от чая, который приготовил ему берейтор и на который завистливо смотрели офицеры. [Надо] Им верно хотелось, «но как предложить им. Делать нечего. Нельзя». Берейтор подвел[3] двух лошадей. Одну рыжую, англизированную, другую — вороного жеребца. [Pierre ездил давно верхом, еще когда он был женихом] [он ехал с намерением подвергаться всем опасностям генерального сражения]. Он улыбнулся и спросил, какая посмирнее. Берейтор задумался.— Эта мягче.— Pierre [взял за гриву] с такой энергией и усилием, как будто он ни за что в мире не выпустит, [никому] схватился за гриву. И влез, желая поправить очки и не в силах отнять руки от седла и поводьев. Берейтор неодобрительно посмотрел на наивно вывернутые ноги своего графа и на напряженность корпуса, сел и хотел поехать за Pierr'ом.

— Нет, не надо,— прошипел Pierre. Во-первых, ему не хотелось иметь сзади себя этот укоризненный взгляд на свою посадку, а во 2-х, не подвергать его тем опасностям, которым он твердо был намерен подвергать себя. Pierre пустил свою лошадь — что будет, то будет — и, удержавшись на седле, остановился и успокоился[4]. Pierre [с той ⟨методичностью⟩], верный попыткам методичности, которые были в нем, вероятно потому, что в характере его всё было враждебно всякой методичности, сделал себе план и маршрут, куда и куда он должен ехать. [Во-первых, в главный] 1) В главный штаб, 2) по войскам и позициям, 3) ночевать в Перновский полк к князю Андрею[5]. Pierr'у многое было интересно в этом предстоящем сражении, как всегда и вечно было одним из самых интересных явлений жизни для мыслящего человека явление войны. Люди чужие убивают друг друга. Во-первых, как управляются все эти массы и подчиняются одной воле? (Pierre был когда-то охотник до стратегических соображений, и тактическая сторона дела интересовала его[6]). 2) Каким духом руководятся все эти массы? 3) и самый главный вопрос для невоенного, что был бы я трус или нет?[7]

---

[3] В автографе *подвел* написано по слову *привел* (прим. составителя).

[4] На полях: *Кутузов всхлипывает, говоря с войском.*

[5] На полях: *Шуберт, разгоряченный спором, скачет в атаку, он храбр против пехоты и храбр против французов. Кутузов под Аустерлицем в горячности — канальей бранится.*

[6] На полях: *Hélène читает много книг и Corinne.*

[7] На полях: *Главная квартира — изба в три окна. Обед у Бенигсена. Икона. Кутузов. Votre charmante femme ⟨Ваша очаровательная жена⟩. Едет к Тучкову.— Ах, это очень интересно и ничего не видит. ⟨Приказание⟩ о ⟨перевязочном⟩ ⟨пункте⟩ и лекаре. К князю Андрею. Он ⟨дремлет⟩ у костра. Поезжай к ⟨Бенигсену?⟩, у Кутузова ничего не увидишь. Офицеры. Тимохин. Солдаты продрогшие. Философия Андрея с Pierr'ом.*

Прежде всего Pierre направился в деревню Татаринову, где стоял Кутузов с главной квартирой. Как только Pierre выехал один верхом между войск с мыслью о том, что теперь ему уже нельзя отказаться, и о том, что каждую минуту может ожидать его, ему стало страшно за свое толстое, белое, нежное тело, и, чтобы поддержать ⟨в⟩ себе мужество, он живо вспомнил то чувство патриотического воодушевления, в котором он находился в дворянском собрании, и под влиянием этого чувства[8] почувствовал удовольствие в мысли показать, что всё — не только богатство, но и самая жизнь — вздор, в сравнении с чем-то. С чем? — он не знал. Ни в войсках, которые проезжал Pierre, ни еще менее в Татариновой, где сосредоточивалось всё высшее и блестящее сословие армии, он не нашел этого настроения.

По дороге он был, не доезжая Татариновой, в Бородине, которое было всё [обвалено] загромождено вонявшими и работавшими ополченцами, он был остановлен толпою народа, впереди которой шли с пением попы. «О ду-ша-ах на-ших»,— пели священники и сзади солдат несли икону. Pierre, сняв шляпу, остановился. Бывшие подле него рабочие [⟨бросили⟩] весело бросили лопаты и побежали, крестясь, к шествию. Им, видно, весело было прервать тяжелую работу. Солдаты также подходили навстречу толпам и, сняв кивера, набожно крестились. Но Pierr'у очевидно было, что набожность солдат [не имела ничего общего с иконой], с которой они встречали икону Смоленской божьей матери, которую носили перед сражением по полкам, не имела ничего общего с предстоящим сражением и патриотическим духом. Солдаты отходили, и ополченцы брались опять за лопаты в совершенно в том же расположении духа, в котором они оставили их. [Первое лицо] [В улице] [Деревня Татариново]

№ 42

Одна большая изба в три окна была занята Кутузовым. Рядом на плетне была прибита доска: «Канцелярия главного штаба». Напротив, с фургонами у подъезда, была изба, в которой жил Бенигсен. У Pierr'а было много знакомых, но он не подумал о том, к кому обратиться с тем, чтобы ему позволено было волонтером принять участие в предстоящем сражении. (Pierre думал, что это необходимо.) Перед самой деревней Pierr'а обогнал знакомый ему Кутайсов. Он верхом возвращался откуда-то с двумя офицерами. Кутайсов [ласково] дружески обратился к Pierr'у, не в силах удержать насмешливые взгляды, которые обегали всю фигуру Pierr'а, и улыбнулся на вопрос Pierr'а о том, как ему просить главнокомандующего о разрешении участвовать в сражении.

— Поедемте со мной, граф, [Светлейший] князь (Кутузов), верно, в саду под яблоней. Я вас проведу к нему. Ну, что Москва? Волнуется? И не дождавшись ответа, Кутайсов подъехал к навстречу ехавшим генералам на дрожках, и по-французски что-то горячо поговорил с ними. La position ets inetenable... Il faut être fou[1],— [говорил] слышал Pierre.

— Кто это? — спросил Pierre.— Это [Бенигсен] принц Евгений, едет на левый фланг осматривать позицию,— которая невозможна. Хотят, артиллерия чтоб действовала из-под горы... Ну, да вам неинтересно...

— Ах, напротив... мне бы хотелось видеть позицию и расположение войска...

— Ну, так поедемте, я вас сейчас проведу к Светлейшему и поедемте опять на левый фланг, к Тучкову. Только я пообедаю. Меня звал Бенигсен. Они подъехали к плетню, на котором была вывеска. Кутайсов слез с лошади и приказал казаку взять лошадь Pierr'а и показал, куда идти и где найти свою лошадь, особенно заботливо, как ребенку.

В сарае на соломе спал один офицер, накрывшись рубашкой от мух; другой у дверей на козлах писал с двумя писарями.

— Светлейший в саду? — спросил Кутайсов.

— В саду, ваше сиятельство.

И Кутайсов через сарай прошел в яблочный [сад] мужицкий сад с теми переливами тени и света, которые бывают только в густых яблочных садах. В саду было

---

[8] В автографе: *это чувство* (прим. составителя).

[1] Позиция ненадежна... Надо быть сумасшедшим.

прохладно, и вдалеке виднелись раскинутые палатки, ковер и воротники мундиров и эполеты. Яблоки еще оставались на деревьях, и у плетня мальчишка босиком влез на дерево и тряс. Девчонка подбирала внизу. Они испуганно замерли, увидав Pierr'a. Им казалось, что цель всех людей, а потому и этих, состояла в том, чтоб помешать им красть яблоки.

Кутайсов прошел вперед, мелькая между деревьями, к блестящему ковру и эполетам. Pierre, не желая развлекать главнокомандующего, остался сзади.

— Ну, хорошо, поезжай сам, да пошли его ко мне,— послышался ему голос Кутузова и потом хохот его. Кутузов встал и пошел к избе [⟨осторожно?⟩] переваливающейся, ныряющей походкой, руки назад. Pierre подошел к нему. Но еще прежде главнокомандующий остановился перед ополченным офицером, знакомым Pierr'y. Это был Долохов. Долохов говорил что-то горячо Кутузову, который через голову его кивнул Pierr'y. Pierre подошел. Долохов говорил:

— Все сражения наши были проиграны от слабости левых флангов. Я осмотрел нашу позицию, и наш левый фланг слаб. Я решил, что ваша светлость может прогнать меня или сказать, что вам известно то, что я докладываю, и тогда у меня ничего не убудет.

— Так, так.

А ежели я прав, то я принесу пользу отечеству, для которого я готов умереть.

— Так, так.

— И ежели вашей светлости нужно человека, который бы пошел в неприятельскую армию убить Бонапарта, то я готов быть таким.

— Так, так...— сказал Кутузов, смеющимися сужившимися глазами глядя на Pierr'a. И тут же обратился к Толю, шедшему за ним.— Сейчас иду,— не разорваться мне... Хорошо, голубчик, благодарю тебя,— обратился он к Долохову, отпуская его. И к Pierr'y:

— Хотите пороху понюхать? Да, приятный запах. Имею честь быть обожателем вашей супруги. Здорова она? Мой привал к вашим услугам,— и Кутузов прошел в избу.

В штабе у Pierr'a не только много было знакомых, но все были знакомые.

У Бенигсена был в саду обед в палатке [2], приготовленный отличным поваром, с отличными винами. Хотя Pierre и не был знаком с ним, Кутайсов повел его к нему.

— Он очень рад будет. Все у него обедают.

[А после] Pierre хотел сейчас ехать осматривать позицию, но Кутайсов отговорил:

— Лучше поезжайте после обеда с Бенигсеном, он едет. По всей позиции проедет.

— Ах, да. Это очень интересно.

Действительно, после обеда он сел на дрожки с адъютантом Тучковым и поехал.

№ 43

— Я говорил себе всё, чтобы доказать, что я не имею этого права. Но я не могу. И зачем мне ее видеть. Вон Тимохин идет, и он не желает этого. Ему всё равно, и Павлу всё равно. Эй, Павел, давай самовар и попроси господ, кто хочет чаю. Это кто?

Это был Pierre, который, разминая ноги, в своей пуховой шляпе, входил в сарай князя Андрея и ударился головой о жердь, остававшуюся сверх ворот.

Последнее свидание их было в Москве, когда Андрей получил письмо Ростовой.

— A, que diable...— сказал Pierre, потирая себе лоб.— Eh bien, mon cher, voila, où nous en sommes, Napoléon à 60 verst de Moscou [1].

— Ты зачем здесь? — спросил Андрей,— не потому, чтобы я не был рад тебя видеть. Напротив, я очень, очень рад нынче тебя видеть. [Милая рожа,— говорил он, целуя его.] Ах ты, милая рожа,— и князь Андрей, сделав свое детское лицо, обнял его.

— Mon cher, полк мой еще не готов, как я ни старался, и не мог быть употреблен. Что же мне делать?

---

[2] На полях: *Бенигсен разговаривает о фланге. И готовится к отсылке курьером к царю. Это вопрос жизни и смерти. Видно, что он напряжен и дрожит, как дрожит ⟨человек⟩ перед решением участи.*

[1] какого чёрта... Ну, милый мой, вот до чего мы дошли. Наполеон в 60 верстах от Москвы.

— Да, да, а братья масоны что говорят о войне? Как предотвратить ее? — сказал Андрей, улыбаясь.— Да, да... Что мои? Приехали ли, наконец, в Москву? — спросил князь Андрей.

— Не знаю.— Pierre уселся на ковер и кивал дружески головой дядьке Сидору, вошедшему с самоваром. Жюли Друбецкая говорила, что она получила письмо из Смоленской губернии.

— Не понимаю, что делают. Не понимаю. Как оставаться там, где всякую минуту могут захватить французы.— Войдите,— обратился он к офицерам, которые, увидав гостя, замялись у входа в сарай. Впереди офицеров был Тимохин с красным носом, тот же Тимохин, так же как и в 1805 году ротный командир и робкий, запуганный. Офицеры уселись, и [и князь Андрей] завязался разговор более общий, и князь Андрей старательно всякий раз переводил французские слова, по привычке говоренные Pierr'ом, и сам говорил только по-русски. На вопрос Андрея, где был Pierre и что видел, Безухий рассказал свое посещение главной квартиры, объезд позиции и столкновение на левом фланге, которого он был свидетелем.

— Я не мог понять хорошенько только одного,— сказал Pierre,— отчего выгоднее было [подвинуть вперед] [2] то, где наш центр, где левый и правый фланг? Ежели *он* атакует нас в Бородине, то это так, но ежели он атакует нас на правом фланге, то то, что [‹сделалось›] было левым флангом, и сделается центром.

Князь Андрей улыбался, слушая Pierr'а.

— Ты выучил уже, однако, эти слова: центр и фланг,— сказал он.— А ты не поверишь, какие ты истины говоришь, однако...

— [Я не понимаю] То есть как? — сказал Pierre с недоумением, через очки глядя на Андрея.

— То, что ты не понимаешь, никто не понимает. Но ты говоришь истину, потому что ты не понимаешь и так и говоришь. Всё это не имеет никакого смысла.

№ 44

а. Дело началось канонадой против флешей Багратиона и потом атакой на них. К ним-то и ехал Pierre, с страхом чувствуя, что беспокойство [и торопливость] всё больше и больше овладевает им.

Всё у него перед глазами слилось в туман дыма и пальбы, на которых он редко натыкался на оазисы человеческих лиц, и все эти лица носили один и тот же отпечаток страха. Несколько раз он натыкался на войска и думал: «Уж не неприятель ли это?» — и потом стыдил себя, так что, когда он, торопясь всё поскорее, действительно наскакивал на неприятеля, он думал, что это свои, и вскакал бы в ряды их, ежели бы кто-то не закричал ему: — «Куды?» — Какой-то пехотный офицер с подвязанной щекой указал ему назади, недалеко Багратиона, и Pierre поскакал туда. Он испытал утешение путника, после дождя попавшего под крышу, когда почувствовал себя в кругу знакомых лиц, но успокоение это продолжалось одну минуту. Багратион тронул вперед. Кажется, под горкой были очень близко французы, но Pierre не решался спросить. Он боялся, что этого не надо делать. И вдруг все заговорили и пули засвистели со всех сторон, и на него нашел ужас.

б. Дело началось канонадой против флешей Багратиона и потом атакой на них. К ним-то и ехал Pierre, с страхом чувствуя, что беспокойство [и торопливость] всё больше и больше овладевает им [1]. Всё у него перед глазами слилось в туман дыма и пальбы, на которых он редко натыкался на оазисы человеческих лиц, и все эти лица носили один и тот же отпечаток озабоченности, и недовольства, и упрека в том, что заехал сюда без дела этот толстый человек в белой шляпе. Pierre ехал

---

[2] Далее край листа оторван и одно слово утрачено (прим. составителя).

[1] На полях: *Pierre удивляет всех своей храбростью. «Куда же вы едете?» — говорил ему адъютант.— А он едет под страшным огнем наперерез. В нем — кровь отца.*

УКАЗАТЕЛЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Составила О. А. Голиненко

ФОТОГРАФИИ ТОЛСТОГО

Толстой. Фотография. Москва, 1868 г. Фронтиспис
Толстой. Фотография 1862 г. На паспарту надпись С. А. Толстой 13

АВТОГРАФЫ ТОЛСТОГО

РУКОПИСИ

«Рассказы дедушки». Листы детского сочинения, 1837—1838 гг. 12
«Война и мир». Листы рукописи. Конспект и отдельные записи к роману 28, 29
«Война и мир». Листы Рукописи 103, написанные частично под диктовку Толстого с авторской правкой 22, 273, 297, 379, 385
«Война и мир». Листы Рукописи 103 с рис. Толстого к главам о приезде князя Василия с Анатолем в Лысые Горы 288
«Война и мир». Листы Рукописи 107, 551, 557, 559, 697, 725

ПИСЬМА

Письмо к А. А. Толстой от 18—23 января 1865 г. 31
Письмо к Л. И. Волконской от 3 мая 1865 г. 84
Письмо к М. Н. Лаврову от 24—25 марта 1867 г. 52

ДОКУМЕНТЫ

Счет на книги, купленные и взятые для просмотра Толстым в первые годы работы над «Войной и миром», 1863—1864 гг. 55
Письмо Н. И. Толстого к родителям от 28 декабря 1812 г. 11
Листы из альбома Юшковых — рис. гробниц и стихотворные надписи на франц. яз. под этими рис. 542
И. И. Теребенев. Карикатура-лубок, 1812 г. 707, 709

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ «ВОЙНЫ И МИРА» ПОД ЗАГЛАВИЕМ «ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ ПЯТЫЙ ГОД»

Журнал «Русский вестник» 1865, №№ 1—2; 1866, №№ 2—3 34, 40

КНИГИ, КОТОРЫМИ ПОЛЬЗОВАЛСЯ Л. Н. ТОЛСТОЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД «ВОЙНОЙ И МИРОМ»

С. Жихарев. Записки современника с 1805 по 1819 год. Часть 1. Дневник студента. СПб., 1859 57, 356
М. Загоскин. Рославлев, или Русские в 1812 году. Изд. 3-е. М., 1851 56
Записки Алексея Петровича Ермолова с приложениями. М., 1865 г. 57
М. А. Корф. Жизнь графа Сперанского. т. 1. СПб., 1861 459
И. Лажечников. Походные записки русского офицера, изданные И. Лажечниковым. М., 1836 56
А. И. Михайловский-Данилевский. Описание Отечественной войны в 1812 году, по высочайшему повелению сочиненное. Т. 1. СПб., 1839 56
И. Радожицкий. Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год артиллерии подполковника И. Р. Т. 1. М., 1835 56
Ф. В. Растопчин. Сочинения графа Федора Васильевича Растопчина. СПб., 1853 57
Сочинения Дениса Васильевича Давыдова. Изд. 4-е, исправл. и дополн. по рукописям автора. М., 1860 57

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВЫВЕДЕННЫЕ В ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ «ВОЙНЫ И МИРА», И РОДНЫЕ, ЗНАКОМЫЕ ТОЛСТОГО, НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В ПЕРСОНАЖАХ РОМАНА

Кутузов М. И. Гравюра Кардели 185
Кутузов М. И. Народный лубок, первая пол. XIX в. 689
Наполеон. Гравюра Дебюкуре 184
Давыдов Д. В. Литография А. Мюнстера по рис. П. Ф. Бореля, 1860-е годы 723
Сперанский М. М. Литография П. Ф. Бореля, 1861 г. по миниатюре П. И. Иванова, 1806 г. 451
Волконский Н. С. Миниатюра неизвестного художника, 1806 г. 162
Толстой И. А. Портрет работы К. В. Барду, 1815—1820 гг. (?) Казань. Музей-усадьба «Ясная Поляна» 113
Толстая П. Н. Миниатюра неизвестного художника, нач. XIX в. 112
Толстой Н. И. Портрет работы К. В. Барду. 1815—1820 гг. (?) Казань. Музей-усадьба «Ясная Поляна» 10
Толстая М. Н. Силуэт неизвестного художника 162
Волконская Л. И. Переснимок с дагерротипа. Музей-усадьба «Ясная Поляна» 78

ПОРТРЕТЫ И ФОТОГРАФИИ РОДНЫХ И СОВРЕМЕННИКОВ ТОЛСТОГО, ПОМОГАВШИХ ЕМУ В РАБОТЕ НАД «ВОЙНОЙ И МИРОМ»

Толстая С. А. Фотография. 1863 г. 21
Берс А. Е. Фотография М. Б. Тулинова, 1860-е годы 60
Берс Е. А. Фотография Мебиуса. Москва, 1870-е годы 23
Берс Т. А. Фотография М. Б. Тулинова. Москва, 1862 г. 24
Жемчужников А. М. Фотография Ю. Тиле. Москва, 90-е годы 25
Аксаков И. С. Фотография. 1850-е годы 25
Погодин М. П. Литография с фотографии Г. Бергнера, 1860 г. 58
Фет А. А. Фотография К. Шинделя, 1861 г. 267
Башилов М. С. Автопортрет. Акварель. Начало 1860-х годов 41

ПИСЬМА РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ТОЛСТОГО В СВЯЗИ С РАБОТОЙ ТОЛСТОГО НАД «ВОЙНОЙ И МИРОМ»

Письмо Е. А. Берс Толстому от 14—15 сентября 1863 г. 59
Письмо А. Е. Берса Толстому от 23 октября 1863 г. 61
Письмо С. А. Толстой Толстому от 25 ноября 1864 г. 19
Письмо М. А. Поливанова Т. А. Берс от 2 марта 1865 г. 139
Письмо А. А. Фета Толстому от 16 июля 1866 г. 270—271

ИЛЛЮСТРАЦИИ К «ВОЙНЕ И МИРУ»

Вечер у Анны Павловны Шерер. Силуэт В. В. Гельмерсена 70
Князь Василий. Рисунок М. С. Башилова, 1866 г. 71
Вечер у Анны Павловны Шерер. Рисунок М. С. Башилова, 1866 г. 76
Маленькая княгиня. Рисунок М. С. Башилова, 1866 г. 77
Пьер Безухов. Рисунок М. С. Башилова, 1866 г. 79
Ипполит Курагин. Рисунок М. С. Башилова, 1866 г. 81
Князь Василий и Анна Михайловна. Рисунок М. С. Башилова, 1866 г. 87
Пьер Безухов. Рисунок М. С. Башилова, 1866 г. 97
Пари Долохова с англичанином Стивенсоном. Рисунок М. С. Башилова, 1866 г. 105
Петя Ростов (?) Рисунок М. С. Башилова, 1866 г. 114
Соня. Рис. М. С. Башилова, 1866 г. Литературный музей 116
Наташа Ростова и Борис Друбецкой. Рисунок М. С. Башилова, 1866 г. 119
Друбецкая с сыном Борисом. Рисунок М. С. Башилова, 1866 г. 123
Танец Данила Купор. Рисунок М. С. Башилова, 1866 г. 145
Смерть графа Безухова. Рисунок М. С. Башилова, 1866 г. 150

Спор за мозаиковый портфель с завещанием. Рисунок М. С. Башилова, 1866 г. 159
Урок математики. Гравюра на дереве К. И. Рихау по рис. М. С. Башилова, 1866 г. 163
Андрей Болконский у отца. Рисунок М. С. Башилова, 1866 г. 179
Смотр войск. Кутузов и Долохов. Рисунок М. С. Башилова, 1867 г. 187
Николай Ростов уличает офицера Телянина в краже кошелька. Рисунок М. С. Башилова, 1867 г. 203
Переход русских войск через реку Энс. Рисунок М. С. Башилова, 1867 г. 209
Билибин. Рисунок М. С. Башилова, 1867 г. 221
Князь Андрей и император Франц. Рисунок М. С. Башилова, 1867 г. 229
Багратион. Рисунок М. С. Башилова, 1867 г. 235
Багратион на батарее Тушина. Рисунок М. С. Башилова, 1867 г. 259
Раненый Ростов у костра. Рисунок М. С. Башилова, 1867 г. 261
Наташа в гостях у дядюшки. Рис. М. С. Башилова, конец 1860-х годов. Третьяковская галерея 516

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

«Комната под сводами» в Ясной Поляне. Рис. (тушь, перо) И. Я. Гинцбурга, 1896 г. 15
Вид на усадьбу Ясная Поляна. Фотография К. К. Буллы, 1908 г. 161
Москва. Дом Пашкова 110
Москва. Литография, 40-е годы XIX в. 265
Вид Кремля. Литография 621
Сражение при Аустерлице 2 декабря 1805 г. Гравюра Боска с рис. Карла Верне 331
Встреча двух императоров 25 июня 1807 г. Гравюра Куше-сына с рис. Свебаха 421
Смоленск 20 августа 1812 г. Литография 639
Битва при Бородине 26 августа 1812 г. Литография А. Адама 695

УКАЗАТЕЛЬ ВАРИАНТОВ

Составила О. А. Голиненко

№ 1 — с. 316; № 2 — с. 330; № 3 — с. 369; № 4 — с. 434; № 5 — с. 436; № 6 — с. 442; № 7 — с. 445; № 8 — с. 450; № 9 — с. 460; № 10 — с. 467; № 11 — с. 470; № 12 — с. 475; № 13 — с. 478; № 14 — с. 479; № 15 — с. 484; № 16 — с. 489; № 17 — с. 494; № 18 — с. 497; № 19 — с. 501; № 20 — с. 518; № 21 — с. 529; № 22 — с. 543; № 23 — с. 546; № 24 — с. 553; № 25 — с. 553; № 26 — с. 554; № 27 — с. 556; № 28 — с. 564; № 29 — с. 572; № 30 — с. 573; № 31 — с. 579; № 32 — с. 595; № 33 — с. 608; № 34 – с. 614; № 35 – с. 623; № 36 – с. 641; № 37 – с. 644; № 38 — с. 659; № 39 — с. 669; № 40 — с. 673; № 41 — с. 680; № 42 — с. 683; № 43 — с. 687; № 44 — с. 694.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Составила О. А. Голиненко

Абу Эдмон (1828—1885) 6
Адам Анри-Альберт (1770—1820) 695
Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) 25
Арденс (Апостолов) Николай Николаевич (1890—1974) 65

Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич (1788—1850) 58
Барду Карл Иванович, художник (1750-е годы — ум. после 1842) 10, 113
Башилов Михаил Сергеевич, художник (1821—1870) 40, 41, 71, 76, 77, 79, 81, 87, 97, 105, 114, 116, 119, 123, 145, 150, 159, 163, 179, 187, 203, 209, 221, 229, 235, 259, 261, 516
Бергнер Г. 58
Берс Андрей Евстафьевич, отец С. А. Толстой (1808—1868) 37, 38, 53, 60, 61
Берс Елизавета Андреевна, сестра С. А. Толстой (1843—1919) 21, 22, 23, 24, 59, 60, 297, 379, 385
Берс Степан Андреевич, брат С. А. Толстой (1855—1910) 65
Берс (в замуж. Кузминская) Татьяна Андреевна, сестра С. А. Толстой (1846—1925) 14, 18, 21, 24, 31, 32, 39, 64, 65, 119, 139, 301, 425
Билинкис Яков Семенович 65
Бирюков Павел Иванович, друг Толстого, его первый биограф (1860—1931) 58
Богаевская Ксения Петровна 8
Борель Петр Федорович (1829—1898) 451
Боск 331

Верне Карл (1758—1836) 331
Виткоп Филипп (1880—1942) 6
Волкова Мария Аполлоновна (1786—1859) 55, 60, 61
Волконская (рожд. Трузсон) Луиза Ивановна (1825—1890) 78, 84
Волконский Николай Сергеевич, дед Толстого (1753—1821) 162

Гельмерсен Василий Васильевич (1873—?) 70
Гинцбург Илья Яковлевич (1859—1939) 15
Гладкова Людмила Викторовна 63
Глинка Сергей Николаевич (1775 или 1776—1847) 53, 58
Голиненко Ольга Александровна 8
Голсуорси Джон (1867—1933) 6
Гомер 6
Гусев Николай Николаевич (1882—1967), в 1908—1909 гг.— секретарь Толстого 21, 22, 64, 65

Давыдов Денис Васильевич (1784—1839) 54, 57, 65
Даль Владимир Иванович (1801—1872) 54
Дациаро Осип (Иосиф) Христофорович (1805—1865) 110
Дебюкуре 184
Доде Альфонс (1840—1897) 6
Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) 7
Драйзер Теодор (1871—1945) 6
Дюма Александр, отец (1803—1870) 36

Ермилов Владимир Владимирович (1904—1965) 65
Ермолов Алексей Петрович (1772—1861) 57

Жемчужников Алексей Михайлович (1821—1908) 25
Жихарев Степан Петрович (1788—1860) 57, 356
Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852) 56, 60

Зайденшнур Эвелина Ефимовна 5, 7, 64
Зегерс Анна (1900—1983) 5
Зильберштейн Илья Самойлович 8
Золя Эмиль (1840—1902) 6
Зотов Рафаил Михайлович (1795 или 1796—1871) 60

Иванов Павел Александрович (1776—1813) 451

Калинина Наталья Александровна 63
Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) 41
Кардели Сальватор 185
Катков Михаил Никифорович (1818—1887) 18, 20, 30, 32, 52—54
Корф Модест Андреевич (1800—1876) 459
Крылов Иван Андреевич (1769—1844) 51

Кузминская Татьяна Андреевна. См. Берс Т. А.
Куше 421

Лавров Михаил Николаевич 52
Лажечников Иван Иванович (1792—1869) 56, 59
Ланская Варвара Ивановна (ум. 1845) 60, 61, 65
Лозбякова Валентина Владимировна 63

Маковицкий Душан Петрович (1866—1921) 5
Манн Томас (1875—1955) 6
Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790—1848) 7, 56, 58
Мопассан Ги де (1850—1893) 6
Моравиа Альберто 5
Моруа Андре (1885—1967) 6
Мотылева Тамара Лазаревна 5—6
Мюнстер Александр Эрнестович (1824—?) 723

Нагорнова Варвара Валерьяновна. См. Толстая В. В.
Никифорова Татьяна Георгиевна 63

Оболенский Дмитрий Дмитриевич (1844—?) 65
Осборн Макс 64

Паскевич (рожд. Воронцова-Дашкова) Ирина Ивановна (1835—1919) 6
Пастернак Леонид Осипович (1862—1945) 64
Погодин Михаил Петрович (1800—1875) 58, 59
Поливанов Митрофан Андреевич (1842—1913) 139
Прокопенко В. 65
Прудон Пьер-Жозеф (1809—1865) 53
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) 11

Радожицкий Илья Тимофеевич (1784—1861) 54, 56, 58, 65
Рихау Карл Иванович (1827—1883) 163
Роллан Ромен (1866—1944) 5, 6
Ростопчин Федор Васильевич (1763—1826) 49, 57

Свебах Жак-Франсуа-Жозеф (1796—1823) 421
Страхов Николай Николаевич, литературный критик, друг Толстого (1828—1896) 65
Сухотина (рожд. Толстая) Татьяна Львовна, дочь Толстого (1864—1950) 65

Тарле Евгений Викторович (1875—1955) 64
Теребенев Иван Иванович (1780—1815) 707, 709
Толстая Александра Андреевна, двоюродная тетка Толстого (1817—1904) 31, 38
Толстая (в замуж. Нагорнова) Варвара Валерьяновна, племянница Толстого (1850—1922) 19, 65
Толстая (рожд. Волконская) Мария Николаевна, мать Толстого (1790—1830) 162
Толстая (рожд. Горчакова) Пелагея Николаевна, бабка Толстого (1762—1838) 112
Толстая (рожд. Берс) Софья Андреевна (1844—1919) 13, 14, 18—21, 25, 30—32, 35, 39, 53, 64, 65, 78, 150, 349, 393, 537. 616, 698
Толстой Илья Андреевич, дед Толстого (1767—1822) 113
Толстой Николай Ильич, отец Толстого (1795—1837) 10, 11
Толстой Сергей Николаевич, брат Толстого (1826—1904) 35
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) 6, 32
Тьер Адольф (1797—1877) 35, 36, 48, 58, 65
Тэн Ипполит (1828—1893) 6

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892) 31—33, 35, 39, 40, 267
Флобер Гюстав (1821—1880) 6
Франс Анатоль (1844—1924) 6

Хемингуэй Эрнест (1899—1961) 6

Цявловский Мстислав Александрович (1883—1947) 65

Шаликов Петр Иванович (1767 или 1768—1852) 59
Шекспир Уильям (1564—1616) 6
Шишков Александр Семенович (1754—1841) 58
Шнейдер А. 65
Шоу Джордж Бернард (1856—1950) 5

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886—1959) 65
Эсхил (ок. 525—456 до н. э.) 6

Юм Давид (1711—1776) 7
Юшков Владимир Иванович (1789—1869) 542
Юшкова (рожд. Толстая) Пелагея Ильинична, тетка Толстого (1801—1875) 542

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ 5

КАК СОЗДАВАЛАСЬ ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ РОМАНА «ВОЙНА И МИР» 9

ПЕРВАЯ ЗАВЕРШЕННАЯ РЕДАКЦИЯ РОМАНА «ВОЙНА И МИР»

ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ ПЯТЫЙ ГОД 69

В ПЕТЕРБУРГЕ 69

В МОСКВЕ 109

В ДЕРЕВНЕ 160

ВОЙНА 182

РУКОПИСЬ 103

⟨«ОТ АУСТЕРЛИЦА ДО ТИЛЬЗИТА»⟩ 264

РУКОПИСЬ 107

⟨ОТ «ВНУТРЕННИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» СПЕРАНСКОГО ДО КОНЦА ВОЙНЫ 1812 ГОДА⟩ 430

ВАРИАНТЫ 731

УКАЗАТЕЛЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 783

УКАЗАТЕЛЬ ВАРИАНТОВ 786

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 787

В ТОМЕ 105 ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Литературное наследство

Том 94

Первая завершенная редакция романа «Война и мир»

Утверждено к печати
Институтом мировой литературы
им. А. М. Горького
Академии наук СССР

Редакторы издательства
В. И. Рымарева, В. Ф. Журавлева

Художественный редактор *С. А. Литвак*

Художественный редактор
графического материала
В. С. Егорова

Технический редактор *Л. Н. Золотухина*

Корректоры
Р. С. Алимова, Е. В. Шевченко

ИБ № 26667

Сдано в набор 14.04.83
Подписано к печати 02.08.83
А-11529. Формат 70×108¹/₁₆
Бумага типографская № 1
Гарнитура обыкновенная
Печать высокая
Усл. печ. л. 69,47. Уч.-изд. л. 76,2 Усл. кр. отт. 71,3
Тираж 25 000 экз. Тип. зак. 2822
Цена 9 р. 60 к.

Издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10